

ПОГРУЖЕНИЕ В ТРЯСИНУ

ПЕРЕСТРОЙКА:

гласность
демократия
социализм

ПОГРУЖЕНИЕ
В ТРЯСИНУ



ПЕРЕСТРОЙКА:

**гласность
демократия
социализм**

ПОГРУЖЕНИЕ

**А. А. Амальрик
В. М. Алексеев
Л. А. Аннинский
Л. И. Богораз
А. В. Вахрамеев
Г. Н. Владимов
М. Я. Гефтер
В. Г. Голицын
В. Л. Глазычев
А. И. Гуров
А. С. Зайченко
Н. И. Ильина
С. А. Ковалев
Н. М. Коржавин
В. В. Лапкин
А. А. Лебедев
Ю. А. Левада
В. А. Найшуль
В. П. Некрасов
Т. А. Ноткина
В. И. Пантин
Г. С. Померанц
В. В. Попов
А. Д. Сахаров
А. И. Солженицын
В. А. Тихонов
В. Н. Турбин
В. Ф. Турчин
В. И. Фомин
Б. Хазанов
К. М. Цаголов
С. С. Шведов
В. Л. Шейнис
Н. П. Шмелев
А. К. Якимович**

ПЕРЕСТРОЙКА:

**гласность
демократия
социализм**

В ТРЯСИНУ **(АНАТОМИЯ ЗАСТОЯ)**

На краю пропасти

**В тисках фальшивых
доктрин**

**Инерция страха
или пробуждение духа?**

Кто вышел на площадь?

Голоса времени



Москва
ПРОГРЕСС
1991

ББК 66.3 (2)
П 43

Составитель: *Т.А.Ноткина*
Редакторы: *А.Н.Завьялова, Н.К.Сазанович*

Погружение в трясину: (Анатомия застоя) /Сост. и общ. ред.
Т.А.Ноткиной. — М.: Прогресс, 1991. — 704 с.

В фокусе внимания авторов новой книги известной серии, которую выпускает издательство "Прогресс" с 1988 года, — тот долгий и сложный период жизни советского общества, который не вполне точно именуется застойным. В эти годы, когда многим казалось, что время стояло, накапливались общественные противоречия, происходили трагические события в стране и вокруг нее, разворачивался глубокий кризис экономических, политических и духовных структур. Происходили и другие процессы — созревали предпосылки возрождения. Эпоха "застоя" — закономерное наследие массового насилия над народом, неудачных попыток реформировать общество, истощения его моральных ресурсов.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

✓
П 020100000 — 066 КБ—24—1—90 ББК 66.3 (2)
006 (01) — 91

Редактор русского текста *А. Н. Завьялова, Н. К. Сазанович*

Художник *Ю. Н. Егоров*

Технический редактор *Л. Е. Шемякина*

ИБ № 18843

Сдано в набор 24.04.90 г. Подписано в печать 22.11.90. Формат 60х90/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Универс. Печать офсетная. Условн. печ. л. 44,0.
Усл. кр.-отт. 44,0. Уч.-изд. л. 57,24. Тираж 46500 экз. Заказ №1593,
Цена 4 р. 50 к. Изд. № 47845.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс"
Государственного комитета СССР по печати.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.

Можайский полиграфкомбинат В/О "Совэкспорткнига"
Государственного комитета СССР по печати.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 5-01-003252-X

Редакция литературы по экономике и управлению

© Издательство "Прогресс", 1991

**На краю
пропасти**

ИСТОКИ И ПСИХОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАДЕРЖКИ

Не думаю, что грядущий историк при любом отрицательном отношении ко времени, ограниченному 1965 и 1985 годами, согласится с тем, что его полностью определяет распространенное ныне выражение — “эпоха застоя”. Безусловно, эпоха эта не столь однозначна. Какие-то процессы в обществе все-таки происходили, какое-то развитие самосознания все же имело место. Проявлялось это не только в разговорах на знаменитых “московских кухнях”, т. е. в личном общении людей, не только в “самиздате” или “тамиздате”, но и в открытых публикациях, иногда на подмостках и на экранах. Разумеется, выходило в свет не все, что создавалось, и не все, в чем была нужда, но процесс выходил наружу. Потребность самосознания была сильнее, чем потребность сдерживать ее проявление. Время, течение жизни размывали идеологические рамки, и те, кому ведать надлежало, сами не совсем ясно представляли себе, что именно следует сдерживать. Сказывались возраст, ощущение границ жизни, воспоминания детства (например, крестьянского), т. е. опять-таки не всегда осознанная, но всегда настойчивая жизнь. Сказывалась и общая черта сталинщины, в которой они были воспитаны, — то, что “идеологические кадры” при всей своей преданности сами имели весьма косвенное отношение к внушаемой ими идеологии. Сталинщина ведь вообще такое государственное идеологическое образование, из которого лежащая в его основе идеология вынута и заменена муляжом. А муляж — явление обоюдоострое...

Бдеть-то бдели, и очень жестко, но именно в эти годы вошла в силу “деревенская” проза, так называемая проза “сорокалетних”, продолжили работать Фазиль Искандер, Юрий Трифонов, Анатолий Приставкин, Булат Окуджава, Владимир Высоцкий, Юлий Ким и многие другие — всех не перечислишь. О новых именах я не говорю — это особая тема. Ставились новые спектакли, писались новые пьесы. Удавалось вырывать на экран новым фильмам. Кое-что происходило даже в публицистике. Например, в отделе коммунистического воспитания “Литературной газеты”, руководимом ныне, к сожалению, покойным Е. Богатом. О каждом из перечисленных и неперечисленных авторов и произведений следует говорить отдельно, но нас сейчас интересует только одно: то, что они делали, поражало не только правдивостью, но и нормальным отношением к жизни человека — она рассматривалась не с точки зрения соответствия человека поставленным целям, а с точки зрения его временного — счастливого или несчастливого — пребывания на этой вечной земле. В каком-то смысле это уже было началом нашего освобождения

от предписанного нам до этого “состояния активной несвободы” (выражение эмигрантского публициста Р. Н. Редлиха).

Однако в целом это время было в духовном отношении — о материальном я уже не говорю — не просто застойным, но и разрушительным. Это была остановка движения, задержка развития. Все, что было осознано как невозможное, невыносимое или противоестественное, продолжало не только существовать, но и контролировать жизнь. “Деревенская” проза явочным порядком представила коллективизацию и раскулачивание историческим несчастьем и народным бедствием (чем они и были), а официально они продолжали числиться заслугой, подвигом и достижением. В этом духе полагалось говорить о них всем студентам на всех экзаменах по соответствующим предметам. С теми же, кто отрицал это прямо, теоретически, по-прежнему “велась борьба” — их шельмовали, сажали, вынуждали к отъезду. Помаленьку с полок исчезали товары, но официально страна уже жила в условиях “развитого социализма”, т. е. сбывшейся мечты человечества о земном рае. Причем в этом раю была принята Продовольственная программа, которая и при своем выполнении не обещала полного насыщения рынка продовольственными товарами. И это никого — официально, конечно, — не должно было смущать. Но порождало цинизм.

Конечно, это нелепо и нелогично, но сталинские выдвиненцы, по-прежнему правившие страной, по определению, не отличались склонностью смущаться противоречиями или стремлением обязательно связывать концы с концами, слова с их смыслом, говоримое с творимым. Иначе они не смогли бы ни выдвинуться, ни держаться на плаву при своем кумире. Неудивительно, что весь рассматриваемый период отмечен попытками руководства хоть как-то реабилитировать сталинщину и уж во всяком случае вывести ее из-под огня непочтительной критики. Это была потребность не только корыстная, но и чисто эмоциональная. Вероятно, и у этих людей была своя трагедия, — трагедия тех, кто по своему положению должен был останавливать жизнь. Быть людьми, из-за которых гигантский интеллектуальный, хозяйственный и прочий потенциал великой страны в значительной степени работал вхолостую, быть бессознательными виновниками и стражами трагедии страны и народа.

Так или иначе, говоря об этом двадцатилетии, никак нельзя миновать вопрос о сталинщине, о ее сути и природе. Тем более что мы вообще не можем сейчас не говорить о социальных или социокультурных ее аспектах и последствиях. Это имеет отношение и к предпосылкам его победы над как будто бы более влиятельными врагами по партии. Хотя я думаю, что победить мог любой достаточно активный и причастный к их тайнам деятель, кто всерьез не принимал бы их запутанные игры и мог бы взглянуть на ситуацию извне.

Конечно, Сталину сильно пофартило — не только с системой, но и с эпохой. Прежде всего с прогрессом техники. Не во всякую эпоху любая глупость и любая инструкция, как внушать эту глупость, могла быть в тот же день принята к исполнению во всех уголках огромной страны, а любые доводы разума превентивно в зародыше заглушены никогда не смолкающим оркестром газет и радиорупоров, но, конечно, надо было этим еще и “правильно” воспользоваться. Он — сумел.

Но он ничего бы не смог сделать, если б не сумел рассмотреть и полезные ему социальные, точнее, асоциальные, факторы, которые без

него особой роли бы не сыграли, но с ним разрушили жизнь огромной страны. Некоторые западные историки (так называемые ревизионисты) даже утверждают, что Сталин, проводя коллективизацию и нанося удары по партии, действовал под давлением подобных людей. Но это — неуместное применение западных представлений к иной действительности. Не знаю, как сегодняшний аппарат¹, но по смерти Сталина эти люди ни психологически, ни организационно не были готовы к тому, чтоб самостоятельно “оказывать давление”, им это и в голову бы не пришло. Но действительно, не во всякую эпоху напор массового полуобразованного а у нас тогда часто и полуграмотного самоутверждения, связанного и несвязанного с беспардонным и безответственным идеализмом, достигал такого накала и распространения.

Октябрьская революция, кроме всего прочего, открыла перед многими доселе для них немыслимые личные возможности. Разумеется, не в направлении частной деятельности — она, даже когда не запрещалась, была непрестижной. Нет, все честолюбивые устремления так или иначе связывались с местом в иерархии — тем более что право на него и в те времена не всегда связывалось с личными способностями и склонностями. Абсолютная власть скрадывала любую некомпетентность. Но поскольку все равно постов на всех классово или идеологически достойных хватить не могло, эта иллюзия вседоступности, вызванная размытостью критериев пригодности, оборачивалась незаметно нараставшими внутренними напряжениями. Многие имели основания считать себя несправедливо обойденными.

Все это появилось с самого начала. Но подрастали и новые поколения претендентов. Некоторые из них всерьез стремились к активной идейной работе в пагубном, как мы теперь знаем, но единственно открытом тогда и единственно мыслимым и понятном им направлении. Внесли свой вклад и те, для кого бюрократическая карьера была естественным призванием, отвечала личным склонностям. Я этим не хочу сказать о них ничего дурного — призвание не менее нужное и ничуть не хуже, чем любое другое, — зло было не в них, а в ситуации. Но явное зло было в тех, часто малограмотных и закомплексованных, кто просто по-дурному опьянялся открывшейся возможностью властвовать. Сталин стремился использовать всех, но ставку делал на этих третьих². На их комплексы. Он и сам был таким, но только более осторожным и изворотливым, чем все они. Разумеется, не все из них стремились к личной власти над всей страной — в масштабах сельской ячейки это могло представляться участием в коллективной власти над родной деревней. Но все равно это было стремлением к власти, к ее сладости и выгодам. Претенденты эти плохо понимали, а иногда и мало интересовались, зачем нужна такая чрезвычайная власть, но к ней рвались. Идеалисты тоже³. И на всех

¹ И сегодняшний аппарат может саботировать то, что ему не нравится, но не оказывать давление. Даже проведенные им разгром “антипартийной группы” и снятие Хрущева произошли в результате верхушечных заговоров, а не под “давлением” ко всему привыкших партийных функционеров. А “визы”, да еще тогда, могли только ждать выдвигания.

² Например, всегда поддерживал группу Ворошилова — Буденного, воевавшую против военной грамотности. В 1938 году эта группа окончательно победила. Разгромил ее в 1941 году только Гитлер.

³ Хотя не все, кто казался себе идеалистом, таковыми были — за идеализм, когда он правящий, часто искренне принимается и конформизм.

уровнях все они — и обойденные, и подраставшие — наталкивались на то, что "места" в иерархии заняты людьми с подлинными или мнимыми заслугами перед революцией. И конечно, их это втайне раздражало. Кроче, на разных уровнях — в интеллигенции, в рабочей среде и среди крестьян — среди людей разных поколений были тогда люди, чью неудовлетворенность Сталин мог использовать¹.

Положение обострялось тем, что в СССР был ведь только один вид пирога — государственный. И все время его так или иначе распределяли. К этому так привыкли, что до сих пор даже за места в литературе дерутся, как за должности. Этот слой не "давил", но всегда мог стать благодарной, активной и даже радостной (пусть при этом иногда и трепещущей от страха) опорой начальства, коль скоро оно начало крестовый поход против все захватившей "старой гвардии"². Отсюда же их слепая, закрывающая на все глаза вера в Сталина — в то, что он знает, что делает, а нам — необязательно. Из этих людей потом в значительной части рекрутировался сталинский аппарат. Во всяком случае — поначалу.

Очень полезной в этом смысле для Сталина оказалась так называемая "культурная революция", т. е. создание в ударном порядке "своей" "классовой", т. е. чисто функциональной, интеллигенции. Тут было на чем играть — и внутри, и вне партии. Не думаю, чтоб эту "революцию" выдумал один Сталин — она началась задолго до его окончательного воцарения. Ее защищал — от И. П. Павлова (может, в порядке партийной дисциплины — кто их знает?) — и Н. И. Бухарин. Она одинаково соответствовала и политике, и утопии. Но что она оказалась в значительной степени кузницей сталинских кадров — несомненно. Это, конечно, не значит, что все прошедшие через рабфаки стали "сталинскими соколами". Не говоря уже об интеллигентах, искупавших таким образом недостойное происхождение, были и среди выходцев из рабочих и крестьян (как и всегда бывают) талантливые люди, желавшие и умевшие учиться, ставшие потом самостоятельно мыслящими людьми (например, генерал П. Г. Григоренко). Немалое количество бывших рабфакцев попало и в ГУЛАГ. Впрочем, это само по себе ни о чем не говорит — туда просто было попасть. Но ведь, согласно мемуарам того же П. Г. Григоренко, доминировали другие. Во всяком случае, именно они сыграли разрушительную роль. А как могло быть иначе? Рабочих насильно в порядке партийной дисциплины отрывали от станка, от квалификации и достоинства, заставляли учиться, как-то натягивали отметки, вытаскивали и протаскивали и... превращали в начальников, за которых работали заместители. А что им было делать? Представьте себе их поло-

¹ Касалось это, конечно, и партийных верхов — к Сталину в отличие от Троцкого и Бухарина больше примыкали не эмигранты, а подпольщики, не идеологи, а "практики" (какого дела?). Оказались ему нужны случайные и целиком зависящие от него люди — Каганович, Маленков. Я говорю не о личности Маленкова (она неоднозначна — умер он церковным старостой), а об его причастности к партийным традициям. В этом смысле он не менее случаен, чем Каганович. Да и числится за ним не меньше. Хотя как личности они несравнимы. Каганович был только сталинским холуем, Маленков — не только.

² Сталин опять пытался сыграть этой картой на XIX съезде — под видом расширения руководства ввести в него новых людей, а потом старых отстранить, т. е. по тогдашним нормам — устранить. Но не вышло. Первым заметивший это А. Авторханов считает, что "старые", проделывавшие раньше вместе с ним такие фокусы над другими, поняли опасность и не дались. Похоже, что он прав.

жение. Годы ушли, рабочая квалификация потеряна, образование липовое, культуры нет. Что такому еще оставалось делать, кроме как держаться за карьеру и стремиться свести все на свете к своему уровню?

С этим как бы контрастирует уже упоминавшаяся, единственная, на мой взгляд, заслуга Сталина перед страной — то, что он покончил со школьным экспериментаторством и восстановил нормальное образование, подобие гимназического — с домашними заданиями, ответами у доски, отметками и контрольными работами. Мера эта была не революционная, но разумная. Конечно, мотивы его были не просветительские — ему нужна была военная мощь, а на выдвиженцах ее не создать. Это требовало большого количества технических и естественнонаучных специалистов. Восстановил он для порядка и гуманитарное образование, в частности историю, которая до этого была почти отменена. И в середине тридцатых в ИФЛИ и подобных заведениях студенты стали получать самое серьезное гуманитарное образование. Этого, конечно, требовала государственная солидность. Но, вполне возможно, сделано это было и в пику теоретикам “старой гвардии”, претендовавшим (без всяких оснований — единственно из-за “знания исторических законов”) на роль интеллектуальной элиты страны и на контроль ее умственной жизни.

Но все равно это факт положительный. Тем не менее контроль не прекратился — он только усилился и стал еще менее грамотным. И выдвиженцев не задвинули, править Сталин продолжал через них, а они продолжали подгонять культуру под свой уровень. Подлинной образованности приходилось отстаивать себя от боевого невежества — когда “идейного”, когда “патриотического”, — точнее, от профанации. Особенно это сказалось, естественно, на гуманитарии. Гуманитария, как только она была разрешена, тут же и навсегда была взята под подозрение. Профанация снизу здесь всегда отчетливо шла навстречу профанации сверху. Власть в культуре (странное, но в наших условиях, к сожалению, вполне значащее словосочетание) отдавалась тем, кто искренне или притворно этой профанации не замечал. Ибо Сталин сам был представителем профанации, а кроме того, она облегчила всевозможные фальсификации, в которых он практически нуждался. Так что неудивительно, что положение и взаимоотношения в культуре всегда вызывали столь широкий и острый общественный интерес.

Влияли эти выдвиженцы на образование не только прямо, но и через общие пороки созданной для них системы, ориентированной на показатели, т. е. на “туфту”. Восстановленное школьное образование скоро стало все больше подрываться “борьбой за успеваемость” и соцсоревнованием, т. е. оценкой работы учителя по количеству выставленных им хороших отметок (так было легче и преподавать и руководить). Захватило это и высшую школу, особенно сеть провинциальных пединститутов, как грибы расплотившихся после войны. Воспроизводилась культура, но воспроизводились и правящие выдвиженцы, вынужденные и имевшие возможность любой ценой — не всегда успешно, но и не всегда безуспешно — навязывать ей свой уровень.

Может быть, в этой тотальной профанации и заключалась суть сталинщины? А в чем другом? В жестокости? Конечно, и в ней. Но жестокости и раньше хватало. И была она даже подчас более испуганной и направленной, более садистской, более личной, чем потом, ибо была

внушена и разрешена классовой ненавистью. Люди, которые это разрешали и освящали, безусловно, совершили преступление, размеры которого для истории страны трудно преувеличить. "Красный террор", когда в Петрограде арестовывали, а часто и расстреливали на основании записи в домово́й книге, — куда же больше? Но объяснение есть. Это пароксизм экстремистского бешенства, отчаяние утопизма (а он почти всегда в отчаянии, у него всегда — не выходит), который во имя, как он полагает, общечеловеческих целей оторвался от самых элементарных человеческих ценностей и навыков общежития, от всех спасительных "табу", выработанных культурой, и практически разрушительно стимулирует все самое низкое в человеке. Но на фоне Сталина вся эта жуть выглядит кустарщиной и чуть ли не романтикой.

Но Сталин упрямо подчинял жизнь себе. Александр Зиновьев, став, как он себя сам называет, "кающимся антисталинистом", утверждает, что из знакомства с трудами теоретиков "старой гвардии" он не вынес впечатление о каком-либо их теоретическом превосходстве над Сталиным. Что ж, он и не мог его вынести. Во-первых, они и не были теоретиками, а во-вторых, то, что им или Сталину нужно было доказать, никакой теорией быть не могло — "теоретическая" сторона споров сводилась к тому, что каждая сторона доказывала цитатами, что именно она следует учению Маркса и Ленина. Но все-таки они были грамотней его в этой области, а эта грамотность в их среде и означала теоретичность. Это их превосходство его очень задевало, хоть он прекрасно знал, что решает спор не "теоретическая" сторона, а "подбор кадров на основе личной преданности"¹. Но все же государство было и оставалось идеологическим, марксистским, и претендующему на должность вождя (тогда были "вожди" — "руководители" пошли много позже) следовало быть и главным теоретиком.

Но Сталин, по-видимому, знал, что в партии — а решала все она — много было активно жаждущих продвижения людей, которые тоже не очень любят погружаться в такие материи, и, как только смог, он стал мало-помалу упрощать эту теорию, приспособливая ее к уровню новых ревнителей и лишая смысла. Попутно упрощая и лишая смысла саму "идейность", от имени которой правил. И далеко не все его поклонники понимали, что, получая из его рук удобные им упрощения, получают камень в протянутую руку. Но ему в их руках как раз и нужен был камень, чтоб разбивать неугодные головы. Но еще я думаю, что, виртуоз профанации, он делал это отчасти и для собственного удовольствия — тем самым он лишал своих конкурентов их сомнительного преимуществ.

У меня нет никаких теоретических претензий к Сталину. Я вовсе не думаю, что глава государства должен быть философом или пылать идейностью. У него другая профессия. Даже если он требует жертв ради будущего, то это будущее обозримое, бытовое, земное, а не потустороннее. И оно не связано с пересозданием основ бытия с помощью "социальной инженерии". Претензия моя в том, что он сознательно навязывал своим ставленникам протрацию.

¹ "Подбор кадров на основе личной преданности" — в этом грехе Сталин в конце жизни обвинял своих деморализованных от страха функционеров. Но эта формула — обобщение его личного опыта. Возможность такого подбора и его широкое использование в борьбе за власть в партии, обладавшей абсолютной властью над страной, — его личное открытие начала двадцатых годов.

Ибо во имя чего разбивали они головы и подчиняли себе жизнь? Во имя своего неправильного мировоззрения? Нет, неправильное мировоззрение было только у их предшественников. Мировоззрения, которому они были верны, просто не существовало. Но они ему служили и в него верили. И обходилось это потом дорого, ибо, оторванные от смысла слов, они потом сами оторвались от смысла дел. И отнюдь не всегда — по злой воле.

Помню в ссылке один случайный разговор с вполне разумным человеком, работником районного масштаба. В сельском хозяйстве я тогда понимал еще меньше, чем сейчас, но меня удивляло, что газеты требуют расширения посевных площадей в то время, как людей в колхозах для этого нехватало. Я спросил его, не лучше ли сконцентрировать все, что есть, на меньших площадях и получить больший урожай. Вопрос мой без всякого подвоха, я действительно этого не понимал. Человек этот был вполне разумный и именно так меня понял, т. е. не увидел в этом попытки подрывной деятельности со стороны ссылки. И ответил, что так-то оно вроде так, но диалектически получается, что расширять посевные площади выгодно.

Идиотом он совсем не был. А если был, то не большим, чем я сам, потому что я отнесся к его словам вполне серьезно. Я тогда еще, несмотря на тюрьму и этапы, продолжал быть сталинистом (последние недели, а всего я им был три года — до этого не был) и тоже был закален в применении диалектики. Но как он мог не то что говорить, а даже думать иначе, если все вокруг, все, чему его учили, к чему приобщали, шло наперекор жизни, а аргументом был не пресловутый “критерий практики” (хоть официально, на словах, он все равно оставался неизменной ценностью), а только руководящее мнение. Если мнение выяснилось и не совпало с твоим, значит, ты ошибся — даже если ты обогатил государство. И критерий практики, значит, показывает тоже твою ошибку — просто ты видеть не умеешь.

Конечно, это уже маразм последних лет сталинщины, хотя ни мой собеседник, ни, смею думать, я сам маразматиками вовсе не были. Он нам был навязан извне. Но все-таки надо было долго “воспитывать” кадры, учить их (псевдо) “идейности” и (псевдо) “философии” под аккомпанемент кнута и в перспективе прианика, чтоб они считали это правильным. И то иногда люди срывались.

Какой философией и какой идейностью можно объяснить теперь почти забытое (а зря!) “рязанское чудо”, когда для того, чтоб “догнать Америку по молоку и мясу”, в Рязанской области перерезали существенную часть скота. Под радостные реляции с фронтов мясозаготовок, под всяческий звон литавр — догоняли. И ведь делали это работники, бывшие в большинстве своем людьми крестьянского происхождения (в том числе как будто и инициатор “славного почина” секретарь обкома Ларионов), хорошо знавшие, что скот так быстро не воспроизводится, что если его перережешь, то его и не будет. Но ведь это даже и профаны знают. Это был даже не идиотизм, а массовая имитация сумасшествия. В конце концов, когда скот перерезали, “все выяснилось” (а что тут надо было выяснять?), и “инициатор” кончил самоубийством. Но что он до этого думал? На диалектику надеялся? На то, что в этом откроется какой-то особый — диалектически-политический — смысл? А если “подтолкнул” Хрущев, то что думал он? Ведь и Хрущев родился не на Марсе,

а в деревне Калиновка под Курском. И глуп не был — особенно в таких вещах. Как же так?

Сталинщина не умерла со Сталиным. И это ведь не просто шутка, что “брежневщина — сталинизм с человеческим лицом” (обычно я говорю “сталинщина”, а не “сталинизм” — “изма”-то как раз никакого и не было, — но шутка не моя). А как умудрялись сочетать “зрелый социализм”, который уже есть, с продовольственной программой, которая только через много лет накормит страну? И ничего — сходило. Никто, правда, не вслушивался, но говорили и писали это бодро. Привыкли за столько лет к бессмыслице.

Люди рождались в этом, жили и умирали. И все было правильно. Пока мы не докатились до сегодняшнего кризиса, т. е. не дошли до ручки. Давно шли к ней, но, видимо, кое-кто надеялся, что идеи только диалектически, а вскоре, согласно теории, понятной кому-то другому (Сталину, например), обнаружится свет. Но свет не обнаружился — дошли на самом деле. Но все равно не унывают. Винаваты кто угодно — Горбачев, евреи, американцы. Но только не они и не Сталин.

С любимым мировоззрением можно спорить, опровергать его. С человеком, проникнутым духом сталинщины, спорить невозможно — логических противоречий он не замечает. При полном отсутствии и намека на цельное мировоззрение он испытывает странную преданность этому мировоззрению, под которое подгоняется что угодно. Попробуйте спорить с Ниной Андреевой, которая уверена — и, я думаю, искренне уверена, — что не может поступиться именно принципами, когда на самом деле она (я говорю о типе мышления — с реальной Ниной Андреевой я не знаком) не может поступиться привычной бессмыслицей, внушенной ей в качестве смысла. Смысл этот стал основой ее жизни, она к нему привыкла, ей было удобней жить с такой “идейностью без идей”. И не может она поступиться не принципами, а жестоко соблюдавшейся беспринципностью (при Брежневце часто проявлявшейся откровенно). Такие люди сейчас инстинктивно чувствуют, что смысл этот рассыпается при первой проверке, и главное их стремление — это не допустить, запретить, задавить саму возможность такой проверки, любое проявление жизни, любую подлинную мысль и культуру¹. Это какой-то странный и агрессивный лунатизм. Его победа — а она не исключена — была бы победой ирреальности, абсолютной трагедией. Оставив все насущные вопросы нерешенными, эти люди сосредоточили бы все усилия на их “правильном” отражении, а по этому “отражению” заставили бы всех судить (во всяком случае, вслух) об отражаемом, т. е. о положении вещей. В общем, повели бы страну к гибели, но о ней не думая. И главное, все будет идти не вразброд, как теперь, а стройными рядами и с бодрыми песнями. Возможно, на их век бы хватило. Но вряд ли.

Сталин отличался от них тем, что был в начале этого пути, когда мно-

¹ Иногда таких людей называют догматиками, но это неточно. “Догмы”, которые они исповедуют, подвижны и внутренне противоречивы, за ними нет никакого дельного мировоззрения. Только соображения удобства — стремление сохранить ситуацию, при которой то, чему их обучили и они учат, называется, допустим, философией. Конечно, кризисная ситуация может в неискрушенном восприятии людей, даже лично в этом не заинтересованных, придать словам вид достоверности и серьезности (“раньше воровали меньше”). Факт это печальный, но природа его — иная.

го еще можно было тратить, ибо были еще у страны колоссальные резервы — земли, ископаемых, здоровья и даже, несмотря на коллективизацию, доверия и способности к энтузиазму (не знаю только, хорошо ли это). Когда еще много было ресурсов — не только природных, но и людских тоже. И не только потому, что можно было щедро расплачиваться человеческими жизнями за любую чепуху — это само собой. А еще просто потому, что в огромной стране, если какие-то слои хоть в чем-то прозревали, всегда можно было найти такие, которые пока не имеют представления ни о чем и выполнят любое задание любой ценой. И, превратив их в руководителей, поставить над теми, кто уже кое-что начал понимать. И, используя все эти ресурсы, он твердой рукой вел нас по этому гибельному пути совершенно сознательно — не то чтобы сознательно провидя гибель, а просто ею не интересуясь. И на его век действительно хватило. Ему поклонялись. И даже за войну, которую выиграли вопреки ему, но с его именем.

Мне очень стыдно перед самим собой, что и я тоже когда-то какое-то время пытался “осознать” и освоить этот идиотизм и умел находить в нем рациональное зерно. Стыдно ощущать себя идиотом — пусть даже в прошлом. И я не понимаю людей одного со мной возраста, старше или несколько моложе меня, которые этого не стыдятся. Впрочем, и молодых тоже. При любой ориентации.

СЕКРЕТ НЕСТАБИЛЬНОСТИ САМОЙ СТАБИЛЬНОЙ ЭПОХИ

Сегодня пресловутая эпоха застоя может показаться чуть ли не образцом благоденствия и устойчивости во всех областях жизни — экономической, политической, социальной. Да, были и там зоны напряженности, конфликты, использовались и репрессивные меры, но все это где-то на периферии общественного бытия, в отдельных местах, по отношению к отдельным людям, на пограничных рубежах “нашей” мировой системы. На важных собраниях звучат и рассуждения о том, что “застой” все же лучше кризиса и распада...

В печати, в основном в публицистике, сурово обличаются недально-видные и коррумпированные лидеры эпохи — причем при активной поддержке общественного мнения. Есть основания позитивно оценивать деятельность Хрущева. Еще остались поклонники Сталина, разворачиваются непростые споры о роли лидеров первых революционных лет — Ленина, Троцкого, Бухарина и др. Но в оценке Брежнева, Суслова и других лиц этого круга-времени царит удивительное единодушие. И действия определенных людей, и сам подбор этих людей на вершине общественной пирамиды, и возможности, которыми они располагали, и природа массового терпения (трудно отрицать, что оно существовало) все еще нуждаются в обстоятельном анализе. Без него необъяснима “связь времен” нашей истории, и вовсе не потому, что застой — самый долгий ее этап. Он оказался итоговым, а потому ключевым для понимания предшествовавших периодов, прикрывавшихся звонкими словами о великих успехах, грандиозных преобразованиях и еще более величественных целях.

Именно эта эпоха — закономерное наследие дискредитированного массового насилия, неудачных попыток реформы, деморализации, разочарования, усталости, прикрывавшихся высокими словами. Это то застойное болото, куда впадают многие бурные и мутные потоки нашей послеоктябрьской истории. Здесь кульминация и итог неэкономического хозяйствования, недемократического управления и идеологического двоемыслия.

Но время это не только высвечивает всю нашу историю. Оно и ныне с нами и в нас. Здесь окончательно сформировался экономический, социальный и психологический механизм, который мешает обществу — и, видимо, долго еще будет мешать — выбраться из трясины. Древние говорили, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Но в трясины застоя, еще не выбравшись из нее до конца, можно скатиться вновь:

всякое сползание вниз и для человека, и для общества куда легче, чем подъем.

Во все предшествующие времена советской истории (война, естественно, не в счет) провозглашались лозунги и реально действовали стимулы общественных преобразований. Утратив в начале 20-х годов революционный дух, общество и власть сохраняли революционные претензии: неисчислимые жертвы приносились во имя достижения начертанных свыше ориентиров, высшим законом общественной жизни оставалось постоянное насилие над большинством со стороны правящей иерархии, которая провозгласила себя носителем конечной истины и выразителем подлинных интересов народа и самой истории. Общество оставалось принципиально нестабильным, несбалансированным по всем параметрам — вплоть до экономических пропорций и соотношений производства и потребления. Правда, в пору определенного “первоперестроенного” отрезвления преобразовательный пыл несколько ослаб и сводился к торжественным декларациям о построении коммунизма при “нынешнем поколении советских людей” или “победе в мирном соревновании” (в хрущевском недипломатическом просторечии это звучало как “мы вас похороним!”). Сомнительно, чтобы сам автор этих лозунгов верил в их реальность, практически никто их не принимал всерьез — это был обычный для советской жизни идеологический камуфляж. Действительный смысл преобразовательских начинаний Хрущева во второй половине его “царствования” сводился к нескончаемым административно-управленческим перетряскам.

Пришедшая им на смену брежневская эпоха была первой и единственной, которая провозгласила своей целью собственное самосохранение. Ключевым словом, словесным символом эпохи стала “стабилизация” (сам термин вошел в политический оборот после вторжения в Чехословакию в августе 1968 г., но он, несомненно, имел и обратную силу). Правда, осталась как будто в силе партийная программа 1961 г. с ее фантастическими обещаниями, продолжались “стройки века”, время от времени предпринимались и попытки при удобном случае расширить зону влияния мировой системы в сторону африканских пустынь и афганских ущелий. И, конечно же, продолжались необратимые и дестабилизирующие процессы в самом обществе и его экономике — истощение сырьевых и прочих ресурсов, разрушение деревни и пр.

И все же принцип стабилизации, баланса, самосохранения неверно было бы считать просто очередным пропагандистским лозунгом, он реально действовал и определял характер общества и его властей. Даже невосполнимая растрата сил и средств требовалась для поддержания хоть какого-то баланса (при отсутствии факторов реального прогресса). Неэффективные в принципе попытки территориальной экспансии, равно как и бессмысленно опасные “ракетные игры” (например, с РСД), выполняли функции поддержания ситуации угрозы по отношению к противной стороне; сама же эта ситуация, которая для страны оборачивалась высоким уровнем милитаризации экономики и заодно с ней и внешней политики, пропаганды и т.д., поддерживала мировой престиж мировой державы, поскольку никакими иными силами (экономического или технического прогресса) добиться этого было невозможно.

Сложился и как будто приобрели надежность социально-политические механизмы балансировки различных областей жизни. Напри-

мер, таким механизмом можно считать сочетание умеренных требований к культуре и качеству труда с умеренными же ожиданиями в отношении его вознаграждения (афористически это звучало как “мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят”). Никто больше не требовал абсолютного послушания и единомыслия, достаточно было соблюдения неких “рамок” допустимого. Избирательные политические репрессии, характерные для эпохи, ориентировались не на тотальное выжигание “крамолы”, а, скорее, на поддержание таких условных рамок. Основой внешней политики оставалось соблюдение “ялтинских” сфер влияния. Как известно, за несколько часов до начала карательной экспедиции в Чехословакии американский президент Л.Джонсон был специально предупрежден, что речь идет о наведении порядка среди “своих” при неизбежности раздела пресловутых сфер. По сути дела, на поддержании этого раздела строилась политика, получившая позже название разрядки, или “детанта”.

В любой сфере и на любом уровне попытки сохранить статус-кво зжидились на некоем практически нащупанном балансе интересов. Казалось — и громогласно провозглашалось, — что сложилось достаточно прочное равновесие сил и интересов, которое “всех устраивает”. На деле же вся эта система многоярусных уравновешиваний никогда не обрела стабильности. Вся связка “балансов” была не ультрастабильной, а, напротив, крайне хрупкой.

Баланс сил “наверху”

В 50-е годы общая картина выглядела так: существовали политически незрелое и инертное, только начавшее пробуждаться после кровавого террора общество и власть, непрерывно экспериментирующая во всех сферах социальной жизни, ищущая — хотя и неумело, непоследовательно — выходы из глухих тупиков сталинизма. После октября 1964 г. роли поменялись. Представления властей о должном и допустимом становились все более консервативными, а их поведение — охранительным. Общество же созревало и прозревало, открывало себя и мир, выдвигало постепенно кристаллизовавшиеся идейные течения, начинало искать выход в социальной и политической активности. Без этого были бы невозможны март 1985 г. и перестройка.

Эпоху застойной деградации общества открывает этап, когда многое еще оставалось невыявленным, когда в чем-то продолжала действовать инерция предшествующего периода, а сама политическая и идеологическая контрреформа на первых порах могла расцениваться как взвешенная реакция на раздражавшие многих эксцессы “волютаризма” и “субъективизма”. В этой изначальной нераспознаваемости, вообще говоря, серьезная опасность и поучительный урок многих политических поворотов.

В октябре 1964 г. посты Н.Хрущева поделили Л.Брежнев и А.Косыгин. Это была главная и, по существу, единственная перестановка в верхнем эшелоне власти. Чуть позже ушел А. Микоян, и на видных местах стали появляться три портрета — Брежнева, Косыгина, Подгорного. Триумvirат, впрочем, был фиктивным: серия интриг на верхушке правившей пирамиды вела ко все более полному сосредоточению власти в руках Брежнева и тех немногих, кто правил с ним и принимал решения

вместо него (например, Суслов позже — Устинова). Но в общем состав центральных партийных органов изменился очень мало. Когда на XXIII съезде, полтора года спустя, пришла пора обновления ЦК, избранного еще в 1961 г., из 195 его членов лишь 26 человек не входили прежде в руководящие органы партии, а выбыло (в том числе по причине смерти) всего 35 его прежних членов.

Смена политического курса при минимальных кадровых перемещениях в верхних эшелонах власти — такова отличительная черта октябрьского переворота 1964 г. Из этого, видимо, можно заключить, что идеи XX и XXII съездов оставались актуальными лишь для Н.Хрущева и не были забыты его окружением лишь вследствие личного его влияния и авторитета его постов. В последние годы правления Хрущева реформаторские импульсы его политики в значительной мере исчерпали себя. Ушел Хрущев — ушла и политика, проводившаяся при показном единодушии.

Смещение Хрущева созрело как сговор узкой группы лиц, обещавших себе поддержку руководителей партийного аппарата, армии и госбезопасности. Относительная независимость лидера от его ближайшего окружения не обеспечивала его безопасности, скорее даже способствовала сплочению недовольных соратников. Легкость, с которой была осуществлена эта акция, объясняется двумя обстоятельствами.

Во-первых, смену лидера не надо было выносить на суд не только народа, но и партии. Каждое решение руководства со времен Сталина считалось "единственно правильным". И хотя в официальное объяснение причин, по которым был смещен вчера еще "наш дорогой Никита Сергеевич", никто не поверил, способ смещения никого не удивил.

Во-вторых, новые лидеры, а не Хрущев были подлинными выразителями коренных интересов обширного социального слоя, состоявшего из партийных и государственных чиновников, хозяйственных руководителей, генералитета, кормившегося около науки и интеллигентства и т.д., прошедших политический, культурный и нравственный отбор в годы террора и продвинувшихся по ступеням иерархической пирамиды в последующий период.

Сталинизм дал им огромную, непререкаемую власть над согражданами и завидные привилегии, а наследие XX съезда вернуло ощущение личной безопасности. Теперь, консолидировавшись как социальный слой со сравнительно устойчивым составом и установленными им самим способами пополнения (анкетно-аппаратный отбор, выдаваемый за "ленинские принципы подбора кадров"), они претендовали на большее: защищенность и от углубления демократических процессов, и от "субъективистских" решений, при которых "волюнтарист", оказавшийся в центре системы, мог принимать произвольные решения: кому отправляться "на ярмарку", а кому — "с ярмарки".

Осенью 1964 г. решил — не временно, как тогда многие думали, а на два десятка лет — главный вопрос: о власти. Она перешла в руки самого устойчивого в нашей истории блока, включившего вчерашних умеренных сторонников Хрущева, ставших "либеральными" консерваторами, все более коррумпировавшихся аппаратчиков в центре и на местах, прагматических карьеристов, их научную и идеологическую службу. К силам поддержки этого блока можно отнести и политически активных несталинистов (большинство которых, конечно, не желало

возрождения массового террора, но требовало "выборочных" репрессий и не уставало выражать тоску по "порядку"), и начавшие прорезаться националистически-консервативные ("чернопочвенные") течения.

Впрочем, блок этот консолидировался не сразу, да и политический курс некоторое время оставался неясным: видимо, одолевшие Хрущева вчерашние его сподвижники сами были ошеломлены победой и еще не вполне представляли, как следует распорядиться своей властью. Некоторые из их первых шагов подавали надежду не только бюрократии.

Была реабилитирована генетика и покончено наконец с дутым авторитетом Т. Лысенко. От разгона была спасена Академия наук (не угодившая начальству отказом избрать в свой состав одного из бездарнейших ставленников Т.Лысенко). Отказались и от сумасбродного проекта слияния творческих союзов в единую организацию. Признавая необходимость научно-технической революции, которая как-то прошла мимо нас, стали говорить о научном управлении обществом, об уважении к науке и научной интеллигенции и т.д. (далее торжественных заявлений, как правило, не шли). Было спасено от нависшей над ним реформы русское правописание (политической перемене мы обязаны тем, что не пишем сегодня "заец", "молодеж" и "отци").

Если рассматривать все подобные моменты рациональных изменений (к ним, конечно, относятся и ликвидация партийного "двоевластия", и упорядочение отношений с ООН и пр.), то можно предположить, что в начальный, переходный период послехрущевского руководства — примерно до 1968 г. — еще как будто имелись какие-то предпосылки для соединения разумных сил общества на более или менее реальной основе углубления и упрочения сдвигов "эпохи XX съезда".

Эти возможности не были, а, возможно, и не могли быть реализованы. Три принципиально важных события: неудача экономической реформы, противопоставление власти демократически настроенной интеллигенции, наконец, подавление вооруженной силой реформаторского движения в Чехословакии — определили выбор "лица" эпохи.

Ее признаки достаточно четко обозначились уже в 1966 г. на XXIII съезде КПСС. На нем силы, которые осуществили октябрьский переворот 1964 г., получили, как мы уже говорили, то, чего им все более недоставало, — стабильность власти, гарантированность карьеры и привилегий (разумеется, при конформном поведении). Из Устава были удалены пункты о квотах обновления партийных органов и предельных сроках пребывания на выборных постах. После чехарды с реорганизациями, смещениями и назначениями владыки местного и союзного масштаба наконец-то могли вздохнуть спокойно, и Д.Кунаев вполне искренне произносил с трибуны съезда, что нынешний стиль руководства партии вселяет чувство уверенности, умножает наши силы. Именно на XXIII съезде партийная и государственная бюрократия взяла реванш за годы неуверенности, неустойчивости, унижительной слабости. Она ничего не забыла и кое-чему научилась. Она признала новых лидеров за своих. Она передвигала верных людей из резерва в верхний эшелон: в составе ЦК появились Н.Байбаков, А.Епишев, М.Зимянин, Г.Романов, Н.Тихонов, С.Трапезников, кандидатами в члены ЦК стали К.Черненко и Н.Щелоков, а в числе членов Центральной Ревизионной Комиссии появился А. Одылов (Адылов). Она утвердилась в том, что послабления

интеллигенции, печати недопустимы. Она старательно вычеркивала тот вариант развития, который приоткрылся было перед страной в 50-е годы.

Экономическая реформа: причины провала

Через год после смещения Н.Хрущева, после доклада А.Косыгина на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС, была провозглашена и начата экономическая реформа. Основным содержанием ее было:

- расширение самостоятельности предприятий;
- усиление прямых договорных связей между предприятиями по поставкам продукции;
- установление экономически обоснованных цен;
- материальное стимулирование коллективов предприятий в зависимости от результатов их работы.

(Не правда ли, все знакомые уже нынешним поколениям задачи?)

Ну и, наконец, ориентация не на выполнение плана по номенклатуре, как раньше, а оценка деятельности предприятий такими "капиталистическими" показателями, как рентабельность и прибыль (трудно сейчас себе представить, какое это было "потрясение основ", сколько копий ломалось и сломалось при доказательстве своей правоты сторонниками и противниками этих "буржуазных" нововведений). Впервые тогда заявили себя "рыночники", однако в отличие от времен нынешних считалось, что рынок будет развиваться при ведущей роли плана. В 1967 г. была проведена реформа цен. Новые цены, как считали обосновывающие их введении экономисты, должны были полностью и единообразно отражать общественные издержки производства.

Несмотря на будоражащую западную "упаковку", "все, как у людей" не получалось и получиться не могло: система показателей лишь по названию напоминала западные аналоги. Величина их должна была не определяться сложными рыночными отношениями современного западного хозяйства, а рассчитываться по непонятным ценам и, самое главное, у творцов реформы еще не развевялась иллюзия совместимости достаточно жесткой плановой системы Госплана или другого органа, определяющего потребности (правда, "по науке", с помощью ЭВМ и экономико-математических методов) и способы их удовлетворения, и рынка. Рынок должен был сложиться весьма странный, ибо даже в проекте реформы оставалась нерушимой кредитно-финансовая система, созданная в начале 30-х годов и адекватная натуральному, командно-административному управлению и, следовательно, важнейшего условия рыночного хозяйства — денег как всеобщего эквивалента — в обновленном хозяйстве не возникало.

Нерушимым остался и принцип исключительно государственно-бюрократической — "ничьей" — собственности. То, на чем держится современный реальный рынок — свобода перемещения, права человека, социальные механизмы защиты и организации работников и т. д. — даже не упоминалось (да и не было понимания того, что буйная экономическая растительность не вырастет на песке, а потребует хорошо удобренной социальной почвы).

Многострадальное сельское хозяйство, замученное бесконечными укрупнениями, новыми видами управления, экспериментами с тех-

ником и т.д., так и осталось — даже в проекте реформы — под жестким контролем (всякие попытки “выбиться из ряда”, вроде худенковской жестко пресекались).

Наконец, реформа была тихо сведена на нет начальственными распоряжениями, а всякое употребление слова “рынок” или “конкуренция” стало почти криминальным. Жупел “рыночного социализма”, ассоциировавшегося с задавленным танками чешским вариантом развития и, конечно, несовместимого с социализмом “реальным”, оказался очень удобным для пресечения всяческих реформаторских попыток.

Интеллигенция и власть между “кнутом и пряником”

Если традиционной линией по отношению к интеллигенции всегда была политика “кнута и пряника”, то новое руководство страны эту вечную формулу как бы перевернуло, провозгласив политику “пряника и кнута”. В роли “пряника” выступали торжественные заверения, о которых сказано выше. Время от времени в печати появлялись материалы, призванные, по-видимому, успокоить публику, встревоженную с самого октябрьского переворота 1964 г. опасностью возврата к мрачным временам сталинизма. Такую роль сыграли, например, две большие статьи, опубликованные в 1965 г. в “Правде” ее тогдашним главным редактором А.М.Румянцевым.

Что же касается линии “кнута”, то она была обозначена довольно быстро и со всей отчетливостью. Целый ряд карательных действий, предпринятых высшими идеологическими инстанциями в отношении виднейших деятелей науки, литературы и искусства в 1966—1969 г.г. предостерегал: научную и прочую интеллигенцию будут лелеять за казенный счет или по крайней мере терпеть только до тех пор, пока она будет знать отведенное ей место в обществе (заниматься своим делом у машин, приборов и пр.) и не вмешиваться в государственные дела. (Этот испытанный принцип подкупа, запугивания и морального развращения интеллигенции превосходно описан Г. Х. Поповым). Тех, кто решался нарушить предложенную сделку, а тем самым и все “нерушимое единство” руководства и народа, клеймили, унижали, изгоняли. Ярлык “врага народа” отработал свое и уже не употреблялся. Был изобретен другой, более соответствовавший эпохе и ставший даже ее эмблемой, ярлык *отщепенца*. “Врагов” уводили по ночам, и занимались этим люди специального ведомства. “Отщепенцев” проклинали при свете дня, притом — что особо важно — силами собственных трудовых, научных, учебных и прочих коллективов. В интересах самосохранения, а точнее, сохранения собственных благ, привилегий и милостей начальства, соседи, друзья и коллеги устно и печатно, на публичных собраниях и в “открытых” верноподданнических письмах клеймили тех, кто решился на инакомыслие, и отмежевывались, отрекались, отказывались... Говоря словами поэта, бывали хуже времена, но не было подлей...

Первый повод для “выяснения отношений” между властью и интеллигенцией оказался как будто случайным: речь идет о так называемом “деле Синявского—Даниэля” и о том, что за ним последовало. Осенью 1965 г. были арестованы два писателя, которые опубликовали за рубежом под псевдонимами несколько произведений резко критической направленности. (Сегодняшний советский читатель уже знаком с ними

по массовым изданиям и может судить сам, насколько отличались литературно-политические порядки середины 60-х от нормальных.) Шумная кампания травли, поднятая вокруг мнимых “злодеяний” двух писателей, проходила при активном участии писательского начальства, академических властей и прочих официальных лидеров казенного интеллектуализма, спасавших собственные мундиры и пытавшихся сохранить тишину и порядок во вверенных им вотчинах.

На XXIII съезде партии “сам” Л.Брежнев клеймил “ремесленников от искусства... которые избирают своей специальностью очернение нашего строя, клевету на наш героический народ”¹. «Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20-е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а “руководствуясь революционным правосознанием” (аплодисменты), ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! (Аплодисменты.) А тут, видите ли, еще рассуждают о “суровости” приговора”²», — говорил с трибуны съезда М.Шолохов.

На первый взгляд могло показаться, что реакция власть имущих была неадекватной, но счет предъявлялся не только осужденным писателям. Озлобление против свободной мысли и свободного слова, решимость покончить с разоблачениями сталинского периода и восстановить нарушенную субординацию — все, что так долго копилось в кабинетах и коридорах, — теперь провозглашалось с трибуны съезда секретарями обкомов и руководителями идеологических ведомств.

И.Бодюл, В.Конотоп, М.Соломенцев, Н.Егорычев, А.Епишев, С.Павлов и др. обличали “Новый мир” и “Юность”, “носителей безыдейности и мелкобуржуазной распущенности”, которые “под флагом свободы творчества... под предлогом борьбы с последствиями культа личности... под видом поборников исторической правды и достоверности... кокетничают перед зеркалом истории”, “охаивают”, “чернят”, “типизируют единичные факты”, “тенденциозно искажают”, “выискивают в политической жизни страны какие-то элементы так называемого сталинизма”. “Не выйдет, господа!” — восклицали ораторы, и зал отвечал аплодисментами.

Позорный суд над Даниэлем и Синявским положил начало сложному цепному процессу. А.Гинзбург и Ю.Галансков опубликовали (в “самиздате” и за рубежом) материалы этого процесса и поплатились за это свободой. Тогда появился целый ряд коллективных писем в их защиту — их подписали сотни людей (в основном из среды научной и гуманитарной интеллигенции) по всей стране. Первоначально вся эта кампания развивалась довольно спокойно и без помех. Но весной 1968 г. взбудораженные и напуганные развитием ситуации в Чехословакии высшие власти — при полном содействии тогдашнего руководства Академии наук — решили нанести удар и тем остановить процесс. “Подписантов” обвинили в подрыве авторитета государства, стали пачками исключать из партии (впрочем, некоторых раскаявшихся оставляли с выговором), снимали с работы. Многим позже пришлось покинуть страну. С рассказа об этой позорной истории началось “Хроника текущих событий”, самое известное “самиздатское” периодическое издание (тот год, по случайному совпадению, ООН объявила “годом прав человека”).

¹ XXIII съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1966, с. 83.

² Там же, с. 358.

Так было положено начало так называемому диссидентскому (демократическому) движению в стране и регулярной "самиздатской" периодике. Издания появлялись и прекращались из-за непрерывных преследований, процессы "отщепенцев" следовали один за другим.

С самого начала обнаружилось существование нескольких потоков "самиздата" и "диссидентского" движения.

Наиболее влиятельным был, по всей видимости, тот, который непосредственно продолжал движение "подписантов". Его направление выражалось в заявлениях А.Д.Сахарова, деятельности Инициативного комитета защиты прав человека, Хельсинкской группы и др. Здесь отстаивались идеи демократических прав человека, высказывались, притом обычно довольно сдержанно, надежды на демократизацию советского общества.

С требованиями защиты прав человека выступали и группы, видевшие свою задачу в том, чтобы объяснить обществу и руководству страны необходимость вернуться к подлинным, ленинским планам создания социализма. Фактически они стремились продолжить традицию внутренней критики социализма, ведущую начало с оппозиций 20-х и начала 30-х годов, продолжавшуюся "младобольшевицкими" выступлениями в годы хрущевской "оттепели".

В 70-е годы получили распространение взгляды и концепции, которые принято — не вполне точно — именовать неославянофильскими, или неопочвенными. Не вполне точно — потому что славянофильство времен Аксакова или почвенничество у Достоевского было связано с просветительскими устремлениями и далеко не во всем противопоставляло себя Западу и миру (знаменитая идея "двух родин" Достоевского). В наших же условиях под лозунгами "почвы" выступили сторонники изолированности и исключительности России и русского. Яркая и справедливая критика принудительного "раскрестьянивания" и уничтожения национальной культуры, плач по земле и деревне все чаще переходили в проповедь враждебности ко всему непривычному и инонациональному. "Верхушку" этого довольно влиятельного течения составляла часть "деревенской" литературы, получившей признание и популярность именно в застойные времена; более политизированные и откровенно ксенофобские лозунги публиковались только в нескольких "самиздатских" журналах и сборниках.

Кроме перечисленных, имелись и другие идейные течения, находившие выражение в "самиздате", — религиозно-философские, национально-религиозные, национально-возрожденческие, связанные с идеями эмиграционных движений и др.

Надо отметить, что все это вовсе не была строго "нелегальная" литература: часть изданий выходила с именами и адресами редакторов, другая, будучи анонимной, не была столь засекреченной, чтобы полностью избежать бдительного ока "компетентных" органов. По всей видимости, придерживаясь линии на эффективность выборочных, адресных репрессий, оные органы до поры как будто терпели ряд самостоятельных изданий, время от времени оказывали на их организаторов, ограничивали распространение, стимулировали подозрительность среди правозащитников, использовали "включенную" агентуру и т.д. Взаимные споры и подозрения в доноситељстве нанесли немалый ущерб всем течениям самостоятельной общественной мысли.

Избавиться от страха

Быть может, главное из собственных изобретений эпохи застоя — создание высокоэффективного, не в пример экономике, механизма дифференцированных, адресных репрессий. Чтобы восстановить видимость "единомыслия", вовсе не потребовалось обращаться к массовому террору.

Для начала решено было протестующих "отщепенцев" проучить средствами "общественного воздействия". И начали учить, изгоняя из партии, с работы, отлучая от науки, литературы, зарплаты, а впоследствии — и от дыма отечества. И делали это все главным образом руками коллег по перу и науке, вчерашних друзей-товарищей, под гул "одобряющей" толпы, в испуганном молчании, а то и вовлекая в игру кающихся грешников. А после того как ухнули "дубинушкой", все как бы само пошло, процесс за процессом, проклинание за покаянием или наоборот, так что власти предержавшие могли порой даже выступать в роли милостивых спасителей от линчевания. Сказалось духовное наследие сталинизма, который не только уничтожал, но и растлевал людей духовно, прививал панический страх перед самостоятельной мыслью и несанкционированным действием, особенно коллективным.

Мы говорим об инерции страха, который как будто сохранял свое воздействие на людей годы и десятилетия, после того как рухнула система тотального устрашения. Но сам этот феномен требует своего объяснения, тем более что приходили в жизнь новые и уже как будто заранее запуганные поколения. Это значит, что продолжали действовать механизмы общества, воспроизводившие устрашение и готовность подчиниться ему. Психологи, историки и другие знатоки человеческих душ до сих пор не выяснили до конца чудовищный ряд духовных капитуляций "эпохи 1937-го", когда сильные люди каялись и оговаривали других. Сегодня мы довольно хорошо представляем, что тогда ломало людей. А потом, в "почти либеральные" брежневские времена?

По крайней мере три фактора здесь продолжали (и продолжают) действовать.

Сохранена была практически в целости система всеобщего, близкого к крепостному, порабощения человека государством. Возможности квалифицированной работы по специальности, продвижения по службе, право на жилье и прочие даруемые свыше блага, а уж тем более привилегии международных контактов и выездов — все это звенья цепи, приковывающей человека к государственной колеснице. До тех пор, пока реализация всех этих — вполне обычных, записанных в Конституции — прав зависит от милости начальства, от характеристик, рекомендаций и пр., до тех пор, пока все эти блага и милости могут оборваться "компроматом", доносом, сомнением сверху, со стороны коллег или "доброжелателей", сохраняется и воспроизводится страх.

Пока коллектив, цех, лаборатория спасают себя, свое привилегированное положение, поскольку во всеобщей системе привилегированное положение является привилегированным, отторгая и клеймя всякого носителя бациллы инакомыслия, пока существует вся эта средневековая система круговой поруки и коллективного заложничества, сохраняется и воспроизводится страх.

И, наконец, хотя далеко не в последнюю очередь, существует сам

человек как социальный тип личности, как продукт социального отбора и направленного воспитания на протяжении многих десятилетий. Человек, который не столько хочет чего-либо добиться, сколько боится потерять то, что есть, преступить, выбиться из ряда, встретить осуждающий взгляд. *В социальной генетике, в отличие от биологической, приобретенные признаки наследуются!*

Человек, выросший свободным, уверенным в своем человеческом праве — не говоря уже о правах социальных и гражданских, — может идти один против всех, когда он считает, что прав. Но это очень трудно сделать тому, кто жив лишь милостью начальства и социальной среды, а типичный продукт времени был и остается именно таким. Отсюда — многократные коллективные предательства, не столь частые, но все же постоянно повторявшиеся акты показных раскаяний “отступников”. Они не всегда были просто лицемерными: немало людей пугалось собственной смелости, видя перед собой глухую стену равнодушия, слыша со стороны друзей и близких перепуганный шепот: “Зря высовывается... всех подводите...”

Однако в обществе, вдохнувшем “глоток свободы”, нашлись люди, которых уже трудно было запугать репрессиями по службе, купить карьерой, привилегиями, заграничными командировками и бог весть чем еще. Для них была разработана детально градуированная шкала более и менее суровых мер. Лишение свободы предусматривалось за “распространение клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй”, — до 3 лет на основе статьи 190¹, пополнившей Уголовный кодекс в 1966 г. (практически за “самиздат”), и до 7 лет на основе статьи, перешедшей из кодекса сталинских времен, за те же деяния, квалифицируемые как “агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти” (ст. 70). Граница между сферой действия той и другой статей была более чем условна и при заведомой предешенности приговоров, выносимых “независимым” судом, открывала дополнительные возможности управлять поведением обвиняемого, некоторых принуждать к публичному покаянию и т.д.

Непризнанному движению протеста, так называемому диссидентскому или демократическому (сейчас газеты отнесли бы его к числу демократических и неформальных), были свойственны и сильные, и слабые стороны; порой, вероятно, в нем сказывались амбиции отдельных участников и прямые результаты внешнего давления разного рода. Но несомненно, что впервые в истории последних десятилетий сложилась и выдержала многие испытания линия общественного протеста. Когда-нибудь придется подсчитывать, скольких талантливых и твердых духом людей лишилось общество, поскольку они не получили возможности для конструктивной работы общественного обновления.

Настойчивые усилия по разложению, подавлению, а позже и изгнанию из пределов страны людей, “виновных” лишь в том, что они стремились отстаивать права на гласность и творчество, не только привели к деформациям в духовной и культурной жизни, но и имели своим следствием неоправданное и беспрецедентное раздувание сугубо идеологических функций государственных служб, прежде всего ведомства безопасности. Возникла ситуация, когда непосредственно на КГБ была возложена миссия верховной политической цензуры, распространившаяся от политических публикаций до театральных постановок: обычного “цыканья”

партначальников было уже недостаточно.

Эти репрессии в основном были развернуты в 70-е годы. Но еще до того властям удалось многого добиться. Во-первых, несмотря на все ранее сделанные разоблачения сталинских репрессий, в партийном и государственном аппарате, в судах, в системе КГБ, находящейся вне сферы какого бы то ни было публичного обсуждения, сохранилось достаточно сил и "прав", чтобы творить произвол. Во-вторых — и это еще важнее, — довольно быстро удалось отсечь активно сопротивляющихся (позже кто-то подбросил имя страшного врага — "диссидент", по-русски — просто думающий иначе) от общества и даже от довольно многочисленного "либерального" слоя интеллигентов.

Говорят, что общество, не способное выдвигать героев и праведников, обречено. Такие люди у нас были, долгое время одиноко звучал их голос, и даже самым непримиримым противникам казенного лицемерия (по сегодняшним меркам — либерально или реформаторски мыслящим людям) открытый протест против двоедушия — "жить не по лжи" — казался беспочвенным и опасным максимализмом.

Осенью 1969 г. единодушно изгнали из Союза А.Солженицына, а потом и тех, кто пытался его защищать. С А.Сахаровым было посложнее. Его возрастающая политическая активность вызывала подлинный переполох в стране ревнителей "идеологической дисциплины". Но его обращения до поры до времени падали в пустоту. Их многие читали, передавали из рук в руки, перепечатаывали. И молчали. Машина "единодушия" одобрения и осуждения действовала почти безотказно.

Да, счет прямым жертвам шел на десятки и сотни, не на миллионы. Но неправый суд бил не только по осужденным. От несправедливости, хотя бы в отношении одного-единственного человека, учиненной, конечно же, "во имя общества", страдает все общество, даже если оно не осознает этого. "Мученики догмата, вы тоже жертвы века", — писал Пастернак еще в молодости. А мученики страха? А верноподанные "единодушия"? А те, кто поднимал руку в пароксизме коллективного действия или просто чтоб не выделяться? Кто делал вид, что "это" его не касается. Кто сберегал себя для "более важного" дела. И кто в бессильном отчаянии сжимал кулаки. Сегодня об этом нельзя не помнить. (Кстати, ведь и счета здесь еще не оплачены: пока не отменены несправедливые приговоры, не начислены компенсации, не названы публично имена доносчиков, — а надо бы.)

Система тотального устрашения ушла, оставив после себя действительную и способную самовоспроизводиться инерцию страха, — страха уже не за жизнь, не за физическое выживание свое и детей.

И все же прямой победы горстки смельчаков над системой всеобщего устрашения и лицемерного единодушного послушания не было и не могло быть. Но система дала трещину: была подорвана идея ее всемогущества, было доказано, что свободная мысль может звучать и может быть услышана. Что найдутся и такие люди, которые не дрогнут, и другие, которые не отвернутся от них. И это означало если не утро, то все же сумерки страха.

Не просто украшением, но существенным, формообразующим признаком эпохи с самого начала стали нескончаемые юбилеи, которые сопровождалась торжественной шумихой, громкими поздравлениями и обильными награждениями. Кроме юбилеев государственных и партий-

ных, со временем стали отмечать все более пышно юбилеи учреждений и руководящих лиц, главным достижением которых было дожитие до круглой даты (а впоследствии — и некруглой). Над этими государственными нравами недавнего прошлого сегодня трудно не иронизировать. Но они заслуживают и более серьезной оценки.

На смену временам героических надежд и иллюзий, устремленных в будущее, дням, когда мы жили “грядущим днем”, пришло время упоения достигнутыми успехами, реальными или мнимыми. А потом и оно сменилось эпохой “юбилейной”, ориентированной на воспоминания о свершениях прошлого, реальных или легендарных. Сознавали это или нет, но то было признанием, что эпохе не на что опереться в своем многовалимом настоящем и будущем.

Безудержно стало использоваться прилагательное “ленинский” по отношению к многообразным текстам и акциям начальственных лиц. Конечно, попытка создать иллюзию непосредственной преемственности власти и авторитета “от Ильича до Ильича” имела не больше шансов на успех, чем развернутое позднее превознесение литературных или полководческих талантов бесцветного лидера. Но все более утверждавшиеся правила игры были таковы, что требовался не столько какой-то реальный успех, сколько рапорт об успехе, иллюзия создания иллюзии, нечто вроде второй производной торжественной отписки.

Возможно, ирония судьбы состояла в том, чтобы господствовавшая идеология перед своим явным крушением приобрела самые гротескные, помпезно-“юбилейные” черты: Попытки изобразить конъюнктурно-охранительную политику продолжением так называемого ленинского курса в конечном счете обернулись глубокой переоценкой и дискредитацией всех авторитетов, столь торжественно поднимавшихся на щит пропаганды...

На протяжении нескольких десятилетий история нашего общества выступала лишь как подобие священной истории; она имела право на существование только как описание великих побед, славных свершений, безупречных героев. Не успели мы взглянуть на какие-то периоды, в частности на гражданскую и Отечественную войны, коллективизацию и 37-й год хотя бы критическими глазами XX и XXII съездов, как все попытки объективного научного исследования велено было забыть. Обозначилось и стремление под видом объективности реставрировать сталинский ореол. Речь шла не о том, чтобы втащить на самодержавный трон фигуру верховного вождя — ни трона, ни фигуры уже не существовало, — но о том, чтобы вставить его правление в “священный” ряд при неизбежных оговорках относительно отдельных “просчетов” и “отступлений”. Поступая так, шли навстречу чувствам многих дезориентированных людей. Но главное, чем были озабочены идеологи и пропагандисты, — это подтвердить пошатнувшееся было представление о единственно правильном пути и благотворном характере его результатов.

Ключевыми словами пропаганды стали:

- возрастание руководящей роли партии,
- усиление идеологической борьбы,
- коренная противоположность двух систем,
- верность учению марксизма-ленинизма...

Эти слова произносились тем громче, чем меньше вкладывалось

в них смысла, чем меньше в провозглашаемые идеалы верили сами лидеры. Коррупция духа явилась предпосылкой и неизменным спутником коррупции всей правящей верхушки.

Однако давно известно, что времена общественной и политической неподвижности бывают благоприятными для внутренней работы творческого духа. Такая ситуация многократно описана по отношению к Германии XVIII в. или России XIX в. Так и наше время застоя оказалось — или, точнее, закономерно стало — временем пробуждения духовных потенций общества, формирования тех направлений мысли и страсти, которые способны двигать горы.

Самый краткий список происходившего здесь оказывается грандиозным по содержанию входящих в него событий.

В литературе — деятельность “Нового мира” во главе с А. Твардовским, прерванная в начале застоя, но не прекратившая своего влияния на последующие годы. Из этого горнила вышли целые направления — “городская” социально-критическая и исторически-аналитическая проза Ю. Трифонова, “военная” проза В. Быкова, Г. Бакланова, “деревенская” литература, своим первым взлетом открывшая обществу целый мир знаний и смыслов. Оттуда же в основном пошла еще и новая для нас волна “реальной критики”, то есть критики отраженного в литературе общества. Всплыла еще и молодая, дерзкая формой и содержанием литература. Для пробуждения общества огромное значение имело появление в кругу чтения таких авторов, как М. Булгаков и А. Платонов. Поначалу (до 1969 г.) еще из “Нового мира”, а потом через “батальоны самиздата” и из-за рубежа доходили до читателей наполненные горечью и болью страницы книг А. Солженицына.

В искусстве вопреки яростному сопротивлению “охранителей” принципов рушились каноны казенного оптимизма и псевдореализма, пробивало дорогу многообразие способов выражения и подходов к реальности. В 70-е годы выступили и утвердились новые течения в кино, театре, в большой мере сломанными оказались запреты и запреты, наложенные на живопись, музыку и т.д.

В условиях нарастающей дискредитации официального лицемерия все более широкий круг приходил к необходимости поиска новых ценностных ориентиров. Входили в моду художественные и философские искания русского “серебряного века”, в интеллигентной среде повысилось внимание к религиозной мысли, наметились признаки церковного возрождения.

Уроки 68-го

Чехословацкие события того времени — от “пражской весны” до ее принудительного прекращения после августа 1968 г. — сегодня широко и свободно освещаются в печати, в том числе у нас. Даны принципиальные оценки их трагического значения для чехословацкого общества, названы поименно виновники и пособники... Но пока не показано, что означали эти события для нас самих, для судеб советского общества.

Между тем был слишком важный момент *нашего* собственного развития — политического и идеологического.

В Чехословакии была предпринята одна из самых глубоких попыток реформировать ту модель социализма, которую привыкли считать "единственно верной". Отметим два важных момента.

Во-первых, в массовом движении за реформы, развернувшимся в Чехословакии, присутствовало сильное обновленческое, демократическое и социалистическое начало, которое не выглядело чрезмерно радикальным в свете того, что мы знаем и пытаемся осуществить сегодня.

Во-вторых, стремление сопротивляться диктату извне, незаметное вначале, постепенно усиливалось по мере того как все резче обозначалась сначала подозрительность, а затем и нарастающая враждебность со стороны тогдашнего советского руководства и средств массовой информации, которые повели яростную кампанию дезинформации и клеветы. Под флагом защиты социализма из всех сил стремились сохранить элементы сталинизма, его политические и экономические структуры, его международную практику и идеологические символы.

Трудно представить, что люди, говорившие о неизбежности "силового" решения в роковом августе 1968-го, верили собственным заявлениям о "разгуле" антисоциалистических сил в Чехословакии, об угрозе вторжения в страну американских и западногерманских войск и т.д. Скорее всего здесь работала застарелая инерция стереотипа, согласно которому требовался возможно более жесткий "образ врага": считалось, что "так надо", ибо иначе "нас не поймут". Так сохранялась одна из самых вредных и самых живучих традиций идеологизированной диктатуры — *традиция двоемыслия*. Окончательным крушением экономической реформы 1965 г. (в которой ее немалочисленные противники увидели сходство с проектом Ота Шика), воцарением догматической заскорузлости в теории и разгулом идеологических опричников, выискивавших "пражский дух" в каждой свободной мысли, мобилизацией аппарата госбезопасности для подавления "инакомыслия", рядом международных обострений, кризисом в мировом коммунистическом движении и многими другими явлениями эпохи так называемого застоя, наконец, самой продолжительностью этого времени мы в огромной степени обязаны той линии, которая победила в августе 1968 г. Если бы остереглись тогда (или если бы "акция" не увенчалась желаемым "успехом"), возможно, не возникло бы и искушения военного решения в Афганистане в 1979 г.

* * *

В 1968–1969 гг. закончился "переходный" период. В Чехословакии удалось добиться "нормализации". Большинство социалистических государств приняло концепцию, которую на Западе нарекли "доктриной Брежнева". Под лозунгом "высших интересов социализма" она утверждала правомерность прямого диктата и вмешательства в дела "своих" стран.

Победители, однако, не властны были приостановить вползание страны в глубокий социальный кризис, нарастающее экономическое отставание, падение международного престижа: в сознании многих Советский Союз приобретал образ "танкового коммунизма". Социальная и нравственная коррозия затронула все слои и группы общества.

Застой — самый длинный, почти двадцатилетний период в жизни страны. Облик режима, стиль правления, способы решения проблем — да и результаты — вполне определились в первые его годы. Последующие годы отнюдь не были пустыми — происходило множество событий на всех уровнях жизни, от верхушечных интриг до массовых сдвигов.

В 70-е годы, после того как несколько спали первые волны протестов после акции в Чехословакии, была провозглашена “разрядка” — политика частичных сделок и обещаний в отношениях с западными державами при нежелании что-либо менять по существу во внешнеполитических ориентациях. К середине 70-х годов стало ясно, что разрядка зашла в тупик и в экономическом, и в военном аспектах. Не согласившись узаконить свободу эмиграции, не получили статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Не покончив с принципом вмешательства везде, где только удается, в пользу “прогрессивных” сил, не вызвали доверия к собственному миролюбию. Хельсинкская декларация 1975 г. осталась на бумаге, дальше пошли палками в колеса ракеты средней дальности в Европе, а за ними и афганская авантюра.

В отношении прав человека нашелся лишь один выход — изгнание и ссылка правозащитников (альтернатива — лагеря) и иных инакомыслящих. В 1974 — изгнание А.И.Солженицина. В 1980 — незаконная ссылка А.Д.Сахарова.

Нефтяной кризис 1973 — 1974 гг. на первых порах причинил Западу немало бед, но затем привел к скачку научно-технического прогресса. Мы же заработали на повышении экспортных цен на нефть многие миллиарды “незаработанных” долларов и не получили за них ни технического перевооружения, ни потребительского изобилия.

Относительно “спокойный” период застойного развития в 70-е годы сменился фазой явного кризиса после начала афганской войны.

На этой стадии выявилась едва ли не самая главная слабость всей социально-политической системы, достигшей апогея своего развития, — ее невоспроизводимость. Неспособный к обновлению режим дряхлел вместе со своими лидерами. Новые поколения приходили с новыми ценностями жизни. Краткосрочное правление Ю.В.Андропова с его попытками чисто внешними, милицейскими мерами “навести порядок”, ничего не изменяя в основных параметрах системы и правящей пирамиды, завершилось вознесением на высший пост еще одного беспомощного и бездарного умирающего старика. Неспособная к саморазвитию система должна была сломаться, и это произошло после апреля 1985-го.

ВЫСШАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ СОЦИАЛИЗМА¹

Все они теперь, собравшись у подножия горы, выли, махали руками, потрясали ружьями и тополами, но не двигались вперед ни на шаг.

Ж. Верн. Дети капитана Гранта

Согласно распространенной точке зрения, советская экономика управляется сверху директивными органами. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР, аппарат ЦК и Совета Министров или, на худой конец, Госплан СССР разрабатывают планы или их основные направления. Затем эти планы, спускаясь по иерархиям вниз к министерствам, главам, объединениям и предприятиям, конкретизируются и превращаются, наконец, в производственные задания предприятиям. *Административно-командная система* управляет страной...

Людам, анализовавшим в брежневскую эпоху обычную практику хозяйственного управления в нашей стране, реальность представлялась часто совсем в ином свете. В стране действовала не командная система, а *экономика согласований* — сложный *бюрократический рынок*, построенный на обмене-торговле, осуществляемой как органами власти, так и отдельными лицами. В отличие от обычного, денежного рынка товаров и услуг на бюрократическом рынке происходит обмен не только и даже, пожалуй, не столько материальными ценностями (товарами производственного назначения, предметами потребления или допусками к кормушкам и пайкам), но и властью и подчинением, правилами и исключениями из них, положением в обществе и вообще всем тем, что имеет какую-либо ценность. Согласие директора предприятия на увеличение плана может быть обменено, например, на улучшение его служебного реноме, дополнительную партию труб и незаконное разрешение нарушить одно из положений инструкции.

Бюрократический рынок так же, как и товарно-денежный, обладает стихийной способностью к саморегуляции. То, что на нем происходит, зависит от всех участников торга вместе и ни от кого в частности. Советский бюрократический рынок устойчиво гасит действия даже таких крупных диллеров, как ЦК КПСС или Совет Министров СССР. Их постановления и решения, касающиеся *усиления, улучшения, совершенствования, упразднения и создания*, а также *проведения радикальных, крупномасштабных экспериментов и реформ*, вызывают, как правило, лишь быстропроходящую рябь на поверхности народнохозяйственного болота. Стоит также заметить, что столь характерное для нашей страны от-

¹ Значительная часть изложенного в статье материала опирается на работу, выполненную В. А. Найшулем совместно с В. М. Константиновым и Ю. М. Родным (США) в 1979—1985 гг. и в основном опубликованную в: Константинов В., Найшуль В. Технология планового управления (препринт). М., ЦЭМИ АН СССР, 1986.

существование виноватых при наличии потерпевших является свойством именно рыночной, а не командной организации общества.

Общим для обычного и бюрократического рынка является еще и то, что насилия над ними имеют отрицательные последствия для экономики, причем в последнем случае они оказываются даже более разрушительными. Грубые вмешательства в нормальный процесс бюрократической торговли, сделанные с самыми честными намерениями, ухудшают и без того неблестящие результаты хозяйственной деятельности рынка "видимых рук", срывая с трудом поддерживаемые им народнохозяйственные балансы.

В то же самое время бюрократический рынок имеет ряд свойств, которые резко отличают его от обычного рынка и делают их антиподами. Основой обычного рынка являются экономические права участников, бюрократического — обязанности¹, экономическая активность в одном случае инициируется избытком, в другом — дефицитом, конкуренция действует соответственно в сфере производства и в сфере потребления.

В данной статье мы рассматриваем генезис бюрократического рынка в СССР, его основные характеристики, социально-экономические последствия его функционирования и возможности реформирования. Мы попытаемся показать, что бюрократический рынок брежневской эпохи олицетворяет собой все лучшее, что может быть создано в народном хозяйстве при социализме, что любые изменения и усовершенствования ухудшают результаты его деятельности, что его нельзя изменить, а можно только *заменить*.

Брежневская экономика явилась высшей и последней стадией социализма. Со стороны будущего к ней примыкает настоящий рынок, предпосылки для которого она создала в виде бюрократического антирынка. Со стороны прошлого она является порождением сталинской командной системы, формальные институты которой унаследовала в практически неизменном виде. Мы начнем статью с краткого описания сталинской модели, затем также коротко коснемся переходного периода от командной экономики к экономике согласований и, наконец, подробно остановимся на бюрократическом рынке и попытках его реформировать.

Переходя к основному тексту статьи, нельзя не сделать предварительно ряд методологических замечаний. Драматическим событиям нашей экономической истории в этой работе даются, как правило, экономические объяснения. Это отнюдь не означает, что автор считает их единственными или самыми важными. Будучи экономистами, мы, однако, не обсуждая сравнительную важность тех или иных причинно-следственных связей, в первую очередь сосредоточиваем внимание на экономических закономерностях.

В тексте статьи читатель найдет очень мало упоминаний о влиянии на экономическое развитие страны действий отдельных лиц, пусть даже облеченных высокой властью. Причиной этого является позиция автора, считающего функционирование общества по большей части результатом действия обстоятельств и имеющегося в обществе набора идей. Ничтож-

¹ Широин В. Устное сообщение.

ность множества политических фигур, которым отводится роль великих злодеев или благодетелей, не оставляет сомнения в малозначимости их личного вклада в то или иное развитие событий. Такой взгляд на историческую динамику оправдан еще и потому, что нацеливает исследователя на поиск закономерностей развития там, где противоположная позиция позволяет ограничиваться ссылкой на произвол отдельных исторических персонажей.

Современный исследователь советской экономики вынужден строить свои концепции в достаточно трудных условиях, когда большая часть фактов экономической истории СССР не вошла еще в широкий научный обиход и неизвестна даже узким специалистам. Поэтому самое реалистическое ее описание содержит неточности, которые были бы непростительны при других условиях научной работы. За все такие огрехи автор просит прощения у читателей, и особенно у специалистов, которым они режут слух так же, как музыкантам — фальшивые ноты.

Сталинские находки

Сталинская экономическая система состоялась в истории, а значит, оказалась способной решать стоявшие в то время перед страной задачи и утилизировать для этого имеющиеся ресурсы. Ее становление и существование стало возможным благодаря наличию в обществе технологических, идеологических и историко-культурных предпосылок, каждая из которых сыграла роль расколниковского топора, оказавшегося в нужное время на нужном месте для совершения преступления. Ниже мы сосредоточим внимание на соответствии сталинской системы поставленным перед ней *технологическим задачам* и лишь слегка коснемся ее взаимодействия с другими сферами общественной жизни.

Для того чтобы сделать описание связи технологии и системы хозяйственного управления более наглядным, в следующих двух разделах мы введем несколько понятий, которые пригодятся для описания не только сталинской, но и хрущевско-брежневской модели и сравнения их с западной рыночной экономикой.

Технологический язык

Доступные обществу технологические знания предлагают ему широкий спектр годных к целенаправленному употреблению технологий. Система хозяйственного управления (все равно — административная или рыночная) должна соединить их народнохозяйственными связями, обеспечивая каждой используемой технологии исходные ресурсы и утилизируя, направляя другим технологиям производимые ею продукты. Общественное производство можно представить как *технологическую карту*, на которой "городами" обозначены технологии, а "дорогами" — стрелками между ними — ресурсные потоки.

Для производства определенного вида продукции по данной технологии требуются входные ресурсы. В свою очередь, для производства каждого из них — новый набор ресурсов. Таким образом, каждому производимому продукту на технологической карте соответствует *де-*

рево сборки, которое отражает многоступенчатый процесс переработки исходных материалов в готовую продукцию. Задавшись целью произвести какой-либо продукт, мы будем вынуждены наладить изготовление всех продуктов, входящих в его дерево сборки. Вопрос — в каких количествах?

Большинство используемых в современном производстве технологий характеризуется ресурсной жесткостью. Это значит, что для таких технологий должны выдерживаться определенные пропорции между поступающими на вход ресурсами. Если хотя бы одного изделия, далеко не самого "существенного", как, например, маленькая резиновая прокладка для автомобиля, будет поставлено в два раза меньше, то и все производство автомобилей сократится вдвое. Все остальные входные ресурсы *омертвятся*, по крайней мере на данный момент.

Таким образом, каждая технология определяет, сколько ресурсов должно быть затрачено на изготовление единицы готовой продукции. Эти коэффициенты, которые мы везде в дальнейшем будем именовать *технологическими нормативами*, определяются вне сферы принятия экономических решений, задаются экзогенно по отношению к экономике.

Рассматривая действующую экономику, полезно считать технологиями не только производственные процессы, но и самих людей, участвующих в хозяйственной деятельности и в воспроизводстве рабочей силы. Человек, однако, — существо очень широкое, и не только с нравственной точки зрения, как заметил еще Достоевский, но и с экономической. Он представляет собой технологию, весьма эластичную по отношению как к входным ресурсам (имеется возможность замены одних предметов потребления другими), так и к возможным применениям его в производстве. Например, вольный крестьянин, занимавшийся сельским хозяйством, может стать "зеком", возводящим стройки коммунизма. Однако эластичность и потребления, и производственной деятельности человека не безгранична. В области потребления должен по крайней мере обеспечиваться некоторый комплект питания, а степень универсальности труда в сильной степени определяется физическими и интеллектуальными данными работника, характером полученного им образования.

Трактую человека как специфическую технологию производства, мы соответственно можем считать предметы его потребления исходным сырьем для его деятельности, в результате чего многие ресурсные потоки на технологической карте замкнутся. Однако и после этого технологическая карта общественного производства не станет полностью замкнутой. С одной стороны, на ней обозначены производства, продукция которых не имеет прямого экономического значения (например, военное), а значит, наличествуют стрелки, ведущие в никуда. С другой стороны, Мать-Природа поставляет нам ресурсы, которые произведены ею самой, и, следовательно, имеются и ресурсные потоки, идущие ниоткуда.

Кроме того, как известно, внешнеэкономическая деятельность позволяет обменивать товары друг на друга. Если абстрагироваться от того, что происходит в хозяйстве других стран, внешний рынок можно рассматривать как "черный ящик", входные и выходные потоки которого *не связаны технологически*, как бы уходят в никуда и приходят ниоткуда. Далее мы увидим, что на этом основывалось одно из технологических "чудес" сталинской системы.

Предположим теперь, что величина городов и ширина дорог на технологической карте соответствуют объемам производства и интенсивности ресурсных потоков. В этом случае технологическая карта может иллюстрировать этапные изменения, происходящие в общественном производстве.

В домашинную эпоху в экономике отсутствовали интенсивные технологии и карта представляла собой как бы сеть городов и проселочных дорог, однородных по своей пропускной способности. В следующую эпоху — машинного и особенно крупномасштабного (КМ) производства (XIX век и первая половина XX века) — появляются большие города и широкие магистрали, соответствующие интенсивным производственным процессам. Затем мелко- и среднесерийная индустриализация второй половины нашего века строит сеть малых городов и дорог с большой суммарной пропускной способностью, и относительная значимость магистралей снижается^{1,2}. Мы будем говорить, что и в доиндустриальном и постиндустриальном обществе в технологическом укладе господствуют *дисперсные* технологии, а в индустриальном — *крупномасштабные*.

Тип технологического уклада оказывает существенное воздействие на механизмы хозяйственного управления. Крупномасштабная технология по своему экономическому эффекту эквивалентна сумме большого числа технологий меньшей интенсивности. В то же время планирование ресурсных потоков для нее не более трудоемко, чем для любой другой. Поэтому преобладание КМ-технологий облегчает процедуры планового управления. В рыночной же экономике КМ-технологии часто оказываются моно- и олигополистами и тем подрывают устойчивость ее функционирования. Дисперсные технологии, наоборот, содействуют процветанию рынка и несут смертельную угрозу административной системе хозяйствования.

Технологические уклады оказывают большое влияние и на социальную жизнь общества. Крупномасштабные технологии требуют стандартизации работников и, следовательно, стандартизации образования. Они требуют также и стандартизированного потребителя и, следовательно, выравнивания и унификации потребностей населения.

Перед тем как закончить технологический обзор и вернуться к сталинской экономике, мы введем еще один термин, которым многократно воспользуемся в дальнейшем. *Технологическим ядром* обществен-

¹ Увеличение масштабов производства далеко не является универсальным ключом к повышению его эффективности. Каждая КМ-технология требует стандартизации используемых ресурсов и не способна утилизировать их индивидуальные свойства. Конвейер, например, не сможет двигаться быстрее оттого, что за него встали несколько быстрых работников, и их потенциальные возможности окажутся нереализованными. Кроме того, КМ-технология производит изделия для некоторого не существующего в природе среднего потребителя, и потому их полезность значительно ниже, чем у изготовленных по индивидуализированному заказу. Наконец, КМ-технология значительно хуже, чем средне- и маломасштабная, приспосабливается к народнохозяйственным изменениям.

² Процесс перестройки технологической карты можно уподобить развитию дорожной сети на пересеченной местности. Широкие шоссе могут оказаться настолько эффективными, что крюк с выездом на них потребует гораздо меньше времени, чем проезд напрямик. С другой стороны, наличие развитой сети высококачественных мелких дорог может сделать супермагистрали малоиспользуемыми.

ного производства будет называться совокупность технологий, продукция каждой из которых широко применяется во всем народном хозяйстве или, иными словами, входит в большое число деревьев сборки.

Экономические дилеммы

Сталинская система хозяйственного управления была средством очередной модернизации экономики нашего государства, которая мыслилась как создание мощного военно-промышленного комплекса и современного технологического ядра, состоящего из предприятий тяжелой промышленности. Сама Россия располагала крайне недостаточным современным капиталом для решения этой задачи. Своими силами можно было осуществить дальнейшее развитие относительно лишь небольшой группы модернизированных производств, заложенных до первой мировой войны. Поэтому задача модернизации могла решаться только путем импорта высококачественного современного капитала с Запада.

С экономической точки зрения для этого имелись две возможности: децентрализованная и централизованная. Если бы ввозимые технологии были дисперсными, децентрализованный импорт (для которого требовалась идеологически неприемлемая предпринимательская социальная среда) был бы единственно возможным. Однако, поскольку и в военно-промышленном комплексе (ВПК), и в тяжелой промышленности в тот период господствовали КМ-технологии, открывался принципиально новый путь плановой индустриализации. Зная параметры деревьев сборки на основании западного опыта, можно было переносить их на советскую почву, осуществляя комплексные централизованные закупки технологий за рубежом.

Однако и при такой централизованной модернизации существовали два варианта развития. Импорт мог финансироваться либо за счет зарубежного кредитования, либо путем ограничения потребления населения и продажи высвободившихся экспортных товаров на внешнем рынке. Был выбран второй путь, который, помимо огромных человеческих жертв, привел к тотальному разрушению отраслей потребительского сектора: от сельскохозяйственного производства до промышленности товаров широкого потребления. Впоследствии эти отрасли уже никогда не смогли подняться, несмотря на вливания капиталовложений.

Импорт капитала с Запада служил стеновым хребтом сталинской экономической системы. При попустительстве западных политиков и интеллектуалов и при активной поддержке капиталистов *современное* высококачественное оборудование выменивалось на *традиционные* российские товары, насильно отбираемые у голодной деревни или добываемые в жутких условиях узниками ГУЛАГа. Если бы западные страны выполнили тогда собственные законы, запрещающие покупки товаров, производимых рабским трудом, сталинская экономика не просуществовала бы и одной пятилетки. В послевоенные годы пресеченная "холодной войной" торговля с Западом уже не могла служить полноценным источником высококачественного капитала. Ее временно заменили репарации, полученные из побежденной Германии.

Рассматривая проблему форсированной индустриализации, вставшую перед страной на рубеже 30-х годов, нельзя не коснуться ее не-

посредственной предыстории. Потребность в чрезвычайно высоких темпах инвестиционной деятельности во многом была связана с ее крайне низким уровнем в течение десятилетия большевистских экспериментов над экономикой, именуемых "военным коммунизмом" и НЭПом. Мы сталкиваемся здесь с хорошо знакомым нам по 70-летней истории нового общества феноменом, когда социалистическая система хозяйствования с большими жертвами в режиме аврала решает проблемы, которые она же сама и создала.

Сталинское планирование

В сталинскую эпоху все народное хозяйство довольно четко делилось на *приоритетный сектор*, в который входили производство продукции в основном военного назначения и технологической ядро; и *неприоритетный сектор*, к которому относились все другие виды деятельности (в том числе производство предметов потребления для населения).

Основной функцией хозяйственного управления является распределение ресурсов между технологиями. Главной целью государственного управления экономикой в тот период была максимизация производства ограниченного числа приоритетных продуктов. Поскольку производство других, неприоритетных продуктов, согласно принятой в то время экономической доктрине, имело низкую значимость, то при возникновении альтернативы распределения ресурсов в неприоритетное и приоритетное дерево сборки выбор в максимально возможной степени делался в сторону последнего.

Проблемы экономического выбора, затрагивающего поставленные обществом цели, возникали только тогда, когда появлялась необходимость распределения ресурсов между приоритетными деревьями. Однако и ВПК, и технологическое ядро состояли в это время из относительно небольшого числа крупномасштабных производств, технологические нормативы которых были известны. Это давало возможность просчитывать распределение ресурсов и принимать все важнейшие хозяйственные решения в высших эшелонах власти.

Мы не будем в этом тексте останавливаться на управлении неприоритетными секторами. Успехов здесь, как известно, было мало, чтобы не сказать сильнее. Плановое управление этими секторами обеспечило изъятие у них ресурсов и постепенную их гибель.

Кадровая политика

Поскольку экономические решения могли приниматься наверху, то и кадры, способные к такой деятельности, нужны были только в высших эшелонах власти. От остальных звеньев хозяйственной иерархии требовалось выполнение и перевыполнение заданной программы и соответственно совершенно иные таланты: послушание старшим, стремление выкладываться в выполнении *порученной* работы, отсутствие нравственных ограждений, позволяющее наступать ногами на то, что теперь официально называется общечеловеческими ценностями. Система плодила "солдат партии" — исполнительных и (часто) аморальных руководителей и подчиненных.

Для проведения грандиозной структурной перестройки народного

хозяйства сталинская система создала мощную систему стимулирования послушания, доведя до предела дифференциацию в условиях жизни населения. На самом низу социальной лестницы находились умирающие узники ГУЛАГа, затем шла голодная деревня, после нее просто накормленный — и не более того — город, затем разного рода начальственный и ученый люд, который мог позволить себе роскошь найма прислуги (домработницы), и, наконец, большое начальство, благосостояние которого было сопоставимо если не с американскими, то с европейскими образцами.

Культурные предпосылки

У сталинской экономической системы были не только технологические, но и культурные предпосылки. В обществе господствовала социалистическая идеология, которая *требовала планового управления народным хозяйством*, а его можно было применить только для создания крупномасштабных технологий и военно-промышленного комплекса. Ни в сельском хозяйстве, ни в потребительских секторах оно не дало бы результатов, оправдывающих свое существование. Поэтому для реализации социалистической идеи необходимо было чувство внешней опасности, ксенофобия, санкционирующая тотальное переключение экономики на военное строительство. В свою очередь сама коммунистическая идея, имплантировавшаяся в Российскую империю и провозгласившая своей целью борьбу с принятым в цивилизованном мире порядком, резко усиливала чувство внешней угрозы, укоренившееся в общественном сознании еще со времен татаро-монгольского ига и подтвержденное полустолетием неудачных войн. Социалистические идеи, империалистическое стремление расширить сферу влияния и ксенофобия нашли друг друга и вместе создали в обществе психологический и идеологический климат для проведения бесчеловечной хозяйственной политики.

Сталинская система также мастерски утилизировала свойственные русскому национальному характеру терпение и послушание, превратив их в сырье для экономического строительства. Эти качества населения сделали возможной сверхэксплуатацию рядовых тружеников, а империалистический патриотизм и/или социалистические убеждения отдали на службу сталинскому режиму творческий потенциал неэмигрировавшей интеллигенции. В то же время существовавший в обществе антагонизм к свободной экономической деятельности (коммерции, наживе, накоплению и т.п.) блокировал возможности менее кровопролитного пути экономического развития.

Переходный период

Сталин, возможно, умер не только от старости, но и от того, что кончилось время *идеи его жизни*: все, что ему было суждено разрушить, было уже уничтожено или искалено; то, что ему было суждено создать, уже родилось на свет. В период 50 — 60-х годов, providенциально совпавший с десятилетием после его смерти, сталинская система хозяйствования стала испытывать сильное давление внешних обстоятельств, вынуждавших ее меняться, перестраивать самое себя.

Все те факторы, которые раньше работали на консолидацию сталинской хозяйственной машины, стали действовать в ином, иногда прямо противоположном направлении.

Технологические сдвиги

С конца 20-х годов вплоть до начала перестройки военное соперничество с внешним миром было важнейшим фактором, определявшим бытие социалистического общества. Именно достижения и провалы в военно-стратегическом соревновании с наибольшей силой воздействовали на принятие решений в экономике. Отсутствие сливочного масла в Воронеже было для руководства страны малозначимой проблемой по сравнению с отсутствием советского аналога американского оружия какого-либо типа "X". Через имперскую военную мощь, направленную вовне и внутрь страны, происходила легитимизация власти.

Военная гонка служила главным акселератором нововведений в советской экономике и, как мы увидим впоследствии, была одной из причин ее гибели. Новые технологии, необходимые для производства вооружений, должны были входить в хозяйственный обиход, даже если их применение противоречило логике экономической системы и разрушало сложившиеся формы планового управления.

В 50-х годах в нашей стране развивались принципиально новые производства, такие, как электроника и химия полимеров, первоначально — как придатки технологических деревьев конкретных видов вооружений. Вскоре, однако, стало ясно, что немислимо создавать чрезвычайно сложную новую технику применительно к каждой отдельной производственной программе, и новые технологии организационно оформились в отдельные отрасли, поставляющие продукцию различным приоритетным заказчикам. Взятые вместе, они образовали новое технологическое ядро общественного производства. И тут оказалось, что планировать его развитие так, как это делалось в отношении старого технологического ядра, практически невозможно.

Начнем с того, что в условиях "холодной войны" новые отрасли уже не могли закупаться на Западе целиком. Они "заимствовались", оттуда по кусочкам, что исключало комплексный характер нового индустриального строительства. Однако главная причина трудностей лежала не в запретах НАТО, а в дисперсном характере новых технологий. В новых отраслях производилась продукция огромной и постоянно обновляемой номенклатуры, обычно — малыми и средними сериями, что резко увеличило объем управленческих задач. Привычное планирование их "сверху" в развернутой номенклатуре оказалось несостоятельным.

Власть и информация трагическим для командной экономики образом разделились. Власть отдавать приказы по-прежнему принадлежала "верху", но он был уже информационно слеп. Потребности были известны "низу", который не имел власти. В первый раз в СССР проваливалась идея управления страной как одним цехом, и уже не в потребительском секторе, где это в принципе *никогда* не было возможно, а в самом любимом властями военно-промышленном комплексе.

Дефицит труда

Сталинская экономика в свое время нашла способы обеспечить колоссальный приток рабочей силы в приоритетные производства. Оказалось, что для этого достаточно провести следующие экономические мероприятия, имеющие в совокупности мультипликативный эффект:

- ограничить потребление в деревне до голодного уровня и соответственно снизить сельскохозяйственное производство;
- частично механизировать сельское хозяйство;
- за счет снижения сельскохозяйственного производства и его механизации высвободить огромное количество рабочих рук;
- за счет избытка рабочих рук обеспечивать давление вниз на городскую зарплату и потребление в городе, что позволяет в еще большей степени снизить производство сельхозпродукции.

Кроме того, разрушая внутрисемейный трудовой уклад и усиливая эксплуатацию женщин, оказалось возможным резко увеличить предложение их рабочей силы.

К 50-м годам благодаря увеличивающимся городским производственным фондам возник значительный спрос на рабочую силу, что постепенно ликвидировало ее избыточность. В отдельных массовых квалификационных группах уже не хватало рабочей силы, что стимулировалось экспансией новейших отраслей¹. Обостряли напряженность с трудовыми ресурсами и понесенные в войне огромные потери в мужской рабочей силе².

Вводимые новые мощности должны были либо абсорбировать рабочую силу из тех источников, где она имеется в избытке (так было сделано в сталинской экономике), либо переманивать ее с других производств, создав стимулы для перехода в виде заработной платы, возможности получения жилья или доступа к распределителям материальных благ. В свою очередь "старые" производства, откуда происходил отток рабочей силы, вынуждены были добиваться увеличения оплаты своих работников.

Увеличивающийся спрос на продукцию потребительского сектора привел к мультипликативному эффекту, действовавшему в обратном направлении. Для удовлетворения спроса на продукты питания было необходимо расширять сельскохозяйственное производство, а поэтому дальнейшее изъятие трудовых ресурсов из села становилось нежелательным. Поскольку сельское население уже "потекло в город", то для его закрепления требовалось повышение уровня жизни на селе, что еще больше увеличивало спрос на потребительские блага. Для роста производства товаров широкого потребления необходимо было строить, реконструировать и расширять предприятия легкой промышленности, что снова требовало рабочей силы и, значит, опять же подогревало спираль спроса на предметы потребления. Ситуация в потребительском комплексе сложилась настолько острой, что на него стала тратиться святая святых советской экономики — валюта. Сначала одежда и обувь, а потом и

¹ В связи с этим нельзя не заметить, что массовое освобождение заключенных из концлагерей в 50-е годы могло иметь не только политическую, но и экономическую подоплеку.

² Константинов В. М. Устное сообщение.

продукция сельского хозяйства начали импортироваться из-за границы.

Новая роль потребительского сектора привела к глубоким изменениям в системе управления народным хозяйством. Практически весь он (исключая лишь возникшее в 60-е годы производство некоторых товаров длительного пользования) состоит из дисперсных технологий. Став в новых условиях одной из доминант развития всей экономики, и в том числе ВПК, сфера потребления сделала свои дисперсные технологии, требующие огромных затрат административно-управленческого ресурса, предметом насущных забот плановых органов.

В результате технологических сдвигов в производстве вооружений и истощения свободных трудовых ресурсов в 50-е годы произошла смена технологического уклада общественного производства. На место двухсекторной экономики, состоящей из приоритетных отраслей — с крупномасштабными технологиями — и неприоритетных — с традиционными дисперсными, пришел *единый народнохозяйственный комплекс* — современная односекторная экономическая система, в которой важнейшие роли играли дисперсные технологии. Индустриальное развитие страны в последующие годы привело к еще большей диверсификации производства и росту доли дисперсных технологий.

Укореняясь в народном хозяйстве, новый уклад коренным образом менял практику планирования. Из сталинской командной системы выростала принципиально новая...

Экономика согласований, или "бюрократический рынок"

Новая экономическая система не вводилась в стране декретами правительства и не являлась результатом "революционного творчества масс". Она формировалась постепенно под действием "потребностей практики", путем обычных административных реорганизаций, отмены или просто неупотребления старых инструкций и принятия взамен них новых. Конечным результатом этого процесса, однако, стала качественно иная система управления экономикой, основанная на согласованиях и административной торговле. Мы начнем знакомство с ней с описания механизмов ее функционирования.

Директивное и итеративное планирование

По мере развития нового хозяйственного уклада уменьшается доля плановых заданий, формируемых в Центре, и увеличивается роль заданий, продуцируемых нижним уровнем иерархии. Чтобы получить властную силу, они поднимаются "вверх", пока не достигают управленческого органа, способного отдать необходимые распоряжения. Затем они спускаются "вниз" по иерархическим цепочкам в качестве производственных заданий.

Полученные задания вызывают встречные требования со стороны предприятий к обеспечению производства необходимыми ресурсами, которые снова поднимаются "вверх" в виде заявок и спускаются "вниз"

в виде заданий и т. д. В отличие от сталинской экономики, в которой плановый процесс носил преимущественно директивный характер "сверху вниз", планирование в новой системе осуществляется путем согласующей итеративной процедуры с многократным повторением цикла: "снизу вверх" и "сверху вниз".

Натуральные и синтетические показатели

В сталинской экономике планирование производства в приоритетных секторах осуществлялось в основном в *натуральных показателях*. Рост номенклатуры планируемой продукции и увеличение числа итеративных процедур сделали их употребление чрезвычайно трудоемким. Натуральные показатели все чаще агрегируются (то есть суммируются с некоторыми коэффициентами) в *синтетические*. Как правило, заявки в натуральном выражении, отражающие потребности предприятий в тех или иных изделиях, поднимаясь "вверх" по иерархическим цепочкам, последовательно сводятся в заявки во все более укрупненных синтетических показателях. Наконец, они достигают узлового органа, способного решить их судьбу, после чего спускаются по иерархическим цепочкам "вниз" и при этом дезагрегируются.

Заявки на ресурсы при движении "вверх" не только агрегируются, но и урезаются (подробнее об этом процессе будет сказано ниже). При движении "вниз" происходит дезагрегация показателя, но уже не тем набором, который был в первоначальной заявке, а другим, отражающим производственные предпочтения изготовителей заказанной продукции и органов, стоящих над ними.

Во всей экономике, и в приоритетной, и в неприоритетной, возникает "свобода", при которой формально выполняются все распоряжения и улучшаются синтетические производственные показатели, а на деле наносятся ножевые раны народному хозяйству, поскольку не выпускается нужная стране продукция. Распоряжения, отдаваемые самыми авторитетными органами, при движении "вниз" теряют свою директивную силу и, выполняясь "в общем", не выполняются по существу.

Нормативная база планирования

Синтетические показатели, как отмечалось выше, образуются путем сложения с некоторыми коэффициентами разнородных натуральных показателей. Например, сводный показатель объема производства станков определенного назначения может получаться сложением объемов производства их отдельных типов, исходя из веса, производительности или директивно определяемых сверху коэффициентов, получивших у нас в стране наименование цен.

Предприятие, главк, министерство стремятся "набрать" синтетический показатель наиболее удобным для себя способом. В результате, во-первых, происходит уменьшение номенклатуры производимой продукции и "вымывание" из ассортимента неудобных для предприятий, но необходимых народному хозяйству изделий. Во-вторых, изменяются сами выпускаемые изделия с тем, чтобы увеличить значение синтетического

показателя. Например, может происходить утяжеление станков либо такое увеличение их производительности, в котором совершенно не нуждается потребитель. Наконец, при использовании стоимостных показателей, помимо всех предыдущих бед, возникает еще и давление на вышестоящие органы с целью увеличения самих коэффициентов — цен.

Система расчета показателей и применяемые при этом коэффициенты агрегирования входят в нормативную базу планирования. Нетрудно понять огромную заинтересованность предприятий в формировании удобной для них нормативной базы. Поэтому сама нормативная база становится предметом согласования различных уровней хозяйственной иерархии.

Помимо нормативов агрегирования, в нормативную базу планирования входят и нормативы дезагрегирования, по которым рассчитывается ресурсное обеспечение производственной программы. Однако в отличие от аналогичных нормативов сталинской эпохи, определяемых технологиями производственных процессов, эти нормативы отражают лишь некоторые средние, приближительные соотношения между синтетическими показателями. Соответственно, и проведенные по ним расчеты дают плановикам в лучшем случае лишь первоначальную грубую оценку потребности в ресурсах, непосредственное применение которой ведет к срывам в хозяйственной деятельности объекта.

Балансы, балансы, балансы...

В народном хозяйстве действуют законы не менее жесткие, чем законы физики. Каждый продукт может быть потреблен только в количествах, не превышающих объема его производства (для простоты мы не будем касаться здесь запасов). Отражением этого простого материального факта является баланс данного продукта. Система планового управления, выдавая производственные задания и распределяя ресурсы, должна постоянно учитывать балансы, которые сковывают ее и сужают пространство возможных решений.

По мере усложнения народного хозяйства система планового управления переходит от натуральных показателей к синтетическим и соответственно от натуральных к синтетическим балансам. Поскольку синтетические балансы формируются с использованием нормативов и в существенной степени зависят от нормативной базы, возникает еще один вид народнохозяйственной увязки — координация нормативной базы, в том числе ценовых коэффициентов.

Система иерархий

В зрелой социалистической экономике происходит функциональное разделение хозяйственного управления на следующие *основные* иерархии.

Общесоюзные балансы поддерживают союзные плановые органы через союзные отраслевые иерархии; региональные балансы — региональные плановые органы через свои отраслевые иерархии. Кроме того, плановые органы территории поддерживают балансы входящих в нее ре-

гионов, а отраслевые плановые органы — внутренние балансы подчиненных подотраслей.

На всех уровнях территориальных и отраслевых иерархий также действуют специальные органы или подразделения, ответственные за нормативную базу нижестоящих балансов, несущие контрольные функции и устанавливающие рамки хозяйственной деятельности.

Все перечисленные иерархии: союзно-отраслевые, регионально-отраслевые, нормативные и контрольные — имеют относительно жесткий регламент своей деятельности, который делает их неспособными принимать решение в нестандартных ситуациях, особенно возникающих на пересечении полномочий различных иерархий. Функцию окончательного согласования на территории деятельности различных иерархических структур между собой и с "потребностями жизни" берет на себя партийный аппарат. Он же является наиболее прямым каналом доведения до конкретных исполнителей решений, принятых вышестоящими партийными органами.

По мере усложнения экономики социализма умножается число задач, неразрешимых в рамках деятельности формальных структур хозяйственного управления, усиливаются трудности взаимодействия различных иерархий и соответственно возрастает руководящая роль партии.

Слуга N господ

Необходимость поддержания разнообразных балансов приводит к тому, что любое принимаемое хозяйственным руководителем решение должно быть согласовано с множеством лиц, ответственных за затрагиваемые им (решением) разделы общесоюзных, отраслевых и региональных балансов и нормативов, а также должно учитывать мнение контрольных служб и партийной иерархии. Таким образом, в хозяйственной системе развитого социализма у каждого руководителя имеется множество непосредственных начальников в различных административных иерархиях.

Как указывалось выше, контроль за выполнением распоряжений в иерархических хозяйственных структурах по большей части осуществляется в синтетических нормативах, которые оставляют свободу экономического поведения и отнюдь не гарантируют производство необходимого для народного хозяйства продукта. Его нехватка становится одной из причин "прямого действия" вышестоящего органа "вниз" через одно или несколько звеньев хозяйственной иерархии. В каждой такой иерархии "вассал моего вассала — мой вассал", и любой руководитель подчиняется не только непосредственному, но и всем вышестоящим начальникам.

Экономика развитого социализма уже не является ни строго иерархической (потому что иерархий много), ни командной (потому что командная система подразумевает единоначалие). В западной управленческой науке подобные (но намного более простые) системы управления с несколькими иерархиями подчинения получили наименование *матричных*¹. Они применяются в управлении крупными корпорациями.

¹ Современные методы внутрифирменного управления в капиталистических странах. М., "Прогресс", 1971.

Выше мы писали об итерационном характере планового процесса. Наличие нескольких иерархий подчинения на деле приводит к тому, что для принятия решений необходимо проведение итераций не по одной, а по нескольким иерархическим цепочкам.

Liberum veto, или Экономика согласований

Поскольку система хозяйственного управления должна поддерживать *все* балансы, то действия представителей иерархий основаны на *согласовании*, консенсусе, единогласии. Любое решение должно, вообще говоря, устраивать все не заинтересованные в нем стороны. Процесс согласования в принципе предоставляет каждому его участнику право, аналогичное *liberum veto* (свободное вето), которым обладали депутаты польского сейма перед разделом страны.

Любая система принятия решений, основанная на принципе *liberum veto*, чрезвычайно консервативна. Она откладывает решение каждого вопроса до тех пор, пока необходимость этого не станет ясна *последнему* участнику процедуры. В нашей стране система согласований породила эпоху застоя, продолжавшуюся в течение всего брежневского периода.

Бюрократическая торговля

В действительности, однако, участники согласования, как правило, имеют неодинаковую возможность влиять на окончательное решение. Она определяется их *весом*: способностью поощрять удобные действия и наказывать неудобные: "Если вы так, то я..." В результате каждое хозяйственное решение становится предметом административной бюрократической торговли¹.

Механизм этой торговли оказывается настолько мощным, что при большом неравенстве весов позволяет отвергать институциональное право слабого участника на вето. Например, согласие городского санитарного врача разрешить поставку больных туберкулезом кур в розничную продажу, школы и детские сады может быть получено согласованным давлением местных хозяйственных и партийных органов, заботящихся о выполнении плана.

Вес участника бюрократической торговли, как правило, тем выше, чем больше размер организации, которую он представляет. В результате

¹ Термины *бюрократическая торговля* и *бюрократический рынок* были введены применительно к административным структурам США американским экономистом лауреатом Нобелевской премии Дж. Бьюкененом. См.: В и с h a n a n J. M., Т u l l o c k G. The Calculus of Consent, Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann Arbor, Univ of Michigan Press, 1962. Механизмы бюрократической торговли в советской экономике описаны в работах: К о н с т а н т и н о в В., Н а й ш у л ь В. Технология планового управления; А в е н П., Ш и р о н и н В. Реформа хозяйственного механизма: реальность намечаемых преобразований. — *Известия СО АН СССР*. Серия Экономика и прикладная социология, вып. 3, 1987; П а в л е н к о С. Неформальные управленческие взаимодействия. — В сб. Постигание. М., "Прогресс", 1989, с. 190—202, а также см. Naishul V. — *Communist Economy*, vol. 2, N 4, 1990

в брежневскую эпоху в нашей стране организации всегда имели перевес над частными лицами, крупные организации — над мелкими. Малый размер предприятия вообще становился синонимом его отсталости.

Поскольку вес органа власти тем больше, чем выше его иерархический уровень, решения в целом ориентируются на "верх" больше, чем на "низ". В результате система управления народным хозяйством стремится обслуживать не его нужды, а самое себя, заниматься самооблажением. Происходит отрыв системы управления от объекта управления.

В брежневской экономике механизм согласования и бюрократической торговли заменил сталинский механизм жесткого военного подчинения. На смену административно-командной системе пришел новый строй — административный бюрократический рынок, определивший на десятилетия экономическое бытие СССР.

Борьба за выживание

Изучаемая нами экономическая система развитого социализма работала бы именно так, как рассказывалось выше, если бы плановые процедуры могли осуществляться со скоростью нажатия кнопки. В действительности, однако, согласования требуют больших затрат времени и усилий и система управления оказывается неспособной выполнить полный объем необходимой народному хозяйству плановой работы. По мере усложнения народного хозяйства, вызванного ростом численности производителей, потребителей и номенклатуры продукции, диверсификацией и специализацией производства, разрыв между потребностями народного хозяйства в управлении и возможностями плановой системы непрерывно увеличивается. В этих условиях она идет ради самосохранения на компромисс и упрощает планирование в ущерб его качеству.

Недокорректировка планов

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности народного хозяйства циклы иерархических согласований "снизу вверх" и "сверху вниз" должны были бы повторяться столько раз, сколько требуется для достижения полной сбалансированности плановых заданий с их ресурсным обеспечением. Однако трудности проведения циклов приводят к тому, что акт согласования искусственно прерывают, не доводя до конца. В результате задания предприятиям оказываются не обеспеченными ресурсами, что (если предприятия не могут получить их "теневым" способом и не имеют достаточных резервов) приводит к срыву производственной программы. В свою очередь вышедшие из планового ритма предприятия подрывают программу своих потребителей и т. д. Срывы производства распространяются по технологическим цепочкам, поражая целые сектора народного хозяйства.

Недоставка одного входного ресурса означает не только соответствующее падение производства выходной продукции, но и, кроме того, высвобождение других входных ресурсов, ставших некомплектными. В рыночной экономике при нехватке входного ресурса, отражающейся в его дороговизне, неиспользованные другие входные ресурсы

поступают в общую продажу и становятся народнохозяйственным достоянием. Для того чтобы воспользоваться некомплектными ресурсами в административной экономике, их, во-первых, нужно отнять у незаинтересованного в этом предприятия и, во-вторых, перераспределить с помощью плановых органов, у которых до этого, попросту говоря, "не доходят руки". Поэтому в действительности такого перераспределения, как правило, не происходит, и некомплектные ресурсы омертвляются.

Мы сталкиваемся с парадоксом социалистической и капиталистической систем хозяйствования: при частной собственности имеющиеся в обществе ресурсы являются общими, доступными для всех (конечно, за деньги), а при общественной — частными, недоступными для общественных нужд.

Сокращение плановой процедуры

Те же причины, которые вынуждают плановые органы сокращать число циклов, заставляют их и упрощать сам цикл. Плановые итерации часто проводятся на хозяйственных "олимпиах" и не спускаются "вниз" к предприятиям. Такое "совершенствование планирования", ускоряя плановый процесс, одновременно приводит к отторжению от него реальных исполнителей заданий и потребителей продукции. Принимаемые решения не учитывают ни возможности производства на предприятиях, ни потребности конечных или промежуточных потребителей. Своим полным несоответствием реальной ситуации "внизу" они часто вызывают шок и озлобление против "безмозглого верха".

Отторжение исполнителей от процесса управления приводит еще и к тому, что их инициативы не находят или находят чрезвычайно деформированное отражение в планах — в полном соответствии с поговоркой: "Инициатива наказуема!"

Безобидное на первый взгляд сокращение плановых процедур оборачивается срывами хозяйственной деятельности, недоиспользованием имеющегося в стране производственного, ресурсного и человеческого потенциала и огромными экономическими и социальными потерями.

Стремление к однообразию

Борьба системы планового управления за выживание не ограничивается только изменением планового процесса. Как уже отмечалось выше, количество выполняемой плановым органом работы определяется не объемом просчитываемых им ресурсных потоков, а их численностью. Планирование производства блюмингов и батареек "Крона" может иметь для него одинаковую трудоемкость. Плановая система поэтому стремится свести к минимуму номенклатуру производимой и потребляемой продукции, количество поставщиков и потребителей. Для этого она, во-первых, старается монополизировать производство и потребление и, во-вторых, отказывается от планирования дешевых "мало-значущих" товаров, пуская их производство на "бюрократический само-тек". Последнее тем более выгодно, что в глазах общественного мне-

ния планирование продукции, имеющей большой экономической вес, и "мелочовки" далеко не равнозначно, а значит, и в суммарной оценке работы планового органа "крупная" продукция имеет гораздо больший вес.

Для рядового советского гражданина "борьба с мелочовкой" означает сведение к минимуму номенклатуры потребительских товаров, что не только не делает нашу жизнь удобнее, но и, выражаясь ученым языком, резко снижает народнохозяйственную эффективность потребительского комплекса. Однообразие питания, например, оборачивается потерей здоровья для людей, его имевших, и сводит в могилу тех, кто потерял.

Другие конечные потребители также не ощущают комфорта от бюрократических игр. Военные специалисты, например, сетуют на то, что наша страна далеко отстает от Запада по разнообразию техники, предназначенной для вооруженных действий в различных условиях, и это заставляет нас количеством компенсировать ее однообразие (а также не всегда высокое качество).

Еще хуже обстоит дело с производствами, потребляющими промежуточную продукцию. Недопоставка одного исходного продукта оборачивается для предприятия соответствующим снижением объема выпускаемой продукции, хотя все другие входные компоненты имеются в достаточном количестве. Поэтому "мелочовка", казалось бы совершенно справедливо выпавшая из поля зрения планирующих органов, на деле может привести к глубокому срыву производственной программы предприятия, который затем, как чума, распространится по технологическим цепочкам, порождая дезорганизацию хозяйственной жизни. Технологическая жесткость современного производства и наличие сложных цепочек, охватывающих все хозяйство (СССР — единый народнохозяйственный комплекс!), делают необходимым планирование практически полного круга товаров, что оказывается не по зубам административной системе.

Натуральное хозяйство

И система планового управления, и его объекты — предприятия — вместе заинтересованы в том, чтобы число народнохозяйственных связей было минимальным. Для предприятий такая натурализация означает повышение устойчивости функционирования в условиях, когда система планового управления не может обеспечивать координацию народнохозяйственной деятельности, что приводит к регулярным срывам поставок входных ресурсов. Для управленцев натурализация производственной деятельности означает сокращение объема работы. В результате совместных усилий "низа", продуцирующего обособление, и "верха", санкционирующего его, создается уникальная народнохозяйственная структура, представляющая в современный век специализации и кооперации экономический нонсенс. На предприятиях легкой промышленности, например, действуют подсобные литейные (!) производства.

Советские предприятия, насколько это возможно, пытаются обзавестись всем своим. Они сами строят и эксплуатируют жилье для работников (на долю ведомственных домов приходится более $\frac{2}{3}$ государст-

венного жилого фонда); содержат свиней; ведут производственное строительство самостроем, который деликатно именуется "хозспособом"; сами ремонтируют себя, используя самодельные же запчасти. Наконец, они сами снабжают себя ресурсами, осуществляя...

Обменные операции

Товарные потоки, которые не удается спланировать, пускаются системой на бюрократический самотек. В их формировании лишь опосредованным образом задействованы традиционные плановые рычаги, а основную роль играют обменные отношения: "ты — мне, я — тебе" — между организациями и представляющими их лицами. (На потребительском рынке действует и население.)

Некоторые обменные операции официально санкционированы. Остальные либо легализуются путем согласования с плановыми органами (которым часто при этом тоже кое-что перепадает), либо осуществляются полностью вне всех инструкций и законов.

Обменные отношения играли, по-видимому, существенную роль еще в сталинскую эпоху — в основном в деятельности неприоритетных секторов. С усложнением народного хозяйства постепенно уменьшалось число задач, решаемых с помощью традиционных плановых методов и соответственно расширялся круг хозяйственных задач, вовлеченных в обменные отношения. Некоторые специалисты считают, что к концу брежневского периода менее трети национального продукта распределялось с помощью традиционных плановых процедур, а остальное — обменным путем.

Торговцы партии

На бюрократическом рынке в СССР, помимо описанных выше горизонтальных обменных отношений между относительно равноправными участниками, входящими в различные иерархические структуры, действуют еще и вертикальные, неравноправные. Они построены на подчинении, которое, однако, является не делом страха и чести, как в сталинские времена, а торговой сделкой сильного вышестоящего органа, имеющего заведомо больший вес, со слабым, нижестоящим.

Наличие асимметричных вертикальных отношений приводит к появлению на бюрократическом рынке продажных ценностей иерархического общества. Отраслевые органы торгуют в основном планами производства и распределения ресурсов, нормативные — методикой учета хозяйственной деятельности, контрольные — административными инструкциями, часть из которых в нашей стране называется законами, партийные — всеми ценностями административной системы независимо от иерархической принадлежности. Предметом торговли является также согласие и несогласие выполнять распоряжения и инструкции (законы), власть и положение в иерархических структурах.

Таким образом, бюрократический рынок реализует общественный строй, где действительно все покупается и продается — даже то, что не подлежит покупке в обычной рыночной системе. Необходимо, однако,

отметить, что обмены осуществляются не любыми благами между первыми встречными людьми "с улицы", а только через определенные обменные цепочки, которые либо возникают от случая к случаю, либо действуют постоянно.

Бюрократический рынок сформировал определенный тип управленца — не "солдата партии", как в сталинское время, а "торговца партии", для которого в государственной деятельности "нет никаких институциональных ограничений». Судьба сибирской реки может обмениваться на диссертацию, согласие поставить партию труб — на московскую прописку для одного человека.

Ни распоряжения высочайшего "верха", ни обязательные для всех правила, ни законы страны не являются в этой системе категорическими императивами. Сам черт перестал быть братом нашей управленческой структуре. Новым советским обычаем стало невыполнение самых решительных постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Секретарь райкома партии может *придерживать прокурора*, чтобы председатель колхоза мог незаконно нанять шабашников, которые позволят вытянуть план и колхозу, и району. "Для пользы дела" можно наплевать на инструкции и выпустить в море ломающееся на ходу судно с пассажирами на борту или продать запрещенные к употреблению продукты питания.

Называя нашу систему бюрократическим рынком, мы немного лукавили, принося точное ее определение — *административный рынок* — в жертву удобству употребления международно принятого термина. Мы практически не имеем настоящей бюрократии, верной своему служебному долгу и умеющей четко и добросовестно выполнять все инструкции и распоряжения вышестоящих органов. Поэтому, рассуждая о путях перестройки экономики, нужно ясно отдавать себе отчет в том, что Советский Союз не в состоянии воспроизвести у себя даже тот относительно небольшой объем административного нерыночного регулирования, который существует на Западе. Рыночной экономике, которая должна прийти на смену административному рынку, придется обходиться даже без того государственного вмешательства, которое имеет место в капиталистических странах¹.

Бюрократическая торговля в СССР в конечном счете продала саму себя, выменяв статусную систему, лежащую в ее основе. В результате та потеряла даже то значение, которое имеет в несоциалистическом мире. Академик у нас — не обязательно ученый; врач — обладатель диплома — не умеет лечить больных.

Статусы придется воссоздавать с помощью того же рынка. Инженером будет считаться тот, кого, вне зависимости от наличия диплома приглашают на инженерную работу, врачом — тот, к кому ходят больные. Нас ожидает не традиционный рынок, который действует на Западе меж устойчивых социальных структур, а *суперрынок*, который эти структуры формирует.

¹ Naishul V. Will the Soviet Economy be Able to Stay Left of the American. — *Communist Economy*, vol. 2, N 4, 1990.

Родимые пятна развитого социализма

Ограниченность ресурса управления

Традиционная западная экономическая наука изучает рациональное использование ограниченных ресурсов сырья, производственных мощностей и рабочей силы и обращает мало внимания на нехватки ресурсного потенциала решения управленческих задач. Причины невысокого интереса к этой проблеме понятны: в условиях рыночной экономики, которая обеспечивает быстрое перераспределение ресурсов, управление становится серьезным лимитирующим фактором только в административно управляемых *подсистемах* — крупных государственных и частных монополиях, а также в органах государственного хозяйственного управления.

Для нашей страны, однако, с ее огромной экономикой и неповоротливой административной системой, фактор *ограниченности ресурса управления* выступает на первое место. Ежедневная бытовая и хозяйственная практика показывает любому советскому человеку, что низкая эффективность народного хозяйства связана отнюдь не с отсутствием в стране оборудования, труда и материалов, а с тем, что почти никогда не достигается их рациональное использование. И происходит это вовсе не из-за происков бюрократов, масонов или сионистов, как думают многие. Рациональное размещение ресурсов невозможно, если объем управляющих воздействий, необходимых для координации народнохозяйственной деятельности, превосходит имеющийся ресурс управления, если в планировании возникает затор, "пробка".

Ресурс административного управления нельзя умножить путем увеличения численности работников этой сферы, потому что при этом усложняются внутренние взаимосвязи системы и снижается ее эффективность. Его нельзя существенно увеличить и за счет улучшения организации управленческого труда и внедрения ЭВМ. (Последнее связано с неформальным характером плановых задач и, следовательно, с невозможностью их алгоритмизации.)

Развитие народнохозяйственных процессов в экономике с ограниченным ресурсом управления и в традиционной — без таких ограничений — может разительным образом различаться. Например, рост масштабов экономики, т. е. увеличение производственных фондов, численности рабочей силы и расширение сырьевой базы, может сопровождаться в ней не возрастанием совокупного объема производства, а его падением! Увеличение числа объектов управления продуцирует дополнительные народнохозяйственные связи и усложняет технологические цепочки, что при ограниченности ресурсов административного управления приводит к ухудшению плановой работы, разбалансированию экономики и в конечном счете к ухудшению результатов народнохозяйственной деятельности.

Построение экономико-математических моделей влияния ограниченных возможностей координации хозяйственной деятельности на динамику экономических показателей в СССР за последние 40 лет — чрезвычайно интересная научная задача, которая еще ждет своего исследователя. Однако грубые оценки автора показывают, что одни только

прямые потери от социалистической системы хозяйствования равны тому, что потребляет вся наша огромная страна!¹

Дефицитные и стабильные рынки

В нормальной экономической ситуации возможности производства каждого товара по крайней мере немного превышают потребности в нем. В этом случае у его производителей имеется некоторый запас недоиспользованных мощностей, а у его потребителей накапливается "жирок" исходного сырья. Потребители также знают, что по мере надобности смогут получить необходимый продукт, выключив его у плановых органов или с помощью обменных операций. В этом случае можно говорить, что рынок данного товара является *стабильным* и небольшие некатастрофические нехватки не вызовут на нем существенных сбоев.

Если предприятия, выпускающие определенный товар, используют в качестве исходных ресурсов товары только со стабильных рынков, то их производственный процесс тоже будет устойчивым, а следовательно, будет стабилен и рынок производимого ими продукта. Таким образом, стабильные рынки объединяются технологическими связями в стабильные зоны.

Предположим теперь, что одно из предприятий, работающее на данный товарный рынок и обеспечивающее существенную его долю, имеет нестабильный рынок-поставщик. Тогда в результате срыва на этом рынке, который не удастся компенсировать, предприятие само собьется с производственного ритма и разрушит рынок готового продукта. Там возникнут острые нехватки, которые вызовут защитную поведенческую реакцию потребителей, своего рода потребительскую панику. В результате давление на распределительные органы, будет произведена выборка с рынка всей имеющейся и планируемой продукции, и он перейдет в состояние неустойчивого, сверхдефицитного. Вслед за ним перейдут в разряд сверхдефицитных и рынки, расположенные дальше по технологическим цепочкам. Образуется нестабильная дефицитная зона.

Если в народном хозяйстве недостаточен *уровень резервирования*, то нестабильные зоны расширяются и охватывают практически всю экономику. Сбои производства распространяются в ней по технологическим цепочкам, как звук в обитой металлом комнате — практически не затухая, — вызывая хаос и дезорганизацию. Подобные *катастрофы планирования* вынуждают систему управления заново формировать планы, что является крайне трудоемкой работой. Нехватка ресурса управления приводит к тому, что разработанные в спешке планы снова оказываются несбалансированными и экономический кризис углубляется.

Уровень резервирования зависит от объема задач, которые ставит общество перед экономикой. Чем выше требования к производству в потребительском и военном секторах, тем больше напряженность плано-

¹ Оценки получены путем сравнения в отдельных профессиональных группах реальной стоимости выполняемых трудящимися работ с полным объемом потребительских и производственных благ, получаемых ими от общества. Пример таких расчетов см.: Н а й ш у л ь В. Другая жизнь. М., Самиздат 1985.

вых заданий и, следовательно, тем меньше уровень резервов в производственных программах и запасах. Ряд специалистов считают, что программа перевооружения, осуществленная в 70-е годы (сейчас СССР уничтожает сделанные тогда ракеты), послужила последним толчком, сбросившим советскую экономику в пропасть кризиса. Именно тогда, во второй половине 70-х годов, волны дисбалансов начали гулять по всему народному хозяйству. Административная экономика уже не смогла оправиться от этого удара и вернуться назад, хотя бы к тому уровню порядка, который существовал до кризиса. Раздираемая дисбалансами советская экономика с тех пор уже не шла, а катилась к развалу.

Для того чтобы вернуть экономику в устойчивое состояние, необходимо создать резервы на всех рынках. Этого можно добиться, только снизив конечное потребление, что позволит, идя назад по технологическим цепочкам, стабилизировать рынки. Таким образом, любое наведение порядка в экономике должно сопровождаться снижением уровня потребления со стороны как ВПК, так и населения.

Враждебность изменениям

Товарные рынки в народном хозяйстве соединяются друг с другом ресурсно жесткими технологическими процессами. Поэтому любое весомое локальное изменение на одном рынке требует проведения последовательной корректировки рынков, связанных с ним технологическими цепочками. В условиях ограниченности ресурса управления эти корректировки либо вообще не проводятся, либо не доводятся до восстановления сбалансированности. Поэтому *любые изменения*, даже те, которые с точки зрения традиционной экономической науки следует считать позитивными, имеют побочный негативный эффект и могут ухудшать положение дел в народном хозяйстве.

Выше уже отмечалось, что увеличение размеров экономики, сопровождающееся ростом численности объектов управления, само по себе чревато ухудшением экономической деятельности. Помимо этого фактора, негативное воздействие на экономику оказывают изменения конечного спроса населения и военных заказчиков, колебания на рынках рабочей силы, массовые выходы из строя старого оборудования и попытки перехода на новые технологии.

Еще более негативно влияют на экономику централизованные организационные мероприятия: изменения систем показателей, модификации в хозяйственном механизме, глобальные внедрения НТП, структурные перестройки, конверсии и экономические реформы, вызывающие изменения в производственных программах по всей стране и создающие поэтому массовые дисбалансы. Только наличие бюрократического рынка, именуемого силами торможения, затягивает нанесенные ими народнохозяйственные раны и спасает страну от экономического краха.

Характер труда

Чем более квалифицированным является труд, тем сложнее технологические цепочки, которые он задействует для своей реализации.

Дворник, подметающий улицу, приносит пользу, если его можно обеспечить метлой. Инженер, изобретающий новый станок, будет полезен только в том случае, если система управления в состоянии: начать производство станков, выделив для этого необходимые ресурсы; установить их там, где они будут эффективны; поменять при этом производственные программы и входные ресурсы соответствующих предприятий и, наконец, распределить готовую продукцию. Ограниченность ресурса управления приводит к тому, что административная система, как правило, не берется за эту работу, и поэтому его труд оказывается невостребованным.

В социалистическом обществе работник тем нужнее, чем ниже его квалификация. Поэтому в брежневский период в нашей стране сложилась парадоксальная отрицательная зависимость между образованием и зарплатами¹.

Последствия социалистической идеи

Выше, рассматривая генезис брежневской системы, мы доказывали, что сталинская командно-административная экономика должна была неминуемо превратиться в бюрократический рынок. При этом остался, однако, открытым вопрос, насколько брежневская система детерминирована своим прошлым, а насколько — заложенными в нее принципами и современной технологией. Ниже мы попытаемся показать, что бюрократический рынок является единственно возможной экономической системой, построенной на социалистическом принципе *сознательного регулирования хозяйственной деятельности* в современных технологических условиях, и что он порождает брежневскую систему с такой же определенностью, как аксиомы Евклида — геометрию.

Коалиции

Сознательное регулирование какого-либо общественного процесса приводит к образованию *коалиций* для отстаивания зависящих от регулирования коллективных интересов. Такие коалиции выполняют двоякую функцию. Во-первых, коалиция, объединяя своих участников, усиливает давление на регулирующий орган. Во-вторых, она позволяет другим организованным силам общества иметь дело не с разрозненными интересами ее членов, а с ее представляющим органом, отвечающим (в пределах своих полномочий) за их поведение. Создание коалиции является общественной находкой, структуризацией вызвавшей ее к жизни проблемы.

Подкоалиции и надкоалиции

Дифференциация общего интереса членов коалиции приводит к образованию *подкоалиций*. Таким образом развивались, например,

¹ Е в д о к и м о в а Л.Н., К и р и ч е н к о И.В. Экономическая роль образовательного потенциала подготовки ресурсов. М., "Экономика", 1983.

ведомственная структура СССР или структуры крупных западных корпораций.

Процесс образования новых коалиций может происходить и в другом направлении. Мелкие коалиции, имеющие общий интерес, могут становиться членами *надкоалиции*. Таким способом формируется федеративная структура, например Соединенные Штаты Америки из североамериканских республик.

При дроблении коалиций только полномочия, дифференцированные по подкоалициям, передаются "вниз". При формировании надкоалиции, наоборот, только защита общих интересов коалиций передается в качестве полномочий "вверх". Если в первом случае действует разрешительный принцип для "верха": ему принадлежит вся та власть, которая не принадлежит "низу", — то во втором, наоборот, действует разрешительный принцип для "низа": ему принадлежит все, что не принадлежит "верху".

Отметим, однако, что, каков бы ни был способ построения иерархии коалиций и каково бы ни было разделение их полномочий, младшие коалиции по отношению к старшим ведут себя как полноценные коалиции.

Принцип согласования

В технологически сложном современном обществе для управления хозяйственными процессами образуется несколько систем иерархических коалиций. Решение вопросов, затрагивающих разные коалиции, осуществляется на основе *согласования*.

Общественно признанная важность того или иного интереса закрепляется в статусе представляющего органа. Статус, а также способность представляющего органа оказывать позитивное или негативное воздействие на остальных участников процесса согласования определяют вес участника процесса согласования.

В тех случаях, когда невозможно обеспечить непосредственное участие всех заинтересованных сторон в принятии какого-либо достаточно значимого решения, проводится циклический, итеративный процесс согласования.

Хозяйственные коалиции

Необходимость поддержания народнохозяйственных балансов, ответственность за которые по самой их природе сосредоточена "наверху", приводит к тому, что иерархии коалиций строятся по принципу деления "сверху вниз" — и получают право сопротивляться изменениям балансов (*liberum veto*). Несоответствие между ограниченностью ресурса административного управления и потребностями в координации народнохозяйственной деятельности порождает все остальные описанные выше феномены брежневской системы.

Попытки изменений

...брежневской экономики согласований предпринимались в течение всего периода ее существования. Те из них, которые соответствовали внутренней логике бюрократического рынка, акцептовались им и способствовали самонастройке системы планового управления. Другие мероприятия, нацеленные на изменение механизма его функционирования, привели к повсеместному резкому росту дисбалансов в народном хозяйстве. Ниже мы приводим основные типы мероприятий по совершенствованию системы планового управления брежневской экономикой.

Административный метод

Было время, когда Советский Союз не только обеспечивал себя штангами для тяжелоатлетов, но и экспортировал их за границу. И вдруг... стал импортировать штанги из-за рубежа. Как оказалось, мир стал использовать обрезаемые штанги, не ломающие спортивный помост. Чтобы их производить, требовалась координация деятельности двух министерств: делающего металл и выпускающего резину, чего оказалось невозможно достичь.

Система планового управления обладает испытанным способом решения такого рода проблем — путем создания нового органа, новой иерархии, специально ими занимающейся. Понятно, что за счет усиления координации решение этих проблем облегчается. Однако решение остальных проблем замедляется из-за необходимости проведения согласований с новой иерархией. Поэтому "матерые" управленцы крайне осторожно прибегают к использованию такого административного метода. Проблема, ради которой создается новая иерархия, должна быть достаточно значима для страны.

В конце 50-х годов, когда экономика согласований еще только начинала формироваться, было проведено крупнейшее изменение административных иерархий — замена многих отраслевых органов управления территориальными (совнархозы). Эта реформа облегчила хозяйственные взаимодействия внутри областей и ухудшила все остальные. Она была отменена, поскольку противоречила логике складывавшегося тогда в СССР единого народнохозяйственного комплекса.

Автоматизация планирования

Органы власти неоднократно делали попытки путем использования вычислительной техники увеличить пропускную способность системы планового управления, рассосать пробку в управлении. Одна из научных идей, получившая широкое признание, предлагала использовать для этого экономико-математические методы, имитирующие рыночную экономику расчетами на ЭВМ. Эта идея оказалась неосуществимой уже потому, что масштаб задачи намного превосходит возможности всех мыслимых вычислительных машин. Существует также не доказанная пока

точка зрения (Ю. М. Родный), что планы в очень сложной экономической системе в принципе невозможно рассчитать, что эта задача *не алгоритмизуема*.

Другая идея, активно внедрявшаяся в хозяйственную практику в 70-е годы, предлагала автоматизировать хранение и переработку плановой информации (курс на АСУ). С высоты сегодняшнего опыта, когда такие попытки в ограниченном размере делаются в сверхкомпьютеризованных Соединенных Штатах, хорошо видно, что она в принципе не могла быть тогда решена. К тому же сложность планирования настолько велика, что даже при наличии соответствующей вычислительной техники и ее успешном внедрении улучшение народнохозяйственной ситуации было бы не слишком существенным.

Изменения системы показателей

Поиск совершенной системы показателей, норм и нормативов был одним из любимых занятий экономистов брежневской эпохи. Некоторые такие предложения даже внедрялись в хозяйственную практику. Каковы же были результаты?

Во-первых, изменялась сравнительная выгодность производства различных видов продукции. В результате исчезали из производства многие виды продукции, рвались старые связи между поставщиками и потребителями и приходилось налаживать новые, что в силу ограниченности ресурса управления приводило к усилению разбалансированности и распространению катастроф планирования.

Во-вторых, появлялись новые показатели, которые не с чем было сравнить и непонятно, как использовать, и обрывались временные ряды старых показателей. Поэтому, пользуясь своей административной властью, плановые органы требовали отчетности и по старой, и по новой форме, за что их называли ретроgrадами и противниками прогресса. Чтобы сохранить преемственность планирования, честные плановики мучились и сами пересчитывали новые показатели, возвращаясь в прошлые годы.

В-третьих, несравнимость старых и новых показателей приводила к тому, что сильные предприятия и ведомства "под шумок" перестройки формировали себе льготные нормативы. Кроме того, изменяя ассортимент производимой продукции, они наращивали агрегированные показатели, и все это вместе давало прогрессистам возможность говорить о громадном росте производства, производительности труда и т. п.

Экономические методы

Если рационализаторские усовершенствования показателей и нормативов в отдельных отраслях приводили, как правило, к сбоям локального значения, то внедрение так называемых *экономических методов* в практику планирования, если воспользоваться госплановской шуткой, красноречиво смешивающей выражения "приносить эффект" и "наносить ущерб", *наносило эффект* уже сразу по всему народному хозяйству.

В основе экономических методов лежали две идеи: свободы предприятий и западной системы показателей. Органы управления должны были всемерно сокращать планы в номенклатуре и отменять все возможные ограничения хозяйственной деятельности предприятий, требуя отчета только по показателям *прибыли, рентабельности* и т. п., от которых приятно веяло чуждым капиталистическим духом.

На самом деле эти показатели не имеют со своими западными аналогами ничего общего. К примеру, прибыль в капиталистической экономике называется разницей между *рыночной* оценкой стоимости изделий и *рыночной* оценкой всех издержек. Советский же показатель прибыли (как и все другие наши показатели) получается из некоторого набора натуральных показателей путем коэффициентов, установленных вышестоящими органами. Перефразируя известный анекдот, можно сказать, что разница между социалистической прибылью и прибылью настоящей такая же, как между милостливым государем и государем.

В результате внедрения экономических методов предприятия действительно получают экономическую свободу, которой они не имеют ни в традиционной брежневской экономике, ни на Западе, — свободу от потребителя. И они ее используют, получая дополнительные деньги за то, что отказываются от невыгодной продукции и вызывают народнохозяйственный хаос. Этого денежного водопада хватает и на то, чтобы расслабиться и производить меньше продукции, и на то, чтобы возросшей зарплатой разваливать потребительский рынок.

Экономические методы у нас пытались внедрить авторы реформы 1965 г. Тогда идеология административного управления была еще сильна, и поэтому возникшие от внедрения псевдокапитализма экономические дисфункции были скорректированы в обычном порядке — инструкциями и распоряжениями, которые заодно свернули и саму реформу. Та же порочная концепция легла и в основу нынешней экономической реформы, и ее последовательное осуществление подарило стране невиданный в мирное время хозяйственный развал.

Семимильные шаги перестройки

Детальный разбор экономических преобразований периода перестройки требует широкого привлечения не использованного здесь понятийного аппарата рыночной экономики и поэтому станет темой отдельной публикации автора. Однако наших знаний брежневской экономики достаточно, чтобы вкратце объяснить полученные страной негативные результаты.

Экономическая перестройка началась с ускорения — безрассудной попытки прищипить загнанную лошадь брежневской экономики. Последовавшие затем изменения хозяйственного механизма повторили в несравненно больших масштабах все ошибки реформы 1965 г. и добавили новые. В брежневской системе выбор производственной программы предприятий осуществлялся на бюрократическом рынке, и поэтому достаточно сильный спрос на продукцию, как правило, находил предложение. Ослабление контроля за деятельностью предприятий со стороны министерств привело к тому, что механизм координации через «вертикальные» связи был нарушен. Исходя из собственных удобств,

предприятия произвольным образом изменили свои производственные программы, в результате чего были разрушены старые технологические цепочки и расстроено материально-техническое снабжение. При этом, так же как и в реформе 1965 г., за счет ассортиментных сдвигов были улучшены формальные результаты деятельности предприятий, в результате чего они получили ничем не обеспеченные шальные деньги. Дополнительный элемент экономической нестабильности внесли кооперативы, оттягивая из ригидной, не умеющей приспособливаться к изменениям, административной экономики материальные и трудовые ресурсы и производя дополнительные наличные деньги.

Наконец, разрушение брежневской машины принятия решений и кризис политической власти дали возможность ученым-экономистам, журналистам, депутатам, представителям регионов и другим политическим силам дергать во все стороны управление смертельно больной экономикой, которой противопоказаны вообще любые изменения.

За 5 лет перестройке удалось дезорганизовать старую систему бюрократического рынка и поддерживаемые ею балансы, не создав никаких новых координирующих народное хозяйство механизмов.

Итоги

Пока в нашей стране действует хотя и наполовину разрушенная реформами, но все еще функционирующая брежневская административная система, ее изучение представляет не только академический интерес, но и способно помочь выбрать правильный курс экономических преобразований. Попытаемся же сделать из предпринятого исследования полезные для будущего выводы.

Во-первых, брежневская экономика является не деформацией какой-то в принципе верной концепции, а цельной законченной системой, реализующей в современных технологических условиях социалистический принцип сознательного управления хозяйственной жизнью общества. Она является лучшей из того, что можно построить на основе этого принципа.

Поднять экономику нашей страны можно, только отказавшись от этой идеи. Материальные интересы отдельных лиц и коллективов должны подчиниться концепции *Рынка*. Его законы в экономике придется признать такими же независимыми от нашей воли, как законы Ньютона в физике.

Во-вторых, сложившаяся в СССР система бюрократического рынка чрезвычайно ригидна и резко разбалансируется даже от довольно скромных изменений, а тем более под действием крупномасштабных реформ. *Ее нельзя изменять — ее можно только заменить*. Попытки внедрить в нее какие-то новые, ей несвойственные элементы обречены на неудачу и принесут ненужные страдания измученному народу.

И не только страдания... Современные технологии предъявляют чрезвычайно высокие требования к условиям производства, ресурсам, квалификации работников. Когда они нарушаются, техника становится *опасной*, и ряд технологических катастроф продемонстриро-

вал будущее, которое нам уготовано, если мы проявим нерешительность¹.

Система не поддается постепенной перестройке еще и потому, что ее институты создали механизм взаимозависимости вся от всех, которая радикально отличается от рыночной, — бюрократический антирынок, в котором процессы управления происходят в обратном по сравнению с обычным рынком направлении. Руководитель одного из предприятий, которое выпускает нужные всей стране запчасти, говорил, что оно останется, если они перестанут быть дефицитом и нельзя будет получать за них дефицитные мясо и колбасу. В этой системе по всеобщей взаимной договоренности каждый залез в чужой карман, и, как писал в своей книге "Общество, основанное на привилегиях" известный американский экономист лауреат Нобелевской премии Дж. Бьюкенен², единственный способ провести уравновешенную реформу — заставить всех одновременно вынуть руки из чужих карманов.

В-третьих, всякие модификации в хозяйственном механизме резко изменяют производственную программу предприятий, в результате чего разрываются старые технологические цепочки, а административная система с ограниченным ресурсом управления оказывается не в состоянии их восстановить (она с трудом справлялась с этим в спокойный застойный период). Поэтому *сверхмобильность* нового экономического механизма — его способность обеспечивать *быстрое формирование новых технологических цепочек* — имеет решающее значение для выживания общества.

В-четвертых, длительное функционирование в нашей стране обменного бюрократического рынка привело к неспособности традиционных административных структур четко выполнять приказания и должностные инструкции и к утрате соответствующей профессиональной этики управленцами. В результате современный Советский Союз располагает меньшими ресурсами директивного административного управления, чем западные капиталистические страны, и будет вынужден пользоваться рыночным регулированием даже в тех сферах, в которых там применяется административный контроль.

В-пятых, торговля официальными статусами на бюрократическом рынке привела к потере связи с реальными качествами отдельных лиц и учреждений. Поэтому, в отличие от западных стран, в которых рынок действует в рамках социальных структур, наш *сверхрынок* вынужден будет заниматься еще и их формированием.

Контурь реформы

Экономическая реформа, учитывающая особенности сложившейся в нашей стране системы хозяйствования, должна быть основана на всеобъемлющей замене бюрократического рынка товарно-денежным, путем: приватизации *всего* государственного производственного имущества; отмены *всех* нормативных ограничений на хозяйственную деятельность;

¹ Сценарий Икс. — Век XX и мир, 1989, № 10.

² Toward a Theory of the Rent-Seeking Society, ed. by Buchanan J. M. et al., College Station, Texas A&M Univ. Press, 1980.

ликвидации *всех* органов административного управления предприятия. Лишь в этом случае не связанные административными путями предприятия смогут в сжатые сроки, поменяв в соответствии с денежным спросом свои производственные программы, восстановить необходимые для выживания страны технологические цепочки.

Приватизация подразумевает равный и справедливый раздел государственного имущества и передачу его в частную (долевую или неделимую) собственность граждан. Отмена ограничений на деятельность предприятий означает, в частности, отказ от трудового законодательства (все условия определяются соглашением между работодателями и работниками [или их коллективами]) и свободу установления всех цен (при индексации выплат семьям с пониженной трудоспособностью). Разрушение административного аппарата предполагает пересадку вышестоящих руководителей предприятий в советы директоров независимых фирм и обеспечение им существенной доли вклада в предприятия для сохранения преемственности в управлении производством.

Вступлению в действие нового хозяйственного механизма должен предшествовать период раздела государственного производственного имущества и *предварительной контрактации* — заключения предварительных договоров между предприятиями.

Необходимо отметить, что до разрушения народного хозяйства страны хозрасчетными реформами последних лет существовала *экономическая* возможность проведения не разовой, а посекторной рыночной реформы, которая была бы психологически более комфортна для населения. Замену административного рынка товарно-денежным тогда можно было бы проводить по отдельным секторам народного хозяйства, таким, что на их границе можно установить контроль над ресурсными потоками, которые для этого должны иметь относительно небольшую номенклатуру. Секторами реформы могли бы служить: сначала сельское хозяйство со своими снабженческими и сбытовыми организациями, затем торговля и легкая промышленность, затем строительство и стройиндустрия.

При этом в *нереформированной* части экономики управление должно было бы продолжаться осуществляться старыми методами брежневского бюрократического рынка. Органы хозяйственного управления планировали бы на основе действовавшего порядка производство на предприятиях госсектора группы товаров, предназначенных для предприятий реформированного сектора, и продавали бы их на централизованных торгах по конкурентным ценам. Те же органы закупали бы на централизованных торгах по конкурентным ценам продукцию реформированных предприятий и распределяли бы ее в плановом порядке среди предприятий госсектора. Свободное ценообразование гарантировало бы выполнение народнохозяйственных требований к объемам поставок продукции в госсектор. И только в качестве дополнительной паллиативной меры могла бы быть разрешена продажа за наличный расчет государственными предприятиями сверхплановой продукции и закупка ими продукции реформированных предприятий в рамках жестких нормативов, устанавливаемых вышестоящими органами. Предложение по этой реформе, которую следовало начать не позднее 1987 — 1988 гг., удалось

опубликовать только в 1989 г.¹

Ныне брежневский бюрократический рынок разрушен и уже не может остановить процесс экономического распада. Наш единственный выход — разовая реформа, описанная автором в книге "Другая жизнь". Тем не менее и эта реформа требует времени на подготовительные мероприятия: просветительскую деятельность, раздел государственного имущества и предварительную контрактацию, минимальная длительность которых оценивается в 1,5 года. Задержка реформы приведет к тому, что необходимые действия придется предпринимать наспех, а это вызовет последующую длительную нестабильность и разбалансированность экономики.

¹ Найшуль В. Проблема создания рынка в СССР. — В сб. Постигание. М., "Прогресс", 1989, с. 441—455.

У ИСТОКОВ

1. Уроки истории

История не проходит бесследно. Помогая понять глубинный смысл происходившего, она дает ориентиры для предположения о том, что ожидает нас в будущем.

Это особенно важно, когда речь идет об исторических событиях переломного характера, круто меняющих весь сложившийся жизненный уклад, знаменующих переход общества от данного состояния к качественно новой эпохе. К числу таких событий относится коллективизация советской деревни в 1929—1933 гг. В исторически минимальный срок была осуществлена всеохватывающая социальная ломка, в корне изменившая за века сложившиеся устои хозяйственной жизни российского крестьянина.

Социальное содержание и социальные последствия коллективизации оказались не столь простыми, однозначными и безболезненными, как представляли себе ее идеологи и организаторы. Здесь мы находим ключевые истоки целого ряда крупных социальных явлений сегодняшнего дня. И не только в деревне. Во всей нашей политической системе и хозяйственной жизни коллективизация послужила первоначальным шагом крупномасштабного поворота в сторону от той идеальной модели социализма, которая вырабатывалась как позитивная альтернатива буржуазному обществу. Не случайно и теперь, спустя полстолетия, к этому повороту не ослабевают внимание обществоведов.

Объединение крестьянских хозяйств в колхозы, проведенное в невиданно короткие сроки с огромным политическим фанфаронством и грубым крупномасштабным насилием, прикрывалось лозунгом кооперации, притом со ссылками на якобы реально существовавший "ленинский кооперативный план".

Все наши сегодняшние неурядицы в снабжении населения страны продовольствием своими корнями уходят в те далекие 30-е годы, когда в ходе антикрестьянской войны была ликвидирована крупная социальная группа землевладельцев-крестьян. Уничтожены были не только земледельческие хозяйства и их хозяева, но и накопленный ими за многие столетия исторический опыт, профессиональные крестьянские навыки к труду, разрушен веками формировавшийся уклад крестьянской жизни. За все прошедшие 60 лет не было ни единого более или менее длительного периода в истории страны, когда можно было бы сказать, что народ накормлен. Это ли не свидетельство и критерий сущности аграрного строя, который был "построен" на осколках "разрушенного до основания".

Коллективизация была наиболее кровавой и тяжелой первой драмой

крестьянина-землеладельца. Ее продолжение относится к послевоенным годам. Уничтожались мелкие крестьянские артели, в которых еще сохранялись кое-какие крестьянские традиции. Десятками объединялись они в огромные нищие и бесперспективные хозяйства. Неразумно сводились в единый клин их земли. Крестьянин еще дальше был отделен от владения землей. Насильственное прикрепление его к колхозу стало единственным инструментом закрепления сельского населения в деревне. Крестьянин окончательно превратился в крепостнически привязанного к колхозу "приписного работника".

Но и на этом не закончился процесс раскрестьянивания страны. Уже в 70-х годах еще один бессмысленный шаг правящих кругов окончательно удушил последние остатки крестьянства: насильственная межхозяйственная кооперация с целью так называемой агропромышленной интеграции производства. Колхозная самостоятельность была окончательно ликвидирована и, очевидно, уже не сможет никогда возродиться.

Но жить нужно. И есть только один путь восстановления жизни — возрождение крестьянина — владельца земли. В социальном плане это означает, что надо пройти обратный путь от разрушенного, уничтоженного крестьянского хозяйства к его возрождению, сохраняя при этом те материальные и социальные ценности, которые, несмотря ни на что и вопреки официальной политике, были созданы и накоплены в колхозной деревне. Думается, что для этого нужно знать и помнить, в каких формах происходило уничтожение российского крестьянского хозяйства.

Многие до сих пор не до конца понимают истинный смысл коллективизации. Это не случайно. Долгие годы нас старались убедить, что в конце 20-х годов острая политическая борьба в деревне было направлено на сравнительно невеликую социальную группу кулачества. Что же касается широкой массы крестьянства, то для нее якобы было характерно массовое тяготение к коллективному хозяйству. В действительности иллюзия "легкости" успешного перехода к колхозам в значительной мере навеяна легковесным усердием некоторых историков да пропагандистов.

Реальная история коллективизации крестьянства — это история тяжелых "проб и ошибок", история теоретических поисков и споров, история острой и бескомпромиссной идеологической борьбы, история политических столкновений, в том числе и вооруженных схваток. Иначе и не могло быть при переходе общества от одного состояния политических устоев к качественно иному состоянию.

К. Маркс когда-то писал, что первоначальное накопление капитала вписано в историю пламенеющим языком огня и меча. Но и коллективизация как крупный социальный переход от одной — существующей, к другой — новой эпохе, писалась не пером и чернилами. Если сейчас, с "высоты" нашего сегодняшнего состояния, обернуться назад и трезво рассмотреть историю коллективизации деревни, то можно отчетливо различить несколько аспектов того обострения политической борьбы, которая характерна была для конца 20-х годов.

Исторически: доживала свои последние дни новая экономическая политика (нэп). Ее никто не отменял, но она умирала, не выполнив до конца возложенной на нее функции. Отмененный ею принцип производственной разверстки возрождался, все далее отодвигая в сторону

от практики хозяйствования налог как экономический рычаг стимулирования производства. По форме налог еще сохранялся, но ему были оставлены только фискальные функции.

В деревне, между тем, социальная структура упростилась. Кулак как сельский капиталист, живущий за счет эксплуатации наемного труда, в основном был ликвидирован еще в годы гражданской войны. Наряду с кооперативами в самых разнообразных формах продолжал расти "средняцкий" слой.

Раскрепощенные нэпом хозяйственные интересы крестьянина подталкивали его к развитию хозяйственной предприимчивости, к расширению масштабов и структуры своего хозяйства. "Средний" крестьянин, работая на земле, отданной ему революцией, начинает рационализировать производство. В его дворах появляются первые машины, возникают так называемые культурные хозяйства. Расширяется круг деятельности крестьянина. Наряду с земледелием "средний" крестьянин занимается — кто первичной обработкой сырья, кто торговлей, кто лесозаготовкой и лесообработкой, "отходными" промыслами. Словом, шел тот закономерный процесс, который составлял объективную основу подготовки к постепенной индустриализации земледелия и соединения его с разнообразными видами неземледельческих и "послеземледельческих" работ.

Именно нэп, с его экономическими устоями, создал для этих процессов благоприятную почву. И на деревню середины — конца 20-х годов уже нельзя смотреть как на нищенскую или убогую сферу запустения и "идиотизма деревенской жизни", раздираемую одними только классовыми противоречиями. Революция предоставила крестьянам экономические выгоды. И именно в этот период они начали материализовываться в реальном повышении уровня хозяйствования, улучшении условий жизни крестьянина.

Вот теперь-то и нужно было бы опереться на кооперацию крестьянских хозяйств, всемерно поддерживать ее. Ту кооперацию, которая, например, ныне господствует во Франции, в других европейских странах. Ту кооперацию, которая создает действительные условия для реального и крупного роста производительности труда крестьянского, а через него — всего общественного. Ту кооперацию, которая экономически выгодна крестьянину и государству. Словом, ту кооперацию, объективную необходимость которой доказывал В. И. Ленин в статье "О кооперации", продиктованной им в январе 1923 г. Но Сталин считал кооперацию буржуазной. "низшей" формой, враждебной социализму.

Теоретически: ленинские доказательства, что кооперация, "торгашеская и капиталистическая" в прошлом, должна и может служить делу социалистического переустройства не только деревни, но и города, далеко не всеми были поняты. Утверждение Ленина о том, что "строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства — это есть строй социализма", не дошло до сознания многих политиков, искренне и убежденно называвших себя коммунистами. Целый ряд "сверхреволюционеров" не воспринимал их. Одни — из добросовестного заблуждения, замешенного на малограмотности, другие — под воздействием личных и групповых корыстных намерений, вытекающих нередко из карьеристских устремлений.

В повышении уровня жизни крестьянина они искали и "находили" симптомы "реставрации капитализма в деревне". Голословно превра-

тив среднего крестьянина в кулака, они упорно настаивали на применении к нему репрессивных мер. Ссылались при этом и на ленинские положения о социальной двойственности крестьянина, которая якобы представляет смертельную опасность для социализма.

Но камнем-то преткновения были не теоретические выкладки. Речь фактически шла о хлебе. Благодаря нэпу более половины всего товарного хлеба в те времена давал уже середняк с небольшим количеством кооперативов и государственных хозяйств. В выступлениях Сталина того времени можно четко проследить логику его политики по отношению к крестьянству, которую он и не считал нужным завуалировать: стране нужен хлеб; этот хлеб теперь — у среднего крестьянина. Крестьянин согласен отдать хлеб только в обмен на промышленные товары, которых у государства пока нет. Чтобы иметь их, надо развивать промышленность, а для этого нужен хлеб, чтобы на него купить за границей промышленное оборудование. Порочный круг! И надо разорвать его. Как? У крестьянина даром взять хлеб невозможно. Но, как показывает опыт, можно взять его у колхоза. Значит, надо немедленно объединить крестьян в колхозы. По отношению к тем, кто сопротивляется, применить антикулацкие меры, для чего подвести зажиточных крестьян под категорию кулака.

Так был решен затянувшийся спор о кооперации. Ее идеи “восторжествовали”. Но глубинная ее сущность, ее социально-экономическое содержание и огромное разнообразие форм были сведены к насильственно создаваемому “коллективному хозяйству” — колхозу. Проблема кооперации была на практике, а затем и в “теории” полностью подменена проблемой коллективизации с ее единственной формой — колхозами.

Практически: коллективизацию, то есть коренное социальное переустройство села, ломающее вековые устои крестьянской жизни, разрушающее веками накопленные тенденции и хозяйственные интересы крестьянина, попытались осуществить мерами “революционного” подавления. Не было сколько-нибудь серьезной ни социальной, ни психологической, ни материальной подготовки предпосылок массового обобществления крестьянских дворов, земли, скота, инвентаря.

В 1929 г. основные зернопроизводящие области были объявлены районами “сплошной коллективизации”. К июню в колхозы было записано около 1 млн., а к сентябрю — уже 1,9 млн. крестьянских хозяйств, то есть 7,6% их общего числа. Сталин на основании этих цифр объявил о начале “года великого перелома”. В колхозы якобы массами “пошел середняк”. Специально созданный “Колхозцентр” дает директиву ускорения темпов. Обобществлялось, собираясь на колхозных дворах, все поголовье коров и лошадей, не менее 80% свиней и 60% овец.

В зиму 1929/30 г. начался массовый падеж крестьянского скота, согнанного на неподготовленные колхозные дворы. Это вызвало естественную реакцию тех, кто пока еще в колхозы не попал: повальный забой коров, свиней, овец, даже лошадей в крестьянских хозяйствах. Деятели центральных органов партии — Молотов, Каганович, бывший нарком земледелия Яковлев — предлагают усилить нажим, расширить масштабы, ускорить коллективизацию. С применением всех возможных методов насилия к марту 1930 г. в колхозах оказалось уже 55,2% всех крестьянских хозяйств. Торопились управиться до весны.

Разрушалось извечное крестьянское хозяйство. Наиболее дальновидные бросали обжитые места, дома, усадьбы, подавались куда глаза глядят, каждый — искать свою “страну Муравью”¹. Но не тут-то было! Вовремя заметив это, правительство издает в феврале 1930 г. специальное постановление “О воспрещении самовольного переселения кулацких хозяйств и распродажи ими имущества”. Вот так! Ни бросать, ни продавать, ни делить хозяйство между подросшими сыновьями крестьянин с тех пор уже не имел права.

На зажиточные хозяйства были установлены повышенные налоги с правом дополнительного “самообложения” по решению Советов и “Крестьянских комитетов”, которые были созданы для содействия коллективизации. “Раскулачивание” как отдельные акты конфискации имущества тех, кто противился вступлению в колхоз, было заменено официальной государственной крупномасштабной политикой “ликвидации кулачества как класса”. Сейчас уже известно: кое-кто полагал, что ликвидация “класса” не затронет людей. “Класс же ликвидируют, а не людей”, — успокаивал своих раскулаченных и выселенных родственников А. Твардовский. Наивный поэт! Класса без людей не бывает. Уничтожить класс — значит уничтожить составляющих его личность. Да и не “класс кулачества” уничтожался, ибо в деревне конца 20-х годов — начала 30-х годов такого класса не было. Были различающиеся по имущественному положению группы, “слои крестьянства”, как их называл Ленин. “Имущественность еще не говорит о кулачестве”, — пытался убедить своих товарищей по партии М.И. Калинин.

Крестьянство разрушалось как социальная группа, социальный тип крестьянина уничтожался, чтобы превратить его в разновидность наемного работника на государственной земле. Ликвидацию “кулачества” поручали местным властям. А для взбадривания их активности установили, что до $\frac{1}{4}$ конфискованного и реквизированного имущества передается в их распоряжение. И появились ревностные организаторы установления “всеобщего равенства”, уравнительного распределения имущества путем “экспроприации” у зажиточных крестьян наработанного и накопленного.

Естественно, что уже первые шаги “сплошной коллективизации” вызвали сопротивление крестьянства. Кое-где стихийно возникают открытые выступления. Удивительно не то, что они случались, а их редкость, кратковременность, отсутствие вооруженных форм, которые применялись только со стороны сил, подавляющих выступления, в том числе и воинских. Но тем не менее это на время остудило излишне горячие головы. Опасность срыва весенней кампании вынудила Сталина пойти на уступки. 2 марта 1930 г. неожиданно для своих соратников он публикует статью “Головокружение от успехов”, в которой обвиняет их в “головотяпстве” и призывает вернуться к разумному кооперированию на добровольной основе.

Статья произвела впечатление разорвавшейся бомбы. За весну около 9 млн. крестьянских хозяйств покинули колхозы. Вдохнул крестьянин, вновь поверив обещаниям вождя. Да оказалось, рановато радуется. Не изменение политики провозгласил Сталин, а лишь кратковременную

¹ Мифическая страна крестьянского благоденствия, описанная советским поэтом А. Твардовским.

передышку ее на полевой сезон. Уже в сентябре он рассылает директивное письмо "О коллективизации". В нем предписывается завершить сплошную коллективизацию до весны 1932 г., не растягивая ее на весь год. Теперь кампания была подготовлена несравненно крепче. Подтянуты силы, проинструктированы люди. На примере репрессированных "кулаков" продемонстрировано, к чему приводит нежелание вступать в колхозы. И дело пошло. Весной 1931 г. наверстаки упущенное, вновь доведя обобществление крестьянских дворов до 55,8%. В 1932 г. в колхозах состояло уже 61,5%, а к 1934 г. до $\frac{2}{3}$ крестьянских дворов. Сплошная коллективизация завершилась!

Что же дала она стране и народу?

К началу массового раскулачивания в деревне, после всех разделов хозяйств имелось не менее 26,0 млн. крестьянских дворов. К концу кампании — в 1934 г. — осталось 23,3 млн., 2,7 млн. крестьянских хозяйств — более 10% общего их числа — исчезло с лица земли. Раскулачивались, как правило, крупные хозяйства, имеющие от восьми и более десятин покровов (десятина — 1,093 га). Число душ в среднем на такую семью составляло от 7 до 9 человек на Украине и от 9 до 10 человек в России. Вот и посчитайте, сколько же реальных, высокой квалификации земледельцев утратила страна. Сюда вошли и те, кто умер от искусственно созданного голода в 1932 — 1933 гг. А сколько потенциальных хлеборобов не досчиталась в недалеком будущем? Миллионы сельских жителей согнаны были с насиженных гнездований, изгнаны из своих деревень, отлучены от своего исконного дела. Многие из них были загнаны в необжитые районы Северного Урала, вплоть до Восточной Сибири.

Историки до последнего времени описывали коллективизацию в форме торжественных панегириков: создан могучий колхозный строй! Он принес нам неисчислимые победы и в развитии экономики, и в Великой Отечественной войне. Он и ныне обеспечивает нам выполнение Продовольственной программы!

Очень хочется, чтобы все так и было в действительности. Но реальная жизнь показывает нам пустующие прилавки магазинов. Карточное, регламентированное распределение мясных, молочных и многих других продуктов, а в последнее время — уже и сахара. Безудержно растут цены на продовольствие. Продолжаются крупномасштабные и все нарастающие закупки продовольствия, сельскохозяйственного сырья на внешнем рынке. И покупаем не то, что сами не имеем возможности производить, а предметы исконно российского товарного земледелия — зерно, мясопродукты, картофель, даже лук.

Говорят о роли колхозов в прошедшей войне. Бесспорно, внесли они вклад в достижение победы не меньший, чем все остальные наши экономические и социальные институты.

Но вспомните-ка, кто в войну работал на колхозной земле. Бабы деревенские с малыши детисками да стариками немощными. На себе пахали и сеяли и руками своими собирали выращенное. Все до зернышка отвозили на заготовительные пункты. Да еще и со своих огородных подворий часть продукции отдавали. Для чего? Да для того, чтобы накормить армию, в том числе и своих собственных мужиков — мужей, отцов, братьев, сыновей, всех других воюющих и работающих. Так разве колхоз кормил сражающийся народ? Люди, в колхоз объединенные. А раз-

ве без колхоза они не делали бы того же самого?

Много вопросов. Может быть, останутся они впредь лишь как повод для размышлений. Может быть, и нет смысла искать ответа на них. Но есть несомненный резон в том, что они возникают.

История коллективизации крестьянства в нашей стране, ее описание имеют двойкий смысл.

Во-первых, она помогает нам осмыслить истоки нашей сегодняшней жизни, понять, какой сложный и противоречивый путь прошли мы к нашему теперешнему состоянию, сколько бед и побед испытали и одержали, каких ошибок наделали и сколько сил положили на их исправление.

Во-вторых, вдумчивый анализ своей истории, трезвая и полная, без сокрытий характеристика ошибок, реалистическая, без самовосхвалительных преувеличений оценка успехов и достижений помогают правильно строить сегодняшнюю социальную и хозяйственную политику.

II. Как это было

В годы новой экономической политики, которая, к сожалению, продолжалась очень недолго, кооперация сумела в какой-то мере развернуться. И пожалуй, ни ранее, ни позднее население Советской России не видело столь богатого розничного рынка и не пользовалось столь насыщенным рационом питания. Судите сами.

1920 и 1921 гг. были наиболее тяжелыми для страны. Голод поразил значительную часть зернопроизводящих районов. Городское население повсеместно сидело на нищенском пайке. В ряде районов наблюдались случаи людоедства. Никогда ранее и ни разу позднее (за исключением искусственно созданного голода на Украине в 1932 — 1933 гг.) основные регионы страны не испытывали таких несчастий. Недород, порожденный засухой, усугублялся политикой разверстки. Крестьяне не хотели даром отдавать выращенный ими хлеб. Военизированные продовольственные отряды были вынуждены силой реквизировать зерно. В продразверстку сплошь и рядом попадали не только излишки зерна, как это предусматривалось законом, но и все хлебные запасы крестьянской семьи. Годовое потребление продуктов питания на душу населения в сельских семьях составляло (по разным районам страны): хлебных продуктов — от 177 до 206 кг, мяса — от 16 до 25, сала — от 2 до 4 кг. В семьях городских рабочих положение было еще хуже: потребление хлебопродуктов — 147 кг, мяса — 10,8, сала — 0,5 кг. Служащие потребляли в год на душу хлебопродуктов — 145 кг, мяса — 13,9, сала — 0,8 кг. Голод порождал апатию, полное неверие в то, что когда-нибудь Россия сможет выйти из трагически бедственного положения.

Напомню, что основные наметки новой экономической политики В.И. Ленин изложил в апреле 1921 г. Далеко не все крестьяне поверили в серьезность намерений государственной власти. Трехлетняя привычка к продразверстке давала о себе знать. Более того, весной 1921 г. не удалось восстановить посевные площади под зерновыми культурами, сократившиеся в период военного коммунизма. К тому же правительство шло на известный риск, установив размеры твердого продовольственного на-

лога примерно вдвое меньше, чем изымалось у крестьянина зерна по продразверстке в предыдущие годы. А между тем уже в 1920/21 г. по системе налога и закупок в сумме было заготовлено 6 млн. зерна, на 2,5 млн. больше, чем в предыдущем году. В 1922/23 г. заготовлено почти 6 млн. т, из них 3,9 млн. — в порядке продналога, а 2 с лишним — путем свободной закупки. В следующем году — 6,8 млн. т, из них 3,1 млн. т закуплено, в 1925/26 г. — 8,9 млн. т, а в следующем — 11,3 млн. т — уже полностью путем свободных закупок, ибо натуральный налог был отменен.

В 1922 г. впервые за много лет российский хлеб вновь появился на европейском рынке, правда, в небольшом количестве — примерно 3,5 тыс. т. Но уже в 1923 г. на мировой рынок было вывезено около 2 млн. т ("Энциклопедия русского экспорта", т. III, 1924, с. 302). Не могу не связывать эти изменения с возрождением крестьянской кооперации, которая к 1922 г. увеличилась вдвое и в последующие годы продолжала наращивать свои мощности.

В снабжении населения продуктами питания произошел действительно коренной перелом. Чудо состояло в том, что его никто не ожидал. Неверие в нэп окружало эту политику со всех сторон: левые видели в ней отход от революции и чуть ли не предательство ее; обыватель колебался, хотел, но так до конца и не мог поверить в то, что эта политика "всерьез и надолго" (к сожалению, он оказался прав). Именно поэтому первые месяцы и даже годы нэпа всколыхнули эмоции российского жителя волной спекуляции, разгулом неорганизованного рынка, бешеным скачком цен, падением нравственности... Да чего только не возникало в этот первый период.

Вместе с тем наглядно и достаточно быстро улучшалось продовольственное снабжение (см. табл. 1).

Таблица 1

Потребление основных продуктов питания
на душу населения в год, кг

	Год					
	1920/21	1922/23	1923/24	1924/25	1925/26	1926/27
<i>Сельское население</i>						
<i>Хлебопродукты</i>						
Производящие районы	206	261	263	248	246	246
Потребляющие районы	177	181	224	228	224	230
<i>Мясо и сало</i>						
Производящие районы	29,6	12,8	25,8	39,5	42,7	38,5
Потребляющие районы	18,3	18,2	32,7	37,8	43,1	43,0

*Городское население**Семьи рабочих*

Хлебопродукты	147	152	212	208	187	186
Мясо и сало	11,3	30,9	36,1	54,4	60,6	60,6

Семьи служащих

Хлебопродукты	145	190	186	166	169	168
Мясо и сало	14,7	41,5	47,2	63,0	67,7	68,0

Источник. Десятилетие Советской власти в цифрах: 1917 — 1927. М., ЦСУ СССР, 1928, с. 354, 360.

Работники нынешних статистических органов обычно выражают недоумение по поводу уровня потребления в 20-х годах, когда я эту информацию привожу. Рассуждения очень простые: откуда быть такому потреблению мяса, если в 1928 г. его производилось всего-навсего 4,3 млн. т (см., например: Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 37).

У меня же возникает вопрос: каким способом получена эта информация, когда она вошла в обиход и с какой целью? В статистике 20-х годов производство мяса и сала учитывалось далеко не точно, ибо крестьянские хозяйства статистических отчетов не сдавали. Учет велся по поголовью скота расчетным путем. К тому же после резкого сокращения поголовья в 1930—1931 гг. в связи с массовой коллективизацией крестьянских хозяйств приходилось вносить ретроспективные коррективы в имевшиеся статистические материалы, дабы не подорвать слишком сильно идею коллективизации.

Для подкрепления вышеприведенной таблицы приведу некоторые дополнительные данные.

В 1929 г. в стране имелось 68,1 млн. голов крупного рогатого скота, то есть по 44,5 головы на 100 жителей. В 1988 г. на то же число жителей страны приходилось всего-навсего 42,3 головы. Поголовье овец и коз на 100 жителей страны в 1929 г. составляло 97 голов, а ныне — менее 52. Коров на 100 душ населения — соответственно 21 и 15 голов. Крестьяне содержали 31 млн. лошадей, из которых около $\frac{1}{3}$ использовалось на мясо. Ныне их поголовье настолько мизерно, что государственная статистика отказалась их учитывать. Только по поголовью свиной мы ныне превосходим российскую деревню доколхозной эпохи.

Так чему же, спрашивается, удивляться, обнаруживая, что уровень потребления мяса сегодня ничуть не выше, чем 60 лет назад, несмотря на все старания нашей официальной статистики?

Благодаря свободному хозяйствованию в условиях свободного рынка российский крестьянин уже к концу 1924 г. обеспечил более высокий уровень потребления продовольствия, чем в 1913 — 1916 гг.

Когда я обращаюсь к материалам нэповского периода, нередко возникает аналогия с послевоенным возрождением народного хозяйства побежденных Западной Германии и Японии. Конечно, сравнение не правомерное. Как писалось некогда в одной официальной справке "золотой дождь американских долларов оплодотворил экономику Западной Германии", благодаря чему она и расцвела столь пышно. Так это или не так — другой вопрос. Но то, что разрушенная дотла Россия из совершенно бедственного положения, в котором она находилась к се-

редине 1921 г., сумела выйти и в столь короткий срок накормить свой народ, да еще к тому же в 1923 г. вновь появиться на хлебном рынке мира в качестве экспортера, иначе, чем чудом, назвать нельзя. А "чудо" это заключалось в новой экономической политике, стержнем которой можно считать свободную торговлю в сочетании с твердым налогом. Именно на этой основе развернулись инициатива и предприимчивость крестьянина, ремесленника, мелкого торговца, естественным путем приведшие их к кооперативной организации, соединяющей личный интерес и инициативу с экономическими преимуществами относительно крупного хозяйства в оптимальных для каждого конкретного случая размерах.

Немного бы побольше в те времена дать свободы кооперации. Да хотя бы еще на десяток лет продлить нэп, регулируя его, естественно, применительно к обновляющимся условиям. Думаю, что не пришлось бы нам перед всем миром в середине 80-х годов признаваться в том глубоком кризисе, к которому подвели нас политические выверты 30-х и нравственная растленность 70-х.

Конечно, кооперация не успела развернуться в полную силу: не хватило временного пространства; не хватило также хозяйственной терпеливой мудрости у руководителей страны и народного хозяйства.

Не удалось возродить знаменитые в предвоенный период союзы кооперативов, занимавшиеся изготовлением и продажей на европейском рынке несравнимого вологодского и сибирского коровьего масла. (Кстати, когда-то, читая письма В.И. Ленина матери, обнаружил: Владимир Ильич, находясь с сестрой в эмиграции за рубежом, успокаивал родительницу и писал, что питаются они с сестрой хорошо. Покупают российское масло, которое качеством не в пример выше, чем европейское. А было это масло продуктом сибирских и вологодских кооперативных товариществ.) Не удалось восстановить и всемирно известную льняную кооперацию, которую в свое время выпестовали А.В. Чаянов и В.С. Маслов. Российский союз кооператоров-льноводов поражал европейских модниц качеством льняного полотна, изготовленного из российских волокон. Свыше 60% их поставлял этот союз на рынки Европы. На примитивно-кустарном уровне осталась и кредитная система российской кооперации после разгона Московского народного кооперативного банка. Финансовое кровообращение в кооперативной системе оказалось разрушенным и восстановиться в полной мере уже так и не смогло.

Но все-таки при всех перечисленных и других ограничениях нэп дал толчок оживлению кооперации. Пусть на краткий срок — это не его вина; пусть в ограниченных масштабах — это лишь его беда. Но сегодня, возрождая кооперативное движение, мы обращаемся к первому опыту воссоздания кооперации в социальных условиях социализма. Изучаем позитивный опыт для его использования. Изучаем негативные явления для предотвращения их вполне возможных рецидивов. Самым губительным среди них и для кооперации, и для народного хозяйства страны в целом стал так называемый великий перелом.

III. Коллективизация взамен кооперации

Нет ни одной крупной социальной идеи, которой бы удалось сохранить "первозданную чистоту" в ходе ее практической реализации. Все

они неоднократно деформировались под воздействием тех или иных политических, хозяйственных, а иногда и эгоистических, конъюнктурных замыслов и устремлений. Кооперации в этом смысле повезло не больше, чем идее социализма в целом.

Коллективизация, то есть соединение крестьянских хозяйств в колхозы, проведенная в невиданно короткие сроки путем грубого крупномасштабного насилия, изначально прикрывалась лозунгом кооперации.

Коллективизация (точнее, колхозизация) крестьянства не отраслевое, не "сельскохозяйственное" явление. Это крупный социальный переворот, послуживший началом коренных изменений социальных условий жизни всего общества. По существу, это коренная ломка формировавшейся в период нэпа хозяйственной, а затем и политической системы страны. Начало коллективизации стало концом новой экономической политики и началом воссоздания той разновидности социализма, истоки которой лежат в политике военного коммунизма. А это значит, что начало коллективизации означало конец кооперации в стране. В этом и состояла трагедия.

Ленину потребовалось три с половиной года тяжелейших испытаний революцией и гражданской войной, голода и нищеты российского народа, чтобы прийти к первым идеям новой экономической политики. После этого понадобилось более года мучительных размышлений, отказа от ранее выработанных идей и взглядов, их пересмотра в жестоких спорах с коллегами, с утратой единомышленников, из которых многие были давними друзьями, чтобы прийти к "коренной перемене всей нашей точки зрения на социализм".

Сталин и чувствовал и мыслил по-иному. До 1928 г. он поддерживал иллюзию верности учению. Трудно сказать, искренне или фарисейски, но еще в апреле 1929 г. на XVI партконференции Сталин говорил: "Индивидуальное бедняцко-средняцкое хозяйство в деле снабжения промышленности продовольствием и сырьем играет и будет еще играть в ближайшем будущем преобладающую роль. Именно поэтому надо поддерживать индивидуальное, не объединенное еще в колхозы бедняцко-средняцкое хозяйство".

Еще в ноябре 1929 г. на Пленуме ЦК ВКП (б) Сталин не настаивал на чрезмерном ускорении коллективизации крестьянства. И вдруг в декабре 1929 г. на конференции "аграрников-марксистов" Сталин дал не просто теоретическую установку на коллективизацию, но и заявил, что на базе сплошной коллективизации мы ПЕРЕШЛИ от политики ограничения к политике ликвидации кулачества как класса.

Вслед за этим 30 января 1930 г. Политбюро ЦК принимает соответствующее решение. Сплошная коллективизация крестьян, органически соединенная с ликвидацией "кулачества как класса", предстала перед изумленным народом как практически начавшееся крупномасштабное социальное действие.

Произошел новый коренной перелом, теперь уже перелом ленинской точки зрения на социализм. И не просто точки зрения. В течение буквально трех с половиной лет был произведен поворот всего социалистического корабля с его хозяйственной и политической системами на давно уже пройденный и оставленный в стороне путь военного коммунизма, или, как высказывался Н.И. Бухарин в спорах со Сталиным, "военно-феодалной эксплуатации".

Естественно, что нас ныне интересует, насколько и как была подготовлена теоретически, экономически и организационно коллективизаторская кампания, то есть весь этот грандиозный революционный переворот. Ответ на этот вопрос тем более необходим, что на протяжении 60 лет наша литература задыхалась от восторгов по поводу глубокой научной обоснованности любых хозяйственных или политических решений высших партийных органов, сколь бы велики или малосущественны они ни были. Совсем недавно — десяток лет назад — волновым накатом вспыхнули громopodobные овации по поводу “нового этапа реализации ленинского кооперативного плана”, сутью которого было насильственное соединение колхозов и совхозов в межхозяйственные и так называемые агропромышленные объединения. Подписанное Брежневым соответствующее постановление Политбюро, в очередной раз ломавшее устоявшийся уклад (и ранее деформированной хозяйственной жизни) колхозов, выдавалось за новый крик революционной теории, высшее достижение марксизма-ленинизма “в условиях развитого социализма”. А как он готовился, этот очередной переворот? Сейчас-то мы это знаем, а в прошлом приходилось принимать на веру мудрость его авторов. В кругу и под нажимом добравшихся до власти авантюристов — И. Бодюла, В. Голикова, Ф. Кулакова. Один сумел за годы своего правления разорить молдавские колхозы, некогда обладавшие миллионами. Под его “руководством” все они до единого сели на долговую картотеку. Другой, будучи помощником Брежнева, фактически возглавлял “теневой” кабинет по управлению сельским хозяйством страны и непосредственно разрабатывал так называемую аграрную политику. Что она дала, очевидно, не стоит доказывать. Третий, не обладая ни образованием, ни достаточными способностями, но будучи незаменимым в застольях и других мероприятиях “здорового отдыха”, верно служил второму. А вокруг них — огромный аппарат организаторов, администраторов, статистиков, служителей идеологии, готовых с неудержимым рвением обосновать любую идею. Идея, родившаяся по наитию за одну ночь наутро начинала материализовываться в решениях. Слава богу, в последние годы застоя эти решения не выполнялись.

Но при Сталине-то было другое. Решение превращалось в действие незамедлительно. И чем масштабнее было оно по существу своему, тем тяжелее было тем, “во благо” которым (точнее, против которых) оно было направлено. Была ли какая-либо программа, обоснованная и проработанная в деталях, обсужденная и одобренная — не говорю уж народом, а хотя бы высшим ареопагом партии — съездом, или ее исполнительным органом — ЦК?

Подготовка коллективизации

Чтобы попытаться изложить наши соображения по этому вопросу, придется дать общую картину состояния сельской экономики и ее социального строя, сложившуюся к концу 20-х годов. Идеи и предсказания В.И. Ленина относительно роли кооперации в становлении социализма, преодолевая препятствия, “пробивали себе дорогу” в российской деревне.

В 1925 г. в сельской местности уже имелось свыше 55 тыс. кооперативов, объединявших около 7 млн. пайщиков. К 1929 г. число их более чем удвоилось. В разные типы кооперативов входило к концу 1929 г. свыше 28 млн. пайщиков. Практически все более или менее нормально функционирующие крестьянские хозяйства состояли пайщиками одного или нескольких кооперативов. При этом полностью сохранялась их хозяйственная самостоятельность и юридическая свобода хозяйствования.

Такие отрасли, как хлопководство, льноводство, выращивание сахарной свеклы, практически полностью функционировали на началах кооперативной организации сбыта, снабжения, хозяйствования. В районах развитого молочного скотоводства кооперированием было охвачено до 90% крестьянских хозяйств.

Через кооперацию государственные заготовительные органы закупили до 80% зерна, весь урожай хлопка, льняных волокон, почти всю сахарную свеклу. Широко развернулась система контрактации как форма встречной торговли промышленными товарами. До 70% мануфактуры, все сельскохозяйственные машины, преобладающее большинство инвентаря, молодняк породистого скота, массы других товаров поступали в деревню на основе договоров контрактации через кооперацию.

Знаменательное явление этого периода — широкое развитие кооперативного перерабатывающего производства. Вновь возродились маслодельные, сыродельные, табачные, сахарные, консервные заводы, работающие на кооперативных началах. Государственные заказы, оформляемые прямыми договорами или договорами контрактации, широко применялись как организационная форма взаимодействия крестьянских хозяйств с государством. Продукция их поставлялась не только в общегосударственные фонды и госторговлю, но и на внешний рынок.

Неоценимую роль не только в развитии кооперации, но и укреплении государственной экономики сыграл кооперативный кредит. Хотя государство не позволило создавать, точнее, возродить, систему кооперативных инвестиционных и коммерческих банков, кооперативная кредитная система распространялась достаточно широко. По сравнению с европейской кооперативной банковской системой она выглядела весьма примитивно, ибо ее основными звеньями выступали сравнительно маломощные кредитные товарищества. Как правило, они соединяли производственные, снабженческо-сбытовые и кредитные функции; поэтому возможности их были ограничены. Однако они сумели взять на себя значительную часть кредитного оборота и тем самым ослабить нагрузку на государственную кредитную систему. В частности, и поэтому государственный бюджет до начала 20-х годов не знал тех напряжений и перегрузок, которые позднее стали хроническими.

Разве все это не предпосылки того социализма, к которому изначально была направлена революция?

И совершенно не случайными на этом фоне выглядят количественные индикаторы состояния сельскохозяйственного производства в 20-е годы. В 1926 г. по общему объему валового производства уровень 1913 г. был превзойден. А это был, как отмечают статистики, для России очень не плохой уровень! В 1928 г. объем сельскохозяйственной продукции (по оценке по сопоставимым ценам) вдвое превысил уровень 1922 г. Не удержусь от сравнения и замечу, что в последующие 12 лет, к 1941 г.

валовая продукция сельского хозяйства увеличилась лишь на 10%. Среднегодовой темп роста сократился в 17,5 раза!

Поголовье лошадей (основная тягловая сила) с 1922 по 1926 г. выросло почти на 30%; крупного рогатого скота — более чем в 1,5 раза, в том числе коров — на 38%, овец и коз — в 1,6 раза, свиней — в 1,9 раза. Вдвое увеличилась доля хозяйств, имеющих от 6 до 16 десятин посевных площадей. В точно такой же пропорции сократилась доля хозяйств, имеющих до 2 десятин.

Выросли доходы крестьянских хозяйств, заметно улучшилось питание, качество одежды. В селах началось жилищное строительство.

Разве все это не социализм?

Сталину, однако, социализм представлялся лишь в виде крупного производства, подчиненного единой воле, основанного на принудительном труде. Ликвидация имущественной дифференциации и установление всеобщего имущественного равенства на предельно низком уровне, доступном для всех. Таким он видел социализм и для такого социализма искал организационные формы. Этой формой для крестьянства стали колхозы.

А между тем удельный вес колхозов в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства составлял в 1927/28 г. всего лишь около 2%, а в товарной — менее 7%. Несмотря на широкую пропаганду и материальную поддержку, рост колхозов шел медленно. В 1929 г. в колхозах состояло 3,9% крестьянских дворов. Их доля в валовой продукции сельского хозяйства не превышала 2,6%.

Индивидуальные крестьянские хозяйства были основной базой российского земледелия. До конца 1929 г. во всех официальных решениях съездов партии, пленумов ЦК, в официальных устных и печатных выступлениях ее лидеров, включая Сталина, красной нитью проходили успокоительные заверения в том, что индивидуальные крестьянские хозяйства еще долго будут преобладающей формой сельскохозяйственного производства, и государство неизменно держит курс на их поддержку. Немало партийных активистов, "отдыхая" на лагерных нарах, вспоминали, как в назидательно безапелляционной манере вождь поучал: "Есть люди, думающие, что индивидуальное крестьянское хозяйство исчерпало себя, что его не стоит поддерживать. Это неверно, товарищи". Помолчал, оценивая напряженную тишину в зале. Угрожающе добавил: "Эти люди не имеют ничего общего с линией нашей партии". Сколько ораторской энергии было этими людьми израсходовано в последующие полгода на пропаганду высказываний лидера партии!

И на тебе! Как гром среди ясного неба через короткое время оглушающе и ошеломляюще в той же директивно-утвердительной форме, с явно выраженными угрозами в голосовой тональности прозвучала речь Сталина на конференции "аграрников-марксистов" в декабре 1929 г. Проходила она в здании на Волхонке, где длительное время размещался Институт экономики АН СССР. Напоминаю об этом потому, что выступление Сталина в институтском здании в течение более полувека было предметом неусыпной гордости институтских ученых. Большинство их пожизненно остались покоренными его речью и веровали в истинность его оценок, выводов и выкладок до конца жизни. "Мелкокрестьянское хозяйство, — говорил Сталин с присущей ему медлительностью, придававшей речи уверенность и бесспорность, — не только не осуществляет

в своей массе ежегодно расширенного воспроизводства, но, наоборот, оно очень редко имеет возможность осуществлять даже простое воспроизводство”.

Ведь вот что удивительно: за шесть предшествующих лет российское земледелие, основанное целиком и полностью на “мелкокрестьянском” хозяйстве, УДВОИЛО объем производства. Следовательно, увеличиваясь в среднем почти на ТРИНАДЦАТЬ процентов в год. И вдруг вождь, гипнотизируя публику безмерной самоуверенностью, зная, что никто не посмеет возразить ему, утверждает, что это хозяйство не может даже возобновлять себя в прежних размерах. И ученые мужи слушают. Да что там слушают — внимают! А потом шквально аплодируют. А затем единодушно осуждают и наклеивают издевательские ярлыки (впоследствии смертельные) тем, кого оратор называл защитниками этого хозяйства.

Противоречия потрясающие: буквально через одну фразу Сталин заявляет, что именно мелкокрестьянское хозяйство представляет собой “преобладающую силу в нашем народном хозяйстве”; “Преобладающая сила” не имеет возможности осуществлять даже простое воспроизводство, а оно между тем развивается со скоростью до 13% в год. Кто же тогда вдвое увеличил производство сельскохозяйственной продукции? Далее вождь спрашивает: “Можно ли двигать дальше ускоренным темпом нашу социализированную индустрию, имея такую сельскохозяйственную базу, как мелкокрестьянское хозяйство, неспособное на расширенное воспроизводство?..”

И уверенно, веско отвечает: “Нет, нельзя”.

Далее Сталин, как всегда он это делал, подвел под идею сплошной коллективизации политическую основу классовой борьбы. Дело, оказывается, в том, что крестьянин-середняк хочет добровольно вступать в колхоз, но его классовый враг — кулак всячески противится этому. Следовательно, для нормального и беспрепятственного развития коллективизации необходимо уничтожить этого классового врага. А потому теперь “мы перешли в последнее время от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества (уже перешли, без каких-либо решений и обсуждений — перешли) к политике ликвидации кулачества как класса”.

Вот так! Так и сформировалась взаимосвязь. В одних случаях говорили, что сплошная коллективизация осуществляется “на базе ликвидации кулачества как класса”, в других — наоборот, ликвидация кулачества ведется на базе сплошной коллективизации. Это уже значения не имело. Как говорят на Востоке: упадет ли камень на кувшин, упадет ли кувшин на камень — горе кувшину.

Приговор был вынесен. Окончательный, обжалованию он не подлежал. В том числе и тем людям, которые “не имеют ничего общего с линией нашей партии”.

Стоит запомнить декабрь 1929 г. Это был первый крупный шаг по пути последующей войны Сталина с народом. Первый, пробный шар. Сталин этот шар выиграл. Далее, до конца своей жизни, дрессируя партию, Сталин правил ею единодержавно.

А тем временем по негласно данной команде с большим размахом уже развертывалась, преодолевая крестьянское сопротивление, массовая колхозная кампания. О путях ее осуществления и трагических последствиях мы уже писали.

Прежде всего возникает вопрос: была ли какая-либо программа коллективизации деревни? Сталин и пропагандисты его политики постоянно ссылаются без достаточных аргументов на кооперативный план Ленина. Но такого плана, подчеркиваю, именно ПЛАНА, никогда не было. Была общая программа кооперирования России, в том числе и российского крестьянства. Однако никто и никогда не предусматривал применения насильственных методов и сверхскоростных темпов ее реализации. Только добровольность, вытекающая из экономических интересов кооперирующихся товаропроизводителей, при безусловном сохранении их хозяйственной самостоятельности лежала в основе идеи кооперации.

Знал ли об этом Сталин? Безусловно. Был ли согласен? На такой вопрос ответить трудно. Но при этом, как уже я отмечал ранее, Сталин до декабря 1929 г. нигде не выступал со своими взглядами, отличными от идей кооперирования. Впервые он слегка приоткрыл их в январе 1928 г. во время единственной своей поездки по стране, будучи в Сибири.

Кажется, можно предположить, что до декабря 1929 г. Сталин не имел четко выраженной программы коллективизации. И лишь в период между ноябрем и декабрем 1929 г. эта программа созрела в его голове и душе.

В такое предположение верится с трудом, ибо Сталина не назовешь легковесным политиком. К тому же были некоторые симптомы его замыслов.

Первый. По его инициативе в июне 1928 г. был собран Всесоюзный съезд колхозов. После всех парадных речей съезд принял решение, запрещающее возвращать земельные наделы и имущество крестьянам, желающим выйти из колхозов. Решение было продиктовано Сталиным. Что он предвидел впереди, диктуя его? Прикрепление крестьян к колхозу, то есть разновидность крепостнического режима для крестьян.

Второй. В январе 1928 г. на совещаниях с партийным и советским активом сибирских областей Сталин дал указание применять по отношению к крестьянам, задерживающим продажу хлеба государству, статью 107 Уголовного кодекса, карающую за спекуляцию. Ранее — в 1926, а затем в 1927 г., по его же инициативе были существенно снижены цены на хлеб. Проводилось снижение одновременно с повышением налогов на зажиточных крестьян. Естественно, это не могло не спровоцировать задержки с продажей хлеба. Тем более что одновременно были повышены государственные цены на технические культуры, а также на сельскохозяйственные машины и инвентарь. Сталин не относился к числу людей, не способных представить себе последствия тех или иных хозяйственных решений. Мог ли он предвидеть затруднения с заготовкой хлеба, снижая цены на него? Сомнений здесь не может быть.

Третий. 21 мая 1929 г. по инициативе Сталина было опубликовано Постановление СНК СССР о признаках кулацкого хозяйства. К ним относились не только хозяйства, систематически применяющие наемный труд, но и хозяйства, имевшие машины с механическим двигателем, мельницы, крупорушки, шерстобитки и пр., постоянно или временно сдававшие внаем помещения и машины, занимавшиеся торговлей, коммерческим посредничеством и т. п. Одним словом, по тому или иному признаку к кулацкому можно было в ту пору отнести любое

крестьянское хозяйство среднего и выше среднего уровня. Естественно, что именно эти хозяйства в первую очередь воспротивились бы сплошной коллективизации. Поэтому надо было заранее включить их в число классовых врагов. Мог ли Сталин, настаивая на этой классификации, не учитывать, к каким последствиям она может привести и чем может оказаться полезной?

Четвертый. Свое выступление перед марксистами-аграрниками, где он раскрыл замыслы интенсивной коллективизации и ликвидации кулачества, Сталин предварительно не обсуждал не только на Пленуме, но и в Политбюро ЦК. Произнес он его, как говорят, "явочным" порядком. Но выступал не Сталин лично, а Генеральный секретарь ЦК. Иначе говоря, Сталин поставил партию и ее руководящие органы перед фактом. Теперь можно было ожидать, что Политбюро либо опротестует его программу, либо смирится как со свершившимся фактом. И Сталин знал, что протеста не будет, ибо на апрельском Пленуме ЦК 1929 г. он сумел заставить капитулировать своих последних оппонентов — Бухарина, Рыкова и Томского. Остальные члены Политбюро, запуганные или запутавшиеся в аппаратных интригах, уже во всем поддерживали Сталина. Он не считал нужным знакомить Политбюро со своей программой и лишь выбрал удобный момент для ее обнародования без обсуждения в Политбюро.

Как назвать такую тактику в подготовке и реализации переворота? Я бы назвал ее заговором. Заговор против партии, против ее руководящих органов, против крестьянства и народа в целом.

Если это не заговор, то еще хуже. Значит, Сталин был уверен в своем всемогуществе и продемонстрировал его, дабы еще раз запугать возможных противников.

Каковы количественные результаты колхозной кампании? Поголовье крупного рогатого скота с 1928 по 1934 г. сократилось на 26,6 млн. голов, то есть на 45%, в том числе коров — на 35%, свиней — в 2,2 раза, овец — в 3 раза, лошадей — на 17,2 млн. голов, то есть вдвое.

Потери поголовья, допущенные в период коллективизации, мы сумели восстановить только в 1957—1959 гг. Общий уровень производства в 1933 г. оказался на $\frac{1}{4}$ ниже уровня 1928 г. Вновь подняться до него мы смогли только в 1940 г.

Количественные критерии в крупных социальных явлениях ненадежны. Значительно важнее качественные оценки.

IV. Конструирование "проблемы кулака"

Кооперация товаропроизводителей эффективна именно потому, что хозяйственные интересы она признает как движущую силу экономического прогресса. Кооперация сочетает в органическом единстве личную предприимчивость и личные устремления с общественными целями. Это возможно только при неограниченной юридической свободе товаропроизводителя, то есть свободе человека от каких-либо форм крепостнической зависимости.

Юридически свободный человек реализует себя как личность в системе постоянно возобновляющихся общественных связей. Они ограничивают свободу воли человека, но только в пределах четко фик-

сированных, писанных норм поведения, выработанных и законодательно закреплённых обществом.

Именно с этой точки зрения рассматривал Ленин отношение государства к товаропроизводителю вообще и крестьянину в частности. "Пролетарская государственная власть должна сохранить за крупными крестьянами их земли, конфискуя их лишь в случае сопротивления власти трудящихся", — писал он, готовясь к выступлению на II конгрессе Коминтерна.

Сталин придерживался иной точки зрения. Его метод "взаимодействия" с мелкой буржуазией, в которую он безоговорочно включал все крестьянство, основан только на подавлении. Не хватает мощи для подавления экономического — применяя подавление политическое, призывая на помощь лозунг классовой борьбы.

С этих позиций обратимся к рассмотрению процесса "ликвидации кулачества как класса", составляющего стержневой хребет коллективизации крестьянства и всецело определившего судьбу российской кооперации в конце 20-х — первой половине 30-х годов.

Здесь придется обратиться к историческому материалу.

Прежде всего вспомним, что российское изречение "кулак" первоначально означало сельского торговца-перекупщика, занимающегося преимущественно скупкой и перепродажей зерна. Позднее понятие расширилось. Под него подводится вообще крупный крестьянин, в частности тот, кто, кроме своего труда и труда членов своей семьи, в достаточной значительных масштабах применяет наемную рабочую силу. Нередко разница между "кулаком" и трудящимся крестьянином бывала настолько расплывчата, что определяли ее на основе субъективных, нередко чисто эмоциональных оценок. Почему? Да потому, что земледелие, с его сезонным характером работ, требует в "пиковые" периоды концентрации труда в ограниченные временные интервалы. Вчерашний труженик сегодня привлекает наемного рабочего — батрака на месяц, на два и формально превращается в "кулака". В свою очередь "батрак", отработавший два месяца по найму, остальные 10 месяцев спокойно трудится в своем хозяйстве, к тому же нанимая на заработанные деньги на три месяца двух плотников для строительства амбара. Поди-ка разберись.

Ленин в уже упоминавшихся подготовительных материалах к Конгрессу Коминтерна писал, что "под "средним" крестьянством в экономическом смысле следует понимать мелких земледельцев, которые владеют на праве собственности или аренды тоже небольшими участками земли". Наряду со своим трудом они "прибегают довольно часто (например, в одном хозяйстве из двух или из трех) к найму чужой рабочей силы" (подчеркнуто мной. — В. Т.).

К крупному крестьянству Ленин относил капиталистических предпринимателей в земледелии, хозяйничавших с несколькими наемными рабочими, хотя бы и применявших свой личный физический труд в хозяйстве. Как видно, критерии и здесь размыты. Но в целом характеристика достаточно четкая: кулак есть капиталистический предприниматель в земледелии. Я бы добавил: основная часть дохода которого возникает из эксплуатации чужого труда.

Число таких предпринимателей в предреволюционной России довольно быстро росло в связи с осуществлением Столыпинской реформы

1906 г. Ко времени революции их насчитывалось около 3 млн. Они владели 80 млн. га сельскохозяйственной земли. В среднем на одно такое хозяйство на начало 1918 г. приходилось примерно 26 га земельных угодий. Средний размер остальных крестьянских хозяйств не превышал 2—3 га.

По Декрету о земле, крестьянам была передана значительная часть помещичьих, удельных, церковных и иных земель. Кроме того, созданные в июне 1918 г. Комитеты бедноты за полгода своего существования реквизируют у кулацких хозяйств более 50 млн. га земель и также передали их трудящимся крестьянам. У кулаков были реквизированы все сельскохозяйственные машины, значительная часть рабочего и продуктивного скота. Экономическая база кулачества оказалась не только подорванной. Она была разрушена. К концу 1918 г. в распоряжении бывших кулацких хозяйств осталось около 30 млн. га, то есть по 8,6 га на хозяйство. В среднем на одно крестьянское хозяйство в те времена приходилось уже около 15 га.

К 1929 г. уже четко определилось господствующее понятие нового "кулака". Им стал любой крестьянин, уровень хозяйства которого оказался выше среднего. А поскольку понятие "среднего" доверено было определять местным властям, к категории кулака при отсутствии четких критериев можно было отнести любого крестьянина, если дом у него был лучше, чем у соседа, корова поупитаннее, лошадь посильнее. Ну, а если к тому же во дворе была не одна, а две коровы да еще имелся, не приведи господь, сепаратор, то тут и разговоров не было. Тем более что, по уложениям, четверть всего имущества, конфискованного у "кулаков", передавалась безвозмездно тем, кто их раскулачивал.

Сталин внес свою лепту в подготовку общественного мнения о необходимости "второго издания гражданской войны". Неоднократно в своих речах он давал такую классификацию: зажиточных крестьян в российской деревне около 5% их общего числа. Среди них "особо богатых" примерно 2—3%. Исходя из этого, он предложил применять прогрессивное налогообложение для "кулацких и зажиточных" слоев населения. Что же касается "особо богатых", то они подлежат еще и дополнительному "самообложению". Так и повелось: кулаков и зажиточных — 5%, а особо зажиточных — 2—3%. На этой основе были установлены нормативные плановые задания для раскулачивания: первых пока не трогать, а вторых — раскулачивать. Был даже случай, когда Сталин выступил публично в защиту несправедливо обиженных и сурово отчитал руководителей области, которые посмели нарушить эти нормы: вам было ясно сказано, что раскулачивать можно 2—3% крестьянских хозяйств, а вы посмели ликвидировать более 5%. Это нарушение линии нашей партии.

Забегая вперед, скажем: лукавил Иосиф Виссарионович. Негласно самой суровой карой наказывал он не тех, кто "перегибал", а тех, кто допускал "либерализм", ограничиваясь установленными нормативами. Поэтому в волостях и округах началось соревнование: кто больше. В некоторых районах раскулачиванию подвергли до 10—15% крестьянских дворов, а в иных — каждое пятое хозяйство оказалось реквизировано.

Сколько крестьянских хозяйств было разорено в ходе кампании раскулачивания? Ответить на этот вопрос трудно, так как точной статистики не сохранилось, а может быть, и не велось. В.П. Данилов, напри-

мер, считает, что за 1930 — 1932 гг. выселено было около 600 тыс. хозяйств. Он основывается на данных судебной статистики. Но она не полна.

Дело в том, что по предложению специальной комиссии бывшего наркома земледелия Яковлева подлежащие раскулачиванию крестьяне были разбиты на три группы: первая — “контрреволюционный кулацкий актив”. Их надлежало судить и по решению суда либо отправлять в лагерь, либо лишать жизни.

Вторая — зажиточные кулаки. Для этих была уготована высылка вместе с семьями в отдаленные края для работы на лесозаготовках, в карьерах, шахтах, рудниках или на других не менее тяжелых работах. Отдельным из них также пришлось отправиться в лагерь.

Третья: все остальные кулаки и “подкулачники”. Они лишились имущества и вместе с семьями выселялись из своих деревень в специально отведенные для поселения места в данном районе либо за его пределами.

С первой группой кулаков разделялись по решению судов, и учет их отражался в судебной статистике. Были решения судов и относительно части крестьян, попавших во вторую группу. Очевидно, именно эти материалы и послужили источником для выводов В.П. Данилова.

Преобладающее большинство раскулаченных второй группы и полностью третья группа выселялись по решению местных органов власти. Отчеты об их раскулачивании направлялись в партийные органы. Добраться до этих материалов, если они сохранились, насколько мне известно, пока еще никому не удалось.

Отсюда и идет разнобой в цифрах. Сталин, например, в одной из своих бесед с У. Черчиллем в начале 1942 г. вспоминал, что период коллективизации был для него труднее, чем 1941 г. Пришлось в той или иной форме подвергнуть репрессиям не менее 10 млн. человек.

П. Волобуев, один из наиболее крупных, честных историков, утверждает, что за всю кампанию коллективизации в стране было раскулачено от 12 до 13% крестьянских хозяйств. Это значит, примерно, от 3,0 до 3,5 млн. хозяйств.

Я в своих расчетах исходил из той статистики крестьянских дворов, которую приводел Сталин в докладе на XVII съезде партии (он включен в историю партии как “съезд победителей”. Над кем? Вероятно, над крестьянством, ибо в период между предыдущим и настоящим съездами война шла именно с крестьянством).

Согласно этой статистике, в 1928 г. в стране имелось 26 млн. крестьянских хозяйств. Вероятно, их число к 1929 г. возросло, так как в предвидении раскулачивания крупных хозяйств крестьяне в 1928 и 1929 гг. стали делить их между членами семьи, выделяя преимущественно сыновей в отдельные хозяйства. Ничего путного, правда, из этого не вышло, ибо местные власти зорко следили за такими “уловками”. Правительство даже издало запрет на раздел хозяйств, и органам статистики было строго заказано регистрировать новые хозяйства. Думаю все-таки, что к началу кампании массового раскулачивания в деревне было не менее 26,5 млн. хозяйств.

На начало 1934 г., как уже отмечалось, в деревне осталось 23,3 млн. хозяйств. Значит, 3,2 млн. их было ликвидировано.

Не думаю, что все их бывшие владельцы были раскулачены властями.

ми. Какая-то часть, видя безвыходное положение и предчувствуя неизбежность конца, ухитрилась бросить насиженные места и податься в город, на стройки, в лесное хозяйство и т. п. Таких, однако, было немного, ибо устроиться в городе с семьей в те времена было не легче, чем сейчас. Более полумиллиона землевладельцев в эту группу попасть никак не могли, тем более что организаторы раскулачивания бдительно следили за своими жертвами. В феврале 1930 г. было принято специальное постановление ЦИК и СНК СССР "О воспрещении самовольного переселения кулацких хозяйств и распродажи ими имущества". Вот так! Целью то состояла не в том, чтобы освободить деревню от кулака, а в том, чтобы ликвидировать, то есть уничтожить его вообще. Не деревню — шар земной от него надо было освободить. И не о классе, о людях шла речь.

Итак, если допустить, что полумиллиону крестьян все-таки случайно удалось избежать своей участи, то, значит, в ходе коллективизации было уничтожено 2,7 млн. хозяйств.

Какое же количество сельских жителей в этом случае попало под репрессии? Наша статистика еще с тех далеких времен привыкла тщательно вуалировать демографическую ситуацию и ее изменения по годам. Но в моем распоряжении оказалась совершенно уникальная по нынешним временам книга. Это статистический справочник "Итоги десятилетия Советской власти в цифрах", подготовленный ЦСУ СССР в 1927 г. под руководством профессора А.В. Чаянова и выпущенный в свет с его комментариями.

Пользуясь этим справочником, приведу сводную таблицу о составе крестьянских семей в 1924/25 гг.

Таблица 2

Состав крестьянских семей (число душ на одно хозяйство без наемных рабочих)

Размер посевов на одно хозяйство, в десятинах	Число членов семьи			
	РСФСР		Украина	Белоруссия
	Потребляю- щая полоса	Производя- щая полоса		
Без посевов	2,0	4,0	3,09	нет
До 2	4,96	4,06	3,85	4,97
От 2 до 4	6,16	5,04	4,75	6,13
От 4 до 6	7,33	6,39	5,60	6,82
От 6 до 8	8,6	7,56	6,03	8,07
От 8 до 16	9,20	8,79	7,12	8,38
Более 16	16,5	9,68	9,03	нет
В среднем	6,01	6,1	5,21	6,51

Согласно статистическим выборкам, которые применяли авторы сборника, удельный вес хозяйств, имеющих от восьми и более десятин

посевных площадей на хозяйство, составлял по потребляющей полосе РСФСР 2,2%, по производящей полосе — 13,5, по Украине — 13,3, по Белоруссии — 6,3%.

Не ошибемся, утверждая, что именно эти хозяйства попали под раскулачивание. Среднее число членов семьи в них составляло в РСФСР — около 8,9 души, на Украине — 7,1, в Белоруссии — 8,38.

Если принять среднюю цифру по стране в целом 7,5 души на хозяйство, то это означает, что не менее 20 млн. человек сельских жителей были изгнаны из своих сел, отлучены от своих домов и своей земли.

Среди выселенных примерно половину составляли взрослые люди, то есть реальная рабочая сила земледелия, и около 10 млн. детей и подростков, среди которых не менее 5 млн. — лиц мужского пола. Это все потенциальные земледельцы, накопленный веками из поколения в поколение земледельческий опыт. Реальное уничтожение почти 3 млн. хозяйств означало, что сельское хозяйство одновременно потеряло около 10 млн. земледельцев да в недалеком будущем недосчиталось 5 — 6 млн. человек прироста своих кормильцев и защитников.

Незначительная часть раскулачиваемых, естественно, пыталась сопротивляться. Попытки эти подавлялись быстро и эффективно. К 1932 г. кампания "пошла как по маслу". Но последствия коллективизации хозяйств не замедлили сказаться уже в первый год ее завершения.

До сих пор продолжается полемика о мотивах, побудивших Сталина развернуть широкими масштабами и высокими темпами коллективизацию сельского хозяйства. Немало называется причин. Нередко прежде всего объясняют его политикой желанием преобразовать российское земледелие, укрупнить и создать условия для его механизации. Вольно или невольно, но тем самым в известной мере обеляют вождя. Но обращает на себя внимание настойчивость, с которой он соединял коллективизацию с жестокостями раскулачивания. ЦК ВКП (б) дал по областям разверстку заданий. Поощрялись наиболее жестокие методы раскулачивания. Партийные функционеры в письмах и отчетах Сталину чуть ли не соревновались между собой в безжалостности. Вот типичный образец отчета из Сибири: "Работа по конфискации у кулаков развернута и идет на всех парах... аж душа радуется. Мы с кулаком расправляемся по всем правилам современной политики. Забираем у кулаков не только скот, мясо, инвентарь, но и семена, продовольствие и остальное имущество. Оставляем их в чем мать родила"¹.

Число раскулаченных значительно превышало реальное количество богатых и зажиточных крестьянских хозяйств. В отдельных областях было разорено до 10 — 15%, а в некоторых районах — до 20% крестьянских дворов.

Для чего нужны такие масштабы? Только для того, чтобы запугать основную массу крестьян, принудить их вступить в колхозы. А это в свою очередь создало возможность забирать у крестьян хлеб по предельно низким закупочным ценам.

Эта политика уже в 1930 г. вполне удалась. В целом по стране было заготовлено 22,2 млн. т, то есть 26,7% всего выращенного зерна. В колхозах его было изъято 27,5%.

В 1931 г. урожай был выращен 69,5 млн. т, то есть на 14 млн. т

¹ *История СССР*, 1989, № 3, с. 43

меньше предшествующего года. Но план хлебозаготовок был утвержден в 25,5 млн. т, на 3,3 млн. т больше. Зерно выбивали с боем. И уже осенью 1931 г. насмерть подорвали сельское хозяйство. Трагедия началась летом 1932 г. А кульминации достигла к концу его.

Предвидя трудности его выполнения в уже оголодавших зерносеющих районах, ЦК ВКП (б) 7 июля 1932 г. принимает постановление "Об организации хлебозаготовок в кампании 1932 г.", в котором указывал на неизбежность "сопротивления кулацких элементов делу хлебозаготовок" и предписывал "сломить это сопротивление и во что бы то ни стало выполнить утвержденный план хлебозаготовок"¹.

Хлеб отбирали с помощью военной силы и активистов. В колхозах и оставшихся единоличных хозяйствах выметали под метелку. Наряду с хлебом забирали все выращенные продукты. На Украине, Дону, Кубани, в Поволжье, на Южном Урале и в Казахстане к зиме 1932/33 г. разразился невиданный по масштабам голод. Люди вымирали целыми деревнями. Попытки украсть хлеб наказывались с невероятной жестокостью. Особого разгула достигли репрессии на Северном Кавказе. 14 декабря 1932 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР принимают постановление, в котором предписывают местным властям выполнить план хлебозаготовок путем искоренения "контрреволюционных элементов, не останавливаясь перед всеми видами репрессий (арест, концлагерь, высшая мера)"². Предписывалось выселить в северные районы все население станицы Полтавской "как наиболее контрреволюционной". Ретивые исполнители дополнили указание еще тремя станицами — Медведовской, Урупской и Уманской. И даже имена их стерли с географических карт.

Не менее жестокими мерами отбирали продовольствие на Украине. Пухнувшие от голода люди пытались пробраться в смежные области РСФСР, Белоруссии. По указанию Сталина и Молотова на границах против них выставляли заградотряды, ловили, возвращали назад, на мучения и голод, на смерть. За попытки укрыть хлеб применялись самые жестокие наказания. По голодающим областям прокатилась массовая волна расстрелов "саботажников хлебозаготовок". Газеты регулярно сообщали о расстрелах колхозников, единоличников, советских и партийных работников, недостаточно активно выбивавших хлеб из колхозов и единоличных хозяйств.

Оставшись без продовольствия, люди ели траву, древесную кору, варили конскую упряжь, остатки овчин. В деревнях не осталось ни кошек, ни собак. Отмечались случаи людоедства и трупоедства. И уже никто не бунтовал.

Тихо и спокойно умирали люди в своих домах, уходили в города, на железнодорожные станции... куда глаза глядят, для того чтобы уйти из жизни. Несомненно, что в вышеприведенную статистику попала и часть этих несчастных.

Число погибших от голода 1932–1933 гг. ужасает. Из советских историков мало кто пишет об этой трагедии. Западные историки, социологи, демографы пытаются рассчитать масштабы голодной смерти. Их оценки страшны: от 4 до 10 млн. человек. Таков этот первый урок, преподнесенный народу коллективизацией.

¹ *Справочник партийного работника*, вып. VIII, М., 1934, с. 567, 568.

² *История СССР*, 1989, № 3, с.50.

А между тем из черноморских портов отправлялись за границу суда, наполненные украинской, донской, кубанской, поволжской пшеницей. Более 1,8 млн. т хлеба было экспортировано в этом трагическом голодном году. Так спрашивается, какие же мотивы подвигали Сталина на преступную коллективизацию? Иногда мне противоречит: от голода гибли не только колхозники, но и единоличники, у которых отбирали хлеб не менее жестоко, чем в колхозах. Все это так, да не совсем так. Именно благодаря коллективизации, сочетавшейся с кровавым раскулачиванием, удалось запугать крестьян, лишив их способности к сопротивлению. Вот почему покорно, как должное принимали люди организованный грабеж и смиренно умирали голодной смертью.

Вот так история строительства нового общества обошлась с нашим сельским хозяйством, да и со страной в целом. Трудно признаться в этом, но уверен: наши неудачи на Украине в 1941—1942 гг. не были бы столь трагическими, не будь в 30-х годах того урока, который Сталин дал народу. Люди обладают памятью. А она усваивает и хранит все, с чем человек в своей жизни сталкивается.

Сколько фальши пущено в литературу идеологическими лакеями Сталина по поводу его политики коллективизации и раскулачивания! И не только в те приснопамятные времена культа. Но и через два десятка лет после XX съезда. И не только писали. Ухитрялись за фальшь и подтасовки получать государственные и иные премии.

Например, авторы и научные редакторы многотомной "Истории социалистической экономики", титулованные, отмеченные званиями и медалями, академики В.А. Виноградов и Н.Н. Некрасов, члены-корреспонденты АН СССР Е.И. Капустин и А.И. Пашков без сомнений подписывают тексты, восхваляющие политику раскулачивания: "Советская власть сделала все необходимое для трудоустройства бывших кулаков, создала им нормальные условия жизни"¹. Как их назвать, этих авторов?

Даже школьники в 70-х годах уже знали о чудовищных муках, которые довелось выдержать людям, принудительно с клеймом кулака выселенных на Северный Урал и в гнилые болота Северо-Восточной Сибири. Привозили их десятками тысяч с малолетними детьми и престарелыми родителями в гиблые места, заставляя валить лес, выкапывать руду, одновременно отстраивая шалаши и бараки на три-четыре семьи. Жили в продуваемом всеми ветрами неотапливаемом помещении. Разрушали в крестьянской жизни не только хозяйство, но и семью крестьянскую с ее вековой нравственностью. На непосильной работе, полуголодные гибли десятками и сотнями тысяч. Лишь единицы, рискнувшие сбежать, чудом выжившие, возвращались спустя полтора-два десятилетия не к прежней уже, а к нищенской жизни. И как же можно после этого кощунствовать о созданных для них "нормальных условиях жизни"? Лишились некоторые не только разума, но и совести.

Много веков пройдет, но сохранятся в памяти народной неправедные дела 30-х годов.

¹ История социалистической экономики, т. 3. М., "Наука", 1974, с. 379.

V. Возродим ли мы крестьянина?

При самом добросовестном описании нашей предшествующей шестидесятилетней истории и при искреннем нежелании заниматься “очернительством” ее, в чем нас многие и неоднократно обвиняют, нельзя не признать, что такого затяжного непрерывного кризиса, в котором находится, все более погружаясь в его пучину, наша аграрная экономика, не видела ни одна развитая страна мира. Причины его лежат полностью в политической сфере. С самого начала революционного преобразования России крестьянство как класс мелкой буржуазии квалифицировалось большевиками не иначе, как враждебная социализму социальная сила. Естественно, руководители Советского государства не могли не ставить себе задачи уничтожения этой силы. Успешно решив ее в начале 30-х годов, они и обрекли российский и иные народы, объединенные в единое государство, на перманентное полуголодное существование.

Ничто не выведет страну из него, кроме возрождения крестьянина.

Первое условие — владение землей.

Крестьянин — социальный тип, отличающийся двумя основными признаками — владением землей, а также вытекающим из этого правом собственности на выращиваемые на земле продукты и доходы от их реализации. Еще в Римском праве четко было зафиксировано: владение есть такая власть человека над имуществом, которая осуществляется с заранее поставленной целью “извлечения пользы для себя”. Такой пользой и является собственность владельца на производимые на земле продукты. Крестьянин — свободный гражданин, владеющий землей как объектом своего хозяйства. Не возродив крестьянина, мы сами обрекаем себя на продолжение современной аграрной депрессии, которая неизбежно и уже в недалеком будущем приведет страну к голоду.

Валюты на приобретение такого количества продовольствия, которое мы сейчас покупаем, не хватает, ее скоро не будет. Значит, нужны радикальные перемены. Лидеры партии и правительства полагают, что такими радикальными переменами является система аренды земли внутри колхозов и совхозов. Это миф, иллюзия. Аренда земли и хозяйственная самостоятельность работников внутри колхоза и совхоза никогда не получит распространения. Крестьяне останутся в лучшем случае наемными рабочими.

Нынешнее положение примерно таково, каким оно было в 1861 г. Крестьянину дали волю, но не дали землю. Земля осталась у помещиков. Современный помещик — председатель колхоза, директор совхоза — землю в аренду крестьянам не даст. Или если даст, то, как показывает практика, на таких грабительских условиях, при которых арендатора ждет разорение.

Необходима земельная реформа. Но земельная реформа возможна только в том случае, если правительство найдет силы для преодоления существующей в стране системы монополизма, а оно пока таких сил не имеет. Ныне монополизм ведомственный органически сросся с монополизмом государственным. Мы имеем систему государственно-монополистической экономики. Государственный аппарат всемерно поддерживает монополизм и усиливает его политической властью. Одним из главных элементов этой системы является монополия собственности государства на землю.

С 1929 г. из обихода и практики исчезло понятие "землевладение", земля потеряла владельца, превратилась в бесхозное имущество. Крестьяне не владеют землей, они только пользуются ею, и пользуются в тех регламентах, которые "выдает" сверху государственный аппарат.

Крестьянин утратил землю, а вместе с ней право собственности на свою продукцию, выращиваемую на земле. Отторгнутый от собственности на продукцию, земледелец перестал быть крестьянином. Исчезли стимулы, побуждающие его обрабатывать землю. Тогда его насильственно прикрепили к земле, запретили покидать деревню, лишили паспорта, без которого он не мог нигде, кроме своей деревни, получить "вид на жительство". Крестьянин превратился в "приписного" рабочего с мизерным земельным наделом при своем личном подворье. Так мы потеряли крестьянина.

Приписной рабочий, насильственно прикрепленный к земле, никогда не накормит свой народ. Сам будет жить впроголодь, но никакими силами не заставит его использовать землю в полную меру ее сил и заботиться о доведении выращенной продукции "до ума", то есть выгодной продажи ее в чистом или переработанном виде. Именно поэтому мы производим лишь около 200 млн. т зерна (если верить государственной статистике). К тому же более 30 млн. т закупаем на внешнем рынке, но зерна хронически не хватает. С другой стороны, Америка выращивает зерна 300 — 320 млн. т, а потребляет его ежегодно внутри страны не более 195 — 200 млн. т. Этого достаточно на продовольственные и фуражные нужды. По душевому потреблению зерна мы уже давно обогнали нашего соперника. А по производству продуктов переработки зерна, в частности, мяса, отстаем вдвое.

Та же картина с картофелем. Производя в шесть раз больше, чем Америка, мы потребляем его примерно столько же. Куда он исчезает? Теряется, испаряясь по дороге от производителя до потребителя, и никто не может сказать, где. Почти то же происходит и с другими продуктами.

Надо возродить крестьянина. Для этого надо вернуть земледельцу отобранное у него право собственности на продукцию и доходы, полученные от ее реализации. Это возможно лишь при одном непреложном условии: земледелец должен стать землевладельцем.

Наша система коллективизированного земледелия строилась практически "по наитию", без логического и теоретического обоснования, без критического и позитивного анализа прошлого опыта. В основе идеи "социализации" земли лежало, очевидно, желание создать единую систему коллективного производства по типу утопических фаланстеров. Но если их авторы сохраняли за фаланстерами коллективную собственность на средства производства, включая землю, то, будучи неограниченными властителями государства, носители идеи колхозизации закрепили собственность на землю в своих руках, используя ее как орудие подчинения крестьян. Справедливо предполагая, что крестьянин в состоянии лишенной земли пролетария может саботировать и откажется работать, собственники земли решили сохранить за собой и право хозяйствования на ней.

Теперь, когда мы испытали уже все возможные способы оживления колхозно-совхозного земледелия и убедились в их бесплодности, можно уверенно сформулировать вывод. До тех пор пока нынешний земле-

делец не обретет права владения землей и не обратится тем самым в землевладельца, он не сможет стать собственником производимых продуктов, не получит возможностей самостоятельного распределения и реализации своей продукции и доходов. И все будущие потуги окажутся столь же бесплодными, как и предыдущие. Современный земледелец должен стать крестьянином-землевладельцем, собственником продукции и доходов. Пока этого не произойдет, бессодержательными лозунгами останутся заклинания о превращении колхозов и совхозов в товаропроизводителей, об их самостоятельном хозяйствовании на земле и т. п.

Все это означает, что необходима радикальная земельная реформа. Половинчатые решения о развитии аренды земли в рамках колхозов и совхозов не смогут реализоваться. Во-первых, решения эти нелогичны: колхоз, обладающий правом пользоваться землей лишь в рамках, которые жестко регламентируются государственным аппаратом, по природе своей не может выступать в качестве арендодателя. Во-вторых, не менее $\frac{2}{3}$ колхозов и совхозов — это по современным меркам полуразрушенные, дезорганизованные хозяйства с крайне низким уровнем технологии и организации земледелия. Они погрязли в долгах и уже никогда не сумеют расплатиться с ними. Возможности аренды они стремятся использовать для того, чтобы за счет арендаторов заткнуть некоторые свои хозяйственные прорехи. В-третьих, они произвольно толкуют возможности установления неопределенных сроков аренды и уровня арендной платы. Крестьянин-арендатор, поверивший первоначально широкообещательным заявлениям о распространении аренды земли, вновь оказался обманутым. Он больше не верит никаким заявлениям. Единственное, что может вернуть если не доверие, то желание еще раз попытаться вернуться к разумному хозяйствованию, — это недвусмысленное законодательное решение о том, что государство действительно передает землю народу, то есть крестьянину.

Следовательно, смысл земельной реформы состоит в возрождении индивидуального и кооперативного землевладения. Государственный аппарат отстраняется от распоряжения и управления землей. Землевладелец, будь то коллектив современного сельскохозяйственного предприятия, кооператив, группа объединившихся крестьян, семейное или индивидуальное крестьянское хозяйство, получает неограниченные права владения землей, присвоения произведенной продукции и доходов от ее реализации. Одновременно он принимает на себя всю полноту экономической ответственности за результаты хозяйствования. Никто не примет его на иждивение. Но никто и не вправе вмешиваться в его хозяйственные дела, командовать, понукать. За государством сохраняется лишь одно бесспорное право — взимание налога или платы за землю в разумных пределах.

VI. Отступление в недавнее прошлое, или Возродит ли крестьянина новый закон о земле?

Все, что было изложено ранее, и то, что предстоит прочесть, написано мною в 1987—1988 гг. Частично в те же годы это было опубликовано в разных изданиях. Теперь многое изменилось. С мая 1989 г. началась ак-

тивная работа над проектом нового законодательства о земельных отношениях, в которой мне довелось участвовать. Наконец Верховный Совет после долгих заинтересованных обсуждений, горячих споров, даже с незаслуженными политическими обвинениями и доносами, принял "Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле". Многое удалось вложить в этот законодательный акт. И если рассматривать его как пропагандистский документ, предназначенный для постепенного преодоления догматического стереотипа мышления людей, то нельзя не оценивать его как большую победу разума над политическими мифами.

Во-первых, провозглашено обращение земли во всенародное достояние народов, проживающих на данной территории. Право распоряжения землей закреплено за выборными Советами народных депутатов. Это очень крупная победа демократического разума. Свершилось то, что еще два года назад казалось немыслимым: фактически провозглашена денационализация земли, отмена монополии государственной собственности на землю. Кажется, теперь уже нет смысла писать об этом. Думаю, это неверно. Надо писать, ибо декларация денационализации земли еще не означает автоматического осуществления этого процесса. Мы знаем, как умеет властвующий аппарат сохранять экономическую основу своей власти. Еще будут попытки использовать Советы народных депутатов как инструмент политической и экономической власти государства. И в нашей жизни немало примеров, когда провозглашенная демократическая декларация использовалась как орудие подавляющего авторитаризма партийного и государственного аппарата. Поэтому не утратили силу доказательства вредности монополии собственности государства на землю. И поэтому не отпала еще необходимость доказательств.

Во-вторых, провозглашено право гражданина СССР на владение землей. Это также обнадеживающий и многообещающий лозунг. В пока еще реальный пример перед нами — брестневская конституция. В ней закреплено право гражданина на жилье. Право есть, но жилья нет. Не получилось бы то же самое с правом на землю.

А опасность такая есть. Практически все сельскохозяйственные земли ныне закреплены за колхозами и совхозами. По новому закону они также являются владельцами земли. Отдаст ли землю добровольно фактический ее владелец? Многие уповают на то, что Советы наделены правом изъятия плохо используемых земель. Но этот путь чреват неизбежными конфликтами, ибо колхоз по закону обладает правом постоянного владения землей. Когда праву противостоит право, решение принимает сила. Сила пока на стороне колхоза, но не Совета, ибо ее основой служат материальные ресурсы, которыми колхоз обладает, а Совет — нет.

Мы предлагали в нашем проекте закона провозгласить субъектом владения землей не колхоз, а колхозника как гражданина СССР, имеющего незыблемое право владения землей. В этом случае земельный фонд колхоза превращался бы в сумму земельных наделов граждан, добровольно объединивших свои земельные участки для коллективного хозяйствования на них. Тем самым колхоз превращался бы в кооператив свободных землевладельцев. Каждый колхозник обретал бы реальную возможность выбора формы хозяйствования — оставаться в колхозе или выходить из него со своим земельным наделом, формировать крестьянский кооператив или группу совместной обработки земли и т. п. Но

депутаты — председатели колхозов и директора совхозов — могучей стеной встали против такой нормы Закона. И она не прошла. Да и зачем она нужна нынешнему председателю? Ослабляя его власть над землей и над людьми, она превращает его в наемного управляющего хозяйством и ставит его под контроль людей, обладающих свободой выбора. Власть же добровольно в условиях Советской страны еще никто никогда не отдавал и отдавать, очевидно, не собирается — даже народу, о котором властители, по их словам, пекутся и заботятся.

Крестьянин оказался с правом на землю, но без земли. И теперь его судьба по-прежнему зависит не от него, а от того, как сумеет договориться с колхозом Совет.

В-третьих, в законе провозглашено право выхода селянина из совхоза и колхоза с землей и даже долей накопленного имущества. Но реального механизма реализации такого права в законе нет. Норма закона обесценена и провозглашена в виде политической пропагандистской декларации. Крестьянину еще придется бескомпромиссно бороться за ее реализацию. Чую, что борьба предстоит длительная.

Одним словом, закон есть, но коренных изменений в системе земельных отношений он не производит. Не случайно же государственные структуры власти над землей, созданные в предыдущие времена государством, сохраняются практически со всеми теми функциями, которые характерны для аграрно-крепостнической экономики.

Поэтому мне представляется по-прежнему актуальным все, что было мною сказано в предыдущие годы. Поэтому решил я написанного ранее текста не менять и опубликовать в прежнем виде.

Возникает вопрос: а ради чего? Я думаю, что "Основы законодательства о земле" следует рассматривать как правовую базу предстоящей (ибо она необходима) практической земельной реформы. Содержанием ее должны быть коренные изменения земельных отношений. Слава богу, проведение земельной реформы предоставлено союзным и автономным республикам. И у нас еще есть надежда, что законодатели этих суверенных государств окажутся мудрее и радикальнее. Естественно, что придется пойти и на ограничение монополизма колхозов и совхозов, и на передел земель, и на изменение инвестиционной политики в сельском хозяйстве, и на перемену отношения властей к индивидуальному крестьянскому хозяйству с целью оказания реальной поддержки этой новой для нас, но старой как мир, проверенной тысячелетним опытом эффективной формы хозяйствования.

И здесь хотелось бы коснуться еще одного вопроса, имеющего ключевое значение, но также отвергнутого депутатами-аграрниками и профессиональными политиками.

Возрождение крестьянина уже поставило и впредь еще больше и настойчивее будет ставить вопрос о соотношении крестьянского землеустройства и индивидуальной собственности на землю. Тенденция к полному обладанию землей как объектом собственности будет нарастать по мере возникновения индивидуальных крестьянских хозяйств. Это — естественное явление, вытекающее не только из экономических интересов, но и из природы крестьянина, для которого земля служит единственным источником средств существования хозяйства и семьи.

К. Маркс, при всем его стремлении к разрушению частной собственности, на основе изучения работ физиократов и представителей клас-

сической политической экономии очень точно сформулировал, что *владение* землей является одним из условий производства для непосредственного производителя, а его *собственность* на землю — наиболее благоприятным условием, условием процветания *его* способа производства”¹. Природа крестьянина, если только удастся нам его возродить, осталась прежней, независимо от потока ложносоциальных, патриотических и прочих убеждений, которые испытал на себе каждый гражданин нашей страны за время господства “диктатуры пролетариата”, то есть пропаганды и утверждения нищеты.

Рано или поздно, но придется смириться с признанием индивидуальной собственности на землю. Так лучше сейчас начать готовиться к ее появлению, чем столкнуться с неожиданным и стихийным ее возникновением. Для этого необходимо, используя ныне действующие Основы законодательства о земле в законодательных актах союзных республик, предусмотреть социально-экономические условия, а также сроки, по истечении которых и при наличии которых земельные наделы крестьян могут быть обращены в индивидуальную собственность их владельцев. Никуда от этих преобразований в системе земельных отношений нам всем не деться. И самое разумное — предусмотреть их заранее.

Итак, получив начала закона о преобразованиях земельных отношений, необходимо начать их практическое осуществление в форме радикальной реформы. Как нам представлялось ее содержание ранее и каким оно выглядит сегодня — об этом следующий раздел.

Содержание земельной реформы

В ходе социальных преобразований, которые протекали в стране с 1918 по 1929 гг., сколько-нибудь крупных и серьезных обсуждений форм социалистического земледелия не было. Ограничивались общими решениями. А они принимались сравнительно узкой группой людей, стоящих у политической власти. Споры между ними не публиковались. Решения же и определения широко рекламировались, пропагандировались, более того, навязывались как единственно правильные и необходимые. Под прессом пропаганды и диктатуры государственной власти в сознании людей сформировался, креп и превращался в некие аксиомы целый ряд мифов. Один из них состоит в том, что-де земля передана тем, кто ее обрабатывает, в вечное и бесплатное пользование. Этот миф сам по себе и не заслуживал бы серьезного внимания. Однако ныне, когда неотложной задачей стало развитие арендных отношений, он превратился в серьезный идеологический инструмент сдерживания перестройки земельных отношений. Поэтому мы считаем необходимым рассмотреть его внимательнее. При пропаганде этого мифа обычно ссылаются на “Декрет о земле” 1917 г. Но в “Декрете о земле” не было даже упоминания о бесплатном пользовании ею. В нем указывалось: “Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа”. И далее: “Вся земля... обращается в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней”². Таким образом, речь шла о единовременной передаче земли “без выкупа”, а не о бесплатном поль-

¹ См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. II, с. 163—164.

² Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 24, 25.

зовании ею. Более того, в "Законе о социализации земли", утвержденном в январе 1918 г., и в "Положении о социалистическом землеустройстве и мерах перехода к социалистическому земледелию", утвержденном в феврале 1918 г., указывалось, что с передачей земли трудящимся "дифференциальная рента переходит в распоряжение органов Советской власти"¹.

Значит, первые декреты Советской власти утверждали, что, во-первых, крестьяне получают бывшие помещичьи земли без выкупа; во-вторых, дифференциальная земельная рента изымалась органами Советской власти. Фактически это означало, что вводится плата за землю.

В какой форме предполагалось ее взимать? Ответ мы находим в работах В.И. Ленина по аграрному вопросу. В 1917 г. Ленин писал: смысл революционных преобразований земельных отношений состоит в том, что "земля принадлежит всему народу; это значит — всякий, кто берет землю, берет ее как аренду у всего народа". Далее Ленин конкретизирует это положение: "Каждый берет землю в аренду у государства; есть государственная общая власть... у этой власти берет крестьянин, как арендатор; между государством и крестьянином никаких посредников нет". Затем следует обобщающий вывод: "Будет только общенародная собственность и свободные арендаторы земли у всего государства... каждый хозяин будет распоряжаться землей свободно"².

На первый взгляд, схема землепользования выглядит достаточно логично: земля принадлежит народу; представителем его выступает государство; крестьяне, обрабатывающие землю, берут ее у государства в аренду; основу арендной платы составляет дифференциальная земельная рента. Ни о каком бесплатном пользовании землей здесь речи нет. Лозунг бесплатности оказывается пропагандистской выдумкой, мифом.

Кто же его пустил в оборот и с какой целью? Очевидно, тот, кому он был выгоден. Вспомним нашу историю. Именно тот период, когда этот лозунг особенно громко звучал.

В начале 1928 г. возникли трудности с государственными заготовками зерна. Причина состояла в том, что незадолго до этого государство снизило цены на него. Крестьянин, естественно, решил придержать хлеб до изменения конъюнктуры. Сталин в ответ на это приказал применить против крестьян антикулацкие законы, в частности статью о спекуляции хлебом, и силой изъять его у крестьянства.

Дальше — больше. Единовременной меры по конфискации зерна оказалось недостаточно. Поэтому был введен в действие план коллективизации крестьянских хозяйств с одновременным "раскулачиванием" зажиточного крестьянства. Сталин и не скрывал сущности этого плана, рассуждая примерно следующим образом: взять у крестьянина по низким ценам мы без чрезвычайных мер не можем. Поэтому нужно соединить крестьянские хозяйства в колхозы, объединить их земли в одну запашку, установить коллективную обработку этой земли. Крестьянин утратит право свободного распоряжения землей, а следовательно, и выращенной на ней продукцией. И тогда мы возьмем этот хлеб не у крестьянина, а у колхоза.

Вот так. Все просто и логично. Созданным колхозам сразу же стали

¹ История советской экономики, т. I, с. 64.

² Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 181, 182.

давать план на сдачу продукции государству по крайне низким, так называемым заготовительным ценам. Для обоснования и оправдания бросовых цен и пущено было в ход утверждение о том, что крестьяне пользуются землей бесплатно. А поскольку это так, то они и обязаны делиться с государством своей продукцией. Рассказывают, что в ответ на жалобы о нищенском положении крестьянства Сталин однажды промолвил: "Мы мужику дали землю бесплатно. Он нас должен благодарить всю жизнь, а не жаловаться".

С самых первых дней существования колхозов и совхозов государство взимало с них плату за землю. Делалось это в завуалированной форме: через заниженные цены на их продукцию. А суммы взимались немалые. Так, в 1966 — 1980 гг. через механизм цен и систему налога с оборота государство ежегодно изымало из доходов колхозов и совхозов от 43 до 56 млн. руб. Налоги с них взимались особо. Поэтому указанные изъятия можно рассматривать как плату за пользование землей. Других юридических обоснований для таких изъятий не существует.

Смысл завуалированных платежей за землю в том, что крестьянин не может посчитать, сколько с него берет собственник земли. Тем самым подкрепляется иллюзия бесплатности пользования ею. Более того, даже Минфин, Госкомстат, Госплан СССР не сумеют назвать величину платы за землю. И они тоже привыкли к мысли о том, что такой платы не существует, а есть просто механизм изъятия денег в централизованный чистый доход государства. Единственное, что всех волнует: почему все труднее становится прокормить народ?

И действительно: почему?

Да потому, что крестьянин перестал ощущать ответственность за результаты своего труда и не интересуется ими. Он даже не пользуется землей как средством производства. Он привык по указанию выполнять на ней те работы, которые ему приказывают делать.

Хозяином земли номинально является государство, стало быть, его аппарат. Но и он не несет ответственности, ибо доходы его работников формируются вне связи с результатами хозяйствования на земле.

Каков же выход? Он состоит в возрождении крестьянства как класса экономически самостоятельных землевладельцев. Независимо от того, работает ли он в совхозе, колхозе, кооперативе другой формы или хозяйствует самостоятельно, ведет индивидуальное (фермерское) хозяйство, надо создать такие экономические условия, при которых каждый ощущал бы себя хозяином земли — крестьянином.

Это возможно лишь при одном условии: предоставлении каждому хозяйству неограниченных прав самостоятельного владения землей как объектом хозяйствования и — как неизбежное следствие этого — передаче ему всей полноты экономической ответственности за результаты хозяйствования путем предоставления права собственности на выращенную продукцию и доходы от ее продажи. Что произвел, то и получаешь.

Наиболее удачной для такой системы формой отношений между государством и крестьянином является проверенная многими веками система платного землевладения. Она может применяться в форме аренды земли. Но могут быть и другие варианты. Свободный арендатор, заключая длительный договор с государством об аренде земли, или крестьянин, выплачивающий поземельный налог, выступает в такой системе как лицо, юридически равноправное со своим партнером по до-

говору. Именно здесь закладывается основа его хозяйственной самостоятельности. И хотя мы уже привыкли, что многие стараются эту самостоятельность ущемить, при наличии фиксированной платы за землю государственному аппарату делать это будет труднее, чем без нее. Самое главное в системе платного землевладения состоит в том, что, выплачивая твердую и фиксированную плату, крестьянин обретает право владения землей. Он четко знает свои обязательства и свои возможности. Государственному аппарату уже не удастся тайно перераспределять доходы крестьянина в свой карман. С другой стороны, плата за владение землей усиливает хозяйственную самостоятельность крестьянина и позволяет ему решительно поставить заслон чиновнику, желающему командовать его хозяйственной деятельностью.

Отделение государственной монополии собственности на землю от монополии владения землей по существу своему и сводится к введению узаконенного платного землевладения. Эта мера сама по себе устанавливает равноправные экономические рыночные отношения между тем, кто присвоил землю, используя ее в качестве инструмента получения дохода, и тем, кто владеет ею как средством производства, используя в качестве инструмента получения продукции и дохода от ее реализации.

Таким образом, введение платного землевладения неминуемо ведет к созданию демократических форм земельных отношений, тех форм, которые несет в себе рыночная экономика. Поэтому земельная реформа — это та экономическая основа, которая создает условия для активного возрождения кооперативного сектора экономики в земледелии.

Землевладение: два варианта

Возможны два варианта реформы. Первый: государственная собственность на землю сохраняется, но права распределения земли между землевладельцами и регулирования земельных отношений делегируются местным Советам народных депутатов. Все земельные угодья передаются существующим и вновь возникающим хозяйствам в длительную аренду. Каждое из них наделяется правом неограниченного владения землей как объектом хозяйствования на весь срок, предусмотренный арендным договором. Государственные акты на так называемое бесплатное и бессрочное пользование землей официально и гласно отменяются как скомпрометировавшая себя форма крупномасштабного обмана трудящегося крестьянства. Они заменяются договорами об аренде земли, предоставляющими неограниченное право владения землей и самостоятельного хозяйствования на ней. Арендодателями выступают местные Советы народных депутатов как выборные представители народа. При этом должна быть полностью исключена возможность какого-либо давления со стороны государственного и партийного аппарата на взаимоотношения арендодателей и арендаторов.

Принципиально важен на самом первом этапе реформы вопрос об уровне арендной платы. Наши финансовые ведомства, а вслед за ними руководящие хозяйственники буквально пропитались духом "выколачивания денег" независимо от их источника. Еще аренда не вошла в жизнь, а уже повсеместно опускаются руки у потенциальных арендаторов, когда сталкиваются они с непомерными арендными ставками.

И что характерно: чем разваленнее колхоз, чем хуже ведется в нем хозяйство, чем запущеннее земельные угодья, тем более высокую "цену" за землю заламывает председатель колхоза и его канцелярская челядь. В вечную кабалу готовы вогнать арендатора, да если еще он приехал из другой местности.

Основу арендной платы должна составлять дифференциальная рента по плодородию и местоположению земельного участка. И не более. Обязательное условие хозяйствования любого арендатора: при общественно нормальном хозяйствовании он должен иметь от своего хозяйства среднюю прибыль, достаточную для ведения расширенного воспроизводства. Здесь должна жестко и неумолимо действовать власть Советов народных депутатов. Нужно понять: богатство общества определяется богатством непосредственного производителя, а не наоборот. Любая попытка фискального давления на него уменьшает производительные способности общества. Значит, величина арендной платы или платы за землю в любой другой форме может определяться лишь избытком над средней прибылью нормально хозяйствующего землевладельца.

Итак, длительная, а еще более конкретно — пожизненная аренда земли у ее собственника — государства, присвоившего землю в 1928 г., — таков первый вариант реформы. Хотел бы пояснить понятие "пожизненная". Речь идет обо всей длительности существования данного арендатора как владельца земли. Если это колхоз, в котором крестьяне желают работать, — то на весь срок его существования как целостного хозяйства. Если имеется в виду индивидуальное крестьянское хозяйство, то арендный договор предусматривает пожизненное владение землей с правом передачи арендованного участка наследникам.

Наш крестьянин много видел обмана в своей нелегкой жизни с "года великого перелома". В 30-х годах землю у него отобрали, да еще пустив при этом потоки крестьянской крови. Потом колхозы и укрупняли и реорганизовывали, и разгоняли, превращая в государственные хозяйства, и загоняли их в межхозяйственные кооперативные и так называемые агропромышленные объединения. Его заставляли выкупать технику у МТС по необоснованно завышенным ценам. Потом отобрали эту технику безвозмездно в "межхозяйственные объединения". Разоряя колхозы, насильно отнимали деньги и ресурсы и создавали межхозяйственные предприятия, заставляя почти бесплатно работать на них. Принуждали колхозы создавать межколхозные строительные предприятия. А затем национализировали их, не возместив колхозам ни копейки. Что ни новое постановление, то и обман. Нет веры у крестьянина в государственные узаконения. А экономическая основа всех этих безобразий — национализированная земля и неограниченная власть над ней государственного аппарата. Чуждачества его и загнали наше сельское хозяйство в перманентный кризис.

Да к тому же если привести материалы беспристрастного широкого анализа, то увидим, что никто еще нигде и никогда не получал устойчиво высокоэффективного производства, основанного на государственной собственности над его средствами. Национализированные земли ли, заводы ли, фабрики ли никогда по своей эффективности не поднимались выше среднего уровня. А со временем оказывались малоэффективными и неконкурентоспособными в системе частных, кооперативных и корпоративных предприятий.

В земледелии это особенно ярко проявляется. Национализированные предприятия здесь обязательно тяготеют к расширению своих экстенсивных размеров. Увеличение же размеров землевладения за некоторые оптимальные пределы, при прочих равных условиях, неизбежно приводит к уменьшению чистого дохода, получаемого с гектара земли. Невзирая на это, государство вряд ли сможет отказаться от соблазна укрупнить производство на своей земле. И крестьянин не освободится от опасности довлеющего над ним домоклова меча государственной собственности на землю.

Есть и некоторые социально-психологические причины, порождающие сомнения в идее аренды при всеобщем сохранении монополии государственной собственности на землю. Пишу об этом сейчас, хотя длительное время был активным сторонником и пропагандистом арендной системы землевладения. Возникли мои сомнения в результате поездок по стране и общения с мудрыми людьми. Вот однажды мне задали такую загадку: представь себе, что у тебя украли автомобиль. Длительные поиски оказались безуспешными. И вдруг к тебе является человек и предлагает взять у него твой собственный автомобиль в аренду. Что ты на это ответишь?

Действительно, литовский или эстонский крестьянин до сих пор может своими шагами отмерить тот земельный участок в колхозном поле, которым владели его прадеды, деды и родители. Он не согласен брать в аренду свою собственную землю, насильственно конфискованную у него в 1947 г. Как тут быть? Прибалтийские, некоторые сибирские да, вероятно, и крестьяне других районов не соглашаются на аренду и, я думаю, правильно делают. Хватит шаблонов. Не нужны на всю огромную страну стандартные единые решения в хозяйственных, а особенно в земельных делах.

Я думаю, наиболее рациональным и поэтому наиболее прогрессивным вариантом земельной реформы может быть денационализация земли, то есть законодательным путем осуществленная отмена государственной собственности на землю. В этом варианте нет ничего криминального и опасного. Это есть возвращение к одному из первых основополагающих лозунгов Октябрьской революции, провозглашенному в "Декрете о земле". "Вся земля: государственная, удельная, кабинетная, монастырская, церковная, посессионная, майоратная... и т. д. обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней"¹. В скобках заметим: в декрете применен термин "пользование". Я думаю, это связано с эсеровской программой, на основании которой и был принят этот декрет. А эсеры, как известно, были сторонниками общинного землевладения в сочетании с правом крестьянина самостоятельно хозяйствовать на земле.

Практически в нашей стране как федерации суверенных республик земля должна быть обращена в достояние народов союзных и автономных национальных республик, других территориальных образований. И народы каждой из них сами смогут определить, в какой конкретной форме реализуется крестьянское землевладение. Это может быть аренда. А может быть безоговорочная передача земли крестьянским хозяйствам и их кооперативным объединениям с условием выплаты поземельного,

¹ Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 25.

а может быть, и подоходного налога. Возможна и продажа земельных участков гражданам и их кооперативам в ограниченных пределах. Словом, именно народной власти каждой республики и на основании свободного изъявления воли народа республики устанавливаются условия землевладения.

А каково же место государства и каковы его права в области землевладения? Я думаю, что государство в этой системе должно обладать совершенно равными правами с его гражданами, а именно: государство может получать у Советов народных депутатов причитающуюся ему долю земли и владеть ею как общенародным достоянием. Оно может создавать на этой земле, владельцем, но не собственником которой является, государственные предприятия, если ему это экономически выгодно. Оно может сдавать часть выделенных ему земель в аренду. Может создавать на ней научно-земледельческие, подсобные, сорто-семенные, племенные и прочие хозяйства и зарабатывать на торговле их продукцией. Основная же часть земель в каждой республике по усмотрению органов народоуласти и по воле народа должна быть передана в **неограниченное владение крестьянам**. Именно им, и более никому другому, должно быть предоставлено право выбора формы хозяйствования. Они должны сами решить, хозяйствовать ли им в самостоятельном индивидуальном хозяйстве или вступать в кооператив свободно объединившихся хозяйств. При этом каждое хозяйство вправе вступать в несколько производственных, снабженческо-сбытовых, кредитных, перерабатывающих и прочих кооперативов. Они должны обладать правом остаться в составе колхоза, где они сегодня работают, или выйти из него с причитающимся земельным наделом и долей имущества. Они могут сохранить статус наемного рабочего в государственном хозяйстве, но вправе и выделиться из него.

Многие лидеры нашей страны заявляют, что крестьяне не хотят выйти из колхоза. Это не верно. Крестьяне не верят в такую возможность или опасаются остаться безземельными и безработными. Нет концепции реорганизации земельного строя, и нет закона, который бы провозгласил и утвердил ее. Конечно, есть деревенские жители (их уже трудно и назвать крестьянами), развращенные непомерно затянувшейся системой государственного иждивенчества. При нынешнем товарном голоде они согласны сидеть на лолунищенской гарантированной оплате труда. Но не на них надо ориентироваться, а на здоровые силы крестьянского предпринимательства. Этим силам нужно гарантировать возможность свободного труда и "неурезанного" дохода от него.

При этих условиях вряд ли возникнет крестьянское сопротивление земельной реформе. Тем более не надо пугать крестьянина возможностью примитивного оснащения крестьянских хозяйств. Современное фермерское хозяйство, несмотря на семейный свой характер и малые размеры по площади земли и поголовью животных, несравненно лучше обеспечено средствами труда и современной технологией, чем наши колхозно-совхозные гиганты.

Думаю, что в этих условиях крестьянам потребуются некоторые силы социальной защиты их прав и хозяйственных интересов. Преобраз таких сил возникает. В РСФСР народилось движение за создание Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов. Подобные ассоциации и крестьянские союзы возникают и в других республиках. Правитель-

ствующий аппарат пытается "раздробить" это движение, соединить в единой общественной организации крестьян-индивидуалов, крестьянские кооперативы с колхозами и совхозами. Будет жаль, если это удастся сделать. Родится еще одна бесплодная и никому, кроме властей, не нужная организация.

Закон о земельной реформе должен дать крестьянам не двусмысленные гарантии того, что все их экономические связи с ограничениями народного правления будут осуществляться только по каналам налоговой системы. Основу платы за землю должна составлять дифференциальная рента. И совершенно нет никакой существенной разницы в том, будет ли эта часть дифференциальной ренты переходить в бюджет общества в виде арендной платы или поземельного налога. Принципиально важна все-таки не форма, а величина этих, по существу, налоговых отчислений. В установлении же такой величины, как говорят, лучше недогнуть, чем перегнуть. Особенно на первых порах.

Удивительно примитивно некоторые политики и хозяйственники представляют себе структуру земледелия, основанного на рыночных отношениях. Диву даешься, когда читаешь их негодующие тирады по поводу того, что сторонники аграрной реформы тянут якобы назад, к полунциемому и примитивному старорусскому крестьянскому хозяйству. Что оно не в силах обеспечить народ продовольствием. Что только крупные колхозы и совхозы смогут это сделать и т. д. и т. п. Почему же раньше и до сих пор они этого не сделали? И каким же еще сахарным сиропом требуется их поливать, чтобы они накормили страну?

Довожу до их сведения четко и недвусмысленно:

Во-первых, мы против насильственной ликвидации каких-либо форм хозяйствования. Пусть соревнуются, конкурируя, и колхозы, и совхозы, и крестьянские кооперативы, и агрофирмы, и индивидуальные хозяйства. Но на равных экономических и социальных условиях.

Во-вторых, не следует представлять современного земледельца ужасно глупым. Еще в предреволюционной России, равно как и в нэповские времена, индивидуальные крестьяне создавали свои кооперативы. И ныне в западных странах не найти, пожалуй, ни единого фермера, который не состоял бы в одном, а чаще в нескольких кооперативах. Но заметьте, ибо это принципиально важно, каждый фермер, участвуя в кооперативе, сохраняет свою хозяйственную самостоятельность. И даже при укрупнении ферм путем их добровольного слияния четко фиксируется доля каждого в производстве и квота каждого в доходах. Даже при формировании крупной семейной фермы. Вот в этом и состоит экономическая сила семейной фермы и ее способность к приобретению и применению системы машин и современной технологии, к высокой производительности.

Вы можете уповать на колхозы и совхозы. Но только их свободная конкуренция с другими формами хозяйствования покажет, чего стоят они в современном мире. Чтобы увидеть такую оценку, надо немного: терпение, неторопливость осуждения и первоначальная поддержка возникающих новых для нас, но старых как мир, разнообразных форм хозяйствования, основанных на владении землей.

Каковы же в этой системе роль и место государства и его аппарата?

За ними сохраняются лишь те функции, которые вытекают из самой природы правового государства в гражданском обществе. А природа

его состоит не в подавлении, а в защите социальных прав и имущественных интересов граждан, которые, вступая в общественный договор, именно для этого создают государство.

Важнейшей его функцией становится экономическое регулирование рынка. Делается это с двойной целью: во-первых, для того, чтобы стимулировать нужную стране структуру производства, а во-вторых, и это самое главное, чтобы защитить землевладельцев и потребителей их продукции от засилья монополий, оградить от безудержного роста цен. Современное государство, несмотря на концентрацию немислимой власти в руках аппарата, сделать это пока не в силах, а поэтому подавление общества не создает ему гарантий социальной безопасности и процветания.

Не менее важная задача правового государства в условиях рыночной экономики — обеспечение социальных компенсаций тем гражданам, которые в силу каких-то не зависящих от них причин могут оказаться беззащитными и ущемленными перед рыночной конъюнктурой. Здесь должны вступить в действие такие экономические и социальные инструменты, как государственные инвестиции, дотации, системы социального обеспечения.

И наконец, одной из особо важных функций государства станет система государственного контроля над земледелием и промышленностью с целью оберечь людей и природу и не допустить возможных вредоносных воздействий технологии на здоровье людей и среду обитания.

Осуществление земельной реформы и создание системы землевладения разрешат многие ныне не осуществленные замыслы, в частности практически снимут проблему хозрасчета, над "внедрением" которого десятилетиями безуспешно ломают голову прекрасные умы специалистов и ученых. Нет такой проблемы — "внедрять" хозрасчет и режим экономики. Условия хозяйствования должны вынуждать людей под угрозой материального ущемления, неудачи и даже разорения вести хозяйство рационально и бережливо. Если условия толкают их к другому, никакое, даже баснословное количество постановлений, призывов, увещеваний, ревизий и проверок не принесет сколько-нибудь заметных результатов.

Чем дальше мы будем затягивать осуществление земельной реформы, чем больше будем, как и раньше, надеяться на паллиативы и организаторско-пропагандистскую суету, тем глубже в кризисное состояние будет опускаться наше аграрное производство, а вместе с тем и экономика страны в целом. Пройдет еще немного лет, и голод, который подстерегает нас "за углом", может стать явью.

Выход один: немедленная, незамедлительная земельная реформа.

ВЕЛИКИЙ ПЛАНОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Ни в одной другой стране мира система всеобъемлющего директивного планирования не просуществовала так долго и не приобрела таких законченных форм, как у нас. Опыт развития административно-плановой экономики в СССР можно, помимо прочего, рассматривать как грандиозный уникальный хозяйственный эксперимент человечества, который, видимо, уже никогда и нигде не будет повторен в подобных масштабах.

Административно-плановая система крайне неэффективна и расточительна; в последние годы не было недостатка в критических публикациях на эту тему. Но так или иначе, она является реальностью — она была не то что частью, но главным стержнем нашей жизни на протяжении более чем полувека, она все еще господствует у нас сейчас и в той или иной степени имела распространение в других социалистических странах.

Между тем закономерности развития этой системы, не выдуманные, а настоящие, все еще очень плохо изучены. Прогресс экономической теории до сих пор был связан главным образом с познанием законов рынка, так что сейчас без всякого преувеличения можно сказать, что законы развития директивного планируемого хозяйства — это крупнейшее “белое пятно” в мировой экономической науке.

Чем определяются темпы реального экономического роста административной экономики, от чего зависят темпы инфляции, каковы законы распределения доходов, какие реальные механизмы прямых и обратных связей управляют функционированием плановой системы — все это вопросы, на которые у нас и по сей день нет точных ответов.

Еще недавно считалось бесспорным: рыночная экономика — неуправляемая лодка, которую несет течением и ветром, тогда как плановая — корабль, подчиняющийся командам рулевого и в точности следующий заданным курсом. Возможно, в плановом хозяйстве и случаются отдельные сбои и прорывы, но в целом общество контролирует здесь свое собственное развитие, центр маневрирует ресурсами, направляя их в приоритетные сферы и добываясь таким образом преимущественного роста там, где считает нужным...

К сожалению, если говорить о всеохватывающем административном планировании, такие утверждения слишком далеки от истины. В плановом хозяйстве мы *не контролируем* не только второстепенные, но и главные, основные пропорции воспроизводства. Доведение до отдельных предприятий точных директивных плановых заданий по объемам выпус-

ка в натуре — это фикция, иллюзия контроля, своего рода плановая игра, не отражающаяся никак на действительном развитии. Детально разработанные планы все равно не выполняются, ибо не могут быть обеспечены и в действительности не обеспечиваются ресурсами.

То же относится и к планированию цен и нормативов, заработной платы, кредита и денежного обращения. Цены в массе своей не соответствуют ни реальным трудозатратам, ни спросу и предложению, тарифные ставки и нормы выработки обеспечивают не столько распределение по труду, сколько всеобщую уравниловку, а денежные доходы населения и предприятий никогда, даже в лучшие времена, не были полностью обеспечены товарными ресурсами.

Основы неуправляемости

Что планировалось в течение шести десятилетий в нашей экономике? Легче сказать, что не планировалось: в несчетном количестве инструкций, положений и предписаний трудно было разобраться даже опытному специалисту. Если же очень упростить реальную картину, можно сказать, что существовавшая у нас до недавнего времени система планирования производства зиждилась на двух главных принципах.

Принцип первый: план по номенклатуре. Каждому предприятию сверху доводился не только стоимостной объем продукции, но и показатели производства в натуре — в тоннах, штуках, метрах и т. д. Степень детализации плановых позиций была очень высока: к середине 80-х годов Госплан утверждал 2 тыс. укрупненных наименований, Госснаб разбивал эти укрупненные позиции на 15 тыс., министерства — на 50 тыс. и, наконец, на стадии прикрепления потребителей к поставщикам, производившегося органами Госснаба, каждая номенклатурная позиция дробилась еще на 10 — 15 наименований¹.

Даже при этом высоком уровне подробности круг планируемых в натуре позиций оказывался намного уже, чем тот, который существовал на самом деле: ассортимент фактически производимых изделий удваивался примерно каждые 10 лет и насчитывал к началу 80-х годов 25 млн. наименований. Это означало, в частности, что предприятия на практике имели свободу производственного выбора, но очень небольшую: нельзя было производить гвозди вместо рельсов, но можно было заменять производство одних гвоздей другими.

Собственно говоря, такие стихийные, несанкционированные сверху сдвиги в номенклатуре производившейся продукции в довольно узких пределах, то есть в той мере, в какой предприятия сами могли определять ассортимент, действительно происходили. В жертву, естественно, всегда приносились малорентабельные изделия, производство которых было хлопотно, но прибыли не давало и, главное, не особенно помогало “накрутить вал”. Таким путем, между прочим, “вымывались” из ассортимента пуговицы и туалетная бумага, прищепки и леденцы, сушки и градусники. Но это к слову. Система же в целом была нацелена на всеобщее планирование номенклатуры, и, скажем, до войны, когда такая система и сформировалась, а ассортимент был намного уже, чем теперь,

¹ См.: Ю н ь О.М. Интенсификация экономики: теория и практика планирования. М., 1986, с. 140.

планировались практически все виды, подвиды, марки и артикулы производимой продукции. Да и вплоть до конца 80-х годов директивные адресные задания по производству продукции в натуре детализировались так, что если и оставляли производителям какую-то свободу выбора, то лишь самую минимальную.

Принцип второй: фондирование ресурсов. Помимо плана по производству, до каждого предприятия и объединения доводился план по материально-техническому снабжению: подавая за 1 – 2 года до планового периода заявки на фонды в Госснаб, предприятия затем получали сверху план снабжения с точным указанием поставщиков и объемов поставок. Потребители и поставщики заключали между собой хозяйственные договоры, и в дальнейшем, если договоры продолжали действовать, плановые и снабженческие органы уже не занимались таким “договорным оборотом”, концентрируя свои усилия на удовлетворении вновь возникающих потребностей через установление заданий по расширению производства. Конечно, не было никаких гарантий, что все заявки предприятий будут удовлетворены – по дефицитной продукции запросы всегда урезались, но, если заявка не подавалась в срок, нужные ресурсы вообще невозможно было получить. В рамках этой карточной системы снабжения можно было рассчитывать на получение сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования только по строго утвержденным лимитам.

Жесткий план по номенклатуре и фондирование были двумя главными основами единого процесса планового производства. Поскольку потреблять можно было лишь то, что произведено, а производилось только то, что планировалось, постольку и производственное потребление могло осуществляться лишь по заранее заданной схеме; отклонения от лимитов были возможны только за счет использования резервных фондов. Общество в лице плановых органов давало предприятиям и в конечном счете отдельным работникам точные производственные задания, обеспечивая их при этом всем необходимым для выполнения плана. Самостоятельность, инициатива и материальное стимулирование в идее отнюдь не исключались: трудовые коллективы, получая в свое распоряжение часть общественных ресурсов, сами должны были искать пути их наиболее рационального использования, с тем чтобы выполнить плановые задания с наименьшими затратами. Чем рациональнее использовались ресурсы, чем эффективнее, иначе говоря, было производство, тем теоретически должна была быть больше прибыль и, следовательно, вознаграждение работников.

Хозрасчет в такой системе означал, что предприятие являлось своего рода “черным ящиком”. Ему планировался “вход” (лимиты на трудовые и материальные ресурсы и цены на них, включая ставки зарплаты) и “выход” (объем производства в натуре и цены производимой продукции), а уж как трудовой коллектив превращал ресурсы в продукцию внутри “черного ящика” – между “входом” и “выходом”, – это было его делом. Если удавалось дать план с меньшими затратами ресурсов, то прибыль, а следовательно, и премии увеличивались.

В идеале, таким образом, все было стройно и хорошо. Казалось, что в такой системе, где все было спланировано и предусмотрено заранее, дефициту взяться было просто неоткуда. Ведь это не рынок, где производители работают, не зная точных размеров общественных потреб-

ностей, подкрепленных платежеспособным спросом, и не ведая, сколько товаров предложат для продажи их соседи. Ведь в плановом хозяйстве, казалось бы, все учитывается загодя, заблаговременно, и даже на случай непредвиденных обстоятельств можно создать резервные фонды. И в конце концов, если все-таки дефицит возникал из-за форс-мажорных обстоятельств, разве нельзя было скорректировать план, отрегулировав структуру производства так, чтобы всего хватало?

Ответ до тривиальности прост: нет, нельзя. Все предусмотреть заранее невозможно. Нетривиально здесь, может быть, лишь то, что мы не вполне представляем себе реальные масштабы разрыва между тем, что можно было спланировать, и тем, что действительно планировалось.

Любое общественное производство требует поддержания технологических связей и пропорций. Есть связи явные, заметные невооруженным глазом — скажем, для выплавки чугуна требуется определенное количество железной руды и угля, для производства станков — определенное количество металла, для пошива одежды — известное количество тканей. Для характеристики таких связей экономисты пользуются термином "прямые затраты ресурсов на единицу продукции". Но есть и неявные связи, о существовании которых можно только догадываться и точно определить которые можно лишь с помощью специальных расчетов. Для описания этих связей пользуются понятием "косвенные затраты ресурсов на выпуск единицы продукции". Например, для того же пошива одежды металлическая проволока прямо не нужна, но требуются ткани, для покраски которых используются анилиновыми красителями, получаемыми в том числе и переработкой нефти, перекачиваемой насосами, в которых используются электромоторы с проволочной обмоткой ротора. Не будет проволоки — не будет и электромоторов, насосов, нефти, красителей, тканей и, наконец, одежды. Для потребителя — следствие, возможно, менее трагичное, но зато более реальное, чем для города, который был взят врагом, "потому что в кузнице не было гвоздя".

Явные и неявные технологические пропорции — прямые и косвенные затраты ресурсов — должны, разумеется, не просто учитываться, но и абсолютно точно просчитываться в планировании, коль скоро задачей является формирование сбалансированного, увязанного по всем статьям плана. В чисто научном плане задача эта давно решена: разработана теория межотраслевого баланса, с помощью которой, зная требуемые объемы выпуска конечной продукции и коэффициенты прямых затрат ресурсов на производство единицы каждой разновидности конечной продукции, можно подсчитать косвенные и полные (прямые + косвенные) затраты и — далее — точные объемы производства всех видов промежуточной продукции. На практике, однако, задача была и остается неразрешимой из-за своей огромной размерности.

Даже современные ЭВМ способны решать задачи типа "затраты — выпуск", только если число уравнений (неизвестных) не превышает тысячи, тогда как фактический ассортимент продукции уже давно насчитывает не тысячи, не десятки и не сотни тысяч, а десятки миллионов наименований. Но главное даже не в этом. Если нужные ЭВМ и существовали бы, все равно расходы на сбор подробной исходной информации о коэффициентах прямых затрат явно выходили бы за пределы экономической целесообразности и не могли быть оправданы любыми мыслимыми выгодами. Нельзя же было, в самом деле, приставить к каждому

рабочему одного, а то и нескольких учетчиков, фиксирующих расход материалов, износ деталей станков, объем наладочных работ, прямые затраты рабочего времени и многое другое.

При действовавшем же порядке, когда межотраслевые балансы использовались только в аналитических и предплановых расчетах, когда даже планирование по очень укрупненной номенклатуре (тысячи позиций) осуществлялось Госпланом и Госснабом по простым материальным балансам (приход-расход), которые только в общих чертах увязывались между собой в ходе сложного бюрократического процесса согласований между министерствами, отделами Госплана и Госснабом, — при этом порядке было абсолютно невозможно рассчитывать на согласованность, стыковку различных отраслей и производств в масштабах всего народного хозяйства. Тем более не в состоянии были это сделать министерства и предприятия, не представлявшие себе точных размеров реального, платежеспособного спроса на производимую ими продукцию и заинтересованные к тому же в завышении цен. На практике поэтому не просчитывалась и не увязывалась и тысячная доля того, что фактически планировалось и производилось.

Мы привыкли думать, что, когда центр распределяет ресурсы и устанавливает производственные задания, никаких ошибок быть не может, ибо "сверху виднее". На самом деле верно прямо противоположное: при самых благих намерениях у центра нет физической возможности составить не то что оптимальный, но хотя бы просто сбалансированный план, просчитать даже не второстепенные и третьестепенные, но и многие основные пропорции производства. Ошибки поэтому не только возможны, они абсолютно неизбежны. *Вариант плана, сбалансированного по основным позициям, мог появиться на свет лишь случайно, причем вероятность его появления была ничтожно мала.*

Действовавший механизм планирования неизбежно подразумевал постоянное воспроизведение диспропорций, образование дефицита, с одной стороны, и перепроизводства — с другой. Ставшая всеобщей практикой корректировка планов была, по сути, неизбежной. Иначе и не могло быть, ибо сбалансированного плана просто не существовало и, следовательно, дефицитность или избыточность данного вида продукции обнаруживалась лишь в ходе выполнения плана. Корректировка порой выступала в качестве меньшего зла, чем твердое следование несбалансированному плану, в котором было заложено перепроизводство ненужной и недопроизводство нужной продукции.

Спускаемая сверху предприятиям "номенклатура" сначала являлась им в виде "предварительной", затем, в самом конце предпланового периода, — в виде "первоначальной", а потом, уже во время выполнения плана, — как "уточненная". Даваемые из года в год обещания спустить министерствам, объединениям и предприятиям твердые, не подлежащие пересмотру планы были заведомой фикцией: ни Совмин, ни Госплан, ни Госснаб, ни тем более министерства не могли взять на себя при существовавшей практике планирования ответственность за поставку в срок и в полном объеме заказанных предприятиями ресурсов, за обоснованность плановых заданий по производству продукции в натуральном выражении по той простой причине, что утверждавшийся к исполнению план, как было заранее известно, вовсе не являлся сбалансированным.

Схожая ситуация сложилась и в сфере планирования цен и заработной платы. По замыслу, планирование цен и ставки зарплаты было призвано обеспечить трудовым коллективам и отдельным работникам вознаграждение в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, однако на практике задача оказалась абсолютно неразрешимой.

Ни концепция цен оптимального плана (объективно обусловленных оценок), ни какие-то другие универсальные формулы расчета цен не могли дать сколько-нибудь приемлемых по точности результатов, пригодных для реальной хозяйственной жизни. С трибун заявлялось, что цены должны отражать общественно необходимые затраты на производство изделий, соотношение спроса и предложения и т. д. На деле они отражали только неизбежные ошибки и просчеты планирующих инстанций: Госкомцен систематически недооценивал или, наоборот, переоценивал фактическую стоимость изделий и никак не мог "попасть в точку"; в лучшем случае ему удавалось только исправлять наиболее очевидные ценовые диспропорции через несколько лет после того, как они возникали.

В самом деле, попробуйте точно рассчитать на бумаге, в кабинете цену хотя бы одного товара так, чтобы она адекватно отражала общественно необходимые затраты в расчете на единицу полезного эффекта, степень сбалансированности спроса и предложения, ограниченность невопроизводимых ресурсов и т. д. Не получится, не может получиться хотя бы только потому, что все цены взаимосвязаны, цена одного товара зависит от цен многих других.

Чтобы определить общественно необходимые затраты труда на производство 1 кв. м. тканей, нужно знать нормативные расходы красок на выпуск тканей, нефти — на производство красок, электромоторов — на добычу и перекачку нефти, проволоки — на обмотку электромоторов и т. д. Слишком много здесь пропорций, все точно учесть невозможно. Или, чтобы определить, насколько нужно поднять цены на дефицитные ткани для выравнивания спроса и предложения, надо среди прочего знать, в какой мере сократится (расширится) вследствие подорожания тканей спрос на другие потребительские товары (на иголки и нитки, скажем, расширится, так как благодаря повышению цены производство тканей возрастет и шить будут больше, но на услуги туристических бюро — сократится, поскольку население будет больше тратить на одежду за счет экономии на развлекательных путешествиях).

В мире цен все взаимосвязано, так что малейшее изменение одного элемента передается по цепочке на миллионы других. Рассчитать с приемлемой точностью цены так же трудно, как и сбалансированный план в натуре. И это не субъективное мнение того или иного экономиста, но математически точно доказанное в теории оптимального планирования положение. *При планировании цен, так же как и при планировании объемов выпуска в натуре, теоретически возможная стопроцентная рациональность оказывается на практике недостижимой, невыполнимой и утопичной.* Теоретически можно перевернуть земной шар, если есть точка опоры, но практически ее нет.

Попытки установить в плановом порядке сверху цены на все продукты и все ресурсы имели не больше шансов на успех, чем стремление починить часовой механизм с помощью кувалды.

При сложившейся практике ценообразования, при административном регулировании цен величина прибыли отражала не столько эффективность работы коллектива, сколько неизбежные просчеты в ценообразовании. Скажем, сельское хозяйство, добывающие отрасли, электроэнергетика всегда были низкорентабельными или даже убыточными, тогда как в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности рентабельность доходила до 25%. Эти "нежелательные" различия в прибыли и рентабельности отдельных отраслей и предприятий, возникавшие из-за превратностей командно-административного ценообразования, нейтрализовались просто: вся "лишняя" прибыль изымалась в бюджет. Сначала предприятия вносили обязательные платежи в виде платы за фонды, фиксированных и рентных платежей, других отчислений (это более трети всей прибыли в целом по промышленности в 1985 г.), затем делали отчисления в фонды стимулирования (17%) и некоторые другие (погашение убытков и банковских ссуд, финансирование прироста собственных оборотных средств и пр. — около трети всей прибыли), а потом все, что оставалось (20% прибыли), сдавали в принудительном порядке в бюджет в форме так называемых взносов свободного остатка прибыли. Фонды стимулирования при этом не составляли какого-то определенного процента от прибыли, но исчислялись по сложной схеме в зависимости от изменения ряда фондообразующих показателей (объем реализации с учетом поставок по договорам, прирост производительности труда, снижение себестоимости и др.), так что возможна была ситуация, когда, скажем, прибыль увеличивалась, а фонды стимулирования сокращались, и наоборот.

Премияльные фонды, другими словами, никак не обеспечивали увязки вознаграждения за труд с итогами работы коллектива. В еще меньшей степени зависело от реальных производственных результатов вознаграждение, выплачиваемое работникам из фондов оплаты труда.

Теоретически обширная деятельность Госкомтруда по установлению тарифных ставок, норм выработки, должностных окладов и районных коэффициентов была призвана обеспечить справедливое вознаграждение каждому работнику в соответствии с количеством и качеством затраченных им трудовых усилий, тяжестью, интенсивностью, вредностью труда, природно-климатическими и бытовыми условиями и множеством других факторов. На деле тарифная система агонизировала, все больше превращаясь в искусственную, оторванную от реальной экономической жизни конструкцию, своего рода декоративную надстройку над фактически действовавшим механизмом оплаты труда. Госкомтруд на деле регулировал, да и то не всегда, только оплату труда работников, находившихся на окладе. Для сдельщиков же и повременщиков заработная плата "выводилась" через манипулирование нормами выработки, надбавками и доплатами, урочными и сверхурочными часами. Реальное регулирование оплаты труда осуществлялось не через тарифную систему, а при распределении по предприятиям фонда зарплаты. Этим занимались министерства, добываясь на практике только более или менее одинакового уровня оплаты на подведомственных заводах. На большее рассчитывать не приходилось, ибо тарифная сетка Госкомтруда отличалась от многообразия конкретных условий не меньше, чем скелет от живого организма.

В целом, таким образом, в нашей плановой системе была только

видимость планомерности, иллюзия контроля со стороны центра над хозяйственными процессами. На деле же система была, по существу, неуправляемой: ни планирование производства, ни планирование цен и зарплаты не давали реальных возможностей воздействовать на складывающиеся пропорции воспроизводства.

Основной неуправляемостью, как это ни парадоксально, была сама идея всеохватывающего повсеместного планирования, стремление управлять из центра всем, чем можно и чем нельзя. Все упиралось, иначе говоря, именно в систему, в принцип, а не в отдельных, пусть и ответственных, работников планового аппарата и даже не в отдельные звенья системы. Планировщики были не виноваты, ибо они тоже люди и не могли прыгнуть выше головы, шагнуть за пределы человеческих возможностей. Виновата была система, при которой жестко планировалось и регулировалось то, что ни при каких условиях никогда не могло быть просчитано, увязано и состыковано. Система, нацеленная на то, чтобы объять необъятное, зарегулировать живой экономической организм, втиснуть его в прокрустово ложе жестких плановых предписаний. Система, в которой не плановые органы существовали для экономики, а экономика — для плановых органов, не Госплан — для народного хозяйства, а народное хозяйство — для Госплана.

Текущие и пятилетние планы

Чтобы убедиться в том, что народное хозяйство в целом, равно как и его отдельные отрасли и предприятия, развивалось отнюдь не по плану, достаточно только непредвзято сравнить плановые и фактические показатели, сопоставить "план" и "факт".

О месячных и квартальных планах и говорить нечего. Даже ребенок знает о неритмичности производства, о "черных субботах", которые превращали в конце квартала в рабочие дни, чтобы "вытянуть" план, и о том, что по магазинам лучше было ходить в самом конце квартала, когда наконец на прилавки "выбрасывали дефицит", чтобы спасти пресловутый квартальный план. Спланировать все так, чтобы люди работали ритмично, без надрывов и штурмовщины в конце квартала, никому и никогда не удавалось.

Особенно большими были неувязки в строительстве. В первом квартале обычно вводилось в действие примерно 10% основных фондов, намеченных к вводу в данном году (в этот период в основном завершалось строительство не сданных по плану прошлого года объектов), во втором и третьем — по 20%, и оставшиеся 50% — в четвертом квартале. Это типичная картина, наблюдавшаяся, кстати, и в 1987 г. Расхождение между планом и фактом по числу сдаваемых объектов бывали еще значительнее: за первые три квартала 1987 г., например, было сдано только около 400 объектов, или всего 27% общего их количества, запланированного к вводу на год; 650 объектов были сданы в четвертом квартале, что подняло уровень выполнения годового плана до 71%.

Не намного лучше было и положение с выполнением годовых планов. Специальные расчеты¹ показали, что реальные фактические темпы

¹ См.: Медведев П.А. Управляющая функция плана и пути ее усиления. М., ЦЭМИ АН СССР, 1986.

роста производства на отдельных предприятиях, по существу, не связаны с плановыми заданиями.

Было обнаружено, в частности, что коэффициенты корреляции между плановыми и фактическими темпами роста производства оказываются, как правило, незначимыми. Что же касается значимых коэффициентов корреляции, то почти в половине всех случаев они вообще являлись отрицательными, то есть бóльшим значениям плановых приростов соответствовали меньшие значения фактических и наоборот. Другими словами, связи между планом и жизнью, как правило, не было, а в тех немногих случаях, когда такая связь все-таки наблюдалась, она оказывалась отрицательной так же часто, как и положительной.

Больше того, обнаружилось, что очень простые прогнозы лучше соответствуют будущим фактическим значениям показателей, чем ориентиры, намеченные планом. Так, всего по трем точкам — по данным за три года — на основе простейших алгоритмов (сглаживание по стандартным функциям и последующая экстраполяция) были построены прогнозы на четвертый год трех показателей деятельности 27 территориальных организаций Министерства энергетики. Специфика отдельных регионов не учитывалась, ибо применялся один и тот же алгоритм для всех территориальных организаций. И тем не менее в половине всех случаев этот элементарный прогноз оказался не менее информативным для определения фактического показателя на четвертый год, чем плановые цифры. Когда же аналогичный прогноз для одного из показателей был сделан по пяти точкам — на базе экстраполяции тренда, выявленного за пять предшествующих лет, — его результаты уже значительно лучше согласовывались с фактическими итогами, чем плановые ориентиры.

Такие расчеты, по существу, статистически строго доказали то, что уже давно было интуитивно ясно большинству специалистов: экономический рост на микроуровне в плановой системе — это стихийный, самостоятельный развертывающийся процесс, не поддающийся контролю плановых органов даже при самом жестком и детальнейшем директивном планировании. Развитие отдельных предприятий, как это ни странно на первый взгляд, шло вне рамок плана, по существу, стихийно, центр не устанавливал и не контролировал пропорций воспроизводства, складывавшихся на микроуровне.

Может быть, дело обстоит лучше на макроэкономическом уровне, то есть на уровне отдельных отраслей и всего народного хозяйства? К сожалению, опять-таки нет. В табл. 1 приведены данные о фактических и плановых темпах прироста важнейших показателей по всей экономике за 1986 и 1987 гг. Это именно темпы прироста, а не темпы роста: если показатель увеличивается, скажем, на 5% по сравнению с прошлым годом, то темп его роста — 105%, а темп прироста — 5%. В официальных отчетах обычно давались плановые и фактические темпы роста, что создавало видимость неплохого совпадения двух групп показателей. Например, так: национальный доход по отношению к уровню прошлого года составил 105% при плане 104%. Вроде бы расхождение незначительно — всего 1 процентный пункт или меньше одного процента ($105:104=1,0096$); как говорится в этом случае, план выполнен почти на 101%.

Таблица 1

Фактические и плановые темпы прироста основных показателей экономического и социального развития СССР в 1986 и 1987 гг., %

Показатель	1986 г.			1987 г.		
	фактический прирост* (1)	плановый прирост* (2)	соотношение (1) : (2)	фактический прирост** (3)	плановый прирост** (4)	соотношение (3) : (4)
Произведенный национальный доход	4,1	3,9	105	2,5	4,1	61
Продукция промышленности	4,9	4,3	114	4,4	4,4	100
производство средств производства	5,3	4,3	123	4,8	4,3	112
производство предметов потребления	3,9	4,4	89	3,4	4,5	76
Валовая продукция сельского хозяйства	5,3	5,3	100	0,2	2,2	9
Ввод в действие основных фондов	5,9	14,4	41	-2,7	4,6	-59
Капитальные вложения	8,4	9,2	91	4,1	6,0	68
Объем перевозок всеми видами транспорта	4,1	1,7	241	3,3	2,4	138
Пассажирооборот всех видов транспорта общего пользования	3,9	1,2	325	5,3	3,1	171
Производительность общественного труда	3,8	3,8	100	2,4	4	60
Численность рабочих и служащих	0,6	0,4	150	0,6	0,7	86
Прибыль по народному хозяйству	8,9	8,8	101	6,8	7,5	91
Фонд заработной платы по народному хозяйству	3,5	2,7	130	4,2	3,9	108
Средняя денежная заработная плата рабочих и служащих	2,9	2,3	126	3,5	3,2	109
Оплата труда колхозников в общественном хозяйстве колхозов	6,3	1,5	420	7,3	4,0	182
Выплаты и льготы населению из общественных фондов потребления	5,4	4,1	132	6,2	4,9	127
Реальные доходы на душу населения	2,5	2,5	100	2,0	2,6	77
Розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли (в фактических ценах)	6,3	5,3	119	-0,3	3,4	-9
в том числе безалкогольных напитков	7,2	6	120	4,0	5,9	68
Платные услуги населению	10,2	14,2	72	4,3	9,5	45
Ввод в действие общей площади жилых домов	6,0	5,0	120	9,3	7,0	133
Среднее отклонение фактического прироста						

та от планового (без учета знака), % к плановому приросту

49

43

* По отношению к 1985 г.

** По отношению к плановой базе 1986 г.

Источники: Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987, с. 56; *Правда*, 24.01.1988.

На самом же деле такое сопоставление не слишком корректно. Ведь умелое планирование состоит в том, чтобы правильно предсказать не рост, а именно прирост показателя, ибо тот факт, что в будущем году показатель не будет сильно отличаться от своего абсолютного значения в нынешнем и составит где-то порядка 100% (чуть больше, чуть меньше) уровня текущего года, — этот факт для большинства агрегированных показателей достаточно очевиден, и весь вопрос заключается как раз в том, чтобы правильно угадать это самое "чуть". Ошибка в 1 процентный пункт — 5% прироста вместо 4% — оказывается в данном случае 25%-ным расхождением фактических и плановых темпов прироста $(5 - 4) : 4 = 25\%$. Это уже совсем другой порядок расхождения между фактическими и плановыми цифрами.

Таблица 2

Расхождение фактических и плановых показателей прироста важнейшей машиностроительной продукции в 1986 — 1987 гг.

Вид продукции, единица измерения	Отношение фактического прироста объема производства за год к плановому, %	
	1986 г.	1987 г.
Турбины, кВт	42	25
Генераторы к турбинам, кВт	48	-53
Электродвигатели переменного тока, кВт	49	-11
Металлорежущие станки, руб.	474	*
в том числе с числовым программным управлением	213	-33
Кузнечно-прессовые машины, руб.	43	-45
Промышленные роботы, шт.	62	744
Приборы, средства автоматизации и запасные части к ним, руб.	172	65
Средства вычислительной техники и запчасти, руб.	351	142
Нефтеаппаратура, руб.	71	-16
Химическое оборудование и запчасти, руб.	41	-21
Технологическое оборудование и запчасти для легкой и пищевой промышленности, руб.	66	-33
Тракторы, л. с.	107	-188
Сельскохозяйственные машины, руб.	89	112
Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства, руб.	49	-6
Среднее отклонение фактического прироста от планового (без учета знака), в % к плановому приросту	90	167

*При запланированном нулевом приросте производство фактически уменьшилось на 3%. При подсчете среднего отклонения данный случай исключен.

Источник: *Правда*, 18.01. 1987; 24.01. 1988.

Соотношение фактических и плановых темпов прироста

Показатель	Первая пяти- летка, 1928/29— 1932/33 гг.*		Вторая пяти- летка, 1933 — 1937 гг.	Четвер- тая пяти- летка, 1946 — 1950гг.
	отправ- ной ва- риант	опти- маль- ный ва- риант		
Произведенный национальный доход	76	60	93	168
Национальный доход, использованный на потребление и накопление				
Валовая продукция промышленности	105	87	105	152
производство средств производства	153	116	143	
производство предметов потребления	66	59	74	
Валовая продукция сельского хозяйства	-44	-33	25	-4
Производительность труда				
в промышленности		5	106	125
в строительстве				62
в сельском хозяйстве				
Розничный товарооборот			32	36
Реальные доходы			20**	
Среднее отклонение фактических темпов прироста от плановых (без учета знака), % к плановому приросту	52	56	39	58

*Плановые показатели были рассчитаны применительно к хозяйственным годам, начинавшимся 1 октября, фактические — по календарным.

** Реальная заработная плата.

Источник. ЭКО, 1987, №11, с. 37 — 50.

Таблица 3

основных показателей по пятилеткам, %

Пятая пяти- летка, 1951 — 1956 —	Семи- летка, 1959- 1965 гг.	Вось- мая пяти- летка, 1966— 1975 гг.	Девя- тая пяти- летка, 1971— 1975 гг.	Деся- тая пя- тилет- ка, 1976— 1980 гг.	Одиннад- цатая пя- тилетка, 1981— 1985 гг.
113	94	114			
			72	80	92
121	105	103	91	67	77
114	112	101			
117	94	112			
	21	84	68	56	42
88	88	93	87	55	74
82	85	59	78	36	93
92	75	87	20	53	34
127	97	120	86	84	70
111**	75	110	80	85	67
16	19	14	27	36	31

Заглянем теперь в табл. 1. Как видно, "точность попадания" не очень высока: отклонение фактического прироста от планового в ту или другую сторону составило 20% и больше в 1986 г. для 11 показателей из 21, в 1987 г. — для 15 и 21. В двух случаях в 1987 г. плановики не смогли угадать не только величину, но и сам знак прироста; в среднем случае фактический прирост отклонялся от планового почти наполовину, что никак нельзя признать удовлетворительным результатом.

Если же рассматривать планирование показателей в натуре по менее агрегированным позициям (на отраслевом уровне), результаты оказываются совсем плохими. Вот, например, соотношение фактических и плановых приростов по важнейшей продукции машиностроения в натуральном выражении (или в сопоставимых ценах) для 1986 г. и 1987 г. (табл. 2): только в двух случаях из 16 в 1986 г. и в одном из 16 в 1987 г. расхождение было меньше 20%. Среднее отклонение фактического прироста от планового в 1986 г. — 90%, в 1987 г. — 167%. Иначе говоря, как правило, плановые и фактические приросты расходились в 2 — 3 раза! А в 1987 г. в 11 случаях из 16 (!) плановые органы ошибались даже в предсказании знака прироста: планировали увеличение объема, а происходило уменьшение, или наоборот.

Зачем же было нужно такое планирование, где типичная средняя ошибка в определении темпов прироста выпуска не только имела тот же порядок, что и сам фактический прирост, но и зачастую была даже больше него? Если план считался законом, то, значит, он должен был выполняться большинством предприятий, отраслей и регионов. Когда план срывали один-два хозяйственника, их можно было наказать, но что делать, когда план срывало большинство? Закон, не соблюдаемый большинством, уже не закон, и виновны в его нарушении не хозяйственные руководители и трудовые коллективы, а законодатели.

Рассмотрим для полноты картины итоги выполнения пятилетних планов, призванных по идее быть основным законом нашей хозяйственной жизни. Как видно из табл. 3, соответствие плановых и фактических показателей может быть признано удовлетворительным только для периода 50—60-х годов, и то с некоторой натяжкой (расхождение плана и факта — менее 20%). Что же касается других периодов, то здесь величина отклонений (27—56% в среднем) явно выходит за рамки разумных пределов.

Надо, кроме того, иметь в виду, что плановые и фактические приросты в табл. 3 рассчитывались на основе данных в сопоставимых ценах и, следовательно, плохо отражают реальные итоги планирования в натуре. Обобщенные результаты такого натурального планирования показаны в табл. 4. Показатели прироста, приведенные в ней, были рассчитаны советскими экономистами как средние из нескольких десятков приростов по главным видам продукции в натуре (добыча нефти, производство электроэнергии, стали, цемента, тракторов, вагонов, бумаги, обуви, зерна, сахара, грузооборот железнодорожного транспорта, поголовье крупного рогатого скота и др.) с использованием стандартных статистических процедур, повышающих достоверность оценок¹. Как видно, результаты ничуть не лучше, чем для агрегированных показателей в сопоставимых ценах. Задания по производству важнейших видов продукции в натуре почти всегда недовыполнялись, причем существенно — как правило, на 20 — 40%. Планирование, другими словами, исходило все время из желаемых результатов, а не из экономически возможных.

Результаты выполнения отдельных плановых заданий по пятилеткам

Показатель	Средний плановый среднегодовой темп прироста, % (1)	Средний фактический среднегодовой темп прироста, % (2)	Процент выполнения плановых заданий (2) : (1)
I (1928 – 1932 гг.)			
отправной вариант	23,3	11,9	51
оптимальный вариант	29,1	11,9	41
II (1933 – 1937 гг.)	20,9	14,6	70
IV (1946 – 1950 гг.)	26,6	23,3	88
VI (1956 – 1960 гг.)	15,3	11,4	74
VII (1961 – 1965 гг.)	11,6	8,7	75
VIII (1966 – 1970 гг.)	9,1	5,8	64
IX (1971 – 1975 гг.)	7,4	5,1	70
X (1976 – 1980 гг.)	5,4	3,0	55

В табл. 3 и 4 обращают на себя внимание особенно большие расхождения плановых заданий с реальностью в годы первой пятилетки, когда масштабы волонтаризма при установлении плановых заданий были особенно значительны. Только по 2 из 16 важнейших видов промышленной продукции установленные первым пятилетним планом задания в натуре были выполнены в 1933 г., т.е. в срок, хотя уже в январе 1933 г. Сталин объявил, что пятилетний план выполнен. По 5 видам продукции (нефть, чугун, минеральные удобрения, шерстяные ткани, сахар) намеченные вначале и повышенные уже в ходе пятилетки ориентиры выпуска в натуре были достигнуты только в 50-е годы, то есть на 15 лет позже (исключая военные годы, когда производство не выросло)².

Заметна также и довольно низкая степень соответствия плановых и фактических показателей в 70 – 80-е годы (по натуральным показателям ухудшение результатов планирования начинается со второй половины 60-х годов). Связано это, очевидно, с усложнением производственных связей в экономике, с ростом числа видов продукции и их модификаций, с ускорением обновления продукции, что в совокупности сделало хозяйство огромной страны вообще мало поддающимся управлению традиционными методами директивного планирования. Еще в 50-е годы наша экономика в значительной степени “держалась” на нескольких крупных отраслях, на ограниченном числе важнейших продуктов, производство и распределение которых худо-бедно, но все-таки можно было контролировать из одного центра через приказы и предписания. В 60-е годы номенклатура даже основной продукции настолько расширилась, разделение труда настолько углубилось, а межотраслевые связи стали настолько разветвленными, что центр оказался физически неспособным не то что обсчитать, проработать и спланировать эти связи, но даже оказать на стихийный процесс их формирования какое-то заметное воздействие.

В 70-е – начале 80-х годов большую роль стали приобретать престиж-

¹ См.: Нит И.В., Медведев П.А., Фрейнкман Л.М. Новый хозяйственный механизм и директивность планирования. М., 1987, с. 8.

² См. *Коммунист*, 1987, № 18, с. 83.

ные соображения — принятие планов или крупных программ все более напоминало рекламную кампанию с обещаниями, которые никто даже и не собирался выполнять. Так, в 1982 г. была шумно одобрена Продовольственная программа, в которой намечались основные направления развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей до 1990 г. Предусматривалось, в частности, что среднегодовой сбор зерна возрастет в 1981 — 1985 гг. до 238 — 243 млн. т. Вместо планировавшегося почти 20%-ного прироста среднегодового уровня производства по сравнению с предшествующей пятилеткой (1976 — 1980 гг.) произошло сокращение на 25%!

Корабль экономики фактически потерял управление. Он продолжал плыть дальше, влекомый волнами и ветром в никому не известном направлении, но плановики никак не хотели в этом признаться, продолжая игру с обсуждением и принятием планов и отчетами об их выполнении или невыполнении, стараясь во что бы то ни стало сохранить хотя бы видимость централизованного управления, которого на деле уже не было.

Долгосрочное планирование

Оставим на время беспокойную сферу текущего (до 1 года) и среднесрочного (до 5 лет) планирования и присмотримся теперь к долгосрочному, перспективному планированию основных, кардинальных пропорций хозяйственного развития. Здесь, на больших временных отрезках и в общенациональных масштабах — на макроуровне, — важно предугадать даже не столько сроки, сколько тенденции развития, и, следовательно, планирование может быть более эффективным.

В конце концов, и в рыночной экономике краткосрочное и среднесрочное прогнозирование не дает удовлетворительных результатов. Попытки предсказать, скажем, темпы роста ВВП, цен, безработицы и пр. на следующий год редко бывают успешными. А прогнозы на несколько лет вперед неизбежно сталкиваются с такой плохо преодолимой преградой, как невозможность определить будущие поворотные точки экономического цикла: даже самые известные, самые респектабельные эконометрические модели хуже всего предсказывают именно конкретные сроки перехода от расширения производства к его сокращению, от подъема к кризису и наоборот.

А вот в сфере перспективного развития, где на первый план выходят не конъюнктурные, а долгосрочные факторы экономического роста, более поддающиеся учету и количественной оценке, результаты прогнозов и планов должны быть намного лучше. Больше того, именно в области перспективного, долгосрочного хозяйственного развития должны обнаруживаться решающие преимущества плановой системы перед рынком.

В рыночном хозяйстве, как известно, капитал вкладывается прежде всего туда, где он может быстрее всего принести наивысшую прибыль. Разве не для капиталистических фирм характерен узкокорыстный подход к эксплуатации природных ресурсов, разве не они "снимают сливки" с месторождений полезных ископаемых, а затем забрасывают их, оставляя за собой опустевшие "города-призраки" и районы депрессии? Разве

не вынуждено государство в западных странах вмешиваться в тех или иных формах в деятельность частных фирм там, где дело касается мало-прибыльных, долговременных и медленно окупающихся проектов — сохранение окружающей среды и рациональное использование природных богатств, создание транспортной и энергетической инфраструктуры, освоение новых территорий, развитие фундаментальной науки и нормальное воспроизводство рабочей силы (образование, здравоохранение)? Вынуждено, и действительно вмешивается, ибо рыночный механизм в этих сферах обнаруживает свою недостаточную эффективность.

Плановая же экономика лучше, чем рыночная, может обеспечить концентрацию усилий на приоритетных направлениях научно-технического прогресса, рациональное использование невозпроизводимых природных богатств и сохранение окружающей среды, гармоничное и пропорциональное развитие отдельных регионов, благоустройство городов, развитие социальной сферы. Так нас учили, и так в принципе, видимо, и должно быть.

Пусть мы задержались с освоением производства пресловутых шариковых авторучек (“временные трудности роста”), но зато первыми запустили спутник. Да, из Рязани и даже из Воронежа ездят в Москву за колбасой, но ведь в целом мы добились подтягивания прежде отсталых районов до средненационального уровня, тогда как в западных странах до сих пор существуют депрессивные регионы, в несколько раз отстающие по уровню душевого дохода от процветающих.

К сожалению, такие примеры, скорее, исключение, чем правило.

На практике в сфере долгосрочного развития диспропорций у нас оказалось никак не меньше, а то и больше, чем в области текущей хозяйственной деятельности. Плановые органы, перегруженные текучкой, не оказались в состоянии должным образом учитывать долгосрочные приоритеты. Сверх того вся система плановой отчетности оказалась ориентированной на получение результатов сегодня, сейчас, в данном году, в крайнем случае через год или до конца пятилетки. Завтрашний день поэтому постоянно приносился в жертву сегодняшнему, текущие выгоды покупались ценой разбазаривания того, что могло и должно было сохраняться и приумножаться для последующего развития, для будущих поколений.

Когда в главе угла стояли натуральные показатели, когда для хозяйственников главным было выполнить план производства в натуре по заданной номенклатуре любой ценой, невзирая на затраты и побочные “нежелательные последствия”, само собой получалось, что сэкономили на будущем, на перспективе, для того чтобы сегодня отрапортовать о выполнении плана.

Так хлеборобы, выполняя “первую заповедь”, сдавали семенное зерно, чтобы “рассчитаться с государством” (как будто сами хлеборобы живут в другом государстве); так, тоже во имя плана, под нож шел племенной скот; так сводились без восстановления леса, загрязнялся воздух, реки и водоемы, разрушались почвы; так сэкономили на ключевых направлениях научно-технического прогресса, образовании и здоровье населения, на развитии инфраструктуры (дорог и коммуникаций), обслуживающих производств, на строительстве жилья.

“Просчеты” плановиков в немалой степени способствовали тому, что на ключевых направлениях науки наше продвижение вперед в

последние два десятилетия застопорилось. Затраты на науку росли — сегодня по доле расходов на научные исследования в национальном доходе и по численности научных работников мы опережаем все без исключения страны (каждый четвертый научный работник мира — советский), однако эффективно распорядиться этими ресурсами мы не сумели.

Патологически деформированной оказалась важнейшая пропорция — между численностью научных сотрудников и основными фондами науки. По оснащенности научным оборудованием советские ученые отстали от своих западных коллег в десятки раз. Фондовооруженность одного работника в системе Академии наук сейчас существенно ниже, чем на транспорте, в сельском хозяйстве, в промышленности. "Сэкономили" также и на фундаментальных исследованиях — на эти цели в СССР отпускается средств в 6 раз меньше, чем в США, здесь у нас занято вдвое меньше научных сотрудников, чем в американской фундаментальной науке, а на долю академического сектора науки, выполняющего основной объем фундаментальных изысканий, приходится менее 7% всех ассигнований, выделяемых на научные исследования.

Долгое время считалось, что наше отставание в сфере технического прогресса связано главным образом с этапом внедрения научных разработок в производство, тогда как в фундаментальной науке наши достижения бесспорны и находятся на уровне мировых. Сейчас ведущие ученые сходятся в том, что мы конкурентноспособны лишь в математике и некоторых направлениях теоретической физики (где нужны по преимуществу только карандаш и бумага), а в огромном большинстве других областей фундаментальных знаний серьезно отстаем, причем возникло (или усилилось) это отставание в последние два десятилетия. В расчете на равную численность населения наших соотечественников среди нобелевских лауреатов в десять раз меньше, чем американцев и англичан. Из нескольких сотен элементарных частиц, которые стали сравнительно недавно известны мировой науке, советские ученые открыли не более 1 — 2%. В познании живой природы наши позиции в мире еще хуже.

Запустив первыми спутник, мы отстали затем от ведущих стран на многих направлениях технического прогресса, "упустив" электронику и биотехнологию, технологические лазеры и композиционные материалы. Скажем, к концу 1987 г. наша страна располагала примерно ста тысячами персональных ЭВМ, тогда как в США их ежегодный выпуск составлял 5 — 6 млн. Если в США персональный компьютер имеется в каждой второй семье и существует более 3 тыс. общедоступных баз данных, то у нас в личном пользовании до сих пор находится в лучшем случае несколько тысяч компьютеров, а общедоступных баз данных, к которым можно было бы подключиться за плату, вообще нет.

В 50-е годы мы затрачивали на образование больше всех в мире — 10% национального дохода; однако затем этот показатель снижался (чего не было ни в одной развитой стране), и теперь мы расходует всего 7% (США — 12%). Материальная база образования ниже любых современных стандартов. В школе на каждого ученика приходится 60 руб. оборудования (в Швеции — 1000 руб.), в вузе — 2300 руб. в среднем и 10 тыс. руб. в тех немногих, которые располагают наилучшим техническим оснащением (типа МАИ), против 80 тыс. руб. в Стэнфордском университете США. В ведущем вузе страны — МГУ — на 30 тыс. студентов приходится всего 128 универсальных ЭВМ, половина которых имеет

реликтовый для электронной техники возраст — 25 — 30 лет.

На здравоохранение у нас идет около 4% национального дохода — меньше, чем в любом другом западном государстве. По доле расходов на эти цели в ВВП мы находимся где-то в седьмом десятке из 126 стран. Советский Союз стал первой промышленно развитой страной мира, которая испытывала долговременное — в течение двух десятилетий — падение показателя средней продолжительности жизни в мирное время (с начала 60-х по начало 80-х годов).

Именно у нас, в плановом хозяйстве, любая стройка в новых районах каждый раз вновь и вновь начиналась с отсутствия дорог и жилья, с гор оборудования, ржавеющего под открытым небом, с барачков, вагончиков, в которых люди затем живут годами. Именно у нас местные власти, стесненные в правах и средствах, никак не могли состыковать действия министерств и ведомств, разворачивающих в их районе или городе свою деятельность. Западносибирский нефтяной центр Сургут не так давно представлял собой фактически не один город, а несколько, образованных разными министерствами-застройщиками. Каждый имел свое коммунальное хозяйство, в том числе и свою телефонную сеть, так что дозвониться из одной части города в другую было труднее, чем в Москву.

Наконец, именно в нашей плановой экономике типичной была ситуация, когда крупные хозяйственные программы были рассогласованы, не увязаны между собой, когда в самом разгаре строительства или уже после его окончания выяснялось, что строить вообще не надо было или надо, да не так, не то и не здесь. В середине 1987 г., то есть через три года после укладки "золотого" звена на БАМе, газеты вновь вернулись к теме великой стройки, не сходявшей с их страниц в конце 70-х — начале 80-х годов. И страна узнала, что "проект века", в который уже было вложено почти 9 млрд. руб., до сих пор не дает практически никакой отдачи. Планировалось, что объем перевозок по БАМу в восточном направлении к 1987 г. достигнет 50 млн. т. На самом же деле из 2570 км пути, находящегося в ведении Байкало-Амурской железной дороги, эксплуатировалось, по существу, только 400 км (меридиональное ответвление главной магистрали от якутской станции Беркакит до Бамовской, где Транссиб пересекается с БАМом) — по этой ветке перевозилось ежегодно 24 млн. т грузов. Широтное же полотно БАМа, протяженностью более 2 тыс. км, по существу, бездействовало — по нему не перевозилось и миллиона тонн грузов. Иначе говоря, загруженность широтного БАМа была более чем в 50 раз ниже, чем загруженность средней советской железной дороги. В итоге приходили в запустение и разрушались уже построенные станции, разъезды и другие объекты на трассе, а ежегодные государственные дотации неработающей дороге превысили 150 млн. руб.

Почему БАМ не функционировал спустя 13 лет после начала строительства? Причины две. Во-первых, дорога не была достроена; более половины всего пути, в 3 с лишним тысячи километров, не было сдано в постоянную эксплуатацию. Во-вторых, по БАМу просто было нечего возить. Освоение Прибайрья задержалось, одни министерства, начав стройки промышленных предприятий, затем их законсервировали, другие их вообще не начинали, и грузообразующие объекты так и не возникли. Вместо 50 млн. т грузов, которые планировалось перевозить по широтному БАМу, не набралось и одного: В 1977 г. БАМ начали стро-

ить без готового проекта, по рабочим чертежам. А дальше в долгосрочные плановые расчеты опять вкралась "ошибка" — не смогли всего учесть.

Кажется, именно в плановом хозяйстве крупные структурные сдвиги в экономике должны проходить организованно, без потерь, которые они обычно вызывают в рыночной экономике, где за установление надлежащих пропорций приходится часто платить увеличением безработицы, упадком отраслей и регионов и т. д. На деле и здесь теория сильно расходится с практикой. Эти структурные сдвиги либо вообще не происходили, либо растягивались на десятилетия, либо сопровождались такими перегибами, которые с лихвой превышали полезный эффект и только дискредитировали хорошие идеи.

Классический, прямо-таки хрестоматийный пример — структура наших зерновых посевов. Долгие годы более половины валового сбора зерна приходится у нас на пшеницу и рожь — в 1986 г. на эти продовольственные виды зерна пришлось почти 110 млн. т из 210 млн. т общего сбора зерновых. На производство хлеба и хлебоулучшительных изделий идет 40 млн. т, остальные 70 млн. т пшеницы и ржи (в том числе 10 млн. т качественной пшеницы) скармливаются скоту. Между тем кормить скот пшеницей не нужно и даже вредно — это неэффективно. Ему нужны серые, фуражные хлеба: ячмень, овес, кукуруза и др. Очень помогают белковые добавки, которых у нас до сих пор не хватает: из-за недостатка протеина в рационе животных ежегодно перерасходуется 25 — 30 млн. т зерна.

Почему же корма не сбалансированы по белку, почему в корм скоту идет пшеница, зачем нам вообще столько пшеницы, не пора ли изменить структуру посевов, не выгоднее ли закупать за границей не зерно, а белковые добавки, позволяющие резко сократить расход кормов на единицу привеса? Вопросы эти возникли не сегодня. В начале 60-х годов была предпринята попытка силой заставить колхозы и совхозы повсеместно перейти на кукурузу. Продолжавшаяся без всякого учета местных условий общесоюзная "кукурузная кампания" закончилась тогда блистательным провалом, и с тех пор все остается как есть.

Другой, совсем свежий пример — недавнее свертывание производства спиртных напитков. Предполагалось сокращать производство и реализацию алкоголя постепенно и равномерно на 10% в год, с тем чтобы за 5 лет уменьшить выпуск и продажу спиртного вдвое. Но план был перевыполнен — это сокращение было осуществлено всего за два года и сопровождалось самыми что ни на есть непродуманными, а зачастую и просто варварскими действиями. Всего за два года антиалкогольной кампании "горячие головы" вырубили в стране тысячи гектаров виноградников. Только в Азербайджане раскорчевали 70 тыс. га — почти треть всех виноградников. Сбор винограда в целом по стране в 1987 г. сократился в сравнении со среднегодовым уровнем 1981 — 1985 гг. почти на 20%. А ведь эта культура требует особенно кропотливого труда и ухода, для восстановления виноградников требуются годы и годы.

Стремление получить моментальные выгоды за счет увеличения будущих издержек и даже невозполнимых потерь особенно пагубно там, где в хозяйственный оборот вовлекаются невозпроизводимые или медленно воспроизводимые богатства. Состояние нашей среды обитания драматически ухудшилось за последние десятилетия. Загрязнение воздуш-

ного бассейна в некоторых районах страны перешло все критические рубежи: в 102 городах с общим населением 50 млн. человек концентрация вредных веществ в атмосфере нередко превышает допустимые нормы в 10 и более раз. В городах-курортах на Черном, Азовском и Балтийском морях (Одесса, Сочи, Мариуполь, Юрмала, Паланга, Пярну) еще и в 1987 — 1988 гг. продолжался сброс в море сточных вод городской канализацией и промышленными предприятиями; летом 1988 г. обстановка стала критической, и местные власти вынуждены были запретить купание на многих морских пляжах. Загрязнены великие реки, Байкал, Ладога, Балхаш, исчезают леса, ухудшаются почвы, земли выводятся из сельскохозяйственного оборота.

Все страны сталкиваются сейчас со схожими проблемами, это известно. Но известно также и другое: советская плановая система не смогла дать миру примеров их эффективного решения. Только чисто экономические потери от ущерба природе (оплата больничных листов по болезням, вызванным загрязнением, необходимость увеличения расходов на очистные сооружения, вывод из оборота пахотных земель и т. п.) составляли к концу 80-х годов, по ориентировочным оценкам, 25 — 30 млрд. руб., а на природоохранные мероприятия в прошлую пятилетку мы выделили всего 15 млрд. руб., то есть заведомо не компенсировали то, что губили.

Водное хозяйство в нашей плановой экономике оказалось на грани развала. Мы потребляем вдвое меньше воды, чем США (грубым счетом 300 куб. м против 600), при том, к стати сказать, что возобновляемые пресноводные ресурсы — годовой сток воды — в Советском Союзе в 1,5 раза больше, чем в США. Тем не менее в нашем водном хозяйстве возникли такие диспропорции, которых не знает ни одна другая страна.

Памятником бесхозяйственности стали гидроэлектростанции на равнинных реках, особенно в их низовьях, "великие стройки коммунизма", как их тогда называли. Текущие выгоды были, в общем, скромные: все гидростанции дают сейчас всего 13% производства электроэнергии, все гидростанции на Волге — только 3%. А вот долговременные и даже вечные, невосполнимые потери — много больше. Рукотворные моря, возникшие на месте прежних поселений, полей и пастбищ, поглотили миллионы гектаров плодороднейших земель, навсегда изъяв их из сельскохозяйственного оборота. (Это, между прочим, почти столько же, сколько получило сельское хозяйство в результате осушения земель, — 14 млн. га.) Возведенные плотины перекрыли традиционные пути миграции рыб, в частности осетровых на Волге, к местам нереста. По текущим затратам гидроэнергия действительно была очень дешевой (0,15 коп. за кВт · ч против 0,98 на ТЭС и АЭС), но фактически с учетом всех затрат и потерь оказалась золотой.

Развернувшиеся широким фронтом ирригационные работы привели к нарушению водного баланса Волги и Кубани, Днестра и Дона, Каспийского и Азовского морей, к сильной минерализации рек и водоемов. Вылов ценных видов рыб, составлявший в 1948 г. около 1 млн. т, снизился в целом по стране в 5 раз, в том числе в Каспийском бассейне — в 6, в Азовском море — в 25 раз.

Озабоченные планированием типоразмеров и сортиментов, плановики "не заметили", как началось высыхание не речки и не озера, а целого моря — Аральского, где сегодня воды уже вдвое меньше, чем 20 лет

назад. Амударья и Сырдарья некогда давали Аралу 60 куб. км воды ежегодно; теперь до моря доходит, и то лишь малой частью, только Амударья (сток Сырдарьи полностью разбирается на орошение), вливая в него всего 4 куб. км. Уровень воды в Арале понизился за последние 30 лет более чем на 10 м и продолжает снижаться почти на метр в год, вода ушла от прежних береговых линий на десятки километров, все живое в море погибает, ибо вода в нем стала чрезмерно соленой. Дававшее в лучшие годы 40 тыс. т ценных рыб, Аральское море теперь полностью потеряло свое рыбохозяйственное значение. Некогда цветущий порт на побережье, Муйнак перестал быть портом и пришел в запустение. Население Муйнакского района, составлявшее 45 тыс. человек в 1950 г., сократилось с тех пор вдвое, рыбу на Муйнакский консервный комбинат теперь привозят с Атлантики¹. Если бы все оставалось как есть, через два десятилетия пришлось бы менять карты и учебники географии — море бы высохло.

— Отработанная, использованная в промышленности и ирригации вода возвращалась в природу так, что минерализовались реки и водоемы, происходило подтопление земель, засоление и заболачивание ценных земельных угодий. Рядом с Аралом заполнилась сбросными водами Сарыкамышская впадина — в конце 80-х годов там было около 50 куб. км воды.

В среднем по стране оказалось, что засолен каждый пятый гектар орошаемой пашни, а в Туркмении — почти 9 из 10. В Узбекистане чрезмерное внесение удобрений и ядохимикатов в почву для получения высоких урожаев привело к снижению качества питьевой воды, к сильной ее минерализации. В результате стали расти заболевания желудочно-кишечного тракта, печени и почек; каждый десятый — восьмой ребенок в Каракалпакии в середине 80-х годов рождался уродом.

Министерства и ведомства, ответственные за рациональное использование природных богатств, в последние годы оказались под огнем критики со стороны общественности. Обнародованные в ходе развернувшейся дискуссии цифры и факты буквально поразили воображение. Оказалось, например, что Минводхоз, имевший 15-миллиардный годовой бюджет (включая фонд зарплаты), то есть расходовавший ежегодно 50 — 60 руб. на каждого жителя, или почти столько же, сколько тратилось на здравоохранение, фактически закапывал эти деньги в землю: реальные результаты его деятельности в сравнении с упомянутыми впечатляющими цифрами затрат выглядели прямо-таки мизерными.

Вот простой расчет академика В. Тихонова. За первую половину 80-х годов вложения мелиораторов в осушение и орошение земель превысили 40 млрд. руб., а приращение сельскохозяйственной продукции на этих землях достигло только 2 млрд. руб. Исключая текущие затраты на производство этой продукции, получаем, что дополнительная прибыль колхозов и совхозов составила примерно 400 млн. руб. и что, следовательно, потребуется более 100 (!) лет, чтобы окупить эти вложения.

На Украине фактически орошается 6,7% земель, а получают с них всего 7,3% всей продукции растениеводства. Выходит, что 8 млрд. руб., вложенных в орошение, дали прибавку продукции всего в 0,6%, то есть фактическая стоимость дополнительной продукции опять-таки оказы-

¹ См. *Наука и жизнь*, 1987, № 11, с. 78.

ваются в несколько десятков раз ниже суммы вложений.

Не меньшие диспропорции сложились в лесном хозяйстве. Нужно ли экономить древесину, если у нас лесов больше, чем у всех, рассуждали плановики и "не заметили", как обнажилось дно казавшейся бездонной бочки. Расчетные лесосеки в хвойных лесах систематически перерубались, ресурсы древесины мягколиственных пород использовались слабо (это ведь дороже), вырубаемые лесные площади не восстанавливались, а заготовка леса превратилась, по сути, в его неконтролируемое истребление.

В конце 80-х годов примерно два из каждых трех вывезенных кубометров древесины не шли в дело — они оставались в лесу, гнили, пылали в кострах, ложились на дно сплавных рек, превращались в опил на примитивных лесопилках. С каждого кубометра древесины мы получали продукции в 5 — 6 раз меньше, чем в США. Темпы лесовосстановления были у нас в 10 раз ниже, чем в Западной Европе; прирост древесины на гектар — в полтора раза меньше, чем заготовка, тогда как в Канаде и Норвегии — наоборот.

В итоге, располагая четвертью мировых запасов леса, мы испытываем сейчас острую нехватку лесоматериалов. В некоторых традиционно лесных районах возник дефицит лесного сырья. В Карелию из Сибири и даже с Сахалина идут теперь через всю страну вагоны с целлюлозой, чтобы не остановились тамошние целлюлозно-бумажные предприятия, в то время как карельская древесина направляется в районы европейской части страны.

На юге показательна в этом смысле история с чаем. С 1940 по 1985 г. площадь чайных плантаций увеличилась только в полтора раза, а валовой сбор чайного листа — в 12 раз, в том числе за последние 15 лет (когда площадь чайных плантаций уже практически не расширялась) — в два раза. Во имя плана с веточек чайных кустов срезалось не три последних листика, как положено, а много больше: с гектара за сезон снимали не 4 — 5 т, как в других "чайных" странах, а все 10, а то и 15. Новые же чайные плантации не закладывались, так что биологические ресурсы старых совсем истощились: почти половина площадей в Грузии требует немедленного обновления. Качество грузинского чая снизилось настолько, что теперь его нельзя поставлять в торговлю, не смешивая предварительно с импортным.

Данная тема неисчерпаема. Можно еще немало сказать и о Нечерноземье, и о деревьях, погибших на дне или плавающих в водохранилищах ГЭС потому, что перед затоплением лес не был вырублен, и о факелах, в которых сжигался попутный и природный газ, и о высоких потерях при использовании многокомпонентных минеральных ресурсов, и о многом, многом другом. Но думается, и приведенных примеров достаточно, чтобы сделать простой вывод: теоретические преимущества плановой системы в области долгосрочного хозяйственного развития практически не реализовались. При всеобъемлющем директивном планировании будущее неизбежно приносилось в жертву настоящему.

Планирование цен и зарплаты

В середине 80-х годов Госкомцен ежегодно утверждал 200 тыс. цен и тарифов на товары и услуги: 85 — 90% всех действующих оптовых цен прямо им устанавливалось. Остальные цены устанавливались министер-

ствами и самими предприятиями по договоренности друг с другом, но лишь при строгом соблюдении действующих правил (в цену обычно "закладывался" нормативный уровень рентабельности, не могущий превышать определенной величины, и т. д.). Госкомцен периодически проводил проверки и наказывал нарушителей. Крупные отклонения от правил выявлялись у 10 — 15% предприятий, мелкие — почти на каждом втором, причем, конечно, не в сторону занижения цены.

Розничные цены устанавливались примерно так же. Отличие состояло разве что в том, что здесь несколько шире были права торгующих организаций (они могли сами назначать цены на новые и особо модные товары или производить уценку залежавшихся) и местных властей. Кооперативная торговля, на долю которой в 60 — 80-е годы приходилось 26 — 29% розничного товарооборота, самостоятельно устанавливала цены на сельскохозяйственные продукты, закупавшиеся у населения, и на вырабатывавшиеся из них товары — это составляло около 16% кооперативного и лишь 4% всего розничного товарооборота. Остальные 84% продаж поребительской кооперации были товарами, закупавшимися у государства и реализуемыми населению по государственному же розничным ценам. Наконец, еще почти 3 — 5% розничного товарооборота падало на колхозную торговлю, где в основном реализовывалась продукция личных подсобных хозяйств крестьян и цены вообще не регулировались сверху, а складывались в зависимости от спроса и предложения.

При такой жестко централизованной системе ценообразования были неизбежны, конечно, крупные диспропорции. Как видно из рис. 1, уровень рентабельности отдельных крупных отраслей народного хозяйства разнился порой в несколько раз. В разряд высокорентабельных попадали отрасли с быстро обновляемой номенклатурой продукции или услуг, где "накручивать" цену проще всего, — легкая и пищевая промышленность, связь, строительство, машиностроение. Напротив, отрасли со сравнительно устойчивым ассортиментом продукции и услуг не обладали способностью сильно завышать цены и потому оказывались низкорентабельными. Это железнодорожный транспорт, сельское хозяйство, добывающая промышленность и электроэнергетика. Рентабельность таких отраслей изменялась циклически: несколько лет падения, затем резкий рост в результате единоразового повышения цен, затем новое постепенное падение.

Так, сельское хозяйство, бывшее убыточным долгие годы, стало рентабельным после повышения цен в 1953 — 1955 гг., снова "скатилось" к убыткам в начале 60-х годов, стало прибыльным после повышения закупочных цен в 1965 г., но к середине 70-х годов опять оказалось убыточным и т. д. Последний крупный пересмотр оптовых цен прошел в 1982 — 1983 гг.; рентабельность топливной промышленности повысилась тогда в 2 раза, сельского хозяйства — более чем в 10 раз. В целом с 1955 г. уровень оптовых цен повысился в сельском хозяйстве в 4,6 раза (в том числе в животноводстве — в 5,6), в нефтедобыче — в 3,8 в угледобыче — в 2,7, в лесозаготовках — в 2,4, в добыче газа — в 2 раза¹.

Инфляции в сфере производства потребительских товаров нам тоже избежать не удалось. ЦСУ — Госкомстат смогли частично скрыть рост

¹ См. *Коммунист*, 1987, № 13, с. 15.

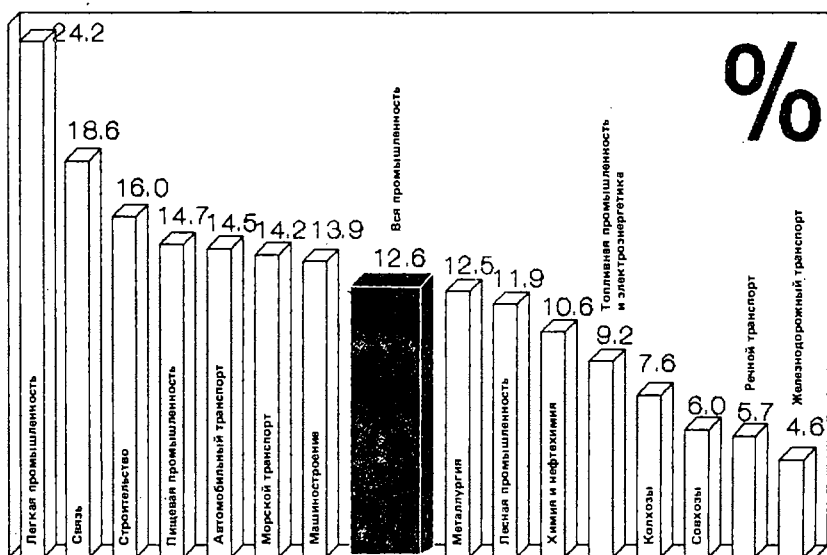


Рис. 1. Рентабельность* основных отраслей народного хозяйства в 1986 г., %.

* Отношение прибыли к стоимости основных фондов и материальных оборотных средств.

Источник: Народное хозяйство СССР.

цен в статистических публикациях, но, разумеется, не в реальной жизни. Даже если судить по официальным данным, цены на потребительские товары (составляющие розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли) выросли с 1928 г. почти в 10 раз (в США за этот же период — в 6 раз; см. рис. 2). Но эти официальные данные, вне всякого сомнения, существенно занижают реальный рост цен: используемые здесь примитивные методы счета приводят, например, к заключению, что в последние 25 лет цены на обувь вообще не повысились и даже несколько снизились.

Громадные диспропорции возникли также между оптовыми и розничными ценами. С одной стороны, многие товары продавались по ценам, в несколько раз превышающим себестоимость. Разница улавливалась налогом с оборота, так что данные по рентабельности отдельных отраслей (см. рис. 1) в этом смысле непоказательны. В 1983 — 1984 гг. поступления от этого налога достигли максимума — 103 млрд. руб., или почти 20% величины национального дохода. Главным образом налог с оборота реализовывался в ценах на алкогольные напитки и так называемые престижные товары (автомшины, меха и др.).

С другой стороны, непрерывно росли дотации из государственного бюджета на поддержание искусственно заниженных розничных цен ряда базовых товаров и услуг — мяса, молока, масла, картофеля, транспорта, жилья и др. По мясо-молочным продуктам, например, государственные затраты к середине 80-х годов превышали розничные цены в 2 — 3 раза. Ничто в нашей экономике не росло так быстро, как дотации к ценам. С 1965 г. за 20 лет их общая величина (дотации на оптовые и розничные

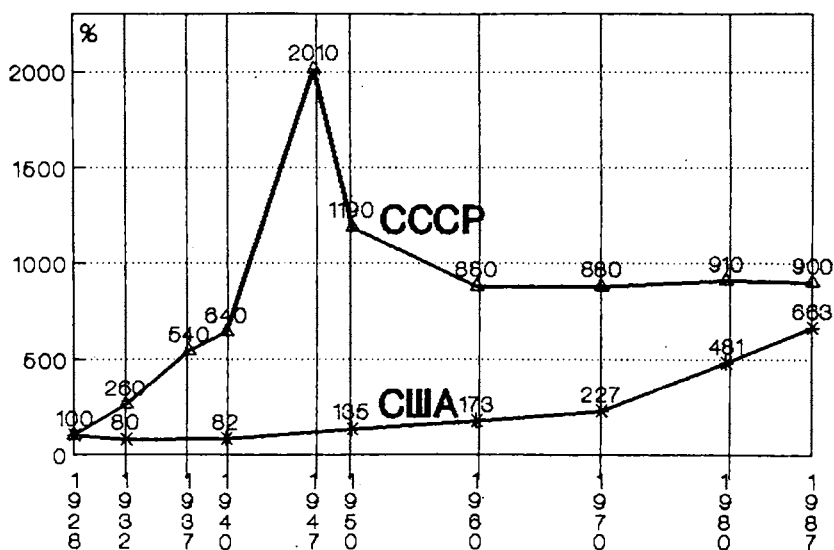


Рис. 2. Рост индекса потребительских цен в СССР* и США.

* Рассчитан как отношение индекса розничного товарооборота в текущих ценах к индексу физического объема розничного товарооборота.

Источник: Народное хозяйство СССР за разные годы; Statistical Abstract of the United States за разные годы.

цены) возросла с 3,6 млрд. руб. до 73 млрд., то есть более чем в 20 раз¹.

Попытки устранить ценовые диспропорции в долгосрочном плане были малоуспешными. Не раз в нашей истории проводились реформы оптовых и розничных цен, в том числе и такие, которые выравнивали прибыльность разных отраслей. Результат, тем не менее, всегда был одним и тем же: отраслевые уровни рентабельности очень скоро — через несколько лет — “разбегались” в разные стороны, повышались в отраслях вторичной обрабатывающей промышленности, в строительстве, связи и понижались в сырьевом секторе. И через некоторое время приходилось снова “выравнивать” цены...

Оплата труда тоже, несмотря на планирование фонда заработной платы, тарифных ставок, норм выработки и т. д., определялась отнюдь не плановыми органами. Жизнь, как всегда, шла своим чередом, а плановики, думавшие, что они что-то регулируют, на самом деле в лучшем случае только успевали “оформлять” с некоторыми опозданиями реальные изменения. В хозяйственной практике принималось к руководству, пожалуй, только одно, самое общее, хотя и нигде прямо не зафиксированное ограничение: заработки самых высокооплачиваемых работников не

¹ Коммунист, 1987, № 13, с. 15.

должны, как правило, очень сильно (грубым счетом – более чем в 10 раз) превышать зарплату самых низкооплачиваемых. Директор предприятия, начальник цеха, мастер в принципе могли “вывести” и более высокие заработки, но это было бы уже нарушением неписаных правил игры, и многочисленные контролирующие инстанции, закрывавшие в других случаях глаза на “выводилку”, в такой ситуации, конечно, вскрыли бы “злоупотребления”.

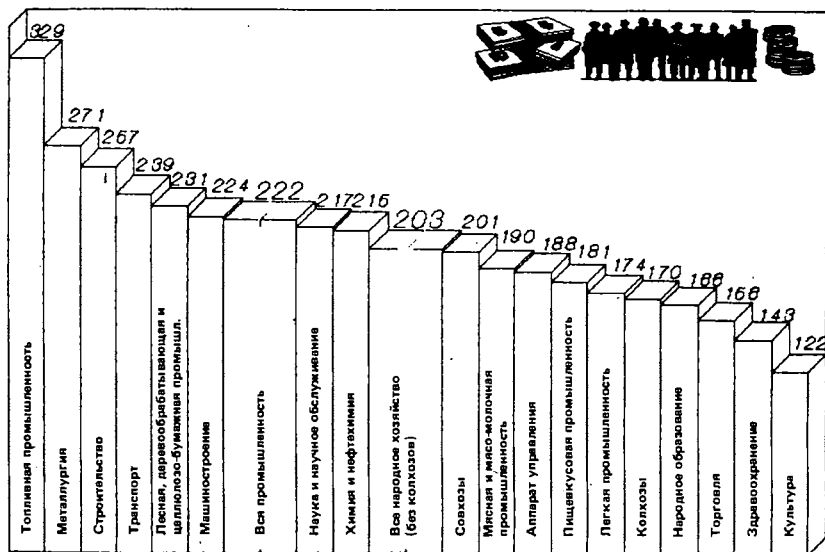


Рис. 3. Среднемесячная заработная плата рабочих, служащих и колхозников в некоторых отраслях народного хозяйства в 1987 г., в рублях.

Источник: Народное хозяйство СССР.

На рис. 3 показаны различия в средней зарплате рабочих, служащих и колхозников в отдельных крупных отраслях народного хозяйства. Отчасти они отражали различия в тяжести и вредности труда (шахтеры и металлурги имели относительно высокую оплату), отчасти – наши застарелые, до сих пор не исправленные диспропорции планирования, в частности запущенность социальной сферы (учителя, врачи, работники культурных центров оплачивались ниже среднего), но отчасти и совсем другое – реально действовавшие механизмы оплаты труда, которые не устанавливались ни ведомствами, ни министерствами, но с которыми, тем не менее, и те и другие были вынуждены считаться.

Почему, скажем, в торговле, легкой и пищевой промышленности, в аппарате управления зарплата всегда была заметно ниже, чем в машиностроении? Возможно, здесь ниже квалификация работников или менее интенсивен труд? В отдельных случаях, вероятно, да, но в целом – нет, ибо в машиностроении и тяжелой промышленности за одну и ту же работу платили, как правило, больше, чем в других отраслях. Скажем, один и тот же главный бухгалтер в угольной промышленности получал (включая премии) в середине 80-х годов 480 руб., а в пищевой – только

250 руб. Подлинная причина в том, что в тяжелой промышленности не было больших возможностей иметь дополнительные доходы, проще говоря, не слишком много можно было вынести с завода такого, что пригодилось бы потом в домашнем хозяйстве или "пошло" бы на черном рынке. В торговле, легкой и пищевой промышленности, которые имеют дело с потребительскими товарами, такие возможности были намного шире; в аппарате управления были другие дополнительные блага, такие, как относительно легкое получение жилья, путевок в дома отдыха и пр.

Ни в коей мере не желая бросить тень на миллионы честных тружеников торговли и других "доходных" отраслей и предприятий, отметим все-таки, что это реальность, с которой надо было считаться и с которой действительно всегда считались. Вот упрямые факты: расходы торговых работников в целом по стране на 60% превышали их официальные доходы¹. Умножим среднюю заработную плату торговых работников на коэффициент, характеризующий превышение их расходов над доходами (1,6), и получим почти средний заработок строителя (250 руб.). Разумеется, в строительстве и квалификация выше, и труд тяжелее (хотя как сказать). Но надо ведь делать и поправку на риск, с которым сопряжено получение "неофициальных" доходов... В итоге же получалось, что межотраслевые различия в реальных доходах рабочих и служащих были даже меньше, чем те, которые фиксировались статистикой (см. рис. 3).

Если не план, то что же?

Так как же, по каким законам развивалась наша плановая экономика долгие годы? Несведущий человек, возможно, скажет, что по плану, и, конечно, ошибется. Специалист наверняка ответит, что вне всякой связи с планом, и будет прав. Но даже специалист вряд ли сможет дать вам более толковый и информативный ответ, чем этот чисто отрицательный — "не по плану". Реальные законы нашего собственного экономического развития в рамках административной системы нам до сих пор еще очень плохо известны. Мы не знаем, в частности, по какой именно линии равновесия двигалась наша экономика во времени.

Самый простой, казалось бы, вопрос: чем определялись ежегодные темпы экономического роста в нашем плановом хозяйстве? Всем, наверное, хочется знать, очень интересно, но — не знаем. Чтобы опровергнуть расхожий стереотип о равномерном, стабильном росте, протекавшем якобы в соответствии с законом планомерного пропорционального развития, большого труда не требуется. Достаточно только взглянуть на кривую, характеризующую темпы прироста национального дохода СССР по годам, чтобы убедиться: нестабильность изменения этого показателя у нас была весьма высока и, как свидетельствуют специальные расчеты, отнюдь не ниже, чем во многих западных странах, например в США². Если же от данных официальной статистики, сильно завышающих реальные темпы роста из-за недооценки фактического повышения цен, перейти к натуральным измерителям, то окажется, что в отдельные периоды темпы прироста вообще падали ниже нуля. Скажем, в 1979 — 1982 гг.

¹ См. *Огонек*, 1987, № 36, с. 7.

² Pryor F. L. Growth and Fluctuations of Production in OECD and East European Countries.—*World Politics*, 1985, January, p. 203—237.

физический объем производства в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве у нас не возрастал¹, то есть фактически в этот период мы пережили самый настоящий экономический кризис, по своей продолжительности превосходящий, между прочим, все послевоенные кризисы на Западе. Отрицательными были, вероятнее всего, и темпы прироста реального национального дохода в 1987 г., когда официальная статистика зарегистрировала самый низкий за всю нашу мирную историю прирост показателя в урожайном году — 2,3%.

Но почему, скажем, застой производства наступил именно в 1979 — 1982 гг., а не раньше и не позже, почему он продолжался именно 3 — 4 года, а не 1 год и не 5 лет, почему в 1987 г. темпы роста вновь упали — не будет никакого преувеличения, если сказать, что этого пока в точности не знает никто.

Многие экономисты уже давно призывали проводить различие между номинальным (желаемым, декларируемым) хозяйственным механизмом и реальным, фактически действующим². Первый был связан с широким обсуждением общенациональных планов и их последующим парадным утверждением на сессиях Верховного Совета; это номинальный хозяйственный механизм, служивший своего рода ширмой, за которой и развертывалась настоящая экономическая жизнь. Второй, реальный, был скрыт от посторонних глаз, действовал за кулисами и базировался на огромной “вокругплановой” активности Госплана, Госснаба, министерств и предприятий.

Планы постоянно корректировались и выполнялись, вернее, выполнялся совсем не тот план, который принимался в начале года или пятилетки, а другой, многократно скорректированный. Госплан “торговался” с министерствами, а министерства — с Госснабом, предприятиями и друг с другом насчет того, какой именно план они могли “дать” на таких-то ресурсах. В результате многоступенчатых переговоров и обменов труб на цемент, цемента — на лимиты капвложений, лимитов — на согласие увеличить план, согласия — на обещание повысить директора завода в должности и т. д. перераспределялись между министерствами и предприятиями объемы обязательных плановых поставок и фонды на ресурсы. Но и этим реальный процесс формирования хозяйственных пропорций не ограничивался: поставки ресурсов под план все равно срывались, — и здесь начинался новый тур “торгов” предприятий с министерствами и друг с другом о снабжении и взаимных поставках...

Достигавшийся в конце концов прирост производства, прибыли и прочих показателей являлся, конечно, объективной реальностью, возникшей в результате сложного взаимодействия множества сил и факторов, и когда-нибудь экономисты, вероятно, узнают законы, управлявшие этим взаимодействием. Сегодня же приходится только констатировать, что весь процесс нашего фактического экономического роста не только не находился под контролем центра, но и вообще до сих пор остается для нас тайной за семью печатями: мы не только не решали, куда следует идти, но даже не знали, куда в действительности двигались.

Существуют, между прочим, некоторые основания предполагать,

¹ См. ЭКО, 1987, № 11, с. 7.

² См.: А Балкин Л.И. Теоретические вопросы хозяйственного механизма. — *Коммунист*, 1983, № 14, с. 35.

что в нашем плановом хозяйстве фактически действовали закономерности неразвитого и плохо сбалансированного рынка. Они обнаруживались у нас в деформированном, сильно искаженном виде, но все-таки обнаруживались, ибо полностью изжить рыночные механизмы из хозяйственной практики сложных общественных систем с развитым разделением труда еще нигде, никогда и никому не удавалось. В самом деле, если воспроизводственные пропорции формировались не плановыми органами, которые были просто физически не способны объять необъятное, то, значит, они складывались стихийно, по соглашению, по договоренности между производителем и потребителем, продавцом и покупателем, рабочим и работодателем. Множество таких соглашений и есть рынок, пусть дупотопный, архаичный, зарегулированный и труднобалансируемый, но все-таки рынок с присущими ему, хоть и не всегда и не полностью срабатывающими, регуляторами роста. Проще говоря, если не план, то рынок, ибо третьего нет и быть не может.

Известным подтверждением сказанному может служить, например, наличие определенной зависимости между расширением денежного спроса, ростом производства и повышением цен. В современной рыночной экономике такая зависимость просматривается довольно четко: рост денежного спроса (денежной массы в обращении — денежной наличности и средств на банковских счетах) в первые год-два вызывает расширение физического объема производства, а затем трансформируется в повышение цен; поэтому колебания темпов роста национального дохода или валового продукта в *текущих* ценах (где учитывается и рост производства, и повышение цен) с лагом в 1 год довольно точно повторяют все перепады темпов роста денежной массы в обращении. В нашей экономике публикуемые данные позволяют сравнить изменение денежных средств предприятий в отраслях материального производства и национального дохода в текущих ценах за последние 25 лет. Результат неожиданный: не слишком четко, но все же просматривается соответствие между изменением денежных средств на банковских счетах предприятий и последующими — через два года — приростами номинального национального дохода (см. рис. 4).

На первый взгляд явный парадокс: величина денежных средств предприятий определялась в основном плановыми решениями (скажем, решениями о темпах расширения банковского кредитования, об изменении цен реализуемой продукции и т. д.), объем производства планировался, цены тоже устанавливались в плановом порядке, и тем не менее через два года все эти показатели стихийно, каким-то таинственным образом приходили между собой в определенное рыночное по своей сути соответствие — национальный доход в текущих ценах изменялся так, как менялась денежная масса в безналичном обороте два года назад.

Если такая зависимость у нас действительно существовала, то ее объяснение, видимо, может быть таким: при расширении денежного, то есть платежеспособного, спроса, не обеспеченного товарной массой, предприятия обычно соглашались с ростом затрат на приобретение материалов, узлов, деталей и т. п. (лишь бы их получить), что служило веским основанием для министерств и Госкомцен утверждать испрашиваемые производителями повышения цен (отчего бы и не повысить, если потребитель согласен), а это в свою очередь могло вести и к расширению рентабельного производства. В итоге избыточный денежный спрос

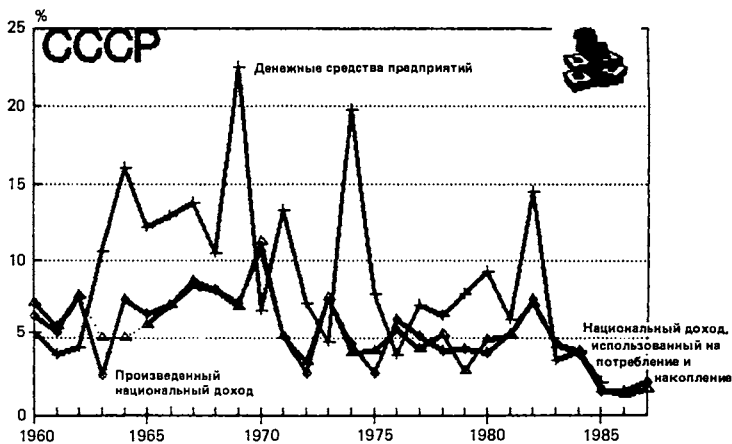
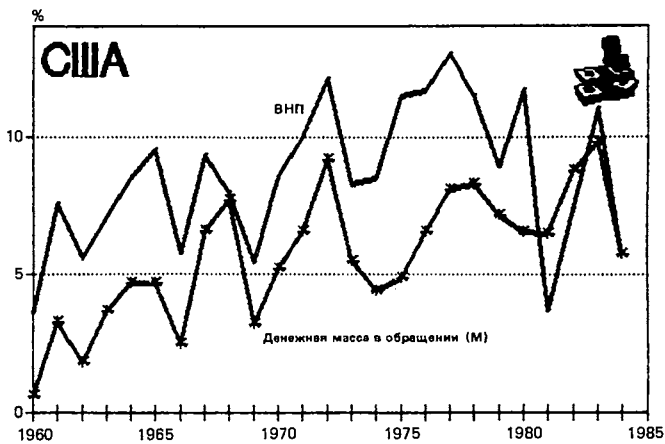


Рис. 4. Темпы прироста денежной массы в обращении и национального дохода (ВВП) в текущих ценах, %.

Примечание: Кривая, характеризующая темпы прироста ВВП США, сдвинута влево на 1 год так, что значение показателя на графике для 1960 г. соответствует его фактическому значению в 1961 г. и т.д.

Источник: Народное хозяйство СССР; Economic Report of the President.

трансформировался через два года в повышение цен (а частично, возможно, и в увеличение выпуска) и, следовательно, номинального дохода.

В свою очередь темпы прироста денежных средств предприятий зависели, с одной стороны, от темпов кредитной экспансии, то есть от того, как быстро расширялся банковский кредит, и с другой — от темпов роста общего уровня цен (их единоразовые повышения, как, например, в 1967 и 1982 гг., вызывали солидные приросты денежных средств предприятий). Как видно из рис. 5, расширение банковского кредитования примерно через год вызывало увеличение денежных средств предприятий.

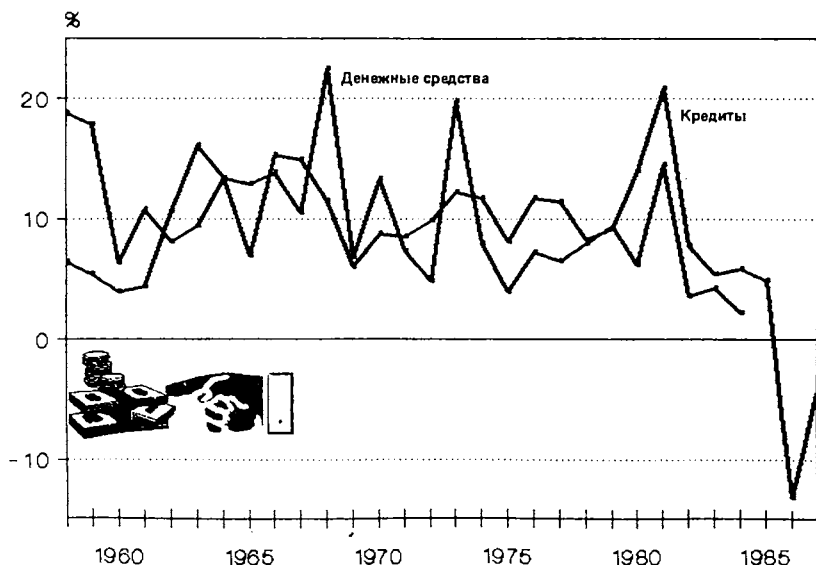


Рис. 5. Темпы прироста банковских кредитов (остатков ссуд на конец года) и денежных средств предприятий, в %.

Примечание: Кривая, характеризующая темпы прироста денежных средств предприятий, сдвинута влево на 1 год так, что значение показателя на графике для 1960 г. соответствует фактическому значению за 1961 г. и т. д.

Здесь, однако, интересно другое: увеличение денежных средств на счетах предприятий, несмотря на плановые барьеры, разделяющие безналичный и наличноденежный оборот, через некоторое время трансформировалось в рост денежных доходов рабочих, что в свою очередь вело к увеличению денежного спроса населения и возникновению новых дефицитов потребительских товаров.

Как видно из рис. 6, существует определенная корреляция между темпами прироста денежных средств предприятий и темпами прироста денежной зарплаты — в том же году или через год после того, как предприятия "богатели", они обычно находили возможность увеличить зарплаты своим рабочим, несмотря на планирование фонда зарплаты, тарифов и должностных окладов.

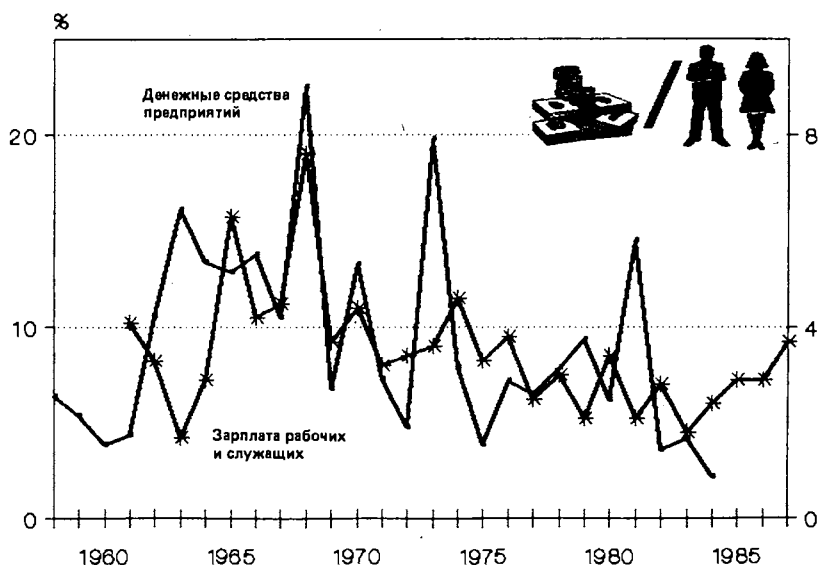


Рис. 6. Темпы прироста денежных средств предприятий (левая шкала) и средней зарплаты рабочих и служащих (правая шкала), в %.

Источник: Народное хозяйство СССР за разные годы.

В итоге получалось, что, несмотря на раздельное планирование кредита, цен и зарплаты, между ними устанавливались через год-два нормальные рыночные соотношения: росла денежная масса в обороте, и вслед за этим росли оптовые цены; повышались оптовые цены — росла зарплата; повышалась зарплата — обострялись дефициты на потребительском рынке, что вело либо к карточкам, либо к удлинению очередей, либо к повышению розничных цен. Инфляция, таким образом, начинаясь с одновременного повышения цен в низкорентабельных сырьевых отраслях и (или) с расширения банковского кредитования, вскоре распространялась на всю экономику. Известно, например, что одновременные повышения оптовых цен в 1967 и 1982 гг. через год-два существенно ухудшили положение на потребительском рынке.

Выходит, что в нашей экономике, несмотря на кажущееся всевластие плана и плановиков, все-таки действовали некоторые базовые рыночные зависимости, причем даже в менее модифицированном виде, чем мы обычно думаем. Но это пока что только гипотеза, полная проверка которой требует и дополнительных расчетов, и привлечения отсутствующих сейчас статистических данных.

* * *

Изучение прошлого, разумеется, не самоцель, мы всегда обращаемся к истории, чтобы найти ответы на вопросы, волнующие нас сегодня. И в этом смысле было бы упрощением рассматривать наш прошлый, в пол-

ном смысле этого слова, уникальный опыт повсеместного планирования как сплошь негативный.

Истина всегда конкретна. Утверждение, что всегда и везде рынок лучше плана, столь же неверно, как и противоположное. Вопрос, конечно, состоит в том, в каких пропорциях и каким образом следует соединить эти системы регулирования. Как это часто бывает, здесь легче идти от противного, то есть сказать, чего не надо делать.

Экономически рациональный и оправданный баланс между централизованным и автоматическим регулированием, между планом и рынком, баланс, соблюдение которого необходимо в любой экономике, основанной на разделении труда, у нас, в административной системе, оказался сильно смещенным в сторону централизма, директивного планирования. Для лечения недугов рынка было фактически использовано слишком сильное лекарство и к тому же в чрезмерных дозах. Здоровье экономики от такой неумеренной "плановой терапии" только ухудшилось. Всеохватывающий план лег на экономику тяжким бременем, подавив ее потенциальные способности к росту и саморазвитию.

Практически по всем позициям хозяйственные потери в плановой экономике оказались намного выше, чем в рыночной. И даже более того, несмотря на потери, мы так и не смогли заменить рыночные механизмы плановым регулированием, не смогли совершить скачок из царства стихийности в мир планомерности. Наше реальное хозяйственное развитие шло отнюдь не по плану, но направлялось действием слабо изученных пока механизмов самонастройки, которые фактически воспроизводили рынок в его самых неразвитых, допотопных формах. Изгнанный через дверь рынок вернулся с черного хода: оказалось, что выбора между планом и рынком, по сути дела, нет, а есть только возможность заменить цивилизованный, развитый рынок его примитивными прототипами.

Собственно говоря, наш беспрецедентный плановый эксперимент доказал только то, что любой хороший метод или способ регулирования, продолженный за пределы разумного, используемый там, где нужно и где не нужно, неизбежно теряет свои достоинства и вообще превращается в свою противоположность. Это как раз и произошло у нас с директивным планированием: став повсеместным, оно фактически подорвало, ликвидировало плановое хозяйство, трансформировав его в некую пока еще малопонятную экономическую систему, являющуюся, возможно, не чем иным, как просто неразвитым рынком. Сама идея плана оказалась, таким образом, полностью дискредитированной.

Сейчас, наверное, остается все меньше и меньше экономистов, питающих какие-то иллюзии в отношении чудотворных способностей плана. История вынесла суровый приговор всеобъемлющему директивному планированию. Мы убедились на собственном опыте: попытки устранить все, абсолютно все мелкие и мельчайшие дефекты рынка во что бы то ни стало, невзирая на затраты, в известном смысле схожи с безумным намерением поджечь дом, чтобы приготовить яичницу.

Вполне вероятно, что в будущем по мере возрастания наших знаний об экономических законах и наших способностей предсказывать хозяйственное развитие плановые методы смогут давать все лучшие и лучшие результаты, и их использование поэтому можно будет расширить. Но сейчас пропасть между всем многообразием хозяйственных пропорций и теми немногими из них, которые действительно можно более

или менее обоснованно спланировать, настолько велика, что просто не хватает воображения представить, как когда-либо в обозримой перспективе или пусть даже через 50—100 лет мы окажемся в состоянии эффективно планировать в натуре хотя бы важнейшие позиции производства.

Другими словами, и сейчас, и в обозримой перспективе наиболее разумным принципом организации любого сложного общественного хозяйства, будь то капиталистическое или социалистическое, может быть только рынок, рыночная самонастройка, дающая лучший баланс выгод и издержек в сравнении со всеми другими известными способами регулирования. И использовать надо не товарно-денежные отношения в плановой системе, а, наоборот, плановые методы в рыночном в основе своей хозяйстве. Причем использовать крайне осторожно и осмотрительно, ибо любой хороший метод или способ регулирования, продолженный за пределы разумного, превращается в свою противоположность.

Думается, что в перспективе именно на рыночные механизмы должно лечь основное бремя поддержания многообразных пропорций в нашей экономике. И совсем не потому, что рынок идеален или даже просто лучше других систем регулирования, — в отдельных сферах он явно не лучше, а хуже. Смысл в том, чтобы, имея рыночные автоматические регуляторы, корректировать их затем с помощью методов индикативного и директивного планирования. Общий принцип при этом, очевидно, должен быть следующим: замена рыночной самонастройки плановыми рычагами может осуществляться только тогда, когда есть твердая научная уверенность и высокая степень общественного согласия, что рынок в данном конкретном случае будет менее эффективным. До сих пор мы поступали как раз наоборот: опираясь на всеохватывающий план в натуре и всеобъемлющее регулирование цен и зарплаты, допускали рыночные связи лишь при полной невозможности что-то спланировать сверху. Такой подход переворачивал все с ног на голову: умерщвляя сначала единый живой организм, плохо ли, хорошо ли, но все-таки саморегулирующийся, мы затем пытались заставить функционировать его отдельные органы. Сейчас же замысел должен состоять в том, чтобы вновь вдохнуть жизнь в этот хозяйственный организм, помочь ему встать на ноги и врачевать далее его болезни, исправлять недостатки, приближая его по мере возможности к совершенству.

И ПРИШЛА НУЖДА КАК ТАТЬ...

В доме праведника — обилие сокровищ, а в при-
бытке нечестивого — расстройство.

Книга Притчей, гл. 15, ст. 6

Уже не одно поколение наших людей привыкло смотреть на Соединенные Штаты и другие ведущие капиталистические страны, на соревнование двух общественных систем через призму, в которой фокусировались застой, кризис, безработица, нищета и эксплуатация, с одной стороны, и тускло, неясно расплывались контуры величественных побед, рекордных темпов, неуклонного подъема благосостояния — с другой. Нас приучили смотреть в окно, открытое на Запад, через колонки цифр недобросовестно проведенных сопоставлений, через умолчания, полуфакты и просто неправду. Тем самым образ врага подкреплялся экономической карикатурой на соперника, который все время загнивает, слабеет, хиреет. В США и в целом на Западе много действительных трудноразрешимых проблем и нет нужды выдумывать новые, чтобы обелить свои недостатки и провалы. Это мешает нам самим разглядеть реальные ориентиры нашего движения вперед, а простым людям на Западе — суть социализма.

Десятилетия замалчивания, прямого искажения действительности привели к почти полной дезориентации населения, руководства страны и даже ученых относительно того, как мы живем, сколько потребляем, лучше или хуже мы стали жить, где мы находимся в мире по уровню жизни. Привыкшее к победным реляциям, наше сознание с трудом может усвоить тот факт, что жители городов нашей страны потребляют почти в два раза меньше мяса, чем в 1913 и 1927 гг., что для покупки 1 кг мяса (по цене 3,7 руб.) сейчас надо отработать в полтора раза больше, чем в 1913 и 1927 гг., что в 1927 г. рабочая семья расходовала на питание 43,8% (без алкоголя) своего бюджета, а сейчас — свыше 60%, и это при том, что раньше число иждивенцев-едоков в семьях было гораздо больше.

Но самое главное, 20-е годы были наполнены оптимизмом, верой в то, что жизнь вскоре станет еще лучше, все казалось близким и доступным. В эти годы эру наступления коммунистического счастья измеряли не десятилетиями и поколениями, а годами. В большинстве случаев публицистика, научная и политическая литература той поры предсказывали приход коммунизма уже в начале 30-х годов. И верить в это у миллионов людей были веские основания. После лихолетья мировой и гражданской войн, голода и разрухи темпы экономического развития поражали своей стремительностью. Но дело не только в темпах. Уже в 1927 г. душевое потребление продуктов питания достигло дореволюционного уровня. И хотя в обеспеченности населения промышленными товарами дело обстояло гораздо хуже, страна, весь народ чувствовали, что перс-

пективы дальнейшего повышения уровня жизни огромны: миллионы новых крестьянских дворов ежегодно включались в товарное производство продуктов питания; механизация сельского хозяйства практически еще не началась, и ее развертывание сулило быстрое наращивание производства сельскохозяйственной продукции. Россия 20-х годов представляла собой самый перспективный, наиболее быстро расширяющийся в мире внутренний рынок промышленных и продовольственных товаров для населения.

Приличным выглядело и место, которое мы занимали в мире по уровню жизни. Если принять покупательную способность заработной платы среднего рабочего в Лондоне за 100, то в Берлине она была на отметке 71, Париже — 56, Москве — 52, Праге — 47, Вене — 45, Риме — 43, Варшаве — 40. Об этом писал вполне авторитетный журнал, орган Госплана СССР — “Плановое хозяйство”¹.

И все это почти в одночасье рухнуло. Мы много и очень много строили, самоотверженно трудились, шли добровольно (а чаще недобровольно) на жертвы и лишения, а желанная счастливая жизнь и достаток все не наступали. Мечты о такой жизни постепенно рассеивались, превращаясь для нас в мираж, а для общества и потомков — в устойчивую социальную легенду, которая со временем при помощи официальной пропаганды приобрела еще одну функцию — служить ритуальным жертвоприношением идолу индустриализации, государственным интересам. В тот же период у нас окончательно исчезли даже формальные признаки демократии внутри партии, и в Советах, и на сходах, и на собраниях. Вместо нее нам подспудно прививалась идея, что эта утрата есть тоже временная и, конечно, необходимая жертва периода индустриализации, в подсознание вбивался социальный трюизм: “Сегодня — станки и меньше свободы, зато завтра — хлеб и масло”. Но сытое “завтра” все уходило за горизонт, а жертвы все множились. Только коллективизация унесла миллионы жизней, на Украине от голода в 1932—1933 гг. погибло около 7 млн. человек. В то же время при помощи далеко не изощренной пропаганды факты экономического геноцида стали замещаться официальной ложью: ухудшения уровня жизни, оказывается, совсем не было, поскольку люди в проклятом прошлом жили хуже, а сейчас — конечно, лучше. Доказательства? А вот вам официальные цифры, диаграммы, статьи в газетах и, наконец, выступления руководителей партии и страны. А все иное — это происки врагов народа, недобитков, а позже — нытиков и отщепенцев.

К такому приему — сначала признание необходимости “временного” снижения уровня жизни, затем вымывание из памяти этого факта и замена его доктриной “непрерывного повышения благосостояния” — аппаратная верхушка страны не раз прибегала за последние десятилетия. Вспомним хотя бы начало 60-х годов, когда были “временно” сразу на треть повышены цены на мясо и молочные продукты, а вскоре и на другие товары. Тогда призыв к жертвенности был выцветен хрущевским вариантом демократизма с его известной издевательской формулировкой “по просьбе трудящихся”. Позже, в 70-х годах, когда настала пора новых повышений цен и лукавых обещаний, о “временности” этой жертвы уже не вспоминали.

¹ См. *Плановое хозяйство*, 1929, № 3, с. 23.

Мы уже свыклились с мыслью, успели вобрать в себя печальный опыт прошлых и нынешних поколений, свидетельствующий о том, что по мере непрерывного наращивания экономического потенциала страны также постоянно откладывается достижение великой цели нового общества — обеспечение высокого или хотя бы “достойного” уровня жизни. И вместе с тем поневоле начинаешь задаваться мыслью: “А может, не правы те, кто выводит наше с вами благосостояние из обязательного достижения самой высокой в мире производительности труда?” Поскольку сейчас, согласно официальным данным, наш национальный доход составляет чуть более половины от уровня США (что является явным преувеличением), т.е. мы находимся на отметке этой страны середины 60-х годов, то было бы прекрасно, если бы наш уровень жизни сейчас, в 80-х, был таким, каким он был в Америке 20 с лишним лет назад. Это означало бы свыше 100 кг мяса на душу населения, 1,5 автомобиля на семью, около 40 кв. м полезной площади жилья на человека и т.д. Нет, видимо, это для нас пока недостижимо. До сих пор недоступны нам американские жизненные стандарты даже 50—60-летней давности, когда большинство семей трудящихся этой страны имело отдельную квартиру (дом) и автомашину, а качественное питание перестало быть проблемой практически для всех белых американцев. Очевидно, дело не только в достигнутом экономическом потенциале страны, но и в том, каков этот потенциал и насколько справедливо распределяется вновь созданный продукт между теми, кто его произвел, и государством — иными словами, между личным потреблением, с одной стороны, и накоплением, обороной, непроизводительным потреблением, с другой. Именно решение первоначально этой проблемы позволит выполнить задачу построения мощного и эффективного социалистического хозяйства, а не наоборот, как считалось до сих пор.

Мерилом исторического признания общественного строя, экономических достижений страны, долгосрочных курсов внутренней политики правительств и правящих партий прежде всего служит уровень жизни. Не производство стали, угля, станков и машин, не военная и политическая мощь страны, а *уровень благосостояния ее граждан*, т.е. объем душевого потребления качественных товаров и услуг. В долгосрочном плане между показателями, отражающими объем и эффективность производства продукции производственного назначения, с одной стороны, и товарами и услугами личного потребления, с другой стороны, не может быть ни внешнего, ни внутреннего противопоставления, как это мы уже давно усвоили со школьной скамьи и продолжаем усваивать доныне. В здоровой, сбалансированной экономике, измеряемой объективными, реальными, а не “спланированными” стоимостными показателями, мировым стандартам эффективности, производительности, совершенной технологии, личному качеству изделий производственных отраслей всегда соответствует высокий уровень личного потребления населения, изобилие товаров, их высокое качество и доступность. И наоборот, снижение реальных доходов семей, покупательной способности заработной платы, ухудшение личного потребления (в объеме, качестве и доступности) рано или поздно приведут к ухудшению всех экономических показателей: трудовой этики, производительности труда, качества товаров во всех секторах хозяйства. Поэтому стремление сэкономить на труде и бросить все высвобожденные ресурсы из личного потребления в накопление для развития производства в долгосрочном плане оказывается

самообманом. И никакие кампании морального стимулирования “ударного” труда не могут решить, как это показал наш опыт 30–80-х годов, фундаментальные проблемы как эффективности производства, так и подъема уровня жизни.

Как уже не раз бывало в истории, экономика зло посмеялась над различного рода вождями и их окружением, ставящими свою власть, свои личные и групповые интересы выше жизненных интересов страны и народа. Образно говоря, с экономикой можно обращаться как с царицей, признавая ее суверенитет во многих областях общественной жизни, особенно в сфере производства, обмена и распределения вновь создаваемых богатств, а можно — как с падшей женщиной, пресмыкающейся перед властными правителями. Однако рано или поздно за надругательства, унижение и узурпацию власти она жестоко мстит обидчикам, временщикам-самозванцам и позволившему себя дурачить молчаливому народу.

Если сформулировать уровень жизни как реальные условия удовлетворения материальных потребностей людей, то можно выделить два основных компонента этой категории, отражающих ее связь с различными фазами общественного воспроизводства: *доходы* и *потребление*. Доходы — ресурсный компонент уровня жизни — включают все личные денежные и неденежные поступления (зарплата, пенсия, пособия, доходы с приусадебных участков и т.д.). За вычетом обязательных платежей (налогов, взносов и пр.) доходы составляют бюджет потребительской единицы (семьи, домохозяйства). Однако в жизни часто случается, что денег много, а уровень жизни низкий (вспомним, например, из нашей истории, когда в начале 20-х годов средняя зарплата исчислялась десятками миллионов рублей, а в стране царило недоедание). Поэтому правильной при оценке уровня жизни делать упор на измерение объемов, качества и доступности потребления важнейших товаров и услуг, как в стоимостном, так и (что особенно важно) в натуральном исчислении.

Еще раз отметим: в современных условиях развитым товарно-денежным отношениям, передовой производственной базе, мощному экономическому потенциалу всегда соответствует высокий уровень жизни населения. Потребление и накопление — это два нерасторжимых элемента хозяйственной системы, связанных между собой узлами стабильных и исторически выверенных пропорций. Достижение успеха в одной области в длительной перспективе невозможно без соответствующего развития другой. Одностороннее предпочтение одной неизбежно приведет к урону для обеих. Поистине настоящий брак по любви! История знала немного примеров нарушения этих “сердечных уз”.

Попытки в нашей стране кардинально решить проблемы эффективности общественного производства за счет “силового” сокращения личного потребления не привели к ожидаемым результатам. Вместо сбалансированного роста была выдвинута альтернатива: либо потребление, а значит, и отставание от Запада, либо производство, а следовательно, успешное с ним соревнование. Предпочтение все время отдавалось производству, в результате через 30 лет обозначилось резкое отставание от Запада в области потребления и ухудшилось качество производства: экономика пришла в новое равновесие, соответствующее ресурсам, выделяемым самому главному и чувствительному фактору производства — труду. Это произошло, потому что была забыта старая и мудрая экономическая заповедь: *путь к богатству страны лежит через достаток ее граждан.*

Тотальное наступление на нашу с вами реальную заработную плату, доходы и потребление ведется уже 60 лет. Наступление, которое проводится с помощью разнообразных средств: повышения цен, ухудшения качества товаров, снижения и замораживания заработной платы, усиления дефицита, удлинения очередей, имеет своим результатом стагнацию жизненного уровня большинства семей. В макроэкономической статистике такие последствия выражаются в снижении доли вновь произведенной продукции, идущей на заработную плату, доходы, личное потребление. С 1927 по 1985 г. доля заработной платы в чистой продукции промышленности СССР снизилась с 58 до 36%. Такая низкая доля оплаты труда никогда не регистрировалась в промышленно развитых странах мира, где она стабильно колеблется в пределах 65–75%. С учетом нынешнего уровня развития производительных сил увеличение до 65% доли фонда заработной платы работников промышленности в чистой продукции отрасли означало бы, что размер средней зарплаты работников промышленности должен составлять свыше 400 руб. в месяц, т.е. в 1,8 раза превышать имеющийся сегодня.

Рассуждения такого рода, что-де и хорошо, что у нас эта доля низкая, поскольку мы и так ее “не зарабатываем”, свидетельствуют о непонимании экономического значения данной пропорции. А долгие годы культивировавшийся в нашем сознании миф: “Плохо работаем — поэтому и мало получаем” — воспитывал в нас чувство собственной социальной ущербности, нашей извечной “задолженности” перед государством. В действительности все обстоит как раз наоборот. Мы явно *недополучаем* из того нового богатства, которое создаем своим трудом, по сравнению с другими народами. Низкая доля фонда оплаты и личного потребления в Советском Союзе говорит о том, что если работаем мы условно на “тройку” (по пятибалльной шкале), то получаем на “двойку”. Иными словами, ранг нашей страны по производительности общественного труда в мире гораздо выше, чем по уровню личного потребления.

Любые попытки исправить положение дел в этой области, отталкиваясь от господствующего ныне стереотипа “в основе любого повышения заработной платы и уровня жизни лежит повышение производительности труда”, обречены на неудачу. Искусственно заниженный размер реальной заработной платы, очень низкая доля фонда заработной платы работников в чистой продукции отраслей народного хозяйства породили сначала эйфорию неисчерпаемости и широкой доступности рабочей силы, но постепенно привели не только к снижению качества труда, эрозии системы экономических стимулов работников, но и к падению эффективности использования всех других факторов производства. Вот почему не дает эффекта внедрение современных методов организации производства и труда. И никакие стимулирующие системы оплаты, надбавки, премии не помогут в этом. В условиях фактической гарантированности рабочего места (а не права на труд) они ведут лишь к дискредитации системы материальных стимулов.

Опыт прошлых десятилетий показывает, что большинство мероприятий, направленных на повышение уровня жизни, реальной заработной платы, потребления материальных благ, заканчивались безрезультатно. Примером может служить Комплексная программа научно-технического прогресса, составленная в 1972 г. Согласно ее прогнозам, средняя заработная плата рабочих и служащих в СССР должна была к 1990 г. достичь

250 р. в месяц с учетом сохранения цен на уровне 1970 г., т.е. за 1970–1990 гг. вырасти более чем в 2 раза. В действительности с учетом среднегодового темпа инфляции 4% (наиболее распространенная оценка среди советских ученых) средняя реальная заработная плата за период 1970–1986 гг. снизилась на 20%. Попытки увязать рост оплаты труда с повышением его производительности не дали ожидаемого эффекта: зарплата росла опережающими темпами на общем фоне неуклонного замедления темпов роста производительности труда. Однако цены на потребительские товары и услуги росли еще быстрее, и в результате покупательная способность зарплаты рабочих и служащих, особенно по товарам насущного потребления (питание, одежда), непрерывно снижалась.

Наступление на наш жизненный уровень — это не плод коварных планов отдельного человека или группы лиц, оно — результат жизнедеятельности тоталитарной Государственно-бюрократической системы руководства. В этом, длящемся уже многие десятилетия наступлении активно участвуют все три звена государственного управления экономикой, все три уровня власти: высший, средний и низовой.

Роль высшего звена сводится к тому, что долгое время в выборе рациональных приоритетов экономического развития, расходования ограниченных ресурсов оно руководствовалось антигуманными соображениями, сформулированными в таких благопристойных выражениях, как “вынужденное временное отвлечение ресурсов на нужды обороны”, “индустриализации”, “интернациональной помощи” и т.д. На деле такая политика привела к созданию новых рычагов, центров и постов реальной власти, а впоследствии — к эрозии экономического потенциала страны. В результате нарушилось, можно сказать, надломилось социально справедливое для трудящихся, экономически выгодное для державы и исторически проверенное опытом всех развитых стран мира соотношение между заработной платой, личными доходами и потреблением, с одной стороны, и результатом труда — с другой. В целом можно сказать, что усилия высшего руководства по укреплению и централизации власти, упрочению и консервации своего политического господства задавали тон антизарплатной, контрпотребительской деятельности более низких звеньев управления.

Ориентированные на обязательное выполнение плана (а вместе с ним и сохранение своих кресел, привилегий, власти) и ограниченные жесткими лимитами ресурсов министерства и ведомства были поставлены перед дилеммой: либо срочно проинформировать верхи, что при выделенных объемах ресурсов, искусственной дешевизне рабочей силы и командных методах хозяйствования планы нереальны, что для решения хозяйственных проблем страны надо отдать власть на места, развивать рыночный механизм и даже (!) резко сократить численность бюрократического аппарата, либо рапортовать о все новых успехах и... просить о новом увеличении капиталовложений. Но идейность была легко побеждена личным и групповым интересами. А планы, как оказалось, можно выполнять, ничего практически не меняя в существе и форме управления экономикой. Для этого надо было скрывать свои резервы, постоянно быть втянутым в крупное капитальное строительство (на неразбериху и “трудности” новостроек часто списывались экономические провалы), прибегать к другим многочисленным приемам “вытягивания” плана. Среди них излюбленным и, пожалуй, наиболее широко распространен-

ным уже с 30-х годов становится инфляционное повышение цен и тарифов, темп которого подчас превышал рост заработной платы. Цены росли произвольно и очень быстро в период индустриализации. Наконец, в целях приукрашивания и сокрытия фактов широко применялись методы статистической фальсификации, как прямой (приписки), так и косвенной (замалчивание, лакировка).

С 60-х годов для оправдания повышения цен стали требовать больше "обоснований", которые и не замедлили появиться: здесь и ссылки на вздорожание продукции поставщиков, и на дороговизну научно-технических мероприятий, и на неосвоенность производства новой продукции, и на спецзаказы и пр. Однако в основе всей этой рецептуры лежал один и тот же инфляционный эффект — повышение цен было гораздо больше, чем увеличение полезного эффекта изделий для потребителей. Постепенно укоренился и стал привычной хозяйственной практикой ценовой произвол изготовителей, т.е. министерств и ведомств, — произвол, абсолютно не сдерживаемый институтами народовластия. В рыночной экономике большинства капиталистических стран любое повышение цен должно обосновываться и контролироваться выборными представителями местных властей. Особенно жестко регулируются изменения цен, ведущие к снижению покупательной способности населения.

Поставленные волей высших властей в положение производителей-монополистов, ожиревших и утративших признаки активного экономического поведения в условиях отсутствия конкуренции, ответственности перед потребителями, гласности, министерства и ведомства рассматривают нас с вами как экономических пленников, вынужденных соглашаться на любые требования удержателей и поставщиков дефицита. По сути дела, между производителями и потребителями сложились не экономические, а административно-силовые связи, напоминающие отношения между победителями и побежденными на древнем Востоке, когда завоеватель-деспот мог наложить произвольную контрибуцию на жителей оккупированной земли даже в ущерб своим будущим доходам от новой провинции. В целом если за низкую заработную плату и дефицит товаров ответственность несет высший эшелон власти, то за рост цен и низкое качество товаров — высшее и среднее звенья управления вместе.

Низшее звено (на уровне предприятий, учреждений) также прикладывает руку к нашим бюджетам в том смысле, что силой обстоятельств, а вернее, указаниями, инструкциями вышестоящих органов оно поставлено в условия стороны, заинтересованной в сохранении низкой заработной платы. Какой показатель хозяйственной деятельности предприятий жестче всего контролируется со стороны финансовых органов? Заработная плата. А за что больше всего премируется начальство, т.е. административно-управленческий персонал предприятий? Угадали. За экономией фонда зарплаты. Другими словами, руководство предприятий стимулируется в усилении нашей с вами эксплуатации за счет выполнения того же объема работ при меньшей численности персонала. Однако в большинстве случаев эти стимулы не срабатывают, т.к. низкая заработная плата, с одной стороны, не создает особых проблем перерасхода фонда оплаты, а с другой стороны, небольшие ставки и оклады ведут к появлению большого числа дополнительных рабочих вакансий, которые очень трудно укомплектовать подходящими кадрами.

Размер заработной платы связан не только с политической, но, ес-

тественно, и с экономической свободой. При низкой зарплате и доходах невозможна настоящая демократизация. Ибо демократия — это и экономическая свобода выбора: работать или сделать перерыв, трудиться на двух работах или одной, искать и находить подходящую, в том числе по оплате, работу, часто ее менять. Однако при низкой зарплате у вас нет иного выхода, как обречь всех членов семьи, в том числе беременных женщин, матерей с малолетними детьми, больными родственниками, на постоянную работу. А если зарплаты не хватает — то на поиск левых заработков.

Помимо подрыва основ мотивированного и качественного труда, недоплата порождает целый веер трудноразрешимых проблем в других областях нашей жизни. Так, попытки ввести у нас гибкие графики рабочего дня, практиковать неполный рабочий день неизменно оканчиваются неудачей, поскольку низкая часовая ставка (ниже, чем в Южной Корее) лишает всякого смысла необходимость ехать на работу из-за 1—2 рублей в день. Призывы к повышению качества здравоохранения, работы коммунального хозяйства, почты, телеграфа, введение частично оплачиваемого образования и т.д. и т.п. экономически бессмысленны и социально несправедливы, поскольку нынешний уровень средней заработной платы не позволяет подавляющему числу тружеников выйти за рамки насущного и некачественного потребления. У большинства семей просто нет свободных денег, чтобы оплачивать намечаемое в нашей стране расширение кооперативного строительства, повышение тарифов за услуги службы быта, введение платного образования и медицинской помощи, не говоря уже о том, что предполагаемое повышение цен на продукты питания еще больше усугубит все эти проблемы. От планируемого удорожания выиграют лишь разбогатевшие подпольные миллионеры и командно-бюрократическая система, а проиграет вся страна, дело перестройки.

Сторонники старой жесткой системы регулирования заработной платы говорят, что при быстром росте оплаты произойдет простое удорожание рабочей силы без соответствующего изменения отношения работников к труду, своему рабочему месту, повышения производительности труда. В условиях командного управления экономикой это действительно справедливо.

Нужно помнить, что экономика — это целостная система, единый организм, а не набор разрозненных факторов, ресурсов, зависимостей. Будучи нарушенной, усеченной, задавленной, отторгнутой от своей политической и идеологической инфраструктуры, экономическая система (в данном случае хозяйственный механизм) превращается в неэффективную бюрократическую машину без обратной связи и как таковая может существовать в бесчисленном множестве ипостасей, с наличием отдельных элементов системы или без них. Как высокоорганизованная, органическая система современный хозяйственный механизм может успешно функционировать только при наличии всех условий рыночного хозяйства. Не случайно многие реформы 60—80-х годов уже до начала их реализации были обречены на провал и, по сути, привели лишь к укреплению бюрократической машины управления экономикой.

Повышение заработной платы даже до уровня нормальной, "справедливой" доли должно сопровождаться усилением ответственности за труд, за рабочее место. В условиях экономической системы сделать это воз-

можно, лишь раскрепостив рыночный механизм спроса и предложения на рабочие места: квалифицированный, качественный труд хорошо оплачивается, но претендентов может быть и больше числа наличных мест. Если ты не стараешься, плохо работаешь, то система заставит тебя уйти, а если не можешь, то займись соответствующей твоим способностям работой. Административное навязывание гарантий занятости всем и при всех условиях не только экономически нецелесообразно, но и не отвечает принципу социальной защищенности, поскольку ведет к возрастанию потерь и снижению оплаты всех работников, в том числе и не очень квалифицированных и способных.

Реальное представление о социальной защищенности дает картина положения дел в общественных фондах потребления; призванных служить материальной основой такой защищенности. Сюда входят расходы государства на образование, медицинские услуги, социальное обеспечение и страхование, другие льготы, получаемые населением помимо заработной платы. В середине 70-х годов по доле государственных средств в национальном доходе, идущих в ОФП, США опередили СССР: еще раньше в этой области мы отстали от большинства стран Западной Европы. Очень значительными стали расхождения в абсолютных размерах государственных расходов по отдельным статьям ОФП. В США на образование в 1985 г. тратилось 178,6 млрд. долл., в СССР (с учетом затрат на пропаганду) — 37,9 млрд. руб., на здравоохранение соответственно 174,8 млрд. долл. и 20,0 млрд. руб., на социальное обеспечение и страхование 458,3 млрд. долл. и 61,1 млрд. руб. При этом в США значительная часть дополнительных средств на эти цели идет и от бизнеса.

К настоящему времени по всем параметрам личного потребления: структуре, объему, качеству, ассортименту и доступности материальных благ — Советский Союз значительно отстает от всех развитых стран мира. Так, только по объему потребляемых товаров и услуг на душу населения СССР в Европе уступает всем странам, кроме Албании, Румынии и Турции; в мире он находится в интервале с 50 по 60 место, пропуская вперед себя многие страны "третьего мира". Если же учитывать качество, ассортимент и доступность многих благ, то положение окажется еще хуже.

Структура доходов и расходов семей рабочих и служащих, которую приводит Госкомстат, содержит внутреннее противоречие, поскольку в доходы семей включают поступления за счет общественных фондов потребления (в том числе и те, что не идут на личное потребление), а расходы этих же семей неоправданно занижены — по таким статьям, как питание, алкоголь, жилье и некоторые другие. А именно по этой доле специалисты судят о стандартах потребления в стране: чем ниже эта доля, тем выше уровень жизни. В результате советские данные о структуре семейных бюджетов оказываются попросту несопоставимыми с международной статистикой. Так что утверждение Госкомстата о том, что на питание наша семья расходует 34% (в сборнике "Народное хозяйство СССР за 70 лет" — 28,3%), на алкоголь — 2,4, на жилье — 2,6%, явно не раскрывает сути дела. О широко распространенном недоверии к этим официальным данным свидетельствуют многочисленные отклики читателей, публикуемые в нашей печати. (В качестве эксперимента предлагаю рядовым сотрудникам Госкомстата опубликовать данные о потребительских расходах своих семей.)

Чтобы сравнить структуру расходов семей и для СССР, и для США, был принят "метод моделей", т.е. обе семьи (американская и советская) демографически были условно уравнены. В качестве "моделей" принята городская семья из четырех человек: двое работающих супругов, получающих среднюю по стране зарплату, и двое несовершеннолетних детей; из доходов вычитались налоги. Неденежные выплаты из общественных фондов потребления не учитывались, поскольку они касаются расходов не семей, но государства (и потому данная статья не отражается в международной статистике). Но если даже и приплюсовать эти расходы, то мы никак не выиграем, поскольку в СССР доля общественных фондов потребления в валовом национальном продукте составила в 1985 г. около 20%, а в США — около 29%.

Питание. Питание было и остается основным компонентом насущного потребления семей. Ученые во всех странах мира (в том числе и у нас) считают, что чем меньше эта доля в бюджетах семей, тем выше уровень жизни. В развитых странах мира эта доля непрерывно снижается, высвобождая средства для покупки дополнительного и качественного жилья, товаров длительного пользования, разнообразных услуг. В настоящее время она составляет: в США — 16%, Греции — 23, Франции — 24,9 (для рабочих семей), в Болгарии — 40, Испании — 45, Японии — 19,9, Гонконге — 13,8%.

Рассчитанный по фактическим данным советской статистики для городских жителей месячный рацион питания на одного человека обходится в розничных ценах около 50 руб. В потребительских расходах средней городской семьи с двумя работающими супругами, получающими в 1985 г. 380 руб. в месяц (средний размер зарплаты 190 руб.), и двумя несовершеннолетними детьми расходы на питание (без алкоголя) составили около 60%. Для сравнения укажем, что в США этот показатель, рассчитанный по этой же методологии, в 1984 г. равнялся 15,2%.

В настоящее время сохраняются ставшие уже традиционными различия между СССР и США как в структуре пищевой диеты населения, так и в потреблении отдельных продуктов. Очень значительным было отставание в потреблении жиров (29,8% от американского уровня), овощей (19,3%) и фруктов (19,7%). Отражением значительного несоответствия в абсолютном уровне обеспеченности главными продуктами питания являются существенные различия в структуре пищевой диеты между двумя странами. Хотя средняя калорийность питания в СССР и США приблизительно одинакова (3300 и 3380 ккал в день на душу населения соответственно), на хлеб и картофель у советского потребителя приходилось 46% дневного рациона пищи, а на мясо и рыбу — 8%. В США соответствующие показатели 22% и 20%. И это не удивительно, если учесть, что душевое потребление мяса, по данным за 1985 г., составило: в СССР — 62 кг, в США — 120 кг. Вместе с тем качество продаваемого населению мяса у нас гораздо хуже, чем в США. Если нивелировать эти различия: отнять сало, жир, ляд (внутренний жир), субпродукты, — учесть, что в США потребление птицы учитывает только кур и индеек (полностью потрошенных), то различие, выраженное в чистом весе мяса, достигнет 3 раз, т.е. реальное потребление чистого мяса едва достигало 40 кг. Приблизительно такая же картина просматривается по другим продуктам: рыба в СССР учитывается в живом весе, в США — по рыбному филе.

Чем объяснить такие невинные хитрости нашей статистической от-

четности и очень серьезные ухудшения качества продуктов питания? Многими причинами, но прежде всего командным, централизованным планированием. Невозможность выполнения заданий по пятилетним планам вызвала к жизни в соответствующих учреждениях целую серию "рационализаций". Сначала к красному мясу стали прибавлять сало, жир, лярд, затем жир стали умножать на 1,4 (во столько раз его калорийность выше красного мяса) и приплюсовывать к мясу. Чтобы скрыть удорожание мясных продуктов, мясо, потребляемое в личном домашнем хозяйстве, стали учитывать по государственным ценам, хотя по реальным продажным ценам оно ближе к колхозным рынкам. Такие манипуляции проводились и по другим товарным позициям. Результаты налицо: *планы выполняются, дефицит продовольствия сохраняется.*

Руководство нашего статистического ведомства в серии публикаций вынуждено было защищать свою явно завышенную оценку потребления мяса. Госкомстат СССР продолжает утверждать, что по душевому потреблению мяса мы отстаем от США не в 3, а в 2 раза. Однако сравнить можно лишь сопоставимое.

Во-первых, если вычесть, как это делают американцы, из объема валового производства мяса такие его ингредиенты, как сало, субпродукты первой и второй категории, на душу населения в СССР останется 52,7 кг мяса в год, в США — 112 кг (данные за 1985 г.). Далее, Госкомстат, допуская "маленькую хитрость", идет и на то, что учитывает сало и жир в калорийном эквиваленте, умножая его вес на 1,4. Но разве сало от этого стало мясом, хотя и выросло в весе? Сам Госкомстат признает, что потери при производстве мяса составляют 1 млн. т, или свыше 3 кг на человека. Наша официальная статистика и эти килограммы считает съеденными.

Кроме того, из-за низкого качества мясopодуKтов, их плохого хранения в распределительной сети, а также из-за хронической нехватки мяса, вынуждающей потребителей закупать его впрок, потери мясopодуKтов составляют еще свыше 3 кг на человека в год. Итого общие потери приближаются к 7 кг, и для потребления остается лишь 45,7 кг.

Это, однако, не все. Некоторые продукты (мозги, обваловка голов, отдельные виды внутренностей и пр.), не входящие даже в субпродукты, у нас опять-таки засчитываются в потребление мяса, а в США — нет. Если уж сопоставлять с США, так вычтем и этот вес, а он составляет еще 3 кг на душу в год. До сих пор не отработана и методика сопоставления мяса птицы. В США в зачет идет только полностью потрошенная птица, а в СССР в большинстве случаев — с головой, шеей, лапами, потрохами. Далее, американская статистика в мясе птицы учитывает лишь кур и индеек, у нас — все виды птиц. То же относится и к другим категориям мяса: в США в зачет идет лишь мясо коров, овец и свиней, в Советском Союзе — практически всех домашних животных, включая коз, лошадей, оленей, верблюдов, кроликов и т.д. При стандартизации показателей душевое потребление мяса в СССР снизится по меньшей мере до 40 кг, а в США возрастет до 120 кг.

Но и этого мало. В отчеты нередко засчитывается мясо животных, забитых по графе "вынужденный забой" и даже "падеж", которое и вовсе не должно попадать к потребителю. Факты таких приписок известны (этому недавно был посвящен отдельный телерепортаж), но их количественную оценку сделать трудно. Следует также иметь в виду, что, по

данным Госкомстата, свыше четверти всего мяса производится в личном подсобном хозяйстве, где точный учет чрезвычайно затруднен. Допускается значительный повторный счет мясных ресурсов при закупке у населения молодняка скота и свиней. И снова — душевое потребление при этом существенно завышается. На сколько? Точно выявить очень трудно.

В последние 10—15 лет особую тревогу вызывает ухудшение качества продуктов питания, что одновременно означает их удорожание, т.е. рост цен на единицу потребительского блага.

Нехватка многих продуктов, ухудшение их качества, покупки “про запас” ведут к большим потерям уже в сфере потребления, после того как покупатель оплатил товары и они вошли в статистическую отчетность достигнутого уровня потребления. Выборочные обследования показывают, что в среднем за год потери на душу населения составляют по хлебопродуктам — 17 кг, картофелю — 17, мясу и рыбе — свыше 4, по овощам — 9, молокопродуктам — 11 кг. Эти неучтенные потери порождают дополнительный спрос, ведут к обострению продовольственной ситуации.

При оценке потребления в СССР необходимо учитывать острую нехватку некоторых продуктов, время, затрачиваемое на их приобретение, неравномерность потребления по отдельным районам, низкое качество продуктов питания. Очень существенным остается отставание советской пищевой промышленности от международных стандартов по глубине переработки исходного сырья, ассортименту выпускаемой продукции, качеству переработки, упаковки, консервации. Свежие скоропортящиеся овощи и фрукты фактически недоступны для большинства населения страны, за исключением короткого периода сбора урожая.

Следует иметь в виду, что фактические нормы потребления в СССР по многим видам продуктов значительно ниже рациональных норм, рекомендуемых советскими специалистами. Если допустить возможность выхода на эти нормы, доля расходов городской семьи с двумя работающими супругами, получающими 380 руб. в месяц (в 1985 г.), составила бы не 60%, а 71%; достижение количественных (но не качественных) норм питания американских семей потребовало бы 90% бюджета средней советской семьи. С учетом достижения американских стандартов качества расходы средней советской семьи на питание должны почти в 2 раза превысить весь ее наличный бюджет.

Экономическую доступность товаров, в том числе продуктов питания, в разных странах можно сравнивать через трудовой эквивалент — количество рабочего времени, необходимого для того, чтобы заработать на покупку в розничной сети единицы товара. При этом расчеты проводятся комплексно по основным категориям потребления: питание — по продовольственной корзине, одежда — по гардеробу и т.д. Оценки экономической доступности по продуктам питания показали, что советскому работнику приходится трудиться в 10—15 раз больше, чем среднему американцу, чтобы купить единицу продукта: по мясу это превышение составило в 1985 г. 10—12 раз, птице — 18—20 раз, молоку — 3 раза, сливочному маслу — 7 раз, яйцам — 10—15 раз, апельсинам и бананам — 18—25 раз, хлебу — 2—8 раз, водке — 18 раз.

Исходя из этих данных, можно сделать много нетрадиционных выводов и предложений, главным из которых является то, что *нынешний уровень розничных цен на питание является одним из самых высоких в мире*

и вопрос о возможном дальнейшем его повышении должен быть исключен из средств решения продовольственной программы и социальной политики в целом.

Надо признать, что различия в питании между нашими двумя странами непрерывно изменялись на протяжении всего XX века. Из имеющихся достоверных сведений явствует, что в 1913 г. в среднем на городского жителя приходилось 70 кг, а если пользоваться современной методологией подсчета — 88 кг мяса, а в 1927 г. — 78 кг. Еще большие объемы душевого потребления мяса были в городах Сибири и Дальнего Востока. Производство товарного мяса было распределено более или менее равномерно по районам страны: в целом по России на местные ресурсы губерний приходилось 64% потребляемого мяса, в Москве — 71, Петербурге — 50%. В то же время в районы, где испытывался недостаток местного мяса, оно завозилось довольно интенсивно. Так, в городах Сибири и Дальнего Востока за счет ввоза из других губерний покрывалось 60–70% потребностей в мясе. И это было не случайно, климатические и ряд социально-экономических факторов объясняют тот факт, что в городах этих районов потребление мяса было на 40–50% выше, чем в целом по всем городам империи. Среди городов с наименьшим потреблением мяса была Варшава (55,2 кг). Сейчас потребление мяса в Польше значительно выше, чем в Советском Союзе.

Высокий уровень потребления мяса в 1913 и 1927 гг. подтверждается и данными по стаду домашних животных. На 100 жителей страны приходилось крупного рогатого скота: в 1913 г. — 31,6, в 1927 г. — 44,5, в 1988 г. — 42,3 головы; овец и коз соответственно — 52, 91, 51. Только по свиньям сейчас достигнуто значительное опережение.

Следует, однако, иметь в виду, что потребление мяса не может служить адекватным показателем уровня жизни в целом. Относительно дорогие, малодоступными для большинства семей России были предметы одежды и промышленные изделия; жилье рабочих — это, как правило, комната в бараке. Высокое потребление мяса рабочими-мужчинами на Ленских приисках объяснялось их относительной малочисленностью среди преимущественно сельского населения окружающих регионов, а также исключительно тяжелыми условиями труда. В 20-х годах общая доступность мяса и хлеба также соседствовала с недопотреблением молочных продуктов, сахара, овощей, фруктов; очень дорогими для семей трудящихся оставались одежда и промышленные товары. Конечно, разговоры о беспросветной нищете и вымирании деревни в дореволюционной России представляют собой пример социальной гиперболы; ведь темпы естественного прироста русского крестьянства в этот период были одни из самых высоких в истории¹. Вместе с тем патриархальный уклад, слабая вовлеченность в экономические и культурные интеграционные процессы накладывали на уровень жизни большей части населения страны отпечаток не только бедности, но и заниженных потребностей во многих товарах.

Да и в 20-е годы, когда экономическое положение большинства крестьянских хозяйств было достаточно устойчивым, обеспеченность сельского населения товарами первой необходимости оставалась очень низкой. Немногим лучше было положение в рабочих семьях: еще в

¹ *Статистический ежегодник России*. СПб, 1913.

1927 г. на 100 мужчин приходилось 28 летних мужских костюмов и 31 зимний, 117 шерстяных брюк. На 100 женщин — 34 женских костюма, 74 шерстяных платья, 88 шерстяных юбок. Так что относительно высокий объем потребления традиционных продуктов питания соседствовал с очень низкими стандартами по другим компонентам уровня жизни¹.

Гражданская война, разруха и расстройство хозяйства привели к катастрофическому снижению потребления продуктов питания, а в ряде мест к массовому и жестокому голоду, унесшему миллионы жизни. Однако замена продразверстки продналогом, расширение кооперативных форм хозяйствования на селе и в городе, усиление товарно-денежных отношений в экономике, блестяще проведенная валютно-денежная реформа позволили всего за 5 лет, с 1922 по 1927 г., решить в целом продовольственную проблему в том объеме, как она представлялась в те времена. По большинству продуктов питания душевое потребление достигло и превысило дореволюционные отметки. По данным ЦСУ СССР за 1927 г., среди рабочих и служащих потребление на взрослого едока составило: мяса — 78 кг, масла сливочного — 4,1 кг, сахара — 21 кг, овощей — 71,5 кг, картофеля — 167 кг, хлеба — 243 кг. В целом уровень потребления основных пищевых продуктов в этот период (с учетом качества) был значительно выше, чем в настоящее время.

Что касается экономической доступности товаров, то в конце 20-х годов она также приблизилась к дореволюционным отметкам. В книге Джона Рида "10 дней, которые потрясли мир" (М., 1958, с. 253–254) приведены выдержки из газеты "Новая жизнь" за 13 октября 1917 г. о ценах на некоторые потребительские товары и о дневной заработной плате различных категорий трудящихся Москвы за июль–август 1914 г. Эти данные подтверждены комитетом представителей Московской торговой палаты и московского отделения министерства труда. Из них следует, что каменщики и штукатуры за день работы могли купить около 4 кг говядины; для покупки пары мужской обуви им надо было отработать около шести дней, а шерстяного мужского костюма — 20 дней. Самому низкооплачиваемому чернорабочему для покупки таких товаров требовалось отработать в среднем на 60% дольше. Как видим, экономическая доступность мяса и других товаров в 1913 г. для трудящихся была выше, чем в настоящее время. Соответствующие данные можно получить и из статистических данных по России².

Приблизительно на таком же уровне находилась экономическая доступность основных товаров народного потребления и во второй половине 20-х годов³.

Неотложность массивованного повышения уровня жизни советских людей, в первую очередь их питания, стала требованием нашей эпохи, императивом перестройки. Нехватка качественных продуктов, а подчас прямое недопотребление снижают потенциал здоровья людей, сокращают их жизнь, уменьшают сопротивляемость организма различным заболеваниям.

Алкоголь. Согласно официальным данным, в 1980 г. в среднем на одного человека в СССР потреблялось 8,7 литра покупного алкоголя,

¹ *Бюджеты рабочих и служащих*, вып. 1, с. 100.

² *Статистический справочник СССР, 1928*. М., 1929, с. 545, 746–777.

³ См., например, *США—ЭПИ, 1987*, № 12; 1988, № 12.

или около 22 литров водки на душу населения в год, или 1,81 литра в месяц на человека. Свыше 40 млн. человек потребляет в день как минимум 350 г водки. По сравнению с 1913 г. душевое потребление алкоголя в Советском Союзе выросло почти в 5 раз.

Удельный вес крепких напитков составляет в СССР 69%, в США 23%. Эти цифры не учитывают потребление самогона, на который приходится до 100% общего потребления в стране водки. По общему потреблению крепких напитков СССР с большим отрывом занимает первое место среди развитых 28 стран мира, по которым проводилось сравнение.

В результате мер по ограничению производства и продажи спиртных напитков с 1984 по 1987 г. потребление (в пересчете на абсолютный алкоголь) сократилось в 2,3 раза. Однако одновременно резко выросло потребление самогона. По имеющимся оценкам, в 1987 г. на самогонварение было использовано 2 млн. тонн сахара (около 16% годового потребления населением), что дало возможность произвести в 1,7 раза больше самогона, чем реализуется в торговле водки и ликероводочных изделий. Если в среднем по странам мира доля крепких напитков в семейных бюджетах колеблется от 1 до 6%, то в СССР она в 1985 г. составила 13% (без учета самогона). Для сравнения: в США на алкоголь расходуется 1,5% бюджета семей.

Неисчислимы экономический и социальный ущерб от алкоголя — эпидемии XX века. Об этом надо неустанно повторять, вскрывая все новые и новые черные тайны этого порока. Алкоголь остается страшным вампиром, обескровливающим бюджеты очень многих семей. В середине 80-х годов 15—20 млн. домохозяйств расходовали на спиртное свыше 80% своих бюджетов. В условиях ненормально низкого среднего уровня потребления продуктов питания, одежды, бытовых и социальных услуг алкоголь обворовывает миллионы семей, лишая детей и взрослых самого необходимого, насущного потребления. Низко оплачиваемый труд и пьянство всегда взаимно обуславливали и дополняли друг друга.

Жилье. Жилье играет исключительно важную роль в формировании стандартов уровня жизни. Советский Союз значительно уступает по потреблению этого компонента большинству стран мира. В 1985 г. в СССР в среднем на одного человека приходилось около 9 кв. м жилой площади (в том числе и без удобств). По размеру жилой благоустроенной площади на душу населения мы в 6—7 раз отстаем от США (4,5 и 30 кв. м соответственно).

В нашем примере с гипотетической городской семьей ее расходы на содержание квартиры среднего размера (57 кв. м полезной площади) даже с учетом государственных расходов на содержание жилфонда составляют более 6% ее бюджета. Средняя американская семья расходует на это 26,6% своего бюджета. Для оплаты жилья средний работник в СССР должен отработать 18,2 часа, а в США — 45 часов. Однако различия в обеспеченности жильем приводят к тому, что для оплаты 1 кв. м полезной площади в месяц среднему работнику (в городе) требуется: в СССР — 1,23 часа работы, в США — 0,87 часа. Иными словами, экономическая доступность нашего льготного государственного жилья на 40%, а кооперативного — в 3,5 раза ниже.

Одежда, обувь, текстильные товары. По большинству предметов одежды, обуви, предметов обихода, особенно электробытовых товаров, советские товары (при невысоком качестве) в 10—20 и больше раз доро-

же, чем американские. По этому компоненту потребления цены в СССР одни из самых высоких в мире.

Наша командная система ценообразования не способна не только отражать общественно необходимые затраты на производство товаров и услуг, но даже хоть как-то улавливать движения спроса и предложения. Во многих странах мира одежда после окончания сезона дешевет на 10—15%, то же относится к электронной домашней технике, которая через год после появления в магазине может быть уценена на 30—50%. Кроме того, 1—2 раза в год проводятся распродажи, когда цены могут быть снижены практически на все товары.

Бытовая техника. По этому компоненту личного потребления отставание Советского Союза было особенно значительным (14% от уровня США). Обеспеченность советских потребителей мебелью и коврами — 27% американского уровня, автомобилями — 5%. Хотя по некоторым видам товаров длительного пользования (холодильникам, стиральным машинам) различия в уровне потребления в натуральном выражении между двумя странами были незначительны, качество и класс изделий несопоставимы.

Для американских семей характерна высокая степень насыщенности технически сложными товарами длительного пользования. Каждый раз с появлением принципиально новых видов изделий начинается очередная волна "экстенсивного" расширения пользования этими предметами. Так, к середине 50-х годов около 100% семей США располагали холодильниками, 86% — черно-белыми телевизорами. Однако через несколько лет на рынке появились цветные телевизоры, морозильники, домашние кондиционеры, посудомоечные машины и другие образцы технически сложных потребительских товаров, и начался новый период насыщения ими семей. В 1986 г. уже 91% семей владели цветными телевизорами и насыщение шло по таким новинкам, как электронные приставки к телефону, домашние компьютеры, игральные автоматы и пр.

В большинстве стран мира развитие научно-технического прогресса, совершенствование организации производства способствуют непрерывному удешевлению технически сложных потребительских товаров. Так, в 1950 г. на покупку черно-белого телевизора уходило около 80% месячной зарплаты среднего американца, а в 1985 г. — около 4%; на покупку цветного телевизора в 1960 г. — 70%, а в 1985 г. — 20%; за последние десять лет в несколько раз снизились цены на видеомагнитофоны, персональные компьютеры, электронные часы и пр.

Транспорт. В среднем советский житель обеспечен в 2,5 раза большим объемом услуг общественного транспорта, чем американец. Тем не менее общий объем транспортных услуг на душу населения в результате низкого качества работы государственного транспорта и рудиментарного развития личного составляет всего 11,8% от уровня Соединенных Штатов.

Транспорт среднего американца представлен, как правило, автомобилем выпуска 7—8-летней давности, с 4-цилиндровыми двигателями, автоматической трансмиссией, гидроусилением тормозов и рулевого управления, кондиционером, затемненными стеклами. Свыше 90% всех расходов по компоненту "транспорт" связано с владением личным автомобилем. При этом затраты, идущие непосредственно на покупку автомобиля, составляют 38% общих расходов по этой статье. Расширение сети автосервиса привело к относительному увеличению затрат на ремонт и

техническое обслуживание, а рост цен на нефтепродукты — на топливо и масло, расходы на которые в начале 80-х годов составили около $\frac{1}{3}$ всех затрат потребителей на транспорт. Приблизительно столько же расходует-ся на запчасты, ремонт и обслуживание.

Бытовые и коммунальные услуги. Несмотря на относительную деше-визну в СССР платных бытовых услуг (различные виды ремонта, индпо-шив, прачечные, химчистки и т.д.), их качество остается низким, а уро-вень потребления составляет 48,2% американского стандарта. Торговых точек в США (это в основном универсальные супермаркеты с системой самообслуживания) в 2 раза больше, чем в СССР. Несмотря на большую численность населения, более высокую производственную загруженность женщин, число предприятий общественного питания у нас на 35% мень-ше, чем в США. Резкое отставание Советского Союза по объему предос-таваемых услуг связи частично объясняется низкой телефонизацией жилого фонда. В начале 80-х годов лишь одна из каждых семи квартир имела телефон. С учетом служебных точек число всех установленных телефонов в СССР было в 10 раз меньше, чем в США.

В США объем услуг, оплачиваемых населением из собственного кар-мана, составляет свыше 30% всего бюджета по сравнению с 8,6% в СССР. В Америке громадный объем платных услуг населению складывается из высокой стоимости продаваемой услуги, значительно и постоянно расши-ряющегося набора видов "продукции" и, наконец, ее высокого качест-ва. Цены на платные услуги в США (как и в других странах с рыночной экономикой) довольно высоки, что объясняется высокой долей зарабо-той платы (80—100%) в общем объеме издержек. Высококонкурентные условия коммерческого производства и распределения услуг, борьба за клиентуру служат надежным гарантом от необоснованного повышения цен или снижения качества обслуживания.

Медицинские услуги. Общепризнанным достижением социализма является бесплатное медицинское обслуживание населения. Однако чрез-вычайно низкая материальная обеспеченность службы охраны здоровья в нашей стране делает малодоступным предоставление качественной и своевременной медицинской помощи. О каком качестве можно гово-рить, когда в начале 80-х годов каждая шестая больничная койка в стра-не не была обеспечена водой, а около 30% наших больниц не имели кана-лизации, когда в аптеках часто нет нужных лекарств. В целом, как зая-вил министр здравоохранения СССР, оснащенность средней больничной койки у нас в 7—10 раз ниже, чем в США.

Лишь недавно слегка приоткрылась завеса, скрывавшая угрожаю-щие тенденции ухудшения состояния здоровья населения СССР: практи-чески все показатели заболеваемости и смертности в нашей стране в течение 20 лет непрерывно ухудшались, в то время как во всем мире (в том числе среди слаборазвитых стран) они улучшались. Эти тенденции как в зеркале отразили не только кризисное состояние нашего здраво-охранения, но и длительное недопотребление качественных товаров питания, нарастание стрессовых состояний людей, вызванных в основном низкой экономической и социальной доступностью необходимых мате-риальных и нематериальных благ, усилением действия других "факторов риска" — алкоголя, курения, загрязнения окружающей среды. Произо-шел прорыв фронта обороны нашего здоровья, долгое время мобилизо-вывавшего свои внутренние резервы, началось массовое расширение

границ патологических явлений.

Что касается американской системы медицинского обслуживания, то ее отличает дороговизна, достаточно широкая доступность и высокое качество услуг. Действительно, в середине 80-х годов день пребывания в больнице стоил свыше 400 долл., средний курс больничного лечения — около 3 тыс. долл., визит к врачу — 50 долл. Чрезмерная дороговизна медицинских услуг и частный, коммерческий характер их предоставления вызвали к жизни широко развитую систему страхования здоровья. В настоящее время 85% всего населения США охвачено государственным и частным, групповым и личным медицинским страхованием, которое позволяет многим американцам пользоваться качественным и дорогим обслуживанием. Дело в том, что большую часть страховых выплат берут на себя государство и частный сектор, потребитель из своего кармана покрывает всего 28% всех расходов. В результате, по данным бюджетных обследований, семья среднего американца тратит на здравоохранение 4,4% своего бюджета, т.е. столько, сколько и в начале этого столетия.

Образование. Несмотря на значительные достижения СССР в области образования, страна пока отстает от Соединенных Штатов (77% от уровня США). В начале 80-х годов среднее число лет обучения всего населения в СССР и США составило соответственно 9 и свыше 12 лет. Наибольший разрыв в пользу США отмечался в высшем образовании: в СССР 15% молодежи в возрасте 18–24 лет обучались в вузах, в США соответствующий показатель равнялся 34%. Здесь надо учесть широкое распространение в Советском Союзе вечерней и заочной форм подготовки специалистов высшей и средней квалификации. Эта сравнительно недорогая и низкокачественная форма охватывает 40% учащихся вузов и техникумов. Кроме того, чрезмерная специализация в подготовке специалистов существенно снижает степень их адаптации к часто изменяющимся конкретным условиям производства.

Теперь относительно достоверности и доступности американских и вообще зарубежных данных об уровне жизни в СССР. Долгое время для нас это были лишь "антисоветские измышления", "происки врагов социализма", которые тщательно скрывались от широкой публики. Однако по мере того, как реальное положение дел начало проясняться, вскрылись не только масштабы и глубина нашего отставания в этой области, но и методологическая неподготовленность советской официальной статистики к корректным международным сопоставлениям. Дело не только в том, что сами данные закрывались и советские граждане не допускались до правды; ведь и в закрытых работах, рассчитанных на избранный круг адресатов, тоже отсутствовали правильные сопоставления. Высший эшелон власти в годы застоя не хотел знать истину!

Многие цифровые методики официальной статистики "освящены" личным авторитетом конкретных лиц, которые своей подписью дали этим цифрам "путевку в жизнь". Некоторые из руководителей Госкомстата уже на пенсии, другие продолжают оставаться у руля советской статистики. К сожалению, не все находят мужество отказаться от привычных подходов прошлого, в любой критике и уточнении усматривают посягательство на свой личный авторитет. Исключительная важность знания реальных социально-экономических параметров для ведения плодотворной общественно-политической дискуссии, для выявления истинного положения дел и поиска нужных путей решений проблем делает такую

позицию не просто антигосударственной, но и антидемократичной и антигуманной по высшему счету. Действительно, если бывший ответственный работник статистического ведомства искренне заблуждается и не до конца разобрался в методике того или иного подсчета — это одно дело. Когда же он активно выступает за запрет публикации конкурирующей информации на том основании, что она противоречит его данным по этому вопросу, — это совсем другое! Проведение научной дискуссии всегда и везде предполагало равное право на доступ к общественному и научному мнению. Монополия в этой области, как и во всех остальных, чревата застоєм, вырождением.

Странное дело, критикуя авторов расчетов, несхожих с вариантом Госкомстата (Ханина, Селюнина, Симоняна, Илларионова, Зайченко), представители этого ведомства очень редко аргументируют свою позицию методологическими выкладками. Что говорить, если даже статистические ежегодники снабжены весьма лапидарным методологическим пояснением, а по целым разделам этих сборников (труд, уровень жизни и пр.) неясностей гораздо больше, чем требуемой в этой сфере знаний определенности. Я не буду здесь разбирать приемы и способы, используемые официальной статистикой для намеренного снижения познавательной ценности информации (тут и манипулирование ценами, и обрыв динамических рядов, и оперирование относительными данными и т.п.). А ведь перепроверить такие данные в результате оказывается невозможно! Не случайно остаются вне пределов досягаемости экономистов методологические приемы обработки данных в Госкомстате СССР. В этих условиях любой спор о цифрах и их адекватности лишается смысла.

По большинству показателей уровня жизни (производство и потребление товаров и услуг, бюджеты семей, потребительские расходы населения и пр.) экономисты не могут получить четких объяснений, что вообще означает данная цифра, не говоря уже о том, как она была получена. Поэтому специалисты, особенно знакомые с международной статистикой, лишь по количественным значениям показателей могут приблизительно судить об их качестве. Во всяком случае, большинство публикуемых данных по СССР несопоставимы с соответствующими зарубежными показателями. Поэтому проводить международные сравнения (например, с Соединенными Штатами) на базе нынешней официальной статистики, как это часто делается в последнее время в публикациях Госкомстата, неправомерно. Новое руководство нашего центрального статистического ведомства обещало навести порядок в этих вопросах. Что же, поживем — увидим. Пока что Госкомстат признал несуразности со многими показателями личного потребления в СССР.

В недавнем интервью одного из руководителей Госкомстата ("Известия", 16.1.1989) на просьбу прокомментировать приводимые в печати данные о том, что уровень жизни в СССР в 3 раза ниже, чем в США, тот ответил, что с равным успехом можно утверждать, "что уровень жизни у нас, скажем, в 1,5 раза выше". Уж не знаю, что имел в виду ответственный работник Госкомстата, когда он брался доказать недоказуемое, но предполагаю, что спорил он с моей статьей, где приводились именно такие сопоставления ("в 3 раза ниже..."). Но, повторяю, эти американские сопоставления завышены — в пользу СССР, о чем и шла речь в моей статье.

Дело в том, что по общепринятой методике межстрановых сравнений конечные результаты расчетов (в данном случае по СССР и США)

представляют собой парные сопоставления душевого потребления количественных объемов товаров и услуг в рублях (в структуре личного потребления США) и в долларах (в структуре потребления СССР); затем через геометрическую среднюю эти оценки сводятся воедино. Такой методический подход вполне уместен при сравнении уровней потребления в странах со сходными принципами функционирования экономики, распределительных процессов, ценообразования, со схожими параметрами качества потребляемых товаров и услуг. Например, вполне уместны сравнения типа "США — Франция", "Англия — Кения", "Италия — Южная Корея". Однако аналогичные сопоставления между СССР и США по этой методике будут некорректными.

Во-первых, по очень большому перечню товаров и услуг, доступных американцу, не существует никаких аналогов в Советском Союзе. Как, например, оценить отсутствие в потреблении советской семьи (даже такой, где оба супруга работают) посудомоечной машины или кухонного агрегата, многообразного ассортимента одежды и мебели, бытовых, досуговых и рекреационных услуг или, скажем, послебольничного медицинского ухода за пациентами? Вряд ли эти блага можно просто не учитывать в сравнениях. В условиях неразрывного единства производства, быта и отдыха отсутствие многих видов потребительских благ не может ничем замещаться и являет собой прямой вычет (провал) из фонда личного потребления. Более того, отсутствие некоторых товаров и услуг ведет к недоиспользованию многих других потребительских благ. Так, отсутствие личных автомобилей ведет к недопотреблению ("за те же деньги") по статье "отдых"; в свою очередь нехватка нужных спортивных товаров ухудшает объем и качество того же отдыха, а если без них нет смысла куда-то ездить на природу, зачем тогда нужна машина? Потребительские свойства многих товаров и услуг снижаются также из-за нехватки свободного времени, которая порождается излишними его затратами на транспорт, на "доставание" товаров, на стояние в очереди, на приготовление пищи и т.д. Вынужденно экономя, скажем, средства по статье "платные услуги", наш человек при этом недоиспользует потребительские свойства почти всех купленных товаров и услуг. Вот почему опять-таки измерять и сопоставлять объемы душевого потребления отдельно от качества жизни можно лишь по странам со сходными условиями распределения материальных благ.

Второе немаловажное обстоятельство, которое искажает картину сопоставлений, — это недоучет качественных различий сравниваемых товаров и услуг. Зарубежные специалисты часто не имеют представления об этих различиях. Например, вряд ли можно сравнивать мясо, продаваемое в розничной сети в СССР и в США: наше в значительной мере состоит из тех элементов, которые едва ли позволяют назвать его в полном смысле мясом. Многие виды медицинских и коммунально-бытовых услуг, оказываемых советскому потребителю, настолько низкого качества, что вряд ли обладают хоть какой-то "стоимостью" и "ценой". Подчас они могут иметь даже отрицательную потребительную стоимость, т.е. лишь наносят ущерб доходу, имуществу и здоровью граждан. Косвенным свидетельством систематического недопотребления реальных товаров (лекарств) и услуг (врачебных) и невозможности найти им заменители, компенсацию служат данные об ухудшении состояния здоровья (включая рост заболеваемости и смертности) по всем возрастным группам, по

всем республикам, по городу и по селу, по мужчинам и женщинам, по основным группам заболеваний в период 1960—1980 гг. Явление уникальное для современной социально-демографической ситуации в мире!

К значительному “удешевлению” нашего потребления, а следовательно, к искусственному завышению данных об уровне жизни ведет и неправильный учет цен на потребительские товары и услуги. Например, долгое время в расчет принимались только государственные цены (а в последние годы — цены государственной и кооперативной торговли). Рыночные же цены и вовсе не учитывались. Между тем кооперативные и рыночные цены на продукты питания более чем вдвое выше государственных. А ведь на колхозный рынок и на кооперацию приходится до половины общего числа покупок таких важных продовольственных товаров, как мясо, картофель, фрукты и овощи.

На основе проведенных сопоставлений можно сделать вывод, что для модернизации отраслей потребительского комплекса потребуются громадные капиталовложения, которые должны быть отвлечены от других программ. Иными словами, требуется повысить до экономически и социально обоснованного уровня долю личного потребления в национальном доходе, долю, которая сейчас ниже, чем во всех развитых странах мира, в том числе в большинстве социалистических стран. Вместе с тем для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос советских людей в высококачественных товарах и услугах и создать эффективную систему их распределения, потребуется радикальная реформа всей экономики, и прежде всего хозяйственного механизма.

ЧТО ОСТАНОВИЛОСЬ В ЭПОХУ ЗАСТОЯ?

I

Бурный, критический для судеб страны период, который мы сейчас переживаем, был подготовлен предшествующей эпохой. Но эпоха застоя, как ее сегодня принято называть, сопровождалась стремительным ростом производства в ведущих отраслях промышленности при одновременном и столь же стремительном развитии самой отраслевой структуры. Десятилетия 1965–1985 гг. при всем желании трудно назвать периодом экономического застоя, этот последний термин можно отнести в основном к процессам стагнации политической жизни, чреватым омертвлением общества.

Эпоху застоя часто противопоставляют периоду реформ 1950-х годов, но они неразрывно связаны между собой. Осуществив в 1950-е годы радикальную перестройку монопольного хозяйственного механизма, сформировавшегося в сталинско-бериевский период, командно-административная система смогла, не теряя темпа, найти новые “ведомственные” формы для выполнения своих важнейших функций: отчуждения и централизованного накопления материальных и людских ресурсов, организации нарастающего инвестиционного потока в индустрию. В этой новой форме, как теперь уже всем ясно, смогла возродиться система организации общественного воспроизводства, сложившаяся еще в 1930-е годы, система, по меткому выражению В. Селюнина, “самоедской экономики”.

Вплоть до начала 1980-х годов многими разделялись иллюзии о благополучном развитии общества на такого рода экономическом базисе, что как будто бы подкреплялось рекордным производством цемента, стали, тракторов и т.п. Лишь к концу 70-х годов обозначились зловещие симптомы замедления прироста производства в фундаментальных отраслях тяжелой индустрии и кризис в капитальном строительстве; обнаружилось, что людские и природные ресурсы не безграничны. Но прежде, чем сетовать на конечность доступных ресурсов и судорожно искать выход из “застоя”, не мешало бы разобраться в том, что же все-таки остановилось?

Говоря о застое, как правило, забывают о природе соответствующих ему механизмов социального бытия, забывают, что это застой сталинизма, хотя и претерпевшего модернизацию, застой связанной с именем Сталина экономической системы. Он есть признак остановки машины сталинской индустриализации без рынка, особого парадоксального типа индустриализации, которому наше общество обязано всеми неисчислимыми жертвами, от оглашения малой доли которых содрогается ныне вся страна. И потому застой этот в определенной степени благотворен, — именно ему

мы обязаны нынешней гласностью, и не будь его, "наш паровоз" и ныне летел бы по-прежнему вперед, без остановки, не ведая, в какой пропасти остановит его смертельная преграда.

Нынешняя перестройка отнюдь не сразу, а лишь постепенно нащупывает, что же именно она должна отрицать и перестраивать. Не в последнюю очередь это связано как с противоречивостью самого явления "застоя", так и с фундаментальными закономерностями эволюционного механизма, лежащего в основе механизма индустриализации без рынка. Индустриализация без рынка — это способ решения проблем национальной модернизации путем перманентного роста монопольной тяжелой индустрии, базирующейся на нетоварных общественных укладах и использующей последние в качестве внешних ресурсов собственного развития. В этих условиях прогресс общества, выражающийся в росте монопольной индустрии, оборотной стороной имел беспрецедентный по своим социальным последствиям, мучительный процесс изживания дотоварных, несовместимых с рынком укладов и отношений старой России. Процесс исторического отрицания последних, неизбежный при любом варианте национальной модернизации, в данном случае происходил на нетоварной же, монопольной основе. Это первое "отрицание" дотоварного полупатриархального общественного уклада привело к новому, безрыночно-индустриальному состоянию общества, в котором нетоварные отношения производства и распределения оказались загнанными внутрь, но не преодоленными, сломанными, но возрождающимися вновь и вновь. Для полного изживания нетоварных, антагонистичных рынку отношений необходимо второе "отрицание" — на этот раз уже самой монополии, подавляющей рынок и постоянно воспроизводящей нетоварные, командно-административные формы общественной жизни.

Тайна и законы движения этого процесса нерыночной индустриализации, подчиняющей своим целям и логике все общество, — вот действительный ключ к пониманию российской истории XX века, но лишь в эпоху «застоя» впервые пошатнулось незыблемое ранее в общественном сознании основание той отнюдь не сказочной "скалы", в недрах которой покоится тот "сундук" с тем "ключом"...

Но "сундук" тот цел, и цела "скала", а на место старых иллюзий приходят новые... Как, к примеру, было бы хорошо, если бы этот отрезвляющий застой означал конец старой системы со всеми ее издержками, и все бы, вздохнув с облегчением, назавтра начали новую жизнь — без сталинизма, без ведомств, без поворотов рек, без бесхозяйственности и бюрократизма. Но "мертвый хватает живого" — оборотная сторона нынешней кризисной ситуации в том, что вместе с экономической системой сталинизма грозит остановиться и вся жизнь общества. Ведь мы настолько тесно все еще связаны с этой экономической системой (и заслуга перестройки в том, что она выявила эту связь), что старая система, погибая, способна утянуть за собою в пропасть все общество, и задача сейчас в том, чтобы суметь преобразовать экономическую и политическую систему сталинизма прежде, чем кризис станет летальным.

II

Решить эту главную задачу преобразования системы сталинизма нельзя без критического осмысления истории эпохи "застоя" и нераз-

равно с ней связанного периода “оттепели”. Между тем реальной, неотредактированной истории 1950 — 1980-х годов практически нет — и это при раздающихся все чаще призывах “кончать с историей”, которая якобы мешает заниматься современными проблемами. Обсуждение недавнего прошлого постоянно вертится вокруг лидеров и лиц, к ним приближенных. Разумеется, мало кто верит сейчас в “культ Хрущева” или “культ Брежнева”, но реально общественная мысль при объяснении исторических событий никак не может выйти за рамки представлений о решающей роли характера того или иного вождя, его успехов в аппаратной борьбе. Спектр объяснений причин и логики “застойной эпохи” достаточно широк, от наивных утверждений типа: “В какой-то розовый момент, когда голова слегка затуманилась от показавшегося преуспеяния, неизвестно какой бес лукаво нашептал: настал-де, Никита-свет, твой звездный час, твое исключительное предназначение. Смело бери в руки бразды — и с ветерком! Покажи всем кузькину мать. И как-то сладко поверилось в это...”¹ — до более сложных политологических конструкций: “После изъятия посреднической роли репрессивных органов в борьбе между харизматическим лидером, каковым был Хрущев, и бюрократией... эта борьба завершилась полной победой бюрократии и снятием Хрущева со всех занимаемых постов. В результате мы получили эпоху застоя, что означает эпоху тотального господства бюрократии”². Можно привести множество подобных им объяснений, имеющих широкое хождение в нашей публицистике.

Такого рода объяснения нас не удовлетворяют, так как они не затрагивают более глубокие пласты общественной жизни. По нашему мнению, для того, чтобы найти выход из тупиков сталинизма, из тупиков застоя, необходимо понять фундаментальные процессы развития общества, приведшие к переходу командно-административной системы в новую ведомственную форму, которая остается по сей день камнем преткновения для перестройки.

III

В начале 50-х годов, когда восхваления в адрес “гениального вождя и учителя” достигли апогея, в экономике страны, особенно в сельском хозяйстве, стали нарастать кризисные явления. Урожаи падали, не хватало хлеба и других видов продовольствия, уровень жизни в деревне, замученной принудительным, почти неоплачиваемым трудом, различными поборами и налогами, удушающими крестьянское личное “подсобное” хозяйство, был нищенским. Внедрение новых технологий и производств в промышленности тормозилось сверхцентрализованной системой управления и бериевской “лагерной экономикой”, рассчитанной на применение дармовой рабочей силы заключенных и, стало быть, не допускающей массового применения техники более сложной, чем лопата. Из-за использования низкопроизводительного принудительного труда все острее ощущалась нехватка сырья. Сталинско-бериевская машина “чрез-

¹ Н о с о в Е. Кострома не Айова. — В сб.: Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии. М., 1989, с. 105.

² М и г р а н я н А. Механизмы торможения в политической системе и пути его преодоления. — В сб.: Иного не дано. М., “Прогресс”, 1988, с. 107.

вычайной индустриализации", полностью уничтожившая рынок и товарно-денежные отношения вместе с крестьянскими укладами, воплощенная в системах по-военному управлявшихся главков бывшего Наркомтяжпрома и ГУЛАГа, стала входить во все большее противоречие с начавшейся в мире научно-технической революцией, с потребностями развития страны. Так, уже при реализации более сложного атомного проекта, за которую отвечал лично Берия, принятые в этой системе методы и "стимулы" регулярно не срабатывали¹.

Вскоре после смерти Сталина и ареста Берии в сентябре 1953 г. был разработан чрезвычайный план подъема аграрного (а через него и промышленного) производства. Были повышены закупочные цены на сельскохозяйственные продукты, существенно уменьшены "зверевские" (по фамилии наркома, а затем министра финансов А. Г. Зверева) податные налоги, колхозники начали получать свободу передвижения. Деревня впервые стала использовать значительные количества техники, что позволяло отчасти заменить массы людей, уходивших на заводы и стройки. Параллельно с 1954 г. началось освоение целины, множество людей со всей страны поехали распахивать и обживать миллионы гектаров степных земель. На этих землях начался бурный рост совхозов (до того сравнительно немногочисленных), своеобразно сочетавших труд раскрестьяненного земледельца и наемного рабочего. Совхозная форма организации сельскохозяйственного производства в сравнении с колхозной, основанной на простой кооперации распыленных прежде по индивидуальным хозяйствам производителей и средств производства (когда эффект кооперации непосредственно порождает крупное производство), означала переход к новой фазе аграрной политики.

Наращивание и даже поддержание производства сельхозпродукции на прежнем уровне отныне требовало все возрастающих инвестиций, капиталовложений. Но в то же время крупная индустрия перестала нуждаться в сохранении старого крестьянского сельскохозяйственного уклада, ощутила себя "свободной" от забот о его сохранении, выйдя на простор "целинных и залежных земель", т.е. на простор лишенного каких-либо корней агропроизводства. Судьба старой крестьянской деревни была тем самым предрешена.

В результате этих предпринятых с конца 1953 г. срочных "антикризисных" мер (которые, в свою очередь, стали возможными лишь в результате изменений в системе управления) сельскохозяйственное производство начало расти, позволяя высвобождать значительные людские ресурсы. Росла и крупная промышленность, расширяясь за счет прилива новой рабочей силы из деревни² и некоторого технического перевооружения, проводившегося в первую очередь на вновь строившихся и расширявшихся предприятиях. Крупная индустрия получила новый им-

¹ См., например: Ядерный след. — *Правда*, 25.07.1989.

² Если за десятилетие с 1940 по 1950 г. численность рабочих и служащих в промышленности возросла в 1,17 раза (с 13,08 млн. до 15,32 млн. человек), то за десятилетие с 1950 по 1960 г. она возросла почти в полтора раза (с 15,32 млн. до 22,29 млн. человек). Такой же бурный экспоненциальный рост (почти в полтора раза за десятилетие) происходил и в 1960–1970 гг., когда численность рабочих и служащих в промышленности возросла с 22,29 млн. до 31,59 млн. человек. Только в 1970-е годы рост численности занятых в промышленности резко замедлился, составив в 1980 г. 36,89 млн. человек. См. *Народное хозяйство СССР в 1985 г.* М., 1986, с. 391.

пульс и ресурсы для движения на восток страны — в Сибирь, Казахстан и другие районы. Вновь воспроизвелся (в несколько модифицированном виде) исконный российский способ разрешения противоречий внутреннего развития — за счет внешней аграрной и позднее индустриальной колонизации. Такой способ выхода из кризиса определил и пути дальнейшего развития.

Столь быстрый “успех” мер довольно ограниченных, но обеспечивших высвобождение значительных людских ресурсов, освоение не менее значительных природных ресурсов новых районов и бурный рост экстенсивных экономических показателей полностью уничтожил все робкие, возникшие в годы кризиса 1953–1954 гг. попытки использовать отдельные элементы товарно-денежных отношений в деревне и городе. Этим и объясняется “неожиданный” резкий поворот уже с 1957–1958 гг. вновь к командным формам управления в промышленности и сельском хозяйстве, дополняемым “грандиозными” идеологическими кампаниями и программами. Такое неоднократно происходило в нашей истории: вызванный кризисом политики и экономики “военного коммунизма” нэп, использовавший товарно-денежные рычаги, был вскоре сметен начавшимся форсированным развертыванием крупной индустрии, ликвидировавшим все рыночные элементы и отношения; так было и в конце 50-х годов, так было и позднее, в конце 60-х годов, когда после кризиса 1962–1965 гг. очередные попытки внедрить элементы товарно-денежных отношений в качестве механизмов экономики кризисного периода были в очередной раз отброшены, как только кризис смягчился благодаря вовлечению последних ресурсов экстенсивного развития. Все эти краткие периоды “оживления”, точнее, гальванизации отдельных элементов товарно-денежных отношений в период кризисов с одной стороны, облегчали выход из очередного тупика командно-административной системы, а с другой — готовили свое собственное, все более радикальное уничтожение, поскольку выход из кризиса всякий раз осуществлялся путем поглощения нерыночной индустриальной системой все новых (а с конца 1960-х годов — последних) ресурсов деревни и приводил к еще большему усилению мощи командно-административной монополии.

В результате вовлечения новых значительных ресурсов в конце 1950-х годов модернизированная сталинская командно-административная система вновь восторжествовала. Установка на увеличение производства товаров массового потребления, заявленная в 1953 г., была заменена переориентацией капиталовложений в отрасли тяжелой индустрии и воскрешением догмата о преимущественном росте первого подразделения (если даже в предвоенном 1940 г. доля производства средств производства составляла только 61,0%, то в 1960 г. уже 72,5%¹). Как и в годы “великого перелома” 1928–1929 гг., выход командно-административной монополии из кризиса сопровождался появлением у нее “монопольного аппетита”, который диктует своего рода железный закон такого рода экономической системы — закон возрастающего использования имеющейся рабочей силы и природных ресурсов для собственного монопольного производственного накопления в ущерб потреблению населения. К 1957 г. рост оплаты труда колхозников остановился, новый порядок планирования для колхозов был забыт, началась эффективная борьба

¹ *Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986, с. 96.*

ба против личных приусадебных участков, запретили держать личный скот. Правда, слишком резкий поворот в сторону удушения всякой самостоятельности крестьянства вскоре привел к новому продовольственному кризису начала 1960-х годов, но эти же меры первоначально ускорили приток новых рабочих рук из деревни, способствовали росту индустрии на экстенсивной основе.

Поэтому одним из главных вопросов конца 1950-х — середины 1960-х годов стал вопрос о преобразовании и совершенствовании организации монопольной крупной промышленности для расширения ее возможностей по освоению новых ресурсов, о создании новых форм централизованного накопления и дифференциации все возрастающего потока капиталовложений. Сформировавшийся к началу 1930-х годов сверхцентрализованный аппарат Наркомтяжпрома, разделившийся затем на несколько наркоматов (министерств), по своей сути представлял собой орган чрезвычайного, военного управления промышленностью и столь же чрезвычайного, приспособленного для условий войны сверхцентрализованного распоряжения всеми ресурсами страны, прежде всего людскими.

Но по мере роста и неизбежного усложнения структуры промышленности сверхцентрализованный аппарат управления все более ограничивал развитие крупной индустрии и всего хозяйства, нарастала необходимость перехода от форм чрезвычайных к формам более приспособленным к длительному развитию в новых условиях¹. Подчеркнем еще раз, что в 1950 — 1960-х годах реально речь шла не о радикальном преобразовании сталинской командно-административной системы, не о развитии рынка, а именно о ее совершенствовании и модернизации в рамках единой хозяйственной монополии, об отыскании "скрытых резервов" этой системы; на это и были направлены реформы 1950 — 1960-х годов, сопровождавшиеся потоком звучных лозунгов, призывов и обещаний.

Первоначальная попытка дифференциации сверхцентрализованной системы путем создания совнархозов, предпринятая Хрущевым при одобрении возглавлявшегося им партийного аппарата ("Идея совнархозов, непопулярная среди министров, показалась весьма привлекательной для секретарей обкомов и ЦК компартий, которые становились менее зависимыми от Москвы"¹), заведомо носила характер переходной, чрезвычайной меры, так как вопиюще не сочеталась с существовавшей командно-административной системой отчуждения — распределения продуктов и потому вызывала резонную критику со стороны многих старых "сталинских" хозяйственников и крупных руководителей. Однако создание совнархозов оказалось в то же время необходимым и единственно доступным "новым силам" средством слома старого сверхцентрализованного аппарата управления экономикой.

Это первое "отрицание" породило маложизнеспособную экономическую структуру, но выполнило важнейшую политическую задачу — сверг-

¹ История убедительно свидетельствует, что милитаризация экономики может быть эффективным орудием решения лишь ограниченных, локализованных во времени задач национального развития, но стратегически такой способ экономической организации лишь истощает силы нации, толкая ее на путь самоизоляции, бескомпромиссного противостояния все новым и новым силам "враждебного окружения", а в перспективе — всего окружающего мира. За такой путь решения проблем всегда приходится дорого платить.

² М е д в е д е в Р. Н. С. Хрущев. — *Дружба народов*, 1989, № 8, с. 167.

ло прежний постсталинский Президиум ЦК, сплотило “новых людей” в ЦК — будущих “творцов застоя”, практически сформировало будущее ядро брежневского руководства (сам Брежнев вошел в Президиум ЦК в ходе июльского (1957 г.) Пленума, а кандидатами в члены Президиума ЦК стали А. Косыгин, А. Кириленко, К. Мазуров; М. Суслов стал членом Президиума ранее, в 1956 г., после XX съезда КПСС). Второе “отрицание”, своего рода “отрицание отрицания” в 1964—1965 гг. свергло Н. С. Хрущева, привычка которого к единовластию была сильнейшей угрозой новому “коллективному руководству”, а вместе с ним и все переходные экономические структуры, которые выполнили свою функцию “расчистки старых завалов”.

Поворот в октябре 1964 г. означал в экономическом плане не только отрицание, но и своеобразное продолжение процессов и реформ “славного десятилетия” 1953—1964 гг. Реформа 1965—1968 гг. завершила переход к министерско-ведомственной форме организации промышленности, вывела его на “ведомственный” простор, открывший поистине неограниченные возможности для экспансии крупной индустрии, после чего “эра реформ” закончилась. “Самостоятельность” в осуществлении капиталовложений раскрепостила возможности отдельных ведомств, обеспечив им хозяйственную независимость друг от друга. Тем самым был усовершенствован механизм роста в условиях монополии и обеспечена дополнительная эмансипация партийного аппарата от непосредственной хозяйственной ответственности при сохранении за ним полномочия и права определения хозяйственной политики.

На протяжении второй половины 60-х, 70-х и начала 80-х годов отраслевые министерства и ведомства росли как грибы после дождя: если в 1954 г. насчитывалось всего 28 центральных (общесоюзных и союзно-республиканских) отраслевых министерств и три государственных комитета, а в начале 1960-х годов их число сократилось примерно до двух десятков, то в 1974 г. было 44 центральных отраслевых министерства и почти два десятка государственных комитетов, а к началу 1980-х годов число центральных ведомств приблизилось уже к сотне (не считая почти 800 республиканских министерств и ведомств). В основе всего экономического и социального развития после 1965 г. лежал нехитрый “эволюционный цикл”: выделение (дифференциация) капиталовложений из централизованного казенного “пирога” для новой отрасли или сферы производства — создание нового министерства (ведомства) — освоение “выбитых” капиталовложений путем концентрации новых огромных людских и материальных ресурсов для строительства новых гигантских заводов, комбинатов, электростанций, водохранилищ и т.п. — разработка и осуществление новых, все более дорогостоящих и хищнических “проектов века” с целью получения новых вложений и средств из того же “пирога”. Остановить этот процесс могло бы только исчерпание основных доступных системе человеческих и природных ресурсов. Отсутствие рынка, т.е. внутреннего органического механизма саморазвития, обрекало ведомства на непрерывную погоню за внешними, не воспроизводимыми самой системой ресурсами, на покорение внешних пространств, богатств и... столь же внешних для экономической системы технологий.

Единственным реальным результатом провозглашенной в 1965 г. экономической реформы (кроме торжества министерско-ведомственной

монополии) стали некоторые меры, способствовавшие временному оживлению аграрного сектора, развитию совхозной формы сельскохозяйственного производства. Так, производство мяса увеличилось с 8,3 млн. т в 1964 г. до 12,3 млн. т в 1970 г. В остальном реформа вылилась прежде всего в многочисленные разговоры о реформе. После 1970 г. все эксперименты по использованию отдельных элементов товарно-денежных отношений тихо, но планомерно удушались в объятиях ведомств. Постепенно прекратились даже и разговоры об экономической реформе, страна вступила вдруг в "развитой социализм", означавший развитую командно-административную систему нового поколения и развитую монополию ведомств.

На чем же базировался бурный рост "ведомственной" экономики? Если в 1930 — 1940-е годы основой "накопления", главным объектом отчуждения ресурсов был аграрный сектор (российская деревня в широком смысле), то теперь таким источником — наряду с доедаемой деревней — стали прежде всего природные ресурсы страны. За исторически кратчайший период оказались поглощены гигантские нефтяные, газовые, рудные и другие запасы многочисленных месторождений, сведены гигантские лесные массивы, затоплены огромные районы, созданы многочисленные гидроэнергетические каскады и гидросистемы, разрушающие экологию целых регионов, сформировались "колоссы", подобные Минводхозу или Минатомэнерго, масштабы деятельности которых сопоставимы с геологическими сдвигами, происходящими в течение сотен тысяч и миллионов лет. Мощь ведомств выплескивалась за границы районов, областей, республик и даже государств; на протяжении 1960 — 1970-х годов одни и те же ведомства перекрывали реки, строили металлургические комбинаты, другие гигантские предприятия и у себя в стране, и за рубежом, в социалистических и развивающихся странах. Кажущаяся эффективность деятельности ведомственных колоссов основывалась на предоставляемой им государством монополией бесконтрольного и почти бесплатного использования, а по сути — невосполнимого истребления лесных, водных и сырьевых богатств огромной страны.

Да и "людские" богатства обходились ведомственной экономике недорого. Лишь немногим более 20% произведенной продукции шло на потребление. Доля производства средств производства, несмотря на все обещания и заклинания, не только не уменьшалась, но напротив, продолжала неуклонно возрастать (с 72,5% в 1960 г. до 74,8% в 1985 г.¹), а доля потребительских товаров — неуклонно падать. В 1965—1985 гг. было добыто больше топлива, выплавлено больше стали и произведено больше цемента, чем за всю предыдущую историю страны, а уровень жизни людей возрос незначительно. Так, производство молока на душу населения увеличилось с 327 кг в 1966 г. всего до 357 кг в 1985 г., производство мяса на душу населения — с 47 кг в 1966 г. до 62 кг в 1985 г., производство зерна на душу населения не увеличилось, а упало с 737 кг в 1966 г. до 694 кг в 1985 г., урожайность зерновых культур практически не изменилась (рассчитано по официальным данным²) — и это при том, что во всех развитых странах именно за эти годы названные показатели

¹ Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986, с. 96.

² Народное хозяйство СССР в 1966 г. М., 1967; Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986.

резко возросли. В то же время в 1985 г. СССР производил нефти в 1,36 раза больше, чем США, газа в 1,24, чугуна в 2,48, стали в 1,91, железной руды в 4,74 (!), минеральных удобрений в 1,58, тракторов в 4,63 (!), цемента в 1,70 хлопчатобумажных тканей в 2,26, шерстяных тканей в 4,44 (!), сахарной свеклы в 4,02 раза...¹ При отсутствии рынка и диктате производителя рост объемов вел к снижению качества и усилению дефицита.

Все ярче вырисовывался парадокс: сверхмощная индустриальная система работает всюю, часто — на пределе возможностей, разрастаясь в сказочных размерах, и вместе с тем она работает в значительной и все возрастающей степени вхолостую (с нормальной, человеческой точки зрения), точнее, для загрузки и воспроизводства себя самой, по многу раз перерабатывая металл и другие материалы, чтобы произвести некачественные, негодные, не пользующиеся спросом (но одобренные планом), а иногда и просто вредные продукты. И все это при постоянной нехватке рабочей силы, угля, нефти, металла, воды, энергии и т.п. Этот парадокс "дефицита в условиях изобилия" стал неотъемлемой чертой ведомственной монопольной экономики, следствием основного механизма непрерывной экспансии индустрии во все новые и новые "неосвоенные" районы, из-за чего развитой рынок в "центре", в уже освоенных областях сложиться не может.

IV

Индустриальный рост 1950 — 1970-х годов привел к огромным социальным сдвигам, перемещению масс людей из деревни в город, из сельского хозяйства в промышленность, с запада на восток, к изменению навыков, потребностей, привычек и всего жизненного уклада многих миллионов. У подавляющего большинства были разорваны связи с землей, с полунатуральным хозяйством, с сохранившейся, хотя и сильно модифицированной колхозом, деревенской общиной². Однако эта дена-

¹ *Народное хозяйство СССР в 1985 г.* М., 1986, с. 594—596.

² Залогом успешной реализации задачи управляемой денатурализации и был процесс преобразования общины, начатый в ходе крестьянской реформы 1860-х годов и завершившийся в период коллективизации начала 1930-х. Колхоз "сталинского" образца — совершенный продукт хозяйствования монопольной индустрии в сфере агропроизводства — стал вершиной и конечным пунктом эволюции российской крестьянской общины. В новых условиях конца XIX в., условиях приоритета развития индустрии в сфере государственных интересов, в считанные годы вызрел невиданный доселе кризис общинно-помещичьего замлеустройства, обозначенный революцией 1905 г. Порожденные этим кризисом волны разложения и нового возрождения общины сотрясли российское общество в течение трех первых десятилетий XX в. (стольпинская аграрная реформа, новое поравнение и переделы земель в ходе аграрных преобразований 1917—1918 гг., новый кризис и стремительная деградация производительных сил деревни как итог политики "военного коммунизма" и продразверстки и, наконец, НЭП, возврат к индивидуальному денежному обложению крестьянских хозяйств, подавление механизмов круговой поруки и переделов земель). НЭП, казалось бы, повторял сюжеты стольпинских аграрных преобразований; до предела и во многом искусственно, за счет постоянно увеличивавшейся в конце 1920-х годов крутизны прогрессии налогообложения, форсировалась дифференциация крестьянства, что размывало основы старой общины. Но в новых условиях монопольно контролируемого рынка и неизмеримо усилившейся государственной хозяйственной монополии в сфере обраще-

турализация по самой своей сути не означала развития рынка и рыночных отношений. Вместо рынка формировался иной способ общественной связи производителя и потребителя — укреплялась монопольно-государственная система отчуждения и распределения продуктов, ставшая, как никогда прежде, могущественной и всеобъемлющей. Натуральные уклады и остатки натурального хозяйства были сломаны, но взамен ничего, кроме системы внерыночного отчуждения — распределения, не создано. Условия, при которых происходил слом натурального хозяйства, характер имеющейся системы общественных связей, системы перераспределения национального продукта, — определили результаты процесса денатурализации и те конкретные общественные формы, в которые суждено было воплотиться массам денатурализованных производителей.

Сталинская эпоха оставила в наследство обществу тотального отчуждения производителя от собственности, общество, каждый член которого — “денатурализованный” производитель (будь то рабочий, колхозник, служащий, интеллигент) — превращался в винтик огромного казенно-государственного механизма и в этом смысле переставал быть имеющим свое лицо производителем. Собственная производительная сила оказалась отчужденной от него и воплощенной во всеилии государства. Тем самым государство выступало единым всеобщим производителем, обрекая подвластного ему человека на печальную участь не имеющего производственных интересов “нахлебника” — потребителя. Основанное на такого рода разрешении вопроса о собственности всеобщее равенство в нищете и бесправии, дополняемое ведомственно-мафиозным неравенством в сфере распределения, лишало человека стимулов к труду, вело к новым пароксизмам процесса люмпенизации значительных слоев населения.

Одна из основных проблем, наследуемых нами у периода “застоя”, заключается в том, что большинство видело и продолжает видеть выход из этой катастрофической “потенциальной ямы” денатурализации в возвращении к прошлому, к натуральному крестьянскому хозяйству, к “справедливой” жесткой командно-административной системе, к обожествляемой “сильной руке” и т.п., — между тем как такой возврат невозможен или ведет в тупик. Назад дороги нет, но для движения вперед нужны новые социальные структуры и новая интеграция интересов, которые пока что не сформировались.

ния и промышленного производства стихия социального действия, разбухшая этой разрушительной для крестьянского общества дифференциацией, была направлена в русло формирования общины “нового типа”, благодаря чему радикальное преобразование общины завершается к началу 1930-х годов созданием новой единой формы натурального накопления, т. е. вовлечения ресурсов докапиталистических укладов в процесс индустриального развития. Эта новая форма — колхозы образца 1930-х годов — воспроизводила общинное землепользование, но лишено всяких признаков индивидуального хозяйствования и потому позволяла в неслыханных ранее и ничем не ограниченных размерах увеличивать долю отчуждаемого продукта. Тем самым сама жизнедеятельность этой “новой общины” сводилась к саморазрушению, к разрушению своей собственной натуральной основы. Сами колхозы и стали мощнейшим инструментом денатурализации общества, важнейшим безвозмездно поглощаемым ресурсом индустриализации.

Между тем начиная с 1940 – 1950-х годов в мире стремительно разворачивалась научно-техническая революция, которая не могла не оказать воздействия на развитие страны. Но воздействие это в течение долгого времени было своеобразным: всеобъемлющая монополия в форме ведомств сумела на какое-то время подчинить научно-техническую революцию целям собственного развития. Уникальность ситуации 1950 – 1960-х годов заключалась в том, что огромная держава вступила в эпоху НТР в состоянии продолжающейся (и потенциально бесконечной, вплоть до полного исчерпания всех доступных ресурсов) индустриализации без рынка, т.е. развития крупной индустрии, не сопровождающегося созданием рыночных – экономических, политических, правовых и иных механизмов, обеспечивающих самоизменение, регуляцию развития, переход к оптимальным методам развития производства через непрерывное повышение производительности труда. Отсюда неизбежна тенденция к овладению отдельными, частичными результатами НТР, новыми технологиями и материалами путем встраивания их в старый механизм – сочетая автоматизированные линии и массы ручного труда, атомные реакторы и подготовительные работы к их монтажу методами “народной стройки” – т.е. без радикального изменения самого экономического и политического механизма, без действительного овладения содержанием и сутью НТР.

Более того, достижения НТР, новые технологии вместо того, чтобы изменить сам механизм безрыночной индустриализации, как бы продлили ему жизнь, дав новый импульс и средства для продолжения экспансии в новые малоосвоенные районы. Сокращались запасы нефти, но благодаря успехам трубопрокатных и турбокомпрессорных технологий системе стали доступны гигантские “природные кладовые” газа; стало затруднительным интенсивно разрабатывать подземные угольные пласты – гигантские роторные экскаваторы позволили десятками миллионов тонн извлекать бурые угли открытым способом; возникли затруднения в освоении засушливых земель – мощнейшая техника Минводхоза поставила на повестку дня рукотворные геологические преобразования; в огромных масштабах терялась и неэффективно использовалась вырабатываемая энергия – начался бурный рост атомной энергетики, несмотря на риск и потерю энергии в еще больших, поистине космических масштабах...¹ Такой своеобразный симбиоз индустриализации без рынка и новых технологий эпохи НТР способствовал сверхускоренному, хищническому и необратимому истреблению богатейших ресурсов и привел в итоге к беспрецедентному явлению, охватившему все сферы общественной жизни – структурному застою в эпоху НТР. Важную роль в этом “застое в условиях бурного роста” сыграли и процессы на мировом рынке, приведшие в начале 1970-х годов к резкому повышению цен на нефть и другое сырье, что создало видимость значительного роста экспорта из СССР.

Но с начала 1980-х годов, когда в мире развернулся принципиально новый этап “зрелой” НТР, вызывающий радикальные перемены всех сторон жизни общества и всего мирового хозяйства, скрытые до поры до

¹ В настоящее время потери энергии из-за несовершенства технологии в одной только черной металлургии превосходят всю энергию, вырабатываемую на всех атомных электростанциях страны.

времени тупики модернизированной сталинской системы индустриализации резко обнажились. С этим бурным и глубоким обновлением мирового хозяйства связана резкость и неожиданность перехода: еще в 1970-х годах была видимость развитого современного государства, а в 1980-х "вдруг", "неожиданно" стало явным отсутствие развитого внутреннего рынка, отсутствие правовых гарантий для производителя и гражданина, отсутствие в стране динамичных механизмов экономического и политического регулирования, — отсутствие основных необходимейших социальных институтов, без которых в эпоху НТР не может развиваться ни одно государство мира. Кризисная ситуация, которую мы сейчас переживаем, существенно отличается от кризиса начала 1950-х годов, из которого удалось быстро выйти именно потому, что им не была затронута сама экономическая основа сталинизма — индустриализация без рынка.

Глубина и драматизм нынешней кризисной ситуации связаны с тем, что и опыт, накопленный величайшей ценою и большой кровью в процессе этой индустриализации, и венчающие ее структуры хозяйствования — все эти монопольные министерства, главки, ведомства, объединения — выявляют свою вопиющую несовместимость с задачами не только современного национального развития, но даже — национального выживания. Только благодаря глубине кризиса ныне встает, наконец, вопрос о переходе к рыночным и правовым формам регулирования общественного производства, о путях включения национального хозяйства на этой основе в мировое сообщество.

Решение этих ключевых и самых трудных проблем перестройки неизбежно связано с глубоким противоречием: дальнейшее развитие без действительных и действенных рыночных и правовых механизмов происходить не может, и вместе с тем их быстрое "введение" столь же невозможно — слишком многие предпосылки для того и другого отсутствуют. И, более того, стремление к их скорейшему введению и декретированию вновь и вновь реанимирует надежды на необходимость и спасительность командно-административных мер по "осуществлению перестройки".

Выход из этого глубочайшего противоречия может заключаться только в сложном, длительном, многоэтапном процессе перехода от нерыночной монополии к рынку и рыночным структурам, от господства ведомственного, кланового и телефонного "права" к реальному правовому государству. По самой своей сути этот сложный, многофазный процесс не может не быть болезненным, зигзагообразным, рождающим новые кризисы и противоречия, многие из которых уже видны. Рождение рынка всегда и во всех странах происходило в муках, однако в современных условиях развивающейся НТР образование рынка неизбежно модифицируется и происходит по-новому, — хотя предстоящее ускоренное изживание мощных нерыночных, нетоварных структур будет трудным, конфликтным, чреватым новым возрождением монополии в экономике и политике. Иллюзии о спокойном, плавном переходе к рынку, происходящем согласно указаниям начальства или согласно очередному "научно разработанному" социальному проекту "введения" рынка, с исторической точки зрения неуместны.

Поэтому, прежде чем рассматривать возможные варианты преодоления кризиса, пути возможного продвижения страны к рынку, необходимо еще раз отчетливо понять, что именно нуждается в изменении, что сохранялось в неизменном виде на протяжении всей безрыночной индуст-

риализации, несмотря на все модернизации, что продолжает существовать сейчас и без преодоления чего невозможно подлинное освобождение от командно-административной системы как основы нашего общества.

VI

Уникальный российский вариант модернизации — “индустриализация без рынка” — это индустриализация на основе докапиталистической, нетоварной системы общественного воспроизводства, не приемлющей рынок и связанные с ним отношения. Возникший в конце XIX в. государственно-индустриальный комплекс, основанный на сочетании централизованного государственного принудительного производства прибавочного продукта и использовании новейших концентрированных форм крупной промышленности, быстро вырос в эмансипированную от рынка монопольную силу российского развития. С развитием этого комплекса, стремившегося к форсированной индустриализации, не считаясь ни с какими жертвами, связана была тенденция к усилению тоталитарного государственного режима, удушению демократических, рыночных форм общественной жизни, расширению практики силового удержания раздрающих общество противоречий. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в эпоху сталинизма.

Только нынешний глубокий кризис, венчающий эпоху “застоя” и шире — целый период индустриализации без рынка, выдвигает в качестве безотлагательной задачи осознание обществом жесткой логики движения этой индустриальной системы. Игнорировать эту существующую и поныне систему, не учитывать логику ее развития, как это часто делается, ошибочно и опасно для будущего.

“Застой” — это итог и апофеоз длительной эволюции особой нетоварной системы российской индустриализации, начавшей формироваться задолго до 1917 г. Вот основные этапы эволюции этого механизма “от зарождения до вырождения”. На первом этапе (1880-е — 1917 г.) в условиях неразвитости рыночных отношений в аграрной сфере, слабости самостоятельного предпринимательского слоя в промышленности и торговле роль “субъекта” индустриализации взяло на себя самодержавное государство. Под его эгидой выросли крупные казенные военные заводы, невиданный размах приобрело железнодорожное строительство, при непосредственном участии государства возникла мощная металлургическая и топливная промышленность, образовались синдикаты и тресты, ставшие основой для развития и организации всей индустрии после революции. Тем самым сформировались предпосылки будущей единой народохозяйственной монополии, механизмы разложения старой социальной структуры, включающей сословную монархию, крестьянскую общину и мелкотоварных производителей. Второй этап (1917—1953 гг.) через революцию и войны привел к осуществлению чрезвычайной индустриализации в чрезвычайных условиях. В ходе “военного коммунизма”, гражданской войны и, наконец, в ходе ликвидации нэпа сформировались механизмы и методы форсированного роста крупной тяжелой индустрии за счет раскрестьянивания, репрессий, “лагерной экономики”, уничтожения старой России. Возникла единая сверхцентрализованная система всеобщего, вплоть до мелочей, планирования, система командной экономи-

ки, система главков Наркомтяжпрома, ГУЛАГа. Третий этап (1953–1989 гг.) — этап истощения возможностей и ресурсов такого чрезвычайного безрыночного развития. Бурно растет и немислимо усложняется ведомственная структура, нацеленная на более тщательный, дифференцированный поиск еще не освоенных и не задействованных ресурсов. На этом этапе развития командно-административная монополия дошла до наиболее хищнических, расточительных форм хозяйствования, не только не совместимых с НТР, но и подрывающих основу своего будущего существования. Продолжение такого развития ведет в тупик.

Это переломный момент отечественной истории. Впервые в рамках самой нетоварной экономической системы возникает потребность в демомонополизации, в создании настоящих основ настоящего рынка. Но здесь-то и выясняется, что путь к созданию рынка и соответствующего ему правового государства долг и тяжел, и сегодняшняя кризисная, критическая ситуация — это во многом расплата за десятилетия хозяйничанья командной монополистической системы, планомерно уничтожавшей все зародыши и элементы рынка, права, производительного труда. Слишком эффективными оказались механизмы монопольного подавления всех форм экономической конкуренции, предприимчивости, рыночной интеграции индивидуальных интересов. Неудивительно, что в условиях сохраняющегося господства ведомственной монополии, в условиях, когда все формы жизнедеятельности и жизнеобеспечения общества замкнуты на монопольные механизмы хозяйствования, попытки перейти к рынку, не создав основных предпосылок для него (включающих надежные правовые гарантии экономической деятельности, децентрализацию собственности, нормальную кредитно-финансовую, банковскую систему) ведут к угрозе экономического развала. Противоречие нынешнего момента в том, что так, как прежде, страна жить уже не может, но и вне прежних форм она пока еще не проживет. Нужен еще один, четвертый этап — этап создания предпосылок для рынка и саморазрушения нетоварных монопольных механизмов.

VII

Что же дальше? Конец старого развития и начало нового? Каковы перспективы и где же рецепты преодоления тяжелого наследия не только “застоя”, но и целой длительной полосы развития, связанной с “индустриализацией без рынка”?

Проведенный выше анализ показывает, что первоочередными являются две важные задачи, решение которых требует радикальных преобразований: во-первых, резкое изменение сложившихся абсурдных пропорций в распределении национального дохода, производстве средств производства и предметов потребления; во-вторых, дифференциация собственности, освобождение государства от абсолютной монополии на средства производства и все произведенное для эффективного взаимодействия с мировым рынком.

Важность решения первой задачи связана с тем, что “железным” законом всего развития монополистического механизма, его главной силой и главной слабостью является ничем, в силу монопольности, не сдерживаемое стремление к сверхвысокой норме накопления, которая

становится самоцелью. В настоящее время эта норма, по весьма умеренным оценкам В. Селюнина¹, составляет никак не менее 35—40% (т.е. 35—40% всего национального дохода идет на накопление). Это неизбежно означает огромные централизованно планируемые принудительные вложения средств ведомствами в неэффективно функционирующий (а то и вовсе не функционирующий, мертвый) "основной капитал". В действительности же это не капитал, не накопленный производительный труд, так как он не работает на рынок, не удовлетворяет спрос, а в огромной степени работает сам на себя, на возрастание мощи командно-административной системы, перемалывающей все новые и новые ресурсы. Это же свойство "удушения потребителя" проявляется еще нагляднее в структуре промышленного производства. С конца 1920-х годов и до самого последнего времени происходит неуклонное опережение прироста средств производства (группа "А") в сравнении с приростом производства предметов потребления (группа "Б"). Итоги пройденного пути разительны: 1928 г. — доля группы "Б" — 60,5% всей продукции, доля группы "А" — 39,5%; 1986 г. — доля группы "Б" — 24,7% всей продукции, доля группы "А" — 75,3%!² Ненасытное стремление монопольного механизма к принудительному ограничению потребления и замораживанию реального уровня жизни населения порождает лишь нищету, уничтожение стимулов к труду, деградацию производителя. Без резкого повышения нормы потребления и соответствующего радикального изменения потребительских стандартов, без значительного повышения доли товаров группы "Б" в общем выпуске продукции (с нынешних 20—25% до 40—50%) ни о каком развитии рынка речи быть не может. "Именно в сдвиге в сторону потребления, а не обязательно во вздувании темпов роста таятся главные резервы повышения жизненного уровня"³.

Преобразования, связанные с решением второй задачи, еще масштабнее и сложнее, но реальное развитие уже подходит к ним. Как показывает опыт всех стран, для создания рынка и нормальных рыночных отношений нет другого пути, кроме прямого взаимодействия с высокоразвитой мировой рыночной системой, создания непосредственных и тесных связей с международным рынком капиталов, прямых связей предприятий с зарубежными фирмами. При этом речь идет не о допущении всех иностранных фирм на внутренний рынок, который практически отсутствует, а о дифференциации государственных предприятий по отношению к мировому рынку и тем самым о дифференциации собственности внутри страны.

Те отдельные государственные или кооперативные предприятия, которые уже сейчас или в ближайшем будущем способны производить продукцию, имеющую сбыт на мировом рынке, могут за счет этого эмансипироваться от непосредственной государственной — в лице министерств и ведомств — опеки и стать материально ответственными за свою деятельность на мировом рынке. Полученные же средства могут использоваться ими для развития собственного производства и торговли с другими предприятиями на внутреннем рынке по договорным ценам. Иными словами, мировой рынок и будет тем ферментом, который обеспечит

¹ С е л ю н и н В. Реванш бюрократии. — В сб.: Иного не дано. М., 1988, с.194.

² Там же, с. 195.

³ Там же.

осуществление процесса дифференциации собственности и частичного разложения монополии, который внесет столь недостающий элемент конкуренции в наше экономическое бытие. Единственным недостающим условием такой эмансипации представляется создание ответственного государственного финансового органа (банка), обеспечивающего контроль за финансовой состоятельностью этих агентов рынка.

Результатом освобождения конкурентоспособных предприятий от опеки государства станет новая ситуация, внутренне противоречивая, но конструктивная и не столь "самоедская", не столь разрушительная для всего общества, как сейчас. В основе новой экономической реальности будет лежать сочетание трех секторов производства и, соответственно, консенсус трех механизмов хозяйственного управления: "командно-административного", охватывающего сферу государственных предприятий, работающих на контролируемый государством спрос и использующих в качестве средства обращения внутренний рубль; рыночного, ориентированного на внешний рынок, а точнее на рынок конвертируемых валют, агентами которого могут выступать представители всех секторов экономики, включая и государственный, при одном условии — способности производить продукцию, пользующуюся на этом рынке спросом; и третьего — предприятия, работающие по договорным ценам, — промежуточного между первыми двумя секторами и связывающего их, обеспечивающего регулирование деятельности ориентированных на удовлетворение внутренних потребностей производителей, не принадлежащих командно-административному сектору.

Посредническая и связующая роль производителей последнего сектора основана в первую очередь на том, что он сочетается с государственными монопольными органами управления, поддается регулированию с их стороны. Такая система противоречива, но управляема и способна к развитию, она не требует "введения" рыночных, товарно-денежных отношений там, где для этого еще не возникли условия. Смысл же такого разделения, дифференциации прежней жесткой системы — в большей гибкости, в способности осуществлять диффузию и перекачку новой технологии и навыков рыночной экономики через ее взаимодействие с мировым рынком и предприятий разных секторов друг с другом.

Прогноз дальнейшей эволюции этой переходной ситуации и связанных с этим перспектив управляемого рыночными механизмами сектора экономики — довольно сложная проблема и, во всяком случае, тема особого разговора. Это впереди, а разворачивающиеся нынешние события, вся драматическая цепь потрясений последних месяцев переломного 1989 г. со всей отчетливостью демонстрируют нам, что воплощение назревшей исторической необходимости — дело нелегкое. Они показывают, насколько тяжело даются стране самые элементарные шаги эволюции от нетоварной монополии в направлении к рынку, насколько упорно, невзирая на разрушительные для экономики страны последствия, стоит ведомственная система на защите своих исключительных, монопольных интересов потребителя бюджетных средств, насколько запущена хроническая болезнь этой ведомственной структуры — мания величия, выражающаяся, как и у Людовика XIV, принципом "Государство — это я".

В эпоху нового перелома, в эпоху кризиса старой формы монополии вновь выявляется старая нерешенная проблема — роковая неорганичность российского аграрного производства и всей системы нетоварного

производства — распределения в целом. Над богатейшей державой нависает зловещая тень дефицита самых необходимых продуктов. И снова, как на предыдущих “переломах” (1917 — и 1953 гг.), ключевым остается “аграрный вопрос” — “гвоздь русской революции”... Завершая очередной виток российской истории, мы вновь упираемся в необходимость революционной перестройки. В новых условиях итоги российской индустриализации возвращают нас к старым проблемам, как бы мстя за неоднократно повторяющиеся в ситуации кризиса попытки модернизировать общественные структуры, не покушаясь (и, более того, истово охраняя) священный принцип монополии во всех областях жизни. Сумеет ли мы, и если да, то сколь быстро и какой ценой, переступить границы этого монопольного бытия?

* * *

“Для жизни в настоящем нужно искупить прошлое, а для этого его нужно знать”, — писал А. П. Чехов. Нашему обществу нужно глубоко усвоить и понять не только уроки “застоя”, но и всего более чем 100-летнего развития индустриализации без рынка, увенчавшегося “застоем”. Искупить же прошлое можно лишь преодолев все еще сильные монопольные, недемократические механизмы общественной жизни, которые пытаются удержать нас, не давая двигаться вперед.

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СССР

То, что организованная преступность в нашей стране есть, — факт уже бесспорный и признанный на государственном уровне, в частности в постановлении Второго съезда народных депутатов “Об усилении борьбы с организованной преступностью”. Однако это вовсе не исключает, наоборот, даже предполагает дискуссии, разные теоретические и практические подходы к этой сложной социальной проблеме.

Совершенно очевидно, что должна быть единая концепция борьбы с организованной преступностью, основанная на глубоком ее изучении. К сожалению, тут нет единства, даже несмотря на достаточно аргументированный доклад на Втором съезде народных депутатов министра внутренних дел СССР В. В. Бакатина. Например, часто возникают вопросы о времени появления организованной преступности, ее понятии и отличии от аналогичного криминального феномена западных стран. Конечно, прежде чем говорить об организованной преступности, нужно представлять себе ее суть, ведь это не какая-то абстракция, а вполне конкретная и определенная деятельность человека.

Надо сказать, что унифицированного определения организованной преступности нет ни в одной стране, где она существует. Однако это не мешает там с ней достаточно эффективно бороться. Вспомним сотни арестованных в 1988–1989 гг. мафиози в Италии, десятки разоблаченных крупных гангстерских групп в США. В конечном итоге важно, какие законы и силы правопорядка используются в этой борьбе, а не дефиниции тех, кто узнает о мафии, не выходя из своего кабинета.

Итак, что мы понимаем под организованной преступностью? Мафию? Тогда что такое мафия? Кстати, этимология этого термина не ясна и по сей день. Итальянские криминологи считают, что с легкой руки одного драматурга этим термином стали обозначать тайную преступную организацию. Следовательно, мафия — это одна из форм объединения преступников. В русской криминальной лексике преступные объединения назывались группировками, шайками, сообществами, организациями и бандами. Уже сам термин “организованная преступность” предполагает такие преступления, которые носят планомерный управляемый характер. Но это — взгляд с точки зрения конкретного общественно опасного деяния. А ведь мы рассматриваем организованную преступность как социальное явление, и тут, очевидно, названных элементов будет недостаточно.

Не случайно американские специалисты считают, что организованная преступность является типом замаскированной преступности, нередко

включающей иерархическую координацию ряда лиц, связанную с планированием и использованием незаконных актов или достижением законной цели незаконными способами.

Как видим, речь идет о структуре объединения и его преступной деятельности. С учетом зарубежного опыта и обобщения нашей практики во многих регионах страны организованную преступность можно определить как *относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом (бизнесом) и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции.*

Из этого определения, не претендующего на бесспорность, вытекают четыре признака организованной преступности.

Первый признак — относительная массовость. В чем это проявляется? В докладе В. В. Бакатина говорилось о 1600 разоблаченных органами внутренних дел организованных группах. К этому мы добавим, что на 1 января 1990 г. оперативные службы милиции выявили еще 3,5 тыс. таких групп, которые объединяют в целом свыше 30 тыс. активных участников. А сколько не выявили? Ведь этот вид преступности характеризуется высокой латентностью. Например, по данным выборочных исследований, вскрывается лишь 3–4% взяточников.

Второй признак — это наличие самих объединений лиц для систематического занятия преступлениями. В этих группах наблюдается достаточно выраженная иерархия; иными словами, соподчиненность ее участников, жесткая дисциплина, основанная на устанавливаемых нормах поведения и дополненная уголовными традициями, столь характерными для преступного мира. Власть в группе концентрируется в руках одного или нескольких лидеров, а количество участников колеблется от 5 до 600 и более человек. Это как бы общее представление о преступной группе организованного типа. Вполне понятно, что группы неравнозначны по уровню организации, структуре и характеру преступной деятельности. Естественно, неодинакова и организованная преступность, тем более в масштабах такой огромной страны, как наша. Разнообразие форм способствуют экономические, этнические и географические условия. Организованная преступность не может быть одинаковой сегодня в Рязани и Ташкенте. Поэтому необходимо различать ее уровни. Их три.

Первый уровень — это устойчивые, управляемые сообщества, имеющие функциональную иерархическую структуру, но не имеющие коррумпированных связей. Кстати, большая часть групп стремится к таким контактам. Это как бы первая, примитивная ступень организованной преступности. Такие опасные группы занимаются хищениями социалистического имущества, кражами, вымогательством, мошенничеством.

Второй уровень — это то же преступное сообщество, но уже имеющее коррумпированные связи с должностными лицами. По данным проведенного исследования среди крупных расхитителей, которые возглавляли группы, 80% являлись руководителями хозяйственных предприятий и учреждений. Распространенность этого уровня достаточно большая. Каждая пятая организованная группа, разоблаченная уголовным розыском, и каждая вторая, раскрытая работниками БХСС, была связана с различными категориями должностных лиц.

Третий уровень — объединение нескольких преступных групп либо по взаимному соглашению, либо и чаще всего в процессе конкуренции

или борьбы за сферы влияния в одно сообщество. Появляется, таким образом, многозвенная система. На Западе это называется сетевой структурой организованной преступности. Именно такая структура стоит ближе всего к нынешней мафии. В таком сообществе есть и совет, возглавляемый лидером (боссом), и боевики, и общие денежные фонды, и "крыша над головой" — коррумпированные лица, и многое другое, без чего организация долго существовать не может.

Третий признак — бизнесно-экономический. Одно время западные специалисты считали это стержнем организованной преступности. И это, пожалуй, верно, так как цель систематического нарушения закона преследует именно обогащение. Все изученные нами группы создавались для систематического совершения преступлений в виде промысла и для получения крупного "дохода". Материальный ущерб, причиненный государственным организациям и отдельным гражданам одной преступной группой так называемого общеуголовного профиля, в среднем составил 20 тыс. руб. Почти половина из числа изученных групп расхитителей совершили хищения на сумму свыше 100 тыс. руб., встречались нередко и группы-"миллионеры".

Деньги тут играют двоякую роль. Значительная их часть идет на подкуп должностных лиц. В начале этого года одно из Управлений МВД СССР совместно с подразделением по борьбе с организованной преступностью Грузинской ССР разоблачило преступную группу, где разовая взятка составила около 400 тыс. руб. Причем в отличие от мафиози капиталистических стран нашим доморощенным приходится платить буквально за все — за получение помещения, сырья, оборудования, транспорта, за сбыт продукции, за неуплату налога, за свою "безработицу" и т.п. Думаю, что трудно бы пришлось "кóза нóстра", попади она в наши условия.

Таким образом, мы подошли к **четвертому** и, пожалуй, самому "тяжелому" признаку организованной преступности — коррупции государственных чиновников. Если бы не было этого позорного и крайне опасного явления, то нам бы пришлось говорить о традиционной профессиональной преступности. То, что выявлено в Узбекистане, Краснодаре, Москве и других регионах, заставляет о многом задуматься.

Надо сказать, что за годы перестройки по некоторым коррумпированным кланам был нанесен вполне ощутимый удар. К сожалению, явление это пустило настолько глубокие корни, что общество в целом вряд ли ощутило эффективность мер со стороны правоохранительных органов. Более того, в связи с явными перекосами в кооперативном движении коррупция сделала новый виток. Если кумовства лиц, живущих по принципу "ману манус лават" ("рука руку моет"), стало меньше, то подкуп процветает. Не зря же появился новый термин — "государственный рэкет". Взятки, как говорят многие из опрошенных кооператоров, не просят, а уже требуют. При этом обнаруживается взаимная тяга друг к другу как чиновников, так и уголовников. И хотя некоторые американские специалисты полагают, будто коррупция — это сопутствующий элемент организованной преступности (в причинно-следственной цепи это допустить можно), я все же возьму на себя смелость утверждать, что коррупция является одним из основных ее признаков, если последнюю рассматривать как социальное явление. (Кстати, в США по этому вопросу нет единого мнения.)

Коррупцию следует отличать от обычных взяток. Они служат лишь

средством ее достижения, в результате чего работник власти или управления начинает состоять как бы на двух службах — на официальной и у преступной организации.

Надо сказать, что на протяжении многих лет формы коррумпированных связей постоянно совершенствовались: от взятки преступники перешли к изощренному шантажу и провокациям. Например, выявлены неоднократные случаи, когда преступники разрабатывали целые операции по вовлечению нужных им лиц в преступную деятельность. Говоря о признаке коррупции как стержне организованной преступности, следует иметь в виду одну особенность. Дело в том, что не каждая группа может иметь криминальные контакты с представителями государственного аппарата. В уголовной среде есть лица, которые специализируются только на установлении таких связей. Преступные же организации через этих лиц за соответствующую плату пользуются услугами должностного функционера.

Перерожденцы от аппарата экономики и власти, предавая интересы народа, прикрывали преступников, снабжали их документами, информацией, оказывали прессинг на честных работников, разоблачавших преступные группировки. Оказались среди них и такие, кто специально пришел на работу в правоохранительные органы или органы управления для создания так называемой крыши над головой преступного клана. Особенно в этом преуспевали расхитители.

Говоря о коррупции, хотелось бы затронуть один принципиальный вопрос: кто руководит преступными группами, чиновники или профессиональные уголовники? Здесь нет единого мнения. Почему-то крупных должностных лиц, осужденных за взятки, частенько отождествляют с мафиози. Но это далеко не так. Нельзя смешивать так называемую политическую коррупцию и кумовство с традиционным понятием уголовной организации (мафией). Фактов, свидетельствующих о прямом руководстве партийных и советских работников местными преступными кланами, нами не обнаружено. Их роль была иной, они покровительствовали им через посредников, получая за это соответствующие суммы.

Из 200 лидеров организованных групп, совершавших разбой, грабежи, рэкет и мошенничество, оказалось лишь несколько человек, занимавших должности бригадира на производстве или работавших в правоохранительной системе. Некоторое исключение составили группы расхитителей. Их, как уже отмечалось, частенько возглавляли руководители предприятий и учреждений, но опять же не партийные коррумпированные функционеры.

Нередко можно слышать, что организованная преступность — явление, возродившееся в недрах застойного периода. Конечно, самое легкое объяснение — это списать ее на застой в обществе. Думается, что будет правильнее говорить не о реставрации организованной преступности, а о ее рождении в период с 1966 по 1982 г., на что, кстати, указала большая часть проинтервьюированных.

Вопрос о возникновении организованной преступности достаточно серьезен с позиций причин и опыта борьбы с ней¹. Ответа на него мы так

¹ Распространенной точкой зрения является утверждение о том, что организованная преступность в нашей стране была всегда, но мы, дескать, о ней просто не говорили.

и не нашли в архивных документах и при опросах сотрудников правоохранительных органов, работавших в 40–50-е годы. Деятельность же отделов по борьбе с бандитизмом не следует принимать в расчет, так как бандитизм в истории нашей страны — явление также самостоятельное, имеющее свои причины.

Разумеется, отрицать существование крупных шаяк преступников в дореволюционной России и в первые годы Советской власти никто не собирается. В царской России, например, были группы конокрадов, которые насчитывали до 300 человек. Они имели свои деревни, где перекрашивали лошадей, имели связи с полицией. Но это — единичные случаи, не система. Может быть, для тех времен они и являли собой нечто вроде организованной преступности. Но можно ли шайки воров и грабителей, даже отдельные факты коррупции отнести к организованной преступности, в понятие которой криминологи многих стран вкладывают совершенно определенный смысл? Очевидно, нет.

Старая организованная преступность (назовем ее так условно), которая формировалась из шаяк профессиональных уголовников, приобрела в современных социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других — с представителями государственного аппарата. После того как в газете "Известия" в статье "Коррупция", подготовленной по материалам Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, было рассказано о связи высших эшелонов власти с преступными группами, участников которых амнистировали за взятку, отрицать это попросту бессмысленно. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику. Последнее характерно именно для организованной преступности.

Чтобы иметь сравнительные данные, мы решили изучить те пресловутые шайки, которые, по мнению ряда ученых, составляли организованную преступность 40–50-х годов. Нам удалось в архиве Мосгорсуда изучить дела 40 таких шаяк, разоблаченных за период с 1946 по 1959 г. Дела до 1946 г. почему-то уничтожены. Оказалось, что мы не можем говорить вообще ни о каком сравнении по всем показателям, и в том числе по материальному ущербу. Нам попала группа из 17 человек, которая совершила серию хищений, причинив общий ущерб на сумму в 3 тыс. руб. По новому исчислению это 300 руб. Между тем начиная с 1985 г. в суд переданы десятки дел по хищениям на сумму свыше 1 млн. руб. Только хищения по хлопковым делам достигали уже нескольких миллиардов рублей. Преступные сообщества отличаются от шаяк и технической оснащённостью: до 80% их имели автомашины, оружие, бронежилеты, радиостанции производства ФРГ и Японии. Не существовали ранее и такие структуры преступных сообществ, о которых уже говорилось, и подобные уровни коррупции.

Итак, каким образом организованная преступность закрепилась в нашей стране? Известно, например, что в Италии ее движение началось свыше 150 лет назад от отрядов, занимавшихся охраной латифундистов, а затем с них же начавших брать дань. Постепенно отходя в сторону нарушения закона, их главари разрабатывали неписанный устав, регулирую-

ций отношения внутри организации, совершенствовали структуру организаций и их деятельность, завязывали контакты с представителями власти.

В США организованная преступность появилась во времена "сухого" закона и развивалась на запрещенных видах промысла. Образовывались группы (кланы), которые занимались контролем азартных игр, бизнесом на проституции. Потом появился и наркобизнес, хотя крестные отцы старой мафии не видели в нем перспективы, не без оснований полагая, что такое предпринимательство может вызвать негативный резонанс у власти и народа. К сожалению, они ошиблись, торговля наркотиками стала одним из главных направлений деятельности мафии западных стран.

В наших условиях процесс развития преступных кланов, составивших понятие организованной преступности, проходил иначе и под воздействием целого ряда социальных, экономических и правовых факторов. Но прежде чем они начали действовать, для них была создана прочная криминогенная база. Только с начала принятия нового уголовного законодательства (1960 г.) в стране осуждено 24 млн. человек, треть из которых встала на путь рецидива. Преступность в целом возросла почти в 2,5 раза, и, развиваясь, она опережает во столько же раз прирост населения. Это всего лишь данные официальной статистики. Айсберг же преступности, скрывающийся под термином "латентность", вообще не поддается измерению. Таким образом, мы постоянно имели устойчивый и довольно значительный контингент профессиональных преступников (воры, мошенники, грабители, валютчики), живущих за счет преступной деятельности.

Но не они составили базу организованной преступности. Они лишь катализировали некоторые криминогенные процессы в условиях бесхозяйственности, особенно 60-х годов, когда построение лозунгового социализма все дальше отодвигало контроль за мерой труда и потребления. Следствием этого явились сначала мелкие, затем крупные и, наконец, сверхкрупные хищения социалистического имущества. Все это приводило к расслоению общества. Появились лица и группы, сосредоточившие в своих руках огромные суммы денег и ценностей. Их куда-то нужно было вкладывать. Так начинала укрепляться криминальная часть теневой экономики. Стало возрастать коррумпирование. Дельцы окружали себя боевиками, боролись за рынки сбыта.

Вовлекая в сферу преступных сделок все больший контингент служащих, они превращали отдельные отрасли народного хозяйства в свою вотчину, в постоянный и неиссякаемый источник средств существования. По выражению А. М. Яковлева, началось стихийное и уголовно-организованное перераспределение национального дохода.¹ (Кстати, заметим, что мафия западных стран как бы обогащала казну, платя налоги от "отмываемых" сумм денег.)

С этого периода в уголовной среде прочно утверждается новая категория преступников под названием "цеховики". С целью расширения своего нелегального производства и в связи с возникшей конкуренцией они по объективным законам экономики стали объединяться в сообщества и с помощью целой системы взяток и иных противоправных средств создавать надежную защиту от социального контроля. Появились пре-

¹ См. *Коммунист*, 1987, № 8.

ступные структуры, действующие как по вертикали, так и по горизонтали.

Однако на этом не могло остановиться развитие организованной преступности. Поскольку существовала профессиональная преступность, то началось вторичное перераспределение государственных средств. Традиционная уголовная среда (блатные) в этих условиях переориентировалась, стала обворовывать и грабить тех, кто жил награбленным. Началась, как выразился один из главарей преступной организации, “экспроприация экспропрированного”. Резко возросли различные виды игорного мошенничества, похищения людей, появился рэкет в уголовной среде. Дела эти получили название беззаявочных. И действительно, потерпевшие не всегда, а точнее, очень редко были склонны обращаться в милицию и объяснять, как у них украли миллион.

Среди профессиональных преступников появились свои некоронованные короли. Они делили территории и сферы влияния, усиливали криминальный прессинг на дельцов теневой экономики. Страдали, конечно, и честные люди. Наконец, все это стало приводить к сращиванию дельцов с главарями преступных сообществ блатных. Причем этому предшествовали специальные организационные меры. Например, договоренности закреплялись на сходках лидеров уголовной среды, где присутствовали и представители экономической преступности. Дельцы обязывались выплачивать 10–15% от суммы противоправного дохода, а уголовники гарантировали им безопасность. В дальнейшем блатные стали охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами. Например, по указанию дельца Р. участниками одной из групп г. Ташкента был убит другой делец — М. И всего за 30 тыс. руб.

Организованная преступность в СССР в отличие от США — явление все же относительно молодое. Учитывая социальные особенности и эту “молодость”, она пока не имеет столь разветвленных транснациональных связей, в то время как мафия в США, Японии, Италии распространяет свое влияние на территории других стран. Правда, и у нас уже появились опасные симптомы установления связей с зарубежными уголовниками. В этих целях используются кооперативы и некоторые предприятия, которые имеют право выхода на международные торговые контакты. К тому же следует принять во внимание многих выехавших за рубеж профессиональных карманных воров, шулеров, вымогателей. Они и там создают преступные группы и, по оценкам иностранной печати, наводят ощутимый страх на население, в особенности некоторых городов Америки. Эти люди пытаются устанавливать связи с бывшими партнерами, нередко занимаясь контрабандой антиквариата.

Небезынтересно отметить, что, по оценке специалистов и ФБР, наша организованная преступность представляет тип азиатской преступности и ближе к японской мафии. А это значит, что ее структура мельче, мобильнее и опаснее тех западноевропейских, которые стремятся в легальный бизнес и это мало скрывают.

Высокая общественная опасность организованной преступности связана с посягательством на государственный аппарат, который подобно рже разъедается с помощью коррупции. Очевидно, читателю будет небылнтересно узнать, что 60% из числа опрошенных коррумпированных лиц партийно-советского аппарата, находящихся в ИТК, считают, что при-

нимаемые государством меры не приведут к нейтрализации организованной преступности, остальные 40% полагают, что мафия бессмертна. Факты показывают, что многие кооперативы, не успев встать на ноги, оказались включенными в орбиту неправомερных поборов. Уже возникли ставки за метр наемного помещения, получения разрешения или патента.

Высокая общественная опасность организованной преступности состоит и в том, что она, проникая в сферу экономики, подрывает ее изнутри, создает дефицит, а порой нарушает ритм работы отдельных хозяйственных звеньев. Ведь из 90 млрд. руб., которые, по оценкам специалистов (иногда приводятся бльшие суммы), находятся в теневой экономике, немало прилипло и к рукам организованных преступников. Есть и еще одна сторона общественной опасности — активизация уголовных элементов. Неверно думать, что организованная преступность не причиняет населению явного ущерба. В последние годы обложены данью многие категории профессиональных преступников, совершающих квартирные и карманные кражи, различные виды мошенничества, спекуляции, валютные сделки и т.д. Они платят от 10 до 30% от реальной выручки за день или за неделю. Упущенную выгоду они стараются компенсировать, и она компенсируется за счет увеличения уголовных посягательств против граждан.

Первый и второй уровни организованной преступности, как показал опрос 400 сотрудников органов внутренних дел, а также изучение многочисленных ведомственных документов, по существу, есть везде. Что касается так называемых сетевых структур преступных организаций, то они зафиксированы преимущественно в южных регионах страны, на Дальнем Востоке, в городах-гигантах. Именно такого рода мафии представляют сегодня одну из самых опасных форм организованной преступности. В них есть управляемые и управляющие блоки, своя разведка и контрразведка, финансовый орган и другие подгруппы, обеспечивающие ее деятельность. Проще говоря, речь идет об организациях, имеющих две и более ступеней управления, при котором приказ главаря доходит до исполнителя через определенные звенья.

Преступная деятельность таких сообществ весьма разнообразна — хищения государственного имущества, разбой, кражи, мошеннические операции и т.д. В последние годы, например, отмечается все большая их специализация — одни специализируются на рэжете, другие на контроле проституции и азартных игр, третьи — на занятии наркобизнесом. Такого рода объединения не статичны. Растут их потребности, а это ведет к обострению между ними борьбы, в результате чего мелкие группировки подавляются более крупными. Не всегда, конечно, она заканчивается мирным путем, нередко звучат и выстрелы, но в целом лидеры понимают, что, чем меньше шума, тем меньше шансов привлечь к себе внимание органов внутренних дел и общественности.

До начала развития кооперативного движения подобные группировки преимущественно действовали в сфере общеуголовной преступности и являли собой пародию на западную организованную преступность. И мы говорили — это наши, доморощенные. Теперь дело иное. В связи с извращением в этом нужном движении, и особенно с финансовой бесконтрольностью, значительная часть преступных группировок, закончив формирование своих структур и получив экономическую основу, стала легализовываться, отмывая через кооперативы нажитые противоправ-

ным путем деньги. Внешне благозвучные названия некоторых кооперативов нередко скрывали совершенно другое назначение: в них совершались различного рода махинации, текла вторая экономическая жизнь, невидимая, но ощутимая обществом. Появились и лжекооперативы, через которые другие получали наличными, переводя на их счет безличные деньги.

В этих формированиях появилась потребность в кадрах нового типа, знающих не только блатные предписания, но и экономику, право, имеющих технические познания. Не случайно традиционная уголовная среда стала пополняться за счет категории служащих. В изученных группах, занимавшихся разбоем, воровством, вымогательством, их доля составила 26%. О группах расхитителей и говорить нечего. Отсюда совершенно очевиден факт появления "беловоротничковой" и "синеворотничковой" преступности, ранее также считавшейся уделом буржуазных стран. Правда, было бы неверным совсем игнорировать рецидивистов. Пока они занимают не последнее место в среде организованных преступников (38% их удельных вес), хотя и сдают свои позиции. Но больше ценится ныне интеллект.

Есть еще одна опасная форма преступной организации — это объединение "воров в законе". Когда мы говорим об этом своеобразном сообществе, не имеющем аналогов в мировой криминальной практике, то можем с полным основанием отнести его к нашей доморощенной мафии. "Воры в законе", появившись в 30-х годах, постоянно модифицировались, развивались, и в настоящее время мы можем говорить о новой фазе в развитии этой организации. С "ворами в законе" у нас так и не покончили, причем даже в сталинские времена, когда репрессиям подвергались также и многие рецидивисты.

На первый взгляд, это абстрактная организация, которая объединена рамками блатного закона или так называемой воровской идеи. "Воры в законе" не имеют постоянного места дислокации. Их небольшие группы (семьи) связаны между собой и представляют как бы единое целое. Орган управления — это общесоюзная сходка, на которой могут решаться те или иные организационные вопросы. Современный "вор в законе" — это по существу мафиози, организатор преступной деятельности, причем все "воры в законе" равны, казалось бы, между собой. Однако это далеко не так. И среди них существуют авторитеты, эксплуататоры и эксплуатируемые.

Каковы основные функции сообщества? Во-первых, его участники активизируют, сплачивают уголовные элементы с помощью воровских сходок, специальных воззваний, берут под контроль некоторые исправительно-трудовые колонии, назначая там своих преемников и даже выдавая им письменные мандаты. Они разрешают конфликты, возникающие между группами или отдельными лицами, занимаются сбором денежных средств в общие кассы, на жаргоне — "общаки", одним словом, ведут организационную деятельность. Они могут также возглавлять преступные группы или присутствовать в них в качестве консультантов. Небезынтересно отметить, что на основе "идеологического" расхождения сообщество "воров в законе" как бы раскололось на две категории: на так называемых нэпманских, которые ратуют за справедливость между осужденными в местах лишения свободы, за то, чтобы не было противоправной связи с работниками правоохранительных органов, за укрепле-

ние старого "доброго" воровского закона, и новых. Последние же лишь называют себя "ворами", а фактически являются организующей силой уголовной среды, стремятся к коррумпированным связям, а некоторые идут и еще дальше.

Эти две категории "воров" враждуют между собой. Нэпманские обвиняют новых в том, что они продались "акулам", стали их охранниками, а новые упрекают старых в том, что они не идут в ногу со временем. Дело доходит порой до физического истребления. Но не везде. В одном регионе, например, старым "ворам в законе" предложили пенсию из воровских касс взамен того, чтобы на сходках они присутствовали без права решающего голоса. Таким образом была куплена верхушка старых "воров в законе". Как видим, изменения происходят и в преступном мире. Поэтому вполне резонен вопрос: чего можно ожидать в перспективе? Прогноз тут видится не оптимистичный. Прежде всего, на наш взгляд, ожидается дальнейшая интеграция преступных объединений, активное использование ими для отмывания денег кооперативов. Это в значительной мере связано с повсеместным распространением рэкета.

Он уже сейчас катализирует организованную преступность, меняет ее структуру. На почве раздела сфер влияния утверждаются более сильные группировки, грозя действительно быть государством если не в государстве, то по крайней мере в городе. По выборочным данным, рэкету подвергаются практически все кооперативы, при этом доход преступников составляет 20—25% от прибыли кооперативов. Кооператоры активно нанимают для охраны себя и имущества целые сообщества уголовников и срачиваются с ними в конечном итоге. Это крайне опасный симбиоз.

Сегодня, как уже отмечалось, неединичны факты выхода наших мафиози на преступный мир западных стран. А это значит, что в недалеком будущем, когда наши предприятия начнут в полную меру реализовывать прямые договорные отношения с зарубежными партнерами, организованные преступники не преминут этим воспользоваться. Надо сказать, тяготеют к этому и западные мафиози, для того чтобы отмыть деньги на нашей территории. Возникает проблема экономической защиты наших предприятий от организованной преступности. Предполагается также дальнейшее проникновение организованной преступности в сферу экономики, управления и политики.

Наконец, нельзя обойти молчанием наращивание процессов вовлечения в преступную деятельность отдельных организованных группировок молодежи. На это указывают события в гг. Казани, Набережных Челнах, Горьком и др. Стоит ли говорить о влиянии организованной преступности на активизацию уголовных элементов, а отсюда на рост таких преступлений, как кражи, грабежи, разбои, хищения социалистического имущества путем злоупотребления служебным положением, и других! К тому же укрепление ее позиций будет постоянно создавать напряженность в обществе.

Столь сложная криминологическая обстановка, создаваемая организованной преступностью, усугубляемая неблагоприятными тенденциями общей преступности, требует радикальных и быстрых мер со стороны государства. Собственно, на это и направлено постановление Второго съезда народных депутатов СССР.

Разумеется, в основе оздоровления всего общества лежат экономические рычаги. Но для того чтобы привести их в действие, потребуется

немало времени. Пять лет перестройки нас в этом убедили. Поэтому наряду с экономическими мерами должны четко действовать меры правового характера.

С переходом страны к новым экономическим отношениям сейчас возникает целый ряд сложных новых социальных, политических и криминальных проблем. И обществу предстоит процесс их осмысления.

Как же видится одна из них — борьба с организованной преступностью правоохранительными органами, в частности МВД СССР?

Нужно отметить, что перестроечные процессы, происходящие в обществе, поставили перед нами целый ряд новых проблем, многие из которых являются первоочередными, другие рассчитаны на перспективу.

Два года назад в МВД СССР было создано специальное Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Главной задачей этого подразделения стала аналитическая работа по выявлению глубинных негативных процессов в социальной и экономической жизни общества применительно к деятельности организованной преступности. Но это не исключало и активной оперативной работы на этом поприще. Достаточно сказать, что за 10 месяцев 1990 г. управление вернуло государству более 32 миллионов рублей и в сотни раз перекрыло расходы на свое содержание. Благодаря активной оперативно-розыскной деятельности сотрудников удалось выйти на ряд доселе неизвестных негативных процессов, происходящих в состоянии организованной преступности. Это и механизмы хищений денег через лежкооперативы, а отсюда и методика хищений в банковской системе, пути утечки денег за рубеж, компьютерный и наркобизнесы. Управлением стала отлаживаться система координационных действий с полициями других стран.

Но вот что интересно. Достигнув определенных договоренностей за рубежом, мы не можем разобраться у себя в стране. Отчасти это объясняется сложной политической обстановкой, а с другой стороны, связанной с ней амбициозностью руководителей МВД, УВД на местах.

Мы были инициаторами создания межрегиональных подразделений по борьбе с организованной преступностью. Их предназначение — разработка и конкретные действия, касающиеся высокоорганизованных преступных сообществ имеющих коррумпированные связи на самых "верхах". Эти подразделения должны были подчиняться только МВД СССР, что исключало всякое давление на них местных властей.

Но руководители МВД, УВД посчитали их "государевым оком" в своих "вотчинах" и категорически отказались от такого варианта. В результате достигнута договоренность о двойном подчинении подразделений — центру и на местах. Несуразность этого очевидна. Но мы пошли навстречу пожеланиям республик, исходя хотя бы из того, что даже это даст импульс активизации борьбы с организованной преступностью.

К амбициозности стремящихся к суверенности республик можно отнести и такой факт, как не ратификация законов Верховного Совета СССР, касающихся контроля за телефонными разговорами, принятия судам в качестве доказательств кино- и фотоматериалов, защиты свидетелей. И это все непонятно если учесть, какие бурные дебаты предшествовали принятию этих законов...

Сейчас нам необходимы новые законы, в полном объеме регламентирующие борьбу с организованной преступностью. Зачастую слышишь, что нынешний уголовный кодекс их содержит. Но так ли это?

Нам снова приходится сражаться за новые законы как и во времена начала борьбы с этим явлением, когда годами дискутировалось — есть ли у нас организованная преступность. Ортодоксальная позиция сводилась к одному — нет статьи, нет и явления! Это наблюдается и сейчас.

Газеты забиты статьями о коррупции, о ней ведут нескончаемые дебаты народные депутаты. А что мы имеем? Статью уголовного кодекса о взяточничестве. Но ведь коррупция это не взятка, а совершенно новое явление в нашем обществе. За взятку можно достать мешок сахара, кофе, но чтобы незаконно получить фондовые материалы, увести человека или группу лиц от уголовной ответственности и т. д., то такие действия являются уже социально опасными для общества.

У нас нет четкого механизма привлечения к уголовной ответственности организаторов преступных сообществ. Оппоненты возражают: есть же, например, статья об организации банд. Все это так. Но в нашем то случае организаторы сами не грабят, не убивают, оружия не имеют, а создав иерархическую лестницу, когда приказ главаря доходит до исполнителя через многоступенчатую, звеньевую систему, они сами остаются недостижимыми для нынешнего законодательства.

Как много уже писалось и говорилось о слабой технической оснащенности прав охранительных органов. Этот процесс улучшения идет, но какими медленными темпами. Пока даже получение новой машины у нас расценивается как триумфальная победа. А что говорить о спецтехнике, компьютерах и т. д.

Или возьмем, к примеру, такую тривиальную ситуацию. Арестована преступная группа из, скажем, десяти человек. Как их разместить в следственных изоляторах с целью недопущения между ними контактов? Это только десять человек. Но ведь мы задерживаем группы численностью в 500 и более участников. Что делать в таких случаях, когда ни уже стали далеко не единичны. Проблемы, проблемы, проблемы...

Здесь я коснулся только некоторых из них. Но даже из приведенных примеров очевидно, что нам сейчас необходима надежная организационная система борьбы с организованной преступностью. Пока ее нет. Зато есть прекрасные разработки ученых и практиков. Но наши уважаемые депутаты относятся к ним пока весьма скептически. Они всюду усматривают какие-то подвохи, нарушения прав личности и т. д. Но ведь речь то идет о серьезной катастрофе, захлестнувшей наше общество.

Нам предстоит в ближайшее время глубоко изучить такие проблемы, как тенденции развития организованной преступности в условиях перехода к рыночным отношениям и меры по ее локализации. Экспорт преступности с использованием международных связей, в том числе и экономических. Характер, механизм образования и проработка превентивных мер по пресечению противоправных сделок в кредитно-финансовой системе. Проблемы этнического характера в развитии организованной преступности.

Крайне остро встали проблемы терроризма и коррупции в стране.

Необходимо, чтобы на борьбу с организованной преступностью и коррупцией поднялась вся общественность. Форм такой борьбы много, и главная из них — всемерная поддержка специальных подразделений органов внутренних дел, ведущих борьбу с организованной преступностью. Общество поставлено перед выбором и не должно допустить, чтобы подтвердились слова коррумпированных чиновников: "Мафия бессмертна".

**В тисках
фальшивых
доктрин**

ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ ПОХОД ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕН

Смена партийно-государственного руководства в Чехословакии в начале 1968 г. не вызвала на первых порах заметного беспокойства ни в Советском Союзе, ни в других странах "реального социализма". Л.И.Брежнев, посетивший Чехословакию в декабре 1967 г., когда А.Новотного отстраняли от власти, не сделал попытки защитить его и предоставил чехословакам разбираться в своих делах самим. Новый глава КПЧ Александр Дубчек импонировал тем, что долго жил в СССР, учился в Высшей партийной школе в Москве и имел в советской столице личные знакомства.

На праздновании XX годовщины победы чехословацких коммунистов Л.И.Брежнев высоко оценил деятельность КПЧ и ее творческий подход к проблемам борьбы за социализм, стимулируемый, по его словам, также и результатами декабрьско-январского пленума ЦК КПЧ (сместившего А.Новотного).. Свое одобрение линии чехословацкого руководства высказали также Я.Кадар — от ВСРП, Н.Чаушеску — от РКП, В.Влаховчи — от СКЮ. Сдержаннее были на этом юбилее руководители ПОРП, БКП и СЕПГ В.Гомулка, Т.Живков и В.Ульбрихт¹.

Свои оптимистически-шаблонные фразы Генеральный секретарь ЦК КПСС произносил, конечно, по инерции: не в его стиле было во всеуслышанье бить тревогу без крайней необходимости да и вообще проявлять какую-либо инициативу государственной значимости без подсказки. Должно было пройти некоторое время, чтобы до его сознания и до сознания окружавших его лиц дошло, что в Чехословакии неблагополучно.

Первыми встревожились руководители ГДР и Польши. В строгом послушании граждан и в подчеркнутой лояльности в отношении СССР В.Ульбрихт видел главную гарантию незыблемости общественно-политического строя ГДР, а также, разумеется, и своего положения. Отказ КПЧ от административно-командных методов руководства страной (зафиксированный в апреле того же 1968 г. в "Программе действий" ЦК КПЧ²) фактическая свобода печати, установившаяся в Чехословакии с весны 1968 г., горячие дискуссии в партии и за ее пределами, когда казалось, что вскоре уже не останется закрытых тем, — все это не могло не вызвать антипатии, а затем и возмущения в официальных кругах

¹ Чаушеску Н. Румыния по пути завершения социалистического строительства. Доклады, речи, статьи. Бухарест, 1969, с. 86; Hájek, J. Praga 1968. 1981, p. 89-90.

² Akcní program Komunistické strany československa Život strany, 1968, duben, S. 66—94.

ГДР. Кроме того, трудное соревнование-соперничество с ФРГ создавало податливую почву для мрачных подозрений, что новые чехословацкие руководители всерьез задумали пойти навстречу внешнеполитическим планам сближения со странами социализма, вынашивавшимися боннским министром иностранных дел Вилли Брандтом, которого пропаганда ГДР представляла как одного из злейших и коварнейших врагов социализма на немецкой земле и мира во всем мире¹. “Венер и Брандт оплакивают свое поражение”, — с таким заголовком поместила статью “Нойес Дойчланд” от 11.IX, 1968 г., когда начался разгром “Пражской весны”.

Правда, Чехословакия отставала от других социалистических стран Европы в развитии отношений с ФРГ. И конечно, к концу 60-х гг. уже назревал тот важный сдвиг в этих отношениях, который произошел в 1970—1972 гг. Но бюрократия, как правило, не способна предвидеть даже самое ближайшее, уже надвигающееся будущее, боится и ненавидит его. Опасения насчет возможности неконтролируемого сближения Чехословакии с Западом и даже ее будто бы выхода из Организации Варшавского Договора (!) представляются наигранными. Тревожила не судьба Варшавского Договора, а судьба административно-командной системы в Чехословакии. Характерно, что отношение Албании и Румынии к тому же договору не одобрялось, но не вызывало волнений.

О происках западногерманского реваншизма говорилось и в Польше, где мысль о том, что в Западной Германии могут взять верх силы, заинтересованные в нормальных отношениях и с Чехословакией, и с Польшей, отвергалась еще и потому, что образ боннского врага помогал, как представлялось, сплачивать поляков вокруг все более терявшего авторитет в стране гомулковского руководства. К тому же “Пражская весна” совпала по времени с волнениями польской студенческой молодежи, скандировавшей на улицах: “Польска чека свего Дубчека” (“Польша ждет своего Дубчека”); чехословацкая пресса порицала антиеврейскую кампанию официальных кругов Польши, а польские приверженцы “завинчивания гаек” уже готовы были требовать замены Гомулки более жестким лидером.

Решающее значение имела, разумеется, позиция советского руководства. В СССР были люди, которые с живым интересом и симпатией следили за Чехословакией, усматривая в “январском курсе” КПЧ некоторое продолжение и развитие хрущевской “оттепели”, уже сменившейся в нашей стране заметным похолоданием. Академик А.Д.Сахаров именно в 1968 г., обращаясь к правительству и общественности со своими соображениями насчет нужд и перспектив развития страны и мира, положительно отзывался о “чехословацком эксперименте”. Экономические концепции чехословацких руководителей не были чужды попыткам советских хозяйственных реформ середины 60-х годов.

Но в Советском Союзе уже набирало силу поддержанное значительной частью аппарата движение вспять и усиливалась критика в адрес чехословацких реформаторов. Собравшиеся в конце марта 1968 г. в Дрездене руководители стран — членов Организации Варшавского Договора (примечательно было отсутствие румынских представителей)

¹ Hájek, p. 85-88.

за закрытыми дверьми резко отчитали чехословацких лидеров за сдачу позиций контрреволюционной буржуазии. После этого секретарь ЦК СЕПГ Курт Хагер уже публично критиковал чехословацких руководителей за потворство западногерманским империалистам и их социал-демократическим приспешникам¹.

30 апреля "Правда" писала о том, как встревожены чехословацкие коммунисты нездоровыми явлениями в печати, радио и телевидении, а 4 мая посетившие Москву члены партийно-государственного руководства Чехословакии (А.Дубчек, О.Черник, И.Смрковский и В.Билак) снова выслушали упреки по поводу положения дел в их стране. Сразу же после их отъезда в советскую столицу прибыли руководители ГДР, Польши, Болгарии и Венгрии, чтобы обсудить положение в Чехословакии. Так стал складываться состав участников будущего похода. Средства массовой информации СССР, ГДР, Польши приступили к широкой пропагандистской кампании².

Газета "Берлинер цайтунг" оповестила 9 мая, что в Чехословакию под предлогом съемки исторического кинофильма о второй мировой войне прибыли замаскированные под статистов американские и западногерманские десантники и партия оружия, включая танки, для участия в контрреволюционном путче. Чехословацкая сторона указывала, что статисты были солдатами чехословацкой армии, одетыми в форму войск США, а военная бутафория была получена из Венского костюмерного проката, из чехословацкого театрального реквизита и от чехословацкой народной милиции. Однако протест посольства ЧССР в Берлине был отклонен со ссылкой на существующую в ГДР свободу печати. Вместе с тем распространение в ГДР чехословацкой газеты на немецком языке "Фольксцайтунг" было запрещено, а передачи чехословацкого радио на немецком языке стали заглушаться.

В мировой печати встал вопрос: не собирается ли советское руководство пресечь чехословацкий "январский курс" силой оружия? О слухах насчет этого доложил своему правительству министр иностранных дел ФРГ В.Брандт. Чехословацкая пресса нервно заявляла, что такая чудовищная мысль не должна прийти в голову советским руководителям. Генеральный секретарь ЦК Итальянской компартии Л.Лонго, не раз выражавший весной 1968 г. и позже от имени своей партии поддержку реформам в Чехословакии, заявил, что сообщения западной печати об угрожающих передвижениях советских войск на границах с Чехословакией — скандальные измышления. Руководитель израильских коммунистов М.Вильнер гневно отчитал чехословацких журналистов, которые, находясь, как он отметил, под влиянием западной империалистической пропаганды, сделали в беседе с ним чудовищное допущение, что СССР способен насильственным путем вмешаться в ход событий в Чехословакии³. (Это ни в коей мере не помешало М.Вильнеру впоследствии горячо одобрить вступление советских войск в Чехословакию.)

Стараясь успокоить чехов и словаков, председатель Национального собрания ЧССР И.Смрковский заявил, что они должны понять и опасе-

¹ Nyilatkozik Kadar Janos. IX — *Magyarország*, 1989, 7. VII. 1968 Czechoslovakia. Egyesegeten — *Magyarország*, 1982, 18. VIII.

² См. Марксизм-ленинизм — единое интернациональное учение. Вып. 1. М., 1968, с. 401 и далее; *Ze zemi přátel — Literární Listy*, 1968, 6.VI.

³ *Literární Listy*, 1968, 18.VII.

ния Советского Союза в связи с Чехословакией. Однако, сказал он, советские руководители заверили чехословацкую делегацию в том, что не будут вмешиваться во внутренние дела Чехословакии¹.

В практику бюрократических систем с давних пор вошел обычай придавать тем или иным формулировкам значение, противоположное их буквальному смыслу. Так, категорический приказ может быть назван "рекомендацией", шантаж — "дружеским советом", нападение — "помощью", измена — "верностью", трусость — "мужеством" (и наоборот). Примеры можно приводить до бесконечности.

После визита в Чехословакию во второй половине мая председателя Совета Министров СССР А.Н.Косыгина, внесшего некоторое успокоение в обстановку вокруг этой страны, состоялся пленум ЦК КПЧ (19 мая — 1 июня 1968 г.). Казалось, он был призван продемонстрировать, что КПЧ далека от того, чтобы ставить под сомнение такие основные марксистско-ленинские принципы, как руководящая роль партии в обществе, и не позволит никому посягать на главные результаты Февральской революции 1948 г.

А.Дубчек, выступая на пленуме, отметил усиление за последнее время, с одной стороны, антисоциалистических сил, с другой — догматических тенденций. Критика извращений прошлого не должна приводить к осуждению партии в целом, сказал он. Не может быть и речи о политической и материальной реабилитации представителей буржуазии, затронутых революционными мерами после Февраля 1948 г. Следует поставить под контроль деятельность разного рода союзов и групп, среди которых проявляются антикоммунистические тенденции.

Эти слова Первого секретаря едва ли удовлетворили зарубежных критиков чехословацких реформ, а его указание на то, что партии следует отмежеваться от извращений прошлого и от лиц, несущих за них ответственность, должны были вызвать негодование. Упреки Дубчека журналистам в чрезмерном внимании к деформациям 50-х годов и замечание о нежелательности проявления интереса к внутренним делам других социалистических стран не успокаивали, в этом можно было усмотреть тактически момент — дескать, не раздражайте наших зарубежных друзей.

Но более всего должно было огорчить консервативных недругов реформ постановление пленума (принятое как будто по предложению Густава Гусака, одного из словацких коммунистов, репрессированного в не столь далеком прошлом и затем реабилитированного благодаря, в частности, хлопотам А.Дубчека) созвать в сентябре чрезвычайный съезд партии с очевидной целью обновить состав высших органов ее, очистить их от противников реформ. (Спустя два с половиной года новое руководство КПЧ говорило о стремлениях марксистско-ленинских сил путем ускорения созыва съезда взять инициативу в свои руки.)

Пока что они располагали рядом видных постов, хотя их позиции слабели с каждым днем. В Президиуме ЦК из 11 членов пятеро — А.Дубчек, Ф.Кригель, И.Смрковский, О.Черник и Й.Шпачек — были сторонниками преобразований, четверо — Э.Риго, В.Бияк, О.Швестка и Д.Кольдер — были их ярыми противниками, двое — Ф.Барбирек и Я.Пиллер —

¹ *Tribuna Ludu*, 1968, 2.IV.

колебались. Такое соотношение позволяло надеяться в случае вмешательства извне в решающий момент получить поддержку большинства руководства КПЧ. Эта надежда ослабевала по мере ухода в отставку то одного, то другого непопулярного деятеля. Такой вынужденный уход под воздействием публичной критики недовольные называли "отстрелом честных коммунистов".

Выборы делегатов на съезд дали подавляющее превосходство сторонникам "январской линии", так что исход съезда не вызывал сомнений и грозил окончательно похоронить все надежды остановить реформы внутренними силами. Оставалось, действуя извне, принудить чехословацкое руководство изменить свою политику — или сместить его.

И тем не менее майско-июньский пленум вызвал у значительной части радикальных сторонников реформ серьезное опасение в том, что перестройка может быть приторможена или вовсе остановлена еще и потому, что все, по словам радикалов, стали называть себя ее приверженцами¹. Это беспокойство нашло свое выражение в манифесте "Две тысячи слов", опубликованном 28 июня рядом чехословацких газет. (Манифест был написан писателем Людвиком Вацуликом, его подписали сотни ученых, литераторов, рабочих и служащих. В нем высказывались сомнения в способности партийно-государственного аппарата провести необходимые стране преобразования, содержался призыв граждан к ненасильственным действиям снизу по удалению из органов власти лиц, скомпрометировавших себя злоупотреблениями². Руководители партии и государства, в частности А.Дубчек и И.Смрковский, публично осудили "Две тысячи слов" как неуместное подталкивание процесса обновления и проявление недоверия к силам, возглавляющим его. Такая позиция чехословацкого руководства была расценена в странах "железного треугольника" (СССР — ГДР — ПНР) как недопустимая снисходительность, потворство и поощрение, а сам манифест — как прямой контрреволюционный призыв к перевороту и свержению социалистического строя³. Отныне лейтмотивом оценок положения в Чехословакии стало утверждение, что контрреволюция в этой стране уже разразилась, не встречая при этом отпора со стороны органов социалистического государства.

Между тем командование Вооруженными силами Организации Варшавского Договора развернуло, как это обычно делалось в подобных случаях, внушительные военные демонстрации близ чехословацких границ и, наконец, потребовало у Чехословакии согласия на проведение на ее территории "штабных учений". Их смысл был совершенно ясен, однако чехословацкое руководство, стремясь избежать всего, что могло бы дать малейший повод обвинить его в нелояльности, не стало перечить. Учения начались 20 июня. По территории Чехословакии передвигались значительные контингенты войск и тяжелой боевой техники. Срок окончания учений и вывода иностранных войск, назначенный на 2 июля, неоднократно переносился, причем без согласования с чехословацкими военными и государственными органами и вопреки их воле, что вызывало все более недоброжелательные комментарии чехос-

¹ Dalimil. Politika a moc — *Literární Listy*, 1968, 20.VI.

² Dva tisíce slov — *Mlada fronta*, 1968, 27.VI.

³ Александров И. Атака против социалистических устоев Чехословакии. — *Правда*, 11 июля 1968.

ловацкой печати и радио, а затем волну требований объяснить эту ситуацию. А это в свою очередь порождало раздражение союзников Чехословакии по Варшавскому Договору¹.

Ярость высокопоставленных союзников Чехословакии вызвало публичное заявление ведавшего политической работой в чехословацкой армии генерала Прхлика о несовершенстве структуры руководства объединенными Вооруженными силами Организации Варшавского Договора и о неравноправии стран-членов при вынесении решений. Генерал Прхлик был обвинен одновременно в том, что дал неправдивую информацию, и в том, что выдал военную тайну. Требовали его смещения и наказания. Избегая прямого конфликта по этому поводу, чехословацкая сторона просто ликвидировала занимаемую Прхликом должность. Впоследствии — уже после смены власти в Чехословакии — Прхлик был брошен в тюрьму, явно в назидание.

3 июля на митинге советско-венгерской дружбы в Москве Брежнев вспомнил о разгроме контрреволюции в Венгрии в 1956 г. и заявил, что Советский Союз никогда не будет равнодушен к судьбам социализма в других странах. В Праге между тем появились листовки, называвшие видных сторонников реформ — заместителя председателя Совета Министров О.Шика, председателя Национального фронта Ф.Кригеля, секретаря ЦК Ч.Цисаржа, председателя Союза писателей Э.Гольдштюкера — политическими авантюристами и подручными сионизма. В ход пошли анонимные письма и телефонные звонки с угрозами физической расправы².

В середине июля руководители СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии собрались в Варшаве для обсуждения положения в Чехословакии. Пропагандистская кампания против реформ в этой стране шла уже полным ходом. Болгарские средства массовой информации, проявлявшие весной сдержанную недоброжелательность к переменам в Чехословакии, включились теперь в общий строй. Я.Кадар и его венгерские соратники не могли не видеть, что "Пражская весна" во многом перекликается с курсом на экономические реформы в ВНР, однако не пошли открыто против течения и этим сразу же поставили под удар свои собственные планы. Я.Кадар предпочел проявить показную солидарность с господствующей тенденцией, стараясь вместе с тем по мере своих сил смягчить ее и содействовать мирному исходу назревшего кризиса. (В конце жизни он тем не менее упрекал себя за то, что не решился противостоять домогательствам Брежнева в связи с Чехословакией.)³

Среди участников Варшавской встречи не было представителей Румынии. Еще до того, как начал назревать кризис вокруг Чехословакии, румынские руководители — Г. Георгиу-Деж, а после его смер-

¹ Вероятно, военные круги стран Варшавского Договора уже начали подталкивать своих политических руководителей. Ведь с военно-технической точки зрения было бы соблазнительно удобно, сосредоточив в ходе учений достаточное количество военных сил на территории Чехословакии, затем мгновенно овладеть ее жизненными центрами, прежде чем страна и мир придут в себя. Однако политическое руководство, очевидно, еще не приняло окончательного решения и не исключало мирного исхода.

² Goldstücker E. Občané, pozor! — *Rudé právo*, 1968, 23.VI; Kohout P. Jak budu oběšen — *Literární Listy*, 1968, 27.VI.

³ Hájek, p. 84—85.

ти Н.Чаушеску — стали все более открыто выражать несогласие с некоторыми аспектами внешней политики Советского Союза, сначала только в Восточной Европе, затем по все более широкому кругу проблем, включая положение на Ближнем Востоке, отношения с Западной Германией и конфликт с Китаем. Румынское руководство во всеулышанье требовало полной независимости народов и стран, в том числе социалистических, от вмешательства и претензий на руководство извне. Посетив 27 мая — 1 июня 1968 г. Югославию, Н.Чаушеску вместе с И.Броз Тито выразили свою солидарность с политикой чехословацкого руководства после января 1968 г. Заключительное коммюнике об их встрече гласило: "Обе стороны решительно поддерживают все усилия, направленные на дальнейшее демократическое развитие социалистического общества, и подчеркивают исключительное право каждой партии самостоятельно определять свою политику при построении социализма в своей собственной стране"¹.

И если такая позиция Румынии исключала ее участие в Варшавской встрече, имевшей целью как раз давление извне на политику КПЧ, то тем более не могло быть и речи об участии в ней Югославии, официальные представители которой в течение первой половины 1968 г. не раз выражали свое удовлетворение ходом дел в Чехословакии и подчеркивали, что Чехословакия, как и любая другая страна, имеет право самой решать, как ей следует развиваться.

Не было в Варшаве и наиболее суровых критиков чехословацких реформ — албанских представителей. В предыдущие месяцы албанская печать резко осуждала чехословацкое руководство за ревизионизм и отступничество. Центральный орган Албанской партии труда газета "Зери и популлит" назвала "Программу действий КПЧ" "введением в реставрацию капитализма", а чехословацкий путь — "ни чем иным, как применением на практике оппортунистических тезисов Тольятти". Газета сожалела тогда, что "истинные марксисты-ленинцы" в ЧССР не дают всему этому отпора.

"Зери и популлит" клеймила и реабилитацию в ЧССР "фашистов, военных преступников и духовенства", "приход к власти подозрительных людей... антимарксистов, закоренелых ревизионистов и священников". (Напомним, что в Албании как раз в это время была официально "отменена" религия, закрыты все храмы, а священников заставили отречься от своего сана.) Отмена ограничений на туризм превратила Чехословакию, по словам албанской газеты, в корчму, где люди, товары и идеи свободно переходят из Чехословакии на Запад и обратно. Из Чехословакии делают витрину ревизионизма для сманивания Венгрии, Болгарии и Польши и для того, чтобы она послужила примером для французских и итальянских ревизионистов, утверждалось в албанской газете².

При всем созвучии этих атак с настроениями участников Варшавской встречи настоящая солидарность албанских руководителей с ними исключалась в силу неистово антисоветской позиции, занятой по всем вопросам международной жизни с начала 60-х годов.

Что касалось ЦК КПЧ, то его Президиум еще 8 июля, рассмотрев

¹ Chronik. Osteuropa April-Juni 1968 — Osteuropa, 1969, n. 4, S. 314.

² Chronik. Osteuropa April-Juni, n. 4, S. 323.

письма, полученные от центральных комитетов БКП, ВСРП, СЕПГ, ПОРП и КПСС с приглашением явиться в Варшаву, ответил отказом и попросил уважать принцип суверенитета каждой партии в вопросах политики своей страны¹.

15 июля 1968 г. Варшавское совещание направило в адрес ЦК КПЧ послание, в котором говорилось, что, ввиду развернувшегося в Чехословакии наступления контрреволюции, братские партии настоятельно требуют от чехословацкого руководства срочно принять энергичные меры по отражению натиска врага, учитывая, что защита социализма в Чехословакии не частное дело только этой страны, а священный долг всего социалистического содружества².

Президиум ЦК КПЧ, рассмотрев 17 июля послание из Варшавы, ответил, что сделанная в этом послании оценка положения в Чехословакии не отвечает действительности, так как в этой стране нет контрреволюционной ситуации, а напротив, весь народ, как никогда за всю историю КПЧ, сплочен вокруг нее в борьбе за осуществление поставленных партией задач обновления социализма. Отказ от линии на обновление подорвал бы это завоеванное партией доверие, перечеркнул бы всю проделанную ею работу в массах и достигнутые на этом пути успехи³.

На следующий день эту позицию Президиума ЦК КПЧ поддержал ЦК компартии Словакии во главе с В.Биликом, а также правительство ЧССР, Президиум Народного собрания и многочисленные общественные организации.

19 июля пленум ЦК КПЧ одобрил позицию своего Президиума, предложил двусторонние переговоры с авторами варшавского письма.

Руководители французской и итальянской компартий, встревоженные нагнетанием атмосферы в связи с Чехословакией, поспешили в Москву, чтобы посредничать в споре. Политбюро ФКП предложило созвать по чехословацкому вопросу конференцию европейских компартий — 14 партий дали свое согласие⁴.

Это, разумеется, никак не устраивало брежневское руководство, и оно поспешило согласиться на двусторонние советско-чехословацкие переговоры, предложив провести их в Москве или в каком-либо другом городе на советской территории. Одновременно было объявлено о призыве запасников в ряды Советской Армии и о проведении больших маневров вдоль западных границ СССР. Введенные в июне советские войска все еще находились в Чехословакии. В такой обстановке руководство отказалось выезжать из страны, местом переговоров стала чехословацкая железнодорожная станция Чиерна-над-Тисой на советско-чехословацкой границе.

По всей очевидности, в Советском Союзе решение применить военную силу принято еще не было, и надежда на то, что чехословаки в конце концов уступят, сохранялась. (А.Н.Косыгин 13 июля, т.е. за два дня до отправки варшавского послания, выразил в интервью в Стокгольме

¹ *Rudé právo*, 1968, 9.VII.

² См. *Правда*, 18 июля 1968.

³ Stanovisko predsednictva UV KSČ k dopisu pěti komunistických a delnických stran — *Rudé právo*, 1968, 19.VII.

⁴ Communiqué du bureau politique du P.C.F. 17 juillet 1968. Communiqué du bureau politique du P.C.F. 21. VII 1968. — *La Nouvelle Critique*, numero special, Septembre, Tchecoslovaquie 68. Documents. 1. B.

уверенность в том, что КПЧ сохранит свою руководящую роль в стране.)

Советская сторона потребовала, чтобы чехословацкая делегация на переговорах включала всех членов Президиума ЦК КПЧ, с тем чтобы каждый выразил свое личное мнение, а не коллективную позицию ЦК и его Президиума.

В ходе переговоров чехословацкая делегация в целом проявила сдержанное упорство. Резкость тона некоторых советских делегатов побудила чехословацкую делегацию на следующий день прервать переговоры, которые были возобновлены лишь на третий день¹. Сразу же по окончании переговоров в Чирне советские войска покинули Чехословакию.

Переговоры в Чирне завершились, казалось, успехом для чехословацкой стороны. Советская делегация уехала ни с чем. ("Расстались холодно, — вспоминает К.Т.Мазуров². — В поезде никто не спал до Москвы: что делать?") Дубчек, Смирковский и Черник, напротив, выразили публично удовлетворение итогами. Тон совместной декларации, принятой через несколько дней в Братиславе руководителями Чехословакии и пяти других стран — членов Организации Варшавского Договора, резко отличался от тона варшавского письма от 15 июля. В нем не было ни слова о контрреволюции в Чехословакии, не содержалось ни признака тревоги по поводу положения в этой стране, не было ни намека на критику в адрес КПЧ. Подписавшие братиславскую декларацию обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга³. Стандартные слова о братской взаимопомощи социалистических стран и о долге защищать социализм могли быть отнесены с равным основанием к любой ситуации за десять лет до описываемых событий и через столько же лет после них. "Зери и популлит" назвала Братиславское совещание "позорным поражением советских ревизионистов и их друзей"⁴.

11 августа Чехословакию посетил триумфально встреченный населением И.Броз Тито, 12 августа в Карловы Вары заехал по приглашению ЦК КПЧ В.Ульбрихт. 15 августа в Чехословакию приехал Н.Чаушеску. Чехословацкие руководители благодарили его за поддержку их политического курса, Чаушеску в свою очередь выразил им полное доверие и убежденность в том, что ход событий в Чехословакии будет способствовать упрочению социализма.

Но в это время в советской печати возобновилось обличение чехословацких ересей. Позже высказывалось мнение, что решающим поводом послужило опубликование в Праге 10 августа проекта нового устава КПЧ, позволявшего в случае внутривнутрипартийных споров меньшинству — при подчинении решениям большинства — сохранять свое особое мнение, записывать его в протокол и с течением времени на основе новых сведений возобновлять дискуссию. Проект также предусматривал тайные выборы в руководящие органы партии и запрещал сосредоточивать по несколько постов в одних руках⁵. Если к этому прибавить

¹ Hájek, S. 117—118; c. M e i s s n e r B. Die Sowjetunion vor und nach dem 50 9 Jahrbubileum. — *Osteuropa*, 1968, n. 10—11, S. 751—752.

² *Известия*, 20 августа 1989.

³ См. Заявление коммунистических и рабочих партий социалистических стран. — В кн.: Марксизм-ленинизм — единое интернациональное учение, вып. 3, М., 1968, с. 5—12.

⁴ Chronik, Osteuropa Juli-September 1968. — *Osteuropa* 1969, n. 6, S. 427.

⁵ Návrh Stanov komunistické strany Československa. — *Rudé právo*, 1968, 10.VIII.

радушный прием, оказанный Тито и Чаушеску, то можно предположить, что чаша терпения переполнилась, стало ясно, что Дубчек подтверждает свои публичные заявления, сделанные сразу после братиславской встречи, как насчет суверенитета Чехословакии и ее национальной независимости, так и насчет намерения продолжать курс, начатый в январе.

Аппарат управления пяти стран — членов Организации Варшавского Договора все более взвинчивал себя своей собственной пропагандой, между тем как приближающаяся дата открытия чрезвычайного съезда КПЧ напоминала, что процесс реформ в Чехословакии становится необратимым. 20 августа ровно в 23.00 войска СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии общей численностью до полумиллиона человек под командованием заместителя министра обороны СССР генерала армии И.Павловского пересекли чехословацкую границу. 21 августа в два часа ночи радио Праги передало обращение Президиума ЦК КПЧ о том, что войска пяти стран — членов Организации Варшавского Договора без уведомления президента ЧССР, ее премьер-министра и первого секретаря ЦК КПЧ захватили территорию страны. Президиум считал это нарушением основных принципов международного права. Чехословацкое министерство иностранных дел в нотах, тут же врученных послам упомянутых государств, потребовало немедленного вывода иностранных войск из страны¹.

Вместе с тем правительство, сумев собраться на чрезвычайное заседание, потребовало освобождения схваченных и вывезенных за пределы страны Дубчека, Черника, Смирковского и Кригеля. Оно постановило не давать "оккупационным войскам" ни денег, ни продовольствия, ни иных потребительских товаров, однако предписало в случае насилия с их стороны избегать всего, что может привести к кровопролитию. Прежде чем этот призыв успел дойти до сознания чехов и словаков, несколько десятков человек погибло при попытках поджечь советские танки, взорвать машины с боеприпасами и в тому подобных актах². Уже на следующий день сопротивление осуществлялось почти исключительно в ненасильственных формах, которые как раз и оказались в данных условиях наиболее эффективным методом борьбы.

В условиях враждебности всего населения вступившие в Чехословакию войска оказались в сложном положении. Попытка сколотить группу из сколько-нибудь известных лиц, которая могла бы быть противопоставлена реформаторскому руководству партии и страны, провалилась с самого начала. Все официальные партийные и государственные инстанции объявили о своей верности дубчекевскому руководству и осудили вступление иностранных войск в страну. Пресса, в том числе и центральный орган КПЧ "Руде право", и радио продолжали функционировать как органы законного руководства партии и страны, несмотря на все попытки помешать этому.

Не удалось предотвратить и проведение XIV Чрезвычайного съезда КПЧ. Делегаты, избранные в предыдущие месяцы на партийных конференциях, съехались конспиративно в Прагу и 22 августа на большом заводе под прикрытием народной милиции — партийного вооруженного формирования, созданного еще в 1948 г. при взятии коммунистами власти, — практически единогласно (при одном голосе против) поддер-

¹ Chronik. Osteuropa Juli-September 1968. — Osteuropa, 1969; n. 6, S. 435.
² Hájek, p. 153.

жали линию партии и ее руководителей, выведя из состава нового ЦК явных противников реформ¹. Советским войскам удалось, правда, перехватить в пути делегацию словацкой компартии. (Это дало позднее Г. Гусаку повод, сославшись на отсутствие словацких представителей, объявить съезд неправомочным — несмотря на наличие кворума и на то, что состоявшийся через три дня в Братиславе пленум ЦК компартии Словакии единодушно поддержал решение пражского съезда.)

Возникла патовая ситуация: силы пяти стран не достигли своей непосредственной политической цели — чехословацкое государство и партия, как бы нырнув в подполье, продолжали функционировать вопреки воле вступивших в страну войск. Занять место схваченных высших руководителей партии и страны оказалось некому. Ряд авторитетных деятелей уже обсуждал вопрос о формировании кабинета министров в эмиграции, чехословацким вопросом уже занялась Организация Объединенных Наций. 24 августа министр иностранных дел ЧССР И. Хаек, выступая в Совете Безопасности объявил оккупацию Чехословакии ничем не оправданной и потребовал немедленного вывода иностранных войск и восстановления суверенитета чехословацкого государства². Вступление в Чехословакию войск Организации Варшавского Договора осудил и делегат Югославии.

Военный поход при всей своей внешней эффективности оказался в действительности ударом в пустоту. Бросок танковых и механизированных соединений, воздушные десанты не сорвали контроль с их стороны. Можно сказать почти не утрируя, что если бы армии пяти держав двигались на волах, военно-политический результат был бы тот же. Малая страна была сломлена лишь в результате чудовищного неравенства сил и психологической неготовности пойти на затяжную смертельную схватку с вчерашними союзниками.

О вооруженном отпоре вообще не могло быть и речи. Страна была открыта для войск Организации Варшавского Договора со всех сторон. От границы до Праги было всего 105 км. Все оборонительные возможности Чехословакии, включая планы и состояние ее Вооруженных сил, были, конечно, до мелочей известны ее союзникам, чехословацкая армия была сосредоточена на западной границе в стороне от маршрутов вступивших в страну войск. Любое поползновение военных заблаговременно подготовиться к обороне от возможного нападения со стороны союзников было бы пресечено в зародыше как провокация, способная дать еще один предлог для обвинения чехословацких руководителей в вероломстве и измене.

И, наконец, последнее по счету, но не по важности: главнокомандующий чехословацкими Вооруженными силами президент Л. Свобода дал армии приказ (в соответствии с указаниями партийно-правительственного руководства) не оказывать войскам пяти держав вооруженного сопротивления. А если учесть, что командование войск Организации Варшавского Договора имело все возможности заранее детальнейше изучить местность и наметить маршруты, то вся операция с военно-техни-

¹ Appel du XIVe Congrès du P.C.T. aux partis communistes et ouvriers du monde entier par la voie de Radio Prague libre, eu date du 24 août 1968, 20 n. 30. — In: Prague 1948—1968, Chronique de politique étrangère, vol. XXII, N^o 1—2 Pruxelles, p. 218.

² Discours de N. Hajek ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie au Conseil de sécurité, en date du 24 août 1968 — In: Prague 1948—1968, p. 219—224.

чешской точки зрения выглядит не сложнее обычных крупномасштабных маневров. Все трудности были связаны с политическими мотивами.

Пришлось сделать шаг назад: согласиться на требование президента Свободы (к которому обратились за посредничеством советские представители в Чехословакии и который действовал в соответствии с предложениями своего правительства) провести переговоры с советскими лидерами на высшем уровне с участием Дубчека, Черника, Смирковского и Кригеля¹.

Бросается в глаза контраст между тщательностью военно-технической подготовки войск к вступлению в Чехословакию и крайне несурзной политической импровизацией в связи с этой операцией. Это можно объяснить тем, что армия готовилась к ней по меньшей мере еще с июня, когда проводились военно-штабные учения, тогда как политическое решение было принято в последний момент; характерно, что солдаты-десантники были подняты по тревоге в начале августа, И.Г.Павловский узнал о своем назначении 16 или 17 августа, а Политбюро, в частности первый заместитель Председателя Совета Министров СССР К.Т.Мазуров, — только в ночь с 20 на 21 августа².

Если бы политическое решение было принято заранее, были бы не нужны хлопотные и неприятные переговоры в Чиерне, не были бы упущены в качестве предлога отказ чехословаков явиться в Варшаву в июле или их дерзкий ответ на увещания, так же как и отказ продолжать переговоры в Чиерне на второй день после их начала. Не было использовано такое благоприятное обстоятельство, как полуторамесячное пребывание советских войск в Чехословакии в июне — июле. То, что не были заранее подготовлены люди для подмены Дубчека и его единомышленников в руководстве Чехословакии, можно объяснить бездарностью советских постоянных представителей в этой стране, в частности посла Червоненко и его советника Удальцова. (Они прочли в приемники Дубчеку совершенно дискредитировавшего себя в то время Биляка и проглядели намного более перспективную фигуру Гусака.)

23 августа Свобода отправился в Москву в сопровождении пользовавшихся доверием советского руководства Биляка, Индры и других, а также Гусака.

Руководители КПЧ ни психологически, ни идейно-политически не были готовы — в силу своего политического прошлого — к открытой борьбе против Советского Союза. Их не могла не волновать мысль о бесперспективности длительного конфликта с СССР, об огромном неравенстве сил, о полном отсутствии надежд на немедленную помощь откуда бы то ни было. 26 августа в Москве было подписано соглашение³.

Советская сторона отказалась от намерения немедленно свергнуть чехословацкое руководство — а ведь для этого и предпринимался военный поход — и позволила ему вернуться на свои посты. Однако этим советские уступки и исчерпывались. Обещание не препятствовать преобразованиям могло быть в любой момент сведено на нет требованием

¹ *Известия*, 20 августа 1989.

² Там же.

³ Текст соглашения не был опубликован, хотя ссылки на него делались в прессе. Позже его содержание изложил секретарь ЦК КПЧ Млынарж (Zdenek Mlynarj über der Moskauer Protokoll. — *Neues Deutschland*, 1968, 20.IX).

не допускать антисоциалистических проявлений, что в свою очередь зависело от весьма произвольных в той ситуации критериев и толкований самого понятия "антисоциалистических проявлений". Чехословацкой стороне был вручен список партийно-государственных функционеров — доверенных лиц советского руководства, которых КПЧ обязалась не удалять с занимаемых ими ответственных постов.

Чехословакия обязалась также взять обратно свою жалобу в ООН.

Важнейшей, можно сказать, роковой уступкой с ее стороны, крупнейшей ошибкой Дубчека было обязательство аннулировать решения только что прошедшего XIV съезда партии. Дубчек не имел права на этот шаг. Нарушая основы партийной законности по такому ключевому вопросу, Дубчек лишал себя последней опоры. В обстановке произвола и тотального беззакония, прокладывавших путь прямой государственной измене, апелляция к законности была единственной картой чехословацких реформаторов. Признавая неправомерным партийный съезд, решениям которого Дубчек как партийный работник был обязан подчиняться, он сам вступил на беззаконный путь и утратил моральное право противиться безграничному попранию партийных законов и норм его противниками.

Но с первого взгляда Московское соглашение могло действительно показаться компромиссом. Руководители партии, правительства и парламента, вывезенные из страны как пленники, вернулись на свои посты. Пленум ЦК КПЧ выразил "полное доверие проводимой до сих пор политике, направленной на развитие социализма в стране", и уполномочил Президиум ЦК КПЧ "сделать все для быстрейшего вывода иностранных войск и создания всех необходимых условий для осуществления послеянварской политики"¹. Президиум Народного собрания предложил 30 августа всем депутатам дать слово, что они ни письменно, ни устно не просили вводить в страну иностранные войска. 31 августа такое же слово дали на заседании ЦК среди прочих и такие известные противники реформ, как В.Биляк, О.Швестка, Д.Кльдер и М.Якеш². Журналисты и работники радио, осуществлявшие в последней декаде августа выпуск партийно-правительственной прессы и радиопередач в условиях подполья, были осыпаны почестями и похвалой³. (Через год новое партийно-правительственное руководство осыплет их за эту самую деятельность оскорблениями и обвинениями.)

Как видно, чехословацкие руководители надеялись продолжать реформы в обстановке затяжной борьбы типа шахматной игры, в которой стороны, соблюдая согласованные "правила игры", старались бы добиться своего продуманными на много шагов вперед ходами.

Они просчитались. Советская сторона стремилась не переиграть партнера, а уничтожить его. Она предъявляла чехословакам новые и новые требования, игнорируя свои собственные только что сделанные обещания, добиваясь в особенности кадровых перемен, чтобы подго-

¹ Постановление пленума ЦК КПЧ об итогах московских переговоров. — *Проблемы мира и социализма*, 1968, № 9, с. 6.

² Chronik. Osteuropa, Juli-September. — *Osteuropa*, 1969, S. 443.

Как известно, 22 августа в печати стран, пославших свои войска в Чехословакию, было опубликовано обширное анонимное письмо с просьбой прислать в эту страну войска для защиты социализма и "январского курса".

³ *Rudé právo*, 1968, 27.IX.

товить полную замену руководства страны. Другая ближайшая цель — парализовать средства массовой информации, чтобы затем превратить их в рупор нового, антиреформаторского курса.

Постоянные уступки реформаторов порождали уныние, разброд и упадок духа в когда-то (после 21 августа) сплоченных рядах их сторонников, чего и добивалось осенью 1968 — зимой 1969 г. брежневское руководство. Множились ряды так называемых “реалистов”, считавших, что только ценой уступок возможно выиграть время и спасти в конечном счете наиболее необходимые реформы. С ними не были согласны непримиримые реформаторы, полагавшие, что уступки заходят уже так далеко, что неизбежно похоронят всякую надежду на реформы. Они говорили, что дело неуклонно идет к признанию и одобрению оккупации и к отмене партийных решений августа 1968 г.

После Московского соглашения сложился как организованная сила и лагерь откровенных контрреформаторов. Ощущая себя под защитой советских войск в безопасности от связанных Соглашением, хотя и находившихся пока у власти реформаторов, они все громче обвиняли этих последних в измене социализму, в происках против союзников. Не имея пока широкого доступа (не говоря уже о монополии, которой они настойчиво домогались) к средствам массовой информации, контрреформаторы использовали в качестве трибуны иностранную прессу и радио (ту, что находилась в руках их единомышленников), в том числе издаваемый советскими войсками в Чехословакии бюллетень “Зправы” на чешском языке. Формально нелегальный, он распространялся вопреки бессильным протестам официальных чехословацких властей.

Впрочем, главной опорой брежневского руководства в борьбе против чехословацких реформ были в конце 1968 — начале 1969 г. не самые усердные и фанатичные их противники, а скорее такие “реалисты”, как Г.Гусак, которые еще пользовались репутацией приверженцев Дубчека и, следовательно, определенной массовой поддержкой и выступали в роли более умных, более гибких, более осторожных сторонников все того же курса на реформы.

Прибывший 28 августа на уже открывшийся 26-го числа съезд компартии Словакии Гусак начал быстро выдвигаться на первый план в качестве “реалиста”, способного сочетать верность январскому курсу с союзнической лояльностью в отношении СССР. Осудив “Интервенцию”, он заверил делегатов в своей непреклонной личной преданности Дубчеку.

Съезд КПС, выразив полное доверие Дубчеку, избрал вместе с тем Гусака первым секретарем ЦК КПС, а также — что было тогда весьма важно — согласился с его аргументами о непризнании XIV съезда КПЧ.

В последующие месяцы Гусак, продолжая называть себя сторонником январской политики, все более усиливал ее критику, а также требовал безоговорочного выполнения требований советского руководства.

Дальше Гусака пошел председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЦК М.Якеш, поддержавший на ноябрьском пленуме ЦК 1968 г. советский тезис о контрреволюции в Чехословакии и выступивший против того, чтобы друзей Советского Союза клеймили

как коллаборационистов.

И если Дубчек, Черник и Смирковский просили население, в особенности молодежь, воздерживаться от враждебных Советскому Союзу демонстраций, то Гусак требовал применения против демонстраций жестких мер — как против подрывных действий, инспирируемых и организуемых антисоциалистическими силами.

Когда советские инстанции стали все более неприкрыто давать понять, что не желают видеть на посту главы чехословацкого парламента Смирковского как одну из наиболее одиозных фигур январского курса, Гусак пришел на помощь, объявив, что национальное достоинство словаков (то самое достоинство, которое не позволило признать XIV съезд партии) не может теперь примириться с тем, что все три высших государственных поста в республике занимают чехи¹. Он тут же оговорил, что словаки не имеют в виду пост президента — в силу огромных заслуг Л.Свободы — и не претендуют на пост премьера, на котором уже утвержден пленумом ЦК О.Черник. Остается, стало быть... (Через год, когда главой КПЧ был уже Гусак, словацкое национальное достоинство уже не было задето тем, что все три высших государственных поста снова оказались занятыми чехами.)

Г.Гусак требовал безусловного соблюдения партийной дисциплины — не имея, разумеется, в виду выполнения еще не отмененных постановлений партии, принятых в августе — сентябре 1968 г.

Заявляя, что иного пути спасти реформы, кроме как выполняя все требования советского руководства, нет и не может быть, Гусак обвинял непримиримых реформаторов в авантюризме и утрате чувства реального. Прочие "реалисты" все более прислушивались к его словам. (Позже, оказавшись на вершине власти, он учинит расправу и над ними. Входило ли это в его первоначальные планы? Или же он в силу складывавшихся обстоятельств счел более ненужным опираться на их слабеющие ряды и поставил на решительных контрреформаторов, стараясь зарекомендовать себя и в меняющейся обстановке нужным для них и для их советских покровителей человеком?)

Решающий сдвиг произошел в апреле 1969 г. (В марте массовые настроения в Чехословакии проявились во всеобщем ликовании по поводу победы в Стокгольме чехословацкой хоккейной команды над командой СССР.) Советские представители категорически потребовали замены людей на высших постах, т.е. в первую очередь самого Дубчека, угрожая новыми прямыми военными мерами.

В чехословацком руководстве, так же как и в партии в целом, уже не было ничего похожего на августовскую сплоченность и решимость. Сам Дубчек подал в отставку перед лицом утраты поддержки большинства в Президиуме ЦК КПЧ, искавшем спасения в переходе на "реалистический курс", который, как представлялось, олицетворял Гусак. Дубчека тепло поблагодарили от имени ЦК КПЧ за заслуги перед партией и страной и, оставив его в составе Президиума ЦК, рекомендовали на пост председателя Федерального собрания республики.

Избранный Первым секретарем ЦК КПЧ Г.Гусак обещал продолжать курс на реформы, не допустить возврата к доянварским порядкам и заверил, что не будет пользоваться административными методами.

¹ Vyber z domacej, a svetovej tlace, n. 2, 1969, 17.

Важно было амортизировать возможные проявления недовольства в массах, создать у них в момент фактической смены власти впечатление, что никакой смены власти не произошло.

Последующие месяцы были заняты очисткой высших этажей власти и средств массовой информации от тех приверженцев реформ, которые быстрее других распознали суть намерений Гусака. Были смещены редакции газет, журналов, радио и телевидения, ряд периодических изданий был попросту закрыт. Сам Дубчек недолго занимал пост главы парламента и вскоре был отправлен послом в Турцию.

20–21 августа — в первую годовщину вступления в страну войск Организации Варшавского Договора — в Праге и некоторых других городах состоялись демонстрации протеста, жестко подавленные войсками и полицией по приказу Гусака, который расценил их как доказательство активности контрреволюции.

В сентябре — октябре 1969 г. Гусак уже смог продиктовать полностью деморализованному ЦК и низшим партийным звеньям отмену всех партийных решений, содержащих протест против вступления иностранных войск в республику. Само же это вступление было переквалифицировано в соответствии с советской точкой зрения как братская помощь.

Перелом хребта партии был закреплен ее общей чисткой. (Правда, на майском пленуме ЦК 1969 г. Гусак заверил, что не собирается проводить какую-либо массовую проверку членов КПЧ, но, возможно, обстоятельства оказались сильнее его намерений¹.) В течение 1969–1971 гг. из КПЧ было удалено около полумиллиона ее членов, обвиненных или заподозренных в приверженности к реформам или хотя бы в нежелании или неумении активно им противодействовать, т.е., по сути, весь партийный актив периода реформ. Исключенные из партии теряли и свои прежние источники существования — работу, соответствовавшую приобретенной ими в течение предыдущей жизни квалификации. (Теперь бывшие академики, писатели, секретари обкомов и члены ЦК должны были в качестве чернорабочих заботиться о насущном хлебе, причем стало обычным увольнять их и с такой работы по любому поводу и без повода в зависимости от усмотрения того или иного мелкого начальника. Тот, кто пытался слишком громко протестовать, мог оказаться в тюрьме. Разумеется, из партии были исключены и Дубчек, и Черник, и Смрковский, и Кригель, и еще десятки и сотни тысяч партийных работников высшего и низшего уровней и рядовых активистов.

В 1971 г. состоялся съезд "очищенной" партии. Он был, конечно, назван XIV, поскольку, как уже было сказано, съезд, прошедший 22 августа 1968 г., был признан неполномочным. Принятый на новом съезде документ "Уроки кризисного развития" дал окончательное для того времени оформление версии имевших место событий.

Органы пропаганды пяти стран, пославших свои войска в Чехословакию, утверждали, что эта акция явилась братской помощью дружеской и союзной стране по просьбе ее народа. На Западе тогда много говорили

¹ Husák G. Hlavní úkoly strany v současné situaci. Referát na plenárním zasedání ÚV KSČ 29 května 1969. — In: Husák G. Projevy a stati. Duben 1969 — leden 1970, Praha, 1970, S. 95.

о "доктрине Брежнева", существование которой возмущенно отрицали и сам Брежнев, и все пропагандисты пяти стран. Дело, однако, было не в наименовании, а в действительном существовании политической линии, проявившейся в отношении к Чехословакии, и в идеологическом обосновании этой линии. А именно: при отсутствии международно-правовых оснований для ввода войск на территорию суверенного государства, против воли его законно признанных органов руководства единственным аргументом, широко пропагандировавшимся в 1968 г., был тезис о коллективной ответственности социалистических стран за судьбы социализма в каждой из них, причем вопрос о суверенитете, как утверждалось, должен был отойти на задний план. Этот тезис, изложенный в статье С.Ковалева "Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран" ("Правда", 26 сентября 1968 г.), и дал повод западной публицистике назвать его "доктриной Брежнева" или "доктриной ограниченного суверенитета".

Однако еще до появления статьи С.Ковалева и чехословацкого кризиса суть дела была в общем виде очерчена в ряде выступлений деятелей международного коммунистического движения и руководителей социалистических стран, в официальных документах, в теоретических и пропагандистских трудах. Было давно известно, что, согласно принятой доктрине, Советский Союз был обязан всеми доступными средствами содействовать победе социализма, а затем и коммунизма во всем мире (принцип пролетарского интернационализма). Непременной чертой такой победы должно было быть установление власти рабочего класса при руководстве марксистско-ленинской партии. (Лишение партии монополии на власть равносильно крушению социализма и потому недопустимо.) В свою очередь интернациональным долгом всех компартий мира является безусловная поддержка КПСС и Советского Союза, так что партия, уклоняющаяся от этого долга, не может считаться марксистско-ленинской, коммунистической. Иными словами, согласно такому пониманию, целью коммунистического движения было установление во всем мире режимов, осуществляющих абсолютную власть в своих странах и в то же время беспрекословно подчиняющихся единому международному центру. Недруги такой концепции называли ее доктриной мирового господства.

Казалось бы, что эта доктрина в корне противоречит концепции сосуществования государств с различным общественно-политическим строем. Однако упомянутая доктрина подразумевала, что подобное сосуществование, как бы длительно оно ни было, является временным, ибо все дороги ведут к коммунизму, и, во всяком случае, любые нормы международного права должны быть подчинены так понимаемым задачам классовых борьбы.

Вместе с тем еще в начале 30-х годов Советское правительство предложило определение агрессии, подразумевавшее, в частности, вторжение в ходе международного конфликта вооруженных сил одного государства на территорию другого без объявления войны, причем оправданием такого акта не может служить ни революция, ни контрреволюция, ни гражданская война. Такое совмещение противоположных тезисов можно вслед за Д.Оруэллом назвать "двоемыслием".

Тезис, сформулированный Ковалевым, нашел немало противников в коммунистическом движении, в том числе и среди руководителей ряда

социалистических стран. Вступление войск пяти стран в Чехословакию они расценили как ничем не оправданное нападение на братскую социалистическую страну.

Даже в странах-участницах посылки войск были заметны нюансы и отклонения от прямолинейной "брежневской" мотивировки. Польская пропаганда убеждала свой народ, что польские войска в Чехословакию обеспечивают прежде всего безопасность самой Польши от нападения на нее из Западной Германии через Чехословакию. Мотив защиты от нападения со стороны ФРГ выдвигался на первый план и в пропаганде ГДР. Венгерская пропаганда стремилась по мере сил смягчить значение происходящего, убеждая свое население в том, что поход в Чехословакию не направлен, в сущности, против реформ, а скорее, даже призван обеспечить им успех. Пожалуй, только в Болгарии, не мудрствуя лукаво, повторяли советское толкование и заявляли, что промедление в данной ситуации было бы преступлением, что абстрактного суверенитета вообще не существует, буржуазные свободы несовместимы с социализмом, введение войск пяти держав в Чехословакию и явилось защитой суверенитета ее народов.

Н. Чаушеску сразу же назвал это вступление войск "позорнейшим моментом в истории революционного движения". "Говорят, что в Чехословакии имеется опасность контрреволюции, — говорил он, — найдутся, может быть, завтра иные, которые скажут, что и здесь, на этом собрании проявились контрреволюционные тенденции. Отвечаю всем: весь румынский народ никому не позволит нарушить территорию своей родины!"¹ Чаушеску призвал румын готовиться к вооруженному отпору. Срочно создавалось военизированное народное ополчение ("патриотическая гвардия") в поддержку регулярной армии. Выступая 29 ноября 1968 г. в Национальном собрании, Чаушеску решительно заявил, что тезис о том, что совместная защита социалистических стран предусматривает ограничение суверенитета какой-либо из них, не может быть принят ни в какой форме. Принадлежность к какому-либо военному блоку не означает, что к этой стране более неприменимы нормы международного права. Со временем, убедившись в том, что Румынии не угрожает непосредственная опасность оказаться под машинами "скорой братской помощи", и не желая обострять отношения с Советским Союзом сверх необходимого, Чаушеску сбавил тон. Однако меры предосторожности военного характера он продолжал принимать на протяжении многих последующих лет. Позиция, занятая Румынией на международной арене и особенно по чехословацкому вопросу в 60-х годах, до такой степени повысила престиж Н. Чаушеску в стране и за рубежом, что у него стало развиваться "головокружение от успехов", которое привело его через два десятилетия к краху и гибели.

Еще более резко реагировала на вступление в Чехословакию войск Организации Варшавского Договора Югославия. Тито в первый же день заявил, что это является нарушением суверенитета социалистической страны, тяжелым ударом по социалистическим и прогрессивным силам всего мира. На срочно созванном X пленуме ЦК СКЮ он назвал абсурдным утверждение о том, что Чехословакию надо было защитить

¹ Чаушеску Н. Румыния по пути завершения социалистического строительства. Доклады, речи, статьи. Бухарест, 1969, с. 448—449.

от нападения войск ФРГ и НАТО. Он сказал, что в действительности речь шла о том, чтобы помешать ускорению движения к развитым социалистическим отношениям в ряде социалистических стран. "Величественное красное знамя было запачкано уже в 1948 году, — сказал Тито. — Но мы много сделали, чтобы устранить это пятно с него... Сумеет ли мы добиться этого теперь — это вопрос. Это было нелегко тогда, а теперь будет еще труднее". Резолюция пленума гласила: "Организаторы оккупации ЧССР углубляют раскол в международном рабочем движении... Оккупация ЧССР — не случайный уклон..."¹

Отправка войск в Чехословакию нанесла моральный удар по тем силам в Югославии, которые, исходя из основополагающих идейных установок (марксистско-ленинские убеждения, отрицательное отношение к капиталистическому Западу), тяготели к дружбе с Советским Союзом. Тито отмечал на IX съезде СКЮ, что Югославия придавала большое значение сотрудничеству с социалистическими странами, но что военная интервенция пяти стран в Чехословакии негативно отразилась на этом сотрудничестве².

Именно в это время Югославия стала закладывать основы своей системы всенародной обороны, рассчитанной на эффективный отпор нападению со стороны любой, даже самой мощной в военном отношении державы мира. Не скрывая, что урок извлекается именно из горького чехословацкого опыта, югославы приняли закон (вскоре вошедший в конституцию), который под страхом обвинения в государственной измене запрещал официальным представителям страны вступать в какие бы то ни было соглашения с державами, направившими свои войска в пределы Югославии. Подчеркивалась обязанность югославских вооруженных сил (в состав которых закон включал все население страны независимо от пола и возраста) вести непримиримую борьбу с иностранными войсками, под какими бы предложениями они ни появились в Югославии, до их полного разгрома, изгнания или уничтожения. Международный контекст такого законодательства был абсолютно ясен. А когда представитель чехословацких "реалистов", тогдашний премьер-министр ЧССР О.Черник, обосновывая в парламенте только что заключенный договор о пребывании войск Советского Союза в течение неопределенного времени на территории Чехословакии (кстати говоря, в нарушение обязательства Советского правительства вывести свои войска из Чехословакии после "нормализации" положения в этой стране), говорил, что такие малые страны, как Чехословакия, не имеют иного выбора, кроме как примкнуть к тому или иному из соперничающих на мировой арене блоков.

Китайским и албанским руководителям не пришлось менять свое отношение к Советскому Союзу в связи с чехословацкими событиями, которые, по их словам, лишь подтвердили их прежнюю оценку советских лидеров как изменников дела социализма и коммунизма. Добавились лишь оттенки в аргументации и в формулировках: так, советских руководителей называли теперь "новыми царями", а внешнюю политику

¹ Lindner R. Der östliche Interventionsgegner. Jugoslawien empört und besorgt. — *Osteuropa*, 1968, n. 10—11, S. 775—778.

² Stanković S. Die Konsequenzen für Belgrad *Osteuropa*, 1968, 10—11, S. 778—780. *Osteuropa-Archiv*. November 1969. Dokumente des Belgrader IX Parteitags. — *Osteuropa*, 1969, n. 11, S. 344—345.

СССР — “социал-империализмом” и “фашистской агрессией”¹. И если еще недавно албанская пропаганда обвиняла Советский Союз в преступном попустительстве чехословацким реформаторам-ревизионистам и в передаче Чехословакии в распоряжение западных империалистов, то теперь она уже утверждала, что сама военная оккупация Чехословакии есть результат советско-американского сговора. Дубчековское руководство уже обвинялось в капитулянтстве и саботаже национально-освободительной борьбы народов Чехословакии против захватчиков. 13 сентября 1968 г. Народное собрание Албании приняло закон о расторжении Варшавского Договора, “превратившегося в инструмент агрессии” и служащего якобы “империалистическим целям советско-американского сотрудничества для достижения мирового господства”².

Напротив, Фидель Кастро, который, начиная с 1962 г., не раз выражал свое неудовлетворение чрезмерно осторожной, по его мнению, внешней политикой Советского Союза, на этот раз решительно поддержал ее. Кубинский лидер заявил, что, хотя с формальной точки зрения суверенитет Чехословакии был бесспорно нарушен, эти действия оправдываются высшими интересами борьбы с мировым империализмом. Они продемонстрировали решимость Советского Союза. Кастро выразил пожелание, чтобы Советский Союз во всеуслышание пообещал также отправить в случае нужды свои войска и в Западное полушарие, не взирая ни на какие формальности международно-правового характера³.

Руководитель компартии США Гэс Холл обрисовал положение с Чехословакией в такой метафоре: если горит дом, а его обитатели спят, то соседи имеют право и обязаны взломать двери⁴. Несколькоими неделями раньше чехословацкая газета “Литерарни листы” использовала ту же метафору, изобразив в карикатуре гиганта-пожарника Брежнева, выливающего ведро воды на крошечный домик, из которого выбегает малюсенький Дубчек с отчаянным криком: “Да не горит же!”

Большинство компартий Западной Европы поддерживало чехословацкие реформы и пыталось посредничать в советско-чехословацком конфликте. События 20–21 августа они восприняли как пощечину и впервые за всю свою историю осудили внешнюю политику первой страны социализма. Политбюро Французской компартии заявило 21 августа 1968 г., что оно удивлено вступлением войск в Чехословакию и порицает его, политбюро Итальянской компартии назвало его “неоправданным”, руководитель Шведской компартии Херманссон потребовал порвать дипломатические отношения с Советским Союзом.

Последним непосредственным откликом в международном коммунистическом движении на чехословацкие события была дискуссия на Международном совещании коммунистических и рабочих партий в Москве 31 мая — 2 июня 1969 г. Тщательно готовившееся в течение

¹ Claubitz Z. Peking — nachte Piraterie. — *Osteuropa*, 1968, n. 10–11, S. 783–786; Der Konflikt Peking — Moskau — neuste Phase-Osteuropa, 1969, n. 8, *Osteuropa-Archiv*, S. A–78–A–80.

² Chronik. Osteuropa Juli-September 1968, — *Osteuropa*, 1969, n. 5–8, S. 427–428; Iindner R. Tirana: Aufruf zum Widerstand. — *Osteuropa*, 1968, n. 10–11, S. 786–788.

³ Schenk P. Kuba und die Kummunistische Welt. — *Osteuropa*, 1969, n. 4, S. 281–282.

⁴ Гэс Холл. Выполнен интернациональный долг. — *Неделя*, 1968, № 39, с. 10–15.

ряда лет Совещание должно было противопоставить сплоченный фронт большинства компартий мира маоистским попыткам расколоть международное коммунистическое движение и намечалось на ноябрь 1968 г. Когда стало ясно, что в обстановке страстей, разгоревшихся вокруг Чехословакии, встреча на высшем уровне может привести к полному развалу движения, чего никто из предполагаемых участников не желал, мероприятие было перенесено более чем на полгода — в явную надежде на то, что за это время положение в Чехословакии так или иначе будет урегулировано.

Действительно, к началу лета 1969 г. в Чехословакии произошла смена власти, и новый глава партии Гусак попросил участников предстоящего Совещания не касаться чехословацкого вопроса. (Теперь, когда силы реформаторов в Чехословакии были сломлены и непосредственные цели советского руководства достигнуты, было уже нежелательно драматизировать положение в этой стране и привлекать к ней международное внимание.) Тем не менее национальный секретарь компартии Австралии Л.Ааронз осудил на Совещании ввод войск в Чехословакию в августе 1968 г. Его поддержало еще несколько делегаций, но подавляющее большинство, в том числе и те, кто разделял мнение Л.Ааронза, не сочли нужным ставить эту проблему в центр дискуссии и тем самым обрекать встречу на провал, а мировое коммунистическое движение — на непоправимый раскол¹.

Но если советские руководители полагали, что шок, вызванный в мировом коммунистическом движении чехословацкими событиями, постепенно пройдет, то они проявили этим свою недалекость. Отношение компартий мира к Советскому Союзу и КПСС приобрело с тех пор новое качество. Безусловная поддержка советской внешней политики перестала быть аксиомой, и даже стала рассматриваться возможность поддержки буржуазного правительства своей страны в случае военного конфликта с Советским Союзом, в котором все чаще усматривали потенциального агрессора. Французская компартия отказалась вскоре от своего прежнего неприятия французской ядерной ударной силы, нацеленной, как всем было ясно, именно против СССР. Руководители итальянских и испанских коммунистов заявляли по поводу оправдания Советским Союзом посылки вооруженных сил в чужую страну без ее согласия для защиты социализма, что именно такой подход и является угрозой социализму, и даже возлагали надежды на НАТО как гаранта свободы Запада (в том числе и его социалистической перспективы) от возможного советского произвола.

За пределами мировой системы "реального социализма" и мирового коммунистического движения концепция и в особенности практика "ограниченного суверенитета" вызвали широкое неудовольствие в недавно освободившихся странах. 27 из 30 стран Африки выразили возмущение действиями Советского Союза в Чехословакии².

¹ Международное Совещание коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы. М., 1969.

² Правительство Танзании, например, объявило, что вторжение в Чехословакию — измена всем принципам самоопределения народов и национального суверенитета. Зато Национальный комитет защиты революции Мали заявил 30 августа — после возвращения министра иностранных дел Мали из Москвы, — что действия СССР в Чехословакии вполне справедливы и являются ударом по империализму (M e n e r t K. Afrika reagiert empört. — *Osteuropa*, 1968, n. 10—11, S. 793—798).

Западные правительства получили в момент вступления армий пяти стран в Чехословакию специальные заверения от советских дипломатов, что эта акция никоим образом не направлена на изменение военно-политического положения в Европе и не должна, следовательно, их беспокоить. В свете этого топорными выглядят утверждения "устной пропаганды" (находившей тем не менее доверчивых слушателей) о том, что поспешным введением войск пяти стран в Чехословакию было в последний момент упреждено вторжение с Запада. Красноречивым было и то обстоятельство, что вступившие в Чехословакию войска устремились отнюдь не к западной границе — наперерез этому мифическому вторжению — а к Праге и Братиславе, продемонстрировав тем самым, где находился действительно враг.

Заверения советской дипломатии могли успокоить западные правительства насчет непосредственных намерений СССР, но не устранили глубокой тревоги насчет его политики в перспективе¹. Общественное мнение стран НАТО, настойчиво и небезуспешно добивавшееся в середине 60-х годов демонтажа военной организации, сокращения военных расходов, ликвидации натовских военных баз, сведения к минимуму совместных вооруженных сил, теперь встрепенулось и, исполненное озабоченности, занялось укреплением Атлантического союза. Осложнились и поиски выхода из кризиса на Ближнем Востоке и в Индокитае. Заверения с советской стороны в миролюбии, уважении права каждого народа самому определять путь своего развития выглядели на историческом фоне событий в Чехословакии в 1968—1969 гг. цинизмом.

В середине 70-х гг. на Западе делались попытки рассматривать чехословацкий кризис 1968 г. как конфликт внутри "советской империи", рубежи которой были очерчены еще в Ялте в 1945 г. Введение советских войск в Афганистан нанесло удар по этим настроениям. Последовал новый виток гонки вооружений, новое обострение общемировой обстановки, пока не стала ясной необходимость строить международные отношения на принципиально иных основах.

Реальности, созданные "походом на Прагу" в 1968 г., продолжали существовать до осени 1989 г. Новое руководство СССР в своих усилиях по установлению международного доверия вместо равновесия страха не могло не ощущать груз прошлого, оставленный ему предшественниками.

Оценка чехословацких событий 1968 г. — это вопрос не только политической морали, но и реальной политики. Не отмежевываясь от таких деяний, которые позволяло себе брежневское руководство, наше государство не может рассчитывать на полное доверие на международной арене, а раз так, то и всяческие уступки с нашей стороны в области разоружения будут бесплодны и лишь ослабят нашу обороноспособность.

¹ Hájek, p. 206—207; Déclarations de quelques gouvernements et partis politiques vis a. — vis de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. — In: Prague 1948—1968, p. 294—309.

АФГАНСКАЯ ПРОБЛЕМА: ЭКЗАМЕН СОВЕСТИ

Говорят, афганская проблема уже позади: наши войска выведены из страны, мы не принимаем больше непосредственного участия в боевых действиях, наши солдаты и офицеры больше не погибают на этой земле, матери и жены не ожидают со страхом вестей из Афганистана. Все! Конец этой кровоточащей ране, ставшей болью всего нашего народа. Конец ли? А может быть, конец лишь горячей войне, которую мы с купеческим ухарством оплачивали не только миллиардами из своего скудного бюджета, но и тысячами человеческих жизней, искалеченной судьбой десятков тысяч, психологической болью сотен тысяч? Да, конец тем страданиям, которые стали экзаменом на мужество для целого поколения юношей в солдатских шинелях. Они этот экзамен выдержали с честью.

Но хотелось бы посмотреть на афганскую войну с другой стороны — с нравственной. И эта проблема встает сейчас с особой остротой. Выдержим ли мы этот экзамен совести? Он ведь требует не меньшего мужества, гражданской честности, профессиональной объективности. Этот экзамен — показатель достигнутого нами в ходе перестройки уровня правды, гласности, демократии, социальной зрелости. Не выдержав его, мы не сможем извлечь необходимых уроков из горьких плодов афганского похода, мы не сможем создать такие условия, при которых подобные ошибки будут невозможны. А это будет обидно вдвойне — и за живых, и за мертвых. За мужеством тех, кто погиб, искалечен на афганской земле, должно последовать мужество тех, кто повелевал ими все эти годы. Я понимаю: у победы много отцов, а поражение — безродно. Но в эпоху перестройки, самоочищения мы не вправе мириться с этим. Только сказав полную правду, мы сможем воздать каждому должное. Только тогда воцарится справедливость, которой требует народ, к которой зывают долг, честь и совесть.

Сейчас складывается совершенно парадоксальная ситуация: всю проблему уроков афганского похода мы пытаемся свести к вопросу принятия решения на ввод ограниченного контингента советских войск. При этом усилия концентрируем на выяснении того, кто же окончательно принял такое решение? Думаю, что здесь нет проблемы, ибо понятно, что в рамках нашей системы такое решение было возможно принять только на уровне Генерального секретаря, Председателя Совета обороны. С помощью элементарной логики мы можем с высокой степенью достоверности "вычислить" и то, что в принятии решения участвовали: министр иностранных дел, министр обороны, председатель КГБ. Участ-

вовали потому, что должны были участвовать по своему служебному положению.

Но возникают два интересных момента.

Первый: все они умерли. Возложить всю вину на умерших — подвиг небольшой и незавидный. *Второй:* а почему они приняли такое решение? Ведь оно на чем-то основывалось, ему предшествовал какой-то анализ какой-то информации. Какой? Кто ее давал? Какой характер она носила и какова была ее объективность в контексте той конкретно сложившейся ситуации, которая существовала в 1979 г.? Эти вопросы — уже к живым. Именно поэтому понятно такое упорное стремление отнести вину за принятие решения на мертвых. Но честно ли это?

Думаю, что афганскую проблему, и в частности проблему ввода наших войск, необходимо анализировать не с состояния мира в конце 80-х годов, а с позиций конца 70-х. Без этого невозможно приоткрыть тайну мотивации принятия решения. А именно это важнее, чем механизм принятия решения ввода войск.

Давайте попытаемся взглянуть на мир конца 70-х годов. Обратим внимание на некоторые события, которые способствовали созданию обстановки жесткой конфронтации между США и СССР, между Западом и Востоком. Итак: решение НАТО о ежегодном увеличении своих военных бюджетов до конца XX в.; формирование долгосрочных военных программ США; создание "сил быстрого развертывания" с явно провокационными целями агрессивного характера; американская администрация фактически отказалась от ратификации Договора ОСВ-2; НАТО планирует в ряде европейских стран разместить новые американские ракеты средней дальности. А если к этому добавить американскую игру с Китаем, который в тот период выступал с открытой антисоветской позицией, и подготовку США к вторжению в Иран, которое тоже планировалось открыто и активно? Таковы лишь некоторые события, опасно накалившие международную обстановку. Можно ли было не учитывать все это в формировании линии поведения нашей страны на своем южном фланге? Сейчас мы можем говорить, что все это была видимость агрессивности США, что ничего не могло бы быть из всего этого реализовано. Думаю, что такой разговор был бы по меньшей мере безответственным. Всего этого мы не могли не учитывать при принятии решения на ввод советских войск в Афганистан.

Теперь о позиции США в самом Афганистане, об отношении американской администрации к изменениям, происшедшим в этой стране в апрельские дни 1978 г. На этом хотелось бы остановиться подробнее в связи с двумя моментами. *Во-первых*, это принципиально важно с точки зрения мотивации решения советского руководства. *Во-вторых*, это имеет, на мой взгляд, важное значение в связи с имеющимся в американской литературе мнением, что Афганистан не интересовал США¹.

Думаю, что американские авторы Ричард Барнет и Экбаль Ахмад не правы в своих утверждениях, что Афганистан не интересовал США. Так ли это? В статье "Кровавые игры" они признают: "США, поддерживающие афганское сопротивление, развязали тщательным образом продуманную и чрезвычайно дорогую тайную войну, равной которой не

¹ См.: E g b a l A h m a d and R i c h a r d J. B a r n e t. Bloody Lames. — *The New Yorker*, 11.IV.1988.

было со времен операций ЦРУ в Лаосе и Камбодже в начале 70-х годов". Позволительно спросить: зачем понадобилось США — крупнейшей державе капиталистического мира — за тридцать земель развязывать тщательно продуманную и очень дорогую тайную войну? Не говорит ли это об интересе США к Афганистану, да и в целом к исламскому региону? Внимательный взгляд на поведение США в этом районе убеждает в интересе США к этой стране, интересе, который особенно усилился после антимонархического переворота М. Дауда в 1973 г. и тем более после событий, происшедших в Иране в феврале—апреле 1979 г.

Именно США стали главной силой, выступавшей против Афганистана, силой, по существу оказывавшей не только все возрастающую помощь оппозиционным Кабулу движениям, но и дирижировавшей всем антиафганским хором. Уверен, что Афганистан был для США важным звеном в общем экспансионистском курсе, проводимом в регионе Среднего Востока. Считая этот регион сосредоточением своих экономических и политических интересов, а следовательно, объектом стратегических притязаний, США не только поддерживали складывавшуюся в этом регионе ситуацию нестабильности, но и активно создавали ее. Разве не об этом говорит тот факт, что по специальному указанию Д. Картера для подготовки к "малым войнам" в этом районе к началу 1978 г. выделялось три дивизии (морской пехоты и сухопутных войск), ряд авиационных частей? Массированная антиафганская деятельность США осуществлялась по разным каналам, особенно дипломатическим, массовой информации и спецслужб.

Хотелось бы обратить внимание на некоторые факты, раскрывающие характер и интенсивность деятельности американских спецслужб в Афганистане. Конечно, можно назвать случайностью появление в Пакистане Роберта Лессарта — одного из самых видных специалистов ЦРУ по Востоку. Он имел немалый опыт, большой успех еще тогда, когда помогал иранскому шаху создавать печально известную организацию САВАК. Этот "туристический визит" привел к резкой активизации деятельности афганской оппозиции в Пакистане. Обращает внимание и деятельность управления по борьбе с распространением наркотиков, удобно расположившегося в Пакистане. Об истинных делах этой темной конторы, готовившей заплочных дел мастеров для будущей кровавой работы в Афганистане, писал индийский еженедельник "Блиц" 9 и 12 января 1980 г. Кстати, в номере за 9 января приводятся весьма интересные детали. Обратим на них внимание. Руководитель указанного выше управления (сама эта организация обособилась в Вашингтоне) Питер Бенсинджер направил письма американскому послу в Пакистане, в которых уведомлял его в том, что "пакистанская территория... предоставлена в полное распоряжение небезызвестного американского подрывного ведомства — Центрального разведывательного управления".

Было бы наивным полагать, что внутренняя и международная реакция обрадовались апрельскому перевороту 1978 г. в результате которого была свергнута аристократическая республика М. Дауда и провозглашена власть широкого блока демократических сил. Я не говорю о внешних проявлениях чувств, я имею в виду внутренние, стратегические установки и цели. Внешне США через неделю признали новую власть в Кабуле. Но это только внешне. Вряд ли можно сомневаться в том, что США хотели бы иметь в лице Афганистана достойную замену Ирану, чей

непримиримый антиамериканский курс обозначился однозначно. Когда стало очевидным, что такая цель практически недостижима, начался подрыв власти руками афганской оппозиции, часть которой сформировалась еще в период правления М. Дауда, а часть образовалась вследствие объективных процессов становления нового режима и субъективных просчетов его руководителей.

Естественно, в США понимали, что свергнуть кабульский режим возможно только массированными действиями вооруженной оппозиции. Следовательно, широкая подготовка кадров для вооруженной борьбы против кабульского режима являлась частью стратегической установки США в Афганистане. Реализация этой установки шла через создаваемые базы вооруженной афганской оппозиции преимущественно на территории Пакистана. Здесь готовились кадры, сюда поступало оружие. Центры подготовки мятежников росли как грибы после дождя. Такие крупные базы, как Мир-Али (на 2 тысячи человек), Садда (на 1200 человек), Танги (на 900 человек) и другие, работали бесперебойно. Да и специалистов эти учебные центры готовили до весьма широкой номенклатуры: от общей военной подготовки до обучения диверсантов-террористов, подрывников, минеров и т.п. Кстати, во многих центрах работали инструкторы из США.

Во внешнеполитической деятельности США афганская проблема стала возникать все чаще, причем все чаще звучали ноты антисоветской истерии. Эти мотивы, несомненно, присутствовали и при разработке в конце 1978 г. планов сосредоточения американских ВМС в районе Персидского залива. Они не могли не оказать влияния и на содержание визита тогдашнего министра обороны США Г. Брауна на Ближний Восток (январь 1979 г.). Думаю, что не случайно в это же время (январь 1979 г.) Афганистан посетил помощник советника президента США по национальной безопасности. Кстати, отметим, что по его возвращении в Вашингтон состоялись переговоры с представителями афганских оппозиционных организаций.

Всего сказанного вполне достаточно, чтобы убедиться в нарастающем интересе США к Афганистану, интересе отнюдь не с целью помощи становлению новой власти, а с целью ее подрыва. И этот интерес нельзя рассматривать обособленно, вне контекста общей стратегической линии США. Интересы США в Афганистане реализовывались не только в собственных действиях американской администрации, но и в позициях Пакистана, Китая, Ирана и других стран, оказывавших помощь афганской вооруженной оппозиции.

При анализе ситуации, сложившейся перед вводом наших войск, нельзя упускать из виду также ирано-афганские отношения. Официально Иран признал ДРА 6 мая 1978 г. Однако вместе с признанием он начал интенсивную деятельность по разработке мер обеспечения "региональной безопасности". Цель была одна: парализовать стратегическое воздействие афганских событий в регионе. Эта тема присутствовала и на переговорах, которые велись в Тегеране с Хуа Гофеном в августе 1978 г. Ряд иранских воинских формирований были передислоцированы к ирано-афганской границе, а афганская оппозиция получила значительные суммы. Негативное отношение Ирана к кабульскому режиму еще больше обозначилось с приходом в 1979 г. к власти Р. Хомейни. Особо щедрую помощь Ирана получали такие оппозиционные организа-

ции, как Исламская партия Афганистана во главе с Б. Раббани. И это понятно, ибо эти лидеры афганской оппозиции разделяли взгляды имама об экспорте исламской революции и необходимости исламизации общественно-политической жизни в мусульманских странах.

Открыто антиафганский характер приобрели и пакистано-афганские отношения, хотя в самом начале Исламабад заявил о готовности развивать дружественные отношения с Кабулом. Немалый отпечаток на эти отношения наложило наличие на территории Пакистана афганской политической эмиграции, начало которой было положено задолго до апрельских событий 1978 г. И все же главное значение в формировании отношений двух соседних стран имела военно-политическая зависимость администрации Зия-уль-Хака от США.

Надо отметить, что в формировании пакистано-афганских отношений существовал еще один негативный фактор. Это непродуманные заявления Тараки и Амина о судьбах пуштунских и белуджских племен. К этой проблеме Пакистан всегда относился весьма болезненно. И то, что вначале кабульский режим деликатно обходил эту проблему, на мой взгляд, способствовало возникновению контактов между Кабулом и Исламабадом. Официальный визит Зия-уль-Хака в сентябре 1978 г. в Кабул, а затем переговоры министра торговли Пакистана (декабрь 1978 г.), казалось бы, наметили контуры решения пуштунской проблемы путем мирных политических переговоров и решения вопроса о транзите через Пакистан афганских грузов. Побывавший в Исламабаде в июле 1979 г. с визитом заместитель министра иностранных дел Афганистана Ш. М. Дост продолжил линию налаживания контактов, пригласив с официальным визитом Зия-уль-Хака и министра иностранных дел Пакистана Ага Шахи. Однако Пакистан в одностороннем порядке отодвинул сроки визитов, а затем и отклонился от возобновления переговоров. Что вдруг настояжилось Пакистан? Думаю, что здесь имел место ряд факторов: давление США, Китая и ряда мусульманских государств, наличие значительной массы афганских беженцев на территории страны, определенный страх перед вооруженной афганской оппозицией и не в последнюю очередь, изменения, происшедшие в позиции кабульского режима в пуштунской проблеме. Факт остается фактом: афгано-пакистанская граница на долгие годы стала ареной крайней напряженности, источником формирования и обеспечения многочисленных отрядов вооруженной оппозиции.

Конечно, нельзя в оценке ситуации, сложившейся к концу 1979 г., упускать и позицию КНР в данном регионе. Думаю, что она вписывалась в контекст стратегической линии, которой придерживались китайские руководители в тот период, а она была нескрываемо антисоветской. Пекину явно не нравилось развивающееся сотрудничество СССР с Афганистаном. Особенно негативную реакцию китайских лидеров вызвал заключенный в Москве 5 декабря 1978 г. договор, где советско-афганским отношениям придавался новый импульс. Считая, что этот договор угрожает безопасности стран региона и КНР, пекинские лидеры стремились, с одной стороны, содействовать обострению внутривнутриполитической обстановки в ДРА, а с другой — улучшить свои позиции в Пакистане. Одновременно усилились военные приготовления в приграничных с ДРА областях. После завершения строительства Каракорумского шоссе (1978 г.) был создан новый военный округ в Синьцзяне. Этот район стал одной из

приграничных зон, где интенсивно шла подготовка кадров вооруженной оппозиции. Не без участия промаоистской агентуры проходили события, имевшие место в Герате, Бадахшане, Хазараджате. Об этих недружественных шагах Пекина говорилось в заявлении правительства ДРА от 24 марта 1979 г. В ответ КНР прекратила оказание экономической помощи Афганистану и активизировала материальную поддержку вооруженной оппозиции.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что к концу 1979 г. в Афганистане и вокруг него сложилась сложная политическая обстановка. И будет правильным сказать, что здесь сошлись интересы не только двух сверхдержав, но и двух противоборствующих миров. Могло ли это не вызывать озабоченность СССР? Конечно, мы не могли быть безучастными к происходящим событиям.

Советское высшее руководство приняло решение об удовлетворении просьбы афганской стороны об оказании непосредственной военной помощи и ввело в Афганистан советские войска. Можно ли понять такое решение? Да, можно, исходя именно из контекста развития событий именно в тот период общего состояния советско-американских отношений. Но понимание неравнозначно оправданию. Понять, но не оправдать! Нет ли здесь противоречия? Думаю, что нет. И вот почему.

Во-первых, мы постоянно ссылаемся на обязательства, взятые нами Договором от 5 декабря 1978 г., и на то, что их исполнение не противоречит букве и духу статьи 51 Устава ООН. Но можно ли было в столь сложном вопросе, как ввод войск в другую страну, прикрывшись документом, не учитывать мнение своего народа, реакцию международного сообщества? Ведь в нашем народе афганская акция не была популярна с самого начала. А уж тем более когда стало очевидным, что быстрого решения вопроса не может быть и мы теряем своих сынов в заведомо бесперспективной и непопулярной войне. Ни пропагандистская эквилибристика, ни лихие корреспондентские материалы, которыми были насыщены наши средства массовой информации, не могли компенсировать боль и горе матерей, потерявших своих детей в горах Гиндукуша, страдания юношей, ставших инвалидами.

Или: можно ли было игнорировать мнение наших друзей и врагов, осуждавших афганский поход и дружно голосовавших против нас в ООН? Конечно, нет! Да, США вели себя в тот период "распоясавно", не особо заботясь о нормах международного права, человеческого общечеловеческого идеала и представлений. Но, подвергая их справедливой критике, мы сами поддались соблазну "показать мускулы". Отсюда моя твердая убежденность в том, что при принятии таких решений недостаточно юридической обоснованности, нужна еще высокая нравственность поступков на международной арене. А критерием такой нравственности служит лишь соответствие поступков и их следствий общечеловеческим идеалам и представлениям. Именно в этом плане ввод войск в Афганистан нанес нашей стране очень серьезный удар в глазах и советской и мировой общественности: мы дали повод нашим врагам говорить о советском экспансионизме, о стремлении к нефтяным кладовым Ближнего Востока и к теплым южным морям; мы оказались в неловкой (мягко скажем!) ситуации в ООН: мы усложнили советско-китайское урегулирование; мы несли колоссальные расходы на войну; мы очень затруднили наши отношения со странами мусульманского пояса и оказались в нелегком положении в

Движении неприсоединения и т.д.

В создавшихся условиях действия США, других стран и сил региона, поддерживавших афганскую вооруженную оппозицию, как бы приобретали "вторичный характер". Постоянно и активно разыгрывая "афганскую карту", Запад оказывал разностороннее давление на СССР и ДРА. Антисоветская кампания приобрела международный характер, а США пытались, используя афганскую проблему, действовать в широком диапазоне — от экономических санкций до бойкота Олимпиады.

Надо отметить, что кабульский режим с самого начала ввода наших войск выдвигал план комплексного подхода и политического урегулирования обстановки вокруг Афганистана (заявление правительства ДРА от 14 мая 1980 г.). Западные державы, Пакистан, Иран, КНР в своих контрпредложениях ставили требования безусловного предварительного вывода советских войск и неучастия кабульского правительства в переговорах. Как в "плане Каррингтона", идеи которого нашли свое выражение в заявлении стран—членов ЕЭС от 31 июня 1981 г, так и во всех последующих предложениях Запад пытался интернационализировать афганскую проблему, настаивал на немедленном выводе советских войск, игнорировал официальную власть в Кабуле, предлагал рассматривать руководителей вооруженной оппозиции как "единственных" представителей афганского народа, стремясь создать вокруг СССР атмосферу международной изоляции. Короче говоря, принимая решение о вводе советских войск в Афганистан, советское руководство не смогло предусмотреть всю широту и глубину международного резонанса на эту акцию. Принятие решения такой внутренней и международной важности без предварительного учета его возможных последствий граничит с авантюризмом в политике. А этого нельзя оправдать никакими разговорами об интернациональном долге.

Во-вторых. Объясняя правомерность нашей афганской акции мы все время ссылаемся на неоднократные просьбы законного правительства Афганистана об оказании военной помощи. Это верно, и в то же время — это один из самых слабых аргументов. Почему? Дело в том, что просьбы действительно исходили от законного правительства Н. М. Тараки. И ответ на них был бы юридически оправданным. Но после его убийства и узурпации власти Х. Амином законность правительства приняла весьма сомнительный характер. Тем более мы сами утверждали, что против "аминовской тирании" поднялся "весь народ". Если же просьба о вводе наших войск исходила от Х. Амина, то тогда каким образом "просивший" оказался низложенным с нашим приходом? Тогда в чем законность новой власти, возникшей в процессе нашего ввода войск? Как "вдруг" в первые минуты и часы нашего входа "народ" поднялся против Х. Амина и сверг его? Наконец, неясно, почему законный режим Х. Амина, по просьбе которого мы якобы входили, вдруг сразу стал антинародным, тираническим режимом. Значит, мы совсем не знали человека, по просьбе которого вводили войска?

Ясно одно: афганская сторона не раз просила наше руководство о военной помощи. Это факт. Но неясно, по чьей конкретной просьбе окончательно созрело решение о вводе. Если Х. Амина, то как так быстро появились Б. Кармаль и его администрация? Есть в шахматах выражение "домашняя заготовка". Не является ли молниеносное свержение Х. Амина и... не менее молниеносное появление администрации

Б. Кармаля нашей “домашней заготовкой”? А если мы вошли в Афганистан по просьбе Х. Амина, который неожиданно оказался свергнутым “здоровыми силами”, то почему за принятием решения о вводе войск не возникла “тактическая пауза” для уточнения характера происшедших изменений в высшем эшелоне афганской власти? Можно поставить массу вопросов, и в каждом отдельном случае объяснения будут носить витиеватый, неконкретный, завуалированный характер. И в таком случае неминуем и правомерен один принципиальный вопрос: если администрация Б. Кармаля пришла на “нашей броне”, то тогда почему открыто не сказать об этом? И тогда не будет этих многочисленных “если”, “почему”, а будет просто правда. Мы стесняемся в данном случае “вещи” назвать своими именами? Думаю, в нашем положении в этом вопросе уместна народная мудрость: “снявши голову, по волосам не плачут”.

В-третьих, ввод советских войск в Афганистан — это самая последняя мера, которая могла быть осуществлена уже после того, как все мыслимые дипломатические и другие возможности окончательно исчерпаны. Есть ли у нас уверенность, что в конце декабря 1979 г. арсенал возможностей СССР был полностью использован и мы оказались перед лицом единственного решения? Думаю, что никто не смог бы дать на этот вопрос утвердительного ответа. Можно ли было продолжать поиски путей оказания помощи Афганистану, не прибегая к крайней мере — вводу войск? Уверен, что эти возможности были, — например в конце 1979 г. когда США, Пакистан и КНР возобновили контакты с ДРА. Понятно, что их расчет строился на возможных изменениях в кабульском режиме. Стремясь показать свою лояльность к режиму Х. Амина, США попытались оказать ему помощь в строительстве школы в Гильменде, заявили о безвозмездной помощи в 371,7 тыс. долл. на строительство пунктов скорой медицинской помощи. Возобновились торгово-экономические связи с КНР (в декабре 1979 г. были подписаны протоколы о товарообороте и соглашении о продолжении второй очереди ирригационной системы в Парване). На конец декабря 1979 г. был намечен визит в Кабул министра иностранных дел Пакистана Ага Шахи.

Воспользовались ли мы возникшими возможностями в поиске невоенных методов поддержки Кабула? Думаю, что нет, ибо в условиях нашей тогдашней подозрительности для нас оказался более “удобным” тезис о том, что Х. Амин, когда-то обучавшийся в США, очевидно, американский шпион, и он готов пригласить в страну американские войска. Аргумент, прямо скажем, довольно шаткий. Почему Х. Амин не был приглашен с визитом к нам в страну? Разве нельзя было выяснить позиции, перед тем как идти на принятие такого нелегкого решения, как ввод войск в страну? А может быть, убедив себя в том, что нет других решений, мы и не искали их? Такую однозначность трактовки сложившейся обстановки вряд ли можно оправдать даже в условиях сложившихся в тот период реальностей.

В-четвертых, в конце декабря 1979 г. мы пошли на крайнюю меру. Значит, она должна была быть обдумана до мельчайших деталей, хотя бы с точки зрения внутренней обстановки в стране, куда волей высшего руководства посылаются войска. “Не зная броду, не суйся в воду” — это мудрое предостережение нами было игнорировано. Думаю, что мы прежде всего не разобрались в характере происходящих в Афганистане событий. Мы оказались загипнотизированными самим словом “революция”.

Вообще в 60–80-е годы мы весьма легковесно использовали это понятие, забывая о том, что за этим стоит глубочайший общественный переворот. Я глубоко уверен в том, что апрельские события 1978 г. в Афганистане — это военный переворот, имевший потенциальную возможность перерасти в революцию. Однако пришедшие к власти политические силы с первых дней столкнулись с суровой необходимостью защиты от многочисленных врагов.

Это обстоятельство, усугубленное многими левацкими просчетами, не дало возможности поднять широкие массы народа на свою сторону. А просчетов было немало. Разве можно как-то оправдать подход руководителей НДПА к исламу как к явлению, которое может отражать интересы лишь эксплуататорских сил? Если бы тогдашние руководители увидели возможности ислама и правильно оценили его роль в жизни общества, то не были бы столь опрометчивы, объявляя 22 сентября 1978 г. "братьев-мусульман" врагами, которых следует уничтожить, "где бы они ни были". Что положительного получила новая власть от такой позиции? Думаю, что ничего, ибо к такому решению не было подготовлено общественное сознание. Проводимая в отношении хазратов, улемов и мулл, в частности к клану Моджаддади, шиитским богословам семьи ваэзов, руководителям исмаилитской общины Кияни и другим, политика официального Кабула оттолкнула правоверных мусульман. Жестокие репрессивные меры, вплоть до расстрелов мулл без суда и следствия на глазах у верующих, вели лишь к подъему их авторитета у населения. Ведь еще не были забыты времена борьбы за независимость против англичан, борьбы, в которой многие муллы сыграли немалую патристическую роль.

Или разве ошибки, допущенные по отношению к пуштунским племенам в начале деятельности новой власти, не стали одним из источников накопления негативного потенциала в этой всегда взрывоопасной зоне? Ведь в самом начале пуштуны отнеслись к апрельским событиям 1978 г. весьма лояльно. Однако попытки ограничить свободу пуштунов натолкнулись на решительный отпор, надолго сделав их врагами новой власти. Объявленные властями меры наказания и даже использование против пуштунов регулярных войск, включая и авиацию, не дали ожидаемых результатов, а лишь еще больше подогревали их враждебность. Часть пуштунов стала переходить на пакистанскую территорию, что привело к возникновению проблемы беженцев. Попытки правительства контролировать провоз оружия и его изъятие у кочевников-пуштунов окончательно настроили их против власти, так как они не могли оставаться беззащитными на опасных маршрутах кочевий.

Не лучше обстояло дело и с проведением социально-экономических мероприятий. Взять хотя бы такой фундаментальный вопрос, как земельная реформа. Она началась 1 января 1979 г. Ее первый этап завершился 22 июля 1979 г. Основой для ее проведения служил Указ Революционного Совета ДРА № 8 "О земле", вступивший в силу 30 ноября 1978 г. Обращает внимание, что 6 января 1979 г. ЦК НДПА принимает решение об организационной и политической работе в связи с проведением аграрной реформы. Оно логично вытекало из обстановки и характера решаемой задачи. Но стремление "взвинтить" процесс переустройства кишлачной зоны взяло верх, и 17 февраля 1979 г. Политбюро ЦК НДПА принимает новое решение, суть которого — максимально уско-

ритель темпы перераспределения земли. Разъяснительная работа о целях и задачах реформы проводилась в основном в городах, тогда как кишлачная зона практически оказывалась вне влияния партии. В кишлаках работу вели враги новой власти. Используя ошибки, допущенные в ходе реализации требований декрета о раскрепощении женщин, об отмене калыма, освобождении от долгов, наконец, обострившиеся этнические отношения. Все было пущено в ход, чтобы подорвать веру крестьян в реформы. Нередко использовался и шантаж. Поэтому крестьяне проявляли сдержанность при вступлении во владение землей, а значительная часть их просто отказывалась от предоставляемых наделов.

Чем объяснить такое положение, когда крестьянин, веками мечтавший о земле, отказывается от земли? Только люди, не способные к трезвой оценке реальной ситуации, могли не учесть лежащие на поверхности моменты. Например, любому здравомыслящему человеку понятно, что новая власть, если она не страдает социальным авантюризмом, должна выдвигать лишь такие политические лозунги, которые может наполнить экономическим содержанием, и проводить лишь такие экономические мероприятия, которые может защитить политическими средствами. Да, афганский крестьянин хотел земли. Но как он мог ее взять, если его безопасность никак не гарантировалась, если в кишлаке нет органов новой власти. Нет и надежной военной защиты перед лицом вооруженной оппозиции. Надо было учитывать все это в такой жизненно важной проблеме, как земельная реформа? Безусловно! Здесь нет мелочей. Вот, казалось бы, такой маленький технический вопрос, как оценка земельного фонда. При отсутствии кадастровой службы это оказалось почти непреодолимой задачей, так как землевладельцы решительно отказывались от обмера земельных участков. И прикрывались они крестьянским поверием, что за обмером земли и учетом скота обязательно наступит кара Аллаха — неурожай и падеж скота. Казалось бы, должны были бы учесть и то, что мусульманин не может взять чужое. А земля чужая, она не ничейная. Взятый чужое — проклинается Всевышним. В то же время акт купли-продажи освящается религией. Так, может быть, все это надо было учитывать и землю надо было не давать, а продавать (по доступной цене)? Во всяком случае, я убежден, что не столько надо было "лошадей гнать" в проведении земельной реформы, сколько взвешенно, с учетом всех факторов идти, закрепляя и надежно обеспечивая каждый свой шаг. Без этого нельзя было привлечь массы трудящихся на сторону новой власти, на сторону революции. Постоянная, последовательно осуществляемая работа по формированию и развитию революционного большинства подменялась нескончаемыми разговорами о необходимости политической работы в массах. Военный переворот, осуществленный в апреле 1978 г., не "получил" достаточно прочной социальной базы. Основная социальная база — кишлак оказался вне влияния сил, совершивших апрельский переворот.

Социальная революция — очень сложное явление в жизни общества. Начавшись с политического акта — взятия верховной власти в центре, она развивается в политической сфере до взятия власти на местах и признания верховной власти.

В Афганистане этого не произошло. Разве можно серьезно говорить о революции, которая имеет, по существу, очаговую власть? Власть, носящая "гарнизонный" характер (по месту дислокации воинских фор-

мирований!), не может быть показателем свершившейся политической революции. Если главную силу революции составляют вооруженные силы, то трудно говорить о революции. Начать революцию невозможно без вооруженной силы или вопреки ее воле. Это верно. Но за этим первым штурмом бастионов старой власти должен был бы последовать выход на арену народных масс. Они — главная сила революции. Их то как раз и не оказалось за теми, кто в апрельские дни пошел на штурм режима Дауда. Думаю, что в этом плане правильнее было бы характеризовать саурские события 1978 г. как революционное выступление верхних слоев патриотически настроенных сил.

Уверен, что мы не имели полной объективной картины событий, происходящих в Афганистане. Информация зачастую носила характер поверхностного скольжения, отпечаток угодничества, а не принципиального анализа. Мы не знали глубины и остроты внутрипартийных противоречий. Вряд ли мы имели полную характеристику имеющихся в НДПА фракций. Точно так же мы не имели объективной информации о глубине и характере противостояния "Хальк" и "Парчам". Складывается впечатление, что мы только на ходу познавали характер и остроту их взаимоотношений, социально-классовую базу и тактику борьбы. А ведь разногласия этих фракций и в целом в НДПА носили не случайный и не временный характер. Еще с момента возникновения так называемого инициативного политического ядра в 1963 г.¹ водораздел между ними обозначился весьма определенно. Одни склонялись к созданию партии марксистско-ленинского характера; другие — демократического содержания. Позже афганские демократы устанавливают контакты с народной партией Ирана ("Туде"). Ряд негативных моментов, характерных для "Туде", такие, как сектантство, догматизм в работе с массами, потом скажутся и на деятельности НДПА.

После образования НДПА (1 января 1965 г.) программные документы все больше начали насыщаться идеями "народной революции". Все больше говорили о том, что возникла коммунистическая партия, которая поставила своей целью построить социализм в феодальной стране. Сторонники Н.Тараки считали, что партия должна спешить, чтобы опередить рост и влияние буржуазии. Другие говорили о необходимости сдержанности в отношении "коммунистических идей", призывали к единению не только трудящихся слоев, но и всей нации в целом, к гибкости в отношении религии².

Обращу внимание, что уже осенью 1966 г. в руководстве НДПА четко проявились острые разногласия. Внешне все это подавалось как личное соперничество Н.Тараки и Б.Кармалю. На самом деле разногласия носили более глубокий характер. Все это привело к расколу НДПА и образованию "Парчам" ("Знамя") во главе с Б.Кармалем и "Хальк" ("Народ") во главе с Н.Тараки. Думаю, что, начиная с этого периода, между этими двумя фракциями в дальнейшем никогда не

¹ Это ядро должно было подготовить создание политической партии Объединенный национальный фронт Афганистана (ОНФА). В его активную группу входили Н.Тараки, Б.Кармаль, А.М.Захма, М.Г.Губар, Ш.М., Дост, М.С.Рухи, Г.Д.Бахтари, А.Махмуди, М.С.Фарханг, М.А.Хайбар, Т.Бадахши.

² В изложении этих взглядов важную роль сыграли статьи Б.Кармалю, опубликованные в газете "Парчам" от 14 марта 1968 г. и 19 мая 1969 г.

существовало органического единства.

О какой единой партии НДПА может быть речь в такой обстановке? Могли ли все эти фракции, группы в условиях постоянных разногласий серьезно анализировать происходящие социальные процессы? Любому должно быть понятно, что такая обстановка, усугубленная личной неприязнью между Н. Тараки и Б. Кармалем и коварной тактикой Х. Амина¹, не способствовала делу выполнения партией своей роли.

Весь период до апрельских (1978 г.) событий НДПА, по существу, не смогла выйти из организационного кризиса. Попытки объединения не увенчались успехом ни в 1970, ни в 1973 г. В связи с этим на заседании ЦК "Парчама" 24 мая 1973 г. Б. Кармаль высказал предложение о создании самостоятельной партии "Хезбе захматкешане Афганистан" ("Партия трудящихся Афганистана") и проведении организационного съезда партии. Эту идею не удалось реализовать. Бурные события этого периода заставили руководителей "Халька" и "Парчама" вносить серьезные коррективы в свою тактику, в выдвигаемые лозунги и цели. Об этом говорят и попытки "Парчама" создать "Объединенный фронт прогрессивных народно-демократических сил"¹, и результаты пленума ЦК "Халька" в конце июня 1973 г. На этом пленуме "Хальк" выдвинул более гибкую линию, включая поиск союзов и компромиссов с другими демократическими организациями.

Противостояние "Халька" и "Парчама" продолжалось и после антимонархического переворота М. Дауда в 1973 г. Более того, воспользовавшись тем, что М. Дауд пытался наладить тесные контакты с "Парчамом", халькистская сторона начала обвинять парчамовцев в измене делу революции. Надо сказать, что тогда на руку халькистам играли и чистки, проведенные М. Даудом в госаппарате, в армии. В основном удар пришелся по членам или сочувствующим "Хальку". Кстати, именно в тот период (1974 г.) была создана тайная политическая организация в армии "Объединенный фронт коммунистов Афганистана" (ОФКА). Думаю, что в последующем, в период, предшествовавший вводу наших войск (1979 г.), эта организация была упущена нами из поля зрения так же, как и многие недемократические организации и партии. Считаю это серьезным просчетом и теоретиков, и практиков.

Но М. Дауд в своем движении к полной, неограниченной власти в течение 1975 г. устраняет и сторонников "Парчама" из различных звеньев госаппарата. В этих условиях начинается новый раунд поиска путей к единству "Халька" и "Парчама" 24 мая 1974 г. ЦК "Парчама" обратился к хальковцам с "Декларацией о единстве действий". Более года ушло на размышления, и только 26 августа 1975 г. состоялись контакты представителей двух фракций. Словесная дуэль продолжалась вплоть до 1 октября 1975 г., когда состоялась встреча двух делегаций. Встреча закончилась безрезультатно, ибо обнаружился разный подход в организационных принципах объединения двух фракций. Об этом было заявлено в Коммюнике ЦК "Халька" от 2 октября и в заявлении "Вперед, к единству!" ЦК "Парчама" от 11 октября 1975 г.

¹ В характеристике Х. Амина интересно обратить внимание на решение январского (1968 г.) Пленума ЦК. Тогда в решении говорилось о Х. Амине как о человеке, "известном по своей прошлой общественной жизни фашистскими чертами, связанным с высокопоставленными чиновниками тех же качеств и имевшем также шовинистические взгляды".

В дальнейшем за политической эволюцией М. Дауда следовали шаги и леводемократического крыла (платформа "Парчама" из пяти пунктов, сформулированная на декабрьском (1975 г.) пленуме и третьей партийной конференции этой фракции; постановление ЦК "Халька" (июль 1975 г.) и "Программа из шести пунктов" ЦК этой фракции, опубликованная 18 сентября 1976 г. в виде листовки под названием "Некоторые жизненно важные лозунги"). Но определенные подвижки происходили и на правом крыле политической жизни страны. Летом 1975 г. ультралевые и националистические группировки подписали так называемый "Салангский протокол", призывавший к началу национально-освободительной борьбы с "фашистско-диктаторским режимом М. Дауда". Не сидел сложа руки и М. Дауд. Лойя Джирга, которая начала свою работу 30 января 1977 г., утверждение конституции (февраль 1977 г.), шаги в организации Партии национальной революции — все это должно было способствовать укреплению позиции продаудовских сил. Все другие политические организации лишались возможности легальной работы.

Нараставший кризис режима М. Дауда заставил Н. Тараки и Б. Кармаля еще раз начать искать возможность объединения. В июне 1977 г. их встреча увенчалась подписанием "Заявления о единстве НДПА". В основу объединения был положен принцип паритета (равного представительства в руководящих органах). Внешне казалось, что достигнуто единство, что фракционная разобщенность уже позади. На практике, думаю, что это объединение носило тактический характер. Разве не об этом говорят факты? Ведь во время объединительного заседания двух ЦК не была достигнута договоренность об объединении нелегальных организаций "Хальк" и "Парчам" в вооруженных силах. Не смогли договориться и о создании единой партийной кассы. Таким образом, объединения двух фракций фактически так и не произошло. Думаю, что обе фракции продолжали самостоятельное существование. Очевидно, это помешало окончательному согласованию совместного решения при встрече Н. Тараки и Х. Амина ("Хальк") и Б. Кармаля и Н. А. Нура ("Парчам") в марте 1978 г. непосредственно перед апрельскими событиями.

Не могло не насторожить еще одно обстоятельство. Сразу же после апрельских событий 1978 г. речь шла о национально-демократическом этапе революции. Это было правильно не только с точки зрения уровня и характера общественных отношений в афганском обществе, но и в плане формирования широкой социально-классовой базы. Однако различные фракции вкладывали разное содержание в характер происходящих событий, сущность и цели новой власти. Это привело к новым осложнениям между ними. Реакцией на обострение фракционной борьбы стало постановление Политбюро ЦК НДПА от 24 мая 1978 г. о категорическом запрещении фракционной деятельности. На практике оно вылилось в создание условий для осуществления линии халькизма. Начиная с середины 1978 г. четко обозначилась тенденция на вытеснение из партийно-государственного аппарата сторонников "Парчама", на их физическое уничтожение. Попутно экстремистское крыло "Халька" расправлялось и с лидерами других политических группировок. Наконец, жертвой халькистского экстремизма пал и сам Н. Тараки. Все это привело к событиям, условно названным вторым этапом и в определенной степени

связанным с вводом в страну советского воинского контингента.

Мне могут возразить, что все сказанное имелось в информации, поступавших в высшие политические и государственные органы нашей страны. Допустим, что это так! Но ведь вопрос состоит не только в наличии своевременной и полной информации. Главное — объективный анализ имеющейся информации. Если этот анализ был объективным, то чем объяснить то обстоятельство, что мы вначале четко обозначили линию поддержки “Парчама”? Чем объяснить, что, невзирая на официальную установку Политбюро ЦК НДПА от 23 января 1980 г., внутрипартийная борьба вновь резко обострилась и мы не смогли ни предотвратить ее, ни остановить в последующем? Если мы правильно анализировали информацию, то чем можно оправдать то обстоятельство, что вместе с экстремистской частью “Халька” оказались отодвинутыми в сторону и многие преданные народу халькисты? Партия, преодолевая хальковский экстремизм, по существу оказалась во власти активного и долговременного всплеска парчамовского экстремизма. И прошли долгие годы (с нашим присутствием!), пока, с выходом на политическую сцену Наджибуллы, не стали намечаться реальные шаги в сторону консолидации патриотических сил страны.

О чем все это говорит? Прежде всего о том, что мы не знали (или не хотели признавать!) всю глубину раскола в НДПА. Мы исходили не из политических реалий соотношения и расстановки сил в афганском обществе, а с излишней поспешностью верили в красивые заверения и пылкие слова. Вряд ли наши, да простит меня читатель за это слово, “ставки” можно обосновать политической аргументацией. Они — плод весьма недалководидного анализа, скоропалительных эмоциональных порывов. А политическая мудрость — это способность предвидения. Ее-то у нас и не оказалось в той мере, в какой это требовалось, учитывая сложность и важность намечаемой акции.

В-пятых, очевидно, что еще меньшее представление мы имели в целом о политической мозаике афганского общества. Наличие, кроме НДПА, ряда политических организаций леводемократического толка — факт, реальность. Такие организации, как “Труд”, Партия молодых рабочих, “РОТА”, Партия федаинов и т.д., хотя и имеют определенную территориально-географическую ограниченность, но обладают неплохими связями с массами. Например, позиции партии “Труд” весьма влиятельны в северных провинциях, тогда как “РОТА” имеет немалую опору в центральных областях. Можно ли было упускать эти политические организации, анализируя общественное состояние в конце 1979 г.? Уверен, что нет, ибо НДПА, по существу обладая структурой по всей стране (хотя и носящей очаговый характер), не располагала очень важным — глубинной опорой на массы.

В-шестых, о каком серьезном изучении и знании обстановки в стране, куда мы вводили войска, может свидетельствовать наше представление о масштабах и характере вооруженной оппозиции? Разве о глубине и объективности этой информации не говорит тот факт, что мы были во власти иллюзий о быстром успехе и возвращении наших войск? Кто из умерших или здравствующих, причастных к принятию решения на ввод войск, думал о столь длительной, изнурительной войне с такими, прямо скажем, малоутешительными результатами? Думаю, что никто.

Мы представляли вооруженную оппозицию кабульскому режиму

как банды, действующие лишь по указке западных спецслужб, оторванные от народа и противопоставленные его интересам. На деле оказалось, что это довольно организованная сила, жестко и централизованно управляемая, точно знающая свои цели и поддерживаемая совсем не малой частью населения, особенно в кишлачной зоне. Не из наших ли иллюзий об организационной рыхлости и оторванности от народа исходило упорное нежелание поиска путей невоенного решения вопроса? Это сейчас некоторые руководители, включая и генерала армии Варенникова, утверждают, что они всегда были за переговоры с главарями банд. А ведь мне самому сколько раз приходилось убеждать его в необходимости этих переговоров, например с Ахмад Шахом Масудом. Надо честно признать, что основным методом мы избрали боевые действия. Метод переговоров носил частный бессистемный характер. А жаль! Ведь примечательно даже изменение отношений к вооруженной оппозиции в ходе самой войны. Вначале главари банд и банды душманов квалифицировались однозначно, и никому в голову не приходило, что, кроме стрельбы, есть еще метод диалога. Много ли было случаев, когда в начальный период нашего пребывания мы (самостоятельно или совместно с афганскими друзьями) вели последовательные переговоры с отрядами вооруженной оппозиции? А почему не использовали в должной мере этот метод? Ответ, я думаю, прост: чтобы вести переговоры, надо знать тех, с кем они ведутся. Для нас контрреволюция была одна, по принципу: "Кто не с властью, тот против власти". А отсюда следовал простой вывод: "Враг моего друга — мой враг". А ведь так называемая контрреволюция была совсем не единообразна. Скажем, левозкстремистская контрреволюция. Можно ли ее было ставить на одну доску с исламской контрреволюцией? Думаю, что нет! Это в последующем они сойдутся границами своих платформ, но вначале...

Ведь родословная такой организации, как "Шо'лее джавид" ("Вечное пламя") восходит к "Хальку", от которого она откололась, образовав самостоятельную группировку. Оказавшись в русле маоистских идей, эта организация постепенно выродилась, образовав целую россыпь левозкстремистских группировок и вооруженных отрядов типа отряда А. М. Калакани¹. Продуманная, целенаправленная работа с этой организацией, так же как с "Революционной организацией истинных патриотов" (САВВ), группировкой "Борьба за освобождение Афганистана" ("Пейкар") и другими, могла бы быть успешной. Очевидно, в работе Национального отечественного фронта не было достаточной активности в поиске точек соприкосновения с этими и другими левозкстремистскими организациями. Причислив всех к контрреволюции, их фактически к ней подтолкнули. Они-то и нашли точки соприкосновения на платформе антисоветизма.

Но не лучше обстояло дело и с изучением и кропотливой работой с исламской контрреволюцией. И здесь терпеливый диалог не стал идеологическим оружием ни кабульских властей, ни наших руководителей. Разве можно было упускать возможности дифференцированной работы с отдельными организациями "пешаварской семерки", особенно после лета 1978 г., когда провалились попытки С. Моджаддади создать "Фронт

¹ Разгромлен в 1980–1981 г. А.М. Калакани был арестован и приговорен к высшей мере наказания летом 1980 г.

национального освобождения Афганистана"? Разве не логично было различать исламскую контрреволюцию? Конечно, ее объединяет ненависть к кабульскому режиму. Но есть и разъединяющие моменты — в подходах, в тактике и целях у исламских фундаменталистов и модернистов. Это следовало бы видеть. И не только видеть, но и активно использовать в борьбе за кишлачную зону. Сколько было принято решений ЦК НДПА об активизации работы именно в кишлачной зоне, о том, чтобы крестьянину уделить максимальное политическое внимание? Не счастье! Однако работа эта так и не была налажена. Она напоминала пропаганду атеизма среди атеистов и ограничивалась провинциальными городами и уездными центрами. Зато в кишлаке активно работала оппозиция. Мы плохо знали противника в политическом отношении, а следовательно — не могли использовать те благоприятные возможности, которые создавались в стане вооруженной оппозиции взаимной конфронтацией ее лидеров.

О нашем неглубоком знании исламской контрреволюции можно судить даже по лексике нашей прессы. Сначала мы читали о бандах, оторванных от народа и противостоящих ему. Создавалось впечатление о каких-то разрозненных шайках грабителей, насильников. Затем появилось понятие "бандформирования". Это уже внесило элемент какой-то организационной структуры, какой-то массовидности. Наконец, в нашем лексиконе слова "банда", "бандформирования" были вытеснены весьма элегантным понятием "вооруженная оппозиция", а вместо "главарей банды" вдруг утвердилось весьма уважительное "полевой командир вооруженной оппозиции". Не правда ли, уважаемый читатель, примечательный пример активного использования всего богатства русского языка? О, если бы все это было в начале ввода советского воинского контингента, если бы этот путь "от пренебрежительного до уважительного" не был оплачен такой дорогой ценой! И разве не правомерен опять вопрос: чем объяснить наши туманные представления о тех, против которых мы собирались действовать, защищая официальную власть в Кабуле?

Как могло получиться, что мы, в определенной мере, пренебрегли и недооценили силу и цепкость веками складывавшихся отношений в кишлаке? Поголовная неграмотность, полная зависимость от помещика и ростовщика, ограниченность мировидения канонами исламской религии делали афганского крестьянина послушным орудием сельского старосты, родо-племенного авторитета и муллы. В условиях Афганистана как раз традиционная и религиозная власть выполняла своеобразную иммунную роль, отторгавшую новую власть. Срачивание помещичье-ханской и клерикальной оппозиции стало опасным фактором в борьбе с любыми нововведениями. И в этом альянсе именно духовенство играло основную роль, что нетрудно понять, если иметь в виду, что в сельской местности мулла по-прежнему оставался и идеологом, и учителем, и судьей, и защитником интересов крестьянина. От рождения до смерти крестьянин был накрепко связан с муллой. Последний, ссылаясь на волю Аллаха, мог полностью распоряжаться судьбой крестьянина.

В-седьмых, не полнее были наши представления о положении религии и традиционных институтов власти в жизни афганского общества. В нашем воображении оба эти общественных явления рисовались как нечто реликтовое, архаичное, изжившее себя. На деле они оказались мощно функционирующими системами, весьма жизнеспособными. По-

чему мы это не предусмотрели в своих расчетах?

В-восьмых, думаю, что мы довольно абстрактное представление имели и о внутреннем мире афганцев, их наиболее типических чертах характера (как положительных, так и отрицательных). Мы оказались заигнотизированными традиционно дружескими отношениями афганцев к советским людям. Да, это было, но мы должны были точно представить, какие изменения могут претерпеть эти отношения в связи с присутствием наших вооруженных сил в стране. Нас убаюкивал дружеский "прием" наших войск в первые дни пребывания на афганской земле. Отсюда и та "перекошенная" информация о буднях наших солдат. Мы за идиллической картиной предполагаемой встречи с дружественным афганским народом не предположили, что выражение: "Кто с мечом к нам войдет..." относится не только к нашим чувствам. В то же время не все четко представляли, что ввод наших войск вызовет огромную и неоднозначную реакцию. Более того — станет мощным пропагандистским поводом для провозглашения "священной войны" не только против кабульского режима, но и против тех, кто его защищает. Сработал, причем весьма активно и эффективно, принцип: "Друг моего врага — мой враг". Почему мы не предусмотрели такой вариант развития событий? Можно ли оправдать такую аналитическую беспомощность?

В-девятых, мы вошли в Афганистан, как это объяснял Л. И. Брежнев в своем интервью корреспонденту газеты "Правда" (13 января 1980 г.), для того, чтобы оказать правительству Афганистана помощь в отражении внешней агрессии, которая якобы осуществляется силами империализма и региональной реакции. Разве в таком случае не напрашивается простое решение: помочь афганским вооруженным силам прикрыть государственную границу с тем, чтобы вооруженные банды не проникали в страну? Понимаю, сейчас говорить легче, и не надо быть "семи пядей во лбу", чтобы умничать задним числом. Но кто-то ведь продумывал в деталях поход за Амударью? Как же мы оказались втянутыми в боевые действия с отрядами вооруженной оппозиции, по существу, по всей стране? Мы же входили не для того, чтобы "бегать" за каждой бандой и гонять их "по долинам и по взгорьям"? И был ли толк в том, что мы старались "перемалывать" банды внутри страны, вместо того чтобы попытаться надежно закрыть возможность их просачивания внутрь страны? Думаю, что и в этих вопросах мы не имели четкой концепции, а действовали методом "проб и ошибок", что никак нельзя оправдать, имея в виду ту дорогую цену, которую платили за эти ошибки.

Итак, из всего вышесказанного напрашивается ряд выводов. Самый общий заключается в том, что решение о вводе советских войск в Афганистан было совершенно непродуманно по своим политическим и экономическим последствиям. Это "плод", который несет на себе родимые пятна всех самых худших черт застойного периода. Результатом этого непродуманного решения, граничащего с преступной безответственностью, явилась самая непопулярная в истории советского общества война. Она нанесла тяжелый удар по международному престижу Советского Союза, легла тяжелым бременем на и без того погружавшуюся в трясину кризиса экономику нашего государства.

Далее. Попытки свести анализ афганской проблемы прежде всего к выявлению того, кто конкретно принял решение о вводе советских войск в Афганистан, — это попытка уйти от основного вопроса. Убеден,

что от того, что документально, с юридической пунктуальностью будет доказано, что решение было принято Брежневым, Громыко, Устиновым и Андроповым, ни наше общество, ни "афганцы" ничего не получают полезного, поучительного. Вся возня вокруг этой проблемы — это беспредметный разговор, ибо без всякого анализа любому мало-мальски знакомому с нашей политической системой человеку понятно, что такое решение не могло быть принято без участия этих лиц. Ничего не даст и выявление доли ответственности каждого из них в принятии решения о вводе войск в Афганистан.

Во всем этом стремлении сконцентрировать внимание народа на вопросе: "Кто же принял решение?" — я вижу другое. Это попытка отнести вину за это роковое решение на мертвых. Зачем? Ответ очень простой: увести от ответственности тех живых, которые причастны к принятию решения на ввод наших войск. Да, это были люди "второго эшелона", они как бы были "за кадром". Но кто поверит, что "большая четверка" приняла это решение "вдруг"?

Почему они приняли такое решение? То, что это не неожиданное озарение Брежнева или других названных руководителей, — понятно любому здравомыслящему человеку. Ведь сейчас не секрет, что шла подготовка к походу за Амударью еще задолго до декабря 1979 г. Еще весной 1979 г. наши войска подошли к границе и... не перешли ее. Почему? Что-то насторожило стратегов афганского похода. Что? И почему потом, в декабре, они не сомневались? Какую информацию они получали из Афганистана и об Афганистане в этот промежуток времени? Не эта ли информация является причиной перехода от сомнения к уверенности?

Вполне понятно, что им подавалась разносторонняя информация должностными лицами из ЦК КПСС, МИДа, Министерства обороны, КГБ. Для них готовили какие-то аналитические материалы, просчеты вариантов, прогнозы результатов. Кто эти люди, как они готовили материалы для высшего решения? Не открыв эту тщательно скрываемую тайну, нельзя понять механизм принятия решения на высшем уровне. Именно это нуждается в самом серьезном анализе. Без этого невозможно принять меры к недопущению повтора случившегося. А это главное, что можно извлечь из уроков афганской драмы.

Для тех, кто внимательно осмысливает происшедшее, совершенно ясно одно: в не меньшей степени, чем Брежнев, за принятие этого не продуманного до конца решения на ввод советских войск отвечают те, кто давал из Афганистана необъективную информацию. Они по долгу своему обязаны были глубоко разобраться в происходящих событиях, понять расстановку противоборствующих сил, исторические и религиозные традиции афганского народа. Очень сомневаюсь, что поступавшая оттуда информация была правдивой, объективной. Так разве эти должностные лица не несут ответственности за свою безответственную информацию, которая на практике оказалась дезинформацией со столь далеко идущими стратегическими последствиями? Разумеется, этим я не снимаю ответственности ни с Брежнева, ни с других высших руководителей. Нет! Но я утверждаю, что в сомнительном решении о вводе войск повинны не только они. Повинны и те, кто был рангом пониже, кто по своему служебному положению вносил свою лепту в подготовку этого решения. И это мое твердое убеждение, так же как и то, что они должны отвечать за это.

Не приемлю разговоров, когда кое-кто сейчас пытается убедить в том, что они тогда были против ввода наших войск. Не приемлю эту "храбрость" назад. Есть хорошая китайская мудрость: "Нет большой храбрости в том, чтобы играть хвостом мертвого тигра". У некоторых начальников не хватило мужества "играть" хвостом живого тигра. Так хотя бы теперь в этом надо признаться честно.

Причем разговор должен идти не только о необходимости должностного мужества, но и необходимости должностной чести. Для тех, кто сейчас пытается изобразить из себя "провидцев", не согласных с решением Брежнева, Устинова и др. о вводе наших войск, делом должностной чести с их стороны было бы положить на стол в знак несогласия рапорт об отставке. Это было бы честно, мужественно и достойно. Кто из тех, кто сейчас пытается утверждать, что был не согласен с решением "большой четверки", это сделал? А если это не было сделано, то справедлив вывод о том, что у этих людей не хватило гражданского мужества, чести. Поэтому привлечь хотя бы к моральной ответственности лиц, подготавливавших и "всесторонне аргументировавших" это сомнительное решение, — это обязанность тех, кому дороги правда, гласность, перестройка. Прежде всего — это требование народа.

Наконец, еще один вывод. Он состоит в следующем: решительно считаю, что самый важный урок должен быть извлечен не из того, как мы вошли в Афганистан (хотя это важно, интересно, показательно), а из того, что мы там делали и как делали. Вполне понятно, что ведомственный анализ этой проблемы будет иметь однозначный ответ: наши специалисты хорошо работали, но вот другие... А нужен именно вневедомственный анализ, в котором был бы преодолен корпоративный "патриотизм". Мы все представляли Советский Союз. И каждый из нас вносил свою долю и в успехи, и в просчеты. И здесь нужна общая картина, за которой последует и ведомственная, и персональная ответственность. Ведь были конкретные люди, придумавшие систему оргядра, когда на местах пытались насадить эти ядра власти в расчете на то, что вокруг них будет формироваться опора новой жизни. Надо было обладать очень большой фантазией, чтобы придумать такое в условиях Афганистана, где религиозная и традиционная власть функционирует привычно, слаженно. Кто-то ведь должен был подумать, что эти оргядра будут противопоставлены привычной системе власти и отторгаться ею даже с помощью вооруженной оппозиции. Сколько было израсходовано времени, материальных ресурсов и людских судеб, чтобы вдохнуть хоть какое-то подобие жизни в это мертворожденное дитя чьей-то прихоти?

А кто не помнит идеи создания МТС? И здесь незадачливые авторы рассчитывали на то, что вокруг МТС (по подобию наших МТС в первый период колхозного движения) будет кипеть кишлачная жизнь, что они станут зародышами социализма. Кто во что горазд экспериментировали, благо Родина щедрой рукой чиновников застойного периода не жалела ни денег, ни людских жизней. Чего-чего, а идеи мы могли подавать в любом количестве, особенно в условиях, когда за них никто не отвечал.

Конечно, в больших общественных явлениях силы, пришедшие к власти, всегда стремятся "забежать" вперед, опередить время. Афганские руководители в этом отношении не исключение (кроме нынешнего президента Наджибуллы). Разве не забеганием вперед были заявления (сразу после апрельского восстания!) о "народной революции", вклады-

вание в нее социалистического содержания, утверждения, что гегемоном в этой революции выступает афганский рабочий класс? Разве что-либо полезное было в разговорах о "великой апрельской революции" и в утверждениях о "неделимости власти", под предлогом которых решительно отвергалась идея союза всех национально-демократических сил? А нереально сжатые сроки преодоления социально-экономической отсталости или разговоры о коммунистическом характере НДПА не имели конкретных авторов? Или идеи отделения религии от государства (это в такой сплошь религиозной стране!) хоть в какой-то мере способствовали формированию социальной опоры апрельского восстания? Я уж не говорю о перегибах в реализации земельной, а затем земельно-водной реформы. Да, мне могут сказать, что это были результаты мелкобуржуазных иллюзий афганских руководителей. Согласен! Но не удовлетворен, ибо для чего же в Афганистане находился огромный штат партийных, экономических, научных и других советников, как не для того, чтобы удерживать от той псевдореволюционности, которая способствовала только размыву социальной базы, ослабляла, сводила на нет созидательную работу новой власти. Кто из них держал ответственный отчет за свою безответственную деятельность или вообще бездеятельность? Никто! Все они завершали свое пребывание в Афганистане назначением на новые, более высокие и престижные должности.

Или взять проблему единства слова и дела. Сколько было исписано бумаг, принято решений, постановлений по таким вопросам, как единство НДПА, необходимость политической работы в массах? Горы документов! Они подготовлены достаточно компетентно, конкретны. Бюрократическая машина работала на полную мощность, но... вхолостую! Говорилось, писалось, но не делалось. Разве это не напоминает картину нашей собственной жизни в застойный период, когда плодилась масса бумаг, формировалась психология их всеилия, но ничего не выполнялось на практике. Постановлениями, парадными отчетами, неосуществимыми планами создавали иллюзию деятельности вместо самой практической деятельности. А страна погружалась в трясину кризиса. Многое из этого было перенесено и на афганскую почву, ибо и советники были "детьми" своего периода, формировались на философии парадности, угодничества, бумаготворчества.

Короче говоря, проблема эффективности нашей работы в Афганистане действительно заслуживает самого серьезного анализа. Такой анализ научит нас не только думать о конечных результатах, но и о "цене", которая платится во имя их достижения.

Но есть и другая сторона афганской проблемы. Она заключается в том, чтобы с величайшей серьезностью посмотреть на долговременные последствия этой драмы для нашего общества. Я имею в виду комплекс проблем, связанных с "афганцами".

Можно однозначно сказать: воины Советских Вооруженных Сил с честью и высоким достоинством исполнили свой долг в Афганистане. Дни и ночи в течение девяти лет солдаты и офицеры выполняли немислимо тяжелую работу войны. Никто не имеет права бросить им упрек. И если в целом война в Афганистане не завершилась "триумфальным" успехом, то в этом повинны не они. Солдаты выигрывают или проигрывают конкретный бой. Генерал выигрывает или проигрывает сражение, операцию. И здесь мы не можем упрекнуть наших военачальников.

А вот война в целом выигрывается или проигрывается политиками. Понимаю, что кое-кому неприятно читать и признавать такое утверждение. Но это верно, это правда, и ее надо признавать. Именно поэтому я считаю, что "афганцы" сделали все, что могли, а когда требовалось — отдавали жизни. "Цена" этой войны весьма дорога: 15 тысяч погибших советских солдат и офицеров, десятки тысяч искалеченных, а сотни тысяч психически травмированных.

Но можно ли говорить, что наши солдаты погибли в Афганистане зря?

Безмерна боль матерей, вдов, детей погибших в Афганистане воинов. Безмерно их горе, невосполнима утрата. Но говорить о том, что их родной человек погиб по ошибке — значит кощунствовать и над их незаживающей раной, и над памятью тех, кто сложил голову, честно исполнив свой солдатский долг.

Наконец, еще одна мысль. Это забота о погибших и раненых. Чего греха таить: и здесь у нас масса нерешенных вопросов, много слов, но мало практических дел.

Партия и правительство с вниманием относятся к этим проблемам. Приняты хорошие решения. Кто должен их выполнять? Те, кто на местах представляет и партию, и Советскую власть. Так почему родителям и семьям "афганцев" приходится обивать пороги каких-то контор, чтобы поставить памятник погибшему? Почему так плохо решаются квартирные и другие вопросы? Что, в этом Отечество виновато? Нет! Опять же те, кто забывает о выполнении своих прямых обязанностей. Так не пора ли спросить с них по всей строгости закона и нравственности? Ведь нужны не "парадные", не "отчетные" недели милосердия. Это тоже рецидив застойного времени: видимость милосердия вместо повседневного, ставшего обычным, а поэтому незаметным милосердия общества. План милосердия и лихой отчет о выполнении плана принимают порой уродливую, оскорбляющую личность форму псевдомилосердия. О каком милосердии можно говорить, если за два месяца, прошедшие после гибели "афганца" Игоря Глушкова (он взорвал себя гранатой в сентябре 1989 г.), в его семье никто не побывал. Это ведь не рядовой случай, но к трагедии остались глухими и РК КПСС, и райисполком, военкомат, комсомол. Это было бы милосердие "вне плана". Но увы...

Высвечивается еще одна проблема: а кто повинен в том, что у "афганца", вышедшего с последними колоннами наших войск, оказалась граната? Кто должен был отвечать за то, чтобы все штатное оружие и боеприпасы были сохранены и ни одной единицы оружия и боеприпасов не осталось бы бесконтрольным? Почему оказалась после выхода наших войск в Средней Азии "разбросанным" масса оружия и боеприпасов? Может быть, надо было не столько заботиться о том, как мелодраматичнее устроить телеспектакль на хайратонском мосту, а сосредоточить внимание на том, чтобы закрыть все каналы "утечки" оружия и боеприпасов? Опять мы сталкиваемся с безответственностью ответственных лиц, с неодолимой тягой к парадности...

Все это свидетельствует о многих нерешенных проблемах афганской эпопеи как в плане международном, так и внутреннем. В международном плане сейчас остро стоит вопрос о неукоснительном выполнении Женевских договоренностей. И здесь проблема не только верности Афганистана и Пакистана духу и букве этих документов. Особо высвечи-

вается роль гарантов — СССР и США. Сделать все, чтобы Женевские договоренности, а вместе с ними сама концепция национального примирения, не оказались похороненными,— это задача громадного значения.

Во внутреннем плане афганская проблема, ставшая для всего нашего общества тяжелым испытанием, тоже не может быть сдана в архив. Мы должны извлечь горький урок из случившегося и навсегда исключить возможность волонтаризма в политике. Должен быть разработан механизм недопущения подобных непродуманных акций. Афганская война оставила тяжелый отпечаток на всем нашем обществе. Она сформировала психологию недоверия, страха. Она искалечила судьбу не только тех, кто прошел огненную проверку в этой стране, но, в определенной мере, целого поколения. Как преодолеть боязнь матерей за судьбу своих сыновей, уходящих в армию исполнять свой конституционный долг, как вернуть в сознание миллионов юношей престижность и почетность воинской службы? Как, наконец, сделать все, чтобы "афганцы" чувствовали себя не "белыми воронами" в нашем обществе, а его полноправными, активными членами? Как смягчить боль и страдания тех, кто искалечен войной, муки матерей, потерявших сыновей, и муки детей, потерявших своих отцов? Все это совсем не простые проблемы, которые не могут быть ни забыты, ни отодвинуты на задний план. В решении их наше общество проходит испытание. Это испытание нашей гражданской совести, нашего стремления к правде. Выдержим ли мы его? Это зависит от всего общества в целом, от каждого из нас в отдельности.

НЕ ИДЯ В НОГУ, НО СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ

Мысль о том, что необходимо уважать суверенитет и независимость социалистических стран, учитывать особенности их позиций по тем или иным вопросам, специфические черты их политики, неоднократно подчеркивалась в выступлениях Л. И. Брежнева и других руководителей КПСС и Советского государства. В докладе о 47-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1964 г. Л. И. Брежнев говорил, что Коммунистическая партия Советского Союза и весь советский народ в отношениях с социалистическими странами руководствуются стремлением к укреплению братской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи "на основе полного равноправия, самостоятельности и правильного сочетания интересов каждой страны с интересами всего содружества"¹. В речи на митинге в Варшаве 8 апреля 1965 г. Л. И. Брежнев подчеркивал, что "подлинное единство социалистических стран требует строгого уважения независимости и суверенитета каждого государства—участника великого социалистического содружества. Непререкаемым законом нашего содружества является безусловное право каждого социалистического государства на самостоятельное и независимое развитие, право каждого народа самостоятельно решать судьбы своей страны, вносить собственный вклад в общую сокровищницу строительства нового общества"².

Таковы были теоретические постулаты, словесные заверения советского лидера. Но практика, к сожалению, оказалась иной. Она была направлена на сохранение созданной еще при Сталине патерналистской системы отношений СССР с другими социалистическими странами. К любым попыткам кардинальных политических и экономических реформ, которые в представлении советского руководства могли бы означать покушение на существовавшую в странах Центральной и Юго-Восточной Европы административно-командную бюрократическую систему, Брежнев и его окружение, как, впрочем, до этого и Хрущев, относились крайне подозрительно, неприязненно и враждебно. Они не останавливались перед крайними мерами, прямым применением силы во имя сохранения этой системы, всевластия партийно-государственной верхушки в союзных странах. Наиболее наглядно это проявилось во время событий 1968 г. в Чехословакии.

Негативная реакция советского руководства и печати на "Пражскую

¹ Брежнев Л.И. Ленинским курсом, т. 1. М., 1970, с. 23.

² Брежнев Л.И. Там же, с. 108.

весну", августовская акция вооруженных сил пяти государств—участников Варшавского Договора, которая прервала процесс демократических преобразований в Чехословакии, проводившихся под руководством КПЧ и укрепивших авторитет коммунистов в обществе, — все это стало поворотным пунктом в отношениях СССР с другими социалистическими странами, показало пределы, до которых советское руководство готово позволить каждой из них проводить свою собственную, самостоятельную политику. После того как в Чехословакию были введены войска государств Варшавского Договора, понадобились объяснения и оправдание предпринятой акции. Это, в частности, было сделано в редакционной статье газеты "Правда" от 22 сентября 1968 г. "Защита социализма — высший интернациональный долг" и в статье С. М. Ковалева "Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран", опубликованной в "Правде" за 26 сентября 1968 г. В статье С. М. Ковалева содержится тезис о том, что "никто не вмешивается в конкретные меры по совершенствованию социалистического строя в различных странах социализма. Но дело коренным образом меняется, когда возникает опасность самому социализму в той или иной стране". Иначе говоря, в этом случае право на свободу выбора общественностью, народом любой социалистической страны путей своего общественного развития ограничивается, социалистический выбор провозглашается как окончательный и бесповоротный. Именно эта мысль содержалась в ряде документов, принятых в период чехословацких событий, в частности в Братиславском заявлении Совещания руководителей коммунистических и рабочих партий шести социалистических стран, состоявшегося в столице Словакии в начале августа 1968 г. В заявлении Братиславского совещания говорилось, что поддержка, укрепление и защита социалистических завоеваний, доставшихся ценой героических усилий, самоотверженного труда каждого народа, "являются общим интернациональным долгом социалистических стран"¹.

То, что было сказано в упомянутых статьях "Правды", а ранее в Братиславском заявлении, было, по сути дела, обоснованием концепции, которую Л. И. Брежнев выдвинул в ходе советско-чехословацких переговоров на высшем уровне в Москве через несколько дней после ввода войск государств—участников Варшавского Договора в Чехословакию. Об этой речи Брежнева подробно сообщает в своей книге "Тот август шестьдесят восьмого" тогдашний секретарь ЦК КПЧ З. Млынарж — непосредственный участник и живой свидетель того, что тогда происходило в Кремле².

В своей речи, как пишет З. Млынарж, Брежнев не стал произносить официальных слов о "контрреволюционных силах" и "интересах социализма" в Чехословакии, которыми тогда была переполнена советская печать и пресса других стран Варшавского Договора. Советский руководитель упрекнул чехословацких участников переговоров и прежде всего первого секретаря ЦК КПЧ А. Дубчека, в том, что они проводили свою внутреннюю политику без предварительного одобрения ее Брежневым и игнорировали его пожелания и советы. Именно то, что Прага не сове-

¹ Марксизм-ленинизм — единое интернациональное учение. Выпуск третий. М., 1968, с. 7.

² Фрагменты из этой книги опубликованы в первом номере журнала "Юность" за 1990 г.

товалась с Кремлем, Брежнев считал главным грехом чехословацких руководителей, из которого вытекают все остальные : буйствуют “анти-социалистические тенденции”, печать пишет что хочет, возникают “контр-революционные организации”, а руководство КПЧ находится под давлением этих сил и постоянно сдает свои позиции. Если бы Дубчек следовал советам СССР, говорил Л. И. Брежнев, вычеркивал бы из своих докладов то, что ему рекомендовали, назначал бы тех секретарей ЦК и министров, кандидатуры которых одобрял бы Советский Союз, то драматизма событий можно было бы избежать. Но Дубчек не следовал советам Москвы, и ей стало ясно, что на такое руководство КПЧ положиться нельзя. “Вы творите в своей внутренней политике, — заявил Л. И. Брежнев, — все, что вам заблагорассудится, в том числе и то, что нам не нравится, и не слушаете добрых советов. А между тем вашу страну освободил советский солдат. Нам далось это ценой больших потерь, и мы не двинемся отсюда. Границы этих земель — это и наши границы... Именем павших во второй мировой войне, которые погибли и за вашу свободу, мы вправе послать к вам свои войска, чтобы чувствовать себя в наших общих границах в полной безопасности. Угрожает вам кто-то или нет — не имеет значения, это дело принципа, от внешних обстоятельств оно не зависит. Так повелось со времен второй мировой войны, и так будет на вечные времена...”¹

Другая сторона чехословацких событий, в которой кроется, на наш взгляд, пожалуй, самая главная, глубинная причина августовской акции 1968 г., заключается в том, что “Пражская весна”, стремление тогдашнего чехословацкого руководства и общественности к созданию демократического социализма с “человеческим лицом” могли стать стимулом для борьбы за политические и экономические реформы, за нравственное очищение общества и в других странах Варшавского Договора. Ведь в ходе “Пражской весны” прямо был поставлен вопрос о том, что руководить государством, обществом, партией должны люди компетентные, образованные, авторитетные, в человеческом плане глубоко честные и порядочные.

Решение о вводе войск в Советском Союзе, как об этом говорится в воспоминаниях П. А. Родионова — бывшего второго секретаря ЦК КП Грузии, а затем первого заместителя директора ИМЭЛ при ЦК КПСС, было принято неполным составом Политбюро ЦК КПСС и не единогласно². Не были созваны ни Пленум ЦК, ни сессия Верховного Совета СССР для того, чтобы хоть формально одобрить эти решения. Проходившие затем собрания трудящихся, где проводилось голосование на предмет одобрения августовской акции, напоминали какой-то злоедающий фарс. Голосовать “против” или воздерживаться на этих собраниях было бессмысленно, ибо в этом случае на людей обрушились бы соответствующие санкции по партийной и административной линиям. И тем не менее нашлись люди, у которых хватило политического мужества по крайней мере не одобрять эту акцию беззакония и произвола. Добрым словом в связи с этим хотелось бы вспомнить журналистов из “Известий” Б. С. Орлова и В. М. Кривошеева, отказавшихся в своих репортажах из Праги писать о том, как жители Чехословакии “ликуют” в связи с “ин-

¹ Юность, 1990, № 2, с. 72–73.

² См. Знамя, 1989, № 8, с. 195.

тернациональной акцией” государств Варшавского Договора¹, сотрудников журнала “Проблемы мира и социализма” В. П. Лукина и М. И. Полякова, выразивших протест против ввода войск и в двадцать четыре часа высланных на Родину². 25 августа 1968 г. на Красной площади в Москве состоялась демонстрация протеста в связи с вводом войск ОВД в Чехословакию, в которой участвовали советские граждане: Лариса Богораз, Наталия Горбаневская, Константин Бабицкий, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг и Павел Литвинов.

К сожалению, тех, кто открыто протестовал против беззакония и произвола, допущенного в отношении Чехословакии, было немного и расправлялись с ними жестоко.

В военном плане акция вооруженных сил Варшавского Договора прошла весьма успешно, т. к. чехословацкие войска сопротивления им не оказали, но в плане политическом последствия этой акции были весьма тяжелыми. В Чехословакии был насильственно прерван процесс демократизации, политических и экономических реформ, а сами реформаторы исключались из партии, изгонялись с работы и заменялись людьми, вероятно и преданными делу марксизма-ленинизма, но, как правило, некомпетентными, безынициативными, с одной стороны, циниками и карьеристами — с другой. Именно эти люди в конечном итоге привели страну в состояние стагнации и застоя. На смену бурной политической активности масс во время “Пражской весны” пришли апатия, безразличие, забота об удовлетворении исключительно личных материальных потребностей и, как следствие этого, — воровство, протекционизм, лицемерие и двоядушие, утраата веры в то, что осуществление светлых идеалов социализма, на что надеялись в 1968 г., вообще возможно. Все это породило глубокий экономический, политический, моральный, нравственный кризис в чехословацком обществе, выход из которого при прежнем партийно-государственном руководстве страны (до его смены в ноябре 1989 г.) представлялся маловероятным. В докладе на внеочередном съезде КПЧ в декабре 1989 г. отмечалось, что сама партия оказалась в кризисе, основной причиной которого стали сталинские деформации, антидемократическая административно-командная система управления из центра. Это парализовало внутривнутрипартийную жизнь и способность партии реально решать вопросы развития общества, привело к грубой деформации социалистической демократии, отчуждению партии, государственных и хозяйственных органов от народа. Извращенное понимание руководящей роли коммунистической партии практически ликвидировало механизм диалога с народом при разработке политики. Партия сама отвергла возможность действительно реагировать на изменившиеся общественные условия и стала жертвой собственной изоляции.

Централизованная система управления экономикой не учитывала основные экономические законы, что вело к отставанию Чехословакии от развитых стран мира. Стихийно развивались “теневая экономика”, коррупция, социальный паразитизм. Грубо нарушались принципы социальной справедливости. Отдельные функционеры не только распределяли высокие посты в партийной и государственной иерархии, но и сами занимали важные позиции. Создалась узкая, взаимно повязанная

¹ См. *Литературная газета*, 13 декабря, 1989, № 50, с. 3.

² См. *Московские новости*, 1989, № 50, с. 8–9.

группа работников, которые практически бесконтрольно овладели решающими рычагами власти в партии и обществе. Монополия власти опиралась на централизованное управление средствами массовой информации. Руководство партии игнорировало все предупреждения и критические голоса.

Рядовые коммунисты не в силах были исправить то, что допустили люди, вставшие после августа 1968 г. во главе партии и государства. "Самая большая ошибка Якеша и Гусака, — подчеркивалось в докладе на внеочередном съезде КПЧ в декабре 1989 г., — в том, что, хорошо зная бесперспективность сталинистских методов, они не нашли смелости и воли их преодолеть".

Кризисное состояние КПЧ, ее раскол, массовый выход из рядов партии, падение ее авторитета и влияния привели к тому, что после ноябрьских событий 1989 г., которые знаменуют собой начало нового этапа возрождения свободной, демократической, независимой и суверенной Чехословакии, у коммунистов нет, в отличие от 1968 г., шансов на то, чтобы возглавить этот процесс и вообще сохранить себя в качестве влиятельной политической силы в стране. Безусловно, виновато в этом послевгустовское чехословацкое руководство. Но не в меньшей мере виноваты и те, кто с помощью десантников и танков создал условия для того, чтобы это руководство оказалось у власти.

Августовская акция 1968 г. привела далее к тому, что на смену искренним чувствам дружбы и благодарности к советскому народу за освобождение от фашистского ига, за помощь словацкому национальному восстанию, за спасение Праги в майские дни 1945 г. пришли неприязнь, отчужденность, прямая враждебность и даже ненависть. Думается, что одно из тяжелейших преступлений брежневского режима против народов СССР и Чехословакии в том, что слово "освободитель" по отношению к советским людям сменилось словом "оккупант".

Августовская акция привела к серьезному обострению отношений между Востоком и Западом и серьезно подорвала авторитет и влияние Советского Союза в мировом коммунистическом и демократическом движении. Если во время советского военного вмешательства в события в Венгрии осенью 1956 г. ни одна влиятельная компартия на Западе военной акции СССР не осудила, то в 1968 г. картина была иной. Руководство почти всех крупных компартий несоциалистической зоны мира высказало принципиальное несогласие с вводом вооруженных сил ОВД в Чехословакию и осудило эту акцию. В мировом коммунистическом движении по чехословацкому вопросу возник раскол. Такое явление в нем, как "еврокоммунизм", во многом обязано своему рождению августу 1968 г.

Августовская акция, наконец, крайне неблагоприятно сказалась на внутривнутриполитической обстановке и в СССР, и в других странах, вооруженные силы которых участвовали в этой акции. Усилилось преследование "инакомыслящих". Укрепились позиции командно-административной системы в экономике и политике. Был взят курс на решительный отказ от каких бы то ни было реформ, на укрепление и стабилизацию существовавших тогда этатрактических режимов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Брежнев и его окружение после 1968 г. активно поддерживали консервативные, антиреформаторские силы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, а руководители этих стран в свою очередь поддерживали советское руководство, всячески восхваляли его внутреннюю и внешнею политику, курили фимиам в адрес "архитектора застоя". "Нет такого человека на планете, — говорил Т. Живков при вручении Л. И. Брежневу золотой звезды Героя Народной Республики Болгарии и ордена Георгия Димитрова 18 сентября 1973 г., — который не знал бы, кому обязан мир разрядкой международной напряженности, на чьих плечах лежит основная тяжесть и великая историческая ответственность за судьбу мира и миллиардов людей всех континентов... Мы знаем и высоко ценим, дорогой Леонид Ильич, Ваши личные заслуги в развитии и осуществлении классовой внешнеполитической линии КПСС и Советского государства... в длительном и трудном процессе избавления мира от тени ядерной угрозы, в процессе утверждения мира, безопасности и сотрудничества стран и народов"¹.

Э. Хонеккер в речи на приеме в Большом Кремлевском дворце в связи с 70-летием Л. И. Брежнева 19 декабря 1976 г. говорил, что юбилей советского руководителя — это "знаменательный день не только для Страны Советов, для содружества социалистических государств. Нас... искренне радует то, что он достойно отмечается во всем мире как юбилей человека, прошедшего славный путь от рабочего до высшего представителя первого государства социализма... За прошедшие 12 лет, в течение которых Вы занимаете высший пост в КПСС, Союз Советских Социалистических Республик достиг невиданных высот. Мощь нового, социалистического мира стала несокрушимой и, что очень важно, наша планета изменилась к лучшему. Люди земли дышат свободнее и твердо уверены в мирном будущем"².

"Всеобщим признанием в нашей стране и во всем мире, — говорил Э. Герек в речи 11 мая 1973 г. при вручении ему ордена Ленина, — пользуется Ваш огромный вклад, товарищ Брежнев, в разработку широкой программы мира, принятой на XXIV съезде КПСС и с такой последовательностью реализуемой под Вашим руководством Советским Союзом на международной арене... Наш народ питает к Вам глубокое уважение как к выдающемуся деятелю советского и международного коммунистического движения, выдающемуся ленинцу, ведущему руководителю братского союзнического государства и надежному другу народной Польши"³.

С восхвалениями в адрес Брежнева от руководителей стран Центральной и Юго-Восточной Европы не отставали и советские деятели. Так, в выступлении секретаря ЦК КПСС, а ранее помощника Генерального секретаря ЦК К. В. Русакова на проходившем в Москве в апреле 1981 г. Всесоюзном семинаре-совещании идеологических работников говорилось, что ЦК КПСС, Политбюро ЦК, лично Л. И. Брежнев ведут огромную и напряженную работу "по укреплению взаимодействия братских социалистических государств. Эта работа имеет подлинно всемирно-историческое значение. Ее успех — залог лучшего будущего челове-

¹ Ж и в к о в Т. Избранные статьи и речи. 1965—1975. М., с. 520.

² Х о н е к к е р Э. Избранные речи и статьи (1971—1978). М., 1979, с. 512.

³ Г е р е к Э. Избранные статьи и речи (1971—1979). М., 1975, с. 194—195.

чества, ибо это будет успех великих идеалов коммунизма и мира"¹.

Между тем кризисные процессы в этатрагических государствах углублялись и нарастали. Но советское руководство не считало возможным реально взглянуть на положение вещей и вместе со своими союзниками как-то их нейтрализовать. Когда же социально-экономический и общественно-политический кризис в Польше вылился в открытый конфликт между властями и народом, то его глубинных причин советское руководство не поняло или сделало вид, что оно их не понимает. Сам же польский кризис советские средства массовой информации сводили в основном к тому, что он является результатом империалистического вмешательства в дела Польши, деятельности западных спецслужб и находящихся у них на службе представителей антисоциалистических и контрреволюционных сил. В эту категорию зачислялись практически все организации, выступавшие против политики партийно-государственной верхушки, хотя многие из них, особенно профобъединение "Солидарность", поддерживались самыми широкими массами рабочего класса и других слоев польского общества. Давая свою интерпретацию событий, связанных с кризисом в Польше, начавшимся летом 1980 г., советские средства массовой информации существенно расходились в оценках этих событий со стороны ПОРП и ее руководства, и не всегда эти оценки доводились до сведения советской общественности. Так, в советских газетах публиковались только в изложении, а не полностью программные выступления руководителей ПОРП и ПНР, материалы пленумов ЦК ПОРП, IX Чрезвычайного съезда партии, состоявшегося в июле 1981 г. Между тем в материалах съезда был дан обстоятельный анализ причин, которые привели к кризису, и были намечены меры, которые, как надеялись тогдашние руководители страны, должны были привести к нормализации обстановки в стране.

В отчетном докладе ЦК ПОРП IX съезду партии, в частности, отмечалось, что кризис летом 1980 г. был связан с выступлением рабочих не против социализма, а против нарушения его принципов, не против народной власти, а против неправильных методов правления, не против партии, а против ошибок в политике ее руководства. С позиций сегодняшнего дня такой анализ кажется явно недостаточным, но в той обстановке, которая сложилась в "социалистическом содружестве" в начале 80-х годов, когда все сложности и трудности в развитии нового общественного строя, как уже отмечалось, связывали главным образом с поисками империализма и внутренней контрреволюции, подобная постановка вопроса казалась необычной, смелой и чуть ли не "революционной". Масштабы и глубина кризиса вытекали из многих ошибочных концепций и решений в области экономической и социальной политики в 70-е годы. В докладе среди таких ошибок прежде всего была названа чрезмерная ориентация тогдашнего польского руководства во главе с Э. Герекком на развитие экономических и научно-технических связей с Западом, на получение кредитов для модернизации производства и строительства новых предприятий, продукцией которых, продаваемой на

¹ За высокое качество и действенность идеологической работы. Материалы Всесоюзного семинара-совещания идеологических работников. Москва, 20–25 апреля 1981 г. М., 1981, с. 252.

западных рынках, Польша надеялась рассчитывать за полученные кредиты. Однако этого не случилось. Кредиты были использованы малоэффективно, в значительной мере они выделялись на мероприятия, которые не поднимали платежеспособность государства, не ограничивали импорт, и в основном были истрачены в сфере потребления. Продукция предприятий, построенных в счет кредитов, на западном рынке была неконкурентоспособной. В ряде случаев она вообще не была произведена. В результате задолженность Польши капиталистическим странам превзошла все допустимые границы. К началу 80-х годов она составила 27 млрд. долл.¹ Закупленная на Западе технология требовала постоянного ввоза из-за рубежа за валюту комплектующих деталей, сырья, материалов, запасных частей. В результате весь польский экспорт должен был идти на погашение долгов и процентов по долгам. Из-за неоправданно высоких капиталовложений в промышленность и необходимости оплачивать кредиты сократился национальный доход, было нарушено равновесие между производством и потреблением, что вело к росту инфляционных тенденций. Застой в сельскохозяйственном производстве вызвал нехватку продуктов питания, несмотря на большой импорт зерна и кормов. Эффективность экономики снижалась из-за бесхозяйственности и разбазаривания средств производства и труда, низкого качества продукции, отсутствия заинтересованности трудовых коллективов в результатах своей работы. Были нарушены принципы социальной справедливости и элементарные моральные нормы. Произошел необоснованный рост различий в доходах. Недостаточное развитие здравоохранения, общественного транспорта, школьного образования болезненно воспринималось людьми с низкими заработками и многодетными семьями.

Как подчеркивалось в документах съезда, еще одной причиной кризиса стали отход в политической практике от главных принципов социализма, принципа общественной справедливости, ограничение содержания и форм народовластия, извращение принципов демократического централизма и ленинских норм в партийной работе. Неправильные критерии и несправедливое распределение произведенных благ способствовали появлению привилегированных прослоек и групп нажима, оказывавших влияние на механизм осуществления власти. Это привело к извращению руководящей роли партии и способов функционирования государственной власти.

Общая черта всех кризисов в Польше, в том числе и кризиса 1980—1981 гг., несмотря на их специфику и своеобразие, как отмечалось в документах съезда, заключалась в том, что они всегда давали одинаковый результат — экономический кризис и общественный конфликт. Следствием такого положения стало недоверие народа и партийных масс к руководству партии и страны. Недоверие распространилось на всю партию, которая отождествлялась с политической властью. Те ценности и завоевания, которые в сознании каждого человека ассоциировались с социализмом: справедливость, равенство, уверенность в завтрашнем дне, всеобщий доступ к культуре и образованию, общественная забота о детях, престарелых, одиноких и больных людях, охрана здоровья и окружающей среды, — оказались во второй половине 70-х годов под угрозой.

¹ См. За высокое качество и действенность идеологической работы, с. 239.

Не произошло и обещанного роста благосостояния. Вместо него — экономический кризис, инфляция, растущая неуверенность в завтрашнем дне. Бремя кризиса особенно ощутило молодое поколение, лишенное перспектив нормального участия в жизни общества, в материальной, социальной и общественно-политической сфере.

Приведенные выше основные положения анализа кризисной ситуации IX Чрезвычайным съездом ПОРП не могли не оказать воздействия на позицию советского руководства. В первоначальную интерпретацию событий как результата происков империализма и внутренней реакции были внесены известные коррективы. В отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии, с которым выступил Л. И. Брежнев, говорилось в связи с польскими событиями, что там, где “к подрывной деятельности империализма добавляются ошибки и просчеты во внутренней политике, возникает почва для активизации враждебных социализму элементов”¹. Вместе с тем в докладе говорилось, что “социалистическую Польшу, братскую Польшу мы в беде не оставим и в обиду не дадим”². Тем самым, по сути дела, подтверждалась выдвинутая во время чехословацких событий 1968 г. доктрина о коллективной “защите завоеваний социализма”, т.е. право союзников Польши по Варшавскому Договору вмешиваться во внутренние дела страны и диктовать польскому руководству такую линию поведения, которую тогдашние советские лидеры считали необходимой для дела социализма в Польше: линию на решительный отпор силам внутренней контрреволюции, на укрепление руководящей роли ПОРП в жизни польского общества, упрочение позиций административно-командной системы, а отнюдь не линию на проведение политических и экономических реформ, демократизацию общества, утверждение в нем принципов социальной справедливости, чего требовали широкие массы коммунистов и трудящихся страны.

После XXVI съезда КПСС политический нажим на польское руководство с целью побудить его проводить угодную Москве линию усилился. В апреле 1981 г. в Варшаву для встречи с руководителями ПОРП выезжала советская партийно-правительственная делегация во главе с М. А. Сусловым. 5 июня 1981 г. ЦК КПСС направил письмо Центральному Комитету Польской объединенной рабочей партии. Это был закрытый документ. Но польской печатью он был опубликован. Поэтому его вынуждена была поместить на своих страницах и советская печать. 12 июня 1981 г. текст письма появился на страницах “Правды”. В письме говорилось, что в Польше сложилась не просто опасная обстановка, но она подвела страну к критической черте.

В письме содержались упреки в адрес ПОРП и ее руководства, говорилось о том, что партия не принимает действенных мер по борьбе против контрреволюционной угрозы, что в самой партии к руководству местными организациями нередко приходят случайные люди, открыто пропагандирующие оппортунистические взгляды, и отстраняются опытные и преданные делу партии работники с незапятнанной репутацией.

В письме, наконец, подчеркивалось, что наступление враждебных антисоциалистических сил в Польше угрожает интересам всего социали-

¹ Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 9.

² Там же, с. 9—10.

стического содружества, его сплоченности, целостности, безопасности границ и что в этих условиях необходимо не допустить худшего, предотвратить национальную катастрофу, мобилизовать все силы на отпор классовому противнику, на борьбу с контрреволюцией. Это требует революционной решимости партии, ее актива, ее руководства. Партия может и должна найти в себе силы, чтобы переломить ход событий... направить их в нужное русло¹.

Угрозы повторения чехословацкого варианта 1968 г. в письме ЦК КПСС не содержалось, но не исключалось, что и такой вариант возможен, если польское руководство будет бездействовать. В ряде публикаций польской прессы последнего времени приводятся материалы о том, что ответственные работники советских органов безопасности и военачальники из ОВД уже с весны 1981 г. ставили вопрос о введении в Польше военного положения и говорили, что если вы, поляки, сами это сделать не в состоянии, то мы вам поможем.

Исключительная сложность внутренней обстановки в Польше, резкое обострение социально-экономических проблем в стране, ухудшение снабжения населения, рост цен, инфляция, забастовки, деятельность экстремистских сил, рвущихся к власти, активное вмешательство в дела Польши западных держав и их спецслужб, поощрявших экстремистские силы на активизацию сопротивления с партией и государством, наконец, давление советского руководства на Польшу — все это заставило тогдашнего первого секретаря ЦК ПОРП и Председателя Совета министров ПНР, а ныне Президента Польской Республики В. Ярузельского принять решение о введении военного положения в стране, создании Военного совета национального спасения, интернировании лидеров "Солидарности" и бывших членов польского руководства, отстраненных от власти после начала кризиса, запрещении деятельности профсоюзов, забастовок, закрытии ряда печатных изданий и т.д. Как отмечал В. Ярузельский, решение о введении военного положения "было самое драматичное решение в моей жизни, оно сидит во мне, как заноза, и будет сидеть, пока я жив".

Сейчас, спустя почти 10 лет после драматических событий декабря 1981 г., даются разные оценки тому, что произошло в те дни. Одни считают, что введение военного положения было вынужденным шагом, что в условиях, когда страна оказалась на краю пропасти, только военное положение могло спасти ее от национальной катастрофы, гражданской войны, внешнего военного вмешательства, избежать которого можно было только одним путем: показать, что польское руководство само может защищать социализм и его завоевания. Другие полагают, что введение военного положения было трагической ошибкой, оно отбросило Польшу назад, усугубило кризис в стране, не решило проблем, выявившихся в ходе кризиса. Руководство партии и государства выиграло тактически, введя военное положение, продлив тем самым почти на десятилетие свое пребывание у власти. Но оно проиграло стратегически, превратив процесс реформ, а затем проводя их осторожно, половинчато, с запозданием, что привело в конечном итоге к дискредитации ПОРП, убежденности общественности в том, что правящая партия, руководимый

¹ См. *Правда*, 12 июня 1981.

ею государственный аппарат не в состоянии эффективно управлять страной. Все это в конечном итоге привело к поражению ПОРП на выборах летом 1989 г., в результате чего партия сначала перестала быть правящей, а затем вообще прекратила свое существование. На смену ей в январе 1990 г. пришла социал-демократия Польской Республики. Конечно, в таком печальном для ПОРП повороте событий виноваты прежде всего сама партия, ее руководители и проводимая ими политика. Но она осуществлялась в крайне неблагоприятной для ПОРП и ее реформаторского крыла внешней обстановке. Об этом откровенно говорил в своем докладе на последнем в ее истории XI съезде Польской объединенной рабочей партии первый секретарь ЦК ПОРП М. Раковский. Он отмечал, что "политика СССР и КПСС догорбачевской эры имела, разумеется, в разной степени имперский характер. Результаты этой политики мы особенно болезненно ощутили в 1981 г.

Брежнев и его клика были не в состоянии понять причины массовых протестов рабочих, которые в июле и в августе 1980 г. открыли процесс глубоких перемен в общественной жизни нашей страны. Брежнев и его посыльные оказывали постоянное давление, упорно задавали С. Кане (первый секретарь ЦК ПОРП в 1980—1981 гг. — *Авт.*) и В. Ярузельскому вопрос: когда начнется реальная борьба с контрреволюцией, иначе говоря, с "Солидарностью". Они весьма критически относились к прогрессивным целям, провозглашенным ПОРП. Но они хорошо относились к тем, кто в их глазах казался настоящим коммунистом... Доктрина Брежнева висела как топор над польской партией и ее руководством. Эта доктрина блокировала демонтаж сталинских политических и экономических структур, что было одной из причин падения авторитета ПОРП... Доктринерский мотив отказа от политической демократии надо искать в ...концепции диктатуры пролетариата, которая фактически означала диктатуру одной партии и вынуждена была вырождаться в олигархию или персональную деспотию. Партия в странах реального социализма, в том числе и ПОРП, становилась государственной партией, раздающей должности и доходы. Невозможно реформировать систему, сохраняя концепцию "руководящей и направляющей роли партии".

Помимо определенной интерпретации польских событий 1980—1981 гг. как "контрреволюции" и покушения на "устой, завоевания и ценности социализма", советское руководство во главе с Л. И. Брежневым негативно относилось к попыткам экономических и политических реформ в других странах Центральной и Юго-Восточной Европы, в частности к экономической реформе в Венгрии, начавшейся в 1968 г. и фактически свернутой к 1972 г. в результате сопротивления консервативных сил в партийном и государственном руководстве. Как отмечалось в документе подкомиссии ЦК ВСРП "Наш исторический путь", представленном участникам февральского (1989 г.) Пленума ЦК ВСРП и опубликованном в теоретическом и политическом органе партии — журнале "Таршадальми семле" (1989, № 2), реализация сталинской модели административно-командного, централизованного социально-экономического развития вела страну в тупик, и это прекрасно понимали ее руководители во главе с Я. Кадаром.

Во второй половине 60-х годов политический опыт и чувство реаль-

ности привели руководство к выводу о необходимости всеобъемлющих преобразований. Благоприятный международный фон для этого создавали реформы в социалистических странах. Благодаря избранию видного венгерского экономиста Р. Ньерша (ныне председатель ВСП. — *Дет.*) секретарем ЦК по экономической политике были созданы кадровые условия для подготовки реформ. В интересах предотвращения критики со стороны СССР и других социалистических стран венгерское руководство вынуждено было подчеркивать неизменный характер принципиальных основ. Реформа идеологии не была поставлена в повестку дня. Но это зажало экономическую реформу в тиски перспективного прагматизма. Тем не менее реформа дала положительные результаты. Материальное положение населения было лучше, чем в соседних социалистических странах, венгерское общество стало ближе к политическому руководству, возросла популярность Я. Кадара как политика-реалиста и результативного реформиста. Однако процесс равновесия и прогресса в Венгрии остановился, осуществление второго этапа реформы было снято с повестки дня. Осенью 1972 г. против реформы было организовано консервативное политическое наступление группой членов Политбюро ЦК ВСРП в составе З. Камочина, Б. Биску и А. Пуллаи. Они оценивали реформу как мелкобуржуазное накопительство, нанесение ущерба принципам социализма и интересам рабочего класса.

Р. Ньерш, председатель Совета министров Венгрии Е. Фок и другие сторонники реформы были выведены из Политбюро, сняты со своих постов, отстранены от политической жизни. Началась централизация в экономическом управлении. Она осуществлялась под лозунгом защиты интересов рабочих, были, в частности, введены ограничения на прием в партию лиц, не являющихся рабочими. Административные меры осуществлялись также в отношении философов и социологов, стоявших на реформаторских позициях. Они были удалены из духовной жизни общества, где вместо плюрализма мнений стала реанимироваться сталинская идеология.

Половинчатость экономической реформы, а затем и ее приостановка произошли в момент, когда начались кардинальные преобразования в мировой экономике, негативного воздействия которых на Венгрию (рост цен на нефть в 1974 г.) приостановить не удалось. Возник дефицит в госбюжете и во внешней торговле. Экономические потери Венгрии достигли уровня годового национального дохода и были сопоставимы с уровнем потерь во второй мировой войне.

Финансовый дефицит венгерское руководство попыталось покрыть зарубежными кредитами. Они пошли на покрытие дополнительных поставок в страны СЭВ из-за ухудшения пропорций во взаимной торговле, на компенсацию за рост цен на импорт и дотации на рублевый экспорт. Все это свело на нет результаты реформы цен 1968 г. Нужен был поиск новых путей выхода из положения.

Приспособить венгерскую политику реформ к догматической линии брежневского руководства было трудно. Это негативно сказалось на динамизме и радикальности реформ. Десятилетие 1978—1988 гг. было периодом застоя. Не были осуществлены меры по преобразованию экономической структуры, правительство откладывало решение актуальных задач, не желая идти на социальные конфликты. В 1979—1980 гг.

был предпринят ряд важных мер по плюрализации экономики и исправлению ошибок в период чрезмерной централизации. Это позволило смягчить последствия стагнации, но привело к дифференциации доходов, что вызвало социальную напряженность в стране, привело к ослаблению согласия между обществом и властью. Был отнесен на задний план демократизм в партийном руководстве, решения Политбюро выражали мнение Я. Кадара. Высшие руководящие органы становились непригодными для выполнения своей роли, еще более резким стал разрыв с интеллигенцией, авторитет и популярность руководства падали. Члены партии не желали брать на себя ответственность за решения, в разработке которых они не принимали участия. Перестройка в СССР оказала стимулирующее воздействие на Венгрию, дала возможность проведения радикальных экономических и политических реформ, но тогдашнее венгерское руководство "остановилось перед открытыми дверями". Это усилило чувство разочарования и превратилось в источник политического кризиса после 1985 г. В мае 1988 г. руководство ВСРП созвало национальную партийную конференцию, на которой был переизбран весь состав ЦК. Я. Кадар отказался от поста Генерального секретаря ЦК, и хотя он некоторое время (до апреля 1989 г.) оставался председателем партии, в состав Политбюро ЦК Я. Кадар не вошел и непосредственного участия в руководстве работой партии с этого момента не принимал. Решения конференции и проведенные ею кадровые изменения вызвали оживленную реакцию мировой общественности и прессы. "При Кадаре, — писала 25 мая 1988 г. газета "Таймс", — Венгрия стала одной из самых процветающих и самых гуманных стран на советской орбите... Для тех, кто исповедует коммунизм на Западе, разочарованных советским вторжением в Чехословакию, Венгрия была доказательством того, что коммунизм можно заставить работать. К сожалению, для них и для Кадара этот вывод был преждевременным. В последние годы Венгрия подвергается тем же экономическим испытаниям, которые приблизили экономики других стран с централизованным планированием к экономическому банкротству. События в Венгрии, отставка Кадара показывают оставшимся от брежневской гвардии руководителям, что их дни сочтены. В Восточной Германии, Румынии и Болгарии более молодое поколение коммунистов почувствует, что появился шанс добиться власти, и усилит давление. Если даже Янош Кадар при его значительных достижениях в перестройке, его молчаливом осуществлении гласности и твердой как сталь решимости не может сопротивляться дальше, значит, время перемен в других странах Восточной Европы уже не за горами". Учитывая последующее развитие событий в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, можно сказать, что это высказывание английской газеты оказалось пророческим.

Возвращаясь к анализу отношений советского руководства в годы застоя со странами этого региона и их руководителями, следует отметить, что наряду с резко негативным отношением Брежнева и его окружения к попыткам кардинальных политических и экономических реформ, к демократизации общества в таких странах, как Чехословакия 1968 г., Польша 1980—1981 гг., Венгрия — 60 — 70-х годов, советское руководство застойного периода проявляло удивительную терпеливость и лояльность к режимам, которые реформ не хотели и всякие попытки

добиться демократизации общества пресекали, причем такое "товарищеское отношение" проявлялось и к руководителям некоторых стран, например Румынии, которые по отношению к советским лидерам взаимности не проявляли, а от политики СССР и социалистического сотрудничества, особенно политики внешней, пытались всячески дистанцироваться.

В материалах советской печати о внутренней и внешней политике названных стран практически отсутствовали критические замечания и объективная информация о состоянии их экономики и культуры, общественно-политических проблемах, нарушениях прав и свобод граждан. Понятно, что такого рода высказывания не могли появляться в партийных и правительственных изданиях и исходить от советских официальных лиц. Речь шла о странах, где режимы и их руководители твердо стояли на "позициях марксизма-ленинизма и социалистического интернационализма", "защиты устоев, принципов, завоеваний социализма", поэтому критика в их адрес считалась недопустимой и неэтичной, вне зависимости от того, как они строили свою политику и как к этим режимам относились народные массы, общественность стран, где они находились у власти. Подобное положение не изменилось и с началом перестройки в СССР. Критика в адрес негативных явлений в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, если она не появлялась на страницах прессы этих стран, практически отсутствовала; прохладное, а порой враждебное отношение к перестройке, демократизации и гласности в СССР замалчивалось. Продолжались, как и в застойные времена, визиты делегаций, награждение лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы советскими орденами, приветствия в их адрес по поводу юбилейных дат и т.д.

В свою очередь подобное отношение советского руководства к консервативным этатрактическим режимам в Центральной и Юго-Восточной Европе позволяло им питать надежды на то, что в случае каких-то политических неприятностей они могут рассчитывать на понимание и даже поддержку советского руководства, как это было во время событий в ГДР 17 июня 1953 г., в Венгрии осенью 1956 г., в Чехословакии в августе 1968 г., в Польше в конце 1981 г. А это обстоятельство было одним из мотивов к проведению такой политики, которая во многом шла вразрез с интересами народов стран, где эти режимы правили и сопровождалась грубыми нарушениями норм партийной и государственной жизни, принципов социальной справедливости, этики в личном поведении руководителей, коррупцией, nepотизмом, злоупотреблением служебным положением, нарушениями гражданских прав и человеческих свобод, извращениями в национальной политике и т.д. Причем все это тщательно скрывалось от общественности, и картина стала проясняться только тогда, когда эти режимы были сметены очистительной волной демократических революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Так, в Болгарии, прикрываясь высокими словами о дружбе с Советским Союзом, о всестороннем сближении с первой в мире страной социализма, Т. Живков и его ближайшее окружение установили в стране авторитарный, клановый режим. Этот режим решительно искоренял всякое инакомыслие в обществе и в партии, превратил Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС) в послушный придаток БКП,

не имеющий своего облика и программы. Верхушка партийно-государственного аппарата сосредоточила в своих руках все рычаги власти, на рядовых коммунистов она смотрела как на аморфную массу, обязанную платить взносы и выполнять решения руководства. Частые смены в управленческом аппарате, в том числе и в Политбюро ЦК БКП и правительстве, стали основой кадровой политики. Безальтернативные выборы в народе называли "скачки с одним конем". Они обезличили Народное собрание, превратили его в фиксатора принимаемых аппаратом решений. Огосударствление собственности, перекачка ресурсов из одного сектора экономики в другой размыли социальные структуры общества, обрекли народ на экономическую и политическую пассивность. Используя метод "разделяй и властвуй", правящая верхушка противопоставляла друг другу рабочих, крестьян, интеллигенцию, что позволяло ей сохранять и укреплять свое господствующее положение¹.

Процесс перестройки, демократизации и гласности в СССР вызвал двоякую реакцию прежних болгарских властей. Публично было объявлено о солидарности с этим процессом, о том, что Болгария идет по этому пути чуть ли не с того момента, когда Т. Живков стал во главе партии и государства (в 1954 и в 1971 гг.). В 1987 г. была принята на июльском Пленуме ЦК БКП концепция дальнейшего развития социализма. Смысл ее заключался в том, чтобы ввести перестройку в нужное партийно-государственной верхушке русло. С другой стороны, было сделано все, чтобы подавить инициативу масс и ограничиться косметическим обновлением фасада болгарского общества. Но прогрессивные силы страны, общественность, интеллигенция не согласились с этим. Возникли движения в поддержку демократизации и гласности, "Экогласность" и другие неформальные организации, требовавшие перестройки и демократизации не на словах, а на деле. Аппарат в этом усмотрел опасность для себя, он попытался подорвать доверие к интеллигенции, запугать и расколоть ее. Неформальные группы и общества подверглись гонениям и репрессиям, их руководителей исключали из партии, лишали депутатских мандатов, травили в прессе. Все обостряло внутривнутриполитическую ситуацию в стране, что особенно проявилось во время экологического форума в Софии осенью 1989 г., когда власти своим отказом допустить к его работе неформальных участников "Экогласности" скомпрометировали себя в глазах мировой общественности².

Недовольство охватило и часть высшего руководства партии.

На заседании Политбюро, предшествовавшем ноябрьскому Пленуму ЦК БКП, ряд членов Политбюро выступил против Живкова. Заседание завершилось просьбой Живкова освободить его с занимаемых постов, которая была единодушно удовлетворена и утверждена Пленумом ЦК 10 ноября. С этого момента началась новая страница в истории Болгарии, где в результате движения и сверху и снизу была свергнута диктатура живковского клана, и страна пошла по пути свободного демократического развития.

Сорок лет просуществовало в центре Европы еще одно этакратическое государство, созданное на развалинах гитлеровского рейха, на осво-

¹ См. *Новое время*, 1990, № 6, с. 12.

² Там же.

божденной Советской Армией от фашизма территории Восточной Германии — Германская Демократическая Республика. Ее руководители, как и руководители Болгарии, в застойные годы клялись в верности и беспредельной преданности Советскому Союзу и его руководству. Они выдвинули лозунг "Учиться у Советского Союза — значит учиться побеждать". Хотя, откровенно говоря, учиться особенно было нечему, ибо созданная по советскому, сталинскому образцу административно-командная система в ГДР функционировала гораздо успешнее и эффективнее, чем в стране, где она родилась.

За 40 лет своего существования ГДР добилась ощутимых результатов в своем развитии. Здесь нет, как в Советском Союзе, "синдрома дефицита", пустых полок в магазинах. К концу 80-х годов в ГДР в расчете на душу населения потреблялось ежегодно 99,4 кг мяса, 108,3 л молока, 303 яйца, 99 кг муки и смесей, 257 кг картофеля и овощей, 68,3 кг фруктов. Три из каждых пяти семей имели собственные автомашины¹. В стране почти разрешен жилищный вопрос. К пониманию необходимости создания новой системы управления экономикой в ГДР пришли гораздо раньше, чем в Советском Союзе. Были созданы производственные комбинаты, во многом сломавшие ведомственность в функционировании народного хозяйства. В отличие от большинства советских колхозов и совхозов работа сельскохозяйственных производственных кооперативов в ГДР дает реальные плоды. Гораздо выше, чем в СССР, уровень социальной защищенности трудящихся. В политической области была создана модель многопартийной системы, налажено конструктивное сотрудничество государства с церковью. И тем не менее страна оказалась в состоянии глубокого кризиса, ибо административно-командная система с ее сверхцентрализованным планированием и управлением, полугласностью, восхвалением мнимых успехов и показной демократией вызывала постоянно растущее недовольство и разочарование широких масс трудящихся. При этом надо учесть, что не только не был реализован выдвинутый в 60-е годы лозунг в два-три года догнать и перегнать ФРГ по национальному доходу и промышленному производству на душу населения, но разрыв в уровнях социально-экономического развития, в жизненном уровне населения, в реальном осуществлении на практике гражданских прав и свобод личности между двумя германскими государствами постоянно увеличивался. В конце 80-х годов производительность труда в ГДР была на 40% ниже, чем в ФРГ², а оплата труда за ту же самую работу примерно вдвое ниже.

Как подчеркивалось на состоявшемся в ноябре 1989 г. X пленуме ЦК СЕПГ, коренной недостаток существовавшей до сих пор системы состоял в таких отношениях между партией и обществом, когда партия осуществляла свою руководящую роль в обществе административными методами. Платформа партии основывалась на нереальных оценках, исходными позициями для разработок экономических задач служили субъективные представления о желаемом, а не о действительном положении дел. Неуважение к личности и компетенции в профессиональной и общественной деятельности нередко приводило к искаженным оценкам духовного потенциала народа, обрекало творчество на упадок.

¹ См. *Литературная газета*, 1989, № 47, 22 ноября, с. 14.

² См. *Правда*, 15 января 1990.

Экономическая политика отстала от реальностей. Недостаточная реализация принципа оплаты по труду привела к возникновению асоциальных побочных явлений, в том числе "теневой" экономики и взяточничества. Все это вело к недовольству населения, к массовому выезду из страны, особенно летом и осенью 1989 г., когда ГДР покинуло более 200 тыс. человек.

Глубокое возмущение у трудящихся вызывали факты злоупотребления властью, коррупции, сам образ жизни правящей верхушки. "Притчей во языцех" стал поселок Вандлиц, где проживали руководители страны. Три десятка лет просуществовал этот "остров коммунизма" в цветах ГДР. За высоким глухим забором, под усиленной круглосуточной охраной обитатели поселка теряли связь с повседневными нуждами народа. Вандлиц стал для подавляющего большинства граждан ГДР символом застоя, парадной вывеской местного варианта сталинской бюрократической системы¹. Ее руководители заботились не только о себе, но и о своих близких. Шло массовое строительство домов для семей высокопоставленных номенклатурных работников. Смета определяла стоимость материалов и работ в 240 тыс. марок, что в три раза превышало затраты на строительство обычных индивидуальных домов. Однако, как правило, смета значительно завышалась. Дома, которые бывшие члены Политбюро ЦК СЕПГ В. Штоф, В. Кроликовский, Г. Клейбер построили для своих детей, обошлись в 1,5 млн. марок. Причем деньги на эти цели выделялись якобы на строительство "оборонных объектов"². Люди, которые со всех трибун твердили о "чистоте социализма", "незыблемости принципов социальной справедливости", жили в роскоши, которую могли себе позволить далеко не все в мире капитала. Злоупотребление властью в ГДР было прямым следствием господства административно-командной системы и ее руководителей, державших в своих руках важнейшие рычаги осуществления власти. "Единовластие одной партии, — говорилось в докладе Председателя Совета министров ГДР Х. Модрова на Чрезвычайном съезде СЕПГ, — в конце концов приводит к единовластии руководства, а это в свою очередь — к единовластию первого человека этого руководства и его помощников". Именно так и было в ГДР, и подобное положение Э. Хонеккер и его окружение стремились сохранить навечно, пользуясь поддержкой и пониманием советского руководства в застойные годы. Именно поэтому они с крайним раздражением отнеслись к перестройке, демократизации и гласности в СССР, увидев в этом опасность для своего исключительного положения, своих привилегий. Лозунг "Учиться у Советского Союза — значит учиться побеждать" был вычеркнут из политического лексикона. Его сменил другой лозунг, выдвинутый бывшим главным идеологом СЕПГ К. Хагером: если сосед переклеивает обои, то это не значит, что мы должны делать то же³. Главные аргументы бывшего руководства ГДР против перестройки сводились к тому, что в сфере экономической то, к чему стремится Советский Союз, давно уже осуществлено в ГДР, а в политике, и особенно в сфере гласности, изменения могут быть опасными, учитывая

¹ См. *Красная звезда*, 6 января 1990 г.

² См. *Советская культура*, 9 декабря 1989 г., с. 7.

³ См. *Новое время*, 1989, № 50, с. 14.

особое положение ГДР на стыке двух систем и губительное влияние буржуазной пропаганды. Любое ослабление строжайшего контроля, идеологического диктата, любая попытка искать диалога с оппозицией чреваты опасностью гибели ГДР как социалистического государства. Предпринимались и практические меры по ограждению населения ГДР от "вредного" советского влияния. Были запрещены распространение журнала АПН "Спутник" и демонстрация ряда советских кинофильмов, конфисковывались отдельные номера журнала "Новое время" и других советских изданий, что у граждан ГДР вызывало недоумение, возмущение и протесты.

Однако с помощью политических и идеологических репрессий и изоляции населения ГДР и от "нежелательных и опасных" веяний как с Запада, так и с Востока спасти режим не удалось. В октябре 1989 г., сразу же после празднования 40-летия ГДР, в результате демократической революции началось его крушение, начался новый, демократический этап в жизни немецкого народа.

Лояльное и терпимое отношение, по крайней мере внешне, советское руководство "застойного периода" проявляло и к тем режимам, называвшим себя социалистическими, которые в своей внешней политике проводили во многом особый, отличный от согласованной линии государств-участников Варшавского Договора курс, всячески "дистанцировались" от Советского Союза и социалистического содружества, но в то же время во внутренней политике осуществляли линию на эксплуатацию собственного народа, подавление и удушение в зародыше всякой оппозиции и инакомыслия, установление личной и кланово-семейной тоталитарной диктатуры. В Юго-Восточной Европе такой страной была Румыния, народ которой почти четверть века находился под господством клана Н. Чаушеску. В руках диктатора и его родственников находились важные посты в партийно-государственном, хозяйственном, военном, идеологическом, дипломатическом аппарате. Ответственные партийные и государственные посты занимали около 60 родственников Н. Чаушеску, 10 из них были членами ЦК РКП.

Любопытна история появления на "политическом Олимпе" Румынии клана Чаушеску. Его глава, будущий диктатор Румынии, родился в 1918 г. в многодетной крестьянской семье. Подростком он ушел в город, стал подмастерьем сапожника, в начале 30-х годов был арестован то ли за мелкую кражу, то ли за драку. (Румынская пропаганда преподносила этот факт таким образом, что чуть ли не с детского возраста Н. Чаушеску принял активное участие в революционном движении.) Отбывая наказание в тюрьме Давтаке, Н. Чаушеску познакомился с известным революционером, а после 1945 г. руководителем Компартии Румынии Георге Георгиу-Дежем. Это знакомство помогло Чаушеску сделать быструю политическую карьеру. Он возглавлял румынский комсомол, затем был начальником политуправления, заместителем министра национальной обороны. С 1954 г. Н. Чаушеску — кандидат в члены Политбюро ЦК РКП и секретарь ЦК, а с 1958 г. член Политбюро, Секретарь ЦК партии¹.

После смерти Георге Георгиу-Дежа в 1965 г. в руководстве РКП возникло сложное положение. Многие ветераны партии претендовали на

¹ См.; Чаушеску Н. Избранные произведения. 1982–1986. М., 1987, с. 397; *Новое время*, 1990, № 12, с. 8.

освободившееся место. Наиболее вероятным кандидатом был Г. Апостол, считавшийся вторым лицом в румынской иерархии. Однако большинство членов руководства возражало против кандидатуры Г. Апостола и согласилось в качестве компромиссного решения на избрание Н. Чаушеску, который, по свидетельству тогдашнего председателя Совета министров Румынии И. Г. Маурера, "казался человеком, желающим учиться, с открытым умом, который слушает и пытается понимать". Ожидалось, что Н. Чаушеску будет прислушиваться к голосу ветеранов партии в ее руководстве, проводить политику в духе коллегиальности, сумеет исправить искривления и перегибы в этой политике, нарушения законности, допущенные при Г. Георгиу-Деже. И действительно, на первых порах казалось, что так и будет. Были реабилитированы посмертно или освобождены из заключения многие необоснованно репрессированные деятели партии и государства. В своей политической программе Н. Чаушеску призывал создать великое процветающее государство, независимое от Советского Союза и социалистического содружества. В 1968 г. Румыния отказалась принять участие в августовской акции вооруженных сил государств—участников Варшавского Договора в Чехословакии. Ранее, в 1967 г., она была единственной из стран Варшавского Договора, которая не разорвала дипломатических отношений с Израилем после очередного арабо-израильского конфликта. Румыния активно выступала с собственными предложениями по важнейшим проблемам европейской и мировой политики, отличающимися от предложений СССР и других стран Варшавского Договора, в рамках ОВД и СЭВ она твердо проводила линию на самостоятельность и независимость. Все это способствовало росту авторитета Н. Чаушеску среди широких слоев патриотически настроенной румынской общественности, вызывало симпатии западных держав и их руководителей, которые видели в Чаушеску своего рода "диссидента" в социалистическом лагере и рассчитывали, что силой своего примера, самостоятельной и независимой политикой он будет разлагать этот лагерь изнутри, способствовать подрыву его "монолитности", единства и сплоченности, ослаблению зависимости восточноевропейских государств от Советского Союза. Именно поэтому Румынии оказывалась со стороны Запада всяческая поддержка: давались льготные кредиты, режим наибольшего благоприятствования в торговле, что облегчало доступ румынских товаров на западные рынки и т.д.

Н. Чаушеску ловко использовал и несовершенство механизма хозяйственных связей в рамках СЭВ. Получение советского сырья на льготных условиях помогало Румынии успешно развивать тяжелую и легкую промышленность. Было построено большое количество нефтеперегонных заводов. Добывая 10—12 млн. т. нефти, Румыния по низким ценам импортировала еще до 18 млн. т. ежегодно, а экспортировала продукты перегонки нефти и нефтехимии, что не только покрывало затраты на покупку нефти, но и приносило прибыль¹. Щедрая земля приносила хорошие урожаи, обеспечивающие снабжение населения продовольствием. Жизненный уровень населения рос, а вместе с тем рос и престиж лидера страны, который постепенно стал превращаться в культ его лич-

¹ Новое время, 1990, № 2, с. 8.

ности, освящавший режим личной, практически неограниченной власти. В марте 1965 г. Н. Чаушеску был избран первым секретарем ЦК РКП, а в том же году на IX съезде РКП Генеральным секретарем ЦК. С августа 1969 г. Н. Чаушеску — Генеральный секретарь РКП, с 1967 г. — Председатель Государственного Совета СРР, с 1968 г. — Председатель Фронта демократии и социалистического единства, с 1969 г. — Председатель Совета обороны и Верховный Главнокомандующий вооруженными силами, с 1973 г. — Председатель Высшего совета экономического и социального развития СРР. С марта 1974 г. — Президент СРР. Н. Чаушеску было присвоено звание Героя Социалистического Труда СРР и трижды — Героя СРР. Он был награжден многими иностранными орденами, в том числе советскими.

Укреплению позиций Н. Чаушеску способствовало устранение из руководства партии и государства тех людей, которых он считал своими явными и потенциальными противниками, с помощью всякого рода провокаций, шантажа и интриг.

Изменение мирохозяйственной ситуации в связи с повышением цен на нефть в 1974 г. лишило Румынию возможности закупать дешевую нефть за границей и перерабатывать ее. Нефтеперегонные заводы оказались незагруженными, а страна лишилась важного источника валютных поступлений из-за границы. Таким источником все в большей степени становились продукты питания, которые, пользуясь своим статусом развивающейся социалистической страны, Румыния продавала международным финансовым организациям, а те бесплатно распределяли их среди голодающего населения "третьего мира". Кроме того, продовольствие продавалось личному составу 6-го Американского флота. Все это негативно сказалось на снабжении населения Румынии. Полки магазинов опустели, были введены карточки на многие продукты питания, даже на хлеб. Не хватало энергии для снабжения промышленных предприятий, отопления домов и освещения улиц. Магазины должны были закрываться в 17 часов, школы и учреждения работали только при дневном свете, теплоцентраль подавали тепло домам лишь пять часов в сутки¹.

В 80-е годы усилия руководства Румынии и лично Чаушеску были сконцентрированы главным образом на решении двух проблем: досрочной выплате иностранного долга Румынии, о чем было объявлено в апреле 1989 г. в Программе "систематизации территорий", официально призванной создать новый социалистический образ страны, обеспечить сближение условий жизни и труда людей в городе и деревне, укрепить союз рабочих, крестьян и интеллигенции, социальной, культурной и национальной однородности общества. На деле же реализация этой программы привела к уничтожению исторического наследия и традиций, разрушению ценнейших архитектурных памятников и деревень, жители которых в течение 48 часов должны были выехать на новое местожительство в построенные из бетона дома городского типа, где на семью давалась одна комната. В соответствии с программой Чаушеску должно было исчезнуть 443 000 зданий, построенных в XIX—начале XX века и стерто с лица земли 8000 из 13 000 румынских деревень².

Все эти безрассудные действия вели Румынию к национальной ката-

¹ См. *Эхо планеты*, 1990, Т 4—5, с. 26—27.

² Там же

строфе, а ее народ к деградации, нищете — материальной и духовной. Но народ терпел из-за страха перед режимом, который, помимо репрессий, широко использовал и социальную демогию, и дутую завравшуюся статистику, которая кормила народ цифрами о “грандиозных успехах” социалистического строительства, о росте в десятки, сотни раз национального дохода, промышленного и сельскохозяйственного производства, жизненного уровня трудящихся. На поверку все это оказалось “липой”. Так, например, Чаушеску заявил, что в 1989 г. урожай зерновых составил более 60 млн. тонн, в действительности же он составлял 18,23 млн. тонн. Урожай подсолнечника составил 1801 кг, а было доложено, что 5685, сахарной свеклы — 24 758 и 100 тыс., картофеля — 14 134 и 81 256 и т.д.¹ Практика приписок, в частности, имела место потому, что докладывались в центр на данные о реально полученном урожае, а цифры от нормы, установленной Чаушеску во время его поездок по сельским районам страны.

Для поддержания режима личной власти был создан огромный аппарат органов безопасности — явный и тайный. Каждый четвертый гражданин Румынии был осведомителем тайной полиции. В секретной инструкции “Секуритате” говорилось: “Органы государственной безопасности поддерживают тесный контакт с молодежными и студенческими организациями, берут над ними шефство. Они участвуют в организации пионерских кружков “Друзья органов безопасности”, ведут с молодежью систематическую политико-воспитательную работу, привлекают юношей и девушек к выполнению некоторых заданий. Воспитание молодежи ведется в духе преданности делу Румынской коммунистической партии и ее руководителям”². В органах безопасности, по неофициальным данным, насчитывалось в три с лишним раза больше сотрудников, чем военнослужащих в румынской армии³. По сообщениям западной печати, кадры органов госбезопасности состояли из войск “Секуритате” (около 70 тыс. человек), которые должны были непосредственно защищать режим, тайной полиции (20 тыс. чел.), в ведении которой находились и иностранные наемники, личной охраны Чаушеску (40 тыс. человек) и пограничников, которые помогали румынской разведке в контрабандной торговле оружием и наркотиками⁴. Вся эта система держала страну “под колпаком”. Были запрещены продажа зарубежных изделий, контакты с иностранцами, а румынские должностные лица, которые по роду службы должны были идти на такие контакты, писали отчеты о них в “компетентные органы”. По инициативе Е. Чаушеску с середины 70-х годов была организована специальная служба подслушивания, способная подключаться к любому телефонному аппарату страны. Под контролем органов безопасности находились все ксероксы. С каждой пишущей машинки брались образцы шрифта. Обычный телефон румынский гражданин мог приобрести только после специального разрешения⁵. Каждый гражданин — румын или иностранец — мог стать и становился объектом слежки, травли, политического шантажа. Открытых противников диктатора, а также подозревавшихся в инакомыслии исключали из пар-

¹ См. *За рубежом*, 1990, № 2, с. 4.

² Цит. по: *Московский комсомолец*, 23 января 1990.

³ См. *Известия*, 11 января, 1990.

⁴ См. *Собеседник*, 1990, № 2, с. 9.

⁵ См. *Известия*, 11 января 1990.

тии, увольняли с работы, помещали под домашний арест, сажали в тюрьмы и лагеря, убивали.

Грубейшим образом нарушались права проживающих в Румынии национальных меньшинств, результатом чего стали эмиграции, нелегальный переход границ соседних государств, особенно Венгрии и Югославии.

Клановая диктатура Чаушеску, грубое подавление его прав и свобод граждан, социальная демагогия и террор против собственного народа вызвали отвращение в цивилизованном мире. Те западные деятели, которые в расчете на получение каких-то политических дивидендов заигрывали с режимом в 60–70-х годах, перестали делать это в 80-е годы. Количество зарубежных поездок диктатора резко сократилось. Критика в его адрес стала раздаваться и со страниц печати соседних стран, особенно Венгрии. Изоляция тоталитарного режима и внутри страны, и на международной арене росла. А Советский Союз, наши руководители и печать молчали, причем молчали не только в “застойные”, но и в послезастойные времена, хотя имели в своем распоряжении достаточный объем информации, чтобы дать оценку политике Румынии и ее руководства¹. Даже тогда, когда XIV съезд РКП (ноябрь 1989 г.) бойкотировали ряд компартий на Востоке и на Западе, КПСС послала на съезд представительную делегацию во главе с В. И. Воротниковым. Ранее состоялся обмен официальными визитами на высшем уровне. По случаю своего юбилея Н. Чаушеску получил очередную советскую награду — орден Ленина. Думается, что теперь, когда режим Чаушеску свергнут и когда перед общественностью раскрывается во всей полноте отвратительная картина преступлений этого режима, за многие наши действия по отношению к румынской тоталитарно-бюрократической, клановой диктатуре, наверное, должно быть неловко и стыдно, ибо, поддерживая эту диктатуру, мы сами вольно или невольно становились соучастниками того, что она творила.

Особо следует сказать об отношениях Советского Союза и Китая в рассматриваемый период. Как известно, обострение этих отношений началось с конца 50-х годов, а в первой половине 60-х советско-китайский конфликт в форме резкой полемики в печати, обострения межгосударственных отношений, столкновений на советско-китайской границе принял открытый характер. После смещения Н. С. Хрущева с руководящих партийных и государственных постов была сделана попытка нормализации советско-китайских отношений. Были сделаны и практические шаги для того, чтобы добиться этой цели, — готовность пойти на нормализацию отношений с Албанией, которая до конца 70-х годов оставалась единственным союзником Пекина в Европе. В советской печати прекратилась полемика с китайским руководством по спорным политическим и идеологическим проблемам современности. На празднование 47-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в ноябре 1964 г. была приглашена делегация КНР во главе с премьером Госсовета Чжоу Эньлаем, которая провела переговоры с советским руководством по вопросам советско-китайских отношений и актуальным проблемам мировой политики.

¹Обширную информацию и серьезные аналитические записки о положении в Румынии доводил до сведения советского руководства ИЗМСС АН СССР. 28 января 1990 г. газета “Московские новости” опубликовала выдержки из записок, составленных сотрудниками Института.

К сожалению, эти переговоры положительных результатов не дали. Каждая из сторон не только не выражала желания внести коррективы в свои позиции с целью достижения компромисса, но и старалась навязать свою точку зрения другой стороне. Особенно это было заметно в поведении китайской делегации, которая потребовала от КПСС изменить ее политику, основанную на решениях XX–XXII съездов КПСС, документах Московских совещаний коммунистических и рабочих партий 1957 и 1960 гг., и заявила, что до тех пор, пока КПСС этого не сделает, Пекин будет продолжать политическую борьбу против Советского Союза, которая в тот период велась с левацких, ультраревOLUTIONционных позиций¹.

Ноябрьские переговоры 1964 г. были последней встречей лидеров СССР и КНР, за исключением встречи А. Н. Косыгина с Чжоу Эньлаем в сентябре 1969 г. в Пекинском аэропорту². С этого момента советско-китайские политические контакты на высоком уровне прекратились, а конфликт между двумя странами стал углубляться, постоянно нарастали идеологизация и милитаризация этого конфликта, что негативно сказывалось на положении в обеих странах, в мировой социалистической системе, на международной обстановке, внося в нее серьезные, порой угрожающие элементы напряженности и конфронтации между двумя великими державами. Со второй половины 60-х годов советские и китайские оценки внутренней и внешней политики друг друга становятся практически симметричными. В СССР утверждали, что власть в Китае и руководство в КПК захватили "националисты", которые стремятся подавить "здоровые, интернационалистические силы", выступающие за восстановление единства с Советским Союзом. В Китае в свою очередь утверждали, что в Москве власть захватила "буржуазно-рenegатская клика Брежнева – Косыгина", что советский народ рано или поздно сбросит эту клику и тогда восстановится традиционная китайско-советская дружба.

Давая общую оценку полемики между СССР и Китаем во второй половине 60-х годов и в последующий период, надо отметить, что в ней не было стремления к толерантности, терпимости, к тому, чтобы выработать какие-то общие, взаимоприемлемые позиции. Наоборот, каждая из сторон утверждала, что она, и только она, владеет "всеобщей истинной марксизма-ленинизма", и стремилась навязать эту "истину" другой стороне. При этом применялись не слишком добросовестные аргументы и приемы. Так, китайская сторона обвиняла Советский Союз в ревизии марксизма-ленинизма, в соглашательстве с империализмом, в попытках окружить Китай и даже совершить на него нападение с применением ядерного оружия. Поэтому Советский Союз был объявлен в Китае "врагом № 1". Там выдвигалась идея создания "единого антисоветского фронта" для срыва возможной агрессии СССР против Китая. Китайское руководство крайне негативно относилось к проводимой СССР в 70-е годы политике разрядки напряженности с Западом. Оно обвиняло западные державы в том, что, идя на разрядку, они проводят современный вариант "мюнхенской политики" умиротворения агрессора. На XI съезде КПК (август 1978 г.) тогдашний Председатель ЦК

¹ См.: Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения. 1945–1977. Изд. 2-е, дополненное. М., 1977, с. 321–324.

² См. там же, с. 446–448.

КПК, премьер Госсовета КНР Хуа Гофэн прямо обвинил западные державы в том, что они занимаются "умиротворением" Советского Союза. В докладе на съезде говорилось, что находятся люди, которые пытаются "принести в жертву других, чтобы защитить себя... Такая практика может лишь ускорить вспышку войны"¹.

Китайское руководство резко осудило ввод советских войск в Афганистан. Оно расценило это как попытку сделать очередной шаг в советской политике "окружения Китая". Известно, что в ходе войны в Афганистане Китай оказывал политическую и военную поддержку моджахедам, снабжая их оружием, посылая военных советников и т.д. Китайская делегация в ООН постоянно голосовала за немедленный и безоговорочный вывод советских войск из Афганистана. Как и августовская акция 1968 г. в Чехословакии, ввод советских войск в Афганистан оценивался в Китае, и, видимо, справедливо, как проявление гегемонизма в советской внешней политике, как грубое попрание суверенитета и независимости соседних государств, прав их народов на свободное и самостоятельное развитие.

Руководство и печать Советского Союза в полемике с Китаем действовали не менее жестко, чем китайская сторона, платили ей, так сказать, той же монетой. Так, некоторые теоретики из числа "антикитайского лобби" в советских партийных, государственных и научных учреждениях вообще отрицали право Китая называться социалистической страной, пытались в той или иной форме повторить осуществленную Сталиным в 1948—1949 гг. операцию по "отлучению Югославии от социализма" за то, что она отказалась подчиняться сталинскому диктату. Примерно то же самое имело место и в отношении Китая, особенно в период наиболее острых и драматических моментов в советско-китайских отношениях, пограничных конфликтов в районе острова Даманский на Амуре и местечке Жаланашполь в Средней Азии в марте и августе 1969 г., а также во время китайско-вьетнамского конфликта в феврале—марте 1979 г.

Антимаоистская пропаганда в СССР развевалась весьма широко и масштабно. Массовым тиражом в 10 выпусках был издан сборник "Опасный курс", в который вошли статьи из советских газет и журналов по китайской проблематике. Вышли в свет сотни книг и брошюр, посвященных внутренней и внешней политике Китая, истории советско-китайских отношений, где материал излагался не всегда объективно, подгонялся под заранее заданную схему, отвечающую конъюнктуре и определенному "социальному заказу".

В советской антимаоистской пропаганде 70-х — начала 80-х годов, в отличие от упора на ультрареволюционизм маоистов в 60-е годы, активно муссировался тезис о повороте Китая вправо, что в области внутренней политики якобы выражалось в попытках постепенной "реставрации капитализма", а в области внешней политики — в сближении с империализмом, в том, что Китай фактически стал "16-м членом НАТО" и т.д. Отсюда делался вывод, что советские вооруженные силы на Дальнем Востоке (а лозунги такого рода автор собственными глазами видел в одной из воинских частей на Сахалине в 1984 г.) должны быть готовы к отпору не только американской и японской, но и китайской агрессии. Так обосновывалась и пропагандистски оформлялась линия на милита-

¹ Материалы XI Всекитайского съезда КПК. Пекин, 1978, с. 62—64.

ризацию советско-китайского конфликта.

Как отмечает советский исследователь С. Гончаров, этому способствовали несколько причин.

Во-первых, в 1964 г. безуспешно завершились советско-китайские пограничные переговоры, и в июне того же года Мао Цзэдун сделал заявления, которые в СССР расценили как реальные претензии на 1,5 млн. кв. км советской территории.

Во-вторых, в ходе "культурной революции" в Китае в середине 60-х годов всячески нагнетался антисоветизм, что создавало впечатление о наличии у Пекина недобрых планов в отношении Советского Союза.

В-третьих, советское военное руководство было чрезвычайно недовольно сокращением Вооруженных Сил СССР при Хрущеве. Недружественные действия китайской стороны были отличным предлогом для того, чтобы "компенсировать" прежние сокращения наращиванием войск на китайском направлении, и Брежнев с готовностью согласился на этот шаг¹.

Началось интенсивное укрепление советско-китайской границы, вдоль которой, помимо пограничных войск, была сосредоточена миллионная армия.

Началось также строительство Байкало-Амурской магистрали, имевшей прежде всего стратегическое значение для сохранения связи с советским Дальним Востоком на случай, если во время советско-китайского конфликта Транссибирская магистраль, проходящая вблизи границы с Китаем, будет перерезана. И сосредоточение войск на советско-китайской границе, и строительство БАМа стоили огромных денег, которые были затрачены, по сути дела, бесполезно. Китай в сложившихся обстоятельствах действовал "симметрично". Была создана "третья линия обороны" в горных районах страны, а в пограничных районах были усилены регулярные воинские части и отряды народного ополчения. В Пекине строились атомные убежища. Усилилась борьба с "советским гегемонизмом на международной арене". Только в конце 70-х — начале 80-х годов, когда коренным образом изменились приоритеты во внутренней политике Китая и во главу угла была поставлена задача проведения экономической реформы, начали меняться и подходы Пекина к международной политике, был взят курс на то, чтобы создать благоприятные внешние условия для проведения реформ. А это в свою очередь требовало и улучшения советско-китайских отношений. С октября 1982 г. начались советско-китайские политические консультации, на которых стороны могли поднимать любые интересующие их вопросы в области отношений между двумя странами. Постепенно стали восстанавливаться контакты в экономике, науке, культуре, нарушенные в ходе советско-китайского конфликта, хотя различия во внутренней политике СССР и Китая мало этому способствовали.

В Китае, где уже начались реформы, смотрели на Советский Союз начала 80-х годов как на косное государство с застывшей неэффективной моделью, не способное к каким-либо переменам и непредсказуемое в своих действиях на международной арене из-за некомпетентности и старческого маразматизма его тогдашних руководителей. В СССР же реформы в Китае, как уже отмечалось, расценивали как отход от принци-

¹ См. *Литературная газета*, 4 октября 1989, № 40, с. 14.

пов социализма и сползание к капитализму.

Только начало перестройки в СССР создало условия для изменения к лучшему в отношениях с Китаем и для коренных перемен в отношениях со странами Центральной и Юго-Восточной Европы. Необходимость этих перемен вытекала как из соображений морального, нравственного порядка, так и из соображений материальных. Провозгласив принципы нового мышления в своей внешней политике, а одним из основных таких принципов является свобода исторического выбора общественно-го строя для всех без исключения народов и государств земного шара, Советский Союз не мог отказать в реализации этого права и государствам в собственной сфере влияния. Кроме того, поддерживать доминирующую роль СССР в этой сфере, содержать там советские войска, иметь неэквивалентный обмен в торгово-экономических отношениях, закрывать глаза на обострение противоречий между народами этих стран и правящими в них этакратическими режимами было весьма накладно и экономически и политически. Вот почему, тщательно проанализировав всю совокупность отношений СССР со своими соседями, советское руководство пришло к выводу, что прежние декларации о праве этих стран на собственный путь развития, на невмешательство в их внутренние дела необходимо подкрепить конкретными действиями, раз и навсегда отказавшись от попыток играть в этих странах роль "старшего брата", учителя, расставляющего оценки за поведение и указывающего, как следует жить. Выступая на совещании в МИД СССР 23 мая 1986 г., М. С. Горбачев говорил, что для того, чтобы обеспечить новое качество отношений Советского Союза с социалистическими странами, "важно преодолеть бытующие в сознании некоторых наших представителей предвзятость, самодовольство, косность. Нельзя считать, что мы можем всех учить. Нам такого права никто не давал. Наоборот, как самой мощной стране социализма, нам следует проявлять скромность"¹. В советско-югославской декларации, подписанной во время визита М. С. Горбачева в Югославию в марте 1988 г., были подтверждены принципы взаимного уважения независимого суверенитета, территориальной целостности, равноправия, недопущения вмешательства во внутренние дела под каким бы то ни было предлогом². Причем этими принципами Советский Союз руководствуется в своих отношениях не только с Югославией, но и с другими странами Центральной и Юго-Восточной Европы. В речи на декабрьском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС М.С. Горбачев говорил, что "каждый народ вправе решать свою судьбу самостоятельно, включая выбор строя, путей, темпов и методов его эволюции"³. Тем самым был, так сказать, вбит последний гвоздь в гроб "доктрины Брежнева" о так называемой коллективной защите завоеваний социализма, о том, что СССР является главным стражем этих завоеваний. А тот "социализм", который строили, охраняли и защищали Брежнев и его соратники в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, народам оказался ненужным. Освободившись от угрозы советского давления и вмешательства, от необходимости в проводимых преобразованиях каж-

¹ *Вестник МИД СССР*, 1987, 5 августа, № 1, с. 5.

² Визит Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева в Социалистическую Федеративную Республику Югославию. 14–18 марта 1988 года. Документы и материалы. М., 1988, с. 77.

³ *Правда*, 10 декабря 1989.

дый раз оглядываться на Москву, избавившись от страха перед тем, чтобы услышать из советской столицы "начальственный окрик", вдохновенные примером советской перестройки, народы Польши, Венгрии, ГДР, Болгарии, Чехословакии и Румынии, прогрессивные, реформаторские силы в этих странах и преобразованиями сверху, и мощным движением снизу положили конец этакратическим диктатурам, режимам, выдававшим себя за социалистические, которые рухнули буквально как картонный домик в результате демократических революций в странах этого региона. Начался новый период в развитии этих стран и в их отношениях с Советским Союзом, отношений, которые, будучи очищенными от догм и стереотипов прошлого, от всякого рода идеологических наслоений, могут и должны стать по-настоящему добрососедскими, равноправными, взаимовыгодными, партнерскими.

Решить эту задачу довольно сложно. Дело в том, что в результате народно-демократических, антитоталитарных, антикоммунистических революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы возникает иной социально-экономический и общественно-политический строй с существованием которого определенным и весьма влиятельным силам в Советском Союзе трудно примириться. Представители этих сил пытаются пугать советскую общественность "разговорами" о реставрации капитализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, о том, что в лице этих стран СССР потерял так называемую буферную зону, которая обеспечивала его безопасность. А теперь, когда, мол, этой зоны больше нет, "западная угроза", особенно со стороны объединенной Германии, вплотную приблизилась к границам распадающегося Советского Союза.

Есть и такие силы в СССР, которые исходят из того, что нужно примириться с тем, что произошло в бывших социалистических государствах, восстановить там советское влияние — дело безнадежное и не надо даже пытаться начинать его. Отношения со странами Центральной и Юго-Восточной Европы они предлагают строить как с обычными буржуазными государствами, не оказывая им никакого предпочтения в сфере экономических, политических, культурных, дипломатических связей.

Думается, что с такими тенденциями трудно согласиться. С первой потому, что речь идет не столько о "реставрации капитализма" в этих странах, сколько о том, что они возвращаются на столбовую дорожку развития человеческой цивилизации, с которой они, не без помощи тогдашнего советского руководства во главе со Сталиным, сошли четыре с лишним десятилетия назад. И надо радоваться тому, что это происходит, что народы стран Центральной и Юго-Восточной Европы, наконец, получили возможность взять в свои руки собственную судьбу. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Что же касается второй тенденции, то верно, конечно, что следует отказаться от попыток восстановить советское влияние в этих странах в тех формах, в каких оно существовало раньше, что связи с данными государствами должны строиться на равноправной взаимовыгодной основе, на коммерческом расчете.

Но не менее верно и то, что страны Центральной и Юго-Восточной Европы, как и Советский Союз, находятся сейчас на переходном этапе своего развития, сталкиваются во многом со сходными проблемами,

что требует интенсификации наших связей для взаимного ознакомления с опытом друг друга. Советский Союз заинтересован и в том, чтобы продолжать закупку готовых изделий, товаров массового спроса, которые, хоть качеством и хуже западных, но лучше наших, и появление этих товаров на пустых полках наших магазинов — совсем не лишне для советского потребителя. Ну и наконец, многолетняя история “наших отношений оставила не только черно-белые пятна”, но и светлые страницы, широкую систему связей общественных организаций, производственных коллективов, породненных городов, ученых, деятелей культуры, самих граждан — связей, которые нужно беречь и отнюдь не обрывать тем более по нашей собственной инициативе. Наличие таких связей — это одна из гарантий того, что отношения Советского Союза со странами Центральной и Юго-Восточной Европы остались бы дружескими, добрососедскими.

**Инерция
страха
или
пробуждение
духа ?**

АГОНИЯ КУЛЬТУРЫ

Смена угла зрения; заданная перестройкой, столь существенно изменила образ времени, сохраняемый памятью, что нет уже решительно никакой надежды описать "застойное" время в его собственной логике. Казалось бы, это прекрасно — есть, наконец, та дистанционность, что обеспечивает (говорят) желанную объективность понимания. В действительности все сложнее и, может быть, драматичнее. Мы словно в перевернутый бинокль глядим на чрезвычайно долгие годы, протянувшиеся с Большого Погрома, учиненного в Манеже Никитой Сергеевичем Хрущевым с подачи хитроумных советников, по 1985-й или даже 1987 г. Из нашего "теперь" все некогда крупное будто съежилось в размерах, длительное спрессовалось во времени и даже вполне реальные тогдашние драмы едва ли не приобрели оттенок некоторого фарса. Для меня и моих ровесников, пришедших на свет перед войной, окончивших школу сразу после XX съезда, ворвавшихся во взрослую жизнь на самом излете "оттепели" (нам-то этот излет казался славным началом, лишь досадно омраченным экстравагантностью Хрущева), "застойность" бытия была единственной доступной реальностью.

У нас нет оснований относиться к этой своей реальности стыдливо: она была до отказа наполнена работой, а так как коэффициент полезного действия паровоза "овечка" воспринимался нами как должное, как даже несомненное достижение, то и отчужденная позиция дается нам сегодня без особых затруднений. Она попросту была встроена внутрь самой повседневности, в противном случае оставалось спянуть, спиться, уйти в эзотерический эскапизм чистой художественной деятельности или в зазеркалье диссидентства. Каждый, несомненно, обладал свободой выбора.

Отталкиваясь от обозначенного, я вижу одну возможность работать с материалом "застойного" искусства в контексте одноименной культуры: по мере возможности реконструировать тогдашнее восприятие событий, чтобы немедленно увидеть те же события сегодняшним взором. Наконец, владея в наибольшей степени материалом проектных искусств, в первую очередь архитектуры, дизайна, декоративного искусства, я вынужден как бы описывать вокруг них концентрические круги все меньшей четкости. Иными словами, от надежной почвы профессионального знания неизбежно соскальзывание на зыбкую почву полупрофессионального понимания общего культурного субстрата художественного процесса.

Пытаюсь охватить два десятилетия как длящееся непрерывное целое,

мы непременно должны избрать некий общий принцип упорядочения разнобразия изолированных событий. Пробовать предметное основание, то есть перебирать виды и жанры искусства, наклеивая музейные этикетки на обособленные коллекции, заведомо лишено смысла. Сосредоточивая внимание на отдельном, мы не можем при этом удержать образ целого. Не рискуя изощренной изобретательностью, воспользуемся поэтому классическим инструментарием движения от видимого к сущности. На самой поверхности — эволюция стиля, вернее, эволюция сосуществовавших стилей. Глубже — изменения в структуре художественной деятельности и сопутствующей ей активности: от критики и “оргвыводов” до гонорарной политики и системы заказов. Наконец, еще глубже от поверхности явления — метаморфозы художественного сознания, пережитые как самими художниками, так и публикой, совместно с художниками творящей феномен искусства.

Финал хрущевской эпохи, хотя и был омрачен серией “встреч с художественной интеллигенцией”, в значительной степени сохранял окрашенность в тона романтического пафоса. Тусклое газетное изображение четы Хрущевых, мучительно передвигающейся среди колонн храма в Луксоре, под раскаленным небом летнего Египта, вызывало жалостливую улыбку, так что бескровный переворот в Кремле был воспринят скорее с любопытством, чем с тревогой. В серьезность хрущевских уверений в неизбежном наступлении “золотого века” в 1980 г. верили, разумеется, только уж вовсе наивные люди, тем более что очереди 1963 г. за серозеленым хлебом были еще крепки в памяти. Однако уверенность в прогрессе если и не была всеобщей, то разлита в обществе была широко.

Обновление все еще было значащим словом, однако вместо того, чтобы, по словам апостола Павла, совлечь с себя ветхого человека, мы упивались возможностью сорвать с себя одно лишь ветхое платье и облачиться в “современное”. С ненавистью юных вандалов мы вышвыривали за порог старые секретеры, солидные гардеробы и жалкие кухонные столы (немногие дальновидные смогли тогда составить недурные коллекции), а желтые или оранжевые шелковые абажуры с их невинной бахромой долго пестрели на помойках. На какое-то время “журнальные” столики о трех рахитичных ножках стали абсолютным символом прогресса, тогда как наиболее дерзкие оклеивали стены малогабаритных своих комнат разными обоями или красили их в отважные цвета. В комиссионном магазине на Арбате славную миниатюру первой половины прошлого века можно было приобрести за пятнадцать—тридцать рублей, латунный кронштейн — за пятерку. Книги все еще были настолько дешевы, что даже совершенно нищему “молодому специалисту” при жене и маленьком ребенке удавалось кое-что приобрести по цене четвертинки.

Станным несколько образом представление о Западе, едва известном через захлебывающиеся повествования первых наших туристов, а более — по страницам “Америки”, легко соединилось с воображением о собственных наших 20-х годах. Узнав о них через западные публикации и вскоре осуществленное перелистывание журналов вновь открытых для читателей библиотек, можно было, во-первых, возгордиться, что “мы были первыми”, а во-вторых, счесть 30-е и более поздние годы попросту вымброчными, упущенными, как бы и не бывшими. Их теперь проще и лучше всего казалось забыть, не замечать, игнорировать — здесь пролегла грань между поколениями: выбросить не свое прошлое моему

времени было куда легче, чем тем, кто имел неосторожность родиться в начале 20-х.

Самоутверждение через отрицание предшествующего могло бы казаться верным признаком революционного сознания (так и казалось в начале 60-х), когда бы не всеохватный ретроспективизм. Жадно поглощая образ Запада в обедненном и сплюсненном журнальном его отражении, не менее пылко припадая к досталинскому (и уже потому казавшемуся незамутненным) источнику художественных идей, в существо которых мы разбирались весьма приблизительно, о, как мы презирали "соцреализм"! Поскольку же ждановской редакции соцреализм так или иначе соотносился с историзмом формы, мы могли смело ощущать себя на голой земле, наспех строя иконостас из композиций Родченко, Малевича, Кандинского, статей Брика, обрывочных сведений о театре Мейерхольда, статей Эйзенштейна, проектов Татлина или Леонидова... Когда вдруг обнаружилось, что Константин Мельников жив, и в Доме архитектора праздновали его 75-летие, трудно было отделаться от чувства некоторой "неправильности" происходившего: Мельникову уже как-то полагалось быть только легендой, как и Крученых, Матиссу или Шагалу.

В начале 60-х мы разучивали твист, ускоренно создавали теорию дизайна — недолгий бум совнархозов создал, было, твердую уверенность в том, что спрос на функционально-художественную реорганизацию всего мира вещей реален и будет только нарастать и ветвиться. Домов-коробок ценою подешевле было еще не столь много, чтобы их зримая убогость могла перевесить восторг по поводу самого факта обретения сотнями тысяч, затем миллионами пристойного крова над головой, и когда в Москве появилось здание Дворца пионеров на Воробьевых горах, почти всем удалось уверить себя, что оно им нравилось. Многих, включая и тех, кто не имел внятного представления о том, что на самом деле творилось на целине, раздражал бодряческий тон комсомольских песен, заполонивших отечественный эфир. Эфир всемирный был — особенно после венгерской трагедии — заблокирован глушением достаточно надежно, но оставалась отдушина — бархатный баритон Луиса Кановера, вещавший "Джаз-ауэр" на англоязычных волнах "Голоса Америки".

Все еще свежа была нота нормальной человечности, вошедшая в кинематограф с фильмами Чухрая и Калатозова, слово "искренность" не утратило новизны, и, право же, трудно сегодня представить, с каким ожиданием праздника собирались тысячи людей, чтобы слышать Евтушенко, Вознесенского, Ахмадуллину. То, что Окуджаву или Галича можно было слышать только в скверных магнитофонных записях, было совершенно естественным, — кому же в голову могло прийти, что возможно иное! Поколение, которое годами танцевало под записи "на костях" (для тех, кто моложе, — пиратские пластинки подпольного производства, изготовлявшиеся из рентгеновских пленок), никоим образом не могло изумиться тому, что "положенное" и "неположенное" должны существовать в параллельных мирах.

Довольно долго параллелизм двух стилистических систем, смешивать который с оруэлловским "двоемыслием" соблазнительно, но неточно, был чем-то столь же естественным, как чередование вдоха и выдоха. "Битлз" и "Роллинг стоунз" — дома или на вечеринке, но еще не в ресторане, где строго блюлись правила реперткомов; живопись Сальвадора Дали — дома или в мастерской, но не в букинистическом мага-

зине, где альбомы "неправильных" художников появились лишь с середины 70-х; социологические, социоэкономические, экологические сюжеты — на рабочих семинарах, но не на конференциях с утверждавшейся программой, и так далее, в бесконечность. Повторим, за исключением узкой группы диссидентов, о которых знали мало, хотя и сочувственно, советская интеллигенция как целое воспринимала двойственность бытия как нечто само собой разумеющееся.

Самая медленность отката исподволь, как если бы чья-то твердая рука неспешно сдвигала рычажок реостата вправо (ведомства, подчиненные Суслову, так именно себя и вели, кроме тех случаев, когда непокорных требовалось быстро смять), безусловно, способствовала поддержанию чувства "нормальности" происходившего. Лишь процесс Синявского с Даниэлем и драма «Пражской весны» 1968 г., ощущение бессилия перед массивным потоком официальной лжи дали заметное ускорение сползанию в болезненно переживавшийся маразм. Большинство не могло осознать все историческое значение героического поступка нескольких "безумцев", вышедших к Лобному месту с протестом против вторжения в Чехословакию "по просьбе группы товарищей". Да, этим добровольным жертвам сочувствовали, но было, следует признаться, и чувство некоторой досады: вот, вместо того чтобы тихо и настойчиво делать Дело, эти донкихоты вызовут дополнительную ярость властей, после чего работать станет еще сложнее. Я, во всяком случае, не был в состоянии понять такого рода трагических жестов и был в этом своем непонимании отнюдь не одинок.

То, что театры, кинорежиссеры задыхались под неослабным гнетом идеологического начальства, было "нормальным", как "нормальным" было создание литературы "в стол". То же, что некоторое время держались театр Товстоногова в Ленинграде и Любимова в Москве, напротив, выходило за рамки нормы и объяснялось чьим-то персональным покровительством. Не всякий мог отслеживать процесс ползущей реабилитации Сталина, тем более что обилие усатых портретов за ветровым стеклом грузовиков легко интерпретировалось как своего рода протест против сущего. Однако нельзя было не замечать, как после 1968 г. нарастала милитаризация массовой культуры. Чем далее в прошлое уходила война, тем больше войны (и, следовательно, вообще армейского) было на киноэкране и в телевидении, так что сюжеты сталинских репрессий были не только изгнаны отовсюду, но как бы с удвоенной энергией замещены тотальной "героизацией". Обычный человек на войне, введенный Чухраем на киноэкран, формально не был полностью изгнан, но постепенно преобразовался в штамп "лирической фигуры для масштаба", тогда как слово "эпопея" сделало стремительную карьеру. Цинизм, с которым насрочно сооружалась военная легенда Брежнева, шокировал даже наиболее выносливых. Однако темп, в котором изготовлялись все более могучие истуканы, вызванные из небытия скупой фантазией скульпторов-монументалистов, из всех изобразительных средств разучившихся, кажется, один только размер, создавал столь мощный напор на психику, что способность изумляться быстро атрофировалась.

Здоровый компонент народного сознания отвечал глумящемуся маразму густеющим черным юмором, так что и чудовище, поднявшее свою главу валькирии выше Лавры на днепровском берегу в Киеве, при всей его массивности, при множестве сопутствующих историй о японцах,

замораживающих грунт, чтобы "оно" не сползло в реку, было враз уничтожено лениво-презрительной кличкой: клепана мать! Конечно, при столь широком размахе кретинизма специфический монументстрой не мог время от времени не пропускать нечто слегка инородное, вроде монументального комплекса в Саласпилсе или Хатыни. Но не эти вещи определяли стиль эпохи, а бетонные монстры "в честь" панфиловцев или те циклопы, что должны были, но не успели встать над севастопольской бухтой.

Дотошному историку несложно восстановить хронику официальной культурной жизни, в жестких рамках которой все нарастал количественный восторг: всевозможные слеты, смотри, фестивали — вся эта суета не имела, строго говоря, прописки во времени, ибо предназначалась длиться всегда. Сбылись, казалось, идеалы щедринских строителей жизни — каждый следующий день вытеснял собой предыдущий, ничего не наследуя от него. Прекращение связи времен естественным образом перевело общественное движение исключительно в пространство — БАМ стал воистину "стройкой века", концептуальным процессом, напроочь освобожденным от экономических и иных прагматических резонов. Впрочем, по иронии истории, 1980 год, в котором нам надлежало войти в коммунизм, согласно действовавшей Программе КПСС, обрел знаковую прописку во времени благодаря достославной Московской Олимпиаде, где ковры из людей выкладывались с особым тщанием и не без изобретательности.

Возрождение сталинского имперского стиля в архитектуре "общественных" зданий проявилось повсеместно, и "национальное по форме, социалистическое по содержанию" с естественной для себя наглостью вломилось в центры исторических городов.

Это началось при Хрущеве возведением в Кремле Дворца съездов, когда жалкие попытки сопротивления со стороны уцелевших еще ценителей старины были отброшены как сор, а славные зодчие были тут как тут. Однако подлинный расцвет был впереди и обещал длиться бесконечно. Палаццо на месте Греческой церкви в Ленинграде не более чем отразило общую тенденцию (впереди была эпопея дамбы, призванной затмить труды фараонов) — ткань города на Неве еще сохраняла некоторую способность сопротивления. Подлинное же выражение нового кредо состоялось в Ташкенте, где московские зодчие смогли наконец воплотить жажду великого на гигантских площадях, спешно расширенных от жизни под предлогом к месту пришедшегося землетрясения. Возник феномен "юго-восточного стиля", немедленно воспроизводившийся с локальными вариациями в Алма-Ате, Фрунзе, Ашхабаде. Это естественно, но чем-то если и не неожиданным, то, во всяком случае, новым стал феномен обратного воздействия "юго-восточного стиля" на российский центр, будь то здание Совмина РСФСР в Москве или палаццо властей во Владимире. Если здание СЭВ, как и весь Новый Арбат, при всей сомнительности результата по крайней мере отражал живое тяготение к прогрессизму общемирового оттенка, то новое знаменовало со всей определенностью, что доктрина "социалистической самости" вновь восторжествовала вполне. Стиль, некогда названный "сундучным", созрел вполне, лишь когда вожжи были отпущены, и естественное тяготение к украшениям могло наконец прорвать вполне искусственный барьер наносного рационализма. Лозунг момен-

та был: украшайтесь!

Можно лишь гадать, сказались ли на официальном стиле привязанность Брежнева к орденам и любовь его семейства к бриллиантам, хотя для той семейственной эпохи бытования официоза неразумно было бы пренебрегать личным вкусом не только первого лица, но и, скажем, министра-мецената Щелокова или московского губернатора Гришина, самолично "срезавшего" высоту здания ТАСС у Никитских ворот. Но, во всяком случае, нет оснований усомниться в том, что вполне было довольно архитекторов, художников, режиссеров и прочих деятелей искусств, которые ощутили себя в обстановке не только совершенно естественной, но и долгожданной. Меценат был и щедр и не слишком прихотлив, так что работат "под него" было одно удовольствие. Озеров и Бондарчук в кино, Чечулин и Посохин в архитектуре, Томский в монументальной скульптуре — вот были подлинными герои искусства эпохи. За ними тянулась долгая очередь кандидатов на соискание бывших Сталинских, но теперь Государственных, и Ленинских премий, так что оснований опасаться, что поток напряженного творчества оскудеет, не приходилось.

Все это тиражировалось плакатом и массовой журнальной иллюстрацией, где, впрочем, периодически терпелись и некоторые вольности, о которых речь впереди. Сложнее дело обстояло в живописи, музыке и литературе.

К живописи власти были почти равнодушны и после Манежного погрома ограничивались малым: "бульдозерный вернисаж", высылка нескольких "неправильных" живописцев — все это было значимо для многих. И все же именно в живописи довелось случиться вполне скандальному феномену Ильи Глазунова. Не будучи членом Союза художников, Глазунов обретал все большую известность. Он нравился дипкорпусу и массам, министру Щелокову и другим. Легко передвигавшийся по свету, принятый в Италии и в Испании, Глазунов, о галстук которого с двухглавыми орлами ходили легенды, стал подлинным оскорблением для всей устойчивой художественной иерархии и тем самым нес в себе едва ли не бунтарское начало. Он Был, и уже в этом только заключался некоторый веселый соблазн.

К музыке власти были равнодушны совершенно, предоставив ее на откуп Министерству культуры и Союзу композиторов, управляемому бессменным с 1948 г. Хренниковым, так что говорить здесь об официальном стиле не приходится, если не считать бодрых, по определению, песен, исполняемых Хилем или Кобзоном. Терпимость к легкому жанру была почти фантастической, коль скоро вслед за Пугачевой почти терпим к концу эпохи стал и Леонтьев.

В литературе, напротив, власть любила разбираться, коль скоро возжелала печататься в "Новом мире" и дозволила Союзу писателей верноподданнически просить о вступлении в его ряды. Но и здесь трудно говорить о твердом официальном стиле, раз не только "деревенщички", но и "урбанисты" все же печатаемы были (о литературе "в стол" знали немногие, включая, впрочем, "компетентные органы", и преследовали ее лишь от случая к случаю).

Ограничиться сказанным было бы не только несправедливо, но и неразумно. Относительная терпимость властей предержавших к стилевым характеристикам "высоколобого" искусства, ориентированного на

относительно узкий интеллигентский круг, не должен преувеличиваться. Не столько потому, что медленное выдавливание в эмиграцию (Войнович, Аксенов, Ростропович и другие), многоступенчатый процесс ссылки Сахарова, превентивное заключение рукописей или ссылка ранее напечатанных книг ни на минуту не позволяли забыть о том, что человек есть червь и прах перед мощью Государства. Еще важнее то, что в постоянном этом ощущении естественное давление внутренней цензуры могло только нарастать — уже как бы самопроизвольно, будь то в издательстве, редакции, театре или киностудии. Если у заместителя главного редактора издательства “Наука” доставало времени на то, чтобы в верстке сугубо научного опуса (само название его — “Социально-экологическая интерпретация городской среды” — должно было отпугивать широкого читателя) усмотреть цитату из книги Иова и “Защиты Лужина” Набокова и потребовать их исторжения, то степень изощренности цензурского взгляда может проступить во всей полноте.

И все же чем более официоз склонялся к ритуалу, вполне очищенному от какой бы то ни было содержательности, тем больше возможностей возникало для формирования “антистиля” во всех мыслимых вариациях. Чем большей реальностью для многих становилась эмиграция, чем более “нормальным” выходом она мнилась, тем сильнее “второе искусство” могло ориентироваться на мировой рынок художественных ценностей, начисто игнорируя национальный. В низовом слое культуры возник домашний вариант хиппизма, и, ширясь и вспениваясь, этот запоздалый расцвет ритуальной контестации — внешнего протеста — становился тем большей частью городского пейзажа, чем громче он поносился с амвонов комсомольских учреждений. Анекдот во всех формах — от циклов “Василий Иванович” и “чукча” до Хазанова и его коллег — обозначил притязания “антистиля” со всей определенностью. “Антистилем” вольно или невольно оборачивались публикации столь разных писателей, как Абрамов и Трифонов или Белов и Распутин. Наконец, двумя вершинами “антистиля” возвышались Шукшин и Высоцкий.

Феномен Высоцкого интересен в наибольшей степени; ведь если Шукшин с его апологией российской вольницы, его обостренным антиурбанизмом стал героем интеллигентного читателя, то Высоцкий — может, быть, единственное явление культуры, связавшее, словно пряжкой, все ее слои и круги. Высоцкого можно было услышать в любом доме, владельцы которого не без оснований могли причислять себя к элите духа, но также и в любом медвежьем углу, вплоть до пляжа на озере Иссык-Куль. Он воплотил в себе “антистиль”, и то, что этот официально как бы несуществующий поэт был в то же время популярным характерным киноактером, регулярно появлявшимся на экране, несло в себе огромный соблазн.

Сама легкость, сама естественность присоединения к “антистилю” через простое отращивание примитивного, как забор, официоза замечательным образом маскировала, снимала в себе глубинные внутренние антагонизмы, вырвавшиеся наружу с первыми же шагами перестройки. Строго говоря, брежневская ритуализация культуры оказалась, по-видимому, совершенно необходимым промежуточным звеном между позднесталинским оптимизмом хрущевской поры и днем сегодняшним. Только сейчас можно осознать, каким инкубатором творчества было “застойное” время именно в силу его внешней консервативности. Доста-

точно сопоставить ранних и зрелых Евтушенко и Ахмадуллину, эстетику "оттепельных" фильмов Чухрая и эстетику Тарковского, смысловую насыщенность раннего и позднего Высоцкого, чтобы увидеть, какой долгий путь от наивности к умудренности пройден не просто этими людьми и их сверстниками, но культурой в целом.

Внутреннее давление в той консервной банке, на сменных этикетках которой было начертано то 50-летие, то 60-летие, то даже 70-летие Октября, постоянно нарастало. На уровне стиля грань между анекдотом и жизнью стерлась совершенно — на заседании художественного совета весной 1967 г. был самым серьезным образом представлен проект юбилейной колбасы (колбаса еще не стала символом достатка), на срезе которой взору восхищенного обывателя должны были являться цифры 5 и 0, — 50! На уровне "антистиля" "самиздат" во всех видах оформился как совершенно самостоятельная "вторая культура". Она испытывала необходимость в контакте с "первой" лишь в том отношении, что питалась отталкиванием от нее все же в большей степени, чем внутренним саморазвитием.

И все же "антистилем" время отнюдь не исчерпывалось, и в известном смысле справедливо говорить о "застойных" десятилетиях как о специфической школе, даже о свободном университете как интеллектуального, так и художественного творчества. Поэзия Бродского слишком очевидным образом вносила в литературу новое качество, чтобы воздействие ее самиздатного распространения на умы и сердца можно было игнорировать. Вносилось Качество как таковое, если и противостоявшее официозу, то лишь самим фактом своего существования. Во всем прочем оно было Иным искусством. Качество вносилось все шире читавшимся Набоковым, о редких паломничествах к которому ходили легенды. Качество привносилось композициями Кабакова, Комара и Меламиды, в которых за очевидной вторичностью относительно западного концептуализма настоящей проступало все же совершенно самостоятельное лицо "соцарта"...

Перебор такого рода можно продолжать долго, но не менее важным было другое. Чем дальше от официально назначенного искусства было какое-то художественное явление, тем больше было шансов на проникновение иного стиля на поверхность. В неписаной табели о рангах мультипликация "весила" значительно меньше, чем основные формы кинематографа, и потому здесь все же могли время от времени возникать то "Ежик в тумане" Норштейна, то "Контакт" Кошкина, то блистательный "пластилиновый" вид анимации. На детскую литературу вроде бы взирало особо бдительное око, и все же допускавшиеся здесь вольности пропустили на дневную поверхность феномен Успенского. Время от времени чрезмерно раздраженное начальство совершало налеты на страницы научно-популярных изданий, и все же вопреки всему существовали сугубо индивидуальные стили осмысленного оформления журналов "Знание—сила" и "Химия и жизнь".

Там в виде иллюстраций к социологическим, экологическим или вообще непонятым физическим или химическим сюжетам проступали те самые поп-арт и сюрреализм, оп-арт и новый символизм, которым путь на выставки был категорически заказан. Сфера дизайнера практически так и не была "прописана" в искусстве, что позволяло нам и создать и удерживать на плаву Сенежскую студию, где, вместе с Розенблюмом и Кони-

ком, методологами Щедровицким и Генисаретским, историками и психологами, совершенно свободно разворачивался с самого 1967 г. эксперимент в осмысленном формообразовании, отталкиваясь и от неоконструктивизма, и от эзотерической японской школы "оригами", и от оп-арта.

Слишком большой ком глины непременно растрескивается при усыхании, так что трещины в монолите официоза раскрывались постоянно, змеились, перекрещивались, и, если где-то трещина заделывалась свежим раствором, оставалось искать, где возникла новая. То это было искусство книжного оформления (Жуков, Вучетич, Троянкер и многие другие), то искусство выставочного оформления, когда любой официоз становился лишь предметом отталкивания для создания совершенно самостоятельного произведения экспозиционного искусства, и, скажем, неофициальный тогда художник Колейчук получал возможность к 50-летию Октября соорудить очаровательную крупную пластическую композицию перед Курчатовским институтом...

То это были садовая скульптура или оформление интерьера, что давало возможность Космачеву творить изысканные скульптуры из форфора и металла или огромное "Древо" из стали перед библиотекой в Ашхабаде, а Митлянскому — все более раскованные работы в шамоте. В целом следует сказать со всей определенностью, что при внутренней способности следовать естественно установившимся правилам игры, когда ни белое, ни черное не именовались, возможностей для становления и развития иного стиля было все же немало. Те, кто правилам игры следовать не мог то ли по внутренней неспособности к маскировке, то ли в силу открытой серьезности предмета (скульптуры Неизвестного или Сидура, к примеру), выталкивались рано или поздно за рубеж или в преждевременное небытие, успевая, однако, оставить в культуре неистребимый след.

Будем справедливы: при всей тягостности многослойного, многоуровневого повседневного обмана и самообмана, "застой" по сравнению с предыдущими периодами битвы властей с инакомыслием был гигантским прогрессом. Как ширившийся "антистиль", так и углублявшийся иной стиль, при всех потерях, завоевывали все новых адептов, их публика все расширялась, захватывая мало-помалу все более широкие слои среднего по уровню начальства. Машина торможения работала исправно, однако, сдерживая перемены, предотвратить их она не могла, а может, и не стремилась. Единственное, в чем она безусловно преуспела, так это в твердом сохранении дистанции по отношению к мировому искусству на два десятилетия. Отлежавшееся, устоявшееся, потерявшее яд новизны, вчера еще крамольное в художественной культуре в какой-то момент становилось вполне допустимым. Между погромом в Манеже 1962 г. и какой-нибудь весенней выставкой в том же Манеже 1982 г. пролегла эпоха, чему в немалой степени способствовало и то, что (ноблесс облич) одна за другой выставки и гастроли зарубежных музеев и ансамблей так или иначе подтачивали монолитность официоза (достаточно вспомнить выставку скульптора Манцу в Академии художеств).

Не вполне иная, но при всей связанности со стилем отличная от его перипетий картина открывается нам, когда мы пытаемся уяснить внутреннюю механику течения художественной жизни, структуру ее организации. Понимание происходивших здесь метаморфоз, неспешной эволю-

ции художественной деятельности в сторону, словами Салтыкова-Щедрина, "естественного благоустройства жизни" требует некоторого исторического экскурса, поскольку до недавнего времени подобной темы как бы не было — предполагалось, что искусство возникает "само". Если об организации науки, об организации или, скорее, дезорганизации инженерии все же говорилось, то до появления статей Дондуреев в середине 80-х тема организации в искусстве почиталась неприличной.

Не следует, разумеется, идеализировать организованность художественной жизни в 20-е годы, коль скоро цензура, тогда открытая и даже торжественно себя утверждавшая как охранительница советского сознания от тлетворного воздействия чуждой идеологии, была сразу же дополнена почти площадной бранью в адрес "неправильного" искусства. И все же до конца НЭПа некоторое подобие рынка искусства существовало более или менее устойчиво. С начала 30-х годов искусство все откровеннее переутверждается в виде государственного учреждения, функционирующего на основании принципа четкой селекции: наше — не наше. Мечтания пролеткультовцев, равно как и стенания со стороны осколков "серебряного века", были сданы в утиль, тогда как мистика социалистического реализма (имелось, порождалось бесчисленное множество определений, чем не является искусство социалистического реализма) дала возможность утвердиться уже не столько персонализированным жрецам, сколько самой функции жреца. Отправлять эту функцию мог кто угодно.

Эта очевидная конструкция, позволявшая варьировать оттенки между нашим, почти совсем не нашим, скорее чуждым, совсем не нашим и прямо враждебным, была все же лишь первичной, скорее отрицательной, репрессивной составляющей в действии крепнувшего ведомства. Важнее, пожалуй, действие "позитивной" конструкции негативной селекции — поощряющая компонента процесса. Культ личности был более сложной системой, чем персонализация страны в личности Сталина. Независимо от меры осознанности этого процесса, этот всеобъемлющий культ обретал реальную полноту, только будучи поддержан множеством сопутствующих культов и культиков, — как известно, свита делает короля.

Профессиональная специализация не была существенной: подобно тому как над литературой в целом было положено возвышаться фигуре Горького, а над поэзией (после смерти) — фигуре Маяковского, Чкалов летал "за всех нас", двойная звезда Лемешева и Козловского выражала наше стремление к сладкоголосию. Функционально "железный нарком" Ворошилов, трактористка Паша Ангелина и трио Кукрыниксов были друг другу тождественны и в известном смысле взаимозаменяемы. Конкретные персонажи могли возникать и в одночасье исчезать, либо получать оценку с противоположным знаком, но система не претерпевала изменений, так как была сорганизована в логике функциональных "мест". Более того, реальные личности и литературные герои, вроде Павки Корчагина или Василия Теркина, ничем не отличались друг от друга, что в свою очередь к концу 30-х годов создало предпосылку для "оживления" исторических или квазиисторических персонажей все в той же функции "мест".

"Рабочий и колхозница" Мухомовой (полвека спустя мы узнали, как непросто был путь и этой по-своему замечательной работы) были в неко-

тором смысле более живыми, чем какой-либо из живых граждан отечества, не говоря уже о подлинных в социологическом смысле рабочих и колхозниках.

На первый взгляд вся эта стройная система рухнула после XX съезда, и действительно сугубо репрезентативная форма существования искусства переросла довольно быстро в множественную: не один или два, но много художников, писателей, поэтов или кинорежиссеров. Однако эти множества лишь составили новые совокупные функциональные "места" выразителей и певцов эпохи — иного предназначения не допускалось точно так же, как и прежде. Впрочем, в силу большей привязанности к повседневному бытию архитектура была единственным искусством, по самой структуре существования которого был нанесен сокрушительный удар. После знаменитого постановления 1955 г. "об излишествах" и особенно после расформирования Академии строительства и архитектуры в 1961 г. зодчество было вычеркнуто из списка муз и не оправилось от этого удара по сию пору. Казалось бы, та же судьба должна была ожидать и прочие искусства, коль скоро им отводилась сугубо прикладная роль в организации символического антуража победного шествия к близкому коммунизму.

Этого, однако, не произошло по ряду причин. Первая — на поверхности: существование специализированного корпуса внутри идеологического ведомства напрямую зависело от существования и даже расширения подведомственной области деятельности. Сохранение и развитие государственного монопольного мецената в сфере искусства нуждалось в идеологическом оправдании и, разумеется, находило его. Вторая — в сохранении у власти поколения, вкусы и предпочтения которого были сформированы ранее и подкреплены длительными персональными контактами поэтов, прозаиков, режиссеров, скульпторов, живописцев с сильными мира сего, в контактах, ощущавшихся обеими сторонами как необходимая часть жизни. Наконец, третья — сохранение в полной неприкосновенности своего рода "художественной повинности": любой власти на местах, от колхоза до центральной площади города, полагалось копировать самый верх в поощрении "правильных" искусств.

И, при Сталине всепоглощающий страх претличнейшим образом уживался с естественным стремлением к достижению почестей "на фронте искусств" и сопряженных с ними весомых материальных благ. Более чем естественно, что при ослаблении страха (не исчезнувшего вполне и в годы перестройки, ибо он — генетического порядка) утилитарная компонента художественной активности не могла не выйти на передний план, все в меньшей степени соотносясь с какими бы то ни было сдерживающими факторами.

Единожды заведенная машина присуждения Сталинских премий уже сама по себе была достаточным стимулом к непрерывному порождению продуктов, претендующих на ранг высшей художественной ценности. Простодушная вороватость, столь свойственная брежневской эпохе, носила тотальный характер — было бы по меньшей мере странно, если б она могла оставить в стороне сферу искусства. Единожды запущенный механизм нефеодальной, монопольной организации художественной жизни по цехам творческих союзов, закрепившись еще перед войной, обладал вполне достаточной силой энергии, чтобы обеспечить непрерывность производства. Сама процедура соискательства членства в союзе,

предполагавшая установление персональных контактов с его низовым руководством, осложненная до чрезвычайности, приняла на себя роль мощного инструмента многослойной самоцензуры внутри цеха.

"Литфонд", "музфонд", "худфонд" — эти слова-заклинания по сей день означают почти единственный (при этом относительно гарантированный) источник заработка, получения жилья и мастерской, путевки и вспомоществования, участия в выставках или включения в издательские планы. В наибольшей степени цеховую организацию искусств в наших творческих союзах можно уподобить классическому механизму самоуправления-самообложения в российской деревне, населенной государственными крестьянами. Нет нужды специально заботиться извне о "правильности" всего происходящего — сами обеспечат и цензуру, и дисциплинированность процедур, сами не забудут о тезоименитствах, сами организуют надлежащие выставки или издания к надлежащим событиям и т.п. Чистота этой картины проступает с особой яркостью, если принять во внимание, что при отлучении архитектуры от искусств и подчинении ее Госкомитету по строительству и строительному отделу ЦК КПСС, ныне расформированному, Союз архитекторов был сохранен. За ним сохранились права владения домами архитектора и домами творчества, его аппарат не только не сократился, но вырос, он оставался полноправным членом Международного Союза, исправно внося валютный взнос, выдаваемый в качестве положенного пособия из государственной копилки, и пр.

Наконец, сама ритуализованность, расчерченность пятилеток, лет, сезонов, месяцев на всевозможные "оказии", при всеобщей страсти к юбилеям, создали необычайно мощный подпор непренных заказов на все виды художественной продукции. Выставка живописи к Дню милиции; песни, сочиняемые к Дню десантника или Дню геолога; монументы, возводимые к Дням Победы; украшающие сооружения — к Дням городов... может быть, никогда со времен Ренессанса художественная деятельность не была столь заботливо обеспечена стабильностью бытия, если, разумеется, ее носители исправно несли службу, не отвлекаясь ненужными мечтаниями.

Строго говоря, партийный надзор, удвоенный за счет надзора министерского, в значительной степени вырождался в чистую формальность, коль скоро унтер-офицерская вдова искусства выражала готовность к самосечению столь истово, что надобность в таковом возникала не слишком часто. Истовость, с которой в первые годы существования творческих союзов буквально пробовалась на зуб каждая строка доклада или постановления пленума, ушла в небытие. Однако вся цепочка процедур докладостроительства осталась без изменений до 1986 г., когда она вдруг оказалась ненужной. Мне приходилось подрабатывать, сочиняя "материал к докладу" и в союзе художников, и в союзе архитекторов (в первом расплачивались наличными и по тогдашнему времени довольно щедро, во втором, по бедности, — шансом на зарубежную поездку). Это ведь действительно был лишь материал: довольно свободно (не считая понятной самоцензуры) сочиняемая проблематизация, нередко довольно глубоко проникающая в глубь ситуации (лишь бы не до основания) образования, просвещения, организации и условий деятельности и т.п. За этот материал всегда благодарили, из него сохранялось обычно несколько абзацев, а то и строк или отдельные удачные словечки, тогда

как доверенные и опытные умники из аппарата (обычно ученый секретарь с кем-то из общественных секретарей) исправно готовили болванку. Затем болванка относилась в ЦК, где, в зависимости от характера персонажа, в нее вносилась ничтожная правка, существенная правка, а изредка (чтобы карась не дремал) весь доклад отправлялся на полную переработку, означавшую в действительности перетасовку абзацев и цитат, не более.

В точности воспроизводя процедуру подготовки партийно-правительственных документов из года в год, этот процесс, синхронно осуществлявшийся во всех Союзах и в принципе пригодный к рационализации — один доклад для всех с “окнами” на примеры из практики, — замечательным образом способствовал выдвигению на лидерские позиции персонажей, характеризовавшихся наибольшей удобностью для всех: для большинства цеха, ибо это обеспечивало стабильность и относительную терпимость к индивидуальности члена Союза, если тот не нарушал правил; для идеологического начальства, ибо гарантировало от неприятных неожиданностей и позволяло несколько расслабиться; для министерского аппарата — по той же гуманной причине.

Сама стабильность кругооборота, в максимальной степени снимая персонализацию руководства и аппарата в содержательно-творческом измерении, весьма способствовала распространению и закреплению иной персонализации — сугубо человеческих связей. Растущее безразличие к содержанию деятельности выдвигало на первый план иные критерии: быть “хорошим человеком” значило куда больше, чем быть способным мастером. Вполне незаметным образом осуществлялось сползание сферы искусства в атмосферу клановости и мафиозности, когда между “хорошими людьми” творческого Союза, аппарата министерства и его предприятий, равно как и аппарата идеологических ведомств, могли установиться устойчивые связи обмена услугами.

Исчезновение рынка умений, будучи всеобщим, не могло не настроить и сферу искусств на функционирование по общим принципам. В самом деле, гильдия композиторов-эстрадников могла установить обязательную пропорцию исполнения своих сочинений во всех ресторанах страны только за счет того, что могла опереть свою монополию на государственную власть, не испытывая от местной власти (не говоря уже о публике) ни малейшей зависимости. Гильдия монументалистов и оформителей могла обеспечить неиссякаемый поток выгодных заказов только в опоре на власть идеологическую и тщеславие властей советских и хозяйственных. То, что секретариаты Союзов обеспечивали своих членов и их протеже наиболее выгодными заказами в первую очередь, следя за относительной справедливостью (то есть равномерностью) в распределении всего прочего, воспринималось уже как естественная норма бытия. На носителей этой нормы можно было ворчать в кулуарах, но сама норма сомнению не подвергалась никоим образом. Функция главного (режиссера, художника, архитектора города, балетмейстера — безразлично), то есть сугубо служебная позиция, означала особую близость к источнику распределения заказов, что превратило эту функцию в особую желанную для весьма многих. Те, кому такая функционерская деятельность была глубоко чужда, должны были заботиться об установлении добрых отношений не только с актуальным начальством и его приближенными, но, на всякий случай, и с возможным будущим началь-

ством. Отсюда исчезновение критики не только печатной, но и устной, ее ослабление даже в кулуарном жанре, и к концу 70-х годов в сфере искусства разливается ровный свет взаимной любви, терпимости и уважительности.

Вполне естественно, что в такой атмосфере состязательное начало должно было ослабевать: идея конкурса вступает в очевидное противоречие с идеей устроенности стабильных отношений, установленности процедур выдвижения на звание и премию. Там, где в силу традиции конкурс все же полагалось проводить, само собой происходило так, что, будучи по форме конкурсом, обрастая многослойными процедурами, состязание приобретало все же успокоительный предсказуемый, заранее установленный характер, и результат был почти всегда предсказуем. Высокий статус занятий искусством, не вполне утраченный и в эпоху торжества бармена над космонавтом в массовом сознании, обеспечивал всей этой отлаженной системе постоянный приток свежей крови — за счет жесткой состязательности при поступлении в школу или допущении к конкурсу. Да, и здесь протекционизм играл, разумеется, значительную роль, но все же базовый уровень удавалось сохранить довольно высоким: музыкальное исполнительство, художественный профессионализм в графике или балете все еще обеспечивали относительную сопоставимость со среднемировым стандартом — горькие плоды отрицательного отбора нам пришлось вполне осознать только к концу 80-х годов. Только теперь падение, вернее, медленное умирание высокого профессионализма стало осмысленным фактом.

И все же следует быть справедливыми в оценке совокупного организационного процесса в искусстве "застоя". Это некроважное время, и сама доброжелательность с оттенком безразличия, ставшая средней нормой бытия в цехах искусства, была гигантским скачком по отношению к предшествовавшему времени яростной, страстной, нередко даже искренней подлости, междоусобия и взаимоуничтожения. Само безразличие к подлинной, то есть внеклановой, внецеховой, ценности результатов художественной деятельности, к внутреннему миру художника, отжимая профессионализм вниз, в то же время было относительно терпимо к индивидуальности как таковой. В этом отношении брежневская эпоха значительно благоприятнее для самореализации, чем хрущевская — концепция функционального "места", отступая миллиметр за миллиметром, остановилась на той границе, что уже оставляла достаточно простора для чужеродной ей концепции права на индивидуальное отличие (хотя и не на самостояние). Натуральный эклектизм "застойного" времени не воспрещал индивидуальный характер творческой деятельности, хотя и не поощрял его, либо даже готов был поощрить постфактум, лет через пятнадцать—двадцать.

У многоэлементной, многоярусной системы организации художественной активности было достаточно времени, чтобы отшлифовать все сочленения между всеми элементами, так что рано или поздно любая почти форма деятельности находила свое органическое место и форму осуществления. При всех реверансах в адрес массового потребителя он в действительности столь откровенно никого не интересовал, что только очень наивный или бескомпромиссный художник не мог уразуметь того, что все искусство является придворным и подчинено в равной степени придворному этикету и придворной же закулисной игре.

В самом деле, всякому было ясно, что, оперируя теми ставками за высококвалифицированный труд, которые были формально обязательными, скульптор не мог рассчитывать на модельщика, витражист — на подмастерье, архитектор — на отделочника и т.п. Действуя в строгом соответствии со ставками, нельзя было ни осуществить разгрузку и монтаж экспозиции, ни как-то обеспечить гастрольную поездку. Следовательно, сама собой должна была отработаться система встроеного в деятельность и практикой узаконенного нарушения бесчисленных нормативов, тарифных сеток, разрядов и т.п. Соответственно рост гонораров “в порядке исключения” или всчитывание фиктивных операций в реально осуществленные органически неотделимы от практики, а если так, то и “благодарность” за терпимость бесчисленных контролеров и инспекторов оказывалась заранее вкалькулированной в процесс. В результате монополия государственная кормушка создала условия сносного существования для всех или почти всех, кто к ней был причастен. Оркестрантам или членам театральной труппы никто не собирался повышать ставки (установленные по рангам еще в добрые сталинские времена), однако жалкие суточные во все более частых зарубежных гастролях добровольно голодные артистов все еще были достаточно мощным источником дополнительного приработка, чтобы кто-то дерзал всерьез оспорить заведенный порядок вещей. От этого же ничтожного приварка в той или иной форме кормились несчетные сопровождающие и оформляющие чиновники, так что на поверхности явлений оставалось благолепие и мир, скрывавшие от глаз интриги и свары, какие не снились и оперным Медичи.

В то же время система была уже достаточно сложна, чтобы допустить существование и тех, кто исповедовал доктрину “бедность — не порок” и позволял себе жить иначе. В каждом виде деятельности была проложена только опытным, только посвященным видимая грань между зоной добropорядочной бедности и зоной относительного благополучия, слегка окрашенного сомнительностью. Слегка — потому что, став совершенно массовой, любая норма рано или поздно становится нормой морали. Художник-график, работавший всерьез над макетами или иллюстрациями к таким журналам, как “Знание—сила”, “Химия и жизнь”, “Декоративное искусство”, не испытывал никаких соблазнов и довольствовался скромным гонораром, компенсируя его увлекательностью работы всерьез. В работе над учебным фильмом на соответствующей студии, где предполагался или, скажем так, допускался серьезный профессионализм, как-то сами собой собирались и сценаристы, “текстовики”, режиссеры и редакторы, коим и в голову не приходила возможность установления особых финансовых отношений. Но стоило передвинуться ступенькой выше в иерархии, при подготовке, скажем, так называемого общественно-политического фильма (ставки в три раза выше), как непонятливому автору сценария давали понять, что успешное прохождение работы требует определенных жертв.

В обычных случаях о вымогательстве не могло быть и речи — все должны были понимать сами, а если не понимали, и сценарий почему-то вновь и вновь отклонялся по произвольным, все время менявшимся основаниям, то, следовательно, произошла ошибка, и “неправильный” автор мог утешаться собственной гордыней сколько ему угодно. Поскольку архитектор, или музыкант, или актер в непосредственной своей рабо-

те были обречены на крайне скудное существование, всякому разумному человеку становилось ясно, что только в ином месте, в "халтуре" можно поправить бюджет. Поскольку же при постоянных запретах на совместительство получение "халтуры" выросло в цене необычайно, развертывание клановых связей взаимной выгоды было заложено в систему прочно. Так, будучи художественным редактором, графику "не полагалось" выполнять работы в собственном издательстве сверх определенной малой квоты — как естественная реакция возник обмен работами, и потому служебная эта должность приобрела чрезвычайную ценность гаранта для собственной творческой работы. Даже известному киноактеру было бы нелегко прожить съемками — следовательно, развертывалась система лекционных вояжей с фрагментами кинофильмов и сопутствующими беседами с благодарной периферийной аудиторией... Терпимость системы была велика.

Более того, некоторое ослабление прелятствий в контактах с зарубежьем пришло на выручку системе в трудном для нее вопросе существования "иного" искусства, которое без крайней необходимости обычно не приравнялось прямо к диссидентству, но, разумеется, не вмещалось в пределы цеха. Да, была "бульдозерная выставка", вытолкнувшая часть блудных детей искусства в эмиграцию, но вскоре возник и компромисс в виде специально изобретенного горкома графиков как своего рода профсоюзного объединения. Там проводились выставки и вернисажи. Там складывались репутации и устанавливались обоюдновыгодные контакты с зарубежными покупателями. "Иное" искусство, как правило, "не существовало" в официальной художественной критике, но коль скоро возник более или менее легальный рынок, то рано или поздно должно было сложиться и "иное" искусствоведение, объединившее неформально знатоков, экспертов, критиков, прямо или косвенно игравших роль посредника между потенциальным покупателем и художником.

Оба клапана — эмиграция и частная продажа произведений за рубежом — служили исправно сбрасыванию давления, в результате чего более 3000 только живописных произведений советских художников 70-х годов оказались в зарубежных галереях и собраниях, тогда как на родине остались только слайды и репродукции в западных журналах. Мету этого урона культура осознает еще слабо, коль скоро до настоящего времени Музей современного искусства все еще остается идей, не нашедшей воплощения. В тот же период, который, казалось, будет длиться вечно, оба этих клапана воспринимались как панацея. Если дополнить это явление весьма скромным, но все же существующим частным коллекционированием, то возникает картина вполне уравновешенного бытия, сосуществования в цехе и вне цеха, в параллельных, почти не взаимодействующих мирах.

Весьма специфически тот же процесс отразился и в мире архитектуры, где, казалось, ему никак нельзя было найти места, ибо профессия успела окончательно превратиться в государственную службу, утратив всякое почти родство с другими искусствами. Да, существовал приработок в виде заказов на памятники и надгробия, иногда дачи, но в целом оставалось добиваться заказа на государственную постройку, выполняемую, однако, по воле по сути частного мецената, вроде Кунаева и Рашидова. В целом же была служба и ностальгические воспоминания о прош-

лом зодчества, слегка оживляемые периодическим участием в международных конкурсах — скорее для престижа, чем в надежде на выигрыш (выкуп программы конкурса требовал валюты и, следовательно, осуществлялся только через цех, то есть через аппарат Союза).

И вот совершенно неожиданным образом, воспользовавшись тем, что хитроумные меценаты (из Японии преимущественно) начали объявлять открытые конкурсы на чистую концептуальную идею, студенты и выпускники московской архитектурной школы, к которой позже присоединились и другие, совершили феноменальный рывок. "Дом для куклы", "Стеклянная башня", "Музей скульптуры", "Театр в городе" и тому подобные темы ежегодно поступали на всемирный конкурс, и львиную долю наград начали завоевывать советские участники. Возник, впервые после 20-х годов, рынок чистых концепций, и на этом рынке советские молодые архитекторы внезапно для всех оказались вне конкуренции. Мотивы устроителей конкурсов прозрачны: наряду с повышением престижа журналов контролируется поток бесчисленных предложений, кое-что из которого тем или иным образом войдет в профессиональную практику. Мотивы советских участников также были прозрачны: с одной стороны, для них не было места в профессиональной практике, но зато обнаружилась "ниша" в "бумажном" творчестве, с другой — сформировался некоторый шанс на обретение известности и источник существования — для наиболее талантливых и удачливых.

Цех вначале отнесся к феномену настороженно-снисходительно, поскольку графическое мастерство и остроумие невозможно было подвергнуть сомнению, а прямой "крамолы" в этой деятельности не было заметно ничуть. Позже, что совпало уже с началом перестройки, цех начал гордиться "бумажной архитектурой", оплачивать ее выставки в Париже, Лондоне, Франкфурте, США, но ни теперь, ни ранее контакт цеха с "иным" искусством не влиял и не влияет на его жизнь.

Безусловно, ту же ситуацию мы без труда обнаруживаем в литературе (оставив в стороне прямо политизированный "тамиздат" или то, что объявлялось таковым, подобно альманаху "Метрополь"), в кино — "Андрей Рублев" или "Агония" были экспортными явлениями задолго до их показа на родине. Та же картина в книжном оформлении, где сложился свой круг изданий и художников, изначально ориентированных на зарубежный рынок и ценой и качеством. Та же, но иначе — в скульптуре, где, как уже вспоминалось выше, Сидур мог жить и работать только благодаря покупателям из-за рубежа. В музыке, где не существовавшие официально Шнитке или Губайдулина обретали все большую всемирную известность, в исполнительском искусстве (Петров и другие) ... Есть, пожалуй, все основания утверждать, что опора на зарубежный рынок искусства оказалась вполне гармоническим образом встроена в систему, способствуя ее самовоспроизведению, так как ослабляла внутренние напряжения за счет увеличения свободы выбора. Или в цехе и по его правилам, или вне цеха — никто не может утверждать, что этот выбор не был свободен.

Как ни смотри, получается все же, что "застой" по сравнению с предшествовавшей эпохой был в искусстве огромным прогрессом.

Стоит, однако, углубиться в анализе до уровня структур художественного сознания, как от этой оптимистической оценки придется отказаться. Картина художественной жизни резко усложнится, и обнаружить

позитивные черты бытия окажется нелегко.

Тотальное растлевающее воздействие системы организации художественной активности оказывалось столь мощным и проникающим, что всякий, кому довелось работать "в системе", не мог не испытывать постоянную нехватки кислорода. Можно было не заглядывать в газеты, прекрасно обходиться без телевизора, не раскрывать иных журналов, кроме сугубо профессиональных и научно-популярных, в общении с литературой ограничиваться классикой и периодически попадавшим в руки "самиздатом" или "тамиздатом". И все же все эти защитные меры не могли обеспечить желанной автономности, не говоря уже о независимости. Можно было иронизировать по поводу очередной блестящей идеи с каким-нибудь "завершающим" годом пятилетки, но не знать об этой затее вовсе было невозможно. Вулканическая активность в области так называемой наглядной агитации слишком настырно лезла в глаза на всех углах, чтобы не замечать ее совсем — для этого следовало бы запереться в четырех стенах безвылазно. К финалу эпохи, когда немощь вождей достигла крайней степени, трудно было освободиться от какого-то слегка даже непристойного любопытства: дойдет или не дойдет, одолеет трудное слово или нет и т.п.

Было бы неразумно недооценивать если не прямое, то косвенное воздействие столь специфической атмосферы на сугубо личностные пласты сознания — огромный расход энергии на противостояние окружающему маразму отбирал эту энергию у собственно творческой деятельности. Более того, сама необходимость непрестанно противостоять общей энтропии, ощущавшейся как вполне осязаемое силовое поле, волей-неволей привязывало сознание к предмету отталкивания — быть свободным от этого отторжения не удавалось, пожалуй, никому, и уже это приводило к съезживанию внутренней свободы. Это вело также к неизбежному обмелению или даже измельчанию всякого протестантства во внутрицеховой художественной деятельности: можно было обойтись весьма малым, чтобы зритель, слушатель, читатель испытал некоторое почти физиологическое удовольствие от швейковского "шевеления пальцами ноги в сапоге" и сопряженное с этим удовольствием чувство благодарности его дарителю. Столь резкое упрощение задачи безвредно, так как "шевеление пальцами" не нуждалось в высоком профессионализме, в известной мере замещающей его собой.

Внимательный читатель не мог не видеть слабости прозы, скажем, Трифонова, схематизма в его композициях, однако прорыв к правде, ощущавшийся при чтении Трифонова или Астафьева, был уже столь весом, что недостатки повествования и провисание стиля оказывались как бы и несущественными. Внимательный зритель не мог не видеть слабость техники и надсадную литературность живописных композиций Назаренко и многих других "молодых гневных", но испытывал признательность к художнику, столь яростно отстаивавшему персонализированное видение мира. Внимательный слушатель замечал слабость дирижера и оркестра, все чаще допускавших прямые ошибки, но преисполнялся благодарности к исполнителям уже за то, что мог слушать Баха и — иногда — Стравинского или Бартока. В среде критиков установилось неписаное правило, согласно которому "да, конечно, но все же" стало нормой: тлетворная толерантность системы цеха отражалась роковым образом в чувстве патернализма, всеобщей снисходительности, если обнаружива-

лось нечто всего лишь пристойное, добропорядочное, профессиональное.

Все это — тонкие, субтильные вещи по сравнению с более грубыми и более весомыми. По сути дела, культура столкнулась с феноменом перевернутой шкалы оценок, с тотальным наступлением уже даже не на творчество, но на профессионализм как таковой. Разумеется, никто не объявлял профессионализму и его носителям войну — напротив, все надлежащие слова произносились исправно с трибун всех пленумов всех союзов. Однако само уже расхожее употребление словосочетания “творческий союз” как нормального, без реакции на заложенный в нем вопиющий абсурд несло в себе поражение профессионалов. Массификация художественной культуры, увеличение числа ее адептов и глашатаев (то же разворачивалось в науке, инженерии, педагогике) происходило все более откровенно сугубо номинальным образом, через обретение соответствующего диплома, членского билета Союза, почетного звания и должности.

Идеологизированность художественной школы, в этом отношении приравненной к любой другой школе (впрочем, более терпимой к невежеству, но ни в коей мере не к “отклонениям от линии”), существенно способствовала снижению критериев в двустороннем процессе общения учителей и учеников. Если учесть, что неизбежный в этом случае процесс упадка имел точкой отсчета середину 50-х годов, то мера его проступает с особенной остротой. Следует помнить, что при всем размахе прямого и косвенного террора, истреблявшего творческую интеллигенцию с той же или большей яростью, чем все остальные, где-то до начала 60-х годов все еще сохранились осколки прошлого — выпускники дореволюционных университетов или хотя бы гимназий, носители классической образованности. С естественным — увьи! — уходом этих реликтов из активной жизни повсеместно можно было наблюдать скачок вниз, тем более ощутимый, что обычно отнюдь не лучшие ученики этих почтенных старцев оказались их преемниками в роли заведующих кафедрами, начальников отделов, профессоров или академиков. Естественный процесс подбора по “среднему”, увьи, естественный для эпохи принцип “выжженной земли” вокруг официального лидера — все это ускорило как дегуманизацию отношений в искусстве и в художественной школе, так и сложным образом сопряженную с этим утрату высокого профессионализма.

Заведенная и хорошо смазанная машина ежегодного соискательства премий, о которой мы говорили выше, обладала замечательным свойством неустанного воспроизводства спроса. Будучи дополнена такой же отлаженной машиной воспроизводства “молодых специалистов”, кандидатов в члены союзов, кандидатов искусствознания, эта механическая музыкальная шкатулка была настроена на одну мелодию: повторение одного нехитрого мотива. Повторение, однако, в культуре невозможно, и потому с каждым оборотом вала, захватывавшего теми же колками те же крючки, должно было происходить и действительно происходило снижение Качества, Качества с большой буквы, Качества как ценности в себе.

Сложившаяся в системе цеха полумафиозная система взаимосвязей “хороших людей” через их взаимозависимость, захватывая школу и науку, пропитывая собой “клубные” отношения в профессиональной среде, не могла не расширяться в объеме, последовательно вытесняя на далекую периферию прежние интеллигентские благоглупости. Тем есте-

ственнее должны были крепнуть схемы обмена ролями или совмещения ролей: ответственный чиновник министерства — партийный функционер в сфере идеологии — профессор или заведующий кафедрой — редактор или член редколлегии единственного цехового журнала... идеалом карьеры стало чередование некоторых из этих ролей при сохранении прочих. Поскольку ключевых позиций было в обороте не так уж много, то, даже если почему-либо не удавалось занять все их одному деятелю, вполне нормален становился захват их всех плотно связанной группой.

Отсюда оставался один лишь шаг, чтобы нормы группы, критерии группы становились нормами и критериями цехового профессионализма вообще. Самосознание дипломированного художника любого цеха все в большей степени модулировалось по образцу чиновничьего, что воспринималось опасно растущей массой номинальных профессионалов в сугубо положительном ключе.

Обратная сила воздействия новой нормы сознания на всех без исключения профессионалов была весьма велика: немалая часть студентов конца 70-х — начала 80-х годов уже с первых курсов проявляла чрезвычайную готовность как можно раньше встроиться в "правильную" систему отношений. Поиск "патрона", калькуляция "верной" темы наряду с легкостью браков по расчету — все это приобрело чрезвычайную распространенность в столицах старых, не говоря уже о новых, бурно расцветавших под мудрым руководством местных мафиози. Те, кто органически был неспособен к игре по новым правилам, не могли в свою очередь выжить без: того, чтобы так или иначе объединяться в "клубы" контестации, так что и их самосознание в большинстве случаев получало групповую, квазиобщественную окрашенность.

Сознание придворных или сознание аутсайдеров — выбор был совершенно свободным, но только из этих двух возможностей, ибо третьей не было дано.

Нельзя оставить в стороне еще один мощный фактор воздействия на структуру художественного сознания — умножившиеся контакты с Западом, с Западом чужим и "своим", ибо к концу 70-х трудно найти человека в сфере искусства, чьи личные друзья или хотя бы знакомые не оказались бы за рубежом в роли эмигрантов. Конечно, это воздействие было многозначно, и в том, что усиление информационного потока существенно обогащало воображение отечественного члена цеха, не может быть сомнений. И все же в контакте с Западом был и мощный деструктивный элемент, заключавшийся в том, что все труднее было сохранить самоуважение, без которого реальная творческая и просто профессиональная деятельность немислимы.

Всякий, кто впервые оказывался на Западе в конце 70-х годов, помнит силу культурного шока. Мы были как-то подготовлены к богатству, к многообразию, к чистоте и прибранности, ухоженности каждой пяди земли, хотя теоретическая подготовленность помогала все же мало. Но самым болезненным шоком было само нахождение среди ухоженных, доброжелательных, в основном как-то не по нашему успокоенных людей. Для того чтобы ощущать себя собой, не теряя самооткровенности, требовалось огромное душевное усилие, даже если оно и не вполне ощущалось на месте. Еще большая энергия требовалась для преодоления шока возвращения к пенатам, что у весьма многих вызывало вполне реальный психический криз.

Усиление этого постэффекта (или предэффекта для тех, кому лишь предстояло совершить зарубежный вояж или оставалось мечтать о нем) за счет сведений об эмиграции также нельзя недооценивать. Реакция была так или иначе болезненной: сопереживая трудностям адаптации уехавших на новых местах в ином мире, нелегко было подавать в себя шепоток тайного злорадства. Искренне радуясь успехам, которые раньше или позже выпадали на долю большинства уехавших друзей, мало кто мог избежать потаенного чувства обиды. Теневой, потусторонний мир эмиграции постоянно присутствовал в здешнем, единственно реальном мире, став органической его частью, и пусть бросит в меня камень тот, в ком не шевелилось время от времени желание бросить все и очертя голову riskнуть поисками "вызова".

Эти непростые отношения, усиленные растущей ориентацией части наиболее амбициозных художников на западный рынок художественных ценностей, несопоставимость реальной покупательной способности довольно ничтожных, по западным стандартам, гонораров в валюте придали самосознанию внутри любого цеха определенную патологию. Строго говоря, здоровым вполне мог ощущать себя лишь новый, вполне уже сложившийся тип делового человека, ничем существенным не отличавшегося от другого, функционирующего в сфере услуг, полуподпольного предпринимательства и прочих респектабельных занятий.

Не следует упускать из виду социальную деградацию интеллектуальной, и в частности художественной, деятельности в "застойную" эпоху. Временная популярность очередных кумиров-исполнителей не может скрыть простейшую констатацию: образ художника утратил социальную привлекательность в такой же мере, как и образ ученого и тем более инженера. Сколько бы в цеховом "клубе" ни делали вид, что этого факта нет, ни имитировали причастность если не к храму искусства, то хотя бы к его паперти, унижительное ощущение социальной ущербности распространялось все в большей степени.

И тем не менее только такая ретроспективная оценка времени была бы глубоко несправедлива.

Оставим в стороне то, что было малоизвестно за пределами узкого круга посвященных, — ту напряженнейшую творческую работу, что осуществили писатели, живописцы, композиторы, работавшие "в стол": мы о масштабе этой деятельности начинаем узнавать только теперь, прочтя Гроссмана (не будем забывать, что "Мастер и Маргарита" Булгакова все же увидел свет в "застойное" время, окрасив его значительно, чем сотни изданных тогда романов), романы написанные до отъезда Аксеновым, Войновичем и многими другими.

Не менее существенным, пожалуй, следует счесть то, что нередко именовалось тогда эскапизмом: романы и пьесы, сочинявшиеся "для себя" множеством людей, полотна и графика, обращенные к "себе", то есть к узкому кругу друзей и их друзей: вне цеха, но вне "антицеха", без ориентации на рынок внутренний или внешний. Огромно значение той тихой подготовительной работы, которую вели тысячи и тысячи людей, образовавших своего рода живую цепь, где — через два знакомства — "все знали всех". Это была подготовка ни для чего конкретно, деятельность самостроительства, самосоздания изо дня в день, нацеленная только на одно: чтобы свеча не погасла, чтобы каким-то способом передать остаточную культуру чистой деятельности тем из следующих по-

колений, кто ощутит свое родство с предшественниками. Никто, пожалуй, не рассчитывал на перестройку и рожденную ею гласность — тем важнее обнаруживаются труды тех “застойных” лет, различимые из сегодняшнего дня, перенасыщенного политикой настолько, что на чистую деятельность мало у кого достает времени и сил.

То, что стало уже теперь очевидным: плоды профессиональных трудов двух и более десятилетий, заполонившие страницы журналов, выставочные залы, залы театров и студий, телеэкран, — это лишь первый пласт художественной культуры, создававшейся под толщей официальной культуры “застойных” декад. Есть второй, более глубокий пласт культуры, еще не вполне успевший проявиться и потому не вполне опознанный публицистикой: пусть в чрезвычайно малом числе, пусть одному на десять или более тысяч сограждан, но “застойное” время позволило сформироваться в нашей стране заново истинному ценителю искусства, истинному знатоку его истории, истинному читателю, зрителю, слушателю.

Сама вынужденная сосредоточенность художественной культуры в малогабаритных квартирах и бедных мастерских, ютившихся в полуразвалинах, вызвала по контрасту чрезвычайную напряженность внимания к ценности Качества в художественной деятельности, без которой нет художественной публики, а значит, нет и вполне зрелого искусства. Отнюдь не прячась в катакомбах, отбывая постылую службу или, напротив, не без интереса занимаясь профессиональным делом как частным занятием (ибо нормальным было, что оно интересно лишь самому действующему персонажу), наша отечественная художественная публика имела возможность формироваться наиболее чистым образом, без посредников, без властителей дум, без идеологизированной критики любого направления.

Вне всякого сомнения, в эпоху “застоя” мы впервые после революционных лет, а может, и вообще впервые в нашей новой истории стали свидетелями и участниками мощного процесса по-кантовски не заинтересованной приватизации художественной культуры. В этом приватном мире формировались увлечения реставрацией икон или старой мебели, йогой и оригами, тончайшим искусствоведческим и культурологическим анализом средневековой поэзии, восстановлением знакомства с собственной историей. В этом приватизованном мире Набокова, добытого в бледной ксерокопии, читали не так и не потому, что он был из “тамиздата”, а потому, что он Набоков, привнесший в наши представления о литературе нетрадиционную способность видеть, качественно новое, контрастное к российской социологизирующей литературной традиции отношение. Здесь, в этом мире, замирало сердце у тех, кто открывал для себя магию стихов Бродского, столь же очевидным образом привнесшего в отечественную словесность новое Качество дистанцированной умудренности, элегичности.

Приватизованный мир художественной культуры, корыстный лишь в том отношении, что владение новым для аудитории знанием или пониманием позволяло сохранять уважение коллег, странным образом вновь и вновь доказывал, что удается избегнуть той заведомой вторичности, на которую было обречено то “иное” искусство, что обращалось к зарубежному рынку. В рамках этого существования, при всей его эфемерности и незащищенности, на первый взгляд оказалось достаточно силы, что-

бы сформированные им люди обнаружили себя в условиях перестройки и гласности совершенно к этим условиям готовыми, способными включиться в активную деятельность, как только в этом обнаруживается потребность.

Итак, именно в приватизованных условиях, в художественной культуре, которая была не "иной", но "параллельной", сложилось наконец ядро остро необходимой публики, для которой процесс взаимодействия с произведением искусства и впрямь есть процесс сотворчества, процесс обмена, неустанный диалог. Здесь ожили идеалы всеобщности гуманитарной культуры, где искусство не приправа к обыденности и не сюжет для светской хроники, а натуральный элемент в большем от него целом. Гумилев-сын с его поэтическими теориями этногенеза стал здесь не менее интересен, чем Гумилев-отец или Ахматова; Аверинцев или Баткин — не менее увлекательны, чем Бродский или живопись отечественных "соц-артистов". Более того, именно в приватизованном мире "застойной" художественной культуры сложилась почти парадоксальная для России ситуация, когда странным образом новая художественная публика отнюдь не страдала вечным комплексом неполноценности, будь то западный или славянофильский его варианты.

Наконец, и это, может быть, самое существенное, вопреки всему, что складывалось в цехе, вопреки мафиозности и коррумпированности машины искусств, незаявленное, но мощное обратное воздействие приватизованной культуры на цех не только не исчезло, но, пожалуй, к концу брежневской эпохи выросло существенно. Возник негласно признанный тип культурного лидера, которому не позволялось занять очень уж продвинутую официальную позицию, если он к этому стремился, однако он в целом не только был терпим, но даже (о, диво) скорее признавалась несколько раздражающая официоз, но все же необходимость его присутствия. Тип арбитра элантиорум стал фактом.

Существенные поначалу подвижки в цехе, сопряженные с перестройкой, сами собой вытолкнули некоторую часть лидеров приватизованной художественной и научной культуры в сферу официоза, будь то деятельность в цехе или на политическом поприще. Собственно говоря, только с этого момента между двумя типами культуры разразился все еще расширяющийся конфликт. Ранее для конфликта не было оснований — в официальном, организованном по цехам искусстве обращались одни ценности, в приватизованном — свои, контакты и конфликты носили поэтому персонализированный характер периодического припоминания "неформалам" (слова такого не было, но явление все же было), что сила на стороне цеха, все более сраставшегося идеалами и образом жизни с мафиозными группами и аппаратом.

Теперь ситуация резко изменилась, и в художественной культуре возникает противоборство, которому суждено растянуться на десятилетия. Эпоха "застоя" только еще начинает проявлять свою мощь трупным дыханием. На самой поверхности — очевидное столкновение внутри цеха: между прежней элитой и ее антиподом, так или иначе призванным играть роль элиты, несмотря на индивидуальные устремления ее участников, пока существует цех. Чуть глубже столкновение между реформаторами цеха, склоняющимися к необходимости радикальнейшим образом его преобразовать, и консерваторами, страшящимися потери устроенной организации деятельности и перехода к ее свободному рынку. Сравни-

тельно с этими конфликтами шумная полемика "славянороссов" с неозападниками не столь значительна, как это кажется втянутым в полемику критикам, литераторам и художникам, — раньше или позже оба лагеря займут свои естественные "экологические ниши" в культуре.

Однако в самой толще подлинного конфликта неизбежно оказывается упорное сопротивление депрофессионализованного слоя "творческих работников" любым попыткам вернуть Качеству присущее ему место в иерархии ценностей. Разумеется, сторонники сохранения собственной системы критериев для оценки художественной и сопутствующей деятельности органически противостоят идее открытой состязательности, идее рынка. Однако они обладают огромным опытом "застоя" и потому отнюдь не выступают ни против состязательности, ни против рынка — если сумеют сохранить монопольные позиции на рынке так же, как это им удавалось в так называемой командно-административной системе организации художественной жизни. Единственное, что им нужно для этого, — сохранение монопольных прав цеха, так как внутри цеха они располагают подавляющим большинством без всяких усилий со своей стороны.

Эпоха "застоя" в незначительной степени ослабила власть цеха над художником, в целом заботливо сохранив этот феодальный институт наряду с другими институтами сталинского социализма. Есть все основания полагать, что именно в условиях перестройки большинство — подчеркнем: демократическое большинство — внутри цеха будет принимать массивное наступление на свободу индивида, предоставляя ему полную свободу деятельности в обмен на лояльность к цеховому знамени. Столь же естественно, что то самое меньшинство, что сформировалось в приватизованной культуре "застоя", не будучи в силах изменить цех, должно будет в той или иной форме выйти из него. Выйдя, наталкиваясь на монопольные поползновения цеха (например, на вполне добropорядочно звучащее право выдачи лицензии на самостоятельную коммерческую профессиональную деятельность), это меньшинство раньше или позже будет вынуждено объединяться в цех ради выживания и сохранения свобод.

Трудно быть до конца уверенным в прогнозе, но я полагаю, что в ближайшее время мы будем погружены в ситуацию нового типа: традиционным цехам, на которые искусство было старательно расчленено после "великого перелома", будет противостоять более или менее организованное целое — ассоциация или федерация, в рамках которой объединят усилия литераторы и живописцы, архитекторы и композиторы, музыканты, кинематографисты и актеры, дизайнеры и искусствоведы. Вряд ли иначе удастся отстоять принцип *лессе-фэр* в отечественной художественной жизни, так к этому принципу не склонной на протяжении всей своей истории.

Решить задачу преодоления силы цеха, этого бастиона, оставшегося нам в наследство не только от "застоя", но и всей системы командного социализма, своими силами художник, деятель искусства не в состоянии. Ни в одиночку, ни объединившись. Единственным и естественным союзником в этой борьбе может стать та новая художественная аудитория, та публика, ядро которой сложилось в эпоху "застоя", с этой точки зрения содержащую в себе более переходных и подвижных компонентов, чем обычно признается.

Подводя некоторое подобие итога этим предварительным заметкам, можно с уверенностью утверждать лишь одно: состояние искусства, состояние художественной культуры, как оно виделось изнутри ушедшего времени, должно быть охарактеризовано словом "агония", вынесенным в заглавие. То же состояние, оцениваемое из настоящей позиции, разумнее, должно быть, охарактеризовать как всего лишь предкризисное состояние, ибо кризис в сфере искусств, как и во всей культуре, только еще разворачивается. Как и положено в истории, он на наших глазах и с нашим участием принимает те формы, какие не приходили в наши головы в 70-е и в середине 80-х никоим образом. Вообразить себе, что конфликты внутри культуры смогут приобрести коммерческую окраску, мы еще могли, но представить себе, что они смогут отойти на второй план по отношению к межэтническим бурям, было решительно невозможно — хотя сейчас, в ретроспективе, это кажется самоочевидным.

По всей видимости, через год-два в статье под таким же названием, как эта, придется писать совсем иные вещи.

ПЕС С ТОБОЙ,
ИЛИ
ВЫГУЛ СОБАК В ГОДЫ ЗАСТОЯ

Нет, это не притча. Как пишут, время притч, аллюзий, аллегорий и т. п. ухищрений подцензурного пера у нас безвозвратно прошло с наступлением дозволенной гласности. Все эти ухищрения оказались не то чтобы не в чести, но не в духе нынешних перемен. Попадают еще не очень однозначные метафоры, но ведь совершенно без метафор жить нельзя.

Особенно, чувствуется, полегчало тем из авторов, кому раньше так и не выпал случай овладеть началами эзоповой речи. Похоже даже, что иные литературные критики не вполне ясно представляют, что это такое, хотя странным образом отлично знают, с чем это едят. Во всяком талантливом произведении искусства, созданном, как на грех, еще в "доперестроечные годы", они ищут теперь некий политический намек, скрытый смысл, полагая их, как видно, главным эстетическим критерием. Немало преуспев прежде в удовлетворении хищных потребностей начальства по части уловления "неконтролируемого подтекста" (был тогда такой спецтермин), ныне они предлагают своим новым шефам и нам, читателям, разделить с ними ретроспективный восторг по поводам, будившим в них ранее совсем иные чувства. Слов нет, сказывается, конечно, в подобном подходе к делу и особенная гибкость натренированного позвоночника, сказывается и задняя, если можно так выразиться, память с накрепко впечатанными в нее уроками и опытами окружающего со всех сторон бытия. Сказывается, наконец, производственный навык и привычка — та самая "вторая натура", которой надлежит полностью заместить даже всякое воспоминание о какой-то там "первой натуре" во избежание наступления идеологической шизофрении, влекущей полную профнепригодность с вытекающими отсюда последствиями.

Все так. Но есть в означенном подходе к делу и некий теоретический аспект, с которым связан уставной постулат, согласно коему искусство вообще есть с л у ж е н и е, а люди, так или иначе причастные к сфере искусства, — с л у ж а щ и е. Остальное непосредственно вытекает. Ведь самоочевидно, что всякий порядочный человек служить должен честно и усердно, иначе нелады с совестью начнутся, возникнет душевный дискомфорт и т. п. Короче говоря, что искусство создается не "просто так", а из "видов", что в основе всего лежит некий "художественный замысел", а то и прямой у м ы с л — это все азбука для людей означенного склада ума. И потому, кстати, притча и аллегория могут теперь вновь оказаться под сомнением. ("Вы что же, дорогой, не верите в нашу перестройку? Может, вы вообще ни во что не верите?")

Зато все наши расхожие эвфемизмы авторы означенного склада ума готовы принять в совершенно буквальном смысле. И даже общедоступный нынче Фрейд не побуждает их (а хоть что-то они о нем когда-то слышали!) на минутку призадуматься, почему бы это — вслед за всякого рода нынешними обсуждениями постигшей нашу историю в свое время деформации (какое найдено слово!) — участников подобного рода обсуждений тут же так и тянет приступить к вопросу о засорении русского языка общеизвестными стереотипами нецензурной речи? Почему, иначе говоря, мы так материмся? Пусть иные пока еще лишь про себя и не обязательно буквально, а лишь как бы примысливая соответствующую случаю интонацию к эвфемизмам, принимающим зачастую вид научной терминологии, новых политических словосочетаний или даже торжественно-проникновенных оборотов в жанре воскресной проповеди. Есть, как говорится, мнение, что мат — словесное хулиганство, параллель которому следует искать в разгуле уголовщины или даже в тайнах теневой экономики. Но что же такое мат, так сказать, внутренний, духовный? Есть мнение и на сей счет, заключающееся в том, что “у людей не осталось ничего святого” за душой.

Господи, да разве дело в “засорении языка” и “осквернении души”!

Трудно, хоть и модно, совершенно отбросить уже всякую мысль о том, что в каком-то отношении сознание все-таки вторично по отношению к бытию и что, стало быть, есть в окружающем нас с вами мире нечто такое, что постоянно и со все нарастающей пока что силой побуждает массы наших людей к нехорошим словам. Ведь мат уже столбом, если можно так выразиться, стоит над нашей жизнью!

И тут возникает вопрос. А не есть ли упомянутое сквернословие очень дурная, но при всем том повсеместно практикуемая антитеза всем нашим осточертевшим эвфемизмам? Не составляют ли такого рода сквернословие и упомянутые эвфемизмы действительную дилемму того самого сознания, для которого на Западе и отыскалось слово “двоемыслие” — еще один эвфемизм, в свою очередь напрашивающийся на столь привычную нашему внутреннему слуху и уху альтернативу при переводе на язык понятий и представлений, порожденных удручающими обстоятельствами окружающего нас бытия? И еще. Не составляют ли мат и эвфемизмы ту самую внутреннюю антиномию нашего общественного сознания, в пределах которой и, как принято теперь говорить, н а р а б а т ы в а л а с ь — скрытно до поры и в п р е в р а щ е н н о м виде, но со стихийной неодолимостью — своего рода “рабочая модель” того открывающегося ныне “плюрализма мнений”, некоторые выражения которого очень уж напрашиваются на столь знакомую альтернативу и вместе с тем хранят узнаваемые ее черты? И не потому ли вновь и вновь мы принуждены прибегать к эвфемизмам “парламентских выражений”? И все больше материмся. Старая дилемма общественного сознания готова, кажется, быть воспроизведенной на новом витке. “Высокому штилю” тех “круглых столов”, которые для традиции торжественных заседаний и иных словопрений под протокол, массы, стоящие с теми же целями в бесконечных (сколько раз, если прибегнуть к этому глобалистскому штампу, можно было бы ими опоясать Землю!) о ч е р е д я х, проаккомпанировали на уровне традиционных “непарламентских выражений”. А вот н а с т о я щ и х с л о в все нет и нет.

Впрочем, к искусству все это как раз не относится. Искусство, как

известно, всегда знает настоящие слова. Искусство, как помним, небрезгливо. Но чистоплотно. Оно всегда "на высоте" себя. И потому люди, подозревающие в нем нечто вроде эвфемизированного мата, лишь переносят в сферу эстетического суждения мерки собственного мировосприятия.

Издавна, как заметил еще наш немодный ныне К. Маркс, существовала психология, готовая объяснить все высокое низменными интересами, вскрыть "всю подноготную" (страшенькое отечественное выражение!) всего на свете. У нас эта психология расцвела в качестве "подлинно марксистского" взгляда, единственно способного в с к р ы т ь "истинную подоплеку" поведения людей и суть идей. Критика, порожденная такой психологией, весьма преуспела в низведении раздумий над тайной того вечно "нового мышления", которым в известном смысле всегда является художественное творчество, до уровня постановки вопроса в уголовной плоскости: "кому это выгодно?", или "кому все это на руку?", или "с кем вы, мастера искусства?". И хотя с вопросами этого ряда и рода начальство приступало к людям искусства как бы от имени общества, на самом деле они были обращены прежде всего к самому обществу. Ибо, поскольку искусство может рассматриваться как живая модель бытия, бытию "на примере" искусства может быть преподнесен некий наглядный урок, на примере искусства общество можно учить поведению, как говорится, кошку бьют — невестке острастку дают.

Наконец была отыскана та формула надлежащего строя жизни и образа мысли, которая идеально совпадала с формулой надлежащего при этом строе и образе искусства. Всякое противоречие между искусством и жизнью было устранено до конца. "Реальный социализм" стал в буквальном смысле зеркальным отражением "социалистического реализма" (чем не тема для диссертации в годы застоя?). Оказалось, что все было можно сделать более чем просто. Пришлось только переставить, перевернуть в обратном порядке те же слова. И все. Круг понятий замкнулся. Змея мудрости тавтологически укусила наконец себя за хвост. Эвфемизм по форме сделался матом по содержанию.

Это был уже в своем роде шедевр и увенчание. Дальше было некуда. Все иные слова стали ни к чему и зря. Даже эвфемистически торжественная мелодия Государственного гимна лишилась слов. Начальство обещало новые, но оставило это дело. Теперь каждый мог примысливать свои собственные слова к мелодии. Музыка осталась государственной, слова — народные. Но про себя. Обнаружилось некое зияние, ниша, прикрытые пропагандистскими трафаретами. Не тут ли и нашел себе временное прибежище "крот истории", кратковременно обнаружившийся в пору "оттепели"?

Впрочем, все уже сделалось похоже на некие "условия игры". Игра была безрадостной, условия — святы и охранялись почти любыми средствами. Игра была безрадостной, но нешуточной. Формировалась новая модель общества. О каких-либо иных "моделях социализма" помянуть запретили. Возник и начал соблюдаться на двусторонней основе некий как бы консенсус застоя. Он успел обрести едва ли не совершенное в своем роде воплощение в фольклорной формуле тех времен: "вы делаете вид, что платите нам, а мы делаем вид, что на вас работаем". Не стоит спешить теперь с обвинениями в цинизме в связи с утверждением означенного "правила поведения". В упомянутой формуле незатей-

ливо, но с полной несомненностью выразилось и нечто вполне, как говорится, нонконформистское. На откровенную показуху, творимую вер-
хами, низы ответили тем массовым, стихийным и даже не вполне осозна-
ющим себя п а с с и в н ы м с а б о т а ж е м (или саботажем пассивными
средствами), который так трудно пресечь, поскольку он не имеет
признаков активного протеста, но в котором лучше, чем в любом боло-
те, вязли все попытки верхов активизировать массу в своих своекорыст-
ных целях... Мы уже, похоже, начали подзабывать теперь о том, в каком
бессчетном множестве трепались на всех проезжих и даже малопроез-
жих путях и дорогах в ту пору, о которой речь, кумачовые транспаран-
ты-трафареты, призывавшие всех и каждого "вперед и выше" и возве-
щавшие, что "коммунизм — светлое будущее всего человечества" и что
"народ и партия едины". Но мало было бы сказать, да и не точно, что
всех этих призывов и ритуальных заклинаний никто не замечал и что они
ни на кого уже не действовали. Нет, они все-таки действовали, на них
все-таки поглядывали. Они, конечно, постоянно вбивали в головы некую
безнадегу — именно своей стандартностью, именно тем, что от них некуда
было деться. Но вместе с тем в глазах людей, поглядывавших иной раз
на них, рефлекторно возникало, читалось и столь у з н а в а е м о е:
"А идите вы все на..."

Между тем начинала складываться ситуация некоего условного и ис-
кусственного равновесия "верхов" и "низов" — управителей и управля-
емых, начальства и подчиненных, "их" и "нас" — на беспредельно расхо-
дящихся уровнях жизни, мысли и чувств.

Но речь все более засорялась.

Некоторые широко публиковавшиеся в ту пору обществоведы, пом-
нится, в порядке ими же оговариваемой сугубо "личностной" теоретичес-
кой инициативы и признавая всю меру ее теоретической и даже иной
уязвимости, предлагали предусмотреть допустимость — помимо "реаль-
ного" и "развитого" — еще и "высокоразвитого социализма". И напрас-
но. Это был уже перебор. Все подобные "тонкости" и изыски были
совершенно излишни и даже, возможно, скрыто предполагали (в чем и
заключалась их стесняющаяся прогрессивность) сопоставление достиг-
нутого с достижимым в некоем идеале, "конфликт хорошего с лучшим",
мысль о степенях и мере совершенства Большого Пути. Но мы к тому
времени уже дошли до такой степени и меры, что это обстоятельство сде-
лалось общеочевидным. Прогрессивные исследователи по инерции про-
должали поиски в направлении, покинутом всеми нормальными людьми.

"Когда ж все это кончится!" — сказала однажды немолодая уже жен-
щина, выгуливавшая собачку поздним зимним вечером в годы застоя на
одном из московских пустырей. Скорее всего ее вздох непосредствен-
ным образом был связан с мучительными условиями выгула. Трудно
было не только "гулять" — трудно было даже сообразить, куда поставить
ногу, пробираясь среди огромных груд какого-то "строительного" мусо-
ра, циклопических нагромождений бетонных глыб, дико перекорежен-
ной арматуры и торчавших тут и там останков домашнего хлама. Всем
этим почти сплошь загромаждалось обширное пространство, отделенное
от внешнего мира высоким глухим забором с непрямыми, впрочем,
проломами-лазами по противоположным его сторонам, превращавшими
всякий такой пустырь в подобие нарочито, кажется, непроходимого про-

ходного двора. Пересечь это пространство, пробравшись от пролома к пролomu, можно было лишь с немалым риском и трудом. Но люди тянулись, ступая след в след по однажды разведанной тропе. В неукротимом и неизъяснимом упорстве они "срезали угол".

Вообще это наше давнее неумное и даже несколько загадочное влечение к "срезанию углов" можно было бы, наверное, как-то связать с внушавшейся нам и запечатлевшейся наконец на уровне массового подсознания идеей прямолинейности во всем. Похоже, однако, что дело тут обстоит проще и прозаичнее и что таким образом выразилась та вынужденная упрощенность всего нашего уклада и хода жизни, при которых человеку некогда и недосуг, да и не хочется, глядеть по сторонам, а зачастую даже и под ноги — только бы как-нибудь добраться. Коротче, к черту подробности!

"Когда ж это все кончится?" — вздохнула женщина. "Да вы что, не видите? Все уже кончилось", — без раздражения и без всякого вызова сказал ей здоровый мужик, пасший неподалеку некое мохнатое чудище.

По сути, тут не было спора. Не было и никакого, даже особенного разговора. Так, обычное: о тех же собаках, как их лечить, чем кормить, когда прививать, где выгуливать, опознавая издали друг друга по своим питомцам. Да и после этих, сказанных тогда, слов никакого разговора не случилось. Ни один не спросил: "Вы, собственно, о чем?" И по сторонам, как было бы естественно в подобном случае для почти всякого москвича той поры, не посмотрели.

Впрочем, и не на что, кажется, было смотреть: знакомый каждой — скрытой в темноте, зато хорошо известной ногам — колдобинной пустыр-свалка, мерзость и запустение. Именно: к черту подробности! Хотя все-таки кое-какая неформальная, как теперь бы сказали, жизнь тут происходила. В некотором отдалении угадывались в разных местах другие такие же "выгуливающие", дергалась прерывистая цепочка срезающих угол — вечером в одном направлении, утром поскачут в обратном. Дальше, у самого забора, никчемная лампочка, горевшая в любое время суток, мутно высвечивала приглушенно гомонивших вокруг тарного ящика, служившего низеньким столиком, и со сдержанным, чувствовалось, волнением звеневших. Слышалось матерное, но без всяких признаков скандала или даже перебранки, чуть ли не пасторально. Неподалеку от этих собиравшихся устроиться здесь всерьез и надолго виднелась еще одна группа, остававшаяся строго за пределами освещенного места. Тоже позвякивали стеклом, но в полном молчании, не обнаруживая себя голосом, чернели блины форменных фуражек. Эти зашли сюда на четверть часика или даже меньше — "принять", а потом — в разные стороны. Зачем-то такие недолгие встречи нужны были и не пропойцам, не прозябающим алкашам, а очень многим казенным людям — в темноте, не видя друг друга в глаза, без слов. Но что-то таким вот образом в них завязывалось или поддерживалось, укреплялось. Что-то такое, для чего не было места и за приятельским столом на кухне — этой нашей доморощенной лаборатории "нового мышления" и частной модели парламентской демократии в годы застоя. Не говоря уже о каком-нибудь там "кафе", где "и не поговоришь".

"Стол на кухне" требовал все-таки некоторой "заданности" и кое к чему обязывал. Если, понятно, не соскальзывал в пьянку, когда все равно. "Стол на кухне" предполагал известную меру личной привязанности

и потому не мог не страдать той избирательностью, которая санкционировалась предпочтениями хозяев дома и находила тем самым соответствие не в нормах парламентарской демократии, а в принципах своего рода демократического централизма. Иными словами, этот самый "стол на кухне" оставался в известном смысле явлением закрытым, сюда не было доступа всякому встречному и поперечному. И в тем большей мере, чем более демократичным представлялся его участникам обмен мнениями. Такой тут был недостаток. И еще вблизи этого стола существовал некий круг семьи, что также налагло и оказывало. Короче говоря, означенный стол не был огражден каким-либо забором ни от светных забот быта, ни от официальных взаимоотношений, интересов и страстей. Не так, так этак, но это место оказывалось втянутым в существовавшую систему санкционированных отношений.

Между тем выяснилось, что людям, находящимся и во вполне официальных отношениях, почему-то невозможно сколько-нибудь длительное время оставаться только в этих отношениях. Им почему-то требуется хотя бы спорадически выпадать из этих отношений. Хотя бы для одного того, чтобы эти отношения сохранить. Система принудительного ритуала официальных отношений предполагает возникновение сферы своего рода "теневых" связей между людьми, "задействованными" в означенной системе. Уже само понятие "официальные отношения" предполагает некий параллельно существующий мир отношений неофициального характера. Человек тут с неизбежностью раздваивается. И чем больше регламентируется таким образом "сверху" его жизнь, тем настойчивее, неумнее обнаруживается у людей потребность в непреднамеренном общении, которое не имеет и не ищет себе легализации. Тут действует некий "закон ножниц", тут начальство никогда "своего" не добьется. На всякий "сухой закон" сыщется соответствующий способ самогонварения.

Кстати, то, что потом, уже во времена "перестройки", называли "борьбой с пьянством и алкоголизмом", осуществлялось в нашей жизни и раньше, в те же "годы застоя", время от времени взбадриваемое соответствующими постановлениями, указаниями и "закрытыми письмами". Не случайно алкогольное хлебово называли у нас тогда "бормотухой" — бутылка спиртного оставалась едва ли не универсальным знаком и поводом для непринужденности взаимоотношений. Одна беда, что это был яд, отравы. Отравы такого рода непринужденности? Или принуждение к отраве?.. Запретили "приносить и распивать" в казенных местах, "посидеть" стало негде. Не дома же среди забот и беспокоящего душу неурюстройства! Остались подворотни и пустыри. Последние были предпочтительнее.

Подворотни были слишком уж уязвимы, подвержены возможности оскорбительных подозрений и грубому вмешательству со стороны. И потому чреватые унижением достоинства и последствиями. Затем — воздух! И окружающий пейзаж. Что там ни говори, а выпивка на нашем городском пустыре — своего рода "пикник на обочине". Тут люди попадают в какую-то особенную среду, их окружает абсурдный ландшафт. Это какое-то дикое место и вместе с тем некая "открытая зона" общения, огражденная от всяческого официального глухим забором. Здешние сталкеры собирают пустые бутылки и бродят в поисках счастливых и несбыточных неожиданностей среди гор хлама, бывшее предназначение которого уже невозможно угадать. Тут существуют люди-тени, люди-силуэты, готовые мгновенно раствориться во тьме, исчезнуть, пропасть или

вдруг обнаружить свое присутствие криком неожиданной боли и страха. Это, если как следует приглядеться, вовсе и не пустырь. Даже там, где по вечерам совершенно темно (а зимний вечер начинается чуть ли не с полудня), происходит какие-то частные события, в бесконечных лабиринтах свалки, вне пределов досягаемости для стороннего человека идет постоянно какая-то неудобная личная жизнь, обнаруживающаяся лишь случайно громким возгласом удивления, угрозы или досады. На таких пустырях существует своя местная слышимость — городской шум оттеснен, отодвинут, словно остался за забором вместе с прочей общественной жизнью.

Нет, это, конечно, не пустырь, не пустое место. Это, скорее, своего рода воронка, уходящая в изнанку окружающей жизни. Хотя давно уже никто не роет никаких, кажется, котлованов. А если и роют их в таких местах, то почти тут же и заваливают какими-то бетонными блоками, окрестным мусором и прочим хламом. И по весне тут опять лезет крапива, которую собачники выщипывают на витамины для своих любимцев. И вновь на месте несостоявшегося котлована выгуливают собак.

Такие пустыри — места особого значения. Тут совершалось незатейливое таинство нашей застойной жизни, и вместе с тем тут был расположен ее опытный полигон. Тут, как это и положено в подобной ситуации, за глухим и ничем не примечательным забором обретался своего рода край и предел, некая "черная дыра", а вместе с тем — очаг, зрачок и, если угодно, пупок всей "сюрматериалистической" сути той невыразимой "эпохи". Можно, наверное, даже сказать, что в подобных местах и вырабатывался этот самый "застой", его материальная субстанция — хлам, сор и мусор. И, осмелюсь утверждать, такого рода родинки и отнюдь не закрылись и ныне, они фонтанируют там и здесь.

Сюда, порой в самый центр "города комтруда", как именовалась Москва в пору "застоя", с окраин или вообще из каких-то отдаленных неведомых мест на огромных рычащих и чадящих самосвалах везут огромные строительные блоки, балки, панели и всякие прочие части каких-то грандиозных, но заведомо не предполагаемых сооружений. И сваливают их — еще горячими, в облаках белого пара в морозные дни — как бы с одной лишь той целью, чтобы оставить в неприкосновенности и проследить, что же из них получится, какие постигнут их изменения с течением времени. И они остаются здесь лежать до поры, пока превратятся (впрочем, с неизменно поражающей воображение быстротой) в хлам. Здесь продукты переработки первичного природного сырья обращаются как бы сами собой во вторичное сырье, минуя промежуточную фазу приложимости к нуждам человеческой жизни. Тут как бы естественным путем, без последующего вмешательства человека, но вместе с тем вполне запланированно происходит руйнирование продуктов его труда, вырабатывается тот самый строительный мусор, который и оказывается конечным результатом такого безотходного производства отходов. Тут результаты трудовой деятельности аннигилируются как бы сами собой, в силу стихийного действия естественных законов. Аннигилируется время, затраченное кем-то на изготовление всех этих блоков, панелей и балок, аннигилируются силы и надежды людей. Срезается некий угол жизни, некая жизненная "кривая". Тут работает своего рода перевалочный пункт — из небытия в небытие. И — скорее. Остальное — подробности. К черту! Подробности увезут позже

куда-то все те же рычащие и смердящие. Так, пульсируя, действует этот грязевой гейзер. Ритм его пульса может быть легко соотнесен с графиком деятельности какого-нибудь соответствующего ведомства или "трудового коллектива". Пик активности всегда приходится на конец года, потом — длительное затишье. И с той же самой цикличностью, вторя гейзеру, то убыстряясь и густея, то замедляясь и редеея, движется цепочка пешеходов, пересекающих пустырь. Иногда в "долине гейзеров" появляется, словно туристическая экскурсия, начальство. Тихо переговариваясь о своем, начальство смотрит перед собой, словно бы в чем-то лишний раз утверждаясь или что-то лишний раз постигая. Начальство нехлопотливо. Дело идет своим чередом, в привычном ритме спорадических конвульсий.

И вот только люди с собаками на поводках выпадают из этого общего ритма. Что бы там ни было вокруг, в любое время года, но в одно и то же время суток, в любом состоянии души и тела они появляются здесь, подчиняясь совершенно иному расписанию, в режиме, определяемом необходимостью удовлетворения естественных потребностей своих четвероногих друзей. Вообще, что бы, кажется, ни произошло на свете, эти люди с собаками придут сюда в урочный час и станут бродить среди свежизготовленных руин н о в о й ц и в и л и з а ц и и (пропагандистский термин времен застоя) .. И псы в урочный час один за другим подымут заднюю ногу на все вокруг, салютуя означенной цивилизации. А их хозяева в тот же момент замрут подле в как бы непринужденной неподвижности, словно отдавая должное безыскусственно ерническому ритуалу и вместе с тем несколько-таки стесняясь своего участия в нем, пусть и пассивного, но почему-то всегда отчасти и неуместного.

Впрочем, в подобного рода заповедниках абсурда неуместно едва ли не все, что здесь происходит и находится. И вместе с тем именно тут — истинное место всему, чему здесь не место. Тут — среди мерзости и запустения — люди оказываются способными почувствовать себя "в непринужденной обстановке". Тут, "на воле", они выпивают, закусывают и "обмениваются мнениями", тут порой слышен негромкий мат, но не услышишь никаких звемизмов официальной "фени". Тут слушают музыку, приложившись ухом к транзистору, и иногда поют под гитару нечто, исполненное романтики трагического стоицизма. "Пускай грядут, — к примеру, — большие перемены, я это все равно не полюблю". Никто не протестует. С наступлением первого тепла парни студенческого вида укромно читают здесь за каким-нибудь железобетонным параллелепипедом. Тут часты бесприютные парочки. Нет, это все-таки не гайд-парки времен застоя — слишком здесь малоллюдно и глухо, слишком все здесь замусорено. Это ч е р н ы й х о д города.

И вот именно здесь — место для человека с собакой, "место выгула", если воспользоваться официальной терминологией. Хотя никакому такому "выгулу" здесь, конечно, не место. Да и вообще "мест выгулов" в городе почти нет.

Короче, здесь место для наших с вами "братьев меньших", для "друзей человека". И как раз тут обнаруживается во всей самоочевидности вся неуместная сентиментальность подобного рода метафор, вся их сомнительность, поскольку они входят в основной понятийный состав того самого нашего "абстрактного гуманизма", который и сам чуть не цели-

ком обретается в таких же зонах социально-психологической экстерриториальности. Отсюда отступать уже некуда: со всех сторон в подобного рода местах позади — Москва.

Порой замусоренные пустыри образуют целые кварталы. Дома тут состоят из одних фасадов, держащихся скрытыми с их тыльной части подпорками или чудом. Окна оказываются не у домов, а у улицы. Сквозь них со стороны улицы видно небо и косо падает снег на проезжую часть. Низкое зимнее солнце дико заглядывает из пустотелых домов, что, впрочем, вполне соответствует всей общей картине "жизни наоборот". Во всем чувствуется некое единство стиля. Но вот маскировка таких сквозных окон откровенно просвечивающими кумачами или какими-то аляповатыми эмблемами выглядит почему-то очень грубо и нарочито фальшиво. Тут уже какой-то "перебор", безвкусице несурзано усердия.

Фасады-призраки регулярно ремонтировались. По каким-то соображениям это делалось зимами, в самые холода. На миражных стенах опасно зависали люди в "люльках", штукатурили и соскребали, шпаклевали, подмазывали и подкрашивали. Словно делали настоящее дело и дома были настоящими. С первой же оттепелью все, естественно, отваливалось. Фасады вновь обретали печальную живописность натуральных культурно-исторических раритетов. Ноги у прохожих были в известке, смешанной со снегом, солью и еще какой-то едкой штукатуркой.

Впрочем, и сами заборы, скрывавшие пустыри-свалки, обильно "украшали" к праздничным дням соответствующими случаю призывами и прочими произведениями наглядной агитации, подновляли свежей краской, а поверху пускали гирлянды лампочек. Дыры и проемы в заборах заделывали щитами с изображениями "вождя". В основном, естественно, помнится Брежнев с монументалистски стилизованной обрюзглостью.

В такие дни по улицам шли негустые колонны "представителей трудящихся", бодрячествовали и распоряжались громкоговорители. Слышалось шарканье ног, характерный гомон множества людей, но в ту пору в колоннах уже не пели.

За заборами на пустырях весь этот гомон и иные звуки улицы были слышны как бы издалека, основной шум, как всегда, оставался с внешней стороны фасадов вместе с прочей общественной жизнью. Здесь же, внутри пустыря, все было как всегда, только еще малолюднее, пожалуй. Словно этот колизей ждал какого-то своего праздничного часа.

И вот, действительно, в поздние праздничные предзимние вечера "место выгула", странно наряжаясь, обретает достаточно фантастический, надо сказать, вид "праздника наоборот". Декорации те же, но с изнанки. Вся крепежная сторона лозунгов, транспарантов и портретов теперь обнаружена и глядит на пустырь черной решеткой. А сквозь решетку глядят основоположники и вожди, расположенные в обратном, понятно, порядке. Первые стали последними. И все они словно перечеркнуты крестовинами крепежных устройств, что выглядит достаточно двусмысленно. Конечно, значение этой двусмысленности целиком зависит от того, с какой стороны крепежной решетки видишь самого себя. Таков, как известно, "эффект решетки" вообще. Это понятно. Но, во всяком случае, со стороны пустыря, если его и принять

за точку отсчета, за решеткой — они. И кажется, что им странно видеть оттуда происходящее на пустыре.

Зрелище действительно может показаться невероятным всякому не подготовленному к нашим обыкновенным чудесам взгляду. Не вдруг сообразишь, пожалуй, что же тут, собственно, перед тобой разыгрывается, из какой, как говорится, это жизни, из какой такой цивилизации.

Вся площадь пустыря, кажущегося в такую пору чуть ли не бескрайним, абстракционистски, словно назло официальным идеологическим установлениям, рассечена на квадраты, эллипсы, ромбы и иные геометрические плоскости лучами света, бьющего косыми трассами с улицы сквозь многочисленные и многообразные окна и дыры окружающих пустырь стен и заборов. Мерцает вдалеке оцепление иллюминации. Странно выглядят с изнанки четко светящиеся слова привычных лозунгов и примелькавших призывов в их неприкрытой, даже нарочито, кажется, обнаженной теперь абракадабре. Бетонные столбы стоят на краю провалов своих теней. Шпили высоток, подсвеченные по торжественному случаю, висят в отчужденной неприступности и уходят в облака, горящие, как перед грозой. Псы носятся бешеной каруселью по всему пространству пустыря, зверски лая, воя и визжа от восторга взаимного общения. Люди — хозяева псов — стоят среди этого шаша, сбившись в кружок и ни во что не вмешиваясь. Невозможно вмешаться, да и незачем — кругом только беснующиеся собаки. Редкий прохожий рискнет в такое время забрести на пустырь, разве что по крайней нужде. Хозяева молча сносят бесчинства своих питомцев, учитывая нештатность ситуации, ждут, пока те перебесятся и устанут, чтобы потом пойти и сесть наконец за праздничные столы в беспечном состоянии духа и ни о чем не помнить до утреннего выгула.

Вдруг все озаряется слепящими от неожиданности огнями праздничного салюта. Сверху слышатся частые хлопки, словно открывается множество зонтиков. Мальчишки где-то враз орут "ура". Собаки, сломя голову и поджав хвосты, одурело несутся со всех сторон к центру пустыря, к хозяевам. Тени в один миг исчезают, и сразу пропадает вообще вся фантазмагоричность окружающего пейзажа. При свете салюта знакомая свалка обнаруживается во всех своих фотографически четких подробностях. Потом снова наступает полутьма, и вся фантазмагория тут же возвращается. Потом — опять взрыв огней, хлопки вверху, ребячье "ура", и собаки опять несутся к хозяевам, вереща от ужаса, но отчасти уже и играя в свой дружный испуг. Хозяева взглядывают вверх, в небо, которое взлетает вместе с огнями салюта. Разные, наверно, чувства и мысли возникают при этом у разных людей. Иные еще помнят салюты военной поры. Большинство же взглядывает на небо с тем же, видимо, чувством, с которым поглядывают на портреты вождей-продолжателей. Отвлеченно. Но с прочно устоявшимся ощущением.

"Маркса на них нет", — сказал в такую минуту один из собачников. И все поняли. Помолчали. Собаки носились кругами по ромбам и эллипсам. Вожди смотрели из-за своих крестовин. "Все одно", — сказал дружок собачник. Не было интонации спора. А спор был...

Трудно действительно расценить, что же именно, какого рода действие творится на пустыре в тот час, когда его черная дыра оборачивается какой-то волшебной чашей, что на самом деле происходит на "месте выгула" тогда. Понятно, что с собственно материальной точки зрения

все тут остается, как было. Но не об этом сейчас речь.

Тут приходит на ум один из тех "проклятых и вечных" вопросов всей нашей жизни, который, впрочем, если рассудить, давно уже поставлен в классически метафорической форме, да только вот что-то не может найти себе у нас соответствующего понятийного выражения. На многие "проклятые вечные" нам был, известно, дан в свое время "окончательный ответ". Теперь дается противоположный. Но все равно вновь с э т и м и в е ч н ы м и как бы все более или менее ясно. А вот тот, который приходит в означенный час в ум на пустыре, все ускользает. Труден, видимо, с чисто даже логической точки зрения. Ибо возникает он в ситуации, когда и впрямь делается все как-то смутно и невозможно разобраться: "домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?"

В свое время Щедрин заметил, что "эпохи триумфа" у нас чередуются с "эпохами конфуза". С этой точки зрения феномен звездного часа свалки на пустыре — этой своего рода Выставки Достижений Народного Хозяйства Эпохи Застоя — следует понимать как триумф конфуза и одновременно как конфуз триумфа. Такая тут обнаруживается "амбивалентность", если вспомнить старый термин, так полубившийся нам и получивший у нас свое второе рождение как раз в конце и апогее застойных времен, что, возможно, свидетельствовало о предощущении выворачивания изнанкой всей исторической ситуации, в качестве главной добродетели которой предъявлялась именно ее устойчивость.

Кстати, упомянутая выше амбивалентность может быть, вполне вероятно, обнаружена в основе той языковой химеры, в которой эвфемизмы завершаются матерным образом, а матерщина облачается в эвфемистические формы выражения.

Но это лишь кстати и к слову.

Люди с собаками уже уходят с пустыря. И совершенно неизвестно, что на нем дальше происходит. Не исключено, что тут еще случатся некие мелкие недостойные сюжеты. Тогда классики и вожди-продолжатели увидят, что и у перевернутого мира есть своя изнанка, своя теневая сторона. Тут, понятно, вновь возникнет мотив решетки. Но этот мотив тогда уже лишится принципиального смысла и окажется чисто орнаментальным. Впрочем, тут уже кончится и сам праздник, а все декорации с портретами, лозунгами и призывами увезут куда-то все те же рычащие и смердящие.

В одном из рассказов Фазиля Искандера сказано, помнится, о том, как бродят в городе, все время почему-то оглядываясь по сторонам, люди с собаками на поводках. Действительно, внешне, со стороны и вчуже, поведение и манеры этих людей представляются странными, даже несколько загадочными. Они явно напряжены, словно ждут какой-то неприятной неожиданности и заранее готовы к худшему обороту дела. Короче, они боятся. И чем больше и свирепее на вид у них псы, тем, как правило, явственнее их напряжение и страх. Еще одна мальнькая загадка Большой Русской Души или еще одно из проявлений бесконечно единообразного своеобразия нашего Образа Жизни?

Последнее все-таки ближе к истине. Хотя и несколько парадоксальным образом.

Дело в том, что на самом деле владельцы городских собак в своей массе люди почти совершенно бесстрашные. Они без всяких, к примеру,

колебаний идут в такие городские дебри, в такие гибельные городские места, где не только не слышно шума городского, но и вообще теряются признаки всякой земной цивилизации, где простирается царство отходов жизни и своего рода вторичной первобытности. Там не сыщешь никакой милиции и никаких властей. Они даже стремятся при первой возможности, если позволяет время, уйти подальше от той самой границы городской цивилизации, вдоль которой по первой же травке появляются на манёр неких заявочных пограничных столбиков колышки с табличками: "Выгул собак воспрещен".

Тревожно озираясь, бродят здесь те из собачников, которые по каким-то своим причинам нарушают это табу, проявляя тем бесстрашие, быть может, большее, нежели требуется "выгуливающим" во мраке диких пустырей и хаоса как бы разбомбленных кварталов с их марсианскими пейзажами. Нарушающие табу собачники невротичны потому, что боятся грубых репрессий со стороны всякого начальства и "общественности", да и вообще всех прочих простых советских людей, всегда готовых облаять и их собак, и их самих последними словами, швырнуть камнем, пустой бутылкой или иным увечающим предметом, а то и ошпарить кипятком с балкона. Они боятся за своих питомцев.

Но дело не только в этом.

Собаки детонируют то врожденное чувство страха, которое живет в каждом советском человеке, даже в тех, которые утверждают, характерно напрягаясь лицом, что "не боятся". Собаки в деляют своих владельцев из общей однородной массы, делают их индивидуальными знаменами и тем самым уязвимыми для всякого рода надзирающих глаз, "попадаться" на которые вообще никогда не стоит. Если, конечно, ты не относишься к числу тех активистов, занятие которых, собственно, и состоит в том прежде всего, чтобы постоянно "лезть на глаза" и "быть перед глазами" начальства, обозначая тем самым свою готовность "принести пользу ближнему".

Но активисты — это активисты, а "все остальные" если и не знают еще по непосредственно личному опыту, то с молоком матери, вскормленной в свою очередь таким же именно молоком, усвоили: начальство опасно! От начальства — жди. Пусть и среди начальства есть люди, но главная опасность в жизни — от начальства. Я даже не говорю, до какой степени это верно, а до какой — это всего лишь обывательский, так сказать, предрассудок и, как говорили у нас раньше, пережиток. Но всякий нормальный человек в присутствии начальства или даже в предвидении его возможного приближения испытывает чувство некоего внутреннего дискомфорта и начинает инстинктивно нервничать.

Сейчас много пишут об "инерции страха". Конечно, есть это в нас. Можно было бы даже написать, к примеру, нечто увлекательное и очень "читабельное" о социально-психологическом механизме страха. Есть уже и художественно-исповедальные произведения на эту тему — тему предлагерного и постлагерного состояния души. Можно было бы написать целую "историю Страх", проследить эволюцию поведения отдельного человека и целых масс ужаснувшихся людей. Можно было бы попытаться разработать теоретические аспекты того особенного "состояния страха", в котором, как обнаружилось, можно многими десятками лет держать многие миллионы.

Но при всех вариантах подхода к означенной теме не следует все-

таки упускать одной важной детали. Речь идет не о каком-то чуть не извечном "страхе Божием", даже не об эсхатологических прозрениях и предвкусениях, а о том именно трепетном состоянии души, при котором она вполне ощутимо чувствует, как легко и исторически закономерно ее могут в любой момент вытряхнуть из брэнного тела. Короче говоря, начальства боятся по той обыкновенной причине, что оно стреляет, может убить. Остальное производно в этом случае от этой его особенности. Вот в чем соль.

Даже когда выпадают особые исторические моменты некоего "полегчания", когда несколько как бы "отпускает" и происходит "смягчение", все равно известно, что вполне может быть и по-иному и ничего такого "необратимого" тут в принципе нет. Потому от начальства лучше на всякий случай держаться подальше. Ибо оно всегда может "отрыгнуть". И даже какой-нибудь начальник-обаяшка, начальник-душка не в силах поколебать мнение, которое Россия выстрадала на протяжении всей своей истории: "минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь!" Это максима российской жизни и завет.

Люди привыкли знать, что от начальства исходит угроза жизни. Угроза насилия. А всякое насилие ищет в конечном счете своего завершения в убийстве. Даже когда насилие исстачается не начальством, а одной какой-нибудь частью самих граждан по отношению к какой-либо другой его части, люди склонны винить тут во всем то же начальство или гадать, каким именно образом начальство все это подстроило. Эта привычка воистину свыше нам дана.

И сколько сейчас ни произноси такие, скажем, слова, как "плюрализм", "парламентаризм", "демократия", "правопорядок" и т. д., где-то на уровне политического подсознания во всех нас чуть ли не с детства запечатлено — все это ф о р м а или даже проформа, а содержание остается одно — власть силы, насилие. Иные из нас даже помнят, конечно, что все это они когда-то читали в систематическом и последовательном изложении. Некоторые даже сразу и прямо назовут в этом случае известную работу Ленина "Государство и революция", послужившую, как известно, своего рода прямым теоретическим обоснованием первоначального проекта построения социализма в нашей стране.

Действительно, ведь в этой своей программной работе Ленин прямо писал, что сокровенная суть в с я к о й демократии заключена в организации системы насилия одной части населения над другой. Это прямо говорится им в IV главе упомянутого труда. И именно это положение вменялось нам, как помним, чуть не со школьной скамьи в качестве безотносительно истинного и "установочного" и служило в качестве подсказки относительно того, что всякая демократия есть, по сути, лишь некая условная форма диктатуры и что насилию вообще "свойственно" принимать вид согласия, принуждению — убеждения, убийству — жизнеутверждения, человеконенавистничеству — гуманизма. И нет, мол, тут никакого даже особенного лицемерия, а такова сама природа вещей. Так должна была возникнуть "ужасная догадка", что вообще, согласно подлинно научному и единственно верному взгляду, соотношение между диктатурой и демократией суть соотношение между содержанием и формой — той формой, которую можно "принять" или "отвергнуть", судя по обстоятельствам и "требованиям момента". Так должно было развиться пренебрежительно-презрительное отношение к "гнилому демократизму"

и “законное чувство гордости” при мысли о диктатуре. Что уж там говорить о “демократии буржуазной”! Согласно подобному взгляду на вещи, это свобода для рабовладельцев, как говорит там же Ленин, демократия для богатых. Это вообще ложное понятие, поскольку речь идет о демократии для ничтожного меньшинства. И лишь “диктатура пролетариата” способна впервые в истории дать демократию истинную, предусматривающую прямое подавление меньшинства, что, впрочем, будет, как сообщает Ленин в той же своей работе, делом достаточно простым, легким и естественным и обойдется человечеству гораздо дешевле, чем подавление восстаний рабов или наемных рабочих.

В демократии, которая утвердится в результате торжества диктатуры пролетариата, в с е, как подчеркивает Ленин, граждане станут служащими и рабочими о д н о г о, как опять-таки тут подчеркивается автором, — всенародного, государственного “синдиката”. И надо, чтобы все они работали поровну и получали поровну. Все общество, как можно прочесть в означенной работе далее, станет одной конторой и одной фабрикой. Тогда и возникнет истинная демократия, ибо истинная демократия, как полагал в ту пору Ленин, означает равенство.

Очень узнаваемо, не правда ли?

Как известно, потом Ленин, обосновывая нэп, начал довольно круто переходить к иной системе взглядов на все эти вопросы и писал в “Детской болезни “левизны” в коммунизме” и последующих своих работах нечто совершенно иное по тем же поводам. Он достаточно решительно отверг свой первоначальный проект насильственного внедрения “светлого завтра” и предложил иной проект. Тем не менее можно сказать, что страх был запрограммирован в изначальных “установках” относительно путей и методов построения нового общества, ибо генеральной идеей первоначального проекта была идея насильственного утверждения в массах массового счастья и справедливости, а сам автор проекта характеризовал в ту пору себя как п а н е г и р и с т а н а с и л и я, ссылаясь при этом на авторитет Маркса. Потом, повторяю, начиная с уже упомянутой тут “Детской болезни...”, пришла мысль о значении к о м п р о м и с с а, с о г л а ш е н и я между различными слоями общества, классами, народами и государствами. Но это было потом, когда стало совершенно ясно, что насилие далеко не всесильно, когда обнаружилось бессилие насилия и большевики закачались, готовые пасть на фоне разоренной, обовшившей и озлобленной страны, начавшей подниматься на них в небывалом бунте. Тогда-то и возник “второй проект”, но он ведь так и остался в основных своих чертах проектом. А вот первоначальный, исходный, пришелся в самый, можно сказать, раз уже не Ленину, а Сталину, который его развил, дополнил и добился поистине потрясающих человечество результатов.

Такое тут случилось “отрицание отрицания”.

И тогда мы снова вернулись к тому, с чем Ленин подходил к Октябрю и от чего он вскоре после Октября стал отходить. Ибо признание и утверждение социальной многоукладности, присущей, согласно Ленину, нэпу, и есть, конечно, признание и утверждение фундаментальной основы демократии вообще — демократии с любыми прилагательными. Проект же, предлагавшийся автором “Государства и революции”, всякую мысль о многоукладности в этом ее приложении вполне отвергал, вменяя обществу в правило и достоинство ту самую “уравниловку” —

принудительную и общеобязательную, которая, как полагал тогда Ленин, и продлится до поры, пока люди не привыкнут к этому без насилия и без подчинения. Ну, а пока этого не случится, придется строить социализм с теми людьми, которые без “надсмотрщиков и бухгалтеров”, осуществляющих знаменитый “учет и контроль”, не обойдутся и работать не станут. Унификация всех форм собственности путем передачи всех этих форм обществу и явится, согласно Ленину той поры, условием подрыва всякой многоукладности и создания демократического централизма, который станет подлинным стержнем всего общественного устройства, — централизма демократического, то есть добровольного, но жестко контролируемого сверху. Отсюда, как полагал Ленин, и вытекает и одновременно с этим согласуется требование Маркса относительно того, что коммуна должна быть не парламентской, а в одно и то же время и законодательствующей и исполняющей законы корпорацией. Нераздельность, слитность законодательной и исполнительной властей снимает, естественно, всякий вопрос об уместности какого-либо парламентаризма. И такая централизованная власть, централизованная сила понадобится отнюдь, по Ленину, не только для подавления эксплуататоров, но и для руководства, как подчеркивал автор “Государства и революции”, громадной массой населения в деле “налаживания” социалистического хозяйствования.

Вот эти-то принципы и “предначертания” и легли в основу того оккупационного режима, который был введен в стране в форме “военного коммунизма”, с его претензией то ли на мировую “революционную войну”, то ли на “мировую революцию”. За период, промелькнувший между Брестским миром и Кронштадтским восстанием, дело в этом направлении продвинулось столь стремительно, что “военный коммунизм” отменяли столь же решительно и вдруг, как его вводили, — в одночасье и под угрозой самых суровых санкций. Потом был отменен и нэп. Последняя перемена трактовалась, понятное дело, как “возврат к ленинским принципам”. В известном смысле такая трактовка была, как видим, справедлива, соответствуя отказу от нэпа как от “извращения” этих самых принципов и отхода от них. Все так. Если, конечно, отвлечься от того обстоятельства, что сам Ленин успел-таки начать отходить от проекта насильственного внедрения социализма.

А вообще-то “верность принципам” — всегда метафора и часто — эвфемизм. “Верность ленинским принципам”... Каким же именно? Да и что в этом случае значит “верность”? Возврат к ним? Просто возврат? А возможно ли такое на свете, бывает ли? Не “просто”? Тогда давайте посмотрим, о чем же, собственно, у нас тут на самом деле идет речь. Ибо о “верности”, “неизменности” и т. п. вещах у нас случается слышать по самым разным поводам — и когда нечто начинается в нашей жизни или готовится измениться, и когда ровным счетом ничего не собираются менять и вообще, стало быть, не о чем тут больше говорить...

По совести, “Государство и революция” — сочинение, которое вполне могло бы стать любимой настольной книгой Сталина, если бы он и впрямь, как полагают иные авторы, “шел от учения”. Но слишком все-таки велика разница между самым заливчатским заблуждением, пусть даже и самым опасным, между покушением на истину и преданно преступной ложью.

Сюжет, связанный с судьбой двух упомянутых выше ленинских проектов построения нового общества и осуществления социалистической идеи в "отдельно взятой", как теперь шутят, стране, вполне можно было бы и развернуть, продолжить. Но подобный ход дальнейших рассуждений явно не уместился бы в пределах описания выгула собак во времена застоя, сколь широко эту тему ни толкуй. Что же касается причины того, что люди с собаками в городе, как заметил Фазиль Искандер, выглядят столь испуганными, то мы полагаем ее достаточно выясненной в контексте наиболее существенных социально-исторических подробностей.

Нет! Конечно, нет! Далеко не все в пору застоя и в предшествующие тому времена удалось полностью "охватить" нашему началству. Был и тогда, несомненно, и искренний энтузиазм молодости, были и чистые искания теоретической мысли. Было искусство, хотя ему было плохо. Было и глухое сопоставление всего отчаяния нашей жизни с опытом Запада. Да и вообще очень многие очень многое понимали. Только сказать не могли. Как собаки. Для человека в отличие от собаки это дело противоестественное. И, оказывается, мука. "Мысль изреченная есть ложь"? Быть может. Но, наверное, это относится к "мукам слова", а не мукам мысли. Потому что мысль неизреченная — именно мука. Потому что таким способом мысль пресекается. Она не может сообщиться, она томится и глохнет под спудом. И человеку тогда оказывается лучше с собакой, которой тоже не дано сказать, чем с человеком, которому дано, но нельзя. С собакой в этом случае могут установиться даже более естественные и органичные отношения, нежели с существом одного с нами рода-племени. Собака "внушает доверие". А человек, наделенный такой же способностью внушения, может вполне показаться достаточно подозрительной личностью. Зачем, в самом деле, это ему понадобилось — "внушать" доверие к себе? С собакой у человека устанавливаются те не вербальные, как было модно одно время выражаться, отношения, которые и являются в этом случае единственно естественными. Тем самым собака способствует развитию в нас тех навыков и культуры в ну тренне го д а л о г а, в процессе отработки которых она играет роль не только незаменимого спарринг-партнера, но в известном смысле и "играющего тренера." Человеку с собакой внутренне как-то легче: он может разделить с ней свое молчание самым что ни на есть естественным образом и со спокойной душой.

Не потому ли, кстати, на пустырях и свалках, за чертой нашей цивилизации со всеми ее прелестями, человек с собакой спокоен и чаще всего "хороший парень", тогда как в пределах цивилизованного мира он неврастеник? Здесь, за чертой, он может быть спокоен, он здесь "свой среди своих". Он тут "на месте". И потому несуетлив и неискателен. Он здесь не станет лепетать по всякому поводу и без повода какие-то ничемные и жалостные слова оправдания. Тут иная жизнь и другие речи. Тут его как бы выпрямило, хотя и самое пылкое воображение не сможет, думаю, преобразить пустырь и свалку в подобие некоего миражного острова Милос. Зато тут для каждого свой Уолден и каждый в меру своих способностей сам себе Торо:

Переступая след за собакой границу цивилизованного мира, человек незаметно и для самого себя может переступить нечто в своем собственном мировосприятии. Тут его сознание деконструктивизируется и тем внутренне раскрепощается, ибо известно ведь, что такое

наш коллективизм и наша сплошная коллективизация. Здесь всякий сам по себе. Тут зона суверенности личностного мировосприятия, тут начинается некая р о б и н з о н а д а мышления, ибо здесь человек вынужден не "разделять мысли", а мыслить на свой салтык. Тут сознание не подконтрольно обществу. Место выгула собак — место преткновения санкционированных суждений. И место рождения несанкционированной мысли. "Внутренний голос" здесь не "глас вопиющего в пустыне" — феномен немого хора внутренних голосов на пустырях имел значение обеззвученной до поры, но действующей модели некоего форума "мнений про себя". Хотя стороннему уху казалось, конечно, что здесь лишь собаки лают, а ветер носит.

Потом внезапно открылся звук, словно включили микрофоны на трибунах.

Слов нет, разговоры за кухонным столом подготовили в годы застоя немало имен и репутаций впрок и для лучших времен. Кстати сказать, былых кумиров кухонь, дождавшихся наконец широкой аудитории, можно теперь сразу узнать по тому приставшему к ним духу апробированной безапелляционности суждений, мимики и жестов, которая дается только долгим тренингом и хорошо отработана их маленькой, но неизменно восхищенной аудиторией.

Порой даже кажется, что специфический дух свободы кухонного застолья проник ныне во все слои атмосферы и придает ей столь узнаваемый колер и аромат.

Ныне явление "болтовни под бутылку" и "дружеского трепа" на кухне в годы застоя сделалось уже предметом специальных исследований и печатных выступлений, посвященных выяснению истоков и форм бытования нашего широкого диссидентства. Было замечено, что так формировался тот "конформизм наоборот", конформизм от противоположного, который побуждал действовать в прогрессивном духе не в силу одного личного убеждения или веления "внутреннего голоса", а из того принципа, что "неудобно отказаться" и "что обо мне подумают" и "будут потом говорить" те, из кого теперь и составлялись на новом витке нашей истории все те же "Тимур и его команда"¹.

"Конформизм наоборот" представляется напрашивающейся альтернативой принудительному конформизму времен застоя и, может быть, многим хорош. Плох он всегда тем, что оставляет в силе принцип с а н к ц и о н и р о в а н н о с т и суждения и поведения. Он даже укрепляет его, придавая внешней санкции вид неформального императива и облекая внутреннюю зависимость от "мнения" в форму личного выбора. Не потому ли, к слову, для многих из тех, кто усердно посещал школы и университеты свободомыслия на кухнях и успешно сдал все положенные экзамены строгим Тимурам приятельского застолья, потребность в санкции не только не отпала, но и обратилась в жажду суперсанкции на уровне апелляции к Богу? Последнему, впрочем, в этом случае оставалось заместить все того же предводителя пионеров-отличников, дергающего, если помните, за какие-то веревочки с колокольчиками, чтобы "по звонку сверху" его команда выполняла всякие артикулы и свершала высоконравственные поступки. Трудно, как видно, остаться и почувствовать себя вовсе без веревочки, ни за что не держась, после того как

¹ См. *Даугава*, 1990, № 1, с. 94.

расстанешься с путеводной нитью "единственно научной" теории и руководящей "линией"...

А вообще-то говорят, что "линию" некогда отыскала собака, что именно "собака вывела человека в люди". Он шел за ней. В известном смысле можно сказать, что этот процесс не закончен. Собака — отличный поводырь. Не только если ты слеп, но и когда просто надо отыскивать дорогу, выход откуда-то и к чему-то. Нам теперь, к примеру, надо вновь "выходить в люди". Собака знает дорогу не по теории, а по инстинкту. Но у каждого своя, если можно так выразиться, собака. Ведь "выйти в люди" невозможно, оставаясь в толпе — в той ее власти, которая всегда в нее "внесена извне" и "сверху". И потому, возможно, собаки ведут людей на некие пустыри, где всяк уже по-своему с ума сходит или собирается с мыслями.

Нет, речь тут идет совсем не о той внутренней "эмиграции на пустыре", в которой иные пребывали во все годы застоя, успевая лишь "сбегать на службу", чтобы не прервался "трудовой стаж".

По поводу подобной позиции в годы застоя не могу и теперь сказать ничего, кроме того, что уже сказал раньше, далеко не ко всеобщему, как то и не замедлило подтвердиться, удовлетворению. Молчание в тряпочку — даже и не труд, когда "нельзя", а самые громкие слова — даже и не дерзость, когда "можно".

Что же касается в е р ы, то это, конечно, суверенное дело каждой отдельной души. Верь, если не грех так выразиться, себе на здоровье. "Блажен, кто верует", — сказал Грибоедов. И добавил: "тепло тому на свете", — имея в виду, следует думать, душевный комфорт. Ибо, действительно, трудно ведь предположить, что истинно верующего может волновать, к примеру, тот "вопрос всех вопросов", от всяких волнений по поводу которого нас столь успешно освобождала и "вера в марксизм-коммунизм", — самый вечный из всех вечных, проклятый из проклятых: что е с т ь и с т и н а? Этот вопрос всякому приходит время задать самому себе — никому иному его не задашь без риска тут же и получить исчерпывающий ответ. Ибо слишком мы воспитаны в духе того в о и с т в у щ е г о м е с с и а н с т в а, которое живет в нас уже не одно поколение — под знаком ли "антирелигии" официального атеизма, под знаменем ли агрессивно-гребейской нетерпимости нечаевцев, столь поспешно подхваченным героями Октября, или под каким-либо иным "символом веры", которому спешим теперь преклониться в страхе и раздражении от удручающих обстоятельств нашего бытия. Вновь и вновь "кто не с нами, тот против нас"? Или мы вообще теперь стали так устроены, что сами собой непременно должны сбиваться в "команды", устремляющиеся под начало какого-нибудь "Тимура"? Или, может быть, это прообраз особого рода многопартийности сплошь с партиями одного типа? Или просто мы уже и не можем теперь жить иначе, как в беспрестанном самозабвении и безоглядности, а не по одной лишь вполне самостоятельной причине, что рождены жить по-людски — без нашего знаменитого на весь мир с а м о п о ж е р т в о в а н и я в о и м я и п о д в о д и т е л ь с т в о м?..

Оставшимся шестидесятниками после 60-х довелось жить и стараться работать "на краю молчания", как удачно выразился по этому поводу один из них недавно. Это оказалось занятием достаточно неблагодарным с точки зрения всякого видимого успеха. Были и немалые потери, мож-

но было и самому тут потеряться. Обретения, дававшиеся непомерной растратой сил, исчислялись крохами предположительных отзвуков гадательной аудитории. Было и острое, хотя и глухое неприятие тех, кто шел раньше рядом, но не стал продолжать в том же направлении и духе, заплыв, впрочем, взамен обжигающий комплекс разного рода компенсаторных, скажем так, чувств и страстей.

И все-таки "наши шестидесятые" отозвались в теперешних девяностых. Все-таки прозвучали те "перекрестные рифмы истории", которые так ценил и умел слышать Герцен и без которых у истории нет ритма и лада. Иное дело, что, когда вдруг отомкнулись затворы и ворота словно сами собой стали открываться, первыми, "срезая угол", кинулись вперед с криком победы не обязательно именно те, кто давно уже с привычным усердием расшатывал глухой забор и напирал на запертые ворота без особых надежд на свой успех и кто не вдруг теперь даже сумел взять в толк, что же произошло. Ибо не ждал ничего хорошего с той стороны и не спешил, опасался верить приглашению "войти".

Обманный опыт хрущевской "оттепели" имел, помимо прочего, значение достаточно сильно действующей предупредительной прививки против доверия к феномену разрешенной свободы и санкционированного вольнолюбия. Мы тогда получили очень хороший повод навсегда усвоить некую истину, которую в ином случае могли бы в ряду иных марксистских прописей и запомнить. К свободе относится не только сам по себе факт осуществления свободы, но и то, что это делается свободно. Поэтому важно не только чем живешь, но и как живешь. В противном случае, как помним, архитектор бы отличался от бобра лишь тем, что бобр — это архитектор, покрытый шкурой, а архитектор — это бобр, не имеющий шкуры. Теперь нам, впрочем, хорошо известно еще и некое "третье состояние" — состояние того самого бобра, шкуру которого носит некий "архитектор" или даже несколько "архитекторов", поделивших ее между собой.

Так или иначе, но именно в 60-х возник или сильно обновился некий социально-психологический иммунитет против всякого рода добрых ползновений начальства. Вновь подпасть теперь под их чары представлялось столь же нелепым, несуразным, даже отчасти жалким и смешным, как, скажем, заболеть свинкой в том возрасте, когда пристало уже опасаться инфаркта. Это было бы каким-то инфантильным недугом. Словом, предрасположенность "шестидесятников в девяностых" к известной оппозиционности — в достаточной мере следствие прививки, перенесенной ими еще в юности: доверием к доброхотному прогрессу сверху они уже переболели, если оно у кого было...

Но пробил-таки час, который одни торопили, положив на то большую и лучшую часть своей жизни, другие ждали, и многие теперь спешили поймать.

В подобном "разделении труда" нет, впрочем, ничего предосудительного, нет ничего необычного или нового. В истории сплошь так: сеешь то, чего не нам жать, пожинаем то, что не нами сеяно. Да и впереди на всех хватит еще самых разных "ворот", не открыв которые далеко не уйдешь. Даже простые двери в мир необходимого достатка еще придется кому-нибудь открывать и искать к ним ключи не в кармане ближнего.

Я отнюдь не склонен представить место выгула собак в годы застоя своего рода образом-символом некоего заповедника для внутренней

эмиграции душ. Но о том, где же проходила граница ойкумены нашего внутреннего мира, нашего суверенного "я", в этой связи можно, пожалуй, поразмышлять. Ведь нужна же каждому человеку хоть какая-то ниша для помещения индивидуальной урны с теми останками его "интеллектуальной собственности", которые можно было бы завещать до востребования в утешительной надежде, что хотя бы и в отдаленные времена объявится, быть может, некая родственная душа, которая захочет вступить в права наследования на законных уже тогда основаниях. Тут чувство, с которым, вероятно, поселенец необитаемого острова бросает в море бутылку с посланием неведомым людям в расчете на одну лишь волю волн, счастливый случай или слепую закономерность судьбы.

Да, конечно, у каждого в жизни своя "собака", свой "пустырь" — та ойкумена души, за пределами которой остаются все "установки" и "мнения", а в пределах которой — одни порой лишь сомнения. Мы знаем, чего они могут нам стоить, но они не сгодятся ни на черный, ни на базарный день, их место здесь.

Теперь остается добавить, что если столь частная тема, как выгул собаки, оказалась у нас в итоге слишком уж перегруженной общими и вроде бы достаточно отдаленными от нее проблемами нашей жизни, то проще всего, но не вернее найти в том следствие произвола авторского замысла. На самом же деле это — следствие произвола совсем иного замысла, нашей проекта. Именно того, согласно которому все частное в нашей жизни и надлежало обобществить. Но сама природа распорядилась так, что собаке выпало стать чуть ли не идеальным естественным индикатором совершавшегося процесса обобществления частного. Ибо собака по природе своей не обобществляема. Вне симбиоза с человеком, отвергнутые в своей дружбе и любви к нему, собаки, сбившись в стаю, утрачивают свою собачью сущность и становятся опасным зверьем. Они не дичают, а очеловечиваются в самом скверном смысле этого слова. Они словно уносят с собой зло, причиненное им людьми, и хранят это зло.

Словом, совсем не "с жиру" человек вновь завел у нас собаку. И не "сдуру" она тут же потянула его на пустырь, стала "разобществлять". В ней сработал естественный инстинкт самосохранения, который в нас почти совсем был уже подавлен той принудительной самоотверженностью, которую провозгласили высшей нравственной добродетелью и "делом чести, доблести и геройства".

Говорить ли далее о роли "друзей человека" в жизни нашего общества — этой маленькой лакмусовой бумажке гуманизма? К примеру, о том, почему, расставаясь, мы с легкой душой напутствуем друг друга, словно свершая взаимное отпущение грехов перед какой-то очень дальней дорогой, этими неизъяснимыми словами: "Пес с тобой!" Или о том, как собака спасает от того особого рода чувства одиночества, которое никогда не оставляет уже нас среди нашей "бучи"...

Но в заключение — все-таки еще несколько слов о реальном, а не метафизически истолкованном феномене человека с собакой.

Если вы, как говорится, "родом из детства", то есть помните его и храните эту память, то помните, конечно, и то, что хотели тогда иметь собаку. Хотели ее гладить, хотели, чтобы она играла с вами и слушалась вас и чтобы была именно в ашеи. Потом у большинства людей это

чувство проходит или просто находит иные применения. Иным же выпадает пережить его второе рождение. Это всегда некий рубеж в жизни...

Я хорошо помню последних собак своих школьных лет.

Великолепные доги, изысканные доберманы, овчарки и эрдели стояли в ряд у дверей "Елисейской" булочной и молча ждали, когда кто-нибудь бросит им довесок. Иногда бросали. Вся война еще была впереди. Но хозяева этих собак уже успели бросить их. А т а к и е собаки могли быть в ту пору, думаю, только в семьях начальства. Нечто важное относительно своего будущего эти псы, конечно, уже понимали. Помню, что они не глядели в лица людей, а ждали, что им бросят на асфальт. Кто — уже неважно. Было похоже на то, что они опускали глаза. Вскоре в Москве исчезли все собаки. Вдруг. Как вообще многое происходило и происходит у нас. Вдруг однажды в Москве и даже в пригородных поездах, помню, исчезли нищие. Позже — безногие инвалиды на роликах. Но когда собаки стояли у "Елисейского", до этого было еще далеко.

Начались бомбежки, по которым можно было проверять часы — сначала ровно в 11 вечера, потом — в 10. Густо сыпало на крыши и асфальт, а особенно звонко на булыжник тогдашних переулков осколками снарядов-"ниточек", как прозвали наши маломощные зенитки, ахавшие тонкими, словно испуганными голосами. "Юнкерсы" гудели своим характерным "уа-уа" где-то очень высоко, под ними ходили по небу и шариле по сторонам столбы прожекторов. Над городом всплыли надувные бегемоты аэростатов воздушного заграждения. Наконец в непривычной тишине уже студеных осенних вечеров стал явственно слышен гул. Слово от какой-то чудовищной волны, катившей к городу. Наступило незабываемое 16 октября, и над городом пошел черный снег.

Особенно густо валил он на площади Дзержинского, шел на площади Ногина. Ветер мел его по прилегающим улицам, как обугленные листья, которые можно было шельгать ногой, но никакого звука не было, не шелестело.

Позже об этом не очень-то вспоминали — о том, что и почему тогда жгли, не следовало думать, как и о том, к чему тогда готовили Москву. Но в тот день пошли прахом не одни архивные "дела" и иные какие-то особо секретные бумаги. Эта картина з а м е т а н и я с л е д о в б е ж а в ш и м и начальничками так и осталась перед глазами у всех, наверное, кто тогда ее видел, но все значение увиденного уяснилось куда позже. Я, впрочем, и сейчас вижу этот черный снег, заметающий следы...

Люди уходили в те дни из города не таясь.

Был в довоенные годы (да и после некоторое время, кажется) известный школьный учебник двух авторов. В один из тех дней они зашли к моим родителям попрощаться с котомками за плечами, спешили, но не казались испуганными, не бежали — уходили. Многие возвращались через день-другой, иные пропадали навсегда. На некий срок город был брошен властями на произвол судьбы. Это факт. Потом начальники объявились и сделали вид, что ничего не произошло, что этого факта не было. Знаменитый парад на Красной площади и речь имели целью свидетельствовать п р и с у т с т в и е властей в столице.

Его мы очень смиренным знали в те дни. Потом он "отрыгнул".

К зиме у дверей московских булочных стояли уже не собаки, а дети и старики. Позже, когда в булочные завозили хлеб, — только промерзшие, почти недвижимые очереди. "Пойти за хлебом" стало событием...

А когда его провожали в последний путь, мне, как и множеству, казалось, что случилась Огромная Беда. Холодная тогдашняя весна тревожно напомнила вдруг далекую студеную осень. И опять на город накатывал грозный гул, и было похоже, что уже готов пойти черный снег. Действительно, вроде бы пахло какой-то гарью. Может, что-то и в самом деле опять успели сжечь в те дни. Не знаю, да и как узнаешь! Не знаю и того, к чему тогда — после Ходынки похорон, этого самоубийственного акта массового самозабвения, — готовили город, чего именно боялось тогда начальство. НКВДевское офицерье взяло под контроль центр, на улицах появились патрули.

Говорят, что собаки вновь развелись в городе в эпоху хрущоб, когда людям стали давать отдельные квартиры. Может быть, но новому поколению было тогда не до собак.

В самом начале шестидесятых мне довелось рецензировать в “Вопросах литературы”, которые тогда редактировал А. Г. Дементьев — будущий первый зам Твардовского по “Новому миру”, — сборник статей Марка Щеглова, составленный молодым критиком В. Лакшиным. Можно, думаю, сказать, что именно со статей Щеглова ведет свое начало вся наша новейшая неофициозная критика. Пусть иные ее нынешние представители, особенно из тех, кто уже успел зайти так далеко, что начинает выступать в тоне официозных поучений, и не помнят этого имени. Статьи Щеглова продолжали появляться в тогдашней периодике и после 1956 г., когда имя их автора было взято уже в траурную рамку. В 1956 г. состоялся наконец XX съезд партии. Уже сильно подпирало. Надо было или вновь оглушить, или решиться на некий шаг навстречу нарастающим ожиданиям Большой Перемены. Под некрологом, посвященным памяти Щеглова, стояли подписи многих известнейших литераторов, для которых имя этого критика явилось признаком и знаком реальности надежд на наступление новых времен. Но примечательным образом эта их своеобразная манифестация надежд нашла свое выражение уже в жанре некролога. Впрочем, лишь с некоторым временем вполне обнаружился общественно удручающий смысл подобной символики.

Некоторое время тон, заданный Щегловым, еще продолжал удерживаться в критике и даже нарастать, словно лишь за одним тем, чтобы укрепить в чувстве собственной прозорливости иных авторов, для которых сам Щеглов был очень далек, да грех было не успеть затесаться им в ту пору среди таких имен под некрологом, как Чуковский и Виктор Некрасов, Пастернак и Паустовский, Дудинцев, Каверин, Бек, Казакевич, Твардовский, Гудзий. Ветер перемен, казалось, соответствовал официальному прогнозу погоды на завтра и обретал силу санкционированного изменения в общественном климате страны. Даже Ермилов подписал памятный документ... Были там и наши скромные подписи — группки тогдашних молодых сотрудников “Литературки”, вскоре разогнанных — за малыми исключениями — новым главным редактором газеты В. Кочетовым, уже присланным для наведения порядка в литературных рядах. В газете пошли потоком фальсифицированные отчеты с разного рода собраний, слова выступавших в них порой переиначивались до полной неузнаваемости, газета вновь начала внедрять бесстыдство в сознание не только тех, кто знал, как было на самом деле, да помалкивал, но и тех, кто никак не мог предполагать, что люди, еще вчера писавшие одно, сегодня со страниц газеты говорят противоположное.

Потом вообще все переменялось; это известно. Но "шестидесятые" успели-таки заронить в душу нечто чрезвычайно важное — чувство достоверной возможности у нас д р у г о й ж и з н и, другой литературы, морали, культуры. Потом, в худые времена, это чувство давало силы, а то и целый "надежды маленький оркестрик". И еще — в "шестидесятые", вернее, в пору их свертывания, выполнявшегося со злой деловитостью и спокойным цинизмом сразу воспрявшими начальничками, возникло чувство отращения к тому самому, что и можно назвать р а з р е ш е н н о й свободой, свободой с ведома. У многих из моего и близких моему поколений это чувство сохранится, видимо, уже навсегда, умеряя пыл новых упований. Это чувство в первое время было еще не столь уж стойким. Оно сбивалось на "плохое настроение", с которым следовало вроде бы бороться, вновь побуждаясь к тем формам общественной активности, которые в редующих конвульсиях остаточного прогрессизма предоставляло время от времени начальство. Но из окон редакций и редколлегий открывался один и тот же вид — на пустырь, по которому уже пошли бродить к той поре какие-то люди с собаками.

Есть такое понятие: "мысли на лестнице", то есть мысли задним числом, пришедшие в голову после того, как ты уже ушел. И даже дверь за тобой закрылась.

Но не надо бы к этим мыслям относиться с подразумеваемым пренебрежением, не надо бы слишком-то хаять нашу давнюю традицию крепости задним умом! Мысли задним числом могут иметь неоценимое значение при важных исторических срывах и общественных неудачах. Они приходят к нам в час сомнений и уроков, в час сожалений и выводов. Пусть даже при этом окажется в конце концов лишний раз подтвержденной лишь только та банальная наша истина, что "сознание отстает от бытия". Зато может явиться и мысль о судьбе такого бытия, которое, опережая сознание, обречено, стало быть, постоянно пребывать в том бессознательном состоянии, от которого всякому мыслящему существу остается ждать одного лишь подвоха. Во всяком случае, следует ждать подвоха всякому, кто устремляется в своих мыслях упредить это самое бытие. Мысли задним числом противопоставляются, таким образом, всякой склонности к априоризму суждений. И в этом именно их первейшая, быть может, ценность. Эти запоздалые по видимости "мысли на пустыре" — первые, быть может, из действительно основательных, которые приходят нам в голову всякий раз после "случившегося".

А собаку я завел и в самом деле лишь после того, как наконец получил квартиру и смог уйти "на вольные хлеба" литературной поденщины, не испытывая никаких стеснений коммунального быта, к которому за 40 лет жизни успел, впрочем, привыкнуть так, что вроде бы и вовсе его не замечал уже. Но собака появилась у меня совсем не по причине отдельной квартиры. Собственно, никакой практической причины для ее появления вообще не было. Просто, видимо, пришло тогда такое время в жизни. Застой — время выгула собак на пустырях.

Уже "подписанты", обращавшиеся по начальству с разного рода, как говорил Радищев, "слезницами" в связи с разного рода злодействами, чинимыми тем же начальством, успели стать "покаянцами". Массовая кампания публичных покаяний и гуртового отказа от подписей, проведенная по велению сверху и без особого протеста "низов", много способствова-

ла деморализации общества. И дело было тут не только в том, что лишь немногие устояли, а в том прежде всего, что большинство и подписывало потому, что "неудобно отказаться" и "что подумают". Сработал эффект "тимуровской команды". А вот каялись, помню, слишком многие с тем неподдельным усердием, которое вскоре же было вполне оценено начальством.

Еще Щедрин, впрочем, говорил, что нигилисты — это нераскаянные титулярные советники, а титулярные советники — раскаянные нигилисты. Какая же у нас, оказывается, давняя традиция покаяния — то в нигилизме, то, напротив, в службном усердии! И ведь всякий раз, как впервой, зовем к покаянию. Или, "не раскаявшись, не согрешишь"?

Впрочем, в феномене покаянства в годы застоя сказался, видимо, и развращающий опыт "разрешенной свободы" хрущевской "оттепели", подсказавший скверное чувство уступительного свободолюбия, родственного смелости по разрешению.

Уже начали демонстративно сажать за инакомыслие и церемониально "лишать гражданства", словно отлучали от церкви. Уже "социализм с человеческим лицом" из чудесного мечтания обратили в политическое ругательство. Словно в каком-то извращенном самоуспоении, режим поддел на глазах и все хотел большего.

Люди приходили прощаться с "Новым миром". Молча или тихо переговариваясь, толпились в редакционных комнатах, словно в соседней лежал покойник. Все это теперь не раз описано в сходных словах; таково было наше общее чувство невосполнимой утраты. Многое тогда похоронили мы невозвратно.

Как некий знак времени, его макет, у самого порога новомирских дверей тогда соорудился, словно по спецзаказу, пустырек с неизменной свалкой загубленных стройматериалов.

Упомяну, наконец, о небольшом, оставшемся вне пределов осведомленности нашей общественности, но весьма примечательном эпизоде, связанном с гибелью журнала. Это — из очень редких тогда светлых и ясных красок на общем фоне гнилой осени.

Когда новомирская судьба была уже вполне решена и даже, помнится, отгремел хор "писем трудящихся" и "выдающихся деятелей культуры и искусства" на страницах "единодушно поддерживающей" печати, несколько человек решили все-таки еще раз испытать судьбу на случай маловероятного шанса что-то изменить в самый последний момент. Они обратились к номинальному главе государства с выражением официального протеста против расправы над журналом и представляемым им направлением общественной мысли.

Это были "подписанты" совершенно особого рода и едва ли не из последних. Они не питали уже почти никаких надежд на практический успех своей акции и не имели никаких прокламационных намерений, лишь как бы докუმентирова перед лицом истории свое отношение к совершившемуся, подчеркивая его значение и подтверждая подписями место, которое заняли посреди вакханалии торжествующих свиней (вспомним тут Щедрина), — рядом с Твардовским. Самым существенным в этом очень своеобразном документе времени и человеческого документе были, конечно, имена: академик Л. А. Арцимович, публицист-международник Эрнст Генри, академик П. А. Капица, кинорежиссер М. И. Ромм. То, что говорил все эти люди тогда,

при "акте подписания", очень, общественно важно и очень, конечно, интересно само по себе, составляя, однако, отдельный и самостоятельный сюжет...

Известно, что подавляющее большинство "друзей человека" по каким-то своим причинам, о которых они, естественно, не могут сказать, плохо относятся к людям в форме, вообще ко всякого рода прозодежде. В чем тут дело, в чем соль, трудно сказать, хотя на сей счет существуют разные любопытные версии. Иные вполне страшноватые. Но вот во времена Андропова обнаружилось нечто уж совершенно странное и даже отчасти ошеломляющее в поведении и способностях собак. Оказалось, что они не выносят и чуют "людей в штатском", словно бы угадывая каким-то инстинктом их "внутреннюю форму", если прибегнуть здесь к литературоведческому эвфемизму.

Тогда, во время знаменитых повальных "проверок на дорогах" — в магазинах, парикмахерских, пивных, даже, говорят, в общественных банях, — вдруг расшифровалось такое количество обладателей "внутренней формы", что прочих людей взяла оторопь. Как горох, высыпав на улицы, они, возможно, призваны были создать эффект "грома грохотанья над потрясенной мостовой", но, скорее, не напугали окружающих, а смогли вызвать лишь удивленное любопытство и разного рода мелкие бытовые неудобства и еще анекдоты. Но даже и в ту странную пору, столь озадачивающим способом сигнализировавшую населению о каких-то загадочных начальственных замыслах, городские пустыри сохранили свою экстерриториальность — к людям с собаками никто не подходил с требованием предъявления документов и объяснения причин пребывания в неурочный час в столь неподходящем месте. Особый статус человека с собакой, сформировавшийся в годы застоя, был этим как бы подтвержден. Хотя административные гонения на друзей человека в ту пору, помнится, усилились. Подтягивали ремни — приводные и прочие.

Странный все-таки это был исторический эпизод — правление Ю. В. Андропова. Из немногого, что было сказано в ту пору этим нерадостным, словно угнетенным одному ему известной тайной человеком, мне запомнилось: мы еще не знаем того общества, в котором живем. Фразе, как бы подводящей некий слишком мрачный исторический итог, суждено было стать одним из неписанных эпиграфов к новой главе нашей поражающей воображение истории...

Давно уже было все то, о чем шла тут речь. Целая жизнь прошла. И вот теперь — Новые Времена. Но только теперь. Хотя времена и в самом деле новые. Как их теперь еще ни назови и как их потом уже ни назовут — новые. Сейчас мы повторяем все время, что нельзя хотеть слишком многого сразу.

Собаки живут в сравнении с человеком драматически мало. Чтобы сопоставить собачий возраст с нашим, надо, говорят, умножить собачьи годы на 7 или, возможно, на 6. В любом случае моя нынешняя собака по возрасту меня уже вполне догнала, мы с ней, считай, ровесники.

Подняв голову, она с добрым вниманием смотрит мне в глаза, как человек, перечитывающий давно знакомую и близкую его душе книгу. Она возвращает взгляд, который я обращаю к ней.

За окном трогательное ретро старинных московских фасадов, за фасадами — пустыри. Скоро время выгула, но еще светло: зима прошла. Над пустырями летят облака и даже "весенний ветер веет". Но к лету нас с собакой здесь не будет. Летом в городе "совсем уж нечем дышать", как с обычным преувеличением говорят москвичи о давно привычной для них духоте.

ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ ИДЕИ

После всех больших внешних перемен, великих строек и великих ломок приходили оскомины ко всему внешнему, стремление внутрь, в глубину. Это не только в наш век и в нашей стране; что-то подобное было уже в Древнем Китае, после создания империи Цинь и сооружения Великой стены. Сперва философская "школа закона", исходившая из прямой государственной пользы, была вытеснена конфуцианством, и провозглашен эдикт, по которому сын, донесший на отца, подлежал казни. Потом вспомнили мудрецов даосизма, учивших, что бездействие и доверие космическому ритму — лучшая государственная политика. Больше того, стали распространяться учения, презиравшие всякую пользу, и на этой волне укоренился буддизм, с его новым и странным для Китая идеалом внутренней духовной свободы. Все это заняло около тысячи лет — с III в. до Р.Х. по VI—VII вв. С VIII в. колесо стало вертеться в другую сторону (иногда это называют Восточным Возрождением) ...

Подобные маятниковые движения проходят сквозь всю историю. Китайцы осознали это в терминах "инь" и "ян". Инь — женское, порождающее, ночное, текучее, смазывающее границы предметов и восстанавливающее целостность мира; ян — мужское, рожденное, дневное, твердое, разумно разграничивающее предметы...

В западной культуре таких категорий нет, и Габриэль Марсель воспользовался двумя вспомогательными глаголами — "иметь" и "быть". Можно найти некоторое соответствие между его метафизикой и учением инь-ян. "Иметь" рационально (можно сосчитать, сколько ты имеешь); "быть" иррационально, не делится на части, не поддается подсчету. "Иметь" тяготеет к мужскому поведению: мужчина обладает женщиной, женщина отдается. В термине "иметь" она теряет — и приобретает — новое бытие, становится матерью. Совпадения двух метафизик нет, но перекличка есть.

Книга "Иметь и быть", вышедшая около 70 лет назад, — одна из первых, в которых были осознаны конец Нового времени, кризис Запада (ведущей цивилизации Нового времени) и потребность восстановить целостность бытия, разрушенную чрезмерным упором на "иметь" (знания, вещи, власть) ...

Примерно тогда же русские мыслители "серебряного века" заговорили о крушении идеала человекобога и возвращении к Богочеловеку. Человекобог — гордая тварь, стремящаяся обладать всем миром. Богочеловек — это бытие любви. В таком противопоставлении "иметь" — чистое зло. Однако все обстоит не так просто.

Человек — и биологическое существо, вынужденное присваивать, есть и пить, и духовное существо, задыхающееся без прикосновения к вечности. Отдельные люди достигли полного преображения, но от народов этого ожидать нельзя. По отношению к ним китайцы мудрее нас. Они не думают, что ночь или день может длиться вечно. Человечество вечно колеблется между "иметь" и "быть", между вертикалью духовного взлета и горизонталью "мирского". И каждый принцип только на время достигает господства. Он воцаряется, чтобы поцарствовать — и потерять престол.

Мы живем на переломе двух эпох. Стремительно развивается мир "иметь" (ускорение, развитие, дифференциация); и нарастают трудности, вызванные дифференциацией, потребность остановиться, уйти в глубь себя, восстановить чувство целостности мира, чувство вечности. Эта тенденция связана с возрождением мифа (миф лучше схватывает целостность) и реставрацией религии. Остановить маятниковые движения невозможно, удерживать их бесполезно. Сколько бы ни строить плотин, вода будет течь вниз, а не вверх. Хрущев закрыл 10 000 церквей, но в это самое время государственные издательства одну за другой выпускали книги по иконописи, а религиозная музыка (которую Герцен считал устаревшей) снова стала любимым искусством. Я обратил на это внимание еще 20 лет назад в статье "По поводу диалога" (так, впрочем, и не напечатанной в нашей стране).

"Когда-нибудь историки советского общества отметят, что в тридцатые годы Бетховен привлекал гораздо больше симпатий, чем Бах, и что живопись Ренессанса казалась, бесспорно, интереснее средневековой. Это будет легко и просто объяснить. Но затем наступили перемены, которые объяснить значительно труднее. Популярность иконописи и церковной музыки быстро растет. Любая лекция по иконописи собирает толпы слушателей (в огромном большинстве — атеистов). Любая книга по иконописи становится бестселлером и украшением книжного шкафа.

Вслед за Андреем Рублевым и Феофаном Греком выходят из забвения (или полузабвения) имена их вдохновителей — Сергия Радонежского, Григория Паламы. Читаешь про спор о природе света Фаворского с неожиданным интересом. Такие понятия, как "византийское православие" и "мистицизм", утрачивают простой (негативный) смысл, становятся чем-то сложным и противоречивым. Напрашивается мысль, что и они, как некогда мифология греков, были "почвой и арсеналом" великого искусства.

В том же направлении работает и консерватория.

И хочется понять: что же нам нравится в искусстве, идеи которого, казалось бы, не должны нравиться? Монографии, брошюры, концертные программы и вступительные лекции отвечают: нравится человечность, народность и т.п., вдохновившие художника вопреки его религиозной ограниченности. Однако на практике очень трудно понять, где кончается искусство и где начинается религия. Текст баховских "Страстей", что ни говори, — Евангелие. Текст "Всенощной" Рахманинова — всенощная. От этого никуда не уйти..."

Поговорив о ценности мифологического мышления для искусства, я переходил к этике.

"Заповеди — новая редакция системы табу, то есть морального опыта десятков тысяч лет... Религиозные законодатели дали новую систему

предписаний, распространив внутрплеменную структуру отношений на всех людей. Система заповедей обладает некоторыми неповторимыми особенностями... Фома Аквинский признает, например, что кража простительна, если альтернативой является голодная смерть. Заповеди регулируют поведение скорее как дружина (которая может сжиматься и разжиматься), чем как решетка или барьер..."

Возможно, когда-нибудь "сложится новая культура, которая примет и реорганизует опыт нынешних мировых религий примерно так же, как они приняли и впитали в себя дохристианские, буддийские и т.п. национальные и племенные традиции... Но это невозможно сделать быстро, за несколько десятков лет, выхватив рождественскую елку и отбросив Рождество, восставовив венчалное белое платье и отбросив венчание..."

...Пропаганда двадцатых годов, — писал я далее, — была очень топорной. Она разрушила религиозные праздники, разрушила (или нарушила) систему поэтических символов, тесно связанных с нравственными представлениями, и очень мало сделала в борьбе с догматизмом, нетерпимостью, фанатизмом, слепым доверием к авторитету, идолопоклонством. Все эти негативные стороны традиционных религиозных систем оказались очень живучими и только приняли новые формы..." — в так называемом "культе личности". В итоге я призывал к диалогу с религией, к солидарности в общих поисках выхода из социального и духовного кризиса.

Я призываю к этому и сегодня; но за 20 лет выявились некоторые тенденции религиозного ренессанса, которые меня настораживают. На первый план выступают различия вероисповеданий. Каждая религиозная община замыкается в своей обрядности и в своем чувстве мнимого духовного превосходства (я назвал его гордыней вероисповедания). То, что христиане называют самостью — распухшее "я", — очень легко перекрашивается в самоутверждение веры. Я, дескать, смиренный грешник, но моя вера абсолютно истинна. Черты этой болезни я с огорчением видел у многих своих друзей, иногда — с национальным осложнением, с верой в народ-мессию. Все это заставляет отойти в сторону и слушать церковную музыку дома. Не связывая ее с верой в неестественное зачатие.

Я предпочел бы, чтобы люди смогли жить, как на планете Смешного человека — непосредственно чувствуя вечность в каждой былинке и не вступая ни в какие богословские споры. Так, как чувствует Борис Сергуненков, бывший журналист, бросивший свою профессию, проработавший девять лет лесником в Парголово в лесхозе и научившийся там видеть и слышать (его книги — "Тысячелистник", "Осень и весна" — недавно напечатаны) ...

К сожалению, по опыту четверти века я убедился, что это очень трудно; для многих и вовсе невозможно. Несмотря на все издержки церковности, "воцерковление" (в той или иной общине) — путь, по которому идут миллионы. А издержки... Издержки придется платить.

Мы живем в эпоху кризиса религии; отдельные группы от нее отходят; но народам по-прежнему нужны посредники, нужны двери в вечность, за которые можно хоть подержаться, не решаясь открыться, или в которые заглядывают, а потом отшатываются от бездны (встретиться с Богом, говорил митрополит Антоний Блюм, — это войти в пещеру к тигру...).

Роль вероисповеданий не исчерпана. Они и сегодня определяют ду-

ховную жизнь народов и будут ее определять много-много лет. Не удивлюсь, если сотни и даже тысячи лет.

Каждое вероисповедание органически связано с жизнью народа, веками его исповедующего. И русская культура, к добру или к худу, неотделима от православия. Это не значит, что все русские люди — православные. Или должны ими стать. Еще в XIX в. в России распространились разные толки протестантизма, а в XX в. — восточные учения. И вовсе не исчерпана роль свободомыслия. Современная культура духовно не замкнута; каждый человек выбирает ту традицию, которая лично ему по сердцу. Протестантизм может внести в нашу жизнь этику труда и трезвости, индуизм и буддизм — культуру созерцания. А свободомыслие — бороться со склонностью каждой религиозной общины считать свой осколок истины целым зеркалом. Но скорее всего, масса русских, небезразличных к вечной жизни, по-прежнему будет исповедовать православие. Его обряды стали народными, его церкви открыты каждому грешнику и не требуют от него строгой практической нравственности — только признания греховности своей и веры в очищающую силу таинств и молитв. “Не к здоровым приходит врач, но к больным”, — говорил Христос, и именно на этом камне построена вселенская церковь, хоть православная, хоть католическая. Для здоровых — другие слова: “Будете молиться не на горе и не в храме, а в духе и в истине”. Но где сейчас здоровые? Кто сейчас здоров? Целые народы больны — на грани психических срывов, массовых истерик. И вот толпы больных и полубольных приходят в церковь и находят, пусть временное, исцеление в литургии, в соединении с образом божественной любви, в трепете таинств.

Однако русские не единственная нация в Советском Союзе. Культура десятков народов укоренена в исламе. Есть и католики, и протестанты, и дохалкидонские христиане, иудаисты, буддисты (я говорю в данном контексте не о личностях, а о народах). Советский Союз основан был на предположении, что все это неважно: вечных религиозных глубин нет; есть только религиозные предрассудки, которые непременно отпадут вместе с частной собственностью (так и действовали в 1929—1930 гг.: “Вступаем в колхоз и закрываем церковь”).

Прошло полвека с лишним — и примитивный рационализм выдохся, а религия цела. Религия по-прежнему вносит в мир духовную иерархию, незыблемую шкалу ценностей, дает личности твердые внешние рамки и возможность собрать все силы для внутреннего роста. Но вместе с этим благом возвращается в мир и зло: угроза возвращения религиозно-национальных распрей.

Исторические религии только потому и смогли выжить, что замкнулись в жесткую скорлупу догматических определений. Там, где границы вероисповеданий совпадают с границами народных культур, религиозная рознь удваивает племенную рознь и пылают очаги долгих тяжелых конфликтов.

Старая Россия решала эту проблему просто: имперский центр господствовал над окраинами. Но в конце XX в. это уже невозможно.

В 1922 г. Советский Союз окружали полуколонизированные и зависимые страны. Теперь положение резко изменилось. Видимо, будут меняться и отношения между советскими республиками, освобождаясь от остатков имперского господства (эти строки, написанные в 1987 г., сегодня звучат слишком слабо. Однако еще в 1988-м, в сентябре, меня за несколько

подобных высказываний обругала газета "Труд"). К сожалению, в последние двадцать лет мы если и двигались, то в противоположном направлении. При утверждении брежневской конституции чуть не дошло до кровопролития из-за попытки выбросить одну, совершенно законную фразу: "Государственный язык Грузии — грузинский язык".

Гипертрофия охранительности функции заставила некоторых близоруких политиков спровоцировать раскол интеллигенции по национальному и религиозному принципам. Активную роль в движении 60-х годов за демократизацию играли евреи; поэтому поощрялся антисемитизм. Но дело не сводится к дирижированию сверху, дух застоя сам по себе толкал к обособлению и разъединению.

В 60-е годы интеллигенцию захватил вопрос: "Что делать?" Объединяло общее дело возможных (увы, несостоявшихся) реформ. К сожалению, после августа 1968 г. делать было нечего, и люди, почувствовавшие себя в тупике, занялись другим вопросом: "Кто виноват, кто завел в тупик?" Этот вопрос, по сути неразрешимый, решался все более радикально и все более субъективно. Новые эмигранты (и внешние, и внутренние), физически порывая с Россией, вырывали ее из сердца (как часто бывает при разводе); а в других углах проклинали инородцев, социалистов, либералов и даже левых октябристов. Одна из русских православных церквей, Карловацкая, нашла момент подходящим и канонизировала Николая II. Обретение религиозной глубины мирозерцания безнадежно спуталось с политическими и национальными страстями. А национально-религиозные страсти в центре усилили напряжение на окраинах.

То, что называется (или, вернее, само себя называет) русским национальным и религиозным сознанием, с поразительной слепотой занято счетами семидесятилетней давности. Мало кто думал о завтрашнем дне, когда взрывы, подобные событиям в Алма-Ате, могут последовать один за другим (и они последовали — в Сумгаите, в Кировабаде, в Фергане) ...

Людям, захваченным чужеядством, кажется, что их идеи — нечто вроде пистолетного выстрела, точно направленного в цель. На самом деле ксенофобия скорее напоминает степной пожар. Вы зажигаете сухую траву, рассчитывая сжечь ненавистную вам деревню; но ветер переменялся — и горит ваш собственный дом. Бурляев ездил со своим фильмом о Николае Соломоновиче Мартынове; выступают по телевидению Белов, Распутин — и не понимают, что они поджигают, куда может перекинуться пламя.

Погромная агитация отягощает жизнь отдельных групп евреев, она может приводить к катастрофам. Но для еврейского народа в целом здесь нет ничего нового. В случае торжества емельяновых часть обрусевших евреев погибнет, большинство выедет. Русским некуда уезжать, и им придется как-то жить в огне национальной ненависти.

Разумеется, есть привычные средства поддерживать имперский порядок; но тогда какая же демократизация?

Пока что, на сегодняшний день, акцентируется марксистский интернационализм. Однако его явно не хватает, и нельзя не подумать о возможностях суперэкуменизма, братства всех великих религий. Все мировые религии — попытки подняться над страстями рода и племени. И есть священники, которые достаточно широко мыслят. Есть экуменическое движение, есть попытки диалога христианства с исламом. Есть в исламе легенда о скрытом имаме, который, выйдя из пещеры, так истолкует все

пророчества, что исчезнет вражда между "народами книги" (то есть разными толками единобожия). Есть, наконец, опыт дружеского диалога между христианством и атеизмом, начатый покойным о. Сергием Желудковым¹.

Наша официальная политика и здесь шла наперекор действительным интересам Советского Союза. Боялись экуменических связей и не понимали, что внутренние проблемы СССР (расположенного на перекрестке западного, византийского и мусульманского миров) совпадают с мировыми, что такой федерации необходим суперэкуменизм.

В романе "Ночевала тучка золотая" Коля Кузьмин, потеряв брата, находит нового брата в чеченском мальчишке. Эта концовка меня не убедила. Коля, с его мальчишеским разумом, скорее должен был возненавидеть чеченцев. Но Святому Духу доступно то, что превосходит естество, и "несть во Христе ни эллина, ни иудея". Хотя только что, при жизни апостола Павла, бросившего эти слова, александрийские эллины учинили погром и вырезали (с помощью римского легиона) 50 000 иудеев.

Николай Вильмонт в своих воспоминаниях о Пастернаке говорит: "Если мир, наша многострадальная планета, не преклонится перед Христом как перед "высшим откровением нравственности" (Гёте), мир, безусловно, "загорится на ходу" и погибнет. Физически, не только морально"². В том смысле, в котором Бог есть любовь, а Христос — образ и воплощение Божьей любви, это для меня очевидно. Однако наивно думать, что мусульмане вдруг перейдут в христианство. Да и зачем? Разве ливанские марониты ближе к духу любви, чем тамошние мусульмане или друзья? Ни мир ислама, ни плюралистические культуры Южной Азии и Дальнего Востока не станут христианскими. Дух любви может победить только в общении разных культур и разных вероисповеданий.

Складывается единое человеческое общежитие, а общей веры нет. Единство мыслимо только в диалоге, в постепенном утверждении общего духа над различиями буквы. Удастся ли это? Я могу сказать только одно: жизнь полна чудес. Но чуду надо помочь, чудо надо удержать и сохранить. То аджорнамент, которое начинается на страницах наших газет и журналов, непременно должно распространиться и на сферу религии. И здесь многое может сказать научная и философская критика религии (которую не надо смешивать с хулиганским безбожием). Религиям тоже надо перестраиваться, освобождаться от религиозной спеси, от гордыни вероисповедания. Взгляните глазами мусульманина на маковки русских церквей, где полумесяц — символ ислама — повержен к подножию креста (превратив символ победы над смертью в памятник Ивану Грозному); подумайте: куда это ведет?

Религия спасала людей и губила людей. Защитники религии подвели под распятие Иисуса Христа, сожгли Жанну д'Арк, Яна Гуса, Джордано Бруно. Фанатики религиозно-национальных общин — в первых рядах современных террористов. И я не знаю, смогут ли религии народов Советского Союза, освобожденные от давления государства, подняться до подлинного вселенского порыва? Я жду этого, как чуда, но будет ли оно?

Опыт Индии, Ливана, Северной Ирландии толкает к пессимизму.

¹ Сборник его писем, в которых обсуждались проблемы веры и неверия, вышел за рубежом.

² *Новый мир*, 1987, № 6, с. 220.

Впрочем, если удастся хотя бы смягчить, умерить национальные страсти, десятки лет кипевшие в закрытых котлах, — и это было бы великим делом... Делом, в котором необходимо объединение всех — верующих и неверующих. Потому что наше государство в его современных границах лишено духовного фундамента; и уже оседают стены.

* * *

Проблемы, которые сегодня вылезли из всех углов, скопились давно. Одни уходят корнями в зигзаги сталинской политики, другие — еще глубже: в соблазн утопии, в привычки административного восторга, в имперские традиции России, наконец, в динамику мировой истории, из которой никак нельзя выпрыгнуть. Крушение европоцентризма, деколонизация, духовный кризис, экологический кризис, угроза гибели биосферы — все это нас прямо касается. Брежневская администрация не создала эти проблемы; она их только попыталась заморозить — и возникла еще одна специфическая проблема: застой. Сдвиги продолжались, но они ушли с поверхности в глубину.

Эпицентр событий хрущевского времени — ЦК, XX съезд, XXII съезд; в 1965—1975 гг. — политические процессы. А потом все молчало; только камни вопили; и еще — изредка — слышен был голос Андрея Дмитриевича Сахарова. Но самое главное произошло глубже уровня безнравственных политических решений и протестов: нравственного сознания: подгнили принципы, на которых строилось государство.

Наш Союз Советских Социалистических Республик возник на волне гнева, копившейся сотни лет и смывшей трон Романовых после трех лет кровавой и бездарной войны. В водовороте страстей власть оказалась в руках партии, сильной своей организованностью и своей верой в светлое будущее. Ради этой цели можно было часть народа увлечь, а другую часть — заставить идти за собой. Ибо цель, казавшаяся абсолютной, оправдывала абсолютно все средства.

Бесполезно взвешивать, какова здесь роль утопических элементов марксизма и какова — имперских традиций административного восторга. Думается, важно и то и другое. Вот рядом две великие культуры: Индия и Китай. В Китае две с половиной тысячи лет создаются социальные утопии и совершаются прыжки в утопию. В Индии — ни того, ни другого. Видимо, это связано с характером культуры, склонной или мало склонной к вере в рай на земле.

Утопия пришла в Россию с Запада. Но Россия не была европейской страной, а только европеизированной. В плюралистическом европейском обществе утопия оставалась интеллектуальной игрой (для сэра Томаса Мора) или привеском к предвыборной программе социал-демократов. Россия, увлекаемая призраком окончательного решения мировых вопросов, рванулась в утопию всем корпусом и застряла в этом состоянии.

Плеханов как-то заметил: "По методам своим Петр был славянофил". Это можно сказать и о Ленине: по методам своим Ленин был почвенно русским человеком, не понимавшим пользы плюрализма (так же как сегодня не понимает этого другой почвенно русский человек, Солженицын). И именно почвенное, народное непонимание плюрализма толкало к запрету независимой прессы, к разгону Учредительного собрания...

Зачем терпеть ложь, если мы знаем полную и окончательную истину? После того как Сталин ликвидировал последний институт, оставлявший место для обратной связи между идеей и жизнью (демократию внутри ЦК и партийных съездов), победил автоматизм административно-командной системы.

Идейным ядром этого развития была уверенность, что социальное учение Маркса в общих чертах бесспорно: все зло коренится в частной собственности. Пролетариат, захватив власть, упраздняет частную собственность. И тогда происходит прыжок из царства необходимости в царство свободы. Маркс не рисовал никаких подробностей светлого будущего, но он придумал духу утопии характер принципа, звучащего философски корректно и приемлемого на первых порах для философски мыслящего человека. Через марксизм прошли Бердяев, Булгаков, Франк, Федотов. Им понадобилось несколько лет, чтобы прийти к иным взглядам. Люди, не склонные к философскому сомнению, на всю жизнь были заморожены XI тезисом: "Мир надо переделать". Страстная убежденность старых большевиков в истинности утопии и аппарат террора, затыкавший рот противникам, задержали процесс отрезвления России на несколько десятков лет. Но у брежневской администрации не было никакой убежденности, никакого пафоса. И принцип стал гнить.

Вторым принципом, сгнившим в период застоя, был марксистский интернационализм. Оговорюсь сразу: я не считаю ложной веру во вселенское братство всего живого. Но моя вера опирается на духовный опыт единства, на своего рода религию (хотя ни одна современная религия меня полностью не удовлетворяет). Марксистский интернационализм был попыткой объединить людей без религии, без духовных глубин, опираясь на классовое чувство пролетариата, то есть на ненависть всех бедных ко всем богатым. Это часто приводило к союзу смердяковых и шариковых против интеллигентности, против культуры.

Интернационализм держался на отталкивании от того, что ему предшествовало: на отталкивании от мировой войны, от погромов, от резни. Например, мой покойный дед в юности вместе с другим мальчиком стал основателем подпольного союза учащихся-коммунистов в Баку после резни в октябре 1918 г., когда турецкая армия при поддержке азербайджанцев вырезала 10 000 армян. В союз входило около 150 гимназистов. Я не брошу камень в их энтузиазм. Но духовной основы у этого энтузиазма не было. И во время следующего великого испытания, в 1941—1945 гг., интернациональные лозунги были сняты: они почти никого не захватывали. Огромна была ненависть к немцам. И мы сами не замечали, как эта ненависть понемногу разрушала нас самих.

Наша идеология практически держалась на общей ненависти, на образе врага, и, как только был ликвидирован последний "эксплуататорский класс", стало неизбежным возвращение к образу национального врага. Это началось, как только Гитлер пришел к власти и стала ясной сила национального чувства, национальной идеи. С 1934 г. советская пропаганда и советская политика становятся эклектической смесью национализма (все более активного) с интернационализмом (все более показным). Кончилось погромами.

Погромы — спутник всех прежних революционных сдвигов в Евразии. Но советская власть прекратила погромы. Этой заслуги у ленинского периода не отнять. Откуда же снова то же? Общий склероз,

как в расшатанной царской империи? Но в Алма-Ате ответные действия были, скорее, излишне суровыми. Факты, выплывшие на Съезде народных депутатов, заставляют задуматься. А в Сумгаите...

Сейчас все смотрится в общей связи: Степанакерт, Ереван, Сумгаит, Звартноц, Кировабад, Тбилиси... Бросается в глаза, что власти плохо понимают разницу между цивилизованными формами протеста (митинг, демонстрация, забастовка) и варварскими (погром, резня). Войска на трое суток опоздали в Сумгаите, с излишней поспешностью были введены в Звартноце и в нарушение любых законов цивилизованного общества — в Тбилиси. Когда погиб младший лейтенант Гусев, защищая армянские кварталы Кировабада, мое сочувствие было на стороне армии. Нельзя смешивать законные действия против насилия, разбоя и незаконное подавление свободы слова. Призывы к насилию — преступление, но только тех, кто выступает с такими призывами, и никого другого. Народ имеет право на митинг. Но погромы надо останавливать. Более того: власти, которые не приняли необходимых экстренных мер, подлежат уголовной ответственности. То, что до сих пор не расследовано и не наказано преступное промедление властей в Сумгаите, — открытая рана нашего общества.

Вместе с тем должно быть четко разработано законодательство об ответственности генералов, офицеров и солдат за неоправданную жестокость. Каждое убийство (даже в действиях против убийц) должно расследоваться судом. Арестованный убийца-погромщик может быть осужден к самому строгому наказанию, но солдат или офицер не имеет права убивать на месте. За исключением тех случаев, когда самому солдату или офицеру грозит смерть. Необходимо удовлетворить требования депутатов Казахстана и расследовать декабрьские события в Алма-Ате. Судя по дошедшим слухам, это был погром; но подавление погрома соперничало по своей жестокости с действиями погромщиков. Безнаказанность преступлений, совершенных властями в Алма-Ате, привела к новым преступлениям — в Тбилиси. С другой стороны, безнаказанность погрома в Сумгаите привела к новым погромам — в Кировабаде и других городах и, может быть, в Средней Азии. Массовые митинги в Баку, провозгласившие убийц народными героями, вполне могли вызвать отклик и в Фергане, и в Новом Узене.

В нашей прессе опубликовано очень немногое. Но даже это немногое позволяет сравнить тысячи арестованных в Алма-Ате и десятки — в Сумгаите; три тысячи студентов, исключенных из учебных заведений в Казахстане¹, — и ни одного мерзавца из тех, кто устроил карнавал после землетрясения в соседней республике.

"Суд над виновниками сумгаитской трагедии приобрел характер фарса, — пишет журнал "Страна и мир"². — Достаточно сказать, что на судебном заседании, проходившем в Сумгаите, в одном случае несколько погромщиков были приговорены к 2,5 года лишения свободы условно, а в другом — общественный защитник представил ходатайство предприятия о передаче дела одного из обвиняемых в... товарищеский суд. На заседании Верховного суда в Москве была использована иная тактика. Здесь суд не выгораживал обвиняемых, но делал все, чтобы придать их

¹ Об этом писал журнал *Дружба народов*, 1988, № 12.

² *Страна и мир*, 1988, № 6, с. 30.

действиям сугубо локальный и личный характер... Председательствующий отказался вызвать в качестве свидетелей бывших руководителей Сумгаита, отклонил ходатайство зачитать телеграмму первого секретаря Нагорно-Карабахского обкома, в которой тот сообщил, что секретарь Сумгаитского горкома Д. Муслим-заде заявил на заседании ЦК КП Азербайджана, что ответственность за погром несут бывшие руководители республики..."¹

Решали не принципы, а обстоятельства. Господствовало раздражение армянами, не вовремя выступившими со своим карабахским вопросом (для таких вопросов никогда нет времени), и все делалось так, чтобы уравнивать стороны, разрушить контроль интеллигенции над армянской толпой, довести армян до эксцессов, подобных азербайджанским, и только после этого найти решение, оказавшееся временным и мнимым.

"Произвол рождает только произвол, — пишет "Страна и мир" (редактор — известный правозащитник Кронид Любарский). — Произвол непредсказуем. Сегодня в Москве решили так, завтра могут решить иначе. В Баку поняли: единственное, чего Горбачев боится, — это шум, мировой скандал. Ясно, что интриги армян потому и не прошли, что власти испугались Сумгаита. Что ж, мы устроим десяток Сумгаитов!"²

Думаю, что так же рассуждали закулисные силы, действовавшие в Средней Азии. Они почувствовали призыв использовать обстановку, проверить свою силу. Кто смел, тот два съел!

Есть только один выход из создавшегося положения — установить новые, твердые и разумные принципы.

Я не армянин и не азербайджанец. Но я чувствовал как свой собственный позор, что наше государство, такое сильное (даже чересчур), не смогло предотвратить резню и что мои сограждане азербайджанцы резали моих сограждан армян; а центральная пресса ставила тех, кто режет, и тех, кого режут, на один уровень и жевала мертвые слова о дружбе народов — лишь бы ничего не менять, лишь бы не пересматривать грани. Я думаю, что нельзя стоять сразу на двух эскалаторах, одном движущемся и другом — неподвижном...

Мне кажется, что спор о Карабахе велся в неадекватных терминах, скорее запутывавших, чем разъяснявших дело. Только на Съезде народных депутатов четко было сказано о неравноправии больших и малых народов, закрепленном в Конституции. Маленький народ не хочет подчиняться большому народу, а большой считает его территорию своей (территорию Крыма, Абхазии, Карабаха, Татарии). Есть ли из этого положения правовой выход?

Наша Конституция проводит различие между номинально суверенными союзными республиками и явно несuverенными автономными республиками, областями и округами. Во всем ли целесообразно это деление? Почему не разрешить малым народам добиваться режима федерального округа (подчиненного непосредственно центру)? Или перехода из одной республики в другую? Крестьяне в древней России имели Юрьев день (право переходить от одного боярина к другому). Почему не дать Юрьев день Карабаху и Абхазии?

Еще хуже положение народов распыленных, не имеющих никакой

¹ *Страна и мир*, 1988, № 12.

² Там же, с. 32.

административной единицы. Сталин теоретически доказал, что евреи не нация. Потом он практически упразднил несколько других национальностей. В таком упраздненном состоянии до сих пор остались крымские татары и немцы Поволжья. Народ в нашей Конституции — это группа нулей, приобретающих значение только после административно-территориальной единицы. Если нет единицы, то и народа, при выборах в Совет Национальностей, нет. Поголовная ссылка немцев и крымских татар признана ошибкой, но их место в Совете Национальностей не восстановлено. Таким образом, для борьбы за восстановление своей единицы им оставлена только уличная демократия. По большей части несанкционированная. Как выйти из этого порочного круга?

Почему нельзя выборы в Совет Национальностей проводить по куриям, как при Столыпине, когда рабочие голосовали в одной курии, а землевладельцы в другой? Так же точно татары, где бы они ни жили, или немцы, или евреи могли бы голосовать по своим национальным куриям. Квоты можно установить, исходя из численности народа. Распыленные народы численностью более миллиона могли бы получать квоты союзной республики (чем они хуже эстонцев?), а численностью более 100 000 — квоту автономной республики.

Однако главное не юридические формальности, а дух времени. В 20-е годы вовсе не было Совета Национальностей, но интересы национальностей учитывались довольно хорошо — настолько, насколько позволяло господствовавшее тогда безбожие. Не было Биробиджана, но было 5 еврейских театров. Были какие-то культурные очаги у ассирийцев. В кубанских станицах обучение проводилось на украинском языке. Все это было упразднено в основном после введения в силу сталинской конституции. При почтительном одобрении Совета Национальностей. Ибо народы в нем не представлены.

К чему это привело, я увидел в 1953 г., начав работать учителем в станице Шкуринской. Оказалось, что школьники 8-го класса почти не говорят по-русски. Мне отвечали по учебнику наизусть. Я решил обойти родителей наиболее носяязычных учеников. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия. Мать ответила мне по-русски. “Так вы русская?” — “Да, мы из-под Воронежа. Нас переселили в 1933 году вместо вымерших с голоду”. — “Отчего же вы не выучили дочку своему родному языку?” — “Что вы, ей проходу не было! Били смертным боем!” Оказалось, что мальчишки лет пяти (которых и в милицию не потащишь. Да и где она, в станице, милиция?) заставили детей переселенцев говорить по-запорожски. В школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене — по зубам. Запрет снимался только с 8-го класса. Ученики старших классов — отрезанный ломоть, они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города. Все это не было организовано взрослыми (организацию выбрали бы в 36—39-м или в 43—44 гг.). Стихийная детская инициатива. Дети сохранили господство украинского языка в кубанских станицах; дети же сохраняли традиции юдофобства в те годы, когда юдофобство взрослых преследовалось...

Я пустил корни в русскую культуру ребенком, когда антисемитизм казался умирающим пережитком и никто не заставлял меня забывать еврейский язык. Если бы заставляли, непременно бы заартачился. И чем сильнее нажим, тем туже натягивалась бы пружина. Можно представить себе, какое пламя горит в душе крымских татар...

Все обвинения, выдвинутые против них, — это обвинения против отдельных лиц. Разве украинцы не сотрудничали с немцами? Разве генерал Власов был татарин? По официальному докладу, представленному Гимmlеру в 1945 г., общее число хиви (Hilfswillige), перешедших на сторону немцев и служивших в вермахте, достигало 800 000. Учитывая потери в 1942—1944 гг., можно предположить, что сперва их было больше, около миллиона. Из них, наверное, 500—700 тысяч великороссов.

В Бутырках я играл в шашки с бывшим учителем, заведовавшим русской школой под немьцким управлением. Как-то, задержав ход, я спросил его, почему он сделал свой выбор. Партнер взглянул на меня своими серо-стальными глазами и ответил: "Я был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог". Кивнув головой, я двинул шашку вперед. Думаю, что миллионы крестьян не простили Сталину коллективизации. Им было легко поднять оружие против Сталина. Кстати, и голод прижимал военнопленных, но дело не только в голоде...

Мужикоборец не мог не мстить мужикам за зло, которое он же им причинил, и охотно бы сослал всю Украину. Но угроза поголовной высылки нависла только над малыми народами. В России, на Украине возможен стратоцид — истребление социального слоя. А всю Украину не пересажаешь: охраны не хватит; и заселить нечем будет. Вот и обрушилась кара на малые народы, избранные козлами отпущения.

Потом калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев вернули, а немцев Поволжья и крымских татар не вернули и до сих пор бормочут различные оправдания. Допустим, что исправить застарелое зло действительно трудно. Все равно право народа на свою землю выше желаний других народов пользоваться его землей — для отдыха, для добычи нефти или чего угодно. Иначе что останется от принципа федерации? Если Москва вправе выгнать целый народ, вошедший в федерацию? Почему тогда азербайджанцам не выгнать армян из Карабаха или грузинам — не ликвидировать Абхазскую АССР? Великодержавный шовинизм в Москве лишь удваивает шовинизм на окраинах.

Необходимо установить принцип, что все народы равноправны, суверенны и сами распоряжаются своей судьбой. В том числе народы малые. В том числе народы распыленные, осуществляя свое право на культурную автономию. Существует (по крайней мере в Ленинграде) движение русской интеллигенции против шовинизма, за реальную культурную автономию всех этнических групп. Если бы Москва поддержала это начинание, сопротивление шовинистов было бы сломлено и многие вопросы, на сегодняшний день неразрешимые, решены.

Редкие цветы заносят в Красную книгу. Ландыш запрещено рвать: этому виду грозит исчезновение. Но неужели народные культуры менее ценны, чем трава полевая? Борьба за Карабах вылилась в спор союзных республик, потому что только союзные республики имеют голос. Но за другие этнические группы просто некому заступиться, и сами они — без голоса. Это вопрос, касающийся десятков миллионов людей, в том числе русских, живущих вне России.

Коммунальная квартира, в которой ответственный съемщик тиранит жильцов послабее, отнюдь не идеал. Каждый народ вправе рассчитывать на свое жилье. Степень независимости народов, распыленных и живущих плотными кучками, не может быть одинаковой; в одном случае возможна административная автономия, в другом — только культурная. Но если

есть малейшая возможность автономии, она должна быть использована. Подчинение одного народа другому всегда зло (даже если это зло необходимо). И когда мыслимо избежать зла, надо его избегать. Каждый народ — суверен своей культуры. Это принцип. Это цель. А средства... Если пожелать, и средства найдутся.

Надо понять, что правительством, сознательно стремящееся к ассимиляции народов, накапливает огромные разрушительные силы (это показал опыт французов в Алжире). Языки пламени, вырвавшиеся в нескольких городах, — первые сигналы пожара, готового охватить всю страну. Остались не годы, а месяцы, чтобы исправить положение¹.

Интернационализм (переименованный в космополитизм) много лет затаптывался. И сейчас эту половую тряпку нельзя сделать знаменем. Если русских учили гордиться Дмитрием Донским, то почему татарам не гордиться Едигеем? Они попытались, но инициаторов сослали: нельзя гордиться победами над «старшим братом». На официальном уровне установлена была некая иерархия национальных величий. Но ведь это все только на бумаге, а не в народном сознании. И на бумаге — не всюду. В Закавказье возникли три несовместимые истории национального величия, три истории взаимных распрей. И в Сумгаите эта «холодная война» вышла наружу.

Нужен какой-то новый всплеск вселенского духа. О пришествии его можно только молиться. Но задача разума — создать простор для духа, создать такие внешние условия, которые не подавляют дух. Все этнические и этноконфессиональные группы вправе получить доступ в большую печать, на радио, на телевидение. Свобода всех движений — единственное условие, при котором возможно развитие движений экуменических и суперэкуменических. Только свободные существа и свободные группы могут найти путь к диалогу.

Призрак имперского величия, которым Сталин поманил русский народ, ничего этому народу не дал, кроме нищеты и нравственного оскудения. Гигантские расходы на вооружения разоряли в первую очередь именно Россию (многие окраины изловчились и создали свою подпольную экономику). А спесь, упорно пропагандировавшаяся в течение сорока с лишним лет, растлевала народный дух. Имперские претензии — одно из главных препятствий на пути перестройки. Русь далеко не во всем великая. Кое в чем — и малая. Великая в духовных порывах и в ратных подвигах, но не в администрации, не в хозяйстве. Оттого и сложилась огромная, но дурно управлявшаяся империя. И перестройка требует высвобождения энергии малых народов, может быть менее славных на поле брани, но лучших хозяев.

Пора всем нам учиться политическому плюрализму, умению вести себя как в парламенте, а не на вече, способности к самоорганизации и чувству ответственности митингов, наконец, бережному отношению к природе и культуре добросовестного труда, никогда не стоявшей в России особенно высоко, а за последнее время почти забытой. Пора учиться, как жить без «социалистического подхода к прилавку». Учиться не стыдно. Стыдно оставаться неучем.

¹ В частности, пора бы прекратить пропаганду насилия в программе «Время». Картинки интифады заразительны. И не всегда легко объяснить, что инородцы в Фергане не оккупанты.

Есть, однако, проблемы, решению которых не у кого учиться: неповторимые проблемы Евразии, связанные с ее положением на стыке культурных миров. Здесь простор для творческого разума... Но его нет и не может быть, пока нет даже элементарной информации об этнических конфликтах. Нельзя рассчитывать на перестройку, сохраняя брежневский принцип: по линии наименьшего сопротивления у нас все обстоит благополучно.

Во всем этом есть еще своя этическая сторона. Моральное оправдание верховной власти — защита слабых от сильных. За последние годы сплошь и рядом делалось противоположное: защищались большие народы, чтобы их не беспокоили вопли малых (крымских татар, армян из Карабаха). К сожалению, эту политику поддерживает часть русского общественного мнения. Само выражение "малый народ" стало символом зла в модных теоретических построениях, и обдумываются средства, как от него избавиться. Ветер национальной обиды становится бурей во всех углах, где для обид достаточно оснований, и чувство обиды становится всеобщим.

Советская пропаганда, десятки лет разжигавшая пламя антиколониальных движений, пожинает свои плоды: вспышки интифады начались в нашей собственной Азии. Все смертельно обижены друг на друга. И навстречу рациональным планам перестройки поднимаются волны иррационального, "подпольного" (в понимании Достоевского).

* * *

В 60-е годы иррациональное как-то выносилось за скобки. Казалось, что общество развивается в осознанном направлении — или по крайней мере пытается развиваться — и это движение даст когда-нибудь плоды. Поэтому господствовали рациональные схемы исторического процесса. Но когда движение уступило место гниению, разум потерял кредит. Человек захотел вырваться из материи, особенно из материи истории. На кой нам ее законы, если по ним выходит гнить, гнить, гнить... А потом все вдруг рухнет, как старый гриб...

В этот миг, словно по заказу, два журнала опубликовали статьи Л. Н. Гумилева, и все заговорили об этносах. Откуда-то (может быть, из космоса) приходит импульс и заряжает нескольких людей страстью. Эти люди, пассионарии, пытаются нарушить господство инерции. Если судьба дает им победу, страстность постепенно выветривается. Консорция (союз, подобный браку по любви) постепенно уступает место конвиксии, царству привычки; а потом конвиксия разваливается, уступая место новым консорциям. Все консорции равноценны: отряды викингов, школа импрессионистов, общины первых христиан — одинаково суть воплощения космической энергии. Никакой иерархии, никакого общего смысла, никакого Бога, ради которого живут и умирают люди и народы. Вместо передового класса на вершину поднят этнос (народ, нация?) — до тех пор пока молод. А состарится — туда ему и дорога.

Теория одновременно отражала то, что все чувствовали (господство инерции, ожидание нового), и формировала процесс, направляя его к новому морально-политическому единству. Не на основе старой идеологии, не на общем чувстве пролетарского, коммунистического, со-

ветского, а иначе: на основе общего подсознательного влечения к русскости, по сути дела такой же условной и безразличной к реальным группам, на которые распадается цивилизованное общество. По теории этносов, все франки презирали мусульман за многоженство, а все мусульмане находили бесстыдными франкских дам, не прикрывавших своего лица. По теории этносов поныне ведет себя народ в обстановке военной истерии: все вместе ненавидят немцев. По теории этносов, все (или почти все) азербайджанцы были возмущены требованиями армян Карабаха. Но москвичи, голосовавшие за Илью Заславского, вели себя вопреки теории этносов, и именно это характерно для современного народа, состоявшего из ряда меньшинств (политических, религиозных, классовых, возрастных, половых, иногда — этнических), группирующихся во временные блоки, текучие и изменчивые, не поглощающие личность целиком. Ибо основа современного общества — свободная личность, а не племенной индивид, всегда верный племенным стандартам, всегда любящий щи и не любящий устриц.

Я уделил некоторое место теории этносов в статье о субэкуменах, то есть устойчивых коалициях культур (христианский мир, мир ислама и т.п.), и, когда статья была напечатана¹, послал оттиск покойному г-ну Кейюа, в журнал "Диожен". Господин Кейюа ответил, что статья подходит, но надо опустить критику теории этносов: она неинтересна западному читателю. Я удивился: почему неинтересна? Мне и теория, и критика этой теории казались интересными.

Подумав, я нашел три причины равнодушия г-на Кейюа к идеям Л. Н. Гумилева. Для нас этносы были отдушиной в абстрактном схематизме производительных сил, производственных отношений и т.п. категорий. Но на Западе такого обязательного схематизма не было и не было эффекта освобождения от него, окунания в страсти готов и гуннов, викингов и монголов. А трезвому бросалось в глаза, что Л. Н. Гумилев смешивает совершенно разные вещи: "Так именно (на подсознательном влечении друг к другу. — Г.П.) зарождалось на семи холмах волчье племя квиритов, ставших римлянами, конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов... монголы в XIII в., да и все, кого мы знаем"¹.

В мире Л. Н. Гумилева ветхий Адам никогда не становится новым Адамом (и даже задача такая не создается). Никак не объясняется, почему буддизм и ислам покорили себе завоевателей-монголов; по логике теории, скорее монголы должны были обратить покоренные народы в шаманизм. И непонятно, зачем славяне оставили своего Перуна и Ярилу. Разве в них меньше пассионарности, чем в распятом еврее?

Гумилев — тюрколог, он много занимался историей племенных движений, потрясавших мир. В этой области все этнично, уходит корнями в племя либо создается новый племенной союз, объединенный вокруг нового вождя. Теория этносов просто-напросто распространяет племенные нормы на динамику цивилизаций. Для француза это нелепость. Прочитав, что школа импрессионистов — этнос, г-н Кейюа, вероятно, дальше и разбираться не стал. Но в многонациональной России социальные сдвиги действительно принимали иногда характер этнического сдвига, резкого

¹ См. *Ученые записки Тартуского университета*, 1976, № 392.

² Г у м и л е в Л. Н. Этногенез и этносфера. — *Природа*, 1970, № 1, 49—50.

изменения удельного веса той или иной этнической группы в политике и культуре. Как это происходило, я описывал в своей книге "Сны земли" (Париж, 1985) и еще раз описал в докладе "Смена типажей на авансцене истории и этнические сдвиги" (читан в Институте истории 24 мая 1989 г.)¹. Теория этносов делает этнический привкус социальных сдвигов самой сутью процесса. Это соответствует нынешнему настроению части русских интеллигентов и дико со стороны.

Вторая причина неблагосклонности г-на Кейюа к нашему кумиру — то, что теория пассионарных групп Л. Н. Гумилева — очень близкая параллель к теории харизмы Макса Вебера. По Веберу, взрывные события истории коренятся в личности вождя, харизматического лидера, своего рода пророка. Если вождь добивается успеха, через какое-то время наступает рутинизация харизмы. По Гумилеву, вождей, страстно захваченных новым чувством жизни, может быть несколько, целая группа. Иногда это верно. Но дальше модель Гумилева отличается от модели Вебера только терминологией: вместо рутинизации харизмы — переход от консорции к конвексии...

Попробуем приложить обе модели к знакомому материалу. Ленин был действительно вождем, Брежнев считался вождем по должности. ЦК, избранный на VI съезде, можно описать как консорцию, брежневское руководство — как инерционное тело, конвексию. Это не две теории, а два варианта одной теории. Наиболее важное различие — то, что пассионарная группа (по Гумилеву) создает новый этнос, а веберовская харизма этнически нейтральна. С точки зрения француза, Вебер мыслит корректно, а Гумилев — некорректно.

Каждая модель Вебера — инструмент, приспособленный для решения определенной задачи, а не отмычка ко всем секретам истории. "Да и все, кого мы знаем" — фраза, для Вебера невозможная. В "Протестантской этике" создается модель генезиса капитализма, в идеальных моделях индийской, китайской, японской культуры Вебер — один из основоположников современной культурологии, а для взрывных, непредсказуемых исторических движений создана теория харизмы. Идеологии из этого не построишь. Для идеологии нужна теория, объясняющая все богатство истории чем-то одним; и третья причина успеха теории этносов в нашей стране (и равнодушия г-на Кейюа) — то, что это идеология, ненужная идеологизированному Западу.

Впоследствии Л. Н. Гумилев дополнил свою теорию экологическими соображениями (в первых публикациях этих соображений не было) и попытался вывести экологические катастрофы из "химерического комплекса", то есть из переплетения внутренне несовместимых этносов. Примером химерического комплекса было избрано манихейство. Соль здесь заключалась в том, что Мани в юности испытал влияние иудеохристианства. Таким образом, козел отпущения был найден. Между тем ортодоксальное христианство тоже было создано "химерическим комплексом" — взаимодействием иудеев и эллинов (а впоследствии и римлян). Из чего следует, что несовместимых этносов нет, а трудное совмещение может быть чрезвычайно плодотворным.

Статью Борода, в которой популяризировались новые идеи Л. Н. Гумилева, официально осудили за расизм (факт не частый в пе-

¹Напечатано в журнале *Общественные науки и современность*, 1990, № 1.

риод застоя), но “Этногенез и биосфера” был взят на депонент в Институте научной информации, и с него разрешалось делать ксерокопии; число их достигло 20 000. Таким образом, идеи Л. Н. Гумилева распространились, как картофель во Франции XVIII в., когда королевский министр Тюрго дал гласный приказ охранять склады с картофелем и негласный — охранять плохо, не мешая крестьянам украсть то, что от них скрывают.

Можно отметить родовые черты теорий времен застоя: власть подсознания в выборе ценностей — и однозначное объяснение мира. Этот мифологический иррационализм в сочетании с мифологическим рационализмом можно проследить у всего “правого диссидентства”.

Крупнейшее явление его — теоретическая деятельность А. И. Солженицына, начатая в сборнике “Из-под глыб”. Принятые правительством меры ограничили круг читателей “Глыб”, но тот, кто прочел “Этногенез”, Солженицына также знал.

На первый взгляд Солженицын и Гумилев резко противоречат друг другу. Теория этносов не допускает никаких всеобщих нравственных принципов, а Солженицын ведет борьбу с Мировым Злом во имя Мирового Добра. Однако обе теории ведут к одному и тому же: к новому морально-политическому единству; только достигается это единство разными способами: подсознательным сплочением этноса или объединением вокруг пророка, который твердо знает, где добро и где зло.

Неукротимая энергия, мужество и дар слова сделали Солженицына бесспорным духовным вождем. Влияния его почти невозможно избежать. Но это влияние нравственно противоречиво. С одной стороны, оно направлено против официальной лжи; с другой — основано на чрезвычайно узком понимании истины и в полемике не стесняется в средствах: всякое противоречие в глазах Солженицына не другой подход к истине, а ее извращение, ересь. Отсюда архаический стиль полемики.

Солженицын — принципиальный противник плюрализма, то есть выхода из морально-политического единства в нормальную цивилизованную жизнь. Он спрашивает: “Может ли плюрализм фигурировать отдельным принципом, и притом среди высших? Странно, что простое множественное число возвысилось в такой сан. Плюрализм может быть лишь напоминанием о множестве форм — да, охотно признаем, — однако цельного движения человечества? Во всех науках строга, то есть опертых на математику, истина одна — и этот всеобщий естественный порядок никого не оскорбляет... А множественность истин в общественных науках есть показатель нашего несовершенства, а вовсе не нашего избыточного богатства, и зачем из этого несовершенства делать культ “плюрализма”?..”¹

Не знаю, нужно ли защищать принцип, существующий 2,5 тысячи лет. Философский плюрализм основан на убеждении, что божественное целое не дается отдельному уму. По индийской притче, четверо слепых ощупывали слона. Один пощупал хобот и сказал: слон похож на змею. Другой пощупал клык и нашел сходство с копьём. Третий — брюхо и сравнил его с мешком. Четвертый — ногу: она показалась столбом. Вывод из этой притчи — терпимость к чужим верованиям: все они — метонимии истины, часть, принятая за целое, но часть реальная, живая. Солженицын ссылается на современную науку, достигшую большего, чем древние метафизики; сошлюсь и я на Нильса Бора: “Поверхностной истине проти-

¹ Вестник Российского христианского движения (РХД) 130, Париж, с. 134.

востоит ложь; глубокой — другая истина, также глубокая”.

Общественные науки имеют дело с бесконечно глубоким — с человеческой душой; поэтому точно и однозначно здесь ничего нельзя доказать. “Все гуманитарные науки, — писал Хайдеггер, — да и все науки о живом существе, именно для того, чтобы оставаться строгими, должны непременно быть неточными... Неточность исторических гуманитарных наук не порок, а лишь исполнение важнейшего для этого рода исследовательского требования”¹. Поясню: точность — функция операций с однозначными терминами. Чем однозначнее термин, тем мысль точнее. Можно однозначно высказаться о бензоле, нельзя однозначно высказаться о Николае II, и математика здесь не поможет: неизвестно, что считать. От историка требуется не точность (невозможная в его ремесле), а беспристрастие, свобода от ненависти. Идеал историка — Пимен в “Борисе Годунове”.

Так точно дьяк, в приказах поседельей,
Спокойно зрит на правых и виновных,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не ведая ни жалости, ни гнева...

Этого трудно достичь, но историк не может приблизиться к истине, не сознавая своих пристрастий и не присматриваясь к противоположной точке зрения, явно неприятной, не будучи готов принять крайне неприятный вывод. Ума тут надо не так уж много, скорее смирение. Если его нет, образование не поможет.

Образование не спасает от пристрастий. Оно развивает все человеческие качества, в том числе способность к логическому самогипнозу. Чем однозначнее отправной пункт мысли, тем этот гипноз сильнее. Если мы вглядываемся во что-то внутренне бесконечное, в личность, и не хотим терять ее из виду, то железная дорога логики ни к чему, надо идти пешком и на каждом шагу думать, куда поставить ногу. А если перед нами Ложная Идея или Образ Врага, то остается сесть в вагон и катиться по рельсам. Все больше и больше убеждаясь в своей правоте.

Образование требует внимательно относиться к фактам. Но страсть подсказывает, что факты, не укладывающиеся в концепцию, можно признать второстепенными, сомнительными и т.п. А факты, по которым, как по шпалам, проложены рельсы логики, становятся незыблемыми, коренными, решающими (примеры читатель может набрать в полемике Кожинова с Сарновым). Когда страсть ослепляет, цивилизованный человек ничуть не лучше дикаря. Он (по словам английского этнографа Тейлора) видит то, во что верит, и верит в то, что видит. Так именно видит А. И. Солженицын.

“Под словом “Революция 17-го года” я понимаю некий единый процесс, который занял по меньшей мере 13 лет. То есть от Февральской революции до коллективизации 30-го года. Собственно, только коллективизация и была настоящей революцией, потому что она совершенно преобразила лицо страны. Так вот, я должен сказать, что я за эти 45 лет установил, что процесс совершенно единый... Вот перещупал день за днем и убедился, что уже в марте 1917-го октябрьский переворот был решен, что есть единая линия: Февральская революция — Октябрьская революция — Ленин — Сталин — Брежнев...”³

¹ Хайдеггер М. Время картины мира. Пер. ИНИОН.

² Пушкин А.С. Соч. в трех томах, т. 2, с. 363.

³ Вестник РХД, 138, с. 258.

С марта 1917-го по март 1930-го все predetermined. Однако до марта 1917 г. predeterminedности не было, и, если бы сделать то, что надо, империя Романовых могла сохраниться; сегодня никакой predeterminedности тоже нет, можно вырваться из всемирной истории, уйти на северо-восток и там лет 100–150 залечивать русские раны. Солженицын не замечает, что скачки от индетерминизма к детерминизму и потом опять к индетерминизму совершенно нелогичны и отражают скорее его настроение, чем реальность; что либо свобода воли, свобода выбора есть (тогда она была и в 1921-м, и 1929 гг.), либо ее нет (тогда и сегодня ее нет).

Солженицыну нужно чувствовать себя абсолютно правым в борьбе с абсолютной ложью. Это так и было в работе над "Архипелагом ГУЛАГ". Именно очевидность зла, возможность безапелляционного приговора вдохновляли и захватывали его. Здесь его величие, его подвиг. Но во всем, что написано после "Архипелага", бросается в глаза ограниченность мышления, резко делящего мир на черное и белое, зло и добро. Солженицын берется за историю революции, за отношения между народами... Но революция — это трагедия, в которой обе стороны чувствуют свою правоту; а в отношениях между народами вообще нет ни черного, ни белого — все пестро.

Первые страницы его статьи "Раскаянье и самоограничение" прекрасны. "Разделительная линия добра и зла проходит не между странами, не между партиями, не между классами, даже не между хорошими и плохими людьми: разделительная линия пересекает нации, пересекает партии и в постоянном перемещении то теснима светом и отдает больше ему, то теснима тьмой и больше отдает ей. Она пересекает сердце каждого человека, но и тут не прорублена канавка навсегда, а со временем и с поступками человека меняется"¹. Я готов здесь подписаться под каждым словом. "Мы так заклинили мир, так подвели его к самоистреблению, что подкатило нам под горло самое время каяться: уже не для загробной жизни, как теперь представляется смешным, но для земной, но чтоб на земле-то нам уцелеть"². Опять подписываюсь (впрочем, что-то подобное я сам писал в 1969 г., в послесловии к "Человеку ниоткуда"): И дальше: "Если не вернем себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна и увлечет за собой весь мир"³. Все прекрасно, но, как только доходит до дела, верх берет патриотическая страсть.

"Одна из особенностей русской истории — что в ней всегда, и до нынешнего времени, поддерживалась такая направленность злодеяний: в массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого, и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придется внутреннего, в чем не укорят нас извне"⁴. Таким образом, с самого начала русская вина перед другими народами отрицается "в массовом виде и преимущественно", то есть неприятные факты относятся к мелким (немассовым) и несущественным. Особенно резко подчеркивается преимущественность русских страданий после революции. "Я хочу напомнить А.Д. (Андрею

¹ Из-под глыб. Париж, 1974, с. 118.

² Там же, с. 117.

³ Там же, с. 130.

⁴ Там же, с. 126.

Дмитриевичу Сахарову. — Г.П.), что “ужасы гражданской войны” далеко не “в равной степени” ударили по всем нациям, а именно по русской и украинской главным образом...”¹

Честно говоря, тезис Сахарова — что все страдали одинаково — так же недоказуем, как тезис Солженицына. Где те весы, чтобы взвесить страдания народов? И даже одного человека? Но позиция Сахарова этически плодотворна (отбрасываем все счеты), а доказывать, что мы страдали больше всех, — значит раскармливать обиду.

Как это ни странно, Солженицын убежден, что Божьи весы в его руках, и все у него взвешено, сосчитано, измерено. “Татарское иго навсегда ослабляет наши возможные вины перед осколками Орды. Вина перед эстонцами и литовцами всегда больше, чем перед латышами или венграми, чьи винтовки достаточно погрохали и в подвалах ЧК, и на задворках русских деревень...”²

Покаяние дается Александру Исаевичу только в том случае, если нет никаких взаимных счетов: перед малыми народами Сибири, перед кавказскими горцами. Если же счеты взаимные, то русские всегда чуть-чуть темнее снега, а обидчики России — чуть-чуть светлее сажки. Такие попытки подвести счет обидам непременно ведут к новым спорам и новым обидам, примерно как при полемике между армянскими и азербайджанскими историками. Солженицын провозглашает хороший принцип: “Если ошибиться в раскаянье, то верней — в сторону большую, в пользу других”³. Но он решительно не в состоянии выдержать этот принцип. Переполненный чувством обиды, он легко становится пристрастным⁴.

Творчество И. Р. Шафаревича можно поставить посредине между теорией этносов и теоретическими усилиями Солженицына. В книге “Социализм” предмет берется абстрактно, как постулат, по-сталински: где полностью господствует государственная собственность, там социализм; где этого нет, социализма тоже нет. Таким образом, из социализма выброшен Роберт Оуэн, и в социализм включены эксцессы восточной деспотии; провал некоторых древних царств рассматривается как доказательство, что социализм — воля к смерти. Нет даже попытки взглянуть на социализм как сердечное чувство неудовлетворенности капитализмом и ряд противоречивых, не укладываемых ни в какую формулу, но исторически живучих проектов и попыток приблизить общество к организованности и справедливости. Впрочем, книга Шафаревича может быть полезной как критика административно-командной системы; если Сталин прав, то Шафаревич тоже прав.

Теоретическим ядром “Русофобии” является концепция “малого народа”. “Малый народ” — своего рода пассионарная группа, совершающая революцию. Особенность этой группы — активное участие в ней евреев. Это напоминает “химерический комплекс” Л. Н. Гумилева. Путь к спасению мыслится как освобождение от «малого народа» и объединение вокруг русского светлого прошлого (заменившего светлое будущее). Всякая критика русских политических традиций вызывает острое чувство обиды и рассматривается как ненависть к России и духовное вредительство.

¹ *Континент*, № 2, с. 357—358, 141, 137.

² Там же, с. 141.

³ Там же, с. 137.

⁴ Примеры приводятся в моей книге “Сны земли”, Париж, 1985, ч. 6.

Наиболее содержательная работа Шафаревича — его недавняя статья “Две дороги к одному обрыву”¹. Там есть несколько хороших страниц о кризисе цивилизации. Но тревожное сознание кризиса переплетается с несколькими ложными идеями. Одна из решающих ошибок — злоупотребление словом “утопия”. Дав утопии свое собственное (слишком узкое) определение, Шафаревич не замечает, что утопия — нечто несбыточное, вроде вечного двигателя. Между тем западная цивилизация эффективнее всех прежних. В утопиях XVII—XIX вв. выразились некоторые общие черты западного рационализма. Но из этого не следует, что западная цивилизация в целом утопична. Она перекошена в сторону рационального (“иметь”, “яв”) в ущерб целостному (“быть”, “инь”). Сегодня это на Западе ощущают очень многие и ищут выход из кризиса, ищут с большой энергией. Но идеально уравновешенной цивилизации никогда не было. Они все перекошены — или в сторону динамики (и угрозы развала), или в сторону стабильности (и застоя). Приходится различать разные перекосы — “доброкачественные” и “злокачественные”. Приравнивать их друг к другу — грубая ошибка. Мы действительно перед обрывом, а Запад...

На Западе даже “центрально-административная экономика”² отлично работала в ходе подготовки и ведения войны. Ленин исходил из первого варианта этой экономики, кайзеровского (1914—1918 гг.), и попытался распространить принцип немецкой военной экономики на всю хозяйственную жизнь народа. Через несколько лет стало ясно, что опыт провалился. Отсюда нэп. А потом Сталин ликвидировал нэп и вогнал нашу страну в утопию надолго и всерьез. Во время войны военно-экономическая модель сравнительно хорошо работала, но в условиях долгого мира стала нелепой. Этот пример еще раз показывает, что граница между утопией и творческим нововведением довольно условна, текуча. И нет ничего мудреного в том, что европейские интеллигенты, сочувствующие социалистическому эксперименту, не сразу в нем разобрались. Это загадка только для Шафаревича, в уме которого социализм просто и однозначно определен как воля к смерти.

Другая мнимая загадка — сочувствие Запада борьбе диссидентов за права человека. “Я не помню, — пишет Шафаревич, — чтобы права человека поминались в связи, например, с коллективизацией у нас или “культурной революцией” в Китае”³, с китайской политикой ограничения рождаемости или с разрушением биосферы американской промышленностью⁴. “США существуют за чужой счет — за счет нас и наших потомков, угрожая самому их существованию. Но я никогда не слышал, чтобы такая ситуация связывалась с категорией “прав человека”. Зато ограничение эмиграции (это прежде всего!), запреты демонстраций или партий и связанные с нарушением таких запретов аресты рассматриваются как нарушение столь фундаментальных “прав человека”, что оказывает

¹ См. *Новый мир*, 1989, № 9.

² Наиболее полно описанная, на опыте Германии 1933—1945 гг., в старой книге Gensel, “Zur Theorie der Zentralverwaltungswirtschaft” (я ее реферировал в 1958 г. и сдал русский текст в Институт экономики).

³ *Новый мир*, 1989, № 9, с. 149.

⁴ Проблема эта сама по себе ставилась, и неоднократно; первыми ее поставили сами американцы.

ся препятствием в переговорах по ограничению вооружений или по расширению научных связей. Создается впечатление, что понятие “права человека” не имеет какого-то самоочевидного содержания. Такая неопределенность дает возможность пользоваться этим понятием как полемическим приемом. И в отношении к нашей стране это скорее всего именно такой полемический прием, а сама причина враждебности лежит где-то глубже”¹.

Можно ответить напрямую, что без “прав человека”, без легальной оппозиции, без права Сахарова выступать против правительства и предостерегать Запад от ошибок переговоры об ограничении вооружений не стоят ломаного гроша. Однако мне хочется углубиться в историю и проверить аргументацию Шафаревича на других фактах. Разве лорды, вырвавшие у Иоанна Безземельного Великую хартию вольностей, были самыми обездоленными в Англии? Верно как раз обратное. Но они осознали права личности и потребовали признания этих прав государством. Опыт показал, что именно такой путь, начиная с осознавшего себя личностями меньшинства, исторически плодотворен и приводит к свободе и достоинству для всех. Напротив, движение обездоленных масс может привести в случае победы только к обновлению деспотизма. Г. П. Федотов оценивал так гипотетическую возможность победы пугачевцев. Так практически было при победе крестьянских восстаний в Китае. Вождь восстания, свергнувшего космополитическую династию Юань и основавшего национальную династию Мин, был одним из самых жестоких деспотов в истории Поднебесной.

Права человека, за которые вступался Запад, — это права человека, осознавшего свои права и борющегося за свои права. Запад не вступился за китайских крестьян, убивавших новорожденных девочек, потому что крестьяне оставались в замкнутом кругу китайских обычаев. Но когда китайские студенты потребовали политических реформ и были расстреляны, не протестовал только Советский Союз. Хотя евреев в Китае практически нет, и проблемы еврейской эмиграции тоже нет; так что и восклицательный Шафаревичу знак негде поставить.

Запад откликнулся на события в Китае так же, как в России. Это не интрига, это принцип. Не было никакой общей враждебности к Китаю (синофобии), так же как нельзя объяснить враждебностью к нашей стране (русофобией), что Запад последовательно защищает личность против распухшего государства: Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанскова, Литвинова и Богораз, наконец, Сахарова и Солженицына, когда на них обрушились прямые репрессии сверху и поток клеветы в прессе.

Нельзя сказать, что крестьян, умиравших в 30-е годы, вовсе не защищали. О них кое-что писали, и была целая кампания против советского демпинга (вывоза дешевого зерна и леса за счет голода). Но писали меньше, чем следовало; отчасти — из-за общеполитической обстановки. Страна, рванувшаяся прочь из тупика национальной ненависти, вызвала волну сочувствия, которая не сразу улеглась. А потом сковывал страх потерять союзника в борьбе с Гитлером. Но сказались и ограниченность прессы.

Диссиденты имели возможность и имели мужество нарушить советское табу: Литвинов и Богораз созвали первую в нашей стране

¹ *Новый мир*, 1989, № 9, с. 150. Ср.: *Наш современник*, 1989, № 6, 11.

диссидентскую пресс-конференцию; за ней пошли другие. Запад их не предпочел — они сами предпочли обратиться к Западу. Крестьяне не могли этого сделать. А самих корреспондентов в районы голода не пускали. Когда режим достигает такой тотальности, как сталинский, его не уколупнешь. Корреспонденты получили возможность втыкать свои персты в язвы только после того, как язвы эти полуоткрылись, то есть после известной либерализации. Они докалывали то, что уже само по себе трескалось. А в 30-е годы достоверных фактов не хватало. Слухи опровергались. В советских газетах печатались фотографии упитанных немцев-колонистов, уверявших, что никакого голода на Украине нет. Я эти фотографии помню. Хотя им не верил (у меня была своя "неформальная" информация с Украины). А левые интеллигенты, захваченные своими проблемами, могли закрывать глаза на "отдельные перегибы". Так же как антикоммунисты — на 500 тыс. коммунистов и китайцев, вырезанных в Индонезии в 1965 г. Во всех партиях та же ограниченность партийного сознания...

И. Шафаревич считает русофобией всякую попытку исследовать, почему Россия первой бросилась в утопию. Он цитирует прекрасную работу Ксении Григорьевны Мяло "Оборванная нить"¹ в доказательство того, что утопия была России навязана. Но статья Мяло посвящена староведам, то есть очень малой части русского крестьянства и русского народа, сохранившей допетровскую культуру и в то же время накопившей динамизм угнетенного и преследуемого меньшинства, чего-то вроде диспоры. Столыпин не рассчитывал на эту уникальную группу и сделал ставку на отруб, то есть на переход от крестьянина к фермеру. Я верю на слово Ксении Григорьевне, что стоило попробовать программу Чаянова и что она лучше бухаринского ТОЗа (товарищества по совместной обработке земли). Но мне кажется, что это вряд ли сохранило бы традиционный крестьянский "мир" во всей России. Та или другая форма сельскохозяйственной кооперации — альтернатива ферме, проверенная опытом нескольких стран, — не меньше, чем частное хозяйство, опирается на науку (а не на космическое чувство. Крестьянская цивилизация ни в одной стране не устояла перед промышленным переворотом и НТР). Статья Мяло — конкретное исследование; оно доказывает, что старoverческие общины могли бы уцелеть. Хочется в это поверить. А у Шафаревича в идеологической системе то, что у Мяло верно, становится неверным. Никакие частные парадоксы не способны упразднить логику исторического развития, которая все больше отделяет человека от непосредственного и бессознательного (или мифологически осознанного) единства с природой и в то же время требует восстановления единства через культуру созерцания, искусство и культ. Выходом из позднеантичного общества масс было не возвращение к племени, а христианская церковь, создавшая внутреннее духовное пространство в огромном обезличенном мировом городе — Константинополе. И сегодня возвращение в деревню возможно только в случае гибели 99% человечества от какой-нибудь катастрофы (примерно как в Западной Римской империи). Если не погибнут наши города, наши нации, наши средства связи, становящие земной шар в один клубок, попытки перенести в этот мир деревенскую психологию заранее обречены; и отвращение В. И. Белова ко всему чуж-

¹ См: Новый мир, № 7.

дому деревне — тупиковая линия развития. Плодотворный путь — переключка с другими странам, ищущими выход из “переразвитости”. Там есть течения, создающие новые связи с целостным и вечным взамен разрушенных. Решающая проблема всей мировой цивилизации — как создать чувство полноты жизни и творческое состояние у горожанина, только изредка восстанавливающего прямой контакт с природой. Впрочем, здесь нет возможности подробно разрабатывать эту важнейшую тему¹.

Вернемся, однако, к истории России. В ней было не только патриархальное крестьянство со своим космическим чувством, но и опричнина, и реформы Петра, и военные поселения, и другие взрывы административного восторга. Командно-административная система побеждает не во всех странах, а только в странах с традицией административного восторга; побеждает в России и Китае, но не в Англии и в Индии. Заражение идеей подобно заражению туберкулезом. Кроме палочек Коха, нужно еще отсутствие иммунитета. У России не оказалось иммунитета к прыжку в утопию. И это не следствие внешнего давления. Это коренное, медленно, веками складывавшееся свойство. Оно существовало уже в прошлом. Угрюм-Бурчеев и ретивый начальник не инородцы.

Шафаревич цитирует “русophobic” стихи давно забытых революционных поэтов, но разве это первый случай? Разве своего рода “мизопатрии” (как назвал это свойство Г. П. Федотов) не было в петровских ножницах, стригших боярские бороды? В декретах Конвента? В Красной гвардии председателя Мао?

Очень важно понять, к чему мы возвращаемся и от чего отталкиваемся. Не только от чужого отталкиваемся — но и от своего (глуповского). Не только к деревенскому возвращаемся, но и ко всемирной отзывчивости, к чувству связи со всем духовно ищущим миром. И. Шафаревич выступает против того, что он называет схемой, но преувеличение западной рассудочности и бездуховности — тоже схема. Чрезмерное копирование западных образцов нам пока мало грозит. Пока что мы совершенно недостаточно перенимаем чужой хороший опыт и настаиваем на своих доморощенных проектах (вроде процеживающих комиссий на выборах). И есть опасность, что старый вечный двигатель (прогрессивный) будет заменен новым вечным двигателем (консервативным, с идеалом вечной Тимоники). В этом духе прочитался мне конец статьи: “...возможно по крайней мере освободиться от мертвых схем... Одной из таких схем и представляется мне противопоставление командной системы западному пути как двух диаметрально противоположных выходов, из которых только и возможен выбор”¹.

Нет слов, все европейское (и американское) надо подгонять по своему росту (как это успешно сделала Япония). Но не дай Бог опять попытаться выпрыгнуть из истории, полной опасностей, и заняться разработкой вечного двигателя, который и естественную среду не погубит, и нравственность укрепит, — и все это только на бумаге, а работать не будет. И опять придется искать вредителей, подсыпающих песок в шестеренки, и сочинять еще одну “Русофобию”.

И. Р. Шафаревич вполне логичен. Но он логичен в рамках чересчур прямолинейной логики, неприложимой к явлениям истории. Судя по

¹ *Новый мир*, 1989, № 9, 165.

интервью в "Книжном обозрении", мир резко делится для Шафаревича на черное и белое. Белое — это ностальгический образ царской России, сложившийся в детстве при чтении старых книг из отцовской библиотеки. Черное — это разрушители белого царства, которых с детства возненавидел неугасимой детской ненавистью, — и так на всю жизнь. У этих черных людей не было светлых мотивов; они не боролись со злом, они сами эссенция Мирового Зла. Это евреи и либералы. Ненависть к евреям выражена в "Русофобии", на страницах "Книжного обозрения" достается либералам. Они виноваты во всех несчастьях человечества, например не консерваторы, а либералы искали соглашения с Гитлером. "Черчилль перед войной своевременно предупреждал об опасности со стороны Гитлера. Но английские либералы только рисовали на него карикатуры"¹. Видимо, и Гинденбург, и Папен, подсадившие Гитлера в канцлеры, тоже кажутся Шафаревичу либералами; и Невилл Чемберлен, подписавший мюнхенские соглашения, тоже либерал (хотя все-таки он ничуть не либеральнее Черчилля; только трусливее).

У Шафаревича глаза дальтоника. В сложном переплетении цветов времени он видит ярче всего то, что с детства ненавидит, и этот ненавистный цвет заслоняет для него все прочие. Мысль Шафаревича какая-то однокрылая. Из его картины кризиса старого режима совершенно выпали гниение и внутренний распад монархии. Читаешь, и хочется поверить, что мы с Горемыкиными и Штюмерами благополучно дожили бы до 1989 г., — лишь бы Милюковы и Керенские держали язык за зубами. То же самое во Франции XVIII в. (наверное, и в Англии XVII в., и в Голландии XVI в.; наверное, и римляне ошиблись, что свергли Тарквиния; все равно ведь пришлось вернуться к монархии). Когда эта философия истории переносится на Съезд народных депутатов, становится непонятным, кого я читаю: не оратора ли несравненного большинства?

"Память" для Шафаревича сопоставима с народными движениями Прибалтики. Выносятся за скобки, что одного из лидеров "Памяти", Васильева, пришлось предупредить насчет ответственности в случае погрома. Так что напрашивается параллель скорее с азербайджанским обществом "Родина" (которое, к сожалению, вовремя не предупредили), но различие между цивилизованной национальной сплоченностью и истерикой ("наших бьют") можно считать несущественным и выдвинуть другой критерий: "за" и "против" империи. Общество "Память" — за империю, прибалты — против. Я считаю сохранение империи бессмысленным и обреченным делом, я двадцать лет ратую за освобождение русского духа от имперской спеси — поэтому я русофоб. Логика железная. Как сказано у Шекспира, "в его безумии есть своя система".

Почему эта система оказалась привлекательной для нескольких сот тысяч читателей? На это есть несколько ответов, которые не исключают, а дополняют друг друга.

Первый ответ — Фазиля Искандера: "Когда общество отнимает у человека его социальное достоинство, национальное достоинство начинает раздуваться, как раковая опухоль. Общество должно вернуть человеку его социальное достоинство, и тогда националистическая опухоль сама рассосется"¹.

¹ *Книжное обозрение*, 1989, № 34, с. 7.

² *Знамя*, 1989, № 9, с. 54.

Второй ответ — Мариэтты Чудаковой: “Я бы опять начала со слов о русском народе. Его положение стало по-настоящему трагично. Им действительно потерян пафос, и с этим связано, возможно, какое-то прямо не выявленное, бессознательное чувство зависти, что ли, к соседним народам, многими из которых сейчас владеет ощущение, что они завоевывают мирными путями собственную землю, — это и держит их в патетическом состоянии. Скажите, пожалуйста, у кого отвоевывать русскому народу России? Его лишили, в сущности, своей страны — и при этом совершенно не у кого ее просить или требовать обратно... Я назвала бы это историческим ужасом. И, не осознавая его, многие склонны обвинять другие народы.

Но есть и те, кто отдает себе во многом отчет и все же продолжает раззадоривать людей, усугубляя этот ужас, — их я слушаю и читаю с горечью. Вернуть себе волю к созидательному, а не разрушительному действию — вот что нам предстоит”¹.

Академик Тихонов внес в рассмотрение проблемы социологический аспект, допускающий количественные оценки. Он пишет: “Русский народ всегда жил в положении раба (как народ). И психология раба до сих пор имеет место. И продолжает жить, как бы точнее сказать, вера, возникающая из вечного страха перед правительством”². По подсчетам В. А. Тихонова, 20% современных русских крестьян готовы на риск и ответственность свободы; остальные 80% (или по меньшей мере 60%) предпочитают колхозное ярмо с обеспеченным прожиточным минимумом. Нужно четверть века, чтобы воспитать новое поколение, чтобы вывести народ из страны рабства. Это настолько неотложная, настолько мучительная проблема, что было бы безумием поддаться на волю патриотов, которым рабство нужно и привычно, а невыносимо только слово “раб”.

Повышенная национальная обидчивость, переходящая в агрессивность, — подсознательно найденное средство сохранить чувство самоуважения, оставаясь рабом. Сталин прямо целил в это, назвав русских старшими братьями, и попал в точку. Его политика вызвала массовую поддержку — и сейчас находит в “Москве”, “Молодой гвардии”, “Нашем современнике”. Тут нельзя все объяснить прямой, денежной корыстью. Важнее более тонкая, духовная корысть — потребность во внутреннем комфорте. Обидчивость многих наших патриотов, читателей Шафаревича, подтверждает то, что он пытается опровергнуть, что нам еще надо по капле выдавливать из себя раба.

С этой моральной задачей переплетается интеллектуальная: освобождение от черно-белого мышления, от привычки помещать все зло в одном месте.

Несколько лет назад в “Вестнике РХД” была опубликована статья М. Бернштама — статья, в которой геноцид рассматривался как типическое порождение социализма. При этом ни автор, ни редактор (Н. А. Струве) не заметили, что младотурки, давшие приказ вырезать армян, не были социалистами; да и его величество кайзер Вильгельм II, войска которого истребляли гереро (в Юго-Западной Африке), тоже не социалист. И ликвидация известных классов (к чему действительно тяготеют

¹ *Литературная газета*, 1989, № 38, с. 3.

² *Огонек*, 1989, № 36, с. 3.

некоторые социалистические маньяки) отличается от истребления армян или евреев примерно так же, как гражданская война — от войны между нациями. Одно дело — геноцид (полное истребление опасного племени), а другое — стратоцид (ликвидация опасного класса). Первое старо как мир (следы его можно найти и в Библии, и у Нестора-летописца: "Погибоше аки обре, их те несть ни племени, ни наследка"). Второе действительно принесено в мир социализмом. Но вовсе не все зло! И бессмысленно надеяться что разрыв с коммунизмом означает разрыв со злом. Зло гораздо хитрее и проникает в мир разными, противоположными путями...

Но человеку ужасно хочется поместить все зло в одно место, в одну идею, порвать с ней и почувствовать свободу от зла. Это заложено и в яркой, увлекшей многих читателей статье Аллы Латыниной "Колокольный звон не молитва"¹. Призрак коммунизма гуляет там по земле, нигде не укореняясь, не приобретая никаких местных, национальных черт. Ни характер народа, ни характер кормчего не имеют значения, только идея. "Последовательность, с которой и в других странах находился свой Сталин, выступал ли он под именем Мао Цзэдуна или Пол Пота, заставляет задуматься: а так ли уж много зависит в истории от грубости вождя?..²

Индукция здесь неполная. Прибавим пару имен: Гитлер, Хомейни. И сразу видно, что разные идеи (социалистическая, национальная, религиозная) ведут к сходным последствиям. А если поразмыслим, то можно добавить: одна и та же идея в разных странах (или в разные эпохи) дает разные следствия. На основе идей Маркса и Энгельса в довоенной Европе сложились мирные, рассчитанные на парламентские прения социалистические партии. Партия нового типа, готовая к захвату власти, была единственным исключением во II Интернационале. Но началась война, поднялась всемирная волна ненависти, и на ее гребне всюду вынесло вверх радикалов. Оберштурмбанфюрер Лисс довольно убедительно доказал Мостовскому, что разница между левыми и правыми радикалами не очень велика. Решала не идея, а радикализм идеи.

Строго говоря, и у Сталина, Мао, Пол Пота не совсем одни и те же идеи. Сталин раскрестяниввал крестьян. Пол Пот деурбанизировал горожан. На социально-политическом уровне это прямо противоположные идеи. И вот если перенести идею Пол Пота в Россию, то кто к ней ближе? Михаил Шатров или Василий Белов? Деурбанизация и деверстернизация прямо вытекают из ряда выступлений Белова, Распутина; прибавим идею десионизации, выраженную метафизически, в притче Белова о муравейнике³ и в его же "Годе великого перелома"⁴.

Человеческая мысль много раз ломилась в открытую дверь и подталкивала в Лету идеи, которые и без того в нее падали. А потом снова начинался опасный поворот: не со старой идеи, а с новой ситуации. Исторический процесс выбивает народ из привычных условий жизни, создает чувство беспомощности, затерянности, страха — и складывается Шанургово стадо. В Германии 1933 г. решающую роль сыграл экономический кризис, в Иране — психологический (неспособность вынести шахиню в мини-юбке и американские эротические фильмы). В обстановке нараст-

¹ См. *Новый мир*, 1988, № 8.

² Там же, с. 233.

³ См. *Новый мир*, 1988, № 5.

⁴ См. *Новый мир*, 1989, № 3.

тающей истерии возникает своего рода социальный СПИД — отсутствие иммунитета к лжепророкам. Там, где иммунитет сохранился, где господствует плюрализм, идеи критически оцениваются, а лидеров критически выслушивают, и ничего страшного не происходит.

Второе условие катастрофы — “харизматический лидер” (М. Вебер), “пассионарий” (Л. Гумилев), человек, который “знает, как надо” (А. Галич). Настолько знает, что заражает своей верой массу.

Третье условие — великая цель. Цель, во имя которой необходима война с Врагом (загораживающим путь к цели). Эта цель остается в области идей и практически не достигается. Важно, однако, обаяние Светлого Будущего, некое “во имя”, ради которого хороши все средства.

Идеи, способные сегодня ввести общество в состояние транса, — это не те идеи, которые когда-то соблазнили шариковых. Те давно уже на кладбище идей. Рывок назад, к тоталитаризму, из которого мы только начали вылезать, на сегодняшний день возможен под сегодняшним знаменем: за экологическое равновесие, за спасение от наркомании и алкоголизма, от коррупции, от аэробики и рок-н-ролла. Если все равно — четвертование или шельмование (то есть все равно, террор или гласность), — то почему не вернуться к террору и старыми испытанными методами не навести порядок? В этом пункте генерал-полковник Родионов и писатель Валентин Распутин сошлись во взглядах. И обоих провожали бурные, продолжительные аплодисменты несравненного большинства.

Нельзя спастись от катастрофы, изъяв из обращения опасную идею. Опасны все идеи; во всяком случае, очень многие. Если атмосфера насыщена парами бензина, любая искра способна вызвать пожар. Спасение только в плюрализме, то есть в понимании условной, неполной истинности всех идей: политических, религиозных и философских. Спасение в личности, свободной от магии идей, в личности, которая не бросится, как овца, за бараном Панурга.

Скажем еще раз: теория этносов и другие (гораздо более примитивные) концепции периода застоя захватили умы на фоне общего желания выпрыгнуть из материи; не только из материи истории — из всякой материи. Общество вело себя как больной неизлечимой болезнью. Оно жаждало вечности и обращалось к Богу, а через минуту бросалось к знахарям и колдунам; оно думало о черной магии (которая его погубила) и о белой, которая его спасет. И все смешивалось в один клубок: Бог, колдуны, знахарки, гадалки, гороскопы, этносы, велесовы книги, протоколы сионских мудрецов... Рядом с возрождением великих традиций «серебряного» века шло возрождение малой традиции предреволюционных лет, бытовавшей среди обывателей. И кандидат наук, только что вытвердивший свой минимум, простодушно клевал черносотенную мякину.

Выросло целое поколение, не знавшее ветра истории; поколение, которое росло не в огне войны, не в испытаниях следственных камер, а в трясине. Те, кому сейчас 30, 40 лет, раньше нас многое поняли — но у них нет воли. Я говорю, конечно, не обо всех и каждом, но очень многие из этих 30–40-летних привыкли, что сделать ничего нельзя, а потому и пытаются не стоит и надо ждать светопреставления, остановить которое все равно не в наших силах. Дух пробивался сквозь эту тину и плесень с огромными потерями. Миллионы погружались в алкогольный туман и мифологию, замешанную на ненависти. Немногие слушали музыку

Пярта и Шнитке, смотрели картины Вейсберга, Казьмина. Десятки тысяч ходили на выставки Ильи Глазунова.

Вот несколько строк из записок недавно погибшего художника Владимира Казьмина:

“Оказавшись в ситуации глубочайшего душевного кризиса, цепenea от ужаса одиночества и не имея возможности спрятаться, забыться и убежать, я стал, как тонущий, хвататься за соломинку, и соломинкой этой оказалось запомнившееся мне однажды стихотворение Лермонтова “Молитва”. В том состоянии, в котором находился, я даже не мог понять смысла того, что говорил, а только повторял эти стихи снова и снова, бормоча их почти бессознательно, вкладывая в них только то, что осталось у меня, — надежду. Перемену, которая стала происходить во мне, трудно описать, да это и незачем... Сейчас, спустя годы, я могу уже определенно сказать, что в состоянии, в котором я находился в тот момент, смысл проговариваемого мною был мне вначале совсем неважен; это была встреча с первозданной скрытой силой ритма, как в заговорах, причитаниях или детской тарабарщине. Но постепенно из недр этой тарабарщины появилось чувство, оно согрелось от повторов, как от трения, и с дыханием заструилось вверх, коснулось ума. Тогда уже появился проблеск осознания, скрытый смысл, все собралось, стало единым и связанным. Тело соединилось с умом через тепло и ритм сердца — слово вернуло меня к жизни, с ним пришел свет.

Может быть, с того времени поэзия для меня стала делиться на просто поэзию и такую, на которую можно опереться в трудную минуту, которая способна прийти на помощь. Я стал искать стихи, в которых слово и ритм обладают особой силой, соединены в особом союзе, стихи, способные собрать рассыпающуюся иногда на части психику и исцелить ее, вернуть к бытию. Таким словом, мне казалось, можно возвращать к жизни и отнимать жизнь. Можно возрождать из пепла и превращать в пепел то, что достойно им стать, можно преображать и строить, через такое слово можно “стать”...

Испытывать это мне лучше всего удавалось тогда, когда мне было действительно плохо, когда обстоятельства загоняли меня в угол и не было выхода, когда не на кого было опереться и уходила из-под ног почва, — тогда со всей страстностью опирался я на самого себя, того себя, которого я еще никогда не встречал, просил его прийти, звал его, призывал ему, прибегая к этой могущественной силе слова, и тогда... свершалось то, что я называл чудом”.

Бросается в глаза, что глубина, в которой Казьмин находил “того себя, которого... еще никогда не встречал”, лежит по ту сторону здравого смысла. Но на такой глубине без привычных ориентиров очень легко запутаться. Тибетская “Книга мертвых” предостерегает против соблазнительных огоньков, вспыхивающих за порогом обыденного, — гораздо более ярких, чем свет освобождающей истины. И опыт массового вовлечения интеллигенции в иррациональные глубины оказался подтверждением этой старой истины. Куда только не попадали искатели тайн...

У Казьмина был природный дар различения духов. Но это довольно редкий дар, совершенно не совпадающий с общей одаренностью. Многие гении прошлого века не избежали великих соблазнов; и вместе с воскресением традиции начала века соблазны его также воскресли. Каждый кружок экспериментировал по-своему. Были даже такие кучки, где пок-

лонялись дьяволу и радение начиналось с песни гитлеровских штурмовиков "Horstwessellied". На поддороге в глубину сбивчивая интуиция, перемешанная с воображением дурного вкуса, создавала призраки, и место выветрившейся идеологии занимали мифы XX столетия, гибриды полунатуки с голосами темного подсознания.

В 1918 г. П. А. Флоренский с болью вспоминал Вакенродера: "Кто верит какой-либо системе, тот изгнал из сердца своего любовь! Гораздо сноснее нетерпимость чувствований, нежели рассудка: суеверие все лучше системоверия"¹. Прошло 70 лет — и мы видим (если хотим видеть), что ярость борьбы с рационализмом, торжество иррационального чувства, национальных, расовых, религиозных антипатий и суеверной интуиции ничуть не лучше мнимо рациональной утопии. Гитлеровский иррационализм не лучше сталинского рационализма.

При строго охраняемом морально-политическом единстве национальность — единственное удостоверенное паспортом отличие одного советского человека от другого — стала ведущим неформальным принципом. И все обиды и все ожидания стали стекаться в национальное русло². Нации стали политическими группировками. Начался процесс отчуждения окраин от замороженного центра; движение части евреев за отъезд было только индикатором глубинного процесса. Народы Земли уезжали незримо в свое национальное и религиозное прошлое. Кто-то неловко сравнил эмигрантов с крысами, бегущими с тонущего корабля. Корабль империи дал течь. Людей, не лишенных смутного исторического чутья, охватил страх надвигающейся катастрофы. И все стали бояться чужаков, возможных вредителей в возможных катаклизмах. Фазиль Искандер создал поразительно емкий для понимания современности термин: "индурец". Индурцы презратились в какое-то мифологическое страшилище, в воплощенного дьявола. И появились рыцари вроде И. Р. Шафаревича, бросившиеся в бой с драконом.

Переплетались два процесса — прорыв к чистому свету вечности и захваченность болотными огнями ненависти и мести. Те самые люди, которые жаждали подлинной глубины и источников нравственного обновления, попадали в тупик национальной ограниченности и чуждества.

Сочетание гуманизма с антигуманизмом, мышкинской любви и рогожинских вспышек ненависти — все это уже было в Достоевском. Окруженный рационалистами XIX в., он нес в себе весь хаос XX в. Достоевский переломил влияние официальной идеологии в моем развитии. Свет, шедший через его романы, помог мне стать самим собой. И темные порывы его я чувствую, как облака, ненадолго заслоняющие солнце. Однако публицисты "Веча" и "Памяти" тоже опираются на Достоевского и цитируют его точно, не перевирая. Так же как сейчас активисты "Памяти" точно цитируют Распутина и Белова.

Достоевский — бессмертный образец одаренности, вырвавшейся по ту сторону здравого смысла. С этого выхода по ту сторону здравого смысла начался его второй, главный период; и я с 1938 г. отстаивал освобождающее влияние иррационализма, отказа от всяких схем и систем в художественном творчестве. Но мне казалось и кажется безумием

¹ Ф л о р е н с к и й П. А. У водоразделов мысли. — В сб.: Эстетические ценности в системе культуры. М., 1986, с. 114.

² Отсюда сердечный отклик, который вызывало слово "этнос". Раньше такой отклик вызывало слово "класс".

переносить иррационализм в решение социальных и политических проблем. Здесь куда лучше держаться научных методов.

В сознании, перешедшем через порог здравого смысла, есть какая-то повышенная неустойчивость, повышенная подверженность искушениям, повышенная готовность поверить Бог знает во что, поддаться Богу знает каким страхам... В период застоя и гниения положительные характеры куда-то подевались, исчезли с авансцены. Не было дела, способного призвать их. Выдвигалось вперед хаотическое, пьяное, беспорядочное. И народная анархия уравнивалась правительственным деспотизмом.

Н. А. Бердяев и Даниил Андреев писали о каком-то особом русском страхе Антихриста. Андреев находит исток этого в мучительном впечатлении от второй половины царствования Ивана Грозного. Идея подмены святыни оформилась позже, после реформ Никона и Петра, но в неявной форме она сказалась еще в Смуте. Сходные страхи и сходные образы клубились в забегаловках брежневских лет, в героях "Привычного дела" В. И. Белова — и, как оказалось, в самом Белове. Сталинские победы и сталинские зверства хотелось отделить, приписать двум разным существам и даже сущностям. Этой потребности превосходно отвечал миф о новом Антихристе — жидомасонах.

Массовое сознание неохотно приняло правду о преступлениях генералиссимуса и легко согласилось с его реабилитацией. Но куда было девать память о чем-то чудовищном, совершившемся с нами, и чувство нарастающей катастрофы? Нужен был мифический злодей, и он был найден: там именно, куда показывал Сталин, — в кампании по борьбе с космополитизмом, в деле врачей. Некоторых писателей—"деревенщиков" этот процесс подхватывал и снизу, стихийными волнами народных суеверий, и сверху — через редакцию "Нашего современника", через антисионистские книги и статьи В. Бегуна, Е. Евсеева, В. Емельянова, А. Романенко, В. Скурлатова...

Страсть к поискам виноватого принадлежит прошлому, она коренится во времени, когда творческие силы были скованы, сделать нельзя было решительно ничего путного, и праздное внимание захватил бесплодный вопрос: кто загубил Россию? Сейчас снова выдвинулся вопрос: что делать? Как только мы повернулись к нему, Шмелев или Попов на каждом шагу спорят с Беловым и Распутиным. Но консерваторы сохранили преимущество застоя — внимание к вечному. И общество оказывается перед ложным выбором между извращенной духовностью и рациональной бездуховностью. Потому что схемы прорабов перестройки захватывают ум, но ничего не говорят душе.

Можно спокойно принять этот раскол, как христиане приняли фактический раскол церкви. Но мне кажется, что духовный выход из застоя невозможен без переоценки ценностей, без выхода к новому религиозному сознанию, без заново провозглашенной открытости вселенскому духу, смывающему обиды.

Я думаю, что единственный способ действительно покончить со счетами между народами — это разделить и дебет, и кредит на бесконечность, свести к нулю. — Это означает ли это конец народной памяти? Нет! Но совсем не одно и то же — память обид и память ошибок, память помрачений, охватывающих народы. Чем глубже эта память, тем больше стыд за свои грехи и снисходительность к чужим.

Зарубки стыда были моими личными заповедями. Думаю, что так же

складывались и общие заповеди. Что до обид, которые мне причиняли, то через несколько лет я их не помню. То есть могу вспомнить как факты, но живой памяти обид нет. И совсем дико мне кажется спрашивать с живущих за давнее прошлое. Никаких справедливых счетов между народами нет, не было и не может быть. Возможно другое: прощение. Не ограничивать надо свои обиды (как предлагает Солженицын), а простить. Это старая идея, провозглашенная еще 2000 лет назад, но ничего лучшего не придумано.

Чтобы не излагать свою мысль абстрактно, попробую разобрать пресс-конференцию Адамовича, Климова, Окуджавы и Распутина в Западном Берлине 6 марта 1987 г. Начну с реплики Элема Климова: "Информационные функции нашего телевидения резко изменились, но когда оно выполняет развлекательные функции, то иногда становится страшно. Особенно в такие праздничные вечера или ночи, когда люди отдыхают. Иногда такое ощущение, что наступил праздник дьявола. Через телевидение часто можно почувствовать, что апокалипсис приближается. И от вашего телевидения... такое же ощущение"¹.

"Вот Элем Климов здесь говорил о советском телевидении, — подхватил Распутин. — Когда оно дает развлекательные программы, то впечатление такое, что балом правит сатана. Бывают иногда такие минуты, когда кажется, что праздник дьявола состоялся уже и в народе тоже. Я говорю сейчас не о народе и его мировоззрении. Не о народе, а о населении. Потому что глянешь, что делается вокруг, и это действует так угнетающе, что уже не хочется ничего делать — ни в литературе, ни в чем другом..."²

Если не говорить о наивной попытке опереться на народ и его мировоззрение, когда население увлек сатана, этот вопль ужаса, во всей его непосредственности, мог бы вырваться и у меня.

Раскол начался после вопроса Адамовича: "Мы найдем сотни, тысячи произведений, где ставится проблема: должен ли человек жертвовать собой ради народа. Сегодня бомба поставила проблему, о которой страшно даже и сказать, а между тем это вполне возможная ситуация. Возникает вопрос: должен ли собой жертвовать народ ради человечества?"³

«Чтобы говорить о человечестве, — возразил Распутин, — прежде всего нужно говорить о своем народе. Это и есть польза человечеству. Это не ради дискуссии, а просто я верю в слово "народ"»⁴.

По сути дела, Распутин отказался обсуждать ситуацию атомного века. Он закрыл глаза на вопрос, ответа на который "народ и его мировоззрение" не знают, не успели нажить.

Адамович навестил друга, командира атомной подводной лодки, и спросил его: "Представь себе, что кто-то там нажал кнопку и вся половина человечества, наша половина, уничтожена. Теперь тебе придется решать, ответишь ли ты тем же, нажав кнопку. Как ты поступишь?" А женщины сказали: "Конечно, они же наших всех убили". В них, в этих женщинах, говорит опыт и мышление и эмоции прошлой войны... Сейчас проблема стоит по-другому: "Они тебя уничтожают, а ты должен уничтожить вообще все человечество". Потому что твой ответный удар — он

¹ *Форум*, 1987, № 17, с. 217.

² Там же, с. 218.

³ Там же, с. 220.

⁴ Там же, с. 222.

ведь убьет все человечество"¹.

Пока народ остается нашей высшей ценностью, мир на краю гибели. Человечество может спастись только в том (трудно вообразимом) случае, если народы согласятся остаться со страданиями неотомщенными и даже за гибель свою не захотят мести. Как тот безвестный еврей, узник Дахау, молитва которого, записанная на клочке оберточной бумаги, была после войны напечатана в "Зюддойче цайтунг" и оттуда попала в проповедь митрополита Антония Блума:

"Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников...

Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе... Прими во внимание добро, а не зло. Пусть мы останемся в памяти наших врагов не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего большего мы не хотим от них".

Когда я прочел этот текст на вечере в память жертв варшавского гетто весной 1988 г., многие были недовольны. Они хотели разговора о героических подвигах. Но человечество может спастись только отказом от подвигов, только готовностью на риск мира, только решительным выбором Христа, а не Варравы. Это не вопрос вероисповедания, потому что христианство как вероисповедание вряд ли больше следует Христу, чем буддизм или иудаизм². Это вопрос к разуму и сердцу каждого человека, в какой бы стране он ни жил, большой или маленькой, и какая граница для него самая горячая: по Эльбе, по Лимпопо или по Голанским высотам?

История не только развитие производительных и разрушительных сил. Это еще прогресс нравственных задач. Если разрыв между задачей и ее исполнением слишком велик, цивилизация гибнет. Классовая борьба и борьба идеологий подвели нас к порогу гибели, и, поменяв класс на народ, мы не отодвинулись от пропасти. Народы помнят прошлые победы, когда за Марафоном следовал Эсхил, за Бородиным — Пушкин. Народы очень медленно сознают истины, высказанные 2—2,5 тысячи лет назад, и совсем не понимают, что сегодня надо подняться до вселенской солидарности — или мы погибли. Те, кто сегодня ставит народ (какой бы то ни было народ) на первое место среди своих святынь, повторяют суд первосвященника: "Лучше пусть погибнет один человек, чем весь народ". Повторяют, когда несравненное большинство вопит "распни его!" — и голос истины был голосом затравленного одиночки. Повторяют, когда патриархального народа с его патриархальными добродетелями давно нет и "население", "масса" формируется в новый народ только вокруг одиночек, через которых, устами которых глаголет вселенский дух.

Сознание бесконечной глубины личности и соборное сознание человечества идут рука об руку. Это почувствовал Окуджава, возражая Распутину: "Я хочу понять для самого себя, что такое в конце концов "на-

¹ Там же, с. 220—221.

² Мало кто выдержит критерий св. Силуана Афонского: тот, кто не любит своих врагов, не христианин; он вне Бога, он слуга для вола (ср.: Арим, Софроний, старец Силуан. Париж, 1952, 2).

род". Понятие это у нас... очень распространенное, и под знаком этого понятия не только создавалась великая литература, но и творились очень серьезные злодеяния... У нас... за многие годы исчез институт уважения к личности. Для меня... лозунг восстановления этого института является самым главным... Если мы научимся уважать личность, тогда мы научимся уважать и народ, и человечество"¹.

Я думаю, перед Россией эти проблемы стоят острее, чем перед любой другой страной. Малые страны, например, почти не несут на себе бремя глобальной атомной ответственности. У них нет в руках средств, способных погубить мир. Сплошь и рядом нет средств даже для самого необходимого, и думать о мировых проблемах некогда. У нас в таком положении многие союзные и автономные республики и области. С них нет спроса, а с России есть. И потому русский не вправе любить свою страну той слепой любовью, которая протительна жителю Намибии, Кампучии или Карабаха. Я читал обиженные реплики зарубежных русских: почему нам нельзя любить свою родину так, как поляку или чеху? Почему нас сразу обвиняют в шовинизме? Потому что Россия — империя. Потому что Россия — атомная сверхдержава.

Речь идет не о бесправи в любви, а о невозможности отвлечься от мировой ответственности — и еще об одном: об ответственности перед мировым в своей собственной культуре. Ибо культура, которую получил в наследство носитель русского языка, — одна из самых вселенских. И по своему прошлому, и по своим возможностям.

Существует привычка (идущая от полунаучного атеизма) сводить национальное к народному и языческому. Это создает совершенно ложную перспективу исторического процесса. Современный мир был бы невозможен без открытости чужому и новому, без "всемирной отзывчивости", внесенных в жизнь племен и народов мировыми религиями. Мировые религии дали многим народностям и племенам первый толчок, с которого начался процесс формирования открытых этнических организмов, перекликающихся друг с другом в воплощении общих ценностей всего культурного мира. Это и есть нации. Поэтому национальное уже само по себе, по своей сути содержит в себе общечеловеческое и мировые нации суть те, в которых сильнее слышится вселенский призыв.

Возрождение России означает возрождение открытости, "всемирной отзывчивости", и в том числе отзывчивости к требованиям малых народов, живущих на краю исчезновения, небытия культуры. Совесть русского интеллигента не может не поддерживать борьбу, которую вели Григоренко и Костерин, вел Сахаров, — против имперского гнета, за угнетенных, за обездоленных.

Русскому не приходится бороться за внешнюю независимость. Его гнетет свое собственное имперское государство. И освобождение народов от имперского гнета неотделимо от освобождения личности в России. Малым народам нужна внешняя национальная консолидация, России — вселенский дух и свобода личности. Я убежден, что Россия на это способна — хотя не могу поручиться, что она справится с этой задачей. За это — традиции духовного взлета прошлого века. Против — зигзаг в сторону староверческой замкнутости. Стремление выращивать в себе специфически русское кажется мне смешным. Я лучшего мнения о

¹ *Форум*, 1987, № 17, с. 222–223.

жизненности русского духа, чем наши почвенники. Если мы вернем себе "всемирную отзывчивость"; если освободится и расширится творческая личность; если мы будем прислушиваться к вечности, не затыкая уши от шума времени, думать о вечном и писать об этом по-русски, живым современным языком — сама собою расправится русская культура и одновременно вступит во владение своим прошлым и своими мировыми связями. Только такая культура сможет играть роль посредника между малыми народами Евразии и всем миром — и сохранить в Евразии присутствие русского языка.

КИТЕЖАНЕ

Из записок русского интеллигента

Тиран погиб тиранства жертвой,
Замолк торжеств и славы клич,
Ярем позорный прекратился,
Железный скиптр переломился,
И сокрушен народов бич!

Алексей Мерзляков. Ода на разрушение Вавилона

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светлы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

Валерий Брюсов. Грядущие гунны

Где он нынче, коммунист-крестьянин из Яма, из-под города Подольска Московской губернии? Могила, прах его, где? Где-нибудь аж за Архангельском, в тундре? А может быть, и за Котласом, за Норильском: и следов не найдешь.

Возроптал коммунист. Или так: не возроптал, а всего лишь попытался по-мужицки схитрить.

В селе Ям жгли иконы:

...В ночь под пасху сожгли на площади 38 икон, которые принесены были не только молодежью, но и стариками. Даже шестидесятилетняя бабушка Настя бросила "для пробы" одного средних размеров "божка" в общий костер.

Деревенское аутодафе: полыхают иконы на площади. Аутодафе наоборот: в эпоху средневековья человека сжигали во имя бога, а теперь во имя человека бога сжигают. И иконы, надо полагать, хорошо занялись: доски были сухие, выдержанные. Треск огня, золотые, багряные отблески на смеющихся лицах: как-никак, святая ночь, исконный народный праздник. Веселее всех бабушка Настя.

— Дай, думаю себе, испробую, — говорит она на первом собрании ячейки безбожников в первый день пасхи. — Ведь ежели это и в самом деле, как говорят попы, великий грех, то бог меня беспременно накажет и я не должна буду отойти от костра. Но ничего, как видите, ни со мной, ни с кем другим не случилось, хотя у костра человек никак более двухсот было. Значит, все это брехня. Значит, "гнева божия" бояться, как я теперь понимаю, не следует.

Смело-смело смотрела в костер прозревшая бабушка — прямой потомок той старушки, которая, как утверждает предание, исто-во подкладывала веточки в костер Яна Гуса.

А Никитин схитрил:

И только для "коммуниста" Никитина такие доводы беспартийной бабушки Насти не вполне, по-видимому, убедительны. Он из 26 своих "божков" пожертвовал для костра только одного, да и то чуточку поболее спичечной коробки.

Да, схитрил коммунист: двадцать пять икон в избе норовил оставить; думал, что от пасхального погрома святынь удастся ему откупиться одной невеличкой-иконкой. Хитреца, однако, тотчас вывели на чистую воду; и о хитрости его 17 мая 1929 года негодуяще рокотнула "Правда" в заметке «Против "богов"». И заметка неведомого Д.А., как нетрудно догадаться, решила судьбу человека: коли в разгар очередной чистки слово "коммунист" перед именем обреченного взяли в кавычки, стало быть, все решено: исключили из партии, а уж там и до Котласа недалеко, а то даже и до Соловков.

Притягательно чтение газет за годы, к которым не подберешь и эпитета; лишь один из них вломился в историографию с именем, данным ему официально, его, так сказать, крестным отцом и вообще всенародным отцом и учителем: "Год великого перелома". Когда год подошел к концу, появилось у него и название. Незыблемое: сказал, как отрезал. Коллективизация безумной косой прошла по стране, и теперь ни словечка никто супротив нее не проронит. В декабре дело было. Но раньше, в мае, в апреле, газеты инда доносили до читателя ропот, приглушенные голоса протеста — голоса самой жизни, еще не познавшей могучей силы абстракций и пытавшейся их опровергнуть.

На съезде Советов Высоко-Шаблыкинской вол. беспартийные выражают обиду:

— Зачем нас разделяют на кулаков, середняков и бедняков, мы все равны.

В заключительном слове тов. Карасик успокаивает:

— Товарищи, по всему нашему уезду кулаков нет и не предвидится.

"Классовая слепота" — так расценивается успокоительное слово Карасика П. Г. в "Правде" 7 апреля; а скорее всего, и Карасик в ВКП (б) состоял, потому что не поставили б беспартийного во главе волостного Совета.

С. Сафронов обличает еще одного одиночку-крамольника.

Член партии Цыкунов живет на хуторе (Смоленск. губ.). Отказываясь вступать в колхоз, он упорно доказывает следующее:

— Сам Ленин не велел силой толкать коммунизм в деревню. С колхозами торопиться нечего. А у нас все время кричат о коллективизации. С колхозами ничего не вышло, да и не выйдет, пожалуй.

("Философия" хуторского теоретика, 19 апреля)

Вл. Л-в:

Тов. Малдеев, член Н.-Сараевской сельской ячейки (Сталингр. губ.), заявил на собрании ячейки:

— Я считаю лучшим методом подъема сельского хозяйства *предоставление полной свободы и инициативы крестьянину — производителю хлеба...*

Выводы и примечания излишни, — как бы сквозь зубы цедит газета 7 апреля.

Да, отцу и учителю было что переламывать: даже беглый, непрофессиональный просмотр газеты за один только год разворачивает перед современниками наших мятущихся дней настоящую панораму народного сопротивления идиотским затеям. Надо сделать поправки на то, что из тысячи фактов на страницы официоза просочиться мог только один, поправки на тенденциозность его освещения; безымянные журналисты заливаются, по выражению Салтыкова-Щедрина, “начальственно-язвительным смехом”, пытаются острить, намекать на идейные связи бичуемых ими упрямов с поборниками “правого уклона”; и заметка о бедняге Малдееве — а его хоть сейчас поднимай на трибуну самого авторитетного съезда — носит название: “Тоже теоретик”. “Тоже”, значит, где-то есть и другие теоретики, покрупнее новосараевского крестьянина.

Но при всем при этом дивит широта географии сопротивления: Сталинградская, Смоленская, Курская земли, Подмосковье. Дивит общность, однотипность аргументации реалистически мыслящих мужиков при различии индивидуальных оттенков: один апеллирует к Ленину, другой же без обиняков требует вообще оставить крестьян в покое, положиться на здравый смысл. У всех, в сущности, общий язык — язык жизни, язык реальности, противостоящей языку обнаженных логических конструкций, утопических умозрений.

Несколько особняком стоит подольчанин Никитин; он пошел на компромисс, попытался слукавить и одну иконку, бедняга, из киота все-таки вырвал, понес в общий пасхальный костер: в подмосковную синюю пасхальную ночь почти двадцать столетий спустя повторится жест, поступок Петра-апостола, от Христа, как известно, пред толпою отрекшегося. Тут не может не вспомниться Чехов, рассказ “Студент”.

Незабываемо описаны у Чехова и иерусалимская ночь, и арест Иисуса, и апостол, следовавший за ним, арестованным, к дому первосвященника, — обо всем этом рассказывает двум крестьянкам-огородницам сын дьячка, студент духовной академии. О трехкратном отречении Петра от Иисуса, проникнувшись светлым чувством, рассказал он: Петр отрекся, подойдя погреться к костру; и пытался студент соединить в воображении тот, далекий костер в иудейской провинции и теперешний, у которого греются мать и дочь, две его односельчанки-простолюдинки. Но не знал он, что через полвека загорится еще один предпасхальный костер, и на этот раз — костер из икон: вновь казнят, распинают Христа в пасхальную ночь, заодно распиная и его апостолов-спутников, ибо были же, наверное, и они запечатлены на тридцати девяти иконах, полыхавших на площади села Ям; тридцать восемь принесенных жителями села да одна, небольшая, в пламя брошенная “коммунистом” Никитиным. Может быть, он как раз апостола Петра и принес на сожжение?

Бог ему судья, коммунисту Никитину. И неведомо, как распорядились с грешной душой его высшие силы, когда он, отмаявшись свое, предстал перед ними. Но, возможно, заступился за него именно тот святой, образ коего он пытался, схитрив, припрятать, а потом принес-таки

на сожжение. Предшественника его, коммуниста Никитина, Петр-апостол, болезненно поморщившись от тяготящих его воспоминаний, пропустил в рай. Там и встретился он со своими товарищами по партии, с курянином Карасиком, смолянином Цыкуновым, с Малдеевым из Приволжья: вкушают вечный покой, заслужили, выстрадали его мужики.

Не дано нам, однако же, знать, как распорядились с русскими мужиками апостолы; наше дело здесь, на земле, им воздать и увидеть в их словах, в поведении их акт народного сопротивления тоталитаризму, хотя и не брались они за оружие, не бежали в леса, а всего-то лишь слова говорили.

Слова простые. Естественные: говорили первое, что могло прийти на ум всякому нормальному человеку, оказавшемуся свидетелем начала коллективизации.

Но как раз таких слов тоталитаризм и боялся. Пуще даже откровенных проклятий боялся — тех, которые до него доносились.

— Самое главное — пережить Сталина. Все, кто переживает Сталина, — будут жить. Вы поняли? Не может быть, чтобы проклятия миллионов людей на его голову не материализовались. Вы поняли? Он непременно умрет от этой ненависти всеобщей. У него будет рак или еще что-нибудь. Вы поняли? Мы еще будем жить, —

говорит у Варлама Шаламова в рассказе "Вейсманист" семидесятилетний мученик-заключенный профессор Уманский.

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется, —

обмолвился Тютчев; и право же, он не сознавал всей глубины им оброченной мысли.

В числе экономических, социальных, общественно-психологических и прочих опустошений, которые принесли нам минувшие годы, не последнее место занимает дефилологизация сознания человека, отторжение его от метафизики да и просто от внутренней формы слова.

Убежден: тоталитаризм представляет собой интереснейшую филологическую проблему, некий странный этап в истории жизни слова. В изучении его лингвистика должна сомкнуться с поэтикой, с бытованием речевых жанров. Доклад, фельетон и песня — *de facto* в обиходе народа оставались лишь эти жанры, дополняющие друг друга и порою странно друг в друга переходящие, ибо появлялись популярные массовые песни, развивающие, а то и просто повторяющие какой-либо тезис очередного доклада. Но есть и еще один, более глубокий, метафизический уровень; и на этом уровне шло единоборство спускаемого сверху императива и бытующего где-то в социальном низу заклинания, заклятия словом, возвращения его к его первичным магическим функциям.

Бюрократия и народ с первых лет революции заговорили на разных языках; стоит лишь вчитаться в заметки "Правды", чтобы это увидеть: чисто ведомственный язык служебного сообщения, микродоклада поглощает живую людскую речь; утопия поглощает реальность, перемаывает ее. И глядишь, абсурдной выглядит уже не утопия, а пытающийся воззвать к реальности Карасик или Малдеев. Здесь не просто разные мысли, а разные способы мышления, разные языки; и давно надо было бы отдать справедливость концепциям и доктринам академика Николая

Марра: он прозрел какую-то скрытую суть происходившего в мире, хотя выразил свои наблюдения неуклюже, громоздко и догматично. А его ученики и популяризаторы, как водится, довели его гипотезы до абсурда: язык классов — так же, как культура, идеология.

Выступление Сталина с критикой Марра в 1950 году — не каприз, как это теперь представляется многим. “Относительно марксизма в языкознании” — акт большой прозорливости: в обычном стиле своем, в стиле сугубого позитивизма, доводящего выдвигаемый тезис до тоскливо неопровержимой наглядности, вождь народов, как говорится, подверг сокрушительной критике самое догадку о возможности какого бы то ни было расслоения национального языка. Национальный язык был и остается единым — в этом смысл светозарного учения товарища Сталина. Люди, внемлющие ему, безудержно ликовали. Ликовали тем более, что гарниром к языковедческим штудиям гения послужили неожиданные проблески либерализма. А гений-то знал, что делает: он сводил язык не только к единой морфологии, лексике и фразеологии, но и к единой, информативной, функции, исключающей метафизику жизни слова, его внутреннее многообразие, его магический потенциал. Несомненно, он полагал, что унифицировать функции языка можно так же легко, как прорыть соединяющий два моря канал или проложить железную дорогу по невидимой линии Северного полярного круга. Сталин, попросту сказать, запрещал языку выходить за пределы предустановленных жанров, становиться средством ворожбы, обещающих материализоваться проклятий или даже просто средством сообщения правды.

Но язык не внял его упрощающим повелениям: двуязычие, даже многоязычие сохранялись. Кто-то проклинал, кто-то резал правду-матку, кто-то травил анекдоты, кто-то писал дневник, и все это было опасным проявлением множественности, даже проблесками свободы. Их гасили, а они, покорно погаснув, разгорались опять и опять.

“Бить, бить, бить”, — начертал Вячеслав Молотов на прошении какого-то обреченного, воззвавшего к нему из темницы в надежде на милосердие.

Сам, собственноручно, правитель не бил никого; но он создал шедевр совершенно особого жанра речи: резолюции, обычно увенчивающей доклад; доклад — как бы хвост угрожающе нависшей над миром кометы, но ядро ее — резолюция. Резолюция — окончательное, не подлежащее обсуждению слово. Непререкаемое. Исключающее какое бы то ни было продолжение, дискуссию, диалог.

Хорошо известна притча о резолюции, якобы наложенной каким-то царем на прошение о помиловании: “Казнить нельзя простить”. Притча о пропущенной запятой прекрасно передает жанровую суть резолюции, умышленно проигнорированную царем, но тем самым как раз и выявленную. Преемник царя, как видим, никаких двусмысленностей не допустил; запятые в его резолюции стояли там, где положено (а могли бы и не стоять, их отсутствие вполне ясного смысла резолюции не изменило бы). Резолюция создала свою поэтику: в основе — глагол в повелительном наклонении, в идеале — вообще только он: “бить, казнить, простить”. Существительное сужает; суживает высказывание, конкретизирует его. Но глагол планетарен, всеобщ: он разносится по миру, нависает над людьми, как судьба, и укрыться от грозной власти глагола невозможно.

Невозможно ли, впрочем?

Роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго" изначально превратился в игрушку разнонаправленных политических сил; но как только с игрушки было снято табу, интерес к ней угас. В интонациях говорящих и пишущих о романе появилась некоторая сконфуженность: от столь сильно наскандалившего произведения ожидали чего-нибудь политически радикального, а оно, не оправдав ожиданий, оказалось пресным и вялым. Но беда заключается в том, что ни у нас, ни на Западе не нашли точки зрения, соответствующей содержанию не совсем обыкновенной книги поэта: "Доктор" — книга о языке, о силе и о бессилии слова в разных его диапазонах и жанрах, простирающихся от митинговых выкриков до хрупкой интимной лирики, введенной в текст романа. И существенно взглянуть на роман как на книгу о строительстве Вавилонской башни, о столпотворении, в ходе которого люди начали утрачивать языковую общность. Все слова остаются на месте, но одни и те же слова означают различное; их растаскивают по разным политическим лагерям, вводят во взаимоисключающие контексты.

Если так, то двери в художественный мир романа открывает кажущийся надуманным эпизод с молитвой, текст которой, искаженный и адаптированный, носят два соотечественника, враги: красноармеец и белый. Их программы диаметрально противоположны; но они уповают на одни и те же слова, на одну и ту же функцию священнослова, на его заклинательные, магические потенции. Так в огне гражданской войны утверждается и становится массовым исконный жанр заклинания, генетически родственные тем проклятиям, на которые уповал в рассказе Шаламова заключенный-профессор, биолог и незаурядный лингвист.

"Бить, бить, бить" — приказ-резолюция. Он исходит из центра, низвергается сверху, угрожая правым и виноватым, старикам и младенцам, мужчинам и женщинам.

А навстречу ему, с периферии, снизу, поднимается простосердечная магия шепотом произносимых проклятий и зашитых в ладанки заклинаний-молитв.

Эпоха так называемого культа личности Сталина может открыться нам как великая битва слов со всеми важнейшими компонентами битвы: сражающиеся стороны переходили от наступления к обороне, лавировали, совершали обходные маневры, устраивали засады, вели разведку. В каждом стане были свои перебежчики, свои дезертиры. Бои шли с переменным успехом, и шли они до тех пор, пока оборона лагеря, вооруженного прежде всего докладом, не была подорвана... его же оружием — дополнительным, закрытым докладом Никиты Хрущева на XX съезде КПСС (перефразировав, можно было бы сказать: "Взявшийся за доклад, от доклада и погибнет").

Несомненно, что лингвометафизической целью власти было создать вокруг себя некую духовную ауру, невидимую, но незыблемую стену, сложенную не только из слов-кирпичей, но и из целых словесных блоков, своего рода монолитов (аналогом ее в архитектуре был гранит цокольных этажей гражданских и общественных зданий ампира конца 30-х годов и годов последующих). Блоки содержали в себе эпитеты, означающие незыблемость, прочность, клише типа "монолитное единство",

“нерушимая дружба” или “неразрывные узы”. На этом фундаменте воздвигались последующие этажи: образы света (“озарил”, “в свете учения”), истины (“с неподдельной радостью”, “подлинно демократической строй”), исторической уникальности (“с невиданным единодушием”). Проект знаменитого Дворца Советов — это, в сущности, некий доклад, изваянный из гранита, мрамора и железобетона, зиждущийся на глубоко уходящем в землю фундаменте (“фундамент марксистско-ленинской диалектики”). Словесная крепость, лингвистическая Вавилонская башня, могла использовать свой язык лишь экстенсивно, бессчетно множа однажды созданные фразеологические конструкции, лексемы, синтагмы. На вооружении были многомиллионные тиражи газет и могущество радио, роль которого в выковыивании поэтики тоталитаризма была не просто огромной, но поистине и решающей: доклады перемежались песнями, песни докладами. Радио создавало образ незримой, невидимой, но всепроникающей власти, диалог с которой немислим; и, несколько, разумеется, заостряя, можно было сказать, что культ личности создан был радио (во всяком случае, представить себе его без радио решительно невозможно).

Крепость, казалось бы, была незыблемо прочной. Однако было в извергаемой ею словесной лавине одно уязвимое место: слова, из которых слагались блоки, были сплошь мономорфны. Они исходили из одного места: из служебного кабинета. Роскошного. Отделанного дубовой панелью. С непренным Т-образным столом. Но все-таки кабинета, и только: здесь их высиживали, изобретали — рожали. Они выходили в залы конференций и съездов, тиражировались, гремели по радио. Но это не делало их ни более впечатляющими, ни более красочными. На каждом из них лежала печать кабинетного скудоумия.

Слова противоположного лагеря — полиморфны. И опять-таки: роман Пастернака — стремящаяся достичь полноты экспозиция новых, специфических для революционной поры условий, в которых рождается слово. Это слово войны, окопное слово. Слово русского бизнеса. Слово солдатского митинга, перед которым оказывается бессильным кабинетное слово агитатора, комиссара Временного правительства. Слово молитвы, превращаемой в заклинание. Наконец, даже и слово поезда, железнодорожного состава, тянущегося по просторам России с запада на восток (а поезд — совершенно особенная, никем не изученная среда, порождающая слово; это сразу же уловили Достоевский в романе “Идиот” и Л. Н. Толстой в “Крейцеровой сонате”; затем начатая ими линия как-то сникла, не получила развития). Разумеется, Пастернак не мог охватить все логоморфные сферы современной его герою России. Но он обозначил их множественность, наметнул на обреченность мертворожденного кабинетного слова; за одно это “Доктора” следовало возненавидеть, истерически на его появление отозвавшись. И истерика была мощным отзвуком языковой политики времен культа личности.

Отличительной чертой культа личности была его патологическая логофобия, словобоязнь. Пресловутая статья 58¹⁰ Уголовного кодекса РСФСР 1926 года, карающая за антисоветскую агитацию, по числу жертв, поглощенных ею, была статьей-рекордсменом; и лишь ценою известных усилий следователям ГПУ — ОГПУ — НКВД удавалось надстраивать ее статьями об измене родине, шпионаже, террористических актах: без них было бы слишком однообразно. Много было шпионов, косяком шли

терриристы и диверсанты; но обилие агитаторов и их повсеместность оставались непревзойденными. И пусть это не покажется странным: какую-то сторону реальности всепожирающий пункт 10-й статьи 58-й отражал.

Зловещий пункт отражал страх правящей силы перед каким бы то ни было языком, осмелившимся существовать помимо языка кабинетного, языка монолитов, за его пределами. Подобно тому как человек не мог и носа высунуть за границы, очерченные колючей проволокой, бежать, даже просто выглянуть на вольную волюшку, язык не мог выйти за пределы предначертанного, предписанного ему единства: двуязычие свидетельствовало бы о том, что строительство Вавилонской башни — великая стройка — не состоялось. Человека, юркнувшего за проволоку, ловили и убивали, как бы далеко он ни словчился уйти (включая сюда и за границу). Так же поступали и с человеком, вздумавшим излагать монолитные истины хотя бы с чуть-чуть измененными интонациями, допустим, с нотками интимной теплоты; интимная теплота допускалась, но она строжайше дозировалась.

В 1946 году, студентом 2-го курса филологического факультета, я по слабости воли и отчасти из юношеского любопытства поддался на невольную провокацию: мой друг, ныне видный специалист по фольклору, пламенея жаждой идеологического самоусовершенствования, организовал ни больше ни меньше как... "Общество марксистского литературоведения". Начали мы собираться друг у друга в гостях, читали и реферировали статьи из академических журналов, пытались высказать о них свое мнение, дискутировать. Лишь много позднее узнал я, что неподалеку от старого здания университета, только на пригорок подняться, разрабатывалась направленная против нас операция под кодовым названием "Красные гвоздики" (ударение не на "о", а на первом "и"). Нам шили дело, и спас нас ныне давно покойный тогдашний заместитель декана Ефим Степанович Ухалов. Где я был бы сейчас, не отведи он от нас удар, мне неизвестно; но, пережив весь ужас возможного, я должен сказать: майоры и подполковники, вознамерившиеся искоренить кучку не по уму усердных юнцов и девчонок, были последовательны; интимный тон, взятый нами по отношению к незыблемым канонам истмата, уже содержал в себе угрозу нюансировки единой истины, покушения на ее монолитность. Предполагался выход в реальность, пускай всего лишь в реальность литературного процесса; а кабинетному слову предстояло выдержать испытание бытованием в чуждой ему среде: мягкий свет абажура, круглый стол с камчатною скатертью, чай. Ввергнуть его даже в эту сферу было достойным возмездия преступлением, пере-ступ-лением через границу: заключенный высунул нос за колючую проволоку, или же рядовой обыватель вздумал проехать за границу.

Естественно, что уже совершенно бесспорным преступлением было оглянуться вокруг, как сделал это когда-то Радищев: "Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала". Увидеть реальность. Указать на нее, будь то реальность жизни какой-нибудь обреченной на коллективизацию волости, реальность коммунальных квартир или хотя бы реальность имени власть предержащих: Сталин — Джугашвили, Молотов — Скрыбин, Киров — Костриков; в лагерь уходили и за это. И подделом: два имени у одного человека — признак раздвоенности, а раздвоенность — признак заложенной в системе тенденции к неустойчивости, а то и вовсе к распаду.

Рассуждения мои — о сопротивлении человека (в лучшем, в безобиднейшем смысле этого слова—обывателя) тоталитарным режимам. О стихийности и планомерности в этом сопротивлении.

О его типологии. О поисках человеком свободы. И о сопротивлении слову словом же: романтическим, закланательным словом или реалистически трезвым, простодушным, бесхитрым.

И еще — о сокровенном начале; о сопротивлении, осуществляемом в душе человека, в глубочайшей тайне даже от близких. И оно плодотворно. И, по-моему, оно к тому же национально специфично, характерно для русского человека.

Сопротивление какой бы то ни было системе — всякое действие или бездействие, дестабилизирующее ее, отклоняющее ее хотя бы на вершок от избранной ею цели, ставящее под сомнение совершенство даже какого-нибудь одного-единственного ее элемента. Майоры с возвышающегося над центром Москвы пригорка ввели нас в один ряд с тов. Карасиком из-под Курска, с тов. Малдеевым из Приволжья. И правильно сделали, потому что и мы, и они задумали изменить единому языку, чем-то дополнить его; они — в области экономики сельского хозяйства, мы, громко говоря, — в области философии. И всех нас должна была заключить в объятия свои эпическая статья 58¹⁰, нечто вроде средневековой "Железной девы"; было такое орудие пыток: полое внутри металлическое извятие женщины; чрево ее разверзлось, ввергали в него еретика, извятие с заключенным в него вольнодумцем клали на раскаленные угли. Еретик поджаривался, и, если он оставался жив, он уже навеки заикался по-своему молиться и даже просто о чем бы то ни было самостоятельно думать; а уж мысль о свободе ему и в голову прийти не могла.

Простейшее понимание свободы связано с бегством.

Мировая литература, а за нею и кинематография создали галерею великолепнейших беглецов. Беглецов-героев и мучеников, беглецов-страдальцев и беглецов-удальцов. "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма и "Отверженные" Виктора Гюго, "Хижина дяди Тома" Гарриет Бичер-Стоу. Но, мне кажется, русская литература прочно удерживает здесь пальму первенства.

Впереди на лихом коне — основоположник русской литературы князь Игорь; бежит из полона и будто тон задает, увлекая за собою офицера из "Кавказского пленника" Пушкина. А за ними — беглецы, беглецы, беглецы. Из монастыря бежит Григорий Отрепьев в драме "Борис Годунов"; в беглецах и сподвижники Пугачева в романе "Капитанская дочка", и красавец Дубровский. Да что там дворяне, монахи и мужики; в беглецах — и шмелем, мухой, комаром обернувшийся сказочный князь Гвидон. Ужалит какую-нибудь из зловредных баб-клеветниц то в око, то в нос и — в окошко. Поднимается крик:

И опять пошла тревога:
"Помогите ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот уж! пожди немножко,
Погоди!.." А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

("Сказка о царе Салтане")

За кавказским пленником, за Дубровским и за князем-шмелем из монастыря бежит юноша Мцыри у Лермонтова. Федька каторжный, сверкая своим ножом, украшает страницы романа Достоевского "Бесы". Беглецы — у Короленко, у Чехова: явно пародируя Мцыри, снижая его романтический образ, из сельской больницы бежит несмышлennyш-подросток Пашка ("Беглец"). Лагери? Продолжая традицию, в "Колымских рассказах" Шаламова из полярного лагеря ускользает Павел Михайлович Кривошей, бонвиван и оригинальный мошенник; а жемчужина сборника — баллада "Последний бой майора Пугачева" — она тоже о беглецах, о беглецах-офицерах, героях.

На приходится говорить о реальности: Петр Кропоткин, Сергей Нечаев, Вереница народовольцев, за ними — анархисты, эсеры. Революция подготавливалась беглецами; и не надо забывать, что в культ личности входило приглушенное, но постоянное прославление Сталина в качестве беглеца, с легкостью, почему-то ни у кого не вызывавшей сомнений, в свое время совершавшего один побег за другим. Пусть профессионалы-историки когда-нибудь выяснят наконец подоплеку почти беспрепятственных побегов вождя народов с ледяных берегов Енисея на знойные берега Куры и Арагвы; нам сейчас достаточно знать, что сладость побега, упоение побегом хорошо были знакомы земляку и преемнику Мцыри, познавшему и более сложное, экзистенциальное бегство: не из монастыря, так хотя бы из духовной семинарии — в революцию, из грузинской культуры — в русскую, принадлежность к которой он всемерно подчеркивал. В те страшные годы сугубым ругательством стало слово "двурушник", означающее всего лишь человека о двух руках, нормального человека. Но пугала любая раздвоенность, хотя первым в стране и к тому же державным двурушником был как раз Джугашвили—Сталин: был он семинаристом-марксистом, грузинско-русским явлением, беглецом, бежавшим в русский язык и, к немалому изумлению историков этого языка, возгласившим о его происхождении из орловско-курского диалекта.

Остается дополнить факты легендой, пущенной в народ, возможно, не без ведома единодержавнейшего двурушника: с нарастанием культа личности Ивана Грозного стал в народе распространяться слух о дивном спасении в конце XVI столетия малолетнего царевича Дмитрия, царского сына-наследника. Спасся он от ножа убийц, бежал в Грузию, затаился, а три века спустя на холмах Грузии появился его потомок: выходило, что род Джугашвили был основан спасшимся от гонящихся за ним злоумышленников, произросшим в солнечном Закавказье отроком-беглецом.

Беглецы, очевидно, томили сознание Сталина—Джугашвили: тени их не могли не тесниться в его смятенном сознании. Сам будучи беглецом, беглецов он страшился. И не зря: беглецы донимали его. Унаследовав традицию князя Андрея Курбского, устремлялись они за рубеж и писали ему оттуда угрожающие близким крахом послания: Лев Троцкий, Федор Раскольников, Александр Орлов. Сейчас мало кто знает, что понятие "культ личности" применительно к Сталину впервые появилось в романе писателя-беглеца Николая Нарокова (Марченко) "Мнимые величины", изданного еще в 1952 году в Нью-Йорке и перепечатанного у нас почти сорок лет спустя ("Дружба народов", 1990, № 2). И роман должен встать в один ряд с "Тайной историей сталинских преступлений" Орлова.

Необъяснимо бесчеловечная ненависть отца и учителя к солдатам-

красноармейцам, вынужденным сдаваться в плен, — от его патологического устремления к сохранению незыблемого единства. Его ужас перед беглецами носил характер метафизический: беглец попадает в находящуюся за пределами монолита среду; он прислушивается к языку чужеземцев, осваивает его, начинает объясняться на нем. Затем он переходит на другой язык и в метафизическом смысле слова: чуждое воздвигнутому на его родине монолиту мироощущение, чуждой круг понятий, чуждые жанры (например, Федор Раскольников заговорил со Сталиным на языке индивидуально окрашенного политического памфлета, своеобразного антидоклада).

Но занятно, трагически занятно: в ближайшем окружении отца народов оказались беглецами... решительно все: покончив с собою, его жена бежала от него в небытие; старший сын оказался в плену, ставши бегльцом поневоле; слишком хорошо известна и история его дочери.

Любимица-дочь скандально бежала в далекую Индию; бежала, как бы воспользовавшись моделью прославленных бегств родителя: с милого севера в сторону южную. Поначалу ее в соответствии с вековыми канонами пытались ловить; а после, кажется, на нее благоразумно махнули рукой: знать, уж так им, Джугашвили, на роду написано — бегать. Благо же и фон для бегства взбалмошной дамы сложился особый: ни одна эпоха в истории России не отмечена столькими бегствами, как застой 70-х и начала 80-х годов.

Значит, бегство — одна из возможных форм сопротивления монолиту. Наиболее же очевидная разновидность сопротивления — бунт. Это ясно, и, хотя мы не раз повторяем суждение Пушкина о бессмысленности и беспощадности русского бунта, в сознании нашем прочно гнездятся неопределенные симпатии к людям бунтующим. Спартак, Степан Разин, Емельян Пугачев, Александр Антонов — тамбовский Спартак, против коего, за отсутствием Суворова, двинут был Михаил Тухачевский.

А за бунтом — бегство. В одиночку, в тесной сплоченной компании. Бегство целыми коллективами, воинскими подразделениями: в одних случаях оно восхищает, в других вызывает обоснованное негодование, презрение. Но оно есть, и это надо увидеть так же, как и каннибальское бегство заключенных-уголовников из лагерей: двое третьего с собой увлекут, на мясо, — потом его режут и с аппетитом съедают.

Ниже в иерархии способов борьбы за свободу — ропот: не бунт и не бегство, а всего лишь выражение несогласия, неприятия данного социального устройства в слове, в попытке подвергнуть его сомнению, оспорить его, усомниться; тут примером — хотя бы те четверо ропщущих мужиков, о которых, начиная их травлю, поведала "Правда".

Бунт, бегство, ропот... Полагаю, даже очень немногих дошедших до нас свидетельств достаточно, чтоб увидеть: мир под игмом тоталитаризма ни на минуту не успокаивался; он дышал, искал выхода. Искал, ошибаясь трагически. Искал, чередуя типы сопротивления: забастовка — наиболее пристойная и цивилизованная модификация бунта, бунт без крови, кровопролития. Были скрытые забастовки: "тянуть резину", притворяясь, делая вид, что работаешь в поте лица. И потенциал забастовочного движения накапливался, реализовавшись в Новочеркасске.

Совершенствовалась и техника бегства, хотя техника ловли возможных андреев курбских оставалась на высоте: бегльцов пытались ловить на старте, на стадии заполнения ими бесконечных анкет. Возроди-

лась античная форма остракизма, изгнания; и трудно отделаться от догадки: изгоняя из страны отличных ученых, писателей, музыкантов, кто-то, пожелавший остаться невидимым, заведомо создавал своеобразные резервуары, хранилища отечественной культуры. Создавал в расчете на облегчение, оказавшееся для непосвященных внезапностью.

Но исчерпывается ли сопротивление перечисленными типами, формами, разновидностями?

С Радищева, с декабристов свобода среди русских интеллигентов начала трактоваться исключительно как политическая свобода, а попытки пересмотреть общепринятую трактовку, расширить границы святого понятия в лучшем случае воспринимались как чудачество, блажь, единичное отступление от само собой разумеющегося; в других случаях здесь усматривалось злонамеренное соглашательство с реакцией, с проклятым царизмом. Царизм — бедствие, демократия — благо; надлежало мыслить в пределах этой доктрины, не внемля суждениям, подобным задвинутому на задворки литературы суждению Пушкина:

Не дорого цену я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, *слова, слова, слова*.
Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними. Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...

(“Из Пиндемонти”)

Стихи Пушкина — одно из его пророчеств; и обронено оно на самой ранней заре всеобщей политизации сознания. Но Пушкин пописывал, публика почитывала, а канализация общественной мысли в единое русло в течение XIX века шла все стремительнее: свобода — это политика. Экономика: отнять помещичьи земли. Социальная идеология: порвать с религией, в виде чрезвычайной милости оставив ей место с трудом терпимого союзника в поддержании общественной нравственности. И естественно, что скептические излияния Пушкина не могли быть услышаны в шуме “Новой песни” Петра Лаврова:

Не довольно ли вечного горя?
Встанем, братья, повсюду зараз!
От Днепра и до Белого моря,
И Поволжье, и Дальний Кавказ!
На воров, на собак — на богатых!
Да на злого вампира царя!
Бей, губи их, злодеев проклятых!
Засветись, лучшей жизни заря!

В новых песнях и начинает формироваться новый язык, новояз — язык монолита с его незыблемым единством и небывалым единодушием. Характерна его установка на эпос: губить проклятых злодеев

предлагается от Херсона и до Архангельска, от Твери, Костромы до Тифлиса и Эривани. Злодеи — собаки; и уже здесь намечается занятая группа своеобразных кинеморфных образов в публицистике сталинской школы: их западноевропейские собратья по перу — “цепные псы империализма”, иноземные правительства — “свора”, робкое недоумение зарубежных средств массовой информации по поводу творящихся у нас ужасов — “лай”, который раздается “из подворотни”. Венец этого собаководческого остроумия — и поныне мельтешащая там и сям восточная поговорка: “Собака лает, а караван идет”. Но и странная приверженность к иносказаниям и эпитетам, восходящим к образу собаки, не лишена знаменательности.

“Лай” — простейшая метафора иноязычия. Непонятного, хотя и, несомненно, враждебного общепринятому языку. Языка ненужного, бесполезного: “Собака лает — ветер носит”. Языка отвергаемого, но тем не менее где-то еще существующего, а поэтому, к вящему спокойствию монолита, подлежащего обнаружению и уничтожению.

Статья 58¹⁰ — нечто вроде сигнала, призывающего к неустанным поискам неискоренимого иноязычия. Его искали высокопоставленные идеологи и ютящиеся в коммуналках осведомители-стучаки; профессора искали его в экзаменационных ответах студентов, а студенты — в полных оговорок и вводных словечек лекциях перепуганных профессоров. Враждебную символику усматривали в орнаментах пионерских значков, на обложках школьных тетрадок. Обнаруживали ее в жесте. Во взгляде обывателя, как-то не так посмотревшего на вздыбившийся в поднебесье плакат. Всюду, всюду мерещилось, грезилось иноязычие.

И оно действительно существовало. Существовало в монолитном эпическом мире, не вступая с ним, однако, в полемику, не размениваясь на протестующий ропот.

Эстетическое освоение общественно-исторической реальности прошлых бед и нынешних смутных надежд страны — обязанность, возлагаемая обстоятельствами на нас, как бы то ни было интеллигентов, представляющих гуманитарную ветвь культуры. На филологов-литературоведов.

Пережитое было предсказано, более того, предназначено прошлым: мыслью прошлого, мифами прошлого, даже поздней, уже окультуренной поэзией прошлого. Стоит только поставить рядом “Новую песню” Лаврова и грустно-язвительное “Из Пиндемонта” Пушкина, чтоб увидеть формирование двух типов мышления, двух языков — языка свободы индивидуальных медитаций и языка политического диктата, вменяющего человеку в обязанность:

Бей, губи их, злодеев проклятых!

Призыв к искоренению проклятых злодеев — типичный пример языка резолюций, неумело стилизованных под поэзию: рифмы, плагирированный из “Марсельезы” напев, метафоризированные формулы неопределенных посул:

И настанет година свободы,
Сгинет ложь, сгинет зло навсегда,
И сольются в едино народы
В вольном царстве святого труда...

Формулы по мере необходимости могут конкретизироваться — произвольно, применительно к надобностям, ко злобе дня. Под слияние

народов “во едино” можно подвести и коллективизацию или депортацию чеченцев в Сибирь, а можно и нечто противоположное — возвращение мигрантов-чеченцев в родные края и раздачу обывателю земли под садово-огородные участки; и все это будет осуществляться с небывалым едино-душием. Или: “Бей, губи их...” Что это значит? То, что, будто бы прямо вторя песне Лаврова, начертал на челобитной истязуемого Скрябин-Молотов: “Бить, бить, бить”? Или же всего лишь какое-нибудь очередное обострение идеологической борьбы, в ходе коей будут литься потоки обличений, хотя до поры до времени персонально никого не поволокут на Лубянку? Семантическая широта, растяжимость директивного языка компенсирует его бедность. Бедность жанровую, стиливую, ритмическую и чисто лексическую. И его закрытость. Его недоступность для диалога. Как ответить на громяющий град призывов поэта-народника? Ответить на них невозможно.

Песнь Лаврова по лингвистической сущности своей... радиотелефонична; это яркий пример создания радиотелефоничного слова задолго до внедрения радио в быт, распространения его на весь белый свет, от Днепра и до Белого моря: социальный заказ на радио формулировался по меньшей мере с середины XIX столетия. Радио — идеальный инструмент для самоутверждения жанров, представляющих собою различные варианты рожденного в номенклатурных кабинетах политического монолога. Его антидиалогичность выступает здесь уже с совершенно бесстыдной наглядностью: радиорепродуктор — отторгнутый от некоего обобщенного лица, лица Левиафана-государства, рот, дальнейшее овеществление фантазмагии Гоголя “Нос” (но не нос здесь отрывается от лица, а нечто еще более невероятное происходит: рот, язык отрывается). Для восприятия говорящим ответного слова, слова Другого, необходимо ухо: “Кто имеет уши, да слышит!” (Мтф, 25, 30). А ежели ушей-то и нет? Но они не надобны: возражений на радиомонолог быть не может. Не может чисто технически, но не может быть и по сути: техника отражает духовные, эстетические запросы людей; и странно, что мы до сих пор желаем их взаимодействия видеть.

Надоевший, избитый и какой-то томительно скучный тезис о рабстве русского народа опровергают способом, который по нынешним временам уже кажется фантастическим: собираются пленумы, взбираются на трибуну взъерошенные личности, ритмично подвывая, требуют устранения редактора, опубликовавшего рассуждения об этом рабстве. Снова, снова раздается привычное: “Бей, губи их, злодеев проклятых!” А в газетах — патетика: вспоминают даже битву на Куликовом поле. Посолдней — в журналах: коллективизация, оказывается, была встречена многочисленными восстаниями. Словом, так: в ответ на упреки и обвинения в политической пассивности нации — примеры проявления ею же политической активности. Спор идет в одной плоскости. Именно в плоскости, как всякая плоскость, тоскливой и скучной, несмотря на изобилие церковнославянизмов, хлестких словечек и патетических возгласов. Плоскость эта — политика. И одно становится ясным: от героев-декабристов, от народников идущая тотальная политизация сознания осуществлялась успешно. Мы уже не можем выйти за пределы политики, исключительно ею исчисляя меру рабства и свободомыслия, активности и пассивности: терпел угнетение — раб, взбунтовался — раб.

Хотелось бы избежать суждений по детскому, инфантильному принципу "не..., а...". Не политика, мол, а что-то другое служит мерой социальной активности человека. Нет, такого не берусь утверждать. Для меня предпочтительней "и". Добрый, умный союз. Не зазря излюбленное Пушкиным "и" соединяет, уравнивает. В "и" — какая-то широта: и политика, и...

Восприятие на Руси политики вообще не укладывается в параметры "активность—пассивность", "рабство—свобода", "власть—подчинение".

Преклоняюсь перед восставшими. От Спартака до кронштадтцев. Но надо помнить, что по прошествии времени всевозможные восстания идеализируются с каким-то особенным упоением; подавление их ставит восставших в число жертв, которым нельзя не сочувствовать: восстание — это овеществленная в некое общее деяние... боль. Оно вспыхивает как реакция на причиненную боль. Далее идет эскалация боли; побольше боли надо обрушить на угнетателей. Отсюда неперменный атрибут восстания, бунта — растерзание, кромсание вражеских тел, глумление над убитыми. Подавление восстания еще обильнее болью: четвертуют, выжигают клейма на лбу, рвут ноздри; и вся эта боль оседает в народной памяти, оставляя в ней неизгладимые шрамы, но и привлекая к себе, потому что бить злодеев проклятых — манящая, соблазнительная перспектива. И те эксцессы, которые приходится видеть сейчас, ни в коей мере не опровергают горестной характеристики Пушкина: бессмыслен и беспощаден не только нашеньский, русский бунт.

Ропот? Я начал с некролога возроптавшим крестьянам. Присоединять ли к нему и почтительную здравицу в честь роптавших интеллигентов? Да, в годину безвременья эти чартисты рассылали гневные письма в правительствующие инстанции, подвергались гонениям. Но ни один из них, будь он даже неотступно последователен, непреклонен и стоек, почему-то не отвечает веками слагавшемуся стереотипу героя и мученика идеи. В чем тут дело? Вероятно, в тех деформациях, которые вносит в личность политика. Всеохватывающая. Всеподчиняющая. Порабощающая человека и сочувствующих ему. Она овладевает сознанием, помыслами, душой, бытом. В ее рационализированном мире нечем дышать, а язык ее гнетуще однообразен.

Понимаю мужиков, возроптавших против привносимых в их жизнь доктрин классово́й борьбы и коллективизации: это был порыв, естественный жест людей, вставших на защиту здравого смысла, реальности, а вместе с тем и родного гнезда. Возроптавший математик или писатель — их преемник, реально осуществивший единение интеллигенции с народом. Но есть разница: мужики, смолянин и курянин, говорили с властями на собственном их языке; кабинетным изобретениям они противопоставляли реальность. И в их ропоте было вдохновение, творчество. Но немыслимо представить себе, чтоб Малдеев или Карасик специализировались по опровержению кошмарных выдумок Сталина, разъезжали бы по окрестным селениям, агитировали бы и всерьез опровергали бы статью "Год великого перелома". Нет, не стали они политическими деятелями — в этом подвиг их, их свобода и их обаяние. А когда чей-то ропот начинал растягиваться во времени, превращался в систематическую деятельность, обаяние исчезало. Логизированный бред опровергали, как говорится, на полном серьезе. Языку одной, победившей, утопии

противопоставляли язык другой, отвергнутой, но ждущей своего часа, утопии либеральной. Все должно служить освободительным идеям, служить не свержению даже, а хотя бы размыванию тирании. В XIX веке с этих позиций отвергали "чистое искусство", в XX — авангардизм; объективно возникавший союз с той же тиранией в данном случае почему-то никого не шокировал; "Новый мир" Александра Твардовского составлял задушевный дуэт с "Октябрем" ненавистного Всеволода Кочетова. И это естественно: они говорили разное, но *язык-то* был общим, а Мейерхольд или Хлебников, Кандинский и Кафка находились за пределами этого языка точно так же, как когда-то Фет находился за пределами языка песнопений Лаврова. У крестьян-реалистов не было ненависти, но ушедший в политику интеллигент немыслим без маниакальной, всезаполняющей одержимости, и, общаясь с ним, будто видишь перед собой человека, точимого неизлечимым недугом. И уж коли говорить о рабстве, то оно начинается здесь: добровольное идейное рабство, требующее от окружающих безоговорочного уподобления себе. Произросшее из ропота, но поэтому супротив себя ни малейшего ропота не допускающее.

Кроме ропота — бегство, тоже форма сопротивления.

Из тюрьмы бежали. Из плена. Бежали из монастыря, из больницы, из бурсы и из гимназии. Чехов с его умением доводить до конца, до последней черты те тенденции, которые он видел в русской литературе, написал и о беглянке-собаке, Каштанке: с цирковой арены бежала, из весьма комфортабельной и по-своему либерально устроенной жизни к выпивохе-мастеровому.

Бегство — действие двунаправленное: откуда бегут и куда?

И вот тут-то — вопрос вопросов...

А что, если политика для русского человека — преимущественно предмет... созерцания?

Созерцать — не значит безучастно глазеть. После смерти великого русского мыслителя Михаила Бахтина остались газеты. Пачки, уже начавшие скучно желтеть стопки газет первой половины 70-х годов. Казалось бы, абсолютно бессодержательных, особенно в сугубо официальной их части: передовицы, которые никуда не вели, ничего определенного не утверждали; громыханье монотонно нагнетаемых слов, плетенье словес. Доступ к кабинетному языку в те поры по сравнению с 30-ми годами очень расширился, упражнялись в нем всяк кому только не лень. Все газеты, однако, были прочитаны Бахтиным с первой до последней строки. Все подчеркнуто красным карандашом, где одним штрихом, где двумя. Вертикально. Горизонтально.

Так ли нужно было вникать уходящему из жизни мыслителю в ход уборки сахарной свеклы в Липецкой области, в планомерное воздвижение гигантов металлургии и химии, в подготовку тракторного парка к весеннему севу? А вникал! И из многих тайн Бахтина эта — самая массивная тайна. И лишь в общей форме возможна догадка: в тарабарщине абсолютного монолога, в бессмыслице, о которой и мечтать не могли озорники-футуристы, он провидел новые фазы словесной битвы, летописцем и исследователем которой он оказался. Перед ним один за другим представали образчики абсолютного, казалось бы, монолога: монолиты, исключаящие проникновение в них чужеродного слова. Характерно, к слову сказать, что супруга его, неустанно трудясь на кухне

над каким-нибудь супом или котлетами, терпеливо слушала радио и ворчливо отвечала на несущиеся из репродуктора извержения слов: соглашалась, поддакивала, возражала, острела. Выходило смешно; и наглядной становилась невозможность какого бы то ни было взаимопроникновения монолитного языка кабинета и живого языка реальности. И призывы всемерно крепить единство народов, бороться за мир во всем мире или поспешать на выборы в Верховный Совет оставались витающими где-то над жизнью абстракциями. Чем-то призрачным, ненастоящим. А коптящая плита и тронутая гнилью картошка свидетельствовали о существовании какой-то подлинной жизни. В данном случае языку монолита отвечал не существующий для него язык кухни.

Язык кухни... Елена Александровна Бахтина может по праву считаться его создателем. Впрочем же, она лишь оформила этот язык. Создавался же он, как и всякий язык, народом.

Многokrратно повторяемое пророчество о временах, когда каждая кухарка будет управлять государством, сбылось в 70-е годы. Переместившись на кухню, мы, отнюдь не стремясь управлять государством кабинетных абстракций, создавали свои государства. Можно сколько угодно глумиться над кухонным вольнодумством 70-х годов, вкладывая в это глумление снисходительное добродушие или необъяснимую злость. Тем не менее кухонная культура существовала, и была она, выражаясь по-современному, саморегулирующейся системой. Кухня прежде всего оказалась горловиной резервуара, поглощавшего и усваивавшего русскую отвергнутую культуру: именно сюда приходили Василий Розанов, о. Павел Флоренский, о. Сергей Булгаков, Николай Бердяев и тома Добротолубия. И Флоренский, и Розанов были легальны. Но заглядывала на кухни и нелегальщина: на машинках отстуканные "Колымские рассказы" Шаламова, "Чевенгур" Платонова и, конечно же, несомненный центр культуры 70-х годов, уменьшенный едва ли не до размеров сигаретной коробочки "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына.

"Мастер и Маргарита" Булгакова — книга, предсказавшая расцвет кухонной культуры: апология подвала как убежища, спрятая, укрома, в котором таится творчество и осуществляется прозрение через века; апология права на индивидуальную, интимную трактовку извечных истин, приближающая роман к лютеранству и в чем-то его ограничивающая, пришла своевременно; и кухонная культура обрела своего пророка и свой устав. "Мастер" стал цитироваться, и повторение рассыпанных по его страницам словечек обрело характер пароля, по которому единомышленники узнавали друг друга.

Что такое катакомбная церковь? Существует ли она и поныне? Не хочу, не смею проникать в ее тайны: достаточно знать, что она была. Потому что лидирующая в сознании русского человека легенда, сформулированный им для себя завет, его путеводный образ — образ Китежграда.

Скучная иллюзия пресловутого нашего рабства — от того, что свобода наша не на политическом поприще. Вступая на него, мы выглядим неумелыми, неловкими и на редкость недружными. А те, кто ближе к национальным корням, на него вступать и не думали, потому что политика для них включена в какую-то другую систему.

Бежать можно... в себя. Во град Китеж, который по мере приближения недруга погружается на дно озера — будто не было града, только

Волны заговорщицки плещутся, да перекликаются чайки.

В фильме Василия Шукшина "Калина красная" есть примечательный кадр, доподлинный: наклонившаяся колокольня посреди водохранилища. Кадр, быть может, и прямолинейно дидактичен, кадр-стоп: дожили, мол. Но прочесть его можно и глубже: проговорка, обмолвка, а в конце концов, и лучистая шутка Китежа; показал колоколенку, огляделся, как оно тут и что, — снова скрылся.

Катакомбная культура, а в ее облегченном, урбанизированном виде культура кухни — вне традиций подполья, заговорщицкого, революционного. Там все было подчинено политике, всего прежде задачам свержения тирании, а в пределе — задачам цареубийства: не ударом бомбы, так торопливым приговором Екатеринбургского губисполкома (Гриневицкий и Софья Перовская хоть собственной жизнью заплатили за царскую, а тут не было никакого риска). Здесь... Елена Александровна Бахтина не намеревалась свергать с престола Брежнева, а читатели Флоренского и Бердяева и в мыслях не держали посягать на идеологическую монополию Ильичева и Суслова. Бог с ними, с Брежневым, с Ильичевым и Сусловым; и необходимую им порцию заданных ими словес можно было им выдать, дабы не могла поколебаться владеющая их умами картина нерушимости языка, о единстве и о монопольном положении коего они неустанно пеклись. Лицемерие? Двойное мышление? Но что все-таки значит: "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу" (Мтф, 22, 21)? Отдай и не пытайся в чем-либо с кесарем состязаться: не начинай дискутировать с ним на его языке, ибо ты и сам не заметишь, как он проникнет в тебя, разест душу, иссушит мысли.

Вопрос о границах воздаяния кесарю вечно будет стоять перед нами. Здесь, как говорится, нужен конкретно-исторический подход. И конкретно-личностный. Ошибались? Конечно! Позволяли себя запугать? Было, было и это. Принимали подачки, ловили динарии, что разбрасывал кесарь среди верноподданных? Чины, должности? Лишь такие, как тот же Бахтин, выжили, ничем не поступившись и в помыслах. Бахтин и в должности заведующего кафедрой, по-старинному — столоначальника, оставался самым собою, независимым китежанином. Свободным. И борющимся за свободу, хотя смешно было бы представить его себе автором негодующего письма в защиту очередного гонимого или в осуждение очередного вторжения танков к соседям. Но у тех, кто подписывал подобные письма, героизма не отнимешь при этом, хотя китежской тишины в героизме их не было и светил он как бы не внутренним, не собственным светом, а преломленным, отраженным.

Впрочем же, и 70-е годы, и годы, их обрамляющие, явят историкам случай достаточно дружных действий. Были они разрозненны, но как-то сами собою сходились они в одно. Каждый делал свой выбор свободно, и спонтанно сложилась нигде не согласованная стратегия — стратегия не желающих погибать и бездейтельно присутствовать при деградации национальной культуры.

Говоря о невидимом граде Китеже, об уходе в себя, я имею в виду не особую систему иллюзий, намеков, пронизавших литературу, кино и театр эпохи безвременья. Я имею в виду речевые жанры, слагавшиеся вокруг кабинетного единообразного языка; уходя в них, культивируя их, обыватель каждый раз урывал для себя необходимую долю свободы.

Дошли до нас берестяные грамоты предков-новгородцев — драгоценные свидетельства их житейских забот, их быта. Но у предков, на наше счастье, не было ни телефонов, ни телеграфа, да к тому же и переписываться они могли без оглядки на цензоров. Сохранятся ли через века наши письма? Умерла ли эпистолярная культура XIX и более ранних столетий? Вероятно, все-таки нет, хоть теснит ее новая техника связи. Слишком часто к тому же письмо становилось предметом шантажа, изощренного обмана, злых, жестоких мистификаций. Смертоносные удары по нему наносила цензура: судьбу Александра Солженицына решило письмо, им неосторожно написанное. И его ль одного! Перлюстрация писем — совершенно беспорядный случай какой-то особенной ревности, проявляемой единственным государственным языком к языку, ему внеположному: люди пишут как-то не так, как надо бы; за пределами заданного существует другой язык. И почтмейстер Шпекин вливается взором в чужие письма, как во что-то недоступное, хотя и манящее. Впрочем, он был эстетом; а письма, которые все-таки иногда писал обыватель, имели в виду не эстетов — прагматиков. Но и предсмертные корчи эпистолярного стиля — явление, подлежащее серьезному изучению. Шифрограммы. Семейные коды: арестован — отправился в командировку; расстрелян — уехал к какой-нибудь бабушке, много лет тому назад переселившейся в лучший мир, — достигали невиданной виртуозности, и интимный язык усложнялся, обретал дополнительную многозначность, оглядываясь на недреманное око Левиафана. Будет ли он когда-либо исследован? Будет ли понят на его конститутивных, структурообразующих уровнях, а вместе с тем и на уровне общественной нравственности, как язык китежан, открытых друг другу и спрятавшихся от вплотную приблизившихся к стенам города врагов?

Государственный язык проникал в интимно-эпистолярный; точно так же и нравы, царившие там, наверху, над поверхностью вод, проникали в кухонные катакомбы, на стогны Китежа-града; и кухонную культуру нет нужды идеализировать. Ее камерность несла в себе зерна розни. Каждая кухня постепенно оказывалась хранилищем единственно подлинной истины, знать ничего не желающей о том, что говорилось в соседней кухне. Были кухни либерально-интеллигентские и кухни националистические, модернистские и консервативные. Пришло время, семена пошли в рост: пожинаем посев 70-х годов.

Исключительного внимания заслуживают... оккультские кухни, за столами которых возвышался пламенноокий недоучка-гуру, группирующий вокруг себя неудачников, в изобилии поставляемых ему эпохой безвременья. Уж в ком-ком, а в неудачниках Россия недостатка никогда не имела. Но в правление Брежнева неудачники пошли косяком: не прошедшие по конкурсу в высшие учебные заведения юноши, разведенные жены, запойные алкаши — все они сходились сюда, обретали необходимое им утешение, получали доступ к глубинам мистериального знания: метафизика быта, воплощение душ, их странствия по астральным мирам. В замордованной бытом бухгалтерше ясновидящий гуру прозревал Клеопатру, царицу египетскую; в уволенном за пьянство экспедиторе — шведского короля Карла XII. В сообществах оккультистов устанавливались нравы воровского притона, "малины". Перед гуру-паханом трепетали. Озаренные высшим светом проводницы международных ваго-

нов, архивистки и рабочие сцены, обнаружив в себе вновь низринутых на грешную землю колдунов и особ королевской крови, за былые грехи трансплантированных в образцовый коммунистический город Москву, наушничали гуру друг на дружку, грызлись, мучились завистью. И все вместе они алчно искали признания их государством. Права быть включенными в его аппарат в качестве его официально признанных консультантов. Уж не знаю, как отбивались от них КГБ, Академия наук и прочие не менее достойные ведомства. Знаю только, что в ведомства одно за другим шли ультимативные письма с предупреждениями: за океаном готовятся незримые парапсихологические атаки на наших правителей, и лишь они, оккультисты, знают способы отбиться от этих атак.

Оккультизм бравировал материалистичностью своих предпосылок. Его смысл — достижение власти над душами, куда более прочной, чем власть политическая, непосредственной, не оставляющей жертве ни минуты покоя. И при всей нелепой комичности его притязаний в пору злого безвременья нельзя исключить возможности его бурного, хотя и незримого развития во времена предстоящие. Пусть сегодняшний гуру, шантажист и невежда, что-то вроде Сергея Нечаева XX века, он — симптом, он предвестник грядущих гуннов, претендентов на роль повелителей мира. Идеальный, конечный объект вождельней любой диктатуры — душа человека. Ускользящая. Неуловимая. Витающая меж мирами. Неприкаянная, а к тому же еще ее, диктатуру, осыпающая проклятиями, о которых весьма впечатляюще говорил в рассказе Шаламова заключенный-интеллигент. Обязательно ли воздействовать на нее такими громоздкими средствами, как пространный ГУЛАГ, сеть шпионов-осведомителей, имитация судебных процессов, четвертьвековые сроки работ на каторге? Деспотия возможного будущего, уважая эксперименты своих предшественников, отметит их дорогостоящую методичку, а то даже и посмеется над ней. И разгадывание интимнейших помыслов, управление ими она будет осуществлять элегантнее, проще.

Еще раз: Китеж — это не подполье, не конспирация, а то, глядь, и дельцов теневой экономики мы в китежане запишем. Китеж как раз и кончается там, где начинается организация, планомерность, борьба за внешнюю власть. Китеж — там, где теплится творчество. Говоря по-старинному, умное делание. Оккультизм же может интересоваться только как еще не сложившаяся форма реакции на бегство человека в себя, на поиски им своего языка. Оккультизм когда-нибудь соединится с моноязычной государственной политикой, и тогда-то китежанам предстоит испытания, которых в истории еще не было. Выдержат ли?

Но пока — ничего, выдерживали.

Дневники — своеобразный фольклор XX века, коллективное творчество людей, не знающих о существовании друг друга, наблюдающих одно и то же с разных позиций. Еще нет осмысленной, ответственной теории дневника; многое приходится высказывать предварительно, как догадку. Например: дневник есть вербальная самореализация преследуемого, гонимого, часто даже и обреченного; и классический случай — дневник Анны Франк, амстердамской девочки-еврейки, затаившейся, скрывавшейся от фашистов.

“Убьют? Не убьют?” — в пределе именно этот вопрос образует дневник как самостоятельную форму высказывания; и еще на заре днев-

никового творчества Лермонтов догадался об этом, гениально имитируя дневник своего современника, "Журнал Печорина". Да и творчество самого поэта в той мере, в какой были в нем отзвуки лирического дневника, подчинялось вопросу, ответ на который был дан жизнью летом 1841 года у подножия горы Машук.

Я не верю, что дневники не рассчитаны на прочтение их кем бы то ни было. Нет, они предполагают читателя, но читателя посмертного, и при этом читателя изумленного: вот, оказывается, каким был человек, писавший дневник! Идеальная реакция на дневник — междометие. Восхищенное: "О!" Или: "Ах!" Или что-нибудь вроде: "Нет, это надо же!.." Но читатель дневника придет только после смерти писавшего, и никак не иначе; оттого-то прижизненное прочтение дневника равносильно убийству, осквернению пишущего. Дневник — мина с часовым механизмом, ориентированным на взрыв взволнованной памяти. Бог по благости своей, несомненно, простит своим грешным рабам их наивное желание сохранить себя здесь, на земле, в виде бережно хранимых ими тетрадок в линейку, простодушных шифров, откровенностей и недомолвок. Да в конце концов, и христианская литература началась со своеобразных прадневников: евангелисты, вовсе не подозревая о том, что они евангелисты, прилежно записывали виденное. Четыре из множества дневников впоследствии были канонизированы — так же как канонизированы были и личные письма апостола Павла, послания его к Тимофею, Титу и Филимону.

Придет время, за дневниками станут гоняться так же, как гоняются сейчас за иконами. Будут фальсифицировать их. Коллекционировать, слой за слоем поднимая пласты утонувшей, потаенной культуры. Культуры деятельного сопротивления личности этатизму, "я" — государству. Ныне снимается первый из многих слоев: дневники прославленных, признанных литераторов — Корнея Чуковского, Михаила Пришвина, Федора Абрамова.

В 1930 году Пришвин записывает:

В нашем большевистском социализме не то страшно, что голодно и дают делать не свое дело, а что нет человеку сокровенного мира, куда он может уходить, сделав то, что требует обществом... Против... темного времени рабства социализм далеко ушел вперед и обладает какой-то малопонятной способностью видеть раба насквозь.

Насквозь ли? Нет, носители и стражи кабинетного языка не видели инакомыслящих и иноязычных насквозь. Пронизывающие взгляды секретарей партбюро и инспекторов 1-х отделов, перлюстрация писем, слежка — не кустарщина ли все это? "Какой-то он не наш человек!" — все, что удавалось нацедить, вслушиваясь в интонации, с которыми просвечиваемый выкрикивал дежурные лозунги, всматриваясь в выражение его лица, в его жесты. Это было чисто механическим способом выслеживания крамолы, а, пытаясь спускаться на дно скрывающего Китеж озера ватаги стукачей-водолазов или даже бросая туда одну за другой глубинные бомбы, Китежа обнаружить нельзя. Хотя все озеро взорви — ему хоть бы что. И именно Пришвин подсказывает нам образ Китежа как русского пути разрешения вечной антиномии "рабство — свобода". "Повесть нашего времени" начинается с зарисовки:

Наш древний городок Переславль укрывается до сих пор

в стороне от железных дорог и не совсем похож на другие русские города. Домики его, как в приморских городах, стоят в одну линию близко к берегу большого Плещеева озера, окруженного лесами. К этим богатствам природы — лесам и воде — присоединяются древности: монастыри на холмах и церкви.

И чуть дальше:

С того далекого берега, где из озера вытекает извилистая речка Векса, наш обыкновенный Переславль казался выступающим из воды чудесным городом, подобным невидимому граду Китежу.

“Повесть нашего времени” написана в 1943 году; за плечами писателя в его коробе странника накопился огромный творческий и жизненный опыт — его богатство. Образ Китежа занимал в этом сказочном богатстве державное место. Пришвин — ярко выраженный китежанин, тайноносец, хранимый какими-то высшими силами: потаенный по природе своей индивидуальный хронограф-дневник, вообще уязвимый и чужого взгляда не выносящий, в лютые годы террора оказался беззащитным вдвойне и втройне, поминутно рискуя стать не просто предметом глумления, но и юридически оформленной уликой, основанием для обвинения в пресловутой антисоветской агитации; выходило, правда, что пишущий дневник агитировал... сам себя, но уж это никого смутить не могло. Где хранили писатели свои дневники? Кому доверяли их? Тут — сюжеты для самостоятельных повестей и романов, для литературы о литературе. Однако же дневники писателя до нашего времени дожили; и по всем канонам бытования нам остается встречать их изумленными междометиями.

Сопутствующее развитию русской общественной мысли самопознающее понятие “раб” не сходит со страниц дневника писателя Пришвина. Хорошо, что не сходит; остается вспомнить известное изречение: раб, осознавший свое рабство, уже не раб. Диалектика тут — созерцательное восприятие политической жизни, дающее повод для обвинений себя и других в жалком рабстве, при внутренней полной свободе, если счастье первоосновой свободы сохранение неприкосновенности души человека, несотворение им кумира, будь то власть, богатство, идея национального превосходства, славы — словом, нечто, порабащивающее смертного реально и необратимо.

Пришвин пишет:

Реализация себя в богатстве или во власти — это все равно, тут разрастается личность паразитивно: власть делает то, что человек и глуп, а не чувствует этого, ум других приливает к нему рекой, этот рост сил изнутри кажется свободой (что хочу, то и делаю) извне, объективно, это самый верный плен (цари — это пленники). Художник, часто отказываясь от власти, удовлетворяет себя свободой, которая является уже как потребность и условие жизни личности.

Политика как средство самовыявления то и дело оказывается в ползрения писателя-китежанина.

Христос и Евангелие в отношении политики, по существу, ничего не говорят, потому что на такой высоте, в таком плане и самой политики нет, но, конечно, через все планы жизни надо пройти, чтобы достигнуть высшего.

Все планы жизни пройти: да, в каком-то возрасте или на каких-то этапах жизни и политику, возможно, позволительно принимать всерьез. И правы крестьяне, о которых со зловещим негодованием возвещала “Правда” в 1929 году: когда нагрянули какие-то люди из города, домогаются разделения твоих односельчан на кулаков, середняков и бедняков, не молчи, скажи то, что думаешь. Но застрять, остановиться на этом этапе глупо. И чревато порабощением, облекшимся в формы последовательной борьбы за свободу.

Дневник Пришвина — панорама: взрыв храма Христа Спасителя в 1932 году, колхозы, унылый быт голодающих рабочих и интеллигентов, бесчинства РАПП и ее разгон. И всего упрямее — размышления о тайномыслии, о границах его.

Пример: учительница в субботу в школе учит детей против Бога, антирелигиозная пропаганда, а в воскресенье рано, в темноте, закутавшись в черный платок, идет к заутрене отмаливать грех (Бог не должен простить и превращает религию учительницы в мусорную яму).

Но, как будто бы и осудив учительницу 18 января 1932 года, в мае Пришвин записывает:

Вообще задача писателя теперь такая, чтобы стоять для всей видимости на советской позиции, в то же время не расходиться с собой и не заключать компромиссы с мерзавцами.

И:

И так поневоле, как хочешь, так и думай, но жизнь приходится складывать непременно надвое: тяжелую борьбу свою, пока не победишь, оставить для себя и хранить, как тайну: правда, кому нужно это знать — всякий борется по своему.

Я всегда любил Пришвина, но он представлялся мне чрезмерно статичным: в его книгах годы, месяцы, дни текут, слишком уж буквально следуя метафоре: время — река. И хотя такая замедленность преднамеренна, она полемически нацелена на владеющую нами иллюзию стремительных темпов XX века; читать Пришвина было трудно. В дневниках писателя время фотографически точно; знать, недаром Пришвин был незаурядным фотографом. Здесь оно несколько не медленнее натурального времени, не быстрее — такое, как есть. Храм взрывают, а птицы по-прежнему слетаются туда, где меж землю и небом в воздухе парили кресты; крестов нет, птицам не на что сесть, устроиться на ночлег, на отдых. Произносят речи писатели. Сломался зуб у расчески, а расчески-то по нынешним временам не достать. Китежанин выглядывает на поверхность, смотрит; может, даже и не выглядывает; все теперь прогрессирует, и во граде Китеже обзавелись перископами: созерцают спящих по берегам. И...

Но воздействует ли Китеж на то, что сует на поверхности? Убежден: да, воздействует. Если власть вампирична и основана она на вбирании, на всасывании в себя и на поглощении духовной энергии тех, кого она считает порабощенными ею, то не может она вместе с нужной ей энергией страха, унижения, верноподданных выкриков не вбирать в себя и парализующую ее энергию тайных проклятий, и энергию спокойного созерцания. Для нее едва ли не страшнее всего стать предметом любопытства, философической любознательности; и дневник писателя Пришвина был

для власти не менее пагубен, чем злой и умный памфлет Мартемьяна Рютина, взбунтовавшегося, возроптавшего интеллигента, выходца из народа.

И ярится власть. И преследует власть бунтовщиков и ропщущих. А еще — беглецов, угрожая сыскать их на дне морском и действительно при случае круша их черепа альпенштоком или чем попало, и на дне морском отыскивали.

А на дне волшебного озера Светлояр? Там, где неизменно находили и находят приют беглецы в себя?

Метод Ирода — испытанный метод: угадав пришествие в мир нежелательного младенца, перебить всех подряд новорожденных. Но дает этот метод осечки. Промашки. И, допустим, среди убиенных малюток были не нашедшие воплощения гении, Гомеры, Шекспирсы. Может статься, и потенциальные апостолы были. Их убили. Но тот младенец, за которым охотились, он-то как раз и спасся.

А спустя почти две тысячи лет удалось спастись многим из тех, кто бежал в себя, потому что спасительная пустыня — метафора: топография, название местности может означать и линию поведения, форму, тип и область запретного творчества.

И еще одна разновидность сопротивления — это творчество в сфере методологии.

Перед личностью у тоталитарного государства — страх; перед личностью, создающей новые, даже крошечные оттенки методологии, — страх сугубый.

Методология — сопряжение. Исследование связей изучаемого объекта с тем, что лежит за его пределами, пребывая, однако, и в нем.

“Классовый подход”, на котором держалась соответствовавшая единому языку единая методология, — вовсе не такая уж надуманная нелепость, какой стал он по мере его внедрения во все на свете науки: как известно, появилась буржуазная биология и даже буржуазная физика. Статьи Ленина о Л. Н. Толстом — по-настоящему гениальны: усмотреть в идеях и образах писателя конца XIX и начала XX века отзвуки протеста и идеалов разоряемого капитализмом уклада патриархально-крестьянской жизни, связать его с духовными исканиями русского мужика — этому радуешься, как радуешься игре какого-нибудь вдохновенного виртуоза.

Методология — музыка науки.

Но основанная Михаилом Бахтиным социологическая поэтика вби-рала в себя историко-материалистическую трактовку культуры на пра-вах элемента, частного случая. Ввести, скажем, поэзию Пушкина в ряд дворянского просветительства и увидеть в Евгении Онегине типичного представителя аристократической молодежи первой трети XIX столетия не противоречило ее установкам. Она не брезговала трюизмами, вошедшими в школьные учебники и вбиваемыми в утомленные головы пятнадцатилетних мальчишек и девочек. Но она заключала в себе нечто самое ужасное для так называемого марксизма — снисходительное к нему отношение. Покровительственное в буквальном понимании слова: покрывала его, включая его в свой кругозор, давала ему приют. При таком подходе возможность полемики с ним исключалась; и попытки опровергнуть марксизм в эстетике на фоне Бахтина кажутся какою-то

неинтересной с ним пикировкой; отвергающие снова мыслят в одной плоскости с отвергаемым, по-детски, по-юношески строя свои суждения по принципу "не ..., а..."; искусством движет не классовое, а общечеловеческое начало.

Человек в социологической поэтике предстает на перекрестке влияний, из числа которых вовсе не выпадают влияния социальные, исторически конкретные, злободневные. Но прежде всего он — пришелец из неведомых ему трансцендентных миров, изумленно испытующий этот, странный, диковинный, мир. Тело, речь во всех ее проявлениях, материальные связи, экономика, политика, нравственность постигаются человеком-пришельцем на фоне трансцендентальной памяти и в предвидении перехода в миры иные. Человек ответствен за гармонию космоса: наше слово отзовется не только "здесь", но и "там", в мирах, где и слов-то в нашем понимании нет, а есть их отзвуки, трансформированные, изменившие форму.

Понятие полифонии и особенно феномен карнавала, заново открытой социологической поэтикой и внедрявшийся в наше сознание с середины 60-х годов, были тотчас же вульгаризированы и прагматизированы. Началась самозабвенная либерализация карнавала: карнавал — какая-то либерально-анархическая вольница, противостоящая политическому деспотизму. И иначе быть не могло, потому что, даже ставши мировоззрением, религия для современного человека уже вряд ли может стать мироощущением, пронизывающим всю его жизнь, весь быт. А для Бахтина она была мироощущением, изначальным условием познания мира; и великий ученый, русский интеллигент в этом, по существу, духовно единый с народом (отвлекаясь, разумеется, от позитивистской трактовки подобного единения: речь идет о приятии ученым исконных народных верований, а не о том, как общался он с председателем колхоза, предоставившим ему работу и дом в Кустанае в страшные 30-е годы).

Почему сохранился Бахтин? Почему не был он устранен еще в середине 20-х годов? Тут один ответ может быть: "Спросите что-нибудь полегче".

Китеж спас Бахтина. И на стогнах его спаслись многие — ныне целая культура всплывает.

Китеж — город не лимитный. О прописке в нем хлопотать не надо: места хватит на всех, в случае чего — приютит.

А что людям в Китеже еще не раз придется спасенья искать, в этом-то сомнения нет.

КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ: РЕАЛЬНОСТЬ – МЕНТАЛИТЕТ – ИСКУССТВО

Замечательный ученый и мыслитель Иван Павлов одним из первых стал говорить о своеобразной "двусмысленности" советской действительности. С одной стороны, в ней просматривались многообещающие признаки "социального рая" – равенство, единение масс, воодушевление большинства общими идеями, впечатляющие результаты индустриализации и "культурной революции". С другой же стороны – рассуждал Павлов, – мы находимся в сущем аду, где насилие и бесчеловечность стали обыденным и всеобщим делом.

Этот "парадокс Павлова" действительно фиксирует своеобразие ситуации в советском обществе. Было бы, конечно, наивно говорить о том, что этот парадокс остался за порогом апрельского поворота 1985 года. По всей вероятности, до конца XX века у нас будут действовать те "исторические ножницы", о которых задумывался Иван Павлов, хотя и не с таким размахом, как это было в 30-е годы, и в ином стиле.

Строительство "рая для трудящихся" с параллельным возведением системы адских наказаний для "классово чуждых", "ренегатов", а позднее "отщепенцев" и "диссидентов" осуществилось таким образом, что разделительную стену то ли вообще забыли или не пожелали поставить, то ли впопыхах свалили. Два пространства слились воедино.

Библейские понятия "ад" и "рай" уместны не только потому, что они адекватны мышлению Павлова. Осмысление советской истории и ее результатов в конце XX века странным образом оказалось невозможным без некоторых понятий религиозной философии; если уж история решила пошутить над атеистическим обществом, то на сарказм она скупиться не могла. Бердяев не случайно говорил об "атеистической религии" советского социализма и об религиозной утопии без бога. Как бы то ни было, к концу столетия полностью сформировалось и созрело общественное целое, описывать которое приходится посредством парадоксов и оксюморонов, достойных самого Тертуллиана. Наблюдая функционирование общественных структур (экономических, политических, социальных), приходится то и дело регистрировать фантастические противоречия – например, действие принципа "чем хуже – тем лучше".

Когда-нибудь политологи и историки идей обратят, наверное, специальное внимание на обилие библейских намеков и в советской, и в антисоветской пропаганде. Президент Рейган пустил в ход имидж "империя зла" – типичный пример религиозного красноречия, отдающего врагов в распоряжение князя тьмы. На другой же стороне оперировали

такими горделивыми самоопределениями, как "оплот мира и прогресса", — а это ведь тоже прозрачный намек, связанный с архетипом "небесного Иерусалима".

Откровенная или скрытая религиозность как советских, так и антисоветских постулатов идеологии и политики нашла себе продолжение и в общественных движениях периода перестройки. Этот факт лишь раз доказывает, насколько сильна тенденция. Правда, прозорливое руководство поняло, что однозначная роль "оплота мира и прогресса" не подходит Советскому Союзу, а риторика по поводу Священной Земли, Незыблемых Столпов и всеобщего ликования (связанная именно с концепцией Царствия Небесного) выглядит просто неприлично. Сформировалась официальная концепция перестройки. Суть этой концепции состоит в том, что фундаменты Города Счастья, коммунистического рая, были заложены безошибочно, но далее строители наделали серьезных ошибок, и строительство пошло совсем не так, как надо. Кирпичи сталинского ада и трухлявые подпорки "застоя" выросли на не принадлежащих им фундаментах. И теперь задача заключается в том, чтобы отделить зерна от плевел, изгнать наваждения и вернуться к незапятнанной чистоте первоначального учения. Хотя в данном случае речь идет об учении Маркса — Ленина, сам этот ход мысли в точности повторяет устойчивый "архетип" — программы религиозных реформаторов и "перестройщиков", от Игнатия Лойолы до Лютера. Подхваченная же среди интеллигенции идея "всеобщего покаяния" говорит, что называется, сама за себя.

Эта программа и концепция официальной перестройки наталкивается, как известно, на критику со стороны радикальных реформаторов, которые считают наивными и неконструктивными официальными объяснения насчет "добрых фундаментов" и "дурных стен". Вдаваться в сущность и подробности этих споров нет ни возможности, ни необходимости. Для того чтобы найти те "узлы" внутри исторической действительности, которые определяют направленность менталитета и существенные итоги развития искусства, важно другое. История явилась человеку двуликой, как Янус. Об этом догадался в начале 30-х годов Иван Павлов, об этом не переставали думать позднее.

В 1968 году написано стихотворение Олега Чухонцева "На репетиции парада", где есть такие строки:

О родная страна, твоя слава темна! Дай хоть слово сказать
человечье.
Видит Бог, до сих пор твой имперский позор у варшавских
предместий смердит.
Что ж теперь? До каких языков и столиц довлечется
хромая громада?

По всей видимости, август 1968 года был уже позади, когда поэт писал эти строки. Но важнее всего то, что свою страну Чухонцев описывает несколькими парами предельно контрастных понятий. Она — "громада" и обладательница "славы", и она названа "родной". Однако ее слава "темна". Смердящий позор, хромота и невозможность произнести "слово человечье" в соединении с величавыми и любовными эпитетами — вот в чем суть. Любовь неотделима от ненависти — как бы в продолже-

ние мысли Вяземского о том, что подлинный патриотизм русского заключается именно в неприятии России, какова она есть.

Если художники в эти тяжкие времена пытались стать в позу обвинителя, то результатом было падение художественных достоинств. Большие художники занимались большим делом. Они пытались поставить вопрос о том, где кончается земля обетованная и начинается преисподняя, как получаются странные превращения и смеси спасительного и губительного. Вряд ли где-нибудь, кроме поздней советской цивилизации, могло появиться рассуждение Григория Померанца о превращении Георгия Победоносца в дракона.

Именно парадоксы советской действительности — эти доведенные до крайнего предела парадоксы человеческого существования — были своего рода поводом для творчества Андрея Тарковского. В его "Ностальгии" вполне откровенно воплощено трудное и не имеющее решения размышление о том, что же человеку должно быть роднее — своя российская трясына либо благодатный "земной рай" неисчерпаемой и благословенной Италии.

Действительность как точка приложения сил рая и ада одновременно — это одна из главных проблем фильма "Сталкер". Там изображен выдуманный уголок Земли, где действуют некие непознанные силы. Что же это за мир? С одной стороны — настоящий земной рай, средоточие тишины, тайны, нетронутости.

А с другой, что самое главное, — там дается спасение и благодать. Там, в заброшенном доме посреди заросших лугов, находится таинственная комната, где должны исполняться самые потаенные желания того, кто сумел туда добраться — это же очень нелегко и опасно.

Нелегко и опасно потому, что в средоточии спасения и благодати действуют губительные силы ада. Опасности подстерегают на каждом шагу — и, хотя Тарковский тактично избежал сцен адской гибели (которые есть в романе Стругацких), он показал и мрачные подземелья, и полуистлевшие трупы, и пугающий железный коридор, ведущий в святая святых.

Добраться до чудесной комнаты, то есть до спасения и благодати, может лишь тот, кто отчаялся вконец, мученик земной жизни. Но и он может погибнуть, если не повезет. Никто не может знать, как поведет себя Неизвестность. Но и тот, кто достиг цели, еще не может считать себя спасенным — более того, он подвергает себя опасности окончательной гибели. Ведь Комната исполняет потаенные, подсознательные, истинные желания людей. А вдруг в нее попадет человек, хоть и самый несчастный, отверженный и отчаявшийся, но затаивший зло и желающий несчастья другим, своим близким? Чем это кончится для него? Его желания исполнятся. Но он погиб, и ему не спастись. Его рай станет его адом.

Было бы в высшей степени наивно думать, будто Андрей Тарковский много помышлял о советской действительности, когда делал свой фильм. Он имел ее в виду, как и всякую другую. Он говорил о таких глобальных вещах, о которых говорили и Тенгиз Абуладзе в "Покаянии", и Фазиль Искандер в "Кроliках и удавах", и Людмила Петрушевская в своих произведениях.

Но ведь "вечные" вопросы задаются обычно в подходящее для этих конкретных вопросов историческое время. В течение второй половины

XX века непрерывно назревал и к концу столетия явно назрел вопрос об исторической идентичности советской цивилизации. В сущности, к концу века искусство и мысль занимаются в основном именно вопросами самоидентификации. К чему мы пришли — к славе или позору? Кто мы такие? Как это получается, что неистовая переделка жизни и нетерпеливая попытка силой ворваться в рай земной приводят в ловушку?

К 1990 году можно говорить о существовании в нашей стране искусства метафизически-мистического плана, которое уже имеет за собой два или три поколения преданных такому искусству художников, то есть некое подобие собственной истории. В области живописи и вообще визуальных искусств эта направленность творчества привела к появлению своего рода "иконического авангарда". В визуальной сфере, то есть вне таких факторов, как слово и временное развитие, вряд ли возможно представить себе появление такого теоретизирования о бытии, о человеке, о совести, грехе и спасении, как то, которое мы наблюдаем в кино, литературе, театре. Разумеется, двусмысленность и перемешанность зла и добра в жизни, во Вселенной была уже проблемой для искусства Вадима Сидура и Владимира Янкилевского. Однако же главной тенденцией художников "трансцендентного" плана, их основной заботой стали поиски знаковых форм и выразительных возможностей, воплощающих идею позитивной спасительной альтернативы. Здесь опять-таки можно вспомнить о киноискусстве, чтобы понять некоторые аспекты живописи и скульптуры. У того же Андрея Тарковского есть такие моменты, когда человеческие существа стоят лицом к лицу перед такими загадками бытия, решить которые они не могут; а есть и такие, когда они самозабвенно обращаются к Богу — исполняют обет, возносят молитву, возвращаются к Отцу. Живопись и скульптура и сегодня в основном тяготеют именно к этим моментам экзистенциального прикосновения к спасительной силе — в этом суть произведений Михаила Шварцмана, Минаса Аветисяна или Дмитрия Шаховского.

Диалог с действительностью скорее осуществлялся в других тенденциях. Например, так называемые "семидесятники" (Т. Назаренко, Н. Нестерова, А. Волков и др.) запечатлевали живописными способами странные превращения и парадоксы — маски, манекены, сновидения и призраки, создавали атмосферу двусмысленности и неуверенности, заставляли подозревать обманы, подделки и какие-то бесовские козни за фактами бытия.

Социальный концептуализм Кабакова и Булатова (позднее — Захарова, Брускина, Мироненко) противопоставлял себя зачастую живописи вообще и в этом смысле был антиподом искусства в традиционном понимании этого слова. Но если пытаться в общем обрисовать мироотношение соц-арта, то снова хочется вспомнить о "парадоксе Павлова". Тотальная ирония и тотальная двусмысленность отношения к действительности налицо. Концептуалисты словно говорят этой самой действительности: "Кривляйся, кривляйся, я-то знаю, кто ты есть". В абсурдных коловращениях и превращениях бытия и мышления в изображении концептуалистов присутствует интуитивное ощущение, что действительность, натужно изображающая на своем лице благообразие, есть на самом деле адская дыра, безумие и страдание, нелепость и позор.

Этим течениям, которые пытались своими средствами разобраться с "адским раем" или "райским адом", художники сакральные и мисти-

ческие противопоставляли свои прозрения иной реальности и высших ценностей. Это не значит, что имеет место дезавуирование реального. Творчеству, например, Табенкина, Кантора, Наумовой присущ иногда самый настоящий бытовизм, интонации повествования о семейном существовании, о "житье-бытье". Но суть такого искусства в другом: в ощущении предстояния перед высшей силой, в интонации призыва и мольбы *de profundis*, в стремлении передать свою жажду откровения через знаки-символы — лик, глаз, рука, свеча, птица, древо, — а также через цветовые и фактурные акценты. Иногда в сумрачной и вязкой материи едва пульсирует этот свет — или, точнее, желание света, мечта о свете, как в холстах Льва Табенкина. Иногда свет ровно и бесхитростно — как бы по-детски — заполняет пространство, как у Ирины Затуловской. В работах Игоря Ганиковского свет неудержимо прорывается сквозь темные массы-глыбы, сквозь тьму. Свет взволнованно и стремительно загорается и устремляется то вглубь, то наружу — таковы картины Ларисы Наумовой.

Мистическая и сакральная живопись — это лишь одна часть, один раздел нашего современного искусства. Насколько значительным оказалось это явление, оценит будущее. Пока что можно сказать с уверенностью следующее.

Перед лицом трудной и мучительной реальности, в ходе ее переоценки, в ходе самоопределения человека после всего того, что он испытал в советскую эпоху, у нас появилось сильное, широкое, жизнеспособное направление в искусстве, основанное на христианско-библейской духовной традиции. Это искусство воспользовалось отнюдь не анахроничным, не "музейным" языком. Оно говорит с людьми, используя опыт XX века — опыт примитивизма и абстракции, неоекспрессионизма, конструктивизма и "реди-мейд".

Разумеется, воспоминания о христианстве так или иначе мелькают в неисчерпаемо обильном калейдоскопе мирового искусства. Но мелькают они чаще всего, как и все прочее, вовлеченное в хоровод постмодернизма: первобытные архетипы и классические мифы, восточные культы и отпечатки электронной, "экранной" культуры, магические знаки и хрестоматийные фрагменты реалистической живописи. Словно наступило головокружение и невозможно на чем-то сосредоточиться. Последовательное, сосредоточенное движение в искусстве, устремленное к инобытию, к трансцендентному, есть только в одной стране — той самой, где довелось оказаться автору и читателю этих строк.

* * *

Перед лицом тоталитарной системы человек испытывает одно серьезное противоречие, которое стоит того, чтобы о нем подумать.

Всевластие является полновластным хозяином. Объединения и ассоциации людей, от церкви до творческих союзов, существуют призрачно, в качестве необязательных придатков. Во всяком случае, проявлять строптивость они обычно не думают.

Суть Всевластия — именно в его неограниченности. Последняя освящена шестой статьей конституции Сталина — Брежнева. Речь идет о полном господстве правящей касты, формируемой и выращиваемой определенными способами из числа низшей и средней партийной

элиты. Вся и все в их распоряжении: от управления экономикой до художественной жизни, от космических исследований до продажи елочных игрушек. По крайней мере до 1990 года такое положение не менялось на практике, несмотря на парламентские дискуссии и прессу.

В практической жизни, однако, каждый обитатель страны постоянно сталкивался с парадоксальным явлением. Централизованная и практически бесконечная власть оказывалась то и дело буквально беспомощной в простых, но важных вещах: в налаживании производства и потребления, в устройстве жизни. Давала знать о себе неэффективность многих видов деятельности, управленческая беспомощность и неразумность. Даже колоссальные усилия и траты не давали видимой отдачи. Элементарные вопросы существования, решаемые во всем мире, оказывались неразрешимыми.

Каждый знал, что власть всемогуща, и подтверждения тому были на каждом шагу. Но притом каждый ощущал, и также постоянно, что власть практически не в состоянии или не хочет сделать что-то для того, чтобы жизнь была не слишком тягостной и мучительной.

Нельзя сказать, что Всевластие было недостаточно сильным. Оно было очень сильным. Но каким-то образом получалось, что порождением самого Всевластия становилось Бессилие, — и не потому, что первое было в чем-то ограничено, а именно потому, что оно было практически безгранично и беспредельно. Безмерность — это величина неопределенная, неисчисляемая. Полная неопределенность относительно границ и пределов Всевластия превращала его в призрачную величину. По приказу Всевластия создавались необычайные машины — ракеты, самолеты, подводные лодки. Всевластие могло одним росчерком пера перекроить любые социальные структуры и изменить судьбу миллионов людей. Но оно не могло добиться того, чтобы сотни колхозов имели нормальные дороги, чтобы рабочие действительно работали. Где предел Всевластия, не знал никто. А следовательно, в любой точке страны, в любой момент, в любой ситуации появлялись признаки того, что никакой власти не существует вовсе, и потому воцарялись бессмыслица, бестолковщина, нелепость — то есть формы Бессилия.

Разумеется, психика людей регистрировала это противоречие, как и другие противоречия действительности, а творческая сила художников поворачивалась лицом к этим противоречиям. Художники, как правило, не нуждаются в том, чтобы осмысливать происходящее в действительности теоретически и вербально. Но что-то, а чутье к абсурдности общественного бытия было развито очень хорошо путем систематического упражнении.

Когда планетарная мощь и самое жалкое бессилие соединяются и второе порождается первым (а первое опирается на второе), то искусство не может пройти мимо. Через противоречия советской действительности просвечивали "последние вопросы".

Не является ли Ничто сутью Бытия?

Не Скучностью ли дает знать о себе Полнота?

Такие вопросы задавались той самой философией, которую не допускали в советский дом. Но случилось непредвиденное. Само советское Всевластие оказалось в некотором роде практическим учителем экзистенциализма. Вопросы не звучали вслух, но сама действительность

заставляла думать о l'être et la néant¹.

Некую скудость бытия искусство запечатлело в "Полетах во сне и наяву" режиссера Романа Балаяна, в "Иване Лапшине" Алексея Германа. Литература замечательно освоила такую проблему, как всевластие никудышности, расцвет и триумф пустого места, гигантских размеров nihil. В начале был Зощенко, но ведь в конце века тоже было кому сказать об этом — это и Людмила Петрушевская, и Евгений Попов, и Анатолий Гаврилов.

Действительность определенного рода формирует и психику определенного рода. Эту психику, этот склад личности "хомо советикус" запечатлели артисты и писатели — Михаил Жванецкий, Геннадий Хазанов. Человек в их изображении бывает похож на забарахливший мотор, на спущенный воздушный шарик, на телегу без колес. То человек потерянный — то есть потерявший что-то очень важное и не могущий сообразить, кто он такой, в каком мире он живет. Он и затурканный, и бесконечно дерзкий, и доверчивый, и недоверчивый, и жертва, и палач. Он не понимает самых простых вещей, но знает про себя самое главное. Он не может найти себя и как бы все время спрашивает каждым своим поступком, каждой интонацией: что же происходит, куда же мы пришли, кто же мы такие, в конце концов, и не с ума ли все походили?

Все это выходы из того мира, для обозначения которого Эрих Кёстлер нашел обозначение "слепящая тьма", а Александр Зиновьев — "зияющие высоты". В таких словах против всякой логики соединились ад и рай, величие и ничтожество, могущество и бессилие.

* * *

Едва ли не самым крупным и весомым событием в истории Советского государства была победа в войне с фашистской Германией — и недаром это событие именуется просто Победой.

Писатели и мыслители (а у нас это почти одно и то же) давно уже говорили о странной двойственности Победы и ее противоречивых результатах. Может быть, первым поставил этот вопрос фундаментально и откровенно не кто иной, как Василий Гроссман. Уже в годы гласности и относительной безопасности для откровенно высказывающихся выступал на эту тему Сергей Залыгин. То, что они говорили, было довольно просто и очевидно.

С одной стороны, советские солдаты защитили страну от страшной опасности и стали главной силой освобождения Европы и всего мира от фашизма. За это освобождение Советский Союз заплатил самую высокую цену, принес самые большие жертвы.

С другой стороны, воины-освободители спасли и поддержали тоталитарную диктатуру в своей стране, и страна-освободительница была не только освободительницей, но и источником, и орудием порабощения. Победа героев-освободителей дала новые возможности правящей олигархии завинчивать гайки, подавлять несогласие и уничтожать несогласных от Гданьска до Колымы, от Новочеркасска до Будапешта.

Освободители, можно сказать, отразили удар сил ада. Но в то же самое время они помогли утвердить мучительное, застеночное существо-

¹ "Бытие и ничто". — Книга французского философа и публициста Ж. П. Сартра.

вание для миллионов людей на просторах Евразии. Они спасли целые народы от истребления, но открыли путь новой стадии геноцида в коммунистическом мире. Они предотвратили духовное одичание, исходившее от нацизма, но они же стали вольной или невольной опорой Жданова, Суслова и всего того воинственного отупения, которое было поставлено на место культуры.

Кто и как мог бы их судить? Великая победа Добра стала орудием Зла, и невинные виновны, и Георгий Победоносец если не стал драконом, то по крайней мере пособил ему.

Результаты войны были "невозможны", абсурдны еще в одном отношении. Побежденные потеряли по меньшей мере втрое меньше людей, чем победители, и за пятнадцать-двадцать лет достигли такого уровня благосостояния и такого социального устройства, которые и не снились стране-победительнице.

Официальные идеологические инстанции Советского Союза очень возмущались, когда "инакомыслящие" спрашивали: где же Победа? Может быть, и не было Победы? Обе стороны этого спора о Победе не могли понять всей сложности проблемы. Одним хотелось думать, что они живут в раю и причастны самой великой силе и самой великой истине. Другим хотелось думать, будто все обстоит как раз наоборот, те и другие были не столь догадливы, как Иван Павлов.

Советская действительность такова, что крупнейший военно-политический триумф повлек за собой большой социально-экономический и культурный проигрыш. Великая Победа народа, использованная в качестве козырной карты тоталитарной властью, обратилась бедой, притом оставаясь Победой, оставаясь освобождением и спасением.

Здесь невозможно отделить спасение от гибели.

Как должен ощущать себя "человек разумный", когда его наблюдения, переживания и умозаключения приводят его к таким парадоксам? А не думать об этом человек не может. Он живет в таком обществе, где из Всесилия рождается Бессилие, Победа означает поражение и триумф влечет за собой историческое унижение.

Наблюдая и размышляя об увиденном, человек видел с несомненностью не только то, что его страна могущественна (хотя и беспомощна), но и то, что она исключительно богата — и полезными ископаемыми, и лесами, и почвами, и водными ресурсами, и производственными возможностями, и арсеналами культуры. Даже если не брать "колониальных товаров" вроде мехов, нефти и руды, а обратиться к промышленным показателям, то и здесь Советский Союз занимает очень видное место в мире по производству, например, некоторых машин, станков, приборов. Производственные мощности, особенно в военной области, колоссальны, даже если признать, что они несовременны и технологически несовершенны. При всех уродствах и диспропорциях советской экономики она в целом является довольно развитой и мощной экономикой.

В то же самое время по меркам действительно развитых стран Советский Союз — очень странный феномен. Дело в том, что уровень удовлетворения жизненных потребностей людей во всем их спектре, то есть так называемое качество жизни (важнейшее мерило развитости и богатства в конце XX века), здесь является просто мизерной величиной.

Советский человек оказался к концу столетия, так сказать, богатым

бедняком. Собственно, ничего другого и быть не могло в таком общественном образовании, которое построено на принципах соединения противоположностей. Перед нами реальная диалектика в действии. Если само всевластие оборачивается импотенцией, то и богатство естественным образом ведет к нищете. Последнее слово употреблено вовсе не в качестве метафоры.

В конце 80-х годов гласность позволила официально признать, что 40 миллионов человек в стране живут ниже "уровня бедности".

Поскольку советская бесплатная медицина становилась все более неэффективной и обременительной для пациентов, а крайне дешевое жилье оказалось очень дорогим в смысле содержания его в порядке (ибо материалов нет, оборудования нет, "леваки" берут дорого), то "бесплатность" и "дешевизна" на этом участке довольно иллюзорны. По всей видимости, уровень жизни абсолютного большинства советских людей в 60—80-е годы следует определить как крайне низкий, сопоставимый с уровнем жизни малоимущих слоев общества в странах вроде Чили или Турции. Это при том, что по национальному доходу и совокупному общественному продукту СССР далеко не Чили и не Турция, а сверхдержава, сопоставимая если не с США, то по меньшей мере со всей Западной Европой в целом.

Могут сказать, что экономическая статистика не имеет отношения к искусству. Но речь идет о способе существования людей — в данном случае материального существования. Отсюда во многом и мироотношение, и психическое самочувствие. А там уже настает черед вспомнить о творческих устремлениях и тенденциях искусства.

Итак, перед нами такой способ существования человека, когда рост общественного богатства сопровождается массовой бедностью. Специалисты-экономисты могут, вероятно, предложить свои объяснения по этому поводу. Однако для людей искусства, как известно, важны не теоретические формулы, а непосредственное переживание мира. И именно такого мира, который богат и изобилен, но требует и позволяет жить прежде всего скудно, бедно и обделенно.

В той мере, в которой эти парадоксы связаны с философской проблемой "полноты" и "скудости" самого бытия, искусство тут как тут. Это его исконное дело — заниматься этими вещами. Оно создавало иконы и знаки божества, оно создавало образы совершенного человека и совершенного мироздания, и оно умеет создавать образы ущербного, низменного, губительного антибытия, то есть предельной скудости, переходящей в ничто.

Искусство и литература всерьез заговорили о таком способе существования, когда, так сказать, наличие есть форма отсутствия, и наоборот. Стало быть, "все" может означать "мало" или "ничто". Иосиф Бродский сказал в "Конце прекрасной эпохи", что миллионные цифры в наших газетах выглядят как некое "огромное отсутствие". Всего много — то есть, иными словами, ничего нет. И речь идет, конечно, не о хозяйстве, а именно о способе существования. Кому-то, быть может, все вокруг принадлежит — горы металла и реки нефти, дворцы и музеи, заводы и дороги. Быть может, все это действительно принадлежит народу. Но человеку не принадлежит.

Казалось бы, этот вопрос можно рассматривать с его "негативной" стороны, то есть вспомнить в очередной раз о невероятном из-

бытке официального искусства и салонного китча в СССР. Эта серая и липкая никудышность приобрела поистине мегалитические масштабы с 1965 по 1985 год и высказывалась с громким пафосом то об очередных победах в космосе и на БАМе, то о других победах и триумфах "зрелого социализма", то о мистической благодати русской почвы, русской крови, русского духа. Такое искусство было, в сущности, не попыткой осмыслить парадокс Бытия и Ничто, а попыткой самого Ничто сыграть роль полноценного Бытия. Потому, строго говоря, то было не искусство, а "идеология в картинках".

Что же касается искусства, то проблему грандиозной малости и тяжеловесной пустоты решали прежде всего художники и литераторы абсурдистских и концептуальных направлений. Илья Кабаков делает свой "Мусорный роман" — целую эпопею из мятых оберток, окурков, горелых спичек, всяческой дряни и рвани, которая аккуратно расположена на поверхности больших листов и снабжена педантичными описаниями и комментариями — что это такое, где найдено, при каких обстоятельствах, кому принадлежало и прочее. То целый музей обыденной жизни, целое здание из фактов, имен, предметов, судеб. Но за ним — ощущение провала, какое-то всемирное мусорное ведро.

Григорий Брускин изображал красками на холсте свои "лексиконы" знаков, фигур, эпизодов из советской действительности — пионеры, рабочие, танки, вожди, транспаранты, учебники, глобусы, опять танки, пионеры и прочее — и так до бесконечности, в бесчисленных поворотах и комбинациях. За этой бесконечностью — ничто, за этой неисчерпаемостью — пустота.

Большой мастер оформлять ироническим глубокомыслием и величественными фасадами ощущение мертвенной опустошенности жизни — Дмитрий Пригов. Венедикт Ерофеев написал о человеке мегалополиса, среди толп людей — но все это скорее наваждение. Электричка Москва — Петушки, бесконечные улицы и громады домов, потоки и толпы людей, слова, отношения, связи, чувства — это все похоже на грубую поделку, на небрежную мазню обмана, нанесенную на поверхность пустоты. Немного присмотришься, прикоснешься — и проваливаешься в ничто.

Наконец, символом гигантской и всевластной Пустоты становится гигантская пустотелая статуя в повести Анатолия Злобина "Демонтаж". Пустой, но из стальных листов построенный Хозяин стоит над городом, над бесконечными пустыми равнинами. Этот памятник демонтируют, ибо началась борьба с культом личности. Но и сам демонтаж — это тоже грандиозно задуманный и тяжело бряцающий фантом. Каждый — партработник, генерал, художник, сторож — носит в себе ту же самую бронированную пустоту. В каждом — запустение, избыточное отсутствие души, могущественное бессилие. Они играют фарс — возвращение от рабства, страха и подавленности к полнокровной жизни. Но и это они играют по приказу Всевластия, как его покорные рабы. Не от себя они выступают — да и нет у них этого "себя".

* * *

Жесткая тоталитарная система сталинского типа устраняет демаркационную линию между виновностью и невиновностью, между наказу-

щими и наказуемыми, между жертвами и палачами. Осуществились мучительные фантазии Франца Кафки. Наказание-без-причины стало правилом. Достаточно было предлога, сфабрикованность и смехотворность которого была ясна и судьям, и подсудимым. В качестве всеобщего основания для массовых репрессий выдвигались "классовая борьба" и "сопротивление внутреннего врага". На практике была установлена презумпция виновности всякого. Естественно, что и сами вдохновители и исполнители репрессивной кампании попали в ту же самую мясорубку. Все это известно.

Юридическая практика как будто поменялась в 1953—1956 годах, и с тех пор прямое массовое (точнее, всеобщее) репрессирование не производится. Однако принцип "виноватости любого" был, по-видимому, не просто досадным недоразумением давно прошедших лет, а чем-то более фундаментальным.

Характерно, например, что теория и практика психиатрических репрессий 1960—1980-х годов опиралась главным образом на два "диагноза", которые лучше было бы называть приговорами: "плохая социальная адаптация" и "бред реформаторства". Первое означало, что "пациент" не способен или не желает приспособливаться к официальным понятиям или делать вид, будто он верит во все то, во что полагалось верить, будь то подвиги Брежнева на Малой земле или необходимость вторжения в Чехословакию в 1968 году. "Бред реформаторства" — это стремление противодействовать существующим нормам жизни, изменить господствующие порядки.

Легко видеть, что практически любого человека можно было (и всегда можно) подвести под один из этих пунктов или все три сразу. Кому, кроме дебилов или прожженных проходимцев, не приходилось хоть когда-либо выражать недовольство существующими порядками или действиями властей? В сущности, согласно официальной репрессивно-психиатрической концепции, подлежали "лечению" (а фактически наказанию) практически все граждане, кроме слабоумных и младенцев. Другое дело, что осуществить эту программу на практике достаточно последовательно оказалось невозможным, и массовый психотеррор не состоялся.

Зато было другое.

Советский человек, который постоянно ограничен в выборе жизненных возможностей, то есть практически не может ни сразу же и без задержек поселиться там, где он хочет, ни поехать за границу, ни выбрать себе товары и услуги по вкусу, ни отдать свои симпатии одной из многих политических сил, — этот человек не просто неполноправен. Он есть в известном смысле наказуемый и заключенный, причем пожизненно. Как писал Бродский, "неповинной главе всех и дел-то, что ждаты топора". Все оказались как бы виноватыми. И в то же время абсолютное большинство людей значатся невинными и свободными. Кто же они на самом деле? Они не в тюрьме, не за колючей проволокой. Но если суть наказания — в лишении свободы выбора, а это лишение глубоко внедрилось в нормальную "свободную" жизнь, то не означает ли это, что наказание несвободой перемешалось со свободой?

Невинные виноватые и виноватые невинные — это уже герои литературы 20-х годов, произведений Андрея Платонова, Николая Эрдмана, Николая Заболоцкого. Много позднее, уже в 1980-е годы, Вячес-

лав Пьецух написал продолжение щедринской “Истории одного города” и проследил ее до 1986 года. Один из эпизодов этой достославной истории Глупова снабжен следующим примечанием автора: “Может быть, самым поразительным в характере глуповцев является то, что они были способны влюбляться в собственных палачей”.

Всеобщая виноватость, всеобщая наказуемость и всеобщая наказанность (притом без всякой видимой причины) — это постоянная и коренная тематика искусства и литературы в Советском Союзе. В “Кроliках и удавах” Фазиля Искандера кролики вечно наказуемы и даже в известном смысле достойны наказания уже за то, что сами согласны быть добычей удавов,— более того, за то, что царство кроликов заинтересовано в том, чтобы существовало царство удавов. Даже невинные жертвы — и то не невинны.

Никто не виноват и все виноваты — вот что можно сказать о персонажах живописца Алексея Сундукова. Они живут посреди Великой скудости, как ее неотъемлемая часть, живут с согбенной выей, словно и действительно их “неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора”. В них самих никакой такой жестокости нет, они не палачи как будто. Но нет у них своего “я”, и потому нет интереса к иному “я”. Они — жертвы, то есть своего рода “доходяги” позднего тоталитарного общества, потевшие уже сами себя. Так что и жалости они не знают.

Принцип всеобщей виноватости выражается в массовых прямых насилиях лишь на ранних, незрелых стадиях развития тоталитаризма. Зрелость же — время осмотрительности и умудренности. В 60—80-е годы не было и не могло быть массового террора. Но в нем не было и необходимости. Он сыграл свою роль, он вошел отныне в историческую и даже, быть может, генетическую память народа. Умудренная диктатура должна интуитивно догадываться о том, что нельзя уничтожать своих подданных беспрерывно и грубо: это приведет к взрыву. Необходимо и достаточно один раз устроить тотальное жертвоприношение — и это будет фундаментом диктатуры. Потом она может “смягчить нравы”. Но смягчение смягчением, а напоминание о возможности наказания и уничтожения должно доходить до каждого и всякий час. Как этого добиться? Функцию напоминания о наказуемости исполняет система о б ы д е н н о г о р е п р е с с и р о в а н и я. Под этим следует подразумевать сплошные и иррациональные ограничения в области жизнедеятельности и жизнеобеспечения, то есть систему разветвленных запретов и дефицитов — в отношении жилищ, пищи, передвижения по миру, одежды, работы, политической и творческой деятельности и так далее. Эти каждодневные и даже еже-часные напоминания о несвободе и являются теми сигналами, которые практически непрерывно идут от тоталитарного Всевластия к каждому отдельному человеку. Людей не уничтожают миллионами, но постоянно напоминают: вот это нельзя, вот это недоступно. Ощутить себя свободным человеком в условиях этого постоянного давления невозможно.

Массовое обыденное репрессирование имеет место во второй половине и в конце XX века в СССР. Внутренние акценты внутри этого периода, разумеется, меняются: например, после 1985 года многие политические ограничения устраниются, зато умножаются и усиливаются “снабженческие” и прочие материальные ограничения. Разумеется, речь не идет о том, что кто-то специально и злокозненно саботирует снабжение людей товарами и услугами. Тоталитарное общество компенсирует нехватки и

пробелы собственной тоталитарности своими собственными, органически присущими ему способами. На одном фланге (политическом) репрессивный пресс оказался ослабленным, и потому происходит возрастание давления на другом фланге.

Если человек вынужден непрерывно заботиться об элементарном жизнеобеспечении в условиях, когда доход нищенский, продуктов не достать, лекарств нет, транспорт работает из рук вон плохо и так далее, то для него политические свободы значительно обесцениваются, да и просто некогда ими пользоваться, поскольку надо думать о том, как кормиться и обеспечиваться в условиях тотального дефицита. Этот последний и является орудием тоталитарного наказания человека и содержания его в условиях несвободы — даже тогда, когда имеются формальные политические свободы.

Если производится репрессирование, наличествуют и жертвы. Это относится и к обыденному репрессированию позднего тоталитаризма. В 60–80-х годах, несомненно, было уничтожено не так много людей, как в 20–50-х годах. Кроме того, при обыденном репрессировании уничтожение принимает облик “естественного ухода из жизни” или “трагической случайности”. И тем не менее следует считать жертвами репрессирования всех тех, кто пострадал или погиб в результате действия “принципа Нельза”. Например, по причине нехватки лекарств и плохого медицинского обеспечения жизни. Не только отсутствие жизнеобеспечения, но и широко распространенные социальные депрессии — тоже следствие обыденного репрессирования — также приводят к многочисленным жертвам. Например, жертвы алкоголизма исчисляются десятками тысяч умерших и погибших каждый год. За тридцать или сорок лет можно говорить уже о миллионах.

Именно эта каждодневная репрессированность жизнью является тем раствором и катализатором, в котором и благодаря которому появились и театр Юрия Любимова, Эймунда Некрошюса, Роберта Стуруа, и кинематограф Сокурова, Лопушанского, Балаяна, Абдрашитова, и проза Татьяны Толстой, Анатолия Гаврилова. “Пытку обыденной жизни” запечатлели — под разными углами зрения и разными способами — и Василий Аксенов, и Владимир Орлов, и Василий Шукшин.

Бытие как уничтожение, невинный человек как поднадзорный или заключенный — такова одна из формул искусства и литературы в эпоху позднего тоталитаризма.

* * *

Как известно из данных социальной психологии, человеческое существо не может жить среди себе подобных, если не может себя непрерывно идентифицировать, то есть давать себе самому ответы на вопросы: кто я такой, где я живу, что со мной происходит. Ответы на эти подсознательные вопросы должны быть достаточно определенными. Если человек не может в точности определиться насчет таких фундаментальных показателей, как возраст, пол, национальность, то это уже симптом тяжелой патологии.

Но есть и другие показатели, и их немало — это представления человека о политической системе, специфике власти, экономической ситуации. Свободен я или несвободен, виноват в чем-то предосудительном

или не виноват, беден или богат?

Представим себе человека, который с несомненностью знает, что его страна богата, но ее люди бедны; его правительство могущественно, но не в состоянии добиться элементарного порядка и разумности происходящего в стране; его ни в чем нельзя обвинить, но он, как и его сограждане, ограничен во всех сферах жизнедеятельности настолько строго и жестко, что вправе считать себя заложником власти. Что происходит в психике, как формируется ментальность и, наконец, какое направление принимают творческие устремления такого человека, если он причастен к искусству или литературе?

Ментальность, которая складывается и развивается под воздействием всех этих и других противоречий и неопределенностей, приходится сопоставлять прежде всего с мифологическим мышлением. Пусть это вторичная мифологичность, "неомифология", а уже не тот органический тип мышления, который описан антропологами и культурологами. Я говорю о некотором сходстве с мифологическим мышлением, а не о том, что советский художник мыслит совершенно так, как древний грек, китаец или ацтек.

В пределах поздней советской цивилизации возникают искусство и литература, которые обращены к явлениям неуловимости и двусмысленности бытия, взаимопревращениям добра и зла. Здесь, конечно, первое имя, которое должно прийти на ум, — это Андрей Тарковский с его образами и размышлениями. Виноватость невиновного, искупление зла, совершенного не тобой; причудливые, наделенные тайным смыслом метаморфозы ценностей и антиценностей (безумие и разум, ничтожество и значительность, рабство и свобода) — таков мир его идей.

Сплошная парадоксальность бытия не облегчает существование художника и человека в обществе. Накопившиеся в коллективной психике напряжения могут оказаться просто разрушительными. Когда в конце 80-х годов многие оковы пали, то в мире искусства, как и везде, страсти и противоречия накалились до предела. Всеобщее и неконкретное ощущение неблагополучия побуждало многих искать козлов отпущения и с вдохновением, достойным лучшего применения, лепить образ врага — сталиниста, бюрократа, инородца, подпольного миллионера, замшелого реакционера или безответственного крикуна-подстрекателя. Классическое "кто виноват?" стало в большинстве случаев едва ли не главным вопросом, ибо его обычное продолжение, то есть вопрос "что делать?", часто сводился к тому, что надо найти виновников хаоса, развала, тупика. Молчаливо предполагалось, что уж у нас-то каждый знает, что надо делать с теми, кто виноват...

Это мутное, бурливое и небезопасное состояние коллективной души само говорит о распространенности ощущения потерянности, точнее, неясности координат и невозможности четкой самоидентификации. А уже со времен Фрейда психологи твердо знают, что неясность и двусмысленность ситуации представляют собой особо сильный и опасный фактор психического самочувствия. Николай Бердяев говорил о раздвоенности русской души: "...жестокость и доброта, обостренное сознание единственности личности и безликий коллективизм, искание Бога и воинствующее безбожие, смирение и наглость, рабство и бунт..." Иными словами, описывается ментальность, которую можно назвать "скомканной" или "сдавленной": противоположности сблизились и перестали отрицать друг

друга. Уже в конце века Венедикт Ерофеев описывает самоощущение человека таким образом: "...ощущаешь себя внутри благодати — и все-таки совсем не там... ну... как во чреве мачехи..." Это и значит чувствовать себя в аду и в раю одновременно — то есть в безопасности и в опасности, счастливо невинным и преступным, обладателем несметных богатств и обделенным судьбой. Одновременно.

Об этом постоянно говорила независимая литература и поэзия 70-х и 80-х годов. Евгений Попов помянул как-то о "напряженной среде, где все друг друга ненавидят, искренне желая ближнему добра". Такова скомканная ментальность. Там нет несовместимости между ненавистью и желанием добра. Можно даже хотеть осчастливить человечество и притом истреблять его. Можно лгать во имя "высших истин".

Переход на рельсы неомифологизма был неизбежен, и он осуществился еще в 70-е годы. Действительность и ментальность советского типа не только допускали, но и обуславливали такой тип творчества в искусстве и литературе. Как утверждал Яков Голосовкер, в мире мифа "нет постоянства в различиях"¹, или, если сказать иначе, оппозиции не могут быть устойчивыми. Черное может быть белым, притом оставаясь черным. Происходят вещи, которые и не поддаются "разумным" объяснениям, и не нуждаются в них. Победа может быть и поражением, оставаясь победой. Неслыханное богатство приводит богача к голодной смерти — такова история Мидаса. Герой мифа может быть и виноват, и невинен одновременно — таков Эдип. В каком национальном и социальном контексте ни рассматривать человека, он оказался к концу XX столетия в роли Мидаса и Эдипа. В этом смысле советское общество и тоталитаризм не были отклонением от судеб человеческого рода. Напротив, именно в этом варианте судьбы рода обрисовались с жестокой рельефностью и неумолимой последовательностью.

Воцарившееся в советском искусстве неомифотворчество приняло прежде всего формы эсхатологического искусства. Эсхатология, то есть мышление и создание образов, посвященных "последним вещам", концу света, не есть просто пророчество о всеобщем наказании или всеобщей гибели. Философская и мистическая эсхатология отлична от примитивного катастрофизма. В основе образов эсхатологического плана лежит миф о спасении через гибель — то есть соединяющий самые крайние из возможных противоположностей. Эсхатологический миф есть в известном смысле сверхмиф и венец мифологии. Ничего более мифологичного, по-видимому, быть не может — ибо человеку неизвестны более противоположные друг другу вещи, нежели Бытие и Нытие.

Русская мысль и русская литература, как известно, глубоко и в самом серьезном смысле слова эсхатологичны, от Гоголя до Платонова и Ахматовой, от Достоевского до нашей "новой волны" 80-х годов.

Вообще говоря, всю совокупность советского искусства и литературы 60—80-х годов (имеется в виду именно искусство, а не официальные имитации, не полуискусство и не китч) можно и даже бесполезно представить себе в виде одного большого мифологического целого. Разные группы, лагеря и индивидуальности в рамках этого большого целого выражают, так сказать, разные аспекты большого мифа.

¹ Голосовкер А. Я. Логика мифа, М., "Наука", 1987, с. 45.

Искусство и литература реалистической направленности стремятся запечатлеть наступление Небытия. Суровые реалисты 60-х годов изображают неприкрашенного и сурового героя, который идет навстречу суровому и безжалостному миру. Такой герой чаще всего обречен, он — жертва жестоких и губительных сил. Практически все виды искусства отдали дань этой концепции сурового и жестокого реализма, но самые крупные результаты дала литература Солженицына и Шаламова. Они действительно показали приход самого ада на землю.

Позднее, с конца 60-х годов, начались мифологические преобразования этого начального шока. В живописи возникли образы какого-то "царства смерти": это мир призраков, двойников, оживающих манекенов и всяческих опасных странностей. Атмосфера потаенной угрозы, встревоженности, недоброй загадки чувствуется в картинах Натальи Нестеровой и скульптурах Вадима Сидура. Леонид Баранов и Татьяна Назаренко создают своего рода "исторический театр", отчасти абсурдистский или даже сюрреалистический.

Искусство этих "семидесятников" было глубоко уязвлено переживанием житейского или исторического кошмара. Но оно поддерживало в себе надежду на спасение из преисподней. Отсюда — та храмовая и музейная утопия, которая развилась в искусстве 70-х, а затем и 80-х годов. Символы и знаки, иконографические мотивы Священного писания, мотивы из произведений Босха и Брейгеля, из средневековых икон и фресок, из области барокко и классицизма оспаривали, но не могли опровергнуть то ощущение неизбывной тревоги и трагического ожидания, которое наполняло исторические сцены и натюрморты, сцены карнавалов и гуляний. Это искусство называли даже "карнавальным", но то была, так сказать, карнавальность-во-время-чумы.

И все же если говорить о метафизической и эстетической утопии, о спасительной мечте, то она была сосредоточена больше всего в искусстве замкнутого и преследуемого братства нонконформистов. Они-то и культивировали уже в 60-е годы веру в Истину и Красоту, которые должны находиться по ту сторону гибели и разложения, вне зачумленного мира гибнущих, себя губящих людей. Здесь надо вспомнить прежде всего о "беспредметных иконах" Михаила Шварцмана, о знаковых картинах Эдуарда Штейнберга и произведениях других художников — создателей мира совершенных и нетленных форм, отрешенных от реальности. Эти радикалы пронесли и через дальнейшие десятилетия уверенность в правильности именно такого пути. Младшее поколение "трансцендентных" художников, заявившее о себе в 70-е годы, и третье поколение, следовавшее за первыми двумя позднее, придали этому движению стабильный вид и доказали его укорененность.

К этим художникам нам еще предстоит вернуться. Но важно помнить и о том, что разные грани и аспекты эсхатологического мифа находят отражение в различных течениях и движениях. Мистики и созерцатели сделали акцент на спасительной и вечной Потусторонности. Другие же группы и течения изучали — все по-разному — запутавшийся и падший мир реальности. Это делали "семидесятники" — художники "карнавалов гибели". Социальная действительность — прямая и главная тема так называемого социального концептуализма. Это течение появилось около 1970 года и долгое время было более известно на Западе, чем в Советском Союзе. И. Кабаков, Э. Булатов и их младшие последователи —

Г. Брускин, В. Захаров, К. Звездочетов, В. Мироненко и другие — разрабатывали свои способы обращаться со стереотипами тоталитарного общества (идеологическими, визуальными и прочими).

То не была пародия. Прав критик и мыслитель Михаил Эпштейн¹, который увидел в концептуальном творчестве своего рода “обезвреживающее отражение” тоталитаризма — позднего, запутавшегося, но сильного. Я бы добавил от себя, что концептуалисты экспериментируют с менталитетом, который теряет себя и погружается в исторический бред. Д. Пригов, Т. Кибиров, В. Коркия исследуют сознание и подсознание человека, пережившего тотальную историческую катастрофу, которая спутала все карты в мире действительности и в мире идей. *Anima sovietica* предстает перед нами разорванной на куски, и ключья смысла соединяются самым невозможным и парадоксальным образом. Одним из всеобщих символов социального концептуализма могло бы стать написанное В. Комаром и А. Меламидом изображение образцового американского бизнесмена, который с лучезарной улыбкой и всесокрушающим оптимизмом идет вперед под лозунгом “К победе капитализма!”.

Иронические соцмифы концептуалистов составлены из обломков и обрывков всяческих “кредо”, которые друг друга явно отрицают, но вступают в немислимый брак.

Соц-арт построил здание антиутопии, переделывая на свой лад построения официальных утопий — и не только социалистической, но и “буржуазной”. Запечатлевается самая последняя стадия распада человеческого “я”, когда уже свободно заменяют друг друга любые фразы, имиджи, лозунги, знаки, — поэтому у Коркия получается, что царь Петр “грозит в Афганистане шведу”, а у Кибирова мы прочтем: “Кто привык за победу бороться, Мою пайку отнимет и жрет”.

В то же самое время, естественно, социальный концептуализм встречался с противодействием многих хороших художников. Тотальная концептуальная ирония и игра с ключьями растерзанных смыслов их никак не устраивала. К вечным ценностям стремились мистики и метафизики в живописи, скульптуре и графике.

За поколением Владимира Эльконина и Михаила Шварцмана появилось поколение Виктора Калинина, Галины Неледвы, Игоря Ганиковского, затем — Льва Табенкина, Андрея Цедрика, Ирины Затуловской. Творчество всех этих “младших метафизиков” отлично от искусства основоположников. Увеличивается тяга к простоте и “детскому” взгляду на мир. Но в то же время усиливаются трагические интонации реквиема.

Реквием — не просто плач по умершим и печаль перед вратами Небытия. Реквием еще и эсхатологичен, то есть ведет к надежде через пропасть безнадежности. Само всеисилие Смерти является намеком: должно быть спасение, не может его не быть.

В огромных и сумрачных холстах Льва Табенкина фигуры скованы, объята неподвижностью, мир меркнет, погружаясь во мрак. И в то же время перед нами — словно ритуал или таинство. Пространство картины — это всегда как бы пространство храма с монументальными формами, строгими простыми ритмами, сосредоточенной полутьмой.

Моление, обращение к небесам — это практически всегда смысл картин Ганиковского. Иногда появляются здесь и дом, и храм, и триумфаль-

¹ См.: Эпштейн М. Н. Искусство авангарда. — *Новый мир*, 1989, № 12.

ная арка — но в принципе архитектура необязательна. Темное или полутемное пространство, из которого прорываются наружу какие-то потоки света,— это и есть тот уголок Вселенной, откуда человек взывает к Творцу и спасителю. Словно в святилище ранних христиан, здесь нужны только простейшие знаки: свеча, рука, семисвечник, глаз, условная схематическая фигурка. Этого словаря достаточно: все равно нужны не слова и не изображения, чтобы взывать к небу. В сущности, перед нами — иконоклазм и паламитство в новейшей форме, но, как встарь, отрицающие изображение и признающие только мистический свет и священный знак.

Андрей Цедрик несколько более повествователен и прибегает к развитым каноническим сюжетам религиозного искусства. Он вынимает куски дерева резцом из тех досок, которые он покрывает живописью; он прибегает к восковым краскам, он прибавляет сверху куски металла или металлическую сетку, чтобы найти наконец чудесный исход — достигнуть той точки, когда тяжелая, разлагающаяся, холодная и мертвая масса материи оживает, просвечивается изнутри, возрождается и спасается.

Мерцание надежды по ту сторону отчаяния — это, наверное, то главное слово, которое все время хочет сказать Максим Кантор. Он изображает почти только мучительные состояния людей и вещей. Те и другие — жертвы времени, эпохи войн, концлагерей, тоталитаризма, физических и нравственных пыток. Мученики — и только они — превращаются в святителей. Людей озаряет отблеск надежды. Изломанные "готические" фигуры соединяются в понимании и мольбе среди развалин и голых стен, среди запустения и мусора, в бесприютности и скудости бытия. Казалось бы, откуда им взять надежду? Но они не могут жить без надежды.

* * *

Конечно, изложенные здесь соображения — лишь часть того, что можно было бы сказать. Перед нами — такая страна, такое общество, которые по своей сложности и обилию проблем равнозначны, пожалуй, целому региону мира. Да и многообразию искусства, панораму его проблем можно было бы рассматривать в обширных исследованиях.

Я не ставил перед собой задач, сколько-нибудь похожих на энциклопедические. Но в известном смысле моя задача была фундаментальной. И если мне удалось хотя бы в самой эскизной форме сказать о том, что реальность, менталитет и искусство составляют сложное единство, а главное, если удалось показать хотя бы отчасти, каким образом искусство откликлось на проблемы исторического бытия общества в то самое время, когда эти проблемы приобретают предельную и финальную сложность, то этого более чем достаточно.

КНИГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЛИ

(Вчерашние бестселлеры и сегодняшние читатели)

Перемены, происшедшие в нашем обществе за последние пять лет, очевидны. Бесспорно и то, что в разных сферах нашей жизни и глубина, и характер изменений неодинаковы. Где-то — и мы хорошо знаем где — желанных трансформаций по существу нет; всем, к сожалению, известно, где пока обозначились лишь перемены к худшему.

Рискну сказать, что самые очевидные перемены произошли в литературе, открывшейся для массового чтения. Именно здесь, как и вообще в уровне информированности общества, политика гласности приносит реальные результаты. Речь идет, подчеркну, не о той сфере, где создаются новые ценности и новые произведения, а собственно о “литературе для чтения”.

Сдвиги к лучшему видны здесь и при сравнении с другими сферами искусств. Изменения, скажем, в организации нашего кинодела не принесли столь же существенных результатов для зрителя: и число, и значимость “полочных фильмов” не может идти ни в какое сравнение с тем, что скрыто за понятием “возвращенной литературы”. От создаваемых сегодня фильмов или литературных произведений нельзя ожидать, что все они, как по заказу, будут подряд шедеврами.

В нашем обществе читатель оказался, может быть, в самом выигрышном положении. Хочется сказать, что у нас появился самый привилегированный класс, или по крайней мере наиболее счастливая социокультурная группа.

На волне тех ожиданий, которые принес с собой апрель 1985-го, родилось стремление жить иначе, жить в новом обществе. Желание это трудновыполнимо. Мы не получили нового общества. Но получили новую литературу для чтения.

О ней многое сказано, и можно сказать еще больше. Отмечу лишь, что сам факт ее появления принес с собой сильнейшие потрясения. Шок этот был вызван многими обстоятельствами: нет нужды доказывать, сколь значительные произведения, неизвестные ранее, оказались доступными, по существу, всем желающим. И дело не только в том, что среди возвращенной литературы оказалось несколько бесспорных шедевров; сильнейшее потрясение было связано с тем, что не печатавшаяся ранее и опубликованная сегодня литература в большинстве своем — наша, отечественная литература, литература на русском языке. И потому “открытие” этой литературы приобрело огромное значение для осмысления — и переосмысления — всей нашей культуры.

Не раз в нашей истории мы открывали для себя Запад. И могли

возникать споры и сомнения: что нужно брать оттуда и нужно ли вообще что-либо перенимать? В данном случае таких споров не могло возникнуть: общество столкнулось с собственным прошлым, собственным наследием. И сегодня не та ситуация, когда отказываются от прошлого.

Последствия появления другой литературы разнообразны. То, что перед нами сейчас совершенно иная литературная реальность, позволило взглянуть другими глазами на то, что еще недавно составляло единственно возможную литературу для массового чтения.

Как же выглядит сегодня в наших глазах многое из того, чем зачитывалась публика 10–15 лет тому назад? Очень многое словно относится к другой эпохе, кажется ушедшим навсегда в прошлое, просто скучным. Иногда возникает настоящее изумление: как же можно было *это* читать? (И тут же встает и ряд других вопросов: а как можно было смотреть *такую* телевизионную программу, как можно было *такое* слушать и вообще *так* жить? — слишком много оказывается таких вопросов.)

* * *

В этой статье речь идет о произведениях современных советских писателей, пользовавшихся наибольшей читательской популярностью с конца 60-х до начала 80-х годов.

В течение ряда лет Сектором книги и чтения Ленинской библиотеки проводилось анкетирование читателей и сотрудников сельских и городских библиотек РСФСР, с тем чтобы выяснить, какие книги пользуются наибольшим спросом у широкого читателя. По результатам этих регулярных “замеров” составлялись соответствующие списки, мало менявшиеся на протяжении целого десятилетия. Были проанализированы¹ произведения, “лидирующие” в этом списке: “Вишневый омут” и “Драчуньи” М. Алексеева; “Вечный зов”, “Повитель”, “Тени исчезают в полдень”, “Повесть о несбывшейся любви”, “Жизнь на грешной земле” Ан. Иванова; “Соль земли” и “Сибирь” Г. Маркова; “Имя твое”, “Судьба”, “Черные птицы” П. Проскурина; “Хмель”, “Конь Рыжий” и “Черный тополь” А. Черкасова; а также “Две зимы и три лета”, “Братья и сестры” Ф. Абрамова, “Москва, 41-й” И. Стаднюка, “Ягодные места” Евг. Евтушенко и романы С. Бабаевского “Кавалер Золотой Звезды”, “Приволье”, “Свет над землей”. Книги С. Бабаевского уже не относились в это время к разряду самых читаемых, но в свое время были прочитаны значительными читательскими массами, пропагандировались критикой, обсуждались на читательских конференциях. В некоторых случаях привлекался и материал романов М. Шолохова, А. Ананьева и др.

Как видим, это — толстые романы. В свое время применительно к некоторым из них утвердилось понятие эпопеи, романа-эпопеи. Опросы показали, что иногда читатели путают авторство и сюжетные линии тех или иных произведений, объединяя их в одно целое. Это, а также некоторые другие обстоятельства позволили в ряде случаев представить рассмотренные произведения как единый текст — своего рода инвариант романа-эпопеи.

¹ Исследование было проведено автором в 1983 г. Статья по его результатам была предложена во многие “толстые” литературно-художественные журналы и везде получила отказ.

Под массовой литературой здесь понимается в первую очередь литература, пользовавшаяся наибольшим читательским спросом в библиотеках. Популярность перечисленных произведений не ограничивалась, однако, стенами библиотек. Эти книги не только включались в рекомендательные списки литературы и пропагандировались библиотекарями, они подробно освещались критикой, о них писали и пишут монографии, на их материале защищают диссертации; эти произведения экранизируются, превращаются в телевизионные сериалы. Их создатели, как правило, отмечены многочисленными премиями, наградами, занимают руководящие посты. Таким образом, эта литература делается заметным явлением культуры.

Популярность перечисленных произведений не означает, конечно, что с конца 60-х до начала 80-х годов ничего другого советские писатели не писали, а советские читатели — не читали¹. В эти же годы признание читателей завоевали Трифонов и Искандер, Бакланов и Белов. Однако, как убеждают результаты многочисленных исследований, никто из них не входил по популярности в "первую десятку", не мог по этому показателю даже приблизиться к Иванову или Проскурину. То был особый случай — сверхуспех, сверхпопулярность, возникшее, может быть, именно на тяге к роману-эпопее. У двух кумиров массового спроса не было конкуренции.

Решающим в сегодняшней читательской судьбе этих бестселлеров оказалась неожиданная утрата ими своего тщательно создаваемого и охраняемого монопольного положения². В годы шумного, безоговорочного успеха они претендовали — и небезрезультатно — на то, чтобы быть единственными представителями "настоящей" литературы. Когда же для любого человека, интересующегося чтением, открылась возможность сравнения, то популярная литература 70-х годов конкуренции не выдержала. Для подлинной литературы даже самое блистательное соседство не оказалось бы роковым: возможно одновременное существование очень разных литератур. Но для вторичной, эпигонской литературы такое соседство оказалось губительным. Когда эти произведения пользовались всеобщим успехом, их неоригинальность была словно скрыта. Поставленная в один ряд с ранее не публиковавшимися произведениями, популярная литература 70-х годов выглядит несостоятельной, а то и просто беспомощной.

Даже для тех читателей, кто сохранил приверженность реалистическому письму и традиционной романной форме, было очевидно, что после Дудинцева, Рыбакова, Гроссмана, Гранина, Пастернака (при всех их различиях) трудно признать за романами Иванова, Проскурина, Алексева, Стаднюка, Маркова, Черкасова "правдивое художественное изображение исторической действительности" — на что в первую очередь претендовали эти авторы. Знакомство с Набоковым, Платоновым, Замятиным, Булгаковым показало, насколько вторичной была проза наших прославленных "эпиков", как называли их доброжелательные критики.

¹ См. об этом: Девятко И., Гаврон Е. Меню на сегодня. — *Вопросы литературы*, 1989, № 5, с. 265.

² Не случайно, что именно П. Проскурин, один из кумиров массового чтения, решительно выступил против публикации "возвращенных" авторов, из-за которых не хватает бумаги современным писателям; он же придумал для этого и выражение "литературная некрофилия".

Какой же в таком случае смысл обращаться к этой литературе сегодня?

Критиковать ее надо было бы в момент успеха, тогда, когда миллионы — кто добровольно, кто вынужденно, кто просто не предполагая, что могут быть и другие книги о современной жизни,— читал и эти романы. И хотя у специалистов есть свои объективные причины, оправдывающие их, приходится признать: наша литературная критика не сумела всерьез высказаться об этих произведениях, причем именно тогда, когда это было более всего необходимо. Сейчас это уже и не актуально, и много других забот появилось у отечественной критики...

Высмеивать сейчас эту литературу как-то даже неловко. Это приблизительно то же самое, как без конца иронизировать над орденами или дикцией Брежнева. Десять лет тому назад в этом был определенный смысл, сейчас это смахивает на сведение счетов.

Есть, на мой взгляд, только один резон говорить сегодня о литературе вчерашнего дня. Во многом изменилась наша жизнь. Принципиально поменялась литература, имеющаяся в нашем распоряжении. Но остался читатель, воспитанный на литературе тех лет. Перемены во многих случаях свои пристрастия, он в то же время довольно часто сохраняет верность прежним симпатиям. (Отметим здесь, что вкусы нашей публики вообще отличаются редкой стабильностью: на протяжении многих десятилетий самым "читаемым" автором остается Дюма.) Так вот, интерес к Ан. Иванову и П. Проскурину сохраняется и сегодня, по результатам конкурса, проведенного газетой "Книжное обозрение" в 1988 г., произведения обоих авторов вошли в перечень "100 лучших книг года". Это никак не противоречит высказанному выше мнению о том, что оба они ушли на второй план: как феномен литературы они принадлежат к прошлому, а как предмет для чтения — составляют и сегодняшний день. Тут лишь кажущееся противоречие: ведь и сегодня издают и Бабаевского, и Кочетова, и Шевцова, которых вряд ли мы можем числить по разряду литературы.

Итак, самые существенные проблемы связаны именно с читателем — читателем, воспитанным на той литературе. Речь идет при этом, конечно, не о привязанности к конкретным именам, а о привычке к определенному типу литературы. Хотим мы этого или нет, но ценности, заложенные в выбранных нами книгах, в той или иной степени усваиваются. Наивно было бы полагать, что культура, внутри которой мы живем, не оставляет на нас своего отпечатка. Даже если мы хотим от чего-то дистанцироваться, даже если на что-то мы смотрим сверху вниз.

А уж если речь идет о явлениях культуры, пользующихся почти всеобщим признанием, то тем более несерьезно говорить о возможности прожить где-то отдельно.

И потому литература, издававшаяся миллионными тиражами и прочитанная миллионами и десятками миллионов, и сегодня с нами — в лице своих читателей, в виде ценностей, усвоенных при ее чтении.

Утверждение, согласно которому живет рядом с нами, в нас читатель, воспитанный на популярной литературе 70-х годов (романов-эпопей, секретарской прозы, бульварного социалистического реализма, как ни назови), служит лишь ступенькой к другому, еще более рискованному утверждению. Многие из сегодняшних тяжелейших социальных проблем были непосредственно подготовлены культурой (и в частности —

чением) предшествующих десятилетий.

Говоря "многие", я готов наполнить это расплывчатое понятие вполне конкретным содержанием. Речь здесь идет о трактовке труда (которая проявляется, в частности, в отношении широких слоев населения к деятельности кооператоров, в которой видят размер вознаграждения и упорно не хотят замечать ни объема вложенного труда, ни общественной значимости полученного продукта), о соотношении личности и социальной группы, о противопоставлении своего и чужого (нет нужды доказывать, сколь это актуально при нынешних межнациональных отношениях), о комплексе "врага" и вражеского окружения (как интенсивно, с каким успехом и в каких подчас неожиданных направлениях ведется сейчас поиск врага!), о соотношении юридического закона и неформального права (очень трудно дается приближение к правовому государству), о некоторых сторонах национальной самооценки.

Если высказано предположение о том, что к сегодняшним формам социального поведения причастна литература вчерашнего дня, то для доказательства необходимо обратиться к текстам самих произведений.

Сделаем это.

Начнем с темы труда, хотя порядок рассмотрения может быть и иным.

Труд в советской литературе — и не только 70-х годов — неоднократно был заявлен как *основополагающая ценность жизни*. Особого доказательства эта мысль не требовала: ведь внутри социалистической (или марксистской, или советской) идеологии труд выступал и основным условием жизни, и важнейшей ценностью, и источником удовольствия.

Положительные герои рассмотренных романов обычно трудолюбивы, постоянно говорят о пользе труда, порицают леность, призывают окружающих беззаветно трудиться, подают в этом пример.

Но при более внимательном взгляде на вещи выясняется, что труд — не такое уж однозначное понятие. Во-первых, трудолюбие само по себе не всегда оценивается положительно: оно может оказаться на поверку и "кулацкой", и заимствованной, "немецкой" чертой. Кроме того, ни любовь к труду, ни годы безупречной работы сами по себе никак не влияют, как выясняется, на характер человека и не позволяют о нем судить. Не случайна характеристика одного из героев Ан. Иванова: "Человек дерьмо, а на работу — золото". Десятилетия труда в колхозе на пользу общему делу, на глазах у внимательных односельчан, могут быть лишь маскировкой, к которой прибегает скрытый враг. Такова ситуация в романе Ан. Иванова "Тени исчезают в полдень" с Морозовым, закоренелым врагом советской власти, религиозным фанатиком, изувечен. Отрицательные персонажи трудятся не хуже положительных. По труду, как и по одежке, можно, следовательно, только встречать.

И еще одно неожиданное наблюдение: хотя трудиться — хорошо, но можно и не трудиться; это тоже хорошо. Советская литература подарила нам множество (как сказали бы раньше, целую галерею) образов положительных бездельников. Эталоном здесь, как и во многих других случаях, стал Шолохов с дедом Щукарем. И вот у М. Алексеева мы читаем про Карпушку, вечного лодыря, с которым, однако, всю жизнь водит дружбу положительный персонаж, славящийся как раз своим трудолюбием. И прощение Карпушке дается, и объяснение находится — он просто не нашел себя при царском режиме, вот и жил бездельником. А

при советской власти стал сторожем, принял смерть от рук классового врага, что и вовсе сделало его героем.

Вообще, чем больше вглядываешься в феномен труда, как он описан в нашей массовой литературе, тем меньше в нем понимаешь.

Активность, деятельность нередко лишена какого-либо собственно трудового содержания; главным оказывается *затрата усилий, интенсивность* деятельности, а не смысл или результат труда. Именно в таких понятиях дается стереотипное описание положительного председателя колхоза, бригадира, личным примером, непрестанной затратой усилий добывающегося желанного результата. Так, при описании деятельности председателя постоянно используется одна деталь: он с утра до вечера "мотается" по полям, загоняя коня (не жалея замызганного газика), неделями не бывает дома (не ест горячей пищи, не бреется, чернеет, худеет).

Так же — по личному вкладу, по затрате сил — оценивается и деятельность командира на войне: "Последние дни он много мотался по всему фронту, лично уточняя..." (Отметим, что в данном случае военачальник, отвечающий за важную операцию, в результате заболел и перед самым началом боевых действий пролежал двое суток с высокой температурой.)

Решающим оказывается не результат деятельности, а затраченные усилия, личное участие, всегда сопряженное с перенесением лишений, с самопожертвованием. Когда руководитель включается в трудовую деятельность коллектива, то это почти всегда простой физический труд: вместе со всеми он берется за лопату или вилы, начинает косить, скирдовать, грузить, тушить, т.е. опять-таки не занимается чем-то специфическим, предписанным ему социальной ролью. ("Целыми днями" секретарь райкома, сбросив гимнастерку, "метал тяжелые, пахучие пласты".) В этой модели акцент делается на личном участии в совместной работе. Различия между положительными и отрицательными персонажами при этом исчезают: их деятельность описывается в одинаковых выражениях. Как сегодня колхозный бригадир, так раньше хозяин-кровосос "в эти страдные дни, кажется, не ел и не спал, бешено мотался от тока, где лошади молотили пшеницу, до завозни".

Неважен, как убеждаемся, результат труда. Смысл совместной деятельности — всех этих многократно описанных строителей, покосов, уборок, рытьев котлованов (не по Платонову, а по Проскурину) — в том, что вырабатывается чувство причастности каждого к группе, чувство единения этой группы.

Сегодня о таких странных критериях труда уже сказано словами популярной рок-группы "Наутилус Помпилиус": "Здесь мерилом работы считают усталость..."

Очень неслучайным представляется и описание сельской "помочи", данное М. Алексеевым: совместный труд, завершаемый выпивкой. Не знаю, такова ли была практика деревенской жизни, но что-то здесь очень напоминает субботник в городском учреждении или кратковременный выезд на картошку всем коллективом, когда главное — принять участие и совместная трапеза в завершение...

Соотношение личности и группы — тема для русской культуры не новая, и решается она в анализируемой литературе достаточно тради-

ционно. Предпочтение всегда отдается группе, интересам коллектива, который, конечно, выше, значительнее отдельного индивида. "Человек умирает, народ урону не терпит", — утверждает в романе Ан. Иванова "Вечный зов".

Интересно, однако, развитие этой темы.

Группа, как выясняется, имеет многие, довольно неожиданные права на каждого своего члена. (Неважно при этом, что это за группа — это может быть сельская община, армейский коллектив, рабочие одного завода, одна большая семья, весь народ в целом.) Так вот, подобная группа обладает правом решать судьбу индивида — право судить, казнить, отпускать, миловать. Группа берет на себя функции верховного атеистического суда, совершаемого *здесь и сейчас*, не подлежащего пересмотру. Решение такой группы выше юридического суда, и никакого другого суда над собой группа не признает. Ее слово окончательное¹.

Персонаж романа "Вечный зов" совершил преступление (не выдержал побоев в немецком концлагере, пошел на сотрудничество) и на родине отсидел положенное. Но формальный закон — это еще не все. Суд земляков выше. Отец, в прошлом красный партизан, председатель колхоза, пользующийся бесспорным авторитетом у односельчан, заявляет вернувшемуся из заключения сыну, что прощения "от людей" он все равно никогда не получит, и в прямом смысле слова (показывая на висящее на стене ружье) подталкивает сына к самоубийству. Поступок отца вызывает поддержку односельчан.

Присвоение группой столь неограниченных прав на своих членов имеет довольно неожиданные последствия. Только с учетом тотальных прав коллектива можно понять одну очень характерную черту нашей массовой литературы. Герои анализируемых текстов нередко проявляют удивительную способность "видеть насквозь", прекрасно разбираться в скрытых мотивах окружающих. Причем проявляют это качество не только те, кому оно, так сказать, положено по службе (так, в романе Ан. Иванова "Вечный зов" "старый чекист обладает страшной, просто фантастической проникаемостью"²), но и самые рядовые люди.

Примеров этому несть числа.

Героиня романа Иванова не верит, что отрицательный персонаж мог выдержать серьезную пытку и не выдать товарищей. «... Помолчав, она задала еще один странный вопрос: "А у Фёдьки остался шрам от шашки-то, которой его к скале Инютин тогда притыкал?" — "Какой шрам! Все зажило без следа"³. (До этого героиня выясняла, вводили ли шашку вдоль ребер, т.е. глубоко или поперек.)

Много есть и других литературных героев, "видящих насквозь": например, Кружилин — "чертов мужик, умеющий видеть жизнь человеческую насквозь"⁴. Не всегда это и сложно: отрицательного персонажа Бабаевского, Евсея Нарыжного, все без труда раскусывают — по черти-

¹ Отметим, что это хорошо видит и доброжелательный критик: "Да, суд писателя порой жестче юридического закона" (Б а й г у ш е в А. Боль и гнев народные.— *Наш современник*, 1970, № 10, с. 123).

² И в а н о в Ан. Собр. соч., т. 4. М., "Молодая гвария", 1979, с. 237.

³ И в а н о в Ан. Собр. соч., т. 3, с. 541.

⁴ Там же, т. 4, с. 255.

кам, играющим в его глазах¹. В романе Евг. Евтушенко "Ягодные места", обнаружив лодку с убитым, герои догадываются, что "медведь лапы приложил". Более того, после похорон признают, что раз медведи первыми не нападают на людей, то, значит, сам виноват; следовательно, плохой человек. В отличие от пронизательных персонажей читатель из предыдущих глав знает, что погибший действительно напал на медвежонка и был убит медведицей².

И конечно, умение читать в сердцах и видеть скрытое оказывается очень важным при определении истинных убеждений, мотивов. "А может быть, этой нашей партийности в тебе никогда и не было?.. — раздумчиво добавил Субботин.— И еще: может быть... возможно, и сейчас даже в истинном... в самом истинном свете я тебя все-таки не вижу еще? А?"³

"Прозрачность" персонажей и ситуаций массовой литературы может показаться ее недостатком, проявлением неумелости, торопливости, если бы не одно обстоятельство.

Умение "видеть человека насквозь", восстанавливать по одной черточке все его переживания и все намерения — результат того, что каждый человек в определенном смысле принадлежит группе как ее неотъемлемая часть. Каждый в чем-то подобен сотоварищам, сделан из того же материала, по тем же канонам, и потому каждый может судить о каждом. Способность видеть другого "до дна" — не придуманное свойство: этот "другой" уподоблен тебе; он — такой же, как ты. Право группы на человека выражается и в праве на полное стопроцентное его понимание.

Не всегда человек вправе измениться, поменять мнение группы. Писатель не предоствляет ему такой свободы. И потому шестнадцатилетний подросток Федор, герой "Вечного зова", уличенный в частнособственнических склонностях, навсегда в сознании односельчан пребывает стяжателем и предателем — сначала потенциальным, потом — реальным.

Не случайной в этой связи — как вообще мало случайного есть в языке — представляется распространенность таких выражений, как "свой парень" ("парень из нашего города", "один из нас" и т.д.).

То, что члены группы открыты друг перед другом, не могут скрыть никаких помыслов, приводит и к тому, что существует определенный (весьма ограниченный) набор средств, которыми передаются немногочисленные, всем известные переживания. Эти переживания общи, потому они и объединяют всех, сплачивают группу.

И создателю, и потребителю текстов массовой литературы в равной степени известны конвенциональные, принятые в культуре способы манифестации душевных состояний, приемы обозначения мужских и женских ролей и т.д. (так, у мужчин в момент сильных переживаний скулы или желваки на скулах "вспухают", "резко обозначаются", "остро торчат", "катаются, как пули", "вздуваются", "играют", "перекатываются стальными горошинами", "кожа на скулах собирается комками"⁴;

¹ Б а б а е в с к и й С. Собр. соч. М., "Художественная литература", 1979, т. 1.

² Е в т у ш е н к о Е. Ягодные места. М., "Советский писатель", 1982, с. 267.

³ И в а н о в А. Собр. соч., т. 3, с. 415.

⁴ В отдельных случаях у неумелых создателей популярных текстов это приобретает анекдотический, пародийный характер: "У него на скулах появились крепкие желваки величиной с пинг-понговый шарик". Н. Д е м е т ь е в. Замужество Татьяны Беловой. М., 1964, с. 107.

у отрицательных персонажей “раздуваются”, “дрожат”, “яростно двигаются” ноздри).

Разработаны и стереотипы женского поведения. Влюбленные героини, пытаясь совладать с нахлынувшими чувствами, всегда ищут единения с природой: “...ночами она уходила за деревню, на кладбище. В бурю, в непогоду она частенько бродила в дремучих зарослях чернолесья, простоволосая и необыкновенно счастливая”¹.

Трудно сказать, с кого “знатоки деревенской жизни” писали своих героинь; слишком литературно для “простых сельских тружениц” их поведение: “Анисья летела по пойме, как легкая лань. Ветви кустарника хлестали ее по лицу, она не обращала на них внимания, а все бежала, бежала, прижав к груди косынку, в которой, зацепившись, торчал поникший приплюснутый цветок”². А вот о другом романе пишет уже критик: “Девушка нашла выход своему отчаянию в бешеной скачке на коне по лесу, где ветви хлестали ее по лицу, сучья наносили кровавые раны...”³

Неважно, насколько такой способ описания соответствует той или иной реальности (так, в культуре может доминировать достаточно условное нормативное представление о внешности), важно то, что здесь мы сталкиваемся с общепринятым, понятным обозначением определенного эмоционального состояния.

Существенно и то, что за таким способом передачи конкретного душевного настроения стоит целая система исходных представлений, разделяемая носителями данной культуры. Так, популярная литература опирается на известные всем носителям культуры, глубоко разработанные представления о передаче внутренних состояний человека внешними средствами. Во-первых, здесь предполагается возможность *адекватного*, а иногда и однозначного соотношения между внутренними переживаниями и внешним их выражением; во-вторых, более или менее явно допускается, что как перечень существенных внутренних переживаний человека (сдерживаемый гнев, любовное волнение, безумие, радость, презрение к врагу, реакция на физическую боль), так и набор внешних средств, передающих эти состояния, принципиально конечны, поддаются более или менее исчерпывающему перечислению (“побелевшие костяшки пальцев”, “сведенные на переносице брови”, “задрожавшие губы”, “неверная походка” и т.д.). И в-третьих, предполагается, что читателю хорошо известно, какими именно средствами передаются те или иные душевные переживания, — иначе необходимо было бы каждый раз расшифровывать эту знаковую систему. Именно благодаря знанию этой условной системы обозначений и достигается возможность адекватного, а порой *проникающего* видения, когда литературные персонажи, вовсе не обладающие какой-то сверхпроницательностью, узнают то, что скрыто от них. Для адекватного понимания и герою, и читателю необходимо лишь знать определенный набор культурных правил и условностей. Добавим, что правила эти так хорошо известны персонажам, что при желании используются ими к своей выгоде: желая удержать возлюбленного, показать ему степень своих переживаний, героиня романа из деревенской

¹ Черкасов А. Черный тополь. Красноярск, “Книжное издательство”, 1981, с. 211.

² Там же; с. 324.

³ Жуков Д. Тень и свет. О творчестве Анатолия Иванова.— *Наш современник*, 1978, № 5, с. 159.

жизни несколько дней не ест, не спит, стремясь предстать перед ним измученной, похудевшей, т.е. такой, какой "должна выглядеть" страдавшая от любви девушка.

Заслуживает внимания и способ изображения безумия, которое в рамках определенной литературной традиции всегда выражается в пении песен, изречении глубокомысленных сентенций, "сатанинском" смехе и т.д. (Отметим, что при этом оно носит достаточно эстетизированный характер: безумие всегда "красиво", всегда отвечает определенным канонам и правилам.) Описанный "язык" настолько закреплен в культуре, столь привычен, что иногда и самими персонажами воспринимается как общепринятая условность. Так, герой, попавший в плен и стремящийся имитировать безумие в глазах окружающих, начинает петь, рвать на себе волосы – и добивается желаемого: его как "блаженного" освобождают из-под стражи. В глазах более внимательного персонажа романа он, однако, не выглядит безумцем, а является лишь актером, ведущим свою "партию" по узаконненным правилам.

В этом мире, понятном и для персонажей произведения, и для его читателей, все идет по установленным, твердым предписаниям. Одно из таких неписаных правил – вводить читателя в знаковый, привычный для него мир. И самое надежное средство – прибегнуть к тому, что уже опробовано в мировой и отечественной классике. И вот теряющие рассудок романтические героини начинают плести венки, петь и говорить стихами, подобно Офелии; посмотреть на казнь попавшего в плен товарища приходит переодетый будущий мститель, и кажется, сейчас он крикнет из толпы: "Чую, сынок!"; все деревенские "разлучницы" ведут себя одинаково, и даже соблазняемый ими председатель отмечает однообразие приемов обольщения; старик, в течение нескольких суток не выходящий во время половодья из лодки и отгоняющий багром льдины, грозящие погубить посаженный им сад, удивительно напоминает другого старика, в другом конце света и в другой лодке сражавшегося с акулой, и т.д. В массовой литературе все это, однако, не является недостатком. Напротив, встречая что-то знакомое, где-то слышанное, виденное в какой-то экранизации, мы словно еще раз убеждаемся: ну да, все правильно, все правдоподобно, где-то я уже видел точно такую же картину.

Лежащее в основе популярной литературы представление о постигаемости этого мира, о том, что мир в равной степени известен и писателю, и читателю, выражается, в частности, в характерной языковой конструкции ("тот, который"), отражающей некоторые принципиальные структуры массового сознания.

Взаимопонимание между автором и читателем, ориентация на единые представления о реальности, на единый эстетический вкус, иными словами, принадлежность к общему культурному контексту проявляется в том, что иногда писателю оказывается необязательно описывать создаваемую им реальность: можно просто *указать* на нее. Такая "отсылка" вполне достаточна, т.к. социальная реальность, представленная в художественном повествовании, знакома каждому и не нуждается в дополнительных характеристиках¹.

¹ "...Генерал смотрел на Сергея тем особенным взглядом, которым обычно смотрит командир дивизии на своего молодцеватого и расторопного в бою офицера" (С. Бабаевский); она "засмеялась тем необыкновенно счастливым смехом, какой бывает только после слез у детей да женщин" (М. Алексеев); она "пригляды-

Можно признать эту конструкцию основанной на каком-то конкретном опыте (потолстевший военный, понимающие жены); в равной степени она может быть совершенно лишена связи с нашим реальным повседневным знанием (взгляд жертвы на убийцу); она может касаться обобщенных ситуаций (все беременные женщины) или частных случаев (командир дивизии) — все это несущественно. Важно, что в этой конструкции предполагается общность знания, принимаемого на веру. Все знания, принимаемые как сами собой разумеющиеся, обладают социализирующей структурой: допускается, что такое знание принимается каждым членом группы. Общность знания объединяет членов социальной группы, подтверждает ее единство.

Совпадение читательских ожиданий с содержанием книги, гарантия “правильности” прочтения выражаются и в том, что сумму значений, общих для создателя и потребителя текста, можно обозначить минимальными средствами: достаточно упомянуть одну деталь, чтобы стал понятен весь комплекс связанных с ней значений. Так, вполне определенную информацию могут нести имена персонажей: отрицательные герои часто наделяются фамилиями, по которым читатель безошибочно определяет направленность авторских симпатий (Лахновский, Гродницкий, Грачевский, Люсинский; доцент Петрунчиков, Казимир Эмильевич Осиповский, Георгий Витальевич Грекан, Лев Ильич Рубцов-Емницкий, Григорий Владимирович Бенедиктин). Знаковую нагруженность эти имена и фамилии получают во многом благодаря выделенности из типологически однородного ряда фамилий положительных персонажей — Дерюгин, Краюхин, Кружилин, Тутаринов, Прохоров.

Одно из существенных ценностных напряжений, на которых держится анализируемая массовая литература, — противопоставление закона и права, воспринимаемого членами той или иной группы как “естественное”.

Предписанное законом очень часто не вызывает ни уважения, ни поддержки. Закон представляется столь же далеким, чужим, не отвечающим интересам “живых” людей, как инструкция, распоряжение сверху, вообще — государственная власть. И потому так “естественно” нарушить этот закон, противопоставить ему нечто связанное с реальными интересами конкретных людей, членов данного сообщества.

Противопоставление формального, юридического закона, с одной стороны, и суда людей, совести, народного правосознания — с другой, возникает не случайно: оно обдуманно и формулируется как один из самостоятельных постулатов. Два эти начала подчеркнута противоположны; при этом предпочтение всегда отдается народному, “естественному” правосознанию. Законы и постановления могут приносить и вред; устав колхозной артели, предписывающий подчинение меньшинства большинству, может быть назван “дурацким”¹, если по этому уставу валась к мужу особым зорким взглядом, какой может быть только у любящей жены” (Г. Марков); “такой взгляд бывает только у жертвы в тот момент, когда убийца занес кинжал, но еще не вонзил в грудь” (А. Черкасов); она “улыбалась той улыбкой, которой обычно улыбаются молодые беременные женщины” (С. Бабаевский); он “пошел той подчеркнута твердой походкой, какой ходят все полные пожилые военные” (М. Шолохов); она посмотрела, “как смотрят обычно замужние женщины, убежденные в верности своего мужа” (А. Ананьев).

¹ “Мы, говорит, действовали по уставу: меньшинство подчиняется большинству. А я был в меньшинстве, что я мог поделать? А я ему и говорю, что такого дурацкого устава нету в жизни”. — Бабаевский С. Собр. соч., т. 1, с. 423–424.

принимаются "неправильные" решения (т.е. невыгодные группе); в тех случаях, когда формальный порядок, навязываемый "сверху", противоречит интересам реальных людей, его можно нарушать.

Строго придерживаются формальных инструкций отрицательные персонажи, не понимающие людей, оторванные от их реальной жизни: так, в романе Проскурина председатель колхоза, чужак, не понимающий народа, запрещает взять колхозную свеклу для самогона на поминки пользовавшемуся всеобщим уважением старику. Вышедший с ружьем защищать колхозное добро, председатель был связан, посрамлен, а позднее снят с работы начальством. Противопоставление "закона" и "интересов" народа присуще как массовой литературе, так и обслуживающей ее критике. Ф. Кузнецов, называя лучшие страницы романа, восхищается героем, "своеобразным, а попросту жульническим путем добывшим свеклу на поминки старика, для чего потребовалось связать недалекого и глупого председателя колхоза"¹.

В. Горбачев пишет о повести Ан. Иванова "Вражда": "...преступая закон, подросток... объективно оказывается защитником наших сегодняшних социалистических интересов"².

Дополнительный интерес представляет тот случай, когда нарушение закона "вставлено" в хорошо известный культурный или литературный контекст и автор не может не видеть, что неизбежны определенные ассоциации, не всегда для него выгодные. Тогда автор предлагает объяснение, находя дополнительные мотивы для оправдания героя. Для нас здесь особенно важно, что ситуация "нарушения закона во благо людей" полностью отрефлексирована и писателем, и критиком; выбор в пользу "интересов народа" делается вполне сознательно.

Так, в повести М. Алексеева "Хлеб — имя существительное" сельский почтальон Зуля вскрывает, прочитывает и даже "подправляет" письма — для пользы людей. Все об этом знают и "не гневаются" за этот "грешок". "...Гоголевский почтмейстер-прохвост делал это из чувства самосохранения да поганенького любопытства. Зуля же руководствовался соображениями исключительно гуманного свойства" — так автор проводит различие между персонажем Гоголя и своим собственным. И завершается рассказ о Зуле на победной ноте, окончательно утверждающей преимущество "интересов народа" над формальным законом: "Правда, Зуле могли бы сказать, что его действия противозаконны, но он не понял бы сказавшего эти слова, потому как всегда считал противозаконным лишь то, что приносит людям вред. Его же образ действий приносит только пользу, и потому он самый что ни на есть законный. Так-то!"³

Но чаще все выглядит гораздо проще — например, как у Маркова в романе "Соль земли". Отрицательный персонаж, разоблаченный как нечестный, "не наш" человек, отправлен "в город, а потом — в лагерь". Мог бы, конечно, возникнуть вопрос: по какой статье? за что именно? — но в рамках принятого между писателем и читателем договора, построенного на доверии, такой вопрос был бы чем-то надуманным, неорганичным. Ведь ясно же, что плохой человек...

¹ Кузнецов Ф. Имя твоё — народ. — *Литературное обозрение*, 1977, № 12, с. 26.

² Горбачев В. Неповторимые черты эпохи. — *Знамя*, 1981, № 6, с. 230.

³ Алексеев М. Собр. соч., т. 3. М., 1988, с. 279.

Сегодняшнее пренебрежение к юридическим нормам, призывы людей, облеченных властью, "принять такие законы, чтобы нам было удобно работать", еще раз свидетельствуют, как устойчивы установки нашей литературы повышенного спроса.

Очень легко сегодня отказываться — громко всех оповещая об этом — от стереотипов, выработывавшихся и навязывавшихся официальной идеологией последние несколько десятилетий. Это легко и даже приятно — лишний раз подчеркнуть, что это, собственно, были *не наши* мысли, что нам это навязывали и вот мы с удовольствием от них отказываемся; не нужен нам ни образ врага, ни рассказы об американских безработных...

И совсем другие чувства возникают, когда приходится пересматривать некоторые столь привычные представления, что они стали казаться просто само собой разумеющимися. И так мы к ним привыкли, и возраст их не десятилетиями, а большими сроками исчисляется, и никакой грубой идеологией они не навязаны...

Среди тем, предельно сегодня обострившихся, можно назвать и представления о собственном национальном характере.

Литература, создаваемая и потребляемая в десятилетия, предшествовавшие сегодняшнему взрыву национальных страстей, несла в себе — не акцентированные, а поданные как нечто естественное, само собой разумеющееся — ценности национального превосходства всего русского. Тогда же наметилась традиция, дающая сегодня обильные всходы, — при конструировании русского национального характера напроочь отбрасывать всякую скромность (которую при этом тоже включают в список чисто национальных добродетелей). И вот уже самим себе раздают похвалы, самих себя описывают в превосходных степенях... Как о чем-то естественном говорят об исключительных качествах русского человека. Открываем любую страницу "Литературной России (5 января 1990 г.)": "Народ наш в душе своей светел, трудолюбив и сметлив. Подключен своим духом к земным и небесным энергиям".

Патриотизм и национальная гордость легко переходили в демонстрацию извечных преимуществ всего "нашего". Проявлялось это иногда в довольно неожиданных формах: русский ученый за границей поражает всех начитанностью и широтой интересов; русские девушки лучше всех поют, пляшут, и вообще они самые красивые; даже оказавшись в плену, русский находит способ подтвердить свое превосходство: он сумел всех переплясать¹.

Здесь же видим и мысль более конкретную, политически окрашенную — об особой роли России, особом ее месте в мире. Находим и проявления так называемого "модернизационного комплекса" — стремления быстро перегнать развитые страны и не просто встать с ними в один ряд, а непременно — впереди. Так, героиня А. Черкасова восклицает: "Англия в нашей передней... И Англия, и Франция, а завтра

¹ Иногда мысль о национальном превосходстве выражается предельно откровенно: во время строительства плотины "гости и хозяева жили хоть и тесно, но дружно, без ссор, — по справедливости надо сказать: так умеют жить только наши люди" (Бабаевский С. Собр. соч., т. 1, с. 479). Или так: "...этот (советский.—С. Ш.) народ направлял и делал историю двадцатого века" (Ананьев А. Годы без войны. Собр. соч., т. 3, с. 576).

весь мир будет в нашей передней. В передней России, и будут ждать приёма"¹.

По отношению к другим, "малым", народам встречаем взгляд хоть и не всегда презрительный, но неизменно — сверху вниз, как на меньших братьев. Это может быть и повествование о нищей жизни в послевоенной Польше; и снисходительный рассказ о "дикарях", коренном населении Сибири; и "этнографическое" описание "девушек-африканок", выбежавших из озера гольми, с лилиями в зубах, разглядывающих цивилизованного путешественника "детскими глазенками", лопочущих что-то по-своему...

Но не все в мире готовы согласиться на особую роль России. Поэтому складывается ощущение, что внешний мир враждебен, постоянно плетет сети заговоров против всего русского, советского, коммунистического (двадцать лет тому назад это можно было и не разделять). Источники заговора могут быть достаточно неопределенными: то ли это троцкисты (в романе "Вечный зов" один из вдохновителей такой тайной антирусской, антикоммунистической организации в середине 40-х годов уверяет, что в СССР много скрытых троцкистов), то ли белогвардейцы, то ли западногерманские реваншисты, то ли военно-промышленный комплекс США... (Отметим, что в те годы серьезные разговоры о жидомасонских кознях еще не велись.) Неопределенность источника заговора компенсировалась глубиной замысла, интенсивностью ненависти, которую, как эстафету, передавали белогвардейцы — троцкистам, а те — фашистам... Не оставалось в стороне и ЦРУ...

Причина ненависти тоже может быть неясной: нас ненавидят просто за то, что "мы — это мы"; "мы осмелились жить по человеческим законам. Фашисты и другие нас за это ненавидят"².

Среди выстраиваемого национального образа есть несколько самых существенных свойств. Как об одной из базовых черт национального характера говорится в популярных романах о доброте, отходчивости, великодушии русского национального характера. В некоторых произведениях эта тема заявлена как ключевая: и автор в многочисленных интервью, и герои, и доброжелательные критики — все в один голос утверждают, что тема добра — центральная для романа "Вишневый омут".

Однако более пристальный взгляд показывает, что доброта понимается иногда несколько своеобразно. Скорее это не столько доброта, сколько поддержка "своих", членов своей группы, способ укрепления единства внутри группы³. Доброта для своих тут же меняется на свою противоположность, когда речь заходит о "чужом" или ставшем "чужим", т.е. выпавшем из группы. В романе Алексеева "Вишневый омут" одобрение вызывает и высылка (признан кулаком) семидесятипятилетнего старика, готовящегося к смерти и уже сколотившего себе гроб; и раскулачивание несовершеннолетнего; и выдача властям беглого преступника, бывшего односельчанина; и отречение героини от осужденного мужа... Невольно возникает вопрос: сходятся ли здесь концы с концами и нет ли противоречий в хорошо известном нам, привычном на-

¹ Черкасов А. Хмель, М., "Современник", 1985, с. 678.

² Иванов Ан. Собр. соч., т. 4, с. 625.

³ Своего "в беде не оставят"... Так, к товарищу по работе, попади в больницу, непременно идут представители из месткома, несут апельсины. Не исключено, правда, что, пока он был на ногах, именно они довели его до сердечного приступа...

циональном образе? Где доброта, где отходчивость? Герой Ан. Иванова отсидел свое, но не смягчился его отец и вынудил сына к самоубийству. В другом романе односельчане прямо заявляют еще до суда: "Отсидишь срок, сколько получишь сейчас, не заявляйся, не примем. Иди куда хочешь"¹.

Кстати, не только сегодня возникает вопрос о том, куда же подевалась традиционная доброта русского народа. Им задавался С. Л. Франк: "Как и почему случилось, что народ, прозванный народом-богоносцем, стал народом-нигилистом, кощунственно попирающим все свои святыни? Как случилось, что народ, не без основания прославленный за свою нравственную кротость и чистоту, стал народом-убийцей, народом неприкрытой корысти и всяческого нравственного распутства?"²

Об этом позднее писал Г. Федотов: "Мы привыкли думать, что русский человек добр. Во всяком случае, что он умеет жалеть... Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни и из русского сердца... Дружным хором ругательств провожают в тюрьму, а то и в могилу, поскользнувшихся, павших... Жалость для них бранное слово, христианский пережиток. "Злость" — ценное качество, которое стараются в себе развивать"³.

В сегодняшних газетах принято писать о дефиците доброты. В качестве примеров говорят и о нежелании большинства отказать от смертной казни, и о готовности любого несогласного с твоим мнением ставить к стенке...

Да и писатели, зачислившие себя в ряды современных русских классиков, дают образцы жесткого мышления, приверженности к крутым административным мерам. Вот как предлагал обходиться с молодыми людьми, часто меняющими место работы, П. Проскудин: "А ему, такому летуну, — "волчий" бы билет в зубы, пусть бы походил с ним" (*Литературная газета*, 1 января 1979 г.). У многих из них всегда перед глазами враг — хитрый, непримиримый. Потому и легко сегодня повсюду обнаруживать "советскую буржуазию", что и в 1972 г. Ан. Иванов утверждал, что "в Сибири еще и сейчас живут кулаки — тени прошлого" (*Кубань*, 1972, № 9, с. 108).

Как видим, и трудолюбие, и соблюдение установленных советской властью законов получают в популярной беллетристике 70—80-х годов неоднозначную интерпретацию. Еще более размытыми представляются основания для моральных оценок. У многих героев видим сильнейшее желание найти какие-то надежные критерии для оценки происходящего: необходимо учесть, какие колоссальные изменения и кровавые события произошли у них перед глазами, с их участием, то в роли палачей, то в роли жертв, то — сторонних наблюдателей. Все старые привычные критерии ушли в прошлое; надежных новых оснований для оценки не выработано. Поэтому в качестве той инстанции, которой доверено вершить высший суд, выступают такие неопределенные сущности, как Жизнь, Будущее: "Время — оно все разъяснит, до полной ясности"; "Челове-

¹ Иванов в Ан., т. 1, с. 505.

² Франк С. Л. De Profundis — Из глубины. Сб. статей о русской революции, 1918, с. 293.

³ Федотов Г. Письма о русской культуре (впервые опубл. в *Русских записках*, Париж, 1938, № 3). Цит. по: Федотов Г. Россия и свобода. Нью-Йорк, 1981, с. 79.

чество разберется потом, может быть, при нашей жизни еще, а может, и позже..."; понять собственную жизнь самим невозможно, но "будущее рассудит" и т.д.

Есть, однако, ценности, не вызывающие сомнений, ценности безусловные. Одна из них, самая, на наш взгляд, существенная, своего рода "сверхценность", — лояльность по отношению к группе.

Можно, как убеждают проанализированные тексты, всю жизнь на виду у односельчан не работать; можно нарушать традиционные сексуальные нормы; можно совершить преступление против советской власти — но если ты остался верен своей группе, ты можешь быть прощен. Если ты останешься для нее "своим", найдутся слова и способы тебя оправдать. Устами положительного персонажа, авторитетного члена группы, будет заявлено: да, ты плох, но душа у тебя чистая, неспорченная, я это ясно вижу. Все остается на усмотрение группы, того коллектива, которому ты принадлежишь (принадлежишь от рождения до смерти. Время умирать, как мы видели, тоже в исключительных случаях может определить группа).

В самом языке зафиксированы некоторые важные правила поведения индивида по отношению к группе. Так, группа может оказаться временно неправой, допустить по отношению к отдельному человеку отдельную несправедливость — арестовать, посадить в тюрьму, — но человек не вправе обижаться. "На Родину не обижаются", — одергивают в таких случаях. Человек должен "понять"; формула одобряемого поведения: "он все правильно понял". У человека есть всегда выход, всегда есть социально одобряемый способ поведения: например, персонажи наших произведений, даже оказавшись в 30-е годы в концлагерях, после начала войны идут в штрафные батальоны — и Родина их прощает. Самое главное, чтобы человек "не озлобился"¹.

Таковы некоторые ценности, представленные в популярных романах-эпопеях.

Анализ текстов позволяет сделать и еще один вывод. В рассматриваемых произведениях представлена законченная целостная картина мира. И все подтверждает устойчивость и правильность установленного миропорядка. Вера в мудрость вождя, народа, истории позволяет утверждать, что мир этот в основе своей справедлив; о каких бы трагических обстоятельствах ни шла речь, всегда остается повод для исторического оптимизма: начальник концлагеря может оказаться "добрейшим человеком", он "уважал, помог, ходатайствовал". Арестованный в 1937 г. директор завода возвращен домой после поездки секретаря обкома к Сталину; другой мудрый и мужественный секретарь обкома, почувствовав, что над головой опекаемого им секретаря райкома сгущаются тучи, переводит его в дальний район и тем самым спасает от НКВД; майор КГБ обнаружил, что допрашиваемый хорошо чувствует природу, знает местные диалекты, — и "его лицо подобрело".

Литература эта направлена на то, чтобы выработать единый, умиротворяющий взгляд на мир, чтобы внести в душу читателя, выражаясь словами критика, "стройность и порядок", а не "смущение и расстрой-

¹ Недавно это выражение довелось прочесть по поводу смерти А. Сахарова: в одном из газетных некрологов было сказано, что после ссылки в Горький "Сахаров не озлобился"

ство", чтобы смягчить конфликты и выработать чувство групповой солидарности.

Стоит упомянуть некоторые стороны организации института литературы тех лет; в частности взаимоотношения писателя и критика. Заслуги критики в организации массового успеха, в создании шедевров бесспорны. Разнообразие приемов здесь достаточно велико. Например, для того, чтобы приучить читателя к мысли о том, что он имеет дело с современной классикой, авторов наших бестселлеров ненавязчиво включали в один ряд то с Толстым, Шолоховым и Леоновым, то с Гоголем, Булгаковым и Маркесом¹. Село, где родился М. Алексеев — Монастырское,— стало занимать место рядом с Ясной Поляной, Шахматовым, Константиновым.

В том, как строилось взаимодействие критика с литератором, были свои замечательные, почти трогательные (пусть и не всегда оригинальные) черты. Сложились своего рода "пары"²: о том или ином современном классике начинал писать конкретный критик (критики): об Иванове — В. Горбачев и Байгушев, о Бондареве — Идашкин, о Проскурине — Овчаренко и Чалмаев.

Появление такого содружества несло в себе ощутимые преимущества: критик мог сосредоточиться на своем предмете, глубже вникнуть в творческую лабораторию писателя.

Старательно разрабатывая свою тему, почти сроднясь с изучаемым писателем, критик начинал перенимать — как бы невольно — его стиль, манеру письма, специфические выражения и обороты речи, словно любуясь своим избранником и будучи не в силах противостоять обаянию и мощи его дара. И вот, описывая язык Алексева, критик, увлекаясь, сам пишет не хуже писателя: "В книге журчат потоки разговорной крестьянской речи. В словах... много волжской хлесткости"³; "...теплые, чистые, ясные слова"⁴; автор — "хороший знаток узорчатого, нарядного и мудрого народного слова"⁵; "красочный, запашистый и сочный язык романа"⁶; а про роман-трилогию Черкасова так: "...нетороплив и медлителен XIX век в России"⁷; "Сибирь, хмельная близкой революцией..."⁸; а вот и о Проскурине: "тектоническая активность огромных человеческих коллективов"⁹; об Ан. Иванове: "писатель, перевернувший целые пласты российской истории XX в."¹⁰; "раскаленные эмо-

¹ Например о произведении Ан. Иванова: "...к сожалению, роман не обладает убедительностью романов Достоевского". — Макаров А. Два "закрытых" отзыва. — *Октябрь*, 1969, № 6, с. 200.

² Очень много сказано о том, как проникал лагерный язык, лагерный фольклор в нашу жизнь — и песни, и словечки. Но вот упомянутые отношения критика с писателями из "сильных мира сего" — не лагерное ли обслуживание "пахана"?

³ Лапшин М. Деревня — многоцветная, многозвучная. — *Волга*, 1977, № 6, с. 174.

⁴ Макиев В. Люди, хлеб, история. — *Знамя*, 1966, № 3, с. 246.

⁵ Павловский А. Родина, время, судьбы. — *Нева*, 1967, № 5, с. 172.

⁶ Денисова И. Порыв к красоте. — *Октябрь*, 1962, № 3, с. 206.

⁷ Дробышев Вл. Пробужденная Сибирь. — *Знамя*, 1964, № 5, с. 235.

⁸ Гиленко А. Алексей Черкасов и его сказания о людях тайги. — В кн.: Черкасов А. Хмель. Новосибирск, 1964.

⁹ Чалмаев В. Обновление перспектив. М., 1978.

¹⁰ Иванов Ан. Дерево начинается с корней. — *Литературная учеба*, 1983, № 1.

ций.. злодейство, попираемое возвышенной чистотой; ...все книги, как перенасыщенный соляной раствор"¹.

Внимание, уделенное взаимодействию критика с писателем, себя оправдывает. Критик ведь, нередко понимая свою задачу просто, без затей, принимается пересказывать да растолковывать содержание излюбленного художественного произведения, невольно выделяя и подчеркивая наиболее для себя важное. И можно тем самым убедиться, *что* в произведении случайно (просто результат поспешности — ведь надо успеть написать огромный роман-эпопею), а *что* — существенно. И делается тем самым ясно, что ценностная система, заложенная в тексте, не случайна: ее разделяет и критик.

Выше уже упоминались те ситуации, когда критик с удовлетворением пересказывает случаи нарушения юридических законов и норм.

А вот критик охотно продолжает намеченную мысль о преимуществах русского национального характера: "...потому что русский человек отходчив"². А вот подчеркивает правоту подростка, остановившего мать, которая вздумала сунуть в руки осужденного мужа узелок с продуктами³.

Таким образом, ясно, что вычлененная из анализа текстов система ценностей присуща писателю, а не навязана нами: это реальность, хорошо понятная доброжелательному критику и поддерживаемая им.

Раз уж в этой работе критерием избрана популярность у широкого читателя, нельзя не упомянуть и об этой очень важной фигуре. В конечном счете именно читатель обеспечивает успех этой литературе, поддерживает ее своей многомиллионной аудиторией, придает ей законный статус избранницы народа.

Одна из самых существенных загадок литературы и чтения связана именно с фигурой читателя. Очень хочется сказать, что в "годы застоя" он находился в глубокой спячке, а теперь пробудился и обратился к "истинным ценностям". Но, видимо, это было бы формой самоуспокоения, слишком простым, слишком приятным ответом. И что же это за сон, что же за "неистинная жизнь", если продолжалась она более двух десятилетий? И не наивно ли полагать, что нынешняя жизнь — истинная, что сегодня у нас — возрождение, а все, что было раньше, происходило и вовсе не с нами и к нам теперь никак не относится? И мы с легкостью отбрасываем "былые заблуждения"...

Нет, если мы и отказываемся признать ту литературу, то чтение истинными, то надо как минимум признать их органичными для того состояния общества. Каково было общество, такими и преуспевающие писатели, и быстро ориентирующиеся критики, и восприимчивые читатели.

Если с писателем, безотказным творцом тех произведений, которых ждала от него эпоха, и с критиком, обслуживающим этого писателя, все сравнительно ясно, то фигура читателя остается самой сложной.

Кто он, советский читатель? Действительно прочитывающий очень много и действительно — не всегда самое лучшее. Не успели мы отказаться от придуманного нами самими лозунга о "самом читающем на-

¹ Байгушев А. Своеобычность корневого таланта.— *Москва*, 1981, № 11, с. 210.

² Жуков Д. Тень и свет.— *Наш современник*, 1978, № 5, с. 165.

³ Макаров А. Проклятие собственничества.— *Знамя*, 1959, № 3, с. 217.

роде", как тут же появились стереотипы прямо противоположные: "падает любовь к чтению", "вырастает уже второе нечитающее поколение". Истинному положению дел не соответствует, видимо, ни оптимистический, ни пессимистический вариант. Оба они свидетельствуют скорее о том, как бы мы хотели выглядеть в чужих или своих собственных глазах. Лозунг о "самом читающем народе", как и многие стереотипы общественного сознания, обладает самостоятельной логикой: не случайно, видимо, что и в ГДР в 70-е годы говорили о "самом читающем народе". Но вот наш читатель снова удивил своей исключительной тягой к чтению. Это показали и история с подписной кампанией 1988 г., и очередной "рекорд" — газета "Аргументы и факты" стала самой многотиражной газетой мира.

Что происходит сегодня с читателем, долгое время читавшим по преимуществу романы-эпопеи? Некоторые читательские группы с появлением "другой литературы" навсегда, кажется, расстались с томами Станюка и Черкасова. Но многие сохранили свои прежние привязанности.

Но самое главное — что значит для нас сегодня читательский опыт 70-х?

Что происходит с усвоенными при чтении этой литературы ценностями? Как трансформируется этот опыт?

Можно по-разному относиться к этой литературе. Утверждать наверняка стоит лишь то, что чтение такого рода небезобидно. Это не "пустое", не развлекательное чтение, если вообще такое чтение бывает.

На массовую литературу долго нападали и многократно ее от нападок защищали. Одно из наиболее убедительных выступлений в поддержку "низовой" литературы принадлежит Честертону, писавшему: "У заурядного читателя, быть может, весьма неприятные вкусы, зато он на всю жизнь уяснил себе, что отвага — высшая добродетель, что верность — удел благородных и сильных духом, что спасти женщину — долг каждого мужчины и что поверженного врага не убивают... В морали самого захудалого и наивного копеечного романа заложены прочные нравственные устои... в вульгарной литературе нет, в сущности, ничего дурного"¹.

И тут мы должны признаться, что это не про нас. Это не наш случай. У нас и массовая литература особая. Она не учит даже поверхностному благородству. Она учит, что поверженный враг должен быть уничтожен, что высшая добродетель — лояльность по отношению к группе, что коллектив всегда прав. Поэтому вряд ли можно позволить себе спокойное, безоценочное отношение к таким романам: это не душеспасительная литература "для прислуги", а литература действенная, литература воспитывающая. И потому от этого наследства хорошо бы отказаться. Слишком часто за последние годы повторена была фраза о необходимости "выдавливать из себя раба"; надо бы придумать другие какие-то слова. Но от смысла чеховской фразы не уйти.

Мы освободились от малоприятного прошлого, нет у нас теперь единообразного набора "современной классики". Но то, что мы приобрели, читая эти книги, пока с нами.

Что может нас излечить? Думается, лишь литература, другая литература.

¹ Честертон о литературе.— *Вопросы литературы*, 1981, № 9, с. 230—231.

* * *

Литература, открытая сегодня читателю, устроена совсем не так, как в 70-е годы. Она разнообразна, плохо поддается иерархической упорядоченности, строгой организации. Она не предполагает, что есть нечто обязательное, должное нравиться всем.

Она не призвана вносить в душу спокойствие, вырабатывать всеобщее согласие, примирять читателя с действительностью.

Она служит индивидуальному самостоятельному выбору. Она дифференцирует вкус, дифференцирует общество. И потому у каждого появляется шанс найти свое и начать освобождение от тяжелого единообразного наследия.

И очень многое зависит здесь от того, какие книги мы выбираем сегодня.

ПРОВАЛ СЕРЕДИНЫ

Морок безымянности висит над этой эпохой. С первых дней до последних. Впрочем, за пределами последних все-таки присвоили ей имя — “застой”.

Застой чего? Что о застоялось? И разве в том дело, что застоялось? А если бы “все это” не застоялось, а шло дальше... “семимильными шагами”, как это тогда называлось? “Дальнейший и мощный подъем”... Где бы мы были? Может, оно и к лучшему, что “застоялось”?

А главное, не определишь никак, что застоялось. Определяемое ускользает за рамками определения. Суть — за кадром. И так — с самого начала: определения по касательной. Вначале говорили: наконец-то стабильность! Грешен, сам говорил. Стабильность — это что, самоцель? Или просто реакция на нестабильность? На сумасбродство, прожектерство, безумство, “субъективизм”, “волюнтаризм”... что там еще? Ну, как реакция — ладно. Так ведь попытки эпохи определить самое себя в позитиве фатально бессмысленны. “Экономика должна быть экономной”. А какой она еще может быть — если она действительно экономика? Вот еще самоопределение: “эпоха развитого социализма”. Видно, как от будущего отпихнулись: если с коммунизмом не выходит (обещали к 1980 году... впрочем, кто обещал-то? волюнтаристы? так мы, мол, за них не отвечаем) — значит, “коммунизм” убираем. Что остается? Остается “социализм”. Какой он может быть? Незрелый и зрелый. Все очень просто: был незрелый, будет зрелый. Иначе говоря, вышеупомянутый. Опять “масляное масло”. Конечная цель — удовлетворение непрерывно растущих... и т.д. по кругу.

Помню, сам мычал в ответ на вопросы, когда на лекциях пытался определить, что же такое 70-е годы в литературе (в статьях не пытался — ответственность большая, а на лекциях вынуждали — вопросами). 60-е были ясны: там “левые” против “правых”, XX съезд против культа личности, реформаторы против ортодоксов, молодые против стариков, городские против деревенских, “интеллектуалы” против “лириков”, Запад, Восток, субъективизм, волюнтаризм и всяческая суета. А 70-е?

Вернее, началась эпоха — номинально — в 1964-м, но практически-то лет пять дожевывала, допытывала, переваривала то, что ей досталось от “субъективизма-волюнтаризма”, — доводила до нуля, до небытия. Остаток — к 70-м: все то, что “не вписывалось”, выдавила “за пределы” — от Сахарова до Солженицына. Что же “вписалось”? Что осталось нам в 70-е? “Нечто”. Как определить? Никак. Нечто стабильное, закругленное, неухватываемое, неслышное, невидное, экономное, подспудное,

секретное, уравновешенно-бессловесное. "Закрытая позиция" — есть такое понятие у шахматистов. Бывают позиции открытые, а эта — закрытая. На шахматной метафоре я и выезжал. "Закрытая" — не значит бессмысленная. Внутри-то там — напряжение, и не меньшее, чем в открытой. Конечно, все крайние силы — за краем доски: Владимов, Максимов, Синявский, Войнович (я остаюсь в пределах литературной ситуации), но ведь и "дома" — напряжение немалое: если по черно-белой схеме — так одного противостояния Шукшин — Трифонов хватало, чтобы наполнить схему азартом борьбы... скрытой борьбы, подспудной. А если позицию вскрыть?

Она вскрылась — в следующем десятилетии, в 80-х: оглушила гласностью, ослепила ясностью. Что именно стало нам ясно относительно нас самих — это и есть суть дела. Но подступ к сути кроется в спасательном самообмане долгого застойного "неведения" — и это тоже надо объяснить: ф а к т б е з ы м я н н о с т и.

Являясь по узкой специализации литературным критиком, я и дальше останусь в пределах своего материала. Бог даст, и литература выведет нас к кое-каким догадкам, и с ее помощью пойдем кое-что в механике "застоя". Но материал надо ограничить. Речь пойдет не вообще о литературе 70-х годов, не о тех ее явлениях, которые были порождены 60-ми и были либо прижаты (Шукшин, Трифонов), либо зажаты, отжаты прочь (и там, "за рубежами", продолжали работать отъединенно), — нет, я возьму тех писателей, которые именно п о р о ж д е н ы эпохой "застоя", в н е й обрели себя как поколение, н а н е е ответили фактом своего появления.

Так вот что интересно: это поколение... не получило в критике внятного имени! Авторы много: Маканин, Киреев, Курчаткин, Бежин, Крупин, Афанасьев... не буду длить списка; фамилий много, и они достаточно известны; все это люди настолько разные, что и поколение из них не вдруг составилось, но составилось в конце концов... и что же? И м е н и — нет у поколения. Ни "социальные наблюдатели", ни "коллекционеры характеров", ни "аналитики середины" — ничто не удержалось. В конце 70-х годов, когда эти писатели домучились наконец до своих первых книг и не замечать их стало невозможно, им приклеили пустое, ни о чем не говорящее определение "сорокалетних", так что теперь они, стало быть, поколение "пятидесятилетних", к 2000 году достают до "шестидесятилетних" и т.д. В описании их пути по сей день фигурируют подробности чаще всего организационно-издательские, именно то, что попали они в литературу не через бурный слив журнальной полемики, а через тихий отстойник книгоиздательства, — не столько, стало быть, проравшись в борьбе (как их городские и деревенские предшественники), сколько дождавшись в очереди.

Однако это чисто формальное обстоятельство (в конце концов, не все ли равно, как человек н а п е ч а т а л свои произведения, важно, как он их н а п и с а л) теперь, "с вершины лет", все более кажется мне существенным. Оно не только определилось ситуацией творчества, но во многом и определило ситуацию творчества. Вытесненные за пределы непосредственной литературной борьбы, они не должны были заботиться ни о боевой определенности своих доктрин, ни о взвешенности каждого слова; да, в тихом пространстве издательских "лакун" они могли спокойно накапливать наблюдения, выстраивая — эпизод к эпизоду, книга

к книге — целые мегаполисы и даже миры, неслышно живущие в тени исторического процесса. Их тяга к панорамированию реальности есть следствие издательских условий, но эти условия сами есть следствие жизненных причин, породивших писателей такой экстенсивной направленности. Их мир много шире тех эмблематических знаков и эпизодов, по которым их запомнила публика. Маканин в сознании читателей — прежде всего автор “Предтечи”, создатель скандальной фигуры знахаря, просигналивший в 1986 году (как и многие другие писатели) о наступлении новых времен в литературе; за пределами этой вспышки часто остаются широкие маканинские жизнеописания, от уральских послевоенных бараков до подмосковных композиторских дач и от интеллектуального юродства литературных студентов до темной подземной мудрости слепых народных провидцев. Руслан Киреев — писатель такого же стайерского дыхания. Он автор не просто серии повестей и романов, но как бы целого горизонта реальности, поднятого в словесность. Он воспроизвел под именем Светополя своеобразную микровселенную послевоенной южной России, с целыми системами типов и характеров, с семейными гнездовьями, с профессиональными “клубами” вроде пивного павильона, или автобусной станции, или фотографического ателье. Разумеется, зная биографию Киреева, нетрудно расшифровать псевдонимы (Светополь — Симферополь, Витта — Евпатория и т.д.), но делать этого как раз не следует, потому что по внутренней задаче Киреев вовсе не биограф Крыма и пишет он отнюдь не портрет “края” и даже не “общечеловеческий сюжет” на фоне “конкретной земли” (как когда-то Павленко в “Счастье”) — Киреев пишет портрет земли вообще, он выстраивает модель человеческого существования. Ни в “крымском”, ни в “послевоенном”, ни в “бытописательском”, ни в “публицистическом” прицеле эта проза, строго говоря, не удержится. Тут другой прицел. Какой? Вот это мы и попытаемся выяснить.

И начнем с Маканина.

Междомье

Кто он — в глазах критиков и читателей, в контексте накопленных о нем суждений?

Возделыватель “новых пластов”.

Открыватель новых тем и типов.

“Колумб” аварийного поселка.

Исследователь барачных “углов”.

Коллекционер “ролей” и “характеров”.

Антрополог затрапезных монстров.

Препаратор душ.

Честный реалист, описывающий неведомую, незаметно обступившую нас реальность. Так ли это?

Так, разумеется. Типология маканинских героев — свежа и нестандартна. Мебельщик-комбинатор, третьеразрядная поэтесса, инженер из “отдела снабжения”, где теснится в одной комнате двадцать столов, захудалый журналист, барыга-мастер из телеателье... Не говоря уже о вершине маканинской пирамиды (или, лучше сказать, антипирамиды): о типе знахаря-целителя эпохи ЭВМ, травника, ведьмака, полуграмотного пророка на фоне нашей бесплатной медицины. Что угодно, но это не вариации чеховских и гоголевских “вечных” типов — это типы сегодняш-

ние, новые, только что открытые, едва устоявшиеся в реальности.

Так что же, в самом деле, "картотека психологических типов"?!

Нет!

Типы, конечно, налицо. Но они — не самоцель, не сверхзадача у Маканина. Вы их не запоминаете. Вернее, вы в них это не запоминаете. От чтения Маканина остается не столько память о тех или иных типах, сколько ощущение некоего общего породившего их порядка, или климата, цвет эпохи. Достаточно вслушаться в интонацию, когда в повествовании Маканина возникает какой-нибудь "бывалый и шумный командированный, знаток жизни и цен". Или пристаёт к вам обязательный "навязчивый сноб-интеллигент петербургского разлива". Психологической пластики нет; есть два-три штриха, точные до эмблематичности. Смысл — не просто в существовании типа, смысл прежде всего в его ожидаемости, в его предсказанности, в его убийственной вычисленности наперед. Это и есть сверхзадача Маканина: горькое ощущение запрограммированности, гонка по размеченной трассе — то ли скепсис, то ли безнадега, то ли подачка, то ли холодная констатация, впрочем, сочувственная... что-то неуловимое, но и неотступное. Так что четкость суховатого штрихового маканинского письма обманчива. Вы берете резвый разбег, а обнаруживаете себя в лабиринте. Вы бежите в полную силу, лихо сворачивая на обозначенных автором поворотах, а оказываетесь на собственных следах. Смысл лабиринта — не в пути, смысл в невозможности вырваться.

Берем начало нити.

Маканин — писатель поселка.

Он дает своей "малой родине" определение, броское до эмблематичности и пронизательное до беспощадности: аварийный поселок. "Колумб барака", он чует глубинный психологический принцип этого пристанища. Он создает уникальный пейзаж: три заводских "жилдома", между которыми — под деревом — стол для общих чаепитий: население трех домов, словно бы наскоро выстроенных на пустыре, сходится на эти трапезы, как на смотр и на исповедь. В домах — вроде бы полужизнь; полная жизнь — под открытым небом, за общим столом на дворе. Впрочем, двора нет — есть полупустырь. Это не традиционный деревенский дом "о пяти стенах" и не традиционный дом горожанина — комната-крепость. Это междомье — образ жилья промежуточного, временного, призрачного... и вместе с тем фатально непреложного и реального для огромного количества людей.

Барак, детище первых пятилеток; жилье аврально-недолгое, рассчитанное на сезон-другой, по стечению исторических обстоятельств застряло в нашей жизни на два-три десятилетия, став колыбелью нескольких поколений. Психологические результаты этого сказываются теперь, когда поколения выросли и стали определять стиль жизни.

Характерно и то, что вышел Маканин из поселка уральского. Где-нибудь в Белоруссии или на западе России, где выжгла землю война, барак воспринимается как знак беды, как слом жизни — у Виктора Козько, скажем, или у Игоря Шкляревского, описавшего детдом как руины детства. Уральский поселок под пером Маканина возникает не как знак слома, а как знак жизненной непреложности, естественности. Его аварийность — привычна, обыденна, почти запрограммирована. Барак — жилье, сделавшееся единственным и незаменимым; это среда обитания, устоя-

шаяся на перекрестке, на пересылке, на великом перевалочном пункте, которые проходила Россия на пути из деревни в город в середине XX века. Маканин — физиолог этого эфемерного, неправдоподобного, фантастического и непреложного, перевального бытия.

Физиолог — не бытописатель. И тем более не живописец. Панорамы поселкового быта вы из Маканина не вынесете. Другое дело, что наша проза (не только проза “сорокалетних”, но вообще вся советская литература) в силу объективных и субъективных причин вообще не дала впечатляющей картины барачного бытия. Может быть, потому и не дала, что воспринималось это бытие как временное, духовно-неокончательное. Но если есть все же картины жизни поселка и бараков, то вы запомните их скорее по Семину и по Астафьеву или даже по Рыбакову (химкомбинат “в Сосняках” — любопытная параллель химзаводу в “аварийном поселке”), но менее всего по Маканину, хотя именно Маканин впервые понял поселок как своеобразный “санпропускник” народа.

Может быть, потому и понял, что увидел в нем не казус и отход от нормы, а странный вариант естества, неслыханную дотоле нравственную норму, ставшую для людей точкой отсчета.

Здесь — грань, отделяющая Маканина и все его трезвомыслящее поколение от предшествующего поколения мечтателей. Собственно, от моего поколения. Мы отсчитывали от идеала, пусть гипотетического, пусть наивного, — мы успели стать мечтателями прежде, чем нас ударила война. Они — не успели. Для Евтушенко, который, конечно, считает себя поэтом “кочевой” России, барак — точка на пути, станция Зима — станция на дороге в светлое будущее, в вечное лето. Для Маканина барак — все: и родина, и “околица”, и традиция, и страна детства, и место, куда, постарев, идут плакать о прошлом.

Он потому и не живописует поселковую жизнь, что не знает дистанции, необходимой для правильного, перспективного живописания. Он именно физиолог, он знает эту жизнь по внутреннему закону, по ритму дыхания, по составу крови. Он не дает “картин”, но два-три его штриха достаточны для того, чтобы почувствовать строй оттиснутой здесь души. За стенкой стрекочет швейная машинка — сплошным, сквозным, успокаивающим жужжанием: все идет нормально. Таким же сплошным, сквозным, проходящим сквозь стены лейтмотивом несется ругань. И тоже успокаивает: ругань, ссоры, даже драки — вовсе не знак неприязни или вражды — это знак жизнедеятельности, стабильности, знак равновесия, знак законности этой жизни.

Теснота. Скученность, многолюдье. Общий быт, жизнь на виду, беззастенчивая открытость. Это тоже норма саморегуляции: знак честности и чистоты, знак душевной преданности всех всем. Жизнь барака — смесь солидарности и воинственности, стремления выбраться из этой кучи куда-то в иную жизнь (в иное многолюдье) и цепкой круговой взаимосвязи, поруки. Цепкость и беспочвенность вместе: существование держится в безвоздушном пространстве, теснотой держится, “прижатостью” к ситуации. Теснота спасительная, безиндивидуальность надежна. “Ауры” душ смяты — идет кучная гонка, жизнь валом, скопом, “всем народом”. Выработывается невиданная способность к адаптации, умение, не удивившись, удержаться и прижиться в любой ситуации. Жизнь, в которой от тебя не зависит ничего, но выпасть (и перепасть) тебе может что угодно, надо только понимать закон ситуации, принимать его, использовать.

Обкатывается, вырабатывается подобранный, находчивый, хладнокровный, крепкий человек. Никакого прекраснотворения. Есть паразитическое место в повести Маканина "Голубое и красное", в одной из лучших его повестей (сквозь нейтральную белизну-желтизну слившегося спектра как бы просвечивают чистые цвета, когда-то в этом спектре смешавшиеся: голубая бабка — из "бывших", из допотопных, из беспомощных; красная бабка — из "настоящих", из трудовых, деревенских, крепких; между ними — глухая, яростная борьба за внука). Читатель, конечно, помнит эпизод, когда "красная" бабка, отлучась на несколько дней из дому (дело происходит в ее деревенском доме, где внук гостит вместе с "голубой" бабушкой), оставляет еду внуку, но не оставляет — своей сопернице. Время — послевоенное, скудное; начинается пытка голодом: из запредельной гордости, из допотопно-дворянских амбиций бабка "голубая" отказывается взять без спросу у бабушки "красной" хоть один кусок.

Внук — вот главное здесь действующее лицо, главная действующая сила. Вас охватывает ощущение нравственной глухоты и даже какой-то нарочитой тупости, когда этот парень счавкивает из рук "голубой" бабушки приготовленную снедь, спокойно наблюдая, как та доходит с голодухи. И это — тот самый внук, который на всю жизнь унесет в памяти светлый образ "голубой" бабушки и в конце концов воздаст ей должное!

Так что же это? Глухота и тупость, жестокость и жадность? Нет! Другое! Это — барачная хватка, не мной придумано, не мне менять; дают — бери, бьют — беги; таков порядок вещей, надо вписываться.

Я долго не мог найти для себя "формулу" этой психологии, этой поселковой, барачной адаптации, мне помогла кстати подвернувшаяся газетная статья. В подмосковном поселке произошло следующее. Мальчик отправился за покупками в универсам и там не заплатил за сырок. Возможно, забыл. Его задержали, отправили в милицию. В детской комнате сделали парню соответствующее внушение и, сообщив в школу, отпустили. Парень пришел домой и повесился. Инспектор детской комнаты — женщина, потрясенная таким финалом, — сказала корреспонденту: "Сразу видно было: не наш мальчик. Не поселковый. Наши, поселковые, — те ко всему привычные".

Может быть, это и есть то последнее определение, которое объясняет душу маленького Ключарева, внука двух враждующих бабок и сына не столько своих родителей, сколько барачной тесной общины, когда он, Ключарев, вырвавшись из цепкого круга и преодолев посильное число ступеней на социальной лестнице, становится излюбленным героем Маканина: заурядным, средним, среднестатистическим инженером.

Что же это за тип? Серединный. Это человек обстановки. Это заводная ежесекундная активность в сочетании с глубинным непробиваемым фатализмом. При всей энергии — бесперебойно функционирующий маканинский герой все время чувствует, что его удачи или неудачи зависят не от его действий, а от меняющейся общей ситуации, которую он не контролирует. Успехи обрушиваются на него так же непонятно, как беды. Не без смеха, но и не без тайной надежды он связывает эти вещи по магической, пародийно дикарской логике: ему, Ключареву, везет потому, что не везет его соседу Алимускину.

Ирония улавливается так или иначе во всех маканинских текстах,

тонко уравновешенная с лиричностью. Баланс подвижный и даже рискованный: Маканин не обвиняет и не защищает своего героя, он видит "адскую смесь": механическое напряжение единицы, втянутой в жизненную гонку, и боль личности, в этой единице раздавленной.

Ключевые образы-эмблемы продиктованы Маканину этой драмой. Отдушина. Мгновенный "передых" в гонке. Помните сюжет? Захудалая поэтесса, которая также заморочена профессиональной предсказуемостью своих вдохновений, как заморочен своим "престижем" преподаватель математики, выбившийся "на уровень вуза". Не говоря уже о загнанном сорокалетнем мебельщике, выполняющем "заказы потребителей". Любовь, поселившаяся в этом треугольнике, — отдушина. Для каждого из троих. Не более чем пауза в гонке. Вдохнуть и нести дальше. Как в колесе. Почвы нет — есть бесконечно меняющаяся ситуация.

Впрочем, какая-то потаенная тоска улавливается: прыгнуть повыше, уйти вверх, насколько удастся. Мебельщик "уступает" математику поэтессе в обмен на то, что тот готовит его детей к университету. Образование — ступенька вверх, способ вырваться из этой связки, из этой круговой поруки, из этого "общего коридора". Человек барака так или иначе проступает у Маканина в любой социальной роли: усредненный, беспочвенный человек, живущий как бы в невесомости. Привычный.

Пока маканинская проза прорастала на ничейной полосе между городом и деревней, критики лениво поругивали-похваливали автора, видимо, полагая, что он еще не успел присоединиться к тому или иному традиционному стану. Но как только стало ясно, что он не намерен присоединяться, что междомье — не казус, а тема, окончательная его линия и принцип, Маканин получил первый настоящий критический удар, причем от одного из лучших наших зоилов. Нанес этот удар Игорь Дедков, критик, мучительно озабоченный именно опорой личности, прочностью почвы, критик, соединяющий любовь и к Трифонову, и к Абрамову, то есть к той или этой определенности, к той или этой опоре.

В маканинской прозе Дедкова уязвило главное, что он безошибочно там учуял, — межопорность. То, что далека эта проза и от трифоновских интеллигентных заветов, и от абрамовских деревенских хроник. Дедков заметил: это не жизнь, это — актерство. Он сдул туман и обнаружил пустоту. Он сказал: зачем называть разврат уклончивым словом "отдушина"! Зачем избирать в герои модного мебельщика, боготворимого студентами преподавателя и преуспевающую поэтессу! Ты, мол, попробуй сделай Алевтину мойщицей посуды, Стрепетова — грузчиком, а Михайлова — человеком без определенных занятий, суть-то и проступит из-под стыдливого грима. А так — пустота, прикрытая многозначительностью.

Хочу для начала поймать И. Дедкова на произвольной подмене. Критик, не доверяющий серединности невесомости, незаметно для себя сдвигает героев "Отдушины" вверх по социально-престижной шкале, сочиняя им в противовес не менее определенные фигуры низа. Грузчик против бонтонного "дизайнера" — это понятно. А у Маканина непонятно: ни то ни се... Так ведь в этом-то и вопрос! Люди стыка, люди воздуха, люди ситуации. Это — их реальность, а снаружи может быть что угодно, любой старый ярлык, хоть люмпена, хоть сына кухаркина. Во внутренней драме маканинских героев мало что переменялось бы, опиши он посудомойку и такелажника. Был бы то же самое: изнуритель-

ная гонка, престижная тяжба. Были бы задыхающиеся в невесомости, цепляющиеся друг за друга люди. Не верх, не низ. Середина.

Маканин находит точный образ этой невесомой цепкости. Человек свиты. Человек тертый, мятый, опытный, занимающий какое-то там "надцатое" место в "команде" начальника, отработавший какое-то место, набирающий и теряющий очки на невесомой шкале престижа. Фантом? И да, и нет! Потому что в ситуации массового общества само понятие фантома меняется. Еще неизвестно, замечает Маканин, что нужнее отлаженному механизму — надежные функционеры или дерганные гении. Потеря баллов, незаметное сползание по лестнице отношений, потеря места в свите — все эти условности оборачиваются для маканинского среднего человека реальной, всамделишной, безусловной драмой, да нет — гибелью! "Мы говорим не о пустяках, мы говорим о жизни..."

И. Дедков припечатывает: это не жизнь, это холуйство. И бессмысленное какое-то холуйство-то! Хоть бы из корысти человек бился, за материальные блага боролся, а то пустяки отстаивает — "место в свите". Пустое место, воздух! Говорить не о чем!

Не о чем? Это как подойти. Маканин увидел и драму, и проблему там, где до него видели только вакуум межумочности и туман промежуточности. Да, из-за пустого вроде бы места в этой новой реальности идет борьба, но борьба-то идет реальная. Пустым местом, оказывается, можно кормиться, можно жить, оно наполняется бытийной тяжестью — место в гигантской структуре, возведенной человеком в пустоте, вдаль от "пекашинских" завалинок и столичных книгохранилищ, там, где сходится небо с холмами, — в междомье.

Маканин видит то, чего не видят другие: внутреннюю логику этой новой реальности. Он чувствует ее воздействие на человека. Человек слабый безропотно отдается потоку. Человек сильный может вывернуться со своей силой в какой-то чудовищный парадокс. На месте первопродходца может оказаться прохожий, хуже того — проходимец. Надо отдать должное мужеству Маканина: здесь он бросает вызов одному из любимых героев нашей литературы, он переосмысливает образ крепкого таежника, прокладывающего пути в девственную глушь. И в этом, "кряжевом", варианте Маканин видит все то же: отрыв от корня и почвы. Возникает бегун, пожиратель природы, вкальывающий подонок, за спиной которого дымится развороченная, кровоточащая земля. Маканин и ему дает хлесткое, "прилипающее" имя — гражданин убегающий, — несколько портя, впрочем, отлично задуманный рассказ фельетонными фигурами сыновей, преследующих вышеубегающего гражданина со слишком узкой целью — сорвать с него денег.

И. Дедков, не пропускаящий ни одной маканинской публикации, приходит в негодование:

— Да вы с точки зрения сына представьте себе ситуацию! С точки зрения брошенного существа! Понравится тогда вам математическая безучастность Маканина, методично пополняющего свою картотеку типов?

Вот опять: от разных печек танцуем. Да в том-то и дело, что в маканинском художественном мире такой образ сироты невозможен! Здесь немислим брошенный бедный ребенок, взывающий к милосердию и пробуждающий праведный гнев! Эти брошенные мальчики очень быстро включаются у Маканина в общую гонку и пусть не так фельетонно (в лучших рассказах), но принимают-таки общий закон: крутящаяся кару-

сель втягивает всех; именно это ощущение вызывает к жизни прозу Маканина. Праведный гнев тут мало что даст: перед нами реальность, для которой еще нет традиционных чувств и определений.

Маканин-то, вдуматься, и сам, при всей своей снайперской меткости, дает этой реальности определения как бы отталкивающиеся. Через заглавия его рассказов проходит жест отшатывания. Вслушайтесь еще раз: "Отдушина", "Гражданин убегающий", "Антилидер".

Антилидер — может быть, самый емкий из этих символов отрицательной активности. И безусловно, это одно из самых удачных созданий Маканина в смысле стиля и верности взятой манере. Какая точная пропорция успокоительной фактуры и катастрофической атмосферы! Штрихи знакомой, обыденной, надоедно-обкатанной реальности — а между ними бездна. Примелькавшийся сантехник, дядя из ЖЭКа, Толик Куренков, пьющий пиво у палатки, — и ощущение пылающего в нем губительного, запредельного огня: бесовство, одержимость, надрыв и вызов. Маканин не показывает, как его убили, — он передает его обреченность. Важен не сюжет, важны даже не характеры ("картотека типов!"); не то, какой именно из задетых Куренковым противников его добьет: верзила ли уголовник, или сытый машиновладелец, или еще какой-нибудь неведомый, фигуры не имеющий мститель, чья ненависть ударит из мглы, из толщи жизни, из ситуации. Куренков будет убит, потому что он заденет "кого-нибудь". Задира, бунтарь, нарывала, он будет уничтожен "статистически", по закону, который он нарушает. По инерции Маканин говорит: рок, судьба, фатум, но эти слова — около истины. Истина страшней: Куренкова губит не фатум, вне его находящийся, а его собственный принцип, его жизненная идея, живущий в нем "закон".

В нем живет непрерывная уязвленность.

Болезненная обидчивость этого маленького человека, его бешеное самолюбие, его взрывная неуравновешенность заставляют вспомнить, конечно, героев Шукшина — и тотчас ощутить необратимую разницу! Недаром же, отбивая черту от Шукшина (а заодно и от Достоевского), Маканин подсказывает куренковской жене многозначительную реплику:

— Он у меня не какой-нибудь чудик, с идиотом я и жить бы не стала...

Так вот разница: то, что у Шукшина — чудачество и блажь, безумие и казус, то у Маканина — норма. Норма, исходящая не из нравственной сверхидеи, что проходит сквозь этот жуткий мир в незащитной обнаженности "идиотизма" (если уж и Достоевского помянуть), — нет, это норма, поднимающаяся с самого дна безличности, это безумие, ставшее обыденной, среднестатистической "равнодействующей": ненависть ко всему, что хоть на волос выдается из ряда, поднимается над безличием, высовывается из общего "как все". Куренков ненавидит всякого, кто хоть как-то выделяется, будь то сорящий деньгами малый с "Жигулями" или слишком орущий правдоискатель в автобусной давке, слишком болтливый собутельник или слишком здоровый сокамерник. Куренков — "антилидер", он идеолог подравнивания, он яростное, до абсурда дошедшее исповедание усредненности, серединности. При всей эмблематической выделанности этой блистательно просчитанной Маканиным модели поведения мы чувствуем, как она реальна, и мы знаем, из какой невыдуманной барачной мглы вынесен этот опыт, этот почти биологичес-

кий импульс, этот императив: не высовываться!

А как же "Предтеча" — причудливое цветение непредсказуемой инициативности, гимн неуправляемому таланту — странное порождение маканинского пера, единственная повесть, где скрытая энергия математически выверенного письма выплескивается в открывенную, полную перехлестов и явного вызова литературную сенсацию?

Знахарь, дикий травник, сомнамбулический экстрасенс, целитель, втирающий "энергию" в ладони пациентов, косноязычный пророк совести, то есть интуиции, то есть закона, по которому рак насылается на нас природой "за нашу гонку", и прочие против природы грехи, — фантастическое и трогательное сочетание чистоты и тьмы, самобытной одаренности и младенческой веры в магию (и в науку как в магию). Маканинский "знахарь" — порождение все той же серединной, усредненной среднестатистической массы, которая стоит перед сознанием Маканина вечной задкой.

Именно так, причудливый, непредсказуемо одаренный, неменяемый и неуправляемый маканинский знахарь — парафраз и коррелят маканинского же самосмиряющегося, "безындивидуального" межеумья и междомья.

Он отшельник, но — одержимый гжучим социальным чувством, идеей человеческого устройства.

Он чудак и безумец, но — повернутый к здравомыслию и верящий, что в этой жизни можно и нужно навести порядок.

Он уникал, человек упрямый и неконтактный, но, в сущности, здесь обернуты на безумную идею главные качества маканинского серединного героя — его двужильность, его терпение, его готовность ко всему.

Да так ли уж безумны якушинские идеи? Идея математически неотвратимого воздаяния: болезнь — за грехи, выздоровление — за покаяние. Идея разностоимости добра и зла. Идея некоей заданной в природе суммы психоэнергии, которую можно сберечь, сэкономить и перераспределить по справедливости...

Изумительное самообладание пророка — вовсе не отрицание хаоса, в котором всех "несет"; его смирение — вовсе не отмена всеобщей болезненной гордыни; его склонность к тайне и к сокровенности — вовсе не опровержение всеобщего "базара" и склонности бежать кучей. Якушкин — не отрицание мира "промежуточных" людей, он — его "выкрут", его зеркальное — нет, зазеркальное — отражение, его преломление в фокус, попытка его преображения.

Это попытка уравновесить, залечить серединный мир, восполнить его до цельности. Крайностью — на крайность! Средний врач — тусклый исполнитель инструкции, передаточная шестеренка бесплатной медицины, а Якушкин — светоч, единица, шутка природы. На многих ли больных хватит его непосредственной энергии? На тех, до кого физически дотянутся руки. Угаснет дар — и ничего не останется от его дела, ни приемов, ни принципов, одни легенды. Что же делать с его истиной миллионам страдающих в "хаосе" большого города? Как им помочь? Нужна миллионам помощь поточная, нужна методика простая и ясная, "чтобы коновал мог"; нужна армия исполнительных медиков: лекари середины, врачеватели типовых недугов. Продвинь идеи Якушкина в эту миллионную армию — адаптируются идеи, и выйдет из них та же тиражи-

рованная элементарность. Стало быть, не случаен контраст: армии “бывших индивидуальных”, бесплатных исполнителей, действующих по прописям в миллионном потоке, нужен в противовес именно чужак, гений, уникал.

А ему — эта армия в качестве фона и тыла для отступления?

Якушкин — такое же порождение маканинского мира, как усредненные функционеры, ревностно инспектируемые “антилидерами”. Это причудливый цветок, но это цветок, распустившийся в том же климате. Да, перед нами сильный художественный контраст: воспаленный пророк — и ледяная пустота квартирков, в которых притихли разбежавшиеся люди. Но это та же проблема. Проблема духовного восполнения человека, смятого в среднестатистическом бытии, пытающегося удержаться в невесомости.

Открыл ли Маканин тип этого срединного человека в нашей литературе? Нет.

Вряд ли этот жизненный тип вообще нужно было открывать — он замечен давно, и черты его вразброс зафиксированы бог знает когда. Задача была в другом: осознать этот психологический тип — как ключевой.

Сделал это — Шукшин. Шукшин первым понял масштабность представшего ему “промежуточного” явления, всю далеко идущую характерность этого нового, межукладного человека. Шукшин изобразил его с яростью и отчаянием. Его собственное отчаяние рождалось из отчаяния его героя, отпавшего от деревенских скреп и не припавшего к городским. Шукшин не имел ничего общего с “исповедальной прозой” послевоенных городских мечтателей, но он не изменил общей установке этого поколения, успевшего поверить в реальность цельную и неповрежденную: Шукшин увидел в промежуточном человеке прежде всего распавшуюся цельность. Он понял его как испорченного человека почвы, он окликнул своего героя, бродягу и чужака, — с деревенского берега. Поэтому он раскрыл в этом характере драму потери, раскрыл — катастрофу.

Маканин раскрыл в промежуточном человеке — новую норму. Он увидел его изнутри. Он не застал других систем отсчета.

В сущности, все его поколение — послешукшинское, послетрифоновское, не поспевшее ни к войне, ни тем более к предвоенному “счастливному детству”, — получило новую смешавшуюся реальность как единственно возможную. Они застали сдвинувшиеся с мест массы людей, бивачный быт первопроходцев и новоселов, и все это стало исходной формой бытия, порогом единственного дома: в барачном ли веселом, злом стеснении или в хаотичном разбросе “совмещенных” квартирных клеточек — перемешавшийся мир стал для них органичным и был принят как непреложный.

Главное же — не в том даже, что они вгляделись в этот срединный мир и попробовали найти в нем опору для своей художественной энергии. Главное в том, что, вглядевшись, они опоры не увидели, а опершись, почувствовали пустоту, провал.

Это — суть того, что судьба дала им понять в нашей жизни. Есть “низы”, есть “верхи”, но нет “середины”. Середину — размывает, из середины все бегут: карабкаются вверх, к “властям”, сползают вниз, в “люмпенство”. Отсутствие средних классов — исторический рок России. Нет ядра в центре — все крутится, все встает с ног на голову. Баранка с дыркой. Союз “верхов” и “низов” против середины, то есть против п у с-

т о г о м е с т а, с которого, как с проклятого, бегут все. Перевороты революцией — от этой пустоты в середине. Принцип: до основания, а затем... а затем — опять до основания? Так бывает только при отсутствии настоящего основания. Чужого не жалко, а своего нет; верхний может в мгновение ока стать нижним, нижний может выдвинуться в верхние...

А середина? Там ведь тоже что-то имеется, что-то копится. Копится там — зависть. Безднадежность, ненависть. Зависть — при взгляде "вверх", безднадежность — при взгляде "вниз", ненависть — при взгляде на "свое место". Ненависть к месту, к земле, к "мещанству", самое название которого — клеймо.

Тряханет гласностью — выйдет все на поверхность: злоба, агрессия. И потому, пока можно, лежит система в спячке, затаенно, боясь двинуться. "Застой". Середина, замершая, боящаяся сама себя.

Владимир Маканин ввел зонд в самую глубину этой серединной, незакрепленной, замершей души.

Руслан Киреев подошел к ней иначе, он попытался объять ее "ширь", выстроить панораму ее жизни.

Бессудебье

Честно сказать, меня всегда привлекало в Кирееве уже само это стремление — выстроить "микровселенную". Уже сама его вера, что это в наше время возможно. Многотомные эпопеи писались давно, в 30-е, 40-е, 50-е, в подражание Толстому, Шолохову. В 60-е литература от "эпопей" отпрянула к "фактам", к логике "конкретной проблемы". К повести, рассказу, этюду. К "фрагментарии". К эссеистике интеллектуальной, к эссеистике лирической, к эссеистике как принципу.

Собственно, Киреев по ближайшей задаче вполне укладывается в этот принцип. Его рассказы, повести и короткие романы из "светопольского быта" высвечивают этот быт фрагментарно, иногда почти пуантилистски. Но переключка героев, бродящих из повести в повесть, дает ощутить во фрагментарии некий новый горизонт. Это требует объяснения. Ближних аналогий нет. Дальние? Бальзак? Слишком далеко. Фолкнер? Тоже далеко, хотя я и пытался осмыслить Светополь как вариант Йокнапатофы в наших палестинах. Американисты до сих пор посмеиваются над этим определением.

Объяснение, я думаю, надо искать именно в наших палестинах, исходя, однако, не из географических, а из исторических обстоятельств.

Отвлекусь немного от текстов, на которых по привычке литературного критика пытаюсь выстроить свои рассуждения, и рискну предложить читателю что-то вроде схемы поколений, может быть, она поможет лучше представить себе судьбу писателей и движение всей ситуации.»

П о к о л е н и е ш е с т и д е с я т н и к о в, пробужденных эпохой "Оттепели" (пик в 1962 году), по этой эпохе взявших себе имя, отделено от других поколений не только (и не столько) 1956 годом, сколько 1941-м. То есть не столько первым разоблачением Сталина, сколько началом войны. Начало войны, как слом прежней жизни, определяет здесь все: и систему психологических реакций, и систему базовых ценностей — шестидесятники успели поверить в некую идеальную реальность, которая была сокрушена войной.

Их старшие братья тоже успели поверить. Но то, предыдущее, поколение (рубеж рождений, разделяющий их, — 1928 год) попало в огонь

войны; они выросли иначе; у тех наивность выжгло — у этих наивность сохранилась. Разница очень важна (разница между Борисом Слуцким и Евгением Евтушенко, между Юрием Трифоновым и Василием Аксеновым), но я сейчас не о ней. Мне сейчас важна другая грань, именно та, что отделяет шестидесятников (нас) от следующего за нами поколения.

Рубеж, разделяющий рождения, — 1941-й. После него — полное отсутствие предвоенной памяти. Война — как исходное состояние, как норма, и даже не война, а инерция войны — послевоенное скудное, бездомное детство. Шестидесятники отсчитывали от идеальной схемы (утопической, но дело не в этом, а в том, что идеальная), их младшие братья — от реальной скудости. Для нас эпоха "оттепели" была сменой ситуации и XX съезд — испытанием (словом или не словом) веры. Для них все это пришло "само собой", и веры как таковой не было, и нечему было сламываться: была реальность, и только, быт, и только. Тут главное: для нас быта вообще не было, быт не имел законного места среди духовных уровней бытия, быт был досадным препятствием, сопротивлением материала. Для них быт оказался естественным фоном, "телом бытия", скудость которого они постепенно осознали — именно как скудость, недостаточность, а не как помеху и нечто "лишнее".

Удивительно ли, что именно это, следующее за шестидесятниками, безымянное, поколение — попыталось понять жизнь "как такую"?

Потом, следом за ними, пришло поколение, подоспевшее уже к Перестройке. Рубеж рождения, я думаю, около 1952—1954 годов. Для этих молодых "Оттепель" вообще оказалась потеряна — по малолетству. Отрочество и юность (пора чтения и размышления, оформляющая личность) пали у них на "застой". Причем меньше всего эти годы (семидесятые) были для них годами "застоя". Это для нас, увидевших обстановку, торможение, откат, она "застойная". А для них это эпоха привычной двойной морали, когда вслух достаточно произносить официально утвержденное, а про себя можно думать что угодно и во что угодно верить (попробовали бы мы при Сталине думать про себя другое, чем говорилось вслух!). Так они и выросли на этом подпольном думании, на чтении "самиздата", на том, что реальность спокойно существует в тени официоза. В сущности, они оказались внутренне неслыханно свободны, эти люди восьмидесятых годов, и, когда заголосила Перестройка, они-то, восьмидесятники, практически и составили ее человеческий подпор. Хотя номинально во главе процессов встали "люди шестидесятых годов", тогда смяться, а теперь как бы возродившиеся. Это номинальное единение не помешало, как мы еще увидим, дерзким и резким восьмидесятникам бросить упреки в слепоте и банкротстве именно по адресу шестидесятников — через голову того безымянного поколения, которое попыталось пахать свою ниву и строить свои города в самое безвременье — в семидесятые годы.

Они попытались пахать и строить. Руслан Киреев — из таких тихих строителей. Выстроил микровселенную на крымской матрице. Это не Крым, разумеется. Так что это?

Ступенька к ступеньке, стенка к стенке, улица к улице — город. Огромное население, причем не масса, а именно отдельные люди, но — множество. Знают друг друга, помнят, состоят в родстве, в свойстве,

дружестве. Модель "народа", но не мистическое целое, а именно это вот движущееся множество, коловращение человекoв. Типология тяготеет опять-таки к "середине", не к "краям". Не выше местного университета, но и не ниже пивного павильона, с заходами в бильярдную, на голубятню и на рынок. Если говорить о профессиональном составе, то перед нами, наверное, та самая полусуществовавшая среднероссийская демократия, о которой применительно к Чехову говорил в "Жизни и судьбе" В. Гроссман. Средние люди. В этом-то смысле Киреев и сопрягает себя с Чеховым по-настоящему, а не в пластике (у Киреева скорее рисунок, чем акварель, хотя чеховский пуантилизм там есть) и не в музыке фразы (переклички бывают, но тут другая музыка). Впрочем, после того как Киреев в 1988 году опубликовал повесть "Путешествие в Таганрог", а затем в "Правде" статью "От своего имени", его верность Чехову засвидетельствована документально. И объяснена недвусмысленно: Пушкин — далеко, а Чехов — близко, Пушкин — высоко, а Чехов — рядом. Среди нас. Такой, как все мы.

Кто "все"?

Диспетчер таксопарка, пляжный фотограф, репортер местной газеты, бухгалтер, гладильщик, мясник, кастелянша, курьерша, кондукторша, кассирша, библиотечарша, провинциальный артист, провинциальный художник, директор трикотажной фабрики, адвокат (это я уже иду по верхней кромке), но и шалава из шалмана, и шлюха из подворотни, и местный юродивый (нижняя кромка), и ветфельдшер, павший до скотника, и рыночный попрошайка...

И вот что интересно: при всем социальном и профессиональном разбросе, вычерченном весьма точными штрихами, Киреев типологией и профессиональными делами своих героев занят очень мало. То есть он и этого касается, конечно, но не это — главный стержень, вокруг которого собраны у него люди. Он может внедриться и в производственный вопрос (например, когда дядя Паша Сомоз требует у директора таксопарка отчета, почему новые машины дают новичкам, а не ветеранам), но это не более чем эпизод, к тому же несколько спорный (я вернусь к нему позже), суть же киреевского интереса к человеку коренится не в социально-типологической его "приписке", а в чем-то другом. В чем? В общей причастности этого человека к р у г у ж и з н и и Светополю.

Вот этот "круг жизни" и есть внутренний посыл киреевской прозы, почва его многолюдья. Дядя Митя — грузчик, его жилистые руки упоминаются как-то попутно, "само собой", а вот магазинный обруч, оставленный в кепке, которую дядя Митя так с картонкой внутри и носит, рассмотрен куда подробнее: из этого картонного обруча Киреев извлекает нечто куда более важное, чем профессия героя, — тот запах жизни, вкус ее, неповторимый аромат, ускользающий, живой цвет.

Живут люди, мыкаются, мучаются, сходятся, расходятся, но есть подо всем этим какая-то сила, которая их сводит или разводит, и все их расчеты — ничто перед этой силой, силой вещей, силой жизни.

Киреев не любит людей удачливых, победоносных: их победоносность, в сущности, профанирована, и рано или поздно жизнь им это докажет. Суетится, дергается какой-нибудь активист, корячится на брусьях, мускулы полирует. Он уверен: либо ты свой талант прячешь, либо ты его предъявляешь, то есть либо ты изгнанник, либо избранник, но Киреев-то знает другое: все это тщета; его герой наверняка не избран-

ник, но и в изгнанники не хочет, а сидит тихо и хранит-лелеет свою странность, свою душевность, свою заветность, не очень, впрочем, зная, к чему ее приспособить.

Кто из них "прав", спрашивать бессмысленно: "прав" может оказаться и первый: тот карьерист, который корячится на брусках. То есть это мне, читателю (критику), важно, "прав" или "не прав" Станислав Рябов, а Руслану Кирееву важно нечто другое.

И точно так же важно не то, хороша или дурна девочка Рая, таскающаяся с мальчиками на чердак, и не в том, хороша или плоха вульгарная толстуха, в которую превратилась эта девочка много лет спустя, — смысл в том, что Киреев все время с о в м е щ а е т девочку и толстуху, переживая и их контраст, и их таинственное единство.

Таинственное единство жизни — вот сердцевина киреевского многофигурного мира. Это не "галерея типов", это именно "общая жизнь" ... как, впрочем, и у Маканина, при всей четкости его "социальной картошки" и при всей эмблематичности врезаемых им в наше сознание "типов" вроде "гражданина убегающего" или "антилидера". Эти писатели — не типологи по основной задаче, они не аналитики в основе своей; типологи и аналитики они лишь в частных эпизодах, при решении конкретных задач, а по глубинной задаче они, конечно, "философы жизни", в свете чего и видно наконец, что внесло в нашу духовную реальность безымянное поколение "безвременья"...

Да, но ведь и среди их предшественников сильнее писатели стремились к тому же! И у Шукшина сквозь пестроту ситуаций и типов чувствуется ш у к ш и н с к а я ж и з н ь. И у Трифонова чувствуется т а ж и з н ь, д р у г а я ж и з н ь...

Так. Но ведь не удержали же! "Жизнь" не дала им удержать это ощущение. Растащила, разволокла в разные стороны, одного — в защитники уязвленного крестьянства, другого — в защитники уязвленной интеллигенции.

А "сорокалетние"? Поставьте вопрос так: Киреев, Маканин — писатели какого "слоя"? "Деревенщики"? Нет. Но и не оппоненты "деревенщиков". "Интеллектуалы"? Нет. Но и не оппоненты "интеллектуалов". Не та логика. Не деревня и не город.

А что? Серединка?

Да. "Серединка" жизни — вот то место, вокруг которого они ходят. Серцевина жизни — вот то, чего они ищут. Тот самый центр, который вроде бы заполнен, забит, затоптан людьми... И ведь именно затоптан — прохожими, бегущими, пробегающими. В центре жизни — полость, вакуум, проходной двор. Вот почему не "производственная деятельность" героев важна этим писателям, а "что-то другое": именно то, что делает "производственную деятельность" героев эфемерной подробностью в их сомнамбулическом дрейфе по жизни.

Ну, хорошо, у Маканина это, положим, видно: у него в центре — человек "из барака", сезонник, "гражданин убегающий". А Киреев? Разве он не строит, разве не возводит стен, не соединяет лестницами уровни жилья, разве то, что он созидает, — не д о м? Комнатка к комнатке, улица к улице, из Светополя в Витту, из Витты в Алмазово, из Алмазова в Гулькан...

Кочевье. Переезды, переселения. Вечное ожидание, вечная готовность сняться с места. Стены — из ракушечника: звуконепроницаемы, при-

зрачны. Лестницы скользкие и опасны. Крыши сооружены из чего попало: куски резины и клеенки, прижатые ведрами и тазами, все хлябает, гремит, дребезжит, до первого хорошего шквала. Жилье временное, жильцы временные: не живут, а как будто снимают жилье. Уборная во дворе, надо стоять в очереди. Укрома нет, интим немислим, независимость эфемерна, могут войти, вломиться, ворваться, с радостью либо с бедой, могут украсть, могут увести отца, могут все... Страх безотцовщины, готовность к сиротству — лейтмотив Руслана Киреева. Даже и в грезах, от "маленьких домиков" родного Светополя отлетая, — отлетает в скитанье, в ситуацию той же неприкаянности, правда, она выведена в возвышенно-классический, "ненашенский" круг, в романо-германский: к Шамиссо, к немцам, к французам... но и в классическом элизуиме автор "Петера Флемия" у Киреева скитается, он вечный странник, немец среди французов и француз среди немцев...

Ну, а когда от "романцев и германцев" возвращаешься в родимые палестины? Тут "Трофимовна и Гусиха", у одной зуба нет, у другой глаза, но языки у обеих на месте. Гомеры завалинки! Философы двора. Двор сильнее дома! Двор живет и бурлит, а дом заваливается.

"Внешне дом не изменился: те же серые стены, те же сбитые ступеньки, ведущие в сводчатый подвал, где некогда обитала наша живность..." Нет, это не дом. Это — п р и с т а н и щ е. Место проживания.

В последних повестях Киреева возникает мотив песка, медленно засыпающего город: "Песчаная акация", "Пир в одиночку"... Критики, уловив, подхватывают мотив, придавая ему оттенок экологического катастрофизма, — вполне в духе начавшихся 90-х годов. Но Киреев не стремится быть на уровне "текущих дискуссий", у него песчаный фронт, надвинувшийся на шеренгу бетонных коробок, — вовсе не знак "времени", не отклик на поветрия "эпохи гласности". Тут все идет из глубины, и в самом нашествии бетонных башен, вытеснивших "маленькие домики моего детства", — не меньше катастрофизма, чем в песчаных ветрах, освистывающих башни. Она, катастрофа, заложена в самих этих домиках... впрочем, не "катастрофа", конечно, тут я несколько форсирую тон, прочитывая киреевские тексты из нервической ситуации эпохи буксующей Перестройки. А Киреев рожден эпохой "застоя", ее безвременьем. Нужно очень точно понять его тональность. Бездомье — не крушение дома, а тихое оскудение, привычное, приватное, даже прелестное. Это какая-то удивительная смесь счастья и тревоги, спокойствия и беспокорства, жилья и миража.

Что прежде всего характерно для художественной реальности Руслана Киреева, что составляет воздух его мира, магию его повествования?

Ритм повторов?

Ветеринар, опустившийся до скотника, время от времени, хлюпя, поет песенку об умирающем лебеде. В повторе этой детали нет приращения информации и не слишком много вариантности, обогащающей образ, но в повторе есть нечто более важное для Киреева — иллюзия стабильности. Мы ждем повтора, рефрена, возврата, в нем сконцентрирована надежда на возобновляемость бытия. Бытие хрупко и неверно, оно напоминает себе, что оно есть, мы все время ждем нового подтверждения, и оно каждый раз является: в песенке ли об умирающем лебеде, или в том, как Рая Шептунова преодолевает ступени на чердак, где потеряет невин-

ность, или в том, как бабушки садятся пить чай. В сущности, мы все это уже знаем: и как Рая дойдет, и как бабушки будут пить чай; мы не это, то есть не сам факт, воспринимаем в каждом новом такте киреевской музыки, мы переживаем ожидание такта, ожидание факта... Тут сложный контрапункт доверия и реальности и недоверия к ней: Киреев словно ощупывает ее, каждый раз убеждаясь, что она есть. Ритм повторов — ритм опознания.

Еще характерная черта его прозы — короткая резкость приступа. Вас сдергивают с места без раскочки, сразу в клинч, во внутренний монолог, в "нутро бытия". Врасплох. Без объяснений. Мотивировок нет — мгновенные снимки действий. Но этот конспект действий дан изнутри сознания как бы давно знакомого человека, который не должен вам ничего объяснять: он просто действует как считает нужным.

Каждый действует по-своему, и каждый прав по-своему. Так создается в прозе Киреева своеобразный калейдоскоп реальности с перемещением элементов, хаотичность которых при поворотах "трубки" тонко сопрягается с четким ритмом и весьма рациональным перемещением самой "трубки": это — непрерывное взаимодействие хаотичности и рациональности, вернее, это — непрерывное опровержение хаоса жизни мелочами, расчетом людей и непрерывное же опровержение их расчетов хаотичностью "макромира", равнодушно стирающего их планы.

Проза Киреева похожа на кружево с регулярным "встречным" узором. Писатель старательно вычерчивает отрицательный контур из положительных штрихов. Или положительный — из отрицательных. Пример первого — "победитель" Рябов. Пример второго — дядя Паша Сомов. Я воспользуюсь сейчас одним из приемов Киреева: выводя свой узор к очередному повтору-рефрену, он иногда влетает в повествование как бы воспоминание о прошлом повествовании. Так, например, в повести "И тут расстаемся с ними..." сжато изложен сюжет повести "Посещение", и это избавляет меня от необходимости извлекать из нее квинтэссенцию, как я ее понимаю; я прямо возьму то, что извлек из нее Киреев, то есть то, что он сам и заложил в нее: «Дядя Паша... пил, курил, приударял за женщинами и лихо удирал из больницы, чтобы сыграть партию в бильярд или выпить с приятелями кружку пива в известном всему Светополю "Ветерке"...» Чувствуете?

Втянут дядя Паша в действия "отрицательные", вплоть до смертного финала, когда он поглаживает по круглому задку медсестру, делающую ему укол, но, несомненно, в этих действиях он, дядя Паша, как раз и предстает человеком совершенно замечательным... я бы сказал, "положительным", — если бы это определение (как и "отрицательный") изначально не било в прозе Киреева мимо адреса. Проза его как раз и ориентирована на ту жизнь, которая течет, гнездится и реализуется по м и м о определений и доктрин, где-то в полостях, лакунгах, где-то в "мертвых зонах" доктрин, вопреки ожиданиям.

Собственно, вся музыка повторов, рефренов и возвратов у Киреева есть не что иное, как игра с "ожидаемостью", все время искусно провоцируемой и все время искусно нарушаемой. Вы заранее знаете, что дядя Паша умрет, вы все время ждете его смерти... а он не умирает. Нет, он умирает все-таки — в последнее мгновение повести, где-то даже за обрывом последней фразы... именно в то мгновение, когда вы допускаете: вдруг не умрет? То есть жизнь реализуется не так, как вы ждете, а так,

как надо ей, жизни, если же она реализуется именно так, как вы ждете, то ваше ожидание (ваше "доктринерское" ожидание) все равно посрамлено, потому что вы ждали "подтверждения", а жизнь как бы прошла сквозь него, не обернувшись.

Киреев — мастер "предсказуемых" положений, которые он опровергает либо... подтверждает в зависимости от сверхзадачи. А сверхзадача? Жизнь "как таковая", стоящая вне предсказаний, ожиданий и предрекааний, вне догадок и доктрин.

Иногда кажется, что Киреев пишет без грунта или, скажем так, тклет без основы, вышивает без канвы — в "воздухе". Ритм жизни сам себя держит. В этом текущем безвременье-бездомье возникает некий механизм жизнеудержания, для Киреева невероятно важный, — р и т у а л.

"Моя бабушка считалась знатоком чая. Даже в самые трудные времена она заваривала его столько раз, сколько садилась пить чай. Или чай пить. Разница была колоссальной. Мне так и не удалось до конца уяснить, в чем, собственно, заключалась она, но, если не ошибаюсь, "пить чай" означало пить от жажды, когда пить хочется, и потому с чем — роли не играло, а вот "чай пить" приятно со вкусными вещами. Иными словами, лакомиться".

Образец киреевской прозы: непреложность от обратного ("мне так и не удалось выяснить...", "если не ошибаюсь..."), кружево, висящее в воздухе, реализуемая тень, таинство ожидаемости, необыкновенность обыкновенности.

Вообще эта повесть о старушках — лучшая, как я думаю, писательская работа Киреева. По виртуозности пластического рисунка. По точности выхода на сверхзадачу. По органичности тона. Четыре старых человека путешествуют из Светополя в Калинов и обратно: две бабушки плюс еще дедушка, не считая Александры Петровны, соседки. Немножко Джерома, немножко Доде, немножко того же Чехова... И смешно, и трогательно, и грустно, и, в конце концов, оглядываясь на это героическое путешествие, сотканное из мелких недоразумений, не понимаешь, что же так поразило и потрясло тебя, а ведь поразило и потрясло!

Шарм предсказуемости. Задумано — сделано. Задумали ветхие светопольские старушки совершить путешествие на далекую свою родину, в среднерусский городок Калинов, — и совершили. Ничто не помешало: ни отсутствие билетов, ни светопреставление, ни непредвиденные житейские мелочи, ни непредвиденные исторические катастрофы. Поехали-таки! И доехали. И даже в купе поезда, как и планировалось, пили чай... простите, чай пили.

Шарм непредсказуемости. Рассчитывали, по давней памяти, в Москве остановиться в гостинице "Савой" — вместо "Савоя" пришлось переночевать в какой-то дыре около ВДНХ — ничего, переночевали, даже спасибо сказали.

Шарм старомодного достоинства, не замечающего под ногами, что почва давно не та и даже, так сказать, почвы давно нет... Ничего. Достоинство держится и без опоры, как бы само из себя, и совершенно неважно, чем оно прикроет себя на этот раз: скромным ли, строгим воротничком Валентины Потаповны, или кокетливой матерчатой розой на допотопном вечернем платье Вероники Потаповны, или картонным кругом, заправленным в кепку Дмитрия Филипповича, или его же моднущим провинциальным беретом. И совершенно неважно, что эти старички,

прослезившиеся на Красной площади при звуке курантов, кажутся смешными, наивными; их жизнь — это их жизнь, это — реальность, которая (как позднее прокомментировал Руслан Киреев), “хотим мы этого или нет, такова и разве могла быть иной?”. При той жизни, которая им досталась, — нет. Значит, она достойна уважения. Грустно и хорошо от этой мысли, больно и светло. Болью и светом веет от прощального паломничества светопольских горожан к истокам, и только в самое последнее мгновение повести, когда “мы расстанемся с ними”, вдруг падает какая-то тень... Городок Калинов, из которого вышли когда-то две девочки, — неизвестно заброшен; деревенька, до которой они с таким трудом добрались, — вообще исчезла. И от этого ощущения пустоты и бесцельности возникает в сознании старушек смертельная мысль о том, что жизнь прожита как-то “не так”: и у Валентины Потаповны, с ее когдатошными женсоветами и культпросветами, и у Вероники Потаповны, со всеми ее розочками и даже “вальдшнепами на вертеле”, съеденными в ресторане гостиницы “Савой” в 1932 году. В сложном взаимодействии ожидаемости и неожиданности, на котором строит Руслан Киреев узор своей лучшей повести, обнаруживается какой-то потайной глобальный вопрос, которого вы не ожидали: да, все произошло так, как должно, но все это... выдуманно. Оно должно бы состояться, это путешествие стариков, оно — реальность, оно дороже всяких доктрин и принципов, и потому его пришлось выдумать.

Общий урок, который выносятся из жизни писателя, созданные “безвременьем”: жизнь есть, но ее нет. Ее можно “пощупать”, клеточка к клеточке, ступенька к ступеньке, но это — мираж. Бесплотность, не отбрасывающая тени. Посередине жизни, в том центральном месте, где предполагается ее средоточие, ее корень, ее базис и исток, — там пустое место, мнимость, выдумка, провал. Нет пункта, вокруг которого можно было бы собрать бытие. Все сыплется.

Вспомним еще раз: перед нами поколение, обретшее себя в застойный миг истории, в межвременье, в безвременье.

Я бы сказал еще так: в междоктринье. Люди, родившиеся меж тридцатыми и сороковыми, что они получили в качестве исторического опыта? Торжество непримиримости над соглашательством? Торжество “революционных демократов” над “либералами” в XIX веке — заметьте: именно и прежде всего над либералами, потому что ненависть к мягкотелым, к интеллигентам была в этом пакете идей куда актуальнее, чем ненависть к охранителям или реакционерам, каковая как бы подразумевалась сама собой. Но как могли “дети застоя”, получившие все это в виде застывшей догмы, воспринять ее? Только с глубочайшим скепсисом. Они, в отличие от старших братьев, романтиков, успешных поверить в коммунизм, не успели ни во что поверить, и им, в отличие от старших братьев, романтиков, не пришлось корезить себе душу в эпоху XX съезда партии. Им не надо было мучиться, распознавая в современных консерваторах наследников того самого радикализма столетней давности, который когда-то лег в основу доктрины, они в о о б щ е не успели в доктрину поверить. Противостояние “либералов” и “консерваторов” в эпоху хрущевской «оттепели» должно было только подтверждать в их глазах то, что жизнь профанируется л ю б о й доктриной, и правой, и левой. Слишком явственно было банкротство, и слишком схож был язык у разного толка идеологов, веривших, что жизнь можно объять, исчерпать

и наполнить некоей угаданной Великой Идеей. Достаточно оказалось “застойного” двадцатилетия, в которое им довелось обрести себя, чтобы выработать иммунитет против любой доктрины. В эпоху гласности, когда перегруппировавшиеся вероучители начали сталкиваться под новыми лозунгами, когда на знаменах радикалов появились либеральные лозунги, на знаменах вчерашних атеистов — распятия, а на знаменах бывших интернациональных ортодоксов — лозунги сугубо национальные, “сыны застоя” вошли с трезвым пониманием того, что все лозунги, призывы, зовы, великие идеи и неуступаемые принципы скорее перейдут в собственную противоположность, чем оставят в покое жизнь как таковую. Скорее обанкротятся, чем ее признают — как таковую.

В этом контексте понятна та философия жизни, которую предложило нам поколение, не удостоившееся имени, — “сорокалетние”, ставшие “пятидесятилетними”. Их и впрямь трудно определить; их мироконцепция как раз и исходит из того, что жизнь — неопределима. Жизнь дороже и мудрее идей, принципов, целей и смыслов. Такая, как есть, — другой не дано. Вот эта, ускользающая, убегающая, утекающая, не оставляющая тени. Разглаживающаяся бесследно, как малый водоворотец в омуте тихой русской реки: едва закрутилось — и уже нету... только-только полюбилось — и уже надо расставаться. Прелесть и глубь, свет и грусть существования как такового — вот что предложили нам философии жизни. При всей внешней “кротости” этой программы, при всей кажущейся “недемонстративности” ее — она, в сущности, бросает весьма дерзкий вызов тем доктринам, от которых отказывается, она весьма демонстративна в настоящей литературной ситуации.

И литературная ситуация устами критики, не колеблясь, отвечает Кирееву и его героям:

— В вас нет ощущения кр о в и — только временные вывихи души. В вас нет знания г и б е л и — только тихая естественная смерть. В вас нет чувства д о л г а: — ответственности, ответственности, даже чисто профессиональной определенности — только соседство жителей. В вас нет понятия н а ц и и — лишь временные землячества. В вас нет сопричастности н а р о д у — только сознание “человека вообще”, человека “как такового”, представителя “рода человеческого”...

Я цитирую статью Марины Новиковой, несомненно ярчайшую на сегодняшний день из всего, что написано в критике о Кирееве, статья эта памятна по публикации в “Новом мире”, а затем доработана для отдельного издания киреевской трилогии; так вот что там по поводу этой трилогии говорится:

— По прозе “сорокалетних” бродит амбивалентный герой. Эдакий умеренно, непоследовательно, в ы н у ж д е н н о плохой человек. Вернее, человек поперечный. В одном кармане у него крошечный Мефистофель, в другом — еще меньший архангел Гавриил... (Пожалуй, по ходу вранья церкви в истеблишмент эпохи Перестройки Марина Новикова могла бы поменять местами атрибуты: Мефистофель теперь поменее Гавриила. — Л. А.) Он думает: если он плохой, то и все плохие, все виноваты, все х на суд... то есть никого. Трюизм эпохи застоя. Заветная мечта киреевских героев — слиться. Бытом заслоняются от бытия: от неготовности к Бытию. О глухомань духовная, о провинция. Ни корней, ни почвы — песок! Что положит такой человек на последнюю чашу весов, чем подытожит свою жизнь? Ни чувства истории

у него, ни желания осмыслить реальность под углом зрения таких больших, древних, как мир, великих понятий, как жизнь, смерть, бессмертие. Без них, вне их — “мышья беготня”, жизнь, в которой нет судьбы...

Тяжкая длань. Ни с одним определением не спору: все так. Но до чего же быстро поднимается над жизнью “как таковой” кнут идеи! Или древко знамени. Или перст судьбы... Учужд ли Киреев давление этих новых ожиданий, когда обронил в своей последней повести то странное, “диковатое”, “несуществующее” (в координатах М. Новиковой) слово: “бессудебье”? А может, всем ходом этой жизни, накоплением скрытой тревоги вывело его к этому слову, которым он поставил под вопрос всю свою микроконцепцию — свою и своего поколения?

Что же ждет такую микроконцепцию в будущем?

Если вновь поднимет себя Россия к великим задачам, если хватит у нее сил и отчаянности поставить судьбу свою на кон больших, всемирных задач (неважно, бичами каких слов поднимет она себя на этот раз: “мировой справедливостью” или “божиим промыслом”, “научным предвиденьем” или “расцветом демократии”, “национальным возрождением” или “единством во что бы то ни стало”), то вся попытка “сорокалетних” защитить “жизнь как таковую” останется в памяти литературы как незначащая передышка, как никчемная пауза.

Если же от сознания того, что обманом, насилием и банкротством оборачиваются все доктрины, суждено нам лечь в долгий спасительный дрейф сохранения жизни, как ложились иные народы, десятиками мирных поколений храня и восстанавливая существование после “исторической вспышки”; если суждена эта пауза, эта ниша истории, где потребуется “просто жить”, не оправдываясь ежемгновенно перед заветами, принципами, учениями и другими “большими вещами”, — тогда иной смысл обретут и книги нынешних философов жизни. Тогда, можно сказать, они предлагают нам не что иное, как формулу спасения.

А примем ли мы эту формулу и вообще чем обернется, какой судьбой ляжет нам это бессудебье — не берусь предсказывать. Мы — непредсказуемы.

Омут

Восьмидесятые годы смотрятся в 60-е, как в зеркало. Так в свою очередь 60-е искали для себя “чистый образ” в революционных 20-х, а революционные 20-е любили перекликаться с эпохой Дантона и Робеспьера, а те мыслили себя в категориях республиканской античности и т.д. Но я становлюсь на край этого водоворота не затем, чтобы оценить глубину — закрутит, втянет, не выберешься; я вслушиваюсь только в последний переклик — в переклик 80-х и 60-х через застойное бездвижье.

Расхожая схема такова: шестидесятники-де были оттерты и зажаты, но “оказались” правы и вот теперь возглавляют перестройку 80-х.

От восьмидесятников логично ждать благодарности, признания заслуг, подхвата идей. Логично ждать, что племя младое, незнакомое, влившееся в ряды постаревших либералов «оттепленного» образца, пригнется вместе с ними добывать мамонтов и мастодонтов эпохи “культа”, держиморд эпохи застоя, вообще реакционеров и консерваторов “всех времен и народов”.

Мы по инерции думаем, что главная линия фронта по-прежнему

пролегал между "нами", идеалистами, мечтателями, романтиками, и "ими", твердокаменными запретителями. Ну разве что к бюрократической стене прислонят твердокаменные теперь еще и хоругвь, и мы получим блок "сталинистов" и "шовинистов" под стягами "монолитного единства". А против них — мы, разбуженные ветром XX съезда, мы, воспитанные на Блоке и Маяковском, на Ремарке и Хемингуэе, мы, романтики, ненавидящие мещанство, и с нами — молодая поросль, нами же и выращенная, нами призванная, от нас получившая плацдарм и оружие...

Так ничего же подобного! Вместо этой предполагавшейся диспозиции к концу 80-х годов выявляется нечто совершенно неожиданное и для нас близкое к убийственности.

Впрочем, это можно было предвидеть.

Молодые наши последователи не хотят бороться с нашими общими противниками — с мастодонтами "культы" и иудушками "застоя" — они их в упор не видят.

Молодые смотрят — на нас — с презрением и жалостью. Мы для них — вовсе не провозвестники нового, не разведчики грядущего, не первоходцы плюрализма. Мы вообще — не "первые" в их глазах, мы — "последние".

"П о с л е д н и е р о м а н т и к и" — озаглавливает статью в журнале "Искусство кино" (№ 5 за 1989 год) молодой блистательный критик Александр Тимофеевский.

Поле, в котором они нас видят, заряжено отрицательно. Поле заминировано ложью.

Они нам говорят:

— Вы положили жизнь на то, чтобы сохранить лицо в бесчеловечных условиях. Вы научились жить под прессом деспотии. А нам все это не интересно. Нам ваш опыт н е п о н а д о б и т с я.

Не понадобится? Дай-то бог... Хотя обидно, конечно, за наш опыт. Мы действительно жизнь положили на то, чтобы научиться сохранять лицо в безличии.

Они нам и говорят:

— Вы выстрадали социализм с человеческим лицом. А нам он не нужен. Ни с человеческим, ни с каким другим лицом. И капитализм не нужен. Мы вообще обойдемся без этих допотопных определений: в современном обществе они ничего не обозначают.

Возможно. Только мы не можем прожить жизнь заново.

А они нам говорят, нанося удар в самую точку:

— Вы фантазеры и утописты, вы всю жизнь боролись с "обывательщиной", с так называемым мещанским бытом, с плюшевыми скатертями, с тюлевыми занавесками, с ни в чем не повинной геранью. Ради чего вы унижали и уничтожали это? К чему вы пришли? С чем остались? Чему у вас учиться?

Я моделирую этот аргумент по одному из самых ярких эпизодов критической борьбы рубежа 90-х годов — по полемике вокруг наследства шестидесятников в журнале "Искусство кино". Я понимаю, что это всего лишь эпизод, модель. Но эпизод символический и модель замечательная — по арсеналу доводов и составу эмоций.

Станислав Рассадин отвечает Александру Тимофеевскому:

— Смеюсь, читая! Потому что в самом деле смешно. Потому что похоже. Я действительно воевал, ну, если не с геранью, так с "Ландыша-

ми". Теперь не воюю...

Присоединяюсь к Рассадину в этом признании. За исключением эмоций. Мне не смешно. Мне горько. Не оттого, что молодые бросают нам упрек, — этот упрек правилен, и слава богу, что у молодых хватает мужества, переступив чувства почтения, бросить нам его. Мне горько оттого, в какой ловушке мы оказались. Мы все — наше поколение, последние романтики. Мы разве выдумали эту "антимещанскую" систему воззрений? Мы ее получили от отцов, мы ее из самых честных рук получили. Из рук великих поэтов, ненавидевших быт, застой, обывательскую бездвижность. И первый трубадур наш, Роберт Рождественский, именно с атаки на мещан начал свой штурм "старья" — именно на эту стену полез по "маяковской лесенке". Бунт против сталинизма мы начинали с ударов по обывательщине. Тогда, на рубеже 60-х, все это "сталинизмом" еще не называлось. Это именно называлось: "обывательщина". Единственный пункт, в котором можно было, совмещаясь с официальной точкой зрения (обывательщина шла в официальном синодике по отрицательному списку), подрывать эту же официальщину.

Абсурд? Нет. Мы чувствовали, что хотя система и анафемствуется по адресу обывательщины, но всю тяжесть своей она именно на обывателе поκειται. Только тут был какой-то хитрый поворот слова. И дела. "Обыватель" как нечто п а с с и в н о е был для системы плох. Но обыватель, мобилизованный в а к т и в н о с т ь, был для нее уже как бы хорош. При активизации он должен был незаметно обронить имя "обывателя" и стать "гражданином". Каким — "нашим" или "ихним" — это было темно. Почему он должен был так преобразиться — тоже темно. Волевой скачок. Харизма! Мешали этому — "герани", "ландыши" и "фикусы". Мы воевали на этом ботаническом фронте. Система опиралась на то самое, что могло бы ее сдвинуть. Мы сидели внутри системы. Изнутри были видны цветочки. Ягодки были впереди.

Но ведь внутрь системы оказалась вобрана вся жизнь, без остатка. И вся история! И разве подхваченная большевиками ненависть к мещанину и обывателю одною только интеллигенцией нового времени была выношена в России? Она ж в толщу народа уходит, она опирается на вековой, тысячелетний инстинкт "общины" и "мира", враждебных "высочке" и "отщепенцу". Недаром же слово "хозяин" от веку окрашено у нас неприязнью и одним только суффиксом переводится в ненавистный ряд: "хозяичик". И недаром же слово "кулак" еще до "сплошной коллективизации" обернулось эмблемой мироедства, так что первоначальное значение его — оптовый торговец на селе — даже и из словаря выветрилось.

Не стояло ничто прочно на нашей земле, не крепилось, не ограничивалось. А уж если крепилось, то с дикой яростью, насильственно, и крепостничество это было именно спасением от гулевого ветра. Простор — вот что в основе. На земле простор, в душе простор. Ни границ, ни пределов. Нищему легче прокормиться, ничтожному легче спастись на миру, на ветру, чем имущему собрать и удержать собранное, — ведь растащат! По ветру пустят! По миру!

Емля на печи святее работника — все ожидается "по щучьему веленью". Иван-дурак удачливее старших братьев, умников, — те вкалывают да копят, а этот авосем жив — и спасен! Главная же радость — гулянье. "Гулял по Уралу Чапаев-герой" — не обмолвка. Гулял-таки, как

гуляли до него богатыри, как гуляет по сей день народ на Руси. Праздник — от праздности. Праздник — общее гулянье, “всем миром” — единенье душ, сокрушенье ранжиров и границ. Отгородился — чужак!

Кто же “отгородился”? Горожанин? Город — вот это чужое место. Место огороженное. Бург. В этом месте и мещанин. В этом бурге — буржуй. Подозрителен человек оседлый, огородившийся, окруживший себя чертой. Который “просто живет”. Как это он “просто живет”, как это он “для себя” живет? Надо жить не просто так, не для себя, а для чего-то... Для чего — это уж само решится: для бога, для революции, для царя и отечества, для мирового коммунизма, для счастья человечества. Но не для себя.

Да разве ж какие-нибудь шестидесятники, “последние романтики”, послушники веры, на атеистической матрице которой были воспроизведены вечные ценности мировых религий — вселенскость, верность, бескорыстие, — разве ж могли мы повернуть этот вековой пласт, шатнуть эту безгрань, когда в самой жизни российской ни один корешок отдельно не держался, а только в общей дебри!

И никакой “западный опыт” не годился нам в помощь. Более того, с Запада-то и получили мы оформление, антимещанских взглядов в систему, которую мы заново наполнили русским разгулом. Или слеп был Герцен, заразившись в Европе этой ненавистью к обывательщине, — она ж западными интеллектуалами и вынашивалась. По всему миру шло поветрие. И Маркс не сослепу же сделал ставку на пролетария, на неимущего, — этой идеей была вся цивилизация беременна, и еще не брезжил на Западе тот запредельный постиндустриальный переворот, который вывел собственнический строй из губительной аритмии кризисов; две мировые войны понадобились, чтобы это преобразование совершилось; ни один мыслитель до того не решился бы это точно предсказать, именно: что тот самый “средний класс”, в вязкой упругости которого вечно гасли все импульсы справа и слева, — что именно этот класс пронесет сквозь дикий XX век неслыханное слово “консенсус”, которое и мы теперь подхватываем с обычной торопливостью опоздавших учеников.

Уж мы-то, россияне, дети пространств, ненавистники границ, “бургов”, “местечек”, мы, граждане мира, последние романтики, мы знаем, через что переступаем. Но надо. Надо трезветь. Надо реабилитировать «герани и ландыши».

С гитарой, слава богу, само получилось: Окуджава помог, и двинулось поколение последних романтиков к светлой мечте уже не под гайдаровскую барабанную россыпь, а под самый что ни на есть мещанский перебор. Ничего, получилось. На очереди канарейка. И фикусы с геранями. В чем тут подвох? Канарейку надо кормить. Регулярно. Цветы — поливать. Ежедневно. С немецкой аккуратностью. И без русского размаха.

Что с Русью станет на этом пути, с русским характером, с русской темой в мировой духовной драме?

Не знаю. Выхода нет. Надо меняться.

И пусть последние шестидесятники ложатся гатью под ноги первым восьмидесятиникам, чтобы можно было перейти болото 70-х, бездонь застоя, стоячий морок самообмана.

Вернусь к своему предмету. Думает ли над этим наша литература?

Думает. Где корень зла? Где то утраченное звено, из-за которого мы

упустили цепь? Кто тот "человек без тени", который определил исход драмы; не тот, кто ставил мнимые цели и уточнял ложные задачи, а тот, кто все это делал, исполнял, соглашался? Где тот миллионный "средний человек", который мог бы и должен был бы устоять в соблазне — и не устоял? И пошел вразнос, в крайности...

А вот он; товарищ Полуболотов. "Полу..." — ни то ни се. Ни плоти, ни тени — одно исполнение приказов. Дьявольщина в повседневном варианте. Преставление миров. Под пение соловья в колдовском декоре питерской белой ночи вохровец-вертухай-расстрельщик рассказывает о том, как вот под это пение в благословенные прошлые годы он тут "брал", "сопровождал", "ликвидировал" — обыскивал, допрашивал, конвоировал, обеспечивал ликвидацию, докладывал об исполнении. Даже не в контексте дело — соловьиного пения и того, как каркает этот деятель от "воронка", а в том, что соловьиное пение каким-то запредельным образом проникает в карканье, сплетается, сливается с ним. Уже все вам ясно, уже контраст сработал и следить дальше не за чем, однако мотает и мотает вам душу этой своей "чисто-грязной" мелодией, арабеской безумия и расчета, поюще-каркающим дуэтом. Ночная песня — ноктюрн — "Ночной дозор" — узор превращений и подмен. Узор запертой клетки. И не улетишь, и дышать нечем.

"Ночной дозор" — повесть Михаила Кураева, окончательно утвердившая его к концу 80-х годов в числе самых читаемых авторов "эпохи гласности". Почему же я беру его в разговор о "сорокалетних"? Ведь он — не из тех, кто незаметно "втек" в литературу в застойные 70-е годы, он — из тех, кто дерзко и ярко ворвался в нее в громогласные 80-е. Так! Но, во-первых, по времени вхождения в жизнь (не в литературу — в жизнь) Кураев — именно из "сорокалетних": родился перед самой войной, войны не запомнил, зато запомнил послевоенную нищету, а более того — тщету реформ, вползающих в "застой", тщету "застоя". Во-вторых, то, что в 70-е годы он "не пробился" в печать, не значит, что не писал, не пробовал. Сидя в "тихой заводи" киностудийного редактора, оставался в курсе наострейших литературных дел. Был, например, редактором сценария Василия Аксенова на "Ленфильме". Но дело не в этом. Дело в существе участия: в том, что именно пишет о реальности Михаил Кураев. Дело — в узоре превращений и подмен. В "смешивающейся" фактуре. В смешении качеств и целей. В подмене имени — главной теме Кураева. Речь идет о реальности, теряющей темп, цель, смысл и имя. Хотя пишет Кураев — не об "эпохе застоя". Но он ею создан и ей отвечает.

Уже в "Капитане Дикштейне" все это нащупано и разработано — в первой повести Кураева, десять лет пролежавшей в столе (а может, десять лет писавшейся?) и в 1987 году со страниц "Нового мира" шагнувшей сразу в первый ряд русской словесности. И тот же морок, и то же дьявольское смешение узоров; один — близкий, прямо у глаз, мелкий, бытовой: хождение гатчинского пенсионера Игоря Ивановича Дикштейна за три улицы в магазин; другой узор — далекий, где-то за пределами яви, хотя столь же филигранно-четкий: корабль Кронштадта, орудийные погреба, заряды, полузаряды, лотки, пояски, ролики, дьявольская пристальность к мелочам и дьявольская же "неразличимость" целого. И тоже любуешься — читательски — тонкой, двойной арабеской и не понимаешь до поры до времени, как же тонколицый офицер из команды

линкора "Севастополь" перейдет в состояние гатчинского пенсионера сорок с лишним лет спустя, — пока простейшим сюжетным ударом Кураев не вышибает тебя из эйфории "эстетического чтения" в читательский шок — так вдруг проваливаешься из сна в явь и трезвеешь от мгновенной догадки: о, как все просто!

Просто. После подавления Кронштадтского мятежа в 1921 году Дикштейна расстреляли без суда и следствия — как офицера, захваченного с поличным, — и какой-то кочегар взял себе его имя. Я не берусь взвешивать сейчас степень фактической вероятности такого сюжета; в конце концов, в революционную эпоху "все возможно". Кочегара в числе других пролетариев мятежного флота сразу к стенке не ставят, а предварительно выясняют личность. Ему нужно любым путем выпрыгнуть из ловушки, то есть из своей конкретной котельной, из своего трюма на мятежном линкоре. И поскольку офицера Дикштейна он издавна знает, а также знает, что того уже пустили в расход без суда и следствия, сиречь без бумаг, и, значит, претензий к нему у Советской власти как бы нет, — то вся разворачивающаяся подмена получает фактическое обоснование... но я о другом: сильнее обоснования — читательский шок.

То, что кочегар на допросе назвался чужим именем, — вполне в духе той полной магических переименований эпохи, когда Гатчина становится Троцком, Сашка Смолянчиков переименовывается в Фердинанда Лассала, а Костя Ведерников записывается Кларацеткинским. Стал человек Игорем Ивановичем Дикштейном — что такого? Однако в общем контексте кураевской прозы это переименование ставит всю четко прописанную картину как бы на край бездны. Вдруг понимаешь, что у кочегара раньше не было имени: Чубатый и Чубатый. Какая-то леденящая закономерность проступает в сцене, когда тройка следователей, небрежно поспрошав представшего перед ней арестанта, отпускает его, наскоро проштеплевав имя и лицо.

Нет, не Савл с Павлом вспоминаются при этом, хотя эрудированный автор предусмотрительно подсказывает нам библейскую аналогию. И даже не Шарик булгаковский, становящийся гражданином Шариковым, — хотя мотив кровавой операции, хирургической пересадки звучит в кураевской философеме. Нет, мне опять-таки Гроссман вспоминается: его страшная метафора — когда сталинская империя сдирает кожу с ленинской республики и натягивает на себя, похищает слова, перехватывает фразеологию, овладевает именем, крадет лицо. Гроссмановская метафора помогает понять глубинный смысл кураевских узоров, хотя ткань тут другая, у Гроссмана вообще никакого узорочья нет, там — толстовская истовость и серьезность, а Кураев — весь из Гоголя, с чертовщинкой, с ухмылкой: делает вид, что морочит голову, а сам — исповедуется. Тут весь секрет в дрожащем просвете между повествователем и реальностью, в каком-нибудь одном лукавом словечке вроде "даже", или "в общем-то", или "отчасти", когда возникает ощущение тайны и непредсказуемости, которую автор прячет за строем вещей, описанных с инвентарной дотошностью, с перечнями и описями. Но чем подробнее и пластичнее прописан "верх", тем потаеннее бездна, из которой являются и в которую уплывают картины "верха". Это не только Гоголь "Миргорода" и "Диканьки", "Тараса Бульбы" или "Мертвых душ" (хотя стилистически легче оживить именно этого Гоголя), скорее уж это "Портрет", "Запис-

ки сумасшедшего” (да еще и пропущенные через “Записки из подполья”, как засекали критики, и через “Двойника”). Пересадка лица, в которой откликнулось отделение “носа”, — лишь внешний, сюжетно выставленный у Кураева стык миров, в глубине превращение страшнее.

Но о глубине как скажешь? “С Марсельезой Никифоровной мы сейчас знакомиться не будем, — улыбается Кураев. — О Марсельезе Никифоровне речь впереди...” Никакой речи и впереди не будет. А будет — вот эта лукавая улыбка рассказчика, который делает вид, что у него все действующие лица дергаются на ниточках, но как бы страшится открыть нам и себе ту бездну, над которой они так послушно и даже весело дергаются. Когда-то В. Розанов передал впечатление от прихода Гоголя в странной метафоре: был Пушкин, была ночь, мороз, звезды, потом дьявол помешал палочкой, муть со дна поднялась — Гоголь.

Сверху резкая четкость, снизу муть — вариация Кураева.

Идет за пивом пунктуальнейший Игорь Иванович Дикштейн, гривеннички все пересчитаны, в очереди — порядок, в мыслях — тоже; снег, по которому он идет, — утопан... а все же ощущение такое, что идет он по зыбучему песку или по облаку, и создает это ощущение Кураев всем строем своего повествования, сплетением узоров, когда из-под асфальта гатчинской улицы проступают могилы моряков, расстрелянных весной 1921 года, а из-под них — могилы тех неизвестных архангельских, вологодских, ярославских мужиков, которые проложили на качающемся болоте эти линии и квадраты, возвели эти каменные ансамбли, дворцы, мосты, обелиски, скверы, набережные, крепости, форты... Это мираж? Реальность?

— Да была ли история у Гатчины?

— Что хотел сказать затерявшийся в бездне времен тот первый человек... кто назвал озерцо почему-то Хотчино?!

— Возможно ли устроить на этой неверной земле гнездо прочное и основательное, в “немецком вкусе”?

“Немецкий мотив” питерской симфонии откликается у Кураева поразительным эпизодом, когда оккупанты, уходя, предупреждают, что сейчас будут поджигать, и предлагают жителям приготовиться тушить, а сами, для очистки совести перед великой Германией плеснув все-таки в угол керосином и ткнув для проформы факелом, не оглядываясь, уходят...

“Немецкий вариант” — хаос, организованный для проформы.

“Русский вариант” — организованный для проформы порядок.

“Коллеблющаяся стихия Кронштадтского мятежа”... Вы слышите? Трагические события марта 1921 года: восстание флота, штурм мятежной крепости, делегаты X съезда партии, идущие с винтовками по льду, — все это описано у Кураева со скрупулезной дотошностью “читателя исторических журналов” и опять-таки с чисто гоголевской страстью к реестрам и регламентам, под которыми — голоевское же! — качение стихии. Правые? Левые? Не имеет значения. Оказался офицер Дикштейн на корабле — и пошел в мятежники, а мог оказаться в береговой артиллерии. Оказался Чубатый в Кронштадте — попал в восставшие матросы, а окажись в Питере — и попал бы в штурмующие цепи. Статической волной смывает людей и в бунт, и в подавление бунта; все лозунги идут в котел, перемешиваясь, перевариваясь; матросы — вчера еще “кра-

са и гордость революции”, “надежда свободы”, сегодня уже — “клевшики”, “жоржики”, “иванморы”, “обезоруженные”, поставленные к стенке... но приходит час, и к стенке становятся герои штурма: Тухачевский, Путна, Дыбенко, Рухимович, Бубнов, и сами имена их выскабливаются из истории. Да есть ли имя у кого бы то ни было в этой карусели? Есть ли лицо? Как удержать л и ц о в безликом потоке сменяющихся друг друга, сминающих друг друга масс?

Удерживать лицо — значит быть готовым встать к стенке; вот коллизия повести “Капитан Дикштейн”. Спасти шкуру — значит потерять лицо. Слиться, смыться, влиться. Весь путь Чубатого — в массовую лаву — с его-то происхождением, с его татуировками и с этой песенкой, вынесенной то ли из Сергиева Посада, где вырос, то ли из “третьей котельной”, куда загнала служба: “Среди поля ржаного родился от рабыни тиранов-господ, много-много для сердца молодого уготовано было невзгод...”

Не те невзгоды выпали: нанесло на другой край. Назвался Дикштейном...

Один любопытный силуэт мельком проходит в “Капитане Дикштейне”: Гришка Бушуев, который во время оно “был опером и ходил на реквизиции”, а ближе к войне, “став начальником тринадцатого отделения”, выселил Игоря Ивановича Дикштейна из “прекрасной квартиры на Старопетергофском близ Обводного канала” и, “покончив с эксплуататором”, вселился туда сам.

Воистину Игорь Иванович (переселившийся в заштатную Гатчину) мог бы и сам оказаться в роли Гришки Бушуева, включая, конечно, и “реквизиции” во время оно. Иначе повернула все “колеблющаяся стихия” истории. Но Гришка, безвестный и безотказный винтик карающей машины, засел в сознании Кураева.

В “Ночном дозоре” Кураев вытасил этого героя на авансцену. Под пение соловьев тов. Полуболотов поведаль нам, как вел, как сдавал, как в засаде сидел, как акт составлял...

Итак, самый страшный, самый главный, самый последний вопрос: откуда же все-таки взялись миллионы исполнителей? Кто “отдавал приказы” — это мы с помощью историков кое-как выяснили после XX съезда. Еще полдюжины съездов потребовалось, чтобы треть века спустя добраться до вершины пирамиды. После XXVII съезда мы одолели последнюю инстанцию — мы выяснили: виноват Сталин. Все, выше нету. И, соответственно, дальше некуда. Дальше — вопрос о том, кому можно было отдавать приказы. Не только в смысле социально-психологическом. Шире. Можно со всей скрупулезностью проработать карту “укладов”, можно до процента вычислить состав “ленинского призыва”, каковой и лег в основу сталинской силовой структуры, но почему эта структура одолела и подчинила огромную страну, какой подпочвенный слой выдержал и принял на себя ее тяжесть, какой высший смысл в том, что вся эта ситуация вообще осуществилась на Земле, — эти вопросы все-таки остаются.

Мы с ужасом созерцаем пирамиду, мы посылаем проклятья ее вершине, но думаем ли мы, на каком основании все это выстроилось? Где первоэлемент? Какая нравственная катастрофа вызвала на свет саму ситуацию, в которой гражданин Полуболотов получил возможность конвоировать других граждан? Откуда он взялся?

Михаил Кураев совершенно в духе социальной ангажированности

“сорокалетних” дает на этот вопрос следующий ответ: гражданин Полуболотов — из лавочников. С детства к крестьянскому обиходу сердце не лежало, а другого обихода не было. Кроме — “лакейского”. Догадка существенная: не из неимущих составила армия, не из пролетариев, которому, кроме цепей, нечего терять. А из тех, б л и з к и х к пролетариату по степени моральной униженности, коим, однако, было что терять. И кои успели попробовать вкус того, что теряли. Будь то деревенская чайная, плохонькая и тесная, или городская парикмахерская “у Обводного канала”, унаследуй ты ее от родителей или прихвати, женившись на наследнице владельца... б ы в ш е г о владельца, которого мог бы повести куда следует Гришка Бушуев, а мог бы — и сам Чубатый... Но так вышло, что Чубатый на дочке бывшего женился. И водить бывших куда следует довелось вохровцу Полуболотову. Который “чуть” не унаследовал чайную.

Страшно и точно сказано: это все — несостоявшиеся л а в о ч н и к и. Те самые, которые могли бы составить средний класс общества, образовать центр его, стянуть края к середине. Не удержали. Не удержались. Ухнула в небытие, провалилась середина. Кронштадтский мятеж, может быть, и явился последней конвульсией обреченного “среднего крестьянства” (да антоновщина еще), а как утратилась перспектива, так стали разбегаться бывшие “лавочники”: кто — в начальство, в ведомство “военного коммунизма”, в его меченосные органы (вверх, вверх), кто — в люмпен, в “пролетариат”, вниз, и — в края, на границы бытия, в лагерные дали, оголяя ничейный оказанный центр жизни.

В оцепенении стоит Кураев перед этой открывшейся бездной. И в “Дикштейне”, и в “Ночном дозоре”, если есть, помимо дьявольского гоголевского узора, некое взаимодействие с “последними вопросами” бытия, то — гоголевское же о ц е п е н е н и е перед бездной. Чувство “застоя”, опрокинутое в восток. Крах логики — выворот изначальных смыслов. Расчет секунд возможного побега конвоируемого — под пение соловьев. Арифметика шагов — при полном провале целей и ценностей. “Экономика должна быть экономной” — когда подменено все: и экономика, и долг, и бытие. И понятие о лице, и понятие об имени.

Все решается в точке, вокруг которой мир поворачивается, — в подмене имени. Чубатый, спасая шкуру, берет имя капитана Дикштейна, но спасает не шкуру. Лицо, взятое напрокат, прорастает в душу. Это таинство — открытие Кураева: прорастание духа жертвы в “шкуру” потенциального палача. Я не знаю, можно ли это назвать просветлением. Это что-то другое: зараженность, что ли. Пунктуальность, дух которой убит в очкарике, гардемарине, инженере, вдруг пробуждается, прорастает в чубатом кочеваре, которому не к чему приложить этот дух в его “валкой” жизни... И он всю жизнь несет в себе этот перекосяк. Он наводит порядок в очереди за пивом, старается помнить, в каком кармане какой куртки какая лежит авоська... а очередь орет, а карманы перепутаны, и жизнь прожита тускло, жалко, по-чужому.

И все-таки — это просвет. Надежда. Надежда обрести лицо. Удержать лицо, подхваченное у другого, жизнью расплатившись за подлог, ставший реальностью.

“Ах, Игорь Иванович... бездна моя... мой омут!” — вздыхает Кураев, глядя вслед герою, бредущему с авоськами, за секунду до того, как тот, пораженный инфарктом, упадет на снег, сорок пять лет спустя после

того, как так же, "уже мертвым", упал на снег тот Дикштейн, тихий инженер, отдавший лицо и имя этому омуту, этой бездне, из которой — все мы и в которой для нас — все.

* * *

Выйдем ли из бездны, спасемся ли из омута, обретем ли судьбу, вспомним ли имя? Найдем ли *центр тяжести*, точку опоры, земной дом бесплотному духу?

Или это проклятье неодолимое — оцепенение наше, страх перед собой, безнадежность "застоя", разряжающаяся истерикой бунта и грезой о несуществующем рае?

ЭСТЕТИКА ГОСКИНО, ИЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В ДЕЙСТВИИ

(Записки из подполья)

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флажков.

Владимир Высоцкий. "Охота на волков"

Похоже, мы еще только начинаем сознавать, что в эпоху тихого брежневского удушья страна угодила в пропасть куда более глубокую, чем это виделось поначалу даже самым трезвым из нас. Потихоньку прозревая истинное наше положение, мы начинаем наконец догадываться, что многие беды и печали, столь тяготившие нас, на самом-то деле заслоняли проблемы и недуги куда более грозные и что самые горькие в этом смысле открытия у нас, вероятно, еще впереди.

К судьбе советского кино это имеет самое прямое отношение. До сих пор мы знаем ее в основном с фасадной стороны и не представляем себе еще достаточно отчетливо подлинных масштабов потерь, понесенных в годы застоя нашим кинематографом. Нас держит в плену успокоительная мысль: годы были тяжкими, а яркие и значительные фильмы все равно снимались, росла и крепла репутация таких мастеров, как Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Лариса Шепитко, Сергей Параджанов, Элем Климов, Отар Иоселиани, Кира Муратова... Кто спорит! Однако по-настоящему понять и оценить все происшедшее с "важнейшим из всех искусств" мы сможем только тогда, когда соизмерим триумфы и утраты. За впечатляющим фасадом великих фильмов и имен, озарений и открытий, признанных всем миром, все еще скрывается подлинная биография советского кино — столь же великая, сколь позорная и очень горькая. До самого последнего времени о существовании этой скрытой от глаз подлинной истории советской киномузы можно было только догадываться по каким-то отдельным фактам и судьбам, слегка приоткрывавшим непроницаемый полог тайны. Но вот открылись двери в закрытые прежде архивные фонды, заговорили многие знающие люди, прежде предпочитавшие помалкивать, достоянием гласности стали многие прежде скрывавшиеся от посторонних глаз документы, дневники, рукописи, письма. И то, о чем мы раньше могли знать только понаслышке или весьма отрывочно, открывается теперь во всей своей неприглядной, жестокой, трагической полноте.

Свидетельствую об этом как участник заверщенного коллективно-го исследования "Уроки застоя: советское кино. 1965 — 1985"¹. Мой

¹ Исследование подготовлено ВНИИ киноискусства. Готовится к печати в издательстве ПИК. .

путь повторного возвращения в эту невеселую эпоху оказался самым "пыльным" — он пролегал в основном через архивы. В поисках документов мне пришлось спуститься в то самое в прямом смысле подполье — угрюмые, темные подвалы, — куда загнаны сегодня наши кинематографические архивы.

Признаться, приступал я к освоению этого необозримого бумажного царства с некоторым сомнением в душе. Ну что нового могут сказать какие-то пропылившиеся бумаги тому, кто сам пережил эти бесславные и безнадежные годы, собственными глазами видел, как распинали наше кино?

Сказали!

Тысячи документов, аккуратно подшитых в одинаковые мышинного цвета папки, строго пронумерованных, разложенных по фондам боевых подразделений госкиношного царства, бесстрастно поведали о том, что время, которое мы пережили и про которое знали, казалось бы, все, на самом-то деле было куда более угрюмым, чем нам это представлялось.

Самое горькое, самое печальное "открытие", вынесенное из архивного подполья — страшные масштабы всего изувеченного, навсегда углубленного. На первое место среди всех понесенных потерь принято ставить "полочные" фильмы. Ведь даже сами члены конфликтной комиссии Союза кинематографистов, которым было поручено "снять с полки" запрещенные ленты, были прямо-таки ошеломлены запасами арестованного кинематографа. Предполагалось, что запрету подверглось десятка полтора картин. Но скоро выяснилось, что число их перевалило за сотню.

Однако самые большие, самые страшные для нашего кино потери заключались даже не в этом изъятии из живого кинопроцесса "крамольных" картин. Ведь и все то, что выпускалось на экран, выходило в покалеченном, деформированном, подогнанном под допустимые стандарты виде. Редактурой уродовались не отдельные фильмы, а, по сути дела, весь кинематограф.

Экспедиция по архивным подвалам Госкино позволила обнаружить еще одно массовое кинозахоронение — поистине необозримое кладбище сценариев, загубленных еще на подходах к съемочным площадкам. О некоторых из этих замученных в застенках Госкино сценариях и проектах мы в свое время кое-что слышали и знали. Но подлинную картину бедствия, его масштабы не знал никто, кроме непосредственных исполнителей карательных работ.

Сотни отвергнутых сценариев, пущенных под нож интереснейших и перспективных замыслов отразили масштабы беспрецедентной бойни, учиненной партийно-государственной машиной застойных лет. В общей братской могиле неосуществленного залегли сценарии В. Тендрякова, В. Шукшина, Г. Шпаликова, Н. Думбадзе, А. Володина, Ф. Горенштейна, В. Аксенова, В. Войновича, А. Солженицына... Да и сами поистине необозримые пространства массовых захоронений говорят о том, что сводить гибель этих самых неординарных замыслов к отдельным ошибкам отдельных редакторов и ответственных работников было бы слишком большим упрощением. Перед нами — самые настоящие кинематографические Куропаты...

Киноведам и кинокритикам еще, видимо, предстоит исполнить свой печальный профессиональный и гражданский долг — поднять весь этот огромный пласт еще в зародыше уничтоженного кинематографа, вчи-

Татья и вдуматься в заживо погребенные сценарии и заявки, реконструировать с помощью сохранившихся материалов и документов казенные замыслы, вписать их в контекст будущей новой истории советского кино. В данной же работе мне хотелось бы воздать должное не столько мученикам, сколько той чудовищной системе, которая привела к этим жертвам. Ужасаться пережитой трагедии мы будем еще долго. Но чтобы она не накрыла нас вновь, пора призадуматься и об ее авторах, о "творческой лаборатории" застоя. Отталкиваясь от документов, я и попробую сделать шаг именно в эту сторону...

"Изыять", "ослабить", "сократить"...

Кино, почитаемое столпами режима по священному ленинскому завету как "важнейшее из всех искусств", на практике обрело статус "самого управляемого из всех искусств". Пожалуй, ни в одном из видов художественного творчества муза бюрократического управления не достигла такого изящества и совершенства, как в кинематографе. Нацепить намордник соцреализма на все советское кино было, конечно же, делом не из легких. Среди кинематографистов не так-то уж и много находилось тех, кто готов был слагать торжественные кинооды в честь величественнейших свершений общества "развитого социализма", безропотно следовать священным прописям самого передового учения и самого совершенного творческого метода. Чтобы сломить это сопротивление, чтобы направить движение живой творческой мысли в удобное режиму русло, надо было установить тотальный контроль над всеми без исключения стадиями рождения и реализации творческого замысла, над всеми участниками и сферами кинопроцесса.

Но для того, чтобы вести постоянную слежку за огромным и неохватным кинематографическим хозяйством, искоренять малейшие следы инакомыслия, требовались не только немалые силы, но и мощная, идеально отлаженная контрольно-репрессивная машина. Тоталитарный режим щедро позаботился о том, чтобы имелось и то и другое.

Рать бдительных сторожей и поводырей нашего кино была поистине неисчислимой. И что более важно — многоярусной. На "передовой" располагались отборные части студийной, республиканской, а затем уже и комитетской редакции. В засаде находился "сценозряд" официальных консультантов и тайных рецензентов, которым доверялось "тестировать" наиболее "рискованные" и "опасные" постановочные проекты.

Но кинематографистами помыкали не только прямо к тому предназначенные чиновники киноведомства. Большие "специалисты" по кинематографу восседали в каждом министерстве и ведомстве. Какие фильмы нужны советскому народу, что и как именно надо снимать, а как не следует — об этом кинематографистов поучали буквально со всех сторон. Да если б только поучали! Особенно усердствовали по воспитательно-инструктивной части три главных богатыря отечественной демократии — КГБ, МВД и Министерство обороны. Сколько интереснейших сценариев погубили эти блюстители ведомственной чести, скольким фильмам переломили хребет!

На следующем ярусе располагались ценители прекрасного из парт-аппарата. В горкомах партии, в отделах культуры республиканских ЦК, в самом ЦК КПСС восседали команды инструкторов, под неусыпным контролем которых находились все без исключения кинематографичес-

кие организации. От них рычаги управления уходили еще выше — к партийным богам вроде незабвенного М. А. Суслова. Вот оттуда — с высших партийных небес — и запускался весь тот зловеющий механизм, слишком нежно и романтично именуемый ныне командно-административной системой.

Это адское устройство, которое десятилетиями уродовало, терзало, давило наше кино, при всей своей громоздкости работало невероятно эффективно, дружно, практически не давая и малейших сбоев. Четкая, синхронная работа всех звеньев зловещей давилыни обеспечивалась не только тщательно продуманной конструкцией, идеально подобранными кадрами, но и общей программой, которая была заложена в машину. Ради ее исполнения и велась огромная, масштабная, поистине титаническая работа.

Но куда нацеливал весь этот адский труд? Во имя чего тратились силы богатырские?

Вот для начала несколько образчиков этого героического труда ценителей прекрасного из тогдашнего Госкино. Я даю их подряд без каких-либо комментариев. Они тут, как говорится, излишни.

18 августа 1967 г. Генеральному директору киностудии
 "Мосфильм"
 тов. Сурина В. Н.

Фильм "История Аси Клячиной" режиссера А. Михалкова-Кончаловского может быть выпущен на экраны страны лишь в том случае, если из него будет исключен ряд натуралистических, эстетически неприемлемых и оскорбляющих достоинство тружеников советской деревни деталей. (...)

В сценах "праздник на току", "обед на полевом стане" (...) следует произвести сокращения кадров, демонстрирующих особенно выпукло грязных, неряшливых людей. (...)

Но главное, советуем вынуть из фильма целиком рассказ старика в столовой и его похороны; сократить сцену попытки изнасиловать беременную Асю (...) сократить сцену родов. (...)

Следует также исключить кадр, когда Чиркунов без всякой необходимости спрашивает мальчика, знает ли он, кто такой Сталин (...) положить народную песню на панораму вместо мрачных лиц.

(...) Просим Вас в случае Вашего согласия на вышеизложенные рекомендации принять необходимые меры к исправлению фильма.

Заместитель председателя
комитета

В. Баскаков

Обратим внимание на довольно-таки деликатный тон изложения поправок. "Следует подумать", "вероятно", "просим в случае Вашего согласия"... Как-никак на пороге еще только 67-й. Но пройдет каких-то несколько лет, и стиль начальственных предписаний резко переменится. Вот в каком тоне комитетские стратеги поучали Андрея Тарковско-го:

Посмотрев фильм режиссера А. Тарковского "Зеркало", Госкино СССР считает необходимым высказать следующие соображения:

1. Вступительный эпизод с логопедом следует изъять.

2. Требуется доработка эпизода с военруком. Неуважительное отношение ребят к солдату, излишнее педалирование его дефектов можно убрать как за счет сокращений, так и путем перетонировки.

3. Желательно провести работу в эпизоде "Испания", с тем чтобы ослабить слишком грустную тональность эпизода и больше подчеркнуть радость встречи испанских детей с Советской страной. Появление хроникальных кадров с аэростатом не мотивировано, поэтому они не нужны.

4. В сцене с чтением письма Пушкина следует более продуманно выбрать отрывки из текста письма, сократив его объем, а также снять мистическое продолжение эпизода.

5. В сцене типографии желательно избежать ненужного нагнетания атмосферы с помощью недомолвок и намеков в репликах о характере издания. (...)

6. Особо тщательной и продуманной реконструкции требует монтаж военной хроники. События Отечественной войны не следует смешивать и ставить рядом с событиями во Вьетнаме. Планы парада на площади в Пекине органически не сочетаются по мысли с остальным хроникальным материалом. (...)

7. Разговор с Натальей носит библейский характер. Нужно его перетонировать, придав ему реальный тон и сюжетную перетонировку.

8. Метафора с женщиной, висящей в воздухе, неубедительна, и от нее следует отказаться.

9. Закадровый текст, который ведется от первого лица, слишком пессимистичен. Создается неверное впечатление, что художник, от лица которого ведется повествование, зря прожил жизнь. Это впечатление необходимо снять путем введения в текст нескольких новых реплик.

10. Весь фильм необходимо освободить от мистики.

Заместитель Главного редактора
Главной сценарной редакционной
коллегии

Э. Барабаш

Порядок в тереме в Малом Гнездиновском, где размещалось Госкино, был заведен строгий и неукоснительный. Студия, получив перечень "рекомендуемых" исправлений по запускаемому сценарию или уже отснятому фильму, обязана была не только осуществить их, но и отчитаться соответствующим документом о проделанной работе по "улучшению" по всем предъявленным замечаниям. Вот, скажем, в Грузию отправляется витиевато-вежливое наставление о том, как надлежит вести себя Отару Иоселиани в завершающей стадии работы над фильмом "Пастораль":

1. Создание позитивной атмосферы современной колхозной деревни, ее труда. Важно, чтобы зритель почувствовал, что за пределами замкнутого домашнего мирка с его повседневными заботами, в котором существуют родители юной героини, идет другая жизнь, с совсем иными мерилами и ценностями. Когда в конце фильма девушка идет работать в колхоз, в этом должен быть виден сознательный поступок человека, выбравшего активную позицию жизни не только для себя и своего личного благополучия.

2. Как мы отметили на обсуждении, пока неясна функция музыкантов, их позиция. Здесь тоже важно найти верное решение. И т. д., и т. п.

Как и положено, на весточку из Москвы следует соответствующий циркуляр из Тбилиси:

Редакторат Госкомитета Грузинской ССР, просмотрев окончательную редакцию законченного производством полнометражного художественного фильма "Пастораль", отмечает, что после просмотра и обсуждения в Госкино СССР над фильмом проделана следующая работа:

1. Более внимательно отредактированы эпизоды, отображающие будни колхозников, общественную значимость их труда. В этой редакции каждое утро по зову бригадира колхозники выходят на работу (грузовик развозит их по полям). Трудятся в свободное от учебы время юноши и девушки, колхозное производство оснащено техникой, которую мы видим в деле.

2. Сокращены сцены обработки колхозниками приусадебных участков.

3. Сглажены акценты соседских междоусобиц: число сцен переброски с участка на участок сокращено наполовину, сокращены также эпизоды скандала соседей, глушения рыбы, застолья, продолжительного дождя, создавшего ощущение уныния.

4. Во избежание некоторой двусмысленности изменена трактовка сцен взаимоотношений крестьянской девушки Эдуки и виолончелиста Нико. В новой редакции эта лирическая линия звучит чисто и вдохновенно. (...)

Честно говоря, зная принципы Отара Иоселиани, трудно поверить в серьезность ответного рапорта товарищам из центра. Скорее всего, тут намеренная игра в поддавки, напускное смирение, попытка успокоить растревоженную душу московского начальства, уступив ему только на словах или в самом ничтожном.

Тотальное администрирование, беспардонное вмешательство чиновников в сам ход творческого процесса неминуемо рождали "ответные меры" и со стороны художников. Не всегда имея возможность открыто защитить свои позиции, они хитрили на свой лад, прибегали к всевозможным формам мистификации и испытанным уловкам, тактическим приемам борьбы. Рискованные, наиболее "крамольные" сценарии удавалось запустить в производство, прикрываясь суперактуальностью какой-либо темы, круглой юбилейной датой, отмечаемой "всеми прогрессивным человечеством", гримом легкой комедийности и т. д. Бывало, что авторы намеренно обостряли и подставляли под удар одни эпизоды, отчаянно отстаивали их, а в последнюю минуту уступали их чиновникам. На самом деле вся эта комедия разыгрывалась только ради того, чтобы отвлечь внимание редактуры от вещей куда более существенных. Коротче говоря, тут были свои приемы противостояния, своя "наука побеждать".

Впрочем, не всегда в этих хитроумных играх художнику удавалось обвести чиновника вокруг пальца. "Острый" сценарий, специально принаряженный для отвода глаз декоративными "оберегами" соцреализма, еще как-то мог проскочить первые стадии утверждения. Но когда

доходило до съемок, тщательно скрываема́я “крамола” все равно выходила наружу, и начиналась долгая мучительная, подчас совершенно безнадежная борьба за спасение фильма. После первого варианта появлялся второй, затем третий. И многостраничные отчеты студий о вынужденных поправках подчас буквально сочились кровью...

Обычно строгие комитетские циркуляры с указанием “изъять”, “усилить”, “изменить” выглядели диким и хаотичным нагромождением каких-то совершенно случайных, никак не связанных между собой поправок. Это — обманчивое впечатление. Во всем этом абсурде была своя железная система и неумолимая логика. Мучительная судьба, а чаще всего неминуемая гибель замыслов, сценариев, фильмов, обнаруживавших биение живой, нестандартной мысли, были predeterminedены тем, что они не вписывались именно в систему представлений чиновников Госкино и высокопоставленных партийных надсмотрщиков за культурой о том, каким должно быть настоящее искусство.

Что же это за представления?

“Воспеть величие нашей жизни”

Святые слова о “правде жизни” красовались на знаменах казенного искусства еще с благословенных сталинских времен. Их без устали повторяли и служители Госкино брежневской эпохи. Да и в самом ключевом понятии этого искусства — “социалистический реализм” — корневым словом являлось понятие “реализм”. Но никакого реализма тут не было и на копейку! Под “правдой жизни” надлежало иметь в виду совсем не то, что есть, а то, что должно было быть в соответствии с той идеологической концепцией казарменного социализма, которая в течение стольких десятилетий правила свой зловеющий бал.

Захлебываясь кровью, теряя лучших своих сынов, обессилевшая от безумных проектов великая страна катилась в пропасть, но искусство, повинувшись священному принципу партийности, должно было писать не эту драматическую картину, а рассказывать лучезарные сказки в полном соответствии сначала с “Кратким курсом истории ВКП (б)”, а затем и с подновленной утопией, обещавшей уже людям моего поколения дожить до расчудесных времен коммунистического рая.

Вот почему задача № 1 для всех чиновников от культуры заключалась в том, чтобы подвигнуть художников на вдохновенное прославление самого передового и прогрессивного строя, его немислимы́х побед и величественнейших свершений. В реальной жизни тоталитарный режим, превзойдя все известные в мировой истории рекорды бесчеловечности, беспощадно давил своих граждан, уничтожал их миллионами, превращал в безликих, покорных рабов, лишенных воли и разума, исторической памяти и национальной принадлежности. На экране же распинаемому народу надо было рассказывать торжественные сказания о том, какой же он на самом-то деле великий, могучий и свободный.

Задача, надо отдать должное, была не из простых. И не всех увлекала. “В некоторых произведениях киноискусства на современную тему, — горько сетовал министр А. Романов, — присутствуют элементы очернительства. Видимо, создавая такого рода картинки нашей жизни, мы просто забываем о том, что через их посредство мы разговариваем со всем миром, с народами ста пяти стран. Что мы даем людям этих стран, в которых идут наши фильмы? Какие представления создаются у них

о том, как мы живем?

Мне пришлось неоднократно бывать на демонстрации наших фильмов в разных странах, и мне иногда было просто больно и страшно за реакцию зрителей, потому что, несмотря на постоянную вредоносную пропаганду, они имеют представление о нашей стране как о величайшем государстве, прокладывающем новые пути. И вот эти люди вдруг видят на экране грязных, оборванных колхозников, пьяных рабочих, безоружных советских солдат, которых спокойно давят вражеские танки. И они выходят после просмотра почти как оплеванные...”

Или из другой программной речи того же товарища министра: “У нас, к примеру, самая лучшая в мире молодежь. А что мы видим на экране? Легкомысленные связи, аморальные поступки стали непременным элементом сюжета многих наших фильмов на современную тему. Драка, мордобой чуть ли не в каждом фильме о молодежи. Я думаю, например, что никто так не поработал для создания мифа о разочарованной коммунизмом, ограниченной, поправшей идеалы отцов советской молодежи, как наш кинематограф...”

Такое терпеть, конечно, было нельзя. И не терпели...

“В сцене застолья мальчик не должен поднимать рюмку...”

Вот одно из направлений отчаянной битвы за утверждение “величия нашего образа жизни”, развернутой неистовыми воителями комитетской редактурой: “Фильмы об истории страны и фильмы, поставленные на современном материале, у нас нередко несут в себе такие фальшивые частности, которые дают искаженное представление о нашем советском образе жизни, о нашей морали и нашей идеологии.

Я имею в виду, что у нас во многих фильмах на советскую тему водка на экране льется рекой. Пьянство живописуется как чуть ли не отличительная черта русского национального характера... Почему водка, почему выпивка стали обязательной частью наших картин на советские темы?” (из выступления того же мыслителя).

Лукавил наш министр или в самом деле чего-то недопонимал?

Страна, как известно, уже опасно приблизилась к стадии всесоюзной белой горячки. Кинематограф не мог не заметить этого — люди пили и на экране. Что делать? Как быть с грозной бедой? А вот как: просто-напросто помалкивать о ней. Пусть пьют в жизни, а на экране — ни-ни! И потому Василия Шукшина, работавшего над “Печками-лавочками”, строго упреждали: “В сценарии несколько раз показывается, что герой выпивает, а это значит, что в фильме он почти все время будет пребывать “под парами”. Режиссеру будущего фильма следует подумать над тем, чтобы картина не стала “пропагандистом” дурной склонности, против которой наше общество должно вести активную и непримиримую борьбу”.

Был и другой вариант спасения: “Следует тщательно выверить сцены выпивок Степана Егорыча. — Это уже совет авторам фильма “Вторая попытка Виктора Крохина”. — Желательно их не показывать, а сделать отраженно”.

Но чаще обходились и без этих тонких игр в какую бы то ни было отраженность. “Изъята сцена ночного кубрика с подвыпившими героями”, “изъяты, сокращены, перетонированы сцены выпивок” (“Иванов катер”); “в сцене выпивок мальчик не поднимает рюмку” (“В до-

вы"), — свидетельствовали студийные рапорты о победной борьбе с пьянством на экране.

Случались "победы" и более солидные. Отчет о вынужденных переделках фильма Динары Асановой "Беда" выглядел следующим образом:

По всему сюжету и тексту фильма сокращены следующие сцены: в вытрезвителе, пивной, пункте сдачи бутылок, пьянства Кулигина с друзьями.

Исключены все пять планов сдачи стеклотары.

Вдвое сокращены опросы пьяниц в вытрезвителе, и полностью исключен второй эпизод в вытрезвителе.

Сокращена панорама по пьющим в буфете.

Исключены кадры трех пьяниц, пьющих на крыльце.

Опущен кадр лежащего на земле пьяного...

Неизбывное стремление к "большой правде жизни" не могло не способствовать расцвету невероятного ханжества во всем. Тотальная диктатура "должного" над "сущим" осуществлялась буквально повсюду. Даже сфера сугубо интимных, личных отношений и та оказывалась под строгим цензурным надзором...

"Просим рассмотреть возможность другого решения эпизода в постели..."

Уже начиная с середины 60-х годов комитетское войско стало разворачивать первые крупномасштабные баталии по линии беспощадной борьбы с пресловутой "голизной" на экране. Один из главных блюстителей кинонравственности с болью в сердце отмечал: "Мы стали во многих фильмах тоже совершенно неоправданно увлекаться, так сказать, "голизной" — показывать голых мужчин и женщин, чаще женщин, реже мужчин..."

Проблема советского "ню" остро переживалась руководством. Но опасность заключалась не только в "оголении" родного советского человека. Кинематограф 60-х, все более решительно разворачивавшийся в сторону реальной жизни, не мог не заметить и нарастающее неблагополучие в сфере семейных отношений, любви, морали. Надо было и тут принимать срочные меры. На студии полетели строгие депеши...

Глеб Панфилов, работавший над фильмом "В огне брода нет", получил следующее уведомление: "Крайне целесообразно при написании режиссерского сценария обратить особо пристальное внимание на крайнюю увлеченность словесными излишествами, особенно в сценах с разгульной Марией, в некоторых бытовых описательствах."

Мария, думается нам, решена как женщина грубо чувственная. Это вносит в интересное, жизненно убедительное повествование о людях революции ненужные, даже цинично звучащие элементы".

Однако стерилизовать приходилось не только пламенных революционеров, но и несчастных современников. А. Михалкову-Кончаловскому, автору "Сибириады", строго напомнили: "В отношениях Таи и Александра есть некоторый налет пошловатости и банальности. Сама Тая также охарактеризована с одной стороны — авторы все время намекают на ее довольно-таки свободное отношение с мужчинами. Просим рассмотреть возможность другого решения эпизода в постели..."

Смешно?

Но убеждение, что целомудренность героев на экране гарантирует такую же чистоту нравов в самой жизни, не раз порождало настоящие драмы. Комитетские сердцеведы, например, умудрились усмотреть в фильме Михаила Калика "Любовь" грубый клевет на нашу ясную и чистую советскую любовь. Даже поэтические строки из "Песни песней", использованные в качестве титров, показались оскорбительными. Режиссера, отказавшегося внести идиотские поправки, отстранили от монтажа и изуродовали картину до такой степени, что автор потребовал убрать свое имя из титров. Но и в этом было отказано. Обращение же в суд, ВААП, ЦК КПСС привели лишь к тому, что одна-единственная чудом сохранившаяся авторская копия бесследно и, по-видимому, навсегда исчезла в недрах КГБ...

Все по той же причине оказались на полке и фильмы Киры Муратовой "Короткие встречи" и "Долгие проводы". Дорого обошлась попытка переступить стальной канон изображения образцовой советской любви и Андрею Смирнову. Его "Осень" удостоилась чести фигурировать в повестке дня одного из заседаний Московского горкома партии под предводительством Гришина.

"Убрать реплики о Ленине..."

Из Малога Гнездиновского и других заведений предписывали не только как надлежит целоваться и обниматься советскому человеку на белом полотне экрана. Прихорашивалось, глянецвалось все его поведение вплоть до самых мельчайших деталей. Даже словарный запас "хомо советикус" в его экранном обличье строго и целенаправленно отфильтровывался, сглаживался, лакировался.

В фильме Николая Губенко "Из жизни отдыхающих" уборщица бросала грубую реплику: "Хоть бы все посыдыхали скорее!" Но разве могла такое говорить простая советская труженица? Положение спасли заменой всего лишь одной буквы: "Хоть бы все поотдыхали скорее..."

Но конечно, самой большой заботой о том, как бы ненароком "не уронить" и "не принизить", были окружены на экране представители партии. То была святыня из святынь!

В насаждении культа КПСС кинематографу отводилась, пожалуй, особо почетная и ответственная роль. Вдохновенные лозунги типа "Партия — ум, совесть и честь нашей эпохи", украшавшие главные площади всех городов, стены заводов, коровников и дворцов культуры, необходимо было подкрепить зримыми и вдохновенными образами партийцев всех рангов. Причем, чем явственнее приоткрывалась истинная роль КПСС в трагической, кровавой истории страны, ее падении, тем все более зычными и беспардонными становились призывы и прямые понукания к прославлению этой божественной силы, тем более грубой и назойливой становилась лесть в ее адрес. Потребность в позолоте была столь велика, что в изображении и трактовке данного предмета заведомо исключались не только малейшие проблески реалистического видения, но и любые, даже самые невинные отклонения от заведенного стандарта.

"Необходимо сообщить большую значительность секретарю парткома, с тем чтобы он выглядел человеком более информированным", — наставляли Александра Гельмана, автора "Премии".

“Вызывает возражение дискуссия в райкоме о количестве гробов”, — сигнализировали авторам фильма “Вдовы”.

“Просим проверить необходимость решения сцен, не очень точно сделанных по вкусу: секретарь обкома, несущий в сопровождении цыгана ящик шампанского”, — втемяшивали авторам “Сибириады”.

Особенно трепетно и строго оберегали любое появление на экране партийных святых. “Нам кажется не совсем этичным то место в кадре, где через сетку лифта просматривается портрет Владимира Ильича на лестничной клетке”, — урезонивали Киру Муратову, позволившую себе столь непростительную непочтительность в “Долгих проводах”.

“В контексте поверхностного разговора персонажей фильма об искусстве просим убрать реплики о Ленине и Маяковском”, — напоминали Николаю Губенко (“Из жизни отдыхающих”).

“Неоправданно омрачается советская действительность...”

Как ни увещевали служители комитетской музы слагать пламенные кинооды во славу царствующего режима, как ни умасливали драматургов и режиссеров госзаказами и другими щедрыми начальственными ласками, все-таки среди кинематографистов не так-то уж и много находилось охотников на такую почетную работу. Основное течение кинематографического потока упорно норовило свернуть в сторону от уготованного ему соцреалистического русла.

“Во многих советских фильмах неоправданно омрачается советская действительность, — сигнализирует высшему начальству еще в 1966 году один из видных сановников министерства. — Это омрачение советской действительности присутствует во многих фильмах, причем иногда неплохо сделанных”.

Рапорт 1971 года фиксирует ту же неутешительную картину: “В некоторых произведениях киноискусства на современную тему присутствуют элементы очернительства...”

Кто же “очернял” и что именно?

Владимир Войнович принес на “Мосфильм” свой сценарий “Канун праздника”, написанный по мотивам своей же повести “Хочу быть честным”. Повесть уже была опубликована в “Новом мире”, и, казалось бы, какие проблемы? Но эксперты Комитета по кинематографии оценили работу Войновича куда более принципиально, чем редакция Твардовского: “Судьбы героев создают мрачную картину и не соответствующую действительности атмосферу жизни и труда строителей. Сценарий не дает возможности представить размах, напряженность и значительность труда строителей городов в нашей стране, а без этого фильм, посвященный строителям, не будет правдивым”.

Второй отзыв был еще краше: “Удручающая картина — коллективный обман строительными организациями народа, государства — изображена в сценарии. Нельзя так сгущать краски, создавать такую беспроблемность в судьбах героев”.

Розовый румянец наводился буквально на все сферы современного бытия. Но особенно последовательно и жестоко пресекались замыслы, обнажавшие острые социальные противоречия и конфликты. Эпоха “развитого социализма” делала все возможное, чтобы не увидеть ненакрашено в зеркале экрана свое реальное отражение.

Известно, в каком жутком положении оказалась наша деревня,

поднятая на дыбу сталинской коллективизации. Но вот чему учили светлые комитетские головы темных кинематографистов: "Необходима также точность в решении облика всей деревни, которая в данной записи выглядит чрезвычайно грязной и запущенной" ("Вдовы").

Трепетные редакторские сердца обливались кровью не только за судьбы уходящих российских деревень. "Сейчас история семьи Крайвенасов, — выговаривали многознающие комитетские "деревенщики" литовскому режиссеру Марионасу Гедрису, — по всем фактам их жизни выглядит как история крушения крестьянской семьи. Старики постарели, дети уходят из деревни, у председателя нет времени заниматься личной жизнью колхозников. В той или иной мере жизнь каждого из семьи Крайвенасов несчастлива. В сценарии не видно тех надежд и тех творческих сил, которые олицетворяли бы новую жизнь современной деревни" ("Расколотое небо").

Спрашивается: как же поднять деревню? Как исправить положение в киноколхозах? Да нет ничего проще! "Желательно труд колхозников представить в мелочах. Наверное, в труде на земле есть более важный, возвышенный смысл? С нашей точки зрения, должно быть решительно изменено содержание и значение образа комбайнера Дайнюса. Из безликого и робкого персонажа его нужно превратить в сильного и умного героя, который бы любил деревню, всех ее жителей, честно трудился для будущего. Такая общая переакцентировка сценария (...) сделала бы идейный смысл сценария более оптимистичным".

В том же "оптимистическом духе" принимались срочные и не менее капитальные меры по спасению и всех остальных наших кинодеревень: "Изъят план заколоченных окон" ("Иванов катер"), "Объяснено, что село это — исключение, в округе колхозы крупные и богатые" ("Вдовы").

В роковом 1968 году Юрий Черниченко завершил сценарий "Целина", в котором без прикрас описал "всенародный подвиг покорения целинных земель". Сценарий с восторгом приняли на "Ленфильме". Но Москва оказалась начеку. Разгромный отзыв, изготавленный комитетскими спецами, делает и сегодня честь Ю. Черниченко: "Ошибки и недостатки в борьбе за целинный хлеб вышли на первый план. Борьба "временщиков" и "защитников плодородия" в связи с этим выглядит как борьба неких отдельных прозорливых людей с силами бюрократии, насаждавшими все, что бесперспективно и вредно.

Причем по всему сценарию партийные руководители районного и областного масштаба являются проводниками тупых схем, неверных тенденций в сельском хозяйстве.

Такая неправда не может быть оправдана "остротой" постановки вопроса об имевших место ошибках в руководстве сельским хозяйством..."

По первое число матерые комитетские "деревенщики" всыпали и Борису Можаеву, автору сценария "Егор Иванович" ("Хлеборобы"): "В этом сценарии тенденциозно неверно показывается жизнь современного колхозного села. А именно: сделан акцент на демонстрации беспомощности, процветающей в колхозе, где происходят события, описываемые автором. Многие члены правления этого колхоза, секретарь парторганизации выглядят людьми, плохо знающими сельское хозяйство, людьми равнодушными или интриганами, "реакционерами". А са-

мое главное, автор не показал тех огромных прогрессивных сдвигов, которые произошли в колхозной деревне за последние годы”.

По “очернительству” советской действительности били “высветлением” (был такой вполне официальный рабочий термин). Процедуре “высветления” подвергались буквально все сценарии и фильмы, порывавшиеся дать более или менее реалистический образ действительности. В этом смысле приказ комитета по “полочному” фильму “Иванов катер”, в котором предписывалось “исключить эпизоды и детали, рисующие быт наших людей унылым и серым”, относился, по сути дела, ко всему кинематографу в целом.

“Высветляли” всё и вся. Особенно остро неизбывная тоска по мажору и оптимизму пронзала трепетные редакторские сердца в финальных сценах. Режиссеру А. Михалкову-Кончаловскому, автору “Сибириады”, указывали: “Требует изменения характер финала. Сейчас финал тянется, идет на спад и носит грустно-меланхолический характер. В финале должен быть также и мажор, и тема утверждения, и тема победы”.

О необходимости блюсти традиции ждановской эстетики комитетские жизнелюбы умудрились напомнить даже Алексею Герману: “Просим еще раз обратить внимание на тональность последних кадров кинокартины — желательно, чтобы в них присутствовал мотив наступления, атаки, чтобы он был решен темпераментно и оптимистично” (“Двадцать дней без войны”).

Стремление к “высветлению” и “мажоризации” принимало подчас уже сугубо параноидальные формы. “Эпизод “похороны”, — говорилось в рапорте студии имени Горького о переделках “Иванова катера”, — сокращен в той мере, какая была необходима, чтобы главный герой не был чрезмерно угнетен происходящим”. Знай наших!

Подобным же образом успокоительно приглаживали, сказочно “улучшали” на экране не только образы советских людей, их жизнь, но и старались преобразовать в лучшую сторону саму советскую природу, климатические условия: “Сокращена часть проходов по городу с исключением ряда “сумрачных” кадров” (из рапорта “Ленфильма” о переделках фильма “Не болит голова у дятла”).

Но бывало, не только исключали невеселые, хмурые пейзажи, но и специально — для должного баланса — добавляли “жизнерадостные”: “В законченную производством картину “Осень” (режиссер-постановщик А. Смирнов) при перезаписи исходных материалов введена сцена прогулки по лесу, чтобы не возникло ощущение излишне пасмурной и дождливой погоды на протяжении всего действия фильма...”

“Никакой эпохи культа личности не было...”

Фальсифицировалась не только современность. После исторического залпа “Авроры” вся отечественная и мировая история у нас столько раз переписывалась и перекраивалась в угоду священному вероучению о диктатуре пролетариата, до такой степени выискабливалась, упрощалась, приспособлялась под очередное постановление очередного партийного хурала, что родилась ядовитая шутка о стране “с непредсказуемым прошлым”.

Это навязчивое перелопачивание минувшего, беспардонное перетолковывание некогда уже свершившегося, конечно же, не были праздной забавой. Отечественная и мировая история, пропущенная сквозь жерно-

ва учения о классовой борьбе, была главной опорой всех идеологических мифов. Народу упорно, всеми средствами, на все лады вколачивали в голову, что рождение светлого царства социализма в отдельно взятой стране подготавливалось всем ходом мировой истории начиная еще с каменного века и является исторически закономерным. И даже больше того — неизбежным. Вот почему так бдительно охранялся этот плацдарм...

Однако сколь кратковременной ни оказалась эпоха хрущевской "оттепели", мифологическая пелена, скрывавшая реальную историю страны, была прорвана, и в образовавшихся дырах вдруг открылась грозная, страшная, кровавая историческая реальность. Даже робкое, неполное, непоследовательное разоблачение культа личности и его последствий вызвало шок, потрясло народ. Страна, десятилетия находившаяся под сильнейшим идеологическим наркозом, содрогнулась. Началась цепная реакция осмысления случившегося. Все последующие события — сотворение новых культов и культиков, расцвет застоя — еще больше подхлестнули этот начавшийся процесс исторического самосознания. От ближней — "своей", советской — истории возник, стал стремительно нарастать интерес к временам более отдаленным. В орбиту осмысления втягивались все новые эпохи, события, личности, идеи.

Охранители "самого передового учения" спохватились. Это устремление общественной, художественной мысли к историческим реалиям, прежде тщательно сокрытым или вовсе запретным именам, концепциям, явлениям могло вплотную подвести к неизбежному роковому вопросу, породить сомнения в истинности вероучения. Отрезвление же неминуемо должно было обернуться крахом системы. Допустить этого было нельзя. Вот почему художественная мысль, активно устремившаяся было в пространства близкой и дальней истории, уже с середины 60-х стала подвергаться все более тщательному контролю и жестким ограничениям.

Первый удар, и удар поистине роковой, по начавшемуся процессу исторического прозрения был нанесен, пожалуй, в нервное сплетение советской истории. Таковым являлась проблема сталинизма. В период хрущевской "оттепели" кино вслед за литературой пыталось включиться в общую борьбу с наследием сталинских времен. В "Чистом небе", "Председателе", "Живых и мертвых" кинематограф выходил из оцепенения, с трудом выговаривая первые слова правды о злой ночи, пережитой страной. Это были первые ласточки. Но уже вслед за ними на студиях страны готовились сценарии, запускались фильмы, в которых, как тогда говорилось, "тема культа" должна была быть заявлена куда более серьезно. Кинематограф готовил себя к тому, чтобы сделать свой по-настоящему крупный и принципиальный шаг к правде о пережитой трагедии.

Сделать его не удалось. После свержения Хрущева последовал мгновенный откат на прежние позиции. Еще не пришло никаких официальных указаний, а голос у комитетских идеологов уже переменялся. Тогдашний главный редактор Комитета А. Дымшиц, выступая перед своими подшефными, вопрошал: "По вопросу культа личности. Как к нему относиться, как показывать его последствия?"

Я лично не располагаю непосредственной информацией. Мы обратимся к нашему руководству. Но я лично считаю, что мы нравственно

и политически подготовлены к принятию этого решения. Нужно сказать, что культ личности был нарушением законности. Но дело идет о мере подхода к этому, о такте в подходе к таким картинам, чтобы понимать, когда это нужно, когда не нужно. Понимать ответственность воспитателей перед народом.

Этой ответственности, к сожалению, некоторые работники на студиях не испытывают. И я считаю, например, что на "Мосфильме" некоторые товарищи слишком усердствуют. Вопрос же заключается в том, как к этому подойти, как показать соотношение исторических сил? В некоторых произведениях получается картина, что, кроме безобразий, кроме нарушений законности, ничего не было. Тогда возникает серьезный вопрос: что является главным в жизни нашего общества? А главным является жизнь народа, которая непрерывно развивалась как поступательный процесс".

Между тем прямых инструкций с партийных небес о свертывании антисталинской тематики все еще не поступало. Но все явственнее чувствовалось, что у нового партийного вождя и его окружения фильмы антикультовой направленности горячего отклика и благодарной поддержки не найдут. Как выйти из положения? Как остановить, сбить нарастающую волну сценариев и фильмов о "благословенных" сталинских временах?

Судя по всему, сценарии и фильмы из "опасного" списка было решено хоронить не все чохом и не одним каким-то приемом, а разбить их на группы, с тем чтобы применить к каждой из них индивидуальный подход.

Пожалуй, самый хитроумный трюк заключался в том, что от авторов стали требовать... более глубокой разработки темы. "Нужно серьезно, творчески давать эту тему, — поучал А. Дымшиц, — а не затрагивать бегло, вызывая этим шоковое состояние зала".

Потом стали присматриваться, нельзя ли где нежелательные мотивы просто-напросто отсечь. "Постоянное затрагивание этой темы создает у зрителя тяжелые и болезненные травмы, и зрителя начинает несколько лихорадить. И я бы попросил товарищей сделать разведку и показать нам такие картины, чтобы подумать и просить наше руководство отрегулировать это дело". Под предлогом "необязательности", "нарушения чувства меры" редакторские ножницы ловко отсекали эпизоды, образы, целые сюжетные линии, так или иначе затрагивающие совсем уже нежелательную теперь тему.

Но были вещи, в которых отстричь ничего было нельзя. Антикультурные мотивы составляли там самую сердцевину замысла. Тогда или резали сразу, или занимались тонкой работой. Студия "Ленфильм" предложила экранизировать опубликованный в "Новом мире" "Дневник Нины Костериной", в котором рассказывалась история девушки, у которой отец оказывался жертвой репрессий. Авторам поставили ультиматум: «Выдвиньте на первый план комсомольское начало. Пусть это будет новая "Как закалялась сталь"»...

Но вот проходит время зыбкой неопределенности, и все встает на свои места. По беспокойному вопросу наступает полная и окончательная ясность. И с некоторыми все еще упорствующими авторами в комитете разговаривают уже совсем в ином тоне. По поводу сценария М. Папавы "Горы в пути" тот же А. Дымшиц уже говорит: "Этот фильм не

должен быть фильмом об эпохе культа личности, ибо никакой такой эпохи не было, а была эпоха перехода к коммунизму, отягощенная отдельными явлениями культа личности”.

Вот так!

Через пару лет любое прямое упоминание о временах культа стало вообще невозможным. Не стало даже и “отдельных явлений”...

“Революция оказывается злым гением...”

Конечно, перекроить на экране реальную историю Советского государства по меркам “Краткого курса” одним лишь устранением, замазыванием, зачеркиванием неугодных режиму тем, имен, фактов было невозможно. Поэтому жесткому диктату, переписыванию, свирепой идейной дезинфекции неизбежно подвергались и темы для советского искусства обязательные, самые что ни на есть хрестоматийные. И тут за каждым тематическим направлением устанавливался строжайший реестр допустимых и недопустимых приемов его разработки, буквально каждому приписывалась единая заведомо заданная сверхзадача. Если ты ваешь историко-революционный фильм — будь любезен показать “историческую неизбежность”, “вдохновляющую и руководящую роль партии”, “величие свершившегося исторического поворота”, “высокую романтику революционного порыва народных масс”. Если взялся рассказывать о войне, то вынь да положь “величие и бессмертие ратного подвига” или на худой конец “беспримерный героизм тружеников тыла”. Другие же поводы и другие причины обращения к этому историческому материалу уже изначально вызывали болезненное подозрение. Даже в факте усложнения авторской задачи (показать, скажем, наряду с тем же “величием” или “героизмом” еще что-то) чудилось нечто крамольное, опасное, кощунственное. И именно отсюда — бесчисленная череда острейших конфликтов между живой, ищущей творческой мыслью, пытающейся выразить что-то новое, и армией идеологических контролеров, для которых каждый новый фильм запускался в производство только для того, чтобы еще и еще раз затвердить с экрана мифологию тоталитарной системы.

Вот одно из редакторских заключений по фильму А. Аскольдова “Комиссар”: “В центре фильма “Комиссар” — события гражданской войны, прошедшей через город Бердичев. Тема, казалось бы, из истории Революции. Однако автор воспользовался этой темой для того, чтобы навязать нам свои тенденциозные мотивы. Уже не пафос гражданской войны и Революции охватывает зрителя, а сомнительные идеи надклассового интернационала добрых людей, которые в фильме проповедует Ефим Магазаник.

Революция, которая уже в существе своем несла идеи равенства и братства, оказывается в фильме злым гением — она противоположна материнству.

В начале фильма комиссар Вавилова расстреливает именем Революции солдата Емелина, вина которого состояла лишь в том, что он навестил свою больную жену и вернулся в часть. Но затем Вавилова оказывается, по сути дела, виновной в том же — она уходит от Революции, чтобы родить сына (Человечность и Революция в фильме противопоставлены). Да, Революция жестока, бесчеловечна (это табун бешено скачу-

щих лошадей без всадников), ей не понять доброго закона материнства, который символизирует в фильме Мария Магазаник.

В фильме оказывается сильнее сторона Ефима Магазаника и его проповедей об интернационале добрых людей, нежели комиссара Вавиловой с мыслями об интернационале, "замешанном на крови" борцов за Свободу. И фильм уместнее было бы назвать именем Ефима Магазаника.

Автор любит семью Магазаников, их семейными отношениями, добротой, которую они бескорыстно излучают (вот этой добротой и можно преобразовать мир?!).

В фильме есть транспортровка в современность. Да по сути дела, он весь, в подтексте и прямо, обращен в современность.

Кадры, когда толпа евреев со звездами Давида идет в лагерь смерти, — это символические кадры. Вот, дескать, уже у истоков Революции зрели зародыши неравенства и антисемитизма, и они привели людей в лагерь смерти и во вторую мировую войну.

Фильм в таком виде не может быть показан зрителям".

"Комиссар" озаменовал открытие целой коллекции "полочных" фильмов, запрещенных за отход от священных канонов изображения революции. За ним последовала "Интервенция" Г. Полоки. "Избранная режиссером фарсовая стилистика пришла в полное противоречие с героико-революционным пафосом литературной первоосновы (пьесы Л. Славина. — В. Ф.) и исходным замыслом фильма. Изображение героической борьбы революционеров-подпольщиков теряется в потоке нелепых масок, фарсовых сцен, и результат выглядит окарикатуренным. Изобразительное решение фильма неинтересно, чуждо традициям советской кинематографии" (из приказа министра А. Романова).

Итак, празднично-лубочный ключ трактовки не годился. Но не годилось и "слишком" трагическое изображение революции. В официальном заключении на киноновеллу Л. Шепитько "Родина электричества" по рассказу А. Платонова говорилось: "На экране изображена такая страшная, в полном смысле безнадежно выжженная земля, что о ее возрождении просто невыносимо думать. По этой мертвой, в общем, земле ходят существа, более похожие на мертвецов, чем на реальных деревенских стариков и старух. (...) Чем выразительнее в кинематографическом отношении сделана эта новелла, тем явственнее звучит в ней тема трагической судьбы народа, нуждающегося в самом насущном для своего спасения, а потчующего (да и то неудачно) добрыми, хотя и беспочвенными метаниями одиночек".

На "полку" была отправлена и киноновелла "Комиссар", снятая А. Смирновым по рассказу Ю. Олеши "Ангел", ибо она опять-таки прочитывалась на экране "как трагический рассказ об интеллигенте-комиссаре, глубоко преданном революции и готовом на смерть ради нее, но бесильном передать свою веру народу, от которого идеалы революции далеки и который видит в ней только ужасное и кровавое нарушение нормального течения жизни и смуту".

"Не позволим очернять русскую историю..."

Главные идеологи режима и их прислужники в науке, пропаганде, искусстве не только улучшали, всячески прихорашивали, поднимали на котурны историю страны советских времен, но и зорко следили за тем,

чтобы все выходы в более отдаленные эпохи осуществлялись только в незыблемых рамках своего Священного писания. Но удержать общественную и художественную мысль в этом убогом коридоре было уже нельзя. В научных исследованиях, книгах, спектаклях, фильмах авторская мысль все чаще, все настойчивее рвалась и вырывалась за пределы дозволенного.

В кино первым осуществил мощнейший прорыв к новому, раскрепощенному видению отечественной истории А. Тарковский в своей кинофреске "Андрей Рублев". Эта самая крупная, самая значительная работа советского кино 60-х годов была грубо атакована высшим партийным генералитетом. И не случайно! Дело даже не в том, что фильм А. Тарковского вызывал пугающие ассоциации с современностью — картины народного бесправия, разорения страны, глумления над художниками, размещенные в координатах седой истории, прямо перекликались с тем, что творилось в самой брежневской империи. Еще больше партийных заправил брежневской команды раздражал и возмущал свободный строй мышления художника, раскованность и подчеркнутая независимость хода его авторской мысли. Где тут марксистско-ленинские позиции? Куда подевалась классовая борьба?! Взыграла и гордость великороссийская, подогретая... Э. Хонеккером, которому был показан "Андрей Рублев" и который смертельно оскорбился за великий русский народ. "Фильм унижает достоинство русского человека, превращает его в дикаря, чуть ли не в животное, — возмущался и главный кремлевский ценитель прекрасного П. Демичев. — В фильме нет Рублева-художника, не показаны условия, которыми был порожден его гений. (...) Его окружают духовно, морально и физически искалеченные, изломанные люди. Лишь он один (гений) остается чистым и незапятнанным, способным выносить приговор всему, что его окружает, и безошибочно судить обо всех процессах и всех явлениях народной жизни. Но это ложная идея, и эта идея родилась не в XIV в., а в XX в. в современном буржуазном обществе.

Такая непроясненная во многом, ошибочная идейная концепция фильма ведет к тому, что фильм оказывается неприемлемым, ибо работает против нас, против нашего народа и его истории, против партийной политики в области искусства. Идейная порочность фильма не вызывает сомнений".

Расправа над "Андреем Рублевым", учиненная по инициативе высших партийных боссов, должна была послужить суровым предупреждением другим кинематографистам о том, что подобные "вольные" походы в историю ни для кого добром не кончатся.

Не вняли...

В августе 1967-го, когда только-только распяли фильм А. Тарковского, его однокурсник В. Шукшин заявляет сценарий "Степан Разин". Замысел Шукшина был настолько смел и дерзок, его художественная трактовка образа легендарного атамана была настолько необычной, что у одного из сотрудников комитета, готовившего письменный отзыв, невольно вырвалось в рабочих заметках: "Шукшин сошел с ума!"

Шукшин решительно уходил от всех привычных социологических схем. Его в первую очередь интересовали сама личность Разина, внутренний взрыв в нем. Шукшин видел своего героя неистовым, трагичным, противоречивым. Это никак не укладывалось в благостно-фольклорное,

легендарное представление о нем. Особенно пугала "жестокость" Разина. Один из консультантов комитета, критик Р. Юренев, писал в "закрытом" отзыве: "Первое, на что хотелось бы обратить внимание, — это чрезмерная жестокость многих сцен. Я понимаю, что вольница и ее преследователи и каратели (...), но сцены расправы Разина с безоружными пленными в Астрахани, смачные удары топоров и сабель, надругательство над раненым Прозоровским (...) кажутся мне чрезмерными. Их читать трудно, и видеть будет нестерпимо. Жестокость можно показывать и менее лобовыми средствами. Модное стремление молодых режиссеров к натуралистическому показу жестокостей, убийств, пыток, членовредительства испортило многие талантливые сцены в фильме А. Тарковского "Андрей Рублев". (...) Понимая, что исторические события подчас бывали весьма суровы, что изображать их в идиллическом стиле нельзя, я все же хотел предостеречь Шукшина от излишнего любования жестокостями, ранами, смертями, кровью. Чрезмерное обилие всяких ужасов на экране может сделать фильм нестерпимым зрелищем и, что еще хуже, может создать извращенный образ народа. Русские бунтари, даже вольные разбойнички, не были чингисхановскими истребителями всего живого — они знали великодушие и жалость. Смягчая жестокие сцены, я смягчил бы и язык. Уж слишком много матерщины, ерничества. (...) "

Сколько сил, фантазии затратил Шукшин, чтобы уйти от привычной линейности, однозначности в изображении крупной, неповторимой исторической личности. Зачем? Его упорно возвращали от объемности и сложности к благообразной правильности, стерильности соцреалистического образа народного вождя. Целых восемь лет Шукшин упорно добивался разрешения на постановку фильма. Трижды он был близок к запуску. И трижды в последнюю минуту перед ним опускался запретный шлагбаум. Когда пришло долгожданное разрешение, автора уже не было в живых...

В колодах соцреализма держалась не только русская историческая тема. Так было повсюду! Особенно свирепо и последовательно пресекались попытки обратиться к давним национальным конфликтам, столкновениям, войнам. Да, сам товарищ Ленин называл Россию "тюрьмой народов". Но зачем беречь былые раны? Зачем лишний раз напоминать, что пышный пропагандистский лозунг о "братстве, скрепленном кровью", в иных случаях может обнаружить и свой прямой, поистине зловещий смысл?

И тут не было пощады никому. В том числе даже самым что ни на есть уважаемым классикам. Экранизировать "Тараса Бульбу"? Но это же будет антипольский фильм! А поляки — наши союзники по Варшавскому пакту...

Георгий Данелия возмечтал поставить толстовского "Хаджи-Мурата". Святое дело! Готовился серьезно. В бригаде сценаристов потрудились даже Расул Гамзатов. Однако замысел был решительно пресечен. В редакторском заключении на сценарий начальственный карандаш отчеркнул абзац: "Это будет фильм о динамическом сложном движении, о прогрессе, которому иногда — увы! — приходится идти кровавыми путями".

"Кровавые пути"? Ну зачем же о том напоминать советскому зрителю? Неровен час, и о других, более поздних эпохах задумается...

Толомуш Океев несколько лет обивал пороги комитета, добиваясь разрешения на постановку фильма о Чингисхане. Начальники хмурились

бровь. Иные багровели: "А что скажут татары?" "А что о нас подумают товарищи в МНР?" "Или ты, может, антирусскую картину задумал?"

Впрочем, и чужой, дальней истории опасались ничуть не меньше, чем своей. Глеб Панфилов задумал фильм о Жанне д'Арк. Написал прекрасный сценарий. В роли Жанны должна была сниматься неподражаемая Инна Чурикова. Казалось бы, госчиновники должны были авторам просто в ножки поклониться. Сценарий-то — героический. О спасении родины. О патриотизме. Абсолютно с "наших" позиций.

И что?

А ничего. Четыре долгих года морочили Панфилову голову. Ф. Ермаш, сменивший в министерском кресле А. Романова, поставил условие: сними сначала фильм о председателе горисполкома, потом будем уже думать о "Жанне". Панфилов снял "Прошу слова". Министр же свое обещание выполнять не спешил. В отчаянии Инна Чурикова написала ему письмо.

Дорогой Филипп Тимофеевич!

Не могу больше молчать. Положение мое отчаянное. Четыре года напряженной работы над Жанной. Сколько книг прочитано! Сколько дум передумано! Сколько сил, времени, чувств отдано этой работе! Четыре года ожиданий, когда же, когда же? Все эти годы я ради Жанны отказывалась от других предложений в кино, чтобы не разминивать себя, чтобы быть готовой к этой важной в моей жизни миссии — сыграть Жанну. Я отказывалась от возможности работать в театре, от возможности иметь детей, свято веря в то, что Жанна стóит всех мук и лишений, что мои силы и способности нужны нашему кино (...).

У каждого человека, Филипп Тимофеевич, есть свой предел. Особенно у актера. И особенно у актрисы. Наш век короткий. Я начала стареть для Жанны. И сознание это приводит меня в отчаяние. Меня все чаще и чаще посещает мысль о ненужности моей жизни, об уходе из нее. И эта мысль уж не кажется мне страшной. Поверьте мне! Услышьте меня, пока не поздно!

(...) Для нас Жанна д'Арк не блажь, не лирика, не какая-то выгода. Слишком много за нее заплачено, слишком много, чтобы вам так думать. Для нас снять этот фильм — единственная возможность жить и работать сейчас. И наша жизнь только в этом, только в этой работе. У нас нет ничего другого, кроме этого.

Филипп Тимофеевич! Будьте, молим Вас, нашим защитником! Поймите наше отчаянное положение. Взываю к Вашему сердцу, к Вашей мудрости и уму. Не убивайте нас! (...)

С глубоким к Вам уважением, ожиданием и надеждой

актриса Инна Чурикова

Все тщетно...

На письмо Чуриковой в канцелярию Госкино последовало красноречивое указание: "По указанию тов. Ермаша Ф. Т. на письмо И. Чуриковой ответа не будет. *Е. Котов*".

"Нужна ли нам пародия о космосе?"

"Не удалось ослабить грустную и трагическую тональность", — выговаривали Андрею Тарковскому после внесения поправок в фильм

“Зеркало”. И хотя в научных фолиантах по соцреализму категория трагического как будто не объявлялась вне закона, в самой повседневной практике Госкино трагизм являлся крайне нежелательным гостем. Он слишком портил приподнятую, победную картину действительности, усердно насаждаемую пропагандой и официозной культурой. Потому и отписывали печальным художникам прямо и незатейливо: “Необходимо прежде всего снять трагичность и безысходность, которыми пронизана художественная ткань сценария” (из поучения автору сценария “Бросок” писателю О. Куваеву).

Трагические коллизии, завязываемые самой жизнью, объявляются на экране недействительными, смягчаются, переиначиваются, сдвигаются “успокоительными” эпизодами. Особенно недопустимым страшное, жестокое, трагическое оказывается в фильмах на современном материале. Еще на стадии литературного сценария “Чучело” Ролан Быков получил из стен комитета суровое предупреждение: “Необходимо смягчить эпизоды детской жестокости”. Когда же фильм был снят, на него обрушилась лавина ультимативных требований.

Конечно, вырезать жестокие кадры из фильма ничего не стоило. Но в самой-то жизни жестокости не убавлялось. Множество поистине ужасающих фактов да и вся кровавая, чудовищная история XX века неизбежно подталкивали, подвигали наше искусство к тому, чтобы заглянуть в эти зловещие бездны времени, найти новую меру изображения страшного, ужасного, жестокого. Но естественное, неизбежное движение художественной мысли в эту сторону воспринималось стражами казенной эстетики как нечто заемное, чуждое, крамольное. И Элем Климов, отважившийся снять “Агонию” и “Иди и смотри”, годами мытарств, изнурительной борьбы, вынужденного простоя оплатил свои устремления за запретную черту.

Казалось бы, яростное противодействие комитетчиков проявлениям трагизма на экране, борьба с “серыми буднями” и за солнечные пейзажи неизбежно должны были широко распахнуть ворота перед стихией веселого, озорного, праздничного. Увы, не тут-то было! И здесь наготове было слово-топор — очередное “чересчур”, готовое в любое мгновение решительно пресечь попытки нарушить установленное ведомством “чувство меры”.

На полку были отправлены не только фильмы реалистического направления; с не меньшей свирепостью была пресечена и чуть ли не вся линия балаганно-лубочной эксцентриады. Вслед за “Интервенцией” и “Заячьим заповедником” туда же угодил и “Лес” Владимира Мотыля.

Стихия озорного, ироничного, забавного тоже загонялась в заданное и жесткое русло дозволенного. Комедиографам, в частности, строго предписывалось смеяться не только в меру, но еще и знать над чем. И тут были свои “священные коровы”.

М. Блейман, советник министра, в своем отзыве на сценарий А. Червинского “Азлита” писал: “Обстановка полета взята иронически, то есть взята под сомнение, то есть становится заранее объектом игры, неправдоподобной и притворной. А это разрушает все построение. (...) Это иронически смешно, что всякий может управлять космическим кораблем, стоит только дернуть за ручку. Но при сравнении с сегодняшней реальностью это становится пародией. Нужна ли нам пародия на космические полеты? По-моему, нет”.

Запреты с противоположных флангов — “слишком мрачно” и “можно ли над этим смеяться?” — резко сужали сферу дозволенного, сплющивали тисками непререкаемых табу даже жанрово-стилевой диапазон нашего кино.

Казалось бы, каждое в отдельности из всех этих многочисленных “чересчур”, “слишком”, “сверх меры” и т. п. дозирующих предписаний не было смертельным. Ведь речь в каждом отдельном случае велась как бы и не о тотальном запрете, абсолютном отсечении какого-то мотива, а лишь о “смягчении”, дозировке в соответствии с пресловутым “чувством меры”. На самом же деле эти не самые страшные с виду предписания опутывали художника со всех сторон настоящей паутиной ограничений, лишали его свободы движения навстречу реальной жизни и неумолимо вели к сглаженно-упрощенному видению реальности, а чаще — к механическому затверживанию расхожих стереотипов, художественному штампу.

Но что правда, то правда: самые страшные табу и самые суровые ограничения поджидали кинематографистов дальше.

“Символическое братание живых и мертвых не должно приобретать характер классового примирения...”

Кинонадзорителям и киноконтролерам важно было проследить не только за тем, чтобы на экране не было грязных лиц советских городов, изб с заколоченными окнами — памятников коллективизации, — пьяных, грубых, неопрятных советских людей, чтобы на экране не было ни “чересчур” жестокого и драматичного, ни “слишком” зубоскального, ни “чрезмерно” сложного. Куда важнее было соблюсти на экране систему надлежаще-правильных представлений о стране и мире, движении истории, нашем самом передовом и прогрессивном общественно-государственном устройстве.

А потому в числе самых главных и наиболее часто запускаемых в дело постулатов эстетики Госкино было неременное требование “классового подхода”. Причем ультимативное требование “уточнить классовость” или “прояснить социально-классовый аспект” распространялось не только на историко-революционные фильмы, где подобный инструментарий подчас мог быть вполне рабочим и действенным. На кол классового подхода норовили насадить все фильмы подряд, не делая исключения и вещам, абсолютно далеким от каких-либо политизированных сфер. Но в том-то как раз и виделся серьезный криминал.

Клише пресловутой “классовой борьбы” комитетские идеологи готовы были наложить даже на... фильмы-сказки. От Сергея Овчарова, автора талантливого фильма “Небывальщина”, построенного на озорной игре с фольклорным материалом, угрюмо потребовали вклада в пропаганду все тех же расхожих идеологических штампов: “Требуется более четко подчеркнуть социально-классовый аспект рассказанной истории”.

Но случалось, что стремление свести всю бездонную сложность жизни к расхожим идеологическим стереотипам, намертво зашорить сознание рамками “классовой борьбы” возводило комитетских мыслителей и не на такие высоты. В финале фильма А. Михалкова-Кончаловского

“Сибириада” была такая сцена: геологи в поисках нефти устанавливают буровую вышку прямо на окраине старинного деревенского кладбища. Внезапный выброс попутного газа приводит к пожару. Огонь прекидается на кладбище. Горят деревянные кресты, адским пламенем объята могила. В любую минуту может прогреметь очередной взрыв, и солдаты, выставленные в оцепление, еле сдерживают жителей деревни, рвущихся к могилам близких. И, материализуя этот неустойчивый порыв, в кульминационный момент этой накаленной, драматичнейшей сцены на экране должны были появиться плавные, замедленные кадры, в которых живые и мертвые словно бы сливались в горьких прощальных объятиях...

И как же отреагировало трепетное редакторское сердце на эти выворачивающие душу “видения”? “Просим продумать в финале показ кладбища, — деловито отписал очередной главный редактор редакторского воинства А. Богомолов. — Символическое братание живых и мертвых не должно приобретать характера классового примирения”. Каково?!

Неустаннные заботы о четкости классовых подходов неизбежно приводили к тому, что то тут, то там обнаруживались идеологически чуждые подходы, опасные и недопустимые крены в какой-нибудь распроклятый “пацифизм” или — страшно даже молвить — “абстрактный гуманизм”. Яростная, последовательная борьба с этими ядовитыми ростками презренных “общечеловеческих ценностей” определяла главную линию борьбы с инакомыслием на всех этапах истории отечественного кино. В эпоху застоя, когда жуткая гидра “абстрактного гуманизма” опять стала обнаруживать свое присутствие на экране, священные традиции пресечения опасной идеологической заразы были возрождены и приумножены.

Не счесть заявок, сценариев, загубленных неистовыми ревнителями “четких классовых подходов”. Но случалось, что авторам подчас удавалось все же прорываться сквозь барьеры предварительной цензуры, и тогда “чуждые”, “вредоносные” для общества “развитого социализма” мотивы нет-нет да и появлялись то в одном, то в другом фильме. В таких случаях резали по живому. “От абстрактной проповеди добра герой должен перейти к более настойчивому внушению ребятам нравственных истин социалистического общества”. Это поучение маниакально одержимого “классовостью” А. Богомолова авторам фильма “Пацаны” в принципе было адресовано всему советскому кинематографу.

“Снять налет религиозности...”

Гидра “абстрактного гуманизма”, “надклассовых ценностей” могла принимать самые разные, подчас неожиданные, внешне благообразные обличья. Так что дремать сторожевой службе не приходилось. В зоне постоянного и пристального внимания комитетских бюстостителей порядка находились, например, попытки иных кинематографистов протащить на экран чуждую нам религиозность. Красная лампочка тревоги вспыхивала на контрольно-пропускных пунктах по сему поводу довольно часто.

“Судя по просмотренным пробам, — предупреждают Сергея Параджанова, — общая тональность будущего фильма может оказаться религиозно-патетической, элегической” (“Цвет граната”).

“Религиозную тональность” и ту учуяли, а что уж говорить о вещах более осязаемых! “В процессе перевода на одну пленку рекомендуем отредактировать предфинальный разговор Фабиана с коммунарами, а также произвести монтажные уточнения финала, устранив из него избыточную религиозную символику”, — наставляют Ивана Миколайчука (“Вавилон ХХ”).

“В процессе дальнейшей работы настоятельно рекомендуем исключить из ткани сценария религиозные мотивы как средство развития сюжета и характеров, сосредоточив основное внимание на разработке социальных конфликтов и нравственных поворотов в человеческих взаимоотношениях”. А это уже очередной “привет” А. Богомолова режиссеру Параджанову (“Легенда о Сурамской крепости”).

Вот еще одна дружеская весточка того же вероучителя Михаилу Кокочашвили: “Общий пафос сценария, на наш взгляд, направлен целиком в прошлое. (...) Особое удивление вызывают рассуждения о чисто религиозных символах и смысле веры. Школьный учитель, отнюдь не преподаватель духовной семинарии, ведет с современными младшими школьниками беседы о Христе, о смысле веры, что вызывает у ребят воодушевление”.

“Налет религиозности” счищали со всех национальных кинематографий без исключения. В фильмах киностудий Средней Азии старательно вырезали мусульманские обряды. В литовских фильмах убирали кадры с костелами, требовали убрать панорамы по фигурам католических святых в храме. Но как ни вытпывали ростки религиозности, “зараза” упрямо прорастала в самых неожиданных местах.

Лариса Шепитько, работавшая над фильмом “Восхождение” по повести Василя Быкова “Сотников”, получила ультиматум: “Изобразительное решение образа Сотникова вызывает некие библейские ассоциации, совершенно чуждые фильму и самому Сотникову — командиру Красной Армии, коммунисту. Подобные кадры и планы необходимо из фильма исключить”.

Увы, “налет религиозности” обнаружили и в других местах: “В сцене, где ночью лежит раненый замерзающий Сотников, нужно убрать торжественную религиозную музыку... Это придает несколько мистический характер сцене...”

Нужно исключить разговоры о том, что Портнов до войны занимался атеистической пропагандой. Здесь получается некоторое нежелательное противопоставление. Занимавшийся атеистической пропагандой Портнов — садист, изменник Родины, а верящий в бога староста, останавливающий отчаявшуюся Демчиху от предательства “божьим словом”, — стойкий советский патриот. Словом, получилось совсем неуместное противопоставление атеизма и религии в пользу последней”.

Ну разве можно было такое спокойно допустить?

“Прояснить смысл картины...”

Впрочем, угодить высоким эстетическим запросам нашего киногенералитета и партийным пастырям было практически невозможно. Не устраивал, раздражал “ползучий натурализм”. Так, казалось бы, возрадуйся языку поэтических метафор и символов, обобщенных образов, многозначности притчевого иносказания. Оказывается, и это не устраивало. И неугомонный шеф редакторского воинства Д. Орлов отчитывал

А. Рехвиашвили за то, что сценарий "Путь домой" "перегружен множеством метафор и символов".

Настораживало, пугало вообще любое "философствование" (даже от лица героя), выходящее за пределы очерченного круга идеологических стереотипов и мыслей-клише. «Неуместным представляется в сценарии налет некой "философичности"», — наставляет А. Богомолов Константина Ершова, автора будущих "Грачей".

Но пожалуй, более всего ненавидели, опасались, истребляли высоко титулованные "искусствоведы" из Малого Гнездиновского само... искусство как таковое. Причина на то была. Сама природа искусства, ускользающая многозначность художественного образа, способность через одно выражать совсем другое, передавать неконтролируемую игру эмоциональных и смысловых оттенков таили в себе угрозу того, что при самом строгом контроле художник все равно — пусть косвенно, пусть не в полную силу — сумеет высказать, выразить то, что у него на душе. Потому-то в центре неустанной деятельности редакции и администраторов от кино всегда стояла задача "прояснить смысл" сценария или фильма, вывести его на поверхность, избежать многозначности, упаковать "главную идею" в привычные обертки хрестоматийных формул и успокоительных клише.

Всякая неожиданность, непредсказуемость процесса рождения образа, возможность незапрограммированных смещений, поворотов, трансформаций задуманного настораживали и пугали более всего. Показательно в этом отношении редакторское заключение на сценарий С. Параджанова "Интермеццо": "Сценарий на темы рассказов М. Коцюбинского написан в типичной для этого режиссера своеобразной, а точнее, некой сюрреалистической манере, на наш взгляд, далекой от эстетики классика украинской литературы, образный строй произведений которого определяется методом критического реализма.

Даже если допустить правомерность подобной "модернизации" классики, мы обязаны отметить, что система символов, заложенная в сценарии, дает самые широкие возможности для экранного толкования. Поэтому предопределить окончательный идейный итог будущего фильма хотя бы в общей форме сегодня представляется затруднительным. Авторы в своем произведении оперируют весьма острыми социальными и политическими категориями и образами. Без абсолютно точного художественного решения и идейной акцентировки это произведение в конечном результате может иметь на экране самый неожиданный идейный результат".

"Интермеццо" зарублено на корню. В небытие канула и предыдущая работа С. Параджанова — фильм "Цвет граната", снятый в Армении. По той же самой причине. А ведь режиссера предупреждали еще в самом начале работы: "Нам кажется еще раз необходимым напомнить студии и режиссеру С. Параджанову о необходимости уходить от излишней иероглифичности и зашифрованности образной системы.

Работая над фильмом, необходимо помнить, что личность героя и специфика его творчества (речь идет о Саят-Нове. — В. Ф.) должны быть рассмотрены и донесены до зрителя. Изобразительный ряд фильма наряду с прочими художественными достоинствами должен донести до зрителя в ясной и четкой форме историю поэта, характеристику его душевного склада и творческого наследия. Работая над фильмом, следует до-

бываться более глубокой и опять-таки ясной по мысли разработки характеров персонажей”.

Не внял. Ослушался. И получил по заслугам. Картину пришлось резать и монтировать заново (“спасательные” работы вызвался осуществить С. Юткевич).

Скажут: то Параджанов. Особый случай, особая судьба...

Но вот другой случай. Кира Муратова, “Короткие встречи”. Совсем иной материал, иной авторский мир. Но тогда отчего же и ей шеф ГСРК И. Кокорева предъявляет, по сути дела, тот же ультиматум с требованием ясности, четкости, однозначности?

“Это, бесспорно, талантливое произведение лишено ясной авторской концепции. Создается ощущение, что, вылепив интересные образы, найдя характерные ситуации, авторы не дают четкой партийной оценки. Поэтому материал сценария можно рассматривать и трактовать в различных аспектах. Хотелось бы, чтобы в этом сценарии авторская мысль была проявлена достаточно четко”.

Запрет на “сложность” оказался для советского кино поистине роковым. Сама логика развития экранного искусства ставила художника перед необходимостью поиска более тонких, сложно организованных структур, усложнения аналитического инструментария. Но на их пути возникала бетонная стена требований “ясного, четкого, доходчивого” языка. По-настоящему сложные вещи, построенные на игре полутонов, внутренних сцеплениях элементов образной конструкции, мерцании образов, — все это страшит контролеров Госкино, пожалуй, даже больше, чем острые, но прямолинейные ленты социально-критического направления.

“Предотвратить возможность каких-либо современных аллюзий и ассоциаций...”

К запрету на “сложность” добавляется боязнь “иносказательности”. Жестокое пресечение возможностей прямого высказывания о жизни, учиненный чиновничеством настоящий разгром набиравшего силу реалистического направления в нашем кино неизбежно привели к тому, что живая творческая мысль упорно стала искать возможность выразить правду своего времени в иных — более опосредованных, иносказательных — художественных формах. Появился интерес к притче.

Казалось бы, некоторая отвлеченность притчевого повествования от прямой социальной конкретики, его многозначность и недосказанность заметно повысят порог “проходимости”, более надежно защитят образную мысль от тотального административного контроля. Увы, все вышло иначе. Переход в иной режим художественного повествования не застал эстетов Госкино врасплох. Уже в середине 60-х годов в терминологическом словаре кинематографического начальства зачастило страшноватое понятие-пугало “аллюзия”.

Уже при запуске скандально знаменитого “Скверного анекдота” Александру Алову и Владимиру Наумову открытым текстом говорили: “Следует тщательно отредактировать текст всех речей действующих лиц, равно как и закадровый текст, с тем чтобы предотвратить возможность каких-либо современных аллюзий и ассоциаций”.

Многозначность иносказания, пожалуй, страшит чиновников еще больше, чем прямое высказывание по тому или иному не совсем прият-

ному поводу. От Андрея Тарковского, работавшего над "Сталкером", требуют "определенности": "Сейчас совершенно непонятно происхождение и сам характер Зоны, в которой происходит действие. Откуда она взялась? Что это — порождение вездешной цивилизации? Или это установление самих людей? Или же это результат войны, какого-то социального катаклизма?"

Отсутствие определенности заставляет (...) гадать и предаваться самым различным толкованиям, что отвлекает от прослеживания и верного понимания смысла вещи.

(...) Необходимо внести в сценарий пространственно-временные черты: должно быть совершенно ясно, что действие происходит в настоящее время в некой условной буржуазной стране".

Конечно, первые удачи в освоении возможностей притчевого инсказання и других форм эзопова языка не на шутку переполошили руководство. "Аллюзиям" была объявлена самая настоящая война. Современный фольклор мгновенно среагировал на эту ситуацию соответственным анекдотом. У знаменитого в те годы "армянского радио" спрашивали: "Что такое аллюзия?" Ответ гласил: "Сидит зритель в зале и смотрит фильм. На экране — горы, долины... Проплывают облака. А зритель сидит и думает: "А начальник-то мой — дурак..."

К сожалению, искоренение аллюзий в практике комитета осуществлялось именно в духе этого анекдота. Драматург Семен Лунгин вспоминает: "Как зорко чиновники высматривали криминал, причем часто и политического свойства, там, где его и в помине не было и быть не могло. Ну например, один воистину гроссмейстер по "аллюзиям" (впрочем, таких в те годы было немало) так истолковал содержание нашего детского фильма "Внимание, черепаха!" на одном из вполне серьезных обсуждений: все понятно, сказал он, маленькая, древняя, на "ч" начинается, а ее под танк, под танк!.. Дело было в 1968 году, во время чехословацких событий..."

Удавка запретов, ограничений стягивалась на горле советского кино столь туго, площадка для реализации оказывалась столь узкой, что авторская мысль готова была унести в какие угодно заграницы, космические выси и даже сугубо фантастические страны. Но и там, в условных пространствах, сугубо фантастических сюжетах, бесплощадно и неотвратимо наступала художников намертво клишированная мысль комитетского редактора.

Заклучение

Главной сценарной редакционной коллегии по литературному сценарию "Бойцовый кот отправляется в преисподнюю" (автор А. Стругацкий)

(...) В сценарии осталась непреодоленная ложная концепция "экспорта революции", мысль о недопустимости вмешательства "землян" во внутренние дела инопланетных жителей. (...) Условности жанра фантастики не должны мешать ясному определению в позиции классовой расстановки сил на Гиганде. Следует уточнить с этих позиций, из-за чего там происходит война, кто с кем воюет. Без этого антивоенная тема, звучащая в произведении, может обернуться пацифизмом. Наконец, в жизни людей будущего, какой она предстает в сценарии, отсутствует

пока напряженный творческий ритм, дух неуспокоенности и исканий. Эпизоды, в которых представлены быт, труд, искусство “землян”, не создают вопреки замыслу автора ощущения стремительного взлета цивилизации.

Коллегия считает, что в представленном варианте сценарий “Бойцовый кот возвращается в преисподнюю” не может быть рекомендован к постановке”.

Главный редактор Д. Орлов

Всё! Некуда деваться...

Ни пяди земного, ни даже выдуманного пространства, где бы мысль художника могла реализоваться, не попав в тиски запретов, ограничений, непререкаемых идейных и эстетических догматов. На каждом шагу, куда ни ступи, — цензурные капканы. И каждая попытка самостоятельно мыслить, видеть и объяснять окружающий мир как реальность подпадает под страшный пресс клишированных представлений и политических мифов. И повсюду, всегда, во всем — тотальное навязывание мертвого стандарта, убогих схем, лозунговой упрощенности.

Бедное наше кино! Что оно вытерпело...

Вытерпело ли?

Да, конечно, в годы застоя появились ленты, которыми наше кино может гордиться: “Зеркало” А. Тарковского, “Печки-лавочки” и “Калина красная” В. Шукшина, “Жил певчий дрозд” и “Пастораль” Отара Иоселиани, “Проверка на дорогах” и “Мой друг Иван Лапшин” Алексея Германа, “Долгие проводы” Киры Муратовой, “Цвет граната” Сергея Параджанова, “Агония” Элема Климова, “Восхождение” Ларисы Шепитько... Но то были одиночные героические прорывы. И чего они стоили этим смельчакам, отчаянно и нерасчетливо бросавшимся на красные флажки охотничьей облавы! Сколько сил, времени, нервов ушло не на творчество, а на долгую и безнадежную борьбу! И сколько же осталось нереализованных, хладнокровно расстрелянных идей...

А мы еще удивляемся, недоуменно разводим руками, пеняем на перестроечные времена: мол, как же так, долгожданные свободы объявлены, а где же новые шедевры, отчего не бьют фонтаны?

Да откуда им взяться?! Лучшие из лучших уже сведены в могилы. Другие еще только отходят от ран. А многие согнулись еще тогда, в глупые годы, не выдержав жестокого давления и зрелища массовых казней своих товарищей. Впрочем, что там кино — вся наша огромная страна, измученная и измороженная, обессиленная, с таким трудом, с таким невероятным напряжением пытается сейчас подняться и уйти от своего проклятого прошлого. И как же нелегко, как мучительно даются эти шаги...

“Кто виноват: люди или идеи?”

Роковой этот вопрос сейчас неотвратимо встает перед всей страной. Неизбежно встает он и перед нами в связи с судьбой нашего кинематографа. На чьей совести загубленные замыслы, испохабленные сценарии и фильмы, изломанные судьбы не только отдельных мастеров, но и целых поколений? Кто отбивал у кинематографистов охоту к серьезному и честному разговору со своим народом? Кто растлевал их — званиями, премиями, подачками? Кто довел наше кино, некогда столь богатое та-

лантами, идеями, до состояния глубочайшей депрессии?

Да конечно же, наше родимое киневедовство. Кто же еще? Вот и легендарный пятый съезд Союза кинематографистов прямо показал на него пальцем. При желании можно было бы найти и совсем конкретных виновников. Каждый сотворенный в свое время злодейский акт имел своего совершенно конкретного исполнителя, что по законам бюрократической системы непременно должно было быть зарегистрировано соответствующим бумажным циркуляром. И на каждой такой бумаженции — мы это уже видели — обязательно стоит чья-то личная подпись.

Так, значит, их — этих подписавших — и винить?

А как же иначе! Конечно, они всего лишь исполняли свой служебный долг. Конечно, они были вынуждены подписывать "похоронки", строчить заключения с маразматическими замечаниями, от которых и тогда самим, наверное, было стыдно. Но значит ли это, что такое вынужденное участие не в самых красивых и благородных делах позволяет снять с них всякую моральную ответственность за содеянное?

Нет уж, извините!

И все же дело не только в чиновниках. И не столько в них. Не согласись они на выкручивание рук, все равно бы нашлись другие исполнители. Может быть, даже еще похлеще. К тому же, составляя и подписывая позорные заключения, приказы своим именем, комитетчики на самом-то деле выступали не от себя вовсе, а от лица всей системы. Конечно, у гонителей и запретителей проглядывали подчас и сугубо личные пристрастия, вкусовые предпочтения и антипатии. Но все же их устами изрыгались слова и идеи, рожденные отнюдь не в самом генштабе отрасли. Тугой ошейник запретов не являлся чьим-то сугубо персональным изобретением. Это не была эстетика лично Д. Орлова, Б. Павленко, Ф. Ермаша. И даже не эстетика Госкино как ведомства.

Наложение запретов и другие карательные меры осуществлялись под знаменами и высокими лозунгами благословенного социалистического реализма. И необозримое страшное кладбище задушенных замыслов, изувеченных фильмов — это прежде всего истинные "творческие достижения" данного творческого метода, явленного уже не в витиеватых-загадочных и напыщенных теоретических сочинениях, а реализованного в конкретных делах и повседневной практической работе.

В самом деле, не в редакторских же кабинетах изобретались принципы, составляющие существо этого будто бы самого глубокого, самого универсального творческого метода. И в своей повседневной работе комитетская машина редактуры, множа пухлые папки похоронных заключений, отправляя на студии свои инструктивные послания с ультимативными указаниями "изъять", "прояснить", "снять налет"... настраивалась именно на этот свод железных, непререкаемых постулатов, изложенных еще на заре сталинского социализма и с той поры затверждавшихся с нарастающей силой в бесчисленных научных фолиантах, документах творческих союзов, в школьных и вузовских учебниках, в специальных литературно-критических журналах и общей печати.

Возможно, вся эта мертворожденная казуистика не принесла бы нашей культуре такого страшного урона, если бы святое учение о методе соцреализма существовало само по себе. Но рожденное и взлелеянное сталинской эпохой, оно идеально вписывалось в идеологическую и государственно-политическую систему. Работая прежде всего на ее прослав-

ление, "учение" пользовалось и особым покровительством властей, узаконивалось в качестве некой государственной эстетики, единственно возможной и допустимой. Поэтому безраздельная монополия пресловутого метода обеспечивалась не глубиной будто бы заключенных в нем идей, не безупречной логикой, а всей невиданной мощью тоталитарного государства, кровно заинтересованного в искусстве, обслуживающем его интересы.

В мае 1989 года на пленуме Союза кинематографистов СССР в присутствии специально приглашенного Андрея Синявского мастера кино единогласно проголосовали за исключение из устава своего союза пункта присяги на обязательную для всех соцреалистичность. Торжественные похороны состоялись...

Окончательные ли?

Я убежден, что апологеты "развитого социализма", его "завоеваний" и "ценностей" не оставят добровольно свою и поныне могучую крепость. А пока стоит непоколебимо эта твердыня, не сдадутся и охранители соцреализма. Можно даже предсказать, каким именно образом они постараются спасти свое "учение" от накатывающейся волны критики. Нас наверняка постараются уверить, что священные идеи были все-го-навсего вульгаризированы, подверглись деформациям, а на самом-то деле сами по себе они ой как чисты и распрекрасны.

Но согласно одному из положений того же марксизма, лучший критерий Истины – практика. Какова была практика, мы хорошо видели и дали ей соответствующую оценку. Хватит ли духу оценить теперь по реальным заслугам и саму "Истину"?

МОИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ

В июне 1964 г. Твардовский подарил мне свою поэму "Теркин на том свете" ("Советский писатель", 1963 г.) с надписью: "Наталье Иосифовне Ильиной с большой симпатией к ее перу".

Чем я заслужила такие слова?

К тому времени в "Библиотеке "Крокодила" уже вышли два сборника моих фельетонов. Журнал "Знамя" в конце 50-х годов опубликовал первую книгу романа "Возвращение". Но не эти произведения, думается, имел в виду Твардовский, а статью "К вопросу о традиции и новаторстве в жанре дамской повести".

Впрочем, это не статья была, а литературный фельетон. Моя первая серьезная попытка сатирической критики. В некоторых романах современных писательниц мне бросилось в глаза сходство с писательницами дореволюционными, такими, как Нагродская, Лаппо-Данилевская, а главным образом Вербицкая. Эти читанные в юности романы я освежила в памяти, побывав в Ленинской библиотеке. Мои подозрения подтвердились. Было ясно, что жанр "дамской повести" живуч и продолжает свое дело, развращая читательские вкусы. Следовало доказать это читателями. Работа предстояла огромная. О публикации этого фельетона я договорилась с "Литературной газетой", где уже не раз выступала. Тему одобрили, и, убедившись в том, что труд мой пригодится, я кинулась в работу. Часами сидела в Ленинке, выписывая цитаты, дома перепечатывала их на машинке, изучала произведения современные, выписывала цитаты из них. Перепечатанных листков становилось все больше, на доске моего секретера эта гора не умещалась, листки раскладывались на кровати, на стульях, на подоконнике, какой-то вот сию минуту понадобившийся исчезал, а вдруг я его случайно выбросила, неужели опять бежать в Ленинку, скокойно, спокойно, без паники, не проклинать себя, этим ничему не поможешь, сейчас все тщательно переберем... Я так и вижу себя той осенью 1962 г. на коленях перед кроватью, спокойно перебирающей листок за листком, и голос моего мужа А. А. Реформатского из соседней комнаты: "Обедать мы сегодня будем когда-нибудь?"

Наконец труд закончен. Статья мне кажется удачной. В "Литгазете" ее тоже находят удачной. Но велика. Сокращаю. С болью, но сокращаю. Теперь все зависит от главного редактора — от В. Косолапова. И тут выясняется, что последнее слово уже не за Косолаповым, а за А. Чаковским. Пока я там писала, страдала, радовалась, произошла смена главных редакторов "Литгазеты". Мне возвращают статью:

“Главному не понравилось!”

Главному, значит, не понравилось. Что же именно не понравилось главному? Я догадалась — ЧТО. Не хочет обижать авторов осмеянных мною произведений. Фамилий авторов я не называла, но они сразу бы узнали себя по цитатам и, конечно, обиделись бы. Мне казалось, что я ступила на праведный путь борьбы с пошлостью, я иду по стопам К. И. Чуковского с его ядовитыми статьями о Чарской и Вербицкой. Я вспоминала статью дореволюционного журналиста Василевского Не-Буква, начинавшуюся словами: “Народы Греции! Греция глупеет!” — речь шла о бурном успехе сочинений Вербицкой, о том, что ее романы в библиотеках спрашивают в сорок раз чаще, чем романы Льва Толстого... Все это я вспоминала, идучи домой, и думала: “Почему за вкусы читателя дореволюционного бороться разрешалось, а за вкусы нынешнего — ни в коем случае?” И еще я думала о том, до чего ж мне не повезло! Задержишь смена главных редакторов ну хоть недельки на две, и прошла бы моя статья!

Как часто мы не знаем, что для нас хорошо, а что плохо! Не знала и я в те горькие минуты, что мне как раз повезло, повезло неслыханно, что я на пороге нового этапа своей жизни и “белым камнем” отмечу тот день, когда мое произведение отвергла “Литгазета”!..

В “Новом мире” я бывала. Мне давали там на отзыв произведения из так называемого самотека. А кроме того, в годы редакторства К. М. Симонова в журнале существовал уголок юмора под названием “Между прочим...”, куда я изредка писала сатирические заметки. Но в 1958 г. журнал вновь возглавил Твардовский и уголок юмора отменил. Позже я услышала от Александра Трифоновича, что он испытывает неприязнь к такого рода “уголкам”, ибо это не что иное, как стремление загнать сатиру в угол. Читателя словно бы предупреждают: тут у нас юмор. Мы шутим. Не вздумайте обижаться, это шутка! Твардовский не желал превращать сатиру в шутиху, скромно засевшую в отведенном ей месте... Он серьезно относился к этому жанру.

Мысль о том, чтобы предложить свое отвергнутое произведение “Новому миру”, поначалу показалась мне нелепой. Это ведь не статья, а скажем прямо, фельетон. Не приходилось мне видеть сочинений такого рода на страницах “Нового мира”. И все же рискнула. Была знакома с членом редколлегии А. Марьямовым, жил он по соседству, и я отнесла ему свое произведение. Надежд особых не питала. Действовала по принципу: не сдаваться, пока не сделаешь все от тебя зависящее. А там будь что будет!

Было же то, что спустя несколько дней последовал телефонный звонок: меня просили зайти в редакцию. Я помчалась, едва положив трубку. Разговаривал со мной В. Я. Лакшин, возглавлявший тогда отдел критики. В тот день я увидела его впервые. Едва веря собственным ушам, я услышала, что “Новый мир” готов мое сочинение опубликовать. Однако... Тут был сделан ряд замечаний и даны советы.

Итак, над статьей, которую я считала законченной, предстояла еще работа, работа немалая, но я верила Лакшину, чувствовала, что, следуя его советам, смогу поднять статью на более высокий уровень, и работа не пугала меня.

Мой литературный фельетон “К вопросу о традиции и новаторстве в жанре дамской повести” появился на страницах мартовского номера

“Нового мира” за 1963 г. Я читала и перечитывала свое сочинение. Оно нравилось мне. Мне казалось, что оно лучше всего мною написанного в этом жанре. Требовательность журнала, его высокий уровень заставили меня подтянуться, найти в себе возможности, которыми я прежде, видимо, не умела пользоваться. То был мой первый урок.

Тогда же, явившись в редакцию за номерами, я познакомилась с А. Т. Твардовским. Он только что откуда-то приехал, прошел в свой кабинет в сопровождении двух-трех человек (не помню, кто они были), и меня пригласили зайти. Твардовский еще не сел за свой стол, курил, стоя около, а рядом стояли эти мне неизвестные люди. И вот, пожав мне руку, Твардовский сказал добрые слова о моей работе. И стоявшие с ним рядом стали наперерыв меня хвалить, один сообщил о каком-то заседании, на котором мою статью ставили в пример каким-то критикам – вот как надо изящно ругать, – и тут Твардовский произнес: “Да. Без единого грубого слова!”

За моими плечами был многолетний фельетонный опыт. Я была уже автором романа. Но публикация моего сочинения на страницах “Нового мира” казалась мне моим высшим литературным достижением. А под серьезным, благожелательным взглядом Твардовского я испытывала гордость ученицы, не обманувшей ожиданий...

Вскоре я получила еще один урок.

До того времени на страницах советской печати меня еще не ругали. Но особо и не хвалили. Вниманием печати я избалована не была. А тут, едва вышел мартовский номер “Нового мира”, и вышел-то, насколько я помню, с опозданием, как уже в июньском номере “Октября” появилась разгромная статейка. Все, кому известна неповоротливость наших толстых журналов, оценят оперативность, проявленную журналом “Октябрь”!

Бог ты мой, чуть не три десятилетия миновало с тех пор, и сколько же появилось на свет людей, понятия не имеющих о том, что тогда происходило! Вот им, “из другого поколения”, и нужно пояснить, какова была расстановка сил. Немало газет и журналов нападало в те годы на “Новый мир” Твардовского. Но главными противниками журнала были: из газет – “Литературная Россия”, а из журналов – “Огонек”, руководимый Софроновым, и “Октябрь”, руководимый Кочетовым.

“Октябрь” я в то время и в руки не брала, но вот меня там обругали, надо же знать: за что?

Выяснилось: ругали не только меня. Заодно поносили И. Виноградова, а также “Новый мир” вообще. Оказывается, в 1962 г. Виноградов опубликовал статью “По поводу одной вечной темы”, где рассуждал о некоторых характерных признаках “женской литературы”. “И тут возникает законный вопрос, – пишет рецензент “Октября”, – что же побудило редакцию журнала “Новый мир” на протяжении полугода дважды...” возвращаться к этой теме.

А побудило, оказывается, вот что. “Вечная тема”... “интересовала И. Виноградова не сама по себе, а лишь как возможность более или менее завуалированно протащить концепцию “внутренней свободы”. Но тут грянули события, сделавшие эту концепцию особенно уязвимой. Какие же события? А вот встреча Н. С. Хрущева с деятелями литературы и искусства в Кремле. Там среди прочего Хрущев заявил: “Общество не может допустить анархии и своеволия со стороны кого бы то ни

было". Не вовремя вылез Виноградов со своими порочными идеями! Поэтому-то "Новый мир" и решился опубликовать опус Н. Ильиной, ибо она "как бы ограничивает смысл статьи своего "предшественника" будто бы борьбой с пошлостью и адюльтером".

Итак, хитрость редакции разгадана. Не удалась попытка прикрыть антиобщественную позицию Виноградова произведением Ильиной, притворившейся, будто она борется против пошлости. Автор рецензии в "Октябре" эти уловки разоблачил. Его не обманешь, "даже если сторонники такого анархистского своеволия рядятся в одежды борцов против пошлости и мнимой безнравственности". Одежды сорваны. Маски тоже. Обнажена суть Виноградова, протаскивающего анархистские идеи внутренней свободы и абстрактного гуманизма. Открыто истинное лицо и сообщницы Виноградова — Ильиной. Из-под маски борца якобы против пошлости выглянула неприглядная физиономия клеветника. Ибо статья Ильиной — это "бездоказательный поклеп на советскую литературу", это "пасквиль". Заодно вскрыта роль "Нового мира", дающего трибуну анархистам и клеветникам.

Полезный урок я получила, знакомясь с этой статьей за подписью Ю. Идашкина. Я впервые как следует вникла в методы работы противников "Нового мира". Эти методы вызывали чувство изумления и даже некоторого восхищения. Какая ловкость рук! Вы говорите о литературе, но о существе дела с вами не спорят, свои аргументы противник черпает из иной колоды карт. Спор переведен на другую почву, и тут противник вооружен до зубов, в его распоряжении весь хорошо проверенный набор типа "абстрактный гуманизм", "внутренняя свобода, переходящая в анархизм" и разные полезные мелочи вроде словечек "якобы", "как бы", "будто бы", "не случайно" и т. п. Имеется в колоде и козырная туз: цитата из недавнего высказывания чрезвычайно ответственного лица. И вот вы, решивший невинно поговорить о низком уровне некоторых литературных произведений, уже обвинены не только в поклепе на всю родную литературу в целом, но и в политической неблагодарности.

Читая тогда эту увлекательную статью, я, кроме изумления, испытывала... Да, да. Я чувствовала себя польщенной! Меня причисляли к авторам "Нового мира". Ругали вместе с ними. Могла ли я этому не радоваться? Могла ли не гордиться? Быть опубликованной в "Новом мире", любимейшем журнале всех мыслящих людей страны, — это честь!

"Одна неправда нам в убыток" — было сказано Твардовским, этого принципа и держался руководимый им журнал, безбоязненно выступая в своем отделе критики против всяких подделок под литературу, невзирая на посты сочинителей. На страницах "Нового мира" впервые увидели свет произведения авторов, имена которых ныне известны всем. И именно "Новый мир" (в №11 за 1962 г.) подарил читателю до тех пор никому не ведомую прозу Солженицына "Один день Ивана Денисовича". А в № 1 1963 г. появились два его рассказа "Матренин двор" и "Случай на станции Кречетовка". Помню, какое ошеломляющее впечатление произвели эти рассказы, как мы читали их, и перечитывали, и изумлялись, и восхищались, и мелькали в наших разговорах имена Льва Толстого и Достоевского, и казалось — писателя такого масштаба еще не было в русской литературе советского периода.

Случилось так, что к прозе Солженицына мне удалось прикоснуться

до появления ее на страницах "Нового мира".

Тут необходимо отступление.

* * *

К лету 1956 г. расщедрившийся Литфонд выделил Ахматовой в Комарове деревянный домик: полторы комнаты, веранда и кухня. Воду надо было носить из колодца. Помещение это Ахматова окрестила "будкой". Не помню, сколько именно одинаковых домиков-будок было на участке. А участок невелик, и все они стояли неподалеку друг от друга. Это не похоже было на писательские двухэтажные дачи в Переделкине, с их просторными, огороженными высокими заборами садами. Настоящие дачи, с удобствами, давались настоящим, с точки зрения Литфонда, писателям. А тем, кто рангом пониже, хватит и будок. К этому времени Ахматова вышла из опалы, ей вернули членство в Союзе писателей, а ранней весной 1955 г. появился сборник стихов китайского поэта Цюй Юаня, где среди имен других переводчиков скромно промелькнуло: "перевод А. Ахматовой". Через год, и тоже весной, вышла книжка "Корейская классическая поэзия", здесь Ахматова была единственным переводчиком, и имя ее стояло на титульном листе. Ей, в течение 10 лет "лишенной огня и воды", спасибо партии и правительству, разрешили работать. Мало того. Тем же летом 1956 г. издательство "Художественная литература" изъявило желание выпустить книгу, куда войдут не только переводы Ахматовой, но и ее стихи. Желание-то изъявило, но разрешение на этот отчаянно смелый шаг издательство получило не сразу: книга вышла лишь в 1958 г. Да и то: из 126 страниц книги стихотворения Ахматовой занимают 90, остальное — переводы. Только в 1961 г. выпустили наконец книгу малого формата, но плотную, где все 300 страниц занимают ахматовские стихи. Известно, что А. А. Сурков приложил усилия для того, чтобы эта книга увидела свет. И теперь, когда он "там, где знают всё"¹, какие-то из разнообразных грехов его за эти усилия, быть может, простились... Он же написал предисловие. А ну, думала я, читая, поглядим, как он вывернется с Ждановым! Вывернулся так: "В первый послевоенный год в стихах некоторых советских поэтов появились упадочнические нотки усталости и уныния. Коснулось это и Ахматовой... В 1946 г. эта тенденция подверглась строгому общественному осуждению".

Да, строго осудила "общественность" эту неуместную в нашей светлой действительности тенденцию... Наказали Ахматову, заодно наказали и ее соотечественников — успело вырасти целое поколение, понятия не имевшее о том, что в России есть такой поэт. Нет, мне кажется, на свете другой такой страны, которая не только небрежно и расточительно обращается со своими золотыми талантами, но более того — специально отлавливает их и душит...

...В коммунальной квартире на улице Красной Конницы, где жила Ахматова, я была у нее только раз. Виделась с ней во время ее частых приездов в Москву, а с 1956 г., если доводилось попасть в Ленинград летом, я навещала ее в Комарове. В августе 1962 г., после обеда на веранде, Анна Андреевна удалилась к себе отдохнуть, но, едва закрыв за со-

¹ Из стихотворения А. Ахматовой "В том доме было очень страшно жить".

бою дверь (это была единственная комната с дверью), вновь ее открыла, вновь появилась на веранде и положила передо мною на стол папку с завязанными тесемками. Сказала своим медленным голосом, отчеканив каждое слово: "Это надо читать". И вновь удалилась.

Я развязала тесемки, откинула обложку. Машинопись. На титульном листе имя автора: А. Рязанский. Ниже — заголовок произведения, заголовок чрезвычайно странный: "Щ — 854". И вот — первая страница:

"В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было и надзирателью неохота была долго звонить".

Я читала медленно, к некоторым абзацам возвращалась, прочитывала их вновь, никогда ничего подобного читать не приходилось, поражало и то, *о чем* написано, и то, *как* написано...

И вот, отдохнув, Ахматова вышла на веранду, предложила пройтись, и мы отправились, и я все думала, что ей сказать по поводу прочитанного, — говорить о ТАКОМ банальные слова, вроде "как интересно!" язык не поворачивался. Но Анна Андреевна не спрашивала меня ни о чем. Понимала, что я не могла успеть дочитать рукопись, понимала и то, что я растеряна и не могу найти слов. Ничего не спросила. И я в свою очередь не спросила, кто этот неведомый автор, и тем более не поинтересовалась, откуда у нее эта рукопись. Таких вопросов задавать у нас не принято.

Об этой повести мы говорили спустя три месяца, когда она под названием "Один день Ивана Денисовича" появилась в № 11 "Нового мира" под настоящим именем автора: А. Солженицын.

Через какое-то время Анна Андреевна упомянула, что к ней заходил Солженицын. Я встрепенулась:

— Так вы видели его? Говорили с ним? Какой он?

Она ответила одним-единственным словом:

— Светоносец.

От нее же, тогда ли, позже ли, я услышала, что она сказала ему: "Вы многое вынесли. Вынесете ли вы славу?"

Среди читателей "Ивана Денисовича" находились такие, кто упрекал автора в "плохом языке". Не раздражения, которое я ощущала, с ними споря, заслуживали эти люди, а — жалости. Их годами воспитывали на казенно-выхолощенном языке советской печати, а также на литературе "соцреализма", этим обездоливая их, заставив утратить представление о возможностях русского языка, о его великом богатстве, о его многоцветье. Годы спустя я прочитаю в одной из статей Ю. Карякина восклицание: "И язык раскулачили!" — и подумаю, что слова эти точно выразили мои тогдашние мысли... Этими мыслями мне тогда пришло в голову поделиться с Анной Андреевной. Я собиралась произнести маленькую речь на тему о том, что тех, кто ругает Солженицына за "плохой язык", можно понять, а поняв, и простить, как говорят французы, но этой речи произнести мне не дали. Едва я упомянула о "плохом языке", как меня тут же гневно перебили:

— Что? Что?

— Есть люди, которые... — уже несколько сникнув, пыталась продолжать я. — И их даже можно понять, потому что...

Тут меня вновь перебили, вновь грозно спросив:

— Что? Что такое?..

Анна Андреевна так взволновалась, так раздувала ноздри, что я была не рада, что этот разговор затеяла. Нет. Она не желала понимать этих людей и прощать их не желала.

* * *

Идут последние дни октября 1965 г. Звонок из “Нового мира”. Меня просят зайти.

После моего первого выступления на страницах этого журнала прошло два с половиной года. Многое с тех пор изменилось.

Начать с того, что резко изменилось отношение к Солженицыну. “Один день Ивана Денисовича” был встречен громкими и дружными восторгами прессы — ведь было известно, что повесть опубликована с высочайшего одобрения. Спровоцились даже включить ее в один из выпусков “Роман-газеты” с ее миллионными тиражами. Тут уж явно перестарались, ибо восторги длились так недолго, что вряд ли киоски Союзпечати успели распродать все эти миллионы книжек. В каких, интересно знать, подвалах уничтожали экземпляры нераспроданные? Ковры, растеленные перед рязанским учителем, уже к марту 1963 г. стали сворачивать и убирать...

“Масляному В. Кожевникову поручили попробовать, насколько прочно меня защищает трон. В круглообкатанной статье он проверил, dopускается ли слегка тяпнуть “Матренин двор”. Оказалось, что ни у меня, ни даже у Твардовского нет защиты наверху... Тогда стали выпускать другого, третьего, сперва ругали рассказы, затем — и высочайше одобренную повесть — никто не вступался”¹.

С весны 1964 г. в ход было пущено старое, проверенное оружие — клевета. Поначалу сравнительно невинная: комсомольский вождь Павлов объявил, что Солженицын был арестован и отбывал свой лагерный срок как уголовник. Это заявление было сделано на заседании Комитета по Ленинским премиям: редакция “Нового мира” надеялась, что “Один день Ивана Денисовича” такой премии заслуживает. Возникла реальная опасность, что члены комитета эту кандидатуру поддержат. Надо было прибегнуть к клевете. Прибегли. “Неправда!” — крикнул присутствовавший на этом заседании Твардовский, а на следующий день, получив из военной коллегии Верховного суда копию о реабилитации Солженицына, прочитал ее вслух, и комсомольский вождь был вынужден извиниться. Тем не менее премии Солженицын не получил, были другие способы, тоже хорошо отработанные, заставляя людей голосовать так, как это угодно власти. Еще был наверху Хрущев, в добрую свою минуту поддержавший Солженицына, но уже в своей поддержке раскаявшийся. Он уже топал ногами на художников и скульпторов, уже кричал на литераторов, видимо, придя к твердому убеждению, что литература и искусство должны безропотно выполнять указания партии. В октябре 1964 г. Хрущев был сброшен. Набирали силу сталинисты. Набирала силу кампания против Солженицына. Весной 1965 г. на закрытых собраниях и инструктажах объявляли слушателям, что Солженицын изменил родине, был в плену, был полицаем. Эта клевета в печать еще не просочилась,

¹ Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом.

но скоро просочится. В первых числах сентября 1965 г. арестованы Даниэль и Синявский. Как я помню ту осень, разговоры на кухнях, наше возмущение, нашу тревогу, наш страх! В те же дни арестовали и роман Солженицына "В круге первом", и еще несколько произведений, хранившихся на квартире у его друзей. Но я тогда ничего об этом не знала, о существовании "Круга" не слыхала, о том, что этот роман был читан Твардовским и хранился в сейфе "Нового мира", откуда Солженицын его забрал и спрятал у друзей, узнаю лишь годы спустя...

Таково было положение дел, когда в последних числах октября 1965 г. я ринулась в "Новый мир" в ответ на их приглашение. В. Я. Лакшин вручает мне девятый номер журнала "Молодая гвардия", где опубликовано произведение М. Н. Алексеева "Повесть о моих друзьях-непоседах", и передает просьбу Твардовского откликнуться на эту повесть.

Летом 1963 г. мы с А. А. Реформатским познакомились и подружились с художником О. Г. Верейским и его женой. У них был дом в писательском дачном поселке Красная Пахра. В этот же поселок из своей дачи во Внукове переселился А. Т. Твардовский. Я часто ездила навещать Верейских, а позже мы с Реформатским в течение десяти лет проводили летние месяцы в двухкомнатном с верандой домике на участке Верейских. Это дало мне счастливую возможность видеться и говорить с Твардовским в обстановке неофициальной.

На другой день после посещения "Нового мира" я была на Пахре у Верейских. К ним зашел Твардовский. Его первыми обращенными ко мне словами были: "Ну что? Получили заказ?"

Я была обрадована. Я была польщена. Но и испугана: пугали сроки. Уже мне было сказано, что моя статья, которой еще нет, планируется в первый, январский номер журнала. Написать ее следовало за десять дней. Успею ли? И главное: получится ли? Дома вникаю в повесть.

Автор рассказывает о том, как он сам, известный литератор, и друзья его, известные литераторы, поехали в глухую деревушку Усух: "... наш брат писатель принужден часто оставлять уютное жилье в московской квартире и менять его на беспризорное мытарство где-нибудь в Брянских лесах, в том же Усухе..." Отправиться в Усух братьев писателей вынудила страсть к уженью рыбы. Плохо в этой заброшенной деревушке, ни приличной дороги до райцентра, ни медицинской помощи, ни электричества, и пусто в магазине. Друзья же непоседы удят рыбу, варят уху, выпивают на "лужке-бережке", а также пишут. Кто прозу. Кто стихи. «Илья не приучил себя подолгу корпеть над строкой, копаться в груде словесной руды "единого слова ради". Какое подвернулось, он тому и рад». Сказано шутливо, однако вряд ли другу-поэту будет приятна такая рекомендация... Сообщив, что мужчин в Усухе осталось не больше десятка, автор добавляет: "Когда же мы шагали по улице со своими удочками, женщины хихикали, выкрикивали двусмысленности, явно поощряли нас к активным действиям". Сказано игриво, однако...

Шутливо-игривая интонация повести, описание веселых попок и дружеских розыгрышей не вязались с фоном, на котором эти забавы происходили. Каковы все-таки были намерения автора, зачем он решил поведать об этом читателю? Частная жизнь знаменитых людей, так это надо понимать? И мне вспомнились слова Ахматовой: "Люди часто не слышат, ЧТО они говорят". Передо мной был как раз этот случай!

Написать к сроку успела. Статья получилась. Я и сама это ощутила,

и на друзьях проверила. Уже мне сообщили из "Нового мира", что Твардовский доволен, статья пошла в набор. Со свойственной ему сдержанностью одобрил меня и мой муж, ограничившись всего одним словом: "Недурно!" Всегда боялся меня перехвалить — как бы я не зазналась! И мама прочитала мое произведение еще в машинописи, гранок не было, гранки появились лишь в декабре, а в декабре мама захворала и в ночь на 15-е скончалась. Прочитав, она сказала: "Ну-ну! Молодец! Не боишься?.." И мы засмеялись обе, и нам в голову не приходило, что она, хранившая все, что я пишу, включая и письма, и открытки, и телеграммы (о чем я узнаю после ее смерти), в последний раз читает строки, из-под моего пера вышедшие... Твардовский, узнав о моей потере, прислал мне письмо, очень меня тронувшее. Я так хорошо его спрятала вместе с двумя другими драгоценными для меня письмами, что до сегодня не могу их разыскать и до сегодня не могу себе этого простить...

Свою статью, свой удавшийся фельетон, я непременно показала бы Ахматовой — она благосклонно относилась к моим творениям в этом жанре, — но Анна Андреевна с ноября лежала в Боткинской больнице — очередной инфаркт.

Горькое было время. Куда ни глянь...

В январе, разумеется, "Новый мир" не вышел. Этому журналу, со всех сторон теснимому, вовремя не удавалось выйти никогда. Свой фельетон "Сказки Брянского леса" я впервые увидела напечатанным только в феврале, в сигнальном номере журнала.

В один из дней этого месяца я отправилась на Пахру повидаться с Верейскими. Не помню числа, не помню, только ли надвигалось или уже началось позорное судилище над Синявским и Даниэлем. В те годы на Пахре то на одной даче, то на другой выходили из строя телефоны, жители поселка ходили звонить друг к другу. С этим намерением — позвонить в Москву — и зашел в тот день к Верейским Александр Трифонович. Увидев меня, извлек из кармана куртки журнал, протянул мне: полюбуйтесь. Не знаю уж, почему Твардовский таскал с собою сигнальный экземпляр, быть может, шел показать Дементьеву, жившему в том же поселке, а быть может, просто не хотел расставаться с этим первым номером года?.. Радовался ему. Гордился им. И было — чем. Там — первая половина романа Быкова "Мертвым не больно". (Скоро на заседаниях в Минске Быкова будут топтать и клеймить за этот роман!) Там — рассказ Солженицына "Захар Калита". (Скоро имя Солженицына сделает первый номер "Нового мира" за 1966 г. библиографической редкостью: номер будет изъят из всех библиотек.)

Лестно и радостно было мне появиться в том же номере, что и Солженицын. Борьба за опубликование "Ракового корпуса" в "Новом мире" продолжалась, и в тот февральский день, что я видела Твардовского, была в разгаре. Об этом говорили, я что-то об этом слышала, но вопросов Твардовскому, разумеется, не задавала. О моей статье он сказал:

— Перечитываю Ленина. Он предвидел, что нам не внешняя опасность грозит, а внутренняя — новая нарождающаяся бюрократия с ее страшным отчуждением от народа. А ведь вы именно об этом написали. Но сами-то вы это поняли или нет?

Вряд ли я это понимала, когда работала над статьей, и вряд ли нашлась, что на этот вопрос ответить... А Твардовский тем временем отобрал у меня журнал, сунул в карман и, уже стоя, добавил:

— Хватит мне вас комплиментировать! Не вас мне надо хвалить, а себя. Выбрал автора. Нашел кому поручить!

Через некоторое время, когда на мои "Сказки Брянского леса" накинута пресса, поначалу в лице "Огонька", я услышала от Твардовского еще и такие слова:

— Вы им своей статьей ежа в зад всадили. С этим ежом им ни сестра, ни лечь, ни встать.

* * *

В последних числах февраля мы с А. А. Реформатским уехали в Малеевку, в писательский Дом творчества неподалеку от Рузы. Тем вечером, пятого марта, писатели из передачи Би-би-си узнали о кончине Анны Ахматовой. Я навещала ее в Боткинской незадолго до отъезда, она сидела в кресле, она казалась выздоравливающей. Из Малеевки я звонила в Москву и знала, что в первых числах марта Ахматова выписалась из больницы и вместе с Н. А. Ольшевской уехала в санаторий в Домодедове. Там и скончалась.

Нет, не отечественная радиостанция, а английская Би-би-си уведомила нас о нашем горе. А газеты — что? А "Литературка" — как? Я бы могла сейчас пойти в читальню и полистать газеты того года и тех чисел, но не считаю нужным тратить на это время. Ибо главное помню: ни один печатный орган не сообщил, ГДЕ москвичи смогут проститься с Ахматовой. Церковная панихида будет в Ленинграде, похоронят в Комарове, ну а нам-то, здешним, куда идти, чтобы поклониться ее праху? Неизвестно. Шестого утром я звонила друзьям в Москву, восьмого получила телеграмму. Выяснилось: гражданская панихида состоится в морге больницы им. Склифосовского. Прощание предполагалось поспешное, на него выделялся один час: с девяти до десяти утра. Что понятно: ведь не только гроб Ахматовой стоит в этом помещении, там в каждой комнате по гробу и постоянно прибывают грузовики, привозящие новых усопших. Печати об этом сообщать было, видимо, неловко. А кроме того, боялись большого скопления народа в тесноте морга. И вот — промолчали. Но, разумеется, все, кто хотел узнать, узнали, и скопление народа было...

Спрашивается: неужели нельзя было, не позорясь на весь мир с прощанием в морге, привезти тело Ахматовой в Центральный Дом литераторов? Нельзя. До сих пор не знаю, чего именно опасались наши секретари во главе с Фединым, Марковым и Воронковым. Кто-то говорил, что они не пожелали омрачать светлый праздник, Международный женский день. С моей точки зрения, нет более лицемерного праздника (для наших широт, во всяком случае!), чем этот. "Всевыносящего русского племени многострадальная мать!" — писал Некрасов. После революции и всех этих красивых слов о равноправии — многострадальной матери легче не стало. И поздравления, ею выслушиваемые, и цветы (мимозы главным образом — по сезону), и славословия на праздничных заседаниях — все это мне кажется не чем иным, как лестью, как стремлением отвлечь внимание женской половины населения от ее тяжелой доли. Таково мое личное мнение, и я никому его не навязываю. Некоторым — нравится. Их дело.

И значит, накануне в ЦДЛ был праздничный вечер, после него надо

было еще убираться, и вообще это как-то не вязалось — сегодня день праздничный, завтра — траурный, хорошо бы оставить гроб с телом Ахматовой там, куда его привезли из Домодедова, — в морге. Оставили. Умыли руки.

Девятого марта был серенький день, с сеткой мелкого, упорного дождя. На дворе морга теснились люди, много знакомых лиц.

Откуда они все узнали, куда надо было прийти, ведь официальных сообщений не было, наш главный источник информации, Би-би-си, вряд ли был в курсе дела — но люди пришли, обзванивали, видимо, друг друга... Против ворот — серое невысокое здание, каменные выщербленные ступени крыльца. Сразу за передней — комната, в ней — гроб. Я шагнула к нему, но стоявшая у гроба Аня Каминская удержала меня: "Здесь не она! Побудьте тут, говорите всем, что это не она!" Я просьбу выполнила. Постояла у чужого гроба, направляя вливавшуюся цепочку людей в соседнюю комнату. Затем попросила кого-то меня сменить.

А в соседней комнате, в гробу, почти сплошь покрытом цветами, была она. Мала комната, тесно тут было, но никакой давки. Все понимали: задерживаться нельзя. Каждый входивший целовал ее ледяной лоб и выходил наружу, давая место другим. Текла и текла цепочка вокруг гроба... Но время поджимало, пора было переходить к траурному митингу. Его можно было провести только на дворе. Мы стояли спиной к воротам, среди луж, под сеткой мелкого дождя, а выступавший — на крыльце. Когда въезжал очередной похоронный автобус, он гудел нам в спины, мы расступались, а говоривший делал паузу, пережидая гудки и урчание мотора.

Так прощалась Москва с Анной Ахматовой.

* * *

Жизнь продолжалась.

В том же марте недремлющий "Огонек" (№ 11) откликнулся на мое произведение. Было указано, что "...черски М. Алексеева — это очерки о русской природе, о русском слове, о русском писателе в его отношении к своей земле". Добавлено, что автор повести "выразил свою боль и тревогу: гибнет родная природа. Но этого крика Нат. Ильина не услышала..."

(Читая тогда эту статью, я еще не знала, сколь часто авторы "Нового мира" будут обвиняться в равнодушии к русскому слову, к русскому народу и к русской земле!)

Автор этого отклика В. Архипов пользовался тем же методом, что Ю. Идашкин: аргументы черпаются из области, не имеющей отношения к литературе. Обоим авторам, кроме того, требовалось уязвить "Новый мир". Если один приплюсовал к моему сочинению статью И. Виноградова, то другой вспомнил статью Ю. Буртина, которая "...написана в той же манере, в той же тональности. И это наводит... уже на очень грустные размышления". На какие же? А вот на какие: критики "Нового мира" только тем и занимаются, что преследуют истинных патриотов, соль русской земли! Ведь кто такие "друзья-непоседы", герои повести М. Алексеева? Это дети "саратовских, брянских, ярославских мужиков". Это те, кто "ходил за сохой, мыкал нужду... кто отстоял свою страну и всем смертям назло прошел солдатом и с солдатами от Сталин-

града до Берлина. Вот кто на подозрении у критика "Нового мира"..."

"Новому миру" указывали: существуют авторы, чьи творения, каковы бы они ни были, критике не подлежат. Редакция "Нового мира" этому предупреждению не вняла. Спустя недолгое время Твардовский предложил мне написать о романе В. Кожевникова "Щит и меч". Роман этот Твардовскому резко не нравился. Я даже не уверена, дочитал ли он его до конца. Говорил: "Чтобы узнать, хорош ли арбуз, достаточно съесть один ломоть!" А о Кожевникове говорил так: "Пишет о Германии. А что он о ней знает? Только то, что одного немца зовут Фриц, а другого — Ганс".

Я хотела выполнить поручение. Но вмешался мой муж. Узнав, чем я собираюсь заниматься, сказал: "Тебе этого нельзя! "Знамя" только что опубликовало вторую книгу "Возвращения", а ты будешь кидаться на главного редактора. Это неудобно!"

И я отправилась в редакцию "Нового мира", чтобы сообщить Твардовскому о своем отказе. Разговор шел в его кабинете. На слова своего мужа я не ссылалась, делала вид, что сама дошла до мысли, что мне неудобно, что так не поступают. Мою речь, несколько сбивчивую, Твардовский слушал не прерывая, выражение лица серьезное, немного хмурое, затем кивнул: "Вы правы. Не будем поступать, как они".

(Они. Так он называл своих противников, тех членов Союза писателей, которые вечно обличали, уличали и обвиняли "Новый мир". Иногда местоимением "они" назывались высокопоставленные чиновники, бдительно следившие за журналом и ставившие ему палки в колеса.)

Итак, согласился со мной. Что, однако, не помешало ему позже, на Пахре, в обстановке неофициальной, насмешливо меня спрашивать: "Ну что, испугались?", "Скажите честно, испугались?", "А все-таки сознайтесь, испугались?". Я сначала пыталась всерьез оправдываться, а потом рукой махнула, поняла, что меня поддразнивают... Но от своей мысли высказаться о романе Кожевникова Твардовский не отказался: рецензия, отнюдь не хвалебная, в "Новом мире" появилась. Я читала ее и думала, да простит мне читатель мою нескромность: как жаль, что не я писала, я б это сделала острой, я б сделала веселей...

* * *

На рубеже 1966 — 1967 гг. журнал "Москва", руководимый тогда Е. Поповкиным, сделал своим читателям подарок: в двух номерах (№ 11, 1966 г. и № 1, 1967 г.) был опубликован роман "Мастер и Маргарита". С купюрами, разумеется. Как обычно, охранялась невинность читателя: этого ему не следует знать, о том не следует напоминать. Но вот вдова писателя Е. С. Булгакова сказала мне, что купюры в № 1 вызваны не столько охранительными соображениями, сколько недостатком места! Текст Булгакова потеснили, чтобы полностью, без сокращений опубликовать рассказ "В Лондоне листопад".

Что ж это за шедевр, ради которого пришлось вырезать куски из прозы Булгакова? Я познакомилась с шедевром. Впечатление было сильное. Возникло желание поделиться моими чувствами с читателем. Об авторе — Б. Евгеньеве — мне было известно лишь одно: член редколлегии журнала "Москва". Ходил ли он за сохой, мыкал ли нужду, воевал ли — этого я выяснять не стремилась: не пошли мне на пользу уроки

В. Архипова! И вот в № 7 "Нового мира" за 1967 г. появляется мой фельетон "Катя за границей".

Следовало ждать отклика, вернее, окрика. Чему-то будут меня учить, за что ругать? Я высмеивала рассказ, где речь шла о туристской поездке в Лондон, и полагала, что меня вместе с "Новым миром" будут обвинять в "космополитизме", в "размывании идеологических рубежей", а возможно, и в "преклонении перед Западом". Всего я ждала, но только не того, что случилось: пресса не обратила на мою "Катю" никакого внимания! Мне ее припомнят спустя много лет, но тогда и ухом не повели. В чем дело?

А дело было в том, что мой фельетон прикрыла повесть И. Грековой "На испытаниях", в том же номере опубликованная. Эта повесть взяла огонь на себя. Огонь шквальный: сейчас уже не припомнить, сколько именно газет и журналов почти одновременно обрушилось на повесть. Тут уж и я позволю себе воскликнуть: "Не случайно!" Без команды "сверху" вряд ли было возможно такое единодушие, проявленное самыми разными печатными органами. Повесть осуждалась старым методом: речь шла не о художественном уровне, а предъявлялись обвинения политические. Метод-то один, но каждое издание стремилось придерживаться своего стиля, применяясь к вкусам своих читателей. "Литературная газета" (17.1.68 г.) интеллигентно говорила о "высоком предназначении человековедения", утверждая, что повесть И. Грековой с ее элитарностью "в системе эстетических отношений к действительности" вступила "в противоречие с этим высоким предназначением". Помнить следовало так: простого советского человека без высшего образования И. Грекова не любит. Это и есть "элитарность", ведущая к "расплывчатости нравственных критериев".

Журнал "Молодая гвардия" (№ 1, 1968 г.) подошел к делу проще. Высоких слов тут нет. Зато налицо солдатская грубоватая прямота. В повести "На испытаниях" несколько раз упомянуто учреждение, именуемое одними "туалетом", другими — "нужником", третьими — "гальюном". Этого было достаточно, чтобы находчиво озглавить рецензию "Проза с запахом" и назвать повесть "дурно пахнущей карикатурой на военную и техническую интеллигенцию, на армейское офицерство".

Что касается журнала "Москва", то он выступил защитником нравов, он обеспокоен влиянием повести на молодежь! "Советские офицеры, их жены показаны... людьми ничтожными, отупевшими, погрязшими в обмане, лжи, мелочных дрязгах". "И напрашивается естественный вопрос — какую духовную стойкость и выдержку, опыт приобретут вчерашние ребята, пришедшие в армию, вздумай они подражать таким командирам?" С нападением на И. Грекову журнал немного запоздал (№ 5, 1969 г.), но зато в этом же номере в статье под общим заголовком "Правда подвига и правда искусства" стреляет еще по одному новому автору: "Тяжелое впечатление оставляет повесть В. Быкова "Атака с ходу". "Читатель никогда не поверит такому искаженному от начала до конца отображению событий тех грозных лет. И он не может воспринять такое произведение иначе, как оскорбление величайшего подвига Советских Вооруженных Сил, отстоявших свободу и независимость нашей Родины в длительной и кровопролитной борьбе".

Итак, "Новый мир" в лице своих авторов искажает нашу действительность, клеветает на нее и оскорбляет святых. Все это, видимо,

направлено на то, чтобы лишить идеалов нашу смену и всячески развратить читателя. К счастью, на страже читательских интересов твердо стоят органы печати, неустанно разоблачая подозрительные действия "Нового мира".

Разоблачали и в самом деле неустанно. Да было ли в те годы хоть одно значительное выступление "Нового мира" — будь это роман, повесть, публицистика либо критика, — чтобы на него с криками не набросились один, два, а то и сразу несколько печатных органов? В искажении действительности обвинялись Абрамов, Быков, Айтматов, Трифонов, Искандер, Шукшин, Астафьев, Можаев, Яшин, Семин... Это велись атаки на "Новый мир", который ко второй половине 60-х годов остался, пожалуй, единственным журналом, говорившим в своей прозе и публицистике правду о нашей жизни, а в отделе критики — правду о нашей литературе.

Называть и цитировать все органы печати, шельмовавшие повесть И. Грековой, не имеет смысла, это отдельная история. Но вот о статье в журнале "Русская речь" (№ 1, 1968 г.) умолчать не могу: из нее я узнала еще об одном приеме, каким пользовались нападающие.

Профиль журнала обязывает, и речь в статье идет, конечно, не о "нужниках", а о "языке и стиле" повести. И вот уже И. Грекова обвинена в "речевом снобизме", в той же, значит, элитарности! Но вот что интересно: статья озаглавлена "В жанре дамской повести", и ее автор, кандидат филологических наук Л. Скворцов, начинает с того, что хвалебно отзывается о моем обруганном фельетоне "К вопросу о традициях и новаторстве". А кончает статью так: "Остается добавить только, что дамская повесть "На испытаниях" опубликована в "Новом мире" (№ 7 за 1967 год), том самом "Новом мире", который несколькими годами раньше так блистательно и зло высмеял на своих страницах современных продолжателей этого поистине бессмертного жанра".

А вот это уже что-то новое! Работа одного новомирского автора используется как оружие для битвы другого новомирского автора. А журнал обвинен в непоследовательности: вчера выступал против пошлых дамских повестей, а сегодня сам такую повесть напечатал! Кандидат наук и не пытается доказать, что произведение И. Грековой принадлежит к жанру высмеянных мною "дамских повестей". Доказать это было бы невозможно, но противники "Нового мира" и попыток таких не делали, от этих трудов они были избавлены. Ибо им для их светлой цели многое было позволено. Цель же была одна: задушить "Новый мир". Для этой цели годилось все, включая сюда и метод дышла: куда повернул, туда и вышло. Вчера было выгодно называть новомирскую статью "клеветой на советскую литературу", а сегодня выгодно с этой статьей согласиться...

Пройдет еще год — и светлая цель будет достигнута. Что же касается повести И. Грековой, то эта повесть, одно из лучших произведений писательницы, почти двадцать лет не включалась в ее сборники.

* * *

Летом 1968 г. на Пахре я услышала от Твардовского такие слова: "Как бы мне хотелось, чтобы вы написали о "Роман-газете"! Да жалко вас. Сколько всего вам прочитать придется!"

Отношение Твардовского к литературе напоминало мне Ахматову. Для нее литература была делом, ее близко касающимся, непосредственно задевающим. Тут она ничего не прощала, тут была неумолима. "За такое на Сенной бьют батожьем!" — сказала она, прочитав в газете рифмованные строчки, выдаваемые за стихи. Так же страстно относился к печатному слову Твардовский. Он знал меру ответственности литературы перед читателем, понимал ее влияние на нравы.

"Роман-газета" с грошовой стоимостью ее книжек и огромными тиражами должна была сделать доступными для массового читателя лучшие современные произведения нашей словесности. Быть может, в начале деятельности этого издания так оно и было, но вот в 60-е годы так уже не было. Случалось, конечно, что доступными становились произведения истинно художественные, но это случалось не часто. Куда чаще тиражом в один, два, а то и три миллиона выходили книги серые, бесцветные, а то и малограмотные. Огромные тиражи сулили огромные доходы. Издаваться в "Роман-газете" стремились авторы, имевшие связи, побившую силу, власть. Их атак издательство не выдерживало, и в результате... Результаты были плачевны. Это и тревожило Твардовского.

Я прочитала свыше двадцати выпусков "Роман-газеты". Выбрала три, показавшиеся мне наиболее характерными. Один из них претендовал на то, чтобы называться "историческим", и занял три книжки "Роман-газеты". Отзывы печати на эти произведения были сплошь восторженными — в этом я убедилась, полистав в библиотеке газеты и журналы. Прославлялся даже "исторический роман", автор которого не только не знал предмета, о котором взялся писать, но был попросту малограмотен. И это произведение выходит тиражом почти в три миллиона экземпляров! Под аплодисменты прессы. Можно было понять тревогу Твардовского...

В начале декабря я пришла в "Новый мир" читать верстку своей статьи, она планировалась в № 1 1969 г. под названием «Литература и "массовый тираж"». Во дворе, у дверей редакции, я столкнулась с выходившим оттуда Твардовским. Бледен. Чем-то озабочен. Явно куда-то спешит. Но остановился, чтобы похвалить мою статью. "Хотел вам из Пахры позвонить, да телефон не работает, два дня мастера ждали, а он не идет!" Пошутил, невесело усмехнувшись: "Видно, до него критика дошла!" Двинулся к поджидавшей его машине, но, сделав шаг, обернулся: "Статья-то ваша хороша, да вот журнала не будет!"

Куда он ехал? В каком высоком учреждении предстояло ему в тот день "есть мыло" (его выражение!), сражаясь за свой журнал, добиваясь, чтобы разрешили опубликовать то, что опубликовать не разрешали? Перелистав подшивки "Нового мира" за два последних месяца 1968 г, я предполагаю, что на этот раз бой шел за роман Н. Воронова "Юность в Железнодорожке". Его долго не разрешали печатать. Но поскольку в № 11 первая часть романа все же появилась, значит, кто-то разрешение дал. Но затем, спохватившись, этот "кто-то" (возможно, другой "кто-то") запретил печатать продолжение. Но ведь написано: "Продолжение следует", читатель ждет! И пусть его ждет. Но в какое положение поставлен журнал, что ему сказать своим подписчикам? А пускай говорит, что хочет. Рассыпать набор, и все тут! "Журнала не будет!" — сказал мне в тот декабрьский день Твардовский. Видимо, ехал с твердым

намерением: либо добиться, чтобы не мешали печатать продолжение, либо заявить о своем уходе из журнала. Выкручиваться перед читателем, его обманывать — в этом позорном деле участвовать не желал. Долго ли ему пришлось “есть мыло”, какими доводами удалось добиться своего, я не знаю, но добился. Журнал вышел с большим опозданием, однако продолжение романа напечатал и просуществовал еще год. Еще ровно год.

* * *

Я не пытаюсь писать здесь “повесть дней и страстей” “Нового мира” шестидесятых годов. В штате журнала я не работала, была лишь одним из его авторов, а это значит: чего-то я не знаю, что-то знаю приблизительно и писать, следовательно, не имею права. Но и в моем скромном опыте отразилась какая-то часть того, что происходило с журналом в те годы. Кроме того, я виделась и говорила с Твардовским в дачном поселке (“Пахра на Десне” — называл этот поселок Александр Трифонович) и некоторые слова его записывала. Эти записи мне и хочется привести. Однако не все в них будет понятно, если не дать краткую хронологию событий.

С 1963 г. Твардовский вел борьбу за опубликование повести Солженицына “Раковый корпус”, тогда еще до конца не дописанной. Всех перипетий этой борьбы я тогда знать не могла. 16 ноября 1966 г. я проникла на обсуждение первой части этой повести в Малый зал Центрального Дома литераторов. Говорю “проникла”, ибо обсуждение, поначалу объявленное в календарном плане, было затем отменено. Членам Союза писателей разослали уведомление: обсуждение откладывается. На какое число? Этого сказано не было. О том, что обсуждение все-таки состоится, каждый из нас узнал случайно: кто-то узнал первым, обзвонил знакомых, а те — своих знакомых. Трусливый секретариат полагал, что его уклончивые действия приведут к тому, что народу не соберется, но народ собрался и атаковал Малый зал. У дверей стояла охрана, скрупулезно проверяя членские билеты. Многие писатели в тот день впервые увидели живого Солженицына. О произносимых в Малом зале речах, о радостном (и преждевременном!) чувстве свободы, нас охватившем, — уже написано и еще будет написано. Я лишь о том, как поразила меня улыбка Солженицына — открытая, добрая и даже немного наивная, сразу менявшая его суровое лицо... Дело с опубликованием “Ракового корпуса” не двигалось. В мае 1967 г. Солженицын написал письмо IV съезду Союза писателей, предлагая внести изменения в Устав. Свыше ста писателей это письмо поддержали, требуя, чтобы съезд письму обсудил. Письмо не обсудили, и результатом было то, что доступ писателей на IV съезд был строго ограничен: член СП на его собственный съезд мог попасть по “гостевому” билету и только на один определенный день. Тем временем повесть “Раковый корпус” расходилась в сотнях машинописных экземпляров. Возникла опасность появления повести на Западе, что автоматически закрывало возможность опубликования “Ракового корпуса” у нас — не на это ли надеялся секретариат Союза писателей?.. В ему адресованном письме от 12 сентября Солженицын предупредил, что его повесть, против его желания, а по вине тех, кто задерживает ее появление у нас, может попасть за границу. Ответ последовал. Солже-

ницына пригласили на беседу. Собралось 30 секретарей. Беседа состоялась 22 сентября того же года. Я, как и многие, знала о ней, ибо Солженицыну удалось эту беседу записать и машинописные копии ходили по Москве.

В праздничные ноябрьские дни я гостила на Пахре у Верейских. Вот моя запись разговора с Александром Трифоновичем, датированная "9 ноября 1967 года":

— Он мне ни сват, ни брат, ни друг, не во всем разделяю его взгляды, но я люблю его, люблю... Давно это должно было прийти, такое русское, и вот — пришло! Если бы вы видели, как он держался на секретариате, с каким достоинством!..

— Один против всех этих!

— Не один. Я был там. Я с ним был. Я сказал Федину, жестко сказал: "Помирать будем!" А это, между прочим, и ко всем нам относится... Солженицын — сложный человек. Но не для следователей. Для писателя, для литературы...

Я сказала о том, что в редакциях, в учреждениях есть среднее звено, интеллигентная и мыслящая молодежь, с которой можно иметь дело...

— Это у вас правильное наблюдение. Между прочим, в главном учреждении то же самое. В коридорах запросто всё, но как сел за стол — обедню служит...

Тут он вспомнил о своем недавнем разговоре с Шауро¹:

— Называет Солженицына "ваш любимчик". А что им делать с "моим любимчиком", сами не знают! Говорит: "Мы его подняли". А я ему: "Ну так опустите его теперь, опустите!" Он: "Мы его сажать не собираемся!" — "Да вы не можете этого сделать, не можете! Он у вас с крючка сорвался!"

(К этому времени Солженицын был уже защищен своей мировой славой.)

А вот мои записи, относящиеся к 1966 и 1967 гг.

Мы с Верейскими зашли навестить Марию Илларионовну. Она поила нас чаем. Сверху из своего кабинета спустился Александр Трифонович и сел с нами за стол, мрачно пошутив: "Что тут происходит? Почему гостям дают мое лучшее варенье?" Явно был чем-то расстроен. Чем? Скоро выяснилось: накануне беседовал с одним высокопоставленным лицом, которому не понравился опубликованный "Новым миром" роман. Какой именно? Не имеет значения. В те годы, что бы "Новый мир" ни печатал, все приходилось не ко двору! Другое имеет значение: из разговора стало ясно, что лицо, романом недовольное, романа не читало. И Твардовский ему: "Если вы не читали "Капитанской дочки", то как бы я смог вам доказать, что Гринев не был бунтовщиком?" А он мне в ответ: "Учтите, вас народ критикует. В депутаты не выдвинул!"

Горестный возглас Марии Илларионовны:

— И ты смолчал?

— Да. Смолчал.

За столом повисла пауза. И снова голос Александра Трифоновича:

— Романа, значит, не читал. А вот ЧТО требовать от романа, это ему известно. ТАМ вообще не читают. Это не только не нужно, но и нежелательно. Если сам не прочел, можно потом на других свалить: неправиль-

¹ В. Ф. Шауро — зав. отделом культуры ЦК КПСС.

но информировали! У них теперь новая манера: говорят тихо, уклончиво, и мы, дескать, не запрещаем, сами присмотритесь...

Заговорили о писателях, противниках "Нового мира".

— А все дело в том, что я их не печатаю! Напечатай я их завтра — перестанут ругать! Уж подкупить пытаются. Софронов звонил. Предлагал издаться в «Библиотеке "Оконька"». Верное дело: тираж большой, стихи оплачиваются поштучно, много денег. Отказался.

— Почему ж отказался?

— Из-за тебя, Маша. Хочу, чтобы ты на старости лет уважать меня могла.

К прозе сатирической Твардовский предъявляет столь же высокие требования, как к любой другой художественной прозе. Ему важно: КАК? И ему важно: ЗАЧЕМ? Сказал однажды: "Каламбур — низший сорт юмора. Годится для застолья, не больше!"

Говорили о Хемингуэе, и я сказала, что разлюбила этого писателя. Была рада услышать от Твардовского, что он тоже разлюбил. Сказал: "У Хемингуэя не чувства, а ощущения".

В другой раз я записала его слова, сказанные не помню в связи с чем, слова, меня поразившие:

"Талант — это наказание!"

Не радость, не подарок судьбы, не счастье. Нет. Наказание! Как понимать это? Так, видимо: человеку, обладающему талантом, его дар всю жизнь не дает ни отдыха, ни срока. Это богатство, которое жестоко мстит, если его не трать. Годы спустя после кончины Твардовского, когда я писала о трагической судьбе актрисы МХАТа Корнаковой, я постоянно вспоминала: "Талант — это наказание!" Талант мстит и тогда, когда его профанируют, используют для целей конъюнктурных, корыстных, вне искусства лежащих. Чем мстит? А тем, что покидает того, кому он дан. А недавно, читая воспоминания об Александре Яшине, я наткнулась на такие его слова: "Слишком долго писал приказчиьи стихи, в которых не мог уместиться талант, а я ощущал его с детства, с юности как страшную, разрушительную для себя силу". Яшина талант не покинул: он успел искупить свою перед ним вину. Не во все умещается талант. У него есть назначение. Свое для каждого, кому он дан. Это назначение, эту свою дорогу надо еще найти, а найдя, с нее не сворачивать. Вечный труд. Вечная ответственность.

Говорили об одной молодой поэтессе. На страницах "Нового мира" тех лет я не помню ее стихов и не знаю, ЧТО о них думал Твардовский. Но ее одаренность ощущал, и мне кажется, что она как человек была ему симпатична. Сказал о ней так:

— А ведь она ниоткуда! У нее нет корней.

Прочитав в газете очередной выпад против какой-то из публикаций "Нового мира", выпад, весь построенный на передергиваниях и подтасовках, сказал:

— Когда узнали, что можно лгать и подличать на пользу себе, до чего обрадовались!

Разговор зашел о романе Быкова "Мертвым не больно". На многочисленных заседаниях в Минске за этот роман Быкова травили и поносили. Рассказав об этом Твардовскому, Быков добавил: "У нас в сельском хозяйстве такое неблагополучие, а они всем миром на литературу

навалились!" "А я ему ответил, — сказал Александр Трифонович, — для них не положение важно, а ОТОБРАЖЕНИЕ!" И — после паузы: "Давно хочу написать статью о СТРАХЕ ВЫМЫСЛА, да все времени нет!"

Я не поняла, что означают эти слова. Казалось, что для него, неустанно сражавшегося за возможность говорить правду, было бы естественнее писать о "страхе правды"! Думаю, что Твардовский имел в виду страх ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫМЫСЛА, без которого нет искусства. Одно дело — узнать из газет, что у нас в определенные времена были миллионы невинно осужденных, другое дело — это увидеть, это пережить. А увидеть и пережить помогает литература — роман, повесть, рассказ. Там речь идет не о миллионах, а об одной судьбе, об одном пострадавшем, допустим, о матери или о жене арестованного. О том, как стоит она в несметных очередях, и какая в тот день была погода, и как возвращается домой, в свою комнату, где каждый предмет напоминает того, кого отсюда увели, и каковы ее соседи, и переходы от надежды — "этого не может быть, это недоразумение, это скоро выяснится!" — к отчаянию, и, во ЧТО превращается ее жизнь. И чем талантливее писатель, тем больше находит он художественных деталей, чтобы заставить читателя это УВИДЕТЬ, в это вникнуть, и сострадать, и сопереживать.

Этого сострадания, этого сопереживания и боялись те, кто хотел бы утопить в беспамятстве наше прошлое.

Так, во всяком случае, я поняла слова Твардовского о "страхе вымысла".

А вот запись, под которой поставлена дата "4 мая 1968 года."

В мастерской у Орика (О. Г. Верейский) сидит Александр Трифонович. Чем-то очень удручен. Читает стихи Бунина:

Мычит теленок, как немой,
И клонят горестные елки
Свои зеленые иголки:
Ах, боже мой! Ах, боже мой!

Дочитал. И повторил: "Ах, боже мой! Ах, боже мой!"

Затем: "И некуда пойти. И некому объяснить... Один полковник-пенсиянер все мне пишет: "Да бросьте вы этот журнал, Александр Трифонович! Да зачем вам это?" Зачем мне это? Я-то знаю, какую роль играет журнал в общественном самосознании, я-то знаю! А он: "бросьте!" Ах, боже мой..."

Я могла бы сказать, что не только полковник-пенсиянер, но и некоторые на Пахре живущие писатели говорят: "К чему он мучается с "Новым миром"? Всенародно признанный поэт. Мог бы жить спокойно". Я не сказала, разумеется, о советах этих людей, умевших жить спокойно. Он так жить не умел. Совесть не позволяла. Чувство ответственности перед соотечественниками, растерянными, ложью замороченными, не позволяло...

Наступил 1969 г. Мне уже не вспомнить, когда — в феврале ли, в марте ли — вышел январский номер "Нового мира" с моей статьей «Литература и "массовый тираж"».

Отклик не замедлил появиться в "Огоньке" № 20. На этот раз — обширная статья. Под обстрел был взят весь отдел критики "Нового мира". Одного рецензента ругали за то, что ему не понравился роман В. За-

круткина "Сотворение мира", и читателю объясняют, в чем тут дело. А дело, оказывается, в том, что «... В. Закруткин осмелился еще и еще раз напомнить о заслугах Сталина... И этой художнической (!) смелости В. Закруткину не простили в "Новом мире"». После чего автор статьи В. Петелин принимает за меня: "Я давний читатель "Нового мира". Ко всему привык... Но когда прочитал статью Наталии Ильиной «Литература и "массовый тираж"... в полном удручении задумался... где же предел необъективности и цинизму новомирских критиков?.." Далее из этой статьи я узнаю, что я позволила себе "кощунственно иронизировать над мужеством юной девушки, которая переносила вместе со всем народом трудности и лишения". Выясняется затем, что я также иронизирую над "описанием топки печи. Видно, никогда не приходилось Н. Ильиной топить печь. Или хотя бы наблюдать, как это делается". Обвинив меня еще и в том, что я "легко и беззаботно" перечеркиваю "большую и серьезную работу писателя" (речь идет о малограмотном романе, выданном за "исторический"), В. Петелин набрасывается еще на одного новомирского критика. Этого ругают за то, что он похвалил сборник рассказов А. Борщаговского "Ноев ковчег". А ведь это клеветнические рассказы, ибо "получается так, что деревня населена людьми жестокими, равнодушными к чужой беде, корыстными, эгоистичными. Какая неправда!".

Что-то трогательное, даже наивное звучит в этом восклицании: "Какая неправда!" Человек, сам на ложь неспособный, изумился, ну просто ушам не поверил, узнав, что есть люди, способные ТАК лгать! Но в сторону эмоции. Поговорим с клеветниками всерьез! Им необходимо кое-что напомнить: "В наши дни как никогда остро перед всеми писателями мира возникает вопрос об ответственности перед своим временем. И потому именно в наши дни художник должен быть правдивым, обладать чувством особой ответственности перед народом, перед читателем". Призвав "Новый мир" Твардовского к правдивости и ответственности перед народом, В. Петелин так заканчивает свое произведение: "Время подготовки прошло. Пришла пора дерзаний, пора полной отдачи сил. А для нас, читателей, наступило время больших ожиданий". Каких именно ожиданий? Чего ждет В. Петелин вместе с народом, на что намекает? А на то, что чаша терпения переполнена. Нет больше сил выносить этот журнал!

На другой, что ли, день после появления этой статьи я встретила на нашем дворе одного писателя, соседа по дому.

"Ну как, читали? Здорово вас вчера в "Огоньке" продернули!"

Это было сказано со злорадством, которого я от этого человека не ожидала. Он давно умер. Имени его называть не хочется. Твардовский, которому я эти слова передала, пожал плечами:

"Чему вы удивляетесь? Разве вы не знаете, что есть люди, которые всегда на стороне силы!"

Да. Тем летом всем уже было ясно, что сила не на стороне "Нового мира". И, как справедливо заметил В. Петелин, "пришла пора дерзаний". В мае дерзнул он сам. В июле дерзнули сразу одиннадцать литераторов. И не просто члены Союза писателей, а лица, занимавшие "посты", включая главных редакторов толстых журналов. В коллективном письме «Против чего выступает "Новый мир"?» они возражали против статьи А. Г. Дементьева ("Новый мир" № 4, 1969 г.). С этой статьей можно

было спорить, но зачем для этого понадобилась такая мощная когорта? А затем, что статья Дементьева была лишь предлогом. Велась массированная атака на весь журнал в целом. Ибо журнал этот публикует материалы "кошунственные", "очернительские" и "глумящиеся" над нашими святынями. В письме был назван ряд прозаиков и критиков, занимающихся кошунствами и глумлением. Но имя Твардовского не упоминалось. Этот пробыл в том же июле — 31-го — восполнила газета "Социалистическая индустрия". Тоже "Открытое письмо". Но тут уж адресованное прямо "главному редактору журнала "Новый мир" тов. Твардовскому А. Т.". Некий токарь призывал Твардовского к ответу "перед рабочим классом".

А был ли токарь? А если был, то под чью диктовку писал?

* * *

Тем летом 1969 г. я часто ездила в Переделкино навещать Корнея Ивановича Чуковского. В один из моих августовских приездов Корней Иванович встретил меня вопросом: "Что Александр Трифонович?" Я ответила: "Мучается". "А как ему не мучиться, — сказал Чуковский, — ведь он — Россия. Какой человек, какой поэт! Живой классик среди нас ходит! Его "Страна Муравия" — это пушкинско-некрасовская традиция, осовремененная. Тридцать три года назад я написал ему об этой поэме. Он ответил мне очень хорошим письмом. А недавно снова написал, прочитав в "Новом мире" его последние стихи. Они великолепны. А "Василий Теркин"? Сколько вранья, сколько трепни было про войну, а тут — настоящее и правдивое. Затравили Маяковского наемные убийцы, сверху подосланные. Теперь этого травят. А ведь его деятельности в "Новом мире" нет параллели, кроме разве Некрасова. Но тому было легче". Помолчав, добавил: "Но линия его победит лет через шестьдесят. Только мы с вами этого не увидим!"

Корней Иванович был одним из первых, прочитавших по просьбе Твардовского рукопись "Ивана Денисовича", и назвал эту повесть "литературное чудо". Еще в сентябре 1965 г., когда органами государственной безопасности был захвачен роман Солженицына "В круге первом" и стала распространяться и расти клевета против его автора, "...в эту пору К. И. Чуковский предложил мне (бесстрашие для этого было нужно) свой кров, что очень помогло мне и ободрило. В Рязани я жить боялся, оттуда легко было пресечь мой выезд, там можно было взять меня совсем беззвучно и даже беспрепятственно, всегда можно было свалить на произвол, на "ошибку" местных гебистов. На переделкинской даче Чуковского такая "ошибка" исполнителей была невозможна"¹.

Так же как и Твардовский, Корней Иванович понимал масштаб солженицынского дара, так же как и Твардовский, говорил, что появился писатель долгожданный, России необходимый. "Светоносец", как со свойственным ей лаконизмом назвала Солженицына Ахматова.

Ахматова. Чуковский. Твардовский. Этих трех людей, таких разных, объединяло их страстное отношение к литературе. На мою долю выпало счастье их знать, знать не издали; каждый из них сыграл роль в моей жизни, и мне казалось, что я обязана рассказать о них все, что смогу.

¹ Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом.

В середине 70-х годов мне удалось, с трудом, опубликовать воспоминания об Ахматовой и Чуковском. "С трудом" — ибо рассказ о Чуковском был отвергнут тремя журналами, об Ахматовой — четырьмя, и тем, что эти воспоминания увидели свет, я обязана А. А. Ананьеву, редактору журнала "Октябрь". Я и дороги не знала в этот журнал, вечно поносивший "Новый мир" Твардовского. Но вот после 1970 г. все изменилось: не тот стал "Новый мир" после вынужденного ухода Твардовского, не тот стал "Октябрь" после смерти Кочетова.

Итак, в 1976 г. я опубликовала свой рассказ о Чуковском, а в 1977 — об Ахматовой. К этому времени уже был выслан Солженицын и исключена из Союза писателей Лидия Корнеевна Чуковская. Эти два имени были под запретом. Существовали в то время и темы неприкасаемые; так, в своем рассказе об Ахматовой я была вынуждена ни звука не произнести о Льве Николаевиче Гумилеве. Звуки-то я произносила, было у меня там сказано о майском вечере 1956 г., о застолье у Ардовых, когда я впрямую увидела Льва Николаевича, за два дня до этого вернувшегося из лагеря; сценка эта занимала всего полстраницы, но к ней сразу приковалось внимание редакции. Потребовали от меня немногого, самую мелочь, — убрать только одно коротенькое словцо "уже": "Я застала Льва Николаевича УЖЕ чисто выбритым..." Я не поняла, чего они опасаются, попросила времени для размышлений, а поразмыслив, поняла: делается все для того, чтобы читатель не понял, ОТКУДА вернулся Л. Н. Гумилев. И не убрала "уже". Я предпочла убрать всю эту сценку... Спустя три года я включила рассказ об Ахматовой в свою книгу "Судьбы", сценка майского вечера там присутствует вместе с крамольным словом "уже". А вскоре одна читательница прислала письмо, где гневно упрекнула меня в трусливом умолчании: "Почему вы не написали, что Гумилев вернулся из лагеря? Читая вас, можно подумать, что он с курорта приехал!" Что ж. Она была права. Но не каждый читатель-правдолюбец понимал, какие удавки накинута на шею тех, кто пишет и хочет написанное опубликовать в легальной печати. Я шла на компромиссы. Лгать — не лгала, но — умалчивала. Рассказ о прощании москвичей с Ахматовой вызвал справедливое беспокойство редакции "Октября". Я убрала строчки о траурном митинге во дворе морга. В книгу "Судьбы" — включила. А позже — в книгу "Дороги и судьбы".

Но вот о том, как хоронили Корнея Ивановича, я не могла рассказать ни в одном из переизданий. Два имени, без упоминания которых рассказ о похоронах невозможен, были под запретом до самого последнего времени: Л. К. Чуковская и А. И. Солженицын. В своих воспоминаниях о Корнее Ивановиче В. Непомнящий пишет, что, по мнению Чуковского, "в драматическую историю русской литературы входят и обстоятельства смерти и похорон многих писателей, составляя подчас ее особые и многозначительные страницы".

Раньше я не могла рассказать о похоронах Корнея Ивановича. Сейчас — попробую.

Он скончался 28 октября 1969 г. в Кунцевской больнице. Похороны были назначены на 31-е. Похоронная комиссия заседала 30-го. Вечером накануне этого дня попросила меня к ней зайти Лидия Корнеевна. Внук Корнея Ивановича, Дмитрий, должен был как представитель семьи принять участие в заседании комиссии. Лидия Корнеевна хотела, чтобы я отправилась на заседание вместе с Митей и передала комиссии

желание семьи. Следовало удержать некоторых лиц от произнесения речи над гробом Чуковского. Мне был дан список этих лиц.

И тут я вспомнила, как однажды на Пахре я услышала от Твардовского, вернувшегося с похорон Михаила Светлова, такие слова: "Страшно умирать! Лежишь, а гроб твой обступят те, кто при жизни дохнуть тебе не давал, и они тут главные, они распоряжаются, да еще выступать будут! Умрешь, а они заберут тебя себе!"

От этого Лидия Корнеевна и хотела защитить своего покойного отца.

Комиссия заседала в кабинете В. Н. Ильина, секретаря Московской писательской организации по оргвопросам. Нас с Митей допустили не сразу, велели подождать в коридорчике. Затем пригласили войти.

К тому времени я знала Корнея Ивановича почти пятнадцать лет, но особенно сблизилась с ним в последнее лето его жизни, навещала его еженедельно, читала ему то, над чем тогда работала, а он читал мне свое, и я забывала о его возрасте, и мне казалось, что его драгоценному и ставшему мне необходимым обществу я могу радоваться еще долго. В 87 лет у него было здоровое сердце и никакого намека на склероз, он мог бы жить еще, если бы не случайно подхваченная инфекционная желтуха. В двадцатых числах октября я уже знала, что надежды — никакой, и все же кончина его потрясла меня, и, быть может, поэтому я жила в те дни в каком-то тумане и испарились из моей памяти лица членов похоронной комиссии. Лишь В. Н. Ильина и С. В. Михалкова помню... Наше с Митей присутствие длилось недолго. Я прочитала фамилии тех, кого просили воздержаться от выступлений, — уверена, что некоторые из них сидели тут же, — Митя подтвердил, да, таково желание семьи, а затем...

А затем, насколько я помню, ничего и не было. Выслушали, помолчали и попросили нас удалиться. Мы удалились, а они, видимо, там еще посидели, посоветовались.

В тот же вечер ко мне домой позвонил В. Н. Ильин. Сказал: "Просьбу семьи мы выполним, но и у нас к семье просьба. Очень нежелательно, чтобы на похоронах присутствовал один персонаж. Вы меня поняли?" "Да, да", — правдиво ответила я, ибо сразу поняла, что речь идет о Солженицыне. "Семье нашу просьбу передадите?" "Да, да", — лживо ответила я, ибо сразу же решила ничего не передавать.

И вот и день похорон.

В нашем иерархическом обществе иерархия, разумеется, соблюдается и при похоронах. Для рядовых членов СП отводится Малый зал Центрального Дома литераторов. Для тех, кто рангом повыше, — деревянный зал ресторана. Члены секретариата, так называемые литературные генералы, могут после своей кончины рассчитывать на Большой зал. Однако рассчитывать на то, что в этом просторном зале, кроме родных, друзей и некоторых коллег покойного, будут присутствовать и те, кто с ним не был знаком, но любил и ценил его творчество, — на это рассчитывать не приходится. Явиться на похороны людей не заставишь, тут уж похоронная комиссия бессильна. Быть может, наиболее впечатлительным членам комиссии накануне дня похорон снятся страшные сны... На сцене все как положено, меняется почетный караул, и венки, и цветы, и читаются по бумажкам хорошо обкатанные слова о том, что смерть вырвала из наших рядов, — но в зале-то, в зале всего три-четыре первых ряда заняты, остальные — а их много! — зияют пустотой, и никто не идет, и никто не придет! Выступающие на сцене, уткнувшись в бумаги,

читают о вкладе, внесенном покойным в отечественную литературу, и о всенародной к нему любви, но зал пуст, отсутствуют любящие читатели, да и писателей по пальцам можно пересчитать... Был случай, когда мне позвонила одна из секретарш СП и добрым голосом осведомилась: знаю ли я, что завтра будут хоронить такого-то?.. Я знала, конечно, об этом — взалхлеб сообщили сразу несколько газет, сообщили вовремя, а бывало, когда дело касалось писателей рядовых, треном не обласканных, о месте и времени прощанья с ними сообщали тогда, когда похороны уже миновали. Тут речь шла не о рядовом. Всего один роман был на счету у этого, тогда уже вполне пожилого писателя, написанный Бог знает когда, чуть ли не в тридцатые годы, обещанного продолжения романа не последовало, и ничего больше, заслуживающего внимания, из-под пера этого человека не вышло. Зато заслуживала внимания его общественная деятельность, его членство тут и членство там, его безотказная готовность следовать указаниям сверху — кого приказывали, душил, кого приказывали — ласкал. "Так вы будете завтра?" — спросила секретарша, и в голосе ее прозвучали нотки искательные. Мне хотелось сказать: "Еще чего!" Или: "И не подумую!" Но я взяла себя в руки и произнесла любезно: "Спасибо за сообщение". А секретарша, думаю, водя пальцем по строчкам писательской телефонной книги, звонила кому-то следующему на букву "И" и вот-вот должна была перейти на букву "К". Она, конечно, выполняла поручение похоронной комиссии, и именно тогда я представила себе, как эта комиссия встревожена, как ей мерещится завтрашний почти пустой зал и как она страдает от возможности дать приказ всем явиться!..

Солженицына с каждым годом преследовали все более жестоко, клевета против него уже не только просочилась в печать, но заливала ее страницы. В октябрьские дни 1969 г. готовилось его исключение из Союза писателей, оно и последовало 4 ноября в Рязани, где голосовали тамошние члены Союза в числе пяти человек, а затем, в нарушение Устава, не только без общего собрания, но и в отсутствие Солженицына, исключение было подтверждено в Москве. Велика была ненависть к этому человеку чиновников, и литературных, и нелитературных. И то, что Чуковский не раз в трудные для Солженицына периоды предлагал ему убежище, укрывал в своем переделкинском доме и невозможно было это запретить, в это вмешаться и оставалось лишь скрипеть зубами в бессильной злобе, обращало часть этой ненависти, этого "державного гнева" против самого Чуковского.

Но — ничего не поделаешь. Имя Чуковского таково, всенародная к нему любовь (не выдуманная, а истинная) такова, что хоронить его требовалось по первому разряду: Большой зал. Но тут уж у секретариата, у похоронной комиссии были иные заботы. Не пустого зала следовало опасаться, а переполненного. И скопления автомобилей у входа в ЦДЛ следовало опасаться, и я не удивилась, когда накануне похорон незнакомый голос спросил у меня по телефону номер моей машины. Значит, известно, что завтра на моей обязанности вместе с Митей и его женой было заехать в магазин на Масловке и привезти оттуда заказанные там цветы. Итак, близко к ЦДЛ будут пропускать лишь определенное число машин, остальным автовладельцам придется оставлять свой транспорт на других, прилегающих улицах.

Этого я ожидала. Но такого скопления милиции, голосов, называвших в мегафон номера пропускаемых машин, и того, что была перекрыта не только улица Герцена, но и улицы, к ней прилегающие, — такого я не ждала, такое видела впервые. Кордон в вестибюле ЦДЛ. В воздухе разлита тревога. Создавалось впечатление боевой готовности. К чему? Я не сразу об этом догадалась.

Убеждена, что военная обстановка на похоронах Чуковского, оскорбительная для всех любивших его, вписавшая еще одну драматическую страницу в историю нашей многострадальной литературы последних лет, не забыта, кем-то записана, и гораздо подробнее, чем могу сделать сегодня я из-за моего тогдашнего состояния некой заторможенности... Уже шел траурный митинг, и в какой-то момент, оглянувшись, я увидела Шостаковича. Знаком с ним я не была, видывала издали в консерватории и помню, как с первого взгляда меня поразило трагическое выражение, застывшее на его тогда еще молодом лице... Вот он пришел сюда, проститься с Корнеем Ивановичем, но почему он (в то время уже тяжело больной) стоит и почему не снял пальто? (Позже я узнала, что тем, кто опоздал, явившись уже во время митинга, верхнюю одежду снимать не разрешали и задерживаться в зале тоже не разрешали.)

А что касается митинга... Открыл его Михалков, сказал что-то выспренное, дал слово какому-то представителю какого-то министерства с хорошо отработанным набором привычных дежурных фраз. Говорил Л. Кассиль. Что — не помню. Но помню, что выступление ленинградца А. И. Пантелеева как бы прорвало блокаду официальнойщины... Выступал Евтушенко, в то утро, как мне кто-то сказал, специально прилетевший из Гагр. Еще помню, что хотела произнести прощальное слово Любовь Кабо, но ее почему-то не допустили... А в комнатке за сценой выдавали нарукавные повязки тем, кто менялся в почетном карауле, среди них — Твардовский... У гроба бесшумно находились члены семьи Корнея Ивановича во главе с Лидией Корнеевной.

Был момент, когда я решила выйти покурить. Открыла недалекую от сцены правую дверь и очутилась на боковой лестнице. Там, не у самой двери, а на ступеньках пониже, стояли два молодых человека в одинаковых темных костюмах. И сразу стало ясно, что не проститься с Чуковским они сюда явились. Они тут дежурят. Им что-то поручено. Что? И только в эту минуту я поняла, чем вызвана необычная обстановка на похоронах, — опасались появления Солженицына. Задержать его силой, что ли, было велено этим молодцам? Позже я узнаю, что в этот день он сидел в Рязани и были причины, по которым выехать в Москву не смог.

Кончилась траурная церемония. Люди стали высыпать на оцепленную со всех сторон улицу Герцена. Одни расходились, другие, собиравшиеся ехать в Перedelкино, либо встали в сторонку, ожидая автобусов, либо шли к своим машинам. Это происходило под звучащие в мегафон милицейские голоса, руководившие передвижениями. Слышалось: "Машина такого-то, номер такой-то! Можете подъехать ко входу!" Мне подъезжать ко входу не надо было, я везла в Перedelкино четырех дам, вполне ходячих, способных одолеть расстояние от дверей ЦДЛ до автомобиля. Нас беспрепятственно выпустили из оцепленного пространства, и мы помчались. И приехали в Перedelкино значительно раньше, чем прибыла туда похоронная процессия.

Эта процессия была громоздка. За похоронным автобусом следова-

ло еще несколько и целый караван автомобилей. Потом мне расскажут, что процессия, въехав в Переделкино и поднявшись от пруда в гору, не повернула налево, чтобы двинуться прямо к кладбищу, а сделала крюк и тем самым должна была проехать мимо дома Чуковского. У ворот дома стояла группа людей, группа друзей. Один из них мне и расскажет, что едва на горизонте показался похоронный автобус, как в мегафон прозвучал голос, исходивший от дежурившего неподалеку милицейского поста: "Едут! Приготовиться ко всему!" (Хотелось бы все-таки знать: к чему именно они готовились?)

А тем временем головной автобус приближался к дому, к любимому нами всеми дому — какие грозы начнут вскоре греметь над его крышей, греметь почти двадцать лет, но дом выстоит, дом уцелеет, — так вот, из группы друзей крикнули: "Остановитесь! Отсюда мы понесем гроб на руках!" Не остановились. Напротив. Шофер прибавил скорость. Без мегафонной команды. Кто-то, видимо, там, внутри, рядом с шофером сидел и им руководил...

Все это я знаю с чужих слов. Что же касается нас, пятерых, раньше времени явившихся в Переделкино, с нами было вот что...

Машину я оставила во дворе Дома творчества, и куда затем делись три моих спутницы, не помню. Мы же с Т. М. Литвиновой, одним из ближайших многолетних друзей и помощников Корнея Ивановича (они познакомились, когда Тане было 12 лет), пешком отправились на кладбище. Серое небо. Мокрый снег. У самого подъема, у дорожки, ведущей на кладбищенский пригорок, — снова милиция. Трое. Обычные милиционеры или рангом выше — не знаю, не мастерица я чины-то различать. Наше появление их насторожило. Произошел быстрый обмен репликами, что-то вроде: "Внимание! Сейчас будут..." — "Ждем. Готовы!" А мы побрели наверх. Побрели, говорю я, ибо скользили ноги на глинистой раскисшей земле. Шел снег, тут же таявший... Брели, поддерживая друг друга. Снег, небо, деревья. И после многолюдья, гудков, моторов, мегафонных воплей нам показалось тут так тихо, так, Господи, тихо, что и говорить не хотелось, как вдруг... Как вдруг справа, из-за могилы, прозвучал мужской голос: "Первый!" И сразу же из-за другой могилы, повыше, откликнулось: "Второй!" И так далее, и, кажется, дело дошло до шестого, пока мы добрались до уже вырытой ямы, куда вскоре опустят гроб с прахом Корнея Ивановича... А за могилами, значит, залегла ко всему готовая милиция. Сколько же, интересно знать, ее сотрудников было в этот день оторвано от своих текущих дел и расточительно брошено на охрану... На охрану чего?

Снизу гул, несут, осторожно ступая, гроб, за гробом толпа, мы с Таней отошли в сторону, гроб установлен, начинается траурный митинг. Митингом распорядился В. Н. Ильин. Первое слово вновь предоставлено С. В. Михалкову. Поразительна энергия этого человека, замечу в скобках! Уже тогда немолодой, а с той поры еще двадцать лет миновало, но Сергей Владимирович по-прежнему неутомим, действуя не столько в литературе, сколько на своих руководящих постах, — кого-то снимает, кого-то назначает, кого-то распекает, а иных — одобряет... И опять вслед за ним мы услышали какого-то чиновника местного значения: он поведал нам о том, что покойный много лет проживал на территории подмосковного Ленинского района, был гуманистом, тружеником и человеком с большой буквы... И тут В. Н. Ильин сделал попытку митинг

закрывать, но вперед вырвался Павел Нилин со словами: "Нет уж, я скажу!", оттеснил Ильина плечом и рассказал о том, как совсем недавно гулял с Корнеем Ивановичем вон там внизу, на этом поле, и говорили они о жизни, о смерти, о том, что такое посмертная слава и нужна ли она... И о связи времен, рвущейся с уходом таких людей, как Чуковский. Он говорил, а Ильин беспечно озирался, и едва говоривший замолк, как митинг был закрыт. Господи, думала я, ну чего он боится? Быть может, его беспокоит мокрый снег, падавший на мертвое лицо Корнея Ивановича? Нет. Он и не глядит на это лицо. Неужели он до сих пор опасается, что в последнюю минуту с какой-нибудь неожиданной, непредусмотренной стороны появится, возникнет у гроба рослая фигура, появление которой сведет на нет все принятые меры и грозит выговором тем, кто отвечает за похороны? Или того боится, что вдруг пожелает что-то сказать Lidия Корнеевна. И попробуй не дать слова родной дочери, а от нее неизвестно чего ждать, вернее — хорошо известно, чего от нее ждать, и ясно, что такое выступление грозит неудовольствием, а то и гневом начальства. Миновала и эта опасность. Началось прощание. Но и тут, по инерции, что ли, распорядитель спешил: скорей, скорей... И внезапно снизу послышались голоса: "Чего торопишься?", "Да успокойся ты!". И еще что-то в том же грубовато-неодобрительном духе, и голоса эти, обращавшиеся к распорядителю на "ты", явно не принадлежали писателям. Я глянула вниз. Весь склон от могилы до асфальтовой дорожки внизу был тесно покрыт людьми, падал снег на обнаженные головы мужчин, на головные платки женщин. Это была деревня Переделкино. Это были отцы и матери детей, которым Корней Иванович построил библиотеку, детей, приходивших на костер, ежегодно устраиваемый на участке Чуковского — десять еловых шишек — плата за вход! Много лет жил в Переделкине Корней Иванович, сменялись на его глазах поколения детей, и пришли с ним проститься те, кто выросли около него, а теперь сами стали родителями, и уже их дети ходили на костер и в библиотеку, и казалось, что так будет долго, что так будет вечно, но вот ЕГО не стало, и как же теперь будет странно и пусто в Переделкине!

И вот закрылась крышка гроба, и звуки забиваемых гвоздей, звуки мучительные для всех, кто любил того, кого сейчас медленно опустят в яму, навсегда, навсегда... Но с облегчением вздохнули те, кто нес ответственность за эти взрывоопасные похороны.

Вот, пожалуй, только в эти минуты я поняла, в чем была взрывная опасность. И в Солженицыне было дело, но не только ради него одного была создана обстановка боевой готовности...

В те времена незапланированных собраний не разрешалось, выступать публично следовало по бумажке, и кто ЧТО скажет, было известно заранее. А тут? Народу набегала туча, сдерживали, как могли, но всех не удержишь. Это ведь что получалось? Неорганизованное, никем не санкционированное и нежелательное сборище! На чьих похоронах? На похоронах писателя, ну да, известного, но запятнавшего себя симпатией к "врагу", к "предателю", другому бы не простили, а Чуковскому с рук сошло, и стар, а главное — слава мировая, в Оксфорде, нас не спросивши, какой-то мантией его наградили... Ну, короче говоря, лицо, власти неуютное! А власть наша издавна привыкла сама решать, какой писатель (художник, композитор, режиссер) должен считаться "великим", а какой — "выдающимся", а какой — обычным, рядовым. По

этим категориям и привилегии распределялись, и хоронили соответственно. А тут — все выбилось из привычных рамок, и чего ждать — неизвестно. Вот и понадобилось быть готовыми ко всему!

Такова была многозначительная страница, вписанная похоронами Корнея Ивановича Чуковского в трагическую историю русской литературы второй половины двадцатого века.

Пройдет немногим более двух лет, и я стану свидетелем еще одних похорон, вписавших в нашу историю еще одну постыдную страницу.

* * *

Судя по дате, рукою Твардовского написанной, он заходил к нам с А. А. Реформатским в тот маленький дом, где мы жили на Пахре, 24 августа 1970 г. Принес нам в подарок свой темно-зеленый, только что вышедший двухтомник "Василий Теркин" и "За далью — даль. Лирика". Первый том — Александру Александровичу надписанный так: "С добрым расположением души". Второй — мне: "С добрыми чувствами".

В тот день на нашей маленькой веранде я разговаривала с Твардовским в последний раз. Уже полгода прошло с тех пор, как он был лишен своего журнала, своего детища. "Я-то знаю, что значит этот журнал для общественного самосознания, я-то знаю!" Знал. Знал и то, как этот журнал любят, как тянутся к его правдивому слову. И ради того, чтобы журнал существовал, чтобы продлить ему жизнь, Твардовский, с его гордостью, молча терпел унижения в беседах с высокопоставленными чиновниками, вынужден был читать клевету на страницах печати. Но вот годы страданий кончились. Теперь можно было, следуя совету полковника-пенсионера и других доброжелателей, пожить спокойно. Но начались другие страдания. Твардовскому не давало покоя, терзало сознание своей беспомощности перед стеной лжи, которую ничем не пробьешь. "И некуда пойти. И некому объяснить!" Не в честном бою нанесли ему поражение. Это жгло его. И сожгло.

В тот день на веранде он с грустью и нежностью вспоминал вслух сотрудников и авторов "Нового мира".

Я передала ему слова Чуковского о том, что линия погибшего "Нового мира" победит через шестьдесят лет.

— Раньше, — сказал Твардовский. — Раньше! Лет через двадцать-тридцать.

Его пророчество исполнилось. Не шестьдесят лет понадобилось, а всего двадцать, чтобы правда о нашем прошлом, чтобы рассказы о нашей жизни без лжи и прикрас хлынули со страниц печати. Но Александр Трифонович этого времени не дождался.

"Есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано: отнять его детище — его страсть — его журнал. Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырем, — только бы продержался журнал, только бы не прерывалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! — и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости". (Из письма Солженицына от 27 декабря 1971 г., к девятому дню кончины поэта. Это письмо, всем нам

адресованное, разошлось в списках, многими было прочитано и переписано.)

Умер. И теперь гроб Твардовского, как он сам и предвидел, должны были обступить те самые, кто травили его, поносили, унижали, вырывали и вырвали из его рук журнал. Это пыталась предотвратить вдова поэта Мария Илларионовна: обратилась к Ю. Верченко, назвала несколько нежелательных имен. Просьба уважена не была. Травившие распорядились похоронами, почетным караулом обступали гроб, а один, и устно и в печати называвший Твардовского "кулацким сынком" (нежелательность присутствия этого человека Мария Илларионовна подчеркнула особо!), тем не менее не только присутствовал, но и речь на траурном митинге не дрогнул произнести. Зал, набитый народом, безмолвствовал. Однако, когда в почетном карауле появилась вальяжная, массивная фигура Софронова, тогдашнего редактора "Огонька", особо отличившегося в клевете и травле "Нового мира", по залу прошел ропот, напоминавший шум прибоя, и смыло со сцены массивную фигуру...

Как и два года назад, перекрыта улица Герцена и все к ней прилегающие улицы, и повсюду милиция, но тут еще и военная охрана, уже и пешеходу нельзя было приблизиться к зданию ЦДЛ. Кордон в вестибюле. Дежурные на лестницах. И я не знаю, каким Божьим чудом тот, появления которого так опасались, что и на войска не поспешили, в дом все-таки проник! Как я помню, его внезапное возникновение в промежутке распахнувшейся близкой от сцены двери, не всеми сразу это было замечено, но вот вошедший шагнул вперед, к первому ряду, к семье Твардовских, и тут уж его голова, его плечи всему залу видны — и шорох, и шепот, и волнение... Я только не помню, шел ли уже траурный митинг, и выступал ли кто-нибудь в эти минуты, и если да, то не запнулся ли? А он уже сидит бок о бок с Марией Илларионовной, а через какое-то время, когда началось прощанье, я увидела его склонившимся над гробом и осеняющим крестным знамением мертвое лицо Твардовского.

Позже Л. З. Копелев расскажет мне, что он в эти минуты находился в вестибюле и услышал, как кто-то из там дежуривших кинулся к телефону, набрал номер и — в трубку: "Объект прибыл. Что будем делать?" Ответа на вопрос Копелев слышать не мог, но краток был ответ, звонивший почти сразу же от телефона отошел, видимо, инструкций не получив. А какие тут могли быть инструкции? Проморгали, прошляпили, недоглядели, недо... А теперь что уж делать? Не силой же выводить! Тем более, что вдова взяла "объект" под руку, и так, вместе, они и двинулись к выходу, к похоронному автобусу...

Потом, прочитав у Солженицына: "Допущенный к гробу лишь по воле вдовы (а она во вред себе так поступила, зная, что выражает волю умершего) ...", я вспомню слова Твардовского: "Не сват он мне, не брат, не друг, не во всем его взгляды разделяю, но я люблю его, люблю... Давно должно было прийти такое русское..."

Морозный декабрьский день. Новодевичье кладбище. Велика была толпа, множество спин заслонили от меня гроб, и я не видела, как Солженицын, прощаясь, вновь осенил покойного крестным знамением, — это запечатлено на фотографии, обошедшей весь мир. Испарился из моей памяти краткий траурный митинг. Не помню и того, кто распорядился похоронами, — позже от старшей дочери Твардовского Валентины Александровны узнаю: и тут торопились. К вдове обращаться не смели, обра-

щались к дочери: "Пора гроб закрывать!" А все текла, все текла цепочка людей, желавших прикоснуться к покойному, поклониться ему, и дочь отвечала: "Нет еще. Подождите".

А тут — почему торопились? Худшее свершилось, лицо, появления которого опасались, присутствует, чего же еще опасаться? А того же, чего опасались, хороня Чуковского. Мероприятие, хорошо продуманное, отработанное, отрепетированное, в привычные рамки не укладывалось. Была искренна скорбь людей — помню залитое слезами лицо Кайсына Кулиева — и не один он плакал. Плакали и те, кто не был знаком с Твардовским лично. Прощались не только с любимым поэтом, автором "Василия Теркина" (это бы власти снесли!), а и с редактором "Нового мира", павшим в борьбе за этот журнал. Многие, думаю, пришедшие в тот день на кладбище понимали то, о чем скоро скажет в своем письме Солженицын: Твардовского убили, "отняв у него его детище, его страсть, его журнал". Об этом шептались, эти слова носились в воздухе, нервирова распорядителей, и как бы это не выплеснулось наружу в чьем-нибудь выкрике... "Пора закрывать гроб!" — "Нет, подождите!"

* * *

"Страшно умирать. Умрешь, а они заберут тебя себе!" — говорил Твардовский.

Пытались.

В послесловии к сборнику "Анна Ахматова" ("Художественная литература", 1974 г.) Н. Банников сообщит читателю:

"Революция толкнула ее (Ахматову) на большой и длительный путь самовоспитания". "На долю Ахматовой выпало немало испытаний, немало тяжелого". Что ж это были за испытания? Туберкулез, оказывается, перенесенный в молодости. Ну и еще были какие-то "обиды". Кто обижал ее? Об этом ни звука.

В предисловии к сборнику под тем же названием (Лениздат, 1976) Дмитрий Хренков пишет: "Она шла к постижению истины, к самораскрытию, не щадя себя. Каким же запасом прочности должно обладать сердце, чтобы после тяжких испытаний сказать самой себе: "Надо снова научиться жить". И она училась, училась, оставаясь наедине с чистым листом бумаги, в недоброежелательной иностранной аудитории, как это было, например, в Ленинградском Доме писателя имени Маяковского, когда Ахматова говорила английским студентам о своем отношении к известному постановлению ЦК партии о журналах "Звезда" и "Ленинград", не оставив слушателям ни малейших надежд посочувствовать ей. Она училась политической мудрости..."

Какой же вывод должен сделать для себя читатель из этих предисловий?.. Ахматова множество лет занималась перевоспитанием. Училась и училась, преодолевая свою идейную отсталость. "Постижению истины" ей, видимо, очень помогло постановление ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград". В послесловии, впрочем, об этом постановлении — ни звука. А в предисловии — звуки произнесены. И понимать эти звуки следует так: Ахматова с постановлением согласилась. Ну тяжело, ну обидно, но Ахматова, достигшая к этому времени "политической мудрости", поняла: ЦК и товарищ Жданов об ее же пользе заботились! И с ей свойственным патриотизмом — не позволила чужеземцам себе по-

сочувствовать, себя пожалеть. Bravo!

Из книги Лидии Чуковской (Записки об Анне Ахматовой. т. II, Париж, UMCA Press 1980) можно узнать, как все это было на самом деле. Ахматову на встречу с любознательными студентами привезли чуть ли не насильно. Приказ явиться был отдан по телефону из Союза писателей: "Вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили..."

И самого главного не сказано в предисловии Дм. Хренкова: у Ахматовой в том же мае 1954 г. был в лагере сын — Л. Н. Гумилев. Сын-заложник! Она-то хорошо знала, как отразится на его судьбе ее ответ англичанам! И кстати, процитированная автором предисловия строчка: "Надо снова научиться жить" — вырвана из стихотворения 1939 г., вошедшего в цикл "Реквием": "И упало каменное слово на мою еще живую грудь", где под "каменным словом" подразумевается приговор, вынесенный арестованному сыну. Надо было учиться жить, каждую минуту помня, что сын на каторге. А автор предисловия одобрительно восклицает: "И она училась, училась, оставаясь наедине с чистым листом бумаги..." В общем, упорно работала над собой, стремясь все осмыслить и, видимо, одобрить.

Записки Лидии Чуковской не были доступны широкому читателю. В сборниках Ахматовой не полностью давалась "Поэма без героя", а стихи из "Реквиема" печатались вразбивку, чтобы смысл не был понятен читателю. Сокрыта судьба сына. Из после-предисловий и иных статей, посвященных поэту, вырисовывается образ Ахматовой — удобный и удобный.

Что касается Корнея Ивановича, то после кончины его было сделано все возможное, чтобы отодвинуть от широкого читателя яркую и разнообразную деятельность Чуковского — никем не превзойденного критика, литературного исследователя, мастера высокого искусства перевода, знатока Некрасова, борца за чистоту страстно им любимого русского языка! Какими средствами это достигалось? А достигалось тем, что огромными тиражами переиздавались "Айболиты", "Мойдодыры" и прочие детские стихи Чуковского, к переизданиям других работ не стремились, и, Господи Боже, с какими муками, пятнадцать лет пролежав в издательстве, ободрав себе бока о цензурные выдергивания, вышел в 1979 г. бесценный альбом "Чуккокала"... Удобный и удобный образ Чуковского был таков: добрый дедушка, писавший в основном для малюток дошкольного возраста.

Твардовский. Да, бесспорно. Всенародно любимый поэт. Автор "Страны Муравии". Поэмы "За далью даль". А главное — автор "Василия Теркина". А был ли редактор "Нового мира", шестнадцать лет подвижнически сражавшийся за этот любимый всеми мыслящими людьми журнал, единственный журнал, смевавший говорить правду? Не было такого редактора. Во всяком случае, в печати о "Новом мире" Твардовского не поминали много лет. Столько лет, что целое поколение успело за эти годы вырасти...

"Умрешь, и они заберут тебя себе".

Пытались.

Но время все расставит по своим местам. Уже расставляет. Уже многое расставило.

**Кто вышел
на площадь?**

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ИЛИ ЗАЩИТА ПРАВ?

Двадцатилетний опыт независимого общественного движения в СССР:
1965 — 1985

I

Начало новой эпохи в истории нашей страны мы почувствовали более двух лет назад — возможно, позднее, чем иные наши сограждане, но и раньше многих других. Мы знаем немало людей, до сих пор отказывающихся признать наличие существенных перемен по сравнению с предшествующими временами: дескать, все бросающиеся в глаза новые явления — лишь косметика, наведение внешнего лоска на остающуюся принципиально прежней структуру, попытка завоевать доверие цивилизованного мира (или “выпустить пар из перегретого котла”, или “обмануть доверчивых простаков вроде Сахарова” — или вот нас). Мы понимаем причины этого недоверия — они слишком очевидны, чтобы о них говорить; хотелось бы, чтобы и власти, организаторы перестройки, отнеслись к этому недоверию с пониманием: это повысило бы их ответственность за следующие после столь многообещающего начала шаги.

Во всяком случае, “Горбачевская весна” для каждого начиналась со своей точки отсчета: для одних это был съезд кинематографистов, для других — публикация “Доктора Живаго”, для третьих — освобождение политзаключенных, для четвертых — поворотный пункт, будем надеяться, еще впереди. И всех, кого ни спроси, беспокоит неуверенность, сомнение в необратимости происходящего. Будем осторожны и мы, скажем все же так: *может быть, наступает, может быть, наступит новая эпоха.*

Чем она нова? Не свершениями (хотя они есть, но масштаб их ничтожно мал, если соотносить с насущными потребностями страны). Скорее надеждами, которые из очень дальней и неопределенной перспективы передвинулись в ближнюю, занимая место второго плана картины. Снова оговоримся: это не надежды на “хорошую жизнь” на нашем веку (как ни трактовать “хорошую жизнь” — как достаток продуктов и жилья, или как необходимый уровень духовной свободы, или как неприкосновенность личности).

Это надежды на развитие вместо стагнации; на то, что наш труд сегодня — всего общества и каждого из нас — будет полезен уже завтра, а не через триста лет. Мы считаем, что есть основания надеяться на это.

Мы, как и другие наши сограждане, испытываем неуверенность в необратимости благих перемен. Но эта неуверенность связана вовсе не с тем, что нам “мало дали сверху”: гласность — не в полном объеме, правду — не всю сразу, справедливость — лишь относительную и не одним махом для всех и т. п.

Готово ли наше общественное сознание к тому, чтобы строить

общественную жизнь на новой основе: на основе уважения к личности и мнению любого человека, на основе гражданской активности и независимости каждого? Вот с чем связаны, в основном, наши сомнения в успехе и необратимости перестройки. Мы считаем, что в нашей огромной многонациональной и многоукладной стране перспективы развития общества определяются его нравственным уровнем и уровнем его правосознания.

В одной статье невозможно ответить на поставленный вопрос в полном объеме. Однако мы считаем полезным взглянуть на наше не столь далекое и совсем недавнее прошлое под этим углом зрения. Из событий хрущевского времени и брежневского, послехрущевского, на наш взгляд, можно извлечь немало поучительных уроков — ведь каждый из тех периодов, на которые теперь принято делить нашу новейшую историю (“оттепель”, “застой”, “перестройка”), несет в себе семена следующего. Этот исторический опыт должен быть своевременно осмыслен, чтобы в будущем нынешняя “перестройка” не вспоминалась с ностальгической — но уже вполне безнадежной — тоской. Попытаемся понять: что же стало прорастать из “оттепельных” времен сквозь болотную гниль застоя, какие жизнеспособные ростки оказались устойчивы к этой гнили и расцвели в наши дни и нет ли в них унаследованной гнилостной заразы, микроба, вируса, притаившегося до поры?

Попробуем распутывать этот клубок с конца: каков смысл сегодняшней перестройки, чем она вызвана, как к ней относиться, какое место в ней может занять каждый из нас?

Сами реформаторы отнюдь не скрывают, что движимы не одной только собственной доброй волей. Среди объективных причин, обусловивших перестройку, называют: хронический кризис экономики, перманентное социальное недовольство, решительную недееспособность управляющих структур.

Однако одних лишь объективных причин, как хорошо известно, еще недостаточно; те же причины действовали и при сталинской диктатуре, и во времена хрущевской (потерпевшей поражение!) “оттепели”, и в царствование Брежнева. Объективно бывает predetermined лишь *необходимость*, но не *возможность* и не *направление* перемен.

Не проще обстоит дело и с субъективными причинами нынешних перемен. С одной стороны, признается, что “потенциал перемен назревал не только в материальной сфере жизни, но и в общественном сознании... росло понимание того, что так жить дальше нельзя”¹. С другой стороны, не очень ясно, как и благодаря чему оно росло, если последние два десятилетия нашей истории были годами сплошной лжи и коррупции, годами растления верхов и молчаливого долготерпения низов, онемевших перед начальственным произволом (именно такая картина встает со страниц печати). Ведь если не было ничего, кроме засилья сановных мафиози и общего молчания (а это действительно было!), то как же сумели выжить и затеять перестройку пресловутые “здоровые силы” и, главное, чем объяснить для многих неожиданный взрыв общественной активности после долгих лет пассивного прозябания?

Наивно думать, что, как полагают некоторые, “реформа рождает ре-

¹ Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление, М., Политиздат, 1988, с. 19.

форматоров”, что нынешнее оживление — ответ на призывы сверху. Сколько было таких призывов на нашей памяти? Кто им верил? Реформы не происходят по одному мановению начальственной руки, реформаторы рождаются лишь тогда, когда общество внутренне готово к переменам.

Наше общество действительно “созрело для перемен” — потому что не только молчало и терпело все эти годы. В его “молчаливом большинстве” шла подспудная работа, подготавливавшая эти перемены и создававшая для них благоприятную почву: снимались фильмы, писались книги, обсуждались новые (для нас!) социальные, философские, экономические, научные идеи. “В лучших своих произведениях писатели, деятели кино и театра поддерживали... надежду на духовное возрождение общества, как бы исподволь, вопреки бюрократическим окрикам, а то и преследованиям, воспитывали в людях нравственную готовность к перестройке”¹.

Но это еще не вся правда — и не только потому, что действительно лучшие произведения не доходили до публики, а пылились в фильмохранилищах и в ящиках письменных столов, но и потому, что и те, которые доходили, безжалостно “резались” худсоветами, уродовались Главлитом. Любая идея, прежде чем стать вполне осознанной и действенной, должна быть сначала ясно продумана и ясно высказана, причем оба эти процесса — мысли и речи — неразрывно связаны. А “бюрократические окрики” (а тем более “преследования”), кроме своего очевидного полицейского эффекта, имели еще и другой, куда более страшный: общество привыкало к допотопному, доречевому способу коммуникации, к тому языку всем понятных жестов, намеков и подмигиваний, который не просто приглушал и искажал, но прямо губил мысль: не имея возможности *договаривать* ее до конца, человек постепенно отучался ее до конца *додумывать*; цензура перемещалась на подсознательный уровень, нарушая саму способность мыслить.

И это означало бы духовную смерть общества, если бы не нашлось людей, осмелившихся говорить в полный голос, если бы общество было лишено независимых, неподцензурных каналов информации. Но такие люди и такие каналы информации были: не все молчали, не все говорили намеками, а те слова, те идеи, что ныне преподносятся чуть ли не как ниспосланное свыше откровение — “правовое государство”, “свободный рынок”, “демократия”, — впервые прозвучали много лет назад, во времена “застоя”, но не с высоких трибун, а со скамей подсудимых и страниц “самиздата”. Только тех, кто их тогда произносил, называли не “прорабами перестройки”, а “антисоветчиками”, “агентами ЦРУ”, “отщепенцами”, “так называемыми правозащитниками”, “диссидентами”. Сами же они — во всяком случае, многие из них — предпочитали называть себя правозащитниками, участниками правозащитного движения.

Но и теперь, когда упомянутых скамей сильно поубавилось (и это неоспоримое достижение перестройки), а в трибунах и “трибунах” недостатка нет, это движение, игравшее такую заметную роль в общественной жизни 60–80-х годов, по-прежнему остается практически неизвестным широкой советской публике. (Со времени написания нашей статьи (начало 1989 г.) положение во многом изменилось к лучшему. В част-

¹ Там же.

ности, появился ряд публикаций, посвященных отдельным эпизодам и участникам правозащитного движения; всюду, где это возможно, мы цитируем правозащитные документы по этим публикациям.

Замалчивается, а иногда прямо отрицается то влияние, которое правозащитное движение оказало на идеи и лозунги нынешней перестройки. Вот, например, характерное высказывание Г. Бакланова, главного редактора журнала "Знамя": "Говорят, что у победы много отцов. Поражение — всегда сирота. Когда вчера кто-то, не помню кто, говорил, что наша перестройка пользуется идеями "самиздата", я понял, что это уже признание некоторых наших побед. Если мы действительно победим, у нас окажется много соавторов..."¹

Не будем здесь оспаривать этого утверждения по существу, но его тон, на наш взгляд, неуместен и не вполне пристоеен. Собственно, о чем спор? Ведь не об авторстве же правовых понятий, возраст которых для этого слишком почтенен. (Еще недавно желающих усыновить этих "сирот", кроме правозащитников, почему-то не было.) Обратим внимание, однако, на проходное выражение "если мы действительно победим...". Многие сегодня в разговорах начинают фразу с этого "если" — и это выражает нашу неуверенность, наши опасения. Действительно, может быть, Бакланов прав, и у победы действительно много отцов. Но если бы речь шла о победе! До победы еще далеко, и совершенно неизвестно, кто из сегодняшних претендентов будет настаивать на своем отцовстве завтра.

В этих новых условиях — пробудившихся неопределенных и смутных надежд и, напротив, весьма определенных, но очень разнообразных прогнозов — мы, как и очень многие, ощущаем неотступную потребность определить свою личную позицию, свое место в начавшемся процессе (и, естественно, заново оценить позицию, которую занимали прежде), а это в свою очередь побуждает нас непредвзято рассмотреть значение и смысл правозащитного движения, к которому мы были причастны около 20 лет, — но не только это.

Дело также не в том, чтобы восстановить "историческую справедливость" и воздать должное очередным "провозвестникам перестройки" (хотя, конечно, на фоне реабилитации жертв сталинского террора такое молчание о событиях совсем недавнего прошлого выглядит весьма многозначительно и говорит о многом, к чему мы еще вернемся).

Мы выделяем правозащитное движение из других форм общественной активности не только потому, что лично в нем участвовали и, следовательно, лучше знаем; не только потому, что оно, на наш взгляд, предвосхитило многие идеи и лозунги перестройки. Нам кажется, что это движение в течение последних двух десятилетий занимало центральное положение среди других течений и было для них объединяющим; мы думаем также, что его принципиальные основы достаточно новы, по крайней мере в русской истории, и перспективны для ее будущего развития, особенно в теперешней сложной и, как мы понимаем, решающей ситуации.

Вряд ли мы скажем нечто абсолютно новое для бывших и настоящих участников правозащитного движения. Многие из них и до нас пытались осмыслить пройденный путь и оценить его значение; особенно бурная

¹ Из выступления на симпозиуме "Роль творческой интеллигенции в перестройке" (март 1988 г., Колленгаген). Цит. по: *Синтаксис*. Париж, 1988, № 21, с.54.

полемика на эту тему ведется на страницах эмигрантских изданий и в современном "самиздате" сейчас, в пору перестройки. Мы частично знакомы с этой полемикой и неизбежно в чем-то будем ее повторять, извиняя себя тем, что, во-первых, некоторые истины не грех и повторить и, во-вторых, надеждой, что не все сказанное нами будет простым повторением очевидного. Кроме того, полемика эта (не говоря уже о том, что она почти недоступна русскому читателю) ведется прежде всего людьми осведомленными, которым нет нужды напоминать друг другу о фактах и событиях, ибо они сами в них участвовали. Мы же надеемся, что нас услышат и те, кому эти факты и события мало или вовсе неизвестны (но кто искренне озабочен судьбами нашей страны). Поэтому, не ставя себе непосильной задачи рассказать сколько-нибудь подробно про историю правозащитного движения, мы, имея в виду эту категорию наших потенциальных читателей, остановимся на некоторых моментах его истории чуть более подробно, чем это нужно для нашей непосредственной цели.

II

Начало правозащитного движения мы относим к 1965 году, когда новое тогда, брежневское, руководство впервые ясно дало понять, что намерено прибрать к рукам интеллигенцию, "распустившуюся" за годы хрущевской "оттепели". Его условными вехами можно считать два судебных процесса: суд над Иосифом Бродским в Ленинграде и суд над Даниэлем и Синявским в Москве¹.

В силу ряда обстоятельств процесс Синявского и Даниэля вызвал особенно широкий общественный резонанс, стал детонатором событий, с которых и началось правозащитное движение. Ни поэт — "тунеядец" Бродский, ни писатели — "особо опасные государственные преступники" Синявский и Даниэль не могли и предположить такого общественного резонанса, еще менее ожидали подобного взрыва власти и КГБ.

...Вспомним, как это начиналось. Вспомним саму предысторию этого суда, самую фантастическую атмосферу, в которой жили эти двое. Они не были отчаянными смельчаками, дерзко и открыто бросившими вызов советскому общественному строю, много лет подряд душившему литературу. Они не были и тайными заговорщиками, начинявшими бомбы, чтобы этот строй взорвать. *Подпольные писатели!* Даниэль стукнет условным стуком в заглобленное в землю окошко на Поварской — и Синявский впустит его в свой рабочий кабинет, где только стол, книги да продырявленная тахта. И как нарочно — в подвале. В подполье! И читают друг другу — да немногим друзьям, посвященным в их тайную жизнь, в секретные стуки, — читают только что испеченные, с хрустящей корочкой страницы. Что же услышат уже унюхавшие, уже идущие по следу, уже кружащие возле подъезда сыщики из КГБ?

"...Да не кинуться, не двинуться, не броситься: видно, крепко я привязан — не уйти" — мягкий баритон Николая Аржака. Да ведь это даже не "451° по Фаренгейту" — это же Буратино, тайна Золотого Ключика, дверца, замаскированная нарисованным очагом, а за ней — блестящий

¹ Оба процесса теперь довольно подробно описаны в советской печати.

мишурой, радостный, нарядный Театр! Свободное творчество! Свободное — пока крыса Шушара ничего не унюхала...

Вот эта тайная свобода и была вызовом, была взрывом, вернее, детонатором взрыва — чего не знали, не ведали загодя, и предположить даже не могли особо опасные государственные преступники Андрей Синявский и Юлий Даниэль.

Начались допросы "свидетелей" — т.е., вернее, "ушеслышцев", кто, по агентурным данным, слушал "на тайных сборищах" писателей-подпольщиков. И тут следователи встретились с первой неожиданностью: большая часть свидетелей, несмотря на угрозы, несмотря на памятный, не изжитый за 12 лет страх перед КГБ, держались независимо, по мнению следователей, "вызывающе".

Нашлось всего несколько человек, давших необходимые следствию и суду показания — об авторстве крамольных произведений и об их "антисоветской направленности" (эти показания, будучи субъективной оценкой, не могли быть основой для обвинения; но *эксперты* — акад. Виноградов В. В., Костомаров В. К. — дали такое же заключение. Вряд ли сто́ит бросать камень в этих слабых духом людей: десятилетия страха ввелись им в гены).

Другой, еще большей неожиданностью для властей была общественная реакция на арест и суд.

Вначале в Москве, а потом и в других городах распространились слухи:

— Началась ресталинизация...

— Снова сажают "за ни за что"...

— Публиковали за границей? Ложное обвинение: обвинять могут в чем угодно, хоть в шпионаже в пользу марсиан.

Но очень скоро наиболее распространенной стала другая позиция:

— А если они и писали, так что?

— Это не запрещено законом!

— И псевдонимы не запрещены! И публикации где угодно — хоть в преисподней!

— Кого в последний раз у нас судили за творчество? Радищева?

К моменту суда московская интеллигенция была накалена до крайности. Но КГБ еще не осознал, что произошло. Марии Розановой-Синявской и Ларисе Богораз высокие чины из этого ведомства говорили:

— Интеллигенция возмущается, потому что боится новой волны арестов. Вот увидят, что чекисты теперь сажают не просто так, а за действие, что срок дают в рамках закона, по суду, а главное, что их самих, ни в чем таком не провинившихся, не сажают, — и успокоятся.

На этот раз наши славные чекисты глубоко заблуждались; они неверно оценили ситуацию. Еще до суда начались выступления, продиктованные отнюдь не страхом, а осознанной, независимой гражданской позицией. Одним из первых таких выступлений стала демонстрация, состоявшаяся 5 декабря 1965 года в Москве, на Пушкинской площади, под лозунгами: "Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!" и "Соблюдайте Советскую Конституцию!". В этой демонстрации участвовала преимущественно молодежь, внявшая "Гражданскому обращению", которое распространил в нескольких московских вузах математик и поэт Александр Есенин-Вольпин:

"Несколько месяцев тому назад органами КГБ арестованы два гражд-

данина: писатели А. Синявский и Ю. Даниэль. В данном случае есть основания опасаться нарушения закона о гласности судопроизводства. Общеизвестно, что при закрытых дверях возможны любые беззакония и что нарушение закона о гласности (ст.3 Конституции и ст. 18 УПК РСФСР) уже само по себе является беззаконием. Невероятно, чтобы творчество писателей могло составить государственное преступление.

В прошлом беззакония властей стоили жизни и свободы миллионам советских граждан. Кровавое прошлое призывает нас к бдительности в настоящем. Легче пожертвовать одним днем покоя, чем годами терпеть последствия вовремя не остановленного произвола.

У граждан есть средства борьбы с судебным произволом, это — “митинги гласности”, во время которых собравшиеся скандируют единственный лозунг: “Требуем гласности суда над... (следуют фамилии обвиняемых)” или показывают соответствующий плакат. Какие-либо выкрики или лозунги, выходящие за пределы требования строгого соблюдения законности, безусловно, являются при этом вредными, а возможно, и провокационными, и должны пресекаться самими участниками митинга.

Во время митинга необходимо строго соблюдать порядок. По первому требованию властей разойтись — следует расходиться, сообщив властям о цели митинга.

Ты приглашаешься на “митинг гласности”, который состоится 5 декабря с.г. в 6 часов вечера в сквере на площади Пушкина у памятника поэту.

Пригласи еще двух граждан посредством текста этого обращения¹.

В дни процесса (10—14 февраля 1966 г.) у здания, где проходил суд, собиралась толпа в несколько сот человек и не расходилась до конца судебных заседаний. Хотя суд был объявлен открытым, в зал впускали немногих, по специальным пропускам; и хотя часть публики аплодировала речам общественных обвинителей З. Кедринной и А. Васильева, аплодировала приговору — 7 лет заключения Синявскому и 5 — Даниэлю (были даже возгласы “Мало дали!”), другая часть отобранной заранее публики опускала глаза и сжимала кулаки; некоторые тайком, а другие демонстративно приветственно кивали подсудимым.

Подсудимые не признали свою вину, отрицали умысел на “подрыв или ослабление советского государственного и общественного строя” (ст. 70 УК РСФСР), настаивали на своем праве на свободу творчества, на инакомыслие.

“...Возникает вопрос: что такое агитация и пропаганда, а что художественная литература? Позиция обвинения такая: художественная литература — форма агитации и пропаганды; агитация бывает только советская и антисоветская; раз не советская, значит антисоветская.

...Тут начинает действовать закон “или — или”... Кто не за нас, тот против нас. В какие-то периоды — революция, война, гражданская война — эта логика, может быть, и правильна, но она опасна применительно к спокойному времени, применительно к литературе... А-а, не социалист? Не реалист? А-а, не марксист? А-а, фантаст? А-а, идеалист? Да еще за границей? Конечно, контрреволюционер!

¹ Цит. по: Цена метафоры или преступление и наказание Синявского и Даниэля. М., “Книга”, 1989, с. 18—19.

Вот у меня в неопубликованном рассказе "Пхенц" есть фраза, которую я считаю автобиографической: "Подумаешь, если я просто другой, так уж сразу ругаться..." Так вот: я другой. Но я не отношу себя к врагам, я — советский человек...

...В глубине души я считаю, что к художественной литературе нельзя подходить с юридическими формулировками..."

А. Синявский. Из последнего слова на суде

Событием, незапланированным организаторами процесса событием стала кампания писем и петиций в высокие инстанции, ставивших под сомнение не только вину подсудимых, но и саму законность привлечения их к суду — и этим резко отличавшихся от писем в защиту репрессированных, которые, случалось, писались и во времена Сталина и Хрущева: если те были *прошениями подданных*, то эти — *требованиями граждан*.

"Суд над писателями Синявским и Даниэлем по внешности совершался с соблюдением всех формальностей, требуемых законом, и, однако, я возражаю против приговора, вынесенного судом. Почему?"

Потому что сама отдача под Уголовный суд Синявского и Даниэля была противозаконной.

Потому что книга, беллетристика, повесть, роман, рассказ — словом, литературное произведение, слабое или сильное, талантливое или бездарное, лживое или правдивое, никакому суду, кроме общественного, литературного, ни уголовному, ни военно-полевому не подлежит. Писателя, как и всякого советского гражданина, можно и должно судить уголовным судом за всякий проступок — но только не за его книги. Литература уголовному суду не подсудна. Идеям следует противопоставлять идеи, а не лагеря и тюрьмы"¹.

Л. Чуковская. Из открытого письма Михаилу Шолохову

"К сожалению, к числу неизжитых последствий культа личности относится и боязнь печатного слова. В последние годы все новые и новые темы выходили из-под спуда и получали доступ в печать... и все же до сих пор многие темы остаются запретными; называю наугад несколько: антисемитизм, проблема ответственности тех, кто творил беззакония в недавние годы, и соответственно тех, кто ничем не препятствовал этим беззакониям (эта последняя проблема ставится в повести Аржака "Искупление")... Снятие запрета с этой и подобной тематики было бы только благом для нашего народа, как был благом для него XX съезд партии.

...Если под антисоветской деятельностью понимать затрагивание любой темы, о которой не принято писать, то эти вещи — действительно антисоветские. Однако таким образом нетрудно объявить антисоветским негодное кому-либо произведение, вплоть до заметки в стенгазете, критикующей работу столовой..."².

Ю. Левин, канд. физ.-мат. наук. Из письма в газету "Известия"

"... "Декларация прав человека", подписанная и нашей страной, в ст. 19 утверждает "...право на свободу распространения идей любыми средствами и независимо от государственных границ" ...и вдруг люди, осуществившие его, преследуются в уголовном порядке.

Я никого не прошу ни о каких одолжениях, снисхождениях, льго-

¹ Там же, с. 505.

² Там же, с. 31.

тах, я требую соблюдения норм человечности и законности”.

*Л. Богораз. Из писем Первому секретарю ЦК КПСС
Генеральному прокурору, председателю КГБ*

Эти письма, по существу, были открытыми. Адресованные власти, они фактически обращались к независимому общественному мнению и одновременно способствовали его формированию. Потом эти письма вместе с откликами советской и зарубежной прессы, а также другими материалами по процессу были собраны А. Гинзбургом в “самиздатскую” “Белую книгу”¹.

С тех пор такая эпистолярная форма выражения общественного мнения стала весьма популярной. Особенно урожайными в этом отношении были 1966—1969 годы, когда все явственней становились приметы гонимой реабилитации Сталина, ужесточалась внутренняя политика, были введены войска в Чехословакию. В обиход вошло словечко “подписанты” — так называли тех, кто составлял и подписывал открытые обращения, петиции и протесты. После короткого замешательства на них обрушились преследования: “проработки” с требованием покаяться, увольнения с работы, исключения из партии, судебные репрессии (так, были арестованы в 1967 году составитель “Белой книги” Александр Гинзбург и помогавшие ему друзья: Юрий Галансков, Вера Лашкова и Алексей Добровольский). Это в свою очередь вызвало новые протесты, за которые снова преследовали и сажали, и т. д.

...Словно мы вдруг очнулись и вспомнили, вызвали из глубин под-
сознания воспоминание, что закон — не дубинка в руках начальства, что-
бы ловчее нами управлять; что закон должен — если это Закон — и нас
ограждать от произвола, обеспечивать наши права. А какие у нас права?
Ах, да! — свобода совести, свобода мысли, свобода слова, свобода твор-
чества...

Вспомнили, что действия властей должны быть подконтрольны об-
ществу, а если общество уклоняется от этого, то оно само — каждый
из нас! — ответственно за все, что с ним произошло, происходит и будет
происходить. Это воспоминание близко лежало: еще бередил память
десятилетней давности доклад Хрущева, еще без ответа оставался воп-
рос: “Неужели один Сталин — виновник кровавой бойни в такой огром-
ной и многолюдной стране?! Ну, пусть с сотней, с тысячей опричников?!
А нас около 200 миллионов — и мы ни при чем?!”

Чтобы контролировать управляющий аппарат снизу, нужна незави-
симая от него гласность — ну, так у нас уже есть инструмент такой незави-
симой гласности — “самиздат”: “Эрика” берет четыре копии, вот и
все — и этого достаточно!” (А. Галич. “Мы не хуже Горация”). По тем же
каналам, по которым уже распространялось независимое творчество
— поэзия и проза, теперь стала расходиться, передаваться из рук в руки
независимая актуальная информация на запретные темы: о политических
репрессиях, общественных протестах, о положении политзаключенных,
книги и статьи по другим, “закрытым” общественно важным вопросам.
30 апреля 1968 г. вышел первый выпуск “Хроники текущих событий” —
машинописного информационного бюллетеня о положении с правами
человека в Советском Союзе, издание которого, несмотря на постоянные

¹ Составители цитированного сборника “Цена метафоры” опирались именно на эту “Белую книгу”. Франкфурт-на-Майне, “Посев”, 1967.

преследования его составителей, продолжалось вплоть до 1983 года (когда вышел последний, 64-й выпуск).

Еще раньше, сразу после ареста Синявского и Даниэля, самоорганизовалась материальная помощь их семьям, а потом и семьям других узников совести и политзаключенных. Работники редакций, научных и учебных учреждений скидывались в получку по пятерке, по трешке, кто сколько может; деньги отдавали женам политзаключенных — было на что съездить на свидание, собрать передачу в тюрьму, отправить посылку в зону (тогда еще были, довольно регулярно, свидания и посылки). В политлагеря потек тонкий, ограниченный жесткими инструкциями, ручеек материальной поддержки — и щедрый поток поддержки нравственной: письма, книги, приветы с воли. “Р-ву пишет только полуслепая мать, жена от него отреклась”, — сообщал в письме из лагеря Юлий Даниэль. И Р-ву начинали писать незнакомые люди: о московских выставках, о новых фильмах, о воспитании детей; кто-то разыскивал мать Р-ва и передавал ей деньги. По ходатайству жены его лишили отцовских прав — но его дети стали получать подарки ко дню рождения “от папы”. Кто-то вдруг вспомнил, казалось, прочно забытое, выброшенное из памяти: “В конце 50-х, кажется, на истфаке МГУ посадили группу аспирантов и выпускников факультета; где они?” — и отыскивали их в богом забытых мордовских лагерях, возобновляли давнее знакомство в письмах, и вот уже находились охотники сопроводить большую старуху на свидание с сыном — историком А. Р. Находилось место, где можно было переночевать женам украинцев-“националистов” на пути через Москву в Мордовию; и сестра грузинского танцовщика А. Н. (“невозвращенца”, оставшегося в Англии после гастролей, да, на свою беду, затосковавшего по родной Грузии и вернувшегося) тоже находила в Москве тепло и приют; и многочисленная родня христиан-пятидесятников с Дальнего Востока не мыкалась более неприкаянно по московским вокзалам.

III

Так возникало то, что вскоре получило название правозащитного движения. Было ли правозащитное движение действительно *общественным*, массовым или же ограничивалось выступлениями немногих одиночек и небольших групп “никого не представляющих отщепенцев”, как это старалась представить официальная пропаганда? Письма в защиту Синявского и Даниэля подписали 80 человек, в том числе 60 членов Союза писателей (1966 г.); письма по поводу “суда четырех” (А. Гинзбурга, Ю. Галанкова, В. Лашковой, А. Добровольского) — 700 (из них 45% составляли ученые, 23 — деятели искусств, 9 — издательские работники, учителя, врачи, юристы, 13 — техническая интеллигенция, 6 — рабочие, 5% — студенты)¹. С 1965 года в петициях, заявлениях, протестах приняло участие, по грубой оценке, около 1500 человек, в основном — научная и творческая интеллигенция. Разумеется, это ничтожно мало в масштабах страны. Как пел Юлий Ким:

¹ А м а л ь р и к А. Просуществовал ли Советский Союз до 1984 года? — *Огонек*, 1990, № 9, с. 19.

На тыщу академиков и член-корреспондентов,
На весь организованный культурный легион
Нашлась лишь эта горсточка больных интеллигентов,
Чтоб высказать, что думает здоровый миллион.

Однако правозащитное движение заключалось не только в петиционной кампании. В "теневых" формах правозащитной деятельности — материальной помощи репрессированным, распространении "самиздата", сборе правозащитной информации — постоянно или эпизодически участвовало гораздо больше людей; мы не беремся дать хотя бы предположительную оценку их численности. Еще более трудно представить себе число "потребителей" правозащитной информации и литературы. Во всяком случае, эта подводная часть движения была весьма значительна. Свидетельство тому — появление новых и новых имен правозащитников во все время существования движения, затягивание брешей, пробитых в нем репрессиями. При этом в течение долгого времени, вплоть до начала 80-х годов, движение оставалось идентичным самому себе, то есть обнаруживало устойчивость своей правозащитной идеологии, социального состава и форм деятельности.

Таким образом, несмотря на свою относительную малочисленность, правозащитники вовсе не были изолированными от общества, разрозненными одиночками. Несомненно также, что правозащитное движение отражало более или менее осознанное, но все же весьма глубокое недовольство развитием страны после такой обнадеживающей хрущевской "оттепели" и прежде всего недовольство узкого слоя интеллигенции — родного корня и естественной среды различных общественных движений, то есть неплохо осведомленной, не чуждой общих вопросов, прямо не связанной с управляющим аппаратом, думающей и пишущей части общества. Однако, будучи по своему социальному составу преимущественно интеллигентским, это движение — во всяком случае, в субъективном восприятии его участников — отнюдь не претендовало на то, что представляет интересы этого сословия, в том смысле, в каком представляли интересы различных социальных групп традиционные политические партии. Это обстоятельство кажется нам принципиально важным для понимания правозащитного движения. Оно вообще не представляло и не отстаивало групповые интересы — оно выражало *общественную* и в то же время глубоко личную *позицию* тех, кто в нем участвовал, тех, кто его поддерживал, тех, кто ему сочувствовал.

...Если спросить сегодня, если бы спросить в свое время (но суд не спрашивал!): что побудило вас — научного работника, редактора, писателя, инженера, вас — мать семейства, вас — молодого человека, начинающего жизнь, — что заставило вас отказаться если не от благополучного, то по крайней мере от стабильного существования, от поглощающих вас прежде профессиональных интересов, от успешной карьеры, от перспектив личного успеха — если бы задать такой вопрос, ответы у каждого были бы разные, но суть их сводилась бы к нескольким общим точкам. "Я ответственен за все, что происходит в моей стране и с моей страной"; "Я не хочу, чтобы от моего имени совершались действия и принимались решения, на которые я не имею ни малейшего влияния"; "Я хочу помочь попавшим в беду — уж на это я имею право!" Как можно видеть, импульсом к участию в правозащитной деятельности была

нравственная позиция (осознаваемая с большей или меньшей степенью обобщения) — идея *личной ответственности*.

Когда-то, в начале 60-х, самодеятельный театр в Новосибирском академгородке разыгрывал такую сцену: выходил один исполнитель, разводил руками и произносил: "А что я мог сделать один?!" Затем появлялся с теми же словами и жестом другой, третий... И вскоре на эстраде маршировала дружно и в ногу целая колонна людей, скандировавшая хором: "А что я мог сделать один?!" Вот эта идея — если даже ты один, это не снимает с тебя личной ответственности за страну, за общество; делай, что можешь! — эта идея была определяющей...

Глубоко личный, сугубо нравственный характер побуждений, которыми руководствовались правозащитники, затрудняет попытку охарактеризовать правозащитную позицию в целом. Правозащитное движение не выработало общей, обязательной для всех его участников программы, не выдвинуло общепризнанных лидеров, чуралось организации. Оно больше проявило себя в конкретных действиях, часто бывших непосредственной нравственной реакцией на конкретные акты произвола и беззакония, чем в развернутых декларациях. Правозащитная позиция формировалась скорее интуитивно, вырастая из этих конкретных действий, чем осознанно; при этом в ее формировании участвовали самые разные люди, часто вовсе не единомышленники в вопросах мировоззрения и идеологии.

Поэтому можно попытаться указать лишь наиболее существенные, принципиальные черты этой позиции, не претендуя на ее исчерпывающий анализ. Быть может, наиболее сжато некоторые из них выражены в следующем отрывке из открытого письма Инициативной группы по защите прав человека в СССР (1970 г.) :

"...всех нас, верующих и неверующих, оптимистов и скептиков, людей коммунистических и некоммунистических взглядов, объединяет чувство личной ответственности за все происходящее в нашей стране, убеждение в том, что в основе нормальной жизни общества лежит признание безусловной ценности человеческой личности... Отсюда вытекает наше стремление защищать права человека. Социальный прогресс мы понимаем прежде всего как прогресс свободы. Нас объединяет также стремление действовать открыто, в духе законности, каково бы ни было наше отношение к отдельным законам... Мы пытаемся что-то сделать в условиях, когда, с нашей точки зрения, ничего не делать — нельзя"¹.

Итак, защита прав человека, его основных гражданских и политических свобод, защита открытая, легальными средствами, в рамках действующих законов — составляла главный пафос правозащитного движения. Прибавим сюда отталкивание от политической деятельности, подозрительное отношение к идеологически окрашенным проектам социального переустройства, неприятие любых форм организации — вот тот комплекс идей, который можно назвать правозащитной позицией.

Сейчас эти идеи — во всяком случае, в той их части, что относится к защите прав человека, — кажутся самоочевидными и, по крайней мере на словах, признаются многими, в том числе и официально. Не так было в пору возникновения и наиболее активной деятельности правозащитно-

¹ Цит. по: Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Khronika Press, Benson, USA, 1984, с. 267–268.

го движения. Власть смотрела на правозащитное движение как на политическую оппозицию. Ей вторила часть действительно оппозиционных кругов общества, считавших принципиально правовую, легальную установку правозащитного движения лишь более или менее практичным камуфляжем, прикрывающим политические цели. Как писал видный деятель правозащитного движения Валерий Чалидзе: "Это движение было мало понято в России и на Западе. Конечно, всем понятны призывы к соблюдению прав человека. Но *неполитичность* и чисто нравственный характер движения понятны немногим. И напротив, многие критиковали это движение за отсутствие политической программы"¹.

Образцом такой критики может служить следующая развернутая цитата из "самиздатской" статьи 1969 года, вернее, из изложения этой статьи в 17-м выпуске "Хроники текущих событий". Автор А. Михайлов (псевдоним) пишет:

"С начала 50-х годов страна — в состоянии кризиса. Этот кризис есть конфликт между производительными силами и производственными отношениями. Административно-бюрократическая система управления экономикой исключает научные методы ведения хозяйства.

Кризис породил либеральную тенденцию... В 1968 году либеральная оппозиция впервые выступила открыто. Она была быстро подавлена, и началась правительственная реакция. ...Несостоятельность оппозиции... в непонимании реального положения вещей. Конфликт общественный, объективный... обернулся для них конфликтом субъективно-нравственным — между отдельными личностями и государством. Либералы-романтики действовали, руководствуясь лишь эмоциями, нравственными побуждениями, они хотели спасти только свою душу... и для этого жертвовали собой... Это был протест ради протеста — без положительной программы, без конструктивных идей, без социальной почвы.

Поскольку либералы выступали открыто... они стремились опереться на закон... Они апеллировали к властям, а те сажали их, не считаясь... ни с какими законами. Конституционно-правовая, формальная направленность движения породила в нем противоречие: люди, выступающие во имя правды... не могут критиковать режим по существу... а вынуждены ограничиться критикой его отдельных проявлений...

Единственное общее требование оппозиции — чисто правовое: это свобода слова. "Не сажать за убеждения и печатать все или хотя бы больше" — вот фактический девиз протестантов. Недаром открытые протесты начались после процессов над несколькими вольнодумными интеллигентами. Между тем широкие слои населения, придавленные нуждой и социальными неурядицами, не видят в либералах защитников своих интересов; последние готовы пострадать за Синявского и Даниэля и им подобных, но игнорируют обывателя с его нуждами и страданиями. Требование свободы слова непосредственно выражает только сословные интересы творческой интеллигенции... Оппозиция замкнута. Морализаторство, юридическое крочктворство, громкие фразы — удел узкого круга людей. Они достойны личного уважения, но действия их носят объективно... провокационный характер... правительство держит на свободе

¹ Чалидзе В. Правозащитное движение: проблемы и перспективы.— Сб. СССР. *Внутренние противоречия*, № 9, Chalidze Publications, Benson, USA, 1984, с. 7.

часть активных оппозиционеров только потому, что их деятельность... позволяет контролировать недовольство.

Реальностью является приближение национальной и мировой катастрофы... Надо выработать эффективную политическую позицию, которая даст выход из тупика; выработать концепцию, объясняющую современное общество, его механизм... Перспективен подход к общественным проблемам академика Сахарова (однако форма его выступления — романтическое обращение к руководству — делает невозможным беспристрастный научный анализ).

Оппозиция 1968 года не старалась создать реальный и одновременно привлекательный общественный идеал. Интеллигенция должна найти общий язык с массами, выразить их интересы и требования... нужна идея платформа... символ веры. На выработку такой программы должны быть направлены все усилия мыслящих людей. Оружием должен быть "самиздат", анонимный и псевдонимный (самосажанию следует положить конец, демонстративные акты прекратить). Таким образом прогрессивное социальное движение может стать серьезной силой¹.

Критика такого рода достаточно серьезна, чтобы от нее просто отмахнуться. Действительно, в 60–70-е годы недовольна была не только интеллигенция. Вероятно, не будет ошибкой утверждать, что недовольством было охвачено все общество. Это недовольство имело в большинстве своем латентные формы, проявляясь косвенным образом в общественной апатии, безынициативности, всеобщем воровстве, пьянстве, коррупции, дошедших до размеров всенародного бедствия. Выражалось оно и более явно, особенно там, где были ущемлены интересы социально значимых групп населения — национальных, религиозных, — приобретаемая в этом случае характер массовых движений. Достаточно упомянуть о еврейском движении за свободу эмиграции, движении крымских татар за возвращение на родину, католическом движении в Литве. Были и попытки выдвижения конструктивных проектов идеального общественного устройства, а также попытки создания подпольных организаций. Были религиозные поиски, уход в мистицизм, движение независимых художников и многое другое.

Нельзя сказать, чтобы правозащитное движение явилось реакцией на всю эту общественную ситуацию. Оно возникло как ответ на отдельные частные ее проявления, в основном, на репрессивные акции властей. Откуда взялась такая избирательность? Разве развал экономики, деградация культуры, стремительное снижение уровня медицинского обслуживания и образования, нищенское социальное обеспечение и т. д. — разве все это меньшие основания для общественного протеста?

Мы попытаемся ответить на эти вопросы, но для этого нам придется вернуться к тому времени, когда сложились тот психологический климат и та общественная среда, из которых вышли правозащитники. Речь идет о хрущевской "оттепели" и начале "застойной" эпохи.

IV

Вообще говоря, принятое сейчас деление нашей послесталинской истории на "оттепель" и "застой" (а теперь еще и "перестройку") кажется

¹ Хроника текущих событий, вып. 16–27, Фонд им. Герцена. Амстердам, 1979, с. 87.

нам в значительной мере условным, ибо учитывает лишь внешнюю сторону исторического процесса. По существу же, вся эта эпоха была эпохой перестройки — перестройки общественного сознания, которая в наши дни всего лишь обрела, так сказать, официальный статус и наконец начала приносить первые зримые плоды. Мощным катализатором перестройки общественного сознания явился доклад Хрущева "О культе личности и его последствиях" на XX съезде КПСС в 1956 году.

Значение этого доклада вовсе не в том, что он будто бы открыл кому-то глаза, разоблачив — пусть неполно и непоследовательно — преступления Сталина. Если это и справедливо, то лишь по отношению к молодежи, ибо кто же из взрослых людей не знал о коллективизации, массовых репрессиях, и куда больше, чем о них рассказал Хрущев? Дело и не в разоблачениях самих по себе — советские граждане за дохрущевские 30 лет привыкли к самым невероятным разоблачениям, касающимся высших эшелонов власти: шпионами, диверсантами и вредителями на их памяти оказывались старые революционеры и соратники Ленина, виднейшие государственные, партийные и военные деятели, крупнейшие авторитеты в экономике, науке, искусстве. Но кое-что, и очень существенное, в докладе было впервые.

Впервые виновник кровавых преступлений не был объявлен английским или японским шпионом, наймитом империализма, тайно творившим гнусные дела. Нет, он вершил их на глазах у всех, ибо был не просто высокопоставленной персоной, а самим Господом Богом, Хозяином разоблачителей. Осторожное выражение "культ личности" неожиданно точно попало в цель. Доклад Хрущева пошатнул не просто репутацию Сталина, но и его культ и, как следствие, *систему*, Демиургом и живым олицетворением которой был Сталин.

Впервые разоблачение, хотя, по-видимому, исходило с высот партийной и государственной власти, по существу, было разоблачением *снизу*. Ибо кем был Никита Хрущев перед Верховным Главнокомандующим и Корифеем? Говоря по-лагерному (а лагерный язык к тому времени прочно вошел в быт) — "шестеркой", подручным, рядовым, ничем не примечательным человеком. Это было явным нарушением субординации. И само положение разоблачителя, восставшего на Хозяина, вынуждало его впервые не просто безапелляционно декларировать обвинения, а *доказывать* их с фактами в руках.

Наконец, впервые государственная власть поставила вопрос об оценке официального курса, оценке неблагоприятной. И чем тотальней был перед этим контроль над душами подданных, чем незыблемей навязываемая им картина мира, тем сильнее оказался шоковый эффект неожиданного изменения этой картины, санкционированного той же самой властью.

Многие знали о преступлениях — но теперь доклад узаконил эти индивидуальные знания, объективизировал их, перевел в разряд фактов отечественной истории, которые нельзя было более отрицать. То, о чем раньше можно было лишь тайно шушукаться с доверенными людьми, да и то с большим риском, — теперь стало доступно публичному обсуждению. Многие понимали порочность системы — но теперь система саморазоблачалась, доклад стал готовым аргументом против нее, позволил поставить под сомнение сами теоретические и идеологические основы сталинизма. Пошатнув культ, доклад непоправимо подорвал тоталитар-

ный склад мышления, господствовавший в обществе. Начал возрождаться дух дискуссионного поиска истины, подразумевающий такие полузабытые категории мышления, как сомнение, необходимость ставить вопросы и отвечать на них.

Поэтому если прежние разоблачения сверху проходили гладко — “народ” либо безмолвствовал, либо хором скандировал: “Распни его!” — и пел “Осанну” палачам, — то в этот раз они послужили толчком к движению общественной мысли, к самостоятельным рассуждениям и дискуссиям. Обильную пищу для них давали сама внутренняя противоречивость доклада, непоследовательность проводимой десталинизации, эксцессы внешней политики вроде ввода войск в Венгрию в том же 1956 году, когда был прочитан доклад. Слепое, беспрекословное и безропотное принятие любого заявления и действия власти уходило в прошлое.

Из имевших наибольший общественный резонанс выступлений, отражавших несогласие с официальным курсом, можно упомянуть выступление молодого ученого Юрия Орлова, тогда — члена КПСС, на партсобрании Московского физического института АН СССР (1956 г.) с требованием демократических преобразований и привлечения к суду непосредственных соучастников сталинских преступлений; в том же году с аналогичными требованиями выступил известный писатель Валентин Овечкин (Калуга). Самым же заметным эпизодом такого рода, наверное, является выступление генерал-майора П. Г. Григоренко на Московской городской партконференции, посвященной обсуждению проекта программы партии (1961 г.). Оно примечательно прежде всего тем, что Григоренко — яркий и по своей биографии типичный представитель комсомольцев 20-х годов. Крестьянский сын (род. 1907); в 1922 году — организатор комсомольской ячейки в родном селе, воспитывавшийся на бухаринской “Азбуке коммунизма”; секретарь райкома комсомола; рабфаковец; в 1928 году — вступил в КПСС; уполномоченный ЦК ВКП (б) на посевной 1930 года; 1931 — 1934 годы — слушатель Военно-инженерной академии РККА им. Куйбышева; военный инженер-строитель, возводивший укрепления вдоль западной границы; 1937 — 1939 годы — слушатель Академии генштаба; участник боев на Халхин-Голе (старший помощник начальника оперативного отдела штаба фронта); участник Великой Отечественной войны (кстати, сослуживец Брежнева по 18-й армии и Малой земле), закончивший ее в звании полковника и должности начальника штаба дивизии; в момент выступления — зав. кафедрой Военной академии им. Фрунзе. В своих воспоминаниях Григоренко живо описывает разлад, царивший в его душе после XX съезда: “...после всех лицемерных разговоров о культе Сталина, при одновременном создании нового культа... мне трудно было молча терпеть лицемерие правителей, но... я понимал, что выступление будет мне стоить крушения всего устоявшегося и вполне меня устраивавшего уклада... Зачем это тебе? Генеральские погоны надоели? Высокие оклады, специальные буфеты и магазины? Какое тебе дело до каких-то там колхозников, рабочих, гниющих в тюрьмах и лагерях. Живи сам, наслаждайся жизнью... *А ответа нет, нет до самой конференции, до самой трибуны конференционной*” (курсив мой. — Авт.)

В своем выступлении Григоренко говорил:

“Товарищи! Я долго думал: подняться или не подняться и нарушить спокойное течение конференции, и потом подумал, как Ленин, если бы

он пожелал что-нибудь сказать, он обязательно поднялся бы (аплодисменты)¹.

...Я лично считаю, что в программе недостаточно отработан вопрос о путях отмирания государства в вопросе о возможности появления культа личности и о путях борьбы за осуществление морального кодекса строителя коммунизма...

...Сталин встал над партией; это ЦК установил. ...У высшего органа власти... оказался человек не только чуждый партии, но враждебный всему нашему строю, я имею в виду Берия. ...Другая коммунистическая партия, пришедшая к власти (Югославия), оказалась под пятой у порвавшего или враждебного человека, который превратил эту партию... в сугубо просветительскую организацию... и ведет страну по пути капитализма. ...Албанские руководители становятся на тот же путь, и мы не имеем сильной авторитетной албанской партии, которая могла бы противостоять этому.

Возникает вопрос: значит, есть какие-то недостатки в самой организации постановки всего дела партии, которые позволяют это?...

Представьте себе, что удалось бы Хрущева уничтожить, как Вознесенского, и других. Ведь это чистая случайность, что в ЦК к моменту смерти Сталина оказались сильные люди, способные поднять партию с ленинской силой. Чистая случайность, что Сталин умер так рано...

Мы одобряем проект программы, в котором осужден культ личности, но возникает вопрос: все ли делается, чтобы культ личности не повторился, а личность, может быть, возникнет. Если Сталин был все же революционером, может прийти другая личность (шум в зале). <...>

Мои конкретные предложения следующие. Усилить демократизацию выборов и широкую сменяемость, ответственность перед избирателями. Изжить все условия, порождающие нарушение ленинских принципов и норм, в частности высокие оклады, несменяемость... прямо записать в программу о борьбе с карьеризмом, беспринципностью... взяточничеством, обворовыванием покупателей, обманом партии и государства в интересах получения личной выгоды... Если коммунист, находящийся на любом руководящем посту, культивирует бюрократизм, волокиту, семейственность и в любой форме зажимает критику, то он должен подвергаться суровому партийному взысканию и безусловно отстраняться от занимаемой должности, направляться на работу, связанную с физическим трудом в промышленности и сельском хозяйстве" (аплодисменты).

Как ни наивно оно теперь звучит, выступление Григоренко очень характерно как первый робкий шаг на пути к прозрению, к освобождению от тоталитарных догм. Но путей таких было много, и многие шли по ним куда решительнее. Духовный вакуум, образовавшийся после идеологического краха системы, быстро начинал заполняться. Естественно, первым вставал вопрос: "Как такое могло случиться?" Плоха ли сама идея социализма, дурна ли ее реализация Сталиным? Те, кто ограничивался этим кругом вопросов, либо возлагали вину за все на Сталина, как это сделал Хрущев, либо пытались тем или иным образом отремонтировать социалистические идеи в духе нарождавшегося в те годы еврокомму-

¹ Григоренко П. В подполье можно встретить только крысы... Нью-Йорк, "Детинец", 1981, с. 455 — 457. В 1990 г. эта книга публикуется в журнале *Звезда*.

низма и "социализма с человеческим лицом", либо искали выход в другой, "более правильной" идее — религиозной, национальной или политической. Вдохновленные идеей, они стремились претворить ее в жизнь; для наиболее решительных это означало борьбу за изменение существующего порядка вещей. На этой почве складывались различные группы, преимущественно социалистического, неомарксистского направления.

Само по себе это не было столь уж новым явлением. Подобные группы стали возникать, как правило, среди молодежи еще при жизни Сталина. Об одной такой группе юных подпольщиков рассказано в повести А. Жигулина "Черные камни". Однако в 50-х — начале 60-х годов таких групп стало существенно больше. Например, в одном 1957 году в Ленинграде было арестовано две группы молодых ленинградцев: группа, сложившаяся вокруг математика Револьта Пименова, и "Союз коммунистов", организованный студентом исторического факультета Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена В. Трофимовым; в Москве — группа Льва Краснопевцева, состоявшая преимущественно из молодых историков (сам Краснопевцев был аспирантом кафедры истории КПСС МГУ, во время Московского фестиваля молодежи руководил форумом историков), и т. д.

Чуть позднее, по мере восстановления прерванной традиции и нового знакомства с идеями Ницше, Бердяева, Достоевского и др., стали возникать группы почвеннических оттенков — "национал-большевизма" (группа Фетисова, Москва, 1968 г.), "христианского социализма" (Всесоюзный социал-христианский союз освобождения народа, ВСХСОН, Ленинград, 1967 г.) и т. д.

Хотя сведения об общественном движении конца 40-х — начала 60-х годов крайне скудны, по имеющимся публикациям (которые, к сожалению, пока малодоступны широкому читателю) можно судить, что практически все самостоятельные группы того времени пытались следовать хорошо известному из отечественной истории образцу. Складываясь на той или иной идеологической основе, все они ставили перед собой политические цели, декларируя необходимость более или менее радикального изменения существующего режима. И все они предполагали добиваться такого изменения с помощью более или менее радикальных средств из арсенала "профессиональных революционеров".

Несомненно, это были лишь крайние проявления общей атмосферы духовных поисков того времени, первых попыток осмыслить исторический опыт недавнего прошлого, первых шагов на пути освоения забытого или полужабытого отечественного культурного наследия, первого знакомства с достоянием западной мысли, от которой страна была изолирована несколько десятилетий. Но именно в эти годы вместе с идеей личной ответственности среди интеллигенции широко распространились и стали преобладающими две очень важные, на наш взгляд, тенденции: к деполитизации и деидеологизации общественного сознания; именно они были преобладающими в той среде, из которой вышли будущие правозащитники.

Обнажившаяся даже для прежде ее не замечавших порочность системы, казалось, предполагала немедленную активность — либо бороться, чтобы разрушить ее, столь преступную и бесперспективную, либо пытаться реформировать ее изнутри. Мы уже сказали об избравших первый путь. Были и такие, кто призывал вступить в партию и, достигнув высо-

ких постов, менять положение к лучшему (согласно известной теории Щедрина о "хорошем человеке на плохом месте"). Но значительная часть интеллигенции, наученная горьким опытом отцов и дедов, выработала в себе стойкий иммунитет ко всякой политике, ко всякой общественной активности вообще. Первый путь был для них неприемлем, ибо иного способа борьбы, кроме подполья, ведущего к разрушительному перевороту, "бессмысленному (да и осмысленному — все равно!) бунту", они не представляли, а бунта вовсе не хотели. Второй путь, по существу, означал более или менее откровенный карьеризм, стремление войти в номенклатуру и занять свое место в управляющей структуре. При очевидной неравноценности исходных импульсов оба пути для вступивших на них обычно влекли довольно схожие нравственные последствия: потерю внутренней независимости, сектантство (кастовость) и т. д. "Политика — грязное дело, политика — кровь и обман" — вот каким был стереотип нашего представления о политике. Ведь мы забыли — или никогда и не знали, — что может быть честная, добросовестная, профессиональная политическая деятельность, что политическая борьба вовсе не всегда кровава и не обязательно сопряжена с политиканством.

Кроме того, та политика, о которой только и знали из отечественной истории, всегда была основана на идеологии, предвзятости, на абстрактной, подчиняющей реальность доктрине, требующей от своих адептов непрекаемого служения; той ангажированности сознания, которая была характерна для русской интеллигенции чуть ли не полвека. Пока эта ангажированность соединялась с бескорыстной жертвенностью во имя народа, во имя высших идеалов добра и справедливости, интеллигенция еще могла сохранять чувство самоуважения, сознание своей нравственной правоты. Но в 30 — 40-е годы идея служения народу, узурпированная официальной государственной идеологией, утратила нравственный импульс. Слишком очевидно было зло, которое она принесла в своем пренебрежении к *средствам* и отвращение от всякой головной идеи, декларирующей идеальные *цели*. Девизом многих стали слова из песни Галича: "Не бойся тюрьмы, не бойся сумы, не бойся мора и глада, а бойся единственно только того, кто скажет: я знаю, как надо". Видимо, именно поэтому на смену одной скомпрометировавшей себя идее не пришла другая — например, с обратным знаком. Отказавшись слепо следовать "от победы к победе" за новым знаменосцем со слегка подштопанным старым стягом, многие отказались также шествовать в монолитном строю *против* прежних святынь.

Для этих людей стали главными не поиски новых догм, способных заменить старые, а стремление к внутренней *независимости*, свободе от всяких догм и подчинения своей воли и сознания чему бы то ни было внешнему, будь то "народ", "класс" или любая другая абстрактная идея, к той редкой в России свободе, что выражена в стихах Пушкина:

... Никому
Отчета не давать, себя лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливрай
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
.....
— Вот счастье! вот права...

Определяющей стала забота о сохранении культуры (Синявский — Даниэлю: “Пиши, Юлий! Надо спасать литературу”); не политика, не борьба (по-видимому, безнадежная) с внешним, не конструирование императивных проектов идеального мироустройства, а развитие личности, строительство нравственного идеала. Вопрос о цели и конкретных результатах не стоял, близких перемен не ждали. (Характерный разговор тех лет: “Всем было ясно, что Византия — агонизирующее общество, но ведь она загнивала 300 лет”. — “300 лет меня вполне устраивают”.) Весь расчет был на долгий трудный путь без ясного, маячившего в неизмеримом отдалении результата — на простую человеческую порядочность, на честную добросовестную работу, на независимое творчество в своей профессиональной сфере.

Не случайно поэтому тот сложный комплекс симптомов, который с легкой руки Эренбурга получил название “оттепели”, прежде всего проявился в области культуры, художественного и научного творчества. В центре общественного внимания оказалась возрождающаяся литература; героями дня становились писатели, поэты и критики; общественными событиями — романы, повести и стихи. С разной степенью интенсивности процессы внутреннего раскрепощения шли в науке (возрождение генетики и кибернетики), живописи (появление художников-нонконформистов, или, как их тогда именовали, “абстракционистов”) и т. д.

Одновременно с некоторым ослаблением тоталитарного контроля общество стало “оттаивать”, возвращаться к органическим формам общественной жизни. При Сталине оно было разобщено страхом, точнее, скреплялось лишь мощными силовыми линиями “вертикальных”, единственно узаконенных связей: люди встречались и общались на службе, собраниях, парадах, демонстрациях и других официальных мероприятиях; все несанкционированные свыше контакты были потенциально опасны — из страха доносов, из страха быть обвиненным в создании “контрреволюционной организации” или связях с “врагами народа”. Общая либерализация режима, прекращение массовых репрессий изменили психологический климат, начался стихийный процесс самоорганизации общества, начиная с простейших форм, в первую очередь с обычного человеческого общения.

“Когда ужас беспричинных арестов миновал, люди кинулись друг к другу, испытывая наслаждение от самого факта пребывания вместе. Обычная московская компания того времени насчитывала человек 40—50 “близких друзей”. ...Каждая компания соприкасалась с несколькими такими же, и связи тянулись в Ленинград, Киев, Новосибирск и другие города”¹.

Постепенно возникла та неповторимая атмосфера яростных споров и ночных бдений в сообществе близких и не очень близких людей, та

¹ Алексеева Л. История инакомыслия в СССР, с. 247.

атмосфера "московской кухни", которая стала одной из неперенных особенностей быта российского интеллигента.

Другим проявлением общего процесса стихийной самоорганизации, восстановления органических "горизонтальных" связей внутри общества стало возникновение независимых информационных каналов, важнейшим из которых, несомненно, был "самиздат". Конечно, вольнолюбивые или просто чересчур вольные произведения ходили по России в списках еще до времен Радищева, Баркова и Пушкина, но никогда не составляли особого рода литературы, более того, чуть ли не единственного орудия самопознания и самовыражения общества. В этом смысле "самиздат" был явлением воистину уникальным по своему масштабу и массовости, чему немало способствовал "технический прогресс" — переход от перьев и ручек к пишущим машинкам. В значительной мере именно через "самиздат" происходило начавшееся тогда освоение забытого или полузабытого отечественного культурного наследия, восстановление прерванной традиции; именно через "самиздат" общество начало знакомиться с достоянием западной мысли, от которой страна была изолирована несколько десятилетий. Однако, начавшись со стихов старых поэтов — Гумилева, Мандельштама, Цветаевой — и переводов (как раз в те годы были переведены на русский такие произведения, как "Спящая тьма" Кестлера, "1984" Оруэлла и другие), "самиздат" скоро обрел самостоятельность: своих собственных авторов и свою собственную читательскую аудиторию. Появились и первые "самиздатские" журналы: "Феникс", "Синтаксис", "Политический дневник". В это же время благодаря магнитофонам возник музыкальный "самиздат" и начался небывалый расцвет неподцензурной "авторской" песни: Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Ким, В. Высоцкий.

Однако сразу выяснилось, что подобный расцвет независимого творчества (в полной мере сказавшийся позже) вовсе не входил в планы начальства. Осудив "культ личности" и ликвидировав его самые вопиющие проявления, оно не собиралось отказываться от тотального контроля над душами подданных, от "управления культурой". Неизбежен был конфликт между стремлением интеллигенции к независимости и охранительными устремлениями начальства.

Этот конфликт начался еще при Хрущеве, сразу после доклада. Наряду с "оттепельной", либеральной тенденцией сразу же заявила о себе тенденция охранительная, "застойная". В литературе конфликт принял форму "идеологической борьбы" между "Новым миром" Твардовского и "Октябрем" Кочетова, в науке — борьбы между генетиками и лысенковцами, в живописи — между "соцреалистами" и "абстракционистами". "Оттепель" совершалась силами творческой интеллигенции, а вовсе не сверху. Конечно, кое-что из того, что раньше запрещалось, теперь получило верховную санкцию, например критика сталинского прошлого. Однако, расширив рамки дозволенного в культурной и интеллектуальной сфере, начальство по-прежнему считало себя вправе устанавливать эти рамки. Поэтому та же критика Сталина допускалась лишь в известных, строго очерченных пределах; к тому же времени относится знаменитая встреча Хрущева с творческой интеллигенцией, на которой главный начальник совершенно определенно указал мастерам культуры их настоящее место: "Я — генерал, а вы майоры. Кругом марш!" Борьба сил шла с переменным успехом, и итоги ее определились уже после падения Хру-

щева: в биологии, например, удалось победить лысенковщину, а в литературе одолела кочетовская группировка. Твардовского сняли, редакцию "Нового мира" разогнали.

С другой стороны, и в брежневскую эпоху случались "оттепельные" явления (например, та же победа генетиков над лысенковщиной). Подобные случаи внушали надежды (или "либеральные иллюзии", в другой терминологии), что начальство доступно убеждению; другим источником, питавшим эти надежды, была сама острота стоявших перед страной экономических, социальных и политических проблем, не допускавшая промедления в их решении. Поэтому были попытки оказать влияние на руководство, объяснить ему настоятельную необходимость тех или иных шагов; примерами таких попыток могут служить письмо академика Курчатова в ЦК КПСС, направленное против Лысенко, или борьба академика Сахарова за запрет наземных ядерных испытаний. В менее острых случаях многие пытались действовать на свой страх и риск, полагаясь на собственное чутье — что можно и чего нельзя. Однако все это были попытки со старыми средствами, в рамках прежних представлений: пытающийся повлиять на руководство вольно или невольно оказывался в подчиненном положении просителя, ищущего поддержки у начальства и вынужденного говорить на понятном тому языке.

Те же, кто поддержки начальства не искал или не получил и тем не менее оставался самим собой, высказывал свою точку зрения, предлагая ее на суд общества, немедленно попадали в положение духовной оппозиции, ибо нарушали основной принцип взаимоотношений государства и личности, который начал складываться с самого возникновения советского государства и потом окончательно утвердился.

Провозгласив себя представителем и выразителем интересов и мнений сначала пролетариата, а затем всех трудящихся страны, государство противопоставило себя каждому человеку в отдельности, не представлявшему ничьих интересов и мнений, кроме своих собственных. Из этой исходной посылки с неизбежностью вытекало следствие: безусловный приоритет государства во всех сферах жизни, при всех конфликтах и столкновениях интересов. Этот принцип утвердился в общественном сознании не без помощи инженеров человеческих душ: "Единица — вздор, единица — ноль" (Маяковский).

Легко видеть, что этот принцип абсолютно несовместим с идеей о правах человека как фундаменте человеческих отношений. Из этого принципа вытекает не только представление о прерогативах власти относительно решений важнейших вопросов государственной и общественной жизни, но и о непогрешимости, единственности оценки, точки зрения. Это представление разделялось не только государством в лице его чиновников и судей, но и рядовыми гражданами, считавшими если не преступным, то неприличным иметь — и, уж во всяком случае, высказывать — свое собственное мнение по этим вопросам (область, на которую распространялась это табу, пульсировала, то расширяясь, то сужаясь). Если вопрос был внутривнутриполитический, то считалось, что "нехорошо выносить сор из избы"; если же речь шла о внешнеполитических акциях или общеполитических оценках, то по крайней мере среди определенной части интеллигенции господствовало несколько брезгливое, высокомерное — "это их дела". Один из авторов этой статьи помнит, как трудно ему было преодолеть в себе некий тормоз, чтобы решиться

высказать свое отношение ко вводу войск в Чехословакию в 1968 году. Собственное отношение к этому событию не вызывало у него сомнений; более того, было доподлинно известно, что это широко распространенная среди интеллигенции точка зрения. Однако вмешаться в "их дела"?! Если бы тогда власти, обосновывая свое решение, не ссылались на "всемирную поддержку", автор, может быть, не считал бы возможным заявить свое мнение. Что же касается властей, то их настороженность вызывало любое независимое мнение, даже если оно совпадало с официальным. Когда Юрий Галансков демонстрировал у посольства США с плакатом "Руки прочь от Сан-Доминго", его забрали в милицию. Государство отрицало не мнение как таковое, а *право* гражданина его иметь.

"Оттепель" несколько поколебала такое положение вещей, но сама природа взаимоотношений между государством и обществом, между государством и личностью, в малейших проявлениях ему подконтрольной, ничуть не изменилась после XX съезда. Однако за годы "оттепели" изменилось другое: появились люди, для которых независимость стала высшей ценностью, естественным правом, на реализацию которого они не желали испрашивать ничьего соизволения. Этих-то людей и стали называть "диссидентами" или "инакомыслящими". Не вдаваясь здесь в терминологические тонкости, скажем все же, что последнее название кажется нам малоподходящим. Суть не в том, что "диссиденты" мыслили по-иному, нежели все, а в том, что они по-иному *действовали*. Они могли разделять или не разделять предрассудки большинства и убеждения своего окружения, но дело было не в их взглядах, а в том, что они эти взгляды *открыто высказывали*, преодолев в себе тот комплекс неполноценности по отношению к государству, к коллективу вообще, о котором мы только что говорили. Они вторглись в заповедные, ревниво оберегаемые властью уголья "запретных тем"; отрицая право власти на высший суд в области духа, они одновременно осознали свое право *быть другим* (по существу, включающее в себя все прочие права) и явочным порядком начали его осуществлять.

V

На это "раскрепощение снизу" консервативное брежневское руководство ответило привычным "держат и не пушат". Неустойчивую "оттепельную" погоду сменили недвусмысленные морозы: на смену "ренессансу" пришел "репрессанс". Вслед за судом над Синявским и Даниэлем нескончаемой чередой потянулись политические судебные процессы. Само по себе это отнюдь не было новостью для России — наоборот, дело привычное, житейское. Но в черед судебных процессов с середины 60-х зазвучали новые ноты, каких не было во времена Сталина и Хрущева: главной чертой *всех* без исключения политических процессов 60–70-х годов было то, что на них речь шла не о *факте* свершения деяния, а о *праве* на это деяние.

Государство в лице своих органов безопасности и юстиции каждый раз пыталось обсуждать в суде только и исключительно факты, считая заведомо известным их преступный характер. Логика государственного обвинения была проста: то-то и то-то писать, говорить, распространять и т. д. — нельзя, и это знают все. А теперь займемся судебной работой:

кто, где, когда, с кем, при каких обстоятельствах. В первых политических судебных процессах 60-х годов юристы чувствовали себя очень уверенно, рассматривая их даже как некоторую реабилитацию социалистической законности после беззаконий 30—40-х годов. В самом деле, обвинения не абсурдны и не вымышлены, доказательства собраны в меру добросовестности следователей более-менее полно, показания обвиняемых добыты без физических мер воздействия — имя, фамилия, адрес, чуть ли не номер телефона проставлены прямо под криминальной бумагой и скреплены собственноручной подписью. (Последнее, разумеется, гротеск. Немало деяний совершалось подпольно, именно подпольно, но не нелегально: писатели сочиняли книги, зашторив окна и замкнув двери; информацию передавали по скрытым каналам через доверенных людей; рукописи зарывали в пяти тайниках. Роман “451° по Фаренгейту” был нашим бытом.) Суд тоже проходит без нарушений процессуальных норм (почти!), при участии судебной коллегии в полном составе, обвинителя, но и защитника, подсудимому не затыкают рот (почти!). На обыск — постановление прокуратуры.

Однако обвиняемые почему-то упорно отказывались чувствовать себя преступниками и не признавали себя виновными: “Я не советский и не антисоветский — я просто другой и имею право быть другим”, “Да, я критиковал политику государства, но я имею на это право: потому что я — гражданин”, “Да, я не люблю вашу систему — но я и не обязан ее любить, и к делу это никакого отношения не имеет”. “Вы нарушаете мой закон”, — утверждало государство. “Нет, это вы нарушаете мои права, а значит, и закон”, — возражал обвиняемый, уверенный, что настоящий Закон должен быть на его стороне, на стороне Права.

Но достаточно ли одного убеждения в своей правоте для невинности перед законом? Что есть Закон? Что есть Право? — именно вокруг этих вопросов, по существу, и шел спор между судом и обвиняемым. Сразу же после суда над Даниэлем и Синявским они, эти вопросы, благодаря действиям возникшего правозащитного движения были поставлены и перед всем обществом, стимулируя интерес к собственно Праву — его философии, принципам, практике, законодательству. Но у этого интереса к правовым проблемам, помимо чисто практических нужд, были и другие, более глубокие основания.

Кто были правозащитники? Они вышли из той же среды, что и те, кого сейчас преследовали и судили. Вместе с ними они когда-то выбрали независимость и в этом смысле были их единомышленниками. В них говорило и возмущенное чувство справедливости, и, так сказать, чувство цеховой солидарности. Но более важным было другое. Когда стало ясно, что преследование всякой независимой мысли вновь открыто возведено в основной принцип государственной политики, перед ними снова встал все тот же выбор, все тот же гамлетовский вопрос:

...Достоин ль
Терпеть без ропота позор судьбы,
Иль надо оказать сопротивление,
Встать, вооружиться, победить
Или погибнуть...

Это был все тот же уже однажды сделанный выбор: между ангажированностью и независимостью, между гражданской активностью и невмешательством в “их дела”, аполитичностью, отказом от доктрин. Все

они давно, многие еще до хрущевских времен, бились за свою независимость, старались пробиться через идеологические рифы со своей профессиональной честностью, со своей правдой. Эта независимость каждому из них далась непросто, тяжелой работой совести и ума, высокая ее цена каждому была известна. От политического, идеологического диалога с начальством, сделавшим доктрину оружием власти, каждый старался уйти, тем более что диалог, то есть конструктивное обсуждение, был невозможен: от них требовалось пение в унисон на заранее заданную тему — либо тебя сразу переводили в разряд политических врагов. Просить о гуманности, о милосердии — было бесполезно, да и требовало заявлений о преданности идее и просителя, и того, за кого просят, — а это уже возврат в добровольное рабство. Но и выбрать по-прежнему невмешательство тоже невозможно — ведь на сей раз именно независимость подвергается гонениям и преследуется.

В этой безвыходной ситуации для многих оставалась лишь позиция личного нравственного сопротивления. Она не решала общих проблем, не обещала достижения цели — ни общей, ни индивидуальной. Но она помогала каждому сделать выбор за самого себя. Эта позиция определялась ощущением полной нравственной несовместимости с происходящим. Она не была основана на размышлениях и прогнозах отдаленных последствий, не предполагала далекой конечной цели. Она исходила из нравственной невозможности промолчать, отвернуться, не заметить — сегодня. Поэтому и перед тем, как пойти в тюрьму, и кончая срок, человек был уверен, что поступил правильно, но не готов был ответить на вопрос, какие именно результаты своих действий он хотел бы увидеть в будущем.

Но если не отворачиваться, не молчать, то на каком языке обращаться к власти имущим, не теряя при этом внутренней независимости, не связывая себя никакой доктриной, не ввязываясь в политическую игру? Таким счастливо найденным языком оказалось Право — тот единственный язык, на котором, собственно, государство и *обязано* разговаривать с гражданами; язык, стоящий *вне* политики, *вне* идеологических догм, язык, *равно* обязательный для всех и предполагающий *равенство* собеседников — будь то личность, коллектив, общество, "народ" или государство.

Однако такое понимание Права, такой правовой идеал резко противоречил господствующей юридической доктрине, нашедшей свое законченное выражение в теоретических трудах Вышинского. Эта доктрина, не преодоленная до сих пор, рассматривала право всего лишь как инструмент управления, орудие государственной политики, механизм осуществления и защиты государственного интереса, а государственный интерес был высшим из возможных, ибо провозглашенное общенародным государством "представляло народ". Поэтому, когда государство обвиняло гражданина, считая ущемленным свой политический интерес, ни судье, ни двум его помощникам, стоящим на страже этого интереса, и в голову не приходило сопоставить права гражданина и права государства. Конфликт столь несоизмеримых прав советской судебной системой просто не предусмотрен. Право государства безгранично:

"Согласно ст. 125 Конституции СССР, гражданам СССР гарантируется свобода слова и свобода печати. Однако эти свободы, как это прямо указывается в Конституции СССР, должны быть использованы в соот-

ветствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя"¹.

"Не им обвинять нас в отсутствии свободы печати. На этом процессе нет нужды говорить, какая у них свобода печати. Свобода печати — не абстрактное понятие. Это у нас настоящая свобода, у нас свобода в том, чтобы идти вместе с народом и за народом... Свобода воспевать подвиги наших людей"².

"Те, кто говорит о "незаконности" действий союзных социалистических стран в Чехословакии, забывают, что в классовом обществе нет и не может быть неклассового права. Законы и нормы права подчинены законам классовой борьбы, законам общественного развития. ...Нельзя за формально-юридическими рассуждениями терять классовый подход к делу"³.

На общество слова "государство стоит на страже народа" тоже действовали завораживающе, и естественным казалось следствие: "поэтому государство всегда право". Эта логика была всем привычна. Разбойник отнимает кошелек у богача ради бедных — он прав; террористы убивают царя во имя свободы — правы; экспроприаторы грабят банк — но не в свой же карман! — правы. И даже многомиллионные жертвы 30–40-х годов находили оправдание в знаменитом "лес рубят — щепки летят" — мы же строили светлое будущее для всего народа. Понадобились разоблачения Хрущева, чтобы мы задумались, но и то еще не о принципе "ради всех — значит, можно", а лишь о том, действительно ли "ради всех".

Правозащитники сделали следующий шаг и спросили: "А можно ли — хотя бы и ради всех?" Начав с апелляции к строгому смыслу закона, они постепенно пришли к осознанию такого правового идеала, такого *правосознания*, которое отвечало на этот вопрос: "Нельзя!"

Выработкой этого идеала, увы, занимались не юристы; советские юристы в большинстве своем вынуждены были оставаться в рамках той теории, которую мы только что охарактеризовали. Следует также учесть, что работа эта велась в трудных условиях: мы были оторваны от культурной традиции, изолированы от западной общественной мысли, по существу, глубоко невежественны в правовом отношении. Поэтому, особенно вначале, опорой нам служили простейшие своды законов: Конституция СССР, кодексы, Всеобщая декларация прав человека, международные акты о гражданских и политических правах; все они многократно цитировались, анализировались, сопоставлялись друг с другом и правоприменительной практикой в десятках и сотнях правозащитных документов конца 60-х — начала 70-х годов. Приходилось начинать с азав, учиться добросовестному и грамотному практическому применению Права. Начало такого аккуратного и квалифицированного собственно юридического подхода проследить трудно. Во всяком случае, первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 1956 году Револютом

¹ Письмо четырех юристов.— Сб. "Белая книга". Франкфурт-на-Майне. "Посев", 1967, с. 366.

² Из речи государственного обвинителя О. Темушкина на процессе Синявского и Даниэля. — В сб.: Белая книга, с. 295.

³ Ко в а л е в С. (Не автор данной статьи!!!). Суверенитет и интернациональные обязанности социалистических стран.— *Правда*, 26.09.1968 г. Одна из статей периода вооруженной интервенции в Чехословакию, в которой обосновывалась "доктрина Брежнев" об ограниченном суверенитете "братских стран". Цит. по: Политический дневник, 1965–1970, Фонд им. Герцена, Амстердам, 1975, с. 346.

Пименовым и Эрнстом Орловским; важный вклад в наш юридический ликбез внесли математик Есенин-Вольпин и физик Валерий Чалидзе, издававший "самиздатский" журнал "Современные проблемы", посвященный преимущественно правовым вопросам.

При ближайшем знакомстве с советскими законами выяснилось, что они, при всем их несовершенстве, фактически *не* запрещают действий, которые инкриминировались диссидентам и правозащитникам. Ни "самая демократическая в мире конституция", ни даже печально знаменитые статьи 190¹ и 70 УК РСФСР при условии их буквального и добросовестного понимания — не отрицают естественных прав личности. В свое время было употреблено много сил, чтобы доказать расплывчатость их формулировок, дающую простор произволу. Но хотя спор между правозащитниками и властью — особенно на первых порах — формально происходил на почве "юридического крючкотворства", все яснее становилось, что этот произвол не случаен, что дело не в конкретных формулировках конкретных законоположений. Речь шла не о них, не о букве закона, а о духе законодательства или, точнее, о доктрине законодателя, подчинявшей право политике, высшим государственным интересам.

Законодательная система, основанная на признании какого-нибудь высшего интереса — классового, государственного или идеологического, непременно внутренне противоречива. С одной стороны, закон требует порядка и санкции в случае его нарушения; с другой — должна предусматриваться возможность его нарушения в необходимых случаях, когда затрагивается "высший интерес", ибо этот высший интерес не может быть сформулирован на языке закона, нет ни механизма его установления, ни процедуры проверки компетентности тех, кто его устанавливает. Итог — произвол управляющей структуры, призванной к соблюдению этого высшего интереса. В конечном же счете высшим интересом становится своекорыстный интерес этой структуры, Законом — ее инстинкт самосохранения, в чем бы он ни выражался — в сталинском терроре или брежневском "телефонном праве".

Такова была принципиальная сторона дела. И тогда уже реальные обстоятельства процессов 60—70-х годов: и организованное заполнение зала "открытого" суда специально подобранной публикой, и удаление свидетелей до конца судебного следствия, прямо запрещенное законом, и отклонение самых естественных и напрашивающихся ходатайств защиты — все эти странности, однообразно повторяющиеся на каждом политическом процессе, превращаются в важные, но не определяющие детали.

Суды отказывались обсуждать права — им это не было нужно. "Суду и судье с прокурором плевать на детальный разбор — им только б прикрыть разговором готовый уже приговор" (Юлий Ким. "Адвокатский вальс").

Эти очевидно возмущающие нравственное чувство следствия лишний раз свидетельствовали о порочности порождающей их причины, утверждали правозащитников в их внутренней, интуитивно ощущаемой правоте. Постепенно росло понимание, что фундаментальной основой Права могут быть только права отдельной личности, независимо от ее социальной, партийной, идеологической принадлежности и тому подобных признаков, и что любое государственное устройство, способное обеспечить

достойную жизнь своим гражданам, может быть основано только на таком Праве, и ни на чем ином.

VI

В этой принципиально-правовой позиции, происхождение которой мы в меру наших сил попытались проследить — позиции, основанной только и исключительно на Праве, а не на каких бы то ни было идеологических или политических программных конструкциях, — и заключалась главная характерная особенность правозащитного движения. Этим определяется и историческая уникальность этого движения, служившая и продолжающая служить источником многих недоразумений, ведь оно было первым в российской истории общественным движением, вдохновлявшимся не жаждой социальной справедливости, не национальной идеей, не своекорыстным сословным интересом, а лозунгами Права как единственного принципа общественной и государственной жизни. Это резко противоречило традиционному для русской общественной мысли пренебрежению Правом во имя абстрактных идеалов. Мы не собираемся перечислять здесь многообразие причин такого пренебрежения, не раз отмечавшееся в литературе, глубоко коренящееся в национальной психологии и исторических условиях русского быта. Быть может, ближе всех к позиции правозащитного движения в свое время приблизились кадеты — но и для них Право было лишь одним из элементов общеполитической программы. Во всяком случае, еще в 1909 году один из авторов известного сборника "Вехи", А. Кистяковский, отмечал, что в отличие от многих западных стран, таких, как Германия, Франция, Англия, где право издавна, еще с предконституционных времен, признавалось неотъемлемой частью культуры и чисто юридические споры часто захватывали внимание всего образованного общества, где существовала обширная правовая литература, привлекавшая всеобщий интерес (примеры: "Левиафан" Гоббса, "Дух законов" Монтескьё, "Общественный договор" Руссо, "Философия права" Гегеля), — в России не было *ни одного* трактата о праве, имевшего *общественное значение*.

"...Русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне. При таких условиях у нашей интеллигенции не могло создаться и прочного правосознания, напротив, последнее стоит на крайне низком уровне развития"¹.

"Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интереса к правовым идеям являются результатом застарелого зла — отсутствия какого бы то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа"².

Другая причина отсутствия правосознания у русской интеллигенции, по Кистяковскому, состоит в том, что "право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, религиозная святыня. Значение его более относительно... интеллигенция стремилась к более высоким и безотносительным

¹ Кистяковский А. В защиту права.— В сб.: Вехи. М., 1909, с. 126.

² Там же, с. 130.

идеалам и могла пренебречь на своем пути этою временною ценностью"¹.

Именно из такого представления об относительной ценности Права исходили и те, кто упрекал правозащитников в отсутствии конструктивности, в негативизме: "Вам бы лишь критиковать и требовать; а что вы предлагаете?" Тем самым правозащитников упрекали в отсутствии "положительной" программы переустройства общества, в отсутствии определенной политической доктрины. Однако правозащитники и не претендовали на это, они предлагали обществу куда меньшее — но и куда большее, с их точки зрения, — правовой идеал, необходимое условие всякого здорового политического развития.

Это был положительный, конструктивный идеал, а не тактическая уловка и не идейный нигилизм. Ибо "...духовная культура состоит не из одних ценных содержаний. Значительную часть ее составляют ценные формальные свойства интеллектуальной и волевой деятельности. А из всех формальных ценностей право, как наиболее совершенно развитая и почти конкретно осязаемая форма, играет самую важную роль"². Правозащитники, по существу, утверждали, что Право не более относительно и не менее содержательно, чем любая политика, любая идеология, любой идеал; что "формальное", деполитизированное и деидеологизированное Право должно быть самодостаточным и не должно нуждаться в критериях извне.

Конечно, Право само по себе не способно решить множества сложных и часто жизненно важных проблем, встающих перед обществом. Не может оно решить и духовных или экзистенциальных проблем, стоящих перед человеком. Однако только Право — универсальное и обязательное для всех, больших и малых, сильных и слабых, глупых и умных, — может создать условия для их решения, ибо только оно может обеспечить необходимые для этого плюрализм мнений и борьбу интересов и одновременно поставить эту борьбу в известные рамки, предохранить общество от раскола. Такое Право устраняет идеологическое табуирование, демистифицирует отношения между государством и обществом, открывает возможности для прагматического обсуждения конкретных вопросов по существу.

Идеал такого Права — не новый для мира, но новый для России — и предложили нашему обществу правозащитники. Можно утверждать даже больше. Как пишет Кистяковский в уже цитированной выше статье, такие идеи, как "идеи свободы и прав личности, правового порядка, конституционного государства", давно высказанные и воплощенные на Западе, недостаточно заимствовать... надо в известный момент жизни быть всецело охваченными ими". Правозащитное движение как раз и было попыткой пережить эти идеи в современных русских условиях, не только в мысли, но и в поступке, действии. Правозащитники вовсе не были ни отщепенцами, ни героями. Они просто поступали так, как подобает поступать гражданам правового государства, и тем самым ставили перед обществом и властью вопросы, на которые те вынуждены были отвечать. Насколько удачной оказалась эта попытка, судить еще рано. Определенно можно утверждать лишь одно: если сегодня на страницах наших газет и с экранов телевизоров звучат — искренне или неискренне, другой воп-

¹ Там же, с. 125.
² Там же.

рос — слова “правовое государство”, “права человека”, “демократия”, “гласность”, в этом немалая заслуга правозащитного движения. Активизировавшись в среде правозащитников и постепенно распространяясь, правосознание стало важной составляющей духовного мира современной российской интеллигенции.

Фактография правозащитного движения хорошо и полно представлена в книге Л. Алексеевой “История инакомыслия”. Мы же попробуем подробнее, нежели это было сделано до сих пор, остановиться на некоторых принципах этой деятельности; основные ее формы, определившиеся почти сразу после суда над Синявским и Даниэлем, с тех пор менялись по масштабу и интенсивности, но не по существу.

Основным принципом, естественно, была *легальность* действий, воплощенная в обращенном к властям требовании: “Соблюдайте свои законы”. Другое дело, что представления о легальности у правозащитников и власти были разные, но мы уже высказали свою точку зрения на причины такого расхождения и поэтому не будем повторяться.

Из принципа легальности следовало требование *гласности*. С одной стороны, правозащитники обращали это требование к себе: традицией было не обезличенное, анонимное, а открытое выступление, заявление, петиция — от собственного имени, за личной подписью, с адресом и номером телефона (о вынужденных отступлениях от этого правила мы уже упоминали). Поэтому, например, так редки были случаи распространения листовок. С другой стороны, правозащитники требовали соблюдения гласности от властей, а когда им не удавалось ее добиться (почти всегда!), явочным порядком осуществляли ее сами, собирая и распространяя информацию о фактах нарушения прав человека и предавая ее огласке всеми доступными им способами. Сначала такой способ был один — “самиздат”, вскоре к нему присоединились западные средства массовой информации. Другим адресатом правозащитной информации были государственные и общественные организации — вначале отечественные, а потом и западные. Гласность коснулась важных сторон общественной жизни — политических репрессий прошлого и современности, положения в тюрьмах и лагерях, религиозных, национальных, культурологических проблем.

Следует ометить несколько общих, бросающихся в глаза особенностей правозащитных публикаций. Большая часть их имеет характер прямой, безоценочной передачи фактов, точнее — свидетельских показаний. Замечательная книга А. Марченко, впервые поведавшая обществу об условиях жизни в лагерях хрущевского времени, так и называется — “Мои показания”¹. При обсуждении же этих фактов существо дела обычно не рассматривалось, а приводились правовые юридические аргументы. Правозащитник как бы выступал перед судом общественного правосознания в качестве одной из сторон процесса, свидетеля, чей общественный долг диктует сообщить все, что ему известно по делу, чтобы способствовать установлению истины в судебном заседании. Гласность проявлялась и в том, что правозащитники добросовестно стремились не наводить внутреннюю цензуру, представлять на страницах своих изданий

¹ В 1968 г. эта книга опубликована за границей — на русском языке и вскоре в переводах на англ., франц. и др. языки. В 1989 г. ее сокращенный, журнальный вариант опубликовал *Новый мир* (№ 12), в настоящее время готовится ее полное издание.

(например, в аннотациях "самиздатской" литературы, систематически публиковавшихся в "Хронике текущих событий") максимально широкий спектр мнений. Сознательной попыткой предоставить трибуну разным мнениям, чтобы консолидировать разобщенное общество, было издание журнала "Поиски взаимопонимания".

Один из немногих случаев, когда "Хроника текущих событий" отступила от своих правил не давать оценок, — ее реакция на появление в "самиздате" документа под названием "Своя своих не познаша". Речь в нем шла об А. Фетисове — участнике группы резко шовинистического направления, обвиненном по статье 70 и помещенном в психиатрическую больницу по приговору суда. Автор документа подверг Фетисова уничтожающей критике. Вот что писала по этому поводу "Хроника":

"Этот документ дважды порочен. *Во-первых*, вместо минимально серьезной критики автор... ограничивается насмешками над "очевидной глупостью" фетисовских идей... Хроника считает, что столь радикальная антидемократическая программа (Фетисова. — *Прим. авт.*) заслуживает столь же радикальной, но абсолютно серьезной научной критики... *Во-вторых*, можно считать этичной полемику с людьми, находящимися в заключении, вернее, с их идеями, которые продолжают распространяться и воздействовать. Но выражать удовлетворение по поводу того, что власти отправили твоего противника в "желтый дом", — безнравственно. Это значит угодничать тому же Фетисову, который считал, что Синявского и Даниэля следовало бы расстрелять..."¹

Другим принципом правозащитного движения был *отказ от какой бы то ни было политической борьбы*, истоки которого мы уже проследили. Это проявилось даже в том, что движение долго не имело стабильного наименования. Название "демократическое движение" не привилось как слишком партийное. Определения "диссиденты", "инакомыслящие" принимались охотнее; еще охотнее — "движение нравственного Сопротивления". И наконец, "правозащитное движение" — хотя, строго говоря, оно относится лишь к тем, о ком мы преимущественно и ведем здесь речь, то есть к занимающим последовательно правовую позицию, но его часто употребляют применительно ко всем, открыто выражающим свое независимое мнение.

Как мы уже неоднократно отмечали на протяжении статьи, этот последовательно проводимый принцип часто навлекал на правозащитное движение критику с самых разных сторон.

Власть, следуя представлению о своих абсолютных прерогативах, полагала проблему соблюдения прав человека исключительно политической, а в любом правозащитнике видела потенциального политического оппозиционера. Далее вступала в силу немудреная логика пропаганды: противник, следовательно, "враг народа", "агент ЦРУ", "приспешник империализма" и т. д. Трудно сказать, насколько верили своему пропагандистскому аппарату сами хозяева положения. Но на общество привычная ложь пропаганды, несомненно, влияла. Не то чтобы разумные, образованные люди всерьез верили в задания чьих-то спецслужб, или грязные деньги ЦРУ, или даже в наивную восприимчивость правозащитников к враждебной пропаганде. Эти топорные приемы оценивались не дороже, чем они того стоили. Но доктрина о подчиненности права политике, под-

¹ Хроника текущих событий, вып. 1—15. Фонд им. Герцена, Амстердам, с. 139.

держиваемая в обществе, делала свое дело. Поэтому многие охотно видели за требованиями правозащитников далекие политические цели, скрываемые до поры до времени.

В ту же ошибку впадали и некоторые западные наблюдатели. Объясняется она тем, что они исходили из сравнения советского правозащитного движения с похожими движениями на Западе. Но, как пишет В. Чалидзе, "сравнивать советское и западные правозащитные движения почти невозможно. Речь идет о сравнении разных исторических периодов... Было бы отчаянным полагать, что Россия способна перепрыгнуть через два века и за короткий срок достичь той же степени терпимости, правосознания и культуры политической борьбы, которые выработаны на Западе¹.

Правозащитное движение "прежде выдвижения политических целей решило начать создавать условия, при которых политические цели можно провозглашать. Мало кто это понял, и это говорит о нетривиальности решения..."².

С другой стороны, в одной НТС-овской брошюре конца 60-х — начала 70-х годов говорилось, что такая чересчур академическая оппозиция — не то, что нужно России; но, мол, на сегодня хороша и она, ибо противостоит власти, заставляет думать. Но, конечно, будет — и уже зреет — настоящая борьба: с настоящей идеологией, враждебной коммунистической; с соответствующими методами борьбы ("горячая пулеметная кровь"). Наиболее последовательные правозащитники перейдут на сторону этой революционной силы. Статья вызвала недоумение, ею бурно возмущались: "Так что же, бунт, революция?", "Они что, донос пишут?", "Никакой заговор не зреет".

Что можно ответить на все это? Конечно, в правозащитном движении участвовали люди, и их было не так уж мало, вовсе не чуждые политических целей и считавшие защиту прав человека просто удобным поводом добиваться их достижения; были и просто недобросовестные политики. Однако со всей определенностью можно утверждать, что вопрос о *политической оппозиции*, о *политическом переустройстве*, о *власти* в рамках этого движения никогда не стоял, хотя при этом многие, даже решительно чуравшиеся политики, не отрицали политического значения правозащитной деятельности: ведь соблюдение прав человека суть обязательство государства перед своими гражданами (а после заключения Международного пакта о гражданских и политических правах и Хельсинкских соглашений — и перед другими государствами, осознавшими в ходе борьбы с фашизмом важность этого вопроса для мирового сообщества), и, стало быть, объем прав человека и их соблюдение в данной стране становятся существенной чертой внутренней политики страны в глазах ее собственного народа и всего мира.

Наконец, *сознательное* отталкивание от политической борьбы сказалось и в принципиальном отказе от четких организационных форм. Бывало, тот или иной участник движения предлагал создать организацию — от него шарахались: политика! Это не значит, что правозащитники не объединялись для совместной деятельности, но все их объединения имели характер свободных ассоциаций. Некоторые из этих ассоциаций

¹ Ч а л и д з е В. Правозащитное движение: проблемы и перспективы, с. 7—8.

² Там же, с. 8.

сыграли важную роль в развитии правозащитного движения. Это прежде всего Инициативная группа защиты прав человека в СССР, некоторые документы которой мы цитировали; Комитет прав человека, созданный в ноябре 1969 г. тремя физиками: А. Сахаровым, В. Чалидзе и А. Твердохлебовым; “Эмнисти”, Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, созданная по инициативе проф. Ю. Орлова в мае 1976 года (по ее образу и подобию аналогичные группы были вскоре созданы во многих странах — участницах Хельсинкских соглашений, а также в некоторых союзных республиках). В разное время возникло несколько специализированных ассоциаций, занимавшихся защитой прав определенных групп населения — инвалидов, лиц, незаконно помещенных в психиатрические больницы, и т. д.

Здесь уместно сказать о том, что не раз ставилось правозащитникам в вину и использовалось против правозащитного движения в правительственной пропаганде, а именно об апелляции к политическим и государственным кругам Запада.

Адресатом обращений правозащитников с самого начала были советские государственные органы, так как именно от них зависела реализация прав человека и правовое разрешение отдельных ситуаций. Почти сразу эти обращения были открытыми: недостаток гласности мы восполняли, как могли. Нередко мы обращались прямо к своим согражданам — в письмах, рассылаемых по известным адресам, в личных контактах, через “самиздат”. Но так как нельзя было обратиться ко всему нашему обществу, а советские газеты наших обращений не публиковали, нашим посредником стало западное радио. Но обращались-то мы к нашему правительству и к нашему обществу.

Обращались также и к мировому общественному мнению:

“Мы обращаемся в ООН потому, что на наши протесты и жалобы, направляемые в течение ряда лет в высшие государственные и судебные инстанции в Советском Союзе, мы не получили никакого ответа. Надежда на то, что наш голос может быть услышан, что власти прекратят беззакония, на которые мы постоянно указывали, — надежда эта истощилась”.

“По-моему... у большинства обращение к властям было... просто естественным отражением легальной позиции, лояльного отношения к государству, уверенности не только в нравственной, но и в юридической правоте... Это совсем иное, чем надежда на общее изменение политики властей... Если говорить об основной массе диссидентов, то... радикализма не было — неужели просьба разрешить возвращение крымских татар в Крым или отпустить кого-нибудь из психушки угрожала основам государства? Просто власти не хотели *никаких* проявлений независимости, никакой информации, и в пределах страны, и уходящей на Запад, а мы не считали возможным жить по-старому”¹.

Кроме указанного прагматического соображения, было и еще два

¹ Поэтому особенно бессовестным нам кажется высокомерный вопрос иных из бывших правозащитников, обращенный к сегодняшним активистам перестройки: “А где вы были, когда мы отбывали сроки?” (“Чем вы занимались до 17-го года?”). Может, эти люди отламывали кусок от своего, пусть и не бедного, пирога, чтобы наши дети не знали сиротской нужды, что же им теперь, подытоживать свои пятерки и десятки, внесенные в Фонд? Предъявлять свидетельские показания, что и они передавали свидетельские показания для “Хроники”? Нас всю жизнь делили сверху на “чистых” и “нечистых” — неужели сегодня мы сами хотим этим заняться?

принципиальных, побуждавших обращаться к западному общественному мнению. Во-первых, время шло к тому, что так называемые локальные проблемы и "национальные традиции" в области прав человека перестали быть делом одной страны. Мы это осознавали или ощущали. Во-вторых, наше молчание делало нас всех как бы соучастниками творившихся безобразий. Все наши правительства, многократно твердя о монолитности, единогласии советского общества, к тому и стремились, чтобы всех нас связать круговой порукой. Так вот — наши апелляции к мировому общественному мнению значили, что этому наступил конец.

Но ведь функции правозащитного движения не сводились к одному лишь провозглашению нравственных максим, к защите Права самого по себе, к защите прав человека вообще. Отправным импульсом для многих правозащитников было сочувствие к судьбам конкретных людей. В такой деятельности результативность психологически необходима. Стремясь добиться хоть малых практических результатов, правозащитники начали апеллировать не только к западному общественному мнению, но и к западным политикам, общественным и государственным деятелям. При этом скоро стало ясно, что эффективнее всего обращения последнего рода. Это имело как положительные, так и отрицательные следствия. Положительные заключались в том, что действительно в ряде случаев удалось добиться конкретных результатов — смягчения режима заключения, освобождения, разрешения на эмиграцию. Отрицательные — в том, что обращения по персональным, сугубо конкретным поводам, плюс присущий политикам прагматизм способствовали определенному смещению акцентов, перестановке приоритетов: Запад стал придавать большее значение защите отдельных лиц, чем общей проблеме защиты прав человека. Таким образом, например, приобрела преувеличенное, на наш взгляд, значение проблема эмиграции, иногда превращавшаяся в предмет политической торговли.

Отметим, наконец, еще две особенности правозащитного движения — особенности, которые кажутся нам очень важными для настоящего и будущего. Это его стремление к *диалогу*, к *взаимодействию* со всеми общественными группами, в том числе и с властью, и его подтвержденная практикой способность *объединять, консолидировать* людей самых разных взглядов.

Надо сказать, что мы не были романтиками и предполагали безнадежность наших попыток добиться взаимопонимания с властью, добиться сочувственного отклика со стороны широких слоев общества. Поэтому наши заявления часто имели декларативный характер. Однако, заявляя о своей нравственной оценке того или иного события, явления, мы всегда "оставляли дверь открытой", объявляя вместе с тем и о своей готовности к диалогу, к конструктивному взаимодействию — при условии взаимной добросовестности, разумеется. Эта позиция, быть может, лучше всего выражена в Статусе Комитета прав человека, который мы позволим себе привести полностью:

1. Комитет прав человека является творческой ассоциацией, действующей в соответствии с законами государства, настоящими Принципами и Регламентом Комитета.
2. Членами Комитета могут быть лица, руководствующиеся, когда они действуют как члены Комитета, настоящими Принципами и Регламентом, признанные в этом качестве Комитетом в соответствии с процедурой,

предусмотренной Регламентом,

не являющиеся членами политических партий или иных организаций, претендующих на участие в государственном управлении, а равно организаций, принципы которых допускают участие в ортодоксальной или оппозиционной политической деятельности,

не намеренные использовать свое участие в Комитете в политических целях.

3. Целями деятельности Комитета являются:

консультативное содействие органам государственной власти в области создания и применения гарантий прав человека, проводимое по инициативе Комитета или по инициативе заинтересованных органов власти,

творческая помощь лицам, озабоченным конструктивными исследованиями теоретических аспектов проблемы прав человека и изучением специфики этой проблемы в социалистическом обществе,

правовое просвещение, в частности, пропаганда документов международного и советского права по правам человека.

4. В теоретическом исследовании и конструктивной практике современного состояния системы правовых гарантий свободы личности в советском праве Комитет:

руководствуется гуманными принципами Всеобщей декларации прав человека,

исходит из признания специфики советского права,

учитывает сложившиеся традиции и реальные трудности государства в этой области.

5. Комитет готов к творческим контактам с общественными и научными организациями, с международными неправительственными организациями, если в своей деятельности они исходят из принципов Объединенных Наций и не ставят своей целью нанесение ущерба Советскому Союзу¹.

Власть отказывалась вести равноправный диалог с правозащитниками, предпочитая разговаривать с ними на языке репрессий. Но стремление правозащитного движения к диалогу с обществом не осталось безответным. Исторический факт: как только стали известны первые выступления правозащитников, к ним потянулись со своими нуждами и бедами "ходоки" со всех концов страны. Более того, другие движения, многие из которых возникли раньше правозащитного — национальные, религиозные, за свободу эмиграции, — нашли в нем естественный центр притяжения. Правозащитная позиция оказалась довольно популярной. "Хроника" печатала информацию о положении крымских татар, месхетинцев, верующих, инвалидов, литовских католиков, "отказников". С другой стороны, представители этих движений содействовали деятельности правозащитников: доставляли информацию, помогали распространять правозащитные документы, оказывали материальную помощь.

Люди не спрашивали друг у друга: како веруеши? Общность возникла на общечеловеческой, нравственной основе. Генерал Петр Григоренко, от молодых ногтей впитавший коммунистические представления и идеалы, легко находил общий язык с евангельским христианином-

¹ Грех не вспомнить при этом, что настоящие дружеские связи не только не разрушались, но укреплялись; завязывались новые — в личном плане правозащитники вовсе не ощущали вакуума вокруг себя.

баптистом Петром Винсом (это ведь и в самом деле нетрудно, если девиз “человек человеку друг, товарищ и брат” воспринимать не как пустопорожний лозунг, прикрывающий снаружи колючую проволоку лагерного забора, а как жизненное кредо). Литовцы-католики Терляцкас и Садунайте и биолог Сергей Ковалев не вступали в споры о богочеловеческой природе Иисуса Христа, а обменивались информацией о современных узниках совести. Активисты крымско-татарского движения видели в писателе-коммунисте Алексее Костерине не одного из виновников преступления против их народа, а друга, готового прийти на помощь; такого же друга они нашли в генерале Григоренко и математике Александре Лавуте, ни сном ни духом не причастных к сталинскому геноциду и, однако, не снимавших и с себя вину за преступления страны.

VIII

Отказавшись от участия в политической борьбе, заняв положение вне игры, диссиденты и правозащитники оказались в весьма трудном положении.

Прекрасное занятие — создавать идеалы. Например, “жить не по лжи”. Но приложим его к практической жизни. Солженицын попытался, так сказать, обозначить путь: не покупать газеты, не ходить на политзанятия, не голосовать за, когда это против совести. Всякому понятно, что из этого получится (во всяком случае, *тогда* — было понятно).

Другой идеал, идеал мужества: не мириться со злом. Все, пытавшиеся ему следовать, пошли в лагерь, как минимум лишились работы...

Разумеется, любой идеал в принципе недостижим, на то он и идеал, но хочется хотя бы немного к нему приблизиться. В нашем положении это означало бы проявлять героизм, что допустимо в экстремальных ситуациях, но противостоит в обыденной жизни. И поэтому диссиденты и правозащитники нередко воспринимались как экстремисты, а их обращения — как декларации. Да, собственно, они чаще всего и имели декларативный характер, так как ни в какой мере не могли учитывать реальную ситуацию, предлагать компромиссные варианты: речь шла о вещах, в которых компромиссных вариантов просто не было.

Нам могут возразить: множество людей в эти годы “застоя” пытались работать честно, идя при этом на некоторые внутренние компромиссы (иначе было невозможно). Ну, разумеется. Без этих людей не могли бы существовать ни Фонд помощи политзаключенным, ни “Хроника текущих событий”. Они тоже — правозащитное движение. Мы не отделяем явных участников этого движения, назвавших свои имена, от тех, кто должен был заниматься благотворительностью — подпольно печатая на машинке на “явочной” квартире. И кто оказывался на виду, а кто — “под водой”, часто было делом случая¹.

¹ Это утверждение верно лишь в общем виде. Тиражи правозащитного “самиздата” колебались в зависимости от периода и от жанра. Так, в самом конце 70-х — начале 80-х годов резко снизился читательский спрос на традиционно правозащитный жанр — хроникально-информационную работу. Причины этого еще предстоит проанализировать. Одно из предположений (принадлежащее Р. Пименову) — “тамиздат”, то есть литература, издаваемая за границей и проникающая в стану узкими ручейками, убил “самиздат” или, во всяком случае, понизил его жизненную актив-

Предпринимая свое первое правозащитное действие (например, подписывая какую-нибудь петицию), человек еще вовсе не отделял себя от своего окружения. Однако для многих этот шаг оказывался необратимым. Вчера еще этот человек всего лишь высказал то, что было (как он знал) мнением многих, при этом часто даже не будучи по натуре убежденным неконформистом. Сегодня на него обрушивался государственный и, к сожалению, общественный остракизм. Речь идет не о судебных или иных прямых репрессиях (они происходили своим чередом), а о том, что происходило почти всегда, независимо от суда, — об увольнении с работы, которое влекло за собой отторжение от профессиональной деятельности и среды, дисквалификацию. Но и это не все, это еще лишь внешние следствия. Более существенным было то, что между “заявленным” правозащитником и его недавним окружением возникало поле напряжения¹, причем из соображений внутренних, а не только карьерно-деловых. Окружающие обвиняли правозащитника в безответственности (“из-за ваших безрезультатных действий власти ужесточают давление на все общество — не гоните волну!”), в провокационности (“ваши призывы, ваша информация, в конце концов, адресованы мне; чтобы не потерять самоуважения, я вынужден принять участие в том, в чем вовсе не хочу участвовать, вместо круговой поруки, основанной на страхе, мне предлагается другая, основанная на совести, — но принцип тот же”).

Ответной реакцией со стороны правозащитников нередко бывало обвинение общества в приспособленчестве, в утрате нравственных критериев. Поневоле замкнувшиеся в своем кругу, правозащитники поневоле же вырабатывали собственную этику, свой стиль поведения, даже сходный образ жизни, среди них возникал свой групповой конформизм и своя нетерпимость. Едва освободившись от одних партийных и идеологических стереотипов, они начали вырабатывать новые. Уже возникло непартийное мировоззрение, но психология, в силу воспитания, традиций и жестоких обстоятельств, осталась партийной; это ярко проявилось во взаимоотношениях внутри эмиграции “третьей волны.”

Экстремальные условия существования породили и другие пороки правозащитного движения. Среди правозащитников преобладала установка на проявление себя в действии — на протяжении всех 20 лет остро ощущался недостаток рефлексии, самоосознания; призыв Л. Венцова (Б. Шрагина) “Думать!” (название статьи, появившейся в “самиздате” в начале 70-х годов) не встретил широкого отклика. Нереализуемой была идея самообразования: где были для этого книги? Где наставники? Первая формация правозащитников еще могла обходиться за счет своих запасов общей культуры (не весьма богатых к тому времени); когда же на смену старшим, ушедшим в лагеря, пришла диссидентская молодежь, — общекультурный уровень диссидентов и правозащитников заметно снизился (вместе с общекультурным уровнем всего общества). Из-за отсутствия широкой и подвижной аудитории диссидентское творчество становилось все более дилетантским, правозащитные действия приобретали все более шаблонные формы.

нось. Вероятно, это предположение в самом деле справедливо относительно художественной литературы и вообще произведений большого объема и, так сказать, научного жанра.

¹ Из первого открытого письма Инициативной группы от 28 мая 1969 г. Цит. по: А л е к с е е в а Л. История инакомыслия в СССР, с. 266.

На этом уровне нетрудно было прослыть знатоком, осознав всего лишь очевидные, кричащие пороки действительности (если ты критикуешь Лысенко — значит, ты корифей в биологии, и т. д.). Критика действительности без труда переходила в дилетантство.

Правозащитный "самиздат", как правило, находил своего читателя¹. Но потенциальный читатель далеко не всегда находил интересующую его литературу. Круг ее потребителей оказался в конце концов довольно замкнутым — ненамного шире, чем круг поставщиков информации. Можно сказать, что правозащитный "самиздат" имел тенденцию замкнуться сам в себе.

Специфика "самиздата" обусловила отсутствие дискуссионности, состязательности мнений. Выше мы говорили, что правозащитная позиция объединяла разно мыслящих людей. Однако высказываемые ими различные точки зрения по разным вопросам, в том числе и политическим, редко встречали — если вообще встречали — основательную, добросовестную критику. Зато любые из них всегда наталкивались на враждебный, категоричный отпор официальной печати, и всегда не по существу дела, всегда с фальшивыми обвинениями, с ложными доносами типа "состоят на службе ЦРУ", "действуют по указке западных спецслужб" и т. п. — и все это независимо от того, в чем состояло критикующее мнение; достаточно было того, что оно отличалось от сиюминутного официального. В этих условиях даже противники подвергающейся разгрому позиции, будучи честными и порядочными людьми, не могли себе позволить выступить с серьезной критикой, ведь это значило присоединить свой голос к улюлюканью толпы погромщиков (та же ситуация повторяется и сегодня).

Не ставя целью борьбу с властью, не предполагая радикальных перемен государственного строя в результате своей деятельности, правозащитники не имели позитивной политической программы (или программ). Ценой за отказ от политики была распространенная в этой среде "философия пессимизма": надо научиться вести себя достойно в нашей вполне бесперспективной ситуации. "Ой, правое русское слово — луч света в кромешной ночи! И все будет вечно хреново, и все же ты вечно звучи", — пел Юлий Ким. Американский историк Стивен Козн называет это состояние "кризисом идей", тупиком, из которого нет выхода. Он выстраивает схему процесса, приведшего к тупиковому результату: неспособные произвести перемены в силу своей малочисленности и отворачиваясь к революционным решениям; не имея поддержки в широких слоях общества, диссиденты в 60-х годах возлагали надежды на реформы сверху (видимо, ориентируясь на хрущевскую "оттепель"); "их протесты и программы, сформулированные в духе верности идеям социализма, были обращены непосредственно к властям"². Далее он пишет, что выступления диссидентов 70-х годов, потерявших надежду на реформы сверху, "становились все более антисоветскими и рассчитанными на западное, а не советское потребление"³. Мы совершенно не согласны с та-

¹ Хроника текущих событий, вып. 16–27. Фонд им. Герцена, Амстердам, с. 56–122.

² Козн С. Переосмысливая советский опыт. Chalidze Publication, Benson, USA, 1968, с. 160.

³ Там же.

кой трактовкой и надеемся, что все содержание нашей статьи ее опровергает. Однако американский историк верно отмечает, так сказать, ориентацию на бесперспективность в нашей среде, вытекавшую из общественного климата того времени, исключавшего надежды на возможность существенных перемен к лучшему.

На этом фоне особенно интересна позиция академика Сахарова. Он вошел в правозащитное движение, когда оно уже вполне определилось в своих основных чертах: работа Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" стала известна в "самиздате" в 1968 году. В отличие от негативно-критического направления правозащитного движения эта работа направлена к поискам хотя бы мыслимых позитивных решений. Сахаров выдвинул ряд предложений по оздоровлению всей жизни страны. (Пожалуй, он был тогда единственным из известных нам правозащитников, кто предложил позитивную программу, оставаясь всегда неполитиком, сохранив научную объективность и беспристрастность — т. е. вожделенную независимость. Значит, и это возможно!)

Это очень важная работа, в ней сформулированы такие идеи:

1. Необходимо всемерно углублять стратегию мирного сосуществования и сотрудничества. Разработать научные методы и принципы международной политики, основанные на научном предвидении отдаленных и ближайших последствий.
2. Проявить инициативу в разработке широкой международной программы борьбы с голодом.
3. Необходимо разработать, широко обсудить и принять "Закон о печати и информации", преследующий цели не только ликвидировать безответственную идеологическую цензуру, но и всемерно поощрять самоизъятие в нашем обществе, поощрять дух бесстрашного обсуждения и поисков истины. Закон должен предусмотреть материальные ресурсы свободы мысли.
4. Необходимо отменить все антиконституционные законы и указания, нарушающие права человека.
5. Необходимо амнистировать политических заключенных, а также пересмотреть ряд имевших место в последнее время политических процессов (например, Даниэля — Синявского и Галанскова — Гинзбурга). Немедленно облегчить лагерный режим для политзаключенных.
6. Необходимо довести до конца, до полной правды, а не до взвешенной на весах *кастовой* целесообразности полуправды, разоблачение сталинизма. Необходимо всемерно ограничить влияние неосталинистов на нашу политическую жизнь...
7. Необходимо всемерно углублять экономическую реформу, расширять сферу эксперимента и делать все выводы из его результатов.
8. Необходимо принять после широкого научного обсуждения "Закон о гигиене", который впоследствии должен слиться с мировыми усилиями в этой области.

С этой статьей автор обращается к руководству нашей страны, ко всем ее гражданам, ко всем лицами доброй воли во всем мире. Автор понимает спорность многих положений статьи, его цель — открытое, открытое обсуждение в условиях гласности"¹.

¹ Сахаров А. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. — В кн.: А. Д. Сахаров. Тревога и надежда. Интер-Версо, 1990, с. 45 — 46.

С тех пор — в течение 20 лет — идеи этой работы постепенно внедрялись в общественное сознание, а потому становились действенным фактором международной жизни. Однако мы хотим обратить внимание на другое: предлагая реформистские решения внутренних и международных проблем, — верит ли сам автор в то, что эти предложения могут быть приняты? Если верит — не слишком ли он наивен, даже для ученого, оторванного от жизни? Если не верит — для чего тогда его заведомо беспочвенные конструкции? Надо сказать, что позднее такие вопросы задавались А. Д. Сахарову, и он отвечал на них со свойственной ему честностью и четкостью.

Вопрос: Вы сомневаетесь в том, что можно вообще что-то сделать, чтобы исправить систему... и, несмотря на это, Вы сами все время действуете. Почему?

Сахаров: Это — естественная потребность создавать идеалы, даже когда не видно непосредственного пути к их осуществлению. Ведь если нет идеалов, то и надеяться вообще не на что...

Вопрос: Есть ли надежда на демократизацию страны?...

Сахаров: Прогнозов не строю. Надежд на демократические изменения в ближайшем будущем не имею. Но крот истории роет незаметно...¹

Так А. Д. Сахаров обосновывает то состояние общественной мысли, которое мы назвали "философией пессимизма", а прагматичный американский историк — "кризисом идей". Можно видеть, что сахаровский подход делает философию пессимизма не беспросветно пессимистичной, а "кризис идей" превращает в источник идеалов.

А. Д. Сахаров дал не только образец конструктивного подхода к правозащитному движению, но и его нравственное обоснование. Не столько прямые утверждения А. Д. Сахарова, сколько нравственный пример его личности, его деятельности могли придать правозащитному движению конструктивный и правовой характер.

Надо сказать, что правозащитники, может быть, слишком мало задумывались о своем движении, мало старались осознать его общий смысл и направленность. Это движение в основном проявлялось в действии, в ряде индивидуальных или групповых поступков, лишь потом составивших общую картину, доступную осознанию и анализу. Действия же правозащитников можно охарактеризовать как не прекращавшиеся все прошедшие годы попытки реализовать законные права и свободы, не спрашивая на это ничего позволения (часто даже не сверяясь с писанным правом — Законом), доверяясь лишь своему нравственному чувству.

* * *

Каков же итог нашего двадцати-двадцатипятилетнего развития в период застоя? Развития — без положительных программ, без заданной цели, без монолитного единомыслия, без подчинения идеологической догме?

¹ Андрей Сахаров о правозащитном движении (Ответы на вопросы В. Чалидзе). — В сб.: *СССР: внутренние противоречия*, № 5, Chalidze Publications, Benson, USA, 1982, с. 9.

— Художественные, документальные, публицистические произведения, гуманитарные научные работы, давным-давно опубликованные за границей по-русски и на чужих языках; произведения, на которых выросло не одно поколение русистов и советологов Запада, а в последние годы неиссякающим ручейком питающие советские журналы;

— многолетнее, несмотря на жестокие преследования, издание независимого информационного бюллетеня "Хроника текущих событий";

— исторические сборники "Память", приступившие к заполнению белых пятен отечественной истории задолго до "горбачевского ренессанса";

— "Поиски" — журнал, попытавшийся консолидировать советское общество и реализовать плюрализм мнений;

— фонд помощи политзаключенным — прообраз сегодняшней (впрочем, скорее завтрашней) благотворительности;

— "самиздат" — самое демократическое в мире издательство, где тираж определялся худсоветом из старушек и девчонок за пишущими машинками;

— магнитофонный музыкальный "самиздат", откуда давно уже черпает репертуар эстрада, кино, телевидение.

А вот имена: нобелевские лауреаты Андрей Сахаров, Александр Солженицын, Иосиф Бродский; вышедшие на арену мировой культуры Андрей Тарковский, Эрнст Неизвестный, Мстислав Ростропович; не столь широко известные в мире, но пользующиеся колоссальной популярностью в нашей стране Булат Окуджава, Александр Галич, Юлий Ким, Владимир Высоцкий...

Так что же все-таки: духовный кризис или духовное возрождение? Удивительный парадокс — как его объяснить? Неужели утрата обществом надежд ведет к творческому подъему? Максимальное подавление личности — к ее расцвету?

Мы хотим утверждать другое:

Февраль 1966 года — начало *независимого* движения советской творческой интеллигенции и одновременно начало правозащитного движения. Оба явления имеют одни истоки, обогащают друг друга своими идеалами и ценностями. Оба рождали идеалы: идеалы нравственности и доброты, свободу и Права, личной ответственности и независимости — вне партий и идеологий.

Счастлирое ощущение свободы, своей неподотчетности как личности! Интеллигенция отказалась участвовать в схватке, вышла из этой игры на нейтральную полосу.

"А на нейтральной полосе цветы — необычайной красоты!"

Итак, за 20 лет общество "отвоевало" у власти — в первую очередь в собственном своем сознании — такие области, как искусство, научное творчество; "отвоевало" — в своем сознании! — независимость, суверенность личности в ее индивидуальных (нравственных, интеллектуальных, духовных) проявлениях, а до некоторой степени — и в проявлениях групповых (национальных, религиозных) интересов. Главный смысл общественного движения 60 — 80-х годов мы видим в том, что в процессе своей деятельности оно выработало в себе самом эти основы, эти идеалы Права. Оно не переняло их в готовом виде у Запада, не получило в виде отечественной традиции. Правосознание, проросшее на нашей собственной почве, правосознание, питательным слоем для роста которого

послужили правозащитники, а корни, хочется надеяться, пробились вглубь, в само общество, — в этом, мы считаем, и состоит положительный опыт ядра независимого общественного движения.

* * *

Принципиальные основы прежнего правозащитного движения в последнее время часто подвергаются критике и пересмотру “изнутри”. Критика, прозвучавшая в немногих публикациях, а больше в выступлениях и частных дискуссиях, заключается, коротко говоря, в следующих главных пунктах:

1. Нарушения прав возможны лишь там, где Право существует. Советская политическая система принципиально антиправовая и не способная эволюционировать, не изменив своей природы; бессмысленно говорить о нарушениях прав там, где царит произвол, лишь слегка маскируемый кодексами и декларациями. Вот почему и сегодня прогресс в области прав человека столь ничтожен и имеет характер пропагандистского маневра. Вот почему и сама надежда на прогресс, а тем более на попытку взаимодействия с властью в этом направлении иллюзорна и, по существу, вредна: она отвлекает от главной задачи — замены самой системы.

2. Вообще все происходящее в стране перемены — большой блеф, предпринятый для того, чтобы обмануть Запад, а заодно и легковверных соотечественников. Принимать реформы всерьез — непростительная наивность, граничащая с преступлением, она способствует обману; одобрение же реформы и стремление поддержать теперешний курс — сродни коллаборационизму.

3. Любое сотрудничество с такой властью, если бы оно осуществилось, а) безнравственно и б) неизбежно ведет к утрате независимости. Что думаем мы по этому поводу?

Вероятно, противостояние общества и власти неизбежно при любом социально-политическом строе, просто в силу — неизбежной и необходимой — консервативности власти, стремящейся ограничить и ввести в рамки живую активность общества. Однако там, где имеются механизмы взаимного контроля, правовые механизмы обратной связи, — там и противостояние теряет свою остроту и возникает реальная возможность конструктивного диалога между обществом и властью.

Развитие последних лет позволяет, нам кажется, считать, что и такая система, как наша, в состоянии серьезно продвинуться вперед, что и в ее рамках можно *добиваться* сколько-нибудь приемлемых отношений личности и государства. Но *добиться* этого удастся лишь в том случае, если конфронтация между обществом и властью будет преодолена усилиями с обеих сторон, усилиями, которые предполагают обоюдостороннюю готовность к взаимодействию.

Одна из серьезных опасностей сегодня, на наш взгляд, состоит в том, что так далеко зашедшая в прошедшие годы конфронтация (нередко перераставшая во вражду) окажется непреодолимой, причем с обеих сторон. Психологически это так понятно: ведь нет абстрактно существующего общества (в свою очередь глубоко расколовшегося на антагонистически настроенные друг против друга слои) и абстрактной системы управления, а есть с обеих сторон люди, обладающие памятью, подвер-

женные страстям и эмоциям; одни старались подавить других или вычеркнуть из жизни, фигурально, а то и буквально. Как забыть об этом? Имеем ли мы право забыть — не предаем ли мы тем самым наших погибших друзей и тех, кто сегодня в неволе? Нам, авторам статьи, эти чувства не менее близки, чем любому из нашей среды. Сразу скажем: нет, мы не хотим ни простить, ни тем более забыть. Но то, что не забыть, мы надеемся отнести ко вчерашнему: надеемся, что мог бы возникнуть рубеж между вчерашним и завтрашним.

У страны остается, может быть, последняя надежда выжить; это, кажется, начали осознать многие (или лишь некоторые?) люди во всех структурах — и в руководящей в том числе.

Конечно, нетрудно видеть — и мы это ясно видим и понимаем, — как непоследовательны и половинчаты нынешние реформы, какими негибкими и неуклюжими остаются действия властей, как привычно обращаются они к полицейским мерам управления. Не о “новом” мышлении свидетельствует их позиция в отношении крымских татар, их действия в Армении, приводящие к обострению конфликта, их лицемерная форма освобождения политических заключенных (освобождения, все еще незавершенного), и принятие ряда указов, игнорирующих мнение и общества, и специалистов. Все так. Обо всех подобных отступлениях от провозглашенного курса следует говорить. Да ведь и говорится же — и теперь, слава богу, не узким (все же узким!) кругом правозащитников, а на различных, формальных и неформальных, форумах, в неофициальной, но и в официальной печати.

Но сегодня недостаточно *говорить*, мало *разоблачать* и уж вовсе бессмысленно *требовать* — требовать немедленной и в полном объеме реализации провозглашенных идеалов, кем бы они ни были провозглашены, правозащитниками вчера или руководителями страны сегодня. Теперь, кажется, возможно — и, значит, необходимо — искать конструктивные пути их реализации. Не “по щучьему велению, по моему хотенью”, а — как? Не путем немедленного удовлетворения всех законных требований и прекрасных пожеланий (если вдуматься, это нередко оказалось бы невозможным и нереалистичным); не внезапной отменой всех структур и систем, пусть и скомпрометировавших себя (это привело бы к полному развалу и разрушению страны и общества “до основания. А затем...”, что мы уже проходили).

Оказывается, что строить мы не умеем. Никто, ни “сверху”, ни “снизу”. Нам кажется очевидным, что, если мы имеем в виду создание здоровой системы и здорового общества, мы все должны стремиться к консолидации и сотрудничеству (что предполагает разумные взаимные компромиссы).

Здесь следует сделать два замечания.

Во-первых, компромисс и консолидация в нашем понимании вовсе не тождественны конформизму и беспринципному “единению”. Наоборот, они предполагают полную определенность ясно высказанных принципиальных позиций. Но при всем различии позиций, взглядов, идей следует искать общие точки, общие интересы в практической деятельности, не считая свою позицию, свое “учение” единственно истинным и обязательным для всех. Было бы странно, если бы мы, правозащитники, вдруг отказались от принципа равноправия. Конечно, мы давно по-

нимаем абсурдность утверждения "все равны, но некоторые равнее других". Но ведь утверждение "все равны, но некоторые менее равны, чем другие", не менее абсурдно.

Во-вторых, мы, разумеется, имеем в виду сотрудничество "по горизонтали", сотрудничество внутри общества.

Что следует отсюда применительно к правозащитному движению? Да, его традиционная проблематика не снята еще, к сожалению, с повестки дня; можно надеяться, что она будет становиться менее болезненной, чем в недавнем прошлом. Но и независимо от этой надежды содержание правозащитной деятельности не может оставаться прежним. Каким же оно может стать в новых условиях? Каково его место в ряду других направлений общественной активности?

Коротко мы обозначили бы его так: переход от пассивно-отрицательной позиции к позиции активной, к положительным конструктивным действиям. Впрочем, не менее важной остается прежняя задача — продолжение и развитие только что возникших традиций правосознания в нашем обществе.

10.01.1989 г.

ХРОНИКА ДИССИДЕНТСКОГО ДВИЖЕНИЯ (1968 – 1983 гг.)

Единственной пока попыткой классификации независимых общественных движений в СССР является книга Л. Алексеевой "История инакомыслия в СССР. Новейший период" ("Khronika Press", 1984, Venson, Vermont).

Перечень разделов этой книги может дать представление о широком спектре движений инакомыслящих:

1. Украинское национальное движение.
2. Литовское национально-демократическое движение.
3. Эстонское национально-демократическое движение.
4. Армянское национальное движение.
5. Грузинское национальное движение.
6. Крымскотатарское движение за возвращение в Крым.
7. Борьба месхов за возвращение на родину.
8. Еврейское движение за выезд в Израиль.
9. Движение советских немцев за выезд в ФРГ.
10. Евангельские христиане-баптисты.
11. Пятидесятники.
12. Верные и Свободные адвентисты седьмого дня.
13. Православные.
14. Движение за права человека.
15. Движение за социально-экономические права.
16. Русское национальное движение.

* * *

Правозащитное движение вскоре после своего возникновения стало своего рода общим знаменателем, полем пересечения интересов всех прочих диссидентских движений – национальных, религиозных, культурных, политических. Правозащитная информация аккумулировала в себе информацию обо всех этих движениях, что прекрасно отражается и в структуре первого и основного правозащитного информационного бюллетеня – "Хроники текущих событий" (см. ниже).

Приведем хронологическое перечисление основных вех истории правозащитного движения.

Первый период (1965 – 1972 гг.) . Становление.

Сентябрь 1965 г. В Москве арестованы два "подпольных" писателя: Андрей Синявский и Юлий Даниэль. Опубликование ими на Западе литературных произведений (под псевдонимами Абрам Терц и Николай

Аржак) Комитет государственной безопасности квалифицировал как "особо опасное государственное преступление". Обоим было предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР: "Антисоветская агитация и пропаганда, направленная на подрыв или ослабление Советской власти".

5 декабря. На Пушкинской площади в Москве прошла первая за многие десятилетия несанкционированная демонстрация. Лозунги демонстрации: "Требуем гласности суда над Синявским и Даниэлем!" и "Уважайте Советскую Конституцию — наш Основной Закон!". Один из организаторов демонстрации — А. С. Есенин-Вольпин, математик и поэт, "пионер правового просвещения" в среде московской интеллигенции. Демонстрация была разогнана, однако традиция подобных митингов на Пушкинской площади сохранилась. (В 1977 г., в связи с принятием новой Конституции, дата митинга была перенесена на 10 декабря — Международный день прав человека.)

Зима 1965/66 г. Первые петиции в защиту Синявского и Даниэля. Всего известно 22 таких письма. Подписали их 80 человек, в том числе более 60 членов Союза писателей.

Февраль 1966 г. Верховный суд РСФСР приговорил Синявского и Даниэля к семи и пяти годам лагерей строгого режима соответственно.

Май. Открытое письмо Л. К. Чуковской Михаилу Шолохову. В деле Синявского и Даниэля это письмо сыграло приблизительно ту же роль, что "Я обвиняю!" Э. Золя — в деле Дрейфуса. Первое произведение "самиздатской" публицистики.

22 сентября. Публикация Указа Президиума Верховного Совета РСФСР о дополнении Уголовного кодекса ст. 190¹, 190², 190³.

Ст. 190¹ УК РСФСР:

"Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания". Санкция — до 3 лет лагерей.

Ст. 190³ УК РСФСР: "Организация, а равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушения работы транспорта, государственных, общественных учреждений или предприятий". Санкция — до 3 лет лагерей.

Осень. А. И. Гинзбург, ранее, в 1959 — 1961 гг., приобретший известность как издатель одного из первых "самиздатских" литературных журналов ("Синтаксис"), заканчивает составление сборника документов по делу Синявского и Даниэля — так называемой "Белой книги". Одновременно его друг, поэт Юрий Галансков, составляет другой сборник — литературно-публицистический альманах "Феникс-66", который, в частности, включает "криминальную" статью Абрама Терца "Что такое социалистический реализм".

17 января 1967 г. Арест Юрия Галанскова и троих его знакомых — Алексея Добровольского, Веры Лашковой, А. Радзиевского (последний вскоре был выпущен).

22 января. Демонстрация на Пушкинской площади в защиту арестованных. Среди задержанных — Виктор Хаустов, Владимир Буковский, несколько молодых поэтов — Илья Габай, Вадим Делоне, Евгений Кушев.

23 января. Арест Александра Гинзбурга.

Апрель. Суд над Виктором Хаустовым. Обвинение — по ст. 190³, приговор — 3 года лагеря.

Август. Суд над Буковским, Делоне, Кушевым. Приговоры — Буковскому — 3 года лагеря, Кушев и Делоне осуждены условно.

Осень. Бывший политический заключенный Анатолий Марченко заканчивает книгу "Мои показания" — первое документальное свидетельство о мордовских политлагерях 60-х годов.

Конец 1967 — начало 1968 г. Начало петиционной кампании в защиту Гинзбурга и Галанскова.

Январь 1968 г. Суд на Гинзбургом, Галансковым, Добровольским и Лашковой. Приговоры: 5, 7, 2, и 1 год лишения свободы соответственно. Обращение Ларисы Богораз и Павла Литвинова "К мировой общественности" — первая апелляция не только к советской, но и к зарубежной аудитории.

Необычный рост популярности в "самиздате" жанра открытого письма — так называемая эпистолярная революция. Среди наиболее известных документов: письмо 12 членов партии и беспартийных к Будапештскому совещанию коммунистических и рабочих партий; письмо Юлия Кима, Петра Якира, Ильи Габая. Тема этих писем — последствия произвола и беззакония для нашей страны, нравственные и политические уроки процесса Гинзбурга — Галанскова. В "самиздате" появляются новые сюжеты: национальный вопрос (судьба крымскотатарского народа), положение политзаключенных.

Февраль. 10-дневная голодовка нескольких политзаключенных мордовских лагерей с требованием ограничить произвол администрации. Впервые о подобной голодовке стало известно за пределами лагеря и даже за рубежом. Власти вынуждены дать голодающим определенные гарантии.

Весна. В "самиздате" появляется статья акад. А. Д. Сахарова "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе". Работа имела большой резонанс; однако в то время едва ли были до конца осмыслены — как в СССР, так и за рубежом — содержащиеся в ней принципиально новые положения, провозглашающие соблюдение прав человека необходимой основой дальнейшего существования человечества.

30 апреля. 1-й выпуск "самиздатского" правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий". "Хроника" просуществовала 15 лет; последний, 64-й выпуск, вышел в свет в 1983 г. "Хроника" констатировала случаи нарушения прав человека в СССР, правозащитные выступления и факты осуществления гражданских прав "явочным порядком". Основные принципы "Хроники": безоценочность, стремление к достоверности и полноте информации. Экземпляры "Хроники" распространялись в Москве и других городах страны, переходя из рук в руки, многократно перепечатывались. Поступление информации шло по тем же цепочкам, но в обратном направлении.

В первых выпусках ХТС осведомленность ее ограничивалась в основном Москвой, почти нет информации из национальных республик (исключение — Украина). С самого начала — информация о движении крымских татар, с 1969 г. — информация о движении месхов. О Литве

эпизодические известия стали появляться с августа 1970 г., постоянные — с сентября 1971 г.

Сведения о религиозных движениях в первые годы существования ХТС появлялись лишь эпизодически, в основном — о православных, реже — о баптистах.

Постоянная тема "Хроники" — положение политзаключенных. Благодаря "Хронике" советские политзаключенные впервые обрели возможность апелляции к внешнему миру.

Выпуски "Хроники" подготавливались анонимно. Определяющее участие в работе над изданием принадлежало Наталье Горбаневской, московскому поэту и переводчику.

На *первую половину 1968 г.* приходится и начало репрессий против "подписантов" (так в то время называли людей, принявших участие в кампании протестов против политических преследований). В основном дело ограничивалось проработками, увольнениями со службы, исключениями из партии и т. п. Неприятностей можно было избежать, выразив "сожаление" по поводу своего поступка; однако среди более чем 700 "подписантов" (подсчет А. Амальрика) нашлось всего несколько человек, пошедших на это.

К этому же времени относятся первые попытки использовать против правозащитников психиатрию. Были подвергнуты принудительной госпитализации Н. Горбаневская (февраль), А. Есенин-Вольпин (весна), Ж. Медведев (июнь). Волна протестов вынудила власти временно отказаться от этого приема и освободить уже госпитализированных (впоследствии подобного результата удавалось добиваться с гораздо большим трудом). Единственный политический арест в среде московской интеллигенции произошел в мае (математик Илья Бурмистрович был арестован и затем осужден по ст. 190¹ за распространение произведений Терца и Аржака).

Август. Были арестованы Анатолий Марченко (якобы за нарушение паспортного режима) и Ирина Белгородская — за распространение письма в защиту Анатолия Марченко. Последний был осужден на год лагеря 21 августа, в первый день вторжения в Чехословакию.

25 августа. Демонстрация протеста против вторжения в ЧССР на Красной площади в Москве. Шестеро участников демонстрации — Константин Бабицкий, Лариса Богораз, Павел Литвинов, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Виктор Файнберг — были арестованы. Всем были предъявлены обвинения по ст. 190¹ и 190³. В октябре Мосгорсуд вынес приговоры: Бабицкому, Богораз и Литвинову — от 3 до 5 лет ссылки, Делоне и Дремлюге — лагерь. В. Файнберга признали невменяемым и назначили ему лечение в психиатрической больнице специального типа. Как вскоре выяснилось, последнее решение суда было самым жестоким наказанием — хотя бы потому, что в нем не оговаривался срок (Файнберг вышел на свободу лишь в 1973 г.).

Были и другие протесты против оккупации Чехословакии — в Москве, Ленинграде, других городах.

Участились аресты правозащитников. В Ленинграде было арестовано 5 человек, связанных с московскими диссидентами (впрочем, сам термин в это время еще не применялся). В Латвии арестовали Ивана Яхимовича, председателя колхоза, автора одного из наиболее ярких писем протеста против приговора Галанскову и Гинзбургу.

1968 год стал временем становления правозащитного движения, формирования его философии, методов действия. 1968 год определил костяк правозащитного движения; хотя состав его участников впоследствии многократно обновлялся под влиянием арестов, эмиграции, притока молодежи, "люди 1968-го" неизменно пользовались в движении громадным авторитетом и во многом продолжали определять его дух. В 1968 г. была упорядочена помощь политзаключенным (независимо от убеждений).

Январь 1969 г. Закончено составление сборника документов по делу о демонстрации 25 августа 1968 г. Автор сборника — Наталья Горбаневская, также участвовавшая в демонстрации.

Примерно в это же время заканчивается работа над сборником "Процесс четырех", посвященным процессу Галанкова — Гинзбурга — Добровольского — Лашковой (эта работа была начата еще П. Литвиновым и продолжена А. Амальриком).

Весна. И. Якимович признан невменяемым и отправлен в спецбольницу.

Среди московских правозащитников активно дискутируется вопрос о том, не следует ли придать своей деятельности какие-либо организационные формы. Этой теме посвящен ряд многолюдных встреч на квартире известного правозащитника, бывшего генерал-майора (разжалованного еще при Хрущеве) Петра Григорьевича Григоренко.

Май. Аресты И. Габая и П. Григоренко. Последний арестован в Ташкенте, куда он прилетел, чтобы встретиться с активистами крымскотатарского движения.

28 мая. Создана первая в СССР открытая общественная ассоциация, не контролируемая сверху, — Инициативная группа защиты прав человека в СССР.

Членами Инициативной группы стали: Владимир Борисов, рабочий (Ленинград); Генрих Алтунян, инженер-кибернетик (Харьков); Татьяна Великанова, математик (Москва); Наталья Горбаневская, поэт (Москва); Мустафа Джемилев, агроном, активист крымскотатарского движения (Ташкент); Сергей Ковалев, биолог (Москва); Виктор Красин, экономист (Москва); Александр Лавут, математик (Москва); Анатолий Левитин-Краснов, церковный писатель (Москва); Юрий Мальцев, искусствовед (Москва); Григорий Подъяпольский, геофизик (Москва); Леонид Плющ, кибернетик (Киев); Татьяна Ходорович, лингвист (Москва); Петр Якир, историк (Москва); Анатолий Якобсон, литератор (Москва).

Пятнадцать правозащитников назвали себя Инициативной группой в открытом письме, адресованном в Организацию Объединенных Наций, в котором перечислялись наиболее вопиющие нарушения прав человека в СССР¹. Выбор адресата определялся, очевидно, восприятием ООН как гаранта соблюдения международно-правовых документов (таких, как "Декларация прав человека" и Международные пакты о правах человека), выработанных в рамках этой организации. Однако ООН не откликнулась ни на это, ни на последующие обращения ИГ. Таким образом, практическим результатом деятельности ИГ оставалось прежде всего предание гласности данных о политических преследованиях в Со-

¹ Кроме членов Инициативной группы, письмо подписали еще около сорока сочувствующих.

ветском Союзе. Кроме того, сам факт открытого создания независимой общественной ассоциации стимулировал возникновение и других подобных ассоциаций (о них см. ниже).

Создание ИГ имело еще один результат. Из пятнадцати вышеперечисленных членов ИГ в последующие 10 — 12 лет:

— восемь человек были арестованы и отбыли тюремные, лагерные и ссылочные сроки (Джемилев, Левитин-Краснов, Алтунян, Красин, Якир, Ковалев, Лавут, Великанова);

— трое — Горбаневская, Борисов и Плющ — подверглись принудительному лечению в спецпсихбольнице;

— восемь человек покинули страну (некоторые из них — после отбытия наказания): Горбаневская, Красин, Левитин-Краснов, Мальцев, Ходорович, Якобсон, Борисов, Плющ).

Декабрь 1969 г. Арест Натальи Горбаневской, издателя "Хроники текущих событий". Впоследствии она была признана невменяемой и отправлена в спецпсихбольницу. Аналогичная судьба постигла П. Григоренко, В. Борисова и ряд других правозащитников. И. Габай был приговорен к трем годам лагеря по ст. 190¹.

В 1969 г. отдельно был создан фонд помощи детям политзаключенных.

1970 год отмечен некоторым снижением интенсивности репрессий. Так, арестованный за "самиздат" Револьт Пименов получил по ст. 70 не лагерный срок, а "всего лишь" ссылку в Сыктывкар. А арестованные по той же статье Ольга Иофе, Вячеслав Бахмин и Ирина Каплун вообще были освобождены без суда.

Ноябрь 1979 г. — создание Комитета прав человека в СССР — организации, деятельность которой сводилась в основном к изучению и теоретической разработке проблем прав человека в советском законодательстве, т. е. имела чисто академический характер. Однако документы комитета, обращаясь в "самиздате", способствовали правовому просвещению диссидентов и, тем самым, до некоторой степени вооружали их в борьбе с беззаконием. Инициатором создания комитета был Валерий Чалидзе. Кроме него, членами-основателями были Андрей Твердохлебов и академик Андрей Сахаров, позже присоединился математик, член-корреспондент АН Игорь Шафаревич. Экспертами комитета стали Александр Есенин-Вольпин и Борис Цукерман, корреспондентами — Александр Галич и Александр Солженицын.

В провинции *1969—1971 годы* ознаменовались не столько активностью правозащитников, сколько созданием и функционированием подпольных кружков различных идейных направлений, впрочем, довольно быстро раскрывавшихся органами госбезопасности (Горький, Рязань, Саратов, Петрозаводск, Свердловск, Таллинн, Калининград). Характерно, однако, что наряду с обычными для групп такого рода (идейной базой которых служили, как правило, различные толки марксистского учения) социально-экономическими лозунгами в программных установках "подпольщиков" начинают появляться и общедемократические и чисто правовые тенденции.

Лето 1970 г. Арест 12 человек, замысливших угон пустого пассажирского самолета, курсировавшего из Ленинграда в Приозерск (угонщики были захвачены у трапа самолета). Большинство "самолетчиков" безуспешно добивались разрешения на выезд в Израиль. Суд над ними —

в декабре 1970 г. Обширные аресты среди сионистской молодежи в Риге, Кишиневе, Ленинграде, не имеющей отношения к попытке угона самолета.

Суд завершился необычайно жестким даже по отечественным меркам приговором. Двое, Марк Дымшиц и Эдуард Кузнецов, были приговорены к расстрелу, остальные — к многолетнему заключению (от 8 до 15 лет). Смертные приговоры потрясли мировое общественное мнение, вызвали волну протестов и демонстраций за рубежом. К тому же в эти же самые дни франкистский суд в Испании приговорил к смерти нескольких баскских террористов. Кампании за отмену обоих приговоров взаимно усилили друг друга и фактически слились в одну. 30 декабря Франко помиловал осужденных; через несколько дней Верховный суд РСФСР в кассационном разбирательстве смягчил приговор "самолетчикам". Смертная казнь Дымшицу и Кузнецову была заменена пятнадцатью годами заключения.

Вся эта история, вместо того чтобы пресечь эмиграцию, привлекла внимание мировой общественности к проблеме свободы выезда из СССР. Правительству пришлось пойти на уступки, и количество разрешений на выезд начало год от года увеличиваться, хотя возможностей для произвола при решении этого вопроса в каждом данном случае у властей оставалось достаточно.

1971 г. Передача Владимиром Буковским медицинской документации на шестерых узников спецпсихбольниц международному съезду психиатров. Арест В. Буковского (приговор — 7 лет лагеря и 5 лет ссылки за "антисоветскую агитацию") на суде в январе 1972 г.

1972 г. — тотальное наступление на "Хронику текущих событий" и вообще на "самиздат".

Обыски, аресты, допросы в Москве, Ленинграде, Вильнюсе, Новосибирске, Умани, Киеве — по делу № 24 (кодовое название операции КГБ по искоренению правозащитного "самиздата").

Обыск у одного из наиболее авторитетных правозащитников Петра Якира (в январе) и арест его в июне 1972 г., затем — арест активного участника Инициативной группы Виктора Красина. Сотрудничество Якира и Красина со следствием.

Пресечение издания "Хроники" не удалось. Выпуск очередного 27-го номера. Использование Якира и Красина органами госбезопасности как агитаторов за идею прекращения правозащитной деятельности. Для этого было проведено множество очных ставок с ними. Красину и Якиру также было разрешено отправлять из-под следствия письма на свободу.

Однако, несмотря на их былой авторитет в среде правозащитников (особенно на периферии), пойти по их пути согласились лишь единицы. Тогда КГБ вновь обратился к репрессиям. Начались аресты людей, в разное время бывших близкими к "Хронике": были арестованы математик Юрий Шиханович, инженер Ирина Белгородская, филолог Габриэль Суперфин (по делу о передаче на запад дневников Э. Кузнецова), фармацевт Виктор Никепелов. По делу № 24 были арестованы также многие активные "самиздатчики" в Москве и провинции. Угроза ареста нависла над литературоведом Анатолием Якобсоном и дочерью Петра Якира Ириной Ким — людьми, действительно имевшими ближайшее отношение к выпуску "Хроники", в особенности после ареста Н. Горбаневской.

В этих условиях очередной, 28-й выпуск не появился на свет. Издание

“Хроники текущих событий” было приостановлено.

1973 — 1974 годы были кризисными для диссидентского движения, в особенности после “показательного” суда над Якиром и Красиным в августе 1973 г., где они признали “клеветнический” характер прежних правозащитных выступлений и подрывной характер “Хроники” (показания были подтверждены на пресс-конференции в Доме журналистов 5 сентября, транслировавшейся в отрывках по телевидению). Оба подсудимых были признаны виновными по ст. 70 и осуждены: Петр Якир — на 3 года ссылки в Рязань, Виктор Красин — на 3 года ссылки в Калинин.

Примерно в это же время советская пресса начала беспрецедентную по масштабам кампанию травли против А. Д. Сахарова, а немного позднее, после опубликования на Западе “Архипелага ГУЛАГ”, — против А. И. Солженицына.

Преодоление (1974 — 1975 гг.)

События 1972 — 1973 гг. не привели, однако, к разгрому правозащитного движения в Советском Союзе. *Апрель 1974 г.* — выход 3 выпусков “Хроники текущих событий” — 28-й, 29-й, 30-й. Одновременно три члена Инициативной группы, Сергей Ковалев, Татьяна Великанова и Татьяна Ходорович, публично заявили о том, что берут на себя ответственность за дальнейшее распространение этого издания. До конца года вышли еще четыре выпуска “Хроники”.

Вновь расширилась география диссидентских выступлений; появились сообщения из Грузии (там инакомыслие приняло в основном национально-православный характер), регулярной стала связь с Литвой, где в течение последующих пяти лет было создано множество “самиздатских” журналов самых разных направлений. Укрепились контакты с религиозными диссидентами, в первую очередь с баптистами-“инициативниками” (Совет церквей евангельских христиан-баптистов).

13 февраля 1974 г. — высылка А. Солженицына на Запад.

Основание А. Солженицыным в Швейцарии Русского фонда помощи заключенным (первый распорядитель фонда — Александр Гинзбург, освободившийся из заключения).

Образование советского отделения Международной амнистии. Председатель — д. ф.-м. наук В. Ф. Турчин, секретарь — Андрей Твердохлебов. В группу вошли в основном москвичи. Инициаторы группы и большинство ее членов — активные участники правозащитного движения.

Декабрь — арест члена Инициативной группы Сергея Ковалева.

Появление сборника “Жить не по лжи” — отклики на высылку А. Солженицына за рубеж.

Прекращение издания журнала национально-религиозного направления “Вече” (редактор-составитель — Владимир Осипов, арестованный в ноябре 1974 г., осужден на 8 лет лагеря строгого режима), издававшегося в 1971 — 1974 гг.

1975 год. Арест Андрея Твердохлебова (приговор — 5 лет ссылки). Конец 1975 г. — суд над Сергеем Ковалевым в Вильнюсе (обвинения — издание и распространение “Хроники”, а также хранение трех выпусков “Хроники литовской католической церкви”). Приговор — 7 лет лагеря.

Присуждение Нобелевской премии мира А. Сахарову.

Появление письма в защиту С. Ковалева, подписанного 179 людьми — не только правозащитниками, но и активистами других движений: крымских татар, литовского, грузинского, армянского и еврейского (первый случай такого совместного выступления).

1976 — 1981 гг. — Хельсинкский период.

Создание в мае 1976 г. Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР (или Московской Хельсинкской группы). Создание группы было объявлено известным физиком, профессором, членом-корреспондентом Армянской АН Юрием Орловым.

Летом 1975 г. Советским Союзом был подписан и затем опубликован Заключительный акт Хельсинкских соглашений, в том числе и гуманитарных статей, предполагающих соблюдение прав человека.

В группу, кроме Ю. Орлова, вошло еще 10 человек (Людмила Алексеева, Михаил Бернштам, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Виталий Рубин и Анатолий Щаранский). Группа собирала и анализировала весь доступный ей материал о нарушении гуманитарных аспектов Хельсинкского соглашения и направляла свои отчеты правительствам всех стран — участниц соглашения. Появление группы было новым шагом в развитии движения и было встречено властями очень болезненно.

Ноябрь 1976 г. — создание Украинской и Литовской Хельсинкских групп, январь 1977 г. — Грузинской и апрель — Армянской групп. Все эти группы составились в основном из участников соответствующих национальных движений.

Московская группа послужила стимулом для развития международного Хельсинкского движения, целью которого было "подтягивание" положения с правами человека до стандарта, определенного Заключительным актом, в странах, где они ниже этого стандарта.

Январь 1977 г. — образование при МХГ Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. Ее основатели: Александр Подрабинек, Вячеслав Бахмин, Ирина Каплун, Феликс Серебров и Джемма Квачевская. От МХГ в Комиссию вошел Петр Григоренко, консультантом по юридическим вопросам стала адвокат Софья Каллистратова, по вопросам психиатрии — врач-психиатр Александр Волошанович.

Московская Хельсинкская группа устанавливает прочные связи с религиозными движениями (православным, пятидесятниками, баптистами, адвентистами, католиками), а также с национальными движениями. МХГ, собирая и обнародуя информацию о нарушениях прав человека в самых различных сферах и областях, становится связующим звеном между разными движениями инакомыслящих, прежде не связанных друг с другом.

Февраль 1977 г. — арест руководителей Московской и Киевской Хельсинкских групп Ю. Орлова и М. Руденко и членов этих групп — А. Гинзбурга и О. Тихого.

Март 1977 г. — арест А. Щаранского, обвиненного в шпионаже. В

течение 1977 – 1978 гг. в Московской группе было арестовано трое; на Украине – шестеро, в Литве – один, в Грузии – трое, в Армении – двое. Двоих из МХГ вытолкнули в эмиграцию, из ЛХГ уехал один.

В 1978 г. – суды над арестованными членами Хельсинкских групп. Ю. Ф. Орлов был приговорен к 7 годам лагеря строгого режима и 5 годам ссылки.

В том же году – широкая кампания протестов против приговоров членам Хельсинкских групп.

В мае – арест А. Подрабиника и суд над ним. После ареста Подрабиника в комиссию входят Леонард Терновский и Ирина Гривнина. Появление толстого (200 – 300 страниц в выпуске) “самиздатского” литературно-публицистического журнала “Поиски”. Члены редколлегии: Валерий Абрамкин, Петр Абовин-Егидес, Раиса Лерт, Павел Прыжов (Глеб Павловский), Владимир Гершуни, Юрий Гримм, Виктор Сокирно и Виктор Сорокин.

Ноябрь 1979 г. – начало “генерального наступления” на все направления инакомыслия.

Арест известных правозащитников Татьяны Великановой, Глеба Якунина, в Вильнюсе – Антанаса Треляцкаса. Арест членов редколлегии журнала “Поиски” В. Абрамкина и В. Сорокина.

Арест ведущего деятеля эмиграционного движения пятидесятников Николая Горетого, члена Христианского комитета Льва Регельсона, продолжение арестов в Хельсинкских группах “Хельсинки”.

Январь 1980 г. – высылка А. Сахарова в Горький.

Арест Александра Лавута, последнего члена старейшей правозащитной ассоциации – Инициативной группы защиты прав человека в СССР.

Арест в течение 1980 г. ведущих деятелей всех национальных движений, а также всех незарегистрированных церквей.

Увеличение числа женских арестов.

Повторные аресты политзаключенных перед окончанием срока или сразу после него.

Ужесточение приговоров.

Арест В. Бахмина, Л. Терновского и Н. Гривниной.

Арест в марте 1980 г. Анатолия Марченко. Приговор – 10 лет лагеря и 5 лет ссылки, наложившиеся на прежние 15 лет неволи.

Практически репрессиями начала 80-х годов был положен конец открытым ассоциациям; “старые” правозащитники почти все были в заключении и ссылке. Переход к анонимным действиям. 1980 – 1983 гг. – приход новых людей в правозащитное движение.

Голоса времени

Нобелевская лекция*

МИР, ПРОГРЕСС, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Глубокоуважаемые члены Нобелевского комитета!
Глубокоуважаемые дамы и господа!

Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Такова главная мысль, которую я хочу отразить в этой лекции.

Я глубоко благодарен за присуждение мне высокой, волнующей награды — Нобелевской премии мира — и за предоставленную возможность выступить сегодня перед Вами. Я с особым удовлетворением воспринял формулировку Комитета, в которой подчеркнута роль защиты прав человека как единственного прочного основания для подлинного и долговечного международного сотрудничества. Эта мысль кажется мне очень важной. Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание, разоружение и международная безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, свободы убеждений, гласности, свободы поездок и выбора страны проживания. Я убежден также, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой научно-технического прогресса и гарантией от использования его достижений во вред человечеству, тем самым основой экономического и социального прогресса, а также является политической гарантией возможности эффективной защиты социальных прав. Таким образом, я защищаю тезис о первичном, определяющем значении гражданских и политических прав в формировании судеб человечества. Эта точка зрения существенно отличается от широко распространенных марксистских, а также от технократических концепций, согласно которым определяющее значение имеют именно материальные факторы, социальные и экономические права. (Сказанное не означает, конечно, что я в какой-либо мере отрицаю значение материальных условий жизни людей.)

Все эти тезисы я собираюсь отразить в лекции и особо остановиться на некоторых конкретных проблемах нарушения прав человека, решение которых представляется мне необходимым и срочным.

В соответствии с этим планом выбрано название лекции: "Мир, прогресс, права человека". Это, конечно, сознательная параллель к названию моей статьи 1968 года "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", во многом близкой по своей направленности, по содержащимся в ней предостережениям.

Имеется много признаков того, что начиная со второй половины XX века человечество вступило в особо ответственный, критический период своей истории.

* © 1974, 1975, 1976 by Khronika Press.

Создано ракетно-термоядерное оружие, способное в принципе уничтожить все человечество,— это самая большая опасность современности. Благодаря экономическим, промышленным и научным достижениям несравненно более опасными стали также так называемые "обычные" виды вооружения, не говоря уже о химическом и бактериологическом оружии.

Несомненно, успехи промышленного и технологического прогресса являются главным фактором преодоления нищеты, голода и болезней; но они одновременно приводят к угрожающим изменениям в окружающей среде, к истощению ресурсов. Человечество, таким образом, столкнулось с грозной экологической опасностью.

Быстрые изменения традиционных форм жизни привели к неуправляемому демографическому взрыву, особенно мощному в развивающихся странах "третьего мира". Рост населения создает необычайно трудные экономические, социальные и психологические проблемы уже сейчас и неотвратно угрожает гораздо более серьезными опасностями в будущем. Во многих странах, в особенности в Азии, Африке, Латинской Америке, недостаток продовольствия продолжает оставаться постоянным фактором жизни сотен миллионов людей, обреченных с момента рождения на нищенское полуголодное существование. При этом прогнозы на будущее, несмотря на несомненные успехи "зеленой революции", являются тревожными, а по мнению многих специалистов — трагическими.

Но и в развитых странах люди сталкиваются с очень серьезными проблемами. Среди них — тяжелые последствия неумеренной урбанизации, потеря социальной и психологической устойчивости общества, непрерывная изнуряющая гонка моды и сверхпроизводства, бешеный, безумный темп жизни и ее изменений, рост числа нервных и психических заболеваний, отрыв все большего числа людей от природы и нормальной, традиционной человеческой жизни, разрушение семьи и простых человеческих радостей, упадок морально-этических устоев общества и ослабление чувства цели и осмысленности жизни. На этом фоне возникают многочисленные уродливые явления — рост преступности, алкоголизма, наркомании, терроризма и т. п. Надвигающееся истощение ресурсов Земли, угроза перенаселения, многократно углубленные международными политическими и социальными проблемами, начинают все сильнее давить на жизнь также и в развитых странах, лишая (или угрожая лишить) многих людей ставших уже привычными изобилия, удобства и комфорта.

Однако наиболее существенную, определяющую роль в проблематике современного мира играет глобальная политическая поляризация человечества, разделившая его на так называемый первый мир (условно назовем его "Западный"), второй (социалистический), третий (развивающиеся страны). Два крупнейших социалистических государства фактически стали враждующими тоталитарными империями с непомерной властью единственной партии и государства над всеми сторонами жизни своих граждан и с огромным экспансионистским потенциалом, стремящимся подчинить своему влиянию обширные районы земного шара. При этом одно из этих государств — КНР — находится пока на относительно низком уровне экономического развития, а другое — СССР,— используя уникальные природные ресурсы, пройдя через десяти-

летия неслыханных бедствий и перенапряжения всех сил народа, достигло в настоящее время огромной военной мощи и относительно высокого (хотя и одностороннего) экономического развития. Но и в СССР уровень материальной жизни населения низок, а уровень гражданских свобод ниже, даже чем в малых социалистических странах. Очень сложные общемировые проблемы связаны также с "третьим миром", с его относительной экономической пассивностью, сочетающейся с растущей международной политической активностью.

Эта поляризация многократно усиливает и без того очень серьезные опасности, нависшие над миром,— опасности термоядерной гибели, голода, отравления среды, истощения ресурсов, перенаселения, дегуманизации.

Обсуждая весь этот комплекс неотложных проблем и противоречий, следует прежде всего сказать, что, по моему убеждению, любые попытки замедлить темп научно-технического прогресса, повернуть вспять урбанизацию, призывы к изоляционизму, патриархальности, к возрождению на основе обращения к здоровым национальным традициям прошлых столетий — нереалистичны. Прогресс неизбежен, его прекращение означало бы гибель цивилизации.

Еще не так давно люди не знали минеральных удобрений, машинной обработки земли, ядохимикатов, интенсивных методов земледелия. Есть голоса, призывающие вернуться к более традиционным и, возможно, более безопасным формам земледелия. Но возможно ли осуществить это в мире, где и сейчас сотни миллионов людей страдают от голода? Несомненно, наоборот, необходима дальнейшая интенсификация и распространение ее на весь мир, на все развивающиеся страны. Нельзя отказаться от все более широкого применения достижений медицины и от расширения исследований во всех ее отраслях, в том числе и в таких, как бактериология и вирусология, нейрофизиология, генетика человека и генохирургия, несмотря на потенциальные опасности злоупотребления и нежелательных социальных последствий некоторых из этих исследований. То же относится к исследованиям в области создания систем имитации интеллекта, к исследованиям в области управления массовым поведением людей, к созданию единых общемировых систем связи, систем сбора и хранения информации и т.п. Совершенно очевидно, что в руках безответственных бюрократических, действующих под покровом секретности учреждений все эти исследования могут оказаться необыкновенно опасными, но в то же время они могут стать крайне важными и необходимыми для человечества, если их осуществлять под контролем гласности, обсуждения, научного социального анализа. Нельзя отказаться от все более широкого использования искусственных материалов, синтетической пищи, от модернизации всех сторон быта людей. Нельзя отказаться от возрастающей автоматизации и укрупнения промышленного производства, несмотря на связанные с этим социальные проблемы.

Нельзя отказаться от строительства все более мощных тепловых и атомных электростанций, от исследований в области управляемой термоядерной реакции, поскольку энергетика — одна из основ цивилизации. Я позволю себе вспомнить в этой связи, что 25 лет назад мне вместе с моим учителем, лауреатом Нобелевской премии по физике Игорем Евгеньевичем Таммом, довелось стоять у начала исследований управляемой термоядерной реакции в нашей стране. Сейчас эти работы

приобрели огромный размах, исследуются самые различные направления, от классических схем магнитной термоизоляции до методов с использованием лазеров.

Нельзя отказаться от расширения работ по освоению околоземного космоса и по исследованию дальнего космоса, в том числе от попытки приема сигналов от внеземных цивилизаций — шансы на успех таких попыток, вероятно, малы, но зато последствия успеха могут быть грандиозными.

Я назвал только некоторые примеры, их можно умножить. В действительности все главные стороны прогресса тесно связаны между собой, ни одну из них нельзя отменить, не рискуя разрушить все здание цивилизации; прогресс неделим. Но особую роль в механизме прогресса играют интеллектуальные, духовные факторы. Недооценка этих факторов, особенно распространенная в социалистических странах, возможно, под влиянием вульгарных идеологических догм официальной философии, может привести к извращению путей прогресса или даже к его прекращению, к застою. Прогресс возможен и безопасен лишь под контролем Разума. Важнейшая проблема охраны среды — один из примеров, где особенно ясна роль гласности, открытости общества, свободы убеждений. Только частичная либерализация, наступившая в нашей стране после смерти Сталина, сделала возможными памятные всем нам публичные дискуссии первой половины 60-х годов по этой проблеме, но эффективное ее решение требует дальнейшего усиления общественного и международного контроля. Военные применения достижений науки, разоружение и контроль над ним — другая столь же критическая область, где международное доверие зависит от гласности и открытости общества. Упомянутый пример управления массовым поведением людей, при своей внешней экзотичности, тоже вполне актуален уже сейчас.

Свобода убеждений, наличие просвещенного общественного мнения, плюралистический характер системы образования, свобода печати и других средств информации — всего этого сильно не хватает в социалистических странах вследствие присущего им экономического, политического и идеологического монизма. Между тем эти условия жизненно необходимы не только во избежание злоупотреблений прогрессом, вольных и по неведению, но и для его поддержания. В особенности важно, что только в атмосфере интеллектуальной свободы возможна эффективная система образования и творческой преемственности поколений. Наоборот, интеллектуальная несвобода, власть унылой бюрократии, конформизм, разрушая сначала гуманитарные области знания, литературу и искусство, неизбежно приводят затем к общему интеллектуальному упадку, бюрократизации и формализации всей системы образования, к упадку научных исследований, исчезновению атмосферы творческого поиска, к застою и распаду.

Сейчас, в поляризованном мире, тоталитарные страны благодаря детанту приобрели возможность своеобразного интеллектуального паразитизма — и похоже, если не произойдет тех внутренних сдвигов, о необходимости которых все мы думаем, скоро им придется встать на этот путь. Один из возможных результатов детанта именно таков. Если это произойдет, взрывоопасность общемировой ситуации может только возрасти. Миру жизненно необходимо всестороннее сотрудничество между странами Запада, социалистическими и развивающимися странами,

включая обмен знаниями, технологией, торговлю, экономическую, в частности продовольственную, взаимопомощь. Но это сотрудничество должно происходить на основе доверия открытых обществ, как говорят, с открытой душой, на основе истинного равноправия, а не на основе страха демократических стран перед их тоталитарными соседями. Сотрудничество в этом последнем случае означало бы просто попытку задарить, задобрить жуткого соседа. Но подобная политика всегда лишь отсрочка беды, которая вскоре возвращается в другую дверь с удесятенными силами, это попросту новый вариант мюнхенской политики. Устойчивый успех детанта возможен только, если с самого начала он сопровождается непрерывной заботой об открытости всех стран, об увеличении уровня гласности, о свободном обмене информацией, о неуклонном соблюдении во всех странах гражданских и политических прав – коротко говоря, при дополнении разрядки в материальной сфере разоружения и торговли разрядкой в духовной, идеологической сфере. Об этом прекрасно сказал президент Франции Жискард д'Эстен во время своего визита в Москву. Право, стоило пережить упреки некоторых недалековидных прагматиков из числа его соотечественников ради того, чтобы поддержать важнейший принцип!

Прежде чем перейти к обсуждению проблем разоружения, я хочу воспользоваться возможностью и еще раз напомнить некоторые свои предложения общего характера. Это прежде всего идея создания под эгидой ООН Международного консультативного комитета по вопросам разоружения, прав человека и охраны среды. Комитету, согласно моей мысли, должно быть предоставлено право получения обязательных ответов от всех правительств на его запросы и рекомендации. Такой Комитет явился бы важным рабочим органом для обеспечения общемировых дискуссий и гласности по самым важным проблемам, от которых зависит будущее человечества. Я жду поддержки и обсуждения этой идеи.

Я также хочу подчеркнуть, что я считаю особенно важным более широкое использование войск ООН для купирования международных и межнациональных вооруженных конфликтов. Я очень высоко оцениваю возможную и необходимую роль ООН, считая ее одной из главных надежд человечества на лучшее будущее. Последние годы – трудные, критические для этой организации. Я писал об этом в книге "О стране и мире", уже после ее выхода в свет заслуживающим сожаления событием было принятие Генеральной Ассамблеей (причем почти без обсуждения по существу) резолюции, объявившей сионизм формой расизма и расовой дискриминации. Все беспристрастные люди знают, что сионизм – это идеология национального возрождения еврейского народа после 2 тысяч лет рассеяния и что эта идеология не направлена против других народов. Принятие подобной резолюции, по моему мнению, нанесло удар престижу ООН. Несмотря на подобные факты, часто порождаемые отсутствием чувства ответственности перед человечеством у руководителей некоторых более молодых членов ООН, я все же верю, что рано или поздно ООН сумеет играть в жизни человечества достойную роль, в соответствии с целями Устава.

Перехожу к одной из центральных проблем современности – к разоружению. Я подробно изложил свою позицию в книге "О стране и мире". Необходимо укрепление международного доверия, совершенный контроль на местах силами международных инспекционных групп. Все

это невозможно без расширения разрядки на область идеологии, без увеличения открытости общества. В этой же книге я подчеркнул необходимость международных соглашений об ограничении поставок оружия другим государствам, прекращения новых разработок систем оружия по специальным соглашениям, соглашения о запрещении секретных работ, устранения факторов стратегической неустойчивости; в частности запрещения разделяющихся боеголовок.

Как же я представляю себе идеальное общемировое соглашение о разоружении в техническом плане?

Я думаю, что такому соглашению должно предшествовать официальное (не обязательно сразу открытое) заявление об объеме всех видов военного потенциала (от запасов термоядерных зарядов до прогнозов контингентов военнообязанных), с указанием *примерной условной разбивки* по районам "потенциальной конфронтации". Соглашение должно предусматривать в качестве первого этапа ликвидацию преимуществ одной стороны над другой отдельно для каждого стратегического района и для каждого вида военного потенциала (конечно, это только схема, от которой неизбежны некоторые отклонения). Таким образом, будет исключено, во-первых, что соглашение в одном стратегическом районе (скажем, в Европе) будет использовано для усиления военных позиций в другом районе (скажем, на советско-китайской границе); и, во-вторых, исключены возможные несправедливости из-за трудности количественно сопоставить значимость разных видов потенциала (например, трудно сказать, скольким зенитным установкам ПРО эквивалентен один крейсер и т. п.). Следующим этапом сокращения вооружений должно явиться пропорциональное сокращение одновременно для всех стран и всех стратегических районов. Такая формула "сбалансированного" двухэтапного сокращения вооружений обеспечит непрерывающуюся безопасность каждой страны, непрерывное равновесие сил в каждом районе потенциальной конфронтации и одновременно радикальное решение экономических и социальных проблем, порождаемых милитаризацией. На протяжении многих десятилетий варианты подобного подхода выдвигаются многими экспертами и государственными деятелями, однако до сих пор успех очень незначителен. Но я надеюсь, что сейчас, когда человечеству реально угрожает гибель в огне термоядерных взрывов, разум людей не допустит этого исхода. Радикальное сбалансированное разоружение действительно необходимо и возможно, как часть многостороннего и сложного процесса разрешения грозных, неотложных мировых проблем. Та новая фаза межгосударственных отношений, которая получила название разрядки или детанта и, вероятно, имеет своим кульминационным пунктом совещание в Хельсинки, в принципе открывает определенные возможности продвижения в этом направлении.

Заключительный акт совещания в Хельсинки в особенности привлекает наше внимание тем, что в нем впервые официально отражен тот комплексный подход к решению проблем международной безопасности, который представляется единственно возможным; в акте содержатся глубокие формулировки о связи международной безопасности с защитой прав человека, свободы информации и свободы передвижения и важные обязательства стран-участников, гарантирующие эти права. Очевидно, конечно, что речь идет не о гарантированном результате, а именно

о новых возможностях, которые могут быть реализованы лишь в результате длительной планомерной работы, с единой и последовательной позицией всех стран-участников, в особенности демократических стран.

Это относится, в частности, к проблеме прав человека, которой посвящена последняя часть лекции. В нашей стране, о которой я теперь буду говорить преимущественно, за месяцы, прошедшие после совещания в Хельсинки, вообще не произошло сколько-нибудь существенного улучшения в этом направлении; в отдельных же вопросах замечаются даже попытки сторонников жесткого курса "завинтить" гайки.

Все в том же состоянии находятся важные проблемы международного информационного обмена, свободы выбора страны проживания, поездок для учения, работы, лечения, просто туризма. Чтобы конкретизировать это утверждение, я сейчас приведу некоторые примеры — не в порядке их важности и не стремясь к полноте.

Вы все знаете лучше, чем я, что дети, скажем, из Дании могут сесть на велосипеды и весело доехать до Адриатики. Никто не увидит в них "малолетних шпионов". Но советские дети этого не могут! Вы сами можете мысленно развить этот пример (и все нижеследующие) на множество аналогичных ситуаций.

Вы знаете, что Генеральная Ассамблея под давлением социалистических стран приняла решение, ограничивающее свободу телевизионного вещания со спутников. Я думаю, что сейчас, после Хельсинки, есть основания для его пересмотра. Для миллионов советских граждан это очень важно и интересно.

В СССР качество протезов для инвалидов крайне низкое. Но ни один советский инвалид, даже имея вызов от иностранной фирмы, не может выехать по этому вызову за границу.

В советских газетных киосках нельзя купить некоммунистических зарубежных газет, да и коммунистические продаются далеко не каждый номер. Даже такие информационные журналы, как "Америка", крайне дефицитны и продаются в ничтожном числе киосков, расходятся же мгновенно и обычно с "нагрузкой" неходовых изданий.

Каждый, желающий эмигрировать из СССР, должен иметь вызов от близких родственников. Для многих это неразрешимая проблема, например для 300 тысяч немцев, желающих уехать в ФРГ (к тому же квота на выезд составляет для немцев всего 5 тысяч человек в год, то есть выезд распланирован на 60 лет!). За этим — огромная трагедия. Особенно трагично положение лиц, желающих соединиться с родственниками в социалистических странах, — за них некому заступиться, и производ властей не знает пределов.

Свобода передвижения, выбора места работы и жительства продолжает нарушаться для миллионов колхозников, продолжает нарушаться для сотен тысяч крымских татар, 30 лет назад с огромными жестокостями выселенных из Крыма и до сих пор лишенных права вернуться на родную землю.

Заключительный акт совещания в Хельсинки вновь подтвердил принципы свободы убеждений. Но требуется большая и упорная борьба, чтобы эти положения акта имели не только декларативное значение. В СССР многие тысячи людей преследуются сегодня за убеждения в судебном и внесудебном порядке — за религиозные верования и желание воспитывать своих детей в религиозном духе; за чтение и распространение

ние (часто простое ознакомление 1–2 человек) нежелательной властям литературы, обычно абсолютно легальной по демократическим нормам, например религиозной; за попытку покинуть страну; особенно важна в моральном плане проблема преследования лиц, страдающих за защиту других жертв несправедливости, за стремление к гласности, в частности за распространение информации о судах, преследованиях за убеждения, об условиях мест заключения.

Невыносима мысль, что сейчас, когда мы собрались для праздничной церемонии в этом зале, *сотни и тысячи узников совести страдают от тяжелого многолетнего голода, от почти полного отсутствия в пище белков и витаминов, от отсутствия лекарств (витамины и лекарства запрещено пересылать в места заключения), от непосильной работы, дрожат от холода, сырости и истощения в полутемных карцерах, вынуждены вести непрестанную борьбу за свое человеческое достоинство, за убеждения против машины "перевоспитания", а фактически слома их души. Особенности системы мест заключения тщательно скрываются, десятки людей страдают за ее разоблачение — это лучшее доказательство реальности обвинений в ее адрес. Наше чувство человеческого достоинства требует немедленного изменения этой системы для всех заключенных, как бы они ни были виновны. Но что сказать о муках невинных? Самое же страшное — ад спецпсихбольниц Днепропетровска, Сычевки, Благовещенска, Казани, Черняховска, Орла, Ленинграда, Ташкента...*

Я не могу сегодня рассказывать конкретные судебные дела, конкретные судьбы. Есть большая литература (я обращаю здесь Ваше внимание на издания издательства "Хроника-Пресс" в Нью-Йорке, перепечатаваемого, в частности, советский "самиздатский" журнал "Хроника текущих событий" и издающего аналогичный информационный бюллетень). Я просто назову здесь, в этом зале, имена некоторых известных мне узников. Как уже Вы слышали вчера, я прошу Вас считать, что все узники совести, все политзаключенные моей страны разделяют со мной честь Нобелевской премии мира.

Вот некоторые известные мне имена: Плющ, Буковский, Глузман, Мороз, Мария Семенова, Надежда Светличная, Стефания Шабатура, Ирина Калинец-Стасив, Ирина Сеник, Нийоле Садунайте, Анаит Карапетян, Осипов, Кронид Любарский, Шумук, Винс, Румачик, Хаустов, Суперфин, Паулайтис, Симутис, Караванский, Валерий Марченко, Шухевич, Павленков, Черноглаз, Абанькин, Сусленский, Мешенер, Светличный, Сафонов, Роде, Шакиров, Хейфец, Афанасьев, Мо-Хун, Бутман, Лукьяненко, Огурцов, Сергиенко, Антонок, Лупынос, Рубан, Плахотнюк, Ковгар, Белов, Игрунов, Солдатов, Мяттик, Юшкевич, Кийренд, Здоровый, Товмасын, Шахвердян, Загробян, Айрикан, Маркосян, Аршакян, Мираускас, Стус, Сверстюк, Кандыба, Убожко, Романюк, Воробьев, Гель, Пронюк, Гладко, Мальчевский, Гражис, Пришляк, Сапеляк, Калинец, Супрей, Вальдман, Демидов, Берничук, Шовковский, Горбачев, Верхов, Турик, Жукаускас, Сенькин, Гринькив, Навасардян, Саартс, Юрий Вудка, Пуце, Давыдов, Болонкин, Лисовой, Петров, Чекалин, Городецкий, Черновол, Балахонов, Бондарь, Калининченко, Коломин, Плумпа, Яугялис, Федосеев, Осадчий, Будулак-Шарыгин, Макаренко, Малкин, Штерн, Лазарь Любарский, Фельдман, Ройтбурт, Школьник, Мурженко, Федоров, Дымшиц, Кузнецов, Менделевич, Альтман, Пэнсон, Хнох, Вульф Залмансон, Израиль Залмансон и многие, многие другие. В несправедливой

ссылке — Анатолий Марченко, Нашпиц, Цитленок. Ожидают суда — Мустафа Джемилев, Ковалев, Твердохлебов. Я не мог назвать всех известных мне узников за неимением места, еще больше я не знаю или не имею под рукой справки. Но я всех подразумеваю мысленно и всех не названных явно прошу извинить меня. За каждым названным и не названным именем — трудная и героическая человеческая судьба, годы страданий, годы борьбы за человеческое достоинство.

Кардинальное решение проблемы преследования за убеждения — освобождение на основе международного соглашения, возможно — решения Генеральной Ассамблеи ООН, всех политзаключенных, всех узников совести в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах. В этом предложении нет никакого вмешательства во внутренние дела какой-либо страны, ведь оно в равной мере распространяется на все страны, на СССР, Индонезию, Чили, ЮАР, Испанию, Бразилию, на все другие страны, и потому, что защита прав человека провозглашена Всеобщей декларацией ООН международным, а не внутренним делом. Ради этой великой цели нельзя жалеть сил, как бы ни был долог путь — а что он долог, это мы видели во время последней сессии ООН. США на этой сессии внесли предложение о политической амнистии, но затем сняли его после попытки ряда стран чересчур (по мнению делегации США) расширить рамки амнистии. Я сожалею о происшедшем. Но снять проблему нельзя. И я глубоко убежден, что лучше освободить некоторое число людей в чем-то виновных, чем держать в заключении и истязать тысячи невинных.

Не отказываясь от кардинального решения, сегодня мы должны бороться за каждого человека в отдельности, против каждого случая несправедливости, нарушения прав человека — от этого зависит слишком многое в нашем будущем.

Стремясь к защите прав людей, мы должны выступать, по моему убеждению, в первую очередь как защитники невинных жертв существующих в разных странах режимов, без требования сокрушения и тотального осуждения этих режимов. Нужны реформы, а не революции. Нужно гибкое, плюралистическое и терпимое общество, воплощающее в себе дух поиска, обсуждения и свободного, недогматического использования достижений всех социальных систем. Что это — разрядка? конвергенция? — дело не в словах, а в нашей решимости создать лучшее, более доброе общество, лучший мировой порядок.

Тысячелетия назад человеческие племена проходили суровый отбор на выживаемость; и в этой борьбе было важно не только умение владеть дубинкой, но и способность к разуму, к сохранению традиций, способность к альтруистической взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом держит подобный же экзамен. В бесконечном пространстве должны существовать многие цивилизации, в том числе более разумные, более "удачные", чем наша. Я защищаю также космологическую гипотезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной повторяется в основных своих чертах бесконечное число раз. При этом другие цивилизации, в том числе более "удачные", должны существовать бесконечное число раз на "предыдущих" и "последующих" к нашему миру листах книги Вселенной. Но все это не должно умалить нашего священного стремления именно в этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно мгновение из черного небытия бессозна-

тельного существования материи, осуществить требования Разума и создать жизнь, достойную нас самих и смутно угадываемой нами Цели.

Декабрь 1975 года

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА

*Генеральному секретарю ЦК КПСС
тов. Л. И. Брежневу*

Прошу об обсуждении общих вопросов, частично ранее обсуждавшихся в письме Р. А. Медведева, В. Ф. Турчина и в моем письме 1968 года. Прошу также о рассмотрении ряда частных злободневных вопросов, которые глубоко волнуют меня.

Ниже в двух общих списках перечислены вопросы разного масштаба, разной степени бесспорности. Но между ними есть определенная внутренняя связь. Дискуссия и частичная аргументация по поднятым вопросам содержится в упомянутых письмах и в приложении к этой записке.

Я хочу также информировать Вас, что в ноябре 1970 года я вместе с В. Н. Чалидзе и А. Н. Твердохлебовым принял участие в учреждении Комитета прав человека в целях изучения проблемы обеспечения прав человека и содействия правовому просвещению. Некоторые документы Комитета я прилагаю. Мы надеемся быть полезными обществу, стремимся к диалогу с руководством, к откровенному, гласному обсуждению проблемы прав человека.

А. Некоторые неотложные вопросы

Перечисленные ниже вопросы представляются мне неотложными. Для краткости они сформулированы в виде предложений. Отдавая себе отчет в том, что некоторые из вопросов нуждаются в дополнительном изучении, и сознавая, что список по необходимости является неполным и поэтому в какой-то мере субъективным (некоторые не менее важные вопросы я пытался отметить во второй части "Записки", а некоторые вообще не могли быть упомянуты), я все же считаю необходимым просить об обсуждении компетентными инстанциями нижеследующих предложений.

1. О политических преследованиях:

а) Я считаю давно назревшей проблемой проведение общей амнистии политических заключенных, включая лиц, осужденных по статьям 70, 72, 190-1, 2, 3 УК РСФСР и аналогичным статьям УК союзных республик, включая осужденных по религиозным мотивам, включая содержащихся в психиатрических учреждениях, включая лиц, осужденных за попытку перехода границы, включая политических заключенных, допол-

нительно осужденных за попытку побега из лагеря или пропаганду в лагере.

б) Принять меры по обеспечению широкой фактической гласности рассмотрения всех судебных дел, особенно политического характера. Считаю важным пересмотр всех судебных приговоров, постановленных с нарушением принципа гласности.

в) Я считаю недопустимым психиатрические репрессии по политическим, идеологическим и религиозным мотивам. По моему мнению, необходимо принять закон о защите прав лиц, подвергаемых принудительной психиатрической госпитализации; принять решения и необходимые законодательные уточнения для защиты прав лиц, предполагаемых психически больными при судебном преследовании по политическим обвинениям. В частности, в обоих случаях допустить практику частных психиатрических обследований комиссиями, не зависящими от властей.

г) Независимо от решения этих вопросов в общем порядке, я прошу о рассмотрении компетентными органами ряда конкретных срочных дел; некоторые из них перечислены в прилагаемой Записке.

2. О гласности, о свободе информационного обмена и убеждений:

а) Вынести на всенародное обсуждение проект закона о печати и средствах массовой информации.

б) Принять решение о более свободной публикации статистических и социологических данных.

3. О национальных проблемах, о проблеме выезда из нашей страны:

а) Принять решения и законы о полном восстановлении прав высланных при Сталине народов.

б) Принять законы, обеспечивающие простое и беспрепятственное осуществление гражданами их права на выезд за пределы страны и на свободное возвращение. Отменить инструкции, содержащие ограничения этого права, противоречащие закону.

4. О международных проблемах:

а) Проявить инициативу и объявить (или подтвердить — сначала в одностороннем порядке) об отказе от применения первыми оружия массового уничтожения (ядерного оружия, химического, бактериологического и обжигающего). Допустить на свою территорию инспекционные группы для эффективного контроля за разоружением (в случае заключения соглашения о разоружении или частичном ограничении тех или иных типов вооружения).

б) Для укрепления результатов изменения отношений с ФРГ выработать более гибкую и реалистическую позицию по проблеме Западного Берлина.

в) Изменить свою политическую позицию на Ближнем Востоке и во Вьетнаме, активно добиваясь через ООН и по дипломатическим каналам скорейшего мирного урегулирования на условиях компромисса с отказом от одностороннего военного и политического прямого или косвенного вмешательства со стороны США или СССР, с выдвижением программы широкой экономической помощи на международной аполитичной основе (через ООН?) с предложением широкого использования войск ООН для обеспечения политической и военной стабильности в этих районах.

Б. Тезисы и предложения по общим проблемам

В порядке подготовки к обсуждению основных проблем развития и международной политики нашей страны я попытался сформулировать ряд тезисов. Некоторые из них носят дискуссионный характер. Я стремился к наиболее полному изложению своих мыслей, хотя и отдавал себе отчет в том, что некоторые из тезисов представляются неприемлемыми, а некоторые представляются неинтересными, малозначительными.

1. Начиная с 1956 года в нашей стране осуществлен ряд важных мероприятий, устраняющих наиболее опасные и уродливые черты предыдущего этапа развития советского общества и нашей государственной политики. Однако одновременно имеют место определенные негативные явления – отступления, непоследовательность и медлительность в осуществлении новой линии. Необходима выработка четкой и последовательной программы дальнейшей демократизации и либерализации и осуществление ряда неотложных первоочередных шагов. Этого требуют интересы технико-экономического прогресса, постепенного преодоления отставания и изоляции от передовых капиталистических стран, благосостояния широких слоев населения, внутренней стабильности и внешней безопасности нашей страны. Развитие нашей страны идет в условиях существенных трудностей отношений с Китаем. Налицо серьезные внутренние трудности в области экономики и благосостояния населения, технико-экономического прогресса, культуры и идеологии.

Следует отметить обострение национальной проблемы, сложности взаимоотношений партийно-государственного аппарата и интеллигенции, взаимоотношений основной массы трудящихся, находящихся в относительно худшем положении в бытовом и экономическом отношении, в отношении продвижения по работе и культурного роста, испытывающих в ряде случаев чувство разочарования в "громких словах", и привилегированной группы и "начальства", к которому более отсталые слои трудящихся нередко относят в силу традиционных предрассудков главным образом интеллигенцию. Внешняя политика нашей страны не всегда является достаточно реалистичной. Необходимы кардинальные решения для предупреждения возможных осложнений.

2. Я высказываю мнение, что было бы правильным следующим образом охарактеризовать общество, к осуществлению которого должны быть направлены неотложные государственные реформы и усилия граждан по развитию общественного сознания:

а) Основной своей целью государство ставит охрану и обеспечение основных прав своих граждан. Защита прав человека выше других целей.

б) Все действия государственных учреждений целиком основаны на законах (стабильных и известных гражданам). Соблюдение законов обязательно для всех граждан, учреждений и организаций.

в) Счастье людей, в частности, обеспечено их свободой в труде, в потреблении, в личной жизни, в образовании, в культурных и общественных проявлениях, свободой убеждений и совести, свободой информационного обмена и передвижения.

г) Гласность содействует контролю общественности за законностью,

справедливостью, целесообразностью всех принимаемых решений, способствует эффективности всей системы, обуславливает научно-демократический характер системы управления, способствует прогрессу, благосостоянию и безопасности страны.

д) Соревновательность, гласность, отсутствие привилегий обеспечивают целесообразное и справедливое поощрение труда, способностей и инициативы всех граждан.

е) Имеется определенное расслоение общества по роду занятий, характеру способностей и отношений, но должно быть и ...

ж) Основная энергия страны направлена на гармоничное внутреннее развитие с целесообразным использованием трудовых и природных ресурсов. В этом основа ее силы и благосостояния. Страна и ее народ всегда готовы к дружескому, обусловленному общечеловеческим братством международному сотрудничеству и помощи, но общество не нуждается во внешней политике как средстве внутренней политической стабилизации или для расширения зоны влияния или экспорта своих идей; обществу чужды мессианство, заблуждения о единственности и исключительных достоинствах своего пути и отрицание пути других, органически чужды догматизм, авантюризм и агрессивность. В частности, в конкретных условиях нашей страны только концентрация ресурсов на внутренних проблемах позволит преодолеть трудности в области экономики и благосостояния населения, при ряде дополнительных условий (демократизация, ликвидация информационной изоляции нашего народа от остального мира, экономические мероприятия) обеспечит надежду на постепенное преодоление отставания от передовых капиталистических стран, обеспечит безопасность страны от возможных обострений с Китаем, обеспечит большую возможность для помощи нуждающимся странам.

3. Внешняя политика:

а) Основная внешнеполитическая проблема — взаимоотношения с Китаем. Предлагаю китайскому народу альтернативу экономической, технической и культурной помощи, братского сотрудничества и совместного движения по демократическому пути, всегда оставляя возможность этого пути развития отношений, проявить одновременно особую заботу для обеспечения безопасности нашей страны, избегать всех других возможных внешних и внутренних осложнений, осуществлять свои планы освоения Сибири с учетом указанного фактора.

б) Стремиться к невмешательству во внутренние дела других социалистических стран и к экономической взаимопомощи.

в) Выступить с инициативой создания (в рамках ООН?) нового международного консультативного органа — Международного совета экспертов по вопросам мира, разоружения, экономической помощи нуждающимся странам, по защите прав человека, по охране природной среды из авторитетных и беспристрастных лиц. Статут совета и процедура, определяющая его состав, должны обеспечивать максимальную независимость от интересов отдельных государств и групп государств. Вероятно, при определении состава совета и его статута необходимо учитывать пожелания основных международных организаций заключить международный пакт, обязывающий к рассмотрению законодательными и правительственными органами рекомендаций "Совета экспертов", которые должны носить гласный и обоснованный характер. Решения национальных ор-

ганов по этим рекомендациям тоже должны быть гласными, вне зависимости от того, приняты или отвергнуты рекомендации.

4. Экономические проблемы, управление, кадры:

а) Углубление экономической реформы 1965 года, увеличение хозяйственной самостоятельности всех производственных единиц, пересмотр ряда ограничительных положений в отношении подбора кадров, зарплаты и поощрения, системы материального снабжения и фондов, планирования, кооперирования, выбора профиля продукции, финансирования.

б) В области кадров и управления. Принять решения по расширению гласности в работе государственных учреждений всех ступеней в пределах, допускаемых интересами государства. В особенности существенен пересмотр традиции "кабинетности" в вопросах кадровой политики, расширение гласного общественного делового контроля над подбором кадров, выборности и фактической сменяемости при непригодности руководителей всех уровней. Я подразумеваю также обычное требование демократических программ о ликвидации системы выборов без избыточного числа кандидатов, то есть о ликвидации "выборов без выбора". Одновременно необходимы улучшение информированности, самостоятельность, право на эксперимент, перенос центра ответственности в сторону руководимого предприятия и его служащих. Улучшение методов специальной подготовки и делового обучения руководителей всех уровней. Ликвидация специальных привилегий, связанных со служебным и партийным положением, как очень вредных в социальном и деловом смысле. Публикация величины должностных окладов. Реорганизация отделов кадров, ликвидация номенклатурных списков и тому подобных пережитков предыдущей эпохи. Создание при руководящих органах научно-консультационных советов, включающих ученых разных специальностей и обладающих необходимой самостоятельностью.

в) Мероприятия, способствующие расширению сельскохозяйственного производства на приусадебных участках колхозников, рабочих совхозов и единоличников — изменение налоговой политики, расширение земельных угодий этого сектора, изменение системы снабжения этого сектора сельскохозяйственной современной и специально разработанной техникой, удобрениями и др. Мероприятия, улучшающие снабжение села строительными материалами, топливом, расширение всех форм кооперативного хозяйствования на селе, с изменением налоговой политики, разрешение найма рабочих и их оплаты в соответствии с интересами дела, с изменением системы материального снабжения села.

г) Расширение возможностей и выгоды частной инициативы в среде обслуживания, в медицинском обслуживании, мелкой торговле, образовании и т.п.

5. Рассмотреть вопрос о постепенной отмене паспортного режима как серьезного тормоза в развитии производительных сил страны и как нарушения прав граждан, в особенности сельских жителей.

6. В области информационного обмена, культуры, науки и свободы убеждений:

а) Поощрять свободу убеждений, дух изучения, делового беспокойства.

б) Прекратить глушение иностранных радиопередач, расширить ввоз иностранной литературы, войти в международную систему охраны авторских прав, облегчить международный туризм — для преодоления губной для нашего развития изоляции.

в) Принять решения, обеспечивающие фактическое отделение церкви от государства, фактическую (то есть обеспеченную юридически, материально и административно) свободу совести и вероисповедания.

г) Пересмотреть те стороны взаимоотношений государственно-партийного аппарата и искусства, литературы, театра, органов образования и т.п., которые наносят ущерб развитию культуры в нашей стране, снижают смелость и разносторонность творческого поиска, приводят к казенщине, серости и ритуальности. В общественных и гуманитарных науках, роль которых в современной жизни непрерывно возрастает (в философии, истории, социологии, юриспруденции и т.п.), — обеспечить ликвидацию застоя, расширение направлений творческого поиска, независимость от предвзятых точек зрения, использование всей гаммы зарубежного опыта.

7. В социальной области:

а) Рассмотреть вопрос о возможности отмены смертной казни. Отменить особый строгий режим лишения свободы как противоречащий гуманности. Принять меры по совершенствованию пенитенциарной системы, с использованием зарубежного опыта и рекомендаций ООН.

б) Рассмотреть возможность учреждения общественного наблюдательного органа, имеющего целью исключить возможность применения физических мер воздействия (избиения, голод и холод и т.п.) к задержанным, арестованным и осужденным.

в) Резкое улучшение качества образования. Повышение оплаты и самостоятельности учителей школ и преподавателей вузов. Уменьшить формальную роль дипломов и ученых степеней. Уменьшение унифицированности системы образования, более широкое профилирование в школах. Увеличение гарантии права на убеждения.

г) Расширение мер борьбы с алкоголизмом с привлечением возможностей общественного контроля над всеми аспектами проблемы.

д) Усилить мероприятия по борьбе с шумом, с отравлением воздуха и воды, борьбе с эрозией, засолением почвы и отравлением ее химикатами. Улучшить защиту лесов, диких и домашних животных, защиту животных от жестокостей.

е) Реформа системы медицинского обслуживания. Расширение сети поликлиник и больниц, увеличение роли частнопрактикующего врача, медсестры, сиделки. Увеличение зарплат медработникам всех уровней. Реформа медицинской промышленности. Повсеместная доступность современных лекарств и средств. Внедрение рентгено-телевизионных установок.

8. В правовой области:

а) Ликвидация явных и скрытых форм дискриминации — по убеждениям, по национальному признаку и т.п.

б) Фактическая гласность судопроизводства во всех случаях, где она не противоречит основным правам граждан.

в) Рассмотреть вопрос о ратификации Верховным Советом СССР

Пактов о правах человека, принятых 21-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН, и о присоединении к Факультативному протоколу к этим пактам.

9. В области взаимоотношений с национальными республиками:

Наша страна провозгласила право нации на самоопределение вплоть до отделения. Реализация права на отделение в случае Финляндии была санкционирована советским правительством. Право на отделение союзных республик провозглашено Конституцией СССР. Имеется, однако, неясность в отношении гарантий права и процедуры, обеспечивающей подготовку, необходимое обсуждение и фактическую реализацию права. Фактически, даже обсуждение подобных вопросов нередко преследуется. По моему мнению, юридическая разработка проблемы и принятие закона о гарантиях права на отделение имели бы важное внутреннее и международное значение как подтверждение антиимпериалистического и антишовинистического характера нашей политики. По всей видимости, тенденции к выходу какой-либо республики из СССР не носят массового характера, и они, несомненно, еще более ослабнут со временем в результате дальнейшей демократизации в СССР. С другой стороны, не подлежит сомнению, что республика, вышедшая по тем или иным причинам из СССР мирным конституционным путем, полностью сохранит свои связи с социалистическим содружеством наций. Экономические интересы и обороноспособность социалистического лагеря в этом случае не пострадают, поскольку сотрудничество социалистических стран носит весьма совершенный и всеобъемлющий характер и, несомненно, будет еще более углубляться в условиях взаимного невмешательства социалистических стран во внутренние дела друг друга. По этим причинам обсуждение поставленного вопроса не представляется мне опасным.

Если изложение данной Записки носило кое-где излишне безапелляционный характер, это следует отнести за счет конспективности. Проблемы, стоящие перед нашей страной, находятся в глубокой взаимной связи с некоторыми сторонами общемирового кризиса XX века — кризиса международной безопасности, потери стабильности общественного развития, идеологического тупика и разочарованности в идеалах недавнего прошлого, национализма, опасности дегуманизации. Конструктивное разрешение наших проблем, осторожное, гибкое и одновременно решительное, в силу особого положения нашей страны в мире будет иметь важное значение для всего человечества.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПАМЯТНОЙ ЗАПИСКЕ

Памятная записка была направлена на имя Генерального секретаря ЦК КПСС 5 марта 1971 года. Она осталась без ответа. Я не считаю себя вправе далее откладывать ее опубликование. "Послесловие" написано в июне 1972 г. Оно содержит некоторые дополнения и частично заменяет упомянутое в тексте Записки приложение "О преследованиях по политическим мотивам".

Я начал общественную деятельность около 10—12 лет назад, осознав преступный характер возможной термоядерной войны и воздушных испытаний термоядерного оружия. С тех пор я пересмотрел многое в своих

взглядах, в особенности начиная с 1968 года (для меня лично начало этого года ознаменовалось работой над "Размышлениями о прогрессе", а конец, как и для всех, грохотом танков на улицах непокорившейся Праги).

Но основа моих взглядов все же осталась прежней.

Я по-прежнему не могу не ценить большие благотворные изменения (социальные, культурные, экономические), которые произошли в нашей стране за последние 50 лет, отдавая, однако, себе отчет в том, что аналогичные изменения имели место во многих странах и что они являются проявлением общемирового прогресса.

Я по-прежнему считаю, что преодоление трагических противоречий и опасностей нашей эпохи возможно только на пути сближения и встречной деформации капитализма и социалистического строя.

В капиталистических странах этот процесс должен сопровождаться дальнейшим усилением элементов социальной защиты прав трудящихся, ослаблением милитаризма и его влияния на политическую жизнь. В социалистических странах также необходимо ослабление милитаризации экономики и мессианской идеологии, жизненно необходимо ослабление крайних проявлений централизма и партийно-государственной бюрократической монополии как в экономической области производства и потребления, так и в области идеологии и культуры.

Я по-прежнему придаю решающее значение демократизации общества, развитию гласности, законности, обеспечению основных прав человека.

Я по-прежнему надеюсь на эволюцию общества в этих направлениях под воздействием технико-экономического прогресса, хотя мои прогнозы стали более сдержанными.

Сейчас мне в еще большей мере, чем раньше, кажется, что единственной истинной гарантией сохранения человеческих ценностей в хаосе неуправляемых изменений и трагических потрясений является свобода убеждений человека, его нравственная устремленность к добру.

Наше общество заражено апатией, лицемерием, мещанским эгоизмом, скрытой жестокостью. Большинство представителей его высшего слоя — партийно-государственного аппарата управления, высших преуспевающих слоев интеллигенции — цепко держатся за свои явные и тайные привилегии и глубоко безразличны к нарушениям прав человека, к интересам прогресса, к безопасности и будущему человечества. Другие, будучи в глубине души озабочены, не могут позволить себе никакого "свободо-мыслия" и обречены на мучительный разлад самих с собой. Размеры национального бедствия приобрело пьянство. Оно является одним из симптомов нравственной деградации общества, которое все больше погружается в состояние хронического алкогольного отравления.

Для духовного оздоровления страны необходима ликвидация условий, толкающих людей на лицемерие и приспособленчество, создающих у них чувство бессилия, неудовлетворенности и разочарования. Необходимо обеспечение для всех на деле, а не на словах равных возможностей в продвижении на работе, в образовании и культурном росте, необходима ликвидация системы привилегий во всех областях потребления. Необходимо большая идеологическая свобода, полное прекращение всех форм преследования за убеждения. Необходима коренная реформа об-

разования. Эти мысли лежат в основе многих предложений "Памятной записки".

В "Записке" упомянута, в частности, проблема улучшения материального положения и самостоятельности двух наиболее многочисленных и социально весомых групп интеллигенции — учителей и медицинских работников. Плачевное состояние народного образования и здравоохранения тщательно скрывается от зарубежного глаза, но для всех желающих видеть не может являться секретом. Бесплатный характер здравоохранения и образования — не более чем экономическая иллюзия в обществе, где вся прибавочная стоимость экспроприруется и распределяется государством. В здравоохранении и образовании особенно пагубно отразилась иерархическая классовая структура нашего общества с его системой привилегий. Состояние образования и здравоохранения для народа — это нищета общедоступных больниц, бедность сельских школ, переполненные классы, бедность и придавленность народного учителя, казенное лицемерие в преподавании, распространяющее на подрастающее поколение дух равнодушия к нравственным, художественным и научным ценностям.

Особое место в числе условий оздоровления общества занимает прекращение преследований по политическим мотивам как в судебных и психиатрических формах, так и в любых других, на которые способна наша бюрократическая и косная система с ее тоталитарным вмешательством государства в жизнь граждан (увольнение с работы, исключение из вузов, отказ в прописке, ограничение в продвижении по работе и т.п.).

Ростки нравственного возрождения народа и интеллигенции, которые возникли после ограничения крайних проявлений слепой террористической системы сталинизма, не встретили должного понимания у правящих кругов. Основные классово-социальные и идеологические черты строя не претерпели существенных изменений. С болью и тревогой я вынужден отметить, что вслед за иллюзорным в значительной мере либерализмом вновь усиливаются ограничения идеологической свободы, стремление к пресечению не контролируемой государством информации, преследования по политическим и идеологическим мотивам, намеренное обострение национальных проблем. Пятнадцать месяцев, прошедших с момента подачи "Записки", принесли новые тревожные свидетельства развития этих тенденций.

Особенно волнует волна политических арестов в первые месяцы 1972 года. Многочисленные аресты имели место на Украине. Аресты имели место также в Москве, в Ленинграде и в других районах страны.

Внимание общественности в эти же месяцы привлекли суды над Буковским в Москве, над Строкатой в Одессе и другие. Необычайно опасным по своим последствиям для общества и совершенно недопустимым нарушением прав человека является использование в политических целях психиатрии; известны многочисленные протесты и высказывания по этому вопросу, сейчас по-прежнему в тюремных психиатрических больницах находятся Григоренко, Гершуни и многие другие; неизвестна судьба Файнберга и Борисова; есть и новые факты психиатрической репрессии (например, дело поэта Лупыноса на Украине).

Преследование и разрушение религии, с упорством и жестокостью проводящиеся на протяжении десятилетий, — несомненно, одно из самых серьезных по своим последствиям нарушений прав человека в нашей

стране. Свобода религиозных убеждений и религиозной деятельности — неотъемлемая часть интеллектуальной свободы вообще. К сожалению, последние месяцы ознаменовались новыми фактами религиозных преследований, в частности в Прибалтике и в других местах.

Я не останавливаюсь в этом послесловии на ряде важных проблем, получивших отражение в "Памятной записке" и в других документах, опубликованных мною, — в открытых письмах членам Президиума Верховного Совета СССР "О свободе выезда из страны" и министру МВД "О дискриминации в отношении крымских татар".

Не останавливаюсь также на большинстве получивших отражение в "Записке" международных проблем, выделяю из их числа вопрос об ограничении гонки вооружений. Милитаризация экономики накладывает глубокий отпечаток на международную и внутреннюю политику, приводит к нарушениям демократии, гласности и законности, создает угрозу миру. Хорошо изучена роль военно-промышленного комплекса в политике США. Аналогичная роль тех же факторов в СССР и других социалистических странах менее изучена. Однако необходимо отметить, что ни в одной стране доля военных расходов, отнесенная к национальному доходу, не достигает таких размеров, как в СССР (более 40 процентов). В обстановке взаимного недоверия особую роль играет проблема контроля, отмеченная в "Записке".

Я пишу это послесловие вскоре после подписания важных соглашений об ограничении ПРО и стратегических ракет. Хочется верить в чувство ответственности перед человечеством политических руководителей и деятелей военно-промышленных комплексов в США и СССР.

Хочется верить, что эти соглашения имеют не только символический смысл, но и приведут к реальному сокращению гонки вооружений и к дальнейшим шагам, смягчающим политический климат в нашем истрадавшемся мире.

В заключение я считаю необходимым подчеркнуть то значение, которое я придаю предложению об организации международного консультативного органа — Международного совета экспертов, обладающего правом рекомендаций с обязательным рассмотрением их национальными правительствами — пункт Б.з. в "Записке". Я считаю это предложение реальным — при условии широкой международной поддержки, о которой я прошу, я обращаюсь не только к советским, но и к зарубежным читателям. Надеюсь также, что мой голос "изнутри" социалистического мира в какой-то мере поможет осмыслению исторического опыта последних десятилетий.

Июнь 1972 года

ТОТАЛИТАРИЗМ*

Выход на стационарный режим

Максим испытывал такое отчаяние, словно вдруг обнаружил, что его обитаемый остров населен на самом деле не людьми, а куклами... Перед ним была огромная машина, слишком простая, чтобы эволюционировать, и слишком огромная, чтобы можно было надеяться разрушить ее небольшими силами. Не было силы в стране, которая могла бы освободить огромный народ, понятия не имеющий, что он не свободен... Эта машина была неуязвима изнутри. Она была устойчива по отношению к любым малым возмущениям.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий

Сущность того, что происходит сейчас в Советском Союзе, может быть выражена следующим образом: тоталитарное общество стабилизируется, переходит в стационарную фазу развития, когда оно самовоспроизводится от поколения к поколению без существенных изменений. Времена Ленина и Сталина были героической эпохой нового общества, когда оно еще только создавалось, и перед его создателями стояла трудная задача: переделать сознание человека, превратить его в послушный винтик государственной машины. Эта задача потребовала для своего решения моря крови, миллионов человеческих жертв. Ко времени Хрущева она была уже, в общем, успешно решена. Оставалось только ухаживать за новым обществом, аккуратно выпалывая сорную траву и не замаскиваясь на грандиозные перестройки. Методы Никиты Сергеевича не подходили для этой цели: они были слишком эксцентричны. Поэтому он и был замещен новыми, нынешними правителями, при которых бесцветность и безликость стали высшими государственными добродетелями. Теперь наша страна "уверенной поступью" идет к тому общественному порядку, который описывается в романах Замятина, Хаксли, Оруэлла, Стругацких.

Под тоталитаризмом понимают тотальный контроль государства над всеми общественно важными аспектами жизни граждан, включая их образ мышления. Тоталитарное государство устанавливает единую для всех идеологическую систему и внедряет ее принудительным образом в головы граждан. Лица, открыто не разделяющие государственной идеологии, подвергаются наказаниям, которые, в зависимости от степени отклонения и других факторов, варьируются от блокировки продвижения по служебной лестнице до физического уничтожения. Основные права личности — свобода ассоциаций, свобода получения и распространения информации и свобода обмена идеями — ликвидируются. Борьба идей уступает место борьбе *против* идей путем физического насилия. С точки зрения эволюционной теории тоталитаризм является извращением, дегенерацией, ибо более низкий уровень организации уродует и подавляет бо-

* Главы из книги "Инерция страха" © 1977 by Khronika Press.

лее высокий уровень. Тоталитарное общество теряет способность нормально развиваться и окостеневает. Это тупик, волчья яма на пути эволюции.

Элементы тоталитаризма были свойственны многим цивилизациям прошлого, и они приводили к тому, что общество застывало в своем развитии на многие столетия. В XX веке наука и технология дают неслыханно эффективные средства массовой манипуляции сознанием людей, поэтому опасность попасть в волчью яму и глубина этой ямы многократно возрастают. Сейчас на карте мира мы видим уже огромные пятна, пораженные тоталитаризмом; это словно участки омертвевшей ткани в живом организме. Современная цивилизация стремится к глобальности, по существу она уже глобальна. Если она станет тоталитарной, то откуда ждать излечения от болезни?

Будьте спокойны

Есть несколько характерных отличий нашей эпохи от сталинской, которые свидетельствуют о переходе тоталитарного общества в стационарную фазу. Первое и самое важное из них таково. Во времена Сталина ни один человек не был уверен в своем завтрашнем дне: даже самый преданный сторонник режима (и даже на самом высшем уровне) мог попасть в мясорубку "архипелага ГУЛАГ" и погибнуть. Теперь же вы можете быть совершенно спокойны: если вы послушно выполняете все предписания властей и работаете на стабилизацию тоталитаризма, власти не только не тронут вас, но и постараются обеспечить то (довольно скудное) процветание, которое они могут создать. Это сравнение, разумеется, целиком в пользу нынешнего режима. Нельзя признать совершенным строй, который уничтожает своих сторонников. Сталинская мясорубка была нужна, чтобы внушить человеку Великий Ужас перед государством, чтобы перевоспитать его в новом, тоталитарном духе. И это делалось с размахом, с запасом. Шло экспериментирование, разрабатывались новые методы. При этом, естественно, нередко переступалась граница необходимого: происходили так называемые "перегибы". Боже, как было популярно это слово! Перегиб здесь, перегиб там... Теперь это слово вышло из моды. Перегибов больше нет. Власти приобрели опыт, они научились бороться с идеями малой кровью, стараясь избежать чрезмерных репрессий. Сложился новый правящий класс, который отличает *своих* от *чужих* и *своих* никогда не трогают.

Зарубежные наблюдатели часто говорят о постепенном "смягчении", "либерализации" политического режима в СССР и делают отсюда оптимистический вывод, что в конце концов советское общество "либерализуется" до того, что превратится в общество демократического западного типа. Эти выводы ни на чем не основаны. Напротив, все говорит о тенденции к увековечиванию тоталитарных порядков. Уровень насилия падает по мере того, как общество привыкает к этим порядкам, смиряется с ними. "Смягчение" режима по сравнению со сталинским периодом, если под этим понимать уменьшение числа жертв, действительно произошло, и весьма значительное. Можно говорить также о смягчении сталинского режима к 1952 г. по сравнению с 1937-м. Но все это является лишь следствием и свидетельством стабилизации тоталитаризма. Основные принципы, на которых зиждется новый строй, не меняются ни на

йоту: полное бесправие личности и отсутствие элементарных гражданских свобод; бюрократическая система правления, при которой все решения обсуждаются и принимаются негласно; пресечение обмена информацией и идеями; массовая дезинформация населения средствами печати, радио и т.д.; ложь и лицемерие, возведенное в норму общественной жизни; империалистическая внешняя политика. И те же тюрьмы для непокорных, разве что нет расстрелов. Впрочем, Юрий Глансков фактически убит в тюрьме. А сколько еще таких случаев, о которых мы ничего не знаем?

Гибель полубогов

Железный наш кулак сметает все
преграды.
Довольны Неизвестные Отцы!..

А. Стругацкий, Б. Стругацкий

Другой характерной чертой перехода тоталитарного общества в стационарный режим является перенос центра тяжести пропаганды с поклонения конкретным людям — героям, полубогам, которым мы обязаны нашей счастливой жизнью — на поклонение более абстрактным, но зато непрерывно воспроизводимым понятиям: строй, партия, Центральный Комитет. Один американский журналист спросил меня как-то: "А какие герои у советских детей? Кем их учат восхищаться в школе и кем они на самом деле восхищаются?" Оказалось, что я не могу толком ответить на этот вопрос. Я вдруг заметил, что у нас больше нет культа героев, который был характерен для времен моего детства. В тридцатые годы Валерий Чкалов был кумиром буквально каждого мальчишки в стране. Для нынешнего поколения с ним можно сравнить только Юрия Гагарина, но я уверен, что по глубине и искренности внушаемого им восхищения, а также по числу подражателей Чкалов намного опережает Гагарина. Да разве только Чкалов? А герои-папанинцы? Я до сих пор помню эти четыре имени: Папанин, Кренкель, Федоров и Ширшов. А герои гражданской войны?

В тридцатые годы имена авиаконструкторов были известны всем, их популяризировали в качестве примера для подражания. А имя С. П. Королева — руководителя нашей программы освоения космоса — стало известно широкой публике только после его смерти. Сообщая о запусках спутников и вообще о продвижении космической программы, советские газеты упоминали таинственно о некоем "Главном Конструкторе" и о "Главном Теоретике" — с больших букв. Формально считалось, что это делается из соображений секретности. В действительности же зарубежным специалистам было прекрасно известно, что "Главный Конструктор" — это С. П. Королев, а "Главный Теоретик" — М. В. Келдыш. Но советской публике этого знать не полагалось. Пока советские лидеры были в глазах народа героями революции и гражданской войны, существование героев в других сферах деятельности не противоречило интересам системы. Однако на фоне безликих руководителей существование ярких фигур с большим авторитетом таит в себе определенные опаснос-

ти. В конце концов, С. П. Королев мог сказать любому члену Политбюро: “Я дал миру выход в космос. А ты кто такой?” Конечно, на самом деле он никогда так не сказал бы. Но уже возможность такого сопоставления вряд ли была бы приятна руководителям. Основным тезисом пропаганды, которая велась вокруг космической программы, было то, что успехи в космосе — достижение советского строя, что это было возможно только в условиях социализма и только под руководством коммунистической партии и ее Центрального Комитета.

Когда в эпоху хрущевского либерализма я стал знакомиться с материалами по истории КПСС, я с удивлением узнал, что в 20-е годы слово “вождь” часто, а быть может и в основном, употреблялось во множественном числе: “вожди партии”. Я родился в 1931 г., и я привык к тому, что вождь может быть только один: Великий и Мудрый Вождь всего прогрессивного человечества. Идея вождизма, возникшая и укоренившаяся в эпоху революции, сконцентрировалась ко времени моего детства и юности в одном человеке, стянувшись в одну ослепительно яркую точку. Потом эта точка потухла. Вождей не стало, остались руководители.

Руководители стационарного тоталитарного государства представляются простому человеку единой, недифференцированной массой. Они произносят предельно стандартизованные, неотличимые друг от друга по стилю речи и никогда не выносят на обсуждение разногласий, которые между ними имеются. Быть может, среди них есть выдающиеся люди, быть может, и нет. Возможно, что они все одинаковые, возможно, что они все разные. Мы о них ничего не знаем и не должны знать — по архитектуре нашей социальной системы. Мы должны только знать, что они являются средоточием и олицетворением “коллективной мудрости” партии, системы.

Преодоление пережитков прошлого

Происходит смена поколений, и дототалитарное время отодвигается в далекое прошлое. Еще 7–8 лет назад мы были свидетелями коллективных протестов видных деятелей культуры, и в частности академиков, против реабилитации Сталина и сталинских методов. На официальном языке эти протесты с полным правом могут быть названы “пережитками капитализма”. Протестовавшие были в большинстве людьми прежней формации, которые через ужасы сталинского времени пронесли веру в дототалитарные идеалы и возможность их осуществления. В то же время они занимали высокое положение, поэтому их коллективные выступления были серьезным общественным явлением, с которым нельзя было не считаться. С тех пор одни из них умерли, другие потеряли веру в то, что можно что-нибудь сделать. Из числа первых “академиков-подписантов” только А. Д. Сахаров продолжал идти по тому же пути. И вот в августе 1973 г. мы увидели коллективное письмо совсем другого сорта, которое было напечатано во всех советских газетах, — позорное письмо сорока академиков, осуждающее деятельность Сахарова.

Это письмо и последовавшая за ним клеветническая кампания против Сахарова открыли новую эру в истории советской науки. Сталин еще вынужден был прибегать к услугам “чужих” людей, если они были крупными специалистами своего дела. Человеку такого класса разрешали до

известной степени оставаться самим собой, аппаратчики относились к нему по-особому, как к некоей диковине или реликвии прошлого. Теперь все это кончилось. Наука полностью огосударствовалась, она заняла то место, которое ей и полагается иметь в стационарном тоталитарном обществе. Новые академики — люди тоталитарной психологии, прошедшие через частое сито государственного контроля. “Чужому” теперь в академии не попасть, у государства теперь больше чем достаточно “своих” кадров (хорошие они или плохие — это другой вопрос). Весной 1968 г. президент Академии наук СССР М. В. Келдыш сказал по поводу тех ученых, которые подписывали письма с протестом против политических репрессий и беззаконий: советская наука обойдется и без них.

В целях дальнейшего совершенствования

Необходимым условием стационарности является самовоспроизведение. Самовоспроизведение политической машины тоталитаризма было налажено еще Сталиным. Сейчас заканчивается налаживание самовоспроизведения тоталитаризма в культуре. Своеобразным измерителем этих процессов являются *массовые кампании* против врагов (действительных или мнимых) тоталитаризма. Эти кампании для внешнего наблюдателя — как землетрясение для геолога, по ним он может судить, что процессы формообразования в земной коре еще не закончены. Политические процессы 1937–1939 г. были последними крупными “землетрясениями”; с тех пор политические формы отвердели, и если что-то и происходит, то лишь небольшие трещины и оползни — главным образом, скрытые. Налаживание тоталитаризма в культуре отняло больше времени. Еще в последние годы Сталина мы видим массовые кампании против “менделеев”, “космополитов” и т.п. Затем кампании становятся все короче и уже по охвату. Возможно, что кампании против Солженицына и Сахарова в 1973 г. — последние в своем роде. Они выходят из моды, как и “перегибы”.

Ибо контроль партийного аппарата над хозяйством и культурой захватил уже все уровни иерархии. Я имею в виду тот контроль, который не допускает проникновения на руководящие должности — и вообще на сколько-нибудь заметные места — людей, способных бороться за свои убеждения и основные права личности, короче говоря, людей *чужих* с точки зрения тоталитарного государства. Техника контроля достигла высокой степени совершенства и продолжает совершенствоваться. Время от времени партийные и правительственные органы издают постановления, которые обычно так и называются: “О мерах по дальнейшему совершенствованию...” Вот, например, 9 ноября 1974 г. в “Правде” опубликовано изложение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему совершенствованию аттестации научных и научно-педагогических кадров”. Здесь обращают на себя внимание два элемента. Во-первых, Высшая аттестационная комиссия, присваивающая ученые степени и звания, переводится из ведения Министерства высшего образования в ведение Совета Министров. Следовательно, надзору за аттестацией научных работников придается увеличенное значение. Второй элемент виден из следующей цитаты:

“В практической деятельности Высшей аттестационной комиссии,

советов высших учебных заведений и научных институтов рекомендовано установить незыблемое правило, чтобы к защите принимались только такие диссертационные работы, которые имеют научную и практическую ценность, а соискателями ученых степеней утверждались лица, положительно проявившие себя на научной, производственной и общественной работе”.

Так что будь ты хоть Исаак Ньютон, а если не *проявил себя положительно* на общественной работе, — кандидатом наук тебе не бывать.

И не только кандидатом наук. Потенциальные нонконформисты вылавливаются с юных лет, им не дают получить приличное образование. За малейшее проявление инакомыслия студентов исключают из институтов, а затем презрительно именуют “недоучками”. Недоучки! С каким вкусом газетные писаки и партийные работники — сами люди полуобразованные — произносят это слово! Недоучка Амальрик, недоучка Буковский...

Однажды, когда я еще работал в солидном академическом институте, я организовал у нас выступление историка и философа Г. С. Померанца, известного самиздатского автора, произведения которого ходили по всему Союзу. Г. С. Померанц — очень интересный мыслитель, к тому же яркий и увлекательный эссеист. Он выступил на философско-методологическом семинаре института. Зал был полон, доклад вызвал большой интерес. Однако выступление самиздатского автора на институтском семинаре не прошло незамеченным. Кто-то нажаловался в партбюро на “неправильную идеологическую линию” на семинаре, и я был призван к ответу. На заседании партбюро, куда я был приглашен, особенно суетился один малозаметный в институте человек — он не был, собственно говоря, научным работником, а что-то где-то около. Не был он и членом партбюро. Позже мне сказали, что он-то как раз и наступал в партбюро по поводу семинара. Несколько раз человек приступал ко мне с вопросом: а кто Померанц — кандидат или доктор? В конце концов я был вынужден ответить, что Померанц — не кандидат и не доктор, а просто работает библиографом в Фундаментальной библиотеке общественных наук.

Боже! Надо было видеть ту смесь негодования и презрения, которая выразилась на лице этого ничтожного стукача. “Как? — воскликнул он. — Даже не кандидат?”

Г. С. Померанц написал свою первую большую работу, которую хотел представить как диссертацию, незадолго до начала войны. Затем была война. Затем его посадили. Вскоре после выхода из лагеря Г. С. Померанц стал известным самиздатчиком, и ему просто не дали возможности защититься. Он написал новую диссертацию и представил ее в один институт, однако диссертацию вернули, не потрудившись даже подыскать приличного оправдания.

В XX веке уважение к ученым и к учености велико, велико уважение и к другим профессиональным достижениям. Но для неспециалиста (а в любой заданной области подавляющее большинство граждан — неспециалисты) удостоверением профессионального уровня является признание государства. А государство знает, кого удостоверить, а кого — нет.

Однако дело не только в удостоверении. Современное общество характеризуется столь высокой степенью интеграции, что почти никакое серьезное достижение невозможно в одиночку, без сотрудничества с ка-

кими-то институционализированными коллективами людей. Пожалуй, только писатель и может работать один. Даже математик нуждается в наши дни в доступе к вычислительной машине. А можете ли вы вообразить физика-любителя, который в свободное от основной работы время бежит к ускорителю, чтобы исследовать соударения элементарных частиц? Архитектор — не архитектор, пока спроектированное им здание не построено, а кинорежиссер — не режиссер, пока его фильм не вышел на экраны.

Рост профессионального уровня в современных условиях неизбежно требует одновременного повышения в служебной иерархии. Практически в любой сфере деятельности человек, желающий осуществить свои творческие замыслы и имеющий необходимые способности и опыт, должен руководить хотя бы небольшой группой людей. И здесь тоталитарное государство ставит его перед трудным выбором: или принять "причастие буйвола", выражаясь словами Г. Бёлля, или отказаться от своих планов и профессионального роста. Ибо, согласно основному принципу нашего государства, руководитель в любой сфере деятельности должен не только руководить работой подчиненных, но и *воспитывать* их. Этот принцип бесконечно повторяется и подчеркивается в партийной теории и служит основой практической политики партии в хозяйстве и культуре.

Для воспитания подчиненных вовсе не требуется, чтобы начальник читал лекции по марксистско-ленинской теории. Нет, от него ожидается совсем другое. Воспитывать подчиненных — значит подавать им пример угодного властям поведения. Как минимум, это включает гарантированное молчание по поводу тех вопросов, по которым велено молчать, и, конечно, беспрекословное исполнение "рекомендаций" партийных органов. Если вы выполняете это требование, вы можете подняться на первую ступеньку служебной лестницы. Это же условие необходимо для получения знаков отличия любого рода: премий, наград и т.п.

Наступление тоталитаризма на культуру шло, начиная с Октябрьской революции, сверху вниз, то есть "чуждые элементы" оттеснялись на все более низкие уровни иерархии. Теперь этот процесс, по-видимому, пришел к естественному завершению: стерилизована самая низшая ступенька лестницы, если, конечно, не считать тех лиц — того большинства лиц, которые совершенно никем не руководят. Во всяком случае, по опыту в научных учреждениях могу сказать, что "чуждые элементы" еще могут занимать должности младших или старших научных сотрудников, но ни в коем случае — заведовать лабораторией, или сектором, или любой другой структурной единицей. Руководитель должен воспитывать своих подчиненных.

Так и осуществляется самовоспроизведение тоталитаризма в культуре. Руководители воспитывают себе подобных.

Дилемму — совесть или работа —, которую тоталитарное общество ставит перед человеком творческой профессии, каждый решает по-своему. Большинство тех людей, которых называют порядочными, частично жертвуют работой, частично совестью. Они стараются свести к минимуму свое касательство к социальным проблемам, стараются ограничиться чисто профессиональными аспектами деятельности и чисто профессиональными контактами. Те же, кто не сохранил и капли порядочности, ничем не гнушаются для продвижения вверх. Иногда, например, они действуют в

отвратительных инсценировках, где они якобы "свободно и откровенно" обмениваются мнениями с представителями Запада по вопросам политики и идеологии.

Уровни лишения свободы

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок в области варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка X-лучами — и вы излечены от фантазии —
на всегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью свободен. Спешите же все — стар и млад — спешите подвергнуться Великой Операции!

Евг. Замятин. "Мы"

Человека можно ограничить физически: например, приковать к галере или посадить за решетку. Это — лишение свободы на самом низшем уровне. Человека можно ослепить, и тогда он, формально свободный, будет вынужден довериться поводырю. Это — лишение свободы на более высоком, информационном уровне. Наконец, можно сохранить человеку все органы чувств и, следовательно, полную способность получать информацию о внешнем мире, но путем операции мозга или химических препаратов трансформировать его сознание, парализовать волю. Это — лишение свободы на высшем уровне, которое неопытный наблюдатель не всегда и заметит. И он заведомо ничего не заметит, если раньше никогда не видел нормального, не оперированного человека.

Через соответствующие стадии проходит и тоталитаризм в своем наступлении на общество. Он движется снаружи внутрь, захватывая все более глубокие слои общественного бытия и уродуя все более высокие уровни организации живой материи.

В первые годы после захвата власти большевистский режим опирался исключительно на насилие ("революционное"). В вопросах распространения информации проявлялось недопустимое, с точки зрения позднейших времен, легкомыслие. Издавались, например, воспоминания участников гражданской войны, сражавшихся против Красной Армии. Считалось, что "сознательный рабочий" отделит (с помощью предисловия) интересные исторические факты от злобных вымыслов врага. Члены партии имели довольно полную информацию о событиях на верхних уровнях иерархии, и уж, конечно, никому не приходило в голову ограничивать доступ к произведениям "буржуазной" философии. Напротив, считалось, что "врагов нужно знать".

В дальнейшем, однако, выяснилось, что врагов лучше не знать. Не следует также знать, что происходит в высших сферах, в местах заключения и во многих других местах. Так оно спокойнее. Было создано информационно закрытое общество, и его расцвет, его взлет приходился на последние годы жизни Сталина. Сотни тысяч осведомителей следили за каждым словом граждан. Все книги, имеющие хотя бы отдаленное отношение к политике, социологии или философии и написанные "с чуждых позиций", попали в спецхран. Контакты с иностранцами были сведены к минимуму и были возможны только под строгим контролем

Государственной Безопасности. Само слово “иностранец” у простого человека вызывало страх; ассоциации, которые при этом возникали, были: шпионаж, органы, Лубянка.

Это была та стадия развития тоталитарного общества, когда основной упор делался на информационный уровень, а число физически уничтожаемых людей начинало уменьшаться. Конечно, сознание члена общества уже сильно трансформировано, но власти еще не очень этому верят. Поэтому они панически боятся информации, *знания*. Цинизм, необходимый для стационарного тоталитаризма, еще не выработался окончательно, еще не вошел в плоть и кровь общественного сознания. Считалось, что люди *не знают* о миллионах невинных жертв, о чудовищной мясорубке ГУЛАГа. Многие, действительно, не знали — разумеется, потому, что не хотели, боялись знать. Существовало нечто вроде негласного соглашения между властью и гражданами: власти создают информационные барьеры, а граждане радуются, что они могут как бы “не знать”.

На третьей, заключительной стадии тоталитаризма упор делается на поддержание *тоталитарного сознания* членов общества. Эта стадия предполагает, что трансформация сознания закончена, воля к свободе полностью подавлена. При этом возникает возможность дальнейшего сокращения масштабов физического насилия и частичное (только частичное!) открытие информационных каналов — к вящей радости “сытых, благожелательных иностранцев с блокнотами и шариковыми ручками” (А. Солженицын).

В 1956 г. старые “сталинские соколы” возражали против разоблачения преступлений Сталина, ибо они боялись, что если люди *узнают и признают, что они узнали*, то это нарушит равновесие и может привести к далеко идущим последствиям. Хрущев же, который делал личную карьеру на разоблачении Сталина, считал, что система достаточно прочна и ничего страшного не произойдет. И он, в общем, оказался прав. Люди *узнали* — и ничего. Советский человек, выражаясь словами Шолохова, “выдюжил”. Крупные неприятности произошли только в Восточной Европе, где люди не имели нашей выучки. Двенадцать лет от подавления венгерского восстания 1956 г. до вторжения в Чехословакию в 1968 г. в сущности, переходным периодом к третьей стадии тоталитаризма. Их можно сравнить с двенадцатью годами, с 1922 по 1934 г., когда совершался переход от голого насилия к информационно закрытому обществу.

Принять или не принять?

Переходные периоды отличаются от периодов застоя тем, что все-таки что-то происходит, что-то меняется. При этом перед человеком встает проблема определения своего места в происходящих переменах. Вскоре после революции 1917 г. русской интеллигенции стало ясно, что большевистский строй — это не тот строй, о котором она мечтала и которого ждала от революции. И встала проблема: принять или не принять? Из тех, кто не эмигрировал во время гражданской войны, большая часть приняла; остальные были репрессированы, небольшая часть сохранилась в виде “внутренней эмиграции”. Но так как террор был страшный, осталось ощущение, что и политический режим, и образ мышления навязаны на-

сильно. И я считаю, что можно без колебаний утверждать: так оно и было.

Реабилитация людей — жертв сталинского террора — потянула за собой частичную реабилитацию идей. Стали выходить книги, которые раньше были запрещены. В среде интеллигенции стали говорить о необходимости демократизации, гласности, более свободного обмена информацией. Рано или поздно это должно было вызвать социальное движение. Так оно и случилось. Была найдена подходящая форма — послание петиций высшим органам власти. Это, собственно говоря, была и есть единственная форма открытого политического движения, возможного в советских условиях. Людей, подписавших такие петиции, окрестили “подписантами”.

В течение некоторого времени число “подписантов” увеличивалось, и казалось, что движение может захватить широкие слои интеллигенции. Тогда власти стали принимать ответные меры. По сравнению со сталинским временем эти меры были смехотворны: обсуждение и осуждение на собраниях, отмена заграничных командировок, понижение в должности, иногда — увольнение с работы. Для членов партии (были и они в числе подписантов) — выговоры, а для упорствующих — исключение из партии. Многим просто ничего не было, они только были взяты на заметку. Я, например, хоть и подписал несколько коллективных протестов, в то время вообще избегал неприятностей.

Однако и этих мер оказалось достаточно, чтобы остановить движение. Максимум “подписантства” приходился на февраль—март 1968 г. К лету того же года, еще до вторжения в Чехословакию, стало уже ясно, что “подписантство” быстро идет на убыль. 21-е августа только закрепило победу, одержанную тоталитаризмом. Подписанты оказались в меньшинстве — в ничтожном меньшинстве; основная часть интеллигенции не поддержала их. Советский интеллигент снова был поставлен перед проблемой выбора — и он снова сделал выбор в пользу тоталитаризма, однако на этот раз — под несравненно меньшим давлением.

При Сталине рот был заткнут чудовищной, неумолимой силой. Идти хоть в чем-то против означало почти верную и почти немедленную смерть. Активистам демократического движения казалось, что теперь, когда можно что-то делать для восстановления основных прав личности, люди должны ухватиться за эту возможность и движение — хотя бы в среде интеллигенции — должно разрастись лавинообразно. Это было заблуждение, оно обнаруживалось в процессе сбора подписей, и у многих активистов опускались руки. Великого Страх сталинских времен уже не было. Но работала инерция страха. Не зря трудились основатели нового строя. Страх не прошел бесследно. Он затаился в тайниках сознания, он изуродовал души, изменил представления о нравственных ценностях, о добре и зле.

Интеллигенция больше, чем любой другой слой общества, нуждается в основных демократических свободах и страдает от их отсутствия; они нужны ей профессионально — для выполнения своей общественной функции. Поэтому интеллигенция и должна в первую очередь заботиться о соблюдении прав личности, добиваться их. Она отвечает за них перед обществом в целом. Бороться с предрассудками и обскурантизмом, добиваться интеллектуальной и духовной свободы — такой же прямой долг интеллигента, как долг врача — следить за здоровьем людей.

Я уже говорил о той ситуации выбора, в которой находится человек

творческого труда в тоталитарном обществе, когда требования совести противоречат интересам работы. Однако эта ситуация не влечет с необходимостью ту пассивность интеллигенции, которую мы видим вокруг. Ситуация выбора и необходимость компромисса всегда присутствовали и будут присутствовать в любой сфере жизни; сама жизнь — это непрерывный компромисс. И если бы интеллигенция обладала твердым желанием выполнять свой долг, идя, когда это необходимо, на компромиссы, то общественно-политическая атмосфера в стране была бы совсем другой. Но такого желания нет.

Почему?

В следующем разделе я воспроизвожу свой ответ на этот вопрос, содержащийся в первом варианте "Инерции страха" (осень 1968 года).

Философия коровы, догматический пессимизм и другие теории

Страшным результатом сталинского террора было не только физическое уничтожение людей, но и дегуманизация оставшихся в живых, потеря ими человеческого облика. В той или иной степени этот процесс затронул каждого, а благодаря взаимодействию между поколениями повлиял и на молодежь, не заставшую сталинских времен. И самое печальное, что мы привыкли к этому, смирились с этим, нашу исковерканную психику мы принимаем за норму.

Когда бандит наводит дуло револьвера на безоружного человека, тому на выбор предоставляются только две возможности: подчиниться или умереть тут же на месте. Никто не может осудить того, кто подчинится в таких условиях. Но вот бандита нет. Не пора ли начать принимать человеческий облик?

Мы так привыкли к массовой, систематической лжи, что считаем ее не только вполне дозволенной, но даже как будто совершенно естественной и необходимой для поддержания общественного порядка. Мы считаем вполне нормальным говорить дома и с друзьями одно, а на людях — совсем противоположное, и мы учим этому своих детей. Нам нисколько не стыдно проголосовать на собрании за решение, которое мы считаем неправильным, и тут же, выйдя из зала, поносить это решение. Мы не считаем позором и предательством не выступить в защиту несправедливо обвиненного товарища. Порой совесть требует от нас сущего пустяка, но мы отказываем ей и в этом. Мы трусливы и беспринципны.

На какие только ухищрения мы не пускаемся, каких только жалких доводов не изобретаем, чтобы оправдать себя в своих собственных глазах и в глазах своих друзей!

Многие представители научной интеллигенции укрываются за гениально простой отговоркой: это не мое дело; мое дело — наука, все остальное меня не касается, и я буду делать что угодно, лишь бы мне не мешали; так я принесу максимальную пользу обществу. Это философия коровы, которая умеет только давать молоко и готова давать его кому угодно.

Рассуждая так, ученый претендует на несомненную исключительность своей профессии или своей личности. И действительно, такая претензия, когда она исходит от ученого, выглядит как будто более основательно, чем если бы она исходила от представителей других профессий. Мы часто

ставим науку на выделенное место, придавая ей высшую ценность, независимую от остальных ценностей, связанных более непосредственно с общественной жизнью. На начальных стадиях развития науки и, может быть, еще в прошлом веке такую точку зрения можно было считать в какой-то степени оправданной. Тогда наука развивалась более или менее автономно, ей нужно было еще накопить силы, чтобы стать важным общественным явлением. Веря, что в конечном счете наука преобразует общество к лучшему, копить силы было, возможно, тактически правильно. Но сейчас наука уже неразрывно связана со всей общественной жизнью; общие, глобальные проблемы науки неотделимы от проблем общества. Жертвовать решением общих проблем, чтобы несколько быстрее решить отдельную узкую проблему, — можно ли защищать такую точку зрения, не занимаясь самообманом? За подобными взглядами обычно кроются чисто эгоистические соображения...

Так обстоит дело, если рассуждать только об интересах науки. Но проблемы общественной жизни — это не только проблемы науки, это проблемы счастья и горя, жизни и смерти многих людей. Неужели это менее важно, чем вопрос о том, будет ли, допустим, осуществлен данный эксперимент на год раньше или на год позже?

Наконец, само противопоставление заботы об общественных проблемах деятельности в своей узкой области — не оправдано. Тот, кто желает выполнить свой общественный долг, всегда найдет для этого способы, не ударяющие фатально по его работе. Философия коровы нужна тем, кто хочет уклониться от выполнения долга, откупившись от него молоком. Кстати, и молоко-то у этих людей бывает чаще всего жидкое...

А что сделаешь? — говорит другой интеллигент. — Кругом ложь и подлость. Высунешься — стукнут, только и всего. Ничего не изменится, разве только в худшую сторону. Нет уж, лучше сидеть и помалкивать...

Напрасно вы будете указывать ему на перемены, которые непрерывно происходят в нашей жизни, напрасно будете спрашивать, как — по его представлениям — вообще происходит в мире прогресс, он будет либо мазать все черной краской, либо уходить от разговора. Его пессимизм — догма, которую он вовсе не намерен подвергать сомнению и которая поэтому абсолютно неуязвима. Убеждение, что ничего сделать нельзя, необходимо ему для самооправдания. Когда побеждают силы разума и добра, он только пожимает плечами; но зато каждый раз, когда берет верх зло и невежество, он не упускает случая позлорадствовать:

— Вот видите! Я же говорил! Я же предупреждал!

И он радуется, что его не удалось “спровоцировать” на “необдуманный” поступок...

Есть еще теория, которую можно назвать “Сама пойдет...”

— Ну что вы! — говорит проповедник этой теории. — Конечно, улучшение происходит. Только медленно, под действием объективных законов. Его нельзя ни остановить, ни ускорить. Надо просто ждать. Придет время, все будет хорошо...

Как будто это улучшение происходит само собой, каким-то мистическим образом, без всякого участия людей! Как будто этим улучшением мы не обязаны как раз тем людям, которые отдают ему свою энергию, здоровье, жизнь!

Да, можно просто ждать. Можно упасть в воду и, даже не барахтаясь, ждать пока тебя вытащат. Возможно, что в конце концов и вытащат, —

свет не без добрых людей. А возможно, что и не вытащат: не потому, что не захотят, а потому, что не смогут.

Есть еще много отговорок, помогающих интеллигенту уклоняться от поступков, которых требует совесть. Высокопоставленные говорят, что вот-де хорошо "простым людям" — им нечего терять. "Простые люди" говорят: хорошо высокопоставленным — их не тронут. Один как раз заканчивает диссертацию, другой не хочет "подвести" начальника, третий боится сорвать заграничную командировку. Молодой считает, что он слишком молод, старый — что он слишком стар.

Все эти оправдания не стоят ломаного гроша, они рассыпаются при первой же попытке серьезного и честного размышления. Но интеллигент и не хочет размышлять серьезно и честно, он предпочитает сохранять эти декорации, прикрывающие его страх и глубокий душевный надлом. И он осторожно пробирается между ними, чтобы не задеть и не разрушить их нечаянно. А к тем, кто разрушает декорации, кто подает пример честного и мужественного поведения и ставит интеллигента перед нравственным выбором, он испытывает порой настоящую ненависть, ибо такие люди нарушают его покой. Он не только лжет и боится, он не хочет перестать лгать и бояться — так он привык, так ему удобнее и спокойнее. Это — глубочайшее нравственное падение.

Нравственность. Совесть. Честь. Странно у нас отношение к этим понятиям. Нельзя сказать, что мы отрицаем их вовсе, относим к буржуазным предрассудкам. Нет. Но мы считаем эти понятия какими-то несерьезными, старомодными, "немарксистскими". Дескать, выплавка чугуна и стали — это серьезный фактор, это — *базис*, это важно для общества. А всякая там нравственность — это так, *надстройка*... Однако бывает, что с выплавкой чугуна и прочим "базисом" дело обстоит более или менее благополучно, а препятствием для нормального развития общества является именно массовое забвение некоторых элементарных нравственных принципов.

Именно так и обстоит дело у нас. Если заграничные тряпки для нас дороже чистой совести, если, боясь неприятностей по службе, мы способны предать товарища, — мы недостойны называться людьми и не заслуживаем человеческого участия.

Мы вовсе не должны требовать друг от друга какого-то героизма, какого-то необыкновенного мужества. Но разве не мы сами являемся источником лжи и лицемерия! Разве честные люди не могли бы договориться между собой просто быть честными, если бы они этого действительно хотели? Разве мы делаем хотя бы то, что вполне в наших силах? Нет, мы предпочитаем находить отговорки, мы предпочитаем без остатка погружаться в мелочные эгоистические заботы и не думать о долге и совести, о жизни и смерти, мы предпочитаем голосовать за неправду и, возвратясь домой, спокойно лгать своим детям, что мы — честные люди.

Морально-политическое единство

Последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влащающего на плечах ярмо капиталистического рабства.

И. Сталин

Годы, следовавшие за 1968-м, были годами поляризации. Выкрик-

таллизовалась категория людей (численно крошечная), которые отказались принять основной принцип тоталитаризма: подавление прав личности; их окрестили пришедшим с Запада именем "диссиденты". Остальные вернулись в лоно тоталитарного большинства. Общество безмолвно и безучастно наблюдает, как власти расправляются с диссидентами.

Я помню, как осенью 1972 г. я обращался к одному известному астрофизику Икс с просьбой помочь астроному Крониду Любарскому, над которым вскоре должен был состояться суд. К. А. Любарский, автор нескольких десятков научных работ и бывший председатель Московского астрономического общества, был арестован за участие в издании "Хроники текущих событий". От академика Икс я просил немногого: написать для суда характеристику Любарского как ученого. Я знал по опыту других политических процессов, в частности по процессу математика Р. И. Пименова, что такая характеристика, подписанная видным ученым, академиком, способствовала бы смягчению приговора. Икс принадлежал к числу первых академиков-подписантов, и это давало мне основания надеяться на положительный результат моей миссии. Однако надеждам не суждено было оправдаться. Времена переменялись. Академик отказался написать характеристику.

Кронид Любарский был осужден на пять лет строгого режима. Он — тяжело больной человек, у него ампутирована большая часть желудка. Каждый день пребывания в тюрьме для него — пытка.

Недавно произошел случай, незначительный сам по себе, но очень характерный для атмосферы последних лет. Профессор Ю. Ф. Орлов, физик, член-корреспондент Армянской Академии наук, позвонил академику Игрек, тоже физику, чтобы договориться о встрече и обсудить какие-то вопросы. Увы, Ю. Ф. Орлов известен не только как физик, но и как один из наиболее активных диссидентов. Едва Игрек понял, кто с ним говорит, и не успев еще услышать, о чем тот хочет разговаривать, он поспешил предупредить:

— Только учтите, проблемы поступательного движения человечества меня не интересуют.

А ведь Игрек тоже подписал некогда письмо-протест против применения сталинских методов. Однако нынче диссиденты не в моде. Ведь "все равно ничего не сделаешь". Серьезные люди этим не занимаются. Будет ли человечество двигаться вперед или назад — академику это безразлично. Он заботится только о том, чтобы его не втянули в разные там выступления в защиту невинно заключенных и прочую чепуху.

По поводу отдельных случаев — которых любой из диссидентов может привести великое множество — всегда есть возможность возразить, что это все-таки отдельные случаи, а не статистика. Но вот есть форма общественной активности, где статистика набирается автоматически, сама собой: это голосование на собраниях и заседаниях коллективных органов, таких как ученые советы научных институтов. Ленинградского литературоведа Эткинда уволили с работы в результате того, что КГБ довело до сведения руководства свое мнение о его неблагонадежности. Для увольнения человека, занимающего конкурсную должность в научном институте, необходимо решение ученого совета института, которое принимается путем тайного голосования. Такое решение и было принято, причем члены ученого совета высказались за увольнение Эткинда *единогласно*. Иностранцы корреспонденты в Москве, передавая сообщение

об этом за границу, очень удивлялись: как это так, что из пятидесяти с чем-то человек не нашлось ни одного, который *при тайном голосовании* оказался бы против увольнения по политическим причинам? Как это может быть?

Может быть, господа, может быть. Не зря советская пропаганда кричит на весь мир о морально-политическом единстве советского общества. Она, конечно, производит подтасовку, смещает смысл слов, но все же не врет напропалую. В своем пренебрежении к правам личности, отсутствию чувства собственного достоинства, в своем раболепии перед властью советское общество едино: и морально, и политически.

Мне говорили (не знаю, насколько это верно), что члены ученого совета по какой-то причине имели зуб на Эткинда, и это отчасти объясняет (хотя, разумеется, никак не оправдывает) результат голосования. Но вот перед моими глазами другой случай. В одном научном институте работал физик А. — человек большой доброты и безукоризненной честности, с румяным круглым лицом — живой символ русского добродушия и общительности. Я думаю, во всем институте не было и одного человека, который был бы настроен к нему недоброжелательно. И вот А. “провинился”. Будучи членом КПСС, он написал письмо в высшие партийные инстанции, которое этим инстанциям не понравилось. Обратите внимание, А., в сущности, лишь выполнял устав КПСС, согласно которому коммунист должен сообщать вышестоящим инстанциям о тех действиях нижестоящих инстанций, которые с его точки зрения являются неправильными. К тому же письмо, как и полагается, было закрытое. Однако дело было в конце 1968 г., и в институте было то, что на партийном языке называется “сложная обстановка”. Поэтому сверху спустили инструкцию: осудить вольнодумца. Ладно. В два счета провели партсобрание, осудили, вынесли строгий выговор. Потом собрали ученый совет. Сидят физики и думают: дело дрянь, обстановка сложная, надо А. наказать, а то как бы чего не вышло. Вносится предложение: перевести его с должности старшего научного сотрудника на должность младшего научного сотрудника. Это влечет понижение зарплаты более чем на треть (а у А. жена и двое детей).

Лишь один человек счел предложение несправедливым — заведующий лабораторией Б. Встает он и говорит: зачем же понижать в должности? Ведь работает он прекрасно. Никаких претензий у нас здесь нет. Вынесли выговор по партийной линии, и хватит.

Тут все зашумели, замахали на Б. руками. Дескать, как можно так рассуждать, надо думать об интересах института и т.д. Перешли к тайному голосованию. Результат: единогласно за понижение в должности. Б. тоже голосовал за: ведь если был бы один голос против, ясно было бы, что этот голос его. Впрочем, это его не спасло: через некоторое время Б. был переведен с должности заведующего лабораторией на должность старшего научного сотрудника.

Репрессии против людей творческих профессий — ущемление или полное изгнание с работы — проводятся, как правило, вполне законным, “демократическим” путем. Общество само оскопляет себя, и эта традиция самооскопления передается следующему поколению.

Из института, в котором я работал до увольнения летом 1974 г., был уволен незадолго до меня кандидат технических наук А. М. Горлов. Вся его вина состояла в том, что он был знаком с А. Солженицыным и однаж-

ды, приехав к нему на дачу в отсутствие хозяина, нарвался на сотрудников КГБ, которые не то делали там обыск, не то устроили засаду. Горлова как следует избили и пригрозили, что если он не будет молчать, то ему будет худо. Горлов, однако, молчать не стал, и дело получило огласку. Естественно, у него начались неприятности на работе, и в конце концов он был уволен путем тайного голосования. Горлов проработал в этом институте 15 лет.

Личный опыт

Мой личный опыт также содержит немало поучительного.

Когда в конце августа 1973 г. началась клеветническая газетная кампания против академика Сахарова, я выступил с кратким заявлением в его поддержку. Через неделю я уже присутствовал на общем собрании сотрудников института, созванном с целью осудить мой недостойный поступок. Часть выступавших восклицала, что не может быть такой человек, как я, заведующим лабораторией и руководить людьми (в течение шести месяцев я, действительно, по недосмотру властей в процессе перехода из одного института в другой, был — о чудо! — заведующим лабораторией). Другие ораторы требовали вообще изгнать меня из института, утверждая, что мне не место в их здоровом коллективе. Одна пожилая женщина патетически воскликнула:

— Я вот смотрю, к нему все студенты ходят. Разве мы можем, товарищи, доверить такому человеку воспитание наших детей?

Резолюция, осуждающая мое поведение, была принята единогласно. Из трехсот человек, присутствовавших на собрании, ни один не проголосовал против или хотя бы воздержался.

Вскоре после этих событий из издательства "Советская Россия", где готовилась к выходу моя книга "Феномен науки" (уже был начат набор), мне сообщили, что работа над книгой остановлена "из-за нехватки бумаги". Рукопись другой моей книги "Программирование на языке РЕФАЛ", которая была сдана в издательство "Наука", находилась в это время у рецензента. Рецензент вернул рукопись в издательство, заявив, что он считает себя "морально не вправе" рецензировать книгу автора с таким политическим лицом.

Морально-политическое единство...

Осуждение моего выступления на собрании в институте производилось открытым голосованием. Но есть у меня опыт и тайного голосования.

В сентябре 1973 г., вскоре после собрания, была расформирована моя лаборатория, но я был оставлен в институте в должности старшего научного сотрудника. В течение последовавших месяцев я спокойно работал и надеялся, что мне удастся совместить свое диссидентство с продолжением профессиональной деятельности. Не тут-то было. Весной 1974 г. подошло время моего утверждения ученым советом института в занимаемой должности. Сначала вопрос о моем утверждении был отложен: вероятно, начальство не знало, как поступить, и запрашивало инструкции. Затем было дано указание "треугольнику" отдела составить на меня характеристику.

В деловой части характеристики, написанной в отделе, были только хорошие слова по моему адресу. Но последний абзац характеристики гласил:

“В то же время, будучи близко связанным с академиком Сахаровым, В. Ф. Турчин сделал в сентябре 1973 г. заявление для представителей буржуазной прессы, в котором оправдывал поведение Сахарова. Этот поступок В. Ф. Турчина был единодушно осужден сотрудниками института”.

В июле 1974 г. состоялось заседание ученого совета института, на котором рассматривался, в частности, вопрос о моем утверждении в должности. Председательствовавший на совете заместитель директора не стал зачитывать деловую часть характеристики, а прочитал только заключительный абзац, начиная со слов “В то же время...”. Затем он выразил надежду, что члены ученого совета “сделают соответствующие выводы” из зачитанного абзаца. Больше по этому поводу не было сказано ни слова. Моя работа не обсуждалась. Хотя за месяц до этого на заседании отдела было принято решение рекомендовать ученому совету института утвердить меня в занимаемой должности, заведующий отделом, который присутствовал на заседании как член ученого совета, не счел необходимым встать и объявить об этом. Результат тайного голосования был таков: 5 за утверждение, 19 — против. Так я вылетел из института.

Один из моих знакомых, когда я ему рассказал об этих событиях, воскликнул:

— Ого! Пять человек из двадцати четырех голосовали против. Это — дай-ка мне линейку — почти 21%. У вас на редкость порядочные люди в институте!

После увольнения я пытался устроиться в несколько научно-исследовательских институтов, но безрезультатно. Схема была всегда одна и та же: заведующий лабораторией хотел меня взять, но когда вопрос поднимался на уровень партбюро и дирекции института, ответ неизменно был отрицательным. Иногда мне говорили: “Вот если бы вы дали обещание вести себя... иначе, тогда еще можно было бы попытаться вас устроить”. А в одном институте человек, который хотел меня взять, объявил мне с унынием в голосе, что не только директор, но и несколько человек, которые были заинтересованы во мне как в специалисте, сказали, что они тем не менее против моего приема. Они не хотят неприятностей.

Повествование об академике Зет, не может ли он помочь мне устроиться на работу. С академиком Зет мы не только знакомы более пятнадцати лет, но даже имели совместные работы. Академик ответил кратко и ясно:

— Нет. Эти люди идут против общества.
Такие дела.

Отщепенцы

Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье...

О. Мандельштам

У меня нет иллюзий: мой конфликт — не только и, пожалуй, даже не столько, конфликт с властями, сколько конфликт с обществом. Я хочу примерно того же и смотрю на вещи примерно так же, как люди круга,

к которому я принадлежу. Это — конфликт ценностей. Но именно система, иерархия ценностей — что мы считаем более, а что менее важным — определяет в конечном счете наши поступки; и от нее зависит, оказываемся ли мы с большим или меньшим успехом попадаем в отщепенцы, диссиденты.

Не то чтобы я возражал против отщепенства как такового. Отщепенцы нужны каждой стране и человечеству в целом. Нужны люди, которые ведут себя не так, как большинство — экспериментируют на себе (и — увы! — на своих близких). Без этого не было бы развития, движения вперед. Все новое бывает сначала в меньшинстве. В конце концов и доказательство теоремы зарождается в одной голове, прежде чем стать признанным фактом. Для меня диссидентство — часть моей жизненной задачи, как и научная работа.

Само по себе наличие отщепенцев — вещь естественная. И ясно, что люди, нарушающие общественные нормы поведения, не могут рассчитывать на легкую жизнь в своем обществе — это, опять-таки, естественно. Но неестественно и противоестественно другое: та линия, которая отделяет советских диссидентов от общества. Ведь для того, чтобы попасть в отщепенцы, достаточно просто отказаться от лжи (хотя бы по умолчанию), достаточно один раз заступиться за невинного человека, которого терзают на твоих глазах. А для того, чтобы попасть в полудиссиденты, в неблагонадежные, достаточно еще меньшего: живое слово, отказ от активного негодничества, систематического мракобесия. И это — в XX веке, в Европе, после того как основные принципы гуманизма и права личности давно признаны, казалось бы, цивилизованным миром.

Гуманистов XVI века поддерживало, вероятно, чувство, что они — первооткрыватели, прокладывающие дорогу к новому общественному порядку. Советские диссиденты всего лишь призывают помнить об уже открытых, ставших азбучными, истинах. Они всего лишь обороняются от наступающей тьмы.

Все всё знают

Один американец, с которым мы обсуждали влияние технического прогресса на общественную жизнь, сказал мне:

— У нас считают, что технический прогресс в Советском Союзе имеет важное значение для демократизации общества. Возьмем такой пример. Сейчас у вас в стране производится недостаточно автомашин. Их производство будет увеличиваться. Тогда любой человек сможет сесть на машину и проехаться по стране. Он тогда увидит, например, что во многих городах нет мяса и что вообще газеты пишут неправду.

Это соображение меня, признаться, рассмешило. Вовсе не обязательно иметь автомашину, чтобы знать, что газеты пишут неправду. У каждого есть глаза и уши, а также родные и знакомые в разных частях страны. И, в сущности, все всё знают.

Знают, что мяса нет и что газеты врут. И что слова о свободе и демократии — чистый вздор, а на самом деле начальство делает, что ему заблагорассудится. И что надо сидеть тихо, а то угодишь в лагерь. И что рабочие в Америке живут лучше, чем у нас профессора. И многое другое.

Все всё знают. И признают, что они знают. В этом отличие тоталитаризма третьей стадии — стадии сознания — от тоталитаризма второй —

информационной стадии. Акцент делается теперь на принятии неизбежного, на необходимости режима. Подобно тому, как при Сталине существовало негласное соглашение между властью и гражданами, что граждане как бы "ничего не знают", теперь существует такое же соглашение, что граждане как бы "ничего не могут сделать", хотя и знают почти все. На официальном языке это соглашение именуется "коммунистической сознательностью" советского народа.

Занятая это вещь — официальная советская фразеология... Нельзя сказать, что она использует слова в смысле прямо и открыто противоположном их истинному смыслу. Нет. Это скорее смещение смысла слов, которое происходит не прямо на поверхности, а на некоторой глубине. Сложные абстрактные понятия предполагают наличие некоторой лестницы, иерархии понятий, с помощью которой они декодируются, расшифровываются до уровня простых наблюдаемых объектов реальности. Где-то посредине этой иерархии и происходит изменение смысла на противоположный, что приводит к смещению расшифровываемого понятия. Благодаря тому, что обращение смысла происходит не на поверхности, а в глубине, становится возможным *двоемыслие*, на которое указал впервые Оруэлл и которое столь характерно для тоталитаризма. Ключевые для общественной жизни слова используются одновременно в двух смыслах: "теоретическом", то есть исходном, не смещенном, и "практическом" — смещенном. Теоретический смысл несет положительную эмоциональную нагрузку, но — увя! — не имеет отношения к действительности. Зато в "практическом" смысле эти же слова правильно отражают реальность. Так и образуется гибрид, кентавр, которым успешно пользуется тоталитарный человек в своем мышлении.

Согласно теории, коммунистическая сознательность — это принятие коммунистической идеологии в свободном обществе в результате борьбы идей и в обстановке свободного доступа к информации и к аргументам оппонентов. На деле же коммунистическая сознательность — это сознание, вырабатываемое под давлением чудовищной машины пропаганды и насилия, когда каждую кроху информации приходится буквально вырывать зубами в постоянном страхе угодить за решетку. Однако я хочу подчеркнуть сейчас не различие между "теоретическим" и "практическим" смыслом коммунистической сознательности, а их сходство. Вспоминая жуткий сталинский террор и сравнивая с ним современное положение вещей, мы все же можем сказать, что современный советский человек принимает тоталитаризм добровольно и сознательно. В этом-то и трагизм положения.

Сейчас у властей уже нет того панического страха перед информацией, который был прежде. Конечно, пресечение обмена информацией остается одной из важнейших задач — это основа основ тоталитаризма, но теперь власти знают, что в условиях "коммунистической сознательности" масс просачивание отдельных капель информации не представляет собой серьезной угрозы. Действительную угрозу представляет то, что может повлиять на сознание людей, — идеи. Поэтому свою первейшую задачу власти видят в поддержании идеологического вакуума.

Года два назад в журнале "Вестник Российского христианского студенческого движения" была напечатана статья, подписанная ХУ. В ней, в частности, анализировались причины уменьшения циркуляции "самиздата" в Советском Союзе по сравнению с концом 60-х годов. Объясне-

ние — с моей точки зрения, совершенно правильное — было таково. В 60-х годах волна “самиздата” состояла главным образом из *разоблачений*, касающихся как сталинского, так и современного периодов. Теперь эта волна кончилась: общество насытилось саморазоблачениями. Нужны новые идеи, а идеи, в отличие от простой информации, требуют диалога. “Самиздатские” условия гораздо менее благоприятны для выработки идей, чем для разоблачений.

Сознание тоталитарного человека — это прежде всего сознание опустошенное и развращенное. Задача борьбы с тоталитаризмом — это задача не разрушения, а созидания. Это не *борьба против, это работа на*. Разрушать нечего — все и так в развалинах. Нужны положительные идеалы. Нужна вера в их осуществимость. Нужна программа постепенной демократизации общественной жизни.

Строить, как известно, трудно, а разрушать — легко. И еще легко мешать строительству. Этим-то делом занимается пропагандистская и карательная машина государства. Огромная, мощная машина. Неудивительно, что мракобесы чувствуют себя так уверенно. Последние годы свидетельствуют о планомерном наступлении на культуру. Эпоха “хрущевского либерализма” вспоминается как какое-то золотое время, когда еще иногда *выходили книги!* С тех пор была проведена фундаментальная чистка всех учреждений, имеющих отношение к средствам массовой информации. Каждое живое слово рассматривается как потенциально опасное и вымарывается безжалостно. Казалось бы, какой смысл проявлять столь мелочную бдительность, если советский человек может по радио — скажем, в пределах “Немецкой волны” — услышать гораздо более опасные формулировки? А оказывается, в этом есть смысл. Ибо нестандартное слово, сказанное живым человеком и появившееся в печати, может явиться — на вполне законной основе — центром объединения инакомыслящих. Следить за тем, чтобы этого не случилось, поручено специального сорта людям, профессиональным мракобесам. И они свое дело знают, эти стратеги выжженной земли, мастера глубокого вакуума.

Марксистско-ленинская теория

Что же все-таки думает советский человек? Является ли официально исповедуемый марксизм-ленинизм его действительной идеологией? Или же это только идеология партийно-государственной иерархии? Или же, наконец, и сама иерархия не верит в то, что проповедуется в миллионах печатных изданий и вещается по радио чуть ли не на всех языках мира?

Марксизм-ленинизм именуется у нас передовой и единственно научной *теорией* общественного развития. Каков бы ни был ответ на поставленные выше вопросы, одно можно сказать сразу же: теорией как средством предвидения и планирования марксизм-ленинизм заведомо не является, и никто так к нему не относится, в том числе и партийные иерархи: не настолько они наивны.

Один мой знакомый, работавший в государственном аппарате на среднем уровне иерархии, рассказал такую историю. Он получил повышение в должности и вместе с повышением — новый кабинет. Кабинет был отремонтирован, стены заново выкрашены, и, как полагается, надо было украсить их портретами вождей. Мой знакомый зашел на

склад — и первое, что ему попало на глаза, был портрет Маркса; он велел повесить его у себя в кабинете. На следующий день к нему зашел его начальник — человек, принадлежащий уже к весьма высокому уровню иерархии. Увидев портрет Маркса, он скривился:

— Фу! Зачем ты этого еврея повесил? Ты бы сказал мне, я бы тебе Ленина дал.

Интересно в этой истории не то, что начальник настроен антисемитски (это-то само собой), а то, что здесь явно проглядывает пренебрежение к учению, созданному “этим евреем”. Советский иерарх — это прежде всего реалист, и как реалист он прекрасно знает, что практическая политика партии ни в какой связи с теорией Маркса не состоит. И его отношение к портретам определяется факторами чисто человеческими: Маркс — еврей, чужой; Ленин — наш, свой, основатель государства.

Любопытно, что иностранные наблюдатели, даже очень хорошо знакомые с жизнью в Советском Союзе, склонны переоценивать роль теоретических принципов или догм в определении конкретных, практических шагов советских руководителей. Недавно я прочитал одну статью Роберта Конквиста, автора книги “Великий террор” — одного из первых фундаментальных исследований сталинской эпохи. В целом это очень интересная статья, содержащая совершенно правильный, с моей точки зрения, анализ взаимоотношений Советского Союза с Западом. Но его оценка роли теории мне представляется завышенной. Р. Конквист пишет:

“Никто, я полагаю, не думает, что Брежнев декламирует “Тезисы о Фейербахе” каждый вечер перед тем, как отойти ко сну. Но все-таки “марксистско-ленинская” вера — это единственное основание для него и для его режима, и не просто вера в частную политическую теорию, но вера в трансцендентальную, всепоглощающую важность этой политической теории. Как заметил Джордж Кэннан: “Дело не столько в конкретном содержании идеологии... сколько в абсолютном значении, связываемом с нею”.

С этим нельзя не согласиться. Однако дальше мы читаем:

“Но мы можем, в действительности, документально засвидетельствовать — и без большого труда — привязанность советского руководства к конкретным догмам. Вторжение в Чехословакию было ярким проявлением доктринальной дисциплины. Другим поразительным примером является экстраординарный и явно в течение долгого времени обдумывавшийся совет, данный сирийским коммунистам в 1972 г. и просочившийся через националистически настроенных членов местного руководства. Было две отдельные серии совещаний с советскими политиками и теоретиками соответственно. И даже первая из этих групп, двое членов которой были идентифицированы как Суслов и Пономарев, сформулировала в чрезвычайно схоластических терминах вывод, что в соответствии с принципами марксизма нельзя признать существование “арабской нации”. Или, если взять более важный вопрос, советская сельскохозяйственная система основывается исключительно на догме и является вследствие этого чрезвычайно неэффективной”.

С этим я уж никак не могу согласиться. Я охотно верю, что ответ сирийцам по поводу “арабской нации” долго обдумывался и обсуждался. Но обсуждение шло, несомненно, в чисто политическом плане: отвечает ли интеграция арабов в данный момент интересам Советского Союза. Пришли, очевидно, к выводу, что не отвечает. А затем поручили ка-

ким-то работникам аппарата сформулировать этот вывод в “чрезвычайно схоластических терминах”, подобрать необходимые цитаты и т.д. В Чехословакии советские руководители стремились избежать заразного примера — опять-таки с политической точки зрения. А колхозная система была создана Сталиным для решения весьма практической задачи: централизованного управления и выжимания соков из крестьянства. И система эта в своем социальном аспекте не новая: это то, что советские марксисты называют “азиатским способом производства”.

Марксизм-ленинизм преподается во всех без исключения институтах, и отношение студентов к этой премудрости весьма показательное. Все знают, что не следует пытаться *понять* ее, а надо только произносить те слова, которые велено произносить. Иногда случается, что какой-нибудь добросовестный новичок пытается отнестись к этой науке всерьез как к науке. Он обнаруживает в ней внутренние противоречия и противоречия с действительностью и начинает задавать преподавателям вопросы, на которые те отвечают путано и невразумительно, а иногда и вовсе не отвечают. Для однокурсников это служит развлечением на фоне скучных занятий по “общественным наукам”. Однако развлечение обычно скоро кончается, так как “любопытный слоненок” обнаруживает, что его любознательность отнюдь не способствует получению хороших отметок. Напротив, за ним устанавливается репутация *идейно незрелого*, что может иметь весьма неприятные последствия. А чаще всего находится доброжелатель, который — жертвуя развлечением — объясняет товарищу, как надо относиться к марксистской теории...

Теория и действительность

А как, собственно говоря, можно относиться к теории, если она находится в явном противоречии с действительностью?

Согласно теории, в промышленно развитых странах давно уже должна была произойти пролетарская революция, однако ничего такого не случилось и — как всем уже ясно — в обозримое время не предвидится.

Согласно теории, в капиталистическом обществе происходит непрерывное обнищание — относительное и абсолютное — рабочего класса. В действительности же уровень жизни рабочих непрерывно растет, и он гораздо выше, чем в так называемых “социалистических” странах.

Согласно известному высказыванию Ленина, производительность труда — это, в конечном счете, тот фактор, который определяет прогрессивность общественно-политического строя и обуславливает его победу. В действительности же производительность труда у нас намного ниже, чем в передовых капиталистических странах. По сравнению с США у нас даже в промышленности производительность труда ниже по крайней мере в два-три раза, а в сельском хозяйстве — не менее чем в десять раз.

Согласно теории, немцы, стонущие под игом капитала в Западной Германии, должны рваться в социалистическую Восточную Германию. В действительности же миллионы немцев бежали из Восточной Германии в Западную, и остановить это бегство удалось только с помощью пулеметов и колючей проволоки.

Согласно теории, мы живем в самом свободном и демократическом государстве на земном шаре. А в действительности? И говорить не хочется. Все всё знают...

Много раз мы были свидетелями того, как марксистско-ленинская теория служила оправданием для совершенно противоположных выводов. Достаточно вспомнить, как Сталин открыл, что по мере продвижения к социализму классовая борьба не затухает, а обостряется! Ленинская идея прорыва цепи мирового капитализма в слабом звене с целью дальнейшего расширения революции превратилась в ленинскую же идею мирного сосуществования стран с различным общественным строем. А ленинская ставка на новое, сознательное отношение к труду превратилась в ленинский принцип материальной заинтересованности.

Нет, глупы и наивны были бы люди, которые в самом деле искали бы ответы на конкретные вопросы в такой теории. Советский руководитель — это кто угодно, но только не догматик, не доверчивый простака, который “тычет в книжку пальчик”, чтобы найти решение волнующих его проблем.

Однако было бы большой ошибкой думать, что огромные деньги, которые тратятся на внедрение в сознание каждого советского человека марксистско-ленинской теории, тратятся впустую. И усиленная марксистско-ленинская выучка, которой подвергаются работники партийного аппарата, отнюдь не проходит для них бесследно. Вопрос о взаимоотношении теории с действительностью отнюдь не так прост.

Прежде чем служить для предвидения событий в окружающем нас мире, всякая теория дает нам понятийный аппарат, язык для описания действительности. Верны или не верны окажутся предсказания, но язык теории остается. И мы видим действительность через призму этого языка, этих понятий. Здесь я опять могу с полным согласием процитировать уже упоминавшуюся выше статью Роберта Конквиста:

“Марксистско-ленинский язык, используемый правящей партией, это не просто какая-то формула. Это единственный способ, с помощью которого руководители могут представлять себе явления, с которыми они имеют дело. “Каждый язык вырезает свой собственный сегмент действительности. И мы проносим этот язык через всю жизнь...” Это замечание известного лингвиста (Джорджа Штейнера), несомненно, приложимо к использованию в политике, начиная с самого рождения, определенного политического диалекта. Очевидно, советские руководители просто неспособны думать в каких-либо других категориях”.

К сожалению, не только руководители. Этот язык и способ мышления навязываются, начиная с самого рождения, каждому гражданину тоталитарного государства.

В функциях, выполняемых марксистско-ленинской теорией в советском государстве, можно выделить формальную и содержательную стороны. В XX веке государство не может обойтись вовсе без “теории”: надо же что-то говорить и писать, как-то объяснять события гражданам. Единая и единственно разрешенная государственная идеология — необходимый элемент тоталитаризма. Это символ веры. Его принятие без осуждений и сомнений — “причастие буйвола”. В этом аспекте идеология служит в качестве армейской формы — для отличия своих от чужих; содержание теории здесь роли не играет. Именно эта формальная роль теории отражена в замечании Дж. Кеннана, цитированном Р. Конквистом.

Однако формальной функцией роль марксизма-ленинизма не исчерпывается. Эта теория и по своему содержанию чрезвычайно подходит тоталитарному обществу, необходима ему. В частности, я хочу подчеркнуть значение основополагающего принципа исторического материализма: "бытие определяет сознание". Это — краеугольный камень, на котором зиждется тоталитарное сознание, теоретическое оправдание жизненного принципа: все равно ничего не сделаешь, плетью обуха не перешибешь. Позже мы уделим этому вопросу специальное внимание.

Казалось бы, явное противоречие между теорией и действительностью должно было бы дискредитировать теорию в глазах советского человека. Формальную функцию теории это противоречие, конечно, не нарушает. Но содержательную? Как можно совместить осознание противоречия теории и действительности с верой в теорию в целом? Не является ли это само по себе патологией?

В оправдание советского человека мы должны признать, что нет, не является. Ибо за исключением чисто математических теорий, никакие другие не являются *полностью формализованными*. Теории содержат иерархию понятий и принципов, и переход от высших уровней к низшим далеко не всегда осуществляется путем однозначных, строго формальных выводов или вычислений. Напротив, на пути от высших принципов к непосредственно наблюдаемым явлениям приходится делать дополнительные допущения, приближения и т.п. Случаются и ошибки. Когда, например, физик обнаруживает противоречие между результатами своих экспериментов и теоретическими предсказаниями, он не спешит отвергнуть все здание теоретической физики. Сначала он будет проверять, не сделал ли он простой арифметической ошибки в вычислениях. Затем будет исследовать, учтены ли все факторы, влияющие на исход эксперимента. Потом будут поставлены под сомнение модельные упрощения, которыми почти наверняка пользовался физик-теоретик в своих расчетах, результаты экспериментов других ученых, которыми он тоже почти наверняка пользовался и т.д.

Если так обстоит дело даже в физике, то чего же ожидать от наук об обществе? Тот факт, что противоречие с действительностью на нижнем уровне понятийной иерархии не ведет к немедленному разрушению в сознании людей всей иерархии в целом, несколько не удивителен.

Идеологическая иерархия

В советской идеологической системе, которая именуется в целом марксизмом-ленинизмом, можно выделить следующие четыре уровня (описание содержанием уровней дается схематически, в расчете на знающего читателя).

1. *Уровень философии*. Диалектический материализм. Материя первична, сознание вторично. Развитие как борьба противоположностей. Исторический материализм. Общественное бытие определяет общественное сознание.

2. *Экономико-социологический уровень*. Учение о классах в обществе. Классовая борьба. Общественно-экономические формации. Необходимость перехода от капитализма к социализму путем пролетарской революции (поправка последнего времени: революция может быть "мир-

ной"). Диктатура пролетариата.

3. *История КПСС и советского государства.* Необходимость партии нового, ленинского типа. Демократический централизм. Конкретная история (разумеется, отлакированная до блеска и трансформированная с точки зрения интересов текущего момента). Октябрьская революция 1917 г. как социалистическая революция, предсказанная Марксом. Сбылась вековая мечта человечества.

4. *Текущая политика.* Вооруженный единственно научной марксистско-ленинской теорией, героический советский народ совершает славные трудовые подвиги под мудрым руководством Коммунистической партии Советского Союза и ее ленинского (?) Центрального Комитета. Уверенной поступью... и т.д.

Я совершенно убежден, что большая часть советских людей видит фальшь пропаганды четвертого уровня и относится к ней соответственно. Но я точно так же убежден, что уже третий уровень принимается в целом большинством населения. Условно эту психологию можно обозначить как проведение разделительной черты между Лениным и Сталиным или между принципами и их осуществлением. В принципах все, в общем, верно, но вот из-за разных ошибок, "перегибов", плохих людей и т.п. на практике получается не очень хорошо. Это психология массового человека, которого не учат — и даже мешают — проводить самостоятельный анализ связи между принципами и действительностью.

Люди, которым все же удалось выполнить этот анализ, которые всерьез задумывались об истории своей страны и о том, что происходит вокруг, отвергают третий уровень официальной идеологической иерархии. Хотя эти люди и в меньшинстве, они, несомненно, исчисляются многими миллионами. Но из них лишь очень немногие решаются на переоценку принципов второго и первого уровней. В особенно выгодном положении находится принцип "бытие определяет сознание" — святая святых тоталитарного марксизма-ленинизма. Я много раз убеждался, с какой цепкостью этот принцип держится в умах людей, даже весьма образованных и думающих. Он подкупает своей кажущейся реалистичностью, "научностью". Противоположная точка зрения кажется беспочвенным идеализмом, попыткой выдать желаемое за действительное. Кроме того, имеет место своеобразная *экранировка* первого уровня вторым, на котором провозглашаются благородные цели создания справедливого общества, а возмможность достижения этих целей — и даже необходимость их конечного торжества — как бы выводится из того же принципа исторического материализма.

Понятие экранировки вообще очень важно для понимания работы идеологической иерархии. Нижние уровни иерархии экранируют верхние уровни, ибо они отрицают у человека часть "энергии отрицания", если можно так выразиться. Очень трудно отрицать все. Человек, отвергающий под давлением фактов какие-то концепции, принятые его окружением, обычно ощущает потребность доказать окружающим (и себе!), что он делает это именно под давлением фактов, а вовсе не уливается отрицанием ради отрицания. Поэтому ему хочется где-то остановиться; его "энергия отрицания" исчерпывается по мере движения по ступеням лестницы от конкретных фактов ко все более абстрактным понятиям. Задача пропаганды четвертого уровня — отнять как можно больше энергии отрицания. Так получается, что ложь — сколь это ни парадоксально —

не расшатывает “теорию”, а укрепляет ее. Слова четвертого уровня, слова-солдаты, бросаются в бой миллионами. Им никто не верит, они гибнут массами, не дойдя до цели, как будто впустую. Но за горами их трупиков укрываются более важные слова: слова-офицеры и слова-генералы. Именно ради этих последних, самых высокопоставленных слов и строится вся идеологическая иерархия. Внешне незаметно, но непрерывно и постоянно эти слова-генералы и стоящие за ними представления воспитывают тоталитарного человека.

Вернемся к нашему сравнению марксистско-ленинской идеологической иерархии с теоретической физикой. Мы отметили сходство в иерархической структуре и в непрямом и небыстром пути, соединяющем принципы с наблюдаемыми фактами. Различие же состоит в целях, ради которых строится теория. Физика в самом деле создается ради того чтобы предсказывать факты. Поэтому накопление противоречий между теорией и фактами в конце концов обязательно приводит к перестройке теории на всех уровнях — включая самые высшие. Идеологическая система тоталитарного государства строится ради самой себя, ради консервации своих основных принципов. Поэтому расхождение с действительностью и не может ее изменить. Таким образом мы видим здесь сочетание наихудших свойств теорий вообще. С одной стороны, эта теория не обладает предсказательной силой, с другой стороны, она навязывает мертвый, не способный к развитию понятийный аппарат. Марксистско-ленинская теория — это кукла, манекен, занимающий то пространство, где должен быть живой человек. Это опилки, которыми забиваются головы людей, чтобы не осталось места для живой мысли.

Идеологическая картина советского общества будет неполной, если мы не упомянем о людях, которые отвергают марксистско-ленинскую идеологию целиком, а именно: по принципу сверху вниз, а не снизу вверх. Я имею в виду людей религиозных. Они образуют, так сказать, идеологические меньшинства — впрочем, довольно многочисленные. По официальным данным на 1974 г. в стране насчитывается в общей сложности 32 миллиона верующих. Все они в той или иной форме притесняются. Особенно жестоко преследуют сектантов, которые препятствуют проникновению в свою среду информаторов и других угодных государственным органам лиц. Борьба верующих за свои права вызывает сочувствие и поддержку всех тех, кто выступает в защиту основных прав личности. Мужество и упорство в убеждениях, которое проявляют многие из них, является примером для основной массы населения. Наличие отстаивающих свои права идеологических, как и национальных, меньшинств — серьезное социальное явление. Но в плане мировоззрения их влияние незначительно, и я не вижу — вопреки высказываемой иногда точке зрения — чтобы их влияние возрастало. Людям свойственно судить о других по себе, и при всех недостатках этого метода от него никуда не денешься. Разделяя многие идеи христианства, признавая их значение для современной цивилизации и испытывая глубокое восхищение перед личностью Христа, я в то же время не могу понять, как это можно в наше время принять христианство *целиком* как веру и систему мышления. Два отвергнув одну догматическую и устаревшую систему, принять другую, пусть более заслуженную, но еще более догматичную и устаревшую? Мне кажется, для этого надо совершить над собой какое-то насилие, быть может, замаскированное и безотчетное. То же относится, конечно, и к

другим традиционным религиозным системам.

Нет, единственная альтернатива фальшивой государственной идеологии — это ее анализ с позиций критического научного мировоззрения и создание положительных идеалов с тех же позиций. Первая часть этой задачи сравнительно проста, вторая — невероятно трудна; само выражение "положительные идеалы" представляется нам каким-то устаревшим, ненаучным. Зато даже скромные результаты на этом пути имеют большой вес.

1977

КОМУ ЭТО НУЖНО?*

Среди писем, пришедших в редакцию "Литературной газеты" после публикации моих воспоминаний о Викторе Платоновиче Некрасове ("ЛГ", 18 октября 1989 г.), было одно не совсем обычное. Незнакомый читатель-москвич прислал нам статью Виктора Некрасова, написанную незадолго перед тем, как он покинул родную страну. Человек, приславший статью в "ЛГ", сообщает, что записал ее на пленку во время передачи одной из зарубежных радиостанций в 1974 году. "Это память, — замечает он, — о бесконечно уважаемом мною писателе и человеке, которую я храню по сей день, хотя лично его не знал".

Как всегда у Некрасова, статья написана искренне, честно, правдиво, но на этот раз еще и с какой-то особенно горестной, нескрываемой душевной болью. В этом читатели убедятся после первых же строк, пусть только не забывают, что написано это не теперь и не "там", а у нас и тогда — в самый разгар застоя. Статья — как прощание. Она многое объясняет...

Григорий Кипнис-Григорьев

Несколько дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы. А до этого проводил большого своего друга — поэта Коржавина. А до него Андрея Синявского. Уехали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин. И многие другие — писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили — слово-то какое нашли! — у Даля его, например, нет, — словно барин работника со двора прогнал.

Уехали, уезжают, уедут... Поневоле задумываешься. Почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, люди, которым непросто было принять такое решение, люди, которые любят свою родину и ох как будут тосковать по ней? Почему это происходит?

Задумываешься... И невольно, подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе... И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю свою жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее — и не на самом легком участке, — имевшего три дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много. Тысячи, десятки тысяч. И я один из них...

* Напечатано в *Литературной газете*, 24 января 1989 г.

Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи?

Постараюсь по мере возможности быть кратким.

Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем. Причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга "В окопах Сталинграда", которую вначале немало и поругивали, после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельство этому — 120 изданий на более чем 30 языках мира.

Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки "По обе стороны океана" и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трущобы и очереди безработных за похлебкой. Само собой разумеется, печатать меня перестали.

Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить, и злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 1969 году опять не закрылся — я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру.

Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором, и, наконец, почти без передыха, в 1972 году родилось третье партийное дело. На этот раз без всякого уже повода — за старые, как говорится, грехи — опять подписанное письмо, опять Бабий Яр... Тут уже из партии исключили. Как сказано было в решении: "...за то, что позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающее с линией партии".

Так отпраздновал я — чуть ли не день в день — тридцатилетие своего пребывания в партии, в которую вступал в Сталинграде, на Мамаевом кургане, в разгар боев.

С тех пор я как писатель, то есть как человек, не только пишущий, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале "Новый мир", запрещено издание двухтомника моих произведений в издательстве "Художественная литература", изъяты из всех сборников критические статьи, посвященные моему творчеству, выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне, прекращено производство кинофильма по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получай я 120 рублей пенсии, пришлось бы задумываться не только о творческих своих делах.

За десять лет три персональных дела — это значит по три-четыре, а то и шесть месяцев разговоров с партследователями, объяснений в парткомиссиях, выслушивания всяческих обвинений против тебя (а в последнем случае просто клевета и грязь) ... Не слишком ли это много?

Оказывается, не только не много, но даже мало.

17 января сего 1974 года девять человек, предъявив соответствующую

щий на это ордер со всеми подписями, в течение 42 часов (с перерывом, правда, на ночь) произвели в моей квартире обыск. Нужно отдать должное, времена меняются — они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне "извините" и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали "разрешите?" и снимали со стен картины. Без зуботычин и без матерных слов они обыскивали всех проходящих. А женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная сотрудница КГБ (какая деликатность, ведь могли бы и сами!) раздевала их донага и заставляла их приседать, и заглядывала в уши, и ощупывала прически. И все это делалось обстоятельно и серьезно, как будто это не квартира писателя, а шпионская явка.

К концу вторых суток они все поставили на место, но увезли с собой семь мешков рукописей, книг, журналов, газет, писем, фотографий, пишущую машинку, магнитофон с кассетами, два фотоаппарата и даже три ножа — два охотничьих и один мамин, хирургический. Правда, два из семи мешков были заполнены журналами "Пари-матч", "Лайф" и "Обсервер" и часть вещей уже возвратили (в том числе и ножи, поняв, очевидно, что я никого резать не собирался), но основное: мои черновые, даже не перепечатанные на машинке рукописи до сих пор еще изучаются.

В ордере на обыск сказано, что он производится у меня как у свидетеля по делу № 62. Что это за дело, мне до сих пор неизвестно, кто по этому делу обвиняется — тоже тайна. Но по этому же делу у пятерых моих друзей в тот же день были произведены обыски, а трое были подвергнуты допросу. На одного из них, коммуниста-писателя, заведено персональное партийное дело. Всех их в основном расспрашивали обо мне. Что же касается меня самого, то я после обыска шесть дней подряд вызывался на допрос в КГБ к следователю по особо важным делам.

Как сказано было в том же ордере, цель обыска — "обнаружение литературы антисоветского и клеветнического содержания". На основании этого у меня были изъяты, кроме моих рукописей, книги Зайцева, Шмелева, Цветаевой, Бердяева, "Один день Ивана Денисовича" на итальянском языке (на русском не взяли), однотомник Пушкина на языке иврит (вернули), "Житие преподобного Серафима Саровского" (вернули), "Скотный двор" Оруэлла оставили себе, немецкие и украинские газеты периода Сталинградской битвы, ну, и упомянутые "Пари-матчи", которые вернули, но не все, какие-то, в частности номер, посвященный Хрущеву (октябрь 1964 г.), оказались предосудительными.

Кто может дать точное определение понятию "антисоветский"?

В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин — сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей.

Ну, а речь, допустим, ныне здравствующего Вячеслава Михайловича Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года — как надо рассматривать: как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей (гитлеризм — это идея!) абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью — ее изъяли бы или нет?

А речи Берии? Его биографию с громадным портретом в Большой Советской Энциклопедии подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине — это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит на это?

Итак, затрудняясь дать точное определение понятию "антисоветский", я понимаю, что фашистская газета остается фашистской газетой, но архив писателя — это все же архив писателя. Он для работы, он и просто собрание интересующих писателя по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой или Александр Фадеев, по количеству так называемой "клеветнической" литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть, и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросам не подвергают.

Обыск — это высшая степень недоверия государства к своему гражданину. Допрос — это обидная и оскорбительная (при всей внешней вежливости) форма выпытывания у тебя, зачем и для чего ты хранишь ту или иную книгу, то или иное письмо. И вот я задаю себе вопрос: с какой целью это делается? Запугать, утратить, унижить? Впрочем, куда унижительнее рыться в чужих письмах, чем смотреть, как в них рожутся люди, получающие за это зарплату, и немалую, и считающие, что, увозя из библиотеки писателя стихи Марины Цветаевой, принесли государству пользу. Кому все это выгодно? Кому это нужно? Неужели государству? А может, думают, что, попугав, пригрозив, принудят на какие-то шаги?

Во многих инстанциях — а сколько у меня их было, и высоких, и пониже, и всеслышных, и послабее! — мне говорили (кто строго, кто с улыбкой), что давно пора сказать народу, по какую сторону баррикад я нахожусь. Как сказать? И подсказывали. Кто попрямее, кто более окольными путями, что вот, дескать, есть газеты, а в газету люди — и какие люди — пишут письма. А вы что же?

И вот тут мне остается только удивляться. Неужели кто-либо мог серьезно подумать, что порядочный человек может позволить себе включиться в этот позорный поток брани, который вылился на голову двух достойнейших людей нашей страны — Сахарова и Солженицына? Неужели такой ценой зарабатывается право работать и печататься? А ведь вам, уважаемый товарищ, говорили мне во всех инстанциях, с улыбкой или без улыбки, надо писать и писать. Читатель ждет не дожидается, все в ваших руках...

И я могу ответить. Прямо и не лукавя. Нет, пусть лучше уж читатель обойдется без моих книг, он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет. Но не пасквилай, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, "...случалось, врал для смеха, никогда не лгал для лжи".

Но тут же сразу возникает другой вопрос. И куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти и неостывшие листы того, что ты пишешь, забрать и унести?

У меня унесли недописанную еще работу — небольшую, но очень важную для меня — о Бабьем Яре, о трагедии сорок первого года, о том, как сровняли после войны с берегами овраг глубиной сорок метров, замыли его и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет; о том, как приходят туда люди с

венками, цветами каждый год 29 сентября и какие события там происходят.

И вот рукопись унесли и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли. И пленку тоже... Вернут ли? Не знаю... Рукопись я восстановлю. Опять придет, опять заберут. И так что же? До окончания века? А пленку? Сожгут?

Вот я и подошел к концу невеселых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают. И я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя (а может быть, у всех общая?) причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей — это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу. И задумываюсь. Очень крепко задумываюсь...

Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний.

А насчет баррикад... Я на баррикадах никогда не сражался, но в окопах, и очень мелких, неполного профиля, сидел. И довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с орденом, рылся в архивах, обыскивал проходящих и учил меня патриотизму на свой лад.

1974 г.

НАКАНУНЕ

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

А. Пушкин. Борис Годунов

Собственные ошибки нас хотя бы чему-то учат, но нельзя допускать, чтобы твои ошибки делали за тебя другие, отбрасывая твои идеи, в которые ты по крайней мере веришь, и заменяя их чужими, в которые ты не веришь.

Дж. Болдуин. Имени его не будет на улицах

“...Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!”

Народ безмолвствует. Так начальным эпизодом Смуты определяется финал — у Пушкина, предвидевшего 14-е декабря и многое из того, что было после.

Мы знали время, когда не безмолвствовали, когда кричали. Все — сцепленные воедино. Все — разъятые на одиночек.

И что ж — еще испробовать: Смуту заново, и заново расчет “за отцов”, кровь по инстинкту и покаяние по команде?

Еще раз: “да здравствует царь Димитрий Иванович!”?

И — безмолвствие в ответ?..

* * *

У самой простой, банальной привычки непростой контекст. Человек поднимает руку — голосует. Обычный наш ритуал. За что — не так важно, много существенней: что будет, когда человек откажется это делать. Не спрячет в кармане кукиш, высунув его затем дома или в другом относительно безопасном месте, а скажет: не хочу. Откажется от ритуала. Спокойно и просто — не хочу.

Что это? Сотрясение основ. Другая жизнь. Даже больше, чем голосование против (в “данном” “конкретном” случае).

Человеку невмоготу — от дискриминации, от стеснений, каких не перечесать, от бессмысленных рогаток на каждом шагу. Человек напрягается, чтобы преодолеть их либо обойти. Но знает: “преодолеть” при наших обстоятельствах — значит отхватить кус привилегий. Раз не-стеснение, не-недостача, то п р и в и л е г и я. Нищая, крохотная, даже нелепая, но сутью — привилегия. Деваться некуда. Необразованному и образованному — некуда. Тут и проблемы вроде нет. Это будни, обиход, всероссийская наша привычка.

Так отказаться от привилегий? Спокойно и просто: не хочу?! Сотрясение основ. Другая жизнь. Но где в нее общий ход? Общего, кажется, и нет. Пока только личный.

А этот не мираж? А только личный в самом деле — другая жизнь? Не вторая, не третья — другая...

“Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами”.

Давненько написано, лет сто пятьдесят назад. Правда, автора объявили сумасшедшим. Тем ближе сегодня и сами слова, и пояснения к ним: “Вы, пожалуй, могли бы думать, что я требую от Вас монашеской замкнутости. Но речь идет лишь о трезвом, осмысленном существовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной суровостью аскетической морали [...] Такое существование прекрасно мирится со всеми законными благами жизни; оно даже их требует, и общение с людьми — необходимое его условие”.

Не спириты мы, и дух Петра Яковлевича Чаадаева тревожить нам не по силам. А то, пожалуй, услышали б очень крепкие выражения на изысканном французском, либо признался бы, Басманный философ: не знаю! Не знаю, как и с какого края вам начинать, знаю только: давно пора вам начать.

Начать — и начаться.

Каждому, не лишённому чувства жизни.

Каждому, кто из всех законных благ за самое законное и самое благое почитает общение с себе подобными. Общение во имя, общение ради... и просто общение; то, что как ходьба у человека: если ноги без особого изъяна, то вроде и нет их, вроде и так ходится.

И также оно, просто общение, всегда при нас, всегда само собою... пока не встала стена; еще без проволоки и сторожевых вышек, но стена. И те самые ноги, что сами ходят, уже непослушные, уже не ведут — к о м у - т о , а уносят — от к о г о - т о .

От кого-то — от себя.

От себя — от всех.

Но ведь не это на очереди у нас... А отчего, собственно, не это? И почему только на очереди? И почему только — у нас?

Еще доступно — уступить ближнего. Еще доступней — поступиться дальним. “Не тот, так другой”. Но сохранится ли человек, здесь и всюду принося в жертву самое б л и з о с т ь ?

Первый шаг к Концу — это.

Первый или, напротив, последний?

“Трагедия не тогда, когда враг умерщвляет врага, а когда брат убивает брата” — так полагали мудрые греки. Но то трагедия — действие, в котором жертвы окупаются не успехом, всегда односторонним, а всеобщностью катарсиса — очищения причастностью (и беззащитностью, и открытостью — особенной своей судьбе и Миру без предела...).

Не от этой ли беззащитности и не от этой ли открытости — от очищения причастностью — началась и пошла История? Поединком с “до-историей” — снаружи себя и в себе: схваткою, сотворившей личность?

“Брат убивает брата” — это уже не д о . На шкале эволюции — почти сегодня. Не станем лукавить, посмотрим правде в глаза. Путь к личности вымощен трупами. К личности путь от рабства: открытия рабства,

отлучения рабства, превозмогания рабства.. и узаконения рабства. (Дальним выплеском, случайным подобием — памятные слова из букваря: “Мы — не рабы. Рабы — не мы”.) Помнит ли личность, не забыла ли — откуда? И какова цена?.. Но разве благороднейшая ответственность — всех за всех и каждого за любого — не нуждается в приношениях людьми? Кровью плачено за равные права, но даже самой большой крови — XX века — недостало, чтоб утвердить, чтобы сделать всеобщей нормой равенство в ответственности: коренную свободу — знать, понимать, решать.

Чем сильнее замах, тем неумолимее поражение: ищущих свободы, жаждущих ответственности. Чем крупней рывок, тем страшнее и необратимей последствие.

И расплата — оборотнями. И наказанием — фарс.

Он не смешон (впрочем, на чей вкус), он даже не непременно кровавой трагедии, хотя чаще всего именно так. Но прежде всего он бездарнее. Исключая катарсис, делает доступными мелкость измен и распродажу подвига, замещает ужас страхом, а страх трусостью, себялюбием пародирует честолюбие, самодовольством же — веру в неуклонно-победный и справедливый конец (веру и иллюзию...).

Тенью трагедии истории — исторический фарс. Вопреки естеству: чем выше трагедия, тем тень длиннее. И есть ли какая выше и есть ли какая длиннее — русской, российской?!

...После обвала 14-го декабря — фарс выдачи, фарс забвения, фарс судилища. 63 голоса из 68: четвертовать главных злодеев (виселица — милость царя!). И только один: “...Полагаю, лиша чинов и дворянского сословия и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу”. Как будто вовсе не доблесть, а обессмертил адмирала Мордвинова, породнив с повешенными. Но рукодельница-история (та, что пишется), подменяя черновики чистовиками, сближает и выравнивает не одних лишь неподкупных, верных себе, она не брезгует и подчистками, проявляя притом неизменную заботливость о государственных репутациях. Вот и числится Михайле Михайловичу Сперанскому, выходящу из “низов”, реформатором и законником, а то, что режиссировал николаевский фарс и был из первых энтузиастов четвертования, это в петит, это завитушкой в биографии, да и разве бы сохраниться иначе на державной высоте лицу, которое (ему ж на пагубу!) мятежники прочили во временные правители нерабской России?!

Стоящее ли вообще дело — разглядывать, сколько таких, именитых и незначительных, в той долгой тени? Скользкое занятие душу бередит, а толк — где он, в чем он?

Поторопились вот прогрессисты 1862-го отринуть от себя “поджигателей” из нетерпеливых, так понять их должно: ведь эра реформ только в зачине была, к тому же как не взять было им — и в расчет, и в испуг — глас народный (Иван Сергеевич Тургенев, тот лично слышал из мужицких уст: “профессора жгут...”). Кара, правда, не заставила себя ждать, но кара-то особенная, особенным фарсом — к Каткову в ноги, кара патриотизмом, каковой без публично выказанной ненависти к изменникам-полякам за подлинный и достаточный и сойти не смог бы.

Но зачем же листать календарь, отступая столь далеко назад? Ближе, еще ближе! Горячей, горячей!!

В самой густой тени — мы, нынешние. Отдельными персонами и ско-

пом. Участвовавшие и отстраненные. Активные и равнодушные. Те, от кого пошло, и те, кто родился от эпигонов эпигонов.

Мы такими, какими стали и остались. Расплатою за наш замах, за рывок наш. За то, что "не добрали" свободы, а ту, что обрели, выпустили из рук. И за вселенскую ответственность расплата, за ту ответственность, какую взвалили на себя и которую не то чтобы даже не удержали (удержать ли ее — такую, удержат ли — в одиночку?), а обратили против: и против несогласных, и против неукладывающихся, — и если не сами против, то позволили сделать это. Нашими руками — и нашими жизнями...

Позади и впереди трагедия, а по пятам все неотъемлемей, все привычнее — фарс.

В родословной 1937-го — это. Без идейной выдачи, без оговора мыслью удалось бы "...именем народа"? Без январского апофеоза свершиться ли декабрьскому убийству (сорок пять лет назад, день в день!) — действу, вперед рассчитанному на сотни серий, а стало быть, и на миллионы копий?!

...Кто сегодня, пребывая в здравом уме, сочтет прихотью очередность дат: за 37-м — 38-й, за 38-м — 39-й? Наш, а не только "их", Мюнхен; наш, а не только "его", союз с Гитлером, наперед оплаченный кровью все той же Польши.

Сегодня — здоровый, честный — никто.

А тогда (в 38-м, в 39-м) — одни лишь те, кто жил по лжи?

"Ничто не повторяется".

Не повторяется нами, если не повторяемся мы.

Иначе — возврат. Нежданный, негаданный, непохожий — тот же. Не имеющий точного названия.

Только имя: очередное, случайное. От случайности — зловещее.

И все-таки существуем.

Верно — существуем. Сколько ни теряли, а существуем. И у кого право укорять ближнего, что не за решеткой, что не в зоне? И у кого право требовать — следуй за... а если не в силах прямо, то следуй в обход, "медленным шагом, робким зигзагом", но следуй!

Нет сегодня такого права — укорять и требовать. Ибо когда на острие ножа — в ы б о р, не символический, метафорический, метафизический, а буквальный, буквальный и неотложный, то что непременно, чем свобода выбирать?! А еще и потому нет такого права, что больно узко — на глаз — поле нашего выбора. Первый шаг "в сторону", первый всерьез и без всяких там промежуток и пересадок — и вот ты уже и отщепенец, изгой, чужой дома, навсегда лишний...

Первый наш шаг — не самый ли заколдованный на свете?

И опять-таки: не вновь и вопрос, и страсти. Память, память! Совсем вчера — XIX-й. Сто лет — как миг. Будто с дагерротипа — патлатые, очкастые, прямоглазые, прямодушные: те же. Они — и их б ы т ь и л и н е б ы т ь, где "быть" значит — вон из рабства! на вольный воздух! к себе подобным! ("Все скрытое да будет проклято. В темноте бродят разбойники, а люди истины не боятся". Огарев — Герцену. Год 1845-й.) А "не быть" — оно, рабство, неизбежное, всегда рядом, всегда с тобой, способное (равно!) сожрать с потрохами... и подвигнуть на небывалое.

Тебя-то и подвигнуть — одного лишь ради, чтобы не сам-два, не сам-десять, чтобы вместе с теми, ради кого и собственное "быть"; ради них — в народ! и ради них — из народа, в партионную тесноту, в когорту п е р в о г о ш а г а!

Так, выходит, не столь уж они далеки от нас, те, столетней давности, б ы т ь и н е б ы т ь; и не словесная гримаса: из рабства к рабству, а скорее участь, добровольная судьба, неподвластный рок. И — в оправдание перед будущим: шире круг свободных "на время"; с каждым первым шагом, с каждым порывом и даже с каждым отливом все-таки шире...

А если вовсе не так: не тот выбор, не та "альтернатива". Не рабство позади и впереди, а благодать. И нет нужды — в народ! И нет нужды — из народа, а одно лишь надо — с народом! С тем, что есть. Его (а заодно и себя) от порчи оберегая, от самопотери, от самоуничиженья!

Стан против стана. Не на жизнь спор, а...

Нет, на жизнь!

И тогда все-таки был на жизнь. А сегодня?

Тем паче — сегодня. Тем труднее — сегодня. Выше ценность человеческой жизни, даже там, где ни в грош ее. И много больше самообманных игр и простых обманов. Неясность в главном, в привычном: к у д а ? Говорится: куда? — а думается: з а ч е м ? Выговаривается — куда и зачем, а подразумевается — з а ч е й с ч е т ?

Кто твой напарник, кто твой союзник — и кто твой противник, кто кандидат в побежденные, в подлежащие устранению? Но может, по-другому надо, но, может, иначе спросить: кто твой напарник-разномышленник, кто твой союзник-оппонент?! Даже противника — в свои! Непривычно, неосвоено, вроде и не для нас. А тут та же жизнь донимает, тут на каждом шагу стычки, где пока, правда, не кровь, а чернила; прибавки, убавки, самолюбия, престижики...

Сегодня еще не "брат убивает брата", а завтра?

Спасет ли то, что не только горести общие, но даже зона — и та совместная для разномыслящих?

"...Если враг не сдается, его уничтожают".

Отменено? Преследуется законом? Отлучено навсегда умом и душою? Или — в общем запаснике, дожидаясь своего часа?

Первая линия обороны (себя от себя же!) — неказенная, внеказенная связь: живая цепь, в которой место каждому. Н и к т о н е и с к л ю ч е н н а п е р е д !

Первое звено — взаимность в понимании. И раньше в нем нужда, теперь же без него зарез. Везде, всюду. Везде, где жизнь. Всюду, где жизнь под ударом.

"Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами".

Дух Чаадаева, сегодня — плоть. Тревожимся о воздухе — не загрязнен ли. Боимся за почву — не перестала бы родить и кормить. Знаем, что для воздуха, которым дышим, нет ни закрытых распределителей, ни государственных ловушек. Загаженный в одном месте, отнят у всех на свете. А почва — в прямом и окольном смысле, — она распределена ли на веки вечные, со своими соками и плодами, изобилием и недородами? Или все-таки может, или все-таки сможет стать твоею Земля?

Если не сумеет "она", если мы не сумеем — худо. Если останутся

препоной для близости тот же паспорт и та же неуходящая графа в анкете, прононс либо картавость, оканье или аканье — худо. Тогда и общению не быть свободным, и воздуху чистым. Тогда и почва приговорена к худосочию и бесплодию.

Не мистика это, злота дня. Не-наша и наша. Сдается, самая злая — наша. И нет чувства понятней отчаяния.

Понятней — и оправданней.

Оправданней — и запретнее.

Сегодня отдаться ему — чрезмерная роскошь. Непростительная — даже когда наедине, когда не на вынос и не на продажу.

Все-таки недаром женского рода она, надежда. У нас вдвойне "сударыня": надежда на надежду. Так исстари повелось, и традиция эта прочная; как ее не мяли, не шпыняли изменой, не отлучали словом и делом — вынесла. Пересилила эшафот и нагайки, пережила "тройки" и особляги.

Израсходовалась и — воскресла. Именем собственным — Лариса Богораз, Татьяна Великанова. И не единственные они. Гордись женщинами, Россия!

Гордись и ответствуй — себе, Миру: почему разрешаешь гнать их и травить, отчего заточаешь в Лефортово?

Немало дурного предрекали 1979-му. Что там гороскопы, по Чижевскому вполне обоснованный был прогноз. Оправдал год — и с повышением.

Еще не сосчитаны убытки и жертвы. Даже там, где статистика на уровне, не ясен баланс. Счет родившихся и счет умерших, вроде проще других, хотя и он тревожит — несоответствиями, переломами. Но войдут ли в баланс живые трупы и нынешняя их всесветная поросль: террористы-самоубийцы, суперрадикалы, замахнувшиеся на Жизнь?

И для нас — особый год. Много открылось им, а сколько закрылось. Сверх "обычного" провалов и нехваток, а поверх них — тревоги: осмысленные и недоступные разумению (отчего сразу дефицит во всем? Почему сразу всем не по себе? С какого рубежа супостата ждать?) .

Превыше ж всех тревог — бессилие. От неудач, которые стучатся почти в каждый дом. И от ускользающих причин. Кажется, не пересчитать их, даже заложив все до одной в ЭВМ (каких также недостача) .

Тогда разумней, может, "забыть" все беды, все напасти, и искать, и найти ту изначальную одну, что обрекла, стреножила, загнала нас в угол?! Не это ли: деградирующая деревня, великорусская или иная; собственным ходом и несобственным ходом неспособное выкарабкаться сельское хозяйство? Вроде бы здесь. Поистине — кандалы на ногах. Но кандалы эти откуда, кем склепаны? Наследство ли незабываемых 1930-х либо уже от других "великих десятилетий" с их нелепой, разорительной смесью импровизации и рутин? Недоложили вовремя в машины, в удобрения, в озеленение, либо в человека недоложили, человека обделили? И вот он был, человек земли, и сплыл. Исчез, сбежал, вымер.

Теперь исторический вроде сюжет, ан нет, держит за горло, предвещая сокрытую тайну...

Выбор — тайна. Порушить ли до конца то, что само рушится, — и к спасительной ферме (ей, издавела манящей, — миллиарды!). Или еще разок, еще могучим, еще народным рывком — из пепла в фе-

никс прародину общую: д е р е в н ю , кормилицу, нравственницу, языкотворицу?!

Ответа нет. Да и откуда взяться ему, пока кляп во рту (и нет поприща для испытания), а если даже и полукляп — сверху спущенная квота на "обсуждение", — то по нынешним обстоятельствам не больше это, чем замазка, какую можно бы на время трещину прикрыть, но не пропасть... А тут и другая либо та же пропасть, только иначе именуемая: кто обзовет пьянью, кто заклеимит разгильдяйством, а кто, опершись об "политэкономии социализма", с жалобой, что был-де тоже и сплыл-де тоже стимул к труду (источник всякого блага и добра!) и пока не возвратим, пока не возродим его, то ни с места — нигде и ни в чем. Ни в городе, ни в деревне, ни в столичной академии, ни в захолустном продмаге!

И снова неясность: к труду ли, всегда определенному, этот искомый стимул, или к жизни, которая всегда открытый вопрос?

Впрочем, это только так выговаривается "всегда". На самом же деле — изредка. На перепутье. В безвременье. Тогда, когда смерть всякую допустимую норму нарушила, сделав жизнь недостижимой — желанной. И еще когда цель под сомнением, и не только та, которой служили, а всякая, любая, поскольку требует, вымогает: с л у ж и т ь. И еще когда задачи не даются, обыкновенные задачи (решил одну, взялся за другую...); не даются, поскольку потерян порядок — какую вперед, а с какой можно и повременить; все задачи вопиют — решайте ж! — и оттого соблазн не решать ни одной. Да что там соблазн, соблазн этот не сам по себе, не от себя (уютом отсрочек, развратом деятельной показухи), нет, тут глубокая глубина, здесь под засолоневшей коркой высохший источник...

Но чего источник?

Один скажет: все-таки цели. Высох этот источник, и оттого кругом пуста, пустырь — величиной в "одну шестую".

Другой же: от цели до зоны, хоть и не один шаг, но одна дорога, и вместо камней — кости, тех именно кости, кто умел трудиться и любил трудиться, и без специальных стимулов, призывов, клятв, вахт, а просто — от дедов, от Бога, от почвы.

Один скажет: без цели — гнет обыденщины, обезлюживанье покорством и в конце речь из одних междометий, ибо ни к чему тогда ни Понятие, ни Образ.

Другой: да разве не от нее, не от этой ли самой цели, и вдохновенные соблазнители, и профессионалы обмана (из первых же, вслед первым же), не от нее ли обезлюживанье пустословием — газетным заголовком, заполнившим оба "полушария": и то, откуда Понятие, и то, что колыбель Образы?!

Кто же прав?

А может, ни тот и ни другой. Может, вообще нет сегодня правых. И оттого нет, что и первый, и второй — во вчерашнем дне, которому никак не удается стать вчерашним?

Помним даты, помним предание и обычай, помним анафему и акафист. Забыли же прошлое — сомнение; оставили "там" вопросы, от которых зачалась цель (и отрицание цели от них же!), те самые вопросы, что роятся в Образе и ждут от Понятия не столько разгадку (разгадку-теорию, разгадку-программу, разгадку-задание), сколько догадку: о желанном и недоступном, как смысл...

Нет, не тот отныне счет — кто древнее на Земле, а кто старше.
Тяжко признать: мы.
Тяжко, а надо!

А вот клиника (наша) и диагноз (нам): паралич власти, захватившей право решения.

Но тот ли? То есть дошел ли клиницист до корня?

В старину считалось: когда тяжело болен, зови врача-пессимиста. Если от него услышишь, что есть хотя бы маленький шанс, тщедушный шансик, то держись!

Что же написал в истории нашей болезни сей мрачный надежный эскулап? Его диагноз: "склероз ответственности — общий удел и стыд".

Этим-то и повязаны, этим скованы подряд все. Цепями? Или все-таки бечевками, полузаметными и вовсе невидимыми, вроде тех, какими лиллипуты обессилили Гулливера?! Богатый ассортимент их у нас. Сокрушение идолов, к примеру. Идолов — героев без страха и сомнения. Идолов — избавителей, заступников, поводырей. Только освободились, только вздохнули полугрудью, а тоска заново. Пустое место болит. Где они — заступники, избавители, поводыри?..

Еще одно место, столь же пустое и так же болит, — политика. Ну что она нам, лишенным возможности не то что бы решать, но и просто узнать: кто решает, и почему в том или ином случае так именно сподобился решить, и что после того решения останется в балансе нашем (и уже не только для нынешних детей, но и для их детей)? Да разве не лучше, да разве не плюсом обыкновенная аполитичность — в сравнении с огосударствленным и ококазанным лицемерием и ханжеством?! Вроде бы плюс. Да почему вроде? Плюс. Шаг вперед, неизбежный перегон. Пройдем его, а там и завиднеется, там, смотришь, и просвет.

Не светлеет. Выходит, не плюс эта наша аполитичность. И не перегон даже, а волчья яма, и мы ее сами роем, а вместо заступа — лучшие намеренья. Лучшие в ч е р а. И даже не так важно, в какую графу их занести: заблуждения, прозрения. Даже те, что будили и воскрешали, даже они — заступ, если всего лишь вторят, если даже благородно вторят себе же.

Сегодня самый мелкий подтекст плох уже тем, что не текст, что не выговорен полными словами, что приучает к недоговоренности и развращает н е д о г о в а р и в а н и е м. Сегодня самая златоустая проповедь — мимо ушей, если не добирает до разных будней всех. Сегодня самый изысканный монолог, инкрустированный мудростью всех времен и народов, неистинен уже потому одному, что — монолог; диалогу же, даже неуклюжему, даже корявому, со срывами в немоту, в заиканье вопросам, какие еще не доросли изнутри до Вопроса, даже этому пригодишь-ке, диалогу-новобранцу — самое время, поскольку тогда и нужен он, когда нет ни готовых ответов, ни неготовых, когда все — и люди, и идеи, и направления, и секты, — все кругом в ч е р а ш н и е и неоткуда взяться завтрашним, как из вчерашних, как из спора вчерашних со вчерашними, как из согласия разных оставаться разными: р а з н ы м и в м е с т е.

Нравственность — здесь, тут. Осмелюсь настаивать: в другом месте ее нет, нет вообще. Кто вправе призвать к ответу глухих и немых? Лишь тот, кто поборол немоту и глухоту в себе. Тот, кто заговорил вслух, и тот, кто научился слушать других, слышать других.

Тот, кто решился защищать говорящих, отстаивать слушающих и даже не слышащих, не слышащих сегодня.

И что же — без взаимности этой, вне этого свободного общения (неказенного, открытого, без коего не быть и "казенному" открытому), без этого диалога всяя Руси — и ей, Руси, не быть, не быть России — СССР?

Знаю, что будет. Тут выбора нет. И не потому только, что история в сделке с ракетами, но и по множеству иных причин, среди которых и родные могилы, и власть родного слова. И, не впадая в риторику, — долг. Перед теми, кто рядом, и теми, что родятся завтра. Здесь и родятся, где ж им еще. Родятся, не зная, что рождением прикреплены навек... Крепостное право — не странное ли словосочетанье? (Ухо, правда, привыкло, и учебник разъяснил: о феодализме речь.) Сто с гаком, как отменили, пало. Шестьдесят с небольшим, как поднялась крестьянская Россия, чтоб довершить отмену — равенством в обладании землею. Совсем считанные годы, как у деревенского человека на руках паспорт.

Еще бы к этому и вовсе без паспорта. Еще бы к этому — и снова: стать хозяином земли (сообща ли, врозь ли, но х о з я и н о м). Еще бы к этому и право распорядиться жизнью, право, символом и условием которого — открытая дверь в Мир.

(Свободен ли отъезжающий? Лишь тогда свободен, когда дверь открыта для каждого, когда каждый волен вернуться, и "домой" значит всего лишь: туда, где тебя ждут, где ты нужен, где близость и близкие.)

Еще один шаг... И все иначе? Иначе — и к лучшему?! Спадет напряженность, раздоры на убыль — и вместе со слепой враждебностью, вместе со взаимной глухотой убудет и наш несуразный комплекс неполноценности, то наше особое неверие в себя, у какого в неизменных спутниках мiredержавные претензии и замашки?!

Гарантий нет. Прямых гарантий нет, что от этого шага все станет иначе, иначе и к лучшему. Может, и опьянеем от странной свободы: открытой двери в Мир, равно открытой партийным и беспартийным, "простым" и избранным.

Гарантий нет. Но есть уверенность, что закрытая, закрытая для каждого из всех, — много опасней, чреватее худшим... И есть догадка: открытая дверь в Мир — это мы, те же — и другие. Это Россия, СССР, те же — и другие.

Другая жизнь. Право на другую жизнь. И если даже не сразу другая, то сразу и для всех — право на другую жизнь; право, от которого быть (или не быть) остальным правам, без какого узки, неполны и обратимы все остальные. Право, от которого и обязанности не в тягосты, право, от какого больше, чем от всего иного, зависит — быть (или не быть) у нас порядку: ненасильственному и лишь потому — п о р я д к у...

Право на другую жизнь — и без изъятия всем! Согласится ли тот, у кого чемодан в иностранных ярлыках? Согласится ли тот, для кого в России все, кто не русский, на одно лицо: н е р у с с к и е?

Нежданно-негаданно в один узел: судьба и граница, место рожденья и смысл. Куда ни повернешься — об этом. Сближает и разводит в стороны, окрыляет, ожесточает. Может, не навсегда эта сцепка, но развязать ли; разорвать ли ее нам, нынешним? И не то что бы — по силам ли, это

все-таки вторичный вопрос, а первый и главный, первый и роковой: подлежит ли она разрыву?

Спорно, спорно...

Этому бы спору годами раньше. Так стеснялись, таились. Сегодня же этот спор — как острие бритвы: не порезаться бы, не изувечить бы. А куда откладывать? Он ведь и так рвется наружу — от литературных подмостков до подворотни, забегая с заднего крыльца в политику, исподволь наполняя собою быт.

Рвется словом и сквернословием, масонами в бульварных чтивах и в ученых записках, ностальгией иных отъехавших, завистью иных "оставшихся", и еще — гимнами первородству, и еще — счетами по крови (и не заслуг даже, не пресловутых приоритетов, нет, ныне в счет и в пере-счет смерти идут: у кого их больше, у кого и от кого...).

Оно, конечно, нет здесь подлинного предмета. Можно делить достаток, но как — достоинство? И поделишь ли — жизнь?.. С одной стороны, раз Россия, так, без сомнений, от русских она, и если наречено остаться ей — Россией же, то опять-таки за русскими она, правда, уже не за одними русскими, но — не забыть, но — понять: раньше всего (и всех!) за н и м и. С другой же стороны, в явном ущербе сегодня она, русская Россия, и так ли просто узнать — отчего бы это, и так ли легко признать, что гнездится (от веку!) в этом нынешнем ущербе это самое "за ними" — и зовет ищущих узнать и понять, зовет вдаль, за пределы, в самый что ни на есть давний, глубинный, изначальный Мир, — и в нынешний также, в черный, желтый и в белый: в неустроенный, ищущий, страждущий, мертвый и живой Мир... Нам ли попасть т у д а — мыслью, сердцем, в обход внешнего цензора, минуя внутреннего? Попасть ли — разделенным на тех, кому дано и кому не дано, попасть ли ведущим счет по крови, даже если у кого загранпаспорт без срока, а у кого — место в очереди на вечный отбыв?..

И опять-таки вроде и нет здесь предмета. С одной стороны и для одной стороны, которая себя одну за все и считает, эта-то открытая дверь (человеку, слову!) — не вопрос, а просто-напросто крамола. С другой же стороны, тут как будто и спрашивать не о чем; и впрямь: есть же отечества, где все иначе, и нет нужды переходить границу, чтобы думать вслух, и не надобно паспорт менять, чтоб обрести судьбу и смысл.

Да, да, конечно же, есть, и немногого надо, дабы самим в ту же колею. Совсем немногого... "Только" воздух для дыхания и почву под ногами.

"Слушайте, слушайте! В такой-то час, на такой-то волне, от такого-то "Голоса", узнаете о новой "оттепели"!"

Так прямо, вероятно, не выговорят и те, кто про себя именно этого часа и ждет, ради этого слушает и прислушивается. Но и те, что наоборот, что всех иных за с т о р о н у не считают, даже они, и уж, во всяком случае, не каждый из них, решится напрямик: "А попробуйте только замахнуться на эту самую сцепку — судьбы и границы, так собственными руками душить станем". Вроде бы не те времена, когда такое вслух. Где ты, приснопамятный Ермилов, что, подписывая корректуру славной своими традициями "Литературки", приговаривал на рубеже 40–50-х: маразм крепчает...

И не пожалеешь, что от той откровенности ушли. Но по о т к р о -

венности соскучились. Но откровенности жаждем.

Объясниться бы нам давно уже — в самую пору, а теперь не упустить бы последний шанс... Круглый стол — и без лимита на сюжеты, и без кадровых ограничений в составе!

Не одних только знатных инакомыслящих сюда, но и безымянных. И не одних лишь респектабельных либералов, но и рядовых обеспокоенных — дельных, немногословных. И "работяг", и "образованцев". И полномочных представителей эков, и депутатов от тех, кто надзирает над эками, и от тех, кто надзирает над надзирателями.

Всех сюда! Всех за стол!

Где-то, быть может, и лишний этот стол, для кого-то, вероятно, и чересчур круглый. Нам же без него — никак. И оттого, что палец на кнопке, хотя одного этого достаточно б. Но еще и потому, и прежде всего потому, что нет для нас места в Мире, если не сделаем м и р о м собственный дом: миром в Мире.

Яснее ясного: сегодня не быть тому, что ищем, не зная, как назвать искомое, где найти безымянное ("другая жизнь" — на какую букву и в каком словаре?). Яснее ясного, что сегодня доступнее молчание и Лефортово, а если местами поменяешь — сначала Лефортово и лишь потом молчание, — то сумма-то не изменится...

Но отчего же — сумма и справедливо ли — в один ряд?

То, что не равны они, Лефортово и молчание, о том спору нет. И больше, чем разные. Но меньше, чем несовместимые. Меньше, вот в чем беда.

Противовесом молчанию — безмолвие. Молчащий сегодня, завтра — в хоре дежурных восторгов: "Да здравствует царь Димитрий Иванович!" Безмолвствующие же не приемлют ни проклинания, ни здравицы — по свистку. Безмолвие таит силу отказа... и "бунт бессмысленный и беспощадный".

Сюжет со стажем. В наследство от Пушкина, хотя наследники разные. Кто проклинает, кто в расчет берет. А было, что и смешивались расчет с проклинанием, готовая гибель угрызающимся, сомневающимся, колеблющимся. От финала "Что делать?" до финала "Братьев Карамазовых", от "Вех" до "Скифов" — велик ли шаг?..

Правда, вправе ты сделать поправку на время, все-таки утекло немало. Бунты с бунтовщиками ныне не в моде. Что у держиморд так, у Скалозубов на взлете, то само собою. И что Молчалиным, повсюду в рост идущим (от закоулков власти до голубого огонька — они, они...), — что этим Молчалиным нашим всякие возмутители спокойствия поперек горла, так это само собою, хотя по-молчалински не всегда вид соответствующий и подашь; скорее, напротив, другой вид нужен, с оговорочкой, с присказкою, с соловьиной трелью — и курсивом заботу, заботу и старание: как бы сохранить душу — отечественную и внеотечественную, о идущих и грядущих хиппи (не позабыв также грядущих и идущих гуннов...). Но если б одни Молчалины, если б одна ловкость и расчетец, то стоило ли бы голову ломать: откуда молчание наше, особенное — все в словах и все в несвоих (и "за" несвои, и "против"), и не от этого ли самого — молчание нынешнее и Лефортово нынешнее больше, чем разные, но меньше, чем несовместимые?

Но откуда ж прийти с своим словом, когда кругом не свои?

Оттуда ли — с тех исторических кладбищ, где сплошь памятники, или из еще большего (верстами, жизнями) далека, где ни памятника, ни даже обозначенного места — для захороненных мыслей, для задохнувшихся в утробе слов?

Между ними и нами — распаханная полоса. По вступившему на нее — огонь! С двух сторон — огонь! И платить придется, если не сроком, то по меньшей мере репутацией... Так, может, лучше оставить ее, эту полосу, в почетном забросе, не доискиваясь: в чей адрес (ныне) те прерванные и недородившиеся мысли-слова? В адрес нынешних ли завсегдатаев интеллигентских посиделок, ожидающих манны небесной, либо, напротив, адресованы они безмолвствующим, в ком тщимся вычитать, вычислить: быть или не быть "бунту", еще одному на Руси (и против всех прежних "бунтовщиков")? Либо они в адрес совсем третьих, которые не то чтобы посредине, между первыми и вторыми, а, скорее, внутри: оспариванием и сомнением, оспариванием бездействия, сомнением в действии — тем третьим адресуются они, кому наречено, быть может, небывалое, преодолевающее и бунт и молчание: шаг, шаги — с о с м ы с л о м и с п о щ а д о ю!

Им-то, "третьим", и не открыться (сначала себе), не вступивши на распаханную полосу, не вызвавши огонь — на себя!

Им — нам.

Нам всем, для кого диалог — не мода, не вспомненные правила хорошего тона и даже больше, чем условие перемен. Теперь он сам — перемена.

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему". Так и эпохи, так и поколения: сходные триумфами и разные в поражениях. Но разве не несчастья больше другого родня и близких, и неблизких?

Родство поражениями — особое, особенно тесное, когда между сродненными разрыв во времени. Родство — мистерия: то, что отнято у людей, прибавлено к Человеку... Что трагичнее этой добавки?! Лишь трупоеды смакуют "ограниченность" предков. Дело же нормальных живых — быть не ниже мертвых. Не ниже, чтобы не повторить их, чтобы не повториться ими.

И потому: во имя свободного слова живым — свободному слову, обращенному к мертвым, к р а з н ы м м е р т в ы м, к р а в н ы м м е р т в ы м!

Мимо казенных апокрифов, вопреки антиказенным апокрифам — к своему неповторению: к р а в н о р а з н ы м ж и в ы м!

Иное же — суррогатом надежды, заурядбессмыслицей: молчание вслух и издевка в подушку, проходимые аллюзии и цензорский вопросик на полях, предупредительный шмон и поощрительное снисхождение — все это, хочешь или не хочешь, наш родной чужой дом, а в нем, коренником, сызнова и вновь, в натуре и окольно — Лефортово.

Против тебя — т о е.

Против меня — м о е.

* * *

Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа?

Осия, 13, 14

Мне даже и смерти не страшно, —
Она, как и жизнь, позади.

А. Твардовский

Если попытаться в одном слове собрать все чувства, переживания, мысли уходящего, но еще не ушедшего года, то нет, пожалуй, более точного слова, чем **н а к а н у н е**.

Мы — накануне.

К этому клонится и то, что рядом, и то, что вдали, на деле же близко и все ближе, если еще не тут.

...“Национальный по форме” Хомейни не наш ли, даже если против нас? И куда зачесть Пол Пота, прощтрафившегося первого секретаря, его и эту некогда благополучную, а сейчас самую несчастную на Земле страну? А кому примирить (и на чем?) суверенов нефтяной скважины с социумами бензоколонки?

Не до зубоскальства. Чужие беды подступили к горлу: заложниками-дипломатами, заложниками-народами. Тем подступили, что и от нас пошло, и тем, что возвращается к нам: с прочерками, с усугублениями. С иными возможностями — **с х в а т и т ь с я** с бедами. Но и с иной невозможностью — **с п р а в и т ь с я** с ними.

Все на Земле — накануне.

Накануне перемен, касающихся не частных и не разновидностей жизни, а ее самой.

Ее “в целом”.

Что среди самых исконных, самых “допроблемных” проблем не произошло за тридцать пять лет с конца последней из классических мировых катастроф? Кажется, к чему не привыкнешь, с чем не стерпишься ради предотвращения ничейного ядерного (и иного) финала. Но день приходит, и то ли устал человек, то ли к концу подошли ресурсы приспособления к обстоятельствам, им порожденным и его же тиранищим, — так это или не так, но эта особая “добавка” обратила и в раскоjee и в бесплодное все проверенное вроде и словом и временем.

...Разоружиться ли разом — всюду, всем? Освободиться ли разом — от всего, что уносит жизни и обесмысливает Жизнь?

Разом не выйдет. Если что сегодня можно сказать с полной убежденностью, то это. Разом не выйдет, и за каждой попыткой — срыв: кровь, тоска, безумие. И эксплуатация безумия, и бизнес на крови, весьма плюралистический бизнес — и часто на одной и той же крови. И лидеры на час, тянущие в могилу тысячи, миллионы...

Разом не выйдет. **А н е р а з о м?**

И снова — нет ответа: подлинного, убеждающего — нет. Либо ответом то же: кровь, тоска, безумие. И трезвые деспоты, соревнующиеся в пролитии крови с романтиками. И третьи радующиеся, хотя в проигрыше и они.

Любой проигрыш отныне — прямо общий. Кто не понял этого после 1968-го, после 1973-го, после 1979-го, тот безнадежен.

Н а к а н у н е — это сумма бед и угроз, возведенных в степень и поражениями, и отсрочками.

Н а к а н у н е — это зазор между утраченной целью и непомерностью “простых” задач.

Н а к а н у н е — это неспособность богатых миров прийти на выручку бедным, не отказавшись от накопленного веками (лучшего, что создал мозг вместе с руками и за счет рук!); и неспособность бедных миров встать вровень с богатыми, не расплатившись утратой себя: того, что даже не быт, а бытие, способ жить и воспроизводить жизнь.

Н а к а н у н е — это кентавр из отказа людей передоверить “кому-то” решение своей участи и всеобщего неумения распорядиться всеобщим суверенитетом.

Н а к а н у н е — это капитализм, переставший быть “капитализмом”, и социализм, переставший быть “социализмом”, не потому, что сблизилась и того гляди сольются, а оттого, что ни тому, ни другому (ни третьему, ни четвертому...) не стать в одиночку Миром — единственностью человечества; не стать — и не отказаться, не стать — и не поступиться: местом и заявкой, рефлексом и мифом единственности, норовом и нравом ее.

Н а к а н у н е — это схватка между Единством и Различием, неприметное повсюдное сражение их: чему из них быть точкой отсчета и как им ужиться, чтобы выжил человек.

Н а к а н у н е — это ультиматум, который нетерпение предъявило и разуму и силе, апеллируя к крайностям силы и питаясь крайностями разума.

Вот почему не исключены ни бездна, ни избавление. Вот отчего и то и другое вместе, неразличимые, неразделимые. Разделит же их, если это вообще суждено, только действие — ответственное и осмысленное, согласное и нетрадиционное человеческое действие.

Сегодня не о том спор — не повременить ли с усилиями, не отложить ли их на другой раз, не переложить ли на кого из более властных, из более знающих или на тех, кому “нечего терять”?! Нравнодушным есть что выбирать лишь в н у т р и д е й с т в и я.

Выбирать, отвечая и зову, и требованию: решительности, нераздельной с самоограничением; умеренности, которая, исключая самообманы доступных сделок, отвергая любой перст указующий, любой аятоллизм, ищет свой смысл и образ в тех “невеликих”, в тех будто малых делах, какие сегодня — не ниже вчерашних н е м а л ы х и а н т и м а л ы х и требуют нередко и большего мужества, и даже большей смелости от человека.

Не на рубеже ли столетия “невеликих”, “малых”, — неожиданных, ни на что не похожих — все мы на Земле?

И не от нас ли — нынешних, и не от нас ли — здешних, им, “невеликим”, “малым”, пойти в великие, в главные, в сильные?!

Нет, все-таки не красное словцо: братство народов и людей, заново уравненных смертью.

Смертью смерть поправ — уже не только из уст верующего... Кому не грезилось в мае 1945-го, что наконец смирили ее: смерть человека от руки человека?!

Рядом с 45-м, и оспариванием, и продолжением его, — 1953-й,

1956-й. Ворота сталинских лагерей, распахнутые настежь, — такое не забудется. Такое стало во вселенский ряд, где несовпадающее символами, речью, родословной, но соединенное неуловимо новым, что едва ли могло появиться, осуществиться до этой метки, до этих рубежей. Как не мог бы появиться на папском престоле Иоанн XXIII и стать лауреатом мира Мартин Лютер Кинг, как не мог бы осуществиться испанский и иной демонтаж. И советскому зрителю не донесла бы свою надежду в отчаянии великая Мазина, и всемирному читателю не открылось бы булгаковское Евангелие от Пилата, Евангелие XXI века.

Хрупкое начало. Нестойкое в исходном пункте и все более шаткое, чем ближе мы к сегодняшнему дню.

Сегодня сомнения разбирают — да было ли то н а ч а л о м?

Сегодня досрочная смерть берет, похоже, реванш. Сегодня она собирает обильную жатву, и не только людьми (и ими, ими!), но еще и близостью людей и народов.

А завтра? Сдастся ли завтра? Сдастся! Но лишь людям, которые делают нормой, бытом — д о в е р и е.

Сегодняна доверие — это и чудо, и особого рода деятельность. Это упражнение на зрелость — для вступающих в жизнь, и испытание на пригодность — для мужей совета. Это залог рачительного хозяйствования. Это свобода риска там, где риск — творчество, и сведение к минимуму риска там, где действует закон и законная власть. Это — выход в политику, который надо либо расширить (ежели он есть), либо соорудить (ежели его нет). Это — уступка по собственной воле, уступка там, где издревле основой договора и компромисса признавалось лишь "временное" равновесие сил: у классов ли, у наций ли, у государств. Это (и итогом и первопосылкой) — н е е д и н о е е д и н с т в о, завтрашний день Мира, какому быть совсем другим, оставаясь тем же — Миром наций, государств, культур...

Все — и рядом? На место искомого тождества — единоосновных, равно отвечающих критериям истины, достатка, справедливости — разные, непохожие, несводимые к одному основанию, к одному набору признаков?! Цивилизации-разномышленники, нации-оппоненты, миры-соперники, даже противники, но н е в р а г и: достижимо ли? Не мираж ли?

Ответом — выбор: либо это, либо ничто.

...“Народы и государства, присоединяйтесь!”

Когда-нибудь отмечено будет: с этого призыва и началось, подкрепленное стойкостью, гордостью первоначавших. Началось и остановилось. На время? Навсегда? Числом ли тут взять — вот уже половина, вот уже три четверти их, вот уже пять шестых, еще, еще... вот и все на Земле “неприсоединившиеся”, все народы, все страны — кроме двух, каким вроде и некого тогда присоединять?! А сами? Огороженные носители единственной истины (номер один и номер два) — не обезумеют ли от этого одиночества, не сочтут ли за благо всех порешить, и разом??

Бред. Оруэлловский бред Невозможности. Но именно — Невозможности.

Бред, таящий явь. Неопробованную, спасительную. И тогда что иное “со-существование” (людей, миров), как не запрет на победу, как не одержимость всех, несводимость всех к о д н о м у ?!

Сказать: без этого не выжить — не вполне точное выражение мысли: без этого нам, людям, не бы т ь.

Не быть отдельному человеку — отдельным и человеком. Не быть унаследованным человеческим общностям — самими собой и в с е о б щ н о с т я м и (всеобщностью — семьей и всеобщностью — общиной, всеобщностью — нацией и всеобщностью — миром в Мире...).

Замечали ли, создавали ли до конца XX в. тайну неумирающей трагедии: зазор, брешь, между "жить" и "быть"?

Жить или не жить — нет, кажется, такого вопроса, такого, на который не то чтобы нет ответа, а самого вопроса нет, или, верней, есть он, когда речь идет об отдельном человеке и даже об отдельном народе в какой-то особый, из ряда вон выходящий момент их жизни, но момент уходит, и вопрос исчезает, и задним числом уже не вопрос он, а память — о страшном и о победе над страхом.

А "быть или не быть?" Разве и тут не самоочевиден ответ? Либо здесь-то как раз и ждешь, и не ответа, а вопроса? Либо уже позади и он, и то время, когда искали его, продирались к нему сквозь чащу ответов, сокрушая направо и налево "ответчиков", и, напротив, пришло время — от него убежать сломя голову, от этого — ненормального с рождения, с первых гамлетовских слов?

...Нет, герой Шекспира все-таки безумен не изначально. Безумие приходит: достоверное, разрывая оболочку мнимого. Безумие — не от страсти (сходят ли с ума от разделенной любви?). И даже не от пресловутого сыновнего комплекса. И даже не от мрачных подозрений, питаемых воздухом Эльсинора, полным винных паров и кладбищенского тлена. Он ведь живчик, умница и озорник, немного циник, немного комедиант, этот вечный студент, принц в хронической отлучке, свой среди виттенбергских любовудров, но и не чужой в кругу "людей датской службы". Двуликость эта совсем рядом с двуличием, но у Гамлета спасительное свойство: он и наивен, и серьезен, его скепсис в странном союзе с прекраснодоушием, а высокомерие естественно уживается с той чуткостью к любому человеческому страданию, которая заставляет принимать любое на свой "личный" счет...

И что ж, еще одно душевное движение, еще одна схватка "книжных слов" с предрассудком, еще один поединок сердца с книгой — и перед нами друг человечества, легко и свободно (свободно, а потому легко) перешагивающий границы, поставленные державами власти и разума? Как бы не так. Легкости нет и в помине. И свобода уходит — с каждым порывом, а ноги вязнут, а язык немеет. Позади уже не свобода, позади — жизнь: виттенбергская наравне (отныне наравне!) с эльсинорской. Ужас, врученный Гамлету, имеет десятки наименований — и ни одного общего. В этом своде есть место всем ординарным и всем чрезвычайным человеческим бедам и сверх того особому бедствию, у которого нет еще имени. Назвать ли его идеалом — узаконенным и систематизированным, втесняемым узаконенной и систематизированной "клавдиевой" властью, назвать ли его искушением неосуществимости — идеала же, только противящегося систематизации и не дающегося узаконению, но тоже подстрекающего втеснять его в слепых и глухих, в упирающихся, в отговаривающихся (карманом, рассудком, телом, суетой сует), — как не назовешь, любое из этих имен на вратах ада... Гамлет бежит из "чужого", чтобы угодить в свой, чтобы застрять в своем (своем — для всех?!).

Это — ад одиночества среди человечества, которого не т. Ад внутренней речи вслух. Ад монологов, чья логика непостижима, ибо она — против логики (против разума, выстроенного — от "я" до "а", прежде чем — от "а" до "я"...).

Это — Мир прерванного бытия: "время, вышедшее из своего сустава". А кому принадлежит Время, какой державе, какой кафедре? Кому под силу распорядиться им, сочленив неустанное движение маятника с неполнотой, обрывчатостью каждой жизни, каждого отдельного существования?

Принц Датский не изменник людям, он "только" отступник. Он отступает от клятвы, вырванной у него зовом крови, тем самым "плотным сгустком мяса", с каким он столь красноречиво расставался в своих первых строках, чтобы затем испытать — на себе же — его свирепую хватку. Он отступник Слова, обманного не по употреблению лишь, а по самому веществу изреченности, у которой всегда налицо прописка: отчий дом, датский ли, английский ли, русский ли?.. Так чем же все-таки люб нам этот отступник от людей во имя Человека? Тем, что, увлекая в пропасть всех, виновных и невинных, всех, кто дал себя вовлечь в его сомнение, в его безумие, он не пытается отклонить развязку от самого себя? Тем, что, озаботившись о репутации — в глазах потомков, он не силится занести потомков в свою духовную, оставляя за собой "молчание", "тишину"; на бегу остановившуюся мысль?.. Или это только кажется, что люб он нам, на самом же деле не люб и терпим его лишь на сцене, лишь на час, лишь обставленного подвохами и розыгрышами, правда губящими и его, но зато позволяющими (нам!) не подпускать к себе это "страшилище, что бродит нестреноженным"?!

Уж больно он буквален, Гамлет, буквальностью тревожащий, пожалуй, больше всего иного. Вот он с кровью, с сердцем вырывает из себя любимую, вот он тщится спасти ее от его судьбы — и чем иным, кроме как проклятием, буквальностью разлуки ("В монастырь, в монастырь!"). А где укроешь остальных, а чем спасешь "просто" людей: отлучением от Мира или, точнее, заточением в Мир? Впрочем "Мир — тюрьма" это ведь не он, это друг-предатель Розенкранц подбрасывает ему реплику — колкую и безопасную. (Университетский турнир в разгаре: укол, ответ, еще укол, еще... ну, дражайший принц, острота за вами.) Но Гамлет уже отшутился. Он принимает реплику всерьез и буквально; эта буквальность — только что умиротворенная отчизна: уже не поприще импровизированных дружин и тиранов с воображением, это уже без пяти минут государство — нация... и н а и х у д ш а я из а р е с т а н т с к и х?! "Мы не согласны, принц". Конечно же, они не согласны, Розенкранц с Гильденстерном, лауреаты "датской службы". Они — нет, а мы? Мы, помнящие кое-что из происшедшего после, из осуществленного после — т а м, и из происшедшего после, и несостоявшегося после — т у т. Правда, это различие затем как будто стерлось, чтобы затем возродиться, заостриться, перепутаться концами и началами, — и уже вроде сказания или притчи "их", послегамлетовские, затмения ума и трясения земли, все эти реформации, контрреформации, долгие парламенты и славные революции, анабаптисты, кальвинисты, левеллеры просто и "истинные", моньяры 93-го года, коммунисты 94-го года и термидорианцы того же года... Но если и не миф они, поскольку во всех учебниках, то и не вполне подлинное, а нечто вроде Призрака: ирреальное пугало, жаждущее кро-

ви, но затем, но в конце концов усмирённое, образумлённое, введенное в пределы "естественного права" и гражданского закона, облеченное в представительные учреждения, обретшее твердую и трезвую почву в национальном кредите и национальной машинерии, в национальной ферме и лавке. Отрицанием буквальной крови, превозмоганием буквального безумия — буквальная Европа: бытие, обращенное в быт; Время, ставшее просто временем — мерой будничных усилий, и потребностей, и действий, и возвышенного, и низменного, всего и во всем; Человек, осуществленный просто в человеке, в отдельном датчанине и отдельном французе, и в англичанине и в янки врозь, и если не сразу в немце без всяких партикулярных курфюрстских остатков, то сразу в немце — по идее и вдохновению...

Так может, оглядываясь назад, не такими уж дурными покажутся эти Гильденстерн с Розенкранцем? Может, правы-то оказались они? Соглашающиеся, аукнитесь! И в соглашающихся ныне как будто недостатка нет. И что же — в ответ им: "как аукнется, так и откликнется"? Неубедительно. Что-то иное нужно. Оно, конечно, Кесарю — кесарево, Шекспиру — шекспирово. Не тревожь, не терзай он себя (явью и сном, гамлетовской жизнью, гамлетовской смертью), не впавший в безумие сам, сам не отвергший ложь-правоту и правоту-ложь укорененных Гильденстернов и Розенкранцев, не будь он таким, этот гений из "простых" актеров, б ы т ь ли Человеку в просто человеке, а Времени в просто времени?.. Ах, спросили бы нас, таких, как я, если и не полвека назад, а много ближе, почти вчера, но все-таки уже не вчера, — ответили бы без запинки, перешагнув через вульгарную социологию, но не выплеснув драгоценного истматовского дитяти: ну, конечно же, не удалось бы без него, без таких, как он, "титанов", бунтарей и страдальцев, не удалось бы ни свершиться буржуазной Европе, ни ей же обнаружить (на духу с собой) неполноту, незавершенность, несовершенство добытого — и тем снова прищипорить прогресс, вперед и дальше, без передышку, без остановки, пока остается не захваченной этим неуловимым движением, не включенной в него хоть одна душа, хоть одна плоть на Земле. И что же — докатился, добежал, дошел этот неукротимый поток: от тронувшегося Гамлета, от голого Лира, от черного Отелло до каждой души и каждой плоти?.. И снова (мы, такие, как я) — без запинки: если и не докатился еще, не допер, так допрет; не при нас, так после нас состоится, утвердится, обстроится этот однажды начатый Мир — европеистский лишь зачином, составом же, множественностью речений и "форм" и самой сутью своей — всеобщий; не принадлежащий никому в отдельности, без главных и неглавных, без ведущих и ведомых, без обеспеченных от рождения и без обездоленных от рождения же...

Почти вчера, но все-таки не вчера — без запинки. А вчера — с запинкой. А сегодня — с сомнением, которое одолевает и требует: вслух! вслух! Однако в чем оно, сомнение: в сроках, в одолимости преград? Или дальше: в осуществимости как таковой? Или еще дальше: в том, что желанное-неукротимое оказалось на деле н е у к р о т и м ы м - н е ж е л а н н ы м, опасным для Человека, исконного обитателя Земли?

Всяким вопросам подразумевается ответ: нет его сегодня, так будет завтра... если есть кого спрашивать, если есть жаждущие ответа. С этим же — к кому обратишься? И не вообще, а сегодня, а дома, на том языке, на каком только и умеешь думать и писать. Себя спрашиваешь, да еще

таких, как ты? Тогда к чему — вслух?!

Нет, любезный, ежели на этом языке, то не вполне те слова и далеко не тот отсчет. Уже не от принца в несменяемом черном трико с неизменным черепом все того же Йорика в руках. Нет, здесь у безумцев в дальнем прологе вместо изысканного королевского шута-мудреца — пророк-юродивый в положенных ему рубище и струпьях. "...Нельзя молиться за царя Ирода — богородица не велит". Для разума ли выбор: между тенью Грозного и царем Иродом? А для безумия? Отклоняя упорядоченную опричнину, обратишься ли — в поисках смысла — к Смуте, втянувшей и перелопатившей все и всех, чтобы вернуть их на круги своя? Впрочем, недалеко прицелом — Петр. Впрочем, уже позади удельная, междоусобная Русь, а на пороге Россия, "единая и неделимая". И прогресс, впряженный в абсолютную власть, какой равно исключается и личность, и нация. И затмения ума и трясения земли, но не в преддверии абсолютистского восхождения (к могуществу, к всеевропейской славе), а следствием, а вызовом этому состоявшемуся уже восхождению. Вызовом мыслью, ищущей собственное бытие, какого еще нет, нет нигде. И от того еще буквальней гамлетовский вопрос, и уже не гамлетовский он — много земнее и много безумней...

Быть Россией или не быть Россией?

Полюс: русское человечество.

Полюс: русское отщепенство.

"Пусть даже параллельные линии сойдутся и я это сам увижу; увижу и скажу, что сошлись, а все-таки не приму". Чего же не принимает этот носитель "человеческого евклидовского ума", творящего Мир согласно собственной геометрии? Мира и не принимает. Даже допуская для него блаженный финиш, даже при условии, что исчезнут — тогда — все человеческие напасти. Даже соглашаясь, что сойдутся — тогда — все мировые параллельные линии. Сойдутся ближние и дальние. Сойдет свое и чужое, сойдется зло и добро. Сойдется человек-особь и человек-человечество. "...А все-таки не приму". Ни от Бога, ни от социализма не приму гармонии. С двух концов — к "бунту", отрицанию идеального финала. Одним решающим отводом: загубленное дитя; неначатая, неосуществившаяся жизнь, прерванная, растоптанная раньше, чем она открылась — себе и Миру. Ничто нельзя исправить, если непоравимо это.

И потому — запрет на прощение (всякое, любое). Но выход ли возмездие — не утоляемое ничем, прижизненным и пожизненным? Если нет ему иной меры и иного поприща, чем Мир, то как исключить из этого возмездия и как обойти им самого себя?! Капкан. Капканы. Один вслед другому, каждый в каждом. Капкан беспощадного гуманизма. Капкан безоговорочной веры. Капкан бескомпромиссного сомнения. Буквальнейшие: от невозможности найти (для себя!) достаточно го поступка. Ни во времени, ни в пространстве.

Принц Датский добывает будущее всем — и никому в частности. Будущее — бытие, очищенное от прошлого, от всех прошлых; но они, совокупившись, догоняют и приканчивают его. А что — и кто — по пятам у экстремиста "евпропейской" совести с монголо-татарским "геном" в прозвище (Карамазов!). Тут за спиной не одно сокрушенное Возрождение (всеевропейский Мир — тюрьма), а еще и вся Россия — Мертвый дом. Тут позади не прожитое, которое подлежит пересмотру,

тут в прожитом — смерть; и не встреча с загробным пришельцем — начало, а с самим собою, с собою — вернувшимся из могилы, чтобы заново жить; жить — в том первоначальном смысле, какой забыт, либо утрачен, либо еще не достигнут, еще не добыт... Тут позади Судный день, а впереди Голгофа. Голгофа — возвращение. Встреча — искус: не обмануть бы живущих притворным уподоблением. Встреча — открытие: тут не сам — один, со своей неповторимой судьбой, а в с е, все до одного — еще до колыбели, еще в замысле. Тут Прошлое (и прошлые!) — еще впереди. Их тоже нет, им тоже еще “быть или не быть”, как и предкам: не по нисходящему родству, а по исходу — началу. И еще впереди — Слово, первый звук неистязаемого ребенка. Не отменю поступка, не заменю его, а веригами на нем...

Скажешь ли, и не на юбилейном торжище: Кесарю — кесарево, а Достоевское — Достоевскому? Не скажешь. И не потому только, что действительный, непридуманый, не разделял, смешивал, путал и путался. На расстоянии знаем: путаница путанице рознь. Впрочем, даже если не знаем, то репутация великих выручает; ежели великие и ежели путались, то или промолчим, или возведем в заслугу, или снисходительно простим им их маленькие (и даже большие) слабости. Но нуждаются ли те в нашем притворстве и снисхождении? Сомнительно! А мы? Так ли уж не ко двору нам самообманы Родиона Раскольников и Ивана Карамазова? Самообманы Пестеля и Чаадаева, Бакунина и Герцена, Зайчневского и Чернышевского, Ишутина и Писарева, Сергея Нечаева и Веры Засулич, Александра Михайлова и Льва Тихомирова... Самообманы жизни для других, ради “чужих” (на помощь и в бой — без оглядки, без отсрочки!), и самообманы ухода в себя, и самообманы бегства — от тщеты не о о к о н ч а т е л ь н о г о п о с т у п к а?! Будто совсем разные самообманы, на деле же близкие, на расстоянии в столетие — в одном “безумном” ряду, где связью буквальность главной мысли, буквальность центрального действия. Буквальность человечества — в том она, чтобы стать ему русским: воплотиться в Россию, отменив Россию, какая только и может существовать, пока она Р о с с и я, пространство-империя, “снизу доверху — одни рабы”!

Так отменить ли ее, Россию, чтобы сверху донизу — одни вольные, чтобы снизу доверху — “просто” жизнь, жизнь-деятельность, не требующая указки, как рожать и как сеять, что оспаривать и кого читать!..

Нет, ее — такую — не отменишь. Тогда и не о т м е н и т ь, а преступить? Даль разъясняет: “преступить” — выходить из пределов законов, прав своих, власти. Достоевский раздвигает границы отечественного “глагола” до границ света: в ы х о д и т ь и з п р е д е л о в Ч е л о в е к а... Отрицанием самоубийства — своеволие, достигающее каждого. Отрицание “лишних” — излишние, но сначала самые нужные, самые смелые, самые бескорыстные и... неспособные признать это, по доброй воле и в нужный час уйдя из “самых”. Отрицанием же кесаря — Кесарь: власть, могущая учредить прошлое и ввести будущее, прекратив для того (и во имя этого) настоящее. Не по престолу Кесарь, а по призванию... и по каре, источник которой — он сам.

Русская, российская триада: от преступления к наказанию и от наказания к воскресению, к праведной “новой жизни”.

...Сбылось ли пророчество? Как судить и кого судить?..

Мистика, мистика...

Либо — без клейма, без страха впасть в ересь — “нерациональное”. “Нерациональный” Достоевский. А без малого три столетия до того — “нерациональный” Шекспир. А если еще с добрый десяток (и больше...) столетий к началу — “нерациональная” книга — Библия.

Три знака, три вехи, три круга. Повторением, возвращением к себе, либо и тут — оспаривание, и тут диалог сквозь века?!

От клочка земли, от “апостола необрезанных” — вот откуда оно: человекество. За рамки полиса. За пределы древних (и обновленных эллинским наследством) теократий и деспотий Востока. Человечество — движение, нарушившее границы прежних социумов — и неспособное разом, одним приступом, создать свой. А потому обратившееся к Кесарю... От антимира Рима — к Миру Константина, к Миру пап и императоров, дальше, ближе, совсем дома (“два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть”).

Отрицанием этого — разум: разум-опытник, разум-скептик, и бунтарь, и даже конформист. А отрицанием этого разума (и конформиста и даже бунтаря) — революция. Классическая революция, в свою очередь отрицаемая нацией: нацией-обществом, нацией-государством. Всеми же этими отрицаниями вкупе заново утверждается Мир, притягивающий не только и даже не столько на рядом лежащее, сколько, на дальнее, на части света, на ойкумену; Мир вырвавшихся вперед и тем обрекших остальных (и вызвавших остальных!) на отсталость. Странно как будто включать ее в новизну, а между тем — так. Новое — в ряду всемирно нового. И отрицающее нормальность его — его право на универсум.

Второй и третий круг вместе — в схватке, в споре. Не одна Россия — место действия. Но и она. Натяжка ли сказать сегодня — прежде других она?.. Рождался и оспаривался Мир-человечество. Патологическая беременность, затянувшиеся роды, воды сошли, а ребенка все нет.

...В поисках входа — сближения через разрывы. Через размахи маятника — от Кесаря к Кесарю. Либо “второй Петр” и им открытая дверь в Мир — открытая внутрь и наружу. Либо народ, равносильный Кесарю, мир-община, открывающая себе дверь в Мир, открывающая Миру вход в человечество. (Оттого и народ — в единственном числе, оттого — и сфинкс: справится ли?.. Оттого и “в народ!”, чтобы возвысить его до Кесаря, оттого и Террор, чтобы перевязать заново все связи, очистив самый “верх” для дела связи.) И не из уст скифомана, а от ученика Чаадаева — и чуть не в каждом написанном им эти звуки, этот рефрен: “Народы западные выработали тяжким трудом свои зимние квартиры. Пусть другие покажут свою прыть”.

Но Запад ли, что позади, или Мир с Россией впереди виделся Герцену, когда рисовал он его вертикальный срез: “Вверху страшные сновидения, мертвцы в старых доспехах и старых тиарах и фантастические, несбыточные светлые образы, мучительные страдания, безумные надежды... Внизу бездонная пропасть стихийных страстей доисторического сна, детских грез, циклопической, кротовой работы; на это дно и голос человеческий не доходит, как ветер не доходит до глубины морской; иной раз только слышится там военная труба и барабан, зовущие на кровь, обещающие убийства и дающие разорение”?!

Следующие говорили проще, хотя не были проще ни в надежде, ни в отчаянии. И совсем иного корня Дмитрий Писарев заявил о себе и

сверстниках: "В практическом отношении они так же бессильны, как и Рудины, но они осознали свое бессилие..." А затем появились сильные, превозмогшие и отчаяние, и отщепенство; мнившие, что навсегда. А затем вернулись сызнова — отчаяние с отщепенством; к тому, от какого счет сильным, к нему — на пороге его смерти, чтобы (спустя десятилетия) к нам, к тем нынешним, которым еще предстоит осознать такое бессилие.

...А впереди Прошлое — собственное и всех? И снова к Миру-человечеству? И снова — в поиски Кесаря?

Не выйдет.

Так не выйдет.

Больше не выйдет. Ни у кого. Нигде.

Постскриптум.

Этот текст предназначался для последнего номера самиздатовских "Поисков". Он писался второпях. Торопили не только обстоятельства, но и чувства. И предчувствия, — предчувствия беды, стучащейся в нашу дверь. Я употребляю слово *нашу* и в самом ближнем смысле, и в самом общем.

Ближний: конец "Поисков" и судьба, ожидавшая тех, кто их начал и продолжил. За тюремной решеткой уже был Валерий Абрамкин — душа "свободного московского журнала". Его участь готовились разделить другие. Дело диалога не иссякло. Но оно запнулось — и не только в результате преследований. Так думалось не мне одному. Меня же мысли о этом уводили в глубь отечественных веков и за пределы того Мира, в котором я жил с детства и который уже перестал быть, продолжая существовать.

Тем не менее, перечитывая сейчас этот текст, я мучительно напрягаюсь, чтобы восстановить то ощущение предела, порога, каким он весь проникнут. Почему "79-й"? Так остро поцарапали душу домашние напасти или к этому прибавились, на это помножились сигналы, идущие из разных уголков Мира? Вероятно, и то, и другое. Я никогда не ощущал себя пророческими, однако, оказались слова о "военной трубе и барабане, зовущих на кровь, обещающих убийства и дающих разорение".

27 декабря того года советские войска вторглись в Афганистан.

Этот странный, сбивчивый текст я решаюсь возродить ко второй жизни (если она ему суждена) в память о "Поисках", которые все-таки были не напрасны.

Для удобства чтения, которое и так, знаю, будет нелегким, я текст этот постарался немного сократить.

В ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Когда на Западе появилась и стала распространяться моя повесть "Верный Руслан", вы спохватились, много ли достигли долгим битьем "Трех минут молчания", — или просто рука устала? — вы сочли ошибкою и саму травлю, и статус "неудобного", каким я всегда для вас был, и вы призвали меня "вернуться в советскую литературу". Я вижу теперь, какую цену должен был заплатить за это возвращение. Простодушный г-н Хёльмбаку, желая вас порадовать, пишет, что очень доволен переводом "Руслана" и отзывами норвежской прессы, — и какую ж занозу вгоняет в ваши партийные сердца! Ну, разумеется, политика не по его части, ему все равно, где появляется русская проза — в "Гранях" или в "Дружбе народов"; там, где он видит литературу, там вы — политику и ничего больше, кто же дальтоник? Я мог бы попросить его переписать пригласительное письмо, чтоб никакой "Руслан" не упоминался, — вас бы это устроило? — но для меня бы означало: отказаться от собственной книги; на унижение я не пойду. И так как вам не расстаться с вашей природой, а мне — со своей, то это мое письмо к вам — последнее.

Отдавали вы себе отчет, куда призывали меня "вернуться"? В какой заповедный уголок бережности и внимания? Туда, где по семи лет дожидаться издания книги, после того как ее напечатал первый журнал в стране (дети, родившиеся в тот год, как раз пошли в школу, выучились читать)? Где любой полуграмотный редактор и после одобрения вправе потребовать любых купюр, пускай бы они составляли половину текста (не анекдот — письма ко мне М. Колосова)? И где независимый суд в 90 случаях из ста (а если произведение критиковалось в печати, то в ста случаях) примет сторону государственного издательства и подтвердит в решении, что надо уложиться в "габариты повести"? Литературоведы, не знающие этого термина, обратитесь к судье Могильной — она знает!

Чего не претерпишь ради великого российского читателя, — да если была нужда терпеть, говорить с ним из-под пресса, постылым языком раба Эзопа. Разумеется, каждый предпочтет издаваться на родине, где его тиражи свободно расходятся, а не тащатся в микродозах через самую надежную в мире границу, и все же — нет проблемы неизданных авторов, есть проблема — не решающихся издаться. Десять лет назад, в письме IV съезду, я говорил о наступлении эпохи Самиздата — и вот она кончается, другая идет, куда более продолжительная, эпоха Тамиздата. Да он всегда и был, Тамиздат, ненавистная для вас палуба в океане, на которую усталый пилот мог посадить машину, когда не принимали отечественные

аэродромы. Но ведь советовал вам изгнанник, а вы не слушали: “Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века”, впору уже не о палубе говорить — о целых островах, если не материке. И попробуйте не почитаться с нарастающей жаждой читателя, который, в отличие от вас, текстом интересуется, а не выходными данными, — все меньше у него охоты разбирать семьдесят-восемь копии, он хочет иметь — книгу.

Россия всегда была странною читателя — и такого, что в семи водах испытан, в бесчисленных огнях. Чем ему только мозги не пудрили — и казенной хвалою, и списками сталинских, в Лету канувших лауреатов, и постановлениями об идеологических ошибках, и докладами ваших секретарей, и всевозможными анафемами, и публицистикой “знатных сталеваров”, — и все же не сплошь запудрили; выстояла, выкристаллизовалась лучшая его часть, знающая цену честной, не фальшивой книге. Этот читатель, помимо своей основной обязанности — просто читать, — принял еще оброк, наложенный временем, — сохранять книги от физической смерти, и тем бережней, чем рьяней их изымают. Тридцать лет он хранит Есенина, пока не дождался переиздания, еще хранит — машинописного Гумилева, уже хранит — “Ивана Денисовича” в “Роман-газете”, принял на сохранение — “В окопах Сталинграда” с библиотечным штампом: зачитал ли, украл, выпросил? — но уберег от гильотинного ножа.

Вы предлагали мне “определиться”, сделать выбор, — но, боюсь, он не между Тамиздатом и Тутиздатом, он — между читателем и вами. Между ним, кто хранил и мои “новомировские” комплекты, переплетал — без надежды, что издадут, и на северных флотах — переписывал от руки в тетрадки, — и между вами, кто не выполнил передо мною элементарных обязанностей профессионального союза. Ваше бюро пропаганды не рекомендовало читателям встречаться со мною, ваша правовая комиссия не вступилась за мои права, погранные издательством “Советская Россия”, знакомство с иностранной комиссией вполне исчерпывается эпизодом с приглашением от “Гильдендаля”. А могло ли иначе быть? Могли б вы на йоту отступить от главного своего предназначения?

Как заведомо отвергаются проекты вечного двигателя, так должно отбросить все попытки руководить литературным процессом. Литературой управлять нельзя. Но можно помочь писателю в его труднейшей задаче, а можно и повредить. Могучий наш союз неизменно предпочитал второе, бывши — и оставаясь — полицейским аппаратом, вознесшимся высоко над писателями и из которого раздаются хриплые понукания и угрозы — и если б только они. Не стану зачитывать присталинский список — кому союз, вернейший проводник злой воли власть предержащих, да со своей еще ревностной инициативой, первоначально оформил дела, обрек на мучения и гибель, на угасение в десятилетиях несвободы, — слишком длинно, более 600 имен, — и вы оправдываетесь: это ошибки прежнего руководства. Но при каком руководстве — прежнем, нынешнем, промежуточном — “поздравляли” с премией Пастернака, ссылали — как тунеядца — Бродского, зашвыривали в лагерный барак Синявского и Даниэля, выжигали треклятого Солженицына, рвали из рук Твардовского журнал? И вот, не просохли еще хельсинкские чернила, новые кары — изгоняя моих коллег по Международному ПЕН-клубу. Да что нам какой-то там ПЕН, когда уж мы двух нобелевских лауреатов высветили! — и как не воскликнуть словами третьего: “Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту яму!” Ну, может быть, хватит? Опомнимся?

Ужаснемся? Так ведь для этого, по крайней мере, Фадеевым надо быть. Но, травя, изгоняя все мятущееся, мятежное, “неправильное”, чуждое соцреалистическому стереотипу, все то, что и составляло силу и цвет нашей литературы, вы и в своем союзе уничтожили всякое личностное начало. Есть оно — в человеке ли, в объединении, — и теплится надежда: на поворот к раскаянию, к возрождению. Но после размена фигур положение на доске упростилось до крайности — пешечное окончание, серые начинают и выигрывают. Вот предел необратимости: когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и читаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не читаются. Унылая серость, с хорошо разработанным инструментом словоблудия, затопляющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей введома лишь жажда немедленного насыщения. А эта жажда — неутолима и неукротима.

Оставаясь на этой земле, я в то же время и не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но и за всех, вами исключенных, “оформленных” к уничтожению, к забвению, пусть не уполномочивших меня, но, думаю, не ставших бы возражать, я исключаю вас — из своей жизни. Горстке прекрасных, талантливых людей, чье пребывание в вашем союзе кажется мне случайным и вынужденным, я приношу сегодня извинения за свой уход. Но завтра и они поймут, что колокол звонит по каждому из нас, и каждым этот звон заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища, — пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас — своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием.

Несите бремя серых, делайте, к чему пригодны и призваны — давите, преследуйте, не пущайте. Но — без меня.

Билет № 1471 возвращаю.

Георгий Владимов

Москва, 10 октября 1977 г.

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. ИСТОРИЯ БЕЗОТВЕТНОЙ ЛЮБВИ*

Определяйте слова, сказал один мудрец, и половина споров станет ненужной. Русское слово "интеллигенция" не имеет эквивалента в западноевропейских языках; хотя он в точности воспроизводит латинское (точнее, новолатинское) слово "intelligentia", смысл его существенно иной. Интеллигент в России — совсем не то, что на Западе интеллектуал.

Что же именно? К сожалению — а может быть, к счастью, — совет Декарта в нашем случае невыполним. Полистав словари, убеждаешься, что в определениях, притязающих на научность, исчезло что-то очень важное. Это "что-то", возможно, и составляет душу интеллигенции. Ибо интеллигенция, это странное порождение русской жизни, не может быть описана ни как чисто социальный, ни как чисто культурный, ни как вполне психологический феномен. **Интеллигент — это судьба.** Удовлетворит ли кого-нибудь такая дефиниция? Если бы мы имели возможность опросить русских образованных людей разных эпох, что они думают о себе как об общественной группе, — получили бы мы одинаковый ответ? И все же общим для всех было бы убеждение, что для того, чтобы понять, что значит быть интеллигентом в России, надо им быть — совершенно так же, как понять Россию можно, только если в ней живешь. Итак, согласимся, что в определение интеллигенции входит невозможность дать ей четкое определение, и выразим скромную надежду, что смысл и природа русской интеллигенции, величие и ирония ее судьбы хотя бы отчасти станут яснее для нас, если из темных дебрей нашего опыта мы оглянемся на ее прошлое.

В черновиках оды Пушкина "Памятник" упомянуто имя Радищева. Этого человека можно считать родоначальником русской интеллигенции.

Александр Николаевич Радищев, напечатавший в 1790 г. "Путешествие из Петербурга в Москву" на домашнем печатном станке, поплатившийся за это смертным приговором и помилованный императрицей, которая заменила виселицу ссылкой в Сибирь, был первым русским писателем послепетровской эпохи, чья точка зрения на положение в стране радикально разошлась с точкой зрения правительства. Под фразой, открывающей его книгу: "Я взглянул окрест себя — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала", — могли бы подписаться все поколения интеллигенции; внуками Радищева, сознавали они это или нет, были и дважды умерший на эшафоте Рылеев, и эмигрант Герцен, и Некрасов, и Достоевский.

* © Boris Chasanov. Essays 1972—1984.

Если Радищев был дедушкой интеллигенции, то ее отцом стал Петр Чаадаев. От первого она унаследовала сочувствие угнетенным; второй научил ее философствовать. Чаадаев — загадочная фигура. Значительная часть его рукописного наследия исчезла, а оставшиеся сочинения даже в России известны немногим. Единственный сохранившийся портрет изображает российского европейца 20-х годов, надменного щеголя в высоких воротничках, с бритым молодежью лицом и сверкающим черепом. Блестящий гвардейский офицер, герой войны с Наполеоном, Чаадаев внезапно оставил службу и укатил в чужие края. В Эрлангене он подружился с Шеллингом и вел с ним долгие беседы, в Париже встречался с Ламенне, в Риме стоял в толпе, благоговейно взиравшей на "священного старца в тройной короне". Спустя несколько лет он вернулся в Москву, где вел жизнь одинокого чудака философа, изредка появляясь в салонах и смущая светскую публику желчными парадоксами. Когда в середине тридцатых годов один московский журнал напечатал его "Философическое письмо", первый из цикла опытов об историческом пути России, автор был объявлен сумасшедшим, журнал закрыт, а издатель сослан.

С тех пор почти восемьдесят лет ничто из написанного им не появлялось в подцензурной печати. Перед революцией, когда цензурные ограничения были сняты, сочинения Чаадаева вышли в свет, но в СССР он вновь состоит как бы под негласным запретом. Это легко понять. Советский патриотизм сороковых, пятидесятых или даже восьмидесятых годов мало отличается от патриотизма николаевской выделки, впечатляющую декларацию которого мы лишь теперь можем оценить по достоинству: "Прошлое России величественно, ее настоящее великолепно, что же касается будущего, то оно превосходит все доступное самому дерзкому воображению". Между тем Чаадаев, по крайней мере в первом "Письме", поставил России едва ли не самый безнадежный диагноз. Эта страна выпала из мировой истории. Существование нации, подобно жизни отдельного человека, должно иметь какой-то высший смысл, у народов и государств есть свое назначение, которое реализуется в их истории. Наследница "гнусной" Византии, Россия отлучила себя от великого человеческого единства, каким представлялся философу западноевропейский мир, и обречена на затхлое, бездуховное существование где-то на обочине столбовой дороги, по которой шествуют цивилизованные народы. Ее история бессмысленна. Ее прошлое позорно, настоящее малосимпатично, а будущее более чем сомнительно. В России историю поглотила география. Таков был, по выражению Осипа Манделштама, "строгий перпендикуляр", проведенный Чаадаевым к извечной славянской мечте о золотом веке, будто бы достижимом ценой прекращения истории, и самодовольной уверенности, что Россия сама в себе — целый мир.

Стоит заметить мимоходом, что такой взгляд на тысячелетнюю Святыю Русь как на страну без собственной культуры и цивилизации был не только нов, но, что существенней, вовсе не обязательно означал, что на этой стране надо поставить крест. В памятной записке Лейбница, поданной на имя Петра Первого, где великий немец, одинокий и уставший от европейских интриг, излагал план развития просвещения и науки в России, указывалось как на особое преимущество на ее нетронутость цивилизацией: здесь можно строить наново, на пустом месте и, следовательно, в самом лучшем и современном исполнении; тогда как Европа, отягощенная грузом прошлого, вынуждена лишь латать и подновлять

старое. Как бы ни относиться к такому заявлению — сколько в нем веры в Россию, в ее будущее! Но явление Чаадаева, этого юноши-старика, само по себе опровергало тезис о доисторической девственности России и отсутствии у нее культурного самосознания: такие мыслители приходят скорее для того, чтобы подвести баланс прошлого, нежели для того, чтобы возвестить о будущем. Более поздние из дошедших до нас "Писем" говорят о том, что Чаадаев нащупывал какие-то пути из тупика: кажется, он считал желательным, чтобы Россия примкнула к католицизму.

Не станем углубляться в чаадаевскую, далеко не расшифрованную метафизику истории; достаточно сказать, что "Философические письма", как и другие сочинения (например, записка для графа Бенкендорфа, написанная в 1932 г. в связи с запрещением журнала "Европеец"), обозначили момент, начиная с которого русская мысль устремилась по двум магистральным руслам. От московского отшельника берут начало западничество и славянофильство — два взаимоисключающих варианта русской идеи, или, лучше сказать, два рецепта спасения страны. В том, что эту страну надо "спасать", что в ней что-то неладно, новорожденная интеллектуальная элита не сомневалась, и это, может быть, составляло ее главную отличительную черту. С той поры две веры то и дело сталкивали друг с другом два стана интеллигенции; до некоторой степени они поляризуют ее и по сей день.

Сейчас очень трудно говорить об этих двух направлениях, отрешившись от наших сегодняшних представлений. Концепцию западничества можно условно назвать "французской", ибо она питалась идеями французских просветителей XVIII века; от них она восприняла идею социального прогресса, понимаемого как постепенное приближение к идеалу народоправства, равенства сословий, свободы и суверенности человеческой личности. В столице Петра, на берегу Невы, стоит памятник царю-преобразователю — всадник в лаврах, с рукой, простертой к горизонту. Там, за стрелкой Васильевского острова — золотой полог зари. "Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?" Разумеется, "там" — на Западе! Просвещение народа, отмена крепостного права, конституция. Пока еще мало кто отваживался договорить до конца, что все это значит: что народоправство несовместимо с самодержавием, равенство сословий означает ликвидацию сословий, а суверенитет личности осуществим в этой стране лишь ценой разрушения всей системы вековых институций и ценностей. Прежде надо было решить главный вопрос.

Точку зрения славянофилов, у которых было много общего с романтиками Иены и Гейдельберга, можно назвать "германской". В этом смысле их источники были свежее. Сама же концепция выглядела нарочито архаической. (Типологическое сходство с немецкой романтической традицией бросается в глаза и у поздних славянофилов. Не зря ненавистник немцев Достоевский стал их любимым писателем.) И здесь за точку отсчета новой русской истории принимается реформа Петра; но она представляется стихийным бедствием, свалившимся на мирную, благодатную, истинно христианскую и в высшей степени своеобразную страну. Реформа расколола русское общество, породив оторванное от национальной почвы культурное меньшинство, она стремилась привить нации чуждые ей формы жизни. Но, слава Богу, народ не поддался этой заразе. К народу, хранителю сказок и песен, носителю самобытной религиознос-

ти, нужно вернуться, ибо западные нормы общественной и государственной жизни непригодны для России: у нее свой путь.

Символом западничества был Петербург, российский русский город, построенный русскими мужиками среди финских болот под руководством итальянских и французских архитекторов. Город туманов, влажных ветров, несущих дыхание Атлантики, с прямыми, летящими проспектами, гранитными набережными и мостами, с классической стройностью и барочным великолепием Зимнего дворца, чугунным ангелом, обнимающим латинский крест на вершине Александрийского столпа, и золотым шпилем Петропавловской крепости, стерегущей морские ворота России от шведов. Символом славянофильских упований, напротив, оставалась старая Москва, древняя столица князей, полувосточная красота которой поразила Наполеона, Москва, сгоревшая и отстроенная заново, чья прихотливая, чувственная, органически национальная женственность как бы противостояла военно-дисциплинарному, мужскому и официальному духу Петербурга; город невысоких домов и кривых, запутанных переулков, в белой кипени яблонь, в крестах бесчисленных монастырей; город, где в неширокой реке, огибающей кремлевский холм, отражаются башни с орлами и за зубчатой стеной грозно блещут купола соборов, похожие на древнерусские шлемы; город, чьи улицы, расходясь лучами, продолжают в почтовые тракты, исчезая в бескрайних просторах России. Сравнение и противопоставление двух столиц, являющих собой как бы два лица национального мифа, на протяжении всего девятнадцатого века были излюбленной темой русской журналистики, зачином и рефреном вечного спора о двух стезях развития России.

В дальнейшем дороги славянофилов и западников разошлись еще круче: одна линия вела к реакционному православно-монархическому почвенничеству, другая — к революционному терроризму "Народной воли". Но не зря автор "Былого и дум" сравнил "наших" и "не наших" с византийским орлом, у которого было две головы, смотревшие в разные стороны, на Запад и на Восток, но сердце билось одно. У поклонников Европы и апологетов русской самобытности было куда больше общего, чем им казалось. Именно тогда, в кружках московских юношей сороковых годов, питомцев университета, перед которым и сейчас еще стоят почерневшие фигуры Герцена и Огарева, окончательно сформировался тип русского интеллигента, его нравственный и психологический облик, который с поразительным постоянством, напоминающим постоянство биологического генотипа, воспроизводился в каждом следующем поколении и черты которого сохранились в сегодняшних русских интеллектуалах вопреки всему, что постигло страну. Очертить этот тип можно, в известной мере игнорируя историю, ибо дать систематический очерк эволюции русского общественного самосознания и его носителя — интеллигенции — в краткой статье невозможно. И дело не только в недостатке места. Если можно говорить о смысле истории, то он должен находиться вне самой истории. Русский интеллигент XIX века, каковы бы ни были его взгляды на исторический процесс, всецело ощущал себя внутри этого процесса. Вместе с тем интеллигент был единственным человеком, для которого поиски смысла жизни были дороже самой жизни и разгадка смысла истории — важнее истории. Ему не приходило в голову, что он сам был воплощением этого смысла, который выделила из себя —

чтобы не сказать извергла — русская жизнь. Здесь заключена суть того, что объединяло людей разных поколений и делало похожими друг на друга бойцов враждебных станов. Но, будучи носителями смысла, они по необходимости оказывались отлученными от реальной истории, они были лишними, ненужными в этой стране, которая медленно, но неотвратно двигалась навстречу туманному будущему, не слыша их заклинаний и не принимая их жертв. Таков парадокс русской интеллигенции, вытекающий из ее природы; такова драма ее судьбы.

Мы должны представить себе интеллигенцию и "интеллигентность" не только как особый тип сознания, но и как особый образ жизни. Русский интеллигент выработал свои формы общения и быта, вне которых представление о нем становится отвлеченным и которые тоже, как это ни удивительно, дожили до наших дней. Рассказ Герцена о том, как он был в гостях у Белинского, стал хрестоматийным; в разгар спора входит хозяйка дома и приглашает гостя к столу. "Постой, куда же ты? — восклицает Белинский. — Какой обед, если мы не решили главного вопроса — есть ли Бог?.." Одержимость главными вопросами — отличительная черта интеллигента, но не менее характерны для него и способ решать эти вопросы, и обстановка, в которой он это делает. Русский интеллигент как будто на всю жизнь остался студентом. Карьера его не интересует. Он крайне нерасчетлив, "не умеет жить", вечно сидит в долгах. Его темноватая, небогато обставленная квартира не прибрана, всюду валяются книги. Хозяин неряшлив и ведет довольно безалаберный образ жизни. Все здесь делается кое-как: кое-как едят, кое-как спят. Любимое времяпрепровождение — сидение в тесном кругу друзей до поздней ночи, за стаканом остывшего чая или рюмкой водки, в густом папиросном дыму, и бесконечные словопрения...

О чем здесь говорят, волнуются, кричат до хрипоты? Все о том же. Уходят годы, и сменяются поколения, но темы не меняются. Россия и Запад, народ и Бог. Русский интеллигент склонен к смелым, часто сколопалительным обобщениям, он мыслит широкими категориями, прозаическая работа мысли — осторожный анализ, неторопливое взвешивание всех "за" и "против" — ему не по вкусу. Объекты действительности в его уме превращаются в яркие, почти художественные образы; сам того не замечая, он тяготеет к гиперболизациям и упрощениям. Загипнотизированный идеей, он не слушает возражений. История становится историософией, философия превращается в философствование. Религия, искусство, мораль — все валится в одну кучу. Все это придает мышлению русского интеллигента черты неотразимого очарования и какого-то неистребимого дилетантизма. Но надо понять его роль и место в обществе, чтобы оценить значение этих ночных диспутов, оценить роль интеллигентских кружков в развитии русской мысли и культуры.

Русский интеллигент одинок. Это, можно сказать, его главный признак, его фатум. Он видит себя как бы на узкой полоске ничейной земли. Но если враждебность правящей бюрократии, этих каменных уступов власти, кажется интеллигенту чем-то само собой разумеющимся, то равнодушие и непроницаемость огромного и живущего внеисторической жизнью народа составляют для него источник непрерывных недоумений и страданий.

Причины его одиночества, его неприкаянности в собственной стране понять нетрудно. Преобразования Петра не изменили традиционного —

централизованного и авторитарного — характера политической власти в России. Напротив, они его укрепили, сотворив в качестве придатка к феодальной аристократии чиновную бюрократию, причем этот придаток становился все более могущественным. Условием такой власти могло быть только полное и безоговорочное отстранение огромного большинства нации от управления страной. Это отверженное большинство называлось в России народом. Величайшей и незыблемой опорой бюрократического режима была согнутая в три погибели, широкая и способная вынести все на свете спина русского крепостного мужика; этот Антей стоял, расставив ноги в лаптях, и смотрел вниз — в землю. Он олицетворял производительные силы страны, он кормил своим трудом и помещика-землевладельца, и чиновного бюрократа, и интеллигента. У двух первых это обстоятельство не вызывало угрызений совести; такой порядок казался им естественным. Зато интеллигенту было горько и стыдно. Слишком очевиден был контраст, зрелище социальной несправедливости слишком бросалось в глаза, чтобы русский интеллигент, воспитанный в школе европейского просвещения и либерализма, мог спокойно предаваться ученым или литературным занятиям, служить на государственной службе, наконец, просто вести частную жизнь. Надо было что-то делать с этой страной или хотя бы вопрошать себя и других: что делать? Вести разумный и равноправный диалог с властью было невозможно — интеллигенция познала это на собственном горьком опыте. Но и те, о ком она радела, ее не слышали и не понимали. Нечего было и мечтать о том, чтобы разговаривать на равных с крестьянином, чей образ жизни и мировоззрение почти не менялись на протяжении нескольких веков.

(Для характеристики численного соотношения между образованной частью общества и народом можно напомнить, что еще в 1895 г., перед началом последнего царствования, четыре пятых 125-миллионного населения России были неграмотны. В деревне жило около 85% населения. В девяти русских университетах обучалось 14 тысяч студентов.)

Так чуть ли не с самого начала интеллигенция осознала тягостную двойственность своего положения. Она сделалась не только мыслящим мозгом общества, но и его больной совестью. Совесть — незванный гость; будучи органической частью общества, интеллигенция оказалась в конфронтации с ним. В итоге русская интеллигенция, все помыслы которой были устремлены к родной стране, повисла в воздухе. В этом состояло то, что Георгий Федотов назвал сочетанием идеализма с беспочвенностью. Положение интеллигентов в России до смешного напоминало положение чуждого и окруженного всеобщей подозрительностью этнического меньшинства. Они и говорили на непонятном для всех языке, и вели себя не так, как все. Попытки “слиться” с народом оканчивались плачевно. Когда юные славянофилы 40-х годов, следуя своим убеждениям, обрядились в “исконно русское” платье, народ на улице принимал их, по свидетельству мемуариста, за персиян. Когда весной 1874 года интеллигентная молодежь двинулась “в народ” и сотни, если не тысячи, петербургских студентов и курсисток, переодетых крестьянами, под видом мастеровых, разъезжались по деревням, чтобы открыть глаза народу на его бедственное положение, мужики сначала слушали их с недоумением, а потом стали доносить на них властям, и в конце концов вся рать борцов за народное благо, мальчики и девочки, все без исключения,

очутились в полицейских участках и острогах.

Разумеется, интеллигенту и в голову не приходило винить в подобных недоразумениях простой народ. Лишь изредка он давал волю своей горечи и раздражению. (“Нация рабов, сверху донизу все рабы”, — вырвалось однажды у Чернышевского.) Но господствующее настроение было иным. Существует некая доминанта русского интеллигентского сознания: ее не назовешь иначе, как культ простонародья. Этот культ наложил печать на всю русскую культуру XIX века — живопись, музыку и, конечно, литературу; примеры его бесчисленны. Достоевский рассказывает, как в детстве его, перепуганного мальчика, успокоил и приласкал мужик Марей — сильный и добрый крестьянин, шагающий в поле за плугом; это воспоминание вырастает в некий символ, и мужик Марей под пером автора “Дневника писателя” превращается в мифологическую фигуру. В “Анне Карениной” Левин косит траву вместе с крестьянами, и чувство, которое овладевает им и передается читателю, можно сравнить с чувством верующего, когда он причащается святых тайн. Между Толстым и Достоевским не было ничего общего; друг о друге они отзывались сдержанно и никогда не встречались. Но в одном они были заодно: в том, что объединяло всю интеллигенцию. Поразительно, до какой степени единодушны были в своем поклонении народу люди разных убеждений, бойцы всех станов, и западники, и почвенники, и реакционеры, и юные республиканцы, и замшелые монархисты. И автор “Кому на Руси...”, и автор “Выбранных мест из переписки с друзьями”. И Рахметов, и Шатов. И Лев Толстой, и полубезумный Федоров. Поразительной была эта уверенность, что именно русский простой народ, пусть нищий, пусть невежественный, владеет сокровенной истиной, что только у него надо учиться праведной жизни. Только здесь, в темной избе, где на деревянной лавке, накрывшись тулупом, лежит уставший за день крестьянин, на печи спит его семья, а в углу перед почернелым ликом византийской Богородицы всю долгую ночь мерцает неугасимая лампада, — только здесь приютилось подлинное христианство.

Мы должны с особым вниманием задержаться на этой точке интеллигентского сознания, потому что она повлекла за собой неожиданные последствия. Впрочем, такие ли уж неожиданные? Достоевский признавался, что во всем он доходит до крайности, до предела; это очень русская черта. Русский интеллигент не довольствовался выражением сочувствия трудовому люду. Его испуленный демократизм принял, по крайней мере у многих и лучших, самоубийственный характер; его безнадежная любовь влекла его к мученическому венцу. Сострадание к униженным и оскорбленным, желание хоть чем-нибудь им помочь вылились в готовность распять себя во имя любви к своему кумиру, принести в жертву народу все ценности, которыми владел интеллигент. Другими словами, они обернулись враждой к культуре.

Поистине здесь кроется какое-то вековое недоразумение, сдвиг понятий, непостижимый для иностранца. Уважение к человеку труда, прежде всего к крестьянину — всеобщему кормильцу, — к нелегкой жизни, которую он ведет, сочувствие к бедняку превратились в этой стране во что-то совсем другое, стали источником самобичевания и поклонения тьме. Русская жизнь позволяет понять этот сдвиг. В Европе не существовало столь глубокой пропасти между рабочим людом и людьми духа, не было такого антагонизма между трудом и культурой. Нигде так ост-

ро не чувствовали, что читать умные книжки, спорить и рассуждать стыдно, когда рядом с тобой кто-то вкалывает с утра до ночи; нигде труд не был таким проклятием, нигде он не был так прочно соединен с нищетой, нигде, кроме как в России, не было такого навязчивого сознания, что если ты не встаешь засветло, не всовываешь руки в дырявое тряпье и не плетешься на каторжную работу, не пашешь, не сеешь, не надрываешься, не роешь своими ногтями каналов и на своих костях, как на шпалах, не прокладываешь железных дорог, если ты ничего этого не делаешь, то потому, что кто-то делает это за тебя, и, значит, ты со своими книгами — дармоед и захребетник. Ни в какой другой стране стыд, сознание неплатного долга перед народом не сочетались с такой истовой верой в народ и готовностью стать перед ним на колени.

Нигде слова Нагорной проповеди “блаженны нищие духом” не были поняты так, как в России, ибо в России они были поняты буквально. Нигде нищета духа не была окружена таким ореолом святости, ибо противоположное состояние — духовное богатство, сложность и утонченность — связывалось с представлением о богатстве материальном. Те же великие учителя, которые заповедали русскому интеллигенту долг служения простым людям, внушили ему мысль о ненужности всего того, что недоступно этим людям, о тщете науки, о греховной сути всякого эстетизма и утонченности, о великом грехе искусства. Толстой осудил собственное творчество (за несколько десятилетий до него то же сделал Гоголь — и швырнул в огонь рукопись второго тома “Мертвых душ”). Достоевский устами своего alter ego Шатова объявил русский народ народом-богоносцем. Завороженная этой наркотической идеей, интеллигенция стала напоминать монашеский орден, секту самоубийц. Проповедь Шатова — ответ “бесам”. Но и сами бесы — террористы 70-х годов — лишь внушали себе и другим, что их зловещие подвиги “полезны” для революционного дела, — истинным побудительным мативом была жертвенность. Пропась между трудом и богатством и укоренившаяся в народе уверенность в несправедном, небожеском происхождении всякого благосостояния были переосмыслены как противостояние труда и культуры. Русская литература, свет и разум страны, как бы взглянула на себя глазами своих любимых героев — косноязычного Акима из “Власти тьмы”, слабоумной Хромоножки. Парадокс заключался в том, что антикультурная проповедь русских писателей отлилась в формы, которые сами по себе были порождением высокой и изощренной культуры. Но эта культура несла в себе предчувствие гибели ее носителей.

Вражду к культуре можно считать специфически русским явлением, ничего подобного не знали в Западной Европе, где можно было ставить вопрос, хороша или нет та или иная философия, но никому не приходило в голову, что само по себе занятие философией предосудительно, что искусство — роскошь, оскорбляющая бедняков, а наука — развлечение для праздничноболтающих. На Западе занимались логическим обоснованием веры и нравственности. На Западе сменяли друг друга век Возрождения, век Разума и век Просвещения. На Западе прозвучал чистый, как хрусталь, голос Паскаля, сказавшего: “Все наше достоинство в разуме... будем стараться правильно мыслить, вот основа морали”. В России же, чтобы не обидеть народ, уверяли себя и других, что культура есть зло, что ум и просвещение — орудие дьявола; в России думали, что если Христос обратился к ученикам со словами: “Будьте как дети...” — то это

значит, что нужно в самом деле вернуться к детской непосредственности, к букварям и сказкам, что всякое размышление губит веру и условием праведности может быть только отречение от мысли. Об этом хорошо написал один наш современник: он назвал этот комплекс мазохизмом русской интеллигенции. И в конце концов интеллигенция подожглась и сгорела во имя любви к народу, а народ этого даже не заметил, и тощие коровы сожрали тучных, но сами не стали толще, и кривые избы, повалившиеся заборы, громадные расстояния, грязь, скука, холод и невылазная нищета сгубили все, отравили всякую радость жизни, вытравили или поставили под сомнение все свежее, сильное, свободное, оригинальное и талантливое; под бременем беспросветной бедности все это стало казаться непозволительным и непристойным, как непристойно было бы, говоря словами Толстого, танцевать, идя за плугом. Революция, в подготовке которой интеллигентам принадлежала столь важная роль, стала самосожжением русской интеллигенции. Была ли ее искупительная жертва в конечном счете оправдана? Быть может, ирония судьбы, жестокая ирония русской истории выразилась в том, что возмездие, постигшее интеллигенцию, было заслуженным? Новое государство провозгласило себя обетованной землей человечества — первым в мире государством трудового народа. Опыт трех поколений показал, что это государство по своей несправедливости и жестокости оставило далеко позади старый самодержавный строй. Но мы видим и другое. Очевиден невероятный и поразительный факт возрождения русской интеллигенции. Это Феникс, который зашевелился в кучке пепла.

Разумеется, многое, слишком многое переменялось. До неузнаваемости изменились структура и самый облик русского общества. "Народ" исчез. Этот священный пароль интеллигенции, слово, под которым подразумевалась в первую очередь компактная масса патриархального русского крестьянства и в меньшей степени — мелкий городской люд (сохранивший, впрочем, связь с деревней и крестьянскую психологию), плохо подходит к нынешнему населению СССР, где сельские жители составляют меньшинство, а земледельцев и того меньше. Оно поголовно грамотно, в подавляющем большинстве своем безрелигиозно и подвергается ежедневному и повсеместному воздействию средств массовой информации, целиком поставленных на службу партийно-государственной мифологии. К этому надо прибавить возросшую роль и активность национальных окраин. Бывшая Российская Империя и при новом режиме остается государством архаического типа, со строго централизованным военно-полицейским и бюрократическим управлением, огромной территорией и пестрым многонациональным составом, — империей в том смысле, в каком это слово применялось к Риму и Византии; острие и основание этой пирамиды образуют русские. Но они составляют лишь половину населения страны. В целом метаморфоза столь велика, что еще 40 лет назад Георгий Федотов считал возможным говорить о формировании новой нации: он сравнил судьбу русского народа с судьбой греков IV века, чуть ли не в глазах одного поколения превратившихся в другой этнос — византийцев.

Изменилось значение слов. Это относится и к слову, которое стоит в заголовке. Говоря об интеллигенции, мы не имеем в виду термин государственной идеологии и статистики. Речь идет о людях, сравнимых по своему духовному и психологическому облику с интеллигенцией ста-

рой России. И вот перед лицом свершившихся перемен снова задаешь себе вопрос: возможно ли такое сравнение, не обольщаемся ли мы?

Один московский писатель сочинил юмористический рассказ под названием "Ретрогенетика", о некоем ученом, который придумал способ выводить вымерших животных: в его питомнике резвились молодые мамонты, разгуливали динозавры, хлопал крыльями археоптерикс... Историк общественной мысли уподобляется этому специалисту, когда он пытается реконструировать культурно-исторические типы прошлого. Но подобные упражнения создают опасный соблазн. Соблазн отождествить себя с ископаемым предком; соблазн пренебречь историей и попросту забыть о том, что с нами стряслось за последние шестьдесят лет. Этому искушению — соблазну представить революцию и коммунизм как несчастный случай, чужеродную инфекцию, проникшую в здоровое тело России, — поддалась сегодняшняя диссидентская "правая", почти буквально повторяющая все основные ходы православного славянофильского почвенничества вековой давности. Нечего и говорить о том, что на самом деле нынешняя интеллигенция дышит совсем другим воздухом, чем старая. Она отличается от старой русской интеллигенции и социально, и даже этнически. И все же эта новорожденная интеллигенция есть истинный потомок старой, казалось, навсегда исчезнувшей русской элиты.

Все изменилось, и все повторяется, и через сто лет мы напоминаем старых русских интеллигентов, если не дворян, то разночинцев, московских вечных студентов восьмидесятых годов: мы переняли их образ жизни, их неряшливость, их тоску, их любовь к полуночным словопрениям над остывшим чаем. Бог знает, откуда это взялось, ведь чуть ли не половина из нас не русские по крови. Говорят, лет восемьдесят назад во Франции небывалый мороз уничтожил виноградники, но была привезена из-за моря и посажена американская лоза и дала такое же вино, какое было прежде. Так и новые русские интеллигенты — наследники тех прежних, хоть мороз покалечил всю поросль и топор вырубил все ее корни.

Интеллигентов немного — во много раз меньше, чем просто людей с высшим образованием. Но они находят друг друга. Внутренние разногласия дробят их на более или менее самостоятельные группы, но все они едины в своем презрении к деспотическому режиму. Беспомощные и уязвимые, как всякий, кому оружием в жизненной борьбе служит мысль и слово, они находят в себе силу противостоять мертвящему окружению и, в сущности, неистребимы. Это она, все та же или почти та же, ничего не забывавшая, хотя и многому научившаяся российская интеллигенция, "гнилая", согласно классическому определению Ленина, та самая, презренная "образованщина", с ее неповторимым и невозможным ни в какой другой стране духовным складом, неумением существовать в шорах определенной профессии, специальности, ученой или литературной карьеры, с ее особой религиозностью, редко конфессиональной, чаще выступающей в одежде религиозного свободомыслия либо агностицизма, с ее одержимостью историософскими проблемами, которые она причудливо мешает с политикой, с ее неизлечимым дилетантизмом, другое имя которому — универсализм. Со всеми ее достоинствами и всеми недугами. Именно в этой среде, в немногочисленных, но достаточно многочисленных интеллигентских кружках, сосредоточенных в крупных городах советской империи либо перебравшихся за рубеж (дроб-

ление интеллигенции на внутреннюю и эмигрантскую — традиция столь же давняя, как и существование самой интеллигенции), идет невидимая внешнему миру творческая работа, которая может показаться безнадежной и бесперспективной, но которая представляет собой единственную форму духовной жизни, заслуживающую этого названия.

Но сколь бы сильно ни давало себя знать происхождение современной интеллигенции, от одного наследственного недуга она, по-видимому, **исцелилась**: от веры в "народ". Мучительный роман русской интеллигенции с народом окончен. В социальном плане это означает осознание **глубоких** перемен, совершившихся в обществе; в психологическом — освобождение от власти коллективного бессознательного, от жажды раствориться в темной и безличной народной стихии. Существенная перемена в самосознании интеллигенции или по крайней мере значительной ее части состоит в том, что она не чувствует себя более обязанной ни власти, ни народу, не испытывает желания быть чьим-либо слугой, не стремится удобрить собой национальную почву, но начинает — если я не ошибаюсь — ощущать себя истинным субъектом истории. Сейчас невозможно сказать, насколько оправданны такие притязания. Но если для этой страны осталась какая-то надежда, если существует шанс, что Россия когда-нибудь займет подобающее ей место в кругу свободных народов, — этот шанс и эту надежду можно связывать только с интеллигенцией.

ПРОСУЩЕСТВУЕТ ЛИ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ДО 1984 ГОДА?

Предисловие к третьему русскому изданию

Меня обрадовала возможность переиздания книги. Со времени первого издания прошло девять лет; пока я сидел в тюрьме, мир не стоял на месте — и я решил, что нужно сделать различные поправки и дополнения. Но мой друг профессор Ван хет Реве отговорил меня, он сказал, что эта маленькая книжка стала своего рода “историческим документом” и как таковой она не нуждается в исправлениях, это все равно как кто-либо — пусть даже сам Сталин — взялся бы задним числом исправлять “гениальные высказывания товарища Сталина”.

Сталин, правда, исправлял сам себя в зависимости от сложившейся конъюнктуры — в этом может убедиться каждый, сравнивая последовательные издания его статей. Быть может, я лучше чувствую конъюнктуру, чем товарищ Сталин, быть может, более уверен в себе, чем он, но, перечитав свою книжку, я вижу, что ее можно печатать без изменений — я согласен почти со всем, что я писал в 1969 году, и мне кажется, что прошедшие годы подтверждают содержащийся в ней анализ.

Правда, когда меня спрашивают теперь, считаю ли я развал советской системы неизбежным и 1984 год — реальной датой, я отвечаю обычно, что, когда я писал свою книгу, я был еще очень молод, а молодым людям всегда кажется, что все будет происходить гораздо быстрее, чем происходит на самом деле. Так что необходимы некоторые оговорки.

Во-первых, я не хотел бы, чтобы в моей книге видели какое-то “злорадство” или желание гибели СССР. Ее цель: указать — быть может, в несколько драматической форме — на грозящие СССР опасности, чтобы путем демократической перестройки и дальновидной внешней политики избежать анархии и войны.

Во-вторых, нельзя выводить из книги — как мне приписывали парт-аппаратчики, — что весь советский народ настроен “антисоветски”. Если бы какая-то часть народа активно не поддерживала этот режим, а значительная часть пассивно не принимала, то он не просуществовал бы шестьдесят лет. Поддержка эта, впрочем, подвергается все большей эрозии.

В-третьих, вызывает сомнение мое замечание, что советское общество социально не мобильно. У меня накопились сейчас противоречивые наблюдения, и я думаю, что лучше говорить не о “немобильности”, а об очень регламентированной мобильности.

В-четвертых, надо признать, что фраза о стране “без веры, без традиций, без культуры” написана сгоряча. Современная Россия имеет и тра-

диции, и веру и культуру — но только странным образом стремится то совсем отказаться от них, то, наоборот, отгородиться ими от всего мира.

В-пятых, мне думается, что я недооценил гибкости советского руководства, с одной стороны, и переоценил быстроту развития ядерного и обычного вооружения Китая, с другой.

“Разрядка”, экономическая помощь Запада и “выпуск пара” благодаря разрешению ограниченной эмиграции позволяют советскому руководству продлить квазистабильность режима. После пяти лет послехрущевского “замораживания” — я писал свою книжку как раз в конце этого периода — режим вновь перешел к умеренной внешнеполитической “оттепели”. Правда, от этой “оттепели”, как и в пятидесятые годы, таит не столько сам СССР, сколько Запад.

Однако даже с помощью западных сторонников “разрядки” режиму удается поддерживать только мнимую стабильность. Движение истории невозможно остановить, и подлинная стабильность — это сознательное движение вперед, а не нисильственное топтание на месте.

Западные сторонники “разрядки” не совсем понимают также существующую в России связь между внешней экспансией и внутренней стабильностью. В экспансии — у русских философов она принимает обличье мессианства — исторический смысл России. Как только экспансионистским попыткам наносится чувствительный удар — например, Крымская или русско-японская война, — происходит реформы или революция. Успех экспансии, наоборот, позволяет как-то нейтрализовать неудачи внутри. Так, успех в Анголе позволил не только уравновесить неудачи 1975 года, но и свести в целом положительный баланс для режима.

Я поспешил со сроками, но правильно подметил тенденции. По-прежнему у режима два выхода: или постепенная либерализация, или поворот к националистической диктатуре, нечто вроде русского нацизма, быть может, во главе с военными.

Армия, если ее энергично не использовать вовне, таит большую угрозу внутри. То, что впервые министром обороны сделан не военный, а штатский и что тут же глава компартии вместе с новым министром получили маршальские звания, — косвенное указание на это. Но в армии есть и другие тенденции, об этом говорит участие офицеров в сопротивлении режиму.

Оппозиция в СССР — культурная, религиозная, национальная и правая — сохранилась, несмотря на репрессии, эмиграцию и “покаяния” некоторых ее участников. Демократическое движение — оно называет себя теперь Движением за права человека — приобрело новых энергичных сторонников. В мае 1975 года, например, создана Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений во главе с Юрием Орловым.

Однако “средний класс” в целом по-прежнему парализован сознанием своего бессилия. К тем его недостаткам, о которых я пишу в книге, я хотел бы еще добавить отсутствие культуры — культуры как понятия, включающего нравственные ценности. “Культура” большей частью носит сейчас характер владения определенными профессиональными знаниями.

Официальные искусство и литература делаются все более склеротическими. Почти все наиболее интересные русские книги за последние годы вышли за границей. Все более или менее интересное, что вышло в СССР, власти разрешили из опасения, что иначе и эти рукописи попадут на Запад. Вообще наличие “неофициальной” литературы заставляет власти делать какие-то поблажки тем писателям, кто еще с ними.

Когда в июне 1969 года я заканчивал эту книжку в нашем маленьком деревенском доме — дом этот во время моей ссылки был полностью разрушен, — я надеялся, что ее опубликует какой-нибудь научный журнал — и несколько десятков советологов что-то уточнят в своих взглядах.

В действительности книжка вышла на двадцати языках, общим тиражом в несколько сот тысяч, тысячи копий разошлись в СССР, и до сих пор во многих странах люди покупают и читают ее. Конечно, мне хотелось бы приписать это в первую очередь своему писательскому дару. Но я думаю, огромную роль сыграло то, что высказанные мной идеи как бы носились в воздухе. Поэтому многое из сказанного мной сейчас стало общим местом.

“Король-то голый!” — должен был крикнуть маленький мальчик, чтобы все увидели, что король действительно голый. Я был таким мальчиком.

Некоторые говорили мне в 1976 году в России: “Когда мы семь лет назад прочитали Вашу книжку, мы думали, что все это чепуха и преувеличения, а теперь мы видим, что Вы были правы”. То же мне пришлось услышать и от нескольких американцев, в особенности в том, что касается отношений СССР—Китай—США. Я думаю, что это высшая похвала для человека, который попытался заглянуть на несколько лет вперед. Советская печать впервые упомянула мою книжку только восемь лет спустя после ее опубликования, дав ей по-своему высокую оценку: “Поражаешься способности Амальрика, при всем его невежестве в вопросах истории, воплотить в столь малом объеме столько человеконенавистничества вообще и злобы к советскому народу в частности” (“Неделя”, 20 — 26 июня 1977 г.). Но самый лестный для меня отзыв я услышал от сотрудника КГБ А. В. Пустякова. “Вы нам под дых дали!” — сказал он мне в 1974 году.

Конечно, не все разделяют этот взгляд. Некоторые, соглашаясь даже с моим анализом советского общества, весьма скептически относятся к прогнозам. Да я и сам понимаю, что мои прогнозы — скорее поэтическое предвидение и идут больше от чувства, чем от разума. Я недавно перечел свою маленькую поэму, написанную в 1962 году, когда я еще не помышлял о политических брошюрах, а советский режим считал незыблемым. Я поразился теперь, насколько поэма полна предчувствием грядущих катаклизмов и нашествия с востока.

Я не одинок. Предчувствие возмездия с востока — одна из не сильных, но внятных русских литературно-философских тем. Вот что писал Владимир Соловьев в 1894 году, за 90 лет до 1984 года:

О Русь! Забудь былую славу,
орел двуглавый сокрушен,
и желтым детям на забаву
даны клочки твоих знамен.

В заключение считаю своим приятным долгом поблагодарить следующих лиц, способствовавших моей работе над книгой и ее изданию: г-на Мао Цзедуна, который начал “культурную революцию” в Китае и тем самым обострил мой интерес к советско-китайским отношениям; д-ра Андрея Сахарова, чья статья “Размышления о прогрессе” вызвала у меня желание косвенно ответить ему;

г-на Анатоля Шуба, беседы с которым отточили некоторые мои взгляды;

д-ра Виталия Рубина, который посоветовал мне для заглавия взять 1984 год, ссылаясь на книгу Дж. Оруэла;

г-жу Гюзель Амальрик, мою дорогую жену, забота и одобрение которой дали мне возможность написать эту книгу и передать ее для печати;

г-на Юрия Мальцева, который прочел рукопись и сделал несколько ценных замечаний;

г-на Генри Камма, который способствовал изданию книги на Западе;

д-ра Карела Ван хет Реве, который первым на Западе прочел рукопись книги и позаботился о ее издании.

Автора побуждают писать в основном три причины. Во-первых, интерес к русской истории. Почти десять лет назад я написал работу о Киевской Руси; по независящим от меня причинам я вынужден был прервать свои исследования о начале российского государства, зато теперь я надеюсь, что как историк буду сторицей вознагражден за это, став свидетелем его конца. Во-вторых, я мог близко наблюдать за попытками создания независимого общественного движения в СССР, что само по себе очень интересно и заслуживает какой-то предварительной оценки. И в-третьих, мне часто приходилось слышать и читать о так называемой "либерализации" советского общества, вкратце эти рассуждения можно сформулировать так: сейчас обстановка лучше, чем десять лет назад, следовательно через десять лет будет еще лучше. Я постараюсь здесь показать, почему я не согласен с этим.

Я хочу подчеркнуть, что моя статья основана не на каких-либо исследованиях, а лишь на наблюдениях и размышлениях. С этой точки зрения она может показаться пустой болтовней, но — во всяком случае, для западных советологов — представляет уже тот интерес, какой для ихтиологов представила бы вдруг заговорившая рыба¹.

¹ Взгляды о приближающемся кризисе советской системы я начал высказывать с осени 1966 года, вскоре после своего возвращения из сибирской ссылки. Сначала своим немногочисленным друзьям, а в ноябре 1967 года изложил их в письме, которое направил в "Литературную газету" и "Известия" с просьбой опубликовать его там. Я получил любезный ответ, что редакция обеих газет не хотят этого делать, так как не разделяют ряд положений письма. Однако дальнейшие события как внутри страны, так и за ее пределами убеждали меня, что многие мои предположения основательны, и я решил изложить их в отдельной статье. Сначала я предполагал назвать ее "Просуществует ли Советский Союз до 1980 года?", рассматривая 1980 год как ближайшую реальную круглую дату. В марте 1969 года об этом появилось упоминание в печати: московский корреспондент "Вашингтон пост" г-н Шуб вкратце и не совсем точно изложил некоторые мои взгляды и привел заглавие моей будущей статьи, называя меня "одним русским другом" ("Интернешнл геральд трибюн", 31 марта 1969 г.). Однако специалист по древней китайской идеологии и вместе с тем поклонник современной английской литературы, которого я в свою очередь вынужден назвать "одним русским другом", посоветовал мне заменить 1980 год на 1984-й. Я тем более охотно произвел эту замену, что мое пристрастие к круглым датам несколько не пострадало — если учесть, что сейчас 1969 год, мы заглядываем в будущее ровно на полтора десятилетия.

Мою работу над статьей несколько задержал и затруднил обыск, сделанный у меня 7 мая, при котором был изъят ряд нужных мне материалов. Однако я считаю своим приятным долгом поблагодарить сотрудников КГБ и Прокуратуры, делавших обыск, за то, что они не изъяли у меня рукопись этой статьи и тем самым дали возможность довести работу над ней до благополучного конца.

Считая выводы своей статьи во многом спорными, я буду благодарен за ее позитивную критику.

Как можно думать, в течение пяти приблизительно лет — с 1952 по 1957 год — в нашей стране происходила своего рода “верхушечная революция”. Она пережила такие напряженные моменты, как создание так называемого расширенного Президиума ЦК КПСС, “дело врачей”, загадочную смерть Сталина и ликвидацию расширенного президиума, чистку органов госбезопасности, массовую реабилитацию политзаключенных и публичное осуждение Сталина, польский и венгерский кризисы, и, наконец, закончилась полной победой Хрущева. Во весь этот период страна пассивно ожидала своей судьбы: если “наверху” все время шла борьба, “снизу” не раздавалось ни одного голоса, который прозвучал бы диссонансом тому, что в настоящий момент шло “сверху”¹. Но, видимо, “верхушечная революция”, расшатав созданный Сталиным монолит, сделала возможным и какое-то движение в обществе, и уже к концу этого периода стала проявляться новая, независимая от правительства сила. Ее условно можно назвать “Культурной оппозицией”. Некоторые писатели, до этого шедшие в официальном русле или просто молчавшие, заговорили по-новому, и часть их произведений была опубликована или распространялась в рукописях, появилось много молодых поэтов, художников, музыкантов и шансонье, стали циркулировать машинописные журналы, открываться полуправильные художественные выставки, организовываться молодежные ансамбли². Это движение было направлено не против политического режима как такового, а только против его культуры, которую тем не менее сам режим рассматривал как свою составную часть. Поэтому режим боролся с “культурной оппозицией”, в каждом отдельном случае одерживая полную победу: писатели “калялись”, издатели подпольных журналов арестовывались, выставки закрывались, поэты разгонялись. Тем не менее победу над “культурной оппозицией” в целом одержать не удалось, напротив — частично она постепенно включилась в официальное искусство, тем самым модифицировавшись, но модифицировав и официальное искусство, частично же сохранилась, но уже в значительной степени как явление культуры. Режим примирился с ее существованием и как бы махнул на нее рукой, лишив тем самым ее оппозиционность политической нагрузки, которую он сам придавал ей своей борьбой с нею.

Однако тем временем из недр “культурной оппозиции” вышла новая сила, которая стала в оппозицию уже не только официальной культуре, но и многим сторонам идеологии и практики режима. Она возникла в

¹ Правда, стали появляться подпольные группы с оппозиционными программами, как, например, группа Краснолещева, арестованная в 1956 году. Однако в силу их нелегальности и тем самым отсутствия гласности протест каждой такой группы был достоянием только ее малочисленных членов.

² Я имею в виду такие явления, как публикация Пастернаком “Доктора Живаго”, издание Александром Гинзбургом машинописного журнала “Синтаксис”, публичные чтения стихов на площади Маяковского, выставки независимых художников, как Зверев или Рабин, публикации в официальной печати нескольких романов, рассказов и стихов, затем подвергнутых суровой критике, появление большого количества авторов и исполнителей песен, разошедшихся в миллионах магнитофонных лент, как Б. Окуджава, А. Галич, В. Высоцкий и т.д. Все это были явления совершенно разного культурного порядка, но равно направленные против официальной культуры.

результате скрещения двух противоположных тенденций — стремления общества ко все большей общественно-политической информации и стремления режима все больше препарировать официально даваемую информацию — и получила название “самиздата”. Романы, повести, рассказы, пьесы, мемуары, статьи, открытые письма, листовки, стенограммы заседаний и судебных процессов в десятках, сотнях и тысячах машинописных списков и фотокопий начали расходиться по стране¹. При этом постепенно, приблизительно за пятилетие, происходила эволюция “самиздата” от художественной литературы к документу, принимавшему все более определенную общественно-политическую окраску. Естественно, что в “самиздате” режим увидел еще большую опасность для себя, чем в “культурной оппозиции”, и борется с ним еще более решительно².

Тем не менее самиздат, подобно “культурной оппозиции”, постепенно подготовил новую самостоятельную силу, которую можно рассматривать уже как настоящую политическую оппозицию режиму или, во всяком случае, как зародыш политической оппозиции. Это — общественное движение, называющее само себя Демократическим движением. Как новый этап оппозиции режиму и как политическую оппозицию его можно рассматривать, пожалуй, по следующим причинам: во-первых, не принимая форму четко, организации, оно само осознает и называет себя движением, имеет руководителей, активистов и опирается на значительное число сочувствующих; во-вторых, оно сознательно ставит себе определенные цели и избирает определенную тактику, хотя и то и другое довольно расплывчато; в-третьих, оно хочет работать в условиях легальности и гласности и добивается этой гласности, в чем его отличие от маленьких или даже больших подпольных групп³.

Прежде чем посмотреть, насколько Демократическое движение является массовым, насколько четкие и достижимые цели оно себе ставит,

¹ “Самиздат” означает, что автор сам себя издает, и, по существу, является традиционной русской формой обхода официальной цензуры. Как пример “самиздата” можно привести романы Солженицына, воспоминания Аксеновой-Гинзбург, Адамовой, Марченко, статьи Краснова-Левитина, рассказы Шаламова, стихи Горбаневской и т.д. Но надо заметить, что значительная часть “самиздата” анонимна. К “самиздату” можно отнести и то, что сначала издавалось за границей и только потом попадало в СССР, как, например, книги Синявского и Даниэля, а также перепечатанные на машинке или перенятые на пленку книги зарубежных авторов, как Оруэлл или Джидас, или статьи из зарубежных газет и журналов.

² Примерами такой борьбы могут служить осуждение Синявского и Даниэля соответственно на 7 и 5 лет строгого режима за издание своих книг за границей (1965 г.), осуждение Черновола на 3 года за составление сборника о политических процессах на Украине (1967 г.), осуждение Галанского на 7 лет за составление сборника “Феникс” и Гинзбурга на 5 лет за составление сборника документов по делу Синявского и Даниэля (1968 г.), осуждение Марченко на 1 год за книгу о постсталинских лагерях (1968 г.). Суровые меры принимаются также против распространителей “самиздата”. Так, машинистка Лашкова была осуждена на 1 год только за то, что печатала материалы для Гинзбурга и Галанского (1968 г.), Гендлер, Квачевский и Студенков соответственно на 4, 3, и 1 год только за чтение и распространение нецензурированной литературы (1968 г.), Бурмистрович на 3 года за то же (1968 г.).

³ Несмотря на проведение судебных процессов втайне, все же стало известно о нескольких подобных группах с 1956 года: группе Краснопевцева—Ренделя (осуждена в 1956 г.), группу Осипова — Кузнецова (1961 г.), группе “Колокол” (1964 г.), группе Дергунова (1967 г.) и др. Самой большой из известных до сих пор нелегальных организаций был Всероссийский социальный-христианский союз освобождения народа (в 1967 — 1968 годах в Ленинграде по делу Союза был осужден 21 человек, однако число членов Союза было гораздо больше).

т.е. является ли оно действительно движением и имеет ли какие-либо шансы на успех, есть смысл поставить вопрос об идеологической основе, на которую может опираться всякая оппозиция в СССР.

Конечно, как это хорошо помнит сам автор, и в 1952–1956 годах было большое количество недовольных и настроенных оппозиционно по отношению к режиму лиц. Но, не говоря даже о том, что недовольство это носило “камерный” характер, оно в значительной степени опиралось на негативную идеологию: считалось, что режим плох, потому что он делает или не делает то-то и то-то, в то же время в общем-то не ставилось вопроса, а что же хорошо, подразумевалось также, что режим или не отвечает своей идеологии, или что сама идеология никуда не годится. Однако поиски позитивной идеологии, способной противостоять официальной, начались только к концу этого периода¹. Можно сказать, что за последние полтора десятилетия выкристаллизовались по крайней мере три идеологии, на которые опирается оппозиция. Это “подлинный марксизм-ленинизм”, “христианская идеология” и “либеральная”. “Подлинный марксизм-ленинизм” предполагает, что режим, извратив в своих целях марксистско-ленинскую идеологию, не руководствуется марксизм-ленинизмом в своей практике и что для оздоровления нашего общества необходимо возвращение к истинным принципам марксизма-ленинизма. “Христианская идеология” предполагает, что необходимо перейти в общественной жизни к христианским нравственным принципам, которые толкуются в несколько славянофильском духе, с претензией на особую роль России. Наконец, “либеральная идеология” в конечном счете предполагает переход к демократическому обществу западного типа с сохранением, однако, принципа общественной и государственной собственности². Все эти идеологии, однако, в значительной степени аморфны, их никто не формулировал с достаточной полнотой и убедительностью, и зачастую они только как бы сами собой подразумеваются их последователями: последователи каждой доктрины предполагают, что все они верят в нечто общее, что точно, однако, никому не известно. Также эти доктрины не имеют четких границ и зачастую переплетаются одна с другой. И даже в таком аморфном виде они являются достоянием небольшой группы лиц. Между тем есть много признаков, что в самых широких слоях народа, прежде всего в рабочей среде, ощущается потребность в идеологии, на

¹ Вопрос очень интересный, и возможно, что я ошибаюсь из-за плохого знания фактического материала. Знать же его по вполне понятным причинам сейчас пока просто невозможно, это станет возможно только после опубликования послевоенных архивов КГБ. Я вовсе не хочу сказать, что не было людей или даже группок с определенной позитивной идеологией, однако существовала крайняя духовная изоляция, полное отсутствие гласности и малейшей надежды, что возможны какие-то перемены, а это в корне подрывало возможность существования какой-то позитивной идеологии.

² Представителями “марксистской идеологии” можно считать, например, А. Костерина (умер в 1968 г.), П. Григоренко, И. Яхимовича. “Христианской идеологией” руководствовался Всероссийский социально-христианский союз, наиболее яркая фигура которого — И. Огурцов. Чтобы быть правильно понятым, хочу подчеркнуть, что под условно названной так “христианской идеологией” я подразумеваю политическую доктрину, а отнюдь не религиозную философию или церковную идеологию, представителей которых скорее можно рассматривать как участников “культурной оппозиции”. И наконец, представителями “либеральной идеологии” можно считать П. Литвинова и, с некоторыми оговорками, академика Сахарова. Интересно, что в более умеренной форме все эти идеологии проникают и в близкие к режиму круги.

которую могло бы опереться негативное отношение к режиму и его официальной доктрине¹.

Демократическое движение, насколько мне известно, включает представителей всех трех обозначенных выше идеологий; таким образом, его идеология может быть или эклектическим сочетанием "подлинного марксизма-ленинизма", русского христианства и либерализма, или же основываться на том общем, что есть в этих идеологиях (в их современных советских вариантах). По-видимому, происходит последнее. Хотя Демократическое движение находится в периоде становления и никакой отчетливой программы себе не сформулировало, все его участники подразумевают, во всяком случае, одну общую цель: правопорядок, основанный на уважении основных прав человека.

Число участников Движения в общем столь же неопределенно, как и его цели. Оно насчитывает несколько десятков активных участников и несколько сот сочувствующих Движению и готовых поддержать его. Назвать любую точную цифру было бы невозможно не только потому, что она неизвестна, но и потому, что она все время меняется². Быть может, более интересно не число участников Движения, а его социальный состав. Здесь я смог произвести небольшой подсчет, основываясь на типичном примере протестов по делу Галанскова и Гинзбурга.

По-существу, процесс над ними был только поводом для общественности предъявить режиму требования большего правопорядка и уважения прав человека, большинство подписавших протесты Галанскова и Гинзбурга вообще не знало. Поэтому, пожалуй, активные и довольно многочисленные протесты общественности против нарушения законности во время этого процесса можно считать началом Движения³.

Всего под разными коллективными и индивидуальными письмами подписалось 738 человек. Профессии 38 неизвестны. Если взять число известных, то можно составить следующую табличку:

¹ Это видно, в частности, из некоторых писем, полученных П. Литвиновым от советских граждан в ответ на его и Л. Богораз обращение "К мировой общественности" и изданных на Западе под редакцией профессора Ван хет Reve. Но, пожалуй, наиболее яркий пример приведен А. Марченко в его книге "Мои показания": будучи рабочим с семиклассным образованием, он по сфабрикованному политическому обвинению попал в лагерь и там, желая найти какую-то идеологическую опору, прочел подряд все тридцать с лишним томов Ленина (как можно понять, другой политической литературы в лагерной библиотеке не было).

² Сейчас, в период "эскалации репрессий" со стороны режима, оно, видимо, пойдет на убыль — часть участников Движения сидит в тюрьму, а часть отойдет от Движения, — однако, как только давление ослабнет, число участников может быстро пойти вверх.

³ Таким образом, его начало можно отнести к 1968 году. Но попытки массовых легальных действий имели место и раньше, по-видимому с 1965 года: демонстрация 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади с требованием гласности суда над Синявским и Даниэлем (участвовало около 100 человек, никто не был арестован, но группа студентов исключена из Московского университета); коллективные письма в правительственные инстанции в 1966 году с просьбами о смягчении участи Синявского и Даниэля, а также коллективное письмо против введения новых статей в Уголовный кодекс (190¹ и 190²), подписанные видными представителями интеллигенции (видимо, поэтому никаких заметных репрессий не было); демонстрация 22 января 1967 года на Пушкинской площади с требованием освобождения арестованных за несколько дней перед тем Галанскова, Добровольского, Лашковой и Радзиевского (участвовало около 30 человек, пятеро было арестовано и четверо осуждено на срок от 1 до 3 лет по нововведенной ст. 190² УК).

ученых — 45%
деятели искусства — 22 %
инженеров и техников — 13%
издательских работников,
учителей, врачей, юристов — 9%
рабочих — 6%
студентов — 5%¹

Если признать такой социальный расклад типичным для Движения, то получается, что его основную опору составляют академические круги. Однако ученые по самому своему роду работы, положению в нашем обществе и образу мышления представляются мне наименее способными к активному действию. Они охотно будут "размышлять", но крайне нежелательно действовать².

Далее видно, что в более широком плане основную опору Движения составляет интеллигенция. Но поскольку это слово носит слишком неопределенный характер, характеризует не столько положение человека в обществе и обозначает не столько какую-либо общественную группу, сколько способность отдельных представителей этой группы к интеллектуальной работе, то лучше я буду употреблять термин "средний класс".

Действительно, мы знаем, что во всех странах группа лиц со средними доходами, обладающая профессиями, требующими значительной подготовки, нуждается в своей деятельности в известной прагматической и интеллектуальной свободе и, как всякая имущая группа, в правопорядке. Тем самым она представляет основной слой общества, на который опирается любой демократический режим. Как я думаю, у нас в стране идет постепенное складывание такого класса, который можно еще назвать "классом специалистов". Ведь чтобы существовать и играть активную роль, режим должен был все послевоенное время развивать экономику страны и науку, которая в современном обществе принимает все более массовый характер, что и породило этот многочисленный класс. К нему принадлежат люди, обеспечившие себе и своим семьям

¹ В абсолютных числах это выглядит так: ученых — 314 (докторов — 35, кандидатов — 94, без степеней — 185); деятелей искусства — 157 (членов официальных союзов — 90, не членов — 67); издательских работников, учителей, врачей, юристов — 65 (редакторов — 14, служащих — 14, учителей — 15, врачей — 9, юристов — 3, лиц тех же профессий, вышедших на пенсию — 7, мастер спорта — 1, священник — 1, председатель колхоза — 1); рабочих — 40, студентов — 32. Подсчет этот, впрочем, носит не всегда достоверный характер и потому приближен. Я произвел его по "Процессу четырех" — сборнику документов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой, составленному и прокомментированному Павлом Литвиновым. Я учитывал каждого человека только один раз, вне зависимости от того, под сколькими заявлениями или протестами он подписался. Я думаю, что если подсчитать число подписавших в се заявления и письма с требованием соблюдения законности, начиная с писем по делу Синявского и Даниэля (1966 г.) и кончая протестом против ареста генерала Григоренко (1969 г.), то оно окажется более тысячи (учитывая людей, а не подписи).

² Я имею в виду, что научная работа требует, как правило, большой отдачи сил и полной сосредоточенности, привилегированное положение в обществе предохраняет от рискованных шагов, а воспитанное наукой мышление носит скорее умозрительный, чем прагматический характер. Хотя рабочие представляют сейчас гораздо более консервативную и пассивную группу, чем ученые, я вполне могу себе представить через несколько лет крупные забастовки на заводах, но вот забастовку в каком-либо научно-исследовательском институте вообразить себе не могу.

относительно высокий, по советским меркам, уровень жизни¹, обладающие профессией, дающей им уважаемое место в обществе, известной культурой² и способностью более или менее здраво оценивать свое положение и положение общества в целом. Сюда относятся лица свободных профессий (как писатели и артисты), лица, занятые научной и научно-административной работой, лица, занятые управленческой работой в экономической области, и т. д., то есть как я уже сказал, это "класс специалистов". По-видимому, этот класс сам начинает уже осознавать свое единство и заявлять о себе³.

Таким образом, есть влиятельный класс, или слой, на который могло бы, как кажется, опереться демократическое движение, однако имеются по крайней мере три взаимосвязанных фактора, которые будут сильно противодействовать этому.

Два из них сразу бросаются в глаза. Во-первых, проводимое десятилетиями планомерное устранение из жизни общества наиболее независимых и активных его членов наложило отпечаток серости и посредственности на все слои общества — и это не могло не отразиться на заново формирующемся "среднем классе"⁴. Во-вторых, для той части этого класса, которая наиболее ясно осознает необходимость демократических перемен, в то же время наиболее характерна самоспасительная мысль, что "все равно ничего не поделаешь", "стену лбом не прошибешь", т. е. своего рода культ собственного бессилия по сравнению с силой режима. Третий фактор не столь явственен, но очень любопытен.

Как известно, в любой стране наиболее не склонный к переменам и вообще к каким-либо самостоятельным действиям слой составляют государственные чиновники. И это естественно, так как каждый чиновник сознает себя слишком незначительным по сравнению с тем аппаратом власти, всего лишь деталью которого он является, для того чтобы требовать от него каких-то перемен. С другой стороны, с него снята всякая общественная ответственность: он выполняет приказы, поскольку это его работа. Таким образом, у него всегда может быть чувство выполненного долга, хотя бы он и делал вещи, которые, будь его воля, делать бы не стал⁵. Для чиновника понятие работы вытеснено понятием "службы". На своем посту — он автомат, вне поста — он пассивен. Психология чиновника поэтому самая удобная как для власти, так и для него самого.

В нашей стране, поскольку мы все работаем на государство, у всех психология чиновников — у писателей, состоящих членами Союза писате-

¹ Регулярную хорошую пищу, хорошую одежду, кооперативную квартиру с хорошей обстановкой и иногда даже автомобиль, и, разумеется, какие-то развлечения.

² Например, способность слушать серьезную музыку, или интересоваться живописью, или регулярно ходить в театр.

³ Это опять же видно из анализа авторов и участников различного рода петиций и протестов по делу Галанскова—Гинзбурга. Я не хочу тем самым, конечно, сказать, что весь "средний класс" стал на защиту двух "отщепенцев", а только, что некоторые представители этого класса уже ясно осознали необходимость правопорядка и стали, с опасностью для себя лично, требовать его от режима.

⁴ Это устранение как в форме эмиграции и высылки из страны, так и тюремного заключения и физического уничтожения коснулось всех слоев нашего народа.

⁵ С другой стороны, тот, кто издает приказы, тоже лишается чувства ответственности, поскольку нижестоящий слой чиновников рассматривает эти приказы уже как "хорошие", раз они исходят сверху, и это порождает у властей иллюзию, что все, что они делают,— хорошо.

лей, ученых, работающих в государственном институте, рабочих или колхозников в такой же степени, как и у чиновников КГБ или МВД¹. Разумеется, так называемый "средний класс" не только не представляет исключения в этом отношении, но для него, как я думаю, эта психология в силу его социальной срединности как раз наиболее типична. А многие члены этого класса попросту являются функционерами партийного и государственного аппарата, и они смотрят на режим как на меньшее зло по сравнению с болезненным процессом его изменения.

Таким образом, мы сталкиваемся с интересным явлением. Хотя в нашей стране уже есть социальная среда, которой могли бы стать понятны принципы личной свободы, правопорядка и демократического управления, которая в них практически нуждается и которая уже составляет зарождающееся демократическому движению основной контингент участников, однако в массе эта среда столь посредственна, ее мышление столь "очиновлено", а наиболее в интеллектуальном отношении независимая ее часть так пассивна, что успехи демократического движения, опирающегося на этот социальный слой, представляются мне весьма проблематичными.

Но следует сказать, что этот "парадокс среднего класса" соединяется любопытным образом с "парадоксом режима". Как известно, режим претерпел очень динамичные внутренние изменения в предвоенное пятилетие, однако в дальнейшем регенерация бюрократической элиты шла уже бюрократическим путем отбора наиболее послушных и исполнительных. Этот бюрократический "противоестественный отбор" наиболее послушных старой бюрократии, вытеснение из правящей касты наиболее смелых и самостоятельных порождал с каждым разом все более слабое и нерешительное новое поколение бюрократической элиты. Привыкнув беспрекословно подчиняться и не рассуждать, чтобы прийти к власти, бюрократы, наконец получив власть, превосходно умеют ее удерживать в своих руках, но совершенно не умеют ею пользоваться. Они не только сами не умеют придумать ничего нового, но и вообще всякую новую мысль рассматривают как покушение на свои права. По-видимому, мы уже достигли той мертвой точки, когда понятие власти не связывается ни с доктриной, ни с личностью вождя, ни с традицией, а только с властью как таковой: ни за какой государственной институцией или долж-

¹ Отсюда многие явные и неявные протесты в СССР принимают характер недовольства младшего клерка тем, как к нему относится старший. Особенно наглядно это видно на примере некоторых писателей, имена которых употребляются на Западе как эталон "советского либерализма". Они склонны рассматривать свои права и обязанности не как прежде всего права и обязанности писателя, а как права и обязанности "чиновников по литературной части", пользуясь выражением одного из героев Достоевского. Так, после известного письма Солженицына о положении советских писателей московский корреспондент "Дейли телеграф" г-н Миллер в частной беседе спросил известного советского поэта, намерен ли он присоединиться к протесту Солженицына. Тот ответил отрицательно. "Поймите, — скажет он, — положение писателя — это наше внутреннее дело, это вопрос наших взаимоотношений с государством". То есть он рассматривал все не как вопрос писательской совести и морального права и обязанности писателя писать то, что он думает, а как вопрос внутрислужебных отношений советского "литературного ведомства". Он тоже протестует, но он протестует как мелкий чиновник — не против ведомства как такового, а против слишком низкой заработной платы или слишком грубого начальника. Конечно, это "внутреннее дело" — и оно не должно интересовать тех, кто к этому ведомству не относится. Этот любопытный разговор произошел в одном из московских валютных магазинов.

ностью не стоит ничего иного, как только сознание того, что эта должность — необходимая часть сложившейся системы. Естественно, что единственной целью подобного режима, во всяком случае во внутренней политике, должно быть самосохранение¹. Так оно и есть. Режим не хочет ни “реставрировать сталинизм”, ни “преследовать представителей интеллигенции”, ни “оказывать братскую помощь” тем, кто ее не просит. Он только хочет, чтобы все было по-старому: признавались авторитеты, по-малкивала интеллигенция, не расшатывалась система опасными и непривычными реформами. Режим не нападает, а обороняется. Его девиз: не троньте нас, и мы вас не тронем. Его цель: пусть все будет, как было. Пожалуй, это самая гуманная цель, которую ставил режим за последнее столетие, но в то же время и наименее увлекательная.

Таким образом, пассивному “среднему классу” противостоит пассивная бюрократическая элита. Впрочем, сколь бы пассивна она ни была, ей-то как раз менять ничего не надо, и в теории она может продержаться очень долго, отделяясь самыми незначительными уступками и самыми незначительными репрессиями.

Понятно, что такое квазистабильное состояние режима нуждается в определенном правовом оформлении, основанном или на молчаливом понимании всеми членами общества, что от них требуется, или же на писаном законе. Во времена Сталина и даже Хрущева была идущая сверху и всеми ощущаемая тенденция, которая позволяла всем чиновникам безошибочно руководствоваться конъюнктурными соображениями (подкрепленными, впрочем, инструкциями), а всем остальным понимать, что от них хотят. При этом существовала декорация законов, из которых каждый раз брали лишь то, что было нужно в данный момент. Но постепенно и “сверху” и “снизу” стало замечаться стремление к более устойчивым — “писаным” — нормам, чем это “молчаливое соглашение”, и это стремление создало довольно неопределенную ситуацию.

Необходимость правопорядка стала ощущаться “наверху” уже в период ограничения роли госбезопасности и массовых реабилитаций. За десятилетие (1954 — 1964 гг.) проводилась постепенная, весьма, впрочем, медленная работа как в области формально-законодательной, так и в области практического применения законов, что выразилось как в подписании ряда международных конвенций и попытке некоего согласования советского законодательства с международными правовыми нормами, так и в обновлении следственных и судебных кадров. Это и без того медленное движение в сторону правопорядка крайне затруднялось тем, что, во-первых, власть сама из тех или иных соображений текущей политики издавала указы и распоряжения, находящиеся в прямом противоречии с только что подписанными международными конвенциями и одобренными основами советского законодательства², во-вторых, замена кадров проводилась крайне ограниченно и непоследовательно и стал-

¹ Которое понимается уже как самосохранение бюрократической элиты, ибо для того, чтобы удержаться режиму, он должен меняться, а для того, чтобы удержаться самим, все должно оставаться неизменным. Это видно, в частности, на примере так затянута проводимой “экономической реформы”, в общем-то так нужной режиму.

² Например, принятие в 1961 году не внесенного в Уголовный кодекс указа о пятилетней ссылке с принудительным трудоустройством для лиц без постоянной работы или расширение меры наказания за валютные операции вплоть до расстрела, с фактическим приданием этому указу обратной силы.

квивалась с нехваткой достаточного числа практических работников с пониманием идеи правопорядка, в-третьих, сословный эгоизм практических работников заставлял их противиться всему, что могло бы как-то ограничить их влияние и покончить с их исключительным положением в обществе, в-четвертых, сама идея правопорядка не имела почти никаких корней в советском обществе и находилась в явном противоречии с официально провозглашенными доктринами “классового” подхода ко всем явлениям.

Хотя, таким образом, начатое “сверху” движение к правопорядку постепенно увязало в бюрократической трясине, внезапно голоса о необходимости соблюдения законов раздалась “снизу”. Действительно, “средний класс” — единственный в советском обществе, кому была и понятна, и нужна идея правопорядка, — стал, хотя и весьма робко, требовать, чтобы с ним обращались не в зависимости от текущих нужд режима, а на “законной основе”. Тут обнаружилось, что в советском праве существует, если можно так сказать, широкая “серая полоса” — вещей, формально законом не запрещенных, но на практике считавшихся запретными¹. Теперь очевидны две тенденции: тенденция режима “зачернить” эту полосу (путем дополнений к Уголовному кодексу, проведения “показательных процессов”, дачи инструктивных указаний практическим работникам) и тенденция “среднего класса” “разбелить” ее (просто-напросто делая те вещи, которые ранее считались невозможными, и постоянно ссылаясь на их “законность”). Все это ставит режим в довольно сложное положение, особенно если учесть, что идея правопорядка начнет проникать и в остальные слои общества: с одной стороны, в интересах стабилизации режим теперь все время вынужден считаться со своими собственными законами, с другой, он все время вынужден их нарушать, чтобы противоборствовать тенденции демократизации².

¹ Например, общение советских граждан с иностранцами, занятие немарксистской философией и несоцреалистическим искусством, попытка издания каких-либо литературных машинописных сборников, устная и писаная критика не системы в целом, что предусмотрено ст. ст. 70 и 190¹ УК РСФСР, а лишь отдельных учреждений системы и т. д.

² Это породило два таких любопытных явления, как массовые внесудебные репрессии и выборочные судебные. Ко внесудебным репрессиям прежде всего следует отнести увольнение с работы и исключение из партии: например, в течение одного месяца было уволено свыше 15% всех лиц, подавших разного рода петиции с требованием соблюдения законности на процессе Галанскова — Гинзбурга, и почти все члены КПСС исключены из партии. Выборочные судебные репрессии имеют целью запугать всех тех, кто в равной степени мог бы им подвергнуться, поэтому человек, совершивший с точки зрения режима даже более криминальные поступки, может остаться на свободе, тогда как человек менее виновный сест в тюрьму, если его осуждение требует меньших бюрократических усилий или по конъюнктурным соображениям представляется более желательным. Характерный пример: суд над московским инженером Ириной Белогородской (январь 1969 г.). Она обвинялась в “покушении на распространение” подписавшим судом “антисоветским” воззвания в защиту политзаключенного Анатолия Марченко и осуждена на 1 год. Вместе с тем авторы этого воззвания, публично заявившие, что они его составили и распространяли, даже не были вызваны в суд как свидетели. Также получает все более широкое распространение такая омерзительная репрессивная мера, как принудительное помещение в психиатрическую больницу. Оно применяется как к лицам с легким психическим расстройством, не нуждающимся в госпитализации и принудительном лечении, так и к совершенно здоровым людям. Как мы теперь видим, существование “сталинизма без насилия” по мере выветривания в людях страха перед прежним насилием неизбежно приводит к насилию новому: сначала “выборочным репрессиям” против недовольных, затем “мягким” массовым репрессиям, а что затем?

Все-таки, оглядываясь на прошедшие пятнадцать лет, надо сказать, что процесс правовой формализации шел, хотя и медленно, но непрерывно и зашел так далеко, что повернуть его вспять обычными бюрократическими методами будет трудно. Можно задуматься, является ли этот процесс частным выражением якобы происходящей, или, во всяком случае, до недавнего времени происходившей, либерализации существующего в нашей стране режима. Ведь известно, что эволюция нашего государства и общества происходила и происходит не только в области права, но также в экономической области, в области культуры и т.д.

Действительно, сейчас не только каждый советский гражданин чувствует себя в большей безопасности и располагает большей личной свободой, чем 15 лет назад, но и руководитель отдельного промышленного предприятия имеет право сам решать ряд вопросов, которые раньше от него не зависели, и писатель или режиссер стеснены в своем творчестве уже гораздо более широкими рамками, чем раньше, и то же наблюдается почти во всех областях нашей жизни. Это породило еще одну идеологию в обществе, пожалуй самую распространенную, которую можно назвать "идеологией реформизма". Она основана на том, что путем постепенных изменений и частных реформ, замены старой бюрократической элиты новой, более интеллигентной и здравомыслящей, произойдет своего рода "гуманизация социализма" и вместо неподвижной и несвободной системы появится динамичная и либеральная. Иными словами, эта теория основана на том, что "разум победит" и "все будет хорошо", и поэтому она так популярна в академических кругах и вообще среди тех, кому и сейчас неплохо и кто поэтому надеется, что и другие поймут, что быть сытым и свободным лучше, чем голодным и несвободным. Я думаю, что такой наивной точкой зрения объясняются и все американские надежды, связанные с СССР¹. Однако мы знаем, что история, в частности русская история, отнюдь не была непрерывным торжеством разума, и вся челове-

¹ Я хочу привести здесь небольшой, но характерный пример со своим другом Анатодем Шубом, бывшим корреспондентом "Вашингтон пост" в Москве. В конце марта он сказал мне, что, по его мнению, положение режима настолько сложно и трудно, что, по всей видимости, в апреле будет пленум ЦК КПСС, на котором если и не произойдет решающая смена руководства, то, во всяком случае, будет взят более умеренный и благоразумный курс. Поэтому он хочет проявлять до пленума максимальную осторожность, чтобы не оказаться последним американским корреспондентом, высланным из Москвы до либеральных перемен. Однако никаких перемен в апреле не произошло — если не считать перемен в Чехословакии, — а Анатоль Шуб был благополучно выслан из Москвы в мае.

Конечно, Анатоль Шуб — один из американцев, наиболее здраво оценивающих советскую действительность, и быть может, у него были какие-то основания предполагать, что в апреле будет пленум. Однако он проявил ту же излишнюю американскую веру в "разумные перемены", которые, очевидно, возможны только там, где жизнь с самого начала строится хотя бы частично на разумных основаниях.

Помимо веры в разум, американцы, как кажется, верят и в то, что постепенный рост благосостояния и, так сказать, "культурно-бытовая" диффузия Запада постепенно преобразят советское общество, что иностранные туристы, джазовые пластинки и мини-юбки будут способствовать созданию "гуманного социализма". Быть может, у нас и будет "социализм" с открытыми коленками, но отнюдь не социализм с человеческим лицом. Мне кажется, что рост бытовой культуры и экономического благосостояния сам по себе не предохраняет от насилия и не устраняет его, чему пример такие развитые страны, как нацистская Германия. Насилие — всегда насилие, но в каждой отдельной стране оно имеет свои специфические черты, и правильно понять причины, которые его породили и которые могут привести к его концу, можно только в историческом контексте каждой страны.

ческая история вовсе не означала постепенного прогресса. Однако, по моему мнению, дело даже не в том, что степень свободы, которой мы пользуемся, все еще является минимальной по сравнению с той, которая нужна для развитого общества, и что процесс этой либерализации не только не ускоряется все время, но даже временами явственно замедляется, искажается и идет назад, а в том, что сама природа этого процесса заставляет сомневаться в его конечном успехе. Казалось бы, либерализация предполагает некий сознательный план, постепенно проводимый сверху путем реформ или иных мероприятий, для того чтобы приспособить нашу систему к современным условиям и привести ее к коренному обновлению. Как мы знаем, никакого плана не было и нет, никаких коренных реформ не проводилось и не проводится, а есть лишь отдельные несвязанные попытки как-то "заткнуть дыры" путем разного рода "перестроек" бюрократического аппарата¹. С другой стороны, либерализация могла бы быть "стихийной": быть результатом постоянных уступок режима обществу, которое имело бы свой план либерализации, и постоянных попыток режима приспособиться к бурно изменяющимся условиям во всем мире, иными словами режим был бы саморегулирующейся системой². Однако мы видим, что и этого нет: режим считает себя совершенством и поэтому сознательно не хочет меняться ни по доброй воле, не тем более уступая кому-то и чему-то. Происходящий процесс "увеличения степеней свободы" правильнее всего было бы назвать процессом дряхления режима. Просто-напросто режим стареет и уже не может подавлять все и вся с прежней силой и задором: меняется состав его элиты: усложняется характер жизни, в которой режим ориентируется уже с большим трудом; меняется структура общества. Можно представить себе аллегорическую картинку: один человек стоит в напряженной позе, подняв руки вверх, а другой в столь же напряженной позе, уперев ему автомат в живот. Конечно, слишком долго они так не простоят: и второй устанет и чуть опустит автомат, и первый воспользуется этим, чтобы немножко опустить руки и чуть поразмяться³. Но если считать происходящую "либерализацию" не обновлением, а дряхлением режима, то ее логическим результатом будет его смерть, за которой последует анархия.

Если, таким образом, рассматривать эволюцию режима по аналогии с возрастанием энтропии, то Демократическое движение, с анализа которого я начал свою статью, можно было бы считать антиэнтропическим явлением. Конечно, можно надеяться — а так оно, вероятно, и будет, — что зарождающееся движение, несмотря на репрессии, сумеет стать влиятельным, выработает достаточно определенную программу, найдет нужную структуру и приобретет многочисленных сторонников. И вместе с тем, как я думаю, его социальная опора — "средний класс", точнее, даже часть его — слишком слаба и внутренне противоречива, чтобы Движение когда-либо смогло вступить в настоящее единоробство с режимом или, в слу-

¹ Так называемая "экономическая реформа", о которой я говорил уже выше, сама по себе половинчата, а на деле саботируется партаппаратом, поскольку логическое доведение подобной реформы до конца ему непосредственно угрожает.

² Об изменении условий правящей элите все время сигнализировали бы трудности во внешней и внутренней политике, экономические трудности и т.д.

³ Сейчас мы видим все большую тягу к спокойной жизни и комфорту и даже своего рода "культ комфорта" во всех слоях общества, прежде всего в его верхних и средних слоях.

чае самоликвидации режима или его падения в результате массовых беспорядков, стать силой, которая сумела бы организовать общество по-новому. Но, быть может, Демократическое движение сумеет найти себе более широкую опору в народе?

Ответить на этот вопрос очень трудно, хотя бы уже потому, что никто, в том числе и бюрократическая элита, толком не знает, какие настроения существуют в широких слоях народа¹. Как мне кажется, эти настроения правильнее всего было бы назвать "пассивным недовольством". Недовольство это направлено не против режима в целом — над этим большинство народа просто не задумывается или же считает, что иначе быть не может — но против частных сторон режима, которые тем не менее есть необходимые условия его существования. Рабочих, например, раздражает их бесправность перед заводской администрацией, колхозников — полная зависимость от председателя (который сам полностью зависит от районного начальства), всех — сильное имущественное неравенство, низкие заработки, тяжелые жилищные условия, нехватка или отсутствие товаров первой необходимости, насильственное прикрепление к месту жительства или работы и т.д. Теперь это недовольство начинает проявляться все громче, к тому же многие уже начинают задумываться: кто же, собственно, виноват? Постепенное, хотя и медленное повышение жизненного уровня, прежде всего благодаря интенсивному жилищному строительству, этого раздражения не снимает, но как-то нейтрализует. Однако ясно, что резкое замедление роста благосостояния, остановка или движение вспять вызвали бы такие сильные вспышки раздражения, связанного с насилием, какие раньше были бы невозможны². Поскольку режиму, в силу его окостенелости, все с большим трудом будет даваться увеличение производства, то очевидно, что уровень жизни многих слоев нашего общества может оказаться под угрозой. Какие же формы примет тогда народное недовольство — форму легального демократического сопротивления или экстремистскую форму вспышек одиночных и массовых насилий?

Как я думаю, никакая идея не может получить практического осуществления, если она уже не была хотя бы понята большинством народа. Русскому народу, в силу ли его исторических традиций или еще чего-либо, почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы — и связанной с этим ответственности. Даже в идее прагматической свободы средней русский человек увидит не возможность для себя хорошо устроиться в жизни, а опасность, что какой-то ловкий человек хорошо устроится за его счет. Само слово "свобода" понимается большинством народа как синоним слова "беспорядок",

¹ Конечно, КГБ поставляет бюрократической элите полученную своими специфическими методами информацию о настроениях страны — и она, видимо, отличается от картины, ежедневно рисуемой газетами. Однако можно только гадать, насколько и информация КГБ адекватна действительности. Парадоксально, что режим тратит сначала колоссальные усилия, чтобы заставить всех молчать, а затем тратит усилия, чтобы узнать, что же все-таки люди думают и чего они хотят.

² Этим, по моему мнению, объясняется то обстоятельство, что режим не решился произвести намеченное на начало 1969 года резкое повышение цен на ряд продуктов, предпочитая этому своего рода ползучую инфляцию. К каким последствиям может привести резкое повышение цен, режим мог убедиться на примере "голодного бунта" в Новочеркасске после повышения Хрущевым цен на мясные и молочные продукты.

как возможность безнаказанного свершения каких-то антиобщественных и опасных поступков. Что касается уважения прав человеческой личности как таковой, то это вызовет просто недоумение. Уважать можно силу, власть, наконец, даже ум или образование, но что человеческая личность сама по себе представляет какую-то ценность — это дико для народного сознания. Мы как народ не пережили европейского периода культа человеческой личности, личность в русской истории всегда была средством, но никак не целью. Парадоксально, что само понятие "период культа личности" стал у нас означать период такого унижения и подавления человеческой личности, которого даже наш народ не знал ранее. Вдобавок постоянно ведется пропаганда, которая всячески стремится противопоставить "личное" — "общественному", явно подчеркивая всю ничтожность первого и величие последнего. Отсюда всякий интерес к "личному" — естественный и неизбежный — приобрел уродливые эгоистические формы.

Значит ли это, что народ не имеет никаких позитивных идей, кроме идеи "сильной власти" — власти, которая права, потому что сильна, и которой поэтому не дай Бог ослабеть?! У русского народа, как это видно и из его истории, и из его настоящего, есть, во всяком случае, одна идея, кажущаяся позитивной: это идея *справедливости*. Власть, которая все думает и делает за нас, должна быть не только сильной, но и справедливой, все жить должны по справедливости, поступать по совести. За это можно и на костре сгореть, а отнюдь не за право "делать все, что хочешь"! Но при всей кажущейся привлекательности этой идеи она, если внимательно посмотреть, что за ней стоит, представляет наиболее деструктивную сторону русской психологии. "Справедливость" на практике оборачивается желанием, "чтобы никому не было лучше, чем мне"¹. Эта идея оборачивается ненавистью ко всему из ряда вон выходящему, чему стараются не подражать, а наоборот — заставить быть себе подобным, ко всякой инициативе, ко всякому более высокому и динамичному образу жизни, чем живем мы. Конечно, наиболее типична эта психология для крестьян и наименее — для "среднего класса". Однако крестьяне и вчерашние крестьяне составляют подавляющее большинство нашей страны².

Таким образом, обе понятные и близкие народу идеи — идея силы и идея справедливости — одинаково враждебны демократическим идеям, основанным на индивидуализме. К этому следует добавить еще три негативных взаимосвязанных фактора. Во-первых, все еще очень низкий культурный уровень большей части нашего народа, в частности в области бытовой культуры. Во-вторых, господство массовых мифов, усиленно распространяемых через средства массовой информации. И в-третьих, сильную социальную дезориентацию большей части нашего народа. "Пролетаризация" деревни породила "странный класс" — не крестьян и не

¹ Но это не пресловутая "уровниловка", так как охотно мирятся с тем, чтобы многим было хуже.

² Как я мог видеть, многие крестьяне болезненнее переживают чужой успех, чем собственную неудачу. Вообще, если средний русский человек видит, что он живет плохо, а его сосед хорошо, он думает не о том, чтобы самому постараться устроиться так же хорошо, как и сосед, а о том, чтобы как-то так устроить, чтобы и соседу пришлось так же плохо, как и ему самому. Кому-то, может быть, эти мои рассуждения могут показаться очень наивными, но я мог наблюдать примеры этому десятки раз как в деревне, так и в городе и вижу в этом одну из характерных черт русской психологии.

рабочих, с двойной психологией собственников своих микрохозяйств и батраков гигантского анонимного предприятия. Кем сама осознает себя эта масса и чего она хочет, никому, я думаю, не известно. Далее, колоссальный отлив крестьянской массы из деревни в город породил и новый тип горожанина: человека, разорвавшего со своей старой средой, старым бытом и культурой и с большим трудом обретающего новые, чувствующего себя в них очень неуютно, одновременно запуганного и агрессивного. Тоже совершенно непонятно, к какому социальному слою он сам себя относит.

Если старые формы уклада как в городе, так и в деревне окончательно разрушены, то новые только складываются. “Идеологическая основа”, на которой они складываются, весьма примитивна: это стремление к материальному благополучию (с западной точки зрения весьма относительному) и инстинкт самосохранения, т.е. понятию “выгодно” противостоит понятие “опасно”. Трудно понять, имеются ли у большинства нашего народа, помимо этих чисто материальных, какие-либо нравственные критерии — понятия “честно” и “нечестно”, “хорошо” и “плохо”, “добро” и “зло”, якобы извечно данные, которые являются сдерживающим и руководящим фактором, когда рушится механизм общественного принуждения и человек предоставлен самому себе. У меня сложилось впечатление, быть может неверное, что таких нравственных критериев у народа нет или почти нет. Христианская мораль с ее понятиями добра и зла выбита и выветрена из народного сознания, делались попытки заменить ее “классовой” моралью, которую можно сформулировать примерно так: хорошо то, что в настоящий момент требуется власти. Естественно, что такая мораль, а также насаждение и разжигание классовой и национальной розни совершенно деморализовали общество и лишили его каких-либо несиюминутных нравственных критериев¹.

Так же христианская идеология, вообще носившая в России полужизнический и вместе с тем служебно-государственный характер², отмерла, не заменившись идеологией марксистской. “Марксистская доктрина” слишком часто кроилась и перекраивалась для текущих нужд, чтобы стать живой идеологией. Сейчас, по мере все большей бюрократизации режима, происходит все большая его дезидеологизация. Потребность же в какой-то идеологической основе заставляет режим искать новую идеологию, а именно — великорусский национализм с присущим ему культом силы и экспансионистскими устремлениями³. Режиму с такой идеологией необ-

¹ Как один из примеров этого можно привести необычайное распространение бытового воровства (наряду с сокращением воровства профессионального). Вот один из типичных эпизодов: двое молодых рабочих шли куда-то в гости, проходя по улице, заметили, что одно из окон на первом этаже раскрыто, залезли и вытащили какие-то пустяки. А будь это случайно замеченное окно закрыто, они так и шли бы себе мимо. Видишь постоянно, как люди входят в дом, не здороваясь, едят, не снимая шапок, матерятся при своих же маленьких детях. Все это — норма поведения, а отнюдь не исключение.

² Здесь нет места говорить об этом, но заслуживает внимания и то, что Россия заимствовала христианство не у динамичной и развивающейся молодой западной цивилизации, а у законстеновшей и постепенно умирающей Византии, и это обстоятельство не смогло не наложить глубокий след на дальнейшую русскую историю.

³ Нечто подобное происходило и в начале нашего века, когда традиционная монархическая идеология заменялась узко националистической, царский режим даже ввел в обиход выражение “истинно русские люди” в отличие от просто русских и инспирировал создание “Союза русского народа”.

ходимо иметь внешних и внутренних врагов уже не “классовых” — например, “американских империалистов” и “антисоветчиков”, — а национальных, например китайцев и евреев. Однако подобная националистическая идеология, хотя и даст режиму опору на какое-то время, представляется весьма опасной для страны, в которой русские составляют менее половины населения¹.

Итак, во что же верит и чем руководствуется этот народ без религии и без морали? Он верит в собственную национальную силу, которую должны бояться другие народы², и руководствуется сознанием силы своего режима, которую боится он сам. При таком взгляде нетрудно понять, какие формы будет принимать народное недовольство и во что оно выльется, если режим изживет сам себя. Ужасы русских революций 1905—1907 и 1917—1920 годов покажутся тогда просто идиллическими картинками.

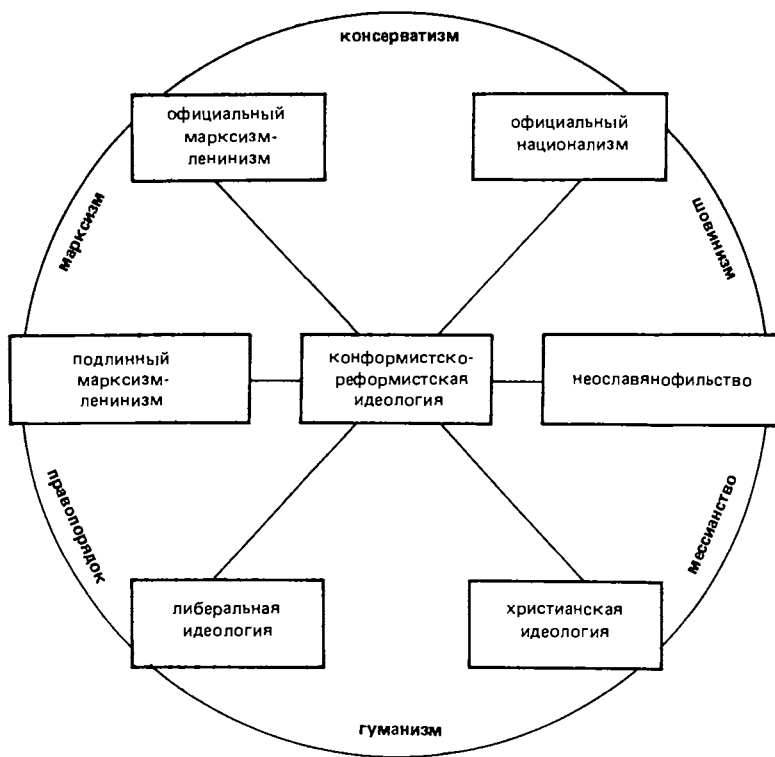
Конечно, есть и противовес этим разрушительным тенденциям. Сейчас советское общество можно сравнить со своего рода трехслойным пирогом — с правящим бюрократическим верхним слоем; средним слоем, который мы называли выше “средним классом”, или “классом специалистов”; и наиболее многочисленным нижним слоем — рабочими, колхозниками, мелкими служащими, обслуживающим персоналом и т.д. От того, насколько быстро пойдет рост “среднего класса” и его самоорганизация — быстрее или медленнее, чем разложение системы, — от того, насколько быстро средняя часть пирога будет увеличиваться за счет остальных, зависит, сумеет ли советское общество перестроиться мирным и безболезненным путем и пережить предстоящие ему катаклизмы с наименьшими жертвами.

При этом следует заметить, что есть еще один мощный фактор, противоборствующий всякой мирной перестройке и одинаково негативный для всех слоев общества: это крайняя изоляция, в которую режим поставил общество и сам себя. Это не только изоляция режима от общества и всех слоев общества друг от друга, но прежде всего крайняя изоляция

¹ Потребность в живой националистической идеологии не только все больше ощущается режимом, но подобная идеология уже формируется в обществе, прежде всего в официальных литературных и художественных кругах (где она, видимо, возникла как реакция на значительную роль евреев в советском официальном искусстве), однако она распространяется и в более широких слоях, где имеет своего рода центр — клуб “Родина”. Эту идеологию условно можно назвать “неославянофильской” (не путая ее с отчасти проникнутой славянофильством “христианской идеологией”, о которой мы говорили раньше) — для нее характерен интерес к русской самобытности, вера в мессианскую роль России, а также крайнее пренебрежение и вражда ко всему нерусскому. Поскольку эта идеология не была непосредственно инспирирована режимом, а возникла спонтанно, режим относится к ней с некоторым недоверием (примером чему может служить запрещение фильма “Андрей Рублев” режиссера А. Тарковского), однако с большой терпимостью — и в любой момент она может выйти на авансцену.

Учитывая, что я ранее говорил об идеологиях в современном советском обществе и их отношении друг к другу, можно составить такую примитивную и условную, но занятую схему.

² Естественно, что большинство народа одобрило или отнеслось безразлично к введению советских войск в Чехословакию и, наоборот, болезненно переживало “безнаказанность” китайцев во время мартовских столкновений на реке Уссури.



страны от остального мира. Она порождает у всех — начиная от бюрократической элиты и кончая самыми низшими слоями — довольно сюрреальную картину мира и своего положения в нем. Но, однако, чем более такое состояние способствует тому, чтобы все оставалось неизменным, тем скорее и решительнее все начнет расползаться, когда столкновение с действительностью станет неизбежным.

Резюмируя, можно сказать, что по мере все большего ослабления и самоуничтожения режима ему придется сталкиваться — и уже есть явные признаки этого — с двумя разрушительно действующими по отношению к нему силами: конструктивным движением "среднего класса" (довольно слабым) и деструктивным движением "низших" классов, которое выразится в самых разрушительных, насильственных и безответственных действиях, как только эти слои почувствуют свою относительную беззащитность. Однако как скоро режиму предстоят подобные потрясения, как долго еще сможет он продержаться?

По-видимому, этот вопрос может быть рассмотрен двояко: во-первых, если сам режим предпримет какие-то решительные и кардинальные меры по самообновлению и, во-вторых, если он пассивно будет идти на минимум изменений, чтобы сохранить свое совершенство, как это происходит сейчас. Мне кажется более вероятным второй путь, поскольку он требует от режима меньших усилий, кажется ему менее опасным и отвечает сладким иллюзиям современных "кремлевских мечтателей". Однако теоретически возможны и какие-то мутации режима: например, военизация режима и переход к откровенно националистической политике (это могло бы произойти путем военного переворота или же постепенного перехода власти к армии)¹ или же, наоборот, экономические реформы и связанная с этим относительная либерализация режима (это могло бы произойти путем усиления в руководстве роли прагматиков-экономистов, понимающих необходимость изменений). Оба эти варианта не кажутся невероятными, однако партаппарат, против которого, в сущности, были бы направлены оба переворота, настолько разращен как с армией, так и с экономическими кругами, что обе эти упряжки, даже рванув вперед, быстро бы увязли в том же самом болоте. Всякая существенная перемена означала бы сейчас персональные замены сверху донизу, поэтому понятно, что лица, олицетворяющие режим, никогда на это не пойдут: сохранить режим ценой самоустранения покажется им слишком дорогой и несправедливой платой.

Говоря о том, как долго сможет просуществовать режим, любопытно провести некоторые исторические параллели. Сейчас, пожалуй, существуют, во всяком случае, некоторые из условий, вызвавших в свое время как первую, так и вторую русские революции: кастовое, немобильное общество; ооченелость государственной системы, вступившей в явный конфликт с потребностями экономического развития; обюрокрачивание системы и создание привилегированного бюрократического

¹ То есть к политике уже без всяких попыток прикрывать свои действия "интересами международного коммунистического движения" и тем самым как-то считаться с рядом независимых и полунезависимых компартий. Что же касается роли армии, то она непрерывно возрастает. Об этом может судить каждый, хотя бы сравнив соотношение военных и штатских на трибуне Мавзолея в дни демонстраций сейчас и пятнадцать лет назад.

класса; национальные противоречия в многонациональном государстве и привилегированное положение отдельных наций. И вместе с тем царский режим, по-видимому, просуществовал бы довольно долго и, возможно, претерпел бы какую-то мирную модернизацию, если бы правящая верхушка не оценивала общее положение и свои силы явно фантастически и не проводила бы внешнеэкспансионистской политики, вызвавшей перенапряжение. Действительно, не начни правительство Николая II войны с Японией, не было бы революции 1905–1907 годов, не начни оно войны с Германией, не было бы революции 1917 года¹. Отчего всякое внутреннее дряхление соединяется с крайней внешнеполитической амбициозностью, мне ответить трудно. Может быть, во внешних кризисах ищут выхода из внутренних противоречий. Может быть, наоборот, та легкость, с которой подавляется всякое внутреннее сопротивление, создает иллюзию всемогущества. Может быть, возникающая из внутривнутриполитических целей потребность иметь внешнего врага создает такую инерцию, что невозможно остановиться, — тем более что каждый тоталитарный режим дряхлеет, сам этого не замечая. Зачем Николаю I понадобилась Крымская война, приведшая к крушению созданного им строя? Зачем Николаю II понадобились войны с Японией и Германией? Существующий ныне режим странным образом соединяет в себе черты царствований как Николая I, так и Николая II, а во внутренней политике, пожалуй, и Александра III. Но лучше всего его сравнить с бонапартистским режимом Наполеона III. При таком сравнении Ближний Восток будет его Мексикой, Чехословакия — Папской областью, а Китай — его Германской империей.

II

Вопрос о Китае следует рассмотреть подробно. Китай, как и наша страна, пережил революцию и гражданскую войну и, как и мы, воспользовался марксистской доктриной для консолидации страны. Как и у нас, по мере развития революции марксистская доктрина становилась все в большей степени камуфляжем, который более или менее прикрывал национал-имперские цели. Обобщенно говоря, наша революция прошла три этапа: 1) интернациональный, 2) национальный, связанный с колоссальной чисткой старых кадров, и 3) военно-имперский, закончившийся установлением контроля над половиной Европы². Как мне кажется, китайская революция проходит те же этапы: интернациональный период сменился националистическим³, и, по логике событий, вслед за этим

¹ Строго говоря, не само оно начало обе эти войны, но оно сделало все, чтобы они начались.

² Затем началась “верхушечная революция” — переход от кровавого сталинского динамизма сначала к относительной стабильности, а затем к современному застою.

³ Заимствуя у нас даже терминологию, например введенный Сталиным термин “культурная революция”.

должна последовать внешняя экспансия.

Мне могут возразить, что Китай не хочет войны, что, несмотря на самый агрессивный тон, с 1949 года Китай своими действиями показал себя как миролюбивая, а не агрессивная держава. Однако это не так. Во-первых, логика внутреннего развития еще только подводит Китай к полосе внешних экспансий, во-вторых, уже ранее Китай показал свою агрессивность там, где не рассчитывал встретить сильного сопротивления, например в Индии¹. Но, действительно, создавалось впечатление, что Китай хотел бы достичь своих целей, не участвуя сам в глобальной войне, а стравив СССР с США, причем сам он смог бы выступить тогда в качестве арбитра и вершителя судеб мира. Этого Китаю достичь не удалось, и китайским руководителям уже давно это стало ясно; по-видимому, это приведет и уже приводит к полной переоценке китайской внешней политики.

Между тем неумолимая логика революции ведет Китай к войне, которая, как надеются китайские руководители, разрешит тяжелые экономические и социальные проблемы Китая² и обеспечит ему ведущее место в современном мире. И, наконец, в такой войне Китай будет видеть национальный реванш за вековые унижения и зависимость от иностранных держав. Основным препятствием для достижения этих мировых целей являются две современные сверхдержавы — СССР и США. Однако они совместно не противостоят Китаю и сами находятся в антагонистических отношениях. Разумеется, Китай учитывает это. Китай одинаково нападает на словах как на “американский империализм”, так и на “советский ревизионизм, социал-империализм”, однако реальные противоречия и возможности прямого столкновения у Китая гораздо больше с Советским Союзом.

Если США сами не начнут войну с Китаем — а они ее не начнут, — то Китай в ближайшие десятилетия просто не сумеет этого сделать. Он лишен сухопутной границы с США, чтобы использовать свое численное преимущество и применить методы партизанской войны, а также у него нет флота для высадки экспедиционной армии. Ракетно-ядерная дуэль — при условии, что Китай в течение десяти лет накопит достаточный ракетно-ядерный потенциал, — приведет к взаимному уничтожению, что Китай совершенно не устраивает. Кроме того, Китай в первую очередь заинтересован в расширении своего влияния и приобретении территорий в Азии, а не на Северо-американском континенте. Другое дело, сможет ли он получить свободу действий в Азии, пока США сохраняют свою мощь. По-видимому, США во всех случаях попытаются помешать Китаю расширить значительно свое влияние к югу, что может привести к изнурительным локальным войнам, вроде вьетнамской. Но едва ли Китай будет заинтересован в ведении таких ничего не решающих войн — ничего не решающих, поскольку сами США останутся невредимыми. Втягиваться в подобные войны покажется Китаю тем более опасным, пока на севере над ним нависает коварный враг, готовый использовать каждый его промах. Хотя вероятность “пробного” удара на юг не исключена, еще

¹ Я говорю здесь не о законности или незаконности территориальных претензий Китая к другим странам, в частности к Индии, а о методах их разрешения.

² Прежде всего такие, как крайняя перенаселенность некоторых районов, голод, экстенсивное сельское хозяйство, которому необходимо развиваться не вглубь, авширь и которое нуждается поэтому в новых территориях.

одно обстоятельство может удержать Китай от экспансии на юго-восток: перенаселенность этих районов и необходимость прокормить или уничтожить их многомиллионное население.

Другое дело на севере. Там лежат громадные малозаселенные пространства Сибири и Дальнего Востока, некогда уже входившие в сферу влияния Китая. Эти территории принадлежат государству, которое является основным соперником Китая в Азии, и во всех случаях Китай должен как-то покончить с ним или нейтрализовать его, для того чтобы самому играть доминирующую роль в Азии и во всем мире. При том, в отличие от США, это гораздо более опасный соперник, который как тоталитарное и склонное к экспансии государство сможет в той или иной форме нанести удар первым¹.

Сначала Китай хотел добиться своей цели "мирным поглощением" СССР, предложив после победы революции в 1949 году объединить обе страны в единое коммунистическое государство. Естественно, что трех- или четырехкратное численное превосходство китайцев если не сразу, то постепенно обеспечило бы им главенствующее положение в подобном государстве, а главное — сразу бы открыло им для колонизации Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию. Сталин не пошел на это, и китайцы на несколько десятилетий отложили свои планы, которые, очевидно, им придется осуществлять уже военным путем. При этом, в отличие от рассмотренного выше случая с США, Китай не только может воювать с СССР, но и будет иметь в подобной войне некоторые преимущества.

Поскольку СССР сейчас в военном отношении гораздо более мощная держава, чем Китай, режим, следуя политике навязывания своей воли и одновременно страху перед Китаем, будет время от времени шантажировать Китай², что только побудит китайцев начать войну первыми и тем способом, который будет благоприятнее для них. Однако Китай не сможет начать войну, не накопив предварительно значительные — пусть и меньшие, чем у СССР, — запасы ракетно-ядерного и обычного оружия. От того, как скоро Китай сумеет этого добиться и будут, видимо, зависеть сроки начала войны³.

Располагая значительным ракетно-ядерным потенциалом, Китай, как я думаю, начнет тем не менее войну обычными или даже партизанскими

¹ Методы своего "союзника-врага" Китай уже мог оценить во время так называемой "дружбы навек" когда СССР, используя экономическую и военную зависимость Китая, делал все, чтобы полностью подчинить его своему влиянию, и, не добившись этого, прекратил экономическую помощь, а затем пытался сыграть на национализме малых наций в Китае.

По-видимому, уже Сталин, как ранее Троцкий, понимал, что с победой коммунистов в Китае СССР приобретет в конечном счете не союзника, а опасного соперника, и старался, с одной стороны, способствовать затягиванию борьбы коммунистов с гоминьданом, ослабляющей Китай, с другой — способствовать расколам внутри самой Компартии Китая, в частности противиться влиянию Мао Цзэдуна. Правда, на какой-то период КНР и СССР могли производить впечатление союзников, козыряя тем более одной и той же идеологией, однако полная противоположность внутренних процессов в каждой стране — "пролетаризация" и подъем по жуткой "революционной кривой" в Китае: "депролетаризация" и осторожный спуск по этой кривой в СССР — быстро положила конец мнимому единству.

² Как это делал царский режим по отношению к Японии в начале века.

³ Тем, кто не верит, что Китай из-за экономической отсталости сможет достичь быстрых успехов в ракетно-ядерной области, следует сравнить предсказания экспертов США и ООН о сроках создания в СССР атомной и водородной бомб с действительными сроками.

методами, стремясь использовать свое колоссальное численное превосходство и опыт партизанской войны, — и поставит СССР перед альтернативой: принять навязанный Китаем метод ведения войны или нанести ядерный удар и тем самым получить ядерный удар в ответ. Вероятно, СССР выберет первый путь, так как развязать ядерную войну, даже при наличии противоракетной обороны, крайне опасно, если не самоубийственно. В то же время превосходство СССР и в обычном вооружении может создать у советского руководства впечатление, что с китайской армией можно будет покончить или, во всяком случае, отбросить ее обычным путем. Кроме того, может оказаться так, что сам момент начала войны как бы растворится: по мере развития своей ядерной мощи, Китай постепенно на разных концах семитысячекилометровой границы с СССР будет проводить ограниченные стычки, просачивание небольших отрядов и иного рода локальные столкновения, которые в нужный Китаю момент перерастут в общую войну. Так что окажется очень трудно установить, в какой же момент наносить ядерный удар по Китаю.

Однако логично рассмотреть и другой вариант: считая Китай потенциальным ядерным соперником и агрессором, советское руководство решит нанести превентивный ядерный удар по китайским ядерным центрам, прежде чем Китай успеет в достаточной степени накопить ядерное оружие для мощного ответного удара¹. Нанести такой удар советское руководство сможет, само развязывая отдельные стычки на границе и представляя Китай агрессором в глазах собственной страны и мирового общественного мнения. Кажется невероятным, чтобы бюрократический режим решился на такой отчаянный шаг, не принимая вдобавок во внимание позицию остальных ядерных держав, но даже если это произойдет, это послужит не предотвращению войны, а сигналом к ее началу. Ведь будут уничтожены основные ракетные базы Китая, а не сам Китай, который немедленно начнет в ответ изнурительную партизанскую войну, однаково страшную для СССР, будет ли она происходить на советской или на китайской территории². Решится ли в таком случае режим на тотальное уничтожение ядерным оружием всех китайских сел и городов и всего восьмисотмиллионного китайского народа? Эту апокалипсическую картину трудно вообразить, но вполне можно допустить, зная, что именно страх толкает на самые отчаянные шаги. Надо надеяться, что остальные ядерные державы не допустят этого, прежде всего потому, что такие действия представляли бы страшную угрозу и для всего остального мира.

Возможно, что Китай допускает возможность такого превентивного удара, и в таком случае в течение ближайших лет он будет проводить более осторожную политику и даже заигрывать с СССР, чего он не делал ранее из соображения внутренней политики. Тогда последуют диплома-

¹ Если верить воспоминаниям Холдемана, помощника бывшего президента США Никсона, как раз в то время, когда я писал эти строки, СССР предлагал США нанести совместно такой превентивный ядерный удар по Китаю (примечание 1978 года).

² О последствиях такой войны я говорю далее. Строго говоря, должен быть рассмотрен и еще один вариант: попытка покончить с китайской мощью путем вторжения с применением обычного и тактического атомного оружия и оккупации всего Китая или его части. Однако, учитывая значительное численное превосходство китайцев и полный контроль китайского правительства над страной, такое вторжение кажется мне маловероятным.

тические и, возможно, даже партийные контакты (ничего, впрочем, не значащие), двусмысленные заявления, дающие надежду на примирение, а также будет слегка приглушен тон критических заявления о "советском ревизионизме, социал-империализме". Но в то же время антисоветская кампания внутри Китая не будет прекращаться, чтобы держать китайский народ в постоянной готовности к великим событиям. В то же время Китай сможет искать более тесные контакты с США — и тогда многое будет зависеть от их отношений.

Однако я думаю, что превентивный удар нанесен не будет по крайней мере по двум причинам: во-первых, в силу крайней опасности такого удара, пока не исчерпаны остальные средства; во-вторых, потому что возможная агрессия Китая не столь самоочевидна, чтобы идти на такие рискованные шаги. А значит, Китай получит достаточный ракетно-ядерный потенциал, чтобы шатнажировать СССР ответным ударом, вздумай он в целях самообороны использовать свое ядерное преимущество. Так Советскому Союзу будет навязана партизанская война на колоссальной территории, лежащей по обе стороны семитысячекилометровой границы¹.

Хотя, надо полагать, давно разработаны планы на случай войны с Китаем, Советский Союз, как я думаю, не готов к партизанской или полупартизанской войне ни с технической, ни с психологической точек зрения. Два прошедших десятилетия война в нашей стране мыслилась как столкновение двух технически оснащенных армий, чуть ли не как "кнопочная война", как война на Западе и со странами западной культуры и, наконец, как война с меньшими по численности сухопутными армиями. Безусловно, все это наложило такой отпечаток на военное мышление, преодолеть который будет очень трудно. Да и народное сознание больше подготовлено к войне с "американцами", с "империалистами", к нападениям с воздуха и сухопутной войне в Европе.

Разумеется, очень трудно предсказать, как будут развиваться военные действия: удастся ли советским войскам энергичным броском вторгнуться на китайскую территорию и оккупировать значительную часть Китая или же китайцы, наоборот, медленно, но верно будут просачиваться на советскую территорию. Однако уже сейчас можно предвидеть, что Советскому Союзу придется столкнуться в этой войне с трудностями, с которыми раньше обычно сталкивались как раз его противники.

Во-первых, уже сам метод партизанской войны начиная с XVII века всегда был методом русских, применявшимся против вторгавшихся на их территорию компактных армий, и почти никогда не применялся против русских армий, вторгавшихся в культурную Европу. Во-вторых, с самого начала советским армиям придется столкнуться с громадной растянутостью коммуникаций, поскольку война будет вестись на его границах, на тысячи километров отстоящих от основных экономических и демографических центров². В-третьих, русский солдат, зачастую уступая

¹ Не исключена возможность, что до нападения на Советский Союз Китай опробует свою мощь на какой-либо небольшой нейтральной стране, которая некогда входила в сферу влияния Китая и в которой есть китайское меньшинство.

² Насколько серьезно проблема растянутых коммуникаций, видно из такого примера: во время наступления на Северном Кавказе в 1942 году немцы были вынуждены подвозить горючее для своих танков на верблюдах. Сейчас европейскую Россию с Дальним Востоком связывает только одна транспортная магистраль, на многих участках до сих пор одноколейная. Создание же воздушного моста окажется крайне дорогим и крайне ненадежным на длительный срок средством.

своим противникам в отношении культуры, обычно превосходил их в отношении неприхотливости, стойкости и выносливости, теперь же эти преимущества, столь важные в партизанской войне, будут на стороне китайцев¹. И, наконец, поскольку речь идет о Дальнем Востоке, Сибири и Казахстане или пограничных с ними районах Китая, война будет вестись на малозаселенных или заселенных нерусскими территориях, что создаст широкие возможности партизанского проникновения и, наоборот, трудности со снабжением для больших технических оснащенных армий.

Все это, во всяком случае, говорит о том, что война будет затяжной и изнурительной, без скорого успеха для той или иной стороны. С такой точки зрения интересно рассмотреть три вопроса: отношение США к советско-китайской войне, развитие событий в Европе и положение в Советском Союзе.

Со времени второй мировой войны США, как кажется, проявляют заинтересованность в соглашении и затем партнерстве с СССР. Первая попытка в этом направлении, сделанная Рузвельтом, привела к разделу Германии и всей Европы и десятилетней "холодной войне". Однако это не остановило американцев, и они как в эпоху Хрущева, так и сейчас продолжают рассчитывать на то, что в недалеком будущем возможно какое-то соглашение между СССР и США и совместное решение международных проблем. Такой подход, видимо, обусловлен не какими-то особыми симпатиями США к советской системе², а тем, что в современном мире СССР является единственной реальной силой, по своему значению приближающейся к силе США. Это подлинное равноправие и вызывает, вероятно, жажду соглашения и сотрудничества. Но с этой точки зрения очевидно, что по мере усиления мощи и влияния Китая в США будет увеличиваться также тяга к соглашению с Китаем и в режиме Мао или его преемников американские либералы начнут находить столь же симпатичные черты, что и в режиме Сталина или Хрущева.

Следуя политике поощрять коммунизм там, где народы не хотят коммунизма, и противоборствовать там, где народы его хотят, США не только содействовали расколу Европы, но и испортили свои отношения с Китаем. Можно сказать, что и национальные интересы не вынуждали их к этому, по отношению к Китаю они руководствовались политикой "сдерживания коммунизма", который понимался как нечто интегрированное. Этим самым они способствовали сближению двух коммунистических гигантов — СССР и Китая, — и понадобилось по крайней мере 10 лет, прежде чем обнаружили крупные расхождения между ними. Сами же США связали себе руки поддержкой режима Чан Кайши, оказавшегося нежизнеспособным³.

¹ В советской печати уже делаются попытки осмеять китайских солдат как фанатичных, но хилых и трусливых. Однако вот мнение советского военного специалиста, несколько лет проработавшего в Китае: "Китайский солдат выше нашего солдата, он вынослив, не склонен к тому, чтобы роптать, он храбр, у него огромная маневренная способность. Китайскому солдату прошагать в день пешком 70 километров — нетрудная штука... Наши пехотинцы, которые пришли в полное обладение от китайской пехоты, пришли к заключению, что это лучшая в мире пехота..." (В. М. П р и м а к о в. Записки волонтера. М., 1967, с. 212) ..

² Впрочем, они с жадным нетерпением ловят каждый ничтожный факт, свидетельствующий о ее "либерализации".

³ Нежизнеспособным, поскольку он не удержался в континентальном Китае и не смог бы существовать и на Тайване без поддержки США. Однако возможно, что в экономическом отношении Тайвань, благодаря опять же США, является гораздо более развитым, чем континентальный Китай.

В то же время, если бы США поддерживали во время гражданской войны Мао Цзэдуна, они предотвратили бы сближение Китая и СССР, избежали бы корейской войны, а также в значительной степени способствовали бы смягчению коммунистического режима в Китае. Правда, как можно думать, США начинают понемногу отказываться от своей прежней политики по отношению к Китаю, и предугадать сейчас их отношение к возможному советско-китайскому военному конфликту было бы очень трудно. Многое будет зависеть еще и от той позиции, которую сам Китай займет по отношению к США в преддверии войны с СССР, а также от разрешения тайваньской проблемы.

Рассматривая же вопросы сближения США с СССР или КНР в более широком историческом плане, следует заметить, что всякое сотрудничество, очевидно, должно базироваться не только на равенстве сил и негативном стремлении сохранить собственную исключительность, но и на общности каких-то позитивных интересов и целей. Поэтому я думаю, что сближение с СССР только тогда будет иметь смысл для США, когда в СССР произойдут серьезные демократические сдвиги. До тех пор всякое соглашение будет продиктовано для СССР или страхом перед Китаем, или попыткой сохранить собственный режим благодаря американской экономической помощи¹, или желанием воспользоваться американской дружбой для навязывания или сохранения своего влияния в других странах, а также желанием обоих государств путем взаимной поддержки удержать свою ведущую роль в мире².

При отдельных выгодах в целом такая "дружба", основанная на лицемерии и страхе, ничего не принесет США, кроме новых затруднений, как это уже было в результате сотрудничества Рузвельта со Сталиным. Сотрудничество предполагает взаимную опору, но как можно опереться на страну, которая в течение веков пучится и расплзается, как кислое тесто, и не видит перед собой других задач?! Подлинное сближение может быть основано на общности интересов, культуры, традиций, на понимании друг друга. Ничего этого нет. Что общего между демократической страной, с ее идеализмом и прагматизмом, и страной без веры, без традиций, без культуры и умения делать дело? Массовой идеологией этой страны всегда был культ собственной силы и обширности, а основной темой ее культурного меньшинства было описание своей слабости и отчужденности, яркий пример чему — русская литература. Ее славянское государство поочередно создавалось скандинавами, византийцами, татарами, немцами и евреями — и поочередно уничтожало своих создателей. Всем своим союзникам оно изменяло, как только усматривало малейшую выгоду в этом, никогда не принимая всерьез никаких соглашений и никогда не имея ни с кем ничего общего.

Сейчас в России можно слышать такие примерно разговоры: США нам помогут, потому что мы белые, а китайцы желтые. Будет очень печально, если и США станут на такую расистскую точку зрения. Единственная реальная надежда на лучшее будущее для всего мира — это не расовая война, а межрасовое сотрудничество, лучшим примером чему могли

¹ Подобно тому, как займы республиканской Франции продлили на несколько лет существование царского режима.

² Как это уже видно на примере сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия.

бы стать отношения между США и Китаем. Китай, безусловно, с течением времени значительно повысит жизненный уровень своего народа и вступит в период либерализации, что в сочетании с традиционной верой в духовные ценности сделает Китай замечательным партнером демократической Америки. Конечно, тут очень многое зависит от самих США, от того, будут ли они следовать своей закостенелой политике по отношению к Китаю или же исправлять прежние ошибки и искать новые пути.

Если США осознают все это, они не будут помогать СССР в войне против Китая, понимая тем более что Китай не в состоянии полностью уничтожить СССР. В таком случае Советский Союз останется с Китаем один на один — а что же будут делать наши европейские союзники?

После второй мировой войны у СССР была возможность создать на своей западной границе цепь нейтралистских государств, включая Германию, и тем самым обеспечить свою безопасность в Европе. Такие государства со своего рода "промежуточными" режимами, как в Чехословакии до 1948 года, явились бы своего рода прокладкой между Западом и СССР и обеспечили бы стабильное положение в Европе¹. Однако СССР, следуя сталинской политике территориальной экспансии и усиления напряжения, максимально расширил сферу своего влияния и тем самым создал для себя потенциальную угрозу. Поскольку существующее сейчас положение в Европе поддерживается только постоянным давлением Советского Союза², то можно полагать, что, как только это давление ослабнет или вообще сойдет на нет, в Центральной и Восточной Европе произойдут значительные изменения.

По-видимому, как только станет ясно, что военный конфликт СССР с Китаем принимает затяжной характер, что все силы СССР перемещаются на восток и он не может отстаивать свои интересы в Европе, произойдет воссоединение Германии³. Трудно сказать, произойдет ли оно путем поглощения Западной Германией Восточной или же сами послеульбрихтовские руководители ГДР, поняв реальное положение вещей, пойдут на добровольное воссоединение с ФРГ, чтобы сохранить себе часть привилегий. Во всех случаях воссоединенная Германия с достаточно сильной антисоветской ориентацией создаст совершенно новую ситуацию в Европе.

По-видимому, воссоединение Германии совпадет с процессом "десоветизации" восточноевропейских стран и значительно ускорит этот процесс⁴. Трудно сказать, как он пойдет и какие формы примет — "венгерские", "румынские" или "чехословацкие", — однако приведет, очевидно, к национал-коммунистическим режимам, для каждой страны представляющим своего рода подобие декоммунистического режима⁵. Причем по

¹ Их коренное отличие от так называемых "буферных" государств, существовавших между двумя мировыми войнами, заключалось бы в том, что они служили бы не "санитарным кордоном" Запада от СССР, а связующим мостом.

² Это давление иногда преднамеренно обостряется, чему пример берлинские кризисы, а иногда принимает просто истерический характер.

³ Вполне возможно, что ФРГ, чтобы ускорить это, будет оказывать в той или иной форме поддержку Китаю.

⁴ Как это ни парадоксально, уже сейчас СССР скорее может полагаться на "американских империалистов", чем на таких "союзников", как Чаушеку или д-р Гусак. Положение в Восточной Европе несколько напоминает сейчас положение после революций 1948 года, когда ожидаемой демократизации не произошло, но и старый режим был расшатан.

⁵ В Чехословакии — либеральная демократия, в Польше — военно-националистический режим и т.д.

крайней мере несколько стран, как Венгрия или Румыния, сразу же примут отчетливую прогерманскую ориентацию. Помешать этому СССР мог бы, очевидно, только путем военной оккупации всех восточноевропейских стран, чтобы создать своего рода "тыл" дальневосточного фронта, но по существу такой "тыл" свелся бы ко "второму фронту" — т.е. фронту с Германией, которой помогали бы народы восточноевропейских стран, на что СССР уже не сможет пойти. Скорее наоборот, "десоветизированные" восточноевропейские страны помчатся как конь без узды и, видя бессилие СССР в Европе, предъявят незабытые, хотя и долго замалчиваемые территориальные претензии: Польша — на Львов и Вильнюс, Германия — на Калининград, Венгрия — на Закарпатье, Румыния — на Бессарабию. Не исключена возможность, что также Финляндия предъявит претензии на Выборг и Печенгу. Очень вероятно, что по мере все большего увязания СССР в войне также Япония предъявит территориальные претензии сначала на Курилы, затем на Сахалин, а потом если успехи будут одерживать Китай, то и на часть советского Дальнего Востока¹. Короче говоря, СССР придется полностью расплачиваться за территориальные захваты Сталина и ту изоляцию, в которую поставили страну неосталинисты. Однако самые важные для будущего СССР события произойдут внутри страны.

Естественно, что начало войны с Китаем, который будет представлен как агрессор, вызовет вспышку русского национализма — "мы им покажем!" — и одновременно даст некоторые надежды национализму нерусскому. В дальнейшем обе эти тенденции будут идти одна по затухающей, а другая по возрастающей кривой. Действительно, война будет идти далеко, не воздействуя тем самым непосредственно на эмоциональное восприятие народа и на налаженный стиль жизни, как это было во время последней войны с Германией, но в то же время требуя все новых и новых жертв. Постепенно это будет порождать все большую моральную усталость от войны, ведущейся далеко и неизвестно зачем. Между тем начнутся экономические, в частности продовольственные, трудности, тем более ощутимые, что за последние годы уровень жизни медленно, но неуклонно повышался. Поскольку режим не настолько мягок, чтобы сделать возможными какие-то легальные формы проявления недовольства и тем самым их разрядку, и в то же время не настолько жесток, чтобы исключить саму возможность протеста, начнутся спорадические вспышки народного недовольства, локальные бунты, например из-за нехватки хлеба. Их будут подавлять с помощью войск, что ускорит разложение армии². По мере роста затруднений режим средний класс будет занимать все более враждебную позицию, считая, что режим не в состоянии справиться со своими задачами. Измена союзников и территориальные претензии на западе и востоке будут усиливать ощущение одиночества и безнадежности. Экстремистские организации, которые появятся к тому времени, начнут играть все большую роль. Вместе с тем крайне усилят-

¹ По-видимому, руководители режима понимают угрозу со стороны Германии и Японии в связи с конфликтом с Китаем и будут даже делать лихорадочные шаги в сторону сближения с ними, но так, в силу своей бюрократической природы, и не решатся пойти на какие-либо кардинальные меры.

² Разумеется, будет использоваться так называемые внутренние войска, притом по возможности другой национальности, чем население мест, где произойдут беспорядки, что только приведет к усилению национальной розни.

ся националистические тенденции у нерусских народов Советского Союза, прежде всего в Прибалтике, на Кавказе и на Украине, затем в Средней Азии и в Поволжье¹. Между тем бюрократический режим, который привычными ему полумерами не в состоянии будет одновременно вести войну, разрешать экономические трудности и подавлять или удовлетворять народное недовольство, все больше будет замыкаться в себе, теряя контроль над страной и даже связь с действительностью. Достаточно будет сильного поражения на фронте или какой-либо крупной вспышки недовольства в столице — забастовки или вооруженного столкновения, — чтобы режим пал. Конечно, если до того времени власть полностью перейдет в руки военных, модифицированный таким образом режим продержится несколько дольше, но, не решая опять же самых насущных и во время войны уже почти неразрешимых вопросов, падет еще более страшно. Если Китаю удастся создать достаточно мощные ядерные силы в течение десяти лет, то падение режима возможно где-то между 1980 и 1985 годами.

По-видимому, демократическое движение, которому режим постоянными репрессиями не даст окрепнуть, будет не в состоянии взять контроль в свои руки, во всяком случае на столь долгий срок, чтобы решить стоящие перед страной проблемы. В таком случае неизбежная “дезимперизация” пойдет крайне болезненным путем. Власть перейдет к экстремистским группам и элементам, и страна начнет расплываться на части в обстановке анархии, насилия и крайней национальной вражды. В этом случае границы между молодыми национальными государствами, которые начнут возникать на территории бывшего Советского Союза, будут определяться крайне тяжело, с возможными военными столкновениями, чем воспользуются соседи СССР, и конечно в первую очередь Китай.

Но возможно, что “средний класс” окажется все-таки достаточно силен, чтобы удержать контроль в своих руках. В таком случае предоставление независимости отдельным советским народам произойдет мирным путем и будет создано нечто вроде федерации, наподобие Британского содружества наций или Европейского экономического сообщества. С Китаем, также обессиленным войной, будет заключен мир, а споры с европейскими соседями улажены на взаимоприемлемой основе. Возможно даже, что Украина, Прибалтийские республики и Европейская Россия войдут как самостоятельные единицы во Всеевропейскую федерацию.

Возможен также и третий вариант, а именно что ничего вышеизложенного не будет.

Но что же будет? Я не сомневаюсь, что эта великая восточнославянская империя, созданная германцами, византийцами и монголами, вступила в последние десятилетия своего существования. Как принятие христианства отсрочило гибель Римской империи, но не спасло ее от неизбежного конца, так и марксистская доктрина задержала распад Российской

¹ В ряде случаев носителями таких тенденций могут стать национальные партийные кадры, которые будут рассуждать так: пусть русский Иван сам справляется со своими трудностями. Они будут стремиться к национальной обособленности еще и потому, чтобы, избежав надвигающийся всеобщий хаос, сохранить свое привилегированное положение.

империи — третьего Рима, — но не в силах отворотить его¹. Но хотя эта империя всегда стремилась к максимальной самоизоляции, едва ли правильно рассматривать ее гибель вне связи с остальным миром.

Стало общим местом считать основным направлением современного развития научный прогресс, а основную угрозу цивилизации усматривать в тотальной ядерной войне. Между тем и научный прогресс, с каждым годом съедая все большую часть валового мирового продукта, может превратиться в регресс, и цивилизация — погибнуть без столь ослепительной вспышки, как взрыв сверхъядерной бомбы.

Хотя научный и технический прогресс меняет мир буквально на глазах, он опирается, в сущности, на очень узкую социальную базу, и чем значительнее будут научные успехи, тем резче контраст между теми, кто их достигает и использует, и остальным миром. Советские ракеты достигли Венеры — а картошку в деревне, где я живу, убирают руками. Это не должно казаться комичным сопоставлением, это разрыв, который может разверзнуться в пропасть. Дело не столько в том, как убирать картошку, но в том, что уровень мышления большинства людей не поднимается выше этого "ручного" уровня. Действительно, хотя в экономически развитых странах наука требует не только все больше средств, но и все больше людей, основные принципы современной науки понятны, в сущности, ничтожному меньшинству. Пока что это меньшинство вкупе с правящей элитой пользуется привилегированным положением, но как долго это будет продолжаться?

Мао Цзэдун говорит об окружении "города" — экономически развитых стран — "деревней" — слабо развитыми странами. Действительно, экономически развитые страны составляют небольшую по численности населения часть мира. Далее, и в этих странах "город" окружен "деревней" — деревней в настоящем смысле этого слова или же вчерашними деревенскими жителями, лишь недавно переехавшими в города. Но и в городах люди, направляющие современную цивилизацию и нуждающиеся в ней, составляют ничтожное меньшинство. И наконец, в нашем внутреннем мире "город" также окружен "деревней" подсознательного — и при первом же потрясении привычных ценностей мы сразу это почувствуем. Не является ли именно этот разрыв величайшей потенциальной угрозой для нашей цивилизации?

Угроза "городу" со стороны "деревни" тем более сильна, что в "городе" наблюдается тенденция ко все большей личной обособленности, в то время как "деревня" стремится к организации и единству. Мао Цзэдун это радуется, но жителей мирового "города", как мне кажется, должно беспокоить их будущее.

Пока же, как нам говорят, западная футурология обеспокоена именно ростом городов и теми трудностями, которые возникают в связи с бурным научно-техническим прогрессом. По-видимому, если бы футурология существовала в императорском Риме, где, как известно, строились уже шестизэтажные здания и существовали детские вертушки, привидимые в движение паром, футурологи V века предсказали бы на бли-

¹ Продолжая эту аналогию, можно допустить, что, например, в Средней Азии еще долго будет существовать государство, считающее себя преемником СССР и соединяющее традиционную коммунистическую идеологию, фразеологию и обрядность с чертами восточной деспотии — своего рода Византийская империя современности.

жайшее столетие строительство двадцатипятиэтажных зданий и промышленное применение паровых машин. Однако, как мы уже знаем, в VI веке на форуме паслись козы, как сейчас у меня под окном в деревне.

ИДЕОЛОГИЯ В СОВЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Определим идеологию как социально значимую систему идей, поддерживаемую той или иной общественной группой и служащую закреплению или изменению общественных отношений. Такое определение отвечает уровню точности, на котором написана статья.

Хотя можно говорить о дезидеологизации части общества и даже о дезидеологизированных обществах, все же трудно представить себе не только социальную группу, но даже отдельного человека, полностью лишенного хотя бы каких-то начатков идеологии, каких-то навыков "политизации" окружающего его мира и нахождения в нем своего места.

В эпоху политических кризисов появляется даже страшный тип "идеологического человека" — человека, как правило, весьма деятельного, но лишенного способности критического осмысления своих убеждений, которую дает культура, и способности к нравственным оценкам, которую дает вера в непреходящие ценности. Когда такой человек становится адептом какой-либо идеологии, заменяющей ему культуру и религию, то идеология превращает его в конце концов в безжалостный автомат, а он ее в жесткий набор догм. Лучший пример такого "идеологического человека" дали многие большевики.

Большевистская революция с последовавшей "пролетаризацией" общества "вниз" и "бюрократизацией" "вверх" постепенно породила своеобразное общество с "дезидеологизированной" массой и принудительной идеологией — принятие которой было пропуском в "верхи"¹. В сороковые-пятидесятые годы какое-то живое идеологическое движение возникло только на стыке дезидеологизированных масс и обрядовой идеологии верхов — в виде подпольных марксистских групп, стремящихся вернуть марксизму в России революционный, а не охранительный характер. Еще двадцать лет назад могло показаться, что в СССР невоз-

Впервые полностью опубликовано в "Internationale Spectator" 22.10.1969, S-Gravenhage-Brussel (по-голландски), в декабре того же года книга вышла первым изданием по-русски (Фонд имени Герцена, Амстердам), затем была опубликована — в сокращении — во многих журналах и газетах, а также вышла отдельными изданиями на английском языке (в Англии, США и Канаде), немецком, французском, голландском, итальянском, шведском, датском, норвежском, португальском, испанском, греческом, арабском, иврите, японском, грузинском, польском, украинском, венгерском, чешском, финском и китайском языках.

¹ Принудительность единой идеологии не только сделала массы безразличными к ней, но и вызвала своеобразный эффект в "верхах". Типичный партаппаратчик, ведущий вполне реальную борьбу с другими аппаратчиками за продвижение и власть, но в рамках "единой идеологии", лишается понимания идеологии как политической доктрины, выражающей интересы каких-либо борющихся социальных групп. Для него идеология — некий расплывчатый задник, в то время как на сцене идет борьба между конкретными личностями. В конце концов это порождает у него демонологическое видение мира: во всем происходящем — будь то в собственной стране или в чужой — он видит не действие социальных сил, как это, кстати, следовало бы в свете исповедуемой им марксистской философии, а интриги разного рода коварных личностей. На эту "демонологию аппаратчиков" мне указал Э. И. Неизвестный.

можно появление других идеологий.

Однако это оказалось совершенно не так. За последнее десятилетие в советском обществе — сначала в довольно аморфной, а затем во все более определенной форме — начало складываться несколько идеологий, либо с марксизмом вовсе не связанных, либо довольно широко раздвигающих его рамки. Очевидно, что возникновение этих идеологий — следствие развития и усложнения советского общества, в частности ослабления его идеологической нетерпимости и все растущей неспособности его официальной идеологии реагировать на изменения в "стране и мире". Конкретные формы новых для нашего общества идеологий начали складываться, насколько можно судить, как под влиянием русских добольшевистских традиций, так и под западным влиянием.

Поскольку официально разрешенной остается единственная идеология и единственная представляющая ее партия, остальные идеологии нашли себе весьма малое число открытых сторонников и тем более не дошли до своего логического завершения в виде создания политических партий.

Но тем более интересно начать их изучение уже в той, утробной, если можно так сказать, стадии. В полном смысле слова идеологическая борьба, борьба идей, борьба в умах и за умы всегда предшествует — иногда весьма значительно — собственно политической борьбе. Поэтому внимательное изучение зарождающихся идеологий если и не даст возможности точно предвидеть грядущую раскладку политических сил, то по крайней мере позволит определить некоторые альтернативы.

Эту внутреннюю неясную картину сильно искажает обязательное внешнее однообразие. В действительности идеологии, насчитывающие, как я сказал, мало открытых сторонников, могут иметь в обществе много сторонников тайных, или, так сказать, зевентуальных, тогда как среди кажущихся приверженцев господствующей идеологии могут оказаться не только безразличные, но даже враждебные ей люди.

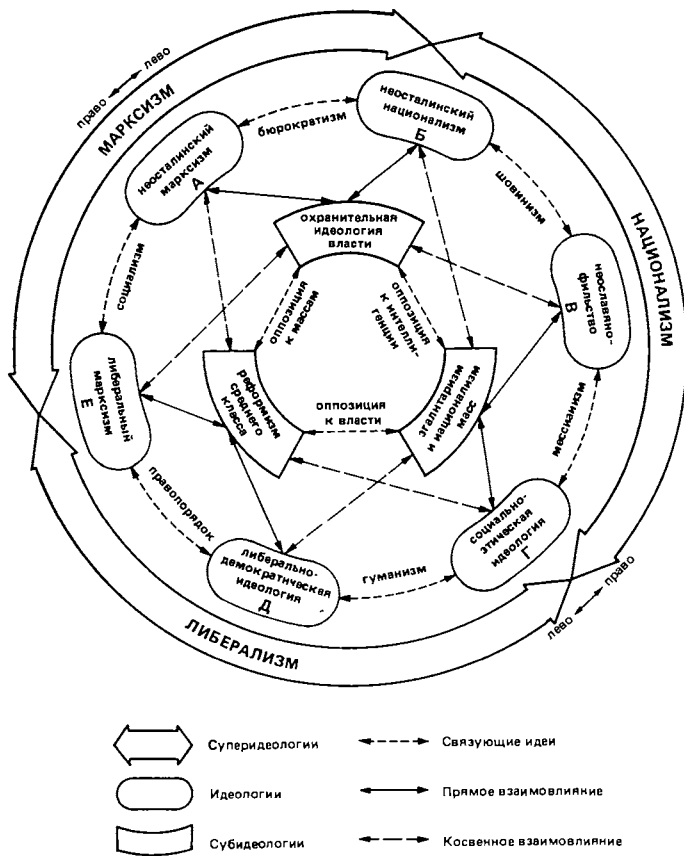
На первый взгляд бесспорное, положение официальной идеологии скорее проблематично. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын разошлись в оценке ее роли. Солженицын считает, что она все еще имеет решающее значение для определения государственной политики; Сахаров — что она служит только камуфляжем для прагматизма дезидеологизированных верхов. Мне же кажется, что она играет некую промежуточную роль — не будучи к тому же сама по существу единой идеологией. Хотя верны замечания о ее камуфляжном характере и сам я выше назвал ее "обрядовой", все же ее инерционная сила очень велика и нельзя сказать, что нет "наверху" людей, для которых она остается идеологией в подлинном смысле слова.

Первую попытку рассмотреть идеологии советского общества я сделал в 1969 году и неожиданно для себя составил занятную схему идеологий, переходящих одна в другую и образующих замкнутый цикл — своего рода "колесо идеологий". Эту схему, к сожалению, я набросал только вчерне и недостаточно ясно объяснил, из-за чего она была не всеми правильно понята. Теперь я вновь вернулся к ней, пересмотрел и развил и хотел бы представить как на суд тех, кто формирует эти идеологии, так

и тех, кто их изучает¹.

Настоящая статья — только комментарий к этой схеме. Схема построена так: возьмем три “идеологических уровня” — 1) суперидеологии, или социальные философии, 2) собственно идеологии, или политические доктрины, 3) субидеологии, или идеологии-чувства, — и графически представим их в виде вложенных друг в друга обручей.

Социальную философию (суперидеологию), в рамках которой личность склонна отождествлять себя прежде всего с самой собой, призна-



¹ Чьего суда я хотел бы, наоборот, избежать, так это тех, кто видит в уголовном суде лучший способ оценить любую не нравящуюся им идею. В 1970 году такой суд уже рассматривал и оценил тремя годами моего заключения книгу “Продлится ли СССР до 1984 года?”, где я пишу, в частности, о советских идеологиях (стр. 22–24, схема на стр. 49). Рассматривая взаимосвязь идеологий и их перспективы, будем все время иметь в виду ту общую мысль, что рост или падение влияния идеологий связаны с расширением или сужением влияния тех социальных групп, на которые та или иная идеология опирается. Допустим, однако, и то, что в кризисных ситуациях социальная группа может отказаться — хотя бы частично — от старой идеологии.

вая равным образом права других таких же автономных личностей, мы назовем либерализмом. Можно полагать, что к этой философии будут тяготеть наиболее независимые и уверенные в себе люди, а социально — лица свободных профессий и лица, заинтересованные в свободе частной инициативы.

Социальную философию (суперидеологию), в рамках которой личность склонна прежде всего отождествлять себя с классом, к которому она принадлежит, а другие классы рассматривать как подлежащие уничтожению, подчинению или ассимиляции, мы назовем марксизмом. Можно полагать, что к этой философии будут тяготеть представители прежде всего “угнетенных” классов, малоимущие, завистливые или озлобленные лица, те, кому “нечего терять”, а также интеллектуалы, стремящиеся к разрушению изнутри традиционной культуры. В случае насильственного захвата власти представителями этой идеологии она естественно становится идеологией аппаратчиков, не уверенных в своей власти и в собственной значимости вне власти и потому озлобленных и агрессивных.

Наконец, социальную философию (суперидеологию), в рамках которой личность склонна прежде всего отождествлять себя со своей нацией, рассматривая другие нации как нейтральные или враждебные чужеродные образования, мы назовем национализмом. Это, с одной стороны, философия традиционных обществ, тесно связанных с землей, и потому привлекающая людей с романтическим мышлением. С другой стороны, как можно полагать, к ней будут тяготеть прежде всего представители “угнетенных” наций, наций, страдающих от сознания своей неполноценности в сравнении с другими, исторически более удачливыми.

Эти суперидеологии не отделены одна от другой непреходимыми преградами, но в какой-то степени даже переходят одна в другую. На схеме они образуют внешнюю окружность.

Среднюю окружность образуют собственно идеологии — не носящие уже столь универсального характера и имеющие специфически советскую окраску. Хотя одна отличается подчас довольно резко от другой, можно найти связующие идеи между “соседними” идеологиями; основные связующие идеи показаны на схеме. Названия идеологиям дал я, их представители могут с такими названиями не согласиться. Как я уже сказал, эти идеологии никак организационно не оформлены¹ и подчас весьма расплывчаты, в каждой из них — иногда с постепенными переходами — можно наметить “правое” и “левое” крыло, через которые она и связывается с “соседними” идеологиями.

Начнем рассмотрение идеологий с “неосталинского марксизма”. Это — марксизм, протанутый сквозь игольное ушко ленинской теории захвата власти и сталинской практики ее удержания, а затем просеянный сквозь прагматическое сито наследниками Сталина. Социальная группа, поддерживающая эту идеологию, — партгосаппаратчики, в первую очередь центра. Ее наиболее репрезентативной фигурой кажется М. Суслов.

Следующая идеология, если идти по часовой стрелке, — “неосталинский национализм”. Это своеобразный национал-большевизм — “под знаменем марксизма”, с одной стороны, и “пусть осеняет вас знамя Суворо-

¹ Единственная легально существующая партия, КПСС, руководствуется по крайней мере двумя идеологиями.

ва", с другой, — тянущийся в сторону все большего русского национализма с осовремененными старомосковскими идеями сильной "отеческой" власти. Его социальная опора — также партгосаппаратчики, быть может в большей степени провинциальные. С "неосталинским марксизмом" как с другой разновидностью официальной идеологии его связывает общая идея консервативного бюрократизма. Бюрократизм принято считать не идеей, а формой практики, но тут именно бюрократизм, введенный в ранг идеи. Ввиду стремления советских руководителей к деперсонализации трудно сказать, кто из представителей "неосталинского национализма" наиболее видная фигура. Может быть, В. Гришин.

Следующая идеология, уже неофициальная, — "неославянофильство", ее также можно назвать "романтическим консерватизмом". Для нее характерна вера в исключительность России и в необходимость возвращения к старым русским домарксистским и вообще дозападным традициям, к православию. Она несет в себе зачатки "целостного мировоззрения" и едва ли будет терпима к другим идеологиям. Хотя она враждебна идеологиям официальным, ее правое крыло связывает с "неосталинским национализмом" идея шовинизма. Но "неосталинскому национализму" совершенно чужды гуманистические черты, присущие "неославянофильству" — своего рода "национализму с человеческим лицом". Как националистическая идеология, оно может опираться на весьма широкую социальную опору — как на полуинтеллигенцию города и деревни, так и на более широкие массы. Поскольку понятия "нация" и "традиция" очень сильно связаны с языком, лучшие выразители этой идеологии — многие писатели, наиболее характерная фигура среди них, пожалуй, **А. Солженицын.**

Следующая — "социально-этническая идеология", по традиции ее еще можно назвать "народнической". Эта идеология пытается сформулировать идеи социальной справедливости, основываясь не на экономическом детерминизме, а на неких нравственных постулатах¹. С "неославянофильством" ее связывает общая идея русского мессианизма: вера в особую роль России и в то, что Россия дала или даст миру совершенные и уникальные формы человеческого общежития. Эта идеология тоже традиционна для России, она может привлечь значительные слои разочаровавшейся в марксизме, но популистски настроенной интеллигенции, а также отвечает, по-видимому, некоторым народным чувствам. Весьма характерными для ее правого крыла были взгляды **Огурцова**, но для левого характерна, во всяком случае сейчас, чисто этическая позиция.

Идея **гуманизма**, осознание ценности человеческой личности связывают левое крыло этой идеологии с "либерально-демократической идеологией". Эта идеология, сложившаяся под влиянием западного либерализма, считает желательной постепенную трансформацию советской системы в демократическое плюралистическое общество западного типа, с учетом сложившейся структуры собственности, но с действенным контро-

¹ Поскольку и "марксизм" и "популизм" говорят о "социальной справедливости" и о "социализме", есть возможность прямого перескока их последователей из одной идеологии в другую или же их тактического сближения — но все это быстро кончается разочарованием, так как по существу эти идеологии противостоят друг другу. Исторически марксизм вышел из либеральных экономических теорий, а народники в России — левые славянофилы.

лем общества над экономикой и с предоставлением значительной свободы частной инициативе. Социальную опору этой идеологии составляет значительная часть "среднего класса" — понятие, только частично совпадающее с более привычным для России словом "интеллигенция", — все те, кто достаточно энергичен и образован, чтобы не только не потеряться в свободном обществе, но и добиться определенного успеха. Представителями этой идеологии можно считать А. Сахарова, ближе к левому крылу, и Ю. Орлова, ближе к правому.

Следующая идеология — "либеральный марксизм" — связана с "либерально-демократической идеологией" общей идеей правопорядка, т.е. установления и строгого соблюдения законов, гарантирующих, в частности, права человека. "Либеральный марксизм" — это идеология "социализма с человеческим лицом" применительно к Советскому Союзу. Она предусматривает демократизацию и плюрализацию общества при сохранении марксизма как ведущей идеологии и компартии как ведущей политической силы. Социальная опора этой идеологии — значительная часть воспитанного на марксизме среднего класса, в том числе, как об этом можно судить по отрывочным данным, многие партийные функционеры и менеджеры. Наиболее видный представитель правого крыла этой идеологии — П. Григоренко, левого — Р. Медведев¹.

"Либеральный марксизм" соединяется с "неосталинским марксизмом" общей идеей построения социализма. Эта связь — нечто вроде узенькой трубочки между сообщающимися сосудами, по которой могут переливаться приверженцы этих идеологий в зависимости от развития событий. Таким образом, колесо идеологий замыкается.

Перейдем теперь к субидеологиям, или идеологиям-чувствам, образующим внутреннюю окружность схемы.

Начнем с "охранительной идеологии власти" как реально господствующей идеологии. Это более или менее идеологически оформленное чувство самосохранения. Как всякое чувство, связанное с комплексом неполноценности, оно, впрочем, весьма агрессивно. Оно эмоционально питает и идеологически питается прежде всего от "неосталинского марксизма" и "неосталинского национализма", но косвенно связано с "либеральным марксизмом" и "неославянофильством" как с возможными путями для отступления.

"Эгалитаризм и национализм масс" — это еще более чувство, чем идеология, и не в каких диссертациях или инструкциях своего выражения не находит, хотя проследить за народными настроениями можно. Эту идеологию-чувство можно назвать "пассивно-взрывной", поскольку сквозь пассивное принятие действительности и желание просто "жить" она вдруг прорывается внезапными вспышками, чаще всего индивидуальными, но будет представлять большую угрозу для стабильности советской системы, если вспышки станут групповыми. "Эгалитаризм и национализм масс" прямо связан с "неославянофильством" и "социально-религиозной идеологией" и вместе с тем испытывает косвенное влияние "неосталинского национализма", который связывается с популярной

¹ "Правый" и "левый" употребляются в этой статье только в смысле избранного нами движения по часовой стрелке, глядя снаружи внутрь. В этом смысле можно сказать, что почти столетие марксизм шел в России влево — от либерального марксиста Струве к национал-сталинисту Гришину, но попал направо — от левого либерализма к правому национализму.

идеей сильной власти, и "либерально-демократической идеологии", отвещающей тяге народа к большей личной свободе и более высокому уровню жизни, пример которых дает Запад.

Наконец, "реформизм среднего класса" — это характерный для среднего класса конформистский подход к действительности, "пока что надо жить, а постепенно все более или менее само собой станет лучше", с желанием избежать потрясений и каких-то резких скачков в ту или иную сторону. У "реформизма среднего класса" прямая идеологическая связь с "либерально-демократической идеологией" и с "либеральным марксизмом", а также косвенная с "неосталинским марксизмом", поскольку часть среднего класса — партийно-государственные функционеры, и с "социально-этической идеологией" как идеологией национальной и отвещающей в какой-то степени нравственным потребностям среднего класса.

Заканчивая описание схемы, нужно сказать о своеобразных негативных связях между субидеологиями. "Охранительную идеологию власти" и "эгалитаризм и национализм масс" сближает общая оппозиция к "интеллигенции" как к слою, чуждому народу и опасному для власти; эмоционально эта связь подкрепляется тем, что многие партгосаппаратчики — в прошлом крестьяне и дети крестьян. "Эгалитаризм и национализм масс" и "реформизм среднего класса" сближает общая оппозиция к власти, от которой обе эти социальные группы "отчуждены". А "реформизм среднего класса" и "охранительную идеологию власти" сближает общая оппозиция к массам, в которых и аппаратчики, и средний класс видят угрозу своим привилегиям.

Хочу еще раз подчеркнуть условность схемы, размытость выделенных мною идеологий и неопределенность социальной стратиграфии советского общества, равно как и низкий уровень его "идеологизации", хотя "идеология" и упоминается на каждом шагу — своего рода диалектическое единство противоположностей. Если считать молодежь, как это часто делают, индикатором общественных настроений, то в целом она наиболее безразлична к идеологии как таковой. Вместе с тем эта дезидеологизация кажется мне временным явлением, как бы "идеологической воздушной подушкой" между умирающей большевистской идеологией и той, которая придет ей на смену. Не исключаю, что молодежь восьмидесятых годов будет крайне "идеологизирована".

Оговорюсь еще, что совершенно разную роль в обществе играют идеология, представленная облеченными властью аппаратчиками, и идеология, представленная несколькими диссидентами. Та же идеология в оппозиции и та же идеология у власти — это во многом две разные идеологии. То же можно сказать о некоей идеологии в плюралистическом обществе и как будто той же самой в тоталитарном — они не идентичны.

Теперь, имея схему перед глазами, попробуем проиграть несколько вариантов советского "идеологического будущего". Для удобства обозначим идеологии, начиная с "неосталинского марксизма" по часовой стрелке, буквами А, Б, В, Г, Д, Е.

Будем отделять овец от козлиц, три против трех. С большой долей основания предположим, что в стабильном обществе повышаются шансы "средних идеологий" (А,В,Д), т.е. идеологий, находящихся как бы посередине соответствующих суперидеологий, а в обществе кризисном — шансы "крайних идеологий" (Б, Г, Е), т.е. идеологий, расположенных на стыках суперидеологий. Например, мы видели, что во время кризиса в

ЧССР — стране с той же системой, что и в СССР, но с демократическим прошлым — в 1967—1968 годах идеологическое господство перешло от “неосталинского марксизма” (срединной идеологии) к “либеральному марксизму” (крайней идеологии). Если бы там положение стабилизировалось без вмешательства советских войск, я думаю, господствующей идеологией стала бы “либерально-демократическая”. Стабилизация, достигнутая советским вмешательством, восстановила господство “неосталинского марксизма”.

Пойдем далее. Разделим идеологии по принципу: плюралистические (Г, Д, Е) — тоталитарные (А, Б, В); чужеродно-западные (А, Е, Д) — доморощенно-восточные (Б, В, Г); этико-политические (В, Г, Д) — чисто политические (Е, А, Б). Совершенно очевидно, что в СССР при всякого рода возможных и невозможных политических катаклизмах больше шансов на выживание и победу будет у тех, кто будет руководствоваться идеологиями тоталитарными, а не плюралистическими, доморощенно-восточными, а не чужеродно-западными и чисто политическими, а не этико-политическими, то есть обремененными всякого рода этическими соображениями, которые так любил великий Ленин.

Оказывается, что только одна идеология отвечает всем трем условиям — “неосталинский национализм” (Б). Поскольку это уже одна из властвующих идеологий — причем отвечающая подмеченному мною ранее условию “крайности”, — то в кризисных ситуациях следует ожидать все более сильного крена власти в эту сторону.

И вместе с тем я думаю, что шансы “неосталинского национализма” не так уж высоки — а его полная победа могла бы означать начало развала страны. Дело в том, что как узко националистическая доктрина он мог бы опираться только на русское население страны, составляющее сейчас не более половины всего населения, и вызвал бы против себя крайне сильное раздражение всех других национальностей, включая их руководящие кадры¹.

Но представим, что “неосталинский национализм” победил бы, приняв, скорее всего, форму военной диктатуры. По мере стабилизации положения он стал бы смягчать и дрейфовать в сторону “неославянофильства”, стабильной “срединной” идеологии.

Поскольку же региональный национализм делает все это маловероятным, есть основание рассмотреть другой вариант кризисного сдвига власти — в сторону “либерального марксизма” как альтернативной “крайней идеологии”.

Кризисная ситуация может быть вызвана прежде всего экономическими трудностями — замедлением роста производительности труда, неспособностью сельского хозяйства производить для страны необходимое количество продуктов, ростом долгов Западу и снижением золото-валютных резервов, невозможностью перестройки планирования и экономического управления в рамках жесткой политической структуры, апатией трудящихся. Совершенно не исключено, что для разрешения этих трудностей более прагматичному и более терпимому следующему поколению власти идеи “либерального марксизма” смогут показаться, во всяком случае, меньшим злом, чем военная националистическая диктатура.

¹ Решающую роль при этом может сыграть среднеазиатский национализм ввиду интенсивного роста населения среднеазиатских республик.

Трудно сказать, насколько далеко зайдет этот процесс, если даже он начнется, поскольку этому московскому варианту "пражской весны" будет сильно не хватать исторических либеральных традиций, которые были в Чехословакии. Если же, однако, этот процесс увенчается успехом, то по мере стабилизации все более будет усиливать свое влияние "либерально-демократическая" — срединная — идеология.

Но все это только гипотезы.

1975—1976 гг.

ПИСЬМО IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

(вместо выступления)

Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу съезд обсудить:

I. То нетерпимое дальше угнетение, которому наша литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая цензура под затуманенным именем "Главлит" тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в 21-й век! Тленная, она тщится присвоить себе удел нетленного времени — отбирать достойные книги от недостойных.

За нашими писателями не предполагается, не признается права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы и опыт исторический, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания — запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным.

Отличные рукописи молодых авторов, еще никому не известных имен получают сегодня отказы, лишь потому, что они не пройдут.

Многие члены Союза и даже делегаты этого съезда знают, как они сами не устоявали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, абзацы, фразы, снабжали блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, — и тем неправомерно искажали их. По понятному свойству литературы все эти соображения губительны для талантливых произведений и совсем не чувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется в свет в искаженном виде.

А между тем сами цензурные ярлыки ("идеологически вредный", "порочный" и т.д.) недолговечны, меняются на наших глазах.

Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался контрреволюционным Есенин (из-за его книг даже давались тюремные сроки). Не был ли Маяковский "анархистствующим политическим хулиганом"? Десятилетиями считались "антисоветскими" неуведаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепитель-

ной Цветаевой десять лет назад было объявлено "грубой политической ошибкой". Лишь с опозданием в 20–30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилев, Клюев, не избежать когда-то "признать" и Замятина и Ремизова.

Тут есть разрешающий момент: смерть неугодного писателя, после которой нам вскоре или невскоре возвращают его, сопровождая "объяснением ошибок". Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются, и стихи его цитируются даже на церемониях. Воистину сбываются пушкинские слова: "Они любить умеют только мертвых".

Но позднее издание книг и "разрушение" имен не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несет наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели, которые еще в 20-х годах — Пильняк, Мандельштам, Платонов — очень рано указывали и на особые свойства Сталина, однако их уничтожили и заглушили, вместо того чтобы к ним прислушаться.)

Литература не может развиваться в категориях "пропустят — не пропустят", "об этом можно — об этом нельзя". Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а лишь — косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи ее идут не в чтение, а в утильсырьё.

Наша литература утратила ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого века и в начале нынешнего, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в 20-е годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется сегодня беднее, плоше и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если бы ее не ограничивали, не заминали. От этого проигрывает и наша страна и мировая литература: располагай она всеми нестесненными плодами нашей литературы, углубись она нашим духовным опытом — все мировое художественное развитие пошло бы иначе, чем оно идет, приобрело бы новую устойчивость, возшло бы даже на новую художественную ступень.

Я предлагаю съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной и скрытой — цензуры над художественными произведениями и освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист.

II. Обязанности Союза по отношению к своим членам.

Эти обязанности не сформулированы отчетливо в Уставе ССП ("Защита авторских прав" и "меры по защите других прав писателей"), а между тем за треть столетия плачевно выяснилось, что ни "других", ни даже авторских прав гонимых писателей Союз на защитил.

Многие писатели при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Ал. Грин, Вас. Гроссман). Союз же писателей не только не представил им для ответа и оп-

равдания своих страниц, своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей литературы XX века, оказались в списке исключенных из Союза, либо даже не принятых в него.

Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чье преследование окончилось ссылкой, лагерем, смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артем Веселый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами "и другие" — мы узнали после XX съезда, что их было *более шестисот* — ни в чем не виноватых писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот еще длинней, его закруглившийся конец не прочитывается и никогда не прочтется нашими глазами: в нем записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, каких лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности Ягоды-Ежова-Берия-Абакумова.

Новоизбранному руководству Союза нет никакой исторической необходимости разделять со старым руководством ответственность за прошлое.

Я предлагаю четко сформулировать в пункте 22 Устава ССП все те гарантии, которые предоставляет Союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям, — с тем, чтоб невозможным стало повторение беззаконий.

Если съезд не пройдет равнодушно мимо сказанного, я прошу обратить внимание на запреты и преследования, испытываемые лично мною.

1. Мой роман "В круге первом" (35 авт. листов) скоро два года как отнят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его открытое редакционное движение. Напротив, еще при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома этот роман "издан" противоестественным "закрытым" изданием для чтения в избранном, не называемом кругу. Мой роман стал доступен литературным чиновникам, от большинства же писателей его прячут. Добиться открытого обсуждения романа в писательских секциях, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах.

2. Вместе с романом у меня отобран и литературный архив 20–15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Теперь закрыто "изданы" и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса "Пир победителей", написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами, и давно покинутая, — теперь приписывается мне как моя самоновейшая работа.

3. Уже три года ведется против меня, всю войну провоевавшего командиром батареи, награжденного боевыми орденами, безответственная клевета: что отбывал срок якобы как уголовник или сдался в плен (я там никогда не был) и "изменил Родине", "служил у немцев". Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведется на закрытых инструктажах и собраниях людьми, занимавшими официальные посты. Тщетно я пытался остановить клевету обращением в ССП РСФСР и в печать: правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала ответа клеветникам. Напро-

тив, последний год клевета с трибун против меня усилилась, ожесточилась, используя искаженные материалы конфискованного моего архива. Я же лишен возможности на нее ответить.

4. Моя повесть "Раковый корпус" (25 авторских листов), одобренная к печати (1 часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнута в 5 журналах), ни тем более целиком (отвергнута "Новым миром", "Звездой", "Простором").

5. Пьеса "Олень и шалашевка", принятая театром "Современник" в 1963 г., до сих пор не разрешена к постановке.

6. Киносценарий "Знают истину танки", пьеса "Свет, который в тебе", мелкие рассказы не могут найти себе постановщика, ни издателя.

7. Мои рассказы, печатавшиеся в журнале "Новый мир", не переизданы отдельной книгой ни разу, отвергаются всюду ("Советский писатель", Гослитиздат, "Библиотека Огонька") и, таким образом, недоступны для широкого читателя.

8. При этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями, публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 г. из таких уже договорных 11 выступлений в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись "прочсть и переписать" у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам 5 столетий назад это разрешалось).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и оболгана. При таком грубом нарушении моих авторских и "других" прав возьмется или не возьмется IV съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять смерть. Но может быть, и многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни?

Это еще ни разу не украсило нашу историю.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Секретариату Союза писателей РСФСР

Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов — добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что *решение* предшествовало "обсуждению". Опасались ли вы, что придется и мне выделить десять минут? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же уродливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжелобольному обществу вы неспособны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только "держать и не пущать!"

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие, — а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы вместе взятые. А готовятся на нее административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу ее читают? Раз *инстанции* решили тебя не печатать, на задавись, удушись, не существуй! никому не давай читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева — фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же виноватого в том, что заступается за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил *тайну кабинета*. А зачем ведете вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всем знать и судить о т к р ы т о?

"Враги услышат" — вот ваша отговорка, вечные и постоянные "враги" — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что бы делали без "врагов"? Да вы б и жить уже не могли без "врагов", вашей бесплодной атмосферой стала н е н а в и с т ь, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды одной Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество, — и кому вы тогда будете тыкать в нос "классовую борьбу"? Уж не говорю — когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А человечество отделилось от животного мира — мыслью и речью. И они естественно должны быть свободными. А если их скрывать — мы возвращаемся в животных.

Г л а с н о с т ь, честная и полная гласность — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.

12 ноября 1969 г.

НОБЕЛЕВСКАЯ ЛЕКЦИЯ

1

Как тот дикарь, в недоумении подбравший странный выброс ли океана? захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — замысловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом

луча, — вертит его так и сяк, вертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей.

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаем за деньги, угрожаем сильным, обращаем то для развлечения — до эстрадных песенок и ночного бара, то — затычкой или палкою, как схватишь, — для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света.

Но охватим ли весь тот свет? Кто осмелится сказать, что определил Искусство? перечислил все стороны его? А может быть, уже и понимал, и называл нам в прошлые века, но мы не долго могли на том застояться: мы послушали, и пренебрегли, и откинули тут же, как всегда спеша сменить хоть и самое лучшее — а только бы на новое! И когда снова нам скажут старое, мы уже и не вспомним, что это у нас было.

Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира, и взваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него, — но подламывается, ибо нагрузки такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявивший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача, — валяя ее на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной разорванной души или непонятливость публики.

Другой — знает над собой силу высшую и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, воспринимające души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнений в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразие человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болезнях, ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные извивы, непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей, — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

Археологи не обнаруживают таких ранних стадий человеческого существования, когда бы не было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: зачем нам этот дар? Как обращаться с ним?

И ошиблись, и ошибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживет свои формы, умрет. Умрем — мы, а оно — останется. И еще пойдем ли мы до нашей гибели все стороны и все назначенья его?

Не все — называется. Иное влечет дальше слов. Искусство растепляет даже заложенную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам, смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое зеркальце сказок: в него глянешь и увидишь — не себя, — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает...

Достоевский загадочно обронил однажды: “Мир спасет красота”. Что это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровавадной истории, кого и от чего спасла красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно художественного произведения совершенно неопровержима и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напористую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на спор противонаправленная речь, публицистика, программа, иноструктурная философия, — и все опять как так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия нет.

Попусту твердится, что сердцу не ложится.

Произведение же художественное свою проверку несет само в себе: концепции придуманные, натянутые, не выдерживают испытания на образах: разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения же, зачерпнувшие истины и представившие нам ее сгущенно-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно, — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

Так, может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трех деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то, может быть, причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся в то же самое место, и так выполнят работу за всех трех?

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: “Мир спасет красота”? Ведь ему дано было многое видеть, озаряло его удивительно.

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

То немногое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить сегодня здесь.

На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем примощенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие, может быть, с большим даром, сильнее меня, — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛАГе, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговорился, об иных только слышал, о третьих только догадывался.

Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны, — но сколько не узанных, ни разу публично не названных! И почти-почти никому не удалось вернуться. Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, да даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева.

И мне сегодня, сопровождаемому тенями павших, и со склоненной головой пропуская вперед себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, что хотели бы сказать они?

Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам.

В томительных лагерных переброях, в колонне заключенных, во мгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир. Отчетливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами и душевными движениями, и в недвоящемся мире им не виделось перевеса. Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, тою жизнью проверены, оттуда выросли.

Когда же ослабилось внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, постепенно, хотя бы в щелочку, увиделся и узнался тот "весь мир". И поразительно для нас оказался "весь мир" совсем не таким, как мы ожидали, как мы надеялись: "не тем" живущий, "не туда" идущий, на болотную топь восклицаящий: "Что за очаровательная лужайка!", на бетонные шейные колодки: "Какое утонченное ожерелье!", а где катятся у одних неотирные слезы, там другие приплясывают беспечному мюзикалу.

Как же это случилось? Отчего же зинула эта пропасть? Бесчувственны были мы! Бесчувственен ли мир? Или это от разницы языков? Отчего не всякую внятную речь люди способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без цвета, без запаха. Без следа.

По мере того, как я это понимал, менялся и менялся с годами состав, смысл и тон моей возможной речи. Моей сегодняшней речи.

И уже мало она похожа на ту, первоначально задуманную в морозные лагерные вечера.

4

Человек извечно устроен так, что его мировоззрение, когда оно не внушено гипнозом, его мотивировки и шкала оценок, его действия и намерения определяются его личным и групповым жизненным опытом. Как говорит русская пословица: "Не верь брату родному, верь своему

глазу кривому". И это — самая здоровая основа для понимания окружающего и поведения в нем. И долгие века, пока наш мир был глухо загадочно раскинут, пока не пронизался он едиными линиями связи, не обратился в единый судорожно бьющийся ком, — люди безошибочно руководились своим жизненным опытом в своей ограниченной местности, в своей общине, в своем обществе, наконец, и на своей национальной территории. Тогда была возможность отдельным человеческим глазам видеть и принимать некую общую шкалу оценок, что признается средним, что невероятным; что жестоким, что за гранью злодейства; что честностью, что обманом. И хотя очень по-разному жили разбросанные народы и шкалы их общественных оценок могли разительно не совпадать, как не совпадали их системы мер, эти расхождения удивляли только редких путешественников, да попадали диковинками в журналы, не неся никакой опасности человечеству, еще не единому.

Но вот за последние десятилетия человечество незаметно, внезапно стало единым — обнадежно единым и опасно единым, так что сотрясенья и воспаленья одной его части почти мгновенно передаются другим, иногда не имеющим к тому никакого иммунитета. Человечество стало единым — но не так, как прежде бывали устойчиво едиными община или даже нация: не через постепенный жизненный опыт, не через собственный глаз, добродушно названный кривым, даже не через родной понятный язык, а, поверх всех барьеров, через международное радио и печать. На нас валит накат событий, полмира в одну минуту узнает об их выплеске, но мерок — измерять те события и оценивать по законам неизвестных нам частей мира, не доносят и не могут донести по эфиру и в газетных листах; эти мерки слишком долго и особенно устаивались и усваивались в особой жизни отдельных стран и обществ, они не переносимы на лету. В разных краях к событиям прикладывают собственную, выстраданную шкалу оценок и неуступчиво, самоуверенно судят только по своей шкале, а не по какой чужой.

И таких разных шкал в мире если не множество, то, во всяком случае, несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных и неблагоприятных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся ото всех чужих шкал как от безумия, от заблуждения, — и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, больней и невыносимей то, что ближе к нам. Все же дальше, не грозящее прямо сегодня докатиться до порога нашего дома, признается нами, со всеми его стенами, задушенными криками, погубленными жизнями, хотя б и миллионами жертв, — в общем вполне терпимым и сносных размеров.

В одной стороне под гоненьями, не уступающими древнеримским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии некий безумец (и наверно он не одинок) мчится через океан, чтоб ударом стали в первосвященника освободить нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали завидной благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным принуждением, зовущим к переворачиванию автобусов. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной за-

бастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение в двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и отстраняющее движение, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или "карцер", где кормят белыми булочками да молоком, — потрясают воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прощены — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лед, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и пограничные расстрелы бесчисленных неразумных, все почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские догадки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непонимание чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое взаимное непонимание грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживем на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.

5

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчета — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто прояснит человечеству, что действительно тяжело и невыносимо, а что только близости натирает нам кожу, — и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому, что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужие дальние гори и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитый этой второю трудный многодесятилетний национальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины человеческой истории.

Об этом великом благословенном свойстве искусства я настойчиво напоминаю сегодня с нобелевской трибуны.

И еще в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый сгущенный опыт: от поколения к поколению. Так она становится живою памятью нации. Так она теплит в себе и хранит ее утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.

(За последнее время модно говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но осуждение того — вопрос отдельный, здесь же уместно сказать: исчезновение наций обеднило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились, в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщенные личности его; самая малая из них несет

свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла.)

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто нарушение “свободы печати”, это — замкнутость национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства, — и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни самим себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзвука своему написанному, — это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестает пониматься и вся целиком История.

6 ·

В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изящно спорили о том, должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и непредвзято. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же лекция Альбера Камю — и к выводам ее я с радостью присоединяюсь. Да русская литература десятилетиями имела этот крен — не заглядываться слишком сама на себя, не порхать слишком беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна вроднились нам представления, что писатель может многое в своем народе — и должен.

Не будем попира́ть права художника выражать исключительно собственные переживания и самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем требовать от художника — но укорить, но попросить, но позвать и поманить дозволено будет нам. Ведь только отчасти он развивает свое дарование сам, в большей доле оно вдунуто в него от рожденья готовым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. Допустим, художник никому ничего не должен, но больно видеть, как может он, уходя в свосозданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных.

Оказался наш XX век жестче предыдущих, и первой его половиной не кончилось все страшное в нем. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовой, расовой, массовой, профсоюзной борьбы, рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит, всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент вырвать кусок, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный, — тут же вырывает его, а там хоть все общество развались. Ампли-

туда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Все меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шагает по всему миру насилие, на заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но трубное оправдание: залихват мир наглая уверенность, что сила может все, а правота — ничего. Бесы Достоевского — казалось, провинциальная кошмарная фантазия прошлого века, на наших глазах расползаются по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли, — и вот угонками самолетов, захватами заложников, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удаться им. Молодежь — в том возрасте, когда еще нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами еще нет годов собственных страданий и собственного понимания, восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвейбиновская деградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верхоглядное непонимание извечной человеческой сути, наивная уверенность непоживших сердец: вот этих лютых, жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!), отложив гранаты и автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так!.. А кто пожил и понимает, кто мог бы этой молодежи возразить — многие не смеют возражать, даже заискивают, только бы не показаться “консерваторами”, — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его “рабством у передовых идей”.

Дух Мюнхена — несколько не ушел в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я осмелюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося оскаленного варварства не нашел ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступления, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдется... (Но никогда не обойдется! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)

А еще нам грозит гибелью, что физически сжато, стесненному миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опасность: пресечение информации между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает призрачными международные подписи и договоры: внутри оглушенной зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а еще проще — забыть, он как бы и не существовал никогда (это Оруэлл прекрасно понял). Внутри оглушенной зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле и готовы пойти топтать ее в святой уверенности, что “освобождают”.

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась

Организация Объединенных Наций. Увы, в безнравственном мире выросла безнравственной и она. Это не Организация Объединенных Наций, но организация Объединенных Правительств, где уравниены и свободно избранные, и насильственно навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным пристрастием большинства ООН ревниво заботится о свободе одних народов и в небрежении оставляет свободу других. Угодливым голосованием она отвергла рассмотрение частных жалоб – стонов, криков и умолений единичных маленьких просто людей, слишком мелких букашек для такой великой организации. Свой лучший за 25 лет документ – Декларацию прав человека – ООН не посилилась сделать обязательным для правительств, условием их членства – так предала маленьких людей воле не избранных ими правительств.

Казалось бы: облик современного мира весь в руках ученых, все технические шаги человечества решаются ими. Казалось бы: именно от всемирного содружества ученых, а не от политиков, должно зависеть, куда миру идти. Тем более, что пример единиц показывает, как много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, ученые не явили яркой попытки стать важной самостоятельно действующей силой человечества. Целыми конгрессами отшатываются они от чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Все тот же дух Мюнхена развесил над ними свои расслабляющие крыла.

Каковы ж в этом жестоком, динамичном, взрывном мире, на черте его десяти гибелей – место и роль писателя? Уж мы и вовсе не шлем ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в презрении у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже отступить, разувериться в неколебимости добра, в недробимости правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безнадежно исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно среди них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого бегства – нет у нас. Однажды взявшись за слово, уже потом никогда не уклониться: писатель – не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он – совиновник во всем зле, совершенном у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили кровью асфальт чужой столицы – то бурые пятна навек зашлепали лицо писателя. И если в роковую ночь удушили спящего доверчивого Друга – то на ладонях писателя синяки от той веревки. И если юные его сограждане развязно декларируют превосходство разврата над скромным трудом, отдаются наркотикам или хватают заложников – то перемешивается это зловоние с дыханием писателя.

Найдем ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за язвы сегодняшнего мира?

7

Однако ободряет меня живое ощущение мировой литературы как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-своему представленных и видимых во всяком его углу.

Помимо исконных национальных литератур, существовало и в прежние века понятие мировой литературы – как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных взаимовлияний. Но

случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей иноязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали и огибающая национальных литературных вершин проступала уже в глазах потомков, не современников.

А сегодня между писателями одной страны и писателями и читателями другой есть взаимодействие если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не напечатанные, увы, на родине, мои книги, несмотря на поспешные и часто дурные переводы, быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие выдающиеся писатели Запада, как Генрих Бёлль. Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов тяжести как будто в воздухе, как будто ни на чем — на невидимом, немом натяге сочувственной общественной пленки, — я с благодарною теплотой, совсем неожиданно для себя узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего 50-летия я изумлен был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского союза — стена защиты, выдвинутая видными писателями мира, предохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно готовили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами. И, еще позже того, целые национальные писательские объединения выразили поддержку мне.

Так я понял и ощутил на себе: мировая литература — уже не отвеченная огибающая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Еще багровеют государственные границы, накаленные проволокю под током и автоматными очередями, еще иные министерства внутренних дел полагают, что и литература — “внутреннее дело” подведомственных им стран, еще выставляются газетные заголовки: “не их право вмешиваться в наши внутренние дела!” — а между тем внутренних дел вообще не осталось на нашей тесной Земле! И спасение человечества только в том, чтобы всем было дело до всего: людям Востока было бы сплошь безразлично, что думают на Западе; людям Запада — сплошь безразлично, — что совершается на Востоке. И художественная литература — из тончайших, отзывчивейших инструментов человеческого существа, одна из первых уже переняла, усвоила, подхватила это чувство растущего единства человечества. И вот я уверенно обращаюсь к мировой литературе сегодняшнего дня — к сотням друзей, которых ни разу не встретил въявь и, может быть, никогда не увижу.

Друзья! А попробуем пособить мы, если мы чего-нибудь стоим! В своих странах, раздираемых разногласиями партий, движений, каст и групп, кто же искони был силою не разъединяющей, но объединяющей? Таково по самой сути положение писателей: выразителей национального языка — главной скрепы нации, и самой земли, занимаемой народом, а в счастливом случае и национальной души.

Я думаю, что мировой литературе под силу в эти тревожные часы человечества помочь ему верно узнать самого себя вопреки тому, что

внушается пристрастными людьми и партиями; перенести сгущенный опыт одних краев в другие, так чтобы перестало у нас двоиться и рябить в глазах, совместились бы деления шкал и одни народы узнали бы верно и сжато истинную историю других с тою силой узнавания и болевого ощущения, как будто пережили ее сами, — и тем обережены бы были от запоздалых жестоких ошибок. А сами мы при этом, быть может, сумеем развить в себе и мировое зрение: центром глаза, как и каждый человек, видя близкое, краями глаза начнем вбирать и то, что делается в остальном мире. И соотнесем, и соблюдем мировые пропорции.

И кому же, как не писателям, высказать порицание не только своим неудачным правителям (в иных государствах это самый легкий хлеб, этим занят всякий, кому не лень), но — и своему обществу, в его ли трусливом унижении или в самодовольной слабости, но — и легковесным броскам молодежи, и юным пиратам с замахнутыми ножами?

Скажут нам: что ж может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А: не забудем, что насилие не живет одно и не способно жить одно: оно непременно сплетено с ложью. Между ними самая родственная, самая природная глубокая связь: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а лжи нечем удержаться, кроме как насилием. Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, — оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь ее сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи.

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: победить ложь! Уж в борьбе-то с ложью искусству всегда побеждало, всегда побеждает! — зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства.

А едва развеяна будет ложь, отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскаленный час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о правде. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт иногда поразительно:

Одно слово правды весь мир перетянет.

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс и энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира.

1972 г.

Жить не по лжи!

Когда-то мы не смели и шепотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем "самиздат", а уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души

нажалуемся: чего только они не накуролесят, куда только не тянут нас! И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов; и разжигание гражданских войн; и безрассудно вырастили Мао Цзэдуна (на наши средства) — и нас же на него погонят, и придется идти, куда денешься? и судят, кого хотят, и здоровых загоняют в умалишенные — все "они", а мы — бессильны.

Уже до доньшка доходит, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжет и нас, и наших детей — а мы по-прежнему все улыбаемся трусливо и лепечем косноязычно:

— А чем же мы помешаем? У нас нет сил.

Мы так безнадежно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков — только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, третьей мировой войны не боимся (может, в щелочку спрячемся), мы только боимся шагов гражданского мужества! Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку — и вдруг оказаться без белых батончиков, без газовой колонки, без московской прописки.

Уж как долбили нам на политкружках, так в нас и вросло, удобно жить, на весь век хорошо: среда; социальные условия, из них не выскочишь, бытие определяет сознание, мы-то при чем? мы ничего не можем.

А мы можем — все! — но сами себе лжем, чтобы себя успокоить. Никакие не "они" во всем виноваты — мы сами, только мы!

Возрают: но ведь действительно ничего не придумашь! Нам заклипали рты, нас не слушают, не спрашивают. Как же заставить их послушать нас?

Переубедить их — невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста — но мы слишком забыты, нам это страшно: как это вдруг — отказаться от работы, как вдруг — выйти на улицу?

Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории, — тем более не для нас, и в правду — не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда все посеянное взошло, — видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов располагает в гнусности результатов. Наши руки — да будут чистыми!

Так круг — замкнулся? И выхода — действительно нет? И остается нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь само?..

Но никогда оно от нас не отлипнет, само, если все мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнемся хотя бы от самой его чувствительной точки.

От — лжи.

Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет, и кричит: "Я — Насилие! Разойдись, расступись — раздавлю!" Но насилие быстро стареет,

немного лет — оно уже не уверено в себе, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упрямся: пусть владеет не через меня!

И это — прорез во мнимом кольце нашего бездействия! — самый легкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестает существовать. Как зараза, она может существовать только на людях.

Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух, что думаем, — не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем!

Вот это и есть наш путь, самый легкий и доступный при нашей просшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди.

Наш путь: ни в чем не поддерживать лжи сознательно! Осознав, где граница лжи (для каждого она еще по-разному видна), — отступиться от этой гангренозной границы! Не подклеивать мертвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадет, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих и современников. И с этого дня он:

- впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искривляющей, по его мнению, правду;

- такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажет ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

- живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

- не приведет ни устно, ни письменно ни одной "руководящей" цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

- не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его желания и воли; не возьмет в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

- не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне; не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

- не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искаженное обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются.

Мы перечислили, разумеется, не все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться, — взором очищенным легко различит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит их молодую жизнь при начале: ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать. Но и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки: никакой день никому из нас даже в самых безопасных технических науках не обминуть хоть одного из названных шагов — в сторону правды или в сторону лжи; в сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого неостанет смелости даже на защиту своей души, — пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, — так пусть и скажет себе: я — быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь — самый умеренный из всех путей сопротивления — для засидевшихся нас будет нелегко. Но насколько же легче самосожжения или даже голодовки: пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жара, и черный-то хлеб с чистой водою всегда найдется для твоей семьи.

Преданный нами, обманутый нами великий народ Европы — чехословацкий, неужели не показал нам, как даже против танков выстает назащищенная грудь, если в ней достойное сердце?

Это будет нелегкий путь? — но самый легкий из возможных. Нелегкий выбор для тела — но единственный для души. Нелегкий путь — однако есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живет по правде.

Итак: не первыми вступить на этот путь, а — присоединиться! Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи — и не управятся ни с кем ничего поделать. Станут нас десятки тысяч — и мы не узнаем нашей страны!

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не дает дышать — это мы сами себе не даем! Пригнемся, еще, подождем, а наши братья биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов.

Если и в этот мы струсим, то мы — ничтожны, безнадежны, и это к нам пушкинское презрение:

К чему стадам дары свободы?

.....

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

12 февраля 1974 г.

СОДЕРЖАНИЕ

НА КРАЮ ПРОПАСТИ	5
<i>Н. Коржавин</i> Истоки и психология исторической задержки	6
<i>Ю. Левада, Т. Ноткина, В. Шейнис</i> Секрет нестабильности самой стабильности эпохи	15
<i>В. Найшуль</i> Высшая и последняя стадия социализма	31
<i>В. Тихонов</i> У истоков	63
<i>В. Попов, Н. Шмелев</i> Великий плановый эксперимент	101
<i>А. Зайченко</i> И пришла нужда как тать	136
<i>В. Пантин, В. Лапкин</i> Что остановилось в эпоху застоя?	157
<i>А. Гуров</i> Организованная преступность в СССР	174
В ТИСКАХ ФАЛЬШИВЫХ ДОКТРИН	186
<i>В. Алексеев</i> Чехословацкий поход еще не завершен	187
<i>К. Цаголов</i> Афганская проблема: экзамен совести	209
<i>А. Вахрамеев</i> Не идя в ногу, но следуя примеру	231

ИНЕРЦИЯ СТРАХА ИЛИ ПРОБУЖДЕНИЕ ДУХА	259
<i>В. Глазычев</i> Агония культуры	260
<i>А. Лебедев</i> Пес с тобой, или Выгул собак в годы застоя	285
<i>Г. Померанц</i> Живые и мертвые идеи	311
<i>В. Турбин</i> Китежане (Из записок русского интеллигента)	346
<i>А. Якомивич</i> Конец великой эпохи: реальность — менталитет — искусство	371
<i>С. Шведов</i> Книги, которые мы выбирали (Вчерашние бестселлеры и сегодняшние читатели)	389
<i>Л. Аннинский</i> Провал середины	409
<i>В. Фомин</i> Эстетика Госкино, или Социалистический реализм в действии (Записки из подполья)	439
<i>Н. Ильина</i> Мои продолжительные уроки	469
КТО ВЫШЕЛ НА ПЛОЩАДЬ?	500
<i>Л. Богораз, В. Голицын, С. Ковалев</i> Политическая борьба или защита прав? Двадцатилетний опыт независимого общественного движения в СССР	501
Хроника диссидентского движения (1968 — 1983 гг.)	545

ГОЛОСА ВРЕМЕНИ	555
<i>А. Сахаров</i> Нобелевская лекция. Мир. прогресс, права человека	556
<i>Памятная записка</i>	565
Послесловие к памятной записке	571
<i>В. Турчин</i> Тоталитаризм	575
<i>В. Некрасов</i> Кому это нужно?	602
<i>М. Гефтер</i> Накануне	607
<i>Г. Владимов</i> В Правление Союза писателей СССР	629
<i>Б. Хазанов</i> Русская интеллигенция. История безответной любви	632
<i>А. Амальрик</i> Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?	642
Идеология в советском обществе	675
<i>А. Солженицын</i> Письмо IV Всесоюзному съезду писателей (вместо выступления)	684
Открытое письмо Секретариату Союза писателей РСФСР	687
Нобелевская лекция	688
Жить не по лжи!	698

